This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Goncharov, I. A

БИБЛІОТЕКА
№
Е. В. МѢШКОВСКАГО

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

PG3337
G6
1899a
v. 8-10

Типографія А. Ф. Мариса, Ср. Подьяч., № 1.

ОБРЫВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

I.

Два господина сидѣли въ небрежно-убранной квартирѣ въ Петербургѣ, на одной изъ большихъ улицъ. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лѣтъ.

Первый былъ Борисъ Павловичъ Райскій, второй—Иванъ Ивановичъ Аяновъ.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физіономія. Съ перваго взгляда онъ казался моложе своихъ лѣтъ: большой бѣлый лобъ блисталъ свѣжестью, глаза мѣнялись, то загорались мыслію, чувствомъ, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрѣли они зрѣло, устало, скучно и обличали возрастъ своего хозяина. Около глазъ собирались даже три легкія морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкіе черные волосы падали на затылокъ и на уши, а въ вискахъ серебрилось нѣсколько бѣлыхъ волосъ. Щеки такъ же, какъ и лобъ, около глазъ и рта, сохранили еще молодые цвѣта, но у висковъ и около подбородка цвѣтъ былъ изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрѣлостью, когда человѣкъ перешелъ на вторую половину жизни,

когда каждый прожитой опытъ, чувство, болѣзнь, оставляютъ слѣдъ. Только ротъ его сохранялъ, въ неуловимой игрѣ тонкихъ губъ и въ улыбкѣ, молодое, свѣжее, иногда почти дѣтское выраженіе.

Райскій одѣтъ былъ въ домашнее сѣренькое пальто, сидѣлъ съ ногами на диванѣ.

Иванъ Ивановичъ былъ напротивъ въ черномъ фракѣ. Бѣлыя перчатки и шляпа лежали около него на столѣ. У него лицо отличалось спокойствіемъ, или скорѣе равнодушнымъ ожиданіемъ ко всему, что̀ можетъ около него происходить.

Смышленый взглядъ, неглупыя губы, смугло-желтоватый цвѣтъ лица, красиво подстриженные, съ сильной просѣдью, волосы на головѣ и бакенбардахъ, умѣренныя движенія, сдержанная рѣчь и безукоризненный костюмъ — вотъ его наружный портретъ.

На лицѣ его можно было прочесть покойную увѣренность въ себѣ и пониманіе другихъ, выглядывавшія изъ глазъ.—Пожилъ человѣкъ, знаетъ жизнь и людей, скажетъ о немъ наблюдатель, и если не отнесетъ его къ разряду особенныхъ, высшихъ натуръ, то еще менѣе къ разряду натуръ наивныхъ.

Это былъ представитель большинства уроженцевъ универсальнаго Петербурга, и вмѣстѣ то, что̀ называютъ свѣтскимъ человѣкомъ. Онъ принадлежалъ Петербургу и свѣту, и его трудно было бы представить себѣ гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ, кромѣ Петербурга, и въ другой сферѣ, кромѣ свѣта, т. е. извѣстнаго высшаго слоя петербургскаго населенія; хотя у него есть и служба, и свои дѣла, но его чаще всего встрѣчаешь въ бо̀льшей части гостиныхъ, утромъ— съ визитами, на обѣдахъ, на вечерахъ: на послѣднихъ всегда за картами. Онъ—такъ себѣ: ни характеръ, ни безхарактерность, ни знаніе, ни невѣжество, ни убѣжденіе, ни скептицизмъ.

Незнаніе или отсутствіе убѣжденія облечено у него въ

форму какого-то лёгкаго, поверхностнаго всеотрицанія: онъ относился ко всему небрежно, ни передъ чѣмъ искренно не склоняясь, ничему глубоко не вѣря и ни къ чему особенно не пристращаясь. Немного насмѣшливъ, скептиченъ, равнодушенъ и ровенъ въ сношеніяхъ со всѣми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преслѣдуя никого настойчивой враждой.

Онъ родился, учился, выросъ и дожилъ до старости въ Петербургѣ, не выѣзжая далѣе Лахты и Ораніенбаума съ одной, Токсова и Средней-Рогатки съ другой стороны. Отъ этого въ немъ отражались, какъ солнце въ каплѣ, весь петербургскій міръ, вся петербургская практичность, нравы, тонъ, природа, служба,—эта вторая петербургская природа, и болѣе ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никакихъ понятій кромѣ тѣхъ, какія даютъ свои и иностранныя газеты. Петербургскія страсти, петербургскій взглядъ, петербургскій годовой обиходъ пороковъ и добродѣтелей, мыслей, дѣлъ, политики, и даже, пожалуй, поэзіи, — вотъ гдѣ вращалась жизнь его, и онъ не порывался изъ этого круга, находя въ немъ полное до роскоши удовлетвореніе своей натурѣ.

Онъ равнодушно смотрѣлъ сорокъ лѣтъ сряду, какъ съ каждой весной отплывали за границу биткомъ-набитые пароходы, уѣзжали внутрь Россіи дилижансы, впослѣдствіи вагоны, — какъ двигались толпы людей «съ наивнымъ настроеніемъ» дышать другимъ воздухомъ, освѣжаться, искать впечатлѣній и развлеченій.

Никогда не чувствовалъ онъ подобной потребности, да и въ другихъ не признавалъ ея, а глядѣлъ на нихъ, на этихъ другихъ, покойно, равнодушно, съ весьма приличнымъ выраженіемъ въ лицѣ и взглядомъ, говорившимъ: — Пусть-де ихъ себѣ, а я не поѣду.

Онъ говорилъ просто, свободно переходя отъ предмета

къ предмету, всегда зналъ обо всемъ, что дѣлается въ мірѣ, въ свѣтѣ и въ городѣ; слѣдилъ за подробностями войны, если была война, узнавалъ равнодушно о перемѣнѣ англійскаго или французскаго министерства, читалъ послѣднюю рѣчь въ парламентѣ и во французской палатѣ депутатовъ, всегда зналъ о новой пьесѣ, и о томъ, кого зарѣзали ночью на Выборгской сторонѣ. Зналъ генеалогію, состояніе дѣлъ и имѣній и скандалёзную хронику каждаго большого дома столицы; — зналъ всякую минуту, что̀ дѣлается въ администраціи, о перемѣнахъ, повышеніяхъ, наградахъ, — зналъ и сплетни городскія: словомъ, зналъ хорошо свой міръ.

Утро уходило у него на мыканье по свѣту, т. е. по гостинымъ, отчасти на дѣла и службу, — вечеръ нерѣдко онъ начиналъ спектаклемъ, а кончалъ всегда картами въ англійскомъ клубѣ, или у знакомыхъ, а знакомы ему были всѣ.

Въ карты игралъ онъ безъ ошибки и имѣлъ репутацію пріятнаго игрока, потому что былъ снисходителенъ къ ошибкамъ другихъ, никогда не сердился, а глядѣлъ на ошибку съ такимъ же приличіемъ, какъ на отличный ходъ. Потомъ онъ игралъ и по большой, и по маленькой, и съ крупными игроками, и съ капризными дамами.

Строевую службу онъ прошелъ хорошо, протерши лямку около пятнадцати лѣтъ въ канцеляріяхъ, въ должностяхъ исполнителя чужихъ проектовъ. Онъ тонко угадывалъ мысль начальника, раздѣлялъ его взглядъ на дѣло и ловко излагалъ на бумагѣ разные проекты. Мѣнялся начальникъ, а съ нимъ и взглядъ, и проектъ: Аяновъ работалъ такъ же умно и ловко и съ новымъ начальникомъ, надъ новымъ проектомъ — и докладныя записки его нравились всѣмъ министрамъ, при которыхъ онъ служилъ.

Теперь онъ состоялъ при одномъ изъ нихъ по особымъ порученіямъ. По утрамъ являлся къ нему въ кабинетъ, потомъ къ женѣ его въ гостиную, и дѣйствительно исполнялъ нѣкоторыя ея порученія, а по вечерамъ въ положенные

дни непремѣнно составлялъ партію съ кѣмъ попросятъ. У него былъ довольно крупный чинъ и окладъ — и никакого дѣла.

Если позволено проникать въ чужую душу, то въ душѣ Ивана Ивановича не было никакого мрака, никакихъ тайнъ, ничего загадочнаго впереди, и сами макбетовскія вѣдьмы затруднились бы обольстить его какимъ-нибудь болѣе блестящимъ жребіемъ, или отнять у него тотъ, къ которому онъ шествовалъ такъ сознательно и достойно. Повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, и подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», какъ по службѣ, такъ и въ картахъ — въ тайные совѣтники, и бросить якорь въ портѣ, въ какой-нибудь нетлѣнной комиссіи или въ комитетѣ, съ сохраненіемъ окладовъ,— а тамъ, волнуйся себѣ человѣческій океанъ, мѣняйся вѣкъ, неси въ пучину судьба народовъ, царствъ, — все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановитъ теченіе его жизни.

Аяновъ былъ женатъ, овдовѣлъ и имѣлъ двѣнадцати лѣтъ дочь, воспитывавшуюся на казенный счетъ въ институтѣ, а онъ, устроивъ свои дѣлишки, велъ покойную и беззаботную жизнь стараго холостяка.

Одно только нарушало его спокойствіе—это геморрой отъ сидячей жизни; въ перспективѣ представлялось для него тревожное событіе — прервать на время эту жизнь и побывать гдѣ-нибудь на водахъ. Такъ грозилъ ему докторъ.

— Не пора ли одѣваться: четверть пятаго! — сказалъ Аяновъ.

— Да, пора, — отвѣчалъ Райскій, очнувшись отъ задумчивости.

— О чемъ ты задумался?—спросилъ Аяновъ.

— О комъ? — поправилъ Райскій. — Да о ней все... о Софьѣ...

— Опять! Ну!—замѣтилъ Аяновъ.

Райскій сталъ одѣваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю?—спросилъ Райскій.

— Нимало: не все равно играть, что тамъ, что у Ивлевыхъ? Оно, правда, совѣстно немного обыгрывать старухъ: Анна Васильевна бьетъ карты своего партнёра со-слѣпа, а Надежда Васильевна вслухъ говоритъ, съ чего пойдетъ.

— Не безпокойся, не оберешь по пяти копеекъ. У обѣихъ старухъ до шестидесяти тысячъ дохода.

— Знаю, и это все Софьѣ Николаевнѣ достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Онѣ скупы, переживутъ ее.

— У отца вѣдь, кажется, немного...

— Нѣтъ, все спустилъ.

— Да куда онъ тратитъ? Въ карты почти не играетъ.

— Какъ, куда? А женщины? А эта бѣготня, petits soupers, весь этотъ train? Зимой въ пять тысячъ сервизъ подарилъ на вечеръ Armance, а она его-то и забыла пригласить къ ужину...

— Да, да, слышалъ. За что? Что онъ у ней тамъ дѣлаетъ?..

Оба засмѣялись.

— Отъ мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось!

— Нѣтъ, тысячъ семь дохода; это ея карманныя деньги. А то все отъ тётокъ. Но пора! — сказалъ Райскій. — Мнѣ хочется до обѣда еще по Невскому пройтись.

Аяновъ и Райскій пошли по улицѣ, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налѣво.

— Долго ты нынче просидишь у Бѣловодовой?

— Пока не выгонятъ—какъ обыкновенно. А что, скучно?

— Нѣтъ, я думалъ, поспѣю ли я къ Ивлевымъ? Мнѣ скучно не бываетъ...

— Счастливый человѣкъ! — съ завистью сказалъ Рай-

скій. — Если бъ не было на свѣтѣ скуки! Можетъ ли быть лютѣе бича?

— Молчи, пожалуйста! — съ суевѣрнымъ страхомъ остановилъ его Аяновъ:—еще накличешь что-нибудь! А у меня одинъ геморрой чего-нибудь да стоитъ! Доктора только и знаютъ, что вонъ отсюда шлютъ: далась имъ эта сидячая жизнь — всѣ бѣды въ ней видятъ! Да воздухъ еще: чего лучше этого воздуха?—Онъ съ удовольствіемъ нюхнулъ воздухъ. — Я теперь выбралъ подобрѣе эскулапа: тотъ хочетъ лѣтомъ кислымъ молокомъ лѣчить меня: у меня вѣдь закрытый... ты знаешь? Такъ ты отъ скуки ходишь къ своей кузинѣ?

— Какой вопросъ: разумѣется! Развѣ ты не отъ скуки садишься за карты? Всѣ отъ скуки спасаются, какъ отъ чумы.

— Какое же ты жалкое лѣкарство выбралъ отъ скуки— переливать изъ пустого въ порожнее съ женщиной: каждый день одно и то же!

— А въ картахъ развѣ не одно и то же? А вотъ ты прячешься въ нихъ отъ скуки...

— Ну, нѣтъ, не одно и то же: какой-то англичанинъ вывелъ комбинацію, что одна и та же сдача картъ можетъ повториться лѣтъ въ тысячу только... А шансы? А характеры игроковъ, манера каждаго, ошибки?.. Не одно и то же! А вотъ съ женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вотъ этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же дѣлать съ этимъ? Другой не понимаетъ музыки, третій живописи: это неразвитость своего рода...

— Да, именно—своего рода. Вонъ у меня въ отдѣленіи служилъ помощникомъ Иванъ Петровичъ: тотъ ни одной чиновницѣ, ни одной горничной проходу не даетъ, т.-е. красивой, конечно. Всѣмъ говоритъ любезности, подноситъ конфеты, букеты: онъ развитъ, что ли?

— Оставимъ этотъ разговоръ, — сказалъ Райскій: — а то опять оба на стѣну полѣземъ, чуть не до драки. Я не понимаю твоихъ картъ, и ты въ правѣ назвать меня невѣждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красотѣ. Всякій по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иванъ Петровичъ такъ, я иначе, а ты никакъ,—ну, и при тебѣ!

— Ты играешь съ женщинами, какъ я вижу, — сказалъ Аяновъ.

— Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тутъ дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невѣста: женись и конецъ всему.

— Да—и конецъ всему, и начало скукѣ!—задумчиво повторилъ Райскій.—А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить не-зачѣмъ. Ты просто — донъ-Жуанъ!

— Да, донъ-Жуанъ, пустой человѣкъ: такъ, что ли, по-вашему?

— А какъ же: что жъ онъ по-твоему?

— Ну, такъ и Байронъ, и Гёте, и куча живописцевъ, скульпторовъ—все были пустые люди...

— Да ты—Байронъ или Гёте, что ли?..

Райскій съ досадой отвернулся отъ него.

— Донъ-жуанизмъ—то же въ людскомъ родѣ, что донъ-кихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнѣе...—сказалъ онъ.

— Коли потребность—такъ женись... я тебѣ говорю...

— Ахъ! — почти съ отчаяніемъ произнесъ Райскій. — Вѣдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуѣ? Донъ-Жуанъ наслаждался прежде всего

эстетически этой потребностью, но грубо; сынъ своего вѣка, воспитанія, нравовъ, онъ увлекался за предѣлы этого поклоненія—вотъ и все. Да что толковать съ тобой!

— Коли не жениться, такъ не зачѣмъ и ходить, — апатично повторилъ Аяновъ.

— А знаешь — ты отчасти правъ. Прежде всего скажу, что мои увлеченія всегда искренни и неумышленны: — это не волокитство — знай однажды и навсегда. И когда мой идолъ хоть одной чертой подходитъ къ идеалу, который фантазія сейчасъ создаетъ мнѣ изъ него—у меня само собою додѣлается остальное, и тогда возникаетъ идеалъ счастья, семейнаго...

— Вотъ видишь; ну, такъ и женись...—замѣтилъ Аяновъ.

— Погоди, погоди: никогда ни одинъ идеалъ не доживалъ до срока свадьбы: блѣднѣлъ, падалъ, и я уходилъ охлажденный... Что фантазія создаетъ, то анализъ разрушаетъ, какъ карточный домикъ. Или самъ идеалъ, не дождавшись охлажденія, уходитъ отъ меня...

— А все-таки, каждый день сидѣть съ женщиной и болтать!..—упрямо твердилъ Аяновъ, покачивая головой.— Ну, о чемъ, напримѣръ, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь отъ нея, если ее за тебя не выдадутъ?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь отъ ея тетокъ? Какія карты къ тебѣ придутъ? Выиграешь ты, или проиграешь? Развѣ ты ходишь съ тѣмъ туда, чтобъ выиграть всѣ шестьдесятъ тысячъ дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никакихъ расчетовъ нѣтъ: я дѣлаю это отъ... отъ... для удовольствія.

— Отъ... отъ скуки — видишь, и я для удовольствія — и тоже безъ расчетовъ. А какъ я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иванъ Петровичъ этого не поймете, не во гнѣвъ тебѣ и ему — вотъ и все. Вѣдь есть же одни, которые молятся страстно, а другіе не знаютъ этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мѣшаютъ жить. Трудъ — вотъ одно лѣкарство отъ пустоты: дѣло, — сказалъ Аяновъ внушительно.

Райскій остановился, остановилъ Аянова, ядовито улыбнулся и спросилъ:

— Какое дѣло, скажи, пожалуйста: это любопытно!

— Какъ какое? Служи.

— Развѣ это дѣло? Укажи ты мнѣ въ службѣ, за немногими исключеніями, дѣло, безъ котораго бы нельзя было обойтись?

Аяновъ засвисталъ отъ удивленія.

— Вотъ тебѣ разъ!—сказалъ онъ и поглядѣлъ около себя.—Да вотъ!

Онъ указалъ на полицейскаго чиновника, который упорно глядѣлъ въ одну сторону.

— А спроси его, — сказалъ Райскій: — зачѣмъ онъ тутъ стоитъ, и кого такъ пристально высматриваетъ и выжидаетъ? Генерала! А насъ съ тобой не видитъ, такъ что любой прохожій можетъ вытащить у насъ платокъ изъ кармана. Ужели ты считалъ дѣломъ твои бумаги? Не будемъ распространяться объ этомъ, а скажу тебѣ, что я, право, больше дѣлаю, когда мажу свои картины, брянчу на роялѣ и даже когда поклоняюсь красотѣ...

— И что особеннаго, кромѣ красоты, нашелъ ты въ своей кузинѣ?

— Кромѣ красоты! Да это все! Впрочемъ, я мало знаю ее: это-то, вмѣстѣ съ красотой, и влечетъ меня къ ней...

— Какъ, каждый день вмѣстѣ и мало знаешь?...

— Мало. Не знаю, что у нея кроется подъ этимъ спокойствіемъ, не знаю ея прошлаго и не угадываю ея будущаго. Женщина она, или кукла, живетъ или поддѣлывается подъ жизнь? И это мучитъ меня... Вонъ, смотри, — продолжалъ Райскій:—видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лѣзетъ съ узломъ на извозчика?

— Да, и вотъ эту, что глядитъ изъ окна кареты? И вонъ ту, что заворачиваетъ изъ-за угла навстрѣчу намъ?

— Ну, такъ что же?

— Ты на ихъ лицахъ мелькомъ прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признакъ воли: ну, словомъ,—движеніе, жизнь. Немного нужно, чтобъ подобрать ключъ и сказать, что тутъ семья и дѣти, значитъ, было прошлое, а тамъ глядитъ страсть или живой слѣдъ симпатіи,—значитъ есть настоящее, а здѣсь на молодомъ лицѣ играютъ надежды, просятся наружу желанія и пророчатъ безпокойное будущее...

— Ну?

— Ну, вездѣ что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А тамъ ничего этого нѣтъ, ничего, хоть шаромъ покати! Даже нѣтъ апатіи, скуки, чтобъ можно было сказать: была жизнь и убита — ничего! Сіяетъ и блеститъ, ничего не проситъ и ничего не отдаетъ! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказалъ мнѣ это, и я удивляться пересталъ бы, потому что я самъ такой,—сказалъ Аяновъ, вдругъ останавливаясь.—Ходи ко мнѣ, вмѣсто нея...

— Ты?

— Да—я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствіемъ и наслаждаюсь этимъ; и она тоже... Что тебѣ за дѣло?..

— До тебя—никакого, а она—красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, такъ оставь, займись дѣломъ...

— Ты прежде заведи дѣло, въ которое могъ бы броситься живой умъ, гнушающійся мертвечины, и страстная душа, и укажи, какъ положить силы во что-нибудь, что стоитъ борьбы—а съ своими картами, визитами, раутами и службой—убирайся къ чорту!

— У тебя безпокойная натура, — сказалъ Аяновъ: — не было строгой руки и тяжелой школы—вотъ ты и куролесишь... Помнишь, ты разсказывалъ, когда твоя Наташа была жива...

Райскій вдругъ остановился и, съ грустью на лицѣ, схватилъ своего спутника за руку.

— Наташа! — повторилъ онъ тихо: — это единственный, тяжелый камень у меня на душѣ—не мѣшай память о ней въ эти мои впечатлѣнія и мимолетныя увлеченія...

Онъ вздохнулъ, и они молча дошли до Владимірской церкви, свернули въ переулокъ и вошли въ подъѣздъ барскаго дома.

II.

Райскій съ годъ только передъ этимъ познакомился съ Софьей Николаевной Бѣловодовой, вдовой на двадцать-пятомъ году, послѣ недолгаго замужества съ Бѣловодовымъ, служившимъ по дипломатической части.

Она была изъ стариннаго богатаго дома Пахотиныхъ. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ея, состоявшій въ полномъ распоряженіи супруги, почувствовавъ себя на свободѣ, вдругъ спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой, и что онъ не успѣлъ пожить и пожуировать.

Онъ повелъ-было жизнь холостяка, пересиливалъ годы и природу, но не пересилилъ, и только смотрѣлъ, какъ ѣли и пили другіе, а у него желудокъ не варилъ. Но онъ уже успѣлъ нанести смертельный ударъ своему состоянію.

У него, взамѣнъ наслажденій, которыми онъ пользоваться не могъ, явилось старческое тщеславіе имѣть видъ шалуна, и онъ сталъ вознаграждать себя за вѣрность въ супружествѣ сумасбродными связями, на которыя быстро ушли всѣ наличныя деньги, брильянты жены, наконецъ и бо́льшая часть приданаго дочери. На недвижимое имѣніе,

и безъ того заложенное имъ еще до женитьбы, наросли значительные долги.

Когда источники изсякли, онъ изрѣдка, въ годъ разъ, иногда два, сдѣлаетъ дорогую шалость, купитъ брильянты какой-нибудь Armance, экипажъ, сервизъ, ѣздитъ къ ней недѣли три, провожаетъ въ театръ, дѣлаетъ ей ужины, сзываетъ молодежь, а потомъ опять смолкнетъ до слѣдующихъ денегъ.

Николай Васильевичъ Пахотинъ былъ очень красивый сановитый старикъ, съ мягкими, почтенными сѣдинами. По виду, его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красивъ онъ былъ, когда съ гордостью велъ подъ руку Софью Николаевну куда-нибудь на балъ, на общественное гулянье. Незнавшіе его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потомъ фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обѣдъ, разсказывали на ухо пріятную исторію...

Старикъ шутилъ, разсказывалъ самъ направо и налѣво анекдоты, говорилъ каламбуры, особенно любилъ съ сверстниками жить воспоминаніями минувшей молодости и своего времени. Они съ восторгомъ припоминали, какъ графъ Борисъ или Денисъ проигрывалъ кучи золота; терзались тѣмъ, что сами тратили такъ мало, жили такъ мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любилъ Пахотинъ уноситься воспоминаніями въ Парижъ, когда въ четырнадцатомъ году русскіе явились великодушными побѣдителями, перещеголявшими любезностью тогдашнихъ французовъ, уже попорченныхъ въ этомъ отношеніи революціей, и превосходившими безумнымъ мотовствомъ широкую щедрость англичанъ.

Старикъ шутя проживалъ жизнь, всегда смѣялся, разсказывалъ только веселое, даже на драму въ театрѣ смотрѣлъ съ улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge актрисы.

Когда же наставало невеселое событіе, не обѣдъ, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался въ ней громовой раскатъ, когда около него возникалъ важный вопросъ, требовавшій мысли или воли, старикъ тупо недоумѣвалъ, впадалъ въ безпокойное молчаніе и только учащенно жевалъ губами.

У него былъ живой, игривый умъ, наблюдательность и нѣкогда смѣлые порывы въ характерѣ. Но шестнадцати лѣтъ онъ поступилъ въ гвардію, выучась отлично говорить, писать и пѣть по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипажъ и тысячъ двадцать дохода.

Никто лучше его не былъ одѣтъ, и теперь еще, въ старости, онъ даетъ законы вкуса портному; все на немъ сидитъ отлично, ходитъ онъ бодро, благородно, говоритъ съ увѣренностію и никогда не выходитъ изъ себя. Судитъ обо всемъ часто наперекоръ логикѣ, но владѣетъ софизмомъ съ необыкновенною ловкостью.

Съ нимъ можно не согласиться, но сбить его трудно. Свѣтъ, опытъ, вся жизнь его не дали ему никакого содержанія, и оттого онъ боится серьезнаго, какъ огня. Но тотъ же опытъ, жизнь всегда въ кучѣ людей, множество встрѣчъ и способность знакомиться со всѣми, образовывали ему какой-то очень пріятный, мелкій умокъ, и незнающій его съ перваго раза даже положится на его совѣтъ, сужденіе, и потомъ уже, жестоко обманувшись, разглядитъ, что это за человѣкъ.

Онъ не успѣлъ еще окунуться въ омутъ опасной, при праздности и деньгахъ, жизни, какъ на двадцать-пятомъ году его женили на дѣвушкѣ красивой, стараго рода, но холодной, съ деспотическимъ характеромъ, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его къ рукамъ.

Теперь Николай Васильевичъ Пахотинъ засѣдаетъ въ какомъ-то совѣтѣ разъ въ недѣлю, имѣетъ важный чинъ,

дней звѣзды, и томительно ожидаетъ третьей. Это его общественное значеніе.

Было у него другое ожиданіе—поѣхать за границу, т.-е. въ Парижъ, уже не съ оружіемъ въ рукахъ, а съ золотомъ, и тамъ пожить, какъ живали въ старину.

Онъ съ наслажденіемъ и завистью припоминалъ анекдоты временъ революціи, какъ одинъ знатный повѣса разбилъ тамъ чашку въ магазинѣ и въ отвѣтъ на упреки купца перебилъ и переломалъ еще множество вещей и заплатилъ за весь магазинъ; какъ другой перекупилъ у короля дачу и подарилъ танцовщицѣ. Оканчивалъ онъ разсказы вздохомъ сожалѣнія о прошломъ.

Вскорѣ послѣ смерти жены онъ-было попросился туда, но образъ его жизни, нравъ и его затѣи такъ были извѣстны въ обществѣ, что ему, въ отвѣтъ на просьбу, коротко отвѣчено было:—Не зачѣмъ. Онъ пожевалъ губами, похандрилъ, потомъ сдѣлалъ какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. Послѣ того, уже промотавшись окончательно, онъ въ Парижъ не порывался.

Кромѣ томительнаго ожиданія третьей звѣзды, у него было еще постоянное дѣло, постоянное стремленіе, забота, куда уходили его напряженное вниманіе, соображенія, вся его тактика, съ тѣхъ поръ, какъ онъ промотался — это извлекать изъ обѣихъ своихъ старшихъ сестеръ, пожилыхъ дѣвушекъ, тётокъ Софьи, денежныя средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца въ грошъ, но дорожили именемъ, которое онъ носилъ, репутаціей и важностью дома, преданіями, и потому, сверхъ опредѣленныхъ ему пяти тысячъ карманныхъ денегъ, въ разное время выдавали ему субсидіи около такой же суммы, и потомъ еще, съ выговорами, съ наставленіями, чуть не съ плачемъ, всегда къ концу года платили почти

— Оставимъ этотъ разговоръ, — сказалъ Райскій: — а то опять оба на стѣну полѣземъ, чуть не до драки. Я не понимаю твоихъ картъ, и ты въ правѣ назвать меня невѣждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красотѣ. Всякій по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иванъ Петровичъ такъ, я иначе, а ты никакъ,—ну, и при тебѣ!

— Ты играешь съ женщинами, какъ я вижу, — сказалъ Аяновъ.

— Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тутъ дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невѣста: женись и конецъ всему.

— Да—и конецъ всему, и начало скукѣ!—задумчиво повторилъ Райскій.—А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить не-зачѣмъ. Ты просто — донъ-Жуанъ!

— Да, донъ-Жуанъ, пустой человѣкъ: такъ, что ли, по-вашему?

— А какъ же: что жъ онъ по-твоему?

— Ну, такъ и Байронъ, и Гёте, и куча живописцевъ, скульпторовъ—все были пустые люди...

— Да ты—Байронъ или Гёте, что ли?..

Райскій съ досадой отвернулся отъ него.

— Донъ-жуанизмъ—то же въ людскомъ родѣ, что донъ-кихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнѣе...—сказалъ онъ.

— Коли потребность—такъ женись... я тебѣ говорю...

— Ахъ! — почти съ отчаяніемъ произнесъ Райскій. — Вѣдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуѣ? Донъ-Жуанъ наслаждался прежде всего

эстетически этой потребностью, но грубо; сынъ своего вѣка, воспитанія, нравовъ, онъ увлекался за предѣлы этого поклоненія—вотъ и все. Да что толковать съ тобой!

— Коли не жениться, такъ не зачѣмъ и ходить, — апатично повторилъ Аяновъ.

— А знаешь — ты отчасти правъ. Прежде всего скажу, что мои увлеченія всегда искренни и неумышленны: — это не волокитство — знай однажды и навсегда. И когда мой идолъ хоть одной чертой подходитъ къ идеалу, который фантазія сейчасъ создаетъ мнѣ изъ него—у меня само собою додѣлается остальное, и тогда возникаетъ идеалъ счастья, семейнаго...

— Вотъ видишь; ну, такъ и женись...—замѣтилъ Аяновъ.

— Погоди, погоди: никогда ни одинъ идеалъ не доживалъ до срока свадьбы: блѣднѣлъ, падалъ, и я уходилъ охлажденный... Что фантазія создаетъ, то анализъ разрушаетъ, какъ карточный домикъ. Или самъ идеалъ, не дождавшись охлажденія, уходитъ отъ меня...

— А все-таки, каждый день сидѣть съ женщиной и болтать!..—упрямо твердилъ Аяновъ, покачивая головой.— Ну, о чемъ, напримѣръ, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь отъ нея, если ее за тебя не выдадутъ?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь отъ ея тетокъ? Какія карты къ тебѣ придутъ? Выиграешь ты, или проиграешь? Развѣ ты ходишь съ тѣмъ туда, чтобъ выиграть всѣ шестьдесятъ тысячъ дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никакихъ расчетовъ нѣтъ: я дѣлаю это отъ... отъ... для удовольствія.

— Отъ... отъ скуки — видишь, и я для удовольствія — и тоже безъ расчетовъ. А какъ я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иванъ Петровичъ этого не поймете, не во гнѣвъ тебѣ и ему — вотъ и все. Вѣдь есть же одни, которые молятся страстно, а другіе не знаютъ этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мѣшаютъ жить. Трудъ — вотъ одно лѣкарство отъ пустоты: дѣло, — сказалъ Аяновъ внушительно.

Райскій остановился, остановилъ Аянова, ядовито улыбнулся и спросилъ:

— Какое дѣло, скажи, пожалуйста: это любопытно!

— Какъ какое? Служи.

— Развѣ это дѣло? Укажи ты мнѣ въ службѣ, за немногими исключеніями, дѣло, безъ котораго бы нельзя было обойтись?

Аяновъ засвисталъ отъ удивленія.

— Вотъ тебѣ разъ!—сказалъ онъ и поглядѣлъ около себя.—Да вотъ!

Онъ указалъ на полицейскаго чиновника, который упорно глядѣлъ въ одну сторону.

— А спроси его, — сказалъ Райскій: — зачѣмъ онъ тутъ стоитъ, и кого такъ пристально высматриваетъ и выжидаетъ? Генерала! А насъ съ тобой не видитъ, такъ что любой прохожій можетъ вытащить у насъ платокъ изъ кармана. Ужели ты считалъ дѣломъ твои бумаги? Не будемъ распространяться объ этомъ, а скажу тебѣ, что я, право, больше дѣлаю, когда мажу свои картины, брянчу на роялѣ и даже когда поклоняюсь красотѣ...

— И что особеннаго, кромѣ красоты, нашелъ ты въ своей кузинѣ?

— Кромѣ красоты! Да это все! Впрочемъ, я мало знаю ее: это-то, вмѣстѣ съ красотой, и влечетъ меня къ ней...

— Какъ, каждый день вмѣстѣ и мало знаешь?...

— Мало. Не знаю, что у нея кроется подъ этимъ спокойствіемъ, не знаю ея прошлаго и не угадываю ея будущаго. Женщина она, или кукла, живетъ или поддѣлывается подъ жизнь? И это мучитъ меня... Вонъ, смотри, — продолжалъ Райскій:—видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лѣзетъ съ узломъ на извозчика?

— Да, и вотъ эту, что глядитъ изъ окна кареты? И вонъ ту, что заворачиваетъ изъ-за угла навстрѣчу намъ?

— Ну, такъ что же?

— Ты на ихъ лицахъ мелькомъ прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признакъ воли: ну, словомъ,—движеніе, жизнь. Немного нужно, чтобъ подобрать ключъ и сказать, что тутъ семья и дѣти, значитъ, было прошлое, а тамъ глядитъ страсть или живой слѣдъ симпатіи,—значитъ есть настоящее, а здѣсь на молодомъ лицѣ играютъ надежды, просятся наружу желанія и пророчатъ безпокойное будущее...

— Ну?

— Ну, вездѣ что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А тамъ ничего этого нѣтъ, ничего, хоть шаромъ покати! Даже нѣтъ апатіи, скуки, чтобъ можно было сказать: была жизнь и убита — ничего! Сіяетъ и блеститъ, ничего не проситъ и ничего не отдастъ! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказалъ мнѣ это, и я удивляться пересталъ бы, потому что я самъ такой,—сказалъ Аяновъ, вдругъ останавливаясь.—Ходи ко мнѣ, вмѣсто нея...

— Ты?

— Да—я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствіемъ и наслаждаюсь этимъ; и она тоже... Что тебѣ за дѣло?..

— До тебя—никакого, а она—красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, такъ оставь, займись дѣломъ...

— Ты прежде заведи дѣло, въ которое могъ бы броситься живой умъ, гнушающійся мертвечины, и страстная душа, и укажи, какъ положить силы во что-нибудь, что стоитъ борьбы—а съ своими картами, визитами, раутами и службой—убирайся къ чорту!

— У тебя безпокойная натура, — сказалъ Аяновъ: — не было строгой руки и тяжелой школы—вотъ ты и куролесишь... Помнишь, ты разсказывалъ, когда твоя Наташа была жива...

Райскій вдругъ остановился и, съ грустью на лицѣ, схватилъ своего спутника за руку.

— Наташа! — повторилъ онъ тихо: — это единственный, тяжелый камень у меня на душѣ—не мѣшай память о ней въ эти мои впечатлѣнія и мимолетныя увлеченія...

Онъ вздохнулъ, и они молча дошли до Владимірской церкви, свернули въ переулокъ и вошли въ подъѣздъ барскаго дома.

II.

Райскій съ годъ только передъ этимъ познакомился съ Софьей Николаевной Бѣловодовой, вдовой на двадцать-пятомъ году, послѣ недолгаго замужества съ Бѣловодовымъ, служившимъ по дипломатической части.

Она была изъ стариннаго богатаго дома Пахотиныхъ. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ея, состоявшій въ полномъ распоряженіи супруги, почувствовавъ себя на свободѣ, вдругъ спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой, и что онъ не успѣлъ пожить и пожуировать.

Онъ повелъ-было жизнь холостяка, пересиливалъ годы и природу, но не пересилилъ, и только смотрѣлъ, какъ ѣли и пили другіе, а у него желудокъ не варилъ. Но онъ уже успѣлъ нанести смертельный ударъ своему состоянію.

У него, взамѣнъ наслажденій, которыми онъ пользоваться не могъ, явилось старческое тщеславіе имѣть видъ шалуна, и онъ сталъ вознаграждать себя за вѣрность въ супружествѣ сумасбродными связями, на которыя быстро ушли всѣ наличныя деньги, брильянты жены, наконецъ и большая часть приданаго дочери. На недвижимое имѣніе,

и безъ того заложенное имъ еще до женитьбы, наросли значительные долги.

Когда источники изсякли, онъ изрѣдка, въ годъ разъ, иногда два, сдѣлаетъ дорогую шалость, купитъ брильянты какой-нибудь Armance, экипажъ, сервизъ, ѣздитъ къ ней недѣли три, провожаетъ въ театръ, дѣлаетъ ей ужины, созываетъ молодежь, а потомъ опять смолкнетъ до слѣдующихъ денегъ.

Николай Васильевичъ Пахотинъ былъ очень красивый сановитый старикъ, съ мягкими, почтенными сѣдинами. По виду, его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красивъ онъ былъ, когда съ гордостью велъ подъ руку Софью Николаевну куда-нибудь на балъ, на общественное гулянье. Незнавшіе его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потомъ фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обѣдъ, разсказывали на ухо пріятную исторію...

Старикъ шутилъ, разсказывалъ самъ направо и налѣво анекдоты, говорилъ каламбуры, особенно любилъ съ сверстниками жить воспоминаніями минувшей молодости и своего времени. Они съ восторгомъ припоминали, какъ графъ Борисъ или Денисъ проигрывалъ кучи золота; тѣшились тѣмъ, что сами тратили такъ мало, жили такъ мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любилъ Пахотинъ уноситься воспоминаніями въ Парижъ, когда въ четырнадцатомъ году русскіе явились великодушными побѣдителями, перещеголявшими любезностью тогдашнихъ французовъ, уже попорченныхъ въ этомъ отношеніи революціей, и превосходившими безумнымъ мотовствомъ широкую щедрость англичанъ.

Старикъ шутя проживалъ жизнь, всегда смѣялся, разсказывалъ только веселое, даже на драму въ театрѣ смотрѣлъ съ улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge актрисы.

Когда же наставало невеселое событіе, не обѣдъ, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался въ ней громовой раскатъ, когда около него возникалъ важный вопросъ, требовавшій мысли или воли, старикъ тупо недоумѣвалъ, впадалъ въ безпокойное молчаніе и только учащенно жевалъ губами.

У него былъ живой, игривый умъ, наблюдательность и нѣкогда смѣлые порывы въ характерѣ. Но шестнадцати лѣтъ онъ поступилъ въ гвардію, выучась отлично говорить, писать и пѣть по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипажъ и тысячъ двадцать дохода.

Никто лучше его не былъ одѣтъ, и теперь еще, въ старости, онъ даетъ законы вкуса портному; все на немъ сидитъ отлично, ходитъ онъ бодро, благородно, говоритъ съ увѣренностію и никогда не выходитъ изъ себя. Судитъ обо всемъ часто наперекоръ логикѣ, но владѣетъ софизмомъ съ необыкновенною ловкостью.

Съ нимъ можно не согласиться, но сбить его трудно. Свѣтъ, опытъ, вся жизнь его не дали ему никакого содержанія, и оттого онъ боится серьезнаго, какъ огня. Но тотъ же опытъ, жизнь всегда въ кучѣ людей, множество встрѣчъ и способность знакомиться со всѣми, образовывали ему какой-то очень пріятный, мелкій умокъ, и незнающій его съ перваго раза даже положится на его совѣтъ, сужденіе, и потомъ уже, жестоко обманувшись, разглядитъ, что это за человѣкъ.

Онъ не успѣлъ еще окунуться въ омутъ опасной, при праздности и деньгахъ, жизни, какъ на двадцать-пятомъ году его женили на дѣвушкѣ красивой, стараго рода, но холодной, съ деспотическимъ характеромъ, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его къ рукамъ.

Теперь Николай Васильевичъ Пахотинъ засѣдаетъ въ какомъ-то совѣтѣ разъ въ недѣлю, имѣетъ важный чинъ,

двѣ звѣзды, и томительно ожидаетъ третьей. Это его общественное значеніе.

Было у него другое ожиданіе—поѣхать за границу, т.-е. въ Парижъ, уже не съ оружіемъ въ рукахъ, а съ золотомъ, и тамъ пожить, какъ живали въ старину.

Онъ съ наслажденіемъ и завистью припоминалъ анекдоты временъ революціи, какъ одинъ знатный повѣса разбилъ тамъ чашку въ магазинѣ и въ отвѣтъ на упреки купца перебилъ и переломалъ еще множество вещей и заплатилъ за весь магазинъ; какъ другой перекупилъ у короля дачу и подарилъ танцовщицѣ. Оканчивалъ онъ разсказы вздохомъ сожалѣнія о прошломъ.

Вскорѣ послѣ смерти жены онъ-было попросился туда, но образъ его жизни, нравъ и его затѣи такъ были извѣстны въ обществѣ, что ему, въ отвѣтъ на просьбу, коротко отвѣчено было:—Не затѣмъ. Онъ пожевалъ губами, похандрилъ, потомъ сдѣлалъ какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. Послѣ того, уже промотавшись окончательно, онъ въ Парижъ не порывался.

Кромѣ томительнаго ожиданія третьей звѣзды, у него было еще постоянное дѣло, постоянное стремленіе, забота, куда уходили его напряженное вниманіе, соображенія, вся его тактика, съ тѣхъ поръ, какъ онъ промотался — это извлекать изъ обѣихъ своихъ старшихъ сестеръ, пожилыхъ дѣвушекъ, тётокъ Софьи, денежныя средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца въ грошъ, но дорожили именемъ, которое онъ носилъ, репутаціей и важностью дома, преданіями, и потому, сверхъ опредѣленныхъ ему пяти тысячъ карманныхъ денегъ, въ разное время выдавали ему субсидіи около такой же суммы, и потомъ еще, съ выговорами, съ наставленіями, чуть не съ плачемъ, всегда къ концу года платили почти

столько же по счетамъ портныхъ, мебельщиковъ и другихъ купцовъ.

Онѣ знали, на какое употребленіе уходятъ у него деньги, но на это онѣ смотрѣли снисходительно, помня нестрогіе нравы повѣсъ своего времени и находя это въ мужчинѣ естественнымъ. Только онѣ, какъ нравственныя женщины, затыкали уши, когда онъ захочетъ похвастаться передъ ними своими шалостями, или когда кто другой вздумаетъ довести до ихъ свѣдѣнія о какомъ-нибудь его сумасбродствѣ.

Онъ былъ въ ихъ глазахъ пустой, никуда не годный, ни на какое дѣло, ни для совѣта, старикъ и плохой отецъ, но онъ былъ Пахотинъ, а родъ Пахотиныхъ уходитъ въ древность, портреты предковъ занимаютъ всю залу, а родословная не укладывается на большомъ столѣ, и въ родѣ ихъ было много лицъ съ громкимъ значеніемъ.

Онѣ гордились этимъ и прощали брату все за то только, что онъ Пахотинъ.

Сами онѣ блистали нѣкогда въ свѣтѣ, и по какимъ-то, кромѣ ихъ всѣми забытымъ причинамъ, остались дѣвами. Онѣ уединились въ родовомъ домѣ, и тамъ, въ семействѣ женатаго брата, доживали старость, окруживъ строгимъ вниманіемъ, попеченіями и заботами единственную дочь Пахотина, Софью. Замужество послѣдней разстроило-было ихъ жизнь, но она овдовѣла, лишилась матери и снова, какъ въ монастырь, поступила подъ авторитетъ и опеку тётокъ.

Онѣ были двѣ высокія, сѣдыя, чинныя старушки, ходившія дома въ тяжелыхъ, шелковыхъ темныхъ платьяхъ, большихъ чепцахъ, на рукахъ со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тикомъ и носила подъ чепцомъ бархатную шапочку, на плечахъ бархатную, подбитую горностаемъ кацавейку, а Анна Васильевна—сырцовыя букли и большую шаль.

У обѣихъ было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая, золотая табакерка, около нея нѣсколько носовыхъ платковъ и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и отъ старости не узнающая никого изъ домашнихъ, кромѣ своей хозяйки.

Домъ у нихъ былъ старый, длинный, въ два этажа, съ гербомъ на фронтонѣ, съ толстыми, массивными стѣнами, съ глубокими окошками и длинными простѣнками.

Въ домѣ тянулась безконечная анфилада обитыхъ штофомъ комнатъ: темные, тяжелые рѣзные шкапы, съ старымъ фарфоромъ и серебромъ, какъ саркофаги, стояли по стѣнамъ съ тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, безъ комфорта. Швейцаръ походилъ на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины въ темныхъ платьяхъ и чепцахъ. Экипажъ высокій, съ шелковой бахромой, лошади старыя, породистыя, съ длинными шеями и спинами, съ побѣлѣвшими отъ старости губами, при ѣздѣ крупно кивающія головой.

Комната Софьи смотрѣла нѣсколько веселѣе прочихъ, особенно когда присутствовала въ ней сама хозяйка: тамъ были цвѣты, ноты, множество современныхъ бездѣлокъ.

Еще бы немного побольше свободы, безпорядка, свѣта и шуму—тогда это былъ бы свѣжій, веселый и розовый пріютъ, гдѣ бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и пожалуй залюбиться.

Но цвѣты стояли въ тяжелыхъ, старинныхъ вазахъ, точно надгробныхъ урнахъ, горка массивнаго стараго серебра придавала еще больше античности комнатѣ. Да и тетки не могли видѣть безпорядка: чуть цвѣты раскинутся въ вазѣ прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила дѣвушку въ чепцѣ и приказывала собрать ихъ въ симметрію.

Если оказывалась книга, въ богатомъ переплетѣ, лежащей на диванѣ, на стулѣ, — Надежда Васильевна ставила

ее на полку; если западалъ слишкомъ вольный лучъ солнца и игралъ на хрусталѣ, на зеркалѣ, на серебрѣ,— Анна Васильевна находила, что глазамъ больно, молча указывала человѣку пальцемъ на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завѣса мѣрно падала съ петли и закрывала свѣтъ.

За то внизу, у Николая Васильевича, былъ полный безпорядокъ. Старыя преданія мѣшались тамъ съ слѣдами современнаго комфорта. Подлѣ тяжелаго буля стояла откидная кушетка отъ Гамбса, высокій, готическій каминъ прикрывался ширмами съ картинами фоблазовскихъ нравовъ, на столахъ часто утро заставало остатки ужина, на диванѣ можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, въ уборной его — цѣлый магазинъ косметическихъ снадобьевъ.

Какъ тихо и молчаливо было наверху, такъ внизу слышались часто звонкіе голоса, смѣхъ, всегда было тамъ живо, безпорядочно. Камердинеръ былъ у него французъ, съ почтительной рѣчью и наглымъ взглядомъ.

III.

Много комнатъ прошли Райскій и Аяновъ, прежде нежели добрались до жилья, то-есть до комнатъ, гдѣ сидѣли обѣ старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли въ гостиную, на нихъ захрипѣла моська, но не смогла полаять и, повертѣвшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула имъ, а Надежда Васильевна, въ отвѣтъ на поклоны, ласково поглядѣла на нихъ, съ удовольствіемъ высморкалась и сейчасъ же понюхала табаку, зная, что у ней будетъ партія.

— Ma cousine!—сказалъ Райскій, протянувъ руку Бѣловодовой.

Она поклонилась съ улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, Sophie, чтобы кушать давали.—сказала старшая тётка, когда гости усѣлись около стола.

Софья Николаевна поднялась-было съ мѣста, но Райскій предупредилъ ее и дернулъ шнурокъ.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обѣдать,—съ холоднымъ достоинствомъ обратилась старуха къ человѣку. — Да кушать давать! Ты что, Борисъ, опоздалъ сегодня: четверть шестого!—упрекнула она Райскаго.

Онъ былъ двоюроднымъ племянникомъ старухъ и троюроднымъ братомъ Софьи. Домъ его, тоже старый и когда-то богатый, былъ связанъ родствомъ съ домомъ Пахотиныхъ. Но познакомился онъ съ своей родней не больше года тому назадъ.

Въ этомъ онъ виноватъ былъ самъ. Старухи давно уже, услыхавъ его фамилію, освѣдомлялись, изъ тѣхъ ли онъ Райскихъ, которые происходили тогда-то, отъ тѣхъ-то, и жили тамъ-то?

Онъ зналъ объ этомъ, но притаился и пропустилъ этотъ вопросъ безъ вниманія, не находя ничего занимательнаго знакомиться съ скучнымъ, строгимъ, богатымъ домомъ.

Самъ онъ былъ не скученъ, не строгъ и не богатъ. Старину своего рода онъ не ставилъ ни во что, даже никогда объ этомъ не помнилъ и не думалъ.

Остался онъ еще въ дѣтствѣ сиротой, на рукахъ равнодушнаго, холостого опекуна, а тотъ отдалъ его сначала на воспитаніе родственницѣ, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнѣйшая женщина по сердцу, но далѣе своего уголка ничего знать не хотѣла, и тамъ въ тиши, среди садовъ и рощъ, среди семейныхъ и хозяйственныхъ хлопотъ маленькаго размѣра, провелъ Райскій нѣсколько лѣтъ, а чуть подросъ, опекунъ помѣстилъ его въ гимназію, гдѣ окончательно изгладились изъ памяти мальчика всѣ ро-

довыя преданія фамиліи о прежнемъ богатствѣ и родствѣ съ другими старыми домами.

Дальнѣйшее развитіе, занятія и направленіе еще болѣе отвели Райскаго отъ всѣхъ преданій старины.

И онъ не спѣшилъ сблизиться съ своими петербургскими родными, которые о немъ знали тоже по слуху. Но какъ-то зимой, Райскій однажды на балу увидѣлъ Софью, раза два говорилъ съ нею и потомъ уже сталъ искать знакомства съ ея домомъ. Это было всего легче сдѣлать черезъ отца ея: такъ Райскій и сдѣлалъ.

Онъ зналъ одну хорошенькую актрису и на вечерѣ у нея ловко подъѣхался къ старику, потомъ подарилъ ему портретъ этой актрисы своей работы, напомнилъ ему о своей фамиліи, о старыхъ связяхъ и скоро былъ представленъ старухамъ и дочери.

Онъ такъ обворожилъ старухъ, являясь то робкимъ, покорнымъ мудрой старости, то живымъ, веселымъ собесѣдникомъ, что онѣ скоро перешли на *ты* и стали звать его mon neveu, а онъ сталъ звать Софью Николаевну кузиной и пріобрѣлъ степень короткости и нѣкоторыя права въ домѣ, какихъ постороннему не пріобрѣсти во сто лѣтъ.

Но все-таки онъ еще былъ недоволенъ тѣмъ, что могъ являться по два раза въ день, приносить книги, ноты, приходить обѣдать запросто. Онъ привыкъ къ обществу новыхъ современныхъ нравовъ и къ непринужденному обхожденію съ женщинами.

А Софья мало оставалась одна съ нимъ: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; рѣдко разговоръ выходилъ изъ предѣловъ текущей жизни или родовыхъ воспоминаній.

А если затрагивались вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ клали на всякій разговоръ свою патентованную печать.

Райскій между тѣмъ сгоралъ желаніемъ узнать не Софью

Николаевну Бѣловодову—тамъ нечего было узнавать, кромѣ того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошаго рода и тона женщина — онъ хотѣлъ отыскать въ ней просто женщину, наблюсти и опредѣлить, что кроется подъ этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сіяющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстраго, жаждущаго, огненнаго, или наконецъ скучнаго, утомленнаго взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпѣливымъ, неосторожнымъ или порывистымъ словомъ?

Но она въ самомъ дѣлѣ прекрасна. Нужды нѣтъ, что она уже вдова, женщина; но на открытомъ, будто молочной бѣлизны бѣломъ лбу ея и благородныхъ, нѣсколько крупныхъ чертахъ лица, лежитъ дѣвическое, почти дѣтское выраженіе жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свѣтѣ страсти, тревоги, дикая игра событій и чувствъ, доводящія до пролитій, стирающія это сіяніе съ лица.

Большіе сѣро-голубые глаза полны ровнаго, не мерцающаго горѣнія. Но въ нихъ теплится будто и чувство; кажется, она не безсердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщаго благоволенія, доброты ко всему на свѣтѣ, — такое чувство, если только это чувство, какимъ свѣтятся глаза у людей сытыхъ, безаботныхъ, всѣмъ удовлетворенныхъ и не вѣдающихъ горя и нужды.

Волоса у нея были темные, почти черные, и густая коса ея сдерживалась большими булавками на затылкѣ. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвѣтъ лица, плечъ, рукъ—былъ цѣльный, свѣжій цвѣтъ, блистающій здоровьемъ, ничѣмъ нетронутымъ—ни болѣзнью, ни бѣдами.

Одѣвалась она просто, если разглядѣть подробно все, что на ней было надѣто, но казалась великолѣпно одѣтой. И

матерія ея платья какъ будто была особенная, и ботинки не такъ сидятъ на ней, какъ на другихъ.

Великолѣпной картиной, видѣніемъ явилась она Райскому гдѣ-то на вечерѣ въ первый разъ.

Въ другой вечеръ онъ увидѣлъ ее далеко, въ театрѣ, въ третій разъ опять на вечерѣ, потомъ на улицѣ — и всякій разъ картина оставалась вѣрна себѣ, въ блескѣ и краскахъ.

Напрасно онъ настойчивымъ взглядомъ хотѣлъ прочесть ея мысль, душу, все, что крылось подъ этой оболочкой: кромѣ глубокаго спокойствія онъ ничего не прочелъ. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея.

Всѣ находили, что она образецъ достоинства строгихъ понятій, comme il faut, жалѣли, что она лишена семейнаго счастья и ждали, когда новый гименей наложитъ на нее цѣпи.

Въ семействѣ, тётки и близкіе старики и старухи часто при ней гадали ей, въ томъ или другомъ искателѣ, мужа: то посланникъ являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившійся генералъ, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старикѣ, иностранцѣ, потомкѣ королевскаго, угасшаго рода. Она молчитъ и смотритъ беззаботно, какъ будто дѣло идетъ не о ней.

Другіе находили это натуральнымъ, даже высокимъ, sublime, только Райскій — Богъ знаетъ изъ чего, бился истребить это въ ней и хотѣлъ видѣть другое.

Она на его старанія смотрѣла ласково, съ улыбкой. Ни въ одной чертѣ никогда не было никакой тревоги, желанія, порыва.

Напрасно онъ, слыша раздирающій вопль на сценѣ, быстро глядѣлъ на нее—что она? Она смотрѣла на это безъ томительнаго, поглотившаго всю публику напряженія, безъ наивнаго состраданія.

И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая

всеобщій продолжительный хохотъ, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмѣненный съ бывшей съ ней въ ложѣ женщиной, взглядъ.

«И она была замужемъ!» — думалъ Райскій въ недоумѣніи.

Онъ познакомился съ ней и потомъ познакомилъ съ домомъ ея бывшаго своего сослуживца Аянова, чтобы два раза въ недѣлю дѣлать партію тёткамъ, а самъ, пользуясь этимъ скуднымъ средствомъ, сближался сколько возможно съ кузиной, урывками вслушивался, вглядывался въ нее, не зная, зачѣмъ, для чего?

IV.

Уже сѣли за столъ, когда пришелъ Николай Васильевичъ, одѣтый въ коротенькій сюртукъ, съ безукоризненно завязаннымъ галстукомъ, обритый, сіяющій бѣлизной жилета, моложавымъ видомъ и красивыми, душистыми сѣдинами.

— Bonjour, bonjour! — отвѣчалъ онъ, кивая всѣмъ. — Я не обѣдаю съ вами, не безпокойтесь, ne vous dérangez pas,— говорилъ онъ, когда ему предлагали сѣсть.—Я за городомъ сегодня.

— Помилуй, Nicolas, за городомъ! — сказала Анна Васильевна. — Вѣдь тамъ еще не растаяло... Или давно ревматизмъ не мучилъ?

Пахотинъ пожалъ плечами.

— Что, дѣлать! Ce que femme veut, Dieu le veut! Вчера la petite Nini заказала Виктору обѣдъ на фермѣ: «хочу, говоритъ, подышать свѣжимъ воздухомъ»... Вотъ и я хочу!..

— Пожалуйста, пожалуйста! — замахала рукой Надежда Васильевна:—поберегите подробности для этой petite Nini.

— Вы напрасно рискуете,—сказалъ Аяновъ:—я въ тепломъ пальто озябъ.

— Э! mon cher Иванъ Ивановичъ: а если бъ вы шубу надѣли, такъ и не озябли бы!..

— Parti de plaisir за городомъ — въ шубахъ! — сказалъ Райскій.

— За городомъ! — Ты уже представляешь себѣ, съ понятіемъ «за городомъ», — и зелень, и ручьи, и пастушковъ, а можетъ-быть и пастушку... Ты, артистъ! А ты представь себѣ загородное удовольствіе, безъ зелени, безъ цвѣтовъ...

— Безъ тепла, безъ воды...—перебилъ Райскій.

— И только съ воздухомъ... А воздухомъ можно дышать и въ комнатѣ. Итакъ, я ѣду въ шубѣ... Надѣну кстати бархатную ермолку подъ шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шумъ въ головѣ: все слышится, будто колокола звонятъ; вчера въ клубѣ около меня по-нѣмецки болтаютъ, а мнѣ кажется—грызутъ грецкіе орѣхи... А все же поѣду. О женщины!

— Это тоже—донъ-Жуанъ? — спросилъ тихонько Аяновъ у Райскаго.

— Да, въ своемъ родѣ. Повторяю тебѣ, донъ-Жуаны, какъ донъ-Кихоты, разнообразны до безконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклоненія красотѣ. Онъ поклоняется грубо, чувственно...

— Ну, братъ, какую ты метафизику устроилъ изъ красоты!

— Женщины,—продолжалъ Пахотинъ:—теперь только и находятъ развлеченіе съ людьми нашихъ лѣтъ. (Онъ никогда не называлъ себя старикомъ). И какъ онѣ любезны: напримѣръ, Pauline сказала мнѣ...

— Пожалуйста, пожалуйста! — заговорила съ нетерпѣніемъ Надежда Васильевна. — Уѣзжайте, если не хотите обѣдать...

— Ахъ, ma soeur! два слова, — обратился онъ къ старшей сестрѣ, и нагнувшись, тихо, съ умоляющимъ видомъ, что-то говорилъ ей.

— Опять!—съ холоднымъ изумленіемъ перебила Надежда Васильевна.—Нѣту!—упрямо сказала потомъ.

— Quinze cents!—умолялъ онъ.

— Нѣту, нѣту, mon frère: къ Святой недѣлѣ вы получили три тысячи, и ужъ нѣтъ... Это ни на что не похоже...

— Eh bien, mille roubles! Графу отдать: я у него на той недѣлѣ занялъ: совѣстно въ глаза смотрѣть.

— Нѣту и нѣту: а на меня вамъ не совѣстно смотрѣть?

Онъ отошелъ отъ нея и въ раздумьи пожевалъ губами.

— Вамъ сказывали люди, папа, что графъ сегодня заѣзжалъ къ вамъ?—спросила Софья, услыхавъ имя графа.

— Да; жаль, что не засталъ. Я завтра буду у него.

— Онъ завтра рано уѣзжаетъ въ Царское Село.

— Онъ сказалъ?

— Да, онъ заходилъ сюда. Онъ говоритъ, что ему нужно было видѣть васъ, дѣло какое-то...

Пахотинъ опять пожевалъ губами.

— Знаю, знаю, зачѣмъ! — вдругъ догадался онъ: — бумаги разбирать — merci, а къ Святой опять обошелъ меня, а Ильѣ дали! Qu'il aille se promener! Ты не была въ Лѣтнемъ саду?—спросилъ онъ у дочери. — Виноватъ, я не поспѣлъ...

— Нѣтъ, я завтра поѣду съ Catherine: она обѣщала заѣхать за мной.

Онъ поцѣловалъ дочь въ лобъ и уѣхалъ. Обѣдъ кончился; Аяновъ и старухи усѣлись за карты.

— Ну, Иванъ Иванычъ, не сердитесь, — сказала Анна Васильевна: — если опять забуду, да свою трефовую даму побью. Она мнѣ даже сегодня во снѣ приснилась. И какъ это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на рукахъ...

— Случается!—сказалъ любезно Аяновъ.

Райскій и Софья сидѣли сначала въ гостиной, потомъ перешли въ кабинетъ Софьи.

— Что вы дѣлали сегодня утромъ?—спросилъ Райскій.

— Ѣздила въ институтъ къ Лидіи.

— А! къ кузинѣ. Что она, мила? Скоро выйдетъ?

— Къ осени; а на лѣто мы ее возьмемъ на дачу. Да: она очень мила, похорошѣла, только еще смѣшна... и всѣ онѣ пресмѣшныя...

— А что?

— Окружили меня со всѣхъ сторонъ; отъ всего приходятъ въ восторгъ: отъ кружева, отъ платья, отъ серегъ; даже просили показать ботинки...—Софья улыбнулась.

— Что жъ, вы показали?

— Нѣтъ. Надо лѣтомъ отучить Лидію отъ этихъ наивностей...

— Зачѣмъ же отучить? Наивныя дѣвочки, которыхъ все занимаетъ, веселитъ, и слава Богу, что занимаютъ ботинки, потомъ займутъ ихъ деревья и цвѣты на нашей дачѣ... Вы и тамъ будете мѣшать имъ?

— О нѣтъ, цвѣты, деревья—кто жъ имъ будетъ мѣшать въ этомъ? Я только помѣшала имъ видѣть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

— Развѣ можно жить безъ лишняго, безъ ненужнаго?

— Кажется, вы сегодня опять намѣрены воевать со мной?—замѣтила она.—Только, пожалуйста, не громко, а то тётушки поймаютъ какое-нибудь слово и захотятъ знать подробности: скучно повторять.

— Если все свести на нужное и серьезное,—продолжалъ Райскій:—куда какъ жизнь будетъ бѣдна, скучна! Только что человѣкъ выдумалъ, прибавилъ къ ней — то и краситъ ее. Въ отступленіяхъ отъ порядка, отъ формы, отъ вашихъ скучныхъ правилъ только и есть отрады...

— Если бъ ma tante услыхала васъ на этомъ словѣ... «отступленія отъ правилъ»...—замѣтила Софья.

— Сейчасъ бы сказала: пожалуйста, пожалуйста,—досказалъ Райскій.—А вы что скажете?—спросилъ онъ. — Обой-

дитесь хоть однажды безъ «ma tante»! Или это вашъ собственный взглядъ на отступленія отъ правилъ, проведенный только черезъ авторитетъ ma tante?

— Вы, по обыкновенію, хотите изъ желанія дѣвочекъ, посмотрѣть ботинки, сдѣлать важное дѣло, разбранить меня и потомъ заставить согласиться съ вами... да?

— Да,—сказалъ Райскій.

— Что у васъ за страсть преслѣдовать мои бѣдныя правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тётушкины, бабушкины, дѣдушкины, прабабушкины, прадѣдушкины, вонъ всѣхъ этихъ полинявшихъ господъ и госпожъ въ робронахъ, манжетахъ...

Онъ указалъ на портреты.

— Вотъ видите, какъ много за мои правила,—сказала она шутливо.—А за ваши?

— Еще больше!—возразилъ Райскій и открылъ портьеру у окна.

— Посмотрите, всѣ эти идущіе, ѣдущіе, снующіе взадъ и впередъ, всѣ эти живые, не полинявшіе люди — всѣ за меня! Идите же къ нимъ, кузина, а не отъ нихъ назадъ! Тамъ — жизнь... — Онъ опустилъ портьеру. — А здѣсь — кладбище.

— По крайней мѣрѣ, можете ли вы, cousin, однажды навсегда сдѣлать resumé: какія это *ихъ* правила,—она указала на улицу:—въ чемъ они состоятъ, и отчего то, чѣмъ жило такъ много людей и такъ долго, вдругъ нужно мѣнять на другое, которымъ живутъ...

— Въ вашемъ вопросѣ есть и отвѣтъ:—«жило»,—сказали вы, и—отжило, прибавлю я. А эти,—онъ указалъ на улицу:—живутъ! Какъ живутъ — разсказать этого нельзя, кузина. Это значитъ разсказать вамъ жизнь вообще, и современную въ особенности. Я вотъ сколько времени разсказываю

вамъ всячески: въ спорахъ, въ примѣрахъ, читаю... а все не разскажу.

— Кто жъ виноватъ,—я?

— Вы, кузина; чего другого, а разсказывать я умѣю. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите изъ своего укрѣпленія... и я вамъ низко кланяюсь.

Онъ низко поклонился ей. Она смотрѣла на него съ улыбкой.

— Будемъ оба непоколебимы: не выходить изъ правилъ, кажется, это все...—сказала она.

— Не выходить изъ слѣпоты — не Богъ знаетъ, какой подвигъ!.. Міръ идетъ къ счастью, къ успѣху, къ совершенству...

— Но вѣдь я... совершенство, cousin? Вы мнѣ третьяго дня сказали, и даже собрались доказать, если бъ я только захотѣла слушать...

— Да, вы совершенны, кузина; но вѣдь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса—еще совершеннѣе васъ. Зато... ваша жизнь, ваши правила... куда какъ несовершенны!

— Что же надо дѣлать, чтобъ понять эту жизнь и ваши мудреныя правила?—спросила она покойнымъ голосомъ, показывавшимъ, что она не намѣрена была сдѣлать шагу, чтобъ понять ихъ, и говорила только потому, что объ этомъ зашла рѣчь.

— Что дѣлать?—повторилъ онъ.—Во-первыхъ, снять эту портьеру съ окна, и съ жизни тоже, и смотрѣть на все открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего тѣ старики полиняли и лгутъ вамъ, обманываютъ васъ безсовѣстно изъ своихъ позолоченныхъ рамокъ...

— Cousin!—съ улыбкой за рѣзкость выраженія вступилась Софья за предковъ.

— Да, да,—задорно продолжалъ Райскій?—они лгутъ. Вонъ посмотрите, этотъ напудренный старикъ съ сталь-

нымъ взглядомъ, — говорилъ онъ, указывая на портретъ, висѣвшій въ простѣнкѣ:—онъ былъ, говорятъ, строгъ даже къ семейству, люди боялись его взгляда... Онъ такъ и говоритъ со стѣны: «держи себя достойно», — чего: человѣка, женщины, что ли? нѣтъ, — «достойно рода, фамиліи», и если, Боже сохрани, явится человѣкъ съ вчерашнимъ именемъ, съ добытымъ собственной головой и руками значеніемъ —«не возводи на него глаза, помни, ты носишь имя Пахотиныхъ!..» Ни лишняго взгляда, ни смѣлой, естественной симпатіи... Боже сохрани отъ mésalliance! А самъ— кого удостоивалъ или кого не удостоивалъ сближенія съ собой? «Il faut bien placer ses affections!» говоритъ онъ на своемъ нечеловѣческомъ нарѣчіи, высказывающемъ нечеловѣческія понятія. А на какія affections разбросалъ самъ свою жизнь, здоровье? Положилъ ли эти affections на эту сухую старушку, съ востренькимъ носикомъ, жену свою?..— Райскій указалъ на другой женскій портретъ. — Нѣтъ, она смотритъ что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошаго тона, рода и приличій... какъ и вы, бѣдная, несчастная кузина...

— Cousin, cousin!—съ усмѣшкой останавливала его Софья.

— Да, кузина: вы обмануты; и ваши тётки прожили жизнь въ страшномъ обманѣ и принесли себя въ жертву призраку, мечтѣ, пыльному воспоминанію... Онъ велѣлъ!— говорилъ онъ, глядя почти съ яростью на портретъ:—самъ жилъ обманомъ, лукавствомъ или силою, моталъ, творилъ ужасы, а другимъ велѣлъ не любить, не наслаждаться!

— Cousin! пойдемте въ гостиную: я не сумѣю ничего отвѣчать на этотъ прекрасный монологъ... Жаль, что онъ пропадетъ даромъ!—чуть-чуть насмѣшливо замѣтила она.

— Да,—отвѣчалъ онъ:—предокъ торжествуетъ. Завѣщанныя имъ правила крѣпки. Онъ любуется вами, кузина: спокойствіе, безукоризненная чистота и сіяніе окружаютъ васъ, какъ ореолъ...

Онъ вздохнулъ.

— Все это лишнее, ненужное, cousin, — сказала она: — ничего этого нѣтъ. Предокъ не любуется на меня, и ореола нѣтъ, а я любуюсь на васъ и долго не поѣду въ драму: я вижу сцену здѣсь, не трогаясь съ мѣста... И знаете, кого вы напоминаете мнѣ? Чацкаго...

Онъ задумался, и самъ мысленно глядѣлъ на себя и улыбнулся.

— Это правда, я глупъ, смѣшонъ, — сказалъ онъ, подходя къ ней и улыбаясь весело и добродушно: — можетъ-быть я тоже съ корабля попалъ на балъ... Но и Фамусовы въ юбкѣ! — онъ указалъ на тётокъ. — Ужели лѣтъ черезъ пять, черезъ десять...

Онъ не досказалъ своей мысли, сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ рукой и сѣлъ на диванъ.

— О какомъ обманѣ, силѣ, лукавствѣ, говорите вы?— спросила она.—Ничего этого нѣтъ. Никто мнѣ ни въ чемъ не мѣшаетъ... Чѣмъ же виноватъ предокъ? Тѣмъ, что вы не можете разсказать своихъ правилъ? Вы много разъ принимались за это, и все напрасно...

— Да, съ вами напрасно, это правда, кузина! Предки ваши...

— И ваши тоже: у васъ тоже есть они.

— Предки наши были умные, ловкіе люди,—продолжалъ онъ:—гдѣ нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась въ преданіе—и вы гибнете систематически, по преданію, какъ индіянка, сожигающаяся съ трупомъ мужа...

— Послушайте, m-r Чацкій,—остановила она:—скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, отъ чего я гибну? Отъ того, что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... какъ вы это называете... развитію? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развитія, да? а я всякій день слышу, что вы скучаете... вы иногда наводите на всѣхъ скуку...

— И на васъ тоже?

— Нѣтъ, не шутя, мнѣ жаль васъ...

— Говоря о себѣ, не ставьте себя на ряду со мной, кузина: я уродъ, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знаетъ. Я больной, ненормальный человѣкъ, и притомъ я отжилъ, испортилъ, исказилъ... или нѣтъ, не понялъ своей жизни. Но вы цѣльны, опредѣленны, ваша судьба такъ ясна, и между тѣмъ я мучаюсь за васъ. Меня терзаетъ, что даромъ уходитъ жизнь, какъ рѣка, текущая въ пустынѣ... А то ли суждено вамъ природой? Посмотрите на себя...

— Что же мнѣ дѣлать, cousin: я не понимаю? Вы сейчасъ сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первыхъ, снять портьеру съ нея. Положимъ, она снята, и я не слушаюсь предковъ: я знаю, зачѣмъ, куда бѣгутъ всѣ эти люди,—она указала на улицу:—что ихъ занимаетъ, тревожитъ: что же нужно, во-вторыхъ?

— Во-вторыхъ, нужно...

Онъ всталъ, заглянулъ въ гостиную, подошелъ тихо къ ней и тихо, но внятно сказалъ:

— Любить!

— Voilà le grand mot!—насмѣшливо замѣтила она.

Оба молчали.

— Вы, кажется, и ихъ упрекали, зачѣмъ онѣ не любятъ,— съ улыбкой прибавила она, показавъ головой къ гостиной на тётокъ.

Райскій махнулъ съ досадой на тётокъ рукой.

— Вы будто лучше тётокъ, кузина?— возразилъ онъ.— Только онѣ стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослѣпительны...

— Mercі, mercі,— нетерпѣливо перебила она, съ своей обыкновенной, какъ будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значитъ любить, какъ я понимаю любовь?

— Зачѣмъ? Мнѣ не нужно это знать.

— Нѣтъ, вы не смѣете спросить!

— Почему?

— Они услышатъ.—Райскій указалъ на портреты предковъ.—Онѣ не велятъ...—Онъ указалъ въ гостиную на тётокъ.

— Нѣтъ, *онъ* услышитъ! — сказала она, указывая на портретъ своего мужа во весь ростъ, стоявшій надъ диваномъ, въ готической золоченой рамѣ.

Она встала, подошла къ зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шеѣ.

Райскій между тѣмъ изучалъ портретъ мужа: тамъ видѣлъ онъ сѣрые глаза, острый, небольшой носъ, иронически сжатыя губы и коротко-остриженные волосы, рыжеватыя бакенбарды. Потомъ взглянулъ на ея роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовалъ того счастливца, который могъ бы, по праву сердца, велѣть или не велѣть этой богинѣ.

«Нѣтъ, нѣтъ, не этотъ!» думалъ онъ, глядя на портретъ: «это тоже предокъ, не успѣвшій еще полинять; не ему, а принципу своему покорна ты...»

— Вы такъ часто обращаетесь къ своему любимому предмету, къ любви, а посмотрите, cousin, вѣдь мы ужъ стары, пора перестать думать объ этомъ! — говорила она, кокетливо глядя въ зеркало.

— Значитъ, пора перестать жить... Я—положимъ, а вы, кузина?

— Какъ же живутъ другіе, почти всѣ?

— Никто!—съ увѣренностью перебилъ онъ.

— Какъ? По-вашему, князь Пьеръ, Анна Борисовна, Левъ Петровичъ... всѣ они...

— Живутъ—или воспоминаніями любви, или любятъ, да притворяются...

Она засмѣялась и стала собирать въ симметрію цвѣты, потомъ опять подошла къ зеркалу.

— Да, любили или любятъ, конечно, про себя, и не дѣлаютъ изъ этого никакихъ исторій, — досказала она и пошла-было къ гостиной.

— Одно слово, кузина!—остановилъ онъ ее.

— О любви?—спросила она, останавливаясь.

— Нѣтъ, не бойтесь, по крайней мѣрѣ теперь я не расположенъ къ этому. Я хотѣлъ сказать другое.

— Говорите,—мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо къ дѣлу: скажите мнѣ, откуда вы берете это спокойствіе, какъ удается вамъ сохранить тишину, достоинство, эту свѣжесть въ лицѣ, мягкую увѣренность и скромность въ каждомъ мѣриомъ движеніи вашей жизни? Какъ вы обходитесь безъ борьбы, безъ увлеченій, безъ паденій и безъ побѣдъ! Что вы дѣлаете для этого?

— Ничего! — съ удивленіемъ сказала она. — Зачѣмъ вы хотите, чтобъ со мной дѣлались какія-то конвульсіи?

— Но вѣдь вы видите другихъ людей около себя, не такихъ, какъ вы, а съ тревогой на лицѣ, съ жалобами.

— Да, вижу и жалѣю: ma tante, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тикъ, а папа на приливы...

— А другіе, а всѣ?—перебилъ онъ:—развѣ такъ живутъ? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачутъ, томятся, а вы нѣтъ? Отчего другимъ по три раза въ день приходится тошно жить на свѣтѣ, а вамъ нѣтъ? Отчего они мечутся, любятъ и ненавидятъ, а вы нѣтъ...

— Вы про тѣхъ говорите, — спросила она, указывая головой на улицу:—кто тамъ бѣгаетъ, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю жизни. Да, я не знаю этихъ людей и не понимаю ихъ жизни. Мнѣ дѣла нѣтъ...

— Дѣла нѣтъ! Вѣдь это значитъ дѣла нѣтъ до жизни!— почти закричалъ Райскій, такъ что одна изъ тётокъ очнулась на минуту отъ игры и сказала имъ громко:

— Что вы все тамъ спорите: не подеритесь!.. И о чемъ это они?

— Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, какъ будто я мертвая! Я предвижу, что̀ будетъ дальше,—сказала она, засмѣявшись, такъ что показались прекрасные зубы.— Сейчасъ дойдемъ до правилъ и потомъ... до любви.

— Нѣтъ, не отжилъ еще Олимпъ! — сказалъ онъ. — Вы, кузина, просто олимпійская богиня — вотъ и конецъ объясненію, — прибавилъ, какъ будто съ отчаяніемъ, что не удается ему всколебать это море.—Пойдемте въ гостиную!

Онъ всталъ. Но она сидѣла.

— Вы не удостоиваете смертныхъ снизойти до нихъ, взглянуть на ихъ жизнь, живете олимпійскимъ неподвижнымъ блаженствомъ, вкушаете нектаръ и амбозію—и благо вамъ!

— Чего же еще: у меня все есть, и ничего мнѣ не надо...

Она не успѣла кончить, какъ Райскій вскочилъ.

— Вы высказали свой приговоръ сами, кузина,—напалъ онъ бурно на нее:—«у меня все есть, и ничего мнѣ не надо!» А спросили ли вы себя хоть разъ о томъ: сколько есть на свѣтѣ людей, у которыхъ ничего нѣтъ и которымъ все надо? Осмотритесь около себя: около васъ шелкъ, бархатъ, бронза, фарфоръ. Вы не знаете, какъ и откуда является готовый обѣдъ, у крыльца ждетъ экипажъ и везетъ васъ на балъ и въ оперу. Десять слугъ не дадутъ вамъ пожелать и исполняютъ почти ваши мысли... Не дѣлайте знаковъ нетерпѣнія: я знаю, что все это общія мѣста... А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кѣмъ доставляется вамъ. Конечно, не думаете. Изъ деревни приходятъ отъ управляющаго въ контору деньги, а вамъ приносятъ на серебряномъ подносѣ, и вы, не считая, прячете въ туалетъ...

— Тётушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себѣ,— сказала она: — а я, какъ институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдаетъ мнѣ, вы знаете, съ какими наставленіями.

— Да, но выдастъ. Вы выслушаете наставленія и потомъ тратите деньги. А если бъ вы знали, что тамъ, въ зной, жнетъ беременная баба...

— Cousin!—съ ужасомъ попробовала она остановить его, но это было не легко, когда Райскій входилъ въ пафосъ.

— Да, а ребятишекъ бросила дома — они ползаютъ съ курами, поросятами, и если нѣтъ какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь ихъ каждую минуту виситъ на волоскѣ: отъ злой собаки, отъ проѣзжей телѣги, отъ дождевой лужи... А мужъ ея бьется тутъ же, въ бороздахъ на пашнѣ, или тянется съ обозомъ въ трескучій морозъ, чтобъ добыть хлѣба, буквально хлѣба—утолить голодъ съ семьей, и между прочимъ внести въ контору пять или десять рублей, которые потомъ приносятъ вамъ на подносѣ... Вы этого не знаете: «вамъ дѣла нѣтъ», говорите вы...

На ея лицо легла тѣнь непривычнаго безпокойства, недоумѣнія.

— Чѣмъ же я тутъ виновата, и что я могу сдѣлать?— тихо сказала она, смиренно и безъ иронiи.

— Я не проповѣдую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвѣчаю на вашъ вопросъ: «что дѣлать», и хочу доказать, что никто не имѣетъ права не знать жизни. Жизнь сама тронетъ, коснется, пробудитъ отъ этого блаженнаго успенія—и иногда очень грубо. Научить «что дѣлать» — я тоже не могу, не умѣю. Другіе научатъ. Мнѣ хотѣлось бы разбудить васъ: вы спите, а не живете. Что изъ этого выйдетъ, я не знаю—но не могу оставаться и равнодушнымъ къ вашему сну.

— А вы сами, cousin, что дѣлаете съ этими несчастными: вѣдь у васъ есть тоже мужики и эти... бабы? — спросила она съ любопытствомъ.

— Мало дѣлаю, или почти ничего, къ стыду моему, или тѣхъ, кто меня воспитывалъ. Я давно вышелъ изъ опеки, а управляетъ все тотъ же опекунъ—и я не знаю, какъ. Есть

у меня еще бабушка, въ другомъ уголкѣ—тамъ какой-то клочокъ земли есть: въ ихъ рукахъ все же лучше, нежели въ моихъ. Но я, по крайней мѣрѣ, не считаю себя въ правѣ отговариваться невѣдѣніемъ жизни — знаю кое-что, говорю объ этомъ, вотъ хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю—и все же дѣлаю. Но кромѣ того, я выбралъ себѣ дѣло: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... — досказалъ онъ тихо, и смотрѣлъ на конецъ своего сапога.

— Это очень серьезно, что̀ вы мнѣ сказали!—произнесла она задумчиво.— Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Paul, мужъ мой, никогда мнѣ не говорили этого — и никто. Иванъ Петровичъ, управляющій, привозилъ бумаги, счеты, я слышала, говорили иногда о хлѣбѣ, о неурожаѣ. А... о бабахъ этихъ... и о ребятишкахъ... никогда.

— Да, это mauvais genre! Вѣдь при васъ даже неловко сказать «мужикъ», или «баба», да еще беременная... Вѣдь «хорошій тонъ» не велитъ человѣку быть самимъ собой... Надо стереть съ себя все свое и походить на всѣхъ!

— Когда-нибудь... мы проведемъ лѣто въ деревнѣ, cousin,—сказала она живѣе обыкновеннаго: — пріѣзжайте туда и... и мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками — это прежде всего. Потомъ попросимъ Ивана Петровича не посылать... этихъ бабъ работать... Наконецъ, я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ...

— Ну, ихъ положитъ въ свой карманъ Иванъ Петровичъ. Оставимъ это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономіи, до соціализма и коммунизма—я въ этомъ не силенъ. Довольно того, что я потревожилъ ваше спокойствіе. Вы говорите, что дурно уснете — вотъ это и нужно: завтра не будетъ, можетъ-быть, этого сіянія на лицѣ, но за то оно засіяетъ другой, не ангельской, а человѣческой красотой. А современемъ вы постараетесь узнать, нѣтъ ли

и за вами какого-нибудь дѣла, кромѣ визитовъ и праздпаго спокойствія, и будете уже съ другими мыслями глядѣть и туда, на улицу. Представьте только себя тамъ, хоть изрѣдка: напримѣръ, если бъ вамъ пришлось идти пѣшкомъ въ зимній вечеръ, одной взбираться въ пятый этажъ, давать уроки? Если бъ вы не знали, будетъ ли у васъ топлена комната, и выработаете ли вы себѣ, на башмаки и на салопъ,—да еще не себѣ, а дѣтямъ? И потомъ убиваться неотступною мыслью, что̀ вы сдѣлаете съ ними, когда упадутъ силы?... И жить подъ этой мыслью, какъ подъ тучей, десять, двадцать лѣтъ...

— C'est assez, cousin!—нетерпѣливо сказала она.—Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, повѣрить имъ, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Такъ вотъ тѣ principes... А что̀ дальше?—спросила она.

— Дальше... любить... и быть любимой...

— И что жъ потомъ?

— Потомъ... «плодиться, множиться и населять землю»: а вы не исполняете этого завѣта...

Она покраснѣла, и какъ ни крѣпилась, но засмѣялась, и онъ тоже, довольный тѣмъ, что она сама помогла ему такъ опредѣлительно высказаться о конечной цѣли любви.

— А если я любила?—отозвалась она.

— Вы?—спросилъ онъ, вглядываясь въ ея безстрастное лицо.—*Вы* любили и... страдали?

— Я была счастлива. Зачѣмъ непремѣнно страдать?

— Вы оттого и не знаете жизни, не вѣдаете чужихъ скорбей: кому что̀ нужно, зачѣмъ мужикъ обливается потомъ, раба жнетъ въ нестерпимый зной — все оттого, что вы не любили! А любить, не страдая—нельзя. Нѣтъ!—сказалъ онъ:—если бъ лгалъ вашъ языкъ, не солгали бы глаза,

измѣнились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорятъ, что вы какъ будто вчера родились...

— Вы поэтъ, артистъ, cousin, вамъ, можетъ-быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что̀ еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей...

— Это я вижу, кузина; но поймете ли? — вотъ что хотѣлъ бы я знать! Любили и никогда не выходили изъ вашего олимпійскаго спокойствія?

Она отрицательно покачала головой.

— Какъ это вы дѣлали, разскажите! Такъ же сидѣли, глядѣли на все покойно, такъ же, съ помощью вашихъ двухъ фей, медленно одѣвались, покойно ждали кареты, чтобъ ѣхать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу изъ себя, тысячу разъ не спросили себя мысленно, тамъ ли онъ, ждетъ ли, думаетъ ли? не изнемогли ни разу, не покраснѣли отъ напрасно потерянной минуты, или отъ счастья, увидя, что онъ тамъ? И не сбѣжала краска съ лица, не являлся ни испугъ, ни удивленіе, что его нѣтъ?

Она отрицательно покачала головой.

— Не приходилось вамъ обрадоваться, броситься къ нему, не найти словъ, когда онъ войдетъ вотъ сюда...

— Нѣтъ,—сказала она съ прежней усмѣшкой.

— А когда вы ложились спать...

Въ лицѣ у ней появилось безпокойство.

— Не стоялъ онъ тутъ?..—продолжалъ онъ.

— Что̀ вы, cousin!—почти съ ужасомъ сказала она.

— Не стоялъ онъ хоть въ воображеніи у васъ, не наклонялся къ вамъ?..

— Нѣтъ, нѣтъ...—отвергала она, качая головой.

— Не бралъ за руку, не раздавался поцѣлуй?..

Краска разлилась по ея щекамъ.

— Cousin, я была замужемъ, вы знаете... assez, assez, de grâce...

— Если бъ вы любили, кузина, — продолжалъ онъ, не слушая ее: — вы должны помнить, какъ дорого вамъ было проснуться послѣ такой ночи, какъ радостно знать, что вы существуете, что есть міръ, люди и *онъ*...

Она опустила длинныя рѣсницы и дослушивала съ нетерпѣніемъ, шевеля концомъ ботинки.

— Если этого не было, какъ же вы любили, кузина? — заключилъ онъ вопросомъ.

— Иначе.

— Разскажите: зачѣмъ таить *возвышенную* любовь?..

— Не таю: въ ней не было ничего ни таинственнаго, ни возвышеннаго, а такъ, какъ у всѣхъ...

— Ахъ, только не у всѣхъ, нѣтъ, нѣтъ! И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что̀ будетъ съ нами, съ этой скучной комнатой? Цвѣты не будутъ стоять такъ симметрично въ вазахъ, и все здѣсь заговоритъ о любви.

— Довольно, довольно! — остановила она съ полу-улыбкой, не отъ скуки нетерпѣнія, а подъ вліяніемъ какъ будто утомленія отъ раздражительнаго спора.

— Я воображаю себѣ обѣихъ тетушекъ, если бъ въ комнатѣ поселился безпорядокъ, — сказала она, смѣясь: — разбросанныя книги, цвѣты — и вся улица смотритъ свободно сюда!..

— Опять тетушки!—упрекнулъ онъ.—Ни шагу безъ нихъ! И всю жизнь такъ?

— Да... конечно,—задумавшись, сказала она.—Какъ же?

— А сами что̀? Ужели ни одного свободнаго побужденія, собственнаго шага, каприза, шалости, хоть глупости!..

Она думала, казалось, припоминала что-то, потомъ вдругъ улыбнулась и слегка покраснѣла.

— А! кузина, вы краснѣете? значитъ, тетушки не всегда сидѣли тутъ, не все видѣли и знали! Скажите мнѣ, что̀ такое!—умолялъ онъ.

— Я вспомнила въ самомъ дѣлѣ одну глупость и когда-нибудь разскажу вамъ. Я была еще дѣвочкой. Вы увидите, что и у меня были, и слезы, и трепетъ, и краска... et tout ce que vous aimez tant! Но разскажу съ тѣмъ, чтобы вы больше о любви, о страстяхъ, о стонахъ и вопляхъ не говорили. А теперь пойдемте къ тетушкамъ.

Онъ вышелъ въ гостиную, а она подошла къ горкѣ, взяла флаконъ, налила нѣсколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потомъ оправилась у зеркала и вышла въ гостиную.

Она сѣла подлѣ тетокъ и стала пристально слѣдить за игрою, а Райскій за нею.

Она была покойна, свѣжа. А ему втѣснилось въ душу напротивъ безпокойство, желаніе узнать, что у ней теперь на умѣ, что въ сердцѣ, хотѣлось прочитать въ глазахъ, затронулъ ли онъ хоть нервы ея; но она ни разу не подняла на него глазъ. И потомъ уже, когда послѣ игры подняла, заговорила съ нимъ—все то же въ лицѣ, какъ вчера, какъ третьяго дня, какъ полгода назадъ.

«Чѣмъ и какъ живетъ эта женщина! Если не гложетъ ее мука, если не волнуютъ надежды, не терзаютъ заботы,— если она въ самомъ дѣлѣ «выше міра и страстей», отчего она не скучаетъ, не томится жизнью... какъ скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!»

V.

— Ну, что ты сдѣлалъ?—спросилъ Райскій Аянова, когда они вышли на улицу.

— Сорокъ пять рублей выигралъ: а ты?

Райскій пожалъ плечами и передалъ содержаніе разговора съ Софьей.

— Что жъ, и это дѣло отъ бездѣлья. Ну, и весело?

— Глупое слово: весело! Только дѣти и французы ухитряются веселиться: s'amuser.

— Какъ же назвать то, что ты дѣлаешь—и зачѣмъ?

— Я ужъ сказалъ тебѣ зачѣмъ,—сердито отозвался Райскій.—Затѣмъ, что красота ея увлекаетъ, раздражаетъ — и скуки нѣтъ—я наслаждаюсь—понимаешь? Вотъ у меня теперь шевелится мысль писать ея портретъ. Это займетъ мѣсяцъ, потомъ буду изучать ее...

— Смотри, не влюбись,—замѣтилъ Аяновъ. — Жениться нельзя, говоришь ты, а играть въ страсти съ ней тоже нельзя. Когда-нибудь такъ обожжешься...

— Кому ты это говоришь! — перебилъ Райскій. — Какъ будто я не знаю! А я только и во снѣ, и наяву вижу, какъ бы обжечься. И если бъ когда-нибудь обжегся неизлѣчимою страстью, тогда бы и женился на той... Да нѣтъ: страсти — или излѣчиваются, или, если неизлѣчимы, кончаются не свадьбой. Нѣтъ для меня мирной пристани: или горѣніе, или—сонъ и скука!

— И чѣмъ ты сегодня не являлся передъ кузиной! Она тебя Чацкимъ назвала... А ты былъ и донъ-Жуанъ, и донъ-Кихотъ вмѣстѣ. Вотъ умудрился! Я не удивлюсь, если ты надѣнешь рясу и начнешь вдругъ проповѣдывать...

— И я не удивлюсь,—сказалъ Райскій:—хоть рясы и не надѣну, а проповѣдывать могу—и искренно, всюду, гдѣ замѣчу ложь, притворство, злость — словомъ, отсутствіе красоты, нужды нѣтъ, что самъ бываю безобразенъ... Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы — и пойдетъ играть!.. Знаешь что, Аяновъ, у меня давно засѣла серьезная мысль—писать романъ. И я хочу теперь посвятить все свое время на это.

Аяновъ засмѣялся.

— Серьёзная мысль! — повторилъ онъ: — ты говоришь о романѣ, какъ о серьёзномъ дѣлѣ! А вправду: пиши, тебѣ больше нечего дѣлать, какъ писать романы...

— Ты не смѣйся и не шути: въ романъ все уходитъ—это не то, что драма или комедія—это, какъ океанъ: бере-

говъ нѣтъ, или не видать; не тѣсно, все умѣстится тамъ. И знаешь, кто навелъ меня на мысль о романѣ: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

— Актрису?

— Та, это очень смѣшно. Она милая женщина и хитрая, и себѣ на умѣ въ своихъ дѣлахъ, какъ всѣ женщины, когда онѣ, какъ рыбы, не лѣзутъ изъ воды на берегъ, а остаются въ водѣ, т. е. въ своей сферѣ...

— Ну, что же она?

— Ну, она разсказала вотъ что про себя. Подходилъ ея бенефисъ, а пьесы не было: драматурговъ у насъ не много: что у кого было, тѣ обѣщали другимъ, а переводную ей давать не хотѣлось. Она и вздумала сочинить сама...

— Не боги горшки обжигаютъ! пришло видно ей въ голову,—сказалъ Аяновъ.

— Именно. И съ какой милой наивностью повѣряла она мнѣ свои соображенія. Напримѣръ, говоритъ, въ «Горѣ отъ ума» — excusez du peu — всѣ лица самые обыкновенные люди, говорятъ о самыхъ простыхъ предметахъ, и случай взятъ простой: влюбился Чацкій, за него не выдали, полюбили другого, онъ узналъ, разсердился и уѣхалъ. Отецъ разсердился на обоихъ, она на Молчалина—и все!.. И у Мольера, говоритъ, скупой—скупъ, Тартюфъ—подлый лицемѣръ. Можно даже, говоритъ, придумать похитрѣе, поинтереснѣе интригу. Словомъ, комедія ей казалась также мало серьезнымъ дѣломъ, какъ тебѣ кажется романъ. За трагедію она не бралась: тутъ она скромно сознавалась въ своей несостоятельности. А за комедію взялась и въ недѣлю написала листовъ десять: я просилъ показать — ни за что! «Что же, кончили?» спросилъ я. — «Какъ ни билась, не доходитъ до конца», говоритъ: «лица все разговариваютъ и не могутъ перестать, такъ и бросила». Бѣдняжка! Жаль, что ей попадобилась комедія, въ которой нужны и начало и конецъ, и завязка и развязка, а если бъ она писала ро-

манъ, то, можетъ-быть, и не бросила бы. И лица у ней не все разговаривали бы до сихъ поръ. Я буду писать романъ, Аяновъ. Въ романѣ укладывается вся жизнь, и цѣликомъ, и по частямъ.

— Своя, или чужая?—спросилъ Аяновъ.—Ты этакъ, пожалуй, всѣхъ насъ вставишь...

— Не безпокойся. Что̀ хорошо подъ кистью, въ другомъ искусствѣ не годится. Все зависитъ отъ красокъ и немногихъ соображеній ума, яркости воображенія и своеобразія во взглядѣ. Немного юмора да чувства, и искренности да воздержности, да... поэзіи...

Онъ замолчалъ и шелъ задумчиво.

— Excusez du peu!—повторилъ и Аяновъ.—Пиши, что̀ взбрело на умъ, что̀-нибудь да выйдетъ.

Райскій вздохнулъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ:—нужно еще одно, я не упомянулъ: это... талантъ.

— Конечно, безграмотный не напишетъ...

— Ты грамотный, что жъ ты не пишешь? — перебилъ Райскій.

— Зачѣмъ? У меня есть что̀ писать. Я дѣло пишу...

— Опять ты хвастаешься «дѣломъ»! Я думаю, если ты перестанешь писать—вотъ тогда и будетъ дѣло.

— А романъ твой дастъ мнѣ окладъ въ пять тысячъ, да квартиру съ отопленіемъ, да чинъ, да?..

— И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловѣчимся?

— Я сталъ очеловѣчиваться съ тѣхъ поръ, какъ началъ получать по двѣ тысячи, и теперь вотъ понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны съ экономическими...

— Знаю, знаю; но зачѣмъ ты такъ храбришься этимъ цинническимъ эгоизмомъ?

Аяновъ собрался-было запальчиво отвѣчать, но въ эту

минуту наѣзжала карета, кучеръ закричалъ имъ, и споръ не пошелъ дальше.

— Такъ живопись—прощай!—сказалъ Аяновъ.

— Какъ прощай: а портретъ Софьи?.. На-дняхъ начну. Я забросилъ академію и не видался ни съ кѣмъ. Завтра пойду къ Кириллову: ты его знаешь?

— Не помню, кажется, видѣлъ: нечесаный такой...

— Да, но глубокій, истинный художникъ, какихъ нѣтъ теперь: послѣдній Могиканъ!.. Напишу только портретъ Софьи и покажу ему, а тамъ попробую силы на романѣ. Я записывалъ и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня родъ творчества; не удастся ли тамъ?

— Послушай, Райскій, сколько я тутъ понимаю, надо тебѣ бросить прежде не живопись, а Софью, и не дѣлать романовъ, если хочешь писать ихъ... Лучше пиши по утрамъ романъ, а вечеромъ играй въ карты: по маленькой, въ коммерческую... это не раздражаетъ.

— А это-то и нужно для романа, т. е. раздраженіе. Да тронь я карты, такъ я стащу и съ тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и тамъ: слава Богу, я никогда не заглядывался въ нее, а если загляну — такъ ужъ выйдетъ не романъ, а трагедія. Впрочемъ, ты дѣло говоришь: двумъ господамъ служить нельзя! Дай мнѣ кончить какъ-нибудь эту исторію съ Софьей, написать ея портретъ, и тогда, подъ вліяніемъ впечатлѣнія ея красоты, я, я... Вотъ пусть эта звѣзда, какъ ее... ты не знаешь? и я не знаю, ну да все равно, — пусть она будетъ свидѣтельницей, что я наконецъ слажу съ чѣмъ-нибудь: или съ живописью, или съ романомъ. Романъ—да! Смѣшать свою жизнь съ чужою, занести эту массу наблюденій, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущеній, чувствъ... une mer à boire!

Они молча шли. Аяновъ насвистывалъ, а Райскій шелъ, склоня голову, думая то о Софьѣ, то о романѣ. На пе-

перекресткѣ, гдѣ предстояло расходиться, Райскій вдругъ спросилъ:

— Когда же опять туда?

— Куда туда?

— А къ Софьѣ.

— Ты опять? а я думалъ, что ты ужъ работаешь надъ романомъ, и не мѣшалъ тебѣ.

— Я тебѣ сказалъ: жизнь—романъ, и романъ—жизнь.

— Чья жизнь?

— Всякая, даже твоя!

— Въ среду тётки звали играть.

— Долго, но нечего дѣлать—до среды!

VI.

Райскій лѣтъ десять живетъ въ Петербургѣ, т. е. у него тамъ есть пріютъ, три порядочныя комнаты, которыя онъ нанимаетъ у нѣмки и постоянно оставляетъ квартиру за собой, а самъ рѣдко полгода выживалъ въ Петербургѣ, съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ службу.

А оставилъ онъ ее давно, какъ только вступилъ. Поглядѣвши вокругъ себя, онъ вывелъ свое оригинальное заключеніе, что служба не есть сама цѣль, а только средство куда-нибудь дѣвать кучу люда, которому безъ нея не зачѣмъ бы родиться на свѣтъ. И если бъ не было этихъ людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несутъ.

Его опредѣлилъ, сначала въ военную, потомъ въ статскую службу, опекунъ, онъ же и двоюродный дядя, затѣмъ прежде всего, чтобъ сбыть всякую отвѣтственность и упрекъ за небрежность въ этомъ отношеніи, потомъ затѣмъ, зачѣмъ всѣ посылаютъ молодыхъ людей въ Петербургъ: чтобъ не сидѣли праздно дома, «не баловались, не били баклушъ» и т. п.,—это цѣль отрицательная.

Въ Петербургѣ есть и выправка, и надзоръ, и работа;

въ Петербургѣ можно получить мѣсто прокурора, потомъ, современемъ, и губернатора, — это цѣль положительная.

Потомъ уже, поживъ въ Петербургѣ, Райскій самъ рѣшилъ, что въ немъ живутъ взрослые люди, а во всей остальной Россіи—недоросли.

Но вотъ Райскому за тридцать лѣтъ, а онъ еще ничего не посѣялъ, не пожалъ и не шелъ ни по одной колеѣ, по какимъ ходятъ пріѣзжающіе изнутри Россіи.

Онъ ни офицеръ, ни чиновникъ, не пробиваетъ себѣ никакого пути трудомъ, связями, будто нарочно, наперекоръ всѣмъ, одинъ остается недорослемъ въ Петербургѣ. Въ кварталѣ прописанъ онъ отставнымъ коллежскимъ секретаремъ.

Физіономисту трудно бы было опредѣлить по лицу его свойства, склонности и характеръ, потому что лицо это было неуловимо измѣнчиво.

Иногда онъ кажется такъ счастливъ, глаза горятъ, и наблюдатель только-что предположитъ въ немъ открытый характеръ, сообщительность, и даже болтливость, какъ черезъ часъ, черезъ два, взглянувъ на него, поразится блѣдностью его лица, какимъ-то внутреннимъ и, кажется, неисцѣлимымъ страданіемъ, какъ будто онъ отъ роду не улыбнулся.

Онъ въ эти минуты казался некрасивъ: въ чертахъ лица разладъ, живыя краски лба и щекъ замѣнялись болѣзненнымъ колоритомъ.

Но если покойный духъ жизни тихо опять вѣялъ надъ нимъ, или попросту «находилъ на него счастливый стихъ», лицо его отражало запасъ силы воли, внутренней гармоніи и самообладанія, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущаго къ этому лицу мечтательнаго оттѣнка, лежавшаго не то въ этомъ темномъ зрачкѣ, не то въ легкомъ дрожаніи губъ.

Нравственное лицо его было еще неуловимѣе. Бывали какіе-то періоды, когда онъ «обнималъ, по его выраженію, весь міръ», когда чарующею мягкостью открывалъ доступъ къ сердцу, и тѣ, кому случалось попадать на эти минуты, говорили, что добрѣе, любезнѣе его нѣтъ.

Другимъ случалось попадать въ несчастную пору, когда у него на лицѣ выступали желтыя пятна, губы кривились отъ нервной дрожи, и онъ тупымъ, холоднымъ взглядомъ и рѣзкой рѣчью платитъ за ласку, за симпатію. Тѣ отходили отъ него, унося горечь и вражду, иногда навсегда.

Какіе это періоды, какіе дни — ни другіе, ни самъ онъ не зналъ.

— Злой, холодный эгоистъ и гордецъ!—говорили попавшіе въ злую минуту.

— Помилуйте, онъ очарователенъ, онъ всѣхъ насъ обворожилъ вчера, всѣ безъ ума отъ него! — говорили другіе.

— Актеръ!—твердили нѣкоторые.

— Фальшивый человѣкъ!—возражали иные.—Когда чего-нибудь захочетъ достигнуть, откуда берутся рѣчи, взгляды, какъ играетъ лицо!

— Помилуйте! это честнѣйшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная!—защищали его два-три дружескіе голоса.

Итакъ, въ кругѣ даже близкихъ знакомыхъ его не сложилось о немъ никакого опредѣленнаго понятія, и еще менѣе образа.

И въ раннемъ дѣтствѣ, когда онъ воспитывался у бабушки, до поступленія въ школу, и въ самой школѣ, въ немъ проявлялись тѣ же загадочныя черты, та же неровность и неопредѣленность наклонностей.

Когда опекунъ привезъ его въ школу и посадили его на лавку: во время класса, кажется, первымъ бы дѣломъ новичка было вслушаться, что спрашиваетъ учитель, что отвѣчаютъ ученики.

А онъ прежде всего воззрился въ учителя; какой онъ, какъ говоритъ, какъ нюхаетъ табакъ, какія у него брови, бакенбарды; потомъ сталъ изучать болтающуюся на животѣ его сердоликовую печатку, потомъ замѣтилъ, что у него большой палецъ правой руки раздвоенъ по серединѣ и представляетъ подобіе двойного орѣха.

Потомъ осмотрѣлъ каждаго ученика и замѣтилъ всѣ особенности: у одного лобъ и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось впередъ, тамъ вонъ у двоихъ, у одного справа, у другого слѣва, на лбу волосы растутъ вихоркомъ и т. д., всѣхъ замѣтилъ и изучилъ, какъ кто смотритъ.

Одинъ съ увѣренностью глядитъ на учителя, проситъ глазами спросить себя, почешетъ колѣни отъ нетерпѣнія, потомъ голову. А у другого на лицѣ, то выступаетъ, то прячется краска — онъ сомнѣвается, колеблется. Третій упрямо смотритъ внизъ, пораженный боязнью, чтобъ его не спросили. Иной ковыряетъ въ носу и ничего не слушаетъ. Тотъ долженъ быть ужасный силачъ, а этотъ черненькій — плутъ. И доску, на которой пишутъ задачи, замѣтилъ, даже мѣлъ и тряпку, которою стираютъ съ доски. Кстати тутъ же представилъ и себя, какъ онъ сидитъ, какое у него должно быть лицо, что̀ другимъ приходитъ на умъ, когда они глядятъ на него, какимъ онъ имъ представляется?

— О чемъ я говорилъ сейчасъ? — вдругъ спросилъ его учитель, замѣтивъ, что онъ разсѣянно бродитъ глазами по всей комнатѣ.

Къ удивленію его, Райскій сказалъ ему отъ слова до слова, что̀ онъ говорилъ.

— Что̀ же это значитъ?—дальше спросилъ учитель.

Райскій не зналъ: онъ такъ же машинально слушалъ, какъ и смотрѣлъ, и ловилъ ухомъ только слова.

Учитель повторилъ объясненіе. Борисъ опять слушалъ,

какъ раздавались слова: иное учитель скажетъ коротко и густо, точно оборветъ, другое растянетъ, будто пропоетъ, вдругъ словъ десять посыплются, какъ орѣхи.

— Ну?—спросилъ учитель.

Райскій покраснѣлъ, даже вспотѣлъ немного отъ страха, что не знаетъ въ чемъ дѣло, и молчалъ.

Это былъ учитель математики. Онъ пошелъ къ доскѣ, написалъ задачу, началъ толковать.

Райскій только глядѣлъ, какъ проворно и крѣпко пишетъ онъ цифры, какъ потомъ идетъ къ нему прежде брюхо учителя съ сердоликовой печаткой, потомъ грудь съ засыпанной табакомъ манишкой. Ничего не ускользнуло отъ Райскаго, только ускользнуло рѣшеніе задачи.

Кое-какъ онъ достигъ дробей, достигъ и до четырехъ правилъ изъ алгебры, когда же дѣло дошло до уравненій, Райскій утомился напряженіемъ ума и дальше не пошелъ, оставшись совершенно равнодушнымъ къ тому, зачѣмъ и откуда извлекаютъ квадратный корень.

Учитель часто бился съ нимъ и почти всякій разъ со вздохомъ прибавлялъ:

— Садись на свое мѣсто, ты пустой малый!

Но когда на учителя находили игривыя минуты, и онъ, въ видѣ забавы, выдумывалъ, а не изъ книги говорилъ свои задачи, не прибѣгая ни къ доскѣ, ни къ грифелю, ни къ правиламъ, ни къ пинкамъ, — скорѣе всѣхъ, путемъ сверкающей въ головѣ догадки, доходилъ до результата Райскій.

У него въ головѣ было свое царство цифръ въ образахъ: онѣ по-своему строились у него тамъ, какъ солдаты. Онъ придумалъ имъ какіе-то свои знаки или физіономіи, по которымъ онѣ становились въ ряды, слагались, множились и дѣлились: всѣ фигуры ихъ рисовались, то знакомыми людьми, то походили на разныхъ животныхъ.

— Ну, не пустой ли малый! — восклицалъ учитель.—Не

умѣетъ сдѣлать задачи указаннымъ, слѣдовательно, облегченнымъ путемъ, а безъ правилъ наобумъ говоритъ. Глупѣе насъ съ тобой выдумывали правила!

Между тѣмъ, писать выучился Райскій быстро, читалъ со страстью исторію, эпопею, романъ, басню, выпрашивалъ, гдѣ могъ, книги, но съ фактами, а умозрѣній не любилъ, какъ вообще всего, что увлекало его изъ міра фантазіи въ міръ дѣйствительный.

Изъ географіи, въ порядкѣ, по книгѣ, какъ проходили въ классѣ, по климатамъ, по народамъ, никакъ и ничего онъ не могъ разсказать, особенно, когда учитель спроситъ:

— А ну-ка, перескажи всѣ горы въ Европѣ! или: — всѣ порты Средиземнаго моря.

Между тѣмъ внѣ класса начнетъ разсказывать о какой-нибудь странѣ или объ океанѣ, о городѣ — откуда что̀ берется у него! Ни въ книгѣ этого нѣтъ, ни учитель не разсказывалъ, а онъ рисуетъ картину, какъ будто былъ тамъ, все видѣлъ самъ.

— Да ты все врешь! — скажетъ иногда слушатель-скептикъ:—Василій Никитичъ этого не говорилъ!

Директоръ подслушалъ однажды, когда онъ разсказывалъ, какъ дикіе ловятъ и ѣдятъ людей, какіе у нихъ лѣса, жилища, какое оружіе, какъ они сидятъ на деревьяхъ, охотятся за звѣрями, даже началъ представлять, какъ они говорятъ горломъ.

— Пустяки молоть мастеръ, — сказалъ ему директоръ:— а на экзаменѣ не могъ разсказать системы рѣкъ! Вотъ я тебя высѣку, погоди! Ничѣмъ не хочешь серьёзно заняться: пустой мальчишка!

И дернулъ его за ухо.

Райскій смотрѣлъ, какъ стоялъ директоръ, какъ говорилъ, какіе злые и холодные у него были глаза, разбиралъ, отчего ему стало холодно, когда директоръ тронулъ его за ухо, представилъ себѣ, какъ поведутъ его сѣчь, какъ

у Севастьянова отъ испуга вдругъ побѣлѣетъ носъ, и онъ весь будто похудѣетъ немного, какъ Боровиковъ задрожитъ, запрыгаетъ и захихикаетъ отъ волненія, какъ добрый Масляниковъ, съ плачущимъ лицомъ, бросится обнимать его и прощаться съ нимъ, точно съ осужденнымъ на казнь. Потомъ, какъ его будутъ раздѣвать и у него похолодѣетъ сначала у сердца, потомъ руки и ноги, какъ онъ не сможетъ самъ лечь, а положитъ его тихонько сторожъ Сидорычъ...

Онъ слышалъ мысленно свой визгъ, видѣлъ болтающіяся ноги и вздрогнулъ...

У него упали нервы: онъ пересталъ ѣсть, худо спалъ. Онъ чувствовалъ оскорбленіе отъ одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесетъ у него все хорошее, и вся его жизнь будетъ гадка, бѣдна и страшна, и самъ онъ станетъ, точно нищій, всѣми брошенный, презрѣнный.

Въ это время, какъ будто нарочно пришлось, священникъ толковалъ исторію Іова, всѣми оставленнаго на кучѣ навоза, страждущаго...

Райскій расплакался, его прозвали «нюней». Онъ прінылъ, три дня ходилъ мрачный, такъ что узнать нельзя было: онъ ли это? ничего не разсказывалъ товарищамъ, какъ они ни приставали къ нему.

Такъ было до воскресенья. А въ воскресенье Райскій поѣхалъ домой, нашелъ въ шкапѣ «Освобожденный Іерусалимъ» въ переводѣ Москотильникова, и забылъ объ угрозѣ, и не тронулся съ дивана, наскоро пообѣдалъ, опять легъ читать до темноты. А въ понедѣльникъ утромъ унесъ книгу въ училище и тайкомъ, торопливо и съ жадностью, дочитывалъ и, дочитавши, недѣли двѣ разсказывалъ читанное, то тому, то другому.

Снились ему такіе горячіе сны о далекихъ странахъ, о необыкновенныхъ людяхъ въ латахъ, и каменистыя пу-

стыни Палестины блистали передъ нимъ своей сухой, страшной красотой: эти пески и зной, эти люди, которые умѣли жить такой крѣпкой и трудной жизнью и умирать такъ легко!

Онъ содрогался отъ желанія посидѣть на камняхъ пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть безъ нужды, для того только, чтобъ видѣли, что онъ умѣетъ умирать. Онъ не спалъ ночей, читая объ Армидѣ, какъ она увлекла рыцарей и самого Ринальда.

«Какая она?» думалось ему—и то казалась она ему тѣткой Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головой, какъ игрушечные коты, и прищуривала глаза, то въ видѣ жены директора, у которой были такія бѣлыя руки и острый, пронзительный взглядъ, то тринадцатилѣтней, припрыгивающей, хорошенькой дѣвочкой въ кружевныхъ панталончикахъ, дочерью полицеймейстера.

Онъ сжимался въ комокъ и читалъ жадно, почти не переводя духа, но внутренно разрываясь отъ волненія, и вдругъ въ неистовствѣ бросалъ книгу и бѣгалъ, какъ потерянный, когда храбрый Ринальдъ, или въ романѣ мадамъ Коттень, Малекъ-Адель, изнывали у ногъ волшебницы.

То вдругъ случайно воображеніе унесетъ его въ другую сторону, съ какимъ-нибудь Оссіаномъ: тамъ другая жизнь, другія картины, еще величавѣе, хотя и суровѣе тѣхъ, и еще необыкновеннѣе.

И все это, не похожее на текущую жизнь около него, захватывало его въ свою чудесную сферу, отъ которой онъ отрезвлялся, какъ отъ хмеля.

Послѣ долго ходилъ онъ блѣденъ и скученъ, пока опять чужая жизнь и чужія радости не вспрыснутъ его, какъ живой водой.

Дядя давалъ ему исторіи четырехъ Генриховъ, Людовиковъ до XVIII и Карловъ до XII включительно, но все это уже было для него, какъ прѣсная вода послѣ рома. На минуту только разбудили его Іоанны III-й и IV, да Петръ.

Онъ бросался къ Плутарху, чтобъ только дальше уйти отъ современной жизни, но и тотъ казался ему сухъ, не представлялъ рисунка, картинъ, какъ тѣ книги, потомъ какъ Телемакъ, а еще потомъ—какъ Иліада.

Между товарищами онъ былъ очень страненъ: они тоже не знали, какъ понимать его. Симпатіи его такъ часто мѣнялись, что у него не было ни постоянныхъ друзей, ни враговъ.

Эту недѣлю онъ привязется къ одному, ищетъ его вездѣ, сидитъ съ нимъ, читаетъ, разсказываетъ ему, шепчетъ. Потомъ ни съ того, ни съ сего, вдругъ броситъ его и всматривается въ другого и, всмотрѣвшись, опять забываетъ.

Разсердитъ ли его какой-нибудь товарищъ, некстати скажетъ ему что-нибудь, онъ надуется, дастъ разыграться злымъ чувствамъ во всѣ формы упорной вражды, хотя самая обида поблѣднѣетъ, забудется причина, а онъ длитъ вражду, за которой слѣдитъ весь классъ, и больше всѣхъ онъ самъ.

Потомъ онъ отыскиваетъ въ себѣ кротость, великодушіе и вздрагиваетъ отъ живого удовольствія проявить его; устраивалась сцена примиренія, съ достоинствомъ и благородствомъ, и занимала всѣхъ, пуще всѣхъ его самого.

Онъ какъ будто смотрѣлъ на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину передъ собой.

А когда все кончалось, когда шумъ, чадъ, вся трескотня выходили изъ него, онъ вдругъ очнется, окинетъ все удивленными глазами и внутренній голосъ спроситъ его: — зачѣмъ это? Онъ пожметъ плечами, не зная самъ зачѣмъ.

Иногда, напротивъ, онъ придетъ отъ пустяковъ въ восторгъ: какой-нибудь сытый ученикъ отдастъ свою булку нищему, какъ дѣлаютъ добродѣтельныя дѣти въ хрестоматіяхъ и прописяхъ, или приметъ на себя чужую шалость, или покажется ему, что насупившійся ученикъ думаетъ глубокую

думу, и онъ вдругъ возгорится участіемъ къ нему, говоритъ о немъ со слезами, отыскиваетъ въ немъ что-то таинственное, необычайное, окружитъ его уваженіемъ: и другіе заразятся неисповѣдимымъ почтеніемъ.

Но черезъ недѣлю товарищи встанутъ въ одно прекрасное утро, съ восторженными рѣчами о фениксѣ подойдутъ къ Райскому, а онъ расхохочется.

— Этакую дрянь нашли, да и няньчатся! Пошелъ ты прочь, жалкое созданіе!—скажетъ онъ.

Всѣ и рты разинутъ, и онъ стыдится своего восторга. Лучъ, который падалъ на «чудо», уже померкъ, краски пропали, форма износилась, и онъ бросалъ и искалъ жадными глазами другого явленія, другого чувства, зрѣлища, и если не было — скучалъ, былъ желченъ, нетерпѣливъ, или задумчивъ.

По выходѣ изъ училища, дѣйствительная жизнь мало увлекала его въ свой потокъ, и своей веселой стороной, и суровой дѣятельностью. Позоветъ ли его опекунъ посмотрѣть, какъ молотятъ рожь, или какъ валяютъ сукно на фабрикѣ, какъ бѣлятъ полотна, — онъ увертывался и забирался на бельведеръ смотрѣть оттуда въ лѣсъ, или шелъ на рѣку, въ кусты, въ чащу, смотрѣлъ, какъ возятся насѣкомыя, остро глядѣлъ, куда порхнула птичка, какая она, куда сѣла, какъ почесала носикъ;—поймаетъ ежа и возится съ нимъ;—съ мальчишками удитъ рыбу цѣлый день, или слушаетъ полоумнаго старика, который живетъ въ землянкѣ у околицы, какъ онъ разсказываетъ про «Пугача»,—жадно слушаетъ подробности жестокихъ мукъ, казней, и смотритъ прямо ему въ ротъ безъ зубовъ, и въ глубокія впадины потухающихъ глазъ.

По цѣлымъ часамъ, съ болѣзненнымъ любопытствомъ, слѣдитъ онъ за лепетомъ «испорченной Феклушки». Дома читаетъ всякіе пустяки. «Саксонскій разбойникъ» попадется—онъ прочтетъ его; вытащитъ Эккартсгаузена и фан-

тазіей допросится, сквозь туманъ, ясныхъ выводовъ; десять разъ прочелъ попавшійся экземпляръ «Тристрама Шенди»; найдетъ какія-нибудь «Тайны восточной магіи», — читаетъ и ихъ; тамъ русскія сказки и былины, потомъ вдругъ опять бросится къ Оссіяну, къ Тассу и Гомеру, или уплыветъ съ Кукомъ въ чудесныя страны.

А если нѣтъ ничего, такъ лежитъ неподвижно по цѣлымъ днямъ, но лежитъ, какъ будто трудную работу дѣлаетъ: фантазія мчитъ его дальше Оссіяна, Тасса, и даже Кука— или бьетъ лихорадкой какого-нибудь встрѣчнаго ощущенія, мгновеннаго впечатлѣнія, и онъ встанетъ усталый, блѣдный, и долго не придетъ въ нормальное положеніе.

— Лѣнтяй, лежебока!—говорятъ кругомъ его.

Онъ пугался этихъ приговоровъ, плакалъ втихомолку и думалъ иногда съ отчаяніемъ, отчего онъ лѣнтяй и лежебока?—«Что я такое? что изъ меня будетъ?» думалъ онъ и слышалъ суровое: — «Учись, вонъ какъ учатся Саврасовъ, Ковригинъ, Малюевъ, Чудинъ,—первые ученики!»

Они равно хорошо учатся и изъ математики, и изъ исторіи, сочиняютъ, чертятъ, рисуютъ и языки знаютъ, и все:— счастливцы! Ихъ всѣ уважаютъ, они такъ гордо смотрятъ, такъ покойно спятъ, всегда одинаковы.

А онъ сегодня блѣденъ, молчитъ, какъ убитый, — завтра скачетъ и поетъ, Богъ знаетъ отъ чего.

Всего пуще пугало его и томило обидное состраданіе сторожа Сидорыча, и вмѣстѣ трогало своей простотой. Однажды онъ не выучилъ два урока сряду и завтра долженъ былъ остаться безъ обѣда, если не выучитъ ихъ къ утру, а выучить было некогда, всѣ легли спать.

Сидорычъ тихонько всталъ, вздулъ свѣчу и принесъ Райскому изъ класса книгу.

— Учи, батюшка,—сказалъ онъ:—пока они спятъ. Никто не увидитъ, а завтра будешь знать лучше ихъ: что они въ самомъ дѣлѣ обижаютъ тебя, сироту!

У Райскаго брызнули слезы и отъ этой обиды, и отъ доброты Сидорыча. Онъ взглянулъ, какъ хранятъ первые ученики, и не выучилъ урока—отъ гордости.

Зато, если задѣто его самолюбіе, затронуты нервы, тогда онъ однимъ взглядомъ въ книгу какъ будто сниметъ фотографію съ урока, запомнитъ столбцы цифръ, отгадаетъ задачу—и вдругъ блеснетъ, какъ фейерверкъ, и изумитъ весь классъ, иногда и учителя.

«Притворяется!»—думаютъ ученики.—«Какія способности у этого лѣнтяя!» подумаетъ учитель.

Онъ чувствовалъ и понималъ, что онъ не лежебока и не лѣнтяй, а что-то другое, но чувствовалъ и понималъ онъ одинъ, и больше никто,—но не понималъ, что же онъ такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику, или что-нибудь другое.

Въ службѣ названіе пустого человѣка привинтилось къ нему еще крѣпче. Отъ него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочелъ онъ ни одного дѣла, между тѣмъ вносилъ веселье, смѣхъ и анекдоты въ ту комнату, гдѣ сидѣлъ. Около него всегда куча народу.

Но мысль о дѣлѣ, если только она не проходила черезъ докладъ, какъ бывало русскій языкъ черезъ грамматику, а сказанная среди шутокъ и бездѣлья, для него какъ-то ясна, лишь бы не доходило дѣло до бумагъ.

Онъ озадачивалъ новизной взгляда чиновниковъ. Столоначальникъ, слушая его, съ усмѣшкой отбиралъ у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавалъ другому.

— Напишите, пожалуйста, вотъ это предписаніе,—говорилъ онъ:—пока Борисъ Павловичъ рисуетъ свой проектъ.

Столоначальникъ былъ правъ: Райскій рисовалъ и дѣло, какъ картину, или оно такъ рисовалось у него въ головѣ.

Воображеніе его вспыхивало, и онъ путемъ сверкнувшей догадки схватывалъ тѣнь, верхушку истины, дорисовывалъ

остальное и уже не шелъ долгимъ опытомъ и трудомъ завоевывать прочную побѣду.

Онъ уже былъ утомленъ, онъ шелъ дальше, глаза и воображеніе искали другого, и онъ летѣлъ на крыльяхъ фантазіи, черезъ пропасти, горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпѣливо.

Онъ и знаніе—не зналъ, а какъ будто видѣлъ его у себя въ воображеніи, какъ въ зеркалѣ, готовымъ, чувствовалъ его и этимъ довольствовался; а узнавать ему было скучно, онъ отталкивалъ наскучившій предметъ прочь, отыскивая вокругъ новаго, живого, поразительнаго, чтобъ въ немъ самомъ все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.

Вокругъ его не было никого, кто направилъ бы эти жадные порывы любознательности въ опредѣленную колею.

Въ одномъ мѣстѣ опекунъ, а въ другомъ бабушка смотрѣли только,—первый, чтобъ къ нему въ положенные часы ходили учителя, или чтобъ онъ не пропускалъ уроковъ въ школѣ; а вторая, чтобъ онъ былъ здоровъ, имѣлъ аппетитъ и сонъ, да чтобъ одѣтъ онъ былъ чисто, держалъ себя опрятно, и чтобъ, какъ слѣдуетъ благовоспитанному мальчику, «не слизывался со всякой дрянью».

А что онъ читалъ тамъ, какія книги, въ это не входили, и бабушка отдала ему ключи отъ отцовской библіотеки въ старомъ домѣ, куда онъ запирался, читая поперемѣнно то Спиноза, то романъ Коттенъ, то св. Августина, а завтра вытащитъ Вольтера, или Парни, даже Боккаччіо.

Искусства дались ему лучше наукъ. Правда, онъ и тутъ затѣялъ пустяки: учитель недѣли на двѣ посадилъ весь классъ рисовать зрачки, а онъ не утерпѣлъ, придѣлалъ къ зрачку носъ, и даже началъ-было тушевать усы, но учитель засталъ его, и сначала дернулъ за вихоръ, потомъ, вглядѣвшись, сказалъ:

— Гдѣ ты учился?

— Нигдѣ,—былъ отвѣтъ.

— А хорошо, братъ, только видишь, что̀ значитъ впередъ забѣгать: лобъ и носъ — хоть куда, а ухо вонъ гдѣ посадилъ, да и волосы точно мочало вышли.

Но Райскій торжествовалъ: «хорошо, братъ: лобъ и носъ, хоть куда!»—было для него лавровымъ вѣнкомъ.

Онъ гордо ходилъ одинъ по двору, въ сознаніи, что онъ лучше всѣхъ, до тѣхъ поръ, пока на другой день публично не осрамился въ «серьезныхъ предметахъ».

Но къ рисованью онъ пристрастился, и черезъ мѣсяцъ послѣ «зрачковъ», копировалъ кудряваго мальчика, потомъ голову Фингала.

Завѣтной мечтой его была женская головка, висѣвшая на квартирѣ учителя. Она поникла немного къ плечу и смотрѣла томно, задумчиво вдаль.

— Позвольте мнѣ вотъ съ этой нарисовать копію!—робко, нѣжно звучащимъ голосомъ дѣвочки и съ нервной дрожью верхней губы просилъ онъ учителя.

— А если стекло разобьешь? — сказалъ учитель, однако, далъ ему головку.

Борисъ былъ счастливъ. Когда онъ приходилъ къ учителю, у него всякій разъ іокало сердце при взглядѣ на головку. И вотъ она у него, онъ рисуетъ съ нея.

Въ эту недѣлю ни одинъ серьезный учитель ничего отъ него не добился. Онъ сидитъ въ своемъ углу, рисуетъ, стираетъ, тушуетъ, опять стираетъ, или молча задумается; въ зрачкѣ ляжетъ синева, и глаза покроются будто туманомъ, только губы едва-едва замѣтно шевелятся, и въ нихъ переливается розовая влага.

На ночь онъ уносилъ рисунокъ въ дортуаръ, и однажды, вглядываясь въ эти нѣжные глаза, слѣдя за линіей наклоненной шеи, онъ вздрогнулъ, у него сдѣлалось такое замиранье въ груди, такъ захватило ему дыханье, что онъ въ забытьи, съ закрытыми глазами и невольнымъ, чуть сдер-

жаннымъ стономъ, прижалъ рисунокъ обѣими руками къ тому мѣсту, гдѣ было такъ тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звономъ полетѣло на полъ...

Нарисовавъ эту головку, онъ уже не зналъ предѣла гордости. Рисунокъ его выставленъ съ рисунками старшаго класса на публичномъ экзаменѣ, и учитель мало поправлялъ, только кое-гдѣ слабыя мѣста покрылъ крупными, крѣпкими штрихами, точно желѣзной рѣшеткой, да въ волосахъ прибавилъ три, четыре черныя полосы, сдѣлалъ по точкѣ въ каждомъ глазу—и глаза вдругъ стали смотрѣть точно живые.

«Какъ это онъ? и отчего такъ у него вышло живо, смѣло, прочно?» думалъ Райскій, зорко вглядываясь и въ штрихи, и въ точки, особенно въ двѣ точки, отъ которыхъ глаза вдругъ ожили. И много ставилъ онъ потомъ штриховъ и точекъ, все хотѣлъ схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была въ штрихахъ и полосахъ, такъ крѣпко и увѣренно начерченныхъ учителемъ. Иногда онъ будто и ловилъ эту тайну, и опять ускользала она у него.

Но чертить зрачки, носы, линіи лба, ушей и рукъ по сту разъ—ему было до смерти скучно.

Онъ рисуетъ глаза кое-какъ, но заботится лишь о томъ, чтобы въ нихъ повторились учительскія точки, чтобъ они смотрѣли точно живые, а не удастся, онъ броситъ все, унылo облокотится на столъ, склонитъ на локоть голову и осѣдлаетъ своего любимаго коня, фантазію, или конь осѣдлаетъ его, и мчится онъ въ пространствѣ, среди своихъ міровъ и образовъ.

Упиваясь легкимъ успѣхомъ, онъ гордо ходилъ. — «Талантъ, талантъ!» звучало у него въ ушахъ. Но вскорѣ всѣ уже знали, какъ онъ рисуетъ, перестали ахать, и онъ привыкъ къ успѣху.

Въ деревнѣ онъ опять пристрастился-было къ рисованію, дѣлалъ портреты съ горничныхъ, съ кучера, потомъ съ деревенскихъ мужиковъ.

Полоумную Феклушку нарисовалъ въ пещерѣ, очень удачно освѣтивъ одно лицо и разбросанные волосы, корпусъ же скрывался во мракѣ: ни терпѣнья, ни умѣнья не хватило у него додѣлывать руки, ноги и корпусъ. И какъ цѣлое утро высидѣть, когда солнце такъ весело и щедро льетъ лучи на лугъ и рѣку...

Вонъ, никакъ, отъ сосѣдей скачетъ человѣкъ, вѣрно танцовать будутъ...

Дня черезъ три картина блѣднѣла, и въ воображеніи тѣснится уже другая. Хотѣлось бы нарисовать хороводъ, тутъ же пьянаго старика и проѣзжую тройку. Опять дня два носится онъ съ картиной: она какъ живая у него. Онъ бы нарисовалъ мужика и бабъ, да тройку не сумѣетъ: лошадей «не проходили въ классѣ».

Черезъ недѣлю и эта картина забывалась и снова замѣнялась другою...

Музыку онъ любилъ до опьянѣнія. Въ училищѣ, тупой, презираемый первыми учениками, мальчикъ Васюковъ былъ предметомъ постоянной нѣжности Райскаго.

Всѣ бывало дергаютъ за уши Васюкова.—Пошелъ прочь, дуракъ, дубина!—только и слышитъ онъ. Лишь Райскій глядитъ на него съ умиленіемъ, потому только, что Васюковъ, ни къ чему невнимательный, сонный, вялый, даже у всѣми любимаго русскаго учителя не выучившій никогда ни одного урока, — каждый день послѣ обѣда бралъ свою скрипку и, положивъ на нее подбородокъ, водилъ смычкомъ, забывая школу, учителей, щелчки.

Глаза его ничего не видали передъ собой, а смотрѣли куда-то въ другое мѣсто, далеко, и тамъ онъ будто видѣлъ что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали.

Противъ него садился Райскій и съ удивленіемъ глядѣлъ на лицо Васюкова, слѣдилъ какъ, пока еще съ тупымъ взглядомъ, достаетъ онъ скрипку, вяло беретъ смычокъ,

намажетъ его канифолью, потомъ сначала пальцемъ тронетъ струны, повинтитъ винты, опять троиетъ, потомъ поведетъ смычкомъ—и все еще глядитъ сонно. Но вотъ заигралъ—и проснулся, и улетѣлъ куда-то.

Васюкова нѣтъ, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигаютъ больше, а все дѣлаются прозрачнѣе, свѣтлѣе, глубже, и смотрятъ гордо, умно, грудь дышитъ медленно и тяжело. По лицу бродитъ нѣга, счастье, кожа становится нѣжнѣе, глаза синѣютъ и льютъ лучи:—онъ сталъ прекрасенъ.

Райскій началъ мысленно глядѣть, куда глядитъ Васюковъ, и видѣть что онъ видитъ. Не стало никого вокругъ: ни учениковъ, ни скамей, ни шкаповъ. Все это закрылось точно туманомъ.

Послѣ нѣсколькихъ звуковъ, открывалось глубокое пространство, тамъ являлся движущійся міръ, какія-то волны, корабли, люди, лѣса, облака, — все будто плыло и неслось мимо него въ воздушномъ пространствѣ. И онъ, казалось ему, все росъ выше, у него занимало духъ, его будто щекотали, или купался онъ...

И сонъ этотъ длился, пока длились звуки.

Вдругъ стукъ, крикъ, толчокъ какой-нибудь будилъ его, будилъ Васюкова. Звуковъ нѣтъ, міры пропали, онъ просыпался: кругомъ — ученики, скамьи, столы — и Васюковъ укладываетъ скрипку, кто-нибудь дергаетъ его ужъ за ухо. Райскій съ яростью бросается бить забіяку, а потомъ долго ходитъ задумчивый.

Нервы поютъ ему какіе-то гимны, въ немъ плещется жизнь, какъ море, и мысли, чувства, какъ волны переливаются, сталкиваются, и несутся куда-то, бросаютъ кругомъ брызги, пѣну.

Въ звукахъ этихъ онъ слышитъ что-то знакомое; носится передъ нимъ какое-то воспоминаніе, будто тѣнь женщины, которая держала его у себя на колѣнихъ.

Онъ роется въ памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и онъ, прижавшись щекой къ ея груди, слѣдилъ, какъ она перебирала пальцами клавиши, какъ носились плачущіе или рѣзвые звуки, слышалъ, какъ билось у ней въ груди сердце.

Фигура женщины яснѣе и яснѣе оживала въ памяти, какъ будто она вставала въ эти минуты изъ могилы и являлась точно живая.

Онъ помнитъ, какъ, послѣ музыки, она всю дрожь наслажденія сосредоточивала въ горячемъ поцѣлуѣ ему. Помнитъ, какъ она толковала ему картины: кто этотъ старикъ съ лирой, котораго, нѣмѣя, слушаетъ гордый царь, боясь пошевелиться,—кто эта женщина, которую кладутъ на плаху.

Потомъ помнитъ онъ, какъ она водила его на Волгу, какъ по цѣлымъ часамъ сидѣла, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освѣщенную солнцемъ, на кучу темной зелени, на плывущія суда.

Онъ смотритъ, какъ она неподвижно глядѣла, какъ у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши... «точно у Васюкова», думалъ онъ.

Стало-быть, и она видѣла въ этой зелени, въ теченіи рѣки, въ синемъ небѣ то же, что Васюковъ видитъ, когда играетъ на скрипкѣ... Какія-то горы, моря, облака... «И я вижу ихъ!..»

Заиграетъ ли женщина на фортепіано, гувернантка у сосѣдей, Райскій бѣжалъ-было передъ этимъ удить рыбу,—но раздались звуки, и онъ замиралъ на мѣстѣ, разинувъ ротъ, и прятался за стуломъ играющей.

Его не стало, онъ куда-то пропалъ, опять его несетъ кто-то по воздуху, опять онъ растетъ, въ него льется сила, онъ въ состояніи поднять и поддержать сводъ, какъ тотъ, котораго Геркулесъ смѣнилъ.

Звуки почти до боли ударяютъ его по груди, проникаютъ до мозга—у него уже мокрые волосы, глаза...

Вдругъ звуки умолкли, онъ очнется, застыдится и убѣжитъ.

Онъ сталъ бы учиться, сначала на скрипкѣ у Васюкова,— но вотъ уже недѣлю водитъ смычкомъ взадъ и впередъ: *a, c, g*, тянетъ за нимъ Васюковъ, а смычокъ деретъ ему уши. То захватитъ онъ двѣ струны разомъ, то рука дрожитъ отъ слабости: — нѣтъ! Когда же Васюковъ играетъ— точно по маслу рука ходитъ.

Двѣ недѣли прошло, а онъ забудетъ то тотъ, то другой пальцъ. Ученики бранятся.

— Ну, васъ къ чорту!—говоритъ первый ученикъ.—Тутъ серьёзнымъ дѣломъ заниматься надо, а они пилятъ!

Райскій бросилъ скрипку и сталъ просить опекуна учить его на фортепіано.

«На фортепіано легче, скорѣй», думалъ онъ.

Тотъ нанялъ ему нѣмца, но однакожъ рѣшился поговорить съ нимъ серьезно.

— Послушай, Борисъ,—началъ онъ:—къ чему ты готовишь себя, я давно хотѣлъ спросить тебя?

Райскій не понялъ вопроса и молчалъ.

— Тебѣ шестнадцатый годъ, — продолжалъ опекунъ:— пора о дѣлѣ подумать, а ты до сихъ поръ, какъ я вижу, еще не подумалъ, по какой части пойдешь въ университетѣ и въ службѣ. По военной трудно: у тебя небольшое состояніе, а служить ты по своей фамиліи долженъ въ гвардіи.

Райскій молчалъ и смотрѣлъ въ окно, какъ пѣтухи дерутся, какъ свинья роется въ навозѣ, какъ кошка подкрадывается къ голубю.

— Я тебѣ о дѣлѣ, а ты вонъ куда глядишь! Къ чему ты готовишься?

— Я, дядюшка, готовлюсь въ артисты.

— Что-о?

— Художникомъ быть хочу,—подтвердилъ Райскій.

— Чортъ знаетъ, что̀ выдумалъ! Кто жъ тебя пуститъ? Ты знаешь ли, что̀ такое артистъ?—спросилъ онъ.

Райскій молчалъ.

— Артистъ — это такой человѣкъ, который или денегъ у тебя займетъ, или навретъ такой чепухи, что на недѣлю тумана наведетъ... Въ артисты!.. Вѣдь это, — продолжалъ онъ:—значитъ безпутное, цыганское житье, адская бѣдность въ деньгахъ, платьѣ, въ обуви, и только богатство мечты! Витаютъ артисты, какъ птицы небесныя, на чердакахъ. Видалъ я ихъ въ Петербургѣ: это тѣ хваты, что въ какихъ-то фантастическихъ костюмахъ собираются по вечерамъ лежать на диванахъ, курятъ трубки, несутъ чепуху, читаютъ стихи и пьютъ много водки, а потомъ объявляютъ, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны...

— Я слыхалъ, дядюшка, что художники теперь въ большомъ уваженіи. Вы, можетъ-быть, старое время вспоминаете. Изъ академіи выходятъ знаменитые люди...

— Я не очень старъ и видѣлъ свѣтъ,—возразилъ дядя:— ты слыхалъ, что звонятъ, да не знаешь на какой колокольнѣ. Знаменитые люди! Есть артисты, и лѣкаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми дѣлаются, спроси-ка? Когда въ службѣ состоятъ и дойдутъ до тайнаго совѣтника! Соборъ выстроитъ, или монументъ на площади поставитъ — вотъ его и пожалуютъ! А начинаютъ они отъ бѣдности, изъ куска хлѣба — спроси: все большею частью вольноотпущенные, мѣщане, или иностранцы, даже жиды. Ихъ неволя гонитъ въ художники, вотъ они и напираютъ на искусство. А ты—Райскій! У тебя земля и готовый хлѣбъ. Конечно, для общества почему не имѣть пріятныхъ талантовъ: сыграть на фортепіано, нарисовать что-нибудь въ альбомъ, спѣть романсъ?.. Вотъ я тебѣ и нѣмца нанялъ.Но быть артистомъ по профессіи—что за блажь! Слыхалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ нарисовалъ картину какой-нибудь князь, графъ, или статую слѣпилъ старый дворянинъ... нѣтъ: отчего это?..

— А Рубенсъ? — вдругъ перебилъ Райскій: — онъ былъ придворный, посланникъ...

— Куда хватилъ: это лѣтъ двѣсти назадъ!—сказалъ опекунъ:—тамъ, у нѣмцевъ... А ты поступишь въ университетъ, въ юридическій факультетъ, потомъ служи въ Петербургѣ, учись дѣлу, добивайся прокурорскаго мѣста, а родня выведетъ тебя въ камеръ-юнкеры. И если не будешь дремать, то съ твоимъ именемъ и родствомъ тридцати лѣтъ будешь губернаторомъ. Вотъ твоя карьера! Но вотъ бѣда, я не вижу, чтобъ у тебя было что-нибудь серьезное на умѣ: удишь съ мальчишками рыбу, вонъ болото нарисовалъ, пьянаго мужика у кабака... Ходишь по полямъ и въ лѣсъ, а хоть бы разъ спросилъ мужика, какой хлѣбъ, когда сѣютъ, почемъ продаютъ?.. ничего! И хозяина не обѣщаешь!

Дядя вздохнулъ, и Райскій прiунылъ: дядино поученье безотрадно подѣйствовало только на его нервы.

Учитель-нѣмецъ, какъ Васюковъ, прежде всего исковеркалъ ему руки и началъ притопывать ногой и напѣвать, слѣдя за каждымъ ударомъ по клавишу: а-а-у-у-о-о.

Только совѣстясь опекуна, не бросалъ Райскій этой пытки и кое-какъ въ нѣсколько мѣсяцевъ удалось ему сладить съ первыми шагами. И то онъ все капризничалъ: то игралъ не тѣмъ пальцемъ, которымъ требовалъ учитель, а какимъ казалось ему ловчѣе, не хотѣлъ играть гаммъ, а ловилъ ухомъ мотивы, какіе западутъ въ голову, и бывалъ счастливъ, когда удавалось ему уловить ту же экспрессію или силу, какую слышалъ у кого-нибудь и поразился ею, какъ прежде поразился штрихами и толчками учителя.

А съ нотами не дружился, не проходилъ постепенно одну за другою запыленныя, пожелтѣвшія, приносимыя учителемъ тетради музыкальной школы. Но часто онъ задумывался, слушая свою игру, и мурашки бѣгали у него по спинѣ.

Вдалекѣ видѣлась уже ему наполненная зала, и онъ своей

игрой потрясалъ стѣны и сердца знатоковъ. Женщины съ горящими щеками слушали его, и его лицо горѣло стыдливымъ торжествомъ...

Онъ тихонько утиралъ слезы, катившіяся по щекамъ, горѣлъ, млѣлъ отъ своей мечты.

Когда наконецъ онъ одолѣлъ, съ грѣхомъ пополамъ, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этихъ женщинъ, и трепетъ похвалъ, — а трудной школы не играли.

Скоро онъ перегналъ розовенькихъ уѣздныхъ барышень и изумлялъ ихъ силою и смѣлостью игры, пальцы бѣгали свободно и одушевленно. Онѣ еще сидятъ на какомъ-то допотопномъ рондо, да на сонатахъ въ четыре руки, а онъ перескочилъ черезъ школу и черезъ сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потомъ на оперы, проходя курсъ по своей программѣ, продиктованной воображеніемъ и слухомъ.

Онъ услышитъ оркестръ, затвердитъ то, что увлекло его, и повторяетъ мотивы, упиваясь удивленіемъ барышень: онъ былъ первый, лучше всѣхъ; нѣмецъ говоритъ, что способности у него быстрыя, удивительныя, но лѣнь еще удивительнѣе.

Но это не бѣда: лѣнь, небрежность какъ-то къ лицу артистамъ. Да еще кто-то сказалъ ему, что при талантѣ не нужно много и работать, что работаютъ только бездарные, чтобы вымучить себѣ кропотливое жалкое подобіе могучаго и всепобѣднаго дара природы—таланта.

VII.

Райскій вышелъ изъ гимназіи, вступилъ въ университетъ и въ одно лѣто поѣхалъ на каникулы къ своей двоюродной бабушкѣ, Татьянѣ Марковнѣ Бережковой.

Бабушка эта жила въ родовомъ маленькомъ имѣніи, доставшемся Борису отъ матери. Оно все состояло изъ не-

большой земли, лежащей вплоть у города, отъ котораго отдѣлялось полемъ и слободой близъ Волги, изъ пятидесяти душъ крестьянъ, да изъ двухъ домовъ—одного каменнаго, оставленнаго и запущеннаго, и другого деревяннаго домика, выстроеннаго его отцомъ, и въ этомъ-то домикѣ и жила Татьяна Марковна, съ двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, дѣвочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила какъ дочь.

У бабушки былъ свой капиталъ, выдѣленный ей изъ семьи, своя родовая деревенька; она осталась дѣвушкой, и послѣ смерти отца и матери Райскаго, ея племянника и племянницы, поселилась въ этомъ маленькомъ имѣньицѣ.

Она управляла имъ, какъ маленькимъ царствомъ, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальныхъ началахъ. Опекуну она не давала сунуть носа въ ея дѣла и, не признавая никакихъ документовъ, бумагъ, записей и актовъ, поддерживала порядокъ, бывшій при послѣднихъ владѣльцахъ, и отзывалась въ отвѣтъ на письма опекуна, что всѣ акты, записи и документы записаны у ней на совѣсти, и она отдастъ отчетъ внуку, когда онъ вырастетъ, а до тѣхъ поръ, по словесному завѣщанію отца и матери его, она полная хозяйка.

Тотъ пожалъ плечами и махнулъ рукой, потому что имѣніе небольшое, да и въ рукахъ такой хозяйки, какъ бабушка, лучше сбережется.

Къ ней-то пріѣхалъ Райскій, вступивъ въ университетъ—побывать и проститься, можетъ-быть, надолго.

Какой эдемъ распахнулся ему въ этомъ уголкѣ, откуда его увезли въ дѣтствѣ, и гдѣ потомъ онъ гостилъ мальчикомъ иногда, въ лѣтнія каникулы. Какіе виды кругомъ — каждое окно въ домѣ было рамой своей особенной картины!

Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и За-

волжьемъ; съ другой — широкія поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все это замыкалось далью синѣвшихъ горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздухъ свѣжій, прохладный, отъ котораго, какъ отъ лѣтняго купанья, пробѣгаетъ по тѣлу дрожь бодрости.

Домъ весь былъ окруженъ этими видами, этимъ воздухомъ, да полями, да садомъ. Садъ обширный около обоихъ домовъ, содержавшійся въ порядкѣ, съ темными аллеями, бесѣдкой и скамьями. Чѣмъ далѣе отъ домовъ, тѣмъ садъ былъ запущеннѣе.

Подлѣ огромнаго развѣсистаго вяза, съ сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; тамъ рябина; тамъ шла кучка липъ, хотѣла-было образовать аллею, да вдругъ ушла въ лѣсъ и братски перепуталась съ ельникомъ, березнякомъ. И вдругъ все кончалось обрывомъ, поросшимъ кустами, идущими почти на полверсты берегомъ до Волги.

Подлѣ сада, ближе къ дому, лежали огороды. Тамъ капуста, рѣпа, морковь, петрушка, огурцы, потомъ громадныя тыквы, а въ парникѣ арбузы и дыни. Подсолнечники и макъ, въ этой массѣ зелени, дѣлали яркія, бросавшіяся въ глаза, пятна; около тычинокъ вились турецкіе бобы.

Передъ окнами маленькаго домика пестрѣлъ на солнцѣ большой цвѣтникъ, изъ котораго вела дверь во дворъ, а другая, стеклянная дверь, съ большимъ балкономъ, въ родѣ веранды, въ деревянный жилой домъ.

Татьяна Марковна любила видѣть открытое мѣсто передъ глазами, чтобъ не походило на трущобу, чтобъ было солнышко, да пахло цвѣтами.

Съ другой стороны дома, обращенной къ дворамъ, ей было видно все, что дѣлается на большомъ дворѣ, въ людской, въ кухнѣ, на сѣновалѣ, въ конюшнѣ, въ погребахъ. Все это было у ней передъ глазами, какъ на ладони.

Одинъ только старый домъ стоялъ въ глубинѣ двора, какъ бѣльмо въ глазу, мрачный, почти всегда въ тѣни, сѣ-

рый, полинявшій, мѣстами съ забитыми окнами, съ поросшимъ травой крыльцомъ, съ тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. За то на маленькій домикъ съ утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили отъ него, чтобъ дать ему простора и воздуха. Только цвѣтникъ, какъ гирлянда, обвивалъ его со стороны сада, и махровыя розы, даліи, и другіе цвѣты такъ и просились въ окна.

Около дома вились ласточки, свившія гнѣзда на кровлѣ; въ саду и рощѣ водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночамъ щелкали соловьи.

Дворъ былъ полонъ всякой домашней птицы, разношерстныхъ собакъ. Утромъ уходили въ поле и возвращались къ вечеру коровы и козелъ съ двумя подругами. Нѣсколько лошадей стояли почти праздно въ конюшняхъ.

Надъ цвѣтами около дома рѣяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышкѣ крыльями бабочки, по уголкамъ жались, грѣясь на солнышкѣ, кошки, котята.

Въ домѣ какая радость и миръ жили! Чего тамъ не было? Комнатки маленькія, но уютныя, съ старинной, взятой изъ большого дома мебелью дѣдовъ, дядей и съ улыбавшимися портретами отца и матери Райскаго, и также родителей двухъ оставшихся на рукахъ у Бережковой дѣвочекъ-малютокъ.

Полы были выкрашены, натерты воскомъ и устланы клеенками; печи обложены пестрыми, старинными, тоже взятыми изъ большого дома, изразцами. Шкапы биткомъ набиты старой, дрожавшей отъ шаговъ, посудой и звенѣвшимъ серебромъ.

На виду красовались старинныя саксонскія чашки, пастушки, маркизы, китайскіе уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелыя ложки. Кругленькіе стулья, съ мѣдными ободочками и съ деревянной мозаикой столы, столики жались по уютнымъ уголкамъ.

Въ кабинетѣ Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное рѣзьбой, бюро съ зеркаломъ, съ урнами, съ лирами, съ геніями.

Но бабушка завѣсила зеркало:

— Мѣшаетъ писать, когда видишь свою рожу напротивъ,—говорила она.

Еще тамъ былъ круглый столъ, на которомъ она обѣдала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло, съ высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанію, была стараго вѣка и разваливаться не любила, а держала себя прямо, съ свободной простотой, но и съ сдержаннымъ приличіемъ въ манерахъ, и ногъ подъ себя, какъ дѣлаютъ нынѣшнія барыни, не поджимала:

— Это стыдно женщинѣ,—говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и въ самомъ дѣлѣ была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лѣтъ около пятидесяти женщины, съ черными, живыми глазами и такой доброй и граціозной улыбкой, что когда и разсердится и засверкаетъ гроза въ глазахъ, такъ за этой грозой опять видно чистое небо.

Надъ губами маленькіе усики; на лѣвой щекѣ, ближе къ подбородку, родимое пятно съ густымъ кустикомъ волосъ. Это придавало лицу ея еще какой-то штрихъ доброты.

Она стригла сѣдые волосы и ходила дома по двору и по саду съ открытой головой, а въ праздникъ и при гостяхъ надѣвала чепецъ; но чепецъ держался чуть-чуть на маковкѣ, не шелъ ей и какъ будто готовъ былъ каждую минуту слетѣть съ головы. Она и сама, просидѣвъ пять минутъ съ гостемъ, извинится и сниметъ.

До полудня она ходила въ широкой бѣлой блузѣ, съ поясомъ и большими карманами, а послѣ полудня надѣвала

коричневое, по большимъ праздникамъ свѣтлое, точно серебряное, едва-гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

— Дядя Иванъ Кузьмичъ съ Востока вывезъ, триста червонныхъ заплатилъ: теперь этакой ни за какія деньги не отыщешь!—хвасталась она.

На поясѣ и въ карманахъ висѣло и лежало множество ключей, такъ что бабушку, какъ гремучую змѣю, можно было слышать издали, когда она идетъ по двору или по саду.

Кучера при этомъ звукѣ быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свѣтѣ боялась пожара, и куренье табаку относила — по этой причинѣ — къ большимъ порокамъ.

Повара и кухарки, тоже заслышавъ звонъ ключей, принимались—за ножъ, за уполовникъ или за метлу, а Кирюша быстро отскакивалъ отъ Матрены къ воротамъ, а Матрена шла уже въ хлѣвъ, будто черезъ силу тащила корытцо, прежде нежели бабушка появилась.

Въ домѣ, заслышавъ звонъ ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала съ себя грязный фартукъ, утирала чѣмъ попало, иногда барскимъ платкомъ, а иногда тряпкой, руки. Поплевавъ на нихъ, она крѣпко приглаживала сухія непокорныя косички, потомъ постилала тончайшую, чистую скатерть на круглый столъ, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцвѣтшая тѣломъ женщина, отъ вѣчнаго сидѣнья въ комнатѣ, несла кипящій серебряный кофейный сервизъ.

Машутка становилась въ уголъ, подальше, всегда прячась отъ барыни въ тѣни и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машуткѣ какъ-то неловко было держать себя въ чистотѣ. Чисто вымытыми руками она не такъ цѣпко беретъ вещь въ руки и того-гляди уро-

Въ кабинетѣ Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное рѣзьбой, бюро съ зеркаломъ, съ урнами, съ лирами, съ геніями.

Но бабушка завѣсила зеркало:

— Мѣшаетъ писать, когда видишь свою рожу напротивъ,—говорила она.

Еще тамъ былъ круглый столъ, на которомъ она обѣдала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло, съ высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанію, была стараго вѣка и разваливаться не любила, а держала себя прямо, съ свободной простотой, но и съ сдержаннымъ приличіемъ въ манерахъ, и ногъ подъ себя, какъ дѣлаютъ нынѣшнія барыни, не поджимала:

— Это стыдно женщинѣ,—говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и въ самомъ дѣлѣ была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лѣтъ около пятидесяти женщины, съ черными, живыми глазами и такой доброй и граціозной улыбкой, что когда и разсердится и засверкаетъ гроза въ глазахъ, такъ за этой грозой опять видно чистое небо.

Надъ губами маленькіе усики; на лѣвой щекѣ, ближе къ подбородку, родимое пятно съ густымъ кустикомъ волосъ. Это придавало лицу ея еще какой-то штрихъ доброты.

Она стригла сѣдые волосы и ходила дома по двору и по саду съ открытой головой, а въ праздникъ и при гостяхъ надѣвала чепецъ; но чепецъ держался чуть-чуть на маковкѣ, не шелъ ей и какъ будто готовъ былъ каждую минуту слетѣть съ головы. Она и сама, просидѣвъ пять минутъ съ гостемъ, извинится и сниметъ.

До полудня она ходила въ широкой бѣлой блузѣ, съ поясомъ и большими карманами, а послѣ полудня надѣвала

коричневое, по большимъ праздникамъ свѣтлое, точно серебряное, едва-гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

— Дядя Иванъ Кузьмичъ съ Востока вывезъ, триста червонныхъ заплатилъ: теперь этакой ни за какія деньги не отыщешь!—хвасталась она.

На поясѣ и въ карманахъ висѣло и лежало множество ключей, такъ что бабушку, какъ гремучую змѣю, можно было слышать издали, когда она идетъ по двору или по саду.

Кучера при этомъ звукѣ быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свѣтѣ боялась пожара, и куренье табаку относила — по этой причинѣ — къ большимъ порокамъ.

Повара и кухарки, тоже заслышавъ звонъ ключей, принимались—за ножъ, за уполовникъ или за метлу, а Кирюша быстро отскакивалъ отъ Матрены къ воротамъ, а Матрена шла уже въ хлѣвъ, будто черезъ силу тащила корытцо, прежде нежели бабушка появилась.

Въ домѣ, заслышавъ звонъ ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала съ себя грязный фартукъ, утирала чѣмъ попало, иногда барскимъ платкомъ, а иногда тряпкой, руки. Поплевавъ на нихъ, она крѣпко приглаживала сухія непокорныя косички, потомъ постилала тончайшую, чистую скатерть на круглый столъ, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцвѣтшая тѣломъ женщина, отъ вѣчнаго сидѣнья въ комнатѣ, несла кипящій серебряный кофейный сервизъ.

Машутка становилась въ уголъ, подальше, всегда прячась отъ барыни въ тѣни и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машуткѣ какъ-то неловко было держать себя въ чистотѣ. Чисто вымытыми руками она не такъ цѣпко беретъ вещь въ руки и того-гляди уро-

питъ; самоваръ или чашки скользятъ изъ рукъ; въ чистомъ платьѣ тоже несвободно ходить.

Когда ей велятъ причесаться, вымыться и одѣться въ воскресенье, такъ она, по словамъ ея, точно въ мѣшокъ зашита цѣлый день.

Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется отъ натиранья половъ, мытья оконъ, посуды, дверей, когда лицо, голова сдѣлаются неузнаваемы; а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать носъ или бровь, такъ она прибѣгаетъ къ локтю.

Василиса, напротивъ, была чопорная, важная, вѣчно шепчущая, и одна во всей дворнѣ, только опрятная женщина. Она съ ранней юности поступила на службу къ барынѣ, въ качествѣ горничной, не разставалась съ ней, знаетъ всю ея жизнь и теперь живетъ у нея какъ экономка и довѣренная женщина.

Онѣ говорили между собой односложными словами. Бабушкѣ почти не нужно было отдавать приказаній Василисѣ: она сама знала все, что надо дѣлать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а какъ будто совѣтовала сдѣлать то или другое.

Просить бабушка не могла своихъ подчиненныхъ: это было не въ ея феодальной натурѣ. Человѣкъ, лакей, слуга, дѣвка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нея человѣкомъ, лакеемъ, слугой и дѣвкой.

Личнымъ приказомъ она удостоивала немногихъ: по домашнему хозяйству Василисѣ отдавала ихъ, а по деревенскому—приказчику или старостѣ. Кромѣ Василисы, никого она не называла полнымъ именемъ, развѣ уже встрѣтится такое имя, что его никакъ не сожмешь и не обрѣжешь; напримѣръ, мужики: Ѳерапонтъ и Пантелеймонъ такъ и назывались Ѳерапонтомъ и Пантелеймономъ, да старосту звала она Степанъ Васильевъ, а прочіе всѣ были: Матрёшка, Машутка, Егорка и т. д.

Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, такъ тотъ зналъ, что надъ нимъ собралась гроза:

— Поди-ка сюда, Егоръ Прохорычъ, ты куда это вчера пропадалъ цѣлый день? или: — Семенъ Васильичъ, ты, кажется, вчера изволилъ трубочку покуривать на сѣновалѣ? Смотри у меня!

Она грозила пальцемъ, и иногда ночью вставала посмотрѣть въ окно, не вспыхиваетъ ли огонекъ въ трубкѣ, не ходитъ ли кто съ фонаремъ по двору или въ сараѣ?

Различія между «людьми» и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была въ мѣру строга, въ мѣру снисходительна, человѣколюбива, но все въ размѣрахъ барскихъ понятій. Даже когда являлся у Ирины, Матрены, или другой дворовой дѣвки, непривилегированный ребенокъ, она выслушаетъ донесеніе объ этомъ, молча, съ видомъ оскорбленнаго достоинства; потомъ велитъ Василисѣ дать чего тамъ нужно, съ презрѣніемъ глядя въ сторону, и только скажетъ:

— Чтобъ и ее не видала, негодяйку!

Матрена и Ирина, оправившись, съ мѣсяцъ прятались отъ барыни, а потомъ опять ничего, а ребенокъ отправлялся «на село».

Заболѣетъ ли кто-нибудь изъ людей—Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день въ больницу, а больше къ Меланхолихѣ, доктора же не звала. Между тѣмъ, чуть у которой-нибудь внучки язычокъ зачешется или брюшко немного испучитъ, Кирюшка или Власъ скакали, болтая локтями и ногами, на неосѣдланной лошади, въ городъ, за докторомъ.

«Меланхолихой» звали какую-то бабу въ городской слободѣ, которая простыми средствами лѣчила «людей» и снимала недуги какъ рукой. Бывало, послѣ ея лѣченья, иного скоробитъ на весь вѣкъ въ три погибели, или другой перестанетъ говорить своимъ голосомъ, а только крякхтитъ по-

томъ всю жизнь; кто-нибудь воротится отъ нея безъ глаза или безъ челюсти — а все же боль проходила, и мужикъ или баба работали опять.

Этого было довольно и больнымъ, и лѣкаркѣ, а помѣщику и подавно. Такъ какъ Меланхолиха практиковала только надъ крѣпостными людьми и мѣщанами, то врачебное управленіе не обращало на нее вниманія.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникамъ пирогами и бараниной; въ Рождество жарили гусей и свиней; но нѣжностей въ ихъ столѣ и платьѣ не допускала, а давала, въ видѣ милости, остатки отъ своего стола то той, то другой женщинѣ.

Чай и кофе пила, непосредственно послѣ барыни, Василиса, потомъ горничныя и пожилой Яковъ. Кучерамъ, дворовымъ мужикамъ и старостѣ въ праздники подносили по стакану вина, ради ихъ тяжелой работы.

Когда утромъ убирали со стола кофе, въ комнату вваливалась здоровая баба, съ необъятными, красными щеками и вѣчно-смѣющимся—хоть бей ее—ртомъ: это нянька внучекъ, Вѣрочки и Марѳиньки. За ней входила лѣтъ двѣнадцати дѣвчонка, ея помощница. Приводили дѣтей завтракать въ комнату къ бабушкѣ.

— Ну, птички мои, ну, что?—говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцѣловать. — Ну, что, Вѣрочка? вотъ умница: причесалась.

— И я, бабенька, и я!—кричала Марѳинька.

— Что это у Марѳиньки глазки красны? не плакала ли во снѣ? — заботливо спрашивала она у няни. — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавѣски? Смотри вѣдь, ты розиня! Я ужъ посмотрю.

Еще въ дѣвичьей сидѣли три-четыре молодыя горничныя, которыя цѣлый день, не разгибаясь, что-нибудь шили, или плели кружева, потому что бабушка не могла видѣть человѣка безъ дѣла — да въ передней праздно сидѣлъ, вмѣстѣ

съ мальчишкой лѣтъ шестнадцати, Егоркой-зубоскаломъ, задумчивый Яковъ и еще два-три лакея, на помощь ему, ничего не дѣлавшіе и часто мѣнявшіеся.

И самъ Яковъ только служилъ за столомъ, лѣниво обмахивалъ вѣткой мухъ, лѣниво и задумчиво мѣнялъ тарелки и неохотникъ былъ говорить. Когда и барыня спроситъ его, такъ онъ еле отвѣтитъ, какъ будто ему было Богъ знаетъ какъ тяжело жить на свѣтѣ, будто гнётъ какой-нибудь лежалъ на душѣ, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецкимъ за то только, что онъ смиренъ, пьетъ умѣренно, т. е. мертвецки не напивается, и не куритъ; притомъ онъ усерденъ къ церкви.

VIII.

Райскій засталъ бабушку за дѣтскимъ завтракомъ. Бабушка такъ и всплеснула руками, такъ и прыгнула; чуть не попадали тарелки со стола.

— Проказникъ ты, Бо́рюшка! и не написалъ, нагрянулъ: вѣдь ты перепугалъ меня, какъ вошелъ.

Она взяла его за голову, поглядѣла съ минуту ему въ лицо, хотѣла будто заплакать, но только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портретъ матери Райскаго и подавила вздохъ.

— Ну-ну-ну...—хотѣла она сказать, спросить—и ничего не сказала, не спросила, а только засмѣялась и проворно отерла глаза платкомъ. — Маменькинъ сынокъ: весь, весь въ нее! Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса... Помнишь? Вѣдь похожъ!

Кофе, чай, булки, завтракъ, обѣдъ—все это опрокинулось на студента, еще стыдливаго, робкаго, нѣжнаго юношу, съ аппетитомъ ранней молодости; и всему онъ сдѣлалъ честь. А бабушка почти не сводила глазъ съ него.

— Позови людей, старостѣ скажи, всѣмъ, всѣмъ: хозяинъ, молъ, пріѣхалъ, настоящій хозяинъ, баринъ! Милости

просимъ, батюшка! милости просимъ въ родовое гнѣздо!— съ шутливо-ироническимъ смиреніемъ говорила она, поддѣлываясь подъ мужицкій ладъ. — Не оставьте насъ своей милостью: Татьяна Марковна насъ обижаетъ, разоряетъ, заступитесь!.. Ха-ха-ха.—На тебѣ ключи, на вотъ счеты, изволь командовать, требуй отчета отъ старухи: куда все растранжирила, отчего избы развалились?.. Поди-ка, въ городѣ все малиновскіе мужики подъ окошками побираются... Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна тамъ, въ новомъ имѣніи, я чаю, мужики въ смазныхъ сапогахъ ходятъ, да въ красныхъ рубашкахъ; избы въ два этажа... Да что жъ ты, хозяинъ, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потомъ я тебѣ все покажу.

Послѣ завтрака, бабушка взяла большой зонтикъ, надѣла ботинки съ толстой подошвой, голову прикрыла полотнянымъ капоромъ и пошла показывать Борису хозяйство.

— Ну, хозяинъ, смотри же, замѣчай, и чуть что неисправно, не давай потачки бабушкѣ. Вотъ садикъ-то, что у окошекъ, я, видишь, недавно разбила, — говорила она, проходя чрезъ цвѣтникъ и направляясь къ двору: — Вѣрочка съ Мароинькой тутъ у меня все на глазахъ играютъ, роются въ пескѣ. На няньку надѣяться нельзя: я и вижу изъ окошка, что онѣ дѣлаютъ. Вотъ подрастутъ, цвѣтовъ не надо покупать: свои есть.

Они вошли на дворъ.

— Кирюшка, Ерёмка, Матрёшка? Куда это всѣ спрятались?—взывала бабушка, стоя посреди двора.—Жарко, что ли? Выдьте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрёшка и доложила, что Кирюшка и Ерёмка посланы въ село за мужиками.

— Вотъ Матрёшка: помнишь ли ты ее? — говорила бабушка.—А ты, подойди, дура, что стоишь? Поцѣлуй ручку у барина: вѣдь это внучекъ.

— Оробѣла, барыня, не смѣю! — сказала Матрёна, подходя къ барину.

Онъ стыдливо обнялъ ее.

— Это новый флигель, бабушка: его не было, — сказалъ Борисъ.

— Замѣтилъ! Да, да, помнишь, старый? Весь сгнилъ, щели въ полу въ ладонь, чернота, копоть, а теперь вотъ посмотри!

Они вошли въ новый флигель. Бабушка показала ему передѣлки въ кошюшняхъ, показала и лошадей, и особое отдѣленіе для птицъ, и прачечную, даже хлѣвы.

— Старой кухни тоже нѣтъ; вотъ новая, нарочно выстроила отдѣльно, чтобъ въ дому огня не разводить, и чтобъ людямъ не тѣсно было. Теперь у всякаго и у всякой свой уголъ есть хоть маленькій, да особый. Вотъ здѣсь хлѣбъ, провизія; вотъ тутъ погребъ новый, подвалы тоже заново передѣланы.

— Ты что тутъ стоишь?—оборотилась она къ Матрёнѣ:— поди скажи Егоркѣ, чтобъ онъ бѣжалъ въ село и сказалъ старостѣ, что мы сами идемъ туда.

Въ саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и кустъ, провела по аллеямъ, заглянула съ нимъ въ рощу съ горы, и наконецъ они вышли въ село. Было тепло и озимая рожь плавно волновалась отъ тихаго, полуденнаго вѣтерка.

— Вотъ внукъ мой, Борисъ Павлычъ!—сказала она старостѣ. — Что, убираютъ ли сѣно, пока горячо на дворѣ? Пожалуй, дожди послѣ жары пойдутъ. Вотъ баринъ, настоящій баринъ пріѣхалъ, внукъ мой! — говорила она мужикамъ. — Ты видалъ ли его, Гараська? Смотри же, какой онъ! А это твой, что ли, теленокъ во ржи, Илюшка? — спрашивала при этомъ, потомъ мимоходомъ заглянула на прудъ.

— Опять на деревья бѣлье вѣшаютъ! — гнѣвно замѣтила

она, обратясь къ старостѣ. — Я велѣла веревку протянуть. Скажи слѣпой Агашкѣ: это она все любитъ на иву рубашки вѣшать! сокровище! Обломаетъ вѣтки!..

— Веревки такой длинной нѣтъ,—сонно отозвался староста:—ужо надо въ городѣ купить...

— Что жъ не скажешь Василисѣ: она доложила бы мнѣ. Я всякую недѣлю ѣзжу: давно бы купила.

— Я сказывалъ; да забываетъ—или говоритъ, не стоитъ барыню тревожить.

Бабушка завязала на платкѣ узелокъ. Она любила говорить, что безъ нея ничего не сдѣлается, хотя, напримѣръ, веревку могъ купить всякій. Но Боже сохрани, чтобъ она повѣрила кому-нибудь деньги.

Хотя она была не скупа, но обращалась съ деньгами съ бережливостью; передъ издержкой задумывалась, была безпокойна, даже сердита немного; но, выдавъ разъ деньги, тотчасъ же забывала о нихъ, и даже не любила записывать; а если записывала, такъ только для того, по ея словамъ, чтобъ потомъ не забыть, куда деньги дѣла, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдругъ много, большіе куши.

Кромѣ крупныхъ распоряженій, у ней жизнь кишѣла маленькими заботами и дѣлами. То она заставитъ дѣвокъ кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Дѣлать все самой» она называла смотрѣть, чтобъ все при ней дѣлали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески граціозно подопретъ одной рукой бокъ, а пальцемъ другой повелительно указываетъ, что̀ какъ сдѣлать, куда поставить, убрать.

Звенѣвшіе ключи были отъ домашнихъ шкаповъ, сундуковъ, ларцовъ и шкатулокъ, гдѣ хранились старинное богатое бѣлье, полотна, пожелтѣвшія драгоцѣнныя кружева, брильянты, назначавшіеся внучкамъ въ приданое, а глав-

ное — деньги. Отъ чая, сахара, кофе и прочей провизіи ключи были у Василисы.

Распорядившись утромъ по хозяйству, бабушка, послѣ кофе, стоя, сводила у бюро счеты, потомъ садилась у оконъ и глядѣла въ поле, слѣдила за работами, смотрѣла, что дѣлалось на дворѣ, и посылала Якова или Василису, если на дворѣ дѣлалось что-нибудь не такъ, какъ ей хотѣлось.

Потомъ, если нужно, ѣхала въ ряды и заѣзжала съ визитами въ городъ, но никогда не засиживалась, а только заглянетъ минутъ на пять и сейчасъ къ другому, къ третьему, и къ обѣду домой.

Не то такъ принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обѣдами гостей. Еще ни одного человѣка не выпустила отъ себя, сколько ни живетъ бабушка, не напичкавъ его чѣмъ-нибудь во всякую пору, утромъ и вечеромъ.

Послѣ обѣда, бабушка зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидѣла безпечной барыней, въ красивой позѣ, съ сосредоточенной будто бы мыслью или какимъ-то глубокимъ воспоминаніемъ и — любила тогда около себя тишину, оставаясь долго въ сумеркахъ одна. Лѣто проводила въ огородѣ и саду: здѣсь она позволяла себѣ, надѣвъ замшевыя перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку въ руки, и, для здоровья, вскопаетъ грядку, польетъ цвѣты, обчиститъ какой-нибудь кустъ отъ гусеницы, сниметъ паутину съ смородины и, усталая, кончитъ вечеръ за чаемъ, въ обществѣ Тита Никоныча Ватутина, ея стариннаго и лучшаго друга, собесѣдника и совѣтника.

IX.

Титъ Никонычъ былъ джентльменъ по своей природѣ. У него было тутъ же, въ губерніи, душъ двѣсти-пятьдесятъ

или триста—онъ хорошенько не зналъ, никогда въ имѣніе не заглядывалъ и предоставлялъ крестьянамъ дѣлать, что хотятъ, и платить ему оброку, сколько имъ заблагоразсудится. Никогда онъ ихъ не повѣрялъ. Возьметъ стыдливо привезенныя деньги, не считая, положитъ въ бюро, а мужикамъ махнетъ рукой, чтобъ ѣхали куда хотятъ.

Служилъ онъ прежде въ военной службѣ. Старики помнятъ его очень красивымъ, молодымъ офицеромъ, скромнымъ, благовоспитаннымъ человѣкомъ, но съ смѣлымъ, открытымъ характеромъ.

Въ юности онъ пріѣзжалъ не разъ къ матери, въ свое имѣніе, проводилъ время отпуска и уѣзжалъ опять, и наконецъ вышелъ въ отставку, потомъ пріѣхалъ въ городъ, купилъ маленькій сѣренькій домикъ, съ тремя окнами на улицу, и свилъ себѣ тутъ вѣчное гнѣздо.

Хотя онъ получилъ довольно слабое образованіе въ какомъ-то корпусѣ, но любилъ читать, а особенно по части политики и естественныхъ наукъ. Слова его, манеры, поступь, были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, скрывалась увѣренность въ своемъ достоинствѣ и никогда не высказывалась, а какъ-то видимо присутствовала въ немъ, какъ будто готовая обнаружиться, когда дойдетъ до этого необходимость.

Онъ сохранялъ всегда учтивость и сдержанность въ словахъ и жестахъ, какъ бы съ кѣмъ близокъ ни былъ. И губернатору, и пріятелю, и новому лицу онъ всегда одинаково поклонится, шаркнетъ ногой и приподниметъ ее немного назадъ, соблюдая старинные фасоны вѣжливости. Передъ дамой никогда не сядетъ, и даже на улицѣ говоритъ безъ шапки, прежде всѣхъ подниметъ платокъ и подвинетъ скамеечку. Если въ домѣ есть дѣвицы, то принесетъ фунтъ конфетъ, букетъ цвѣтовъ, и старается подладить тонъ разговора подъ ихъ лѣта, занятія, склонности, сохраняя утонченнѣйшую учтивость, смѣшанную съ неизмѣнною почти-

тельностью рыцарей стараго времени, не позволяя себѣ нескромной мысли, не только намёка въ рѣчи, не являясь передъ ними иначе, какъ во фракѣ.

Онъ не курилъ табаку, но не душился, не молодился, а былъ какъ-то опрятенъ, изящно чистъ и благороденъ видомъ, манерами, обхожденіемъ. Одѣвался всегда чисто, особенно любилъ бѣлье и блисталъ, не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а бѣлизной.

Все просто на немъ, но все какъ будто сіяетъ. Нанковые панталоны выглажены, чисты; синій фракъ, какъ съ иголочки. Ему было лѣтъ пятьдесятъ, а онъ имѣлъ видъ сорока-лѣтняго свѣжаго, румянаго человѣка, благодаря парику и всегда гладко обритому подбородку.

Взглядъ и улыбка у него были такъ привѣтливы, что сразу располагали въ его пользу. Несмотря на свои ограниченныя средства, онъ имѣлъ видъ щедраго барина: такъ легко и радушно бросалъ онъ сто рублей, какъ будто бросалъ тысячи.

Къ бабушкѣ онъ питалъ какую-то почтительную, почти благоговѣйную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что по тому только, какъ онъ входилъ къ ней, садился, смотрѣлъ на нее, можно было заключить, что онъ любилъ ее безъ памяти. Никогда, ни въ отношеніи къ ней, ни при ней, онъ не обнаружилъ, по своему обыкновенію, признака короткости, хотя былъ ежедневнымъ ея гостемъ.

Она платила ему такой же дружбой, но въ тонѣ ея было больше живости и короткости. Она даже брала надъ нимъ верхъ, чѣмъ, конечно, была обязана бойкому своему нраву.

Помнившіе ее молодою, говорятъ, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная дѣвушка, и что возня съ хозяйствомъ обратила ее въ вѣчно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но, слѣды молодости и иныхъ манеръ остались въ ней.

Накинувъ шаль и задумавшись, она походила на одинъ старый женскій портретъ, бывшій въ старомъ домѣ въ галереѣ предковъ.

Иногда вдругъ появлялось въ ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслію, какъ будто уносившею ее далеко отъ этой мелкой жизни, въ какую-то другую жизнь.

Сидя одна, она иногда улыбалась такъ граціозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подпершись бокъ рукою или сложивъ руки крестомъ на груди, смотритъ на Волгу и забудетъ о хозяйствѣ, то въ лицѣ носится что-то грустное.

Не проходило почти дня, чтобъ Титъ Никонычъ не принесъ какого-нибудь подарка бабушкѣ, или внучкамъ. Въ мартѣ, когда еще о зелени не слыхать нигдѣ, онъ принесетъ свѣжій огурецъ, или корзиночку земляники, въ апрѣлѣ горсточку свѣжихъ грибовъ—«первую новинку». Привезутъ въ городъ апельсины, появятся персики — они первые подаются у Татьяны Марковны.

Въ городѣ прежде былъ, а потомъ замолкъ, за давностію, слухъ о томъ, какъ Титъ Никонычъ, въ молодости, пріѣхалъ въ городъ, влюбился въ Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна въ него. Но родители не согласились на бракъ, а назначили ей въ женихи кого-то другого.

Она, въ свою очередь, не согласилась и осталась дѣвушкой.

Правда ли это, нѣтъ ли — знали только они сами. Но правда то, что онъ ежедневно являлся къ ней, или къ обѣду, или вечеромъ, и тамъ кончалъ свой день. Къ этому всѣ привыкли, и дальнѣйшихъ догадокъ на этотъ счетъ никакихъ не дѣлали.

Титъ Никонычъ любилъ бесѣдовать съ нею о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ, кто съ кѣмъ воюетъ, за что; зналъ, от-

чего у насъ хлѣбъ дешевъ, и что бы было, если бъ его можно было возить отсюда за границу. Зналъ онъ еще наизусть всѣ старинные дворянскіе дома, всѣхъ полководцевъ, министровъ, ихъ біографіи; разсказывалъ, какъ одно море лежитъ выше другого; первый увѣдомитъ, что выдумали англичане и французы, и рѣшитъ, полезно ли это, или нѣтъ.

Онъ же сообщалъ Татьянѣ Марковнѣ, что сахаръ подешевѣлъ въ Нижнемъ, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожаетъ, чтобъ она заблаговременно запаслась.

Въ присутственномъ мѣстѣ понадобится что-нибудь — Титъ Никонычъ все сдѣлаетъ, исправитъ, иногда даже утаитъ лишнюю издержку, развѣ нечаянно откроется, черезъ другихъ, и она пожуритъ его, а онъ сконфузится, попроситъ прощенія, расшаркается и поцѣлуетъ у нея ручку.

Она была всегда въ оппозиціи съ мѣстными властями: постой ли къ ней назначатъ, или велятъ дороги чинить, взыскиваютъ ли подати: она считала всякое подобное распоряженіе начальства насиліемъ, бранилась, ссорилась, отказывалась платить, и объ общемъ благѣ слышать не хотѣла:—Знай всякій себя,—говорила она, и не любила полиціи, особенно одного полицеймейстера, видя въ немъ почти разбойника. Титъ Никонычъ, попытавшись нѣсколько разъ, но тщетно, примирить ее съ идеей объ общемъ благѣ, ограничился тѣмъ, что мирилъ ее съ мѣстными властями и полиціей.

Вотъ въ какое лоно патріархальной тишины попалъ юноша Райскій. У сироты, вдругъ какъ будто явилось семейство, мать и сестры, въ Титѣ Никонычѣ—идеалъ добраго дяди.

X.

Бабушка только-было расположилась объяснять ему, чѣмъ засѣвается у нея земля, и что выгоднѣе всего воздѣлывать по нынѣшнему времени, какъ внучекъ сталъ зѣвать.

— А ты послушай: вѣдь это все твое; я твой староста...—говорила она.

Но онъ зѣвалъ, смотрѣлъ, какія это птицы прячутся въ рожь, какъ летаютъ стрекозы, срывалъ васильки и пристально разглядывалъ мужиковъ, еще пристальнѣе слушалъ деревенскую тишину, смотрѣлъ на синее небо, какимъ оно далекимъ кажется здѣсь.

Бабушка что-то затолковалась съ мужиками, а онъ прибѣжалъ въ садъ, сбѣжалъ съ обрыва внизъ, продрался сквозь чащу на берегъ, къ самой Волгѣ, и онѣмѣлъ передъ лежавшимъ пейзажемъ.

«Нѣтъ, молодъ, еще дитя: не разумѣетъ дѣла», думала бабушка, провожая его глазами. «Вонъ какъ подралъ! что-то выйдетъ изъ него?»

Волга задумчиво текла къ берегамъ, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтѣли песчаные бока горъ, а на нихъ синѣлъ лѣсъ; кое-гдѣ бѣлѣлъ парусъ, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ея и кругами поднимались опять вверхъ, а надъ садами высоко и медленно плавалъ коршунъ.

Борисъ уже не смотрѣлъ передъ собой, а чутко замѣчалъ, какъ картина эта повторяется у него въ головѣ; какъ тамъ расположились горы, попала ли туда вонъ избушка, изъ которой валилъ дымъ; повѣрялъ и видѣлъ, что и мели тамъ, и паруса бѣлѣютъ.

Онъ долго стоялъ и, закрывъ глаза, переносился въ дѣтство, помнилъ, что подлѣ него сиживала мать, вспоминалъ ея лицо и задумчивое сіяніе глазъ, когда она глядѣла на картину...

Онъ пошелъ тихонько домой, сталъ карабкаться на обрывъ, и картина какъ будто зашла впередъ его и легла передъ глазами.

Объ этомъ обрывѣ осталось печальное преданіе въ Малиновкѣ и во всемъ околоткѣ. Тамъ, на днѣ его, среди ку

стовъ, еще при жизни отца и матери Райскаго, убилъ за невѣрность жену и соперника, и тутъ же самъ зарѣзался, одинъ ревнивый мужъ, портной изъ города. Самоубійцу тутъ и зарыли, на мѣстѣ преступленія.

Вся Малиновка, слобода и домъ Райскихъ, и городъ были поражены ужасомъ. Въ народѣ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, возникли слухи, что самоубійца, весь въ бѣломъ, блуждаетъ по лѣсу, взбирается иногда на обрывъ, смотритъ на жилыя мѣста и исчезаетъ. Отъ суевѣрнаго страха, ту часть сада, которая шла съ обрыва по горѣ и отдѣлялась плетнемъ отъ ельника и кустовъ шиповника, забросили.

Никто изъ дворни уже не сходилъ въ этотъ обрывъ, мужики изъ слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться съ горы къ Волгѣ по другимъ скатамъ, и обрывамъ, или по проѣзжей, хотя и крутой дорогѣ, между двухъ плетней.

Плетень, отдѣлявшій садъ Райскихъ отъ лѣса, давно упалъ и исчезъ. Деревья изъ сада смѣшались съ ельникомъ и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое мѣсто, въ которомъ пряталась заброшенная, полуразвалившаяся бесѣдка.

Отецъ Райскаго велѣлъ даже въ верхнемъ саду выкопать ровъ, который и составлялъ границу сада, недалеко отъ того мѣста, гдѣ начинался обрывъ.

Райскій вспомнилъ это печальное преданіе, и у него плечи немного холодѣли отъ дрожи, когда онъ спускался съ обрыва, въ чащу кустовъ.

Ему живо представлялась картина, какъ ревнивый мужъ, трясясь отъ волненія, пробирался между кустовъ, какъ бросился къ своему сопернику, ударилъ его ножомъ; какъ, можетъ-быть, жена билась у ногъ его, умоляя о прощеніи. Но онъ, съ пѣной у рта, наносилъ ей рану за раной, и потомъ, надъ обоими трупами, перерѣзалъ горло и себѣ.

Райскій вздрогнулъ и, взволнованный, грустный, воротился домой отъ проклятаго мѣста. А между тѣмъ эта дичь лѣса манила его къ себѣ, въ таинственную темноту, къ обрыву, съ котораго видъ былъ хорошъ на Волгу и оба ея берега.

Борисъ былъ весь въ картинѣ; задумчивость лежала на лицѣ, ему было такъ хорошо—вѣкъ бы тутъ стоять.

Онъ закроетъ глаза и хочетъ поймать, о чемъ онъ думаетъ, но не поймаетъ; мысли являются и утекаютъ, какъ волжскія струи: только въ немъ точно поетъ ему какой-то голосъ, и въ головѣ, какъ въ какомъ-то зеркалѣ, стоитъ та же картина, что̀ передъ глазами.

Вѣрочка и Марѳинька развлекли его. Онѣ не отставали отъ него, заставляли рисовать куръ, лошадей, дома, бабушку и себя, и не отпускали его ни на шагъ.

Вѣрочка была съ черными, вострыми глазами, смугленькая дѣвочка, и ужъ начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнетъ два-три шага по-дѣтски и вдругъ остановится и стыдливо поглядитъ вокругъ себя, и пойдетъ плавно, потомъ побѣжитъ, и тайкомъ, быстро, какъ птичка клюнетъ, сорветъ вѣтку смородины, проворно спрячетъ въ ротъ и сдѣлаетъ губы смирно.

Если Борисъ тронетъ ее за голову, она сейчасъ поправитъ волосы; если поцѣлуетъ, она тихонько оботрется. Схватитъ мячикъ, броситъ его раза два, а если онъ укатился, она не пойдетъ поднять его, а прыгнетъ, сорветъ листокъ и старается щелкнуть.

Она упряма: если скажутъ, пойдемъ туда, она не пойдетъ, или пойдетъ не сразу, а прежде покачаетъ отрицательно головой, потомъ не пойдетъ, а побѣжитъ, и все вприпрыжку.

Она не проситъ рисовать: а если Марѳинька попроситъ, она пристальнѣе Марѳиньки смотритъ, какъ рисуютъ, и ничего не скажетъ. Рисунковъ и карандашей, какъ Мар-

енька, тоже не просить. Ей было лѣтъ шесть съ небольшимъ.

Маронька, напротивъ, бѣленькая, красненькая и пухленькая дѣвочка по пятому году. Она часто капризничаетъ и плачетъ, но не долго: сейчасъ же, съ невысохшими глазами, уже визжитъ и смѣется.

Вѣрочка плачетъ рѣдко и потихоньку, и если огорчатъ ее чѣмъ-нибудь, она дѣлается молчалива и не скоро приходитъ въ себя, не любитъ, чтобъ ее заставляли просить прощенья.

Она молчитъ-молчитъ, потомъ вдругъ неожиданно придетъ въ себя и станетъ опять бѣгать вприпрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую въ канавахъ и строго запрещенную бабушкой, потому что отъ нея будто бы тошнитъ.

«О чемъ это онъ все думаетъ?» пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, какъ онъ внезапно задумывался послѣ веселости, часто также внезапной: «и что это онъ все тамъ у себя дѣлаетъ?»

Но Борисъ не заставилъ ждать долго отвѣта: онъ показалъ бабушкѣ свой портфель съ рисунками, потомъ переигралъ ей всѣ кадрили, мазурки и мотивы изъ оперъ, наконецъ, свои фантазіи.

Бабушка такъ и ахнула.

— Весь, весь въ мать! — говорила она. — Та тоже все, бывало, тоскуетъ, ничего не надо, все о чемъ-то вздыхаетъ, какъ будто ждетъ чего-нибудь, да вдругъ заиграетъ и развеселится, или отъ книжки не оттащишь! Смотри, Василиса: и тебя, и меня сдѣлалъ, да вѣдь какъ вылитыя! Вотъ постой, Титъ Никонычъ придетъ, а ты притаись, да и срисуй его, а завтра тихонько поплемъ къ нему въ кабинетъ на стѣну приклеить! Каковъ внучекъ? Какъ играетъ! не хуже француза-эмигранта, что у тётки жилъ... И мол-

читъ, не скажетъ! Завтра же въ городъ повезу, къ княгинѣ, къ предводителю! Вотъ только никакъ не заставишь его о хозяйствѣ слушать: молодъ!

Борисъ успѣлъ пересказать бабушкѣ и «Освобожденный Іерусалимъ», и «Оссіяна», и даже изъ Гомера, и изъ лекцій кое-что, рисовалъ портреты съ нея, съ дѣтей, съ Василисы; опять игралъ на фортепіано.

Потомъ бѣжалъ на Волгу, садился на обрывъ, или сбѣгалъ къ рѣкѣ, ложился на песокъ, смотрѣлъ за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой въ кустахъ, и глядѣлъ въ себя, наблюдая, отражается ли въ немъ картина, все ли въ ней такъ же вѣрно и ярко, и черезъ недѣлю сталъ замѣчать, что картина пропадаетъ, блѣднѣетъ, и что ему какъ будто уже... скучно.

А бабушка все хотѣла показывать ему счеты, объясняла, сколько она откладываетъ въ приказъ, сколько идетъ на ремонтъ хозяйства, чего стоили передѣлки.

— Вѣрочкины и Марѳинькины счеты особо: вотъ смотри,—говорила она:—не думай, что на нихъ хоть копейка твоя пошла. Ты послушай...

Но онъ не слушалъ, а смотрѣлъ, какъ писала бабушка счеты, какъ она глядитъ на него черезъ очки, какія у нея морщины, родимое пятнышко, и лишь доходилъ до глазъ и до улыбки, вдругъ засмѣется и бросится цѣловать ее.

— Ты ему о дѣлѣ, а онъ шалитъ: пустота какая, мальчикъ! — говорила однажды бабушка. — Прыгай да рисуй, а ужо спасибо скажешь, какъ подъ старость будетъ уголокъ. Еще то имѣніе-то, Богъ знаетъ, что будетъ, какъ опекунъ управится съ нимъ! а это ужъ старое, прижилось въ немъ...

Онъ сталъ проситься посмотрѣть старый домъ.

Неохотно дала ему ключи отъ него бабушка, но отказать не могла, и онъ отправился смотрѣть комнаты, въ которыхъ родился, жилъ, и о которыхъ осталось у него смутное воспоминаніе.

— Василиса, ты бы пошла за нимъ, — сказала бабушка.

Василиса тронулась-было съ мѣста.

— Не надо, не надо; я одинъ,—упрямо сказалъ Борисъ и отправился, разглядывая тяжелый ключъ, въ которомъ пустыя мѣста между зубцами заросли ржавчиной.

Егорка, прозванный зубоскаломъ,—потому что сидѣлъ все въ дѣвичьей и немилосердно издѣвался надъ горничными,— отперъ ему двери.

— И я, и я пойду съ дядей, — попросилась-было Марфинька.

— Куда ты, милая? тамъ страшно — у! — сказала бабушка.

Марфинька испугалась. Вѣрочка ничего не сказала; но когда Борисъ пришелъ къ двери дома, она ужъ стояла, крѣпко прижавшись къ ней, боясь, чтобы ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка.

Со страхомъ и замираніемъ въ груди вошелъ Райскій въ прихожую и боязливо заглянулъ въ слѣдующую комнату: это была зала съ колоннами, въ два свѣта, но до того съ затянутыми пылью и плѣсенью окнами, что въ ней было, вмѣсто двухъ свѣтовъ, двое сумерекъ.

Вѣрочка только-что ворвалась въ переднюю, какъ бросилась вприпрыжку впередъ и исчезла изъ глазъ, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонамъ, на портреты.

— Куда ты, Вѣра, Вѣра?—кричалъ онъ.

Она остановилась и глядѣла на него молча, положивъ руку на замокъ слѣдующей двери. Онъ не успѣлъ дойти до нея, а она уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачныя, закоптѣвшія гостиныя; въ одной были закутанныя въ чехлы двѣ статуи, какъ два привидѣнія, и старыя, тоже закрытыя люстры.

Вездѣ почернѣвшія, массивныя, дубовыя и изъ чернаго дерева кресла, столы, съ бронзовой отдѣлкой и деревянной

мозаикой; большія китайскія вазы; часы — Вакхъ, ѣдущій на бочкѣ; большія овальныя, въ золоченыхъ, въ видѣ вѣтокъ, рамахъ зеркала; громадная кровать въ спальнѣ стояла, какъ пышный гробъ, покрытый глазетомъ.

Райскій съ трудомъ представлялъ себѣ, какъ спали на этихъ катафалкахъ: казалось ему, не уснуть живому человѣку тутъ. Подъ балдахиномъ вызолоченный висящій купидонъ, весь въ пятнахъ, полинявшій, натягивалъ стрѣлу въ постель; по угламъ рѣзные шкапы, съ насѣчкой изъ кости и перламутра.

Вѣрочка отворила одинъ шкапъ и сунула туда личико, потомъ отворила, одинъ за другимъ, ящики и также сунула личико: изъ шкаповъ понесло сыростью и пылью отъ старинныхъ кафтановъ и шитыхъ мундировъ съ большими пуговицами.

По стѣнамъ портреты: отъ нихъ не уйдешь никуда—они провожаютъ всюду глазами.

Весь домъ пропитанъ пылью и пустотой. По угламъ какъ будто раздается шорохъ. Райскій ступилъ шагъ, и въ углу какъ будто кто-то ступилъ.

Отъ сотрясенія пола подъ шагами, съ колоннъ и потолковъ тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-гдѣ на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; въ окнѣ жалобно жужжитъ и просится въ запыленное стекло наружу муха.

— Да, бабушка правду говоритъ: здѣсь страшно!—говорилъ, вздрагивая, Райскій.

Но Вѣрочка обѣгала всѣ углы и уже возвращалась сверху, изъ внутреннихъ комнатъ, которыя, въ противоположность большимъ нижнимъ заламъ и гостинымъ, походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью, и смотрѣли окнами на всѣ стороны.

Въ комнатѣ сумрачно, мертво, все — подобіе смерти, а

взглянешь въ окно—и отдохнешь: тамъ кайма синяго неба, зелень мелькаетъ, люди шевелятся.

Вѣрочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась ни преслѣдующими взглядами портретовъ, ни сыростью, ни пылью, всѣмъ этимъ печальнымъ запустѣніемъ.

— Здѣсь хорошо, мѣста много! — сказала она, оглядываясь.—Какъ тамъ хорошо вверху! Какія большія картины, книги!

— Картины, книги: гдѣ? Какъ это я не вспомнилъ о нихъ! Ай да Вѣрочка!

Онъ поймалъ и поцѣловалъ ее. Она отерла губы и побѣжала показывать книги.

Райскій нашелъ тысячи двѣ томовъ и углубился въ чтеніе заглавій. Тутъ были всѣ энциклопедисты: и Расинъ съ Корнелемъ, Монтескьё, Макіавелли, Вольтеръ, древніе классики во французскомъ переводѣ, и «Неистовый Орландъ», и Сумароковъ съ Державинымъ, и Вальтеръ-Скоттъ, и знакомый «Освобожденный Іерусалимъ» и «Иліада» по-французски, и «Оссіянъ» въ переводѣ Карамзина, Мармонтель и Шатобріанъ, и безчисленные мемуары. Многіе еще не разрѣзаны: какъ видно, владѣтели, т. е. отецъ и дѣдъ Бориса, не успѣли прочесть ихъ.

Съ тѣхъ поръ не стало слышно Райскаго въ домѣ; онъ даже не ходилъ на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами.

Онъ читалъ, рисовалъ, игралъ на фортепіано, и бабушка заслушивалась; Вѣрочка, не сморгнувъ, глядѣла на него во всѣ глаза, положивъ подбородокъ на фортепіано.

То писалъ онъ стихи и читалъ громко, упиваясь музыкой ихъ, то рисовалъ опять берегъ и плавалъ въ трепетѣ, въ нѣгѣ: чего-то ждалъ впереди—не зналъ чего, но вздрагивалъ страстно, какъ будто предчувствуя какія-то испанскія, роскошныя наслажденія, видя тотъ міръ, гдѣ все

слышатся звуки, гдѣ все носятся картины, гдѣ плещетъ, играетъ, бьется другая, заманчивая жизнь, какъ въ тѣхъ книгахъ, а не та, которая окружаетъ его...

— Послушай, что я хотѣла тебя спросить, — сказала однажды бабушка:—зачѣмъ ты опять въ школу поступилъ?

— Въ университетъ, бабушка, а не въ школу.

— Все равно: вѣдь ты учишься тамъ. Чему? У опекуна учился, въ гимназіи учился, рисуешь, играешь на клавикордахъ—что еще? А студенты выучатъ тебя только трубку курить, да пожалуй—Боже сохрани—вино пить. Ты бы въ военную службу поступилъ, въ гвардію.

— Дядя говоритъ, что средствъ нѣтъ...

— Какъ нѣтъ: а это что?

Она указала на поля и деревушку.

— Да что жъ это?.. Чѣмъ тутъ?..

— Какъ чѣмъ!—И начала высчитывать сотни и тысячи.

Она не живала въ столицѣ, никогда не служила въ военной службѣ, и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

— Средствъ нѣтъ! Да я тебѣ одной провизіи на весь полкъ пришлю! Что ты... средствъ нѣтъ! А дядюшка куда доходы дѣваетъ?

— Я, бабушка, хочу быть артистомъ.

— Какъ артистомъ?

— Художникомъ... Послѣ университета въ академію пойду...

— Что ты, Борюшка, перекрестись! — сказала бабушка, едва понявъ, что онъ хочетъ сказать.—Это ты хочешь учителемъ быть?

— Нѣтъ, бабушка, не всѣ артисты — учители, есть знаменитые таланты: они въ большой славѣ и деньги большія получаютъ за картины или за музыку...

— Такъ ты за свои картины будешь деньги получать, или играть по вечерамъ за деньги?.. Какой срамъ!

— Нѣтъ, бабушка, артистъ...

— Нѣтъ, Борюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидѣть тебя въ гвардейскомъ мундирѣ: молодцомъ пріѣзжай сюда...

— А дядюшка говоритъ, чтобъ я шелъ въ статскую...

— Въ приказные! Писать согнувшись, купаться въ чернилахъ, бѣгать въ палату: кто потомъ за тебя пойдетъ? Нѣтъ, нѣтъ, пріѣзжай офицеромъ, да женись на богатой!

Хотя Райскій не раздѣлялъ мнѣнія ни дяди, ни бабушки, но въ перспективѣ у него мелькала собственная его фигура, то въ гусарскомъ, то въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ. Онъ смотрѣлъ, хорошо ли онъ сидитъ на лошади, ловко ли танцуетъ. Въ тотъ день онъ нарисовалъ себя небрежно-оперншагося на сѣдло, съ буркой на плечахъ.

XI.

Однажды бабушка велѣла заложить свою старую, высокую карету, надѣла чепчикъ, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велѣла надѣть ливрею и поѣхала въ городъ съ визитами, показывать внучка, и въ лавки, дѣлать закупки.

Ихъ везла пара сытыхъ лошадей, ѣхавшихъ медленной рысью; въ груди у нихъ что-то отдавалось, точно икота. Кучеръ держалъ кнутъ въ кулакѣ, вожжи лежали у него на колѣнихъ, и онъ изрѣдка подергивалъ ими, съ лѣнивымъ любопытствомъ и зѣвотой поглядывая на знакомые предметы по сторонамъ.

Это было болѣе торжественное шествіе бабушки по городу. Не было человѣка, который бы не поклонился ей. Съ иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякаго встрѣчнаго, объясняла, проѣзжая мимо домовъ, кто живетъ, и какъ,—все это бѣгло, на ходу.

Доѣхали они до деревянныхъ рядовъ. Купецъ встрѣтилъ

ее съ поклонами и съ улыбкой, держа шляпу на-отлетѣ и голову наклонивъ немного въ сторону.

— Татьянѣ Марковнѣ!.. — говорилъ онъ съ улыбкой, показывая рядъ блестящихъ бѣлыхъ зубовъ.

— Здравствуйте. Вотъ вамъ внука привезла, настоящаго хозяина имѣнія. Его капиталъ мотаю я у васъ въ лавкѣ. Какъ рисуетъ, играетъ на фортепіано!..

Райскій дернулъ бабушку за рукавъ.

Кузьма Ѳедотычъ отвѣсилъ и Райскому такой же поклонъ.

— Хорошо ли торгуете?—спросила бабушка.

— Грѣхъ пожаловаться, сударыня. Только вы рѣдко стали жаловать, — отвѣчалъ онъ, смахивая пыль съ кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставилъ стулъ.

Въ лавкѣ были сукна и матеріи, въ другой комнатѣ— сыръ и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрѣла всѣ матеріи, прицѣнилась и къ сыру, и къ карандашамъ, поговорила о цѣнѣ на хлѣбъ и перешла въ другую, потомъ въ третью лавку, наконецъ, проѣхала черезъ базаръ и купила только веревку, чтобъ не вѣшали бабы бѣлье на дерево, и отдала Прохору.

Онъ долго ее разсматривалъ, все потягивая въ рукахъ каждый вершокъ, потомъ осмотрѣлъ оба конца и спряталъ въ шапку.

— Ну, теперь пора съ визитами,—сказала она.—Поѣдемъ къ Нилу Андреевичу.

— Кто это Нилъ Андреевичъ?—спросилъ Борисъ.

— Развѣ я тебѣ не говорила? Это предсѣдатель палаты, важный человѣкъ: солидный, умный, молчитъ все; а если скажетъ, даромъ словъ не тратитъ. Его всѣ боятся въ городѣ: что онъ сказалъ, то и свято. Ты приласкайся къ нему: онъ любитъ пожурить...

— Что жъ, бабушка, толку, что журитъ? Я не хочу...

— Молодъ, молодъ ты; послѣ самъ спасибо скажешь.

Слава Богу, что не вывелись такіе люди, что уму-разуму учатъ! Зато какъ лестно, когда кого похвалитъ! Набожный такой! Одного франта такъ отдѣлалъ, узнавъ, что онъ въ Троицу не былъ въ церкви, что тотъ и языкъ прикусилъ. «Я, говоритъ, донесу на васъ: это вольнодумство!» И вѣдь донесетъ, съ нимъ шутить нельзя. Двухъ помѣщиковъ подъ опеку подвелъ. Его боятся, какъ огня. А такъ—онъ добрый: ребенка встрѣтитъ—по головѣ погладитъ, букашку на дорогѣ никогда не раздавитъ, а отодвинетъ тростью въ сторону: «Когда не можешь, говоритъ, дать жизни, и не лишай». И съ вида важный; лобъ, какъ у твоего дѣдушки, лицо строгое, брови срослись. Какъ хорошо говоритъ—заслушаешься! Ты приласкайся къ нему. И богатъ. Говорятъ, что въ карманѣ у себя онъ тоже казенную палату завелъ, да будто родную племянницу обобралъ и въ сумасшедшій домъ заперъ. Есть грѣхъ, есть грѣхъ...

Но Нила Андреевича они не застали дома: онъ былъ въ палатѣ.

Проѣзжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

— Тутъ живетъ губернаторъ Васильевъ... или Поповъ какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что онъ Поповъ, а не Васильевъ). Онъ воображаетъ, что я явлюсь къ нему первая съ визитомъ, и не заглянулъ ко мнѣ: Татьяна Маркиша Бережкова поѣдетъ къ какому-то Попову или Васильеву!

Губернаторъ ничего «не воображалъ», но Бережковой было досадно, что онъ не оказалъ ей вниманія.

— Нилъ Андреичъ поважнѣе, постарше и посолиднѣе его, а въ Новый годъ и на Пасху всегда заѣдетъ съ визитомъ, и кушать иногда жалуетъ!

Заѣхали потомъ къ старой княгинѣ, жившей въ большомъ темномъ домѣ.

Тамъ жилымъ пахло *только* въ одномъ уголкѣ, гдѣ она

гнѣздилась, а другія двадцать комнатъ походили на покои въ старомъ бабушкиномъ домѣ.

Княгиня была востроносая, худенькая старушка, въ темномъ платьѣ, въ пружевахъ, въ большомъ чепцѣ, съ сухими костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множествомъ старинныхъ перстней на пальцахъ.

— Княгиня матушка!..

— Татьяна Марковна!..—воскликнули старушки.

Болонка яростно лаяла изъ-подъ канапе.

— Вотъ внука привезла показать—настоящаго хозяина: какъ играетъ, рисуетъ!

Онъ долженъ былъ поиграть на фортепіано. Потомъ ему принесли тарелку земляники. Бабушка съ княгиней пила кофе, Райскій смотрѣлъ на комнаты, на портреты, на мебель и на весело-глядѣвшую въ комнаты изъ сада зелень; видѣлъ расчищенную дорожку, вездѣ чистоту, опрятность, порядокъ; слушалъ какъ во всѣхъ комнатахъ попеременно пробили съ полдюжины столовыхъ, стѣнныхъ, бронзовыхъ и малахитовыхъ часовъ; разсматривалъ портретъ косого князя, въ красной лентѣ, самой княгини, съ бѣлой розой въ волосахъ, съ румянцемъ, живыми глазами, и сравнивалъ съ оригиналомъ. И все это точно складывалъ въ голову, слѣдилъ, какъ тамъ, гдѣ-то, отражался домъ, княгиня, болонка, пожилой слуга съ просѣдью, въ ливрейномъ фракѣ, слышался бой часовъ...

Заѣхали они еще къ одной молодой барынѣ, мѣстной львицѣ, Полинѣ Карповнѣ Крицкой, которая смотрѣла на жизнь, какъ на рядъ побѣдъ, считая потерянымъ день, когда на нее никто не взглянетъ нѣжно или не шепнетъ ей хоть намека на нѣжность.

Нравственныя женщины, строгіе судьи, и между прочимъ Нилъ Андреевичъ, вслухъ порицали ее, Татьяна Марковна просто не любила, считала пустой вертушкой, но принимала,

какъ всѣхъ, дурныхъ и хорошихъ. Зато молодежь гонялась за Крицкой.

У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минутъ десять, но хозяйка успѣла надѣть блузу съ кружевами, плохо сходившуюся спереди.

Она обливала взглядами Райскаго; нужды ей нѣтъ, что онъ былъ ранній юноша, успѣла ему сказать, что у него глаза и ротъ обворожительны, и что онъ много побѣдъ сдѣлаетъ, начиная съ нея...

— Что вы это ему говорите, онъ еще дитя!—полугнѣвно замѣтила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась, что мужъ въ палатѣ, обѣщала пріѣхать сама, а въ заключеніе взяла руками Райскаго за обѣ щеки и поцѣловала въ лобъ.

— Безстыдница, безпутная! и ребенка не пропустила! — ворчала бабушка дорогой.

А Райскій былъ смущенъ. Молодая женщина, бѣлая шея, свобода въ рѣчахъ и обдаванье смѣлыми взглядами вскипятили воображеніе мальчика. Она ему казалась какой-то сіятзой богиней, королевой...

— Армида! — вслухъ, забывшись, сказалъ онъ, внезапно вспомнивъ объ «Освобожденномъ Іерусалимѣ».

— Безстыжая!—ворчала бабушка, подъѣзжая къ крыльцу предводителя.—Узнаетъ Нилъ Андреичъ, что онъ скажетъ? Будетъ тебѣ, вертушка!

Какой обширный домъ, какой видъ у предводителя изъ дома! Впрочемъ въ провинціи изъ рѣдкаго дома нѣтъ прекраснаго вида: пейзажи, вода и чистый воздухъ—тамъ дешевыя и всѣмъ дающіяся блага. Обширный дворъ, обширные сады, господскія службы, конюшни.

Домъ вытянулся въ длину, въ одинъ этажъ, съ мезониномъ. Во всемъ благословенное обиліе: гость пріѣдетъ какъ Одиссей въ гости къ царю.

Многочисленное семейство то и дѣло сидитъ за столомъ,

а въ семействѣ человѣкъ восемнадцать: то чай кушаютъ, то кофе кушаютъ въ бесѣдкѣ, кушаютъ на лужку, кушаютъ на балконѣ.

Экономка весь день гремитъ ключами; буфетъ не затворяется. По двору поминутно носятъ полныя блюда изъ кухни въ домъ, а обратно человѣкъ тихимъ шагомъ несетъ пустое блюдо, пальцемъ или языкомъ очищая остатки. То барынѣ бульонъ, то тетенькѣ постное, то барчонку кашки, барину чего-нибудь посолиднѣе.

Гостей вѣчный рой, слугъ человѣкъ сорокъ, изъ которыхъ иные, пообѣдавъ прежде господъ, лѣниво отмахиваютъ мухъ вѣтвями, а другой, задремавъ, покроетъ вѣтвью лысую голову барина или величавый чепецъ барыни.

За обѣдомъ подаютъ по два супа, по два холодныхъ блюда, по четыре соуса и по пяти пирожныхъ. Вина—одно кислѣе другого—все какъ слѣдуетъ въ открытомъ домѣ въ провинціи.

На конюшнѣ двадцать лошадей: однѣ въ карету барыни' другія въ коляску барину; то для парныхъ дрожекъ, то въ одиночку; то для большой коляски—дѣтей катать, то воду возить; верховыя для старшаго сына, клепперъ для младшаго, и наконецъ лошачокъ для четырехлѣтняго.

Комнатъ въ домѣ сколько! учителей, мамзелей, гувернантокъ, приживалокъ, горничныхъ... и долговъ на домѣ сколько!

Татьяну Марковну и Райскаго всѣ встрѣтили шумно, громко, человѣческими голосами, собачьимъ лаемъ, поцѣлуями, двиганьемъ стульевъ, и сейчасъ начали кормить завтракомъ, поить кофе, потчивать ягодами.

Побѣжали въ кухню и изъ кухни, лакеи, дѣвки,—какъ бабушка ни отбивалась отъ угощенья!

Райскаго окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя.

— Vous avez du talent, monsieur, vraiment! — сказалъ тотъ, посмотрѣвъ его рисунокъ.

Райскій былъ на седьмомъ небѣ.

Потомъ повели въ конюшню, осѣдлали лошадей, ѣздили въ манежѣ и по двору, и Райскій ѣздилъ. Двѣ дочери: одна черненькая, другая бѣленькая, еще съ красненькими, длинными, не по росту, кистями рукъ, какъ бываетъ у подрастающихъ дѣвицъ, но уже затянутыя въ корсетъ и бойко говорящія французскія фразы, обворожили юношу.

Съ пріятнымъ волненіемъ и задумчиво ѣхалъ оттуда Райскій. Ему бы хотѣлось домой; но бабушка велѣла еще повернуть въ какой-то переулокъ.

— Куда, бабушка? Пора домой,—сказалъ Райскій.

— Вотъ еще къ старичкамъ Молочковымъ заѣдемъ, да и домой.

— Чѣмъ же они замѣчательны?

— Да тѣмъ, что они... старички.

— Ну, вотъ, старички! — съ неудовольствіемъ проговорилъ Райскій, подъ впечатлѣніемъ отъ живой картины предводительскаго дома и поцѣлуя Полины Карповны.

— Почтенные такіе,—сказала бабушка:—лѣтъ по восьмидесяти мужу и женѣ. И не слыхать ихъ въ городѣ: тихо у нихъ, и мухи не летаютъ. Сидятъ да шепчутся, да угождаютъ другъ другу. Вотъ примѣръ всякому: прожили вѣкъ, какъ будто проспали. Ни дѣтей у нихъ, ни родныхъ! Дремлютъ да живутъ!

— Старички!—съ неудовольствіемъ говорилъ Райскій.

— Что морщишься: надо уважать старость!

Въ самомъ дѣлѣ, мужъ и жена, къ которымъ они пріѣхали, были только старички, и больше ничего. Но какіе бодрые, тихіе, задумчивые, хорошенькіе старички!

Оба такіе чистенькіе, такъ свѣжо одѣты; онъ выбритъ, она въ сѣдыхъ букляхъ, такъ тихо говорятъ, такъ любовно смотрятъ другъ на друга, и такъ имъ хорошо въ темныхъ,

прохладныхъ комнатахъ, съ опущенными шторами. И въ жизни, должно-быть, хорошо!

Бабушка съ почтеніемъ и съ завистью, а Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на стариковъ, слушалъ, какъ они припоминали молодость, не вѣрилъ ихъ словамъ, что она была первая красавица въ губерніи, а онъ — молодецъ, и сводилъ, будто, женщинъ съ ума.

Онъ поигралъ и имъ, по настоянію бабушки, и унесъ какое-то тихое воспоминаніе, дремлющую картину въ головѣ объ этой, давно и медленно ползущей жизни.

Но Армида и двѣ дѣвочки предводителя царствовали наперекоръ всему. Онъ попеременно ставилъ на пьедесталъ то одну, то другую, мысленно становился на колѣни передъ ними, пѣлъ, рисовалъ ихъ, или грустно задумывался, или мурашки бѣгали по немъ, и онъ ходилъ, подавъ голову высоко, пѣлъ на весь домъ, на весь садъ, плавалъ въ безумномъ восторгѣ. Нѣсколько сутокъ онъ безпокойно спалъ, метался...

Передъ нимъ носится какая-то картина; онъ стыдливо и лукаво смѣется, кого-то ловитъ руками, будто обнимаетъ, и хохочетъ въ дикомъ опьяненіи...

XII.

Въ университетѣ Райскій дѣлитъ время, по утрамъ, между лекціями и Кремлевскимъ садомъ, въ воскресенье ходитъ въ Никитскій монастырь къ обѣднѣ, заглядываетъ на разводъ и посѣщаетъ кондитеровъ Пеэра и Педотти. По вечерамъ сидитъ въ «своемъ кружкѣ», т.-е. избранныхъ товарищей, горячихъ головъ, великодушныхъ сердецъ.

Все это кипитъ, шумитъ и гордо ожидаетъ великой будущности.

Вглядѣвшись пытливо въ каждаго профессора, въ каждаго товарища, какъ въ школѣ, Райскій, отъ скуки, для развлеченія, сталъ прислушиваться къ тому, что говорятъ на лекціи.

Какъ въ школѣ у русскаго учителя, онъ не слушалъ законовъ строенія языка, а разсматривалъ все, какъ говоритъ профессоръ, какъ падаютъ у него слова, какъ кто слушаетъ.

Но лишь коснется рѣчь самой жизни, являются на сцену лица, событія, заговорятъ въ исторіи, въ поэмѣ или романѣ, греки, римляне, германцы, русскіе—но живыя лица,—у Райскаго ухо невольно открывается: онъ весь тутъ и видитъ этихъ людей, эту жизнь.

Одинъ онъ, даже съ помощью профессоровъ, не сладилъ бы съ классиками: въ русскомъ переводѣ ихъ не было, въ деревнѣ у бабушки, въ отцовской библіотекѣ, хотя и были нѣкоторые во французскомъ переводѣ, но тогда еще онъ, безъ руководства, не понималъ значенія и обѣгалъ ихъ. Они казались ему строги и сухи.

Только на второмъ курсѣ, съ двухъ или трехъ каѳедръ, заговорили о нихъ, и у «первыхъ учениковъ» явились въ рукахъ оригиналы. Тогда Райскій сблизился съ однимъ, забитымъ бѣдностью и робостью товарищемъ, Козловымъ.

Этотъ Козловъ, сынъ дьякона, сначала въ семинаріи, потомъ въ гимназіи, и дома — изучилъ греческій и латинскій языки, и учась имъ, изучилъ древнюю жизнь, а современной почти не замѣчалъ.

Райскій приласкалъ его и приласкался къ нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потомъ вдругъ открылъ въ немъ страсть, «священный огонь», глубину пониманія до степени ясновидѣнія, строгость мысли, тонкость анализа — относительно древней жизни.

Онъ-то и посвятилъ Райскаго, насколько поддалась его живая, вѣчно, какъ море, волнующаяся натура, въ тайны разумѣнія древняго міра, но задержать его надолго, навсегда, какъ самъ задержался на древней жизни, не могъ.

Райскій унесъ кое-что оттуда и ускользнулъ, оставивъ

Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образъ его простой, младенческой души.

Отъ Плутарха и «Путешествія Анахарсиса Младшаго», онъ перешелъ къ Титу-Ливію и Тациту, зарываясь въ мелкихъ деталяхъ перваго и въ сильныхъ сказаніяхъ второго, спалъ съ Гомеромъ, съ Дантомъ, и часто забывалъ жизнь около себя, живя въ анналахъ, сагахъ, даже въ русскихъ сказкахъ...

А когда зададутъ тему на диссертацію, онъ терялся, впадалъ въ уныніе, не зная, какъ приступить къ разсужденію, напримѣръ, «объ источникахъ къ изученію народности», или «о древнихъ русскихъ деньгахъ», или «о движеніи народовъ съ сѣвера на югъ».

Онъ, вмѣсто того, чтобъ разсуждать, вглядывается въ движеніе народовъ, какъ будто оно передъ глазами. Онъ видитъ, какъ туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуакахъ, зажигаетъ костры; видитъ мужчинъ въ звѣриныхъ шкурахъ, съ дубинами, оборванныхъ матерей, голодныхъ дѣтей; видитъ какъ они рѣжутъ, истребляютъ все на пути, какъ гибнутъ отсталые. Видитъ сѣрое небо, скудныя страны, и даже древнія русскія деньги; видитъ такъ живо, что можетъ нарисовать, но не знаетъ, какъ «разсуждать» объ этомъ: и чего тутъ разсуждать, когда ему и такъ видно?

Лѣтомъ любилъ онъ уходить въ окрестности, забирался въ старые монастыри и вглядывался въ темные углы, въ почернѣлые лики святыхъ и мучениковъ, и фантазія, лучше профессоровъ, уносила его въ русскую старину.

Тамъ, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подьячіе. Москва казалась необъятнымъ ветхимъ царствомъ. Драки, казни, татары, Донскіе, Іоанны, — все приступало къ нему, все звало къ себѣ въ гости, смотрѣть на ихъ жизнь.

Долго, бывало, смотритъ онъ, пока не стукнетъ что-ни-

будь около: онъ очнется—передъ нимъ старая стѣна монастырская, старый образъ: онъ въ кельѣ или въ теремѣ. Онъ выйдетъ задумчиво изъ коноти древняго мрака, пока не обнѣетъ его свѣжій, теплый воздухъ.

Райскій началъ писать и стихи, и прозу, показалъ сначала одному товарищу, потомъ другому, потомъ всему кружку, а кружокъ объявилъ, что онъ талантъ.

Тогда Борисъ приступилъ къ историческому роману, написалъ нѣсколько главъ и прочелъ также въ кружкѣ. Товарищи стали уважать его, «какъ надежду», ходили съ нимъ толпой.

Райскій и кружокъ его надали только на репетиціяхъ и на экзаменахъ, они уходили тогда на третій планъ и на четвертую скамью.

На первой и второй являлись опять-таки «первые ученики», которые такъ смирно сидятъ на лекціи, у которыхъ всѣ записки есть, которые гордо и спокойно идутъ на экзаменъ, и еще болѣе гордо и спокойно возвращаются съ экзамена: это—будущіе кандидаты.

Они холодно смотрѣли на кружокъ, опредѣлили Райскаго словомъ «романтикъ», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что.

Они одинаково прилежно занимались по всѣмъ предметамъ, не пристращаясь ни къ одному исключительно. И послѣ, въ службѣ, въ жизни, куда ихъ ни сунутъ, въ какое положеніе ни поставятъ—вездѣ и всякое дѣло они дѣлаютъ «удовлетворительно», идутъ ровно, не увлекаясь ни въ какую сторону.

Товарищи Райскаго показали его стихи и прозу «геніальнымъ» профессорамъ, «пророкамъ», какъ ихъ звалъ кружокъ, хвостомъ ходившій за ними.

— Ахъ, Иванъ Иванычъ! Ахъ, Петръ Петровичъ! Это геній, наши свѣтила,—закатывая глаза подъ лобъ, повторяли восторженно юноши.

Одинъ изъ «пророковъ» разобралъ стихи публично на лекціи и сказалъ, что «въ нихъ преобладаетъ элементъ живописи, обиліе образовъ и музыкальность, но нѣтъ глубины и мало силы», однако, предсказывалъ, что съ лѣтами это придетъ, поздравилъ автора тоже съ талантомъ и совѣтовалъ «беречь и лелѣять музу», т.-е. заняться серьезно.

Райскій, шатаясь отъ упоенія, вышелъ изъ аудиторіи, и въ кружкѣ, по этому случаю, былъ трехдневный ревъ.

Другой «пророкъ» прочелъ начало его романа и пригласилъ Райскаго къ себѣ.

Онъ вышелъ отъ профессора, какъ изъ бани, тоже съ патентомъ на талантъ и съ кучей старыхъ книгъ, лѣтописей, грамотъ, договоровъ.

— Готовьте серьезнымъ изученіемъ вашъ талантъ,—сказалъ ему профессоръ:—у васъ есть будущность.

Райскій еще «серьезнѣе» занялся хожденіемъ въ окрестности, проникалъ опять въ старыя зданія, глядѣлъ, щупалъ, нюхалъ камни, читалъ надписи, но не разобралъ и двухъ страницъ даныхъ профессоромъ хроникъ, а писалъ русскую жизнь, какъ она снилась ему въ поэтическихъ видѣніяхъ, и кончилъ тѣмъ, что очень «серьезно» написалъ шутливую поэму, воспѣвъ въ ней товарища, написавшаго диссертацію «о долговыхъ обязательствахъ» и никогда не платившаго за квартиру и за столъ хозяйкѣ.

Переходилъ онъ изъ курса въ курсъ съ затрудненіями, все теряясь и сбиваясь на экзаменахъ. Но его выкупала репутація будущаго таланта, нѣсколько удачныхъ стихотвореній и прозаическіе взмахи и очерки изъ русской исторіи.

— Вы куда хотите поступить на службу? — вдругъ раздался однажды надъ нимъ вопросъ декана.—Черезъ недѣлю вы выйдете. Что вы будете дѣлать?

Райскій молчалъ.

— Какое званіе изберете?—спросилъ опять тотъ.

«Я... художникомъ хочу быть»... думалъ-было онъ сказать, да вспомнилъ, какъ приняли это опекунъ и бабушка, и не сказалъ.

— Я... стихи буду писать.

— Но вѣдь это не званіе: это такъ... между прочимъ,— замѣтилъ деканъ.

— И повѣсти тоже...—сказалъ Райскій.

— И повѣсти можно: конечно, у васъ есть талантъ. Но вѣдь это впослѣдствіи, когда талантъ выработается. А званіе... званіе, я спрашиваю?

— Сначала я пойду въ военную службу, въ гвардію, а потомъ въ статскую, въ прокуроры... въ губернаторы...— отвѣчалъ Райскій.

Деканъ улыбнулся.

— Стало-быть, прежде въ юнкера—вотъ это понятно!— сказалъ онъ. — Вы, да Леонтій Козловъ, только не имѣете ничего въ виду, а прочіе всѣ имѣютъ назначеніе.

Когда Козлова спрашивали, куда онъ хочетъ, онъ отвѣчалъ:

— Въ учителя куда-нибудь въ губернію, — и на томъ уперся.

XIII.

Въ Петербургѣ Райскій поступилъ въ юнкера: онъ съ одушевленіемъ скакалъ во фронтѣ, млѣя и горя, съ бѣгающими по спинѣ мурашками, при звукахъ полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и шпорами, при встрѣчѣ съ генералами, а по вечерамъ въ удалой компаніи на тройкахъ уносился за городъ, на веселые пикники, или бралъ уроки жизни и любви у столичныхъ, русскихъ и не русскихъ «Армидъ», въ томъ волшебномъ царствѣ, гдѣ «гаснетъ вѣра въ лучшій край».

Въ самомъ дѣлѣ, у него чуть не погасла вѣра въ честь, честность, вообще въ человѣка. Онъ, не желая, не стараясь,

Одинъ изъ «пророковъ» разобралъ стихи публично на лекціи и сказалъ, что «въ нихъ преобладаетъ элементъ живописи, обиліе образовъ и музыкальность, но нѣтъ глубины и мало силы», однако, предсказывалъ, что съ лѣтами это придетъ, поздравилъ автора тоже съ талантомъ и совѣтовалъ «беречь и лелѣять музу», т.-е. заняться серьезно.

Райскій, шатаясь отъ упоенія, вышелъ изъ аудиторіи, и въ кружкѣ, по этому случаю, былъ трехдневный ревъ.

Другой «пророкъ» прочелъ начало его романа и пригласилъ Райскаго къ себѣ.

Онъ вышелъ отъ профессора, какъ изъ бани, тоже съ патентомъ на талантъ и съ кучей старыхъ книгъ, лѣтописей, грамотъ, договоровъ.

— Готовьте серьезнымъ изученіемъ вашъ талантъ,—сказалъ ему профессоръ:—у васъ есть будущность.

Райскій еще «серьезнѣе» занялся хожденіемъ въ окрестности, проникалъ опять въ старыя зданія, глядѣлъ, щупалъ, нюхалъ камни, читалъ надписи, но не разобралъ и двухъ страницъ данныхъ профессоромъ хроникъ, а писалъ русскую жизнь, какъ она снилась ему въ поэтическихъ видѣніяхъ, и кончилъ тѣмъ, что очень «серьезно» написалъ шутливую поэму, воспѣвъ въ ней товарища, написавшаго диссертацію «о долговыхъ обязательствахъ» и никогда не платившаго за квартиру и за столъ хозяйкѣ.

Переходилъ онъ изъ курса въ курсъ съ затрудненіями, все теряясь и сбиваясь на экзаменахъ. Но его выкупала репутація будущаго таланта, нѣсколько удачныхъ стихотвореній и прозаическіе взмахи и очерки изъ русской исторіи.

— Вы куда хотите поступить на службу? — вдругъ раздался однажды надъ нимъ вопросъ декана.—Черезъ недѣлю вы выйдете. Что вы будете дѣлать?

Райскій молчалъ.

— Какое званіе изберете?—спросилъ опять тотъ.

«Я... художникомъ хочу быть»... думалъ-было онъ сказать, да вспомнилъ, какъ приняли это опекунъ и бабушка, и не сказалъ.

— Я... стихи буду писать.

— Но вѣдь это не званіе: это такъ... между прочимъ,— замѣтилъ деканъ.

— И повѣсти тоже...—сказалъ Райскій.

— И повѣсти можно: конечно, у васъ есть талантъ. Но вѣдь это впослѣдствіи, когда талантъ выработается. А званіе... званіе, я спрашиваю?

— Сначала я пойду въ военную службу, въ гвардію, а потомъ въ статскую, въ прокуроры... въ губернаторы...— отвѣчалъ Райскій.

Деканъ улыбнулся.

— Стало-быть, прежде въ юнкера—вотъ это понятно!— сказалъ онъ. — Вы, да Леонтій Козловъ, только не имѣете ничего въ виду, а прочіе всѣ имѣютъ назначеніе.

Когда Козлова спрашивали, куда онъ хочетъ, онъ отвѣчалъ:

— Въ учителя куда-нибудь въ губернію, — и на томъ уперся.

XIII.

Въ Петербургѣ Райскій поступилъ въ юнкера: онъ съ одушевленіемъ скакалъ во фронтѣ, млѣя и горя, съ бѣгающими по спинѣ мурашками, при звукахъ полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и шпорами, при встрѣчѣ съ генералами, а по вечерамъ въ удалой компаніи на тройкахъ уносился за городъ, на веселые пикники, или бралъ уроки жизни и любви у столичныхъ, русскихъ и не русскихъ «Армидъ», въ томъ волшебномъ царствѣ, гдѣ «гаснетъ вѣра въ лучшій край».

Въ самомъ дѣлѣ, у него чуть не погасла вѣра въ честь, честность, вообще въ человѣка. Онъ, не желая, не стараясь,

часто бѣгая прочь, извѣдалъ этотъ «чудесный міръ»—силою своей впечатлительной натуры, вбиравшей въ себя, какъ губка, всѣ задѣвавшія его явленія.

Женщины того міра казались ему особой породой. Какъ паръ и машины замѣнили живую силу рукъ, такъ тамъ цѣлая механика жизни и страстей замѣнила природную жизнь и страсти. Этотъ міръ — безъ привязанностей, безъ дѣтей, безъ колыбелей, безъ братьевъ и сестеръ, безъ мужей и безъ женъ, а только съ мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дѣлъ и заботъ, по лѣни, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихія симпатіи семьи, бросаются въ этотъ міръ всегда готовыхъ романовъ и драмъ, какъ въ игорный домъ, чтобъ охмелѣть въ чаду притворныхъ чувствъ и дорого купленной нѣги. Другихъ молодость и пылъ влекутъ туда, въ царство поддѣльной любви, со всей утонченной ея игрой, какъ гастронома влечетъ отъ домашняго простого обѣда изысканный обѣдъ искуснаго повара.

Тамъ царствуетъ безконечно-разнообразный расчетъ: расчетъ роскоши, расчетъ честолюбія, расчетъ зависти, рѣдко — самолюбія и никогда — сердца, т. е. чувства. Красавицы приносятъ все въ жертву расчету; самую страсть, если постигаетъ ихъ страсть, даже темпераментъ, когда потребуетъ того роль, выгода положенія.

Онѣ — не жертвы общественнаго темперамента, какъ тѣ несчастныя созданія, которыя, за кусокъ хлѣба, за одежду, за обувь и кровъ, служатъ животному голоду. Нѣтъ: тамъ жрицы сильныхъ, хотя искусственныхъ страстей, тонкія актрисы, играютъ въ любовь и жизнь, какъ игрокъ въ карты.

Тамъ нѣтъ глубокихъ цѣлей, нѣтъ прочныхъ конечныхъ намѣреній и надеждъ. Бурная жизнь не манитъ къ тихому порту. У жрицы этого культа, у «матери наслажденій»— нѣтъ въ виду, какъ и у истиннаго игрока по страсти, выиграть фортуну и кончить, оставить все, успокоиться и жить другой жизнью.

Если бы явилась въ томъ кругѣ такая, она потеряла бы свой характеръ, свою прелесть: ее, какъ игрока, увлекутъ отъ прочнаго и добраго пути, или она утратитъ цѣну въ глазахъ поклонниковъ, потерявъ свободу понятій и нравовъ.

Жизнь ея—вѣчная игра въ страсти, цѣль—нескончаемое наслажденіе, переходящее въ привычку, когда она устанетъ, пресытится. У ней одинъ ужасъ впереди—это состарѣться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя въ страсти, она принимаетъ всѣ виды, всѣ лица, всѣ характеры, нужные для роли, заимствуя ихъ, какъ маскарадныя платья напрокатъ. Она робка, скромна или горда, неприступна или нѣжна, послушна—смотря по роли, по моменту.

Но, сбросивъ маску, она часто зла, груба, и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщенія, или для забавы, разрушить семейное счастіе, спокойствіе человѣка, не говоря о фортунѣ: разрушать экономическое благосостояніе—ея призваніе.

Ее должна окружать безконтрольная роскошь. Желаній она не должна успѣвать имѣть.

Квартира у нея—храмъ, но походящій на выставку мебели, дорогихъ бездѣлицъ. Вкусъ въ убранствѣ принадлежитъ не хозяйкѣ, а мебельщику и обойщику.

Печати тонкой, артистической жизни нѣтъ: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Тамъ вкусъ—въ сервизахъ, экипажахъ, лошадяхъ, лакеяхъ, горничныхъ, одѣтыхъ, какъ балетныя феи.

Если случайно попадетъ туда высокой кисти картина, дорогая статуя—онѣ цѣнятся не удивленіемъ кисти и рѣзцу, а заплаченной суммой.

Ни хозяина, ни хозяйки, ни дѣтей, ни старыхъ преданныхъ слугъ—нѣтъ въ ея квартирѣ.

Она живетъ—какъ будто на станціи, въ дорогѣ, готовая

ежеминутно выѣхать. Нѣтъ у нея друзей—ни мужчинъ, ни женщинъ, а только множество знакомыхъ.

Жизнь красавицы этого міра или «тряпичнаго царства», какъ называлъ его Райскій — мелкій, пестрый, вѣчно движущійся узоръ: визиты въ своемъ кругу, театръ, катанье, роскошные до безобразія завтраки и обѣды до утра, и ночи, продолжающіяся до обѣда. Забота одна — чтобъ не было остановокъ отъ пестроты.

Пустой, не наполненный день, вечеръ — безъ суеты, выѣздовъ, театра, свиданій — страшенъ. Тогда проснулась бы мысль, съ какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй чувство, совѣсть, всталъ бы призракъ будущаго...

Она со страхомъ отряхнется отъ непривычной задумчивости, гонитъ вопросы — и ей опять легко. Это бываетъ рѣдко и у немногихъ. Мысль у ней большею частію нетронута, сердце отсутствуетъ, знанія никакого.

Накупать брильянтовъ, конечно, не самой (это все, что есть неподдѣльнаго въ ея жизни) — нарядовъ, непремѣнно больше чѣмъ нужно, дѣлая фортуну поставщиковъ — вотъ главный пунктъ ея тщеславія.

Широкая затѣя — это вояжъ: прикинуться графиней въ Парижѣ, занять палаццо въ Италіи, сверкнуть золотомъ и красотой, покоряя мимоходомъ того, другого, смотря по рангу, положенію, фортунѣ.

Идеалъ мужчины у нея—прежде всего homme généreux, libéral, который «благородно» сыплетъ золото, потомъ comte, prince и т. п. Понятія объ умѣ, чести, нравахъ — свои, особенныя.

Уродство въ мужчинѣ — это экономія, сдержанность, порядокъ. Скупой въ ея глазахъ—извергъ.

Райскій, кружась въ свѣтѣ петербургской, «золотой молодежи», бывши молодымъ офицеромъ, потомъ молодымъ бюрократомъ, заплатилъ обильную дань поклоненія этой

красотѣ и, уходя, унесъ глубокую грусть надолго и много опытовъ, безъ которыхъ могъ обойтись.

Напрасно упрямился онъ оставаться офицеромъ, ему неотступно снились то Волга и берега ея, тѣнистый садъ и роща съ обрывомъ, то видѣлъ онъ дикіе глаза и изступленное лицо Васюкова и слышалъ звуки скрипки.

Снилась ему широкая арена искусства: академія, или консерваторія, любилъ онъ воображать себя труженикомъ искусства.

Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, съ затѣненнымъ свѣтомъ, съ кусками мрамора, съ начатыми картинами, съ манекеномъ, — и самъ онъ, въ изящной блузѣ, съ длинными волосами, съ нѣгой и счастьемъ смотритъ на свое произведеніе: подъ кистью у него рождается чья-то голова.

Она еще неодушевлена, въ глазахъ нѣтъ жизни, огня. Но вотъ онъ посадитъ въ нихъ двѣ магическія точки, проведетъ два какихъ-то рѣзкихъ штриха, и вдругъ голова ожила, заговорила, она смотритъ такъ открыто, въ ней горитъ мысль, чувство, красота...

Въ комнату заглядываютъ робко посѣтители, шепчутся...

Наконецъ, вотъ выставка. Онъ изъ угла смотритъ на свою картину, но ея не видать, передъ ней толпа, тамъ произносятъ его имя. Кто-то измѣнилъ ему, назвалъ его, и толпа отъ картины обратилась къ нему.

Онъ сконфузился и очнулся.

Онъ подалъ просьбу къ переводу въ статскую службу и былъ посаженъ къ Аянову въ столъ. Но читатель уже знаетъ, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Онъ оставилъ ее и сталъ ходить въ академію.

Онъ робко пришелъ туда и осмотрѣлся кругомъ. Всѣ сидятъ молча и рисуютъ съ бюстовъ. Онъ началъ тоже рисовать, но черезъ два часа ушелъ и сталъ рисовать съ бюста дома.

Но дома, то сигару закуритъ, то сядетъ съ ногами на диванъ, почитаетъ, или замечтается, и въ головѣ раздадутся звуки. Онъ за фортепіано—и забудется.

Недѣли черезъ три онъ опять пошелъ въ академію: тамъ опять всѣ молчатъ и рисуютъ съ бюстовъ.

Онъ кое-съ-кѣмъ изъ товарищей познакомился, зазвалъ къ себѣ и показалъ свою работу.

— У васъ есть талантъ, гдѣ вы учились?—сказали ему:— только... вонъ эта рука длинна... да и спина не такъ.. рисунокъ не вѣренъ!

Между тѣмъ затѣяли пирушку, пригласили Райскаго, и онъ слышалъ одно: то о колоритѣ, то о бюстахъ, о рукахъ, о ногахъ, «о правдѣ» въ искусствѣ, объ академіи, а въ перспективѣ — Дюссельдорфъ, Парижъ, Римъ. Отмѣривали при немъ года своей практики, ученичества или «мученичества», прибавлялъ Райскій. Семь, восемь лѣтъ—страшныя цифры. И всѣ уже взрослые.

Онъ не ходилъ мѣсяцевъ шесть, потомъ пошелъ, и тѣ же самые товарищи рисовали... съ бюстовъ.

Онъ взглянулъ въ другой классъ: тамъ стоялъ натурщикъ, и толпа молча рисовала съ натуры торсъ.

Райскій пришелъ черезъ мѣсяцъ—и то же углубленіе въ торсъ и въ свой рисунокъ. То же молчаніе, то же напряженное вниманіе.

Онъ пошелъ въ мастерскую профессора и увидѣлъ снившуюся ему картину: запыленную комнату, завѣшенный свѣтъ, картины, маски, руки, ноги, манекенъ... все.

Только художникъ представился ему не въ изящной блузѣ, а въ испачканномъ пальто, не съ длинными волосами, а гладко остриженный; не нѣга у него на лицѣ, а мука внутренней работы и безпокойство, усталость. Онъ вперяетъ мучительный взглядъ въ свою картину, то подходитъ къ ней, то отойдетъ отъ нея, задумывается...

Потомъ вдругъ опять, какъ будто утонетъ, замретъ, онѣ-

мѣтъ, только глаза блестятъ, да рука, какъ бѣшеная, стираетъ, заглаживаетъ прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, какъ будто боясь, что она забудется...

Робко ушелъ къ себѣ Райскій, натянулъ на рамку холстъ и началъ чертить мѣломъ. Три дня чертилъ онъ, стиралъ, опять чертилъ и, бросивъ бюсты, рисунки, взялъ кисть.

Три полотна перемѣнилъ онъ и на четвертомъ нарисовалъ ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рукъ не додѣлалъ:

«Это послѣднее дѣло, руки!» думалъ онъ.

Костюмы набросалъ наобумъ, кое-какъ, что наскоро прочелъ у Гомера: другихъ источниковъ подъ рукой не было, а гдѣ ихъ искать и скоро ли найдешь?

Полгода онъ писалъ картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество, аксессуарами онъ не занимался:

«Это послѣ, когда-нибудь».

Ребенка нарисовалъ тоже кое-какъ, и то нарисовалъ потому, что безъ него не вѣрна была бы сцена прощанія.

Онъ хотѣлъ показать картину товарищамъ, но они сами красками еще не писали, а все копировали съ бюстовъ, нужды нѣтъ, что у самихъ бороды поросли.

Онъ рѣшился показать профессору: профессоръ не заносчивъ, снисходителенъ и вѣроятно оцѣнитъ трудъ по достоинству. Съ замирающимъ сердцемъ принесъ онъ картину и оставилъ въ коридорѣ.

Профессоръ велѣлъ внести ее въ мастерскую, посмотрѣлъ:

— Что это за блинъ? — сказалъ онъ, скользнувъ взглядомъ по картинѣ, но взглянувъ мелькомъ въ другой разъ, вдругъ быстро схватилъ ее, поставилъ на мольбертъ и вонзилъ въ нее испытующій взглядъ, сильно сдвинувъ брови.

— Это вы дѣлали? — спросилъ онъ, указавъ на голову Гектора.

— Я-съ.

— И это вы?—профессоръ указалъ на Андромаху.

— Тоже я-съ.

— А это?—спрашивалъ тотъ, указывая на ребенка.

— Я же.

— Не можетъ быть: это двое дѣлали, — отрывисто отвѣчалъ профессоръ и, отворивъ дверь въ другую комнату, закричалъ:—Иванъ Ивановичъ!

Пришелъ Иванъ Ивановичъ, какой-то художникъ.

— Посмотри!

Онъ показалъ ему на головы двухъ фигуръ и ребенка. Тотъ молча и пристально разсматривалъ. Райскій дрожалъ.

— Что ты видишь?—спросилъ профессоръ.

— Что? — сказалъ тотъ: — это не изъ нашихъ. Кто же придѣлалъ голову къ этой мазнѣ?.. Да, голова... мм-ъ... а ухо не на мѣстѣ. Кто это?

Профессоръ спросилъ Райскаго, гдѣ онъ учился, подтвердилъ, что у него талантъ, и разразился сильной бранью, узнавъ, что Райскій только разъ десять былъ въ академіи и съ бюстовъ не рисуетъ.

— Посмотрите: ни одной черты нѣтъ вѣрной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на мѣстѣ; если Гекторъ выпрямится, такъ она ему будетъ только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите...

Онъ обнажилъ и показалъ колѣно, потомъ руку.

— Вы не умѣете рисовать, — сказалъ онъ: — вамъ года три надо учиться съ бюстовъ, да анатоміи... А голова Гектора, глаза... Да вы ли дѣлали?

— Я,—сказалъ Райскій.

Профессоръ пожалъ плечами.

И Иванъ Иванычъ сдѣлалъ:

— Гм! У васъ есть талантъ, это видно. Учитесь; со временемъ...

«Все учитесь; со временемъ!» думалъ Райскій.

А ему бы хотѣлось—не учась—и сейчасъ.

Онъ въ раздумьи воротился домой: тамъ нашелъ письма. Бабушка бранила его, что онъ вышелъ изъ военной службы, а опекунъ совѣтовалъ опредѣлиться въ сенатъ. Онъ прислалъ ему рекомендательныя письма.

Но Райскій въ сенатъ не поступилъ, въ академіи съ бюстовъ не рисовалъ, между тѣмъ много читалъ, много писалъ стиховъ и прозы, танцовалъ, ѣздилъ въ свѣтъ, ходилъ въ театръ и къ «Армидамъ», и въ это время сочинилъ три вальса и нарисовалъ нѣсколько женскихъ портретовъ. Потомъ, послѣ бѣшеной масленицы, вдругъ очнулся, вспомнилъ о своей артистической карьерѣ и бросился въ академію: тамъ ученики молча, углубленно рисовали съ бюста, въ другой студіи писали съ торса...

XIV.

Въ назначенный вечеръ, Райскій и Бѣловодова опять сошлись у ней въ кабинетѣ. Она была одѣта, чтобы ѣхать въ спектакль: отецъ хотѣлъ заѣхать за ней съ обѣда, но не заѣзжалъ, хотя было уже половина восьмого.

— Я все думаю о нашемъ разговорѣ, кузина; а вы? — спросилъ онъ.

— Я, cousin... виновата: не думала о немъ. Что̀ такое вы говорили?.. Ахъ, да!—припомнила она.—Вы что̀-то меня спрашивали.

— И вы что̀-то мнѣ обѣщали.

— Что̀ же?

— Разсказать... какую-то «глупость», ребячество и потомъ вашу законную любовь...

— Все это такъ просто, cousin, что я даже не сумѣю

разсказать: спросите у всякой замужней женщины. Вотъ хоть у Catherine...

— Ахъ нѣтъ, кузина, только не у Catherine: наряды и выѣзды, выѣзды и наряды...

— Что мнѣ вамъ разсказывать? Я не знаю съ чего начать. Paul сдѣлалъ черезъ княгиню предложеніе, та сказала maman, maman тёткамъ; позвали родныхъ, потомъ объявили папа... Какъ всѣ дѣлаютъ.

— Ему послѣ всѣхъ!—весело замѣтилъ Райскій.—А вы когда узнали?

— Въ тотъ же вечеръ, разумѣется. Какой вопросъ! Не думаете ли вы, что меня принуждали?..

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина: не такъ разсказываете. Начните, пожалуйста, съ воспитанія. Какъ, гдѣ вы воспитывались? Прежде разскажите ту «глупость»...

— Дома воспитывалась, вы знаете... Maman была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смѣялась, ласкала мало, всѣ ея слушались въ домѣ: няньки, дѣвушки, гувернантки дѣлали все, что она приказывала, и папа тоже. Въ дѣтскую она не ходила, но порядокъ былъ такой, какъ будто она тамъ жила. Когда мнѣ было лѣтъ семь, за мной, помню, ходила нѣмка Маргарита: она причесывала и одѣвала меня, потомъ будили миссъ Дредсонъ и шли къ maman. Maman, прежде нежели поздоровается, пристально поглядитъ мнѣ въ лицо, обернетъ меня раза три, посмотритъ, все ли хорошо, даже ноги посмотритъ, потомъ глядитъ, какъ я дѣлаю книксъ, и тогда поцѣлуетъ въ лобъ и отпуститъ. Послѣ завтрака меня водили гулять, или въ дурную погоду ѣздили въ коляскѣ...

— Какъ вы шалили, рѣзвились? разскажите...

— Я не шалила: миссъ Дредсонъ шла рядомъ и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала. Однажды мальчикъ бросилъ мячикъ и онъ покатился мнѣ въ ноги, я поймала его и побѣжала отдать ему, миссъ сказала maman, и меня

три дня не пускали гулять. Впрочемъ, я мало помню, что было, помню только, что ѣздилъ танцмейстеръ и училъ: chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces... Послѣ обѣда мнѣ позволяли въ большой залѣ играть часъ въ мячикъ, прыгать черезъ веревочку, но тихонько, чтобъ не разбить зеркалъ и не топать ногами. Maman не любила, когда у меня раскраснѣются щеки и уши, и потому мнѣ не велѣно было слишкомъ бѣгать. Еще увѣряли, что будто я... — она засмѣялась: — языкъ показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую — и оттого pas de grimaces раздавалось чаще всего.

— Chassé en avant, chassé à gauche и pas de grimaces: да, это хорошій курсъ воспитанія: все равно, что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше, приставили француженку, madame Cléry, но... не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, какъ папа защищалъ ее, но maman слышать не хотѣла...

— Ну, теперь я вижу, что у васъ не было дѣтства: это кое-что объясняетъ мнѣ... Учили васъ чему-нибудь?—спросилъ онъ.

— Безъ сомнѣнія: histoire, géographie, calligraphie, l'orthographie, еще по-русски...

Здѣсь Софья Николаевна немного остановилась.

— Я увѣренъ, что мы подходимъ къ катастрофѣ и что герой ея—русскій учитель,—сказалъ Райскій.—Это наши jeunes premiers...

— Да... вы угадали!.. — засмѣявшись отвѣчала Бѣловодова.

— Я всѣ уроки учила одинаково, то-есть всѣ дурно. Въ исторіи знала только двѣнадцатый годъ, потому что mon oncle, prince Serge, служилъ въ то время и дѣлалъ кампанію, онъ разсказывалъ часто о немъ; помнила, что была Екатерина II, еще революція, отъ которой бѣжалъ m-r de Querney, а остальное все... тамъ эти войны, греческія, рим-

скія, что-то про Фридриха Великаго—все это у меня путалось. Но по-русски, у m-r Ельнина, я выучивала почти все, что онъ задавалъ.

— До сихъ поръ все идетъ прекрасно. Что же вы дѣлали еще?

— Читали. Онъ прекрасно читалъ, приносилъ книги...

— Какія же книги?

— Я теперь забыла...

— Что же дальше, кузина?

— Потомъ, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, мнѣ дали особыя комнаты и поселили со мной ma tante Анну Васильевну, а миссъ Дредсонъ уѣхала въ Англію. Я занималась музыкой, и мнѣ оставили французскаго профессора и учителя по-русски, потому что тогда въ свѣтѣ заговорили, что надо знать по-русски, почти такъ же хорошо, какъ по-французски...

— М-r Ельнинъ былъ очень... очень... милъ, хорошъ и... comme il faut?..—спросилъ Райскій.

— Oui, il était tout-à-fait bien, — сказала, покраснѣвъ немного, Бѣловодова: — я привыкла къ нему... и когда онъ манкировалъ, мнѣ было досадно, а однажды онъ заболѣлъ и недѣли три не приходилъ...

— Вы были въ отчаяніи?—перебилъ Райскій:—плакали, не спали ночей и молились за него? Да? Вамъ было...

— Мнѣ было жаль его,—и я даже просила папá послать узнать о его здоровьѣ...

— Даже! Ну, что жъ папà?

— Самъ съѣздилъ, нашелъ его convalescent и привезъ къ намъ обѣдать. Maman сначала было разсердилась и начала сцену съ папà, но Ельнинъ былъ такъ приличенъ, скроменъ, что и она пригласила его на наши soirées musicales и dansantes. Онъ былъ хорошо воспитанъ, игралъ на скрипкѣ...

— Что же дальше?—съ нетерпѣніемъ спросилъ Райскій.

— Когда папа привезъ его въ первый разъ послѣ болѣзни, онъ былъ блѣденъ, молчаливъ... глаза такіе томные... Мнѣ стало очень жаль его, и я спросила за столомъ, чѣмъ онъ былъ боленъ?.. Онъ взглянулъ на меня съ благодарностью, почти нѣжно... Но maman послѣ обѣда отвела меня въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже — дѣвицѣ спрашивать о здоровьѣ посторонняго молодого человѣка, еще учителя,—«и Богъ знаетъ, кто онъ такой!» прибавила она. Мнѣ стало стыдно, я ушла и плакала въ своей комнатѣ, потомъ ужъ никогда ни о чемъ его не спрашивала...

— Дѣло!—иронически замѣтилъ Райскій: —чуть было съ Олимпа спустились одной ногой къ людямъ—и досталось.

— Не перебивайте меня: я забуду,—сказала она.—Ельнинъ продолжалъ читать со мной, заставлялъ и меня сочинять, но maman велѣла сочинять больше по-французски.

— Что жъ Ельнинъ, все читалъ?

— Да, читалъ и аккомпанировалъ мнѣ на скрипкѣ: онъ былъ страненъ, иногда задумается и молчитъ полчаса: такъ что вздрогнетъ, когда я назову его по имени, смотритъ на меня очень странно... какъ иногда вы смотрите, или сядетъ такъ близко, что испугаетъ меня. Но мнѣ не было... досадно на него... Я привыкла къ этимъ странностямъ; онъ разъ положилъ свою руку на мою: мнѣ было очень неловко. Но онъ не замѣчалъ самъ, что̀ дѣлаетъ — и я не отняла руки. Даже однажды... когда онъ не пришелъ на музыку, на другой день я встрѣтила его очень холодно.

— Браво! а предки ничего?

— Смѣйтесь, cousin: оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно.

— Я радуюсь, кузина, а не смѣюсь: не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы,—не такъ, какъ послѣ, какъ теперь?..

— Да, правда: мнѣ, какъ глупой дѣвочкѣ, было весело смотрѣть, какъ онъ вдругъ робѣлъ, боялся взглянуть на

меня, а иногда, напротивъ, долго глядѣлъ, — иногда даже поблѣднѣетъ. Можетъ-быть, я немного кокетничала съ нимъ, по-дѣтски, конечно, отъ скуки... У насъ было иногда... очень скучно! Но онъ былъ, кажется, очень добръ и несчастливъ: у него не было родныхъ никого. Я принимала большое участіе въ немъ, и мнѣ было съ нимъ весело, это правда. Зато, какъ я дорого заплатила за эту глупость!..

— Ахъ, скорѣе!—сказалъ Райскій:—жду драмы.

— Въ день моихъ именинъ у насъ былъ пріемъ, меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою онъ восхищался, и которую вы тоже любите...

— Такъ вотъ откуда совершенство, съ которымъ вы играете ее... Дальше, кузина: это интересно!

— Въ свѣтѣ ужъ обо мнѣ тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде maman хотѣла взять Гензельта, но услыхавши это, отдумала.

— Мудрость предковъ говоритъ, что неприлично артисткой быть!—замѣтилъ Райскій.

— Я ждала этого вечера съ нетерпѣніемъ,—продолжала Софья: — потому что Ельнинъ не зналъ, что я разучиваю ее для...

Бѣловодова остановилась въ смущеніи.

— Понимаю!—подсказалъ Райскій.

— Всѣ собрались, тутъ пѣли, играли другіе, а его нѣтъ; maman два раза спрашивала, что жъ я, сыграю ли сонату? Я отговаривалась, какъ могла, наконецъ, она приказала играть: j'avais le coeur gros—и сѣла за фортепіано. Я думаю, я была блѣдна: но только я сыграла интродукцію, какъ вижу въ зеркалѣ—Ельнинъ стоитъ сзади меня... Мнѣ потомъ сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда, — стыдливо прибавила она. — Я просто рада была, потому что онъ понимаетъ музыку...

— Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предковъ.

— Я играла, играла...

— Съ одушевленіемъ, горячо, со страстью...—подсказывалъ онъ.

— Я думаю—да, потому что сначала всѣ слушали молча, никто не говорилъ банальныхъ похвалъ: «charmant, bravo», а когда кончила—всѣ закричали въ одинъ голосъ, окружили меня... Но я не обратила на это вниманія, не слыхала поздравленій: я обернулась, только лишь кончила, къ нему... Онъ протянулъ мнѣ руку, и я...

Софья остановилась въ смущеніи...

— Ну, вы бросились къ нему...

— Ужъ и бросилась? Нѣтъ, я протянула ему тоже руку и онъ... пожалъ ее! и кажется, мы оба покраснѣли...

— Только?

— Я скоро опомнилась и стала отвѣчать на поздравленія, на привѣтствія, хотѣла подойти къ maman, но взглянула на нее... и мнѣ страшно стало: подошла къ тёткамъ, но обѣ онѣ сказали что-то вскользь и отошли. Ельнинъ изъ угла слѣдилъ за мной такими глазами, что я ушла въ другую комнату. Maman, не простясь, ушла послѣ гостей къ себѣ. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазахъ были слезы...

— Помѣшательства бываютъ разныя, — замѣтилъ Райскій:—эти всѣ рехнулись на приличіи... Ну, что же на утро?

— На утро,—продолжала Софья со вздохомъ: — я ждала пока позовутъ меня къ maman, но меня долго не звали. Наконецъ, за мной пришла ma tante, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла къ maman. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядѣла, что было и кто былъ у maman въ комнатѣ. Тамъ было темно, портьеры и шторы спущены, maman казалась утомлена; подлѣ нея сидѣла тётушка, mon oncle, prince Sèrge и папа.

— Весь ареопагъ—портреты тутъ!

— Папà стоялъ у камина и грѣлся. Я посмотрѣла на него и думала, что онъ взглянетъ на меня ласково: мнѣ бы легче было. Но онъ старался не глядѣть на меня; бѣдняжка боялся maman, а я видѣла, что ему было жалко. Онъ все жевалъ губами: онъ это всегда дѣлаетъ въ ажитаціи, вы знаете.

— И что же они?

— «Позвольте васъ спросить, кто вы и что вы?»—тихо спросила maman.—«Ваша дочь», чуть-чуть внятно отвѣтила я.—«Не похоже. Какъ вы ведете себя?»

— Я молчала: отвѣчать было нечего...

— Боже мой! нечего!—произнесъ Райскій.

— «Что это за сцену разыграли вы вчера: комедію, драму? Чье это сочиненіе, ваше, или учителя этого... Ельнина?» — Maman, я не играла сцены, я нечаянно...—едва проговорила я, такъ мнѣ было тяжело.—«Тѣмъ хуже,—сказала она:—il y a donc du sentiment là dedans? Вотъ послушайте, — обратилась она къ папà: — что говоритъ ваша дочь... какъ вамъ нравится это признаніе?..»—Онъ, бѣдный, былъ смущенъ и жалокъ больше меня и смотрѣлъ внизъ; я знала, что онъ одинъ не сердится, а мнѣ хотѣлось бы умереть въ эту минуту со стыда...—«Знаете ли, кто онъ такой, вашъ учитель?—сказала maman. — Вотъ князь Serge все узналъ: онъ сынъ какого-то лѣкаря, бѣгаетъ по урокамъ, сочиняетъ, пишетъ русскимъ купцамъ французскія письма за границу за деньги, и этимъ живетъ...»—«Какой срамъ!»—сказала ma tante.—Я не дослушала дальше, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я опомнилась, подлѣ меня сидѣли обѣ тётушки, а папà стоялъ со спиртомъ. Maman не было. Я не видала ее двѣ недѣли. Потомъ, когда увидѣлись, я плакала, просила прощенія. Maman говорила, какъ поразила ее эта сцена, какъ она чуть не занемогла, какъ это все замѣтила кузина Нелюбова и пересказала Михайло-

нымъ, какъ тѣ обвинили ее въ недостаткѣ вниманія, бранили, зачѣмъ принимали Богъ знаетъ кого. «Вотъ чему ты подвергла меня!»—заключила maman. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово впередъ держать себя прилично.

Райскій расхохотался.

— Я думалъ, Богъ знаетъ, какая драма!—сказалъ онъ:— а вы мнѣ разсказываете исторію шестилѣтней дѣвочки! Надѣюсь, кузина, когда у васъ будетъ дочь, вы поступите иначе...

— Какъ же: отдать ее за учителя? — сказала она.—Вы не думаете сами серьезно, чтобъ это было возможно!

— Почему нѣтъ, если онъ честенъ, хорошо воспитанъ?..

— Никто не знаетъ, честенъ ли Ельнинъ: напротивъ, ma tante и maman говорили, что будто у него были дурныя намѣренія, что онъ хотѣлъ вскружить мнѣ голову... изъ самолюбія, потому что серьезныхъ намѣреній онъ имѣть не смѣлъ...

— Нѣтъ! — пылко возразилъ Райскій: — васъ обманули. Не блѣднѣютъ и не краснѣютъ, когда хотятъ кружить головы ваши франты, кузены, prince Pierre, comte Serge: вотъ у кого дурное на умѣ! А у Ельнина не было никакихъ намѣреній, онъ, какъ я вижу изъ вашихъ словъ, любилъ васъ искренно. А эти,—онъ, не оборачиваясь, указалъ назадъ, на портреты: — женятся на васъ par convenance, и потомъ мѣняютъ на танцовщицу...

— Cousin!—серьезно, почти съ испугомъ, сказала она.

— Да, кузина, вы сами знаете это...

— Что же мнѣ было дѣлать? Сказать maman, что я выйду за m-r Ельнина...

— Да, упасть въ обморокъ не отъ того, отъ чего вы упали, а отъ того, что осмѣлились распоряжаться вашимъ сердцемъ, потомъ уйти изъ дома и сдѣлаться его женой. «Сочиняетъ, пишетъ письма, даетъ уроки, получаетъ деньги и

этимъ живетъ!» Въ самомъ дѣлѣ, какой позоръ! А они,— онъ опять указалъ на предковъ: — получили, ничего не сочиняя, и проѣдали весь свой вѣкъ чужое — какая слава!.. Что же сталось съ Ельнинымъ?

— Не знаю, — равнодушно сказала она: — ему отказали отъ дома, и я не видала его никогда.

— И вы — ничего?

— Ничего...

— Передъ вами являлась лицомъ къ лицу настоящая, живая жизнь, счастье — и вы оттолкнули его отъ себя! изъ чего? для чего?

— Но, cousin, вы знаете, что я была замужемъ и жила этой жизнью...

— Съ нимъ? — спросилъ онъ, глядя на портретъ ея мужа.

— Съ нимъ!—сказала она, глядя съ кроткой лаской тоже на портретъ.

— Какъ вы вышли замужъ?

— Очень просто. Онъ тогда только-что воротился изъ-за границы, бывалъ у насъ, разсказывалъ, что дѣлается въ Парижѣ, говорилъ о королевѣ, о принцессахъ, иногда обѣдалъ у насъ, и черезъ княгиню сдѣлалъ предложеніе.

— Ну, когда согласились и вы остались съ нимъ въ первый разъ однѣ... что онъ...

— Ничего!—сказала она съ улыбкой удивленія.

— Но вѣдь... говорилъ же онъ вамъ, почему искалъ вашей руки, что его привлекло къ вамъ... что не было никого прекраснѣе, блистательнѣе...

— И «что онъ никогда не кончилъ бы, говоря обо мнѣ, но боится быть сентиментальнымъ»...—добавила она.

— Потомъ?

— Потомъ сѣлъ играть въ карты, а я пошла одѣваться: въ этотъ вечеръ онъ былъ въ нашей ложѣ, и на другой день объявленъ женихомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ это очень просто! — замѣтилъ Райскій.—Ну, потомъ, послѣ свадьбы?..

— Мы уѣхали за границу.

— А! наконецъ, не до свѣта, не до родныхъ: куда-нибудь въ Италію, въ Швейцарію, на Рейнъ, въ уголокъ, и тамъ сердце взяло свое...

— Нѣтъ, нѣтъ, cousin, мы поѣхали въ Парижъ: мужу дали порученіе, и онъ представилъ меня ко двору.

— Господи!—воскликнулъ Райскій: — этого недоставало!

— Я была очень счастлива,—сказала Бѣловодова, и улыбка и взглядъ говорили, что она съ удовольствіемъ глядитъ въ прошлое. — Да, cousin, когда я въ первый разъ пріѣхала на балъ въ Тюльери и вошла въ кругъ, гдѣ былъ король, королева и принцы...

— Всѣ ахнули?—сказалъ Райскій.

Она кивнула головой, потомъ вздохнула, какъ будто жалѣя, что это прекрасное прошлое невозвратимо.

— Мы принимали въ Парижѣ; потомъ уѣхали на воды; тамъ мужъ устраивалъ праздники, балы: тогда писали въ газетахъ.

— И вы были счастливы?

— Да,— сказала она: — счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала...

— Нѣжнаго, задушевнаго слова, не видали минуты увлеченія?

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

— Не слыхала отказа въ желаніяхъ, даже въ капризахъ...—добавила она.

— Будто у васъ были и капризы?

— Да; въ Вѣнѣ онъ за полгода велѣлъ приготовить отель, мы пріѣхали, мнѣ не понравилось, и...

— Онъ нанялъ другой: какой нѣжный мужъ!

— Какое вниманіе, égard, — говорила она: — какое уваженіе въ каждомъ словѣ!..

— Еще бы: вѣдь вы Пахотина; шутка ли?

— Да, я была счастлива, — рѣшительно сказала она:—и уже такъ счастлива не буду!

— И слава Богу: аминь!—заключилъ онъ. — Канарейка тоже счастлива въ клѣткѣ, и даже поетъ; но она счастлива канареечнымъ а не человѣческимъ счастьемъ... Нѣтъ, кузина, надъ вами совершено систематически утонченное умерщвленіе свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы—прекрасная плѣнница въ свѣтскомъ сералѣ и прозябаете въ своемъ невѣдѣніи.

— И не хочу мѣнять этого невѣдѣнія на ваше опасное вѣдѣніе...

— Да,—перебилъ онъ:—и засидѣвшаяся канарейка, когда отворятъ клѣтку, не летитъ, а боязливо прячется въ гнѣздо. Вы — тоже. Воскресните, кузина, отъ сна, бросьте вашихъ Catherine, m-me Basil, эти выѣзды—и узнайте другую жизнь. Когда запроситъ сердце свободы, не справляйтесь, что скажетъ кузина...

— А что скажетъ cousin—да?

— Да, тогда вспомните кузена Райскаго и смѣло подите въ жизнь страстей, въ незнакомую вамъ сторону...

— Но зачѣмъ же непремѣнно страсти,—возражала она:—развѣ въ нихъ счастье?

— Зачѣмъ гроза въ природѣ?... Страсть — гроза жизни... О, если бъ испытать эту сильную грозу! — съ увлеченіемъ сказалъ онъ и задумался.

— Вотъ видите, cousin: все прочее, кромѣ васъ, велитъ бѣжать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потомъ всю жизнь раскаиваться...

— Нѣтъ, не къ раскаянію поведетъ васъ страсть: она очиститъ воздухъ, прогонитъ міазмы, предразсудки, и дастъ вамъ дохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишкомъ чисты, свѣтлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказитъ васъ, а только подниметъ высоко. Вы

черпнете познанія добра и зла, упьетесь счастьемъ и потомъ задумаетесь на всю жизнь, — не этой красивой, сонной задумчивостью. Въ вашемъ покоѣ будетъ биться пульсъ, будетъ жить сознаніе счастья; вы будете прекраснѣе во сто разъ, будете нѣжны, грустны, передъ вами откроется глубина собственнаго сердца, и тогда весь міръ упадетъ передъ вами на колѣни, какъ падаю я...

Онъ въ самомъ дѣлѣ опустился на колѣни, но она сдѣлала движеніе ужаса, и онъ остановился.

— И когда я васъ встрѣчу потомъ, можетъ-быть, измученную горемъ, — но богатую и счастьемъ, и опытомъ, вы скажете, что вы не даромъ жили, и не будете отговариваться невѣдѣніемъ жизни. Вотъ тогда выглянете и туда, на улицу, захотите узнать, что̀ дѣлаютъ ваши мужики, захотите кормить, учить, лѣчить ихъ...

Она слушала задумчиво. Сомнѣнія, тѣни, воспоминанія проходили по лицу.

— Не всѣ мужчины — Бѣловодовы,—продолжалъ онъ:— не побоится другъ вашъ дать волю сердцу и языку, а услыхавши разъ голосъ сердца, поживъ въ тишинѣ, наединѣ— гдѣ-нибудь въ чухонской деревнѣ, вы ужаснетесь вашего свѣта. Парижъ и Вѣна поблѣднѣютъ передъ той деревней. Прочь prince Pierre, comte Serge, тётушки, эти портьеры, драпри, съ глазъ долой портреты: все это мѣшаетъ только счастью. Вы возненавидите и Пашу съ Дашей, и швейцара, всѣ выѣзды—все вамъ опротивѣетъ тогда. Положеніе ваше будетъ душить васъ, вамъ покажется здѣсь тѣсно, скучно, безъ того, кого полюбите, кто научитъ васъ жить. Когда онъ придетъ, вы будете неловки, вздрогнете отъ его голоса, покраснѣете, поблѣднѣете, а когда уйдетъ, сердце у васъ вскрикнетъ и помчится за нимъ, будетъ ждать томительно завтра, послѣ-завтра... Вы не будете обѣдать, не уснете, и просидите ночь вотъ тутъ, въ креслѣ, безъ сна, безъ покоя. Но если увидите его завтра, даже почуете надежду

увидѣть, вы будете свѣжѣе этого цвѣтка, и будете счастливы, и онъ счастливъ этимъ блестящимъ взглядомъ—не только онъ, но и чужой, кто васъ увидитъ въ этихъ лучахъ красоты...

— Что это, видно папа не будетъ?—сказала она, оглядываясь вокругъ себя.—Это невозможно, что вы говорите!—тихо прибавила потомъ.

— Почему?—спросилъ онъ, впиваясь въ нее глазами.

У него воображеніе было раздражено: онъ невольно ставилъ на мѣстѣ героя себя; онъ глядѣлъ на нее то смѣло, то стоялъ мысленно на колѣняхъ и млѣлъ, лицо тоже млѣло. Она взглянула на него раза два и потомъ боялась или не хотѣла глядѣть.

— Почему невозможно?—повторилъ онъ.

— Вѣдь я—кана¡ейка!

— О, тогда эта портьера упадетъ, и вы выпорхнете изъ клѣтки; тогда вы возненавидите и тётокъ, и этихъ полинявшихъ господъ, а на этотъ портретъ (онъ указалъ на портретъ мужа) взглянете съ враждой.

— Ахъ, cousin!..—съ упрекомъ остановила она.

— Да, кузина, вы будете считать потерянною всякую минуту, прожитую какъ вы жили и какъ живете теперь... Пропадетъ этотъ величавый, стройный видъ, будете задумываться, забудете одѣться въ это несгибающее платье... съ досадой бросите массивный браслетъ, и крестикъ на груди не будетъ лежать такъ правильно и покойно. Потомъ, когда преодолѣете предковъ, тётушекъ, перейдете Рубиконъ—тогда начнется жизнь... мимо васъ будутъ мелькать дни, часы, ночи...

Онъ сѣлъ близко подлѣ нея: она не замѣчала, погруженная въ задумчивость.

— Вы не будете замѣчать ихъ,—шепталъ онъ:—вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты отъ

него, не сладите съ сердцемъ, вамъ все будетъ чудиться, чего съ вами никогда не было.

Онъ взялъ ее за руку, она вздрогнула.

— Одна, дома, вы вдругъ заплачете отъ счастья: около васъ будетъ кто-то невидимо ходить, смотрѣть на васъ... И если въ эту минуту явится онъ, вы закричите отъ радости, вскочите и... и... броситесь къ нему...

Оба они вдругъ встали.

— И отдадите все... все... — шепталъ онъ, держа ее за руку.

— Assez, cousin, assez! — говорила она въ волненіи, съ нетерпѣніемъ, почти съ досадой отнимая руку

— И будете еще жалѣть,—все шепталъ онъ:—что нечего больше отдать, что нѣтъ жертвы! Тогда пойдете и на улицу, въ темную ночь, однѣ... если...

— Mon Dieu, mon Dieu! — говорила она, глядя на дверь:—что вы говорите?.. вы знаете сами, что это невозможно!

— Все возможно,—шепталъ онъ:—вы станете на колѣни, страстно прильнете губами къ его рукѣ, и будете плакать отъ наслажденія...

Она сѣла на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

— Je vous demande une grâce, cousin,—сказала она.

— Требуйте, приказывайте!—говорилъ онъ восторженно.

— Laissez moi!

Онъ пошелъ къ двери и оглянулся. Она сидитъ неподвижно: на лицѣ только нетерпѣніе, чтобъ онъ ушелъ. Едва онъ вышелъ, она налила изъ графина въ стаканъ воды, медленно выпила ее и потомъ велѣла отложить карету. Она сѣла въ кресло и задумалась, не шевелясь.

Черезъ нѣсколько минутъ послышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мелькомъ взглянула въ зеркало и встала. Вошелъ ея отецъ, съ нимъ какой-то гость, мужчина среднихъ лѣтъ, высокій, брюнетъ, съ задум-

чивымъ лицомъ. Физіономія не русская. Отецъ представилъ его Софьѣ.

— Графъ Милари, ma chère amie, — сказалъ онъ: — grand musicien et le plus aimable garçon du monde. Двѣ недѣли здѣсь: ты видѣла его на балѣ у княгини? Извини, душа моя, я былъ у графа: онъ не пустилъ въ театръ.

— Я велѣла отложить карету, папа; мнѣ тоже не хочется, — отвѣчала она.

Софья попросила гостя сѣсть. Они стали говорить о музыкѣ, а Николай Васильевичъ, пожевавъ губами, ушелъ въ гостиную.

XV.

Райскій вернулся домой въ чаду, едва замѣчая дорогу, улицы, проходящихъ и проѣзжающихъ. Онъ видѣлъ все одно — Софью, какъ картину, въ рамкѣ изъ бархата, кружевъ, всю въ шелку, въ брильянтахъ, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью.

На лицѣ у ней онъ успѣлъ прочесть первые, робкіе лучи жизни, мимолетные проблески нетерпѣнія, потомъ тревоги, страха, и, наконецъ, добился вызвать какое-то волненіе, можетъ-быть, безсознательную жажду любви.

Онъ бросилъ сомнѣніе въ нее, вопросы, можетъ-быть, сожалѣніе о даромъ потерянномъ прошломъ, словомъ, взволновалъ ее. Ему снилась въ перспективѣ страсть, драма, превращеніе статуи въ женщину.

Пока онъ гордился про себя и тѣмъ крошечнымъ успѣхомъ своей пропаганды, что, кажется, предки сошли въ ея глазахъ съ высокаго пьедестала.

«Еще два-три вечера, думалъ онъ, еще приподниметъ онъ ей уголокъ завѣсы, она взглянетъ въ лучистую даль, и вдругъ поймет жизнь и счастье. Потомъ дальше, когда нибудь, взглядъ ея остановится на комъ-то въ изумленіи, потомъ опустится, взглянетъ широко опять и онѣмѣетъ — и она мгновенно преобразится.»

— Но кто же будетъ этотъ «кто-то»?— спросилъ онъ ревниво.—Не тотъ ли, кто первый вызвалъ въ ней сознаніе о чувствѣ? Не онъ ли въ правѣ бросить ей въ сердце и самое чувство?

Онъ поглядѣлъ въ зеркало и задумался, подошелъ къ форточкѣ, отворилъ ее, дохнулъ свѣжимъ воздухомъ: до него донеслись звуки віолончели.

— Ахъ, опять этотъ пилитъ! — съ досадой сказалъ онъ, глядя на противоположное окно флигеля.—И опять то же!— прибавилъ онъ, захлопывая форточку.

Звуки, хотя глухо, но все доносились до него. Каждое утро и каждый вечеръ видѣлъ онъ въ окно человѣка, нагнувшагося надъ инструментомъ, и слышалъ повтореніе, по цѣлымъ недѣлямъ, почти неисполнимыхъ пассажей, по пятидесяти, по сто разъ. И мѣсяцы проходили такъ.

— Оселъ! — сказалъ Райскій и легъ на диванъ, хотѣлъ заснуть, но звуки не давали, какъ онъ ни прижималъ ухо къ подушкѣ, чтобъ заглушить ихъ. Нѣтъ, такъ и рѣжутъ.

— Право, оселъ! — повторилъ онъ и самъ сѣлъ за фортепіано и началъ брать сильные аккорды, чтобъ заглушить віолончель. Потомъ залился веселою трелью, перебралъ мотивы изъ нѣсколькихъ оперъ, чтобъ не слыхать несноснаго мычанья, и насилу забылся за импровизаціей.

Передъ нимъ была Софья: играя онъ видѣлъ все ее, уже съ пробудившимися страстями, страдающую и любящую — и только дошло до вопроса: «кого?» звуки у него будто оборвались. Онъ всталъ и открылъ форточку.

— Все еще играетъ! — съ изумленіемъ повторилъ онъ и хотѣлъ снова захлопнуть, но вдругъ остановился и замеръ на мѣстѣ.

Звуки не тѣ: не мычанье, не повтореніе трудныхъ пассажей слышитъ онъ. Сильная рука водила смычкомъ, будто по нервамъ сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали въ пу-

чину и вдругъ выкидывали на высоту и несли въ воздушное пространство.

Цѣлые міры отверзались передъ нимъ, понеслись видѣнія, открылись волшебныя страны. У Райскаго широко открылись глаза и уши: онъ видѣлъ только фигуру человѣка въ одномъ жилетѣ, свѣча освѣщала мокрый лобъ, глазъ было не видно. Борисъ пристально смотрѣлъ на него, какъ бывало на Васюкова.

«А! что̀ это такое!» думалъ онъ, слушая съ дрожью почти ужаса эти широко разливающіяся волны гармоніи.

— Что̀ это такое? — повторилъ онъ: — откуда онъ взялъ эти звуки? Кто ихъ далъ ему? Ужели мѣсяцы и годы ослинаго терпѣнія и упорства? Рисовать съ бюстовъ, пилить по струнамъ—годы! А даетъ человѣческой фигурѣ, въ картинѣ, огонь, жизнь,—одна волшебная точка, штрихъ; страсть въ звуки вливаетъ—одна нервная дрожь пальца! У меня есть и точка, и нервная дрожь, и всѣ эти молніи горятъ здѣсь, въ груди, — говорилъ онъ, ударяя себя въ грудь: — и я безсиленъ перебросить ихъ въ другую грудь, зажечь огнемъ своимъ огонь въ крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходитъ у меня въ звуки, не ложится послушно въ картину! Зачѣмъ не группируются стройно лица поэмы и романа?

И опять слушалъ онъ, замирая: не слыхать ни смычка, ни струнъ; инструмента не было, а пѣла свободно, вдохновенно, будто грудь самого артиста.

У Райскаго навернулись слезы умиленія, и онъ тихо закрылъ форточку.

А вѣдь есть упорство и у него, у Райскаго! Какія усилія напрягалъ онъ, чтобъ... сладить съ кузиной, сколько ума, игры воображенія, труда положилъ онъ, чтобъ пробудить въ ней огонь, жизнь, страсть... Вотъ куда уходятъ эти силы!

«Не вноси искусства въ жизнь, шепталъ ему кто-то, а жизнь въ искусство!.. Береги его, береги силы!»

Онъ подошелъ къ мольберту; снялъ зеленую тафту: тамъ былъ портретъ Софьи — глаза ея, плечи ея и спокойствіе ея.

— Но теперь она ужъ не такая!—шепталъ онъ:—явились признаки жизни: я ихъ вижу; вотъ они, передъ глазами у меня: какъ уловить ихъ?..

Онъ схватилъ кисть, палитру, помалевалъ глаза, измѣнилъ немного линію губъ—и со вздохомъ положилъ кисть и отошелъ. Платье, эти кружева, бархатъ кое-какъ набросаны. А пуще всего руки не вѣрны. И темно: краски вечеромъ измѣняются.

Онъ поглядѣлъ еще нѣсколько запыленныхъ картинъ: все начатые и брошенные эскизы, потомъ подошелъ къ печкѣ, перебралъ нѣсколько рамокъ, останавливаясь на нѣкоторыхъ, и между прочимъ, на головѣ Гектора.

Наконецъ досталъ небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портретъ молодой, бѣлокурой женщины, поставилъ его на мольбертъ и, облокотясь локтями на столъ, впустивъ пальцы въ волосы, остановилъ неподвижный, исполненный глубокой грусти взглядъ на этой головѣ.

Долго сидѣлъ онъ въ задумчивомъ снѣ, потомъ очнулся, пересѣлъ за письменный столъ и началъ перебирать рукописи,—на нѣкоторыхъ останавливался, качалъ головой, рвалъ и бросалъ въ корзину, подъ столъ, другія откладывалъ въ сторону.

Между кипами литературныхъ опытовъ, стиховъ и прозы, онъ нашелъ одну тетрадь, въ заглавіи которой стояло: «Наташа».

Тамъ былъ записанъ старый эпизодъ, когда онъ только-что расцвѣталъ, сближался съ жизнью, любилъ и его любили. Онъ записалъ его когда-то, подъ вліяніемъ чувства, которымъ жилъ, не зная тогда еще зачѣмъ,—можетъ-быть, съ сентиментальной цѣлью посвятить эти листки памяти

своей тогдашней подруги, или оставить для себя замѣтку и воспоминаніе въ старости о молодой своей любви, а можетъ-быть у него уже тогда бродила мысль о романѣ, о которомъ онъ говорилъ Аянову, и мелькалъ сюжетъ для трогательной повѣсти изъ собственной жизни.

Онъ тамъ говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ, набрасывая легкій очеркъ, сквозь который едва пробивался образъ нѣжной, любящей женщины. Думая впослѣдствіи о своемъ романѣ, онъ предполагалъ выработать этотъ очеркъ и включить въ романъ, какъ въ эпизодъ.

«...Онъ, воротясь домой послѣ обѣда въ артистическомъ кругу, — читалъ Райскій вполголоса свою тетрадь: — нашелъ у себя на столѣ записку, въ которой было сказано: «Навѣсти меня, милый Борисъ: я умираю!.. Твоя Наташа».

— Боже мой, Наташа!—закричалъ онъ не своимъ голосомъ и побѣжалъ съ лѣстницы, бросился на улицу и поскакалъ на извозчикѣ къ Знаменью, въ переулокъ, вбѣжалъ въ домъ, въ третій этажъ.—Двѣ недѣли не былъ, двѣ недѣли— это вѣчность! Что она?

Онъ остановился передъ дверью, переводя духъ, и отъ волненія то бралея за ручку колокольчика, то опять оставлялъ ее. Наконецъ позвонилъ и вошелъ.

Его встрѣтила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опустивъ глаза, какъ-будто съ укоризной отвѣчала на поклонъ, а на вопросъ его, сдѣланный шопотомъ, съ дрожью:—«Что она?»—ничего не сказала, а только пропустила его впередъ, осторожно затворила за нимъ дверь и сама ушла.

Онъ на цыпочкахъ вошелъ въ комнату и оглядѣлъ ее, съ безпокойствомъ отыскивая, гдѣ Наташа.

Въ комнатѣ былъ волосяной диванъ краснаго дерева, круглый столъ передъ диваномъ; на столѣ стоялъ рабочій ящикъ и лежали неконченныя женскія работы.

Въ углу теплилась лампада; по стѣнамъ стояли волосяные стулья; на окнахъ горшки съ увядшими цвѣтами, да днѣ клѣтки, въ которыхъ дремали насупившіяся канарейки.

Онъ глядѣлъ на ширмы и стоялъ боязливо, боясь идти туда.

— Кто тамъ?—раздался слабый голосъ изъ-за ширмъ.

Онъ вошелъ.

За ширмами, на постели, среди подушекъ, лежала, освѣщаемая темнымъ свѣтомъ маленькаго ночника, какъ восковая, молодая, бѣлокурая женщина. Взглядъ былъ горячъ, но сухъ, губы тоже жаркія и сухія. Она хотѣла повернуться, увидавъ его, сдѣлала живое движеніе и схватилась рукой за грудь.

— Это ты, Борисъ, ты! — съ нѣжной, томной радостью говорила она, протягивая ему обѣ исхудалыя, блѣдныя руки, глядѣла и не вѣрила глазамъ своимъ.

Онъ бросился къ ней и поцѣловалъ обѣ руки.

— Ты въ постели, и до сегодня не дала мнѣ знать!— упрекалъ онъ.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— Прости, что потревожила и теперь, — старалась она выговорить:—мнѣ хотѣлось увидѣть тебя. Я всего недѣлю, какъ слегла: грудь заболѣла...—Она вздохнула.

Онъ не слушалъ ее, съ ужасомъ вглядываясь въ ея лицо, недавно еще смѣющееся. И что стало теперь съ ней!

«Что съ тобой?..» хотѣлъ онъ сказать, не выдержалъ и, опустивъ лицо въ подушку къ ней, вдругъ разразился рыданіемъ.

— Что ты, что ты?—говорила она, лаская нѣжно рукой его голову: она была счастлива этими слезами.—Это ничего, докторъ говоритъ, что пройдетъ...

Но онъ рыдалъ, онъ понималъ, что не пройдетъ.

своей тогдашней подруги, или оставить для себя замѣтку и воспоминаніе въ старости о молодой своей любви, а можетъ-быть у него уже тогда бродила мысль о романѣ, о которомъ онъ говорилъ Аянову, и мелькалъ сюжетъ для трогательной повѣсти изъ собственной жизни.

Онъ тамъ говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ, набрасывая легкій очеркъ, сквозь который едва пробивался образъ нѣжной, любящей женщины. Думая впослѣдствіи о своемъ романѣ, онъ предполагалъ выработать этотъ очеркъ и включить въ романъ, какъ въ эпизодъ.

«...Онъ, воротясь домой послѣ обѣда въ артистическомъ кругу, — читалъ Райскій вполголоса свою тетрадь: — нашелъ у себя на столѣ записку, въ которой было сказано: «Навѣсти меня, милый Борисъ: я умираю!.. Твоя Наташа».

— Боже мой, Наташа!—закричалъ онъ не своимъ голосомъ и побѣжалъ съ лѣстницы, бросился на улицу и поскакалъ на извозчикѣ къ Знаменью, въ переулокъ, вбѣжалъ въ домъ, въ третій этажъ.—Двѣ недѣли не былъ, двѣ недѣли— это вѣчность! Что она?

Онъ остановился передъ дверью, переводя духъ, и отъ волненія то брался за ручку колокольчика, то опять оставлялъ ее. Наконецъ позвонилъ и вошелъ.

Его встрѣтила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опустивъ глаза, какъ-будто съ укоризной отвѣчала на поклонъ, а на вопросъ его, сдѣланный шопотомъ, съ дрожью:—«Что она?»—ничего не сказала, а только пропустила его впередъ, осторожно затворила за нимъ дверь и сама ушла.

Онъ на цыпочкахъ вошелъ въ комнату и оглядѣлъ ее, съ безпокойствомъ отыскивая, гдѣ Наташа.

Въ комнатѣ былъ волосяной диванъ краснаго дерева, круглый столъ передъ диваномъ; на столѣ стоялъ рабочій ящикъ и лежали неконченныя женскія работы.

Въ углу теплилась лампада; по стѣнамъ стояли волосяные стулья; на окнахъ горшки съ увядшими цвѣтами, да двѣ клѣтки, въ которыхъ дремали насупившіяся канарейки.

Онъ глядѣлъ на ширмы и стоялъ боязливо, боясь идти туда.

— Кто тамъ?—раздался слабый голосъ изъ-за ширмъ.

Онъ вошелъ.

За ширмами, на постели, среди подушекъ, лежала, освѣщаемая темнымъ свѣтомъ маленькаго ночника, какъ восковая, молодая, бѣлокурая женщина. Взглядъ былъ горячъ, но сухъ, губы тоже жаркія и сухія. Она хотѣла повернуться, увидавъ его, сдѣлала живое движеніе и схватилась рукой за грудь.

— Это ты, Борисъ, ты! — съ нѣжной, томной радостью говорила она, протягивая ему обѣ исхудалыя, блѣдныя руки, глядѣла и не вѣрила глазамъ своимъ.

Онъ бросился къ ней и поцѣловалъ обѣ руки.

— Ты въ постели, и до сегодня не дала мнѣ знать!— упрекалъ онъ.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— Прости, что потревожила и теперь, — старалась она выговорить:—мнѣ хотѣлось увидѣть тебя. Я всего недѣлю, какъ слегла: грудь заболѣла...—Она вздохнула.

Онъ не слушалъ ее, съ ужасомъ вглядываясь въ ея лицо, недавно еще смѣющееся. И что стало теперь съ ней!

«Что съ тобой?..» хотѣлъ онъ сказать, не выдержалъ и, опустивъ лицо въ подушку къ ней, вдругъ разразился рыданіемъ.

— Что ты, что ты?—говорила она, лаская нѣжно рукой его голову: она была счастлива этими слезами.—Это ничего, докторъ говоритъ, что пройдетъ...

Но онъ рыдалъ, онъ понималъ, что не пройдетъ.

— Я думала, ты утѣшишь меня. Мнѣ такъ было скучно одной и страшно... — Она вздрогнула и оглянулась около себя.—Книги твои всѣ прочла, вонъ онѣ, на стулѣ,—прибавила она. — Когда будешь пересматривать, увидишь тамъ мои замѣтки карандашомъ; я подчеркивала всѣ мѣста, гдѣ находила сходство... какъ ты и я... любили... Охъ, устала, не могу говорить... — Она остановилась, смочила языкомъ горячія губы. — Дай мнѣ пить, вонъ тамъ, на столѣ!

Проглотивъ нѣсколько капель, она указала ему мѣсто на подушкѣ и сдѣлала знакъ, чтобъ онъ положилъ свою голову. Она положила ему руку на голову, а онъ украдкой утиралъ слезы.

— Тебѣ скучно здѣсь, — заговорила она слабо: — прости, что я призвала тебя... Какъ мнѣ хорошо теперь, если бъ ты зналъ! — въ мечтательномъ забытьи говорила она, закрывъ глаза и перебирая рукой его волосы. Потомъ обняла его, поглядѣла ему въ глаза, стараясь улыбнуться. Онъ молча и нѣжно отвѣчалъ на ея ласки, глотая навернувшіяся слезы.

— Ты посидишь со мною сегодня?—спросила она, глядя ему въ глаза.

— Весь вечеръ, всю ночь; я не отойду отъ тебя, пока...

Слезы опять подступили, и онъ едва справился съ ними.

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ? Я не хочу, чтобъ ты скучалъ... Ты усни, успокойся, со мной ничего, право, ничего...

Она хотѣла улыбнуться и не могла.

— Я что-то скажу тебѣ: ты не разсердишься?..

Онъ пожалъ ей влажную руку.

— Я схитрила... — шептала она, приложивъ свою щеку къ его щекѣ: — мнѣ вотъ ужъ третій день легче, а я написала, что умираю... мнѣ хотѣлось заманить тебя... Прости меня!

Она улыбнулась, а онъ оцѣпенѣлъ отъ ужаса: онъ слы-

халъ, что̀ значитъ это «легче». Но онъ старался улыбнуться, судорожно сжалъ ей руки и съ боязнью глядѣлъ то на нее, то вокругъ себя.

Вдругъ изъ свѣта, изъ толпы веселыхъ пріятелей, художниковъ, красавицъ, онъ попалъ какъ будто въ склепъ. Онъ сѣлъ подлѣ постели и ушелъ въ свою фантазію, гдѣ и раздолье молодой его жизни, и вдругъ упавшее на него горе стояли какъ двѣ противоположныя картины. Большая, веселая комната, группа собесѣдниковъ, здоровыхъ, поющихъ, говорящихъ шумно вокругъ стола, за роскошнымъ обѣдомъ, среди цвѣтовъ, шипящихъ бокаловъ. Между собесѣдниками веселыя лица женщинъ блестятъ красотой, наслажденіемъ. Тутъ артистки музыки, балета, пѣвцы, художники и золотая молодежь, красота, умъ, таланты, юморъ — вся солнечная сторона жизни! Вдругъ онъ шагнулъ въ ея мрачную тѣнь: эта маленькая, бѣдная комната и въ ней угасающая, подкошенная жизнь.

Тамъ, у царицы пира, свѣжій, блистающій молодостью лобъ и глаза, каскадомъ падающая на затылокъ и шею темная коса, высокая грудь и роскошныя плечи. Здѣсь — эти впадшіе, едва мерцающіе, какъ искры, глаза, сухіе, безцвѣтные волосы, осунувшіяся кости рукъ... Обѣ картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тѣмъ онѣ стояли такъ близко другъ къ другу. Въ галлереѣ ихъ не поставили бы рядомъ: въ жизни онѣ сходились — и онъ смотрѣлъ одичалыми глазами на обѣ.

Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Онъ, противъ воли, группировалъ фигуры, давалъ положеніе тому, другому, себѣ, добавлялъ чего недоставало, исключалъ, что̀ портило общій видъ картины. И въ то же время самъ ужасался процесса своей безпощадной фантазіи, хватался рукой за сердце, чтобъ унять боль, согрѣть леденѣющую отъ ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшнымъ

воплемъ исторгнуться у него изъ груди при каждомъ ея болѣзненномъ стонѣ.

Эта любовь на смертномъ одрѣ жгла его, какъ раскаленное желѣзо; каждую ласку принималъ онъ съ рыданіемъ, какъ сорванный съ могилы цвѣтокъ.

Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, передъ нимъ тихо развертывалась вся исторія этого, теперь угасающаго бытія. Онъ видѣлъ тамъ ее когда-то молоденькой дѣвочкой, съ стыдливымъ, простодушнымъ взглядомъ, живущей подъ слабымъ присмотромъ бѣдной, больной матери.

Онъ узналъ Наташу въ опасную минуту, когда ея невѣдѣнію и невинности готовились сѣти. Матери, подъ видомъ участія и старой дружбы, выхлопоталъ посѣдѣвшій мнимый другъ пенсіонъ, присылалъ доктора и каждый день пріѣзжалъ, по вечерамъ, узнавать о здоровьѣ, отечески горячо цѣловалъ дочь...

Между тѣмъ мать медленно умирала той же болѣзнью, отъ которой угасала теперь, немногими годами пережившая ее дочь. Райскій понялъ все и рѣшился спасти дитя.

Спасая искренно и горячо отъ сѣтей «благодѣтеля», открывая глаза и матери, и дочери, на значеніе его благодѣяній—онъ влюбился самъ въ Наташу, Наташа влюбилась въ него—и оба нашли счастье другъ въ другѣ, оба у смертнаго одра матери получили на него благословеніе.

У обоихъ былъ одинъ простой и честный образъ семейнаго союза. Онъ уважалъ ея невинность, она цѣнила его сердце—оба протягивали руки къ брачному вѣнку—и оба... не устояли.

Полгода томилась мать на постели и умерла. Этотъ гробъ, ставши между ними и бракомъ — глубокій трауръ, вдругъ облекшій ея молодую жизнь, надломилъ и ея хрупкій наслѣдственно-болѣзненный организмъ, въ которомъ, еще силь-

нѣе скорби и недуга, горѣла любовь и волновала нетерпѣніемъ и жаждой счастья.

Доктора положили свой запретъ на нетерпѣливыя желанія: — Надо подождать, говорили имъ, три мѣсяца, четыре. — Брачный алтарь ждалъ, а любовь увлекла ихъ впередъ.

И онъ спасъ ее отъ старика, спасъ отъ бѣдности, но не спасъ отъ себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то, ничѣмъ невозмутимою, ничего не боящеюся любовью, безъ слезъ, безъ страданій, безъ жертвъ, потому что не понимала, что̀ такое жертва, не понимала, какъ можно полюбить и опять не полюбить.

Для нея любить — значило дышать, жить, не любить — перестать дышать и жить. На вопросы его: — Любишь ли? Какъ? — она, сжавъ ему крѣпко шею и стиснувъ зубы, подѣтски отвѣчала: — Вотъ такъ! — А на вопросъ:—Перестанешь ли любить?—говорила задумчиво: — Когда умру, такъ перестану.

Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, какъ онъ есть, и никогда не представляла себѣ, могъ ли бы, или долженъ ли бы онъ быть инымъ? бываетъ ли другая любовь, или всѣ такъ любятъ, какъ она?

А онъ мечталъ о страсти, о ея безконечно-разнообразныхъ видахъ, о всѣхъ сверкающихъ молніяхъ, о всемъ злоѣ сильной, пылкой, ревнивой любви, и тогда, когда они вошли въ ея лѣто, въ жаркую пору.

Наташа похорошѣла, пополнѣла, была весела, но ни разу на лицѣ у ней не блеснулъ таинственный лучъ затаеннаго, сдержаннаго упоенія, никогда — потерянnаго, безумнаго взгляда, которымъ выговаривается пожирающее душу пламя.

А между тѣмъ тутъ все было для счастья: для сердца открывался вѣчный, теплый пріютъ. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа — развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой, женскій, воспріимчивый

умъ. Работа тоже творческая — творить на благодарной почвѣ, творить для себя, создавать живой идеалъ собственнаго счастья.

Но фантазія требовала роскоши, тревогъ. Покой усыплялъ ее—и жизнь его какъ будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозрѣвала, какой змѣй гнѣздился въ немъ рядомъ съ любовью.

Съ той минуты какъ она полюбила, въ глазахъ и улыбкѣ ея засвѣтился тихій рай: онъ свѣтился два года и свѣтился еще теперь изъ ея умирающихъ глазъ. Похолодѣвшія губы шептали свое неизмѣнное «люблю», рука повторяла привычную ласку.

Онъ иногда утомлялся, исчезалъ на мѣсяцы и, возвращаясь, бывалъ встрѣчаемъ опять той же улыбкой, тихимъ свѣтомъ глазъ, шопотомъ нѣжной, кроткой любви.

Онъ былъ увѣренъ, что встрѣтитъ это всегда, долго наслаждался этой увѣренностью, а потомъ въ ней же нашелъ зерно скуки и начало разложенія счастья.

Никогда—ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивленія или оскорбленія за то, что онъ прежде былъ не тотъ, что завтра будетъ опять иной, чѣмъ сегодня, что она проводитъ дни оставленная, забытая, въ страшномъ одиночествѣ.

У ней и въ сердцѣ, и въ мысли не было упрековъ и слезъ, не срывались укоризны съ языка. Она не подозрѣвала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именемъ своихъ правъ.

У ней было одно желаніе и право: любить. Она думала и вѣрила, что такъ, а не иначе, надо любить и быть любимой, и что весь міръ такъ любитъ и любимъ.

На отлучки его она смотрѣла какъ на непріятное, случайное обстоятельство, какъ, напримѣръ, на то, если бъ онъ заболѣлъ. А возвращался онъ,—она была кротко счастлива, и полагала, что если его не было, то это такъ надо, это въ порядкѣ вещей.

Обида, зло падали въ жизни на нее иногда и съ другихъ сторонъ: она блѣднѣла отъ боли, отъ изумленія, подкашивалась и безсознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить зломъ.

Она привязывалась къ тому, что нравилось ей, и умирала съ привязанностью, все думая, что *такъ надо.*

Это былъ чистый, свѣтлый образъ, какъ Петруджишіевская фигура, простодушно и безсознательно жившій и любившій, съ любовью пришедшій въ жизнь и съ любовью отходящій отъ нея, да съ кроткой и тихой молитвой.

Жизнь и любовь какъ будто пропѣли ей гимнъ, и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиленія и вѣры застывали на ея умирающемъ лицѣ, безъ укоризны за зло, за боль, за страданія.

Умирала она, частію отъ небрежнаго воспитанія, отъ небрежнаго присмотра, отъ проведеннаго, въ скудости и тѣснотѣ, болѣзненнаго дѣтства, отъ попавшей въ ея организмъ наслѣдственной капли яда, развившагося въ смертельный недугъ, отъ того наконецъ, что всѣ эти «такъ надо» хотя не встрѣчали ни воплей, ни раздраженія съ ея стороны, а все же ложились на слабую, молодую грудь и подтачивали ее.

Она прожила бы до старости, не упрекнувъ ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни въ чемъ, какъ не упрекаетъ теперь никого и ничто за свою смерть. И ея болѣзненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей—*такъ надо.*

Она никогда не искала смысла той апатіи, скуки и молчанія, съ которыми другъ ея иногда смотрѣлъ на нее, не догадывалась объ отжившей любви и не поняла бы никогда причинъ.

А онъ думалъ часто, сидя, какъ убитый, въ зломъ молчаніи, около нея, не слушая ея простодушнаго лепета, не отвѣчая на кроткія ласки: «Нѣтъ—это не та женщина, ко-

торая, какъ сильная рѣка, ворвется въ жизнь, унесетъ всѣ преграды, разольется по полямъ. Или какъ огонь освѣтитъ путь, вызоветъ силы, закалитъ ихъ энергіей и броситъ трепетъ, жаръ, нѣгу и страсть въ каждый моментъ, въ каждую мысль... направитъ жизнь, поможетъ угадать ея смыслъ, задачу и совершить ее. Гдѣ взять такую львицу? А этотъ ягненокъ нѣжно щиплетъ траву, обмахивается хвостомъ и жмется ко мнѣ, какъ къ маткѣ... Нѣтъ, это растительная жизнь, не жизнь, а сонъ»...

Онъ широкой зѣвотой отвѣчалъ на ея лепетъ, ласки, бралъ шляпу и исчезалъ по недѣлямъ, по мѣсяцамъ, или въ студію художника, или на тѣ обѣды и ужины, гдѣ охватывалъ его чадъ и шумъ.

Сидя теперь у одра, онъ мысленно читалъ исторію Наташи и своей любви, и когда вся исторія тихо развилась, и образъ умирающей сталъ передъ нимъ нѣмымъ укоромъ, онъ поблѣднѣлъ.

Онъ вспомнилъ свое забвеніе, небрежность, — другихъ оскорбленій быть не могло: самъ дьяволъ упалъ бы на колѣни передъ этимъ голубинымъ, нѣжнымъ, безотвѣтнымъ взглядомъ.

Онъ клялъ себя, что не отвѣчалъ цѣлымъ океаномъ любви на отданную ему одному жизнь, что не окружилъ ее оградой нѣжности отца, брата, мужа, далъ дохнуть на нее, не только вѣтру, но и смерти.

«Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня все!» вошла въ немъ поздняя, отчаянная мольба. Онъ мысленно всходилъ на эшафотъ, самъ клалъ голову на плаху и кричалъ:

— Я преступникъ!.. если не убилъ, то далъ убить ее: я не хотѣлъ понять ея, искалъ ада и молній тамъ, гдѣ былъ только тихій свѣтъ лампады и цвѣты. Что же я такое, Боже мой! Злодѣй! Ужели я...

Онъ опять приникалъ лицомъ къ ея подушкѣ и мысленно

молилъ не умирать, творилъ обѣты счастья до самопожертвованія.

«Поздно! Поздно!» говорило ему отчаяніе и ея трудные вздохи.

Онъ вспомнилъ, что когда она стала будто бы цѣлью всей его жизни, когда онъ ткалъ узоръ счастья съ ней, — онъ, какъ змѣй, убирался въ ея цвѣта, окружалъ себя, какъ въ картинѣ, этимъ же тихимъ свѣтомъ; увидѣвъ въ ней искренность и нѣжность, изъ которыхъ создано было ея нравственное существо, онъ былъ искрененъ, улыбался ея улыбкой, любовался съ ней птичкой, цвѣткомъ, радовался дѣтски ея новому платью, шелъ съ ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажалъ цвѣты...

И вспомнилъ онъ, что любовался птичкой, сажалъ цвѣты и плакалъ—искренно, какъ и она. Куда же дѣлись эти слезы, улыбки, наивныя радости, и зачѣмъ опошлились онѣ, и зачѣмъ она не нужна для него теперь?..

— О чемъ ты думаешь?—раздался слабый голосъ у него надъ ухомъ.—Дай еще пить... Да не гляди на меня,—продолжала она, напившись: — я стала ни на что не похожа! Дай мнѣ гребенку и чепчикъ, я надѣну. А то ты... разлюбишь меня, что я такая... гадкая!...

Она думала, что онъ еще не разлюбилъ ее! Онъ подалъ ей гребенку, маленькій чепчикъ; она хотѣла причесаться, но рука съ гребенкой упала на колѣни.

— Не могу, устала!—сказала она и печально задумалась.

А его рѣзали ножи, голова у него горѣла. Онъ вскочилъ и ходилъ съ своей картиной въ головѣ по комнатѣ, бросаясь почти въ изступленіи во всѣ углы, не помня себя, не зная что онъ дѣлаетъ. Онъ вышелъ къ хозяйкѣ, спросилъ, ходилъ ли докторъ, которому онъ поручилъ ее.

Та сказала, что ходилъ и привозилъ съ собой другихъ, что она переплатила имъ вотъ столько-то.

— У меня записано,—прибавила она.

— Что жъ тѣ?—спросилъ онъ.

— Извѣстно что: смотрѣли ее, слушали ея грудь, выходили въ другую комнату, молча пожимали плечами и, сжавъ въ кулакъ сунутую ассигнацію, застегивали фракъ и проворно исчезали.

Райскій, цѣпенѣя отъ ужаса, выслушалъ этотъ краткій отчетъ и опять шелъ къ постели. Оживленный пиръ съ друзьями, артисты, пѣвицы, хмельное веселье,—все это пропало вмѣстѣ со всякой надеждой продлить эту жизнь.

Передъ нимъ было только это угасающее лицо, страдающее безъ жалобы, съ улыбкой любви и покорности;—это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко силъ, существо!

А онъ стоялъ тутъ, полный здоровья и этой силы, которую расточалъ еще сегодня, гдѣ не нужно ея, и бросилъ эту птичку на долю бурь и непогодъ!

Зачѣмъ не приковалъ онъ себя тутъ, зачѣмъ уходилъ, когда привыкъ къ ея красотѣ, когда оттискъ этой, когда-то милой, нѣжной головки сталъ блѣднѣть въ его фантазіи? Зачѣмъ, когда туда стали тѣсниться другіе образы, онъ не перетерпѣлъ, не воздержался, не остался вѣренъ ему?

Это былъ не подвигъ, а долгъ. Безъ жертвъ, безъ усилій и лишеній нельзя жить на свѣтѣ: «жизнь—не садъ, въ которомъ растутъ только одни цвѣты», поздно думалъ онъ и вспомнилъ картину Рубенса, «Садъ любви», гдѣ подъ деревьями попарно сидятъ изящные господа и прекрасныя госпожи, а около нихъ порхаютъ амуры.

— Лжецъ! — обозвалъ онъ Рубенса. — Зачѣмъ, вперемежку съ любовниками, не насажалъ онъ въ саду нищихъ въ рубищѣ и умирающихъ больныхъ: это было бы вѣрно!.. А могъ ли бы я? — спросилъ онъ себя. — Что бы было, если бъ онъ принудилъ себя жить съ нею и для нея? Сонъ, апатія и лютѣйшій врагъ—скука! Явилась въ гото-

вой фантазіи длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатіи, скуки: онъ видѣлъ тамъ себя, какъ онъ былъ мраченъ, жёстокъ, сухъ, и какъ, можетъ-быть, еще скорѣе свелъ бы ее въ могилу. Онъ съ отчаяніемъ махнулъ рукой.

— Можно удержаться отъ бѣшенства,—оправдывалъ онъ себя: — но отъ апатіи не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это! А это убило бы ее: съ лѣтами она догадалась бы... Да, съ лѣтами, а потомъ примирилась бы, привыкла, утѣшилась—и жила! А теперь умираетъ, и въ жизни его вдругъ ложится неожиданная и быстрая драма, цѣлая трагедія, глубокій, психологическій романъ.

— Поди сюда, посиди со мной!—раздался голосъ Наташи, прервавшій его мысли.

Черезъ недѣлю послѣ того онъ шелъ съ поникшей головой за гробомъ Наташи, то читая себѣ проклятія за то, что разлюбилъ ее скоро, забывалъ подолгу и почасту, не берегъ, то утѣшаясь тѣмъ, что онъ не властенъ былъ въ своей любви, что сознательно онъ никогда не огорчилъ ее, былъ съ нею нѣженъ, внимателенъ, что наконецъ не въ немъ, а въ ней недоставало матеріала, чтобъ поддержать неугасимое пламя, что она уснула въ своей любви и уже никогда не выходила изъ тихаго сна, не будила и его, что въ ней не было признака страсти, этого бича, которымъ подгоняется жизнь, отъ которой рождается благотворная сила, производительный трудъ...

«Нѣтъ, нѣтъ,—она не то, она—голубь, а не женщина!» думалъ онъ, заливаясь слезами и глядя на тихо качающійся гробъ.

Онъ задумчиво стоялъ въ церкви, смотрѣлъ на вибрацію воздуха отъ теплящихся свѣчъ—и на небольшую кучку провожатыхъ: впереди всѣхъ стоялъ какой-то толстый, высокій господинъ, родственникъ, и равнодушно нюхалъ табакъ.

Рядомъ съ нимъ виднѣлось расплывшееся и раскраснѣвшееся отъ слезъ лицо тетки, тамъ кучка дѣтей и нѣсколько убогихъ старухъ.

У гроба на полу стояла на колѣняхъ послѣ всѣхъ пришедшая и болѣе всѣхъ пораженная смертью Наташи ея подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокругъ, потомъ глядѣла на лицо умершей, и, положивъ голову на полъ, судорожно рыдала...

Онъ медленно ушелъ домой и двѣ недѣли ходилъ убитый, молчаливый, не заглядывалъ въ студію, не видался съ пріятелями, и бродилъ по уединеннымъ улицамъ. Горе укладывалось, слезы изсякли, острая боль затихла и въ головѣ только оставалась вибрація воздуха отъ свѣчъ, тихое пѣніе, расплывшееся отъ слезъ лицо тетки и безмолвный, судорожный плачъ подруги...

Здѣсь кончилась рукопись.

Райскій, окончивъ чтеніе, сидѣлъ нѣсколько времени угрюмый, задумчивый.

— Блѣденъ этотъ очеркъ!—сказалъ онъ про-себя:—такъ теперь не пишутъ. Эта наивность достойна эпохи «Бѣдной Лизы». И портретъ ея (онъ подошелъ къ мольберту)—не портретъ, а чуть подмалеванный эскизъ.

— Бѣдная Наташа!—со вздохомъ отнесся онъ наконецъ къ ея памяти, глядя на эскизъ.—Ты и живая была такъ же блѣдно окрашена въ цвѣта жизни, какъ и на полотнѣ моей кистью, и на бумагѣ перомъ! Надо передѣлать и то, и другое!—заключилъ онъ.

Потомъ со вздохомъ спряталъ тетрадь, взялъ кучку бѣлыхъ листковъ и началъ набрасывать программу новаго своего романа.

Эпизодъ, обратившійся въ воспоминаніе, представлялся ему чужимъ событіемъ. Онъ смотрѣлъ на него объективно и внесъ на первый планъ въ своей программѣ.

Онъ прописалъ до свѣта, возвращался къ тетрадямъ не

одинъ разъ во дню, приходя домой вечеромъ опять садился къ столу и записывалъ, что̀ снилось ему въ перспективѣ.

Сцены, характеры, портреты родныхъ, знакомыхъ, друзей, женщинъ, передѣлывались у него въ типы, и онъ исписалъ цѣлую тетрадь, носилъ съ собой записную книжку, и часто въ толпѣ, на вечерѣ, за обѣдомъ, вынималъ клочокъ бумаги, карандашъ, чертилъ нѣсколько словъ, пряталъ, вынималъ опять и записывалъ, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полусловѣ, удаляясь внезапно изъ толпы въ уединеніе.

Между тѣмъ жизнь будила и отрывала его отъ творческихъ сновъ и звала, отъ художественныхъ наслажденій и мукъ, къ живымъ наслажденіямъ и реальнымъ горестямъ, среди которыхъ самою лютою была для него скука. Онъ бросался отъ ощущенія къ ощущенію, ловилъ явленія, берегъ и задерживалъ почти силою впечатлѣнія, требуя пищи не одному воображенію, но все чего-то ища, желая, пробуя на чемъ-то остановиться...

Теперь онъ возложилъ какія-то, еще неясныя ему самому, надежды на кузину Бѣловодову, наслаждаясь сближеніемъ съ ней. Ему пока ничего не хотѣлось больше, какъ видѣть ее чаще, говорить, пробуждать въ ней жизнь, если можно — страсть.

Но она была неприступна. Онъ сталъ уставать, начала пробиваться скука...

XVI.

Прошелъ май. Надо было уѣхать куда-нибудь, спасаться отъ полярнаго петербургскаго лѣта. Но куда? Райскому было все равно. Онъ дѣлалъ разные проекты, не останавливаясь ни на одномъ: хотѣлъ съѣздить въ Финляндію, но отложилъ и рѣшилъ поселиться въ уединеніи на Парголовскихъ озерахъ, писать романъ. Отложилъ и это, и собрался, не шутя, съ Пахотиными въ Рязанское имѣніе. Но они измѣнили намѣреніе и остались въ городѣ.

Общая лѣтняя эмиграція увлекла-было за границу и его, какъ вдругъ дѣло рѣшилось неожиданно иначе.

Однажды, воротясь домой, онъ нашелъ у себя два письма, одно отъ Татьяны Марковны Бережковой, другое отъ университетскаго товарища своего, учителя гимназіи на родинѣ его, Леонтія Козлова.

Сначала бабушка писывала къ нему часто, присылала счеты: онъ на письма отвѣчалъ коротко, съ любовью и лаской къ горячо любимой старушкѣ, долго замѣнявшей ему мать, а счеты рвалъ и бросалъ подъ столъ.

Потомъ она стала писать рѣже, жалуясь на старость, слѣпоту и на заботы по воспитанію внучекъ. Какъ онъ обрадовался, увидя ея почеркъ, крупный, четкій, рѣшительный!

«...Не грѣхъ ли тебѣ, Борисъ Павловичъ, — писала она между прочимъ:—забывать меня, старуху? У тебя вѣдь только и родни, что я. Видно, нынче, въ новыя времена, старухи стали лишнія на свѣтѣ: такъ разсуждаетъ молодость. А мнѣ и умереть нельзя: у меня на рукахъ двѣ внучки, давно невѣсты. Пока не пристрою ихъ, буду молить Бога продлить мнѣ вѣку, а тамъ—Его святая воля!

«Я не сѣтую на тебя, что забываешь меня: но если—сохрани Боже—меня не станетъ, дѣвочки мои, твои сестры, хоть и не родныя, останутся однѣ. Ты ихъ ближній родственникъ и покровитель. Подумай также и объ имѣніи: я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащатъ все и не останется ничего. Ужели береженое добро прахомъ пойдетъ? У меня сердце замираетъ, какъ подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, брильянты и кружева, фарфоръ, хрусталь—все разойдется по рукамъ челяди, перейдетъ къ жидамъ, ростовщикамъ, сплыветъ по Волгѣ, на ярмарку, и пропадетъ ни за что! Пока бабушка жива, будь покоенъ, ни нитки не пропадетъ, а послѣ понадѣяться не на кого.

Двѣ внучки—что онѣ? Вѣра добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входитъ ни во что. Марѳинька будетъ примѣрная хозяйка, да молода; нужды нѣтъ, что замужъ давно пора, а понятія у ней дѣтскія—и слава Богу! Успѣетъ созрѣть, какъ опытъ придетъ, а я ее берегу, и она это цѣнитъ и изъ воли бабушки не выходитъ, за что наградитъ ее Господь. По дому она мнѣ помощница, а до имѣнія я ее не допускаю: не дѣвичье дѣло! У меня теперь въ дворнѣ есть серьезный мужикъ, Савельемъ зовутъ: сама я становлюсь слаба, онъ по деревнѣ, а Яковъ да Василиса по дому у меня всѣ нужныя дѣла дѣлаютъ.

«Не откладывай же и порадуй бабушку пріѣздомъ: она тебѣ близка—не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молодъ, это чувствовалъ,—не знаю, какимъ сталъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, а былъ добрымъ внукомъ. Пріѣзжай хоть на сестеръ посмотрѣть, а можетъ быть, тебѣ выпадетъ и счастье... Хотѣла смолчать до пріѣзда, да по бабьей привычкѣ не утерплю. Къ намъ изъ Москвы переселился Мамыкинъ, откупщикъ: у него дочь невѣста, одна, больше дѣтей нѣтъ. Вотъ если бъ Богъ благословилъ меня дождаться такой радости: женить тебя и сдать имѣніе съ рукъ на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты ужъ давно въ лѣтахъ, тогда и дѣвочки мои не останутся послѣ меня бездомными сиротами. Ты будешь имъ братомъ, защитникомъ, а жена твоя—доброй сестрой. При тебѣ, пока ты холостъ, имъ жить нельзя—женись, угоди бабушкѣ, и Богъ не оставитъ тебя!

«Буду ждать отвѣта: напиши напередъ, я велю тебѣ очистить и убрать три комнаты внизу, а Марѳиньку запрячу въ свѣтелку: ты хозяинъ!

«Титъ Никонычъ тебѣ кланяется: онъ постарѣлъ, но еще молодецъ. Улыбка такая же, и все такъ же умно говоритъ и пріятно кланяется: молодыхъ франтовъ за поясъ заткнетъ. Привези пожалуйста, другъ мой, замшевую фуфайку и пан-

талоны: говорятъ, нынче отъ ревматизмовъ носятъ. Я бы ему сюрпризъ сдѣлала.

«Посылаю счеты за послѣдніе два года. Пріими мое благословеніе и т. д.

«Татьяна Бережкова».

— Бабушка!—съ радостью воскликнулъ Райскій.—Боже мой! она зоветъ меня: ѣду, ѣду! Вѣдь тамъ тишина, здоровый воздухъ, здоровая пища, ласки доброй, нѣжной, умной женщины; и еще двѣ сестры, два новыхъ, неизвѣстныхъ мнѣ и въ то же время близкихъ лица... «барышни въ провинціи! немного страшно: можетъ быть уроды!» успѣлъ онъ подумать, поморщась... Однако ѣду: это судьба посылаетъ меня... А если тамъ скука?

Онъ испугался и потомъ опять успокоился.

— Сейчасъ же ѣду прочь, при первой зѣвотѣ! — утѣшился онъ.—Ѣду, ѣду, тамъ и Леонтій, Леонтій!—произнесъ Райскій и разсмѣялся, вспомнивъ этого Леонтія.—Что онъ пишетъ?

«Вчера я нечаянно, и самъ не знаю какъ, забрелъ въ твои мѣстности, — писалъ Леонтій: — должно быть по разсѣянности (за мной, ты знаешь, есть этотъ грѣхъ) попалъ не въ тотъ переулокъ, спустился подъ гору, и когда поднялся, то узналъ, что очутился въ саду твоей бабушки, и хотѣлъ идти назадъ. Но Татьяна Марковна увидала меня изъ окна и, принявъ сначала въ сумерки за вора, спустила-было собакъ и людей, а узнавши, что это я, зазвала къ себѣ, обласкала, накормила до отвала ужиномъ, хотѣла даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что рѣдко бываю, и велѣла непремѣнно написать къ тебѣ, уговаривать пріѣхать сюда. Имѣніе, говоритъ она, повѣрить и, если поселишься здѣсь, то принять его изъ рукъ въ руки— и жениться.

«Признаться, любезный мой другъ, Борисъ Павловичъ, я и самъ хотѣлъ писать, да духу не хватило, а почему —скажу

ниже. Имѣніе—пустой предлогъ: бабушкѣ хочется повидаться съ тобой и она не знаетъ, чѣмъ заманить. Лучше ея не управишь. Но это въ сторону: я затрудняюсь, не знаю, какъ коснуться главнаго предмета, который требуетъ твоего немедленнаго прибытія, потомъ строжайшаго суда и кары виновныхъ. Я говорю о твоей библіотекѣ.

«Послушай—ты любишь меня, я знаю. Въ школѣ и въ университетѣ, ты лучше всѣхъ былъ со мною: ты меня ободрялъ, бывало, читывалъ со мною вмѣстѣ, любилъ меня и помогалъ иногда, платилъ хозяйкѣ... бѣлье тоже... (Райскій быстро пропустилъ эту строку), не дразнилъ, не игралъ «штукъ» со мной, не билъ—или билъ самую малость: оттаскалъ за волосы всего какихъ-нибудь два раза, тогда какъ другіе... Но Богъ съ ними, съ повѣсами! Они тоже не со зла, а такъ, отъ праздности и вертопрашества! Итакъ, именемъ этой дружбы, прошу тебя, не сердись... или нѣтъ, бей, оттаскай еще третій разъ, но выслушай. Помнишь старыя готскія изданія классиковъ (да какъ не помнить!) въ драгоцѣнныхъ переплетахъ? Ты, бывало, самъ любовался на нихъ. Помнишь стараго Шекспира, текстъ пополамъ съ комментаріями? Помнишь... французскихъ энциклопедистовъ въ пергаментѣ, первоначальныя изданія? Помнишь... (конечно помнишь — лучше бы ты забылъ!) вотъ каталогъ, мной составленный: противъ этихъ изданій я поставилъ, какъ на могилахъ, черные кресты! Слушай и бей меня: творенія св. отцовъ цѣлы, весь богословскій отдѣлъ остался неприкосновеннымъ; Платонъ, Ѳукидидъ— и другіе историки и поэты тоже уцѣлѣли. А Спиноза, Макіавелли и еще увражей полсотни изъ прочихъ отдѣловъ перепорчены... конечно по моей слабости, трусости и проклятой довѣрчивости.

«Кто же, спросишь ты, этотъ Омаръ?—Маркъ Волоховъ, зовутъ его: для него нѣтъ ничего святого въ мірѣ. Дай ему хоть эльзевира, онъ и оттуда выдеретъ листы. У него,

какъ я съ ужасомъ узналъ, къ сожалѣнію поздно, есть скверная привычка: когда онъ читаетъ книгу, то изъ прочитаннаго вырываетъ листикъ и закуриваетъ сигару, или сдѣлаетъ изъ него трубочку и чиститъ ею ногти или уши. Я точно сквозь сонъ замѣчалъ, что книги возвращаются отъ него, какъ будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отъ чего, пока онъ не сдѣлалъ это, сидя у меня. Какъ путный, взялъ Аристофана—гдѣ греческій текстъ напечатанъ съ французскимъ переводомъ—да тутъ же, при мнѣ, вдругъ сзади и вырвалъ страницу—я даже мигнуть не успѣлъ. Этотъ Волоховъ — чудо нашего города. Его здѣсь никто не любитъ и всѣ боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Онъ то фуражку дорогой сниметъ съ меня и наслаждается, если я не замѣчу, то ночью застучитъ въ окна. Зато иногда вдругъ принесетъ бутылку отличнаго вина, или съ огорода притащитъ (онъ у огородника на квартирѣ живетъ) цѣлый возъ овощей. Онъ присланъ сюда на житье, подъ присмотръ полиціи, и съ тѣхъ поръ городъ—нельзя сказать, чтобъ былъ въ безопасности.

«Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендаціи о немъ. Онъ непремѣнно сдѣлаетъ штуку и со мной, и съ тобой, пожалуй. Я по поводу попорченныхъ книгъ потребовалъ-было объясненій, но онъ мнѣ такое лицо сдѣлалъ, что я не рѣшился продолжать. Онъ говоритъ, что былъ въ одно время съ нами въ университетѣ, только не по одному факультету. Кажется, вретъ.

«Здѣсь извѣстно, что онъ служилъ въ Петербургѣ въ полку, и тоже не ужился, переведенъ былъ куда-то внутрь Россіи, вышелъ въ отставку, жилъ въ Москвѣ, попалъ къ какую-то исторію — и вотъ теперь присланъ сюда, какъ я сказалъ, подъ присмотръ полиціи. Съ ней онъ въ вѣчной враждѣ. Нилъ Андреичъ, Татьяна Марковна слышать о немъ не могутъ. Но довольно о немъ! Пріѣзжай, самъ увп-

дишь, каковъ онъ. Теперь я сбылъ тяжесть признаніемъ, и у меня легче на душѣ. Послѣ этого не такъ страшно встрѣтить тебя.

«Пріѣзжай, Борисъ, другъ мой, повидаться съ бабушкой: если бъ ты видѣлъ, какъ она любитъ тебя, какъ бережетъ твое имѣніе, не такъ, какъ я библіотеку! Какія у тебя красавицы сестры, Вѣра и Марѳа Васильевны! Какъ тебя все это ждетъ, какой у тебя садъ, какіе виды на Волгу!.. Если бъ ты все это зналъ, ты бы не мѣшкалъ ни минуты и пріѣхалъ: пріѣхалъ бы принять отъ Татьяны Марковны имѣніе, а отъ меня библіотеку, — пріѣхалъ бы наказать и обнять виновнаго, но любящаго тебя товарища и друга,

«Леонтія Козлова».

«Жена моя тебѣ кланяется и велитъ сказать, что она любитъ тебя попрежнему, а когда пріѣдешь, полюбитъ еще больше».

Райскій почти со слезами читалъ это длинное посланіе и вспоминалъ чудака Леонтья, его библіоманію, и смѣялся его тревогамъ насчетъ библіотеки. «Подарю ее ему», подумалъ онъ.

— Леонтій, бабушка!—мечталъ онъ:—красавицы троюродныя сестры, Вѣрочка и Марѳинька! Волга съ прибрежьемъ, дремлющая, блаженная тишь, гдѣ не живутъ, а растутъ люди и тихо вянутъ, гдѣ ни бурныхъ страстей съ тонкими ядовитыми наслажденіями, ни мучительныхъ вопросовъ, никакого движенія мысли, воли — тамъ я сосредоточусь, разберу матеріалы и напишу романъ. Теперь только закончу какъ-нибудь портретъ Софьи, распрощаюсь съ ней— и dahin! dahin!

XVII.

Райскій съ ранняго утра сидитъ за портретомъ Софьи, и не первое утро сидитъ онъ такъ. Онъ измученъ этой ра-

ботой. Посмотритъ на портретъ и вдругъ съ досадой наброситъ на него занавѣску и пойдетъ шагать по комнатѣ, остановится у окна, посвиститъ, побарабанитъ пальцами по стекламъ, иногда уйдетъ со двора и бродитъ угрюмый, недовольный.

На утро опять та же исторія, то же недовольство и озлобленіе. А иногда сидитъ-сидитъ и вдругъ схватитъ палитру и живо примется подмазывать кое-гдѣ, подгушевывать, остановится, посмотритъ и задумается. Потомъ покачаетъ головой отрицательно, вздохнетъ и броситъ палитру.

А портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды. Софья такая, какою всѣ видятъ и знаютъ ее: невозмутимая, сіяющая. Та же гармонія въ чертахъ; ея возвышенный бѣлый лобъ, открытый, невинный, какъ у дѣвушки, взглядъ, гордая шея, и спящая сномъ покоя высокая, пышная грудь.

Она—вся она, а онъ недоволенъ, терзается художническими болями! Онъ вызвалъ жизнь въ подлинникѣ, внесъ огонь во-тьму, у ней явились волненія, признаки новой жизни, а въ портретѣ этого нѣтъ!

«Что это Кириловъ не идетъ? а обѣщалъ. Можетъ-быть, онъ навелъ бы на мысль, что̀ надо сдѣлать, чтобъ изъ богини вышла женщина», подумалъ онъ.

И опять задумался, съ палитрою на пальцѣ, съ поникшей головой, съ мучительной жаждой овладѣть тайной искусства, создать на полотнѣ ту Софью, какая снится ему теперь.

Онъ вспомнилъ ея волненіе, умоляющій голосъ оставить ее, уйти; какъ она хотѣла призвать на помощь гордость и не могла, какъ хотѣла отнять руку и не отняла изъ его руки, какъ не смогла одолѣть себя... Какъ она была тогда не похожа на этотъ портретъ!

Онъ видѣлъ, что заронилъ въ нее сомнѣнія, что эти сомнѣнія — гамлетовскія. Онъ читалъ ихъ у ней въ сердцѣ:

«въ самомъ ли дѣлѣ я живу такъ, какъ нужно? Не жертвую ли я чѣмъ-нибудь живымъ, человѣческимъ, этой мертвой гордости моего рода и круга, этимъ приличіямъ. Вѣдь надо сознаться, что мнѣ иногда бываетъ скучно съ тётками, съ папá и съ Catherine... Одинъ только cousin Райскій...»

У Райскаго сердце забилось, когда онъ довелъ мечту Софьи до себя.

Онъ уже не видитъ портрета, а видитъ что-то другое. Глаза, какъ у лунатика, широко открыты, не мигнутъ; они глядятъ куда-то и видятъ живую Софью, какъ она одна дома мечтаетъ о немъ, погруженная въ задумчивость, не замѣчаетъ, гдѣ сидитъ, или идетъ безъ цѣли по комнатѣ, останавливается, будто внезапно пораженная какимъ-то новымъ лучомъ мысли, подходитъ къ окну, открываетъ портьеру и погружаетъ любопытный взглядъ въ улицу, въ живой потокъ головъ и лицъ, зорко слѣдитъ за общественнымъ круговоротомъ, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, какъ будто и она стала ея частью, будто понимаетъ, куда такъ торопливо бѣжитъ какой-то господинъ, съ боязнью опоздать; она уже, кажется, знаетъ, что это чиновникъ, продающій за триста-четыреста рублей въ годъ двѣ трети жизни, кровь, мозгъ, нервы.

Ей жаль мужика, который едва тащитъ мѣшокъ на спинѣ. Она догадывается, что вонъ эта женщина торопится съ узломъ заложить послѣдній салопъ, чтобъ заплатить за квартиру и т. д. Всякаго и всякую провожаетъ задумчиво-заботливый взглядъ Софьи.

Она долго глядитъ на эту жизнь и, кажется, понимаетъ ее и нехотя отходитъ отъ окна, забывъ опустить занавѣсъ. Она беретъ книгу, развертываетъ страницу и опять погружается въ мысль о томъ, какъ живутъ другіе.

Красота ея осмысленна, глаза не глядятъ беззаботно и свѣтло, а думаютъ. Въ нихъ тревога въ этихъ «другихъ»,

бѣгающихъ по улицѣ, скорбящихъ, нуждающихся, трудящихся и вопіющихъ.

Она вдругъ почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучитъ жажда этой жизни, ея живыхъ симпатій и скорбей, труда, но прежде симпатій.

Книга выпадаетъ изъ рукъ на полъ. Софья не заботится поднять ее; она разсѣянно беретъ цвѣтокъ изъ вазы, не замѣчая, что прочіе цвѣты раскинулись прихотливо и нѣкоторые выпали.

Она нюхаетъ цвѣтокъ и, погруженная въ себя, разсѣянно ощипываетъ листья губами и тихо идетъ, не сознавая почти что дѣлаетъ, къ роялю, садится бокомъ, небрежно, на табуретъ, и одной рукой беретъ задумчивые аккорды и все думаетъ, думаетъ...

Потомъ тихо, чуть-чуть, какъ духъ, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и такъ и осталась.

Въ комнатѣ никого, только въ незакрытое занавѣсомъ окно ворвались лучи солнца и вольно гуляютъ по зеркаламъ, дробятся въ граненомъ хрусталѣ. Раскрытая книга валяется на полу, у ногъ ея ощипанные листья цвѣтка...

Онъ схватилъ кисть и жадными, широкими глазами глядѣлъ на ту Софью, какую видѣлъ въ эту минуту въ головѣ, и долго, съ улыбкой мѣшалъ краски на палитрѣ, нѣсколько разъ готовился дотронуться до полотна и въ нерѣшительности останавливался, наконецъ, провелъ кистью по глазамъ, потушевалъ, открылъ немного вѣки. Взглядъ у ней сталъ шире, но былъ все еще покоенъ.

Онъ тихо, почти машинально, опять коснулся глазъ: они стали болѣе жизненны, говорящи, но еще холодны. Онъ долго водилъ кистью около глазъ, опять задумчиво мѣшалъ краски и провелъ къ глазу какую-то черту, поставилъ нечаянно точку, какъ учитель нѣкогда въ школѣ поставилъ на его безжизненномъ рисункѣ, потомъ сдѣлалъ что-то,

чего и самъ объяснить не могъ, къ другому глазу... И вдругъ самъ замеръ отъ искры, какая блеснула ему изъ нихъ.

Онъ отошелъ, посмотрѣлъ и обомлѣлъ: глаза бросили снопъ лучей прямо на него, но выраженіе все было строго.

Онъ безсознательно, почти случайно, чуть-чуть измѣнилъ линію губъ, провелъ легкій штрихъ по верхней губѣ, смягчилъ какую-то тѣнь, и опять отошелъ, посмотрѣлъ:

— Она, она!—говорилъ онъ едва дыша:—нынѣшняя, настоящая Софья!

Онъ услышалъ сзади себя шаги и съ живостью обернулся: пришелъ Аяновъ.

— Иванъ Иванычъ! — торжественно сказалъ Райскій:— какъ я радъ, что ты пришелъ! Смотри — она, она? Говори же!

— Постой, дай посмотрѣть.

Иванъ Ивановичъ долго смотрѣлъ. Райскій ждалъ съ нетерпѣніемъ.

— Кто это?—флегматически спросилъ Аяновъ.

Райскій остолбенѣлъ.

— Ты не узналъ Софью? — спросилъ онъ, едва приходя въ себя отъ изумленія.

— Какъ, Софья Николаевна? Можетъ ли быть?—говорилъ Аяновъ, глядя во всѣ широкіе глаза на портретъ.—Вѣдь у тебя былъ другой: тотъ, кажется, лучше; гдѣ онъ?

Райскій съ досадой, почти съ презрѣніемъ, махнулъ рукой.

— Все тотъ же!—замѣтилъ онъ: — я только передѣлалъ. Какъ ты не видишь,—напустился онъ на Аянова:—что тотъ былъ безъ жизни, безъ огня, сонный, вялый, а этотъ...

— Воля твоя, тотъ былъ больше похожъ!—упрямо возражалъ Аяновъ:—а этотъ... она тутъ какъ будто пьяна.

— Самъ ты пьянъ! Поди прочь!

— Я вѣдь не знаю толку,—равнодушно отозвался Аяновъ.

Райскій, не отвѣчая ему, сердито подмалевывалъ волосы, бархатъ на портретѣ.

Черезъ четверть часа пришелъ Кириловъ. Это былъ маленькій, сухощавый человѣчекъ, весь спрятавшійся въ бакенбарды, усы и бороду. Тѣла почти совсѣмъ было не видно, только впалые глаза неестественно блестѣли, да носъ вдругъ рѣзкимъ горбомъ выходилъ изъ чащи, а концомъ опять упирался въ волосы, за которыми не видать было ни щекъ, ни подбородка, ни губъ. Шея крылась тоже подъ бородой, а все остальное туловище, точно въ мѣшокъ, было завернуто въ широкое, складками висѣвшее пальто, изъ-подъ котораго выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытыя пятнами масляныхъ красокъ. На ногахъ была какая-то, мягкао-шаркавшая при походкѣ обувь, шляпа истертая, съ лоскомъ, съ покрившимся бокомъ.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячіе взгляды, на это, какъ будто уснувшее, подъ непроницаемымъ покровомъ волосъ, суровое, неподвижное лицо, особенно, когда онъ, съ палитрой, предъ мольбертомъ, въ своей темной артистической кельѣ, вонзитъ дикій и острый, какъ гвоздь, взглядъ въ ликъ изображаемаго имъ святого, не подумаешь, что это вольный, какъ птица, художникъ міра, ищущій свѣтлыхъ сторонъ жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидѣвшаго радости и понявшаго только скорби. Таковъ онъ, кажется, и былъ.

Онъ молча, медленно и глубоко погрузился въ портретъ. Райскій съ безпокойствомъ слѣдилъ за выраженіемъ его лица. Кириловъ въ первое мгновеніе съ изумленіемъ остановилъ глаза на лицѣ портрета и долго покоилъ, казалось, одобрительный взглядъ на глазахъ; морщины у него разгладились. Онъ какъ будто видѣлъ пріятный сонъ.

Потомъ вдругъ точно проснулся; не радостное, а печальное изумленіе медленно разлилось по лицу, лобъ намор-

щился. Онъ отвернулся, положилъ шляпу на столъ, досталъ папироску и сталъ закуривать.

— Что же вы?—спросилъ Райскій.

— За этимъ-то вы меня звали?—спросилъ Кириловъ.

— А что?

— Прощайте: я пойду домой...

— Постойте, скажите что-нибудь.

— Что говорить: пустое!

— Ну, да, у васъ чуть изъ облаковъ спустишься—такъ пустое!—возразилъ обиженный Райскій. — Ахъ, вы мертвецы! Вы прежде во мнѣ признавали дарованіе, Семенъ Семенычъ...

— Что вамъ повторять? я ужъ говорилъ! — Онъ вздохнулъ. — Если будете этимъ путемъ идти, тратить себя на модныя вывѣски...

— Модныя вывѣски! Знаете ли вы, кто это?

— Кто?—повторилъ Кириловъ, бѣгло взглянувъ на портретъ.—Какая-нибудь актриса...

— Что вы, точно оба съ ума сошли! Тотъ видитъ пьяную женщину, этотъ актрису! Что съ вами толковать!

Райскій сталъ закрывать портретъ.

— Повезу его къ ней: самъ оригиналъ оцѣнитъ лучше. Семенъ Семенычъ! отъ васъ я надѣялся хоть привѣтливаго слова: вы, бывало, во всякомъ моемъ трудѣ находили что-нибудь, хоть искру жизни...

— И здѣсь искра есть!—сказалъ Кириловъ, указывая на глаза, на губы, на высокій, бѣлый лобъ.—Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здѣсь есть правда. Это стоитъ высокой картины и высокаго сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту, какой-нибудь вертушкѣ, куклѣ, кокеткѣ!

— Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, выше этого сюжета не можетъ выбрать живописецъ. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеалъ строгой

чистоты, гордости; это богиня, хоть олимпійская... но она въ вашемъ родѣ, то-есть—не отъ міра сего!

— Это бы лицо, да съ молитвеннымъ, напряженнымъ взглядомъ, безъ этого страстнаго вожделѣнія!.. Послушайте, Борисъ Павлычъ, передѣлайте портретъ въ картину; бросьте вашъ свѣтъ, глупости, волокитства... завѣсьте окна, да закупорьтесь мѣсяца на три, на четыре...

— Зачѣмъ?

— Сдѣлайте молящуюся фигуру!—сморщившись говорилъ Кириловъ, такъ что и носъ ушелъ у него въ бороду и все лицо казалось щеткой. — Долой этотъ бархатъ, шелкъ! поставьте ее на колѣни, просто на камнѣ, набросьте ей на плечи грубую мантію, сложите руки на груди... Вотъ здѣсь, здѣсь,—онъ пальцемъ чертилъ около щекъ:—меньше свѣту, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного вѣки... и тогда сами станете на колѣни и будете молиться...

— Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, я не хочу въ монастырь; я хочу жизни, свѣта и радости. Я безъ людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красотѣ, люблю ее,—онъ нѣжно взглянулъ на портретъ,—тѣломъ и душой и, признаюсь...—онъ комически вздохнулъ:—больше тѣломъ...

Кириловъ махнулъ рукой и началъ ходить по комнатѣ.

— Въ васъ погибаетъ талантъ; вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У васъ недостаетъ упорства, есть страстность, да страсти, терпѣнья нѣтъ! Вотъ и тутъ, смотрите, руки только-что намѣчены, и невѣрно, плеча несоразмѣрны, а вы ужъ завертываете, бѣжите показывать, хвастаться...

— Не въ мазаньи дѣло, Семенъ Семенычъ! — возразилъ Райскій. — Сами же вы сказали, что въ глазахъ, въ лицѣ есть правда; и я чувствую, что поймалъ тайну. Что жъ за дѣло до волосъ, до рукъ?...

— Полноте, полноте лукавить! — перебилъ Кириловъ: —

не умѣете дѣлать рукъ, а поучиться—терпѣнья нѣтъ! Вѣдь если вытянуть эту руку, она будетъ короче другой; уродецъ, въ сущности, ваша красавица! Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусствомъ шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свѣтѣ и людей, и художниковъ...

Онъ вздохнулъ и лицо глубже ушло въ волосы.

— Что жъ, по-вашему, спрятаться отъ жизни, отъ людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...

— Да, не погнѣвайтесь!—перебилъ Кириловъ.—Если хотите въ искусствѣ чего-нибудь прочнѣе сладенькихъ улыбокъ да пухлыхъ плечъ, или почище заднихъ дворовъ и пьянаго мужичья, такъ бросьте красавицъ и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока въ головѣ; надо падать и вставать, умирать съ отчаянія и опять понемногу оживать, вскакивать ночью...

— Я дѣлаю это... почти...—сказалъ Райскій:—вскакиваю съ постели, иногда плачу, дохожу до безумія...

— Всѣ вы сумасшедшіе, какъ погляжу! — равнодушно замѣтилъ Аяновъ. — Да, вскакиваете, чтобъ мазнуть вашу вотъ эту «правду»—онъ указалъ на открытое плечо Софьи:— Нѣтъ, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите разъ десять, пока будетъ вѣрно. Вотъ вамъ задача на днѣ недѣли: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

— Постойте, учитель, постойте!—останавливалъ Райскій.

— Пустите! Нѣтъ у васъ уваженія къ искусству, — говорилъ Кириловъ:—нѣтъ уваженія къ самому себѣ. Общество художниковъ—это орденъ братства, все-равно, что масонскій орденъ: онъ разсѣянъ по всему міру и всѣ идутъ къ одной цѣли. Художники — съ родни «каменщикамъ». Вспомните Хирама и его тайну. Да, вотъ что! Нельзя наслаждаться жизнію, шалить, ѣздить въ гости, танцовать и, между прочимъ, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нѣтъ,— горячо и почти грубо напалъ онъ на Райскаго: — бросьте эти конфеты и подите въ монахи, какъ вы сами удачно

выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вмѣстѣ, просты, какъ змѣи и голуби, и что бы ни дѣлалось около васъ, куда бы ни увлекала жизнь, въ какую яму ни падали, помните и исповѣдуйте одно ученіе, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть къ искусству! Пусть васъ клянутъ, презираютъ во имя его— идите: тогда только призваніе и служеніе совершатся, и тогда будетъ «многа ваша мзда», то-есть безсмертіе. А вамъ недостаетъ мужества, силы нѣтъ, и недостаетъ еще бѣдности. Отдайте ваше имѣніе нищимъ и идите вслѣдъ за спасительнымъ свѣтомъ творчества. Гдѣ вамъ! вы—баринъ, вы родились не въ ясляхъ искусства, а въ шелку, въ бархатѣ. А искусство не любитъ баръ... оно тоже избираетъ «худородныхъ...» Закройте эту безстыдницу, или передѣлайте ее въ блудницу у ногъ Христа. Прощайте. Черезъ днѣ недѣли зайду посмотрѣть.

Онъ бросилъ папироску въ песочницу, схватилъ шляпу и исчезъ прежде, нежели Райскій успѣлъ остановить его.

— Каковъ!—сказалъ Аяновъ.—Чудакъ! Онъ, въ самомъ дѣлѣ, не въ монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь въ масляныхъ пятнахъ, нищъ, ободранъ. Сущій мученикъ! Не пьетъ ли онъ?

— Кромѣ воды ничего.

— Ну, такъ удавится, или съ ума сойдетъ.

Райскій глубоко вздохнулъ.

— Да,—сказалъ онъ:—это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ: истинный, цѣльный, но не униженный болѣе художникъ. Искусство сходитъ съ этихъ высокихъ ступеней въ людскую толпу, т. е. въ жизнь. Такъ и надо! Что онъ проповѣдуетъ: это изувѣръ!

Однако, продолжая сравненіе Кирилова, онъ мысленно сравнивалъ себя съ тѣмъ юношей, которому неудобно было войти въ царствіе небесное. Онъ задумчиво ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

Уныніе поглотило его: у него на сердцѣ стояли слезы. Онъ въ эту минуту непритворно готовъ былъ бросить все, уйти въ пустыню, надѣть изношенное платье, ѣсть одно блюдо, какъ Кириловъ, завѣситься отъ жизни, какъ Софья, и мазать, мазать до упада, передѣлать Софью въ блудницу.

Онъ даже быстро схватилъ новый натянутый холстъ, поставилъ на мольбертъ и началъ мѣломъ крупно чертить молящуюся фигуру. Онъ вытянулъ у ней руку и задорно, съ яростью, выдѣлывалъ пальцы; сотретъ, опять начертитъ, опять сотретъ—все не выходитъ!

Его стало грызть нетерпѣніе, которое, при первомъ неудачномъ чертежѣ, перешло въ озлобленіе. Онъ стеръ, опять началъ чертить медленно, проводя густыя, яркія черты, какъ будто хотѣлъ продавить холстъ. Уже то отчаяніе, о которомъ говорилъ Кириловъ, начало смѣнять озлобленіе.

Онъ положилъ мѣлъ, отеръ пальцы о волосы и подошелъ къ портрету Софьи.

«Передѣлать портретъ», думалъ онъ. «Правъ ли Кириловъ? Вся цѣль моя, задача, идея—красота! Я охваченъ ею и хочу воплотить этотъ, овладѣвшій мною, сіяющій образъ: если я поймалъ эту «правду» красоты — чего еще? Нѣтъ, Кириловъ ищетъ красоту въ небѣ, онъ аскетъ: я—на землѣ... Покажу портретъ Софьѣ: что она скажетъ? А потомъ уже передѣлаю... только не въ блудницу!»

Онъ засмѣялся, подумавъ, что сказала бы Софья, если бъ узнала эту мысль Кирилова? Онъ мало-по-малу успокоился, любуясь «правдой» на портретѣ, и возвратился къ прежнимъ, вольнымъ мечтамъ, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портретъ, онъ повезъ его къ Софьѣ.

XVIII.

Райскій вѣрилъ и не вѣрилъ, что увидитъ ее, и какъ и что̀ будетъ говорить.

«Какъ тутъ закипаетъ!» — думалъ онъ, трогая себя за грудь. — «О! быть бурѣ, и дай Богъ бурю! Сегодня рѣшительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю... любитъ ли она, или нѣтъ? Если да, жизнь моя... *наша* должна измѣниться, я не ѣду... или, нѣтъ, *мы* ѣдемъ туда, къ бабушкѣ, въ уголокъ, оба...»

Онъ развернулъ портретъ, поставилъ его въ гостиной на кресло и тихо пошелъ по анфиладѣ къ комнатамъ Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тётки уѣхали къ обѣднѣ.

Онъ, держась за сердце, какъ-будто унимая, чтобъ оно не билось, шелъ на цыпочкахъ. Ему все снились разбросанные цвѣты, поднятый занавѣсъ, дерзкіе лучи, играющіе на хрусталѣ. Онъ тихо подкрался и увидѣлъ Софью.

Она сидитъ, опершись локтями на столъ, положивъ лицо въ ладони и мечтаетъ, дремлетъ, или... плачетъ. Она въ неглиже, не затянута въ латы негнущагося платья, безъ кружевъ, безъ браслетъ, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежатъ въ сѣткѣ; блуза стелется по плечамъ и падаетъ широкими складками у ногъ. На коврѣ лежатъ двѣ атласныя туфли: ноги просто въ чулкахъ покоятся на бархатной скамеечкѣ.

Онъ никогда не видалъ ее такою. Она не замѣчаетъ его, а онъ боится дохнуть.

— Кузина Sophie!—назвалъ онъ ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась отъ стола и съ удивленіемъ глядѣла на Райскаго. У нея въ глазахъ стояли вопросы:—какъ онъ? откуда взялся, зачѣмъ тутъ?

— Sophie!—повторилъ онъ.

Она встала и выпрямилась во весь ростъ.

— Что съ вами, cousin?—спросила она коротко.

— Виноватъ, кузина,—уже безъ восторга сказалъ онъ:— я васъ засталъ нечаянно... въ такомъ поэтическомъ безпорядкѣ.

Она оглянулась около себя и вдругъ будто спохватилась и позвонила.

— Pardon, cousin, я одѣнусь!—сухо сказала она и ушла съ дѣвушкой въ спальню.

Онъ слышалъ, что она сдѣлала выговоръ Пашѣ, зачѣмъ ей не доложили о пріѣздѣ Райскаго.

«Что же это такое?» думалъ Райскій, глядя на привезенный имъ портретъ:—«она опять не похожа, она все такая же!.. Да нѣтъ, она не обманетъ меня: это спокойствіе и холодъ, которымъ она сейчасъ вооружилась передо мной, не прежній холодъ — о, нѣтъ! это натяжка, принужденіе. Тамъ что-то прячется, подъ этимъ льдомъ—посмотримъ!»

Наконецъ она вышла, причесанная, одѣтая, въ шумящемъ платьѣ. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надѣвала браслетъ.

— Я привезъ вашъ портретъ, кузина.

— Гдѣ? Покажите,—сказала она, и пошла за нимъ въ гостиную. — Вы польстили мнѣ, cousin: я не такая,—говорила она, вглядываясь въ портретъ.

— Ахъ, нѣтъ, я далекъ отъ истины! — сказалъ онъ съ непритворнымъ уныніемъ, видя передъ собой подлинникъ.— Красота, какая это сила! Ахъ, если бъ мнѣ этакую!

— Что жъ бы вы сдѣлали?

— Что бы я сдѣлалъ? — повторилъ онъ, глядя на нее пристально и лукаво. — Сдѣлалъ бы кого-нибудь очень счастливымъ...

— И надѣлали бы тысячу несчастныхъ—да? Стали бы пробовать свою силу надъ всѣми, и не было бы пощады никому...

— А!—поймалъ ее Райскій:— не изъ состраданія ли вы

такъ неприступны?.. Вы боитесь бросить лишній взглядъ, зная, что это никому не пройдетъ даромъ. Новая изящная черта! Самоувѣренность вамъ къ лицу. Эта гордость лучше родовой спеси: красота—это сила, и гордость тутъ имѣетъ смыслъ.

Онъ обрадовался, что открылъ, какъ казалось ему, почему она такъ упорно кроется отъ него, почему такъ вдругъ измѣнила мечтательную позу и ушла опять въ свои окопы.

— Не будьте, однако, слишкомъ сострадательны: кто откажется отъ страданій, чтобъ подойти къ вамъ, говорить съ вами? Кто не поползетъ на колѣняхъ вслѣдъ за вами на край свѣта, не только для торжества, для счастья и побѣды—просто для одной слабой надежды на побѣду...

— Полноте, cousin, вы опять за свое!—сказала она, но не совсѣмъ равнодушнымъ тономъ.

Она какъ будто сомнѣвалась, такъ ли она сильна, такъ ли всѣ поползли бы за ней, какъ этотъ восторженный, горячій, сумасбродный артистъ?

И этотъ тонкій оттѣнокъ сомнѣнія не ускользнулъ отъ Райскаго. Онъ прозрѣвалъ въ ея взгляды, слова, ловилъ, иногда безсознательно всѣ лучи и тѣни, мелькавшія въ ней, не только проникалъ смысломъ, но какъ будто чуялъ нервами, что произошло, даже что должно было произойти въ ней.

— Вы сами видите это,—продолжалъ онъ:—что за одинъ ласковый взглядъ, безъ особеннаго значенія, за одно слово, безъ обѣщаній награды, всѣ бѣгутъ, суетятся, ловятъ ваше вниманіе.

— Будто бы?

— А вы не замѣтили? Полноте!

— Право, нѣтъ.

— Право, замѣтили и втихомолку торжествуете, да еще издѣваетесь надо мной, заставляя высказывать васъ же са-

мнхъ. Вы знаете, что я говорю правду, и въ словахъ моихъ видите свой образъ и любуетесь имъ.

— Пока еще я видѣла его въ портретѣ, и то преувеличенно, а на словахъ вы только бранитесь.

— Нѣтъ, портретъ — это слабая, блѣдная копія; вѣренъ только одинъ лучъ вашихъ глазъ, ваша улыбка, и то не всегда: вы рѣдко такъ смотрите и улыбаетесь, какъ будто боитесь. Но иногда это мелькнетъ; однажды мелькнуло, и я поймалъ, и только намекнулъ на правду, и ужъ смотрите, что̀ вышло. Ахъ, какъ вы были хороши тогда!

— Когда это?

— Вотъ тутъ, когда я говорилъ вамъ... еще, помните, вашъ папа̀ привелъ этого Милари...

Она молчала.

— Милари?—повторилъ онъ.

— Помню,—сухо сказала она.

— Что̀, онъ часто бываетъ у васъ?—спросилъ Райскій, замѣтивъ и эту сухость тона.

— Да... иногда. Онъ очень хорошо поетъ, — прибавила она и сѣла на диванъ спиной къ свѣту.

— Когда онъ будетъ у васъ, я бы заѣхалъ... дайте мнѣ знать.

— Здѣсь свѣжо!—замѣтила она, дѣлая движеніе плечами:— надо велѣть затопить каминъ...

— Я пришелъ проститься съ вами; я ѣду—вы знаете?— спросилъ онъ вдругъ, взглянувъ на нее.

Она ничего.

— Куда?—спросила только.

— Въ деревню, къ бабушкѣ... Вамъ не жаль, не скучно будетъ безъ меня?

Она думала и, казалось, рѣшала эти вопросы про себя.

— Видите, кузина, для меня и то ужъ счастье, что тутъ есть какое-то колебаніе, что у васъ не вырвалось ни да, ни нѣтъ. Внезапное *да* — значило бы обманъ, любезность,

или ужъ такое счастье, какого я не заслужилъ; а отъ *нѣтъ* было бы мнѣ больно. Но вы не знаете сами, жаль вамъ, или нѣтъ: это ужъ много отъ васъ, это половина побѣды...

— А вы надѣетесь на полную?—спросила она съ улыбкой.

— Плохой солдатъ, который не надѣется быть генераломъ, сказалъ бы я, но не скажу: это было бы слишкомъ... невозможно.

Онъ глядѣлъ на нее и хотѣлъ бы, далъ бы, Богъ знаетъ что, даже втайнѣ ждалъ, чтобъ она спросила «почему?», но она не спросила, и онъ подавилъ вздохъ.

— Невозможно,—повторилъ онъ: — и въ доказательство, что у меня нѣтъ такихъ колоссальныхъ надеждъ, я пришелъ проститься съ вами, можетъ-быть, надолго.

— Мнѣ жаль васъ, cousin, — вдругъ сказала она тихо, мягко и почти съ чувствомъ.

Онъ обернулся къ ней такъ живо, какъ человѣкъ, у котораго болѣли зубы и вдругъ прошла боль.

— Жаль!—повторилъ онъ:—правда ли это?

— Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Онъ взялъ ея ладонь и съ упоеніемъ цѣловалъ. Она не отнимала руки.

— Вотъ, вотъ, за это право цѣловать такъ вашу руку, чего бы не сдѣлали всѣ эти, которые толпятся около васъ!

— Стало-быть, вы счастливы: вы пользуетесь этимъ правомъ свободно...

— Да, какъ cousin! Но чего бы не сдѣлалъ я, — говорилъ онъ, глядя на нее почти пьяными глазами, — чтобъ цѣловать эту ладонь иначе... вотъ такъ...

Онъ хотѣлъ опять цѣловать, она отняла руку.

— Не смѣю сомнѣваться, что вамъ немного... жаль меня,—продолжалъ онъ:—но какъ бы хотѣлось знать, отчего? Зачѣмъ бы вы желали иногда видѣть меня?

— Чтобъ слышать васъ. Вы много, конечно, преувели-

чиваете, но иногда объясняете вѣрно тамъ, гдѣ я понимаю, но не могу сама сказать, не умѣю...

— А, сознались, наконецъ! Такъ вотъ зачѣмъ я вамъ нуженъ: вы заглядываете въ меня, какъ въ арабскій словарь... Незавидная роль!—прибавилъ онъ со вздохомъ.

— Но вы сами, cousin, сейчасъ сказали, что не надѣетесь быть генераломъ, и что всякій, просто за вниманіе мое, готовъ бы... поползти куда-то... Я не требую этого, но если вы мнѣ дадите немного...

— Дружбы?—спросилъ Райскій.

— Да.

— Ну, такъ, я зналъ. Охъ, эта дружба!

— Нѣтъ, cousin, я вижу, что вы не отказались отъ «генеральскаго чина»...

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина, я не надѣюсь, и оттого, повторяю, ѣду. Но вы сказали мнѣ, что вамъ скучно безъ меня, что меня вамъ будетъ недоставать, и я, какъ утопающій, хватаюсь за соломинку.

— И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вамъ не бездѣлицу: дружбу. Если для одного ласковаго взгляда или слова можно ползти такую даль, на край свѣта, то для дружбы, которой я никому легко не даю...

— Дружба хороша, кузина, когда она—шагъ къ любви, или иначе, она просто нелѣпость, даже иногда оскорбленіе.

— Какъ это?

— Такъ. Вы мнѣ дадите право входить безъ доклада къ себѣ, и то не всегда: вотъ сегодня разсердились, будете гонять меня по городу съ порученіями — это привилегія кузеней, даже совѣтоваться со мной, если у меня есть вкусъ, какъ одѣться; удостоите искренняго отзыва о вашихъ родныхъ, знакомыхъ, и, наконецъ, дойдете до оскорбленія... до того, что повѣрите мнѣ сердечный секретъ, когда влюбитесь...

У Софьи въ лицѣ показалось принужденіе; она даже притворно зѣвнула въ сторону. Онъ замѣтилъ.

— Не влюбились ли вы уже?—вдругъ спросилъ онъ.

— А что?

— Что̀ значитъ это смущеніе?

— Смущеніе? Я смутилась? — говорила она и поглядѣла въ зеркало.—Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу васъ, cousin,— вдругъ серьезно прибавила она:—помнить уговоръ. Не будемъ, пожалуйста, говорить объ этомъ.

Онъ удивился этой просьбѣ и задумался. Она и прежде просила, но шутя, съ улыбкой. Самолюбіе шепнуло-было ему, что онъ постучался въ ея сердце не даромъ, что оно отзывается, что смущеніе и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви—есть боязнь, осторожность.

Потомъ онъ отбросилъ эту мысль и самъ покраснѣлъ отъ сознанія, что онъ фатъ, и искалъ другихъ причинъ, а сердце ноетъ, мучится, терзается, глаза впиваются въ нее съ вопросами, слова кипятъ на языкѣ и не сходятъ. Его уже гложетъ ревность.

«Что жъ это? Ужели я, не шутя, влюбленъ?» думалъ онъ. «Нѣтъ, нѣтъ! И что̀ мнѣ за дѣло? вѣдь я не для себя хлопоталъ, я для нея же... для развитія... «для общества». Еще послѣднее усиліе!..»

— Послѣдній вопросъ, кузина, — сказалъ онъ вслухъ: — если бъ... — И задумался: вопросъ былъ рѣшителенъ: — если бъ я не принялъ дружбы, которую вы подносите мнѣ, какъ похвальный листъ за благонравіе, а задался бы задачей «быть генераломъ»: что̀ бы вы сказали? могъ ли бы, могу ли?...

«Она не кокетка, она скажетъ истину!» подумалъ онъ.

— Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Онъ дрожа выговаривалъ послѣднія слова и боялся взглянуть на нее. Она засмѣялась.

— У васъ нѣтъ никакихъ надеждъ, cousin,— произнесла она равнодушно.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, какъ будто сомнѣніе въ этомъ было невозможно.

— Нѣтъ, и не можетъ быть!— повторила она рѣшительно.—Вы все преувеличиваете: простая любезность вамъ кажется какимъ-то entrainement, въ обыкновенномъ вниманіи вы видите страсть и сами въ какомъ-то бреду. Вы выходите изъ роли кузена и друга—позвольте напомнить вамъ.

— Такъ вы смѣшиваете меня съ свѣтскими любезниками, волокитами?

— Fi, quelles expressions!

— Да, вотъ съ этими, что порхаютъ по гостинымъ, по ложамъ, съ псевдо-нѣжными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученнымъ остроуміемъ. Нѣтъ, кузина, если я говорю о себѣ, то говорю, что во мнѣ есть; языкъ мой вѣрно переводитъ голосъ сердца. Вотъ годъ я у васъ: ухожу и уношу мысленно васъ съ собой, и что чувствую, то сумѣю выразить.

— Зачѣмъ мнѣ это?—вдругъ спросила она.

Онъ замолчалъ, озадаченный этимъ «зачѣмъ». Тутъ былъ весь отвѣтъ на его вопросъ о надеждахъ на «генеральство». И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а онъ спрашивалъ!

— Вы... не любите меня, кузина? — спросилъ онъ тихо и вкрадчиво.

— Очень!—весело отвѣчала она.

— Не шутите, ради Бога!—раздражительно сказалъ онъ.

— Даю вамъ слово, что не шучу.

«Спросить, влюблены ли вы въ меня—глупо, такъ глупо», думалъ онъ: «что лучше уѣду, ничего не узнаю, а ни за что не спрошу... Вотъ, поди жъ ты: «выше міра и страстей», а хитритъ, вертится и ускользаетъ, какъ любая кокетка! Но я узнаю! брякну неожиданно, что у меня бродитъ въ душѣ...»

Во время этого мысленнаго монолога, она съ лукавой

улыбкой смотрѣла на него и, кажется, нечужда была удовольствія помучить его и помучила бы, если бъ... онъ не «брякнулъ» неожиданнымъ вопросомъ.

— Вы влюблены въ этого итальянца, въ графа Милари— да?—спросилъ онъ и погрузилъ въ нее взглядъ и чувствовалъ самъ, что блѣднѣетъ, что однимъ мигомъ какъ будто взвалилъ тысячи пудъ себѣ на плечи.

Улыбка, дружескій тонъ, свободная поза — все исчезло въ ней отъ его вопроса. Передъ нимъ холодная, суровая, чужая женщина. Она была такъ близка къ нему, а теперь казалась гдѣ-то далеко, на высотѣ, не родня и не другъ ему.

«Должно-быть, это правда: я угадалъ!» подумалъ онъ и рѣзбиралъ, отчего угадалъ онъ, что̀ подало поводъ ему къ догадкѣ?

Онъ видѣлъ одинъ разъ Милари у ней, а только когда заговорилъ о немъ — у ней пробѣжала какая-то тѣнь по лицу, да пересѣла она спиной къ свѣту.

«Боже мой! зачѣмъ я все вижу и знаю, гдѣ другіе слѣпы и счастливы! Зачѣмъ для меня довольно шороха, вѣтерка, самаго молчанія, чтобъ знать? Проклятое чутье! Вотъ теперь ядъ прососался въ сердце, а изъ какихъ благъ?»

Она молчала.

— Вы обидѣлись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что̀ можетъ произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обидѣлись.

— Позвольте узнать.

— Потому что это правда.

Она сдѣлала движеніе и поглядѣла на него съ изумленіемъ, какъ будто говоря:

«Вы еще настаиваете!»

— И этотъ взглядъ не вашъ, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себѣ много чести, мсьё Райскій!

Онъ засмѣялся, потомъ вздохнулъ.

— Если это не правда, то... что̀ обиднаго въ моей догадкѣ?—сказалъ онъ:—а если правда, то опять-таки... что̀ обиднаго въ этой правдѣ? Подумайте надъ этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотѣли подавить достоинствомъ вашего бѣднаго cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это такъ, и все, что̀ вы дѣлаете въ эту минуту, выражаетъ не оскорбленіе, а досаду, что у васъ похитили тайну... И самое оскорбленіе это—это маска.

— Какая тайна? Что вы!—говорила она, возвышая голосъ и дѣлая большіе глаза. — Вы употребляете во зло права кузена—вотъ въ чемъ и вся тайна. А я неосторожна тѣмъ, что принимаю васъ во всякое время, безъ тётушекъ и папа̀...

— Кузина, бросьте этотъ тонъ! — началъ онъ дружески, горячо и искренно, такъ что она почти смягчилась и мало-по-малу приняла прежнюю, свободную, довѣрчивую позу, какъ будто видѣла, что тайна ея попала не въ дурныя руки, если только тутъ была тайна.

— Вотъ, что̀ значитъ Олимпъ!—продолжалъ онъ.—Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положеніе, взглянули бы въ мое сердце и поступили бы не сурово, а съ пощадой, даже если бъ я былъ вамъ совсѣмъ чужой. А я вамъ близокъ. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня... Но женщина бываетъ сострадательна, нѣжна, честна, справедлива только съ тѣмъ, кого любитъ, и безжалостна ко всему прочему. У злодѣя подъ ножомъ скорѣе допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

улыбкой смотрѣла на него и, кажется, нечужда была удовольствія помучить его и помучила бы, если бъ... онъ не «брякнулъ» неожиданнымъ вопросомъ.

— Вы влюблены въ этого итальянца, въ графа Милари— да?—спросилъ онъ и погрузилъ въ нее взглядъ и чувствовалъ самъ, что блѣднѣетъ, что однимъ мигомъ какъ будто взвалилъ тысячи пудъ себѣ на плечи.

Улыбка, дружескій тонъ, свободная поза — все исчезло въ ней отъ его вопроса. Передъ нимъ холодная, суровая, чужая женщина. Она была такъ близка къ нему, а теперь казалась гдѣ-то далеко, на высотѣ, не родня и не другъ ему.

«Должно-быть, это правда: я угадалъ!» подумалъ онъ и рѣзбиралъ, отчего угадалъ онъ, что̀ подало поводъ ему къ догадкѣ?

Онъ видѣлъ одинъ разъ Милари у ней, а только когда заговорилъ о немъ — у ней пробѣжала какая-то тѣнь по лицу, да пересѣла она спиной къ свѣту.

«Боже мой! зачѣмъ я все вижу и знаю, гдѣ другіе слѣпы и счастливы! Зачѣмъ для меня довольно шороха, вѣтерка, самаго молчанія, чтобъ знать? Проклятое чутье! Вотъ теперь ядъ прососался въ сердце, а изъ какихъ благъ?»

Она молчала.

— Вы обидѣлись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что̀ можетъ произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обидѣлись.

— Позвольте узнать.

— Потому что это правда.

Она сдѣлала движеніе и поглядѣла на него съ изумленіемъ, какъ будто говоря:

«Вы еще настаиваете!»

— И этотъ взглядъ не вашъ, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себѣ много чести, мсьё Райскій!

Онъ засмѣялся, потомъ вздохнулъ.

— Если это не правда, то... что̀ обиднаго въ моей догадкѣ?—сказалъ онъ:—а если правда, то опять-таки... что̀ обиднаго въ этой правдѣ? Подумайте надъ этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотѣли подавить достоинствомъ вашего бѣднаго cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это такъ, и все, что̀ вы дѣлаете въ эту минуту, выражаетъ не оскорбленіе, а досаду, что у васъ похитили тайну... И самое оскорбленіе это—это маска.

— Какая тайна? Что вы!—говорила она, возвышая голосъ и дѣлая большіе глаза. — Вы употребляете во зло права кузена—вотъ въ чемъ и вся тайна. А я неосторожна тѣмъ, что принимаю васъ во всякое время, безъ тётушекъ и папа̀...

— Кузина, бросьте этотъ тонъ! — началъ онъ дружески, горячо и искренно, такъ что она почти смягчилась и мало-по-малу приняла прежнюю, свободную, довѣрчивую позу, какъ будто видѣла, что тайна ея попала не въ дурныя руки, если только тутъ была тайна.

— Вотъ, что̀ значитъ Олимпъ!—продолжалъ онъ.—Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положеніе, взглянули бы въ мое сердце и поступили бы не сурово, а съ пощадой, даже если бъ я былъ вамъ совсѣмъ чужой. А я вамъ близокъ. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете, не видя меня... Но женщина бываетъ сострадательна, нѣжна, честна, справедлива только съ тѣмъ, кого любитъ, и безжалостна ко всему прочему. У злодѣя подъ ножомъ скорѣе допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

— Къ чему вы это мнѣ говорите! Со мной это вовсе не у мѣста! А я еще просила васъ оставить разговоръ о любви, о страстяхъ...

— Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но ужели мое дружеское прикосновеніе такъ грубо?.. Ужели я не стою довѣренности?..

— Какой довѣренности? Какія тайны? Ради Бога, cousin... — говорила она, глядя въ безпокойствѣ по сторонамъ, какъ будто хотѣла уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

— Пусть я смѣшонъ съ своими надеждами на «генеральство»,—продолжалъ онъ, не слушая ее, горячо и нѣжно:— но, однакожъ, чего-нибудь да стою я въ вашихъ глазахъ— неправда ли? Скажу больше: около васъ, во всей вашей жизни, никогда не было и нѣтъ, можетъ-быть, и не будетъ человѣка ближе къ вамъ. И вы сами давеча сказали то же, хотя не такъ ясно. У васъ не было человѣка настоящаго, живого, который бы такъ коротко зналъ людей и сердце, и объяснялъ бы вамъ васъ самихъ. Вы во мнѣ читаете свои мысли, повѣряете чувства. Я — не тётушка, не папá, не предокъ вашъ, не мужъ: никто изъ нихъ не зналъ жизни: всѣ они на ходуляхъ, всѣ замкнулись въ кружокъ старыхъ, скудныхъ понятій, условнаго воспитанія, такъ-называемаго «тона», и нищенски пробавляются ими. Я живой, свѣжій человѣкъ; я приношу къ вамъ сюда незнакомыя здѣсь понятія и чувства, я новость для васъ; я понимаю... виноватъ... занималъ васъ... Правда ли это, кузина?

Она молчала.

— Теперь, конечно, другое дѣло: теперь вы рады, что я ѣду,—продолжалъ онъ:—всѣ прочіе могутъ остаться; вамъ нужно, чтобъ я одинъ уѣхалъ...

— Почему?

— Потому, что одинъ я лишній въ эту минуту, одинъ я прочелъ вашу тайну въ зародышѣ. Но... если вы мнѣ

вѣрите ее, тогда я, послѣ *него*, буду дороже для васъ всѣхъ...

Она сдѣлала движеніе, встала, прошлась по комнатѣ, сглядывая стѣны, портреты, глядя далеко въ анфиладу комнатъ и какъ будто не видя выхода изъ этого положенія, и съ нетерпѣніемъ сѣла въ кресло.

— Но...—началъ онъ опять нѣжнымъ, дружескимъ голосомъ:—я васъ люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владѣете мной невольно и безсознательно. Вы можете сдѣлать изъ меня все—вы это знаете...

— Послушайте... Вы хотите увѣрить меня, что у васъ... что-то въ родѣ страсти, — сказала она, дѣлая какъ будто уступку ему, чтобъ отвлечь, затушевать его настойчивый анализъ:—смотрите, не лжете ли вы... положимъ—невольно?—прибавила она, видя, что онъ собирается разразиться какимъ-нибудь монологомъ. — Мѣсяцъ, два тому назадъ, ничего не было, были какіе-то порывы—и вдругъ такъ скоро... Вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мученія: извините, cousin, я имъ не вѣрю, и оттого у меня нѣтъ и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мнѣ придется разжаловать васъ изъ кузеней: вы самый безпокойный cousin и другъ...

— Для страсти не нужно годовъ, кузина: она можетъ зародиться въ одно мгновеніе. Но я и не увѣряю васъ въ страсти,—уныло прибавилъ онъ:—а что я взволнованъ теперь — такъ я не лгу. Не говорю опять, что я умру съ отчаянія, что это вопросъ моей жизни — нѣтъ; вы мнѣ ничего не дали и нечего вамъ отнять у меня, кромѣ надеждъ, которыя я самъ возбудилъ въ себѣ... Это ощущеніе: оно, конечно, скоро пройдетъ, я знаю. Впечатлѣніе, за недостаткомъ пищи, не упрочилось—и слава Богу!

Онъ вздохнулъ.

— Чего же вы хотите?—спросила она.

— Меня оскорбляетъ вашъ ужасъ, что я заглянулъ къ вамъ въ сердце...

— Тамъ ничего нѣтъ,—монотонно сказала она.

— Есть, есть, и мнѣ тяжело, что я не выигралъ даже этого довѣрія. Вы боитесь, что я не сумѣю обойтись съ вашей тайной. Мнѣ больно, что васъ пугаетъ и стыдитъ мой взглядъ... кузина, кузина! А вѣдь это мое дѣло, моя заслуга, вѣдь я виноватъ... что вывелъ васъ изъ темноты и слѣпоты, что этотъ Милари...

Она слушала довольно спокойно, но при послѣднемъ словѣ быстро встала.

— Если вы, cousin, дорожите немного моей дружбой, — заговорила она, и голосъ у ней даже немного измѣнился, какъ будто дрожалъ:—и если вамъ что-нибудь значитъ быть здѣсь... видѣть меня... то... не произносите имени!

«Да, это правда, я попалъ: она любитъ его!» рѣшилъ Райскій, и ему стало уже легче, боль замирала отъ безнадежности, отъ того, что вопросъ былъ рѣшенъ и тайна объяснилась.

Онъ уже сталъ смотрѣть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны объективно.

— Не бойтесь, кузина, ради Бога, не бойтесь,—говорилъ онъ.—Хороша дружба! Бояться какъ шпіона, стыдиться...

— Мнѣ бояться и стыдиться нѣкого и нѣчего!

— Какъ нѣчего, а свѣта, а ихъ!—указалъ онъ на портреты предковъ. — Вонъ какъ они вытаращили глаза! Но развѣ я—они? Развѣ я—свѣтъ?

— И правду сказать, есть чего бояться предковъ! — замѣтила совершенно свободно и покойно Софья:—если только они слышатъ и видятъ васъ! Чего не было сегодня! И упреки, и déclaration, и ревность... Я думала, что это возможно только на сценѣ... Ахъ, cousin...—съ веселымъ вздохомъ заключила она, впадая въ свой слегка насмѣшливый и покойный тонъ.

Въ самомъ дѣлѣ ей нѣчего было ужасаться и стыдиться: графъ Милари былъ у ней разъ шесть, всегда при другихъ, пѣлъ, слушалъ ея игру и разговоръ, никогда не выходилъ изъ предѣловъ обыкновенной учтивости, едва замѣтнаго благоуханія тонкой и покорной лести.

Другая бы сама бойко произносила имя красавца-Милари, тщеславилась бы его вниманіемъ, немного бы пококетничала съ нимъ, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, какъ зажать ротъ Райскому, когда онъ такъ невпопадъ догадался о «тайнѣ».

Никакой тайны нѣтъ, и если она приняла эту догадку неравнодушно, такъ, вѣроятно, затѣмъ, чтобъ истребить и въ немъ даже тѣнь подозрѣнія.

Она влюблена — какая нелѣпость, Боже сохрани! Этому никто и не повѣритъ. Она, попрежнему, смѣло подняла голову и покойно глядѣла на него.

— Прощайте, кузина!—сказала онъ вяло.

— Развѣ вы не у насъ сегодня?—отвѣчала она ласково.— Когда вы ѣдете?

«Лесть, хитрость: золотитъ пилюлю!» думалъ Райскій.

— Зачѣмъ я вамъ?—отвѣчалъ онъ вопросомъ.

— Вижу, что дружба моя для васъ—ничто!—сказала она.

— Ахъ, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

— Слава Богу, мнѣ еще нѣчего бояться.

— *Еще* нѣчего? А если будетъ что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего довѣрія?

— Но вы говорите, что это оскорбительно; послѣ этого я боялась бы...

— Не бойтесь! Я сказалъ, что надежды могли бы разыграться отъ взаимности, а ея вѣдь... нѣтъ? — робко спросилъ онъ и пытливо взглянулъ на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсѣмъ испарилась изъ него, и тутъ же мысленно назвалъ себя дуракомъ.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

— И... быть не можетъ? — все еще пытливо спрашивалъ онъ.

Она засмѣялась.

— Вы неисправимы, cousin,—сказала она.—Всякую другую вы поневолѣ заставите кокетничать съ вами. Но я не хочу и прямо скажу вамъ: нѣтъ.

— Слѣдовательно, вамъ и бояться нечего ввѣриться мнѣ!— съ унынiемъ договорилъ онъ.

— Parole d'honneur, мнѣ нечего ввѣрять.

— Ахъ, есть, кузина!

— Что же такое хотите вы, чтобъ я ввѣрила вамъ, dites positivement.

— Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемѣну съ тѣхъ поръ, какъ этотъ Милари...

Она сдѣлала движенiе, и лицо опять мѣнялось у нея изъ дружескаго на принужденное и холодное.

— Нѣтъ, нѣтъ, pardon — я не назову его... съ тѣхъ поръ, хочу я сказать, какъ *онъ* появился, сталъ ѣздить въ домъ...

— Послушайте, cousin...—начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, повидимому, продолжать: — положимъ, если бъ... enfin si c'était vrai—это быть не можетъ,—скороговоркой, будто въ скобкахъ, прибавила она: — но что... вамъ... за дѣло послѣ того, какъ...

Онъ вспыхнулъ.

— Что за дѣло! — вдругъ горячо перебилъ онъ, дѣлая большiе глаза. — Что за дѣло, кузина? Вы снизойдете до какого-нибудь parvenu, до какого-то Милари, итальянца, вы, Пахотина, блескъ, гордость, перлъ нашего общества! Вы... вы! — съ изумленiемъ, почти съ ужасомъ, повторялъ онъ.

А она съ изумленiемъ смотрѣла на него, какъ онъ весь внезапно вспыхнулъ, какiе яростные взгляды металъ изъ нее.

— Но онъ, во-первыхъ, графъ... а не parvenu... — сказала она.

— Купленный или украденный титулъ! — возражалъ онъ въ пылу. — Это одинъ изъ тѣхъ пройдохъ, что, по словамъ Лермонтова, пріѣзжаютъ сюда «на ловлю счастья и чиновъ», втираются въ большіе дома, ищутъ протекціи женщинъ, протираются въ службу и потомъ дѣлаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долгъ оберечь васъ! Я вамъ родственникъ!

Все это онъ говорилъ чуть не съ пѣной у рта.

— Никто ничего подобнаго не замѣтилъ за нимъ! — съ возрастающимъ изумленіемъ говорила она: — и если папа и mes tantes принимаютъ его...

— Папа и mes tantes! — съ пренебреженіемъ повторилъ онъ:—много знаютъ они: послушайте ихъ!

— Кого же слушать: васъ?

Она улыбнулась.

— Да, кузина, и я вамъ говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: можетъ-быть, подъ этой интересной блѣдностью, мягкими кошачьими манерами, кроется безстыдство, алчность, и Богъ знаетъ что! Онъ компрометируетъ васъ...

— Но онъ вездѣ принятъ, онъ очень скроменъ, деликатенъ, прекрасно воспитанъ...

— Все это вы видите въ своемъ воображеніи, кузина,— повѣрьте!

— Но вы его не знаете, cousin!—возражала она съ полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

— Довольно мнѣ одной минуты было, чтобъ разглядѣть, что это одинъ изъ тѣхъ chevaliers d'industrie, которые сотнями бѣгутъ съ голода изъ Италіи, чтобы поживиться...

— Онъ артистъ, — защищала она: — и если онъ не на

сценѣ, такъ потому, что онъ графъ и богатъ... c'est un homme distingué.

— А! вы защищаете его—поздравляю! Такъ вотъ на кого упали лучи съ высоты Олимпа! Кузина! кузина! на комъ вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради Бога! Вамъ ли, съ вашими высокими понятіями, снизойти до какого-то безвѣстнаго выходца, можетъ-быть, самозванца-графа...

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страхъ и осторожность.

— А Ельнинъ?—вдругъ спросила она.

— Что̀ Ельнинъ?—спросилъ и онъ, внезапно остановленный ею.—Ельнинъ—Ельнинъ...—замялся онъ:—это дѣтская шалость, институтское обожаніе. А здѣсь страсть, горячая, опасная!

— Что же: вы бредили страстью для меня—ну, вотъ я страстно влюблена, — смѣялась она. — Развѣ мнѣ не все равно идти туда (она показала на улицу), что̀ съ Ельнинымъ, что съ графомъ? Вѣдь тамъ я должна «увидѣть счастье, упиться имъ!»

Райскій стиснулъ зубы, сѣлъ на кресло и злобно молчалъ. Она продолжала наслаждаться его положеніемъ.

— Уфъ!—говорилъ онъ, мучаясь, волнуясь, не отъ того, что его поймали и уличили въ противорѣчіи самому себѣ, не отъ того, что у него ускользала красавица-Софья, а отъ подозрѣнія только, что счастье быть любимымъ выпало другому. Не будь другого, онъ бы покойно покорился своей судьбѣ.

А она смотрѣла на него съ торжествомъ, такъ ясно, покойно. Она была права, а онъ запутался.

— Что же, cousin, чему я должна вѣрить: имъ ли?—она указала на предковъ:—или, бросивъ все, не слушая никого, вмѣшаться въ толпу и жить «новою жизнью»?

— И тутъ вы остались вѣрны себѣ!—возразилъ онъ вдругъ

съ радостью, хватаясь за соломинку:—завѣтъ предковъ виситъ надъ вами: вашъ выборъ палъ все-таки на графа! Ха-ха-ха!—судорожно засмѣялся онъ.—А остановили ли бы вы вниманіе на немъ, если бъ онъ былъ не графъ? Дѣлайте, какъ хотите!—съ досадой махнулъ онъ рукой.—Вѣдь... «что мнѣ за дѣло?» — возразилъ онъ ея словами. — Я вижу, что онъ, этотъ homme distingué, изящнымъ разговоромъ, полнымъ ума, новизны, какого-то трепета, уже тронулъ, пошевелилъ и... и... да, да?

Онъ принужденно засмѣялся.

— Что жъ, прекрасно! Италія, небо, солнце и любовь...— говорилъ онъ, качая, въ волненіи, ногой.

— Да, помните, въ вашей программѣ было и это,—замѣтила она:—вы посылали меня въ чужіе края, даже въ чухонскую деревню, и тамъ, «наединѣ съ природой»... По вашимъ словамъ, я должна быть теперь счастлива?—дразнила она его.—Ахъ, cousin!—прибавила она и засмѣялась, потомъ вдругъ сдержала смѣхъ.

Онъ исподлобья смотрѣлъ на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность начала брать верхъ.

— Успокойтесь: ничего этого нѣтъ,— сказала она кротко:— и мнѣ остается только поблагодарить васъ за этотъ новый урокъ, за предостереженіе. Но я въ затрудненіи теперь, чему слѣдовать: тогда вы толкали туда, на улицу,—теперь... боитесь за меня. Что же мнѣ, бѣдной, дѣлать?.. — съ комическимъ послушаніемъ спросила она.

Оба молчали.

— Я возьму портретъ съ собой,—вдругъ сказалъ онъ.

— Зачѣмъ? Вы говорили, что готовите мнѣ подарокъ.

— Нѣтъ, я передѣлаю: я сдѣлаю изъ него... грѣшницу...

Она опять засмѣялась.

— Дѣлайте, что хотите, cousin, Богъ съ вами!

— И съ вами тоже! Но... кузина...

Онъ остановился: у него вдругъ отошло отъ сердца. Онъ засмѣялся добродушно, не то надъ ней, не то надъ собой.

— Но... но... ужели мы такъ разстанемся: холодно, съ досадой, не друзьями?..—вдругъ прорвалось у него, и досада миновала.

Онъ, вставъ, протянулъ къ ней руки, и глаза опять съ упоеніемъ смотрѣли на нее. Ему не то, чтобы хотѣлось дружбы, не то, чтобы сердце развернулось къ прежнимъ, добрымъ чувствамъ. А зародышъ впечатлѣнія еще не совсѣмъ угасъ, еще искра тлѣла и влекло къ ней, пока онъ ее видѣлъ. Въ голосѣ у него все еще слышалась робкая дрожь. Говорила вмѣстѣ и доброта, прирожденная его душѣ, гдѣ не упрочивались никогда дурныя чувства.

— Друзьями! Какъ вы поступили съ моей дружбой?..— упрекнула она.

— Дайте, возвратите ее, кузина,—умолялъ онъ:—простите немножко... влюбленнаго въ васъ cousin, и прощайте!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Развѣ я не увижу васъ больше?—живо спросила она.

— За этотъ вопросъ дайте еще руку. Я опять прежній Райскій и опять говорю вамъ: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вамъ говорилъ вотъ здѣсь... Только не забывайте до конца Райскаго. Но зачѣмъ вы полюбили... графа?—съ улыбкой, тихо прибавилъ онъ.

— Вы опять свое «любить!..»

— Полноте притворяться, полноте! Богъ съ вами, кузина: что мнѣ за дѣло? Я закрываю глаза и уши, я слѣпъ, глухъ и нѣмъ,—говорилъ онъ, закрывая глаза и уши.—Но если,—вдругъ прибавилъ онъ, глядя прямо на нее:—вы почувствуете все, что я говорилъ, предсказывалъ, что, можетъ-быть, вызвалъ въ васъ... на свою шею—скажете ли вы мнѣ?.. я стою этого.

— Вы напрашиваетесь на «оскорбленіе»?

— Нужды нѣтъ, я буду героемъ, рыцаремъ дружбы, первымъ изъ кузеней! Подумавъ, я нахожу, что дружба кузеней и кузинъ очень пріятная дружба, и принимаю вашу.

— A la bonne heure!—сказала она, протягивая ему руку:— и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вамъ однимъ, или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будетъ и быть не можетъ!—торопливо добавила она. — Довольно, cousin, вонъ карета подъѣхала: это тетушки.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла имъ навстрѣчу.

— А будете отвѣчать мнѣ на письма? — спросилъ онъ, идучи за ней.

— Съ удовольствіемъ: обо всемъ, кромѣ... любви!

«Неисправима!» подумалъ онъ: «но посмотримъ, что будетъ!»

Онъ шелъ тихій, задумчивый, съ блуждающимъ взглядомъ, погруженный глубоко въ себя. Въ немъ постепенно гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало какъ будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшеній; исчезли портреты предковъ, тетки, не было и ненавистнаго Милари.

Передъ нимъ, какъ изъ тумана, возникалъ одинъ строгій образъ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то, будто античной, нетлѣнной, женской фигуры. Снилась одна только творческая мечта, развивалась грандіозной картиной, охватывала его все болѣе и болѣе.

Онъ, притаивъ дыханіе, погрузился въ артистическій сонъ и наблюдалъ видѣніе, боялся дохнуть.

Женская фигура, съ лицомъ Софьи, рисовалась ему бѣлой, холодной статуей, гдѣ-то въ пустынѣ, подъ яснымъ, будто лунным небомъ, но безъ луны; въ свѣтѣ, но не солнечномъ, среди сухихъ, нагихъ скалъ, съ мертвыми деревьями,

съ нетекущими водами, съ страннымъ молчаніемъ. Она, обративъ каменное лицо къ небу, положивъ руки на колѣни, полуоткрывъ уста, кажется, жаждала пробужденія.

И вдругъ изъ-за скалъ мелькнулъ яркій свѣтъ, задрожали листы на деревьяхъ, тихо зажурчали струи водъ. Кто-то встрепенулся въ вѣтвяхъ, кто-то пробѣжалъ по лѣсу; кто-то вздохнулъ въ воздухѣ—и воздухъ застуился и лучъ озолотилъ блѣдный лобъ статуи; вѣки медленно открылись и искра пробѣжала по груди, дрогнуло холодное тѣло, блѣдныя щеки зардѣли, лучи упали на плечи.

Сзади оторвалась густая коса и разсыпалась по спинѣ, краски облили камень, и волна жизни пробѣжала по бедрамъ, задрожали колѣни, изъ груди вырвался вздохъ — и статуя ожила, повела радостный взглядъ вокругъ...

И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась въ пробужденное созданіе...

Члены стали жизненны, тѣлесны; статуя шевелилась, широко глядѣла лучистыми глазами вокругъ, чего-то просила, ждала, о чемъ-то начала тосковать. Воздухъ наполнился тепломъ; надъ головой распростерлись вѣтви; у ногъ явились цвѣты...

Райскій все шелъ тихо, глядя душой въ этотъ сонъ: статуя и все кругомъ постепенно оживало, дѣлалось ярче... И когда онъ дошелъ до дома, созданная имъ женщина мало-по-малу опять обращалась въ Софью.

Пустыня исчезла; Софья, въ мечтѣ его, была уже опять въ своемъ кабинетѣ, затянутая въ свое платье, за сонатой Бетховена, и въ трепетѣ слушала шопотъ блѣднаго, страстнаго Милари.

Но ни ревности, ни боли онъ не чувствовалъ, и только трепеталъ отъ красоты, какъ-будто перерожденной, новой для него женщины. Онъ любовался уже ихъ любовью и радовался ихъ радостью, томясь жаждой превратить и то, и другое въ образы и звуки. Въ немъ умеръ любовникъ и ожилъ безкорыстный артистъ.

— Да, артистъ не долженъ пускать корней и привязываться безвозвратно,— мечталъ онъ въ забытьи, какъ въ бреду.—Пусть онъ любитъ, страдаетъ, платитъ всѣ человѣческія дани... но пусть никогда не упадетъ подъ бременемъ ихъ, но расторгнетъ эти узы, встанетъ бодръ, безстрастенъ, силенъ, и творитъ: и пустыню, и каменья, и наполнитъ ихъ жизнью и покажетъ людямъ — какъ они живутъ, любятъ, страдаютъ, блаженствуютъ и умираютъ... Зачѣмъ художникъ посланъ въ міръ!..

Райскій тщательно внесъ въ программу будущаго романа и это видѣніе, какъ прежде внесъ разговоры съ Софьей и эпизодъ о Наташѣ и многое другое, что должно поступить въ лабораторію его фантазіи.

«Гдѣ же тутъ романъ?» печально думалъ онъ: «нѣтъ его! Изъ всего этого матеріала можетъ выйти развѣ прологъ къ роману! а самый романъ—впереди, или вовсе не будетъ его! Какой романъ найду я тамъ, въ глуши, въ деревнѣ! Идиллію, пожалуй, между курами и пѣтухами, а не романъ у живыхъ людей, съ огнемъ, движеніемъ, страстью!»

Однако онъ прежде всего погрузилъ на дно чемодана весь свой литературный матеріалъ, потомъ въ особый ящикъ помѣстилъ эскизы карандашомъ и кистью пейзажей, портретовъ и т. п., захватилъ краски, кисти, палитру, чтобы устроить въ деревнѣ небольшую мастерскую, на случай, если романъ не пойдетъ на ладъ.

Потомъ уже уложилъ запасъ бѣлья, платья и нѣкоторые подарки бабушкѣ, сестрамъ, и замшевую фуфайку съ панталонами, Титу Никонычу, по порученію Татьяны Марковны.

— Ну, теперь—dahin? Посмотримъ, что будетъ!—задумчиво говорилъ онъ, уѣзжая изъ Петербурга.

Часть вторая.

I.

Тихой, сонной рысью пробирался Райскій, въ рогожной перекладной кибиткѣ, на тройкѣ тощихъ лошадей, по переулкамъ, къ своей усадьбѣ.

Онъ не безъ смущенія завидѣлъ дымокъ, вьющійся изъ трубъ родной кровли, раннюю, нѣжную зелень березъ и липъ, осѣняющихъ этотъ пріютъ, черепичную кровлю стараго дома и блеснувшую между деревьевъ и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, съ берега, повѣяла на него струя свѣжаго, здороваго воздуха, какимъ онъ давно не дышалъ.

Вотъ ближе, ближе: вонъ запестрѣли цвѣты въ садикѣ, вонъ дальше видны аллеи липъ и акацій, и старый вязъ, лѣвѣе—яблони, вишни, груши.

Вонъ рѣзвятся собаки на дворѣ, жмутся по угламъ и грѣются на солнцѣ котята; вонъ скворечники зыблются на тонкихъ жердяхъ; по кровлѣ новаго дома толкутся голуби, поверхъ рѣютъ ласточки.

Вонъ за усадьбой, со стороны деревни, цѣлая луговина покрыта разостланными на солнцѣ полотнами.

Вонъ баба катитъ боченокъ по двору, кучеръ рубитъ дрова, другой, какой-то, садится въ телѣгу, собирается ѣхать со двора: все незнакомые ему люди. А вонъ Яковъ

сонно смотритъ съ крыльца по сторонамъ. Это знакомый: какъ постарѣлъ!

Вонъ другой знакомый, Егоръ, зубоскалъ, напрасно въ третій разъ силится вскочить верхомъ на лошадь, та не дается; горничныя, въ свою очередь, скалятъ надъ нимъ зубы.

Онъ едва узналъ Егора: оставилъ его мальчишкой восемнадцати лѣтъ. Теперь онъ возмужалъ: усы до плечъ, и все тотъ же хохолъ на лбу, тотъ же нахальный взглядъ и вѣчно-оскаленные зубы!

Вонъ, кажется, еще знакомое лицо: какъ-будто Марина или Ѳедосья — что-то въ этомъ родѣ: онъ смутно припомнилъ молодую, лѣтъ пятнадцати дѣвушку, похожую на эту самую, которая теперь шла черезъ дворъ.

И все успѣлъ зоркимъ взглядомъ окинуть Райскій, пробираясь пѣшкомъ подлѣ экипажа, мимо рѣшетчатаго забора, отдѣляющаго домъ, дворъ, цвѣтникъ и садъ отъ проѣзжей дороги.

Онъ продолжалъ любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами съ предмета на предметъ, и вдругъ остановилъ ихъ неподвижно на неожиданномъ явленіи.

На крыльцѣ, въ родѣ веранды, уставленной большими кадками, съ лимонными, померанцовыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цвѣтами, отгороженной отъ двора большой рѣшеткой и обращенной къ цвѣтнику и саду, стояла дѣвушка лѣтъ двадцати, и съ двухъ тарелокъ, которыя держала передъ ней дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, босая, въ выбойчатомъ платьѣ, брала горстями пшено и бросала птицамъ. У ногъ ея толпились куры, индѣйки, утки, голуби, наконецъ, воробьи и галки.

— Цыпъ, цыпъ, ти, ти, ти! гуль! гуль, гуль!—ласковымъ голосомъ приглашала дѣвушка птицъ къ завтраку.

Куры, пѣтухи, голуби, торопливо хватали, отступали, какъ будто опасаясь ежеминутнаго предательства, и опять сова-

лись. А когда тутъ же вертѣлась галка и, подскакивая бокомъ, норовила воровски клюнуть пшена, дѣвушка топала ногой:

— Прочь, прочь; ты зачѣмъ? — кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа въ-летъ разбрасывалась по сторонамъ, а черезъ минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, какъ будто воруя зерна.

— Ахъ ты, жадный!—говорила дѣвушка, замахиваясь на большого пѣтуха:—никому не даешь—кому ни брошу, вездѣ схватитъ!

Утреннее солнце ярко освѣщало суетливую группу птицъ и самую дѣвушку. Райскій успѣлъ разглядѣть большіе и темно-сѣрые глаза, кругленькія здоровыя щеки, бѣлые тѣсные зубы, свѣтлорусую, вдвое сложенную на головѣ косу и вполнѣ развитую грудь, рельефно отливавшуюся въ тонкой бѣлой блузѣ.

На шеѣ не было ни косынки, ни воротника: ничто не закрывало бѣлой шеи, съ легкой тѣнью загара. Когда дѣвушка замахнулась на прожорливаго пѣтуха, у ней половина косы, отъ этого движенія, упала на шею и спину, но она, не обращая вниманія, продолжала бросать зерна.

Она то смѣялась, то хмурилась, глядѣла такъ свѣжо и бодро, какъ это утро, наблюдая, всѣмъ ли поровну достается, не подскакиваетъ ли галка, не набралось ли много воробьевъ.

— Гусенка не видала? — спросила она у дѣвочки грудным, звонкимъ голосомъ.

— Нѣтъ еще, барышня,—сказала та:—да его бы выкинуть кошкамъ. Афимья говоритъ, что околѣетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я сама посмотрю,—перебила дѣвушка:—у Афимьи никакой жалости нѣтъ: она живого готова бросить.

Райскій, не шевелясь, смотрѣлъ, никѣмъ не замѣчаемый, на всю эту сцену, на дѣвушку, на птицъ, на дѣвчонку.

«Такъ и есть: идиллія! я зналъ! Это должно-быть троюродная сестрица», думалъ онъ: «какая она миленькая! Какая простота, какая прелесть! Но которая: Вѣрочка или Марѣнька?»

Онъ, не дожидаясь, пока ямщикъ завернетъ въ ворота, бросился впередъ, пробѣжалъ остатокъ рѣшетки и вдругъ очутился передъ дѣвушкой.

— Сестрица!—вскрикнулъ онъ, протягивая руки.

Въ одну минуту, какъ-будто по волшебству, все исчезло. Онъ не успѣлъ уловить, какъ и куда пропали дѣвушка и дѣвчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями точно ладонями, вразсыпную кружились надъ его головой, какъ слѣпые.

Куры съ отчаяннымъ кудахтаньемъ бросились по угламъ, и пробовали съ испугу скакать на стѣну. Индѣйскій пѣтухъ, поднявъ лапу и озираясь вокругъ, неистово выругался по-своему, точно сердитый командиръ оборвалъ всю команду на ученьи за безпорядокъ.

Всѣ люди на дворѣ, опѣшивъ за работой, съ разинутыми ртами, глядѣли на Райскаго. Онъ самъ почти испугался и смотрѣлъ на пустое мѣсто: передъ нимъ на землѣ были только одни разсыпанныя зерна.

Но въ домѣ уже послышался шумъ, говоръ, движеніе, звонъ ключей и голосъ бабушки: «Гдѣ онъ? гдѣ?»

Она идетъ, торопится, лицо у ней сіяетъ, объятія растворяются. Она прижала его къ себѣ, и около губъ ея улыбка образовала лучи.

Она, хотя постарѣла, но постарѣла ровною, здоровою старостью: ни болѣзненныхъ пятенъ, ни глубокихъ навѣсинхъ надъ глазами и ртомъ морщинъ, ни тусклаго, скорбнаго взгляда!

Видно, что ей живется крѣпко, хорошо, что она, если и борется, то не даетъ одолѣвать себѣ жизни, а сама одолѣваетъ жизнь и тратитъ силы въ этой борьбѣ скупо.

Голосъ у ней не такъ звонокъ, какъ прежде, да ходитъ она теперь съ тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Такъ же она безъ чепца, такъ же острижена коротко, и тотъ же блещущій здоровьемъ и добротой взглядъ озаряетъ все лицо, не только лицо, всю ея фигуру.

— Борюшка! другъ ты мой!

Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. Въ этихъ объятіяхъ, въ голосѣ, въ этой, вдругъ охватившей ее радости—точно какъ будто обдало ее солнечное сіяніе—было столько нѣжности, любви, теплоты!

Онъ почувствовалъ себя почти преступникомъ, что, шатаясь по свѣту, въ холостой, безпріютной жизни своей, искалъ привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда какъ здѣсь сама природа уготовила ему теплый уголъ, симпатіи и счастье.

Теперь онъ готовъ былъ влюбиться въ бабушку. Онъ такъ и вцѣпился въ нее: цѣловалъ ее въ губы, въ плечи, цѣловалъ ея сѣдые волосы, руку. Она ему казалась совсѣмъ другой теперь, нежели пятнадцать-шестнадцать лѣтъ назадъ. У ней не было тогда такого значенія въ лицѣ, какое онъ видѣлъ теперь, ума, чего-то новаго.

Онъ удивлялся, не сообразивъ въ эту минуту, что тогда еще онъ самъ не былъ настолько мудръ, чтобы умѣть читать лица и угадывать по нимъ умъ или характеръ.

— Гдѣ ты пропадалъ? Вѣдь я тебя цѣлую недѣлю жду: спроси Марѳиньку—мы не спали до полуночи, я глаза проглядѣла. Марѳинька испугалась какъ увидѣла тебя, и меня испугала—точно сумасшедшая прибѣжала. Марѳинька! гдѣ ты? Поди сюда!

— Это я виноватъ: я перепугалъ ее,—сказалъ Райскій.

— А она бѣжать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстрѣчу, на кухню бѣгала. Вѣдь каждый день твои любимыя блюда готовимъ. Я, Василиса и Яковъ, собираемся по утрамъ на совѣтъ и все припоми-

наемъ твои привычки. Другіе все почти новые люди, а эти трое, да Прохоръ, да Маришка, да развѣ Улита и Терентій помнятъ тебя. Все придумываемъ, какъ тебя устроить, чѣмъ кормить, какъ укладывать спать, на чемъ тебѣ ѣздить. А всѣхъ вострѣе Егорка: онъ напоминалъ больше всѣхъ: я его за это въ твои камердинеры пожаловала... Да что это я болтаю: соловья баснями не кормятъ! Василиса! Василиса! Что жъ мы сидимъ: скорѣе вели собирать на столъ, до обѣда долго, онъ позавтракаетъ. Чай, кофе давай, птичьяго молока достань!—И сама засмѣялась.—Дай же взглянуть на тебя.

Бабушка поглядѣла на него пристально, подведя его къ свѣту.

— Какой ты нехорошій сталъ... — сказала она, оглядывая его:—нѣтъ, ничего, живетъ! загорѣлъ только! Усы тебѣ къ лицу. Зачѣмъ бороду отпускаешь! Обрей, Борюшка, я не люблю... Э, э! Кое-гдѣ сѣдые волоски: что это, батюшка мой, рано старѣться началъ!

— Это не отъ старости, бабушка!

— Отчего же? Здоровъ ли ты?

— Здоровъ, живу—поговоримъ о другомъ. Вотъ вы, слава Богу, такая же..

— Какая такая?

— Не старѣетесь: такая же красавица! Знаете: я не видалъ такой старческой красоты никогда...

— Спасибо за комплиментъ, внучекъ: давно я не слыхала — какая тутъ красота! Вонъ на кого полюбуйся — на сестеръ! Скажу тебѣ на-ухо, — шопотомъ прибавила она:— такихъ ни въ городѣ, ни близко отъ него нѣтъ. Особенно другая... развѣ Настенька Мамыкина поспоритъ: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка...

— Ну, объ этомъ послѣ, а теперь завтракать скорѣй и отдохни съ дороги...

— Гдѣ же другая сестра? — спросилъ Райскій, оглядываясь.

— Гоститъ у попадьи за Волгой, — сказала бабушка. — Такой грѣхъ: та нездорова сдѣлалась и прислала за ней. Надо же въ это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадь...

— Нѣтъ, нѣтъ,—удержалъ ее Райскій:—зачѣмъ для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да какъ это ты подкрался: караулили, ждали и все даромъ!—говорила Татьяна Марковна.—Мужики караулили у меня по ночамъ. Вотъ и теперь послала-было Егорку верхомъ на большую дорогу, не увидитъ ли тебя? А Савелья въ городъ—узнать. А ты опять—какъ тогда! Да дайте же завтракать! Что это не дождешься? Помѣщикъ пріѣхалъ въ свое родовое имѣніе, а ничего не готово: точно на станціи! Что прежде готово, то и подавайте.

— Бабушка! Ничего не надо. Я сытъ по горло. На одной станціи я пилъ чай, на другой молоко, на третьей попалъ на крестьянскую свадьбу — меня виномъ потчивали, ѣлъ медъ, пряники...

— Ты ѣхалъ къ себѣ, въ бабушкино гнѣздо, и не постыдился ѣсть всякую дрянь. Съ утра пряники! Вотъ бы Марфиньку туда: и до свадьбы, и до пряниковъ охотница. Да войди сюда, не дичись! — сказала она, обращаясь къ двери —Стыдится, что ты засталъ ее въ утреннемъ неглиже. Выйди, это не чужой—братъ.

Принесли чай, кофе, наконецъ, завтракъ. Какъ ни отговаривался Райскій, но долженъ былъ приняться за все: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

— Я не хочу!—отговаривался онъ.

— Какъ съ дороги не поѣсть: это ужъ обычай такой!—твердила она свое. — Вотъ бульону, вотъ цыпленка... Еще пирогъ есть...

— Не хочу, бабушка,—говорилъ онъ, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и онъ ѣлъ и бульонъ, и цыпленка.

— Теперь индѣйку,—продолжала она: — принеси, Василиса, барбарису моченаго.

— Какъ можно индѣйку! —говорилъ онъ, принимаясь за индѣйку.

— Сытъ ли, дружокъ?—спрашивала она.—Доволенъ ли?

— Еще бы! Чего уже еще? Развѣ пирога... Тамъ пирогъ какой-то, говорили вы...

— Да, пирогъ забыли, пирогъ!

Онъ поѣлъ и пирога—все изъ «обычая».

— Что же ты, Мароинька, давай свое угощенье: вотъ пріѣхалъ братъ! Выходи же.

Минутъ черезъ пять тихо отворилась дверь, и медленно, съ стыдливою неловкостью, съ опущенными глазами, краснѣя, вышла Мароинька. За ней Василиса вынесла цѣлый подносъ всякихъ сластей, варенья, печенья и прочаго.

Мароинька застѣнчиво стояла, съ полуулыбкой, взглядывая, однако, на него съ лукавымъ любопытствомъ. На шеѣ и рукахъ были кружевные воротнички, волосы въ туго сложенныхъ косахъ плотно лежали на головѣ; на ней было барежевое платье, талія крѣпко опоясывалась голубой лентой.

Райскій вскочилъ, бросилъ салфетку и остановился передъ нею, любуясь ею.

— Какая прелесть! — весело сказалъ онъ: — и это моя сестра Мароа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенокъ живъ?

Мароинька смутилась, неловко присѣла на его поклонъ и стыдливо сѣла въ уголъ.

— Вы оба съ ума сошли, — сказала бабушка: — развѣ этакъ здороваются?

Райскій хотѣлъ поцѣловать у Мароиньки руку.

— Мароа Васильевна...—сказалъ онъ.

— Это еще что за «Васильевна» такая? Ты развѣ разлюбилъ ее? Мароинька — а не Марѳа Васильевна! Этакъ ты и меня въ Татьяны Марковны пожалуешь! Поцѣлуйтесь: вы братъ и сестра.

— Я не хочу, бабушка: вонъ онъ дразнитъ меня гусенкомъ... Подсматривать не годится!..—сказала она строго.

Всѣ засмѣялись. Райскій поцѣловалъ ее въ обѣ щеки, взялъ за талію, и она одолѣла смущеніе и вдругъ рѣшительно отвѣчала на его поцѣлуй, и вся робость слетѣла съ лица.

Видно было, что еще минута, одно слово — и изъ-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смѣхъ. Она и такъ съ трудомъ сдерживала себя — и отъ этого была неловка.

— Мароинька? помните, помнишь... какъ мы тутъ бѣгали, рисовали... какъ ты плакала?..

— Нѣтъ... ахъ, помню... какъ во снѣ... Бабушка, я помню или нѣтъ?..

— Гдѣ ей помнить: ей и пяти лѣтъ не было...

— Помню, бабушка, ей-Богу помню, какъ во снѣ...

— Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райскій коснулся старыхъ воспоминаній, Мароинька исчезла и скоро воротилась, съ тетрадями, рисунками, игрушками, подошла къ нему ласково и довѣрчиво заговорила, потомъ сѣла такъ близко, какъ не сѣла бы чопорная дѣвушка. Колѣни ихъ почти касались между собою, но она не замѣчала этого.

— Вотъ видите, братецъ, — живо заговорила она, весело бѣгая глазами по его глазамъ, усамъ, бородѣ, оглядывая руки, платье, даже взглянувъ на сапоги: — видите, какая бабушка, говоритъ, что я не помню, — а я помню, вотъ, право, помню, какъ вы здѣсь рисовали: я тогда у васъ на колѣняхъ сидѣла... Бабушка припрятала всѣ ваши рисунки,

портреты, тетради, всѣ вещи—и берегла тамъ, вотъ въ этой темной комнатѣ, гдѣ у ней хранится серебро, брильянты, кружева... Она недавно вынула, какъ только вы написали, что пріѣдете, и отдала мнѣ. Вотъ мой портретъ — какая я была смѣшная! а вотъ Вѣрочка. А вотъ бабушкинъ портретъ, а вотъ Василисинъ. Вотъ Вѣрочкино рисованье. А помните, какъ вы меня несли черезъ воду одной рукой, а Вѣрочку посадили на плечо?

— Ты и это помнишь? — спросила, вслушавшись, бабушка.—Какая хвастунья — не стыдно тебѣ! Это недавно Вѣрочка разсказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнитъ кое-что, и то мало, чуть-чуть...

— Вотъ теперь какъ я рисую!—сказала Марѳинька, показывая нарисованный букетъ цвѣтовъ.

— Это очень хорошо—браво, сестрица! съ натуры?

— Съ натуры.

— Я изъ воску умѣю лѣпить цвѣты!

— А музыкой занимаешься?

— Да, играю на фортепіано.

— А Вѣрочка: рисуетъ, играетъ?

Марѳинька отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не любитъ,—сказала она.

— Что же она, рукодѣльемъ занимается?

Марѳинька опять покачала головой.

— Читать любитъ?—допытывался Райскій.

— Да, читаетъ, только никогда не скажетъ что̀, и книги не покажетъ, не скажетъ даже, откуда достала.

— Та совсѣмъ дикарка — странная такая у меня. Богъ знаетъ, въ кого уродилась! — серьезно замѣтила Татьяна Марковна, и вздохнула.—Не надоѣдай же пустяками брату,— обратилась она къ Марѳинькѣ: — онъ усталъ съ дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше намъ поговорить о серьезномъ, объ имѣніи.

Все время, пока Борисъ занятъ былъ съ Марѳинькой,

бабушка задумчиво глядѣла на него, опять припоминала въ немъ черты матери, но замѣтила и перемѣны: убѣгающую молодость, признаки зрѣлости, раннія морщины, и странный, непонятный ей взглядъ, «мудреное» выраженіе. Прежде, бывало, она такъ и читала у него на лицѣ, а теперь тамъ было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и свѣтло на душѣ. Его осѣнила тихая задумчивость, навѣянная этими картинами и этой встрѣчей.

«Пусть такъ и останется: свѣтло и просто!» пожелалъ онъ мысленно.

«Постараюсь ослѣпнуть умомъ, хоть на каникулы, и быть счастливымъ! Только ощущать жизнь, а не смотрѣть въ нее, или смотрѣть за тѣмъ только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрогиваясь до нихъ разъѣдающимъ, какъ уксусъ, анализомъ... А то горе! Будемъ же смотрѣть, что за сюжеты Богъ далъ мнѣ? Мароинька, бабушка, Вѣрочка—на что онѣ годятся: въ романъ, въ драму, или только въ идиллію?»

II.

Онъ зѣвнулъ широко, и когда очнулся отъ задумчивости, передъ нимъ бабушка стоитъ со счетами, съ приходо-расходной тетрадью, съ дѣловымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Не усталъ ли ты съ дороги? Можетъ-быть, уснуть хочешь: вонъ ты зѣваешь?—спросила она:—тогда оставимъ до утра.

— Нѣтъ, бабушка, я только и дѣлалъ, что спалъ! Это первическая зѣвота. А вы напрасно безпокоитесь: я счетовъ смотрѣть не стану...

— Какъ не станешь? Зачѣмъ же ты пріѣхалъ, какъ не принять имѣнія, не потребовать отчета?..

— Какое имѣніе!—небрежно сказалъ Райскій.

— Какое имѣніе: вотъ посмотри, сколько тяглъ, земли? вотъ года четыре назадъ, прикуплено — видишь, сто двадцать четыре десятины. Вотъ изъ нихъ подъ выгонъ отдаются.

— Право? — машинально спросилъ Райскій: — вы прикупили?

— Не я, а ты! Не ты ли мнѣ довѣренность прислалъ на покупку?

— Нѣтъ, бабушка, не я. Помню, что какія-то бумаги вы присылали мнѣ, я ихъ передалъ пріятелю своему, Ивану Ивановичу, а тотъ...

— Ты же подписалъ: гляди, вотъ копіи!—показывала она.

— Можетъ-быть, я и подписалъ,—сказалъ онъ, не глядя:— только не помню и не знаю что̀.

— О чемъ же ты помнишь? Вѣдь ты читалъ мои счеты, вѣдомости, что я посылала къ тебѣ?

— Нѣтъ, бабушка, не читалъ.

— Какъ же, тамъ все показано, куда поступали твои доходы—ты видѣлъ?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Стало-быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! — отвѣчалъ онъ, приглядываясь изъ окна къ знакомой ему дали, къ синему небу, къ мѣловымъ горамъ за Волгой. — Представь, Марфинька: я еще помню стихи Дмитріева, что̀ въ дѣтствѣ училъ:

О, Волга пышна, величава,
Прости, но прежде удостой
Склонить свое вниманье къ лирѣ
Пѣвца незнаемаго въ мірѣ,
Но восхищеннаго тобой...

— Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный!—сказала бабушка.

— Можетъ-быть, бабушка,—равнодушно согласился онъ.

— Куда же ты дѣвалъ вѣдомости объ имѣніи, что̀ я посылала тебѣ? Съ тобой онѣ?

Онъ покачалъ отрицательно головою.

— Гдѣ же онѣ?

— Какія вѣдомости, бабушка: ей-Богу, не знаю.

— Вѣдомости о крестьянахъ, объ оброкѣ, о продажѣ хлѣба, объ отдачѣ огородовъ... Помнишь ли, сколько за послѣдніе годы дохода было? По тысячѣ четыреста двадцати пяти рублей—вотъ смотри...—Она хотѣла щелкнуть на счетахъ.—Вѣдь ты получалъ деньги? Послѣдній разъ тебѣ послано было 550 рублей ассигнаціями: ты тогда писалъ, чтобы не посылать. Я и клала въ приказъ: тамъ у тебя...

— Что мнѣ до этого за дѣло, бабушка!—съ нетерпѣніемъ сказалъ онъ.

— Кому же дѣло?— съ изумленіемъ спросила она: — ты этакъ не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вотъ здѣсь отмѣчена всякая копейка. Гляди...—Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

— Бабушка: я рвалъ всѣ счеты и эти, ей-Богу, разорву, если вы будете приставать съ ними ко мнѣ.

Онъ взялъ-было счеты, но она быстро вырвала ихъ у него.

— Разорвешь: какъ ты смѣешь? — вспыльчиво сказала она.—Рвалъ счеты!

Онъ засмѣялся и внезапно обнялъ ее и поцѣловалъ въ губы, какъ, бывало, дѣлывалъ мальчикомъ. Она вырвалась отъ него и вытерла ротъ.

— Я тутъ тружусь, сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку, а онъ рвалъ! То-то ты ни слова мнѣ о деньгахъ, никакого приказа, распоряженія, ничего! Что̀ же ты думалъ объ имѣніи?

— Ничего, бабушка. Я даже забывалъ, есть ли оно, нѣтъ ли. А если припоминалъ, такъ вотъ эти самыя ком-

наты, потому что въ нихъ живетъ единственная женщина въ мірѣ, которая любитъ меня и которую я люблю... Зато только ее одну, и больше никого... Да вотъ теперь полюблю сестеръ,—весело оборотился онъ, взявъ руку Марѳиньки и цѣлуя ее:—все полюблю здѣсь—до послѣдняго котёнка!

— Отъ роду не видывала такого человѣка!—сказала бабушка, снявъ очки и поглядѣвъ на него. — Вотъ только Маркушка у насъ бездомный такой...

— Какой это Маркушка? Мнѣ что-то Леонтій писалъ... Что Леонтій, бабушка, какъ поживаетъ! Я пойду къ нему...

— Что ему дѣлается? сидитъ надъ книгами, воззрится въ одно мѣсто и не оттащишь его! Супруга воззрится въ другое мѣсто... онъ и не видитъ, что подъ носомъ дѣлается. Вотъ теперь съ Маркушкой подружился: будетъ прокъ! Ужъ онъ приходилъ, жаловался, что тотъ книги, что ли, твои растаскалъ...

— Bu-ona sera! bu-ona sera?—напѣвалъ Райскій изъ «Севильскаго цырюльника».

— Странный, необыкновенный ты человѣкъ! — говорила съ досадой бабушка. — Зачѣмъ пріѣхалъ сюда: говори толкомъ!

— Видѣть васъ, пожить, отдохнуть, посмотрѣть на Волгу, пописать, порисовать...

— А имѣніе? Вотъ тебѣ и работа: пиши! Коли не усталъ, поѣдемъ въ поле, озимь посмотрѣть.

— Послѣ, послѣ, бабушка. Ти, ти, ти, та, та, та, ля, ля, ля... — выдѣлывалъ онъ тщательно опять мотивъ изъ «Севильскаго цырюльника».

— Полно тебѣ: ти, ти, ти, ля, ля, ля! — передразнила она:—хочешь смотрѣть и принимать имѣніе?

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Кто же будетъ смотрѣть за нимъ: я стара, мнѣ не углядѣть, не управиться. Я возьму да и брошу: что тогда будешь дѣлать?..

— Ничего не буду дѣлать; махну рукой, да и уѣду...

— Не прикажешь ли отдать въ чужія руки?

— Нѣтъ, пока у васъ есть охота—посмотрите, поживите.

— А когда умру?

— Тогда... оставить какъ есть.

— А мужики: пусть дѣлаютъ, что̀ хотятъ!

Онъ кивнулъ головой.

— Я думалъ, что они и теперь дѣлаютъ, что̀ хотятъ. Ихъ отпустить бы на волю...—сказалъ онъ.

— На волю: около пятидесяти душъ на волю! — повторила она:—и даромъ, ничего съ нихъ не взять?

— Ничего!

— Чѣмъ же ты станешь жить?

— Они наймутъ у меня землю, будутъ платить мнѣ что-нибудь.

— Что-нибудь: изъ милости, что вздумается! Ну, Борюшка!

Она взглянула на портретъ матери Райскаго. Долго глядѣла она на ея томные глаза, на задумчивую улыбку.

— Да, — сказала потомъ вполголоса: — не тѣмъ будь помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себѣ, шептала что̀-то, играла на клавесинѣ, да надъ книжками плакала. Вотъ что̀ и вышло: пѣть да рисовать!

— Что̀ же съ домомъ дѣлать? Куда серебро, бѣлье, брильянты, посуду дѣвать?—спросила она, помолчавъ.—Мужикамъ, что ли, отдать?

— А развѣ у меня есть брильянты и серебро?.. — спросилъ онъ.

— Сколько я тебѣ лѣтъ твержу! Отъ матери осталось: куда оно дѣнется? На вотъ, постой, я тебѣ реестры покажу...

— Не надо, ради Бога, не надо: мое, мое, вѣрю. Стало-быть, я въ правѣ распорядиться этимъ по своему усмотрѣнію?

— Ты хозяинъ, такъ какъ же не въ правѣ? Гони насъ вонъ: мы у тебя въ гостяхъ живемъ—только хлѣба твоего не ѣдимъ, извини... Вотъ гляди, мои доходы, а вотъ расходы...

Она совала ему другія большія шнуровыя тетради, но онъ устранилъ ихъ рукой.

— Вѣрю, вѣрю, бабушка! Ну, такъ вотъ что: пошлите за чиновникомъ въ палату и велите написать бумагу: домъ, вещи, землю, все уступаю я милымъ моимъ сестрамъ, Вѣрочкѣ и Марѣинькѣ, въ приданое...

Бабушка сильно нахмурилась и съ нетерпѣніемъ ждала конца рѣчи, чтобы разразиться.

— Но пока вы живы, — продолжалъ онъ: — все должно оставаться въ вашемъ непосредственномъ владѣніи и завѣдываніи. А мужиковъ отпустить на волю...

— Не бывать этому!—пылко воскликнула Бережкова:— онѣ не нищія, у нихъ по пятидесяти тысячъ у каждой. Да послѣ бабушки втрое, а можетъ-быть и побольше останется: это все имъ! Не бывать, не бывать! И бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется уголъ, есть и клочокъ земли, и крышка, гдѣ спрятаться! Богачъ какой, гордецъ, въ даръ жалуетъ! Не хотимъ, не хотимъ! Марѣинька! Гдѣ ты? Иди сюда!

— Здѣсь, здѣсь, сейчасъ!—отозвался звонкій голосъ Марѣиньки изъ другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула веселая, живая, рѣзвая, съ улыбкой, и вдругъ остановилась.

Она глядѣла то на бабушку, то на Райскаго, въ недоумѣніи. Бабушка сильно расходилась.

— Вотъ слышишь: братецъ тебѣ жаловать изволитъ домъ, и серебро, и кружева. Ты вѣдь безприданница, нищенка! Присѣдай же ниже, благодари благодѣтеля, поцѣлуй у него ручку. Что же ты?

Марѣинька прижалась къ печкѣ и глядѣла на обоихъ, не зная, что ей сказать.

Бабушка отодвинула отъ себя всѣ книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотрѣть въ окно. А Райскій сѣлъ возлѣ Марѳиньки, взялъ ее за руки.

— Скажи, Марѳинька, ты бы хотѣла переѣхать отсюда въ другой домъ, — спросилъ онъ: — можетъ-быть, въ другой городъ?

— Ахъ, сохрани Боже: какъ это можно! Кто это выдумалъ такую нелѣпость!..

— Вонъ кто, бабушка!—сказалъ Райскій, смѣясь.

Марѳинька сконфузилась, а бабушка, къ счастью, не слыхала. Она сердито глядѣла въ окно.

— Вѣдь у меня тутъ все: садъ и грядки, цвѣты... А птицы? Кто же будетъ ходить за ними? Какъ можно — ни за что̀...

— Ну, вотъ бабушка хочетъ уѣхать и увезти васъ обѣихъ.

— Бабушка, душенька, куда? Зачѣмъ? Что̀ это вы затѣяли?—бросилась она ласкаться къ бабушкѣ.

— Отстань!—сердито оттолкнула ее бабушка.

— Ты не хотѣла бы, Марѳинька, не правда ли, выпорхнуть изъ этого гнѣздышка?

— Нѣтъ, ни за что̀! — качая головой, рѣшительно сказала она. — Бросить цвѣтникъ, мои комнатки... какъ это можно!

— И Вѣрочка тоже?

— Она еще пуще меня: она ни за что̀ не разстанется съ старымъ домомъ...

— Она любитъ его?

— Она тамъ и живетъ, тамъ ей только и хорошо. Она умретъ, если ее увезутъ—мы обѣ умремъ.

— Ну, такъ вы никогда не уѣдете отсюда, — прибавилъ Райскій: — вы обѣ здѣсь выйдете замужъ, ты Марѳинька, будешь жить въ этомъ домѣ, а Вѣрочка въ старомъ.

— Слава Богу: зачѣмъ же пугаете? А вы гдѣ сами станете жить?

— Я жить не стану, а когда пріѣду погостить, вотъ какъ теперь, вы мнѣ дайте комнату въ мезонинѣ — и мы будемъ вмѣстѣ гулять, пѣть, рисовать цвѣты, кормить птицъ: ти, ти, ти, цыпъ, цыпъ, цыпъ!—передразнилъ онъ ее.

— Ахъ, вы злой! — сказала она. — Я думала, вы не успѣли даже разглядѣть меня, а вы все подслушали!

— Ну, такъ это дѣло рѣшеное: вы съ Вѣрочкой принимаете отъ меня въ подарокъ все это, да?

— Да... братецъ... — весело сказала она и потянулась было къ нему.

— Не смѣть!—горячо остановила бабушка, до тѣхъ поръ сердито молчавшая.

Марѳинька сѣла на свое мѣсто.

— Безстыдница!—укоряла она Марѳиньку.—Гдѣ ты выучилась отъ чужихъ подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила; вѣкъ свой чужой копейкой не поживилась... А ты не успѣла и двухъ словъ сказать съ нимъ, и ужъ подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Вѣрочка ни за что бы у меня не приняла: та—гордая!

Марѳинька надулась,

— Сами же давеча... сказали,—говорила она сердито:—что онъ намъ не чужой, а братъ, и велѣли поцѣловаться съ нимъ; а братъ можетъ все подарить.

— Это логично! Противъ этого спорить нельзя,—одобрялъ Райскій.—Итакъ, рѣшено: это все ваше, я у васъ гость...

— Не бери!—повелительно сказала бабушка.—Скажи: не хочу, не надо, мы не нищія, у насъ у самихъ есть имѣніе.

— Не хочу, братецъ, не надо...—начала она съ иронією повторять и засмѣялась.—Не надо, такъ не надо!—прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

— Да ужъ ничего этого не будетъ тамъ у васъ, въ бабушкиномъ имѣніи,—продолжалъ Райскій.

— Посмотри! Какой коверъ вокругъ дома! Безъ садика, что̀ за житье?

— Я садикъ возьму! — шепнула она, только бабушкѣ не го-во-ри-те... — досказала она движеніями губъ, безъ словъ.

— А кружева, бѣлье, серебро?—говорилъ онъ вполголоса.

— Не надо! Кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой ѣсть... У насъ все по-деревенски.

— А эти саксонскія чашки, эти пузатые чайники? Такихъ теперь не дѣлаютъ. Ужели не возьмешь?

— Чашки возьму,—шептала она:—и чайники, еще вонъ этотъ диванчикъ возьму и маленькія кресельца, да эту скатерть, гдѣ вышита Діана съ собаками. Еще бы мнѣ хотѣлось взять мою комнатку...—со вздохомъ прибавила она.

— Ну, весь домъ—пожалуйста, Мароинька, милая сестра...

Мароинька поглядѣла на бабушку, потомъ, украдкой, утвердительно кивнула ему.

— Ты любишь меня? да?

— Ахъ, очень! Какъ вы писали, что пріѣдете, я всякую ночь вижу васъ во снѣ, только совсѣмъ не такимъ...

— Какимъ же?

— Такимъ румянымъ, не задумчивымъ, а веселымъ; вы, будто, все шалите, да бѣгаете...

— Я вѣдь такой иногда бываю.

Она недовѣрчиво покосилась на него и покачала головой.

— Такъ возьмешь домикъ?—спросилъ онъ.

— Возьму, только чтобъ и Вѣрочка старый домъ согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станетъ.

— Ну, вотъ и кончено!—громко и весело сказалъ онъ:— милая сестра! Ты не гордая, не въ бабушку!

Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Что кончено? — вдругъ спросила бабушка. — Ты приняла? Кто тебѣ позволилъ? Коли у самой стыда нѣтъ, такъ бабушка не допуститъ на чужой счетъ жить. Извольте, Во-

рисъ Павловичъ, принять книги, счеты, реестры и всѣ крѣпости на имѣніе. Я вамъ не приказчица досталась.

Она выложила передъ нимъ бумаги и книги.

— Вотъ четыреста-шестьдесятъ-три рубля денегъ — это ваши. Въ мартѣ мужики принесли за хлѣбъ. Тутъ по счетамъ увидите, сколько внесено въ приказъ, сколько отдано за постройку и починку службъ, за новый заборъ, жалованье Савелью—все есть.

— Бабушка!

— Бабушки нѣтъ, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! — сказала она, отворивъ дверь въ дѣвичью.

Черезъ четверть часа вошелъ въ комнату, бокомъ, пожилой, лѣтъ сорока пяти мужикъ, сложенный плотно, будто изъ однѣхъ широкихъ костей, и оттого казавшійся толстымъ, хотя жиру у него не было ни золотника.

Онъ былъ мраченъ лицомъ, съ нависшими бровями, широкими вѣками, которыя поднималъ медленно и даромъ не тратилъ ни взглядовъ, ни словъ. Даже движеній почти не дѣлалъ. Отъ одного разговора на другой онъ тоже переходилъ трудно и медленно.

Мысленная работа совершается у него тяжело: когда онъ старается выговорить свою мысль, то помогаетъ себѣ бровями, складками на лбу, и отчасти указательнымъ пальцемъ.

Онъ остриженъ въ скобку, бороду бреетъ рѣдко, и у него на губахъ и на подбородкѣ почти всегда торчитъ щетина.

— Вотъ помѣщикъ пріѣхалъ!—сказала бабушка, указывая на Райскаго, который наблюдалъ, какъ Савелій вошелъ, какъ медленно поклонился, медленно поднялъ глаза на бабушку, потомъ, когда она указалъ на Райскаго, то на него, какъ медленно поворотился къ нему и задумчиво поклонился.

— Ты теперь приходи къ нему съ докладомъ,—говорила бабушка:—онъ самъ будетъ управлять имѣніемъ.

Савелій опять оборотился вполовину къ Райскому, и исподлобья, но немного поживѣе, поглядѣлъ на него.

— Слушаю!—разстановочно произнесъ онъ, и брови поднялись медленно.

— Бабушка! — удерживалъ полу-шутя, полу-серьезно Райскій.

— Внучекъ!—холодно отозвалась она.

Райскій вздохнулъ.

— Что изволите приказать?—тихо спросилъ Савелій, не поднимая глазъ.

Райскій молчалъ и думалъ, что бы приказать ему.

— Чудесно! Вотъ что,—живо сказалъ онъ.—Ты знаешь какого-нибудь чиновника въ палатѣ, который бы могъ написать бумагу о передачѣ имѣнія?

— Гаврила Ивановичъ Мѣшечниковъ пишетъ всѣ бумаги намъ,—произнесъ онъ не вдругъ, а подумавши.

— Ну, такъ попроси его сюда!

— Слушаю!—потупившись отвѣчалъ Савелій, и медленно, задумчиво поворотившись, пошелъ вонъ.

— Какой задумчивый этотъ Савелій! — сказалъ Райскій, провожая его глазами.

— Будешь задумчивъ, какъ навяжется такая супруга, какъ Марина Антиповна! Помнишь Антипа? ну, такъ его дочка! А золото-мужикъ, большія у меня дѣла дѣлаетъ: хлѣбъ продаетъ, деньги получаетъ, — честный, распорядительный: да вотъ гдѣ-нибудь да подстережетъ судьба. У всякаго свой крестъ! А ты что это затѣялъ, или въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ?—спросила бабушка, помолчавъ.

— Вѣдь это мое? — сказалъ онъ, обводя рукой кругомъ себя:—вы не хотите ничего брать и запрещаете внучкамъ...

— Ну, пусть и будетъ твое! — возразила она. — Зачѣмъ же отпускать на волю, дарить?

— Надо же что-нибудь дѣлать! Я уѣду отсюда, вы управлять не хотите, надо устроить...

— Зачѣмъ уѣзжать: я думала, что ты совсѣмъ пріѣхалъ. Будетъ тебѣ мыкаться! Женись и живи. А то хорошо устройство: отдать тысячъ на тридцать всякаго добра!

Она безпокойно задумалась и, очевидно, боролась съ собой. Ей бы и въ голову никогда не пришло устранить отъ себя управленіе имѣніемъ и не хотѣла она этого. Она бы не знала что̀ дѣлать съ собой. Она хотѣла только попугать Райскаго—и вдругъ онъ принялъ это серьезно.

«Пожалуй, чего добраго? отъ него станется: вонъ онъ какой!» думала она въ страхѣ.

— Такъ и быть,—сказала она:—я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка такъ управитъ, что подъ опеку попадешь! Да чѣмъ ты станешь жить? Странный ты человѣкъ!

— Мнѣ съ того имѣнія присылаютъ деньги: тысячи двѣ серебромъ — и довольно. Да я работать стану, — добавилъ онъ: — рисовать, писать... Вотъ собираюсь за границу пожить: для этого, то̀ имѣніе заложу или продамъ...

— Богъ съ тобой, что̀ ты Борюшка! Долго ли этакъ до сумы дойти! Рисовать, писать, имѣніе продать! Не будешь ли по урокамъ бѣгать, школьниковъ учить? Эхъ ты! изъ офицеровъ вышелъ, вонъ теперь въ короткохвостомъ сюртучишкѣ ходишь! Вмѣсто того, чтобы четверкой въ дормёзѣ прикатить, притащился на перекладной, одинъ, безъ лакея, чуть не пѣшкомъ пришелъ! А еще Райскій! Загляни въ старый домъ, на предковъ: постыдись хоть ихъ! Срамъ, Борюшка! То ли бы дѣло, съ этакими эполетами, какъ у дяди Сергѣя Ивановича, пріѣхалъ: съ тремя тысячами душъ взялъ бы...

Райскій засмѣялся.

— Что̀ смѣешься! Я дѣло говорю. Какая бы радость бабушкѣ! Тогда бы не сталъ дарить кружевъ да серебра: понадобилось бы самому...

— Ну, а какъ я не женюсь, и кружевъ не надо, то рѣшено, что это все Вѣрочкѣ и Мароинькѣ отдадимъ... Такъ или нѣтъ?

— Ты опять свое!—заговорила бабушка.

— Да, свое, — продолжалъ Райскій: — и если вы не согласитесь, я отдамъ все въ чужія руки: это кончено, даю вамъ слово...

— Вотъ — и слово далъ! — безпокойно сказала бабушка. Она колебалась. — Имѣніе отдаетъ! Странный, необыкновенный человѣкъ!—повторяла она:—совсѣмъ пропащій! Да какъ ты жилъ, что̀ дѣлалъ, скажи на милость? Кто ты на семъ свѣтѣ есть? Всѣ люди, какъ люди. А ты—кто! Вонъ еще и бороду отпустилъ—сбрей, сбрей, не люблю!

— Кто я бабушка? — повторилъ онъ вслухъ: — несчастнѣйшій изъ смертныхъ!

Онъ задумался и прилегъ головой къ подушкѣ дивана.

— Не говори этого никогда! — боязливо перебила бабушка: — судьба подслушаетъ, да и накажетъ: будешь въ самомъ дѣлѣ несчастный! Всегда будь доволенъ, или показывай, что доволенъ.

Она даже боязливо оглянулась, какъ будто судьба стояла у нея за плечами.

— Несчастный! а чѣмъ, позволь спросить? — заговорила она:—здоровъ, уменъ, имѣніе есть, слава Богу, вонъ какое!— она показала головой въ окна.—Чего еще: рожна, что ли, надо?

Мароинька засмѣялась, и Райскій съ нею.

— Что это значитъ, рожонъ?

— А то, что человѣкъ не чувствуетъ счастья, коли нѣтъ рожна, — сказала она, глядя на него черезъ очки. — Надо его ударить бревномъ по головѣ, тогда онъ и узнаетъ, что счастье было, и какое оно плохенькое ни есть, а все лучше бревна.

«Вотъ что̀, практическая мудрость!» подумалъ онъ.

— Бабушка! это жизненная замѣтка — это правда! вы философъ.

— Вотъ ты и умный, и ученый, а не зналъ этого!

— Помиримтесь? — сказалъ онъ, вставши съ дивана:— вы согласились опять взять въ руки этотъ клочокъ...

— Имѣніе, а не клочокъ!—перебила она.

— Согласитесь же отдать всю ветошь и хламъ этимъ милымъ дѣвочкамъ... Я бобыль, мнѣ не надо, а онѣ будутъ хозяйками. Не хотите, отдадимъ на школы...

— Школьникамъ! Не бывать этому! Чтобы этимъ озорникамъ досталось! Сколько они однихъ яблоковъ перетаскиваютъ у насъ черезъ заборъ!

— Берите скорѣй, бабушка! Ужели вы на старости лѣтъ бросите это гнѣздо?..

— Ветошь, хламъ! Тысячъ на десять серебра, бѣлья, хрусталя—ветошь!—твердила бабушка.

— Бабушка! — просила Марѳинька: — мнѣ цвѣтничокъ и садикъ, да мою зеленую комнату, да вотъ эти саксонскія чашки съ пастушкомъ, да салфетку съ Діаной...

— Замолчишь ли ты, безстыдница! Скажутъ, что мы попрошайки, обобрали сироту!

— Кто скажетъ?—спросилъ Райскій.

— Всѣ! Первый Нилъ Андреичъ заголоситъ.

— Какой Нилъ Андреичъ?

— А помнишь: предсѣдатель въ палатѣ? Мы съ тобой заѣзжали къ нему, когда ты послѣ гимназіи пріѣхалъ сюда— и не застали. А потомъ онъ въ деревню уѣхалъ; ты его и не видалъ. Тебѣ надо съѣздить къ нему: его всѣ уважаютъ и боятся, даромъ что онъ въ отставкѣ...

— Чортъ съ нимъ! Что мнѣ за дѣло до него! — сказалъ Райскій.

— Ахъ, Борисъ, Борисъ—опомнись!—сказала почти набожно бабушка.—Человѣкъ почтенный...

— Чѣмъ же онъ почтенный?

— Старый, серьезный человѣкъ, со звѣздой!

Райскій засмѣялся.

— Чему смѣешься?

— Что значитъ «серьезный»?—спросилъ онъ.

— Говоритъ умно, учитъ жить, не запоетъ: ти-ти-ти, да та-та-та. Строгій: за дурное осудитъ! Вотъ что значитъ серезный.

— Всѣ эти «серьезные» люди — или ослы великіе, или лицемѣры, — замѣтилъ Райскій. — «Учитъ жить»: а самъ онъ умѣетъ ли жить?

— Еще бы не умѣлъ! нажилъ богатство, вышелъ въ люди...

— Иной думаетъ у насъ, что вышелъ въ люди, а въ самомъ-то дѣлѣ онъ вышелъ въ свиньи...

Марѳинька засмѣялась.

— Не люблю, не люблю, когда ты такъ дерзко говоришь! — гнѣвно возразила бабушка. — Ты во что самъ вышелъ, сударь: ни Богу свѣча, ни чорту кочерга! А Нилъ Андреичъ все-таки почтенный человѣкъ, что ни говори! узнаетъ, что ты такъ небрежно имѣніемъ распоряжаешься— осудитъ! И меня осудитъ, если я соглашусь взять: ты сирота...

— Вы мнѣ когда-то говорили, что онъ племянницу обобралъ, въ казнѣ воровалъ,—и онъ же осудитъ...

— Помолчи, помолчи объ этомъ, — торопливо отозвалась бабушка: — помни правило: «языкъ мой—врагъ мой, прежде ума моего родился!»

— Развѣ я маленькій, что не въ правѣ отдать кому хочу, еще и родственницамъ? Мнѣ самому не надо, — продолжалъ онъ:—стало-быть, отдамъ имъ и разумно, и справедливо.

— А если ты женишься?

— Я не женюсь.

— Почемъ знать? Какая-нибудь встрѣча... вонъ здѣсь есть богатая невѣста... Я писала тебѣ...

— Мнѣ не надо богатства!

— Не надо богатства: что городитъ! Жену вѣдь надо?

— И жену не надо.

— Какъ не надо? Какъ же ты проживешь? — спросила она недовѣрчиво.

Онъ засмѣялся и ничего не сказалъ.

— Пора, Борисъ Павловичъ, — сказалъ она: — вонъ въ вискѣ сѣдина показывается. Хочешь посватаю? А какая красавица, какъ воспитана!

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Я не шучу,—замѣтила она:—у меня давно было въ головѣ.

— И я не шучу, у меня никогда въ головѣ не было.

— Ты хоть познакомься!

— И знакомиться не стану.

— Женитесь, братецъ, — вмѣшалась Марѳинька: — я бы стала нянчить дѣтей у васъ... я такъ люблю играть съ ними.

— А ты, Марѳинька, думаешь выйти замужъ?

Она покраснѣла.

— Скажи мнѣ правду, на-ухо,—говорилъ онъ.

— Да... иногда думаю.

— Когда же иногда?

— Когда дѣтей вижу: я ихъ больше всего люблю...

Райскій засмѣялся, взялъ ее за обѣ руки и прямо смотрѣлъ ей въ глаза. Она покраснѣла, ворочалась то въ одну, то въ другую сторону, стараясь не смотрѣть на него.

— Ты послушай только: она тебѣ наговоритъ! — приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. — Точно дитя: что на умѣ, то и на языкѣ!

— Я очень люблю дѣтей, — оправдывалась она, смущенная:—мнѣ завидно глядѣть на Надежду Никитишну: у ней семь человѣкъ... Куда ни обернись, вездѣ дѣти. Какъ это весело! Мнѣ бы хотѣлось побольше маленькихъ братьевъ и сестеръ, или хоть чужихъ дѣточекъ. Я бы и птицъ бро

сила, и цвѣты, музыку, все бы за ними ходила. Одинъ шалитъ, его въ уголъ надо поставить, тотъ проситъ кашки, этотъ кричитъ, третій дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого надо учить ходить... Что̀ можетъ быть веселѣе! Дѣти—такія милыя, граціозныя отъ природы, смѣшныя, добрыя, хорошенькія!

— Есть и безобразныя,—сказалъ Райскій:—развѣ ты и ихъ любила бы?..

— Есть больныя,—строго замѣтила Марѳинька:—а безобразныхъ нѣтъ! Ребенокъ не можетъ быть безобразенъ. Онъ еще не испорченъ ничѣмъ.

Все это говорила она съ жаромъ, почти страстно, такъ что ея граціозная грудь волновалась подъ кисеей, какъ будто просилась на просторъ.

— Какой идеалъ жены и матери! Милая Марѳинька—сестра! Какъ счастливъ будетъ мужъ твой!

Она стыдливо сѣла въ уголъ.

— Она все съ дѣтьми: когда они тутъ, ее не отгонишь,—замѣтила бабушка:—поднимутъ шумъ, гамъ, хоть вонъ бѣги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примѣтѣ, — продолжалъ Райскій:—женихъ какой-нибудь?..

— Что̀ это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ она безъ бабушкина спроса будетъ о замужествѣ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можетъ безъ спроса?

— Конечно не можетъ.

— Вѣдь это ея дѣло.

— Нѣтъ, не ея, а пока бабушкино, — замѣтила Татьяна Марковна.—Пока я жива, она изъ повиновенія не выйдетъ.

— Зачѣмъ это вамъ, бабушка?

— Что̀ зачѣмъ?

— Такое повиновеніе: чтобъ Марѳинька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

— Выйдетъ замужъ, тогда и полюбитъ.

— Какъ «выйдетъ замужъ и полюбитъ»: полюбитъ и выйдетъ замужъ, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у васъ тамъ такъ, — говорила бабушка, замахавъ рукой: — а мы здѣсь прежде осмотримъ, узнаемъ, что̀ за человѣкъ, пудъ соли съѣдимъ съ нимъ, тогда и отдаемъ за него.

— Такъ у васъ еще не выходятъ дѣвушки, а отдаютъ ихъ—бабушка! Есть ли смыслъ въ этомъ...

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ своимъ идеямъ!.. Вонъ, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени въ могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нѣтъ, это все надо передѣлать!» сказалъ онъ про себя. «Не даютъ свободы—любить. Какая грубость! А вѣдь добрые, нѣжные люди! Какой еще туманъ, какое затменіе въ ихъ головахъ!»

— Марѳинька! Я тебя просвѣщу!—обратился онъ къ ней.

— Видите ли, бабушка: этотъ домикъ, со всѣмъ что̀ здѣсь есть, какъ будто для Марѳиньки выстроенъ,—сказалъ Райскій: — только дѣтскія надо надстроить. Люби, Марѳинька, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мѣшаете принять подарокъ!

— Ну, добро, посмотримъ, посмотримъ,—сказала она:— если не женишься самъ, такъ какъ хочешь, на свадьбу подари имъ кружева, что̀ ли: только чтобы никто не зналъ, пуще всего Нилъ Андреичъ... надо втихомолку...

— Свободный, разумный и справедливый поступокъ — втихомолку! Долго ли мы будемъ жить, какъ совы, бояться свѣта дневного, слушать совиную мудрость Ниловъ Андреевичей!..

— Шш-ш-ш! — зашипѣла бабушка: — услыхалъ бы онъ! Человѣкъ онъ старый, заслуженный, а главное серьезный. Мнѣ не сговорить съ тобой—поговори съ Титомъ Никонычемъ. Онъ обѣдать придетъ,—прибавила Татьяна Марковна.

сила, и цвѣты, музыку, все бы за ними ходила. Одинъ шалитъ, его въ уголъ надо поставить, тотъ проситъ кашки, этотъ кричитъ, третій дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого надо учить ходить... Что̀ можетъ быть веселѣе! Дѣти—такія милыя, граціозныя отъ природы, смѣшныя, добрыя, хорошенькія!

— Есть и безобразныя,—сказалъ Райскій:—развѣ ты и ихъ любила бы?..

— Есть больныя,—строго замѣтила Марѳинька:—а безобразныхъ нѣтъ! Ребенокъ не можетъ быть безобразенъ. Онъ еще не испорченъ ничѣмъ.

Все это говорила она съ жаромъ, почти страстно, такъ что ея граціозная грудь волновалась подъ кисеей, какъ будто просилась на просторъ.

— Какой идеалъ жены и матери! Милая Марѳинька—сестра! Какъ счастливъ будетъ мужъ твой!

Она стыдливо сѣла въ уголъ.

— Она все съ дѣтьми: когда они тутъ, ее не отгонишь,—замѣтила бабушка:—поднимутъ шумъ, гамъ, хоть вонъ бѣги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примѣтѣ, — продолжалъ Райскій:—женихъ какой-нибудь?..

— Что̀ это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ она безъ бабушкина спроса будетъ о замужествѣ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можетъ безъ спроса?

— Конечно не можетъ.

— Вѣдь это ея дѣло.

— Нѣтъ, не ея, а пока бабушкино, — замѣтила Татьяна Марковна.—Пока я жива, она изъ повиновенія не выйдетъ.

— Зачѣмъ это вамъ, бабушка?

— Что̀ зачѣмъ?

— Такое повиновеніе: чтобъ Марѳинька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

— Выйдетъ замужъ, тогда и полюбитъ.

— Какъ «выйдетъ замужъ и полюбитъ»: полюбитъ и выйдетъ замужъ, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у васъ тамъ такъ, — говорила бабушка, замахавъ рукой: — а мы здѣсь прежде осмотримъ, узнаемъ, что за человѣкъ, пудъ соли съѣдимъ съ нимъ, тогда и отдаемъ за него.

— Такъ у васъ еще не выходятъ дѣвушки, а отдаютъ ихъ—бабушка! Есть ли смыслъ въ этомъ...

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ своимъ идеямъ!.. Вонъ, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени въ могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нѣтъ, это все надо передѣлать!» сказалъ онъ про себя. «Не даютъ свободы—любить. Какая грубость! А вѣдь добрые, нѣжные люди! Какой еще туманъ, какое затменіе въ ихъ головахъ!»

— Марѳинька! Я тебя просвѣщу!—обратился онъ къ ней.

— Видите ли, бабушка: этотъ домикъ, со всѣмъ что здѣсь есть, какъ будто для Марѳиньки выстроенъ,—сказалъ Райскій: — только дѣтскія надо надстроить. Люби, Марѳинька, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мѣшаете принять подарокъ!

— Ну, добро, посмотримъ, посмотримъ,—сказала она:— если не женишься самъ, такъ какъ хочешь, на свадьбу подари имъ кружева, что ли: только чтобы никто не зналъ, пуще всего Нилъ Андреичъ... надо втихомолку...

— Свободный, разумный и справедливый поступокъ — втихомолку! Долго ли мы будемъ жить, какъ совы, бояться свѣта дневного, слушать совиную мудрость Ниловъ Андреевичей!..

— Шш-ш-ш! — зашипѣла бабушка: — услыхалъ бы онъ! Человѣкъ онъ старый, заслуженный, а главное серьезный. Мнѣ не сговорить съ тобой—поговори съ Титомъ Никонычемъ. Онъ обѣдать придетъ,—прибавила Татьяна Марковна.

«Странный, необыкновенный человѣкъ!» думала она. «Все ему нипочемъ, ничего въ грошъ не ставитъ! Имѣніе отдаетъ, серьезные люди у него — дураки, себя несчастнымъ называетъ! Погляжу еще, что будетъ!»

III.

Райскій взялъ фуражку и собрался идти въ садъ. Марѳинька вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садикъ, и большой садъ, и огородъ, цвѣтникъ, бесѣдки.

— Только въ лѣсъ боюсь; я не хожу съ обрыва, тамъ страшно, глухо!—говорила она.—Вѣрочка пріѣдетъ, она проводитъ васъ туда.

Она надѣла на голову косынку, взяла зонтикъ, и летала по грядамъ и цвѣтамъ, какъ сильфъ, блестя красками здоровья, веселостью сѣро-голубыхъ глазъ и лѣтнимъ нарядомъ изъ прозрачныхъ тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой изъ этихъ цвѣтовъ, лучей, тепла и красокъ весны.

Борисъ видѣлъ все это у себя въ умѣ и видѣлъ себя, задумчиваго, тяжелаго. Ему казалось, что онъ портитъ картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, съ такими же, какъ у ней, налитыми жизненной влагой глазами, съ такой же рѣзвостью движеній.

Ему хотѣлось бы рисовать ее безкорыстно, какъ артисту, безъ себя, вотъ какъ бы нарисовалъ онъ, напримѣръ, бабушку. Фантазія услужливо рисовала ее во всей старческой красотѣ: и выходила живая фигура, которую онъ наблюдалъ покойно, объективно.

А съ Марѳинькой это не удавалось. И садъ, казалось ему, хорошъ отъ того, что она тутъ. Марѳинька рѣяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цвѣтка.

— Вотъ этотъ розанъ вчера еще почкой былъ, а теперь,

посмотрите, какъ распустился, — говорила она, съ торжествомъ показывая ему цвѣтокъ.

— Какъ ты сама!—сказалъ онъ.

— Ну, ужъ хороша роза?

— Ты лучше ея!

— Понюхайте, какъ она пахнетъ!

Онъ нюхалъ цвѣтокъ и шелъ за ней.

— А вотъ эти маргаритки надо полить, и піоны тоже!— говорила она опять, и уже была въ другомъ углу сада, черпала воду изъ бочки и съ граціознымъ усиліемъ несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другіе.

— А въ Петербургѣ еще и сирени не зацвѣли, — сказалъ онъ.

— Ужели? А у насъ ужъ отцвѣли, теперь акаціи начинаютъ цвѣсти. Для меня праздникъ, когда липы зацвѣтутъ— какой запахъ!

— Сколько здѣсь птицъ!—сказалъ онъ, вслушиваясь въ веселое щебетанье на деревьяхъ.

— У насъ и соловьи есть—вонъ тамъ, въ рощѣ! И мои птички всѣ здѣсь пойманы, — говорила она. — А вотъ тутъ въ огородѣ мои грядки: я сама работаю. Подальше—тамъ арбузы, дыни, вотъ тутъ цвѣтная капуста, артишоки...

— Пойдемъ, Мароинька, къ обрыву, на Волгу смотрѣть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого мѣста! Я не долго съ вами пробуду. Бабушка велѣла объ обѣдѣ позаботиться. Вѣдь я хозяйка здѣсь! У меня ключи отъ серебра, отъ кладовой. Я вамъ велю достать вишневаго варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Онъ улыбкой поблагодарилъ ее.

— А что къ обѣду?—спросила она.—Бабушка намѣрена угостить васъ на славу.

— Вѣдь я обѣдалъ. Развѣ къ ужину.

— До ужина еще полдникъ будетъ: за чаемъ простоквашу подаютъ: что̀ лучше вы любите, творогъ со сливками... или...

— Да, я люблю творогъ...—разсѣянно отвѣчалъ Райскій.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу...

— Что̀ же лучше? — спросила она, и не слыша отвѣта, обернулась посмотрѣть, что̀ его занимаетъ. А онъ пристально слѣдилъ, какъ она, переступая черезъ канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и какъ изъ-подъ платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крѣпкая небольшая нога, въ бѣломъ чулкѣ, съ коротенькимъ, будто обрубленнымъ носкомъ, обутая въ лакированный башмакъ, съ красной сафьянной отдѣлкой и съ пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марѳинька: лакированный башмакъ!—сказалъ онъ.

Онъ думалъ, что она смутится, пойманная врасплохъ, приготовился наслаждаться ея смущеніемъ, смотрѣть, какъ она быстро и стыдливо броситъ изъ рукъ платье и юбку.

— Это мы съ бабушкой на ярмаркѣ купили, — сказала она, приподнявъ еще немного юбку, чтобъ онъ лучше могъ разглядѣть башмакъ. — А у Вѣрочки лиловые, — прибавила она.—Она любитъ этотъ цвѣтъ. Что же вамъ къ обѣду: вы еще не сказали?

Но онъ не слушалъ ея. «Милое дитя», думалъ онъ, «тебѣ не надо притворяться стыдливой!»

— Я не хочу ѣсть, Марѳинька. Дай руку, пойдемъ къ Волгѣ.

Онъ прижалъ ее руку къ груди и чувствовалъ, какъ у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивнаго, милаго ребенка, доброй сестры, или... молодой, расцвѣтшей красоты? Онъ боялся, станетъ ли его на то, чтобъ наблюдать ее, какъ артисту, а не отдаться, по обыкновенію, легкому впечатлѣнію?

У него передъ глазами былъ идеалъ простой, чистой натуры, и въ душѣ созидался образъ какого-то тихаго, семейнаго романа, и въ то же время онъ чувствовалъ, что романъ понемногу захватывалъ и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь какъ будто втягиваетъ его...

— Ты поешь, Марѳинька?—спросилъ онъ.

— Да... немножко,—застѣнчиво отвѣчала она.

— Что же?

— Русскіе романсы; начала итальянскую музыку, да учитель уѣхалъ. Я пою: Una voce poco fa, только трудно очень для меня. А вы поете?

— Дикимъ голосомъ, но зато безпрестанно.

— Что же?

— Все.

И онъ запѣлъ изъ «Ломбардовъ», потомъ маршъ изъ «Семирамиды», и вдругъ замолкъ.

Онъ взглядывалъ близко ей въ глаза, жалъ руку и соразмѣрялъ свой шагъ съ ея шагомъ.

«Ничего больше не надо для счастья», думалъ онъ: «умѣй только остановиться во-время, не заглядывать въ даль. Такъ бы сдѣлалъ другой на моемъ мѣстѣ. Здѣсь все есть для тихаго счастья — но... это не мое счастье!» Онъ вздохнулъ. «Глаза привыкнутъ... воображеніе устанетъ,—и впечатлѣніе износится... иллюзія лопнетъ, какъ мыльный пузырь, едва разбудивъ нервы!..»

Онъ выпустилъ ея руку и задумался.

— Что жъ вы молчите?—спросила она.—«Ничего не говоритъ!» про себя прибавила потомъ.

— Ты любишь читать... читаешь, Марѳинька?—спросилъ онъ, очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Что же?

— Что попадется: Титъ Никонычъ журналы носитъ, по-

«Странный, необыкновенный человѣкъ!» думала она. «Все ему нипочемъ, ничего въ грошъ не ставитъ! Имѣніе отдаетъ, серьезные люди у него — дураки, себя несчастнымъ называетъ! Погляжу еще, что будетъ!»

III.

Рэйскій взялъ фуражку и собрался идти въ садъ. Марѳинька вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садикъ, и большой садъ, и огородъ, цвѣтникъ, бесѣдки.

— Только въ лѣсъ боюсь; я не хожу съ обрыва, тамъ страшно, глухо! — говорила она. — Вѣрочка пріѣдетъ, она проводитъ васъ туда.

Она надѣла на голову косынку, взяла зонтикъ, и летала по грядамъ и цвѣтамъ, какъ сильфъ, блестя красками здоровья, веселостью сѣро-голубыхъ глазъ и лѣтнимъ нарядомъ изъ прозрачныхъ тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой изъ этихъ цвѣтовъ, лучей, тепла и красокъ весны.

Борисъ видѣлъ все это у себя въ умѣ и видѣлъ себя, задумчиваго, тяжелаго. Ему казалось, что онъ портитъ картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, съ такими же, какъ у ней, налитыми жизненной влагой глазами, съ такой же рѣзвостью движеній.

Ему хотѣлось бы рисовать ее безкорыстно, какъ артисту, безъ себя, вотъ какъ бы нарисовалъ онъ, напримѣръ, бабушку. Фантазія услужливо рисовала ее во всей старческой красотѣ: и выходила живая фигура, которую онъ наблюдалъ покойно, объективно.

А съ Марѳинькой это не удавалось. И садъ, казалось ему, хорошъ отъ того, что она тутъ. Марѳинька рѣяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цвѣтка.

— Вотъ этотъ розанъ вчера еще почкой былъ, а теперь,

посмотрите, какъ распустился, — говорила она, съ торжествомъ показывая ему цвѣтокъ.

— Какъ ты сама!—сказалъ онъ.

— Ну, ужъ хороша роза?

— Ты лучше ея!

— Понюхайте, какъ она пахнетъ!

Онъ нюхалъ цвѣтокъ и шелъ за ней.

— А вотъ эти маргаритки надо полить, и піоны тоже!— говорила она опять, и уже была въ другомъ углу сада, черпала воду изъ бочки и съ граціознымъ усиліемъ несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другіе.

— А въ Петербургѣ еще и сирени не зацвѣли, — сказалъ онъ.

— Ужели? А у насъ ужъ отцвѣли, теперь акаціи начинаютъ цвѣсти. Для меня праздникъ, когда липы зацвѣтутъ— какой запахъ!

— Сколько здѣсь птицъ!—сказалъ онъ, вслушиваясь въ веселое щебетанье на деревьяхъ.

— У насъ и соловьи есть—вонъ тамъ, въ рощѣ! И мои птички всѣ здѣсь пойманы, — говорила она. — А вотъ тутъ въ огородѣ мои грядки: я сама работаю. Подальше—тамъ арбузы, дыни, вотъ тутъ цвѣтная капуста, артишоки...

— Пойдемъ, Мареинька, къ обрыву, на Волгу смотрѣть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого мѣста! Я не долго съ вами пробуду. Бабушка велѣла объ обѣдѣ позаботиться. Вѣдь я хозяйка здѣсь! У меня ключи отъ серебра, отъ кладовой. Я вамъ велю достать вишневаго варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Онъ улыбкой поблагодарилъ ее.

— А что къ обѣду?—спросила она.—Бабушка намѣрена угостить васъ на славу.

— Вѣдь я обѣдалъ. Развѣ къ ужину.

— До ужина еще полдникъ будетъ: за чаемъ простоквашу подаютъ: что̀ лучше вы любите, творогъ со сливками... или...

— Да, я люблю творогъ...—разсѣянно отвѣчалъ Райскій.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу...

— Что̀ же лучше? — спросила она, и не слыша отвѣта, обернулась посмотрѣть, что̀ его занимаетъ. А онъ пристально слѣдилъ, какъ она, переступая черезъ канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и какъ изъ-подъ платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крѣпкая небольшая нога, въ бѣломъ чулкѣ, съ коротенькимъ, будто обрубленнымъ носкомъ, обутая въ лакированный башмакъ, съ красной сафьянной отдѣлкой и съ пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марѳинька: лакированный башмакъ!—сказалъ онъ.

Онъ думалъ, что она смутится, пойманная врасплохъ, приготовился наслаждаться ея смущеніемъ, смотрѣть, какъ она быстро и стыдливо броситъ изъ рукъ платье и юбку.

— Это мы съ бабушкой на ярмаркѣ купили, — сказала она, приподнявъ еще немного юбку, чтобъ онъ лучше могъ разглядѣть башмакъ. — А у Вѣрочки лиловые, — прибавила она.—Она любитъ этотъ цвѣтъ. Что же вамъ къ обѣду: вы еще не сказали?

Но онъ не слушалъ ея. «Милое дитя», думалъ онъ, «тебѣ не надо притворяться стыдливой!»

— Я не хочу ѣсть, Марѳинька. Дай руку, пойдемъ къ Волгѣ.

Онъ прижалъ ее руку къ груди и чувствовалъ, какъ у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивнаго, милаго ребенка, доброй сестры, или... молодой, расцвѣтшей красоты? Онъ боялся, станетъ ли его на то, чтобъ наблюдать ее, какъ артисту, а не отдаться, по обыкновенію, легкому впечатлѣнію?

У него передъ глазами былъ идеалъ простой, чистой натуры, и въ душѣ созидался образъ какого-то тихаго, семейнаго романа, и въ то же время онъ чувствовалъ, что романъ понемногу захватывалъ и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь какъ будто втягиваетъ его...

— Ты поешь, Марѳинька?—спросилъ онъ.

— Да... немножко,—застѣнчиво отвѣчала она.

— Что же?

— Русскіе романсы; начала итальянскую музыку, да учитель уѣхалъ. Я пою: Una voce poco fa, только трудно очень для меня. А вы поете?

— Дикимъ голосомъ, но зато безпрестанно.

— Что же?

— Все.

И онъ запѣлъ изъ «Ломбардовъ», потомъ маршъ изъ «Семирамиды», и вдругъ замолкъ.

Онъ взглядывалъ близко ей въ глаза, жалъ руку и соразмѣрялъ свой шагъ съ ея шагомъ.

«Ничего больше не надо для счастья», думалъ онъ: «умѣй только остановиться вовремя, не заглядывать въ даль. Такъ бы сдѣлалъ другой на моемъ мѣстѣ. Здѣсь все есть для тихаго счастья — но... это не мое счастье!» Онъ вздохнулъ. «Глаза привыкнутъ... воображеніе устанетъ,—и впечатлѣніе износится... иллюзія лопнетъ, какъ мыльный пузырь, едва разбудивъ нервы!..»

Онъ выпустилъ ея руку и задумался.

— Что жъ вы молчите?—спросила она.—«Ничего не говоритъ!» про себя прибавила потомъ.

— Ты любишь читать... читаешь, Марѳинька?—спросилъ онъ, очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Что же?

— Что попадется: Титъ Никонычъ журналы носитъ, по-

вѣсти читаю. Иногда у Вѣрочки возьму французскую книгу какую-нибудь. «Елену» недавно читала миссъ Еджеворть, еще «Дженъ Эйръ»... Это очень хорошо... Я двѣ ночи не спала: все читала, не могла оторваться.

— Что тебѣ больше нравится? Какой родъ чтенія?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь опредѣлить родъ.

— Да вы смѣяться будете, какъ давеча надъ гусенкомъ...—сказала она, не рѣшаясь говорить.

— Нѣтъ, нѣтъ, Марѳинька: смѣяться надъ такой милой, хорошенькой сестрой! Вѣдь ты хорошенькая?

— Ну, что за хорошенькая! — небрежно сказала она: — толстая, бѣлая! Вотъ Вѣрочка такъ хорошенькая, прелесть!

— Что же ты любишь читать? Поэзію читаешь: стихи?

— Да, Жуковскаго, Пушкина недавно «Мазепу» прочла.

— Что же, нравится?

Она отрицательно покачала головой.

— Отчего?

— Жалко Марію. Вотъ «Гулливеровы путешествія» нашла у васъ въ библіотекѣ и оставила у себя. Я ихъ разъ семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мура», «Братья Серапіоны», «Песочный человѣкъ»: это больше всего люблю.

— Какія же тебѣ книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

— Серьезное? — повторила она, и лицо у ней вдругъ серьезно сморщилось немного: — Да, вонъ у меня изъ вашихъ книгъ остались нѣкоторыя, да я ихъ не могу одолѣть...

— Какія же?

— Шатобріана — «Les Martyrs...» Это ужъ очень высоко для меня!

— Ну, а исторію?

— Леонтій Ивановичъ давалъ—Мишле, «Précis de l'his-

toire moderne», потомъ римскую исторію, кажется, Жибона...

— То-есть, Гиббона: что же?

— Я не дочитала... слишкомъ величественно! Это надо только учителямъ читать, чтобъ учить...

— Ну, романы читаешь?

— Да... только такіе, гдѣ кончается свадьбой.

Онъ засмѣялся, и она за нимъ.

— Это глупо? да?—спросила она.

— Нѣтъ, мило. Въ тебѣ глупаго не можетъ быть.

— Я всегда прежде посмотрю,—продолжала она смѣлѣе:—и если печальный конецъ въ книгѣ—я не стану читать. Онъ «Басурмана» начала, да Вѣрочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

— Стало-быть, ты и «Горя отъ ума» не любишь? Тамъ не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

— Софья Павловна гадкая,—замѣтила она:—а Чацкаго жаль: пострадалъ за то, что умнѣе всѣхъ!

Онъ съ улыбкой вслушивался въ ея литературный лепетъ и съ возрастающимъ наслажденіемъ вглядывался ей въ глаза, въ бѣленькіе, тѣсные зубы, когда она смѣялась.

— Мы будемъ вмѣстѣ читать,—сказалъ онъ:—у тебя сбивчивыя понятія, вкусъ не развитъ. Хочешь учиться? Будешь понимать, дѣлать вѣрно критическую оцѣнку.

— Да, только выбирайте книжки, гдѣ веселый конецъ, свадьба...

— И дѣтки чтобъ были?—лукаво спросилъ онъ:—чтобъ одного «кашкой кормили», другому «осночку прививали»? Да?

— Злой, злой! ничего не стану говорить вамъ... Вы все замѣчаете, ничего не пропустите...

— Такъ ты не выйдешь ни за кого безъ бабушкина спроса?

— Не выйду!—сказала она съ твердостью, даже немного

хвастливо, что она не въ состояніи сдѣлать такого дурного поступка.

— Почему же такъ?

— А если онъ картежникъ, или пьяница, или дома никогда не сидитъ, или безбожникъ какой-нибудь, вонъ какъ Маркъ Иванычъ... почемъ я знаю? А бабушка все узнаетъ...

— А Маркъ Иванычъ безбожникъ?

— Никогда въ церковь не ходитъ.

— Ну, а если этотъ безбожникъ или картежникъ понравится тебѣ?..

— Все равно, я не выйду за него!

— А если полюбишь ты?..

— Картежника, или такого, который смѣется надъ религіей, вонъ какъ Маркъ Иванычъ: будто это можно? Я съ нимъ не заговорю никогда: какъ же полюблю?

— Такъ что бабушка скажетъ, такъ тому и быть?

— Да, она лучше меня знаетъ.

— А когда же ты сама будешь знать и жить?

— Когда... буду въ зрѣлыхъ лѣтахъ, буду своимъ домомъ жить, когда у меня будутъ свои...

— Дѣти?—подсказалъ Райскій.

— Свои коровы, лошади, куры, много людей въ домѣ... Да, и дѣти...—краснѣя, добавила она.

— А до тѣхъ поръ, все бабушка?

— Да. Она умная, добрая, она все знаетъ. Она лучше всѣхъ здѣсь и въ цѣломъ свѣтѣ!—съ одушевленіемъ сказала она.

Онъ замолчалъ, припоминалъ Бѣловодову, разговоръ съ ней, сходство между той и другой, и разныя причины этого сходства, и причины несходства.

У него рисовались оба образа, и просились во что-то: обѣ готовыя, обѣ прекрасныя—каждая своей красотой—обѣ разливали яркій свѣтъ на какую-то картину.

Что изъ этого будетъ — онъ не зналъ, и пока рѣшилъ написать Марѳинькинъ портретъ масляными красками.

Они подошли къ обрыву. Марѳинька боязливо заглянула внизъ и, вздрогнувъ, попятилась назадъ.

Райскій бросилъ взглядъ на Волгу, забылъ все и замеръ неподвижно, воззрясь въ ея задумчивое теченіе, глядя какъ она раскидывается по лугамъ широкими разливами.

Полноводье еще не сбыло и рѣка завладѣла плоскимъ прибрежьемъ, а у крутыхъ береговъ шумливо и кругами омывала подножія горъ. Въ разныхъ мѣстахъ, незамѣтно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небѣ рядами висѣли облака.

Марѳинька подошла къ Райскому и смотрѣла равнодушно на всю картину, къ которой привыкла давно.

— Вотъ эти суда посуду везутъ,—говорила она: — а это расшивы изъ Астрахани плывутъ. А вотъ, видите, какъ эти домики окружило водой? Тамъ бурлаки живутъ. А вонъ, за этими двумя горками, дорога идетъ къ попадьѣ. Тамъ теперь Вѣрочка. Какъ тамъ хорошо, на берегу! Въ іюлѣ мы будемъ ѣздить на островъ, чай пить. Тамъ бездна цвѣтовъ.

Райскій молчалъ.

— Тамъ зайцы водятся, только теперь ихъ затопило, бѣдныхъ! У меня кролики есть, я вамъ покажу!

Онъ продолжалъ молчать.

— Въ концѣ лѣта суда съ арбузами придутъ, — продолжала она: — сколько ихъ тутъ столпится! Мы покупаемъ только мочить, а къ десерту свои есть, крупные, иногда въ пудъ вѣсомъ бываютъ. Прошлый годъ больше пуда одинъ былъ, бабушка архіерею отослала.

Райскій все смотрѣлъ.

«Все молчитъ!» шепнула Марѳинька про себя.

— Пойдемъ туда! — вдругъ сказалъ онъ, показывая на обрывъ и взявъ ее за руку.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ; боюсь!— говорила она, дрожа и пятясь.

— Со мной боишься?

— Боюсь!

— Я тебѣ не дамъ упасть. Развѣ ты не вѣришь, что я сберегу тебя?

— Вѣрю, да боюсь. Вонъ Вѣрочка не боится! одна туда ходитъ, даже въ сумерки! Тамъ убійца похороненъ, а ей ничего!

— Ну, если бъ я сказалъ тебѣ: «закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя»,—ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

— Да... дала бы, и глаза бы закрыла, только... однимъ глазомъ тихонько бы посмотрѣла...

— Ну, вотъ теперь попробуй—закрой глаза, дай руку; ты увидишь, какъ я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, ввѣрься мнѣ, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но такъ, чтобъ можно было видѣть, и только онъ взялъ ее за руку и провелъ шагъ, она вдругъ увидѣла, что онъ сдѣлалъ шагъ внизъ, а она стоитъ на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

— Ни за что не пойду, ни за что!—съ хохотомъ и визгомъ говорила она, вырываясь отъ него. — Пойдемте, пора домой, бабушка ждетъ! Что же къ обѣду? — спрашивала она:—любите ли вы макароны? свѣжіе грибы?

Онъ ничего не отвѣчалъ и любовался ею.

— Какая ты прелесть! Ты цѣльная, чистая натура! и какъ ты вѣрна ей,—сказалъ онъ:—ты находка для художника! Сама естественность!

Онъ поцѣловалъ у нея руку.

— Чего-чего не наговорили обо мнѣ! Да куда же вы?

Отвѣта не было. Она подошла къ обрыву шага на два, робко заглянула туда и видѣла, какъ съ шумомъ раздавались кусты врозь и какъ Райскій, точно по крупнымъ уступамъ лѣстницы, прыгалъ по горбамъ и впадинамъ оврага.

— Страсть какая!—съ дрожью сказала она и пошла домой.

IV.

Райскій обогнулъ весь городъ и изъ глубины оврага поднялся опять на гору, въ противоположномъ концѣ отъ своей усадьбы. Съ вершины холма онъ сталъ спускаться въ предмѣстье. Весь городъ лежалъ передъ нимъ, какъ на ладони.

Онъ съ пристрастнымъ чувствомъ, пробужденнымъ старыми, почти дѣтскими воспоминаніями, смотрѣлъ на эту кучу разнохарактерныхъ домовъ, домиковъ, лачужекъ, сбившихся въ кучу, или разбросанныхъ по высотамъ и по ямамъ, ползущихъ по окраинамъ оврага, спустившихся на дно его, домиковъ съ балконами, съ маркизами, съ бельведерами, съ пристройками, надстройками, съ венеціанскими окошками, или едва замѣтными щелями вмѣсто оконъ, съ голубятнями, скворечниками, съ пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрѣлъ на искривленные, безконечные, идущіе между плетнями, переулки, на пустыя, безъ домовъ, улицы, съ громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», съ базарами, гдѣ навалены груды лыкъ, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зіяющія ворота постоялыхъ дворовъ, съ далеко разносящимся запахомъ навоза, и на бренчащія по улицѣ дрожки.

Было за полдень давно. Надъ городомъ лежало оцѣпенѣніе покоя, штиль на сушѣ, какой бываетъ на морѣ, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не городъ, а кладбище, какъ всѣ эти города.

Онъ, не то умеръ, не то уснулъ, или задумался. Растворенныя окна зіяли, какъ разверстыя, но не говорящія уста; нѣтъ дыханія, не бьется пульсъ. Куда же убѣжала жизнь? Гдѣ глаза и языкъ у этого лежащаго тѣла? Все пестро, зелено, и все молчитъ.

Райскій вошелъ въ переулки и улицы: даже нѣтеръ не ходитъ. Пыль, уже третій день нетронутая, однимъ узоромъ

отъ проѣхавшихъ колесъ лежитъ по улицамъ; въ тѣни забора отдыхаетъ козелъ, да куры, вырывъ ямки, усѣлись въ нихъ, а неутомимый пѣтухъ ищетъ поживы, проворно раскапывая, то одной, то другой ногой, кучу пыли.

Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежатъ разношерстной кучей на любомъ дворѣ, бросаясь, по временамъ, отъ праздности, съ лаемъ на рѣдкаго прохожаго, до котораго имъ никакого дѣла нѣтъ.

Просторъ и пустота — какъ въ пустынѣ. Кое-гдѣ высунется изъ окна голова съ сѣдой бородой, въ красной рубашкѣ, поглядитъ, зѣвая, на обѣ стороны, плюнетъ и спрячется.

Въ другое окно, съ улицы, увидишь храпящаго, на кожаномъ диванѣ, человѣка, въ халатѣ: подлѣ него на столикѣ лежатъ «Вѣдомости», очки, и стоитъ графинъ квасу.

Другой сидитъ по цѣлымъ часамъ у воротъ, въ картузѣ, и въ мирномъ бездѣйствіи смотритъ на канаву съ крапивой и на заборъ на противоположной сторонѣ. Давно ужъ мнетъ носовой платокъ въ рукахъ—и все не рѣшается высморкаться: лѣнь.

Тамъ кто-то бездѣйствуетъ у окна, съ пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошелъ, всегда сидитъ онъ—съ довольнымъ, ничего не желающимъ и нескучающимъ взглядомъ.

Въ другомъ мѣстѣ видѣлъ Райскій такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь вѣкъ проведшую въ своемъ переулкѣ, безъ суматохи, безъ страстей и волненій, безъ ежедневныхъ встрѣчъ съ безконечно-разнообразной породой подобныхъ себѣ, и не вѣдающую скуки, которую такъ глубоко и тяжко вѣдаютъ въ большихъ городахъ, въ центрѣ дѣлъ и развлеченій.

Райскій, идучи изъ переулка въ переулокъ, видѣлъ кое-гдѣ семью за трапезой, а тамъ, въ мѣщанскомъ домѣ, ужъ подавали самоваръ.

Въ безлюдной улицѣ за версту слышно, какъ разговари-

ваютъ двое-трое между собой. Звонко раздаются голоса въ пустотѣ и шаги по деревянной мостовой.

Гдѣ-то въ сараѣ кучеръ рубитъ дрова, тутъ же поросенокъ хрюкаетъ въ навозѣ; въ низенькомъ окнѣ, въ уровень съ землею, отдувается коленкоровая занавѣска съ бахромой, путаясь въ резедѣ, бархатцахъ и бальзаминахъ.

Тамъ сидитъ, наклоненная надъ шитьемъ, бодрая, хорошенькая головка и шьетъ прилежно, несмотря на жаръ и всѣхъ одолѣвающую дремоту. Она одна бодрствуетъ въ домѣ и, можетъ-быть, сторожитъ знакомые шаги...

Изъ отворенныхъ оконъ одного дома обдало его сотней звонкихъ голосовъ, которые повторяли азы и дѣлали совершенно лишнею надпись на дверяхъ: «Школа».

Дальше набрелъ онъ на постройку дома, на кучу щепокъ, стружекъ, бревенъ, и на кружокъ расположившихся около огромной деревянной чашки плотниковъ. Большой коровай хлѣба, накрошенный въ квасъ лукъ, да кусокъ красноватой соленой рыбы—былъ весь обѣдъ.

Мужики сидѣли смирно и молча, по очереди опускали ложки въ чашку и опять клали ихъ, жевали, не торопясь, не смѣялись и не болтали за обѣдомъ, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.

Райскому хотѣлось нарисовать эту группу усталыхъ, серьёзныхъ, буро-желтыхъ, какъ у отаитянъ, лицъ, эти черствыя, загорѣлыя руки, съ негнущимися пальцами, крѣпко вросшими, будто желѣзными, ногтями, эти широко и мѣрно растворяющіеся рты и медленно жующія уста, и этотъ—поглощающій хлѣбъ и кашу—голодъ.

Да, голодъ, а не аппетитъ: у мужиковъ не бываетъ аппетита. Аппетитъ вырабатывается праздностью, моціономъ и нѣгой, голодъ—временемъ и тяжкой работой.

«Однако, какая широкая картина тишины и сна!» думалъ онъ, оглядываясь вокругъ: «какъ могила! Широкая рама для романа! Только что я вставлю въ эту раму?»

— Прошу садиться!—просилъ онъ.—Вы какого учителя изволите спрашивать?—продолжалъ онъ, когда они сѣли.

— Леонтія Козлова.

— Есть купецъ Козловъ, торгуетъ въ рядахъ...— задумчиво говорилъ хозяинъ.

— Нѣтъ, Козловъ—учитель древней словесности,—повторилъ Райскій.

— Словесности... нѣтъ, не знаю... Вамъ бы въ гимназіи спросить—она тамъ на горѣ.

«Это я и самъ знаю», подумалъ Райскій.

— Извините,—сказалъ онъ:—я думалъ, что всякій его знаетъ, такъ какъ онъ давно въ городѣ.

— Позвольте... не онъ ли у предсѣдателя учитъ дѣтей? Такъ онъ тамъ и живетъ: бравый такой изъ себя...

— Нѣтъ, нѣтъ—этотъ не бравый!—съ усмѣшкой замѣтилъ Райскій, уходя.

Вышедши на улицу, онъ наткнулся на какого-то прохожаго и спросилъ, не знаетъ ли онъ, гдѣ живетъ учитель Леонтій Козловъ.

Тотъ подумалъ немного, оглядѣлъ съ ногъ до головы Райскаго, потомъ отвернулся въ сторону, высморкался въ пальцы и сказалъ, указывая на другую сторону:

— Это, должно-быть, тамъ, на выѣздѣ, за мостомъ: тамъ какой-то учитель живетъ.

Къ счастью Райскаго, прохожій кантонистъ вслушался въ разговоръ.

— Эхъ ты: это садовникъ!—сказалъ онъ.

— Знаю, что садовникъ, да онъ учитель,—возразилъ первый.—Къ нему господа на выучку ребятъ присылаютъ...

— Имъ не его надо,—возразилъ писарь, глядя на Райскаго:—пожалуйте за мной!—прибавилъ онъ и проворно пошелъ впередъ.

Райскій слѣдовалъ за нимъ изъ улицы въ улицу и, на-

конецъ, вожатый привелъ его къ тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

— Вотъ школа, вонъ и учитель самъ сидитъ!—прибавилъ онъ, указывая въ окно на учителя.

— Да это совсѣмъ не то!—съ неудовольствіемъ отозвался Райскій, бѣсясь на себя, что забылъ дома спросить адресъ Козлова.

— А то еще на горѣ есть гимназія... — сказалъ кантонистъ.

— Ну, хорошо, спасибо, я найду самъ! — поблагодарилъ Райскій и вошелъ въ школу, полагая, что учитель вѣрно знаетъ, гдѣ живетъ Леонтій.

Онъ не ошибся: учитель, загнувъ въ книгу палецъ, вышелъ съ Райскимъ на улицу и указалъ, какъ пройти одну улицу, потомъ завернуть направо, потомъ налѣво.

— Тамъ упретесь въ садикъ, — прибавилъ онъ: — тутъ Козловъ и живетъ.

«Да, долго еще до прогресса!» думалъ Райскій, слушая раздававшіеся ему вслѣдъ дѣтскіе голоса и проходя въ пятый разъ по однѣмъ и тѣмъ же улицамъ и опять не встрѣчая живой души. «Что за фигуры, что за нравы, какія явленія! Всѣ, всѣ годятся въ романъ: всѣ эти штрихи, оттѣнки, обстановка—перлы для кисти! Каковъ-то Леонтій: измѣнился, или все тотъ же ученый, но недогадливый младенецъ? Онъ—тоже находка для художника!»

И вошелъ въ домъ.

V.

Леонтій принадлежалъ къ породѣ тѣхъ, погруженныхъ въ книги и ничего, кромѣ ихъ, не вѣдающихъ ученыхъ, живущихъ прошлою или идеальною жизнью, жизнью цифръ, ипотезъ, теорій и системъ, и не замѣчающихъ настоящей, кругомъ текущей жизни.

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопыт-

ная порода людей на бѣломъ свѣтѣ. Изида сняла вуаль съ лица, и жрецы ея, стыдясь, сбросили парики, мантіи, длиннополые сюртуки, надѣли фраки, пальто и вмѣшались въ толпу.

Рѣдко гдѣ встрѣтишь теперь небритыхъ, нечесанныхъ ученыхъ, съ неподвижнымъ и вѣчно задумчивымъ взглядомъ, съ одною, вертящеюся около науки рѣчью, съ односторонним, ушедшимъ въ науку умомъ, иногда и здравымъ смысломъ, неловкихъ, стыдливыхъ, убѣгающихъ женщинъ, глубокомысленныхъ, съ забавною разсѣянностью и съ умилительной младенческой простотой,—этихъ мучениковъ, рыцарей и жертвъ науки. И педантъ науки — теперь сталъ анахронизмомъ, потому что ею не удивишь никого.

Леонтій принадлежалъ еще къ этой породѣ, съ немногими смягченіями, какія сдѣлало время. Онъ родился въ одномъ городѣ съ Райскимъ, воспитывался въ одномъ университетѣ.

Глядя на него, еще на ребенка, непремѣнно скажешь, что и ученые, по крайней мѣрѣ такіе, какъ эта порода, подобно поэтамъ, тоже — nascuntur. Всегда, бывало, онъ съ растрепанными волосами, съ блуждающими гдѣ-то глазами, вѣчно копающійся въ книгахъ, или въ тетрадяхъ, какъ будто у него не было дѣтства, не было перва—шалить, рѣзвиться.

Потѣшалась же надъ нимъ и молодость. То мазнетъ его сажей по лицу какой-нибудь шалунъ, Леонтій не догадается и ходитъ съ пятномъ цѣлый день, къ потѣхѣ публики, да еще ему же достанется отъ надзирателя, зачѣмъ выпачкался.

Дастъ ли ему кто щелчка или дернетъ за волосы, ущипнетъ,—онъ сморщится, и вмѣсто того, чтобъ вскочить, броситься и догнать шалуна, онъ когда-то соберется обернуться, и посмотритъ разсѣянно во всѣ стороны, а тотъ ужъ за версту убѣжалъ, а онъ почесываетъ больное мѣсто, опять задумывается, пока новый щелчокъ, или звонокъ къ обѣду, не выведутъ его изъ созерцанія.

Слѣдятъ ли у него изъ-подъ рукъ завтракъ или обѣдъ, онъ не станетъ производить слѣдствія, а возьметъ книгу посерьезнѣе, чтобы заморить аппетитъ, или уснетъ, утомленный голодомъ.

Промыслить обѣдъ, стащить или просто попросить — онъ былъ еще менѣе способенъ, нежели преслѣдовать похитителей. Зато, если ошибкой, невзначай, самъ набредетъ на съѣстное, чужое ли, свое ли—то непремѣнно, бывало, съѣстъ.

Какъ, однако, ни потѣшались товарищи надъ его задумчивостью и разсѣянностію, но его теплое сердце, кротость, добродушіе и поражавшая даже ихъ, мальчишекъ въ школѣ, простота, цѣльность характера, чистаго и высокаго—все это пріобрѣло ему ничѣмъ не нарушимую симпатію молодой толпы. Онъ имѣлъ причины быть многими недоволенъ—имъ никто и никогда.

Выросши изъ періода шалостей, товарищи поняли его и окружили уваженіемъ и участіемъ, потому что, кромѣ характера, онъ былъ авторитетомъ и по знаніямъ. Онъ походилъ на нѣмецкаго гелертера, зналъ древніе и новые языки, хотя ни на одномъ не говорилъ, зналъ всѣ литературы, былъ страстный библіофилъ.

Фактическія знанія его были обширны и не были стоячимъ болотомъ, не строились, какъ у нѣкоторыхъ изъ усидчивыхъ семинаристовъ въ умѣ строятся кладбища, гдѣ прибавляется знаніе за знаніемъ, какъ строится памятникъ за памятникомъ, и всѣ они порастаютъ травой и безмолвствуютъ.

У Леонтія, напротивъ, билась въ знаніяхъ своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Онъ открытыми глазами смотрѣлъ въ минувшее. За строкой онъ видѣлъ другую строку. Къ древнему кубку придѣлывалъ и ширъ, на которомъ изъ него пили, къ монетѣ—карманъ, въ которомъ она лежала.

Часто съ Райскимъ уходили они въ эту жизнь. Райскій, какъ дилетантъ — для удовлетворенія мгновенной вспышки воображенія, Козловъ—всѣмъ существомъ своимъ; и Райскій

видѣлъ въ немъ въ эти минуты то же лицо, какъ у Васюкова за скрипкой, и слышалъ живой, вдохновенный разсказъ о древнемъ бытѣ, или, напротивъ, самъ увлекалъ его своей фантазіей — и они полюбили другъ въ другѣ этотъ живой нервъ, которымъ каждый былъ по-своему связанъ съ знаніемъ.

Леонтій впадалъ въ пристрастіе къ греческой и латинской грамотѣ и бывалъ иногда сухъ, казался педантиченъ, и это не изъ хвастовства, а потому что она была ему мила, она была одеждой, сосудомъ, облекавшимъ милую, дорогую, изученную имъ и привѣтливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни.

Онъ любилъ ее, эту родоначальницу нашихъ знаній, нашего развитія, но любилъ слишкомъ горячо, весь отдался ей, и отъ него ушла и спряталась современная жизнь. Онъ былъ въ ней какъ будто чужой, не свой, смѣшной, неловкій.

Леонтій былъ классикъ и безусловно чтилъ все, что истекало изъ классическихъ образцовъ или что подходило подъ нихъ. Уважалъ Корнеля, даже чувствовалъ слабость къ Расину, хотя и говорилъ съ усмѣшкой, что они заняли только тоги и туники, какъ въ маскарадѣ, для своихъ маркизовъ: но все же въ нихъ звучали древнія имена дорогихъ ему героевъ и мѣстъ.

Въ новыхъ литературахъ, тамъ, гдѣ не было древнихъ формъ, признавалъ только одну высокую поэзію, а тривіальнаго, вседневнаго не любилъ; любилъ Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока — и не могъ. Шекспиру удивлялся, но не любилъ его; любилъ Гёте, но не романтика-Гёте, а классика, наслаждался римскими элегіями и путешествіями по Италіи больше, нежели Фаустомъ, Вильгельма Мейстера не признавалъ, но зналъ почти наизусть Прометея и Тасса.

Онъ шелъ смотрѣть Рафаэля, но авторитета фламандской

школы не уважалъ, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера.

Онъ былъ такъ бѣденъ, какъ нельзя уже быть бѣднѣе. Жилъ въ какомъ-то чуланчикѣ, между печкой и дровами, работалъ при свѣтѣ плошки, и если бъ не симпатія товарищей, онъ не зналъ бы, гдѣ взять книгъ, а иногда бѣлья и платья.

Подарковъ онъ не принималъ, потому что нечѣмъ было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертаціи и дарили за это бѣлье, платье, рѣдко деньги, а чаще всего книги, которыхъ отъ этого у него накопилось больше, нежели дровъ.

Все юношество кипѣло около него жизнью, строя великолѣпные планы будущаго: одинъ онъ не мечталъ, не игралъ, ни въ полководцы, ни въ сочинители, а говорилъ одно: — Буду учителемъ въ провинціи, считая это скромное назначеніе своимъ призваніемъ.

Товарищи, и между прочимъ Райскій, старались расшевелить его самолюбіе, говорили о творческой, производительной дѣятельности и о профессорской каѳедрѣ. Это, конечно, былъ маршальскій жезлъ, вѣнецъ его желаній. Но онъ глубоко вздыхалъ въ отвѣтъ на эти мечты.

— Да, прекрасно,—говорилъ онъ, вдумываясь въ назначеніе профессора:—дѣйствовать на ряды поколѣній живымъ словомъ, передавать все, что̀ самъ знаешь и любишь! Сколько и самому для себя занятій, сколько средствъ: библіотека, живые толки съ собратами, можно потомъ за границу, въ Германію, въ Кембриджъ... въ Эдинбургъ, — одушевляясь прибавлялъ онъ:—познакомиться, потомъ переписываться... Да, нѣтъ, куда мнѣ! — прибавлялъ онъ, отрезвляясь: — профессоръ обязанъ другими должностями, онъ въ совѣтахъ, его зовутъ на экзамены... Рѣчь на актѣ надо читать... Я потеряюсь, куда мнѣ! нѣтъ, буду учителемъ въ провинціи!— заключалъ онъ рѣшительно и утыкалъ носъ въ книгу или тетради.

Всѣ болѣе или менѣе обманулись въ мечтахъ. Кто хотѣ
воевать, истреблять родъ людской, не успѣлъ вернуться
деревню, какъ развелъ кучу подобныхъ себѣ и осовѣлъ
мѣстѣ, погрузясь въ толки о долгахъ въ опекунскій совѣ
въ карты, въ обѣды.

Другой мечталъ добиться высокаго поста въ службѣ,
которомъ можно свободно дѣйствовать на широкой аренѣ,
добился мѣста члена въ клубѣ, которому и посвятилъ св
досуги.

Вотъ и Райскій мечталъ быть артистомъ, и все «носи
еще огонь въ груди», все производитъ начатки, отрыв
мотивы, эскизы и широкіе замыслы, а имя его еще
громко, произведенія не радуютъ свѣта.

Одинъ Леонтій достигъ заданной себѣ цѣли, и уѣха
учителемъ въ провинцію.

Пришло время разставаться, товарищи постепенно у
жали одинъ за другимъ. Леонтій оглядывался съ безпок
ствомъ, замѣчалъ пустоту и тосковалъ, не зная, по непр
тичности своей, что̀ съ собой дѣлать, куда дѣваться.

— И ты!—уныло говорилъ онъ, когда кто-нибудь при
дилъ прощаться.

Рѣдкій могъ не заплакать, разставаясь съ нимъ, и са
онъ задыхался отъ слезъ, не помня ни щипковъ, ни п
ковъ, ни проглоченныхъ насмѣшекъ и непроглоченныхъ,
ихъ милости, обѣдовъ и завтраковъ.

Наконецъ надо было и ему хлопотать о себѣ. Но
ему? Райскій поднялъ на ноги все, профессора приняли у
стіе, писали въ Петербургъ и выхлопотали ему желан
мѣсто въ желанномъ городѣ.

Тамъ на родинѣ, Райскій, съ помощью бабушки и
сколькихъ знакомыхъ, устроили его на квартирѣ, и тол
уладились всѣ эти внѣшнія обстоятельства, Леонтій п
нялся за свое дѣло, съ усердіемъ и терпѣніемъ вола и о

вмѣстѣ, и ушелъ опять въ свою, или лучше сказать чужую, минувшую жизнь.

Татьяна Марковна не совсѣмъ была внимательна къ богатой библіотекѣ, доставшейся Райскому, книги продолжали изводиться въ пыли и въ прахѣ стараго дома. Изъ нихъ Марѳинька брала изрѣдка кое-какія книги, безъ всякаго выбора: какъ, напримѣръ, Свифта, Павла и Виргинію, или возьметъ Шатобріана, потомъ Расина, потомъ романъ мадамъ Жанлисъ, и книги берегла, если не больше, то наравнѣ со своими цвѣтами и птицами.

Прочими книгами въ старомъ домѣ одно время завѣдывала Вѣра, т.-е. брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое мѣсто. Но все-таки до книгъ дотрогивалась живая рука, и онѣ кое-какъ уцѣлѣли, хотя нѣкоторыя, постарѣе и позамасленнѣе, тронуты были мышами. Вѣра писала объ этомъ черезъ бабушку къ Райскому, и онъ поручилъ передать книги на попеченіе Леонтія.

Леонтій обмеръ, увидя тысячи три волюмовъ—и старыя, запыленныя, запѣсневѣлыя книги получили новую жизнь, свѣтъ и употребленіе, пока, какъ видно изъ письма Козлова, какой-то Маркъ чуть-было не докончилъ дѣла мышей.

VI.

Леонтій былъ женатъ. Экономъ какого-то казеннаго заведенія въ Москвѣ держалъ между прочимъ столъ для приходящихъ студентовъ, давая за рубль съ четвертью мѣдью три, и за полтинникъ четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда.

Ихъ привлекали не однѣ щи, лапша, макароны, блины и т. п. изъ казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцомъ, и студентами.

Она была очень молоденькая въ ту эпоху, когда учились Райскій и Козловъ, но, несмотря на свои шестнадцать или

семнадцать лѣтъ, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая дѣвушка.

У ней былъ прекрасный носъ и граціозный ротъ, съ хорошенькимъ подбородкомъ. Особенно профиль былъ правиленъ, линія его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнѣе на затылкѣ, но чѣмъ шли выше, тѣмъ свѣтлѣе, и верхняя половина косы, лежавшая на маковкѣ, была золотисто-красноватаго цвѣта: отъ этого у ней на головѣ, на лбу, отчасти и на бровяхъ, тоже немного рыжеватыхъ, какъ будто постоянно горѣлъ лучъ солнца.

Около носа и на щекахъ роились веснушки и не совсѣмъ пропадали даже зимою. Изъ-подъ нихъ пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь и придавали лицу тѣнь, безъ которой оно казалось какъ-то слишкомъ ярко освѣщено и открыто.

Оно имѣло еще одну особенность: постоянно лежащій смѣхъ въ чертахъ, когда и не было чему, и не расположена она была смѣяться. Но смѣхъ какъ будто застылъ у ней въ лицѣ и шелъ больше къ нему, нежели слезы, да едва ли кто и видалъ ихъ на немъ.

Студенты всѣ влюблялись въ нее, по очереди, или по нѣсколько въ одно время. Она всѣхъ водила за носъ и про любовь одного разсказывала другому и смѣялась надъ первымъ, потомъ съ первымъ надъ вторымъ. Нѣкоторые изъ-за нея перессорились.

Кто-то догадался и подарилъ ей парижскія ботинки и серьги, она стала ласковѣе къ нему: шепталась съ нимъ, убѣгала въ садъ и приглашала къ себѣ по вечерамъ пить чай.

Другіе узнали и послѣдовали тому же примѣру: кто дарилъ матерію на платье, подъ предлогомъ благодарности о продовольствіи, кто доставалъ ложу, носили ей конфеты, и Улинька стала одинаково любезна почти со всѣми.

Тутъ развернулись ея способности. Если кто, бывало, ста-

нетъ ревновать ее къ другимъ, она начнетъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ дѣломъ невозможнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умѣла казаться строгой, бранила волокить за то, что завлекаютъ и потомъ бросаютъ неопытныхъ дѣвицъ.

Она порицала и осмѣивала подругъ и знакомыхъ, когда онѣ увлекались, живо и съ удовольствіемъ разскажетъ всѣмъ, что сегодня на зарѣ застали Лизу, разговаривающую съ письмоводителемъ чрезъ заборъ въ саду, или что вонъ къ той барынѣ (и имя, отчество, и фамилію скажетъ) ѣздитъ все баринъ въ каретѣ и выходитъ отъ нея часу во второмъ ночи.

Соперниковъ она учила, что и какъ говорить, когда спросятъ о ней, когда и гдѣ были вчера, куда уходили, что шептали, зачѣмъ пошли въ темную аллею или въ бесѣдку, зачѣмъ приходилъ вечеромъ тотъ или другой—все.

Леонтій, разумѣется, и не думалъ ходить къ ней: онъ жилъ на квартирѣ, на хозяйскихъ однообразныхъ харчахъ, т.-е. на щахъ и кашѣ, и такой роскоши, чтобъ обѣдать за рубль съ четвертью, или за полтинникъ, ѣсть какіе-нибудь макароны, или свиныя котлеты, — позволять себѣ не могъ. И одѣться ему было не во что: одинъ вицъ-мундиръ и двое брюкъ, изъ которыхъ однѣ нанковые для лѣта,—вотъ весь его гардеробъ.

Но Райскій раза три повелъ его туда. Леонтій не обращалъ вниманія на Ульяну Андреевну и жадно ѣлъ, чавкая вслухъ и думая о другомъ, и потомъ робко уходилъ домой, не говоря ни съ кѣмъ, кромѣ сосѣда, т.-е. Райскаго.

И некрасивъ онъ былъ: худъ, задумчивъ, черты неправильныя, какъ будто всѣ врозь, ни румянца, ни бѣлизны на лицѣ: оно было какое-то безцвѣтное.

Только когда онъ углубится въ длинные разговоры съ Райскимъ, или слушаетъ лекцію о древней и чужой жизни, читаетъ старца-классика—тогда только появлялась вдругъ у него жизнь въ глазахъ, и глаза эти бывали умны, оживлены.

Но гдѣ Улинькѣ было замѣтить такую красоту? Она замѣтила только, что у него то на вицъ-мундирѣ пуговицы нѣтъ, то панталоны разорваны, или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что онъ ни разу не посмотрѣлъ на нее пристально, а глядѣлъ, какъ на стѣну, на скатерть.

Этого еще никогда ни съ кѣмъ не случалось, кто приходилъ къ ней. Даже и не впечатлительные молодые люди, и тѣ остановятъ глаза прежде всего на ней.

А этотъ, ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянетъ, когда та подаетъ блюда, мѣняетъ тарелки.

А Устинья тоже замѣчательна въ своемъ родѣ. Она — постоянный предметъ вниманія и развлеченія гостей. Это была нескладная баба, съ такимъ лицомъ, которое какъ будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да такъ на всю жизнь и осталось съ этимъ удивленіемъ. Но Леонтій и ея не замѣчалъ.

Ужъ у Улиньки не разъ скалились зубы на его фигуру и разсѣянность, но товарищи, особенно Райскій, такъ много наговорили ей хорошаго о немъ, что она ограничивалась только своимъ насмѣшливымъ наблюденіемъ, а когда не хватало терпѣнія, то уходила въ другую комнату разразиться смѣхомъ.

— Какой смѣшной этотъ Козловъ у васъ!—говорила она.

— Онъ предобрый!—хвалилъ его кто-нибудь.

— Преумный, съ какими познаніями: по-гречески только профессоръ, да протопопъ въ соборѣ лучше его знаютъ! — говорилъ другой.—Его адъюнктомъ сдѣлаютъ.

— Высокой нравственности!—прибавлялъ съ увлеченіемъ третій.

Однажды — это было въ пятый или шестой разъ, какъ онъ пришелъ съ Райскимъ обѣдать—онъ, по разсѣянности, пересидѣлъ за обѣдомъ всѣхъ товарищей; всѣ ушли, онъ остался одинъ и задумчиво жевалъ какое-то пирожное изъ рису.

Онъ не замѣтилъ, что Ульяна Андреевна подставила другую, полную миску, съ тѣмъ же рисомъ. Она продолжалъ машинально доставать ложкой рисъ и класть въ ротъ.

Она тихонько перемѣнила третью, подложивъ еще рису, и сама изъ-за двери другой комнаты наблюдала, какъ онъ ѣлъ, и зажимала платкомъ ротъ, чтобъ не расхохотаться вслухъ. Онъ все ѣлъ.

«Добрый!» думала она: «собакъ не бьетъ! Какая же это доброта, коли онъ ничего подарить не можетъ! Умный!» продолжала она штудировать его: «ѣстъ третью тарелку рисовой каши и не замѣчаетъ! Не видитъ, что всѣ кругомъ смѣются надъ нимъ! Высоко-нравственный!..»

Она подумала-подумала надъ этимъ эпитетомъ, почесала себѣ пальцемъ темя, осмотрѣла разсѣянно свои ногти и зѣвнула.

«На немъ, кажется, и рубашки нѣтъ: не видать! Хороша нравственность!» заключила она.

Онъ все ѣлъ.

«Экъ жретъ: и не взглянетъ!» думала она и не выдержала, принялась хохотать.

Онъ услыхалъ смѣхъ, очнулся, растерялся и сталъ искать фуражку.

— Не торопитесь, доѣдайте,—сказала она:—хотите еще?

— Нѣтъ... нѣтъ... Я домой... — говорилъ онъ стыдливо, не глядя на нее, и совался изъ угла въ уголъ, отыскивая фуражку.

А Улинька давно схватила ее съ окна и надѣла на себя.

— Гдѣ жъ она! Кто-нибудь изъ вашихъ унесъ, — сказала она.

— Не можетъ-быть...—говорилъ Леонтій, бросая туда и сюда разсѣянные взгляды: — свою бы оставилъ, а то нѣтъ никакой...

«Вездѣ глядитъ, только не на меня, — медвѣдь!» думала она.

Но гдѣ Улинькѣ было замѣтить такую красоту? Она замѣтила только, что у него то на вицъ-мундирѣ пуговицы нѣтъ, то панталоны разорваны, или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что онъ ни разу не посмотрѣлъ на нее пристально, а глядѣлъ, какъ на стѣну, на скатерть.

Этого еще никогда ни съ кѣмъ не случалось, кто приходилъ къ ней. Даже и не впечатлительные молодые люди, и тѣ остановятъ глаза прежде всего на ней.

А этотъ, ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянетъ, когда та подаетъ блюда, мѣняетъ тарелки.

А Устинья тоже замѣчательна въ своемъ родѣ. Она — постоянный предметъ вниманія и развлеченія гостей. Это была нескладная баба, съ такимъ лицомъ, которое какъ будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да такъ на всю жизнь и осталось съ этимъ удивленіемъ. Но Леонтій и ея не замѣчалъ.

Ужъ у Улиньки не разъ скалились зубы на его фигуру и разсѣянность, но товарищи, особенно Райскій, такъ много наговорили ей хорошаго о немъ, что она ограничивалась только своимъ насмѣшливымъ наблюденіемъ, а когда не хватало терпѣнія, то уходила въ другую комнату разразиться смѣхомъ.

— Какой смѣшной этотъ Козловъ у васъ!—говорила она.

— Онъ предобрый!—хвалилъ его кто-нибудь.

— Преумный, съ какими познаніями: по-гречески только профессоръ, да протопопъ въ соборѣ лучше его знаютъ! — говорилъ другой.—Его адъюнктомъ сдѣлаютъ.

— Высокой нравственности!—прибавлялъ съ увлеченіемъ третій.

Однажды — это было въ пятый или шестой разъ, какъ онъ пришелъ съ Райскимъ обѣдать—онъ, по разсѣянности, пересидѣлъ за обѣдомъ всѣхъ товарищей; всѣ ушли, онъ остался одинъ и задумчиво жевалъ какое-то пирожное изъ рису.

Онъ не замѣтилъ, что Ульяна Андреевна подставила другую, полную миску, съ тѣмъ же рисомъ. Она продолжалъ машинально доставать ложкой рисъ и класть въ ротъ.

Она тихонько перемѣнила третью, подложивъ еще рису, и сама изъ-за двери другой комнаты наблюдала, какъ онъ ѣлъ, и зажимала платкомъ ротъ, чтобъ не расхохотаться вслухъ. Онъ все ѣлъ.

«Добрый!» думала она: «собакъ не бьетъ! Какая же это доброта, коли онъ ничего подарить не можетъ! Умный!» продолжала она штудировать его: «ѣстъ третью тарелку рисовой каши и не замѣчаетъ! Не видитъ, что всѣ кругомъ смѣются надъ нимъ! Высоко-нравственный!..»

Она подумала - подумала надъ этимъ эпитетомъ, почесала себѣ пальцемъ темя, осмотрѣла разсѣянно свои ногти и зѣвнула.

«На немъ, кажется, и рубашки нѣтъ: не видать! Хороша нравственность!» заключила она.

Онъ все ѣлъ.

«Экъ жретъ: и не взглянетъ!» думала она и не выдержала, принялась хохотать.

Онъ услыхалъ смѣхъ, очнулся, растерялся и сталъ искать фуражку.

— Не торопитесь, доѣдайте,—сказала она:—хотите еще?

— Нѣтъ... нѣтъ... Я домой... — говорилъ онъ стыдливо, не глядя на нее, и совался изъ угла въ уголъ, отыскивая фуражку.

А Улинька давно схватила ее съ окна и надѣла на себя.

— Гдѣ жъ она! Кто-нибудь изъ вашихъ унесъ, — сказала она.

— Не можетъ-быть...—говорилъ Леонтій, бросая туда и сюда разсѣянные взгляды: — свою бы оставилъ, а то нѣтъ никакой...

«Вездѣ глядитъ, только не на меня, — медвѣдь!» думала она.

— Нѣтъ ли какой-нибудь шапки?—спросилъ онъ:—тутъ не далеко, я дойду какъ-нибудь.

— Куда вы? Рано: пойдемте въ садъ! Можетъ-быть, фуражку сыщемъ,—звала она...—Не затащилъ ли кто-нибудь туда, въ бесѣдку?

Онъ машинально пошелъ за ней, и когда они прошли шаговъ десять по дорожкѣ, онъ взглянулъ случайно на нее и увидѣлъ свою фуражку. Кромѣ фуражки онъ опять ничего не замѣтилъ.

— Ахъ!—обрадовался онъ:—это вы...

Тутъ только онъ взглянулъ на нее, потомъ на фуражку, опять на нее, и вдругъ остановился съ удивленнымъ лицомъ, какъ у Устиньи, даже ротъ немного открылъ и сосредоточилъ на ней испуганные глаза, какъ будто въ первый разъ увидалъ ее. Она засмѣялась.

«Насилу разглядѣлъ!» подумала она и надѣла на него фуражку.

— Что жъ вы стали? Идите со мной,—сказала она.

— Мнѣ пора!—отвѣчалъ онъ, не двигаясь съ мѣста.

— Куда пора? Успѣете—я не пущу васъ.

Она быстро опять сняла у него фуражку съ головы; онъ машинально обѣими руками взялъ себя за голову, какъ будто освидѣтельствовать, что фуражки опять нѣтъ, и лѣниво пошелъ за ней, по временамъ робко и съ удивленіемъ глядя на нее.

— Отчего вы къ намъ обѣдать не ходите? Приходите завтра,—сказала она.

— Дорого!—отвѣчалъ онъ.

— Дорого! Развѣ вы... такъ бѣдны?—съ любопытствомъ спросила она.

— Да, я очень...—отвѣчалъ онъ, потупясь.

Онъ-было застыдился своей бѣдности, потомъ вдругъ ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдругъ откуда-то ошибкой закралась къ нему въ характеръ.

— Я очень бѣденъ,—сказалъ онъ:—развѣ вамъ не говорилъ Райскій, что мнѣ иногда за квартиру нечѣмъ заплатить! вы видите?

Онъ показывалъ ей полинявшій, и отчасти замасливщійся рукавъ вицъ-мундира.

Она равнодушно глядѣла на изношенный рукавъ, какъ на дѣло до нея не касающееся, потомъ на всю фигуру его, довольно худую, на худыя руки, на выпуклый лобъ и безцвѣтныя щеки. Только теперь разглядѣлъ Леонтій этотъ, далеко запрятанный въ черты ея лица смѣхъ.

— Вы смѣетесь надо мной? — спросилъ онъ съ удивленіемъ.

Такъ неестественно казалось ему смѣяться надъ бѣдностью.

— И не думала, — равнодушно сказала она: — что̀ за рѣдкость—изношенный мундиръ? Мало ли я ихъ вижу!

Онъ недовѣрчиво поглядѣлъ на нее; она дѣйствительно не смѣялась и не хотѣла смѣяться, только смѣялось у ней лицо.

— Вонъ у васъ пуговицы нѣтъ. Постойте, не уходите, подождите меня здѣсь! — замѣтила она, проворно побѣжала домой и черезъ двѣ минуты воротилась съ ниткой, иглой, съ наперсткомъ и пуговицей.

— Стойте смирно, не шевелитесь! — сказала она, взяла въ одну руку бортъ его сюртука, прижала пуговицу, и другой рукой живо начала сновать взадъ и впередъ иглой мимо носа Леонтья.

Щека ея была у его щеки, и ему надо было удерживать дыханіе, чтобъ не дышать на нее. Онъ усталъ отъ этого напряженнаго положенія, и даже его немного бросило въ потъ. Онъ не спускалъ глазъ съ нея:

«Да у ней чистый римскій профиль!» съ удивленіемъ думалъ онъ.

Черезъ двѣ минуты она кончила, потомъ крѣпко прижа-

лась щекой къ его груди, около самаго сердца, и откусила нитку. Леонтій онѣмѣлъ на мѣстѣ и стоялъ растерянный, глядя на нее изумленными глазами.

Это кошачье проворство движеній, рука, чуть не задѣвающая его по носу, наконецъ, прижатая къ груди щека кружили ему голову.

Онъ будто охмелѣлъ. Отъ нея вѣяло на него тепломъ и нѣжнымъ запахомъ какихъ-то цвѣтовъ.

«Что это такое, что же это?.. Она, кажется, добрая», вывелъ онъ заключеніе: «если бъ она только смѣялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И гдѣ она взяла ее? Кто-нибудь изъ нашихъ потерялъ!»

— Что жъ стоите? Скажите *merci*, да поцѣлуйте ручку! Ахъ, какой!—сказала она повелительно, и прижала крѣпко свою руку къ его губамъ, все съ тѣмъ же проворствомъ, съ какимъ пришивала пуговицу, такъ что поцѣлуй его раздался въ воздухѣ, когда она уже отняла руку.

Леонтій взглянулъ на нее еще разъ и потомъ уже никогда не забылъ. Въ немъ зажглась вдругъ сильная, ровная и глубокая страсть.

— Приходите завтра обѣдать,—сказала она.

— Дорого!—отвѣчалъ онъ наивно. Но занялъ у Райскаго немного денегъ и пришелъ. Потомъ опять пришелъ.

Это замѣтили товарищи, и Райскій сталъ приглашать его чаще. Леонтій понялъ, что надъ нимъ подтруниваютъ, и хотѣлъ-было сразу положить этому конецъ, переставъ ходить. Онъ упрямился.

— Пойдемъ!—звалъ его Райскій.

— Нѣтъ, Борисъ, не пойду, — отговаривался онъ: — что мнѣ тамъ дѣлать: вы всѣ любезны, красивы, разговаривать мастера, а я! Что я ей? Она вонъ все смѣется надо мной!

— Да, можетъ-быть, она не станетъ смѣяться...—нерѣшительно говорилъ Райскій:—когда покороче познакомится съ тобой...

— Станетъ, какъ не станетъ! — говорилъ Леонтій съ жалкой улыбкой, оглядывая себя съ ногъ до головы.

Но однакожъ пошелъ и ходилъ часто. Она не гуляла съ нимъ по темной аллеѣ, не пряталась въ бесѣдку, и неразговорчивъ онъ былъ, не дарилъ онъ ее, но и не ревновалъ, не дѣлалъ сценъ, ничего, что дѣлали другіе, по самой простой причинѣ: онъ не видалъ, не замѣчалъ и не подозрѣвалъ ничего, что дѣлала она, что дѣлали другіе, что дѣлалось вокругъ.

Онъ видѣлъ только ея римскій чистый профиль, когда она стояла или сидѣла передъ нимъ, чувствовалъ вѣющій отъ нея на него жаръ и запахъ какихъ-то цвѣтовъ, да часто потрогивалъ себя за пришитую ею пуговицу.

Онъ слушалъ, что она говорила ему, не слыхалъ, что говорила другимъ, и вѣрилъ только тому, что видѣлъ и слышалъ отъ нея.

И ей не нужно было притворяться передъ нимъ, лгать, прикидываться. Она держала себя съ нимъ прямо, просто, какъ держала себя, когда никого съ ней не было.

Онъ такъ и принималъ за чистую монету всякій ея взглядъ, всякое слово, молчалъ, много ѣлъ, слушалъ, и только иногда воззрится въ нее странными, будто испуганными глазами, и молча слѣдитъ за ея проворными движеніями, за рѣзвой рѣчью, звонкимъ смѣхомъ, точно вчитывается въ новую, незнакомую еще ему книгу, въ ея нѣмое, вѣчно насмѣшливое лицо.

— Что ты видишь въ ней?—приставали товарищи.

Онъ смущался, уходилъ и самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Передъ выходомъ у всѣхъ оказалось что-нибудь: у кого колечко, у кого вышитый кисетъ, не говоря о тѣхъ знакахъ нѣжности, которые не оставляютъ слѣда по себѣ. Иные удивлялись, кто почувствительнѣе, ударились въ слезы, а бо́льшая часть посмѣялись надъ собой и другъ надъ другомъ.

Только Леонтій продолжалъ смотрѣть на нее серьезно, задумчиво, и вдругъ объявилъ, что женится на ней, если она согласится, лишь только онъ получитъ мѣсто и устроится. Надъ этимъ много смѣялись товарищи, и она также.

Она прозвала его женихомъ и, смѣясь, обѣщала написать къ нему, когда придетъ время выходить замужъ. Онъ принялъ это, не шутя. Съ тѣмъ они и разстались.

Что было съ ней потомъ, никто не знаетъ. Извѣстно только, что отецъ у ней умеръ, что она куда-то уѣзжала изъ Москвы и воротилась больная, худая, жила у бѣдной тётки, потомъ, когда поправилась, написала къ Леонтію, спрашивала, помнитъ ли онъ ее и свои старыя намѣренія.

Онъ отвѣчалъ утвердительно, и лѣтъ черезъ пять послѣ выпуска, ѣздилъ въ Москву и пріѣхалъ оттуда женатымъ на ней.

Онъ любилъ жену свою, какъ любятъ воздухъ и тепло. Мало того, онъ, погруженный въ созерцаніе жизни древнихъ, въ ихъ мысль и искусство, умудрился видѣть и любить въ ней какой-то блескъ и колоритъ древности, античность формы.

Вдругъ иногда она мелькнетъ мимо него, сядетъ съ шитьемъ напротивъ, онъ нечаянно изъ-за книги поразится лучомъ какого-то свѣта, какой играетъ на ея профилѣ, на рыжихъ вискахъ или на бѣломъ лбу.

Его поражала линія ея затылка и шеи. Голова ея казалась ему похожей на головы римскихъ женщинъ на классическихъ барельефахъ, на камеяхъ: съ строгимъ, чистымъ профилемъ, съ такими же каменными волосами, немигающимъ взглядомъ и застывшимъ въ чертахъ лица сдержаннымъ смѣхомъ.

VII.

Леонтій не узналъ Райскаго, когда тотъ внезапно показался въ его кабинетѣ.

— Позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить... началъ-было онъ.

Но только Борисъ Павловичъ заговорилъ, онъ упалъ въ его объятія.

— Жена! Улинька! Поди-ка, посмотри, кто пріѣхалъ!— кричалъ онъ въ садикъ женѣ.

Та бросилась и поцѣловала Райскаго.

— Какъ вы возмужали и... похорошѣли! — сказала она, и глаза у нея загорѣлись отъ удовольствія.

Она бросила бѣглый взглядъ на лицо, на костюмъ Райскаго, и потомъ лукаво и смѣло глядѣла ему прямо въ глаза.

— Вы всѣхъ здѣсь съ ума сведете, меня первую... Помните?..—начала она, и глазами договорила воспоминаніе.

Райскій немного смутился и поглядывалъ на Леонтія, что онъ, а онъ ничего. Потомъ онъ, не скрывая удивленія, поглядѣлъ на нее, и удивленіе его возросло, когда онъ увидѣлъ, что годы такъ пощадили ее: въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ она казалась, если уже не прежней дѣвочкой, то только развѣ расцвѣтшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной.

Бойкость выглядывала изъ ея позы, глазъ, всей фигуры. А глаза попрежнему мечутъ искры, тотъ же у ней пунцовый румянецъ, веснушки, тотъ же веселый, безпечный взглядъ, и кажется, та же дѣвическая рѣзвость!

— Какъ вы... сохранились,—сказалъ онъ:—все такая же...

— Моя рыжая Клеопатра!—замѣтилъ Леонтій.—Что ей дѣлается: дѣтей нѣтъ, горя мало...

— Вы не забыли меня: помните?—спросила она.

— Еще бы не помнить! — отвѣчалъ за него Леонтій.— Если ее забылъ, такъ кашу не забываютъ... А Улинька правду говоритъ: ты очень возмужалъ, тебя узнать нельзя: съ усами, съ бородой! Ну, что бабушка? Какъ, я думаю, обрадовалась! Не больше, впрочемъ, меня. Да радуйся же, Уля: что ты уставила на него глаза и не скажешь?

— Что же мнѣ сказать!

— Скажи—salve, amico...

— Ну, ты свое: я и безъ тебя сумѣю поздороваться, не учи!

— Не знаетъ, что сказать лучшему другу своего мужа! Ты вспомни, что онъ познакомилъ насъ съ тобой; съ нимъ мы просиживали ночи, читывали...

— Да, если бъ не ты,—перебилъ Райскій:—римскіе поэты и историки были бы для меня все равно, что китайскіе. Отъ нашего Ивана Ивановича не много узнали...

— А въ школѣ,—продолжалъ Козловъ, не слушая его:—защищалъ отъ забіякъ, и самъ во все время оттаскалъ меня за волосы... всего два раза...

— Такъ было и это?—спросила жена. — Ужели вы его били?

— Вѣроятно, шутя...

— Ахъ, нѣтъ, Борисъ: больно! — сказалъ Леонтій:— иначе бы я не помнилъ, а то помню, и за что. Одинъ разъ я нечаянно на твоемъ рисункѣ на оборотѣ сдѣлалъ выписку откуда-то—для тебя же: ты взбѣсился! А въ другой разъ... ошибкой съѣлъ что-то у тебя...

— Не рисовую ли кашу?—спросила жена.

— Вотъ, она мнѣ этой рисовой кашей житья не даетъ,— замѣтилъ Леонтій: — увѣряетъ, что я незамѣтно съѣлъ три тарелки, и что за кашей и за кашу влюбился въ нее. Что я, въ самомъ дѣлѣ, уродъ, что ли!

— Нѣтъ, ты у меня «умный, добрый и высокой нравственности»,—сказала она, съ своимъ застывшимъ смѣхомъ въ лицѣ, и похлопала мужа по лбу, потомъ поправила ему галстукъ, выправила воротнички рубашки и опять поглядѣла лукаво на Райскаго.

Онъ, по взглядамъ, какіе она обращала къ нему, видѣлъ, что въ ней улыбаются старыя воспоминанія, и что она не только не хоронитъ ихъ въ памяти, но передаетъ глазами

и ему. Но онъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ того, что̀ въ ней происходило.

Онъ наблюдалъ ее молча и у него въ головѣ начался новый рисунокъ и два новые характера, ея и Леонтья.

«Все та же; все вѣрна себѣ, не измѣнилась», думалъ онъ. «А Леонтій знаетъ ли, замѣчаетъ ли? Нѣтъ, попрежнему, кажется, знаетъ наизусть чужую жизнь и не видитъ своей. Какъ они живутъ между собой... Увижу, посмотрю...»

— Кстати о кашѣ: ты съ нами обѣдаешь, да? — спросилъ Леонтій.

— Какъ это можно!—вступилась жена:—приглашать на такой столъ, какъ нашъ! Вѣдь вы ужъ не студенты: Борисъ Павловичъ въ Петербургѣ избаловался, я думаю...

— Ты что̀ ѣшь?—спросилъ Леонтій.

— Все,—отвѣчалъ Райскій.

— А если все, такъ будешь сытъ. Ну, вотъ, какъ я радъ. Ахъ, Борисъ... право, и высказать не умѣю!

Онъ сталъ собирать со стола бумаги и книги.

— Бабушка какъ бы не стала ждать...—колебался Райскій.

— Ну, ужъ ваша бабушка!—съ неудовольствіемъ замѣтила Ульяна Андреевна.

— А что̀?

— Не люблю я ее!

— За что̀ же?

— Командовать очень любитъ... и осуждать тоже...

— Да, правда, она деспотка... Это отъ привычки владѣть крѣпостными людьми. Старые нравы!

— Если послушать ее,—продолжала Ульяна Андреевна:—такъ всѣ сиди на мѣстѣ, не поворотя головы, не взгляни ни направо, ни налѣво, ни съ кѣмъ слова не смѣй сказать: мастерица осуждать! А сама съ Титомъ Никонычемъ неразлучна: тотъ и днюетъ и ночуетъ тамъ...

Райскій засмѣялся.

— Что вы, она, просто, святая!—сказалъ онъ.

— Ну, ужъ святая: то не хорошо, другое не хорошо. Только и свѣта, что внучки! А кто ихъ знаетъ, какія онѣ будутъ? Мароинька только съ канарейками да съ цвѣтами возится, а другая сидитъ, какъ домовой, въ углу, и слова отъ нея не добьешься. Что будетъ изъ нея — посмотримъ!

— Это Вѣрочка? Я еще ее не видалъ, она за Волгой гоститъ...

— А кто ее знаетъ, что она тамъ дѣлаетъ за Волгой?

— Нѣтъ, я бабушку люблю, какъ мать, — сказалъ Райскій: — отъ многаго въ жизни я отдѣлался, а она все для меня авторитетъ. Умна, честна, справедлива, своеобычна: у ней какая-то сила есть. Она не дюжинная женщина. Мнѣ кое-что мелькнуло въ ней...

— Поэтому, вы повѣрите ей, если она...

Ульяна Андреевна отвела Райскаго къ окну, пока мужъ ея собиралъ и пряталъ по ящикамъ разбросанныя по столу бумаги и ставилъ на полки книги.

— Поэтому, вы повѣрите, если она скажетъ вамъ...

— Всему,—сказалъ Райскій.

— Не вѣрьте, неправда, — говорила она: — я знаю, она начнетъ вамъ шептать вздоръ... про m-r Шарля...

— Кто это m-r Шарль?

— Это французъ, учитель, товарищъ мужа: они тамъ сидятъ, читаютъ вмѣстѣ до глубокой ночи... Чѣмъ я тутъ виновата? А по городу, Богъ знаетъ, что говорятъ... будто я... будто мы...

Райскій молчалъ.

— Не вѣрьте—это глупости, ничего нѣтъ...

Она смотрѣла какимъ-то русалочнымъ, фальшивымъ взглядомъ на Райскаго, говоря это.

— Что мнѣ за дѣло? — сказалъ Райскій, порываясь отъ нея прочь:—я и слушать не стану...

— Когда же къ намъ опять придете?—спросила она.

— Не знаю, какъ случится...

— Приходите почаще... вы, бывало, любили...

— Вы все еще помните прошлыя глупости! — сказалъ Райскій, отодвигаясь отъ нея:—вѣдь мы были почти дѣти...

— Да, хороши дѣти! Я еще не забыла, какъ вы мнѣ руку оцарапали...

— Что вы!—сказалъ Райскій, еще отступая отъ нея.

— Да, да. А кто до глубокой ночи караулилъ у рѣшетки?..

— Какой я дуракъ былъ, если это правда! Да нѣтъ, быть не можетъ!

— Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, «высокой нравственности»... Шалунъ!—прибавила она нѣвучимъ, нѣжнымъ голосомъ.

— Полноте, полноте!—унималъ онъ ее.

Ему становилось неловко.

— Да, мое время проходитъ...—сказала она со вздохомъ, и смѣхъ на минуту пропалъ у нея изъ лица. — Немного мнѣ осталось... Что это, какъ мужчины счастливы: они долго могутъ любить...

— Любить!—иронически, почти про себя, сказалъ Райскій.

— Вы теперь уже не влюбитесь въ меня—нѣтъ?—говорила она.

— Полноте: ни въ васъ, ни въ кого! — сказалъ онъ: — мое время ужъ прошло: вонъ сѣдина пробивается! И что вамъ за любовь — у васъ мужъ, у меня свое дѣло... Мнѣ теперь предстоитъ одно: искусство и трудъ. Жизнь моя должна служить и тому, и другому...

Онъ задумался, и Марфинька, чистая, безупречная, съ свѣжимъ дыханіемъ молодости, мелькнула у него въ умѣ. Его тянуло домой, къ ней и къ бабушкѣ, но радость свиданія съ старымъ товарищемъ удержала.

— Ну ужъ выдумаютъ: трудъ! — съ досадой отозвалась Ульяна Андреевна.—Состояніе есть, собой молодецъ: только бы жить, а они — трудъ! Что это, право, скоро всѣ на

Леонтья будутъ похожи: тотъ уткнетъ носъ въ книги и знать ничего не хочетъ. Да пусть его! Вы-то зачѣмъ туда же?.. Пойдемте въ садъ... Помните нашъ садъ?..

— Да, да, пойдемте! — пристalъ къ нимъ Леонтій: — тамъ и обѣдать будемъ. Вели, Улинька, давать, что̀ есть— скорѣе. Пойдемъ, Борисъ, поговоримъ... Да... — вдругъ спохватился онъ: — что̀ же ты со мной сдѣлаешь... за библіотеку?

— За какую библіотеку? Что̀ ты мнѣ тамъ писалъ? Я ничего не понялъ! Какой-то Маркъ книги рвалъ...

— Ахъ, Борисъ Павловичъ, ты не можешь представить, сколько онъ мнѣ горя надѣлалъ, этотъ Маркъ: вотъ посмотри!

Онъ досталъ книги три и показалъ Райскому томы, съ вырванными страницами.

— Вотъ что̀ онъ сдѣлалъ изъ Вольтера: какіе тоненькіе томы Dictionnaire philosophique стали... А вотъ тебѣ Дидро, а вотъ переводъ Бэкона, а вотъ Макіавели...

— Что̀ мнѣ за дѣло?—съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, отталкивая книги... — Ты точно бабушка: та лѣзетъ съ какими-то счетами, этотъ—съ книгами! Развѣ я за тѣмъ пріѣхалъ, чтобы вы меня со свѣта гнали?

— Да какъ же, Борисъ: не знаю тамъ, съ какими она счетами лѣзла къ тебѣ, а вѣдь это лучшее достояніе твое, это—книги, книги... Ты посмотри!

Онъ съ гордостью показывалъ ему ряды полокъ до потолка, кругомъ всего кабинета, и книги въ блестящемъ порядкѣ.

— Вотъ только на этой полкѣ почти все попорчено: проклятый Маркъ! А прочія всѣ цѣлы! Смотри! У меня каталогъ составленъ: полгода сидѣлъ за нимъ. Видишь!..

Онъ хвастливо показывалъ ему толстую писанную книгу въ переплетѣ.

— Все своей рукой написалъ! — прибавилъ онъ, поднося книгу къ носу Райскаго.

— Отстань, я тебѣ говорю! — съ нетерпѣніемъ отозвался Райскій.

— Ты вотъ садись на кресло и читай вслухъ по порядку, а я влѣзу на лѣстницу и буду тебѣ показывать книги. Онѣ всѣ по нумерамъ...—говорилъ Леонтій.

— Вонъ что выдумалъ! Отстань, я ѣсть хочу.

— Ну, такъ послѣ обѣда — и въ самомъ дѣлѣ теперь не успѣемъ.

— Послушай: тебѣ хотѣлось бы имѣть такую библіотеку?— спросилъ Райскій.

— Мнѣ? Такую библіотеку?

Ему вдругъ какъ будто солнцемъ ударило въ лицо: онъ просіялъ и усмѣхнулся во всю ширину рта, такъ что даже волосы на лбу зашевелились.

— Такую библіотеку, — произнесъ онъ: — вѣдь тутъ тысячи три: почти все! Сколько мемуаровъ однихъ! Мнѣ? — Онъ качалъ головой.—Съ ума сойду!

— Скажи: ты любишь меня, — спросилъ Райскій: — попрежнему?

— Еще бы! Изъ нужды выручалъ, оттаскалъ за волосы всего два раза...

— Ну, такъ возьми себѣ эти книги въ вѣчное и потомственное владѣніе, но на одномъ условіи...

— Мнѣ, взять эти книги!

Леонтій смотрѣлъ то на книги, то на Райскаго, потомъ махнулъ рукой и вздохнулъ.

— Не шути, Борисъ: у меня въ глазахъ рябитъ... Нѣтъ, vade retro... Не обольщай...

— Я не шучу.

— Бери, когда даютъ! — живо прибавила жена, которая услышала послѣднія слова.

— Вотъ, она у меня всегда такъ!—жаловался Леонтій.— Отъ купцовъ на праздники и къ экзамену родители явятся съ гостинцами — я вонъ гоню отсюда, а она ихъ приметъ

оттуда со двора. Взяточница! Съ виду точь-въ-точь Тарквиніева Лукреція, а любитъ лакомиться, не такъ, какъ та!..

Райскій улыбнулся, она разсердилась.

— Поди ты съ своей Лукреціей! — небрежно сказала она:—съ кѣмъ онъ тамъ меня не сравниваетъ? Я—и Клеопатра, и какая-то Постумія, и Лавинія, и Корнелія, еще матрона... Ты лучше книги бери, когда даритъ! Борисъ Павловичъ подаритъ мнѣ...

— Не смѣй просить!—повелительно крикнулъ Леонтій.— А мы что ему подаримъ? Тебя, что ли, отдамъ?—добавилъ онъ, нѣжно обнявъ ее рукой.

— Отдай: я пойду — возьмите меня! — сказала она, вдругъ сверкнувъ Райскому въ глаза взглядомъ, какъ будто огнемъ.

— Ну, если не берешь, такъ я отдамъ книги въ гимназію: дай сюда каталогъ! Сегодня же отошлю къ директору...—сказалъ Райскій и хотѣлъ взять у Леонтія реестръ книгъ.

— Помилуй: это значитъ, гимназія не увидитъ ни одной книги... Ты не знаешь директора! — съ жаромъ возсталъ Леонтій и сжалъ крѣпко каталогъ въ рукахъ.—Ему столько же дѣла до книгъ, сколько мнѣ до духовъ и помады... Растаскаютъ, разорвутъ—хуже Марка!

— Ну, такъ бери!

— Да какъ же вдругъ этакое сокровище подарить! Ее продать въ хорошія, надежныя руки — такъ... Ахъ, Боже мой! Никогда не желалъ я богатства, а теперь тысячъ бы пять далъ... Не могу, не могу взять: ты мотъ, ты блудный сынъ—или нѣтъ, нѣтъ, ты слѣпой младенецъ, невѣжа...

— Покорно благодарю...

— Нѣтъ, нѣтъ—не то, — говорилъ, растерявшись, Леонтій. — Ты — артистъ: тебѣ картины, статуи, музыка. Тебѣ что книги? Ты не знаешь, что у тебя тутъ за сокровища! Я тебѣ послѣ обѣда покажу...

— А! Ты и послѣ обѣда, вмѣсто кофе, хочешь мучить меня книгами: въ гимназію!

— Ну, ну, постой: на какомъ условіи ты хотѣлъ отдать мнѣ библіотеку? Не хочешь ли изъ жалованья вычитать, я все продамъ, заложу себя и жену...

— Пожалуйста, только не меня... — вступилась она: — я и сама сумѣю заложить или продать себя, если захочу!

Райскій поглядѣлъ на Леонтья, Леонтій на Райскаго.

— За словомъ въ карманъ не пойдетъ! — сказалъ Козловъ.

— На какомъ же условіи? Говори! — обратился онъ къ Райскому.

— Чтобъ ты никогда не заикался мнѣ о книгахъ, сколько бы ихъ Маркъ ни рвалъ...

— Такъ ты думаешь, я Марку дамъ теперь близко подойти къ полкамъ?

— Онъ не спросится тебя, подойдетъ и самъ, — сказала жена:—чего онъ испугается, этотъ уродъ?

— Да, это правда: надо крѣпкіе замки придѣлать, — замѣтилъ Леонтій. — Да и ты хороша: вотъ, — говорилъ онъ, обращаясь къ Райскому:—любитъ меня, какъ дай Богъ, чтобъ всякаго такъ любила жена...

Онъ обнялъ ее за плечи: она опустила глаза, Райскій тоже; смѣхъ у ней пропалъ изъ лица.

— Если бъ не она, ты бы не увидалъ на мнѣ ни одной пуговицы,—продолжалъ Леонтій:—я ѣмъ, сплю покойно, хозяйство хоть и маленькое, а идетъ хорошо; какія мои средства: а на все хватаетъ!

Она мало-по-малу подняла глаза и смотрѣла прямѣе на нихъ обоихъ, отъ того, что послѣднее было правда.

— Только вотъ бѣда,—продолжалъ Леонтій:—къ книгамъ холодна. По-французски болтаетъ проворно, а дашь книгу, половины не понимаетъ; по-русски о-сю пору съ ошибками пишетъ. Увидитъ греческую печать, говоритъ, что хорошо

бы этакій узоръ на ситецъ, и ставитъ книги вверхъ дномъ, а по-латыни заглавія не разберетъ. Opera Horatii — переводитъ: Гораціевы оперы!..

— Ну, не поминай же мнѣ больше о книгахъ: на этомъ условіи я только и не отдамъ ихъ въ гимназію,—заключилъ Райскій.—А теперь давай обѣдать, или я къ бабушкѣ уйду. Мнѣ ѣсть хочется.

VIII.

— Скажи пожалуйста: ты такъ вѣкъ думаешь прожить?—спросилъ Райскій послѣ обѣда, когда они остались въ бесѣдкѣ.

— Да, а какъ же? Чего же мнѣ еще?—спросилъ съ удивленіемъ Леонтій.

— Ничего тебѣ не хочется, никуда не тянетъ тебя? Не проситъ голова свободы, простора? Не тѣсно тебѣ въ этой рамкѣ? Вѣдь въ глазахъ, вблизи — все вонъ этотъ заборъ, вдали—вотъ этотъ куполъ церкви, дома... подъ носомъ...

— А подъ носомъ — вонъ что! — Леонтій указалъ на книги: — мало, что ли? Книги, ученики... жена въ придачу,—онъ засмѣялся:—да душевный миръ... Чего больше?

— Книги! Развѣ это жизнь? Старыя книги сдѣлали свое дѣло; люди рвутся впередъ, ищутъ улучшить себя, очистить понятія, прогнать туманъ, условиться по-опредѣлительнѣе въ общественныхъ вопросахъ, въ правахъ, въ нравахъ; наконецъ привести въ порядокъ и общественное хозяйство... А онъ глядитъ въ книгу, а не въ жизнь!

— Чего нѣтъ въ этихъ книгахъ, того и въ жизни нѣтъ, или не нужно!—торжественно рѣшилъ Леонтій.—Вся программа и общественной, и единичной жизни у насъ позади: всѣ образцы даны намъ. Умѣй напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только — и будешь знать, что дѣлать. Позади найдешь образцы формъ и политическихъ, и общественныхъ порядковъ. И лично для себя то же самое:

кто ты: полководецъ, писатель, сенаторъ, консулъ, или невольникъ, или школьный мастеръ, или жрецъ? Смотри: вотъ они всѣ живые здѣсь—въ этихъ книгахъ. Учи ихъ жизнь и живи, учи ихъ ошибки и избѣгай, учи ихъ добродѣтели и, если можно, подражай. Да трудно! Ихъ лица строги, черты крупны, характеры цѣльны и не разбавлены мелочью! Трудно вливаться въ эти величавыя формы, какъ трудно надѣвать ихъ латы, поднимать мечи, сѣкиры! Не поднять и подвиговъ ихъ! Мы и давай выдумывать какую-то свою, новую жизнь! Вотъ отчего мнѣ никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотѣлось: не вѣрю я въ этихъ нынѣшнихъ великихъ людей...

Онъ говорилъ съ жаромъ, и черты лица у самого у него сдѣлались, какъ у тѣхъ героевъ, о которыхъ онъ говорилъ.

— Стало-быть, по-твоему, жизнь тамъ и кончилась, а это все не жизнь? Ты не вѣришь въ развитіе, въ прогрессъ?

— Какъ не вѣрить, вѣрю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую разсыпался современный человѣкъ — исчезнетъ: все это приготовительная работа, сборъ и смѣсь еще неосмысленнаго матеріала. Эти историческія крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять въ одну массу, и изъ этой массы выльются со временемъ опять колоссальныя фигуры, опять потечетъ ровная, цѣльная жизнь, которая впослѣдствіи образуетъ вторую древность. Какъ не вѣровать въ прогрессъ! Мы потеряли дорогу, отстали отъ великихъ образцовъ, утратили многіе секреты ихъ бытія. Наше дѣло теперь—понемногу опять забираться на потерянный путь и... достигать той же крѣпости, того же совершенства въ мысли, въ наукѣ, въ правахъ, въ нравахъ и въ твоемъ общественномъ хозяйствѣ... цѣльности въ добродѣтеляхъ и, пожалуй, въ порокахъ! Низость, мелочи, дрянь—все поблѣднѣетъ: выправится человѣкъ и опять встанетъ на желѣзныя ноги... Вотъ и прогрессъ!

— Ты все тотъ же старый студентъ, Леонтій! Все няньчишься съ отжившей жизнью, а о себѣ не подумаешь, кто ты самъ?

— Кто? — повторилъ Козловъ: — учитель латинскаго и греческаго языковъ. Я также няньчусь съ этими отжившими людьми, какъ ты съ своими никогда не жившими идеалами и образами. А ты кто? Вѣдь ты художникъ, артистъ? Что же ты удивляешься, что я люблю какіе-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать изъ древняго источника?..

— Да, художникъ!—со вздохомъ сказалъ Райскій:—художество мое здѣсь, — онъ указалъ на голову и грудь: — здѣсь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества, и вотъ еще я почти не началъ...

— Что же мѣшаетъ? Вѣдь ты рисовалъ какую-то большую картину: ты писалъ, что готовишь ее на выставку...

— Чортъ съ ними, съ большими картинами!—съ досадой сказалъ Райскій:—я бросилъ почти живопись. Въ одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли изъ того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекаетъ. Я пишу иногда портреты...

— Что же ты дѣлаешь теперь?

— Есть одно искусство: оно лишь можетъ удовлетворить современнаго художника: искусство слова, поэзія: оно безгранично. Туда уходитъ и живопись, и музыка—и еще тамъ есть то, чего не даетъ ни то, ни другое...

— Что жъ ты, пишешь стихи?

— Нѣтъ... — съ досадой сказалъ Райскій: — стихи — это младенческій лепетъ. Ими споешь любовь, пиръ, цвѣты, соловья... лирическое горе, такую же радость — и больше ничего...

— А сатира? — возразилъ Леонтій: — вотъ, постой, вспомнимъ римскихъ старцевъ...

Онъ пошелъ-было къ шкапу, Райскій остановилъ его.

— Сиди смирно, — сказалъ онъ. — Да, иногда можно удачно хлеснуть стихомъ по больному мѣсту. Сатира — плеть: ударомъ обожжетъ, но ничего тебѣ не выяснитъ, не дастъ животрепещущихъ образовъ, не раскроетъ глубины жизни съ ея тайными пружинами, не подставитъ зеркала... Нѣтъ, только романъ можетъ охватывать жизнь и отражать человѣка!

— Такъ ты пишешь романъ... о чемъ же?

Райскій махнулъ рукой.

— И самъ еще не знаю!—сказалъ онъ.

— Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и безъ романа на всякомъ шагу въ глаза лѣзетъ. Въ современной литературѣ всякаго червяка, всякаго мужика, бабу—все въ романъ суютъ... Возьми-ка предметъ изъ исторіи, воображеніе у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь о древней Руси ты писалъ?.. А то далась современная жизнь!.. муравейникъ, мышиная возня: дѣло ли это искусства?.. Это газетная литература!

— Ахъ, ты старовѣръ! какъ ты отсталъ здѣсь! О газетахъ потише — это Архимедовъ рычагъ: онѣ ворочаютъ міромъ...

— Ну, ужъ міръ! Эти ваши Наполеоны, да Пальмерстоны...

— Это современные титаны: Цесари и Антоніи... — сказалъ Райскій...

— Полно, полно! — съ усмѣшкой остановилъ Леонтій: — развѣ титаниды, выродки старыхъ большихъ людей. Вонъ, почитай у m-r Шарля есть книжечка, Napoléon le petit, Гюго. Онъ современнаго Цесаря представляетъ въ настоящемъ видѣ: какъ этотъ Регулъ во фракѣ далъ клятву почти на форумѣ спасать отечество, а потомъ...

— А твой титанъ — настоящій Цесарь что: не то же ли самое хотѣлъ сдѣлать?

— Хотѣлъ, да подлѣ случился другой титанъ — и не далъ!

— Ну, мы затѣяли съ тобой опять старый, безконечный споръ,—сказалъ Райскій:—когда ты осѣдлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставимъ это пока. Обращусь опять къ своему вопросу: ужели тебѣ не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятій?

Козловъ отрицательно покачалъ головой.

— Помилуй, Леонтій; ты ничего не дѣлаешь для своего времени, ты пятишься какъ ракъ. Оставимъ римлянъ и грековъ—они сдѣлали свое. Будемъ же дѣлать и мы, чтобъ разбудить это (онъ указалъ вокругъ на спящія улицы, сады и дома). Будемъ превращать эти обширныя кладбища въ жилыя мѣста, встряхивать спящіе умы отъ застоя!

— Какъ же это сдѣлать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать какъ въ зеркалѣ, а ты...

— Я... тоже кое-что дѣлаю: нѣсколько поколѣній къ университету приготовилъ... — робко замѣтилъ Козловъ и остановился, сомнѣваясь, заслуга ли это?

— Ты думаешь,—продолжалъ онъ,—я схожу въ классъ, а оттуда домой, да и забылъ! За водочку, потомъ вечеромъ за карты, или трусь у губернатора по вечерамъ: ни, ни! Вотъ моя академія,—говорилъ онъ, указывая на бесѣдку:—вотъ и портикъ—это крыльцо, а дождь идетъ—въ кабинетѣ: наберется ко мнѣ юности, облѣпятъ меня. Я съ ними разсматриваю рисунки древнихъ зданій, домовъ, утвари,—самъ черчу, объясняю, какъ бывало тебѣ: что самъ знаю, всѣмъ дѣлюсь. Кто постарше, съ тѣми впередъ заглядываю, разбираю имъ Софокла, Аристофана. Не все, конечно; нельзя всего: гдѣ наготы много, я тамъ прималчиваю... Толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуютъ образцовыхъ поэтовъ: развѣ это теперь ужъ не надо никому?—говорилъ онъ, глядя вопросительно на Райскаго.

— Хорошо, да все это не настоящая жизнь, — сказалъ Райскій: — такъ жить теперь нельзя. Многое умерло изъ

того, что было, и многое родилось, чего не вѣдали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловѣчиванія себя и всего около себя. Это задача каждаго изъ насъ...

— Ну, за это я не берусь: довольно съ меня и того, если я дамъ образцы старой жизни изъ книгъ, а самъ буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ѣмъ, какъ видишь, лапшу... Что же дѣлать?..

Онъ задумался.

— Жизнь «для себя и про себя»—не жизнь, а пассивное состояніе: нужно слово и дѣло, борьба. А ты хочешь жить барашкомъ.

— Я ужъ сказалъ тебѣ, что я дѣлаю свое дѣло и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогаетъ!

— Ты напоминаешь мнѣ Софью, кузину: та тоже не хочетъ знать жизни—зато она—великолѣпная кукла! Жизнь достанетъ вездѣ, и тебя достанетъ! Что ты тогда будешь дѣлать, неприготовленный къ ней?

— Что ей меня доставать? Я такой маленькій человѣкъ, что она и не замѣтитъ меня. Есть у меня книги, хотя и не мои... (онъ робко поглядѣлъ на Райскаго). Но ты оставляешь ихъ въ моемъ полномъ распоряженіи. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любитъ...

Райскій посмотрѣлъ въ сторону.

— А я люблю ее...—добавилъ Леонтій тихо.—Посмотри, посмотри,—говорилъ онъ, указывая на стоявшую на крыльцѣ жену, которая пристально глядѣла на улицу и стояла къ нимъ бокомъ:—профиль, профиль: видишь, какъ сзади отдѣлился этотъ локонъ, видишь этотъ немигающій взглядъ? Смотри, смотри: линія затылка, очеркъ лба, падающая на шею коса! Что, не римская голова?

Онъ заглядѣлся на жену, и тайное умиленіе медленнымъ

— Ну, мы затѣяли съ тобой опять старый, безконечный споръ,—сказалъ Райскій:—когда ты осѣдлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставимъ это пока. Обращусь опять къ своему вопросу: ужели тебѣ не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятій?

Козловъ отрицательно покачалъ головой.

— Помилуй, Леонтій; ты ничего не дѣлаешь для своего времени, ты пятишься какъ ракъ. Оставимъ римлянъ и грековъ—они сдѣлали свое. Будемъ же дѣлать и мы, чтобъ разбудить это (онъ указалъ вокругъ на спящія улицы, сады и дома). Будемъ превращать эти обширныя кладбища въ жилыя мѣста, встряхивать спящіе умы отъ застоя!

— Какъ же это сдѣлать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать какъ въ зеркалѣ, а ты...

— Я... тоже кое-что дѣлаю: нѣсколько поколѣній къ университету приготовилъ... — робко замѣтилъ Козловъ и остановился, сомнѣваясь, заслуга ли это?

— Ты думаешь,—продолжалъ онъ,—я схожу въ классъ, а оттуда домой, да и забылъ! За водочку, потомъ вечеромъ за карты, или трусь у губернатора по вечерамъ: ни, ни! Вотъ моя академія,—говорилъ онъ, указывая на бесѣдку:—вотъ и портикъ—это крыльцо, а дождь идетъ—въ кабинетѣ: наберется ко мнѣ юности, облѣпятъ меня. Я съ ними разсматриваю рисунки древнихъ зданій, домовъ, утвари,—самъ черчу, объясняю, какъ бывало тебѣ: что самъ знаю, всѣмъ дѣлюсь. Кто постарше, съ тѣми впередъ заглядываю, разбираю имъ Софокла, Аристофана. Не все, конечно; нельзя всего: гдѣ наготы много, я тамъ прималчиваю... Толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуютъ образцовыхъ поэтовъ: развѣ это теперь ужъ не надо никому?—говорилъ онъ, глядя вопросительно на Райскаго.

— Хорошо, да все это не настоящая жизнь, — сказалъ Райскій: — такъ жить теперь нельзя. Многое умерло изъ

того, что было, и многое родилось, чего не вѣдали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловѣчиванія себя и всего около себя. Это задача каждаго изъ насъ...

— Ну, за это я не берусь: довольно съ меня и того, если я дамъ образцы старой жизни изъ книгъ, а самъ буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ѣмъ, какъ видишь, лапшу... Что же дѣлать?..

Онъ задумался.

— Жизнь «для себя и про себя»—не жизнь, а пассивное состояніе: нужно слово и дѣло, борьба. А ты хочешь жить барашкомъ.

— Я ужъ сказалъ тебѣ, что я дѣлаю свое дѣло и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогаетъ!

— Ты напоминаешь мнѣ Софью, кузину: та тоже не хочетъ знать жизни—зато она — великолѣпная кукла! Жизнь достанетъ вездѣ, и тебя достанетъ! Что ты тогда будешь дѣлать, неприготовленный къ ней?

— Что ей меня доставать? Я такой маленькій человѣкъ, что она и не замѣтитъ меня. Есть у меня книги, хотя и не мои... (онъ робко поглядѣлъ на Райскаго). Но ты оставляешь ихъ въ моемъ полномъ распоряженіи. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любитъ...

Райскій посмотрѣлъ въ сторону.

— А я люблю ее...—добавилъ Леонтій тихо.—Посмотри, посмотри,—говорилъ онъ, указывая на стоявшую на крыльцѣ жену, которая пристально глядѣла на улицу и стояла къ нимъ бокомъ:—профиль, профиль: видишь, какъ сзади отдѣлился этотъ локонъ, видишь этотъ пемигающій взглядъ? Смотри, смотри: линія затылка, очеркъ лба, падающая на шею коса! Что, не римская голова?

Онъ заглядѣлся на жену, и тайное умиленіе медленнымъ

лучомъ прошло у него по лицу и застыло въ задумчивыхъ глазахъ. Даже румянецъ пробился на щекахъ.

Видно было, что рядомъ съ книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо пріютилось и сердце, и онъ самъ не зналъ, чѣмъ онъ такъ крѣпко связанъ съ жизнью и съ книгами, не подозрѣвалъ, что если бъ пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую «римскую голову», по всей жизни его прошелъ бы параличъ.

«Счастливое дитя!» думалъ Райскій: «спитъ, и въ ученомъ снѣ своемъ не чуетъ, что подлѣ него, эта любимая имъ римская голова, полна тьмы, а сердце пустоты, и что одной ей безсиленъ онъ преподать «образцы древнихъ добродѣтелей!»

IX.

Ужъ на закатѣ вернулся Райскій домой. Его встрѣтила на крыльцѣ Марѳинька.

— Гдѣ это вы пропадали, братецъ? Какъ на васъ сердится бабушка!—сказала она:—просто не глядитъ.

— Я у Леонтья былъ,—отвѣчалъ онъ равнодушно.

— Я такъ и знала; ужъ я уговаривала-уговаривала бабушку—и слушать не хочетъ, даже съ Титомъ Никонычемъ не говоритъ. Онъ у насъ теперь, и Полина Карповна тоже. Нилъ Андреичъ, княгиня, Василій Андреичъ, присылали поздравить съ пріѣздомъ...

— Имъ что за дѣло?

— Они каждый день присылали узнавать о пріѣздѣ.

— Очень нужно!

— Подите, подите къ бабушкѣ: она вамъ дастъ!—пугала Марѳинька.—Вы очень боитесь? Сердце бьется?

Райскій усмѣхнулся.

— Она очень сердита. Мы наготовили столько блюдъ!

— Мы ужинать будемъ,—сказалъ Райскій.

— Въ самомъ дѣлѣ: вы хотите, будете? Бабушка, ба-

бушка!—говорила она радостно, вбѣгая въ комнату.—Братецъ пришелъ: ужинать будетъ!

Но бабушка, насупясь, сидѣла и не глядѣла, какъ вошелъ Райскій, какъ они обнимались съ Титомъ Никонычемъ, какъ жеманно кланялась Полина Карповна, сорокапятилѣтняя, разряженная женщина, въ кисейномъ платьѣ, съ весьма открытой шеей, съ плохо застегнутыми на груди крючками, съ тонкимъ кружевнымъ носовымъ платкомъ и съ вѣеромъ, которымъ она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко.

— Какимъ молодцомъ! Какъ возмужали! Васъ не узнаешь!—говорилъ Титъ Никонычъ, сіяя добротой и удовольствіемъ.

— Очень, очень похорошѣли! — протяжно говорила, почти про-себя, Полина Карповна Крицкая, которая, къ соблазну бабушки, въ прошлый пріѣздъ наградила его поцѣлуемъ.

— Вы не перемѣнились, Титъ Никонычъ! — замѣтилъ Райскій, оглядывая его:—почти не постарѣли, такъ бодры, свѣжи, и также добры, любезны!

Титъ Никонычъ расшаркался, поднявъ немного одну ногу назадъ.

— Слава Богу: только вотъ ревматизмы и желудокъ не совсѣмъ... старость!

Онъ взглянулъ на дамъ и конфузливо остановился.

— Ну, слава Богу, вотъ вы и нашъ гость, благополучно доѣхали...—продолжалъ онъ. — А Татьяна Марковна опасались за васъ: и овраги, и разбойники... Надолго пожаловали?

— О, вѣрно лѣто пробудете,—замѣтила Крицкая:—здѣсь природа, чистый воздухъ! Здѣсь такъ многіе интересуются вами...

Онъ сбоку поглядѣлъ на нее и ничего не сказалъ.

— Какъ у предводителя всѣ будутъ рады! Какъ вине-

губернаторъ желаетъ васъ видѣть!.. Окрестные помѣщики нарочно пріѣдутъ въ городъ...—приставала она.

— Они не знаютъ меня, что̀ имъ?..

— Такъ много слышали интереснаго, — говорила она, смѣло глядя на него.—Вы помните меня?

Бабушка отвернулась въ сторону, замѣтивъ, какъ играла глазами Полина Карповна.

— Нѣтъ... признаюсь... забылъ...

— Да, въ столицѣ всѣ впечатлѣнія скоро проходятъ!—сказала она томно. — Какъ хорошъ вашъ дорожный туалетъ!—прибавила она потомъ, оглядывая его.

— Въ самомъ дѣлѣ, я еще въ дорожномъ пальто,—сказалъ Райскій. — Тамъ надо бы вынуть изъ чемодана все платье и бѣлье... Надо позвать Егора.

Егоръ пришелъ, и Райскій отдалъ ему ключъ отъ чемодана.

— Вынь все изъ него и положи въ моей комнатѣ,—сказалъ онъ: — а чемоданъ вынеси куда-нибудь на чердакъ.—Вамъ, бабушка, и вамъ, милыя сестрицы, я привезъ кое-какія бездѣлицы на память... Надо бы принести ихъ сюда...

Марѳинька вся покраснѣла отъ удовольствія.

— Бабушка, гдѣ вы меня помѣстите?—спросилъ онъ.

— Домъ твой: гдѣ хочешь,—холодно сказала она.

— Не сердитесь, бабушка—я въ другой разъ не буду...—смѣясь, сказалъ онъ.

— Смѣйся, смѣйся, Борисъ Павловичъ, а вотъ при гостяхъ скажу, что не хорошо поступилъ: не успѣлъ носа показать и пропалъ изъ дома. Это неуваженіе къ бабушкѣ...

— Какое неуваженіе? Вѣдь я съ вами жить стану, каждый день вмѣстѣ. Я зашелъ къ старому другу и заговорился...

— Конечно, бабушка, братецъ не нарочно: Леонтій Ивановичъ такой добрый...

— Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашиваютъ: рано тебѣ перечить бабушкѣ! Она знаетъ, что говоритъ!

Мароинька покраснѣла и съ усмѣшкой сѣла въ уголъ.

— Ульяна Андреевна сумѣла лучше угостить тебя: гдѣ мнѣ столичныхъ франтовъ принимать! — продолжала свое бабушка. — Что она тамъ тебѣ, какихъ фрикасе наставила? — отчасти съ любопытствомъ спросила Татьяна Марковна.

— Была лапша,—вспоминалъ Райскій:—пирогъ съ капустой и яйцами... жареная говядина съ картофелемъ.

Бережкова иронически засмѣялась.

— Лапша и говядина!

— Да, еще каша на сковородѣ: превкусная, — досказалъ Райскій.

— Такихъ рѣдкостей ты, я думаю, давно не пробовалъ въ Петербургѣ.

— Какъ давно: я очень часто обѣдаю съ художниками.

— Это вкусныя блюда, — снисходительно замѣтилъ Титъ Никонычъ:—но тяжелы для желудка.

— И вы тоже! Ну, хорошо, — развеселясь, сказала бабушка:—завтра, Мароинька, мы имъ велимъ потроховъ наготовить, студеня, пироговъ съ морковью, не хочешь ли еще гуся...

— Фи,—сдѣлала Полина Карповна: — станутъ ли «они» кушать такія неделикатныя блюда?

— Хорошо,—сказалъ Райскій:—особенно, если начинить его кашей...

— Это неудобосваримое блюдо! — замѣтилъ Титъ Никонычъ: — лучше всего легкій супецъ изъ крупы, котлетку, цыпленка и желе... вотъ настоящій обѣдъ...

— Нѣтъ, я люблю кашу, особенно ячменную, или изъ полбы!—сказалъ Райскій:—люблю еще деревенскій студень. Велите приготовить: я давно не ѣлъ.

— Грибы, братецъ, любите? — спросила Марѳинька: — у насъ множество.

— Какъ не любить? Нельзя ли къ ужину?..

— Прикажи, Марѳинька, Петру...—сказала бабушка.

— Напрасно, матушка, напрасно: — говорилъ, морщась, Титъ Никонычъ:—тяжелое блюдо...

— Ты, не шутя, ужинать будешь? — спросила Татьяна Марковна, смягчаясь.

— И очень не шутя,—сказалъ Райскій.—И если въ погребахъ моего «имѣнія» есть шампанское — прикажите подать бутылку къ ужину; мы съ Титомъ Никонычемъ выпьемъ за ваше здоровье. Такъ, Титъ Никонычъ?

— Да — и поздравимъ васъ съ пріѣздомъ, хотя на ночь грибы и шампанское... неудобосваримо...

— Опять за свое! Вели, Марѳинька, шампанское въ ледъ поставить...—сказала бабушка.

— Какъ угодно — ce que femme veut... — любезно заключилъ Ватутинъ, шаркнувъ ножкой и спрятавъ ее подъ стулъ.

— Ужинъ ужиномъ, а обѣдать слѣдовало дома: вотъ ты огорчилъ бабушку! Въ первый день пріѣзда изъ семьи ушелъ.

— Ахъ, Татьяна Марковна, — вступилась Крицкая:—это у насъ по-мѣщански, а въ столицѣ...

Глаза у бабушки засверкали.

— Это не мѣщане, Полина Карповна! — съ крѣпкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райскаго, а также Вѣры и Марѳиньки, развѣшанные по стѣнамъ:—и не чиновники изъ палаты,—прибавила она, намекая на покойнаго мужа Крицкой.

— Борисъ Павловичъ хотѣлъ сдѣлать передъ обѣдомъ моціонъ, вѣроятно, зашелъ далеко и тѣмъ самымъ поставилъ себя въ нѣкотораго рода невозможность поспѣть...— началъ оправдывать его Титъ Никонычъ.

— Молчите вы съ своимъ моціономъ!—добродушно крикнула на него Татьяна Марковна. — Я ждала его двѣ недѣли, отъ окна не отходила, сколько обѣдовъ пропадало! Сегодня наготовили, вдругъ пріѣхалъ и пропалъ! На что похоже? И что скажутъ люди: обѣдалъ у чужихъ — лапшу да кашу: какъ будто бабушкѣ нечѣмъ накормить.

Титъ Никонычъ уклончиво усмѣхнулся, немного склоня голову, и замолчалъ.

— Бабушка! заключимъ договоръ, — сказалъ Райскій:— предоставимъ полную свободу другъ другу, и не будемъ взыскательны! Вы дѣлайте какъ хотите, и я буду дѣлать, что и какъ вздумаю... Обѣдъ я вашъ съѣмъ сегодня за ужиномъ, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мѣрѣ сегодня. А куда завтра дѣнусь, гдѣ буду обѣдать и гдѣ ночую—не знаю!

— Браво, браво! — съ дѣтской рѣзвостью восклицала Крицкая.

— Что же это такое? Цыганъ, что ли, ты?—съ удивленіемъ сказала бабушка.

— М-сье Райскій поэтъ, а поэты свободны, какъ вѣтеръ! — замѣтила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носкомъ башмака и всячески стараясь задѣть чѣмъ-нибудь вниманіе Райскаго.

Но чѣмъ она больше хлопотала, тѣмъ онъ былъ холоднѣе. Его ужъ давно коробило отъ ея присутствія. Только Марфинька, глядя на нее, исподтишка посмѣивалась. Бабушка не обратила вниманія на ея замѣчаніе.

— Два своихъ дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрусталя — а онъ будетъ изъ угла въ уголъ шататься... какъ окаянный, какъ Маркушка бездомный!

— Опять Маркушка! Надо его увидать и познакомиться съ нимъ!

— Нѣтъ, ты не огорчай бабушку, не дѣлай этого!—повелительно сказала бабушка.—Гдѣ завидишь его, бѣги!

— Почему же?

— Онъ тебя съ пути собьетъ!

— Нужды нѣтъ, а любопытно: онъ, должно-быть, замѣчательный человѣкъ. Правда, Титъ Никонычъ?

Ватутинъ усмѣхнулся.

— Онъ, такъ-сказать, загадка для всѣхъ, — отвѣчалъ онъ. — Должно-быть, сбился въ ранней молодости съ прямого пути... Но, кажется, съ большими дарованіями и свѣдѣніями: могъ бы быть полезенъ...

— Грубъ, невѣжа!—сказала съ достоинствомъ Крицкая, глядя въ сторону. Она немного пришепетывала.

— Да, съ дарованіями: тремя стами рублей поплатились вы за его дарованія! Отдалъ ли онъ вамъ? — спросила Татьяна Марковна.

— Я... не спрашивалъ! — сказалъ Титъ Никонычъ:— впрочемъ, онъ со мной... почти вѣжливъ.

— Не бьетъ при встрѣчѣ, не стрѣлялъ еще въ васъ? Чуть Нила Андреевича не застрѣлилъ, — сказала она Райскому.

— Собаки его мнѣ шлейфъ разорвали! — жаловалась Крицкая.

— Не приходилъ опять обѣдать къ вамъ «безъ церемоніи»?—спросила опять бабушка Ватутина.

— Нѣтъ, вамъ не угодно, чтобъ я его принималъ, я и отказываю, — сказалъ Ватутинъ. — Онъ однажды пришелъ ко мнѣ съ охоты ночью и попросилъ кушать: сутки не кушалъ, — сказалъ Титъ Никонычъ, обращаясь къ Райскому:—я накормилъ его, и мы пріятно провели время...

— Пріятно!—возразила бабушка:—слушать тошно! Пришелъ бы ко мнѣ объ эту пору: я бы ему дала обѣдъ! Нѣтъ, Борисъ Павловичъ: ты живи, какъ люди живутъ, побудь съ нами дома, кушай, гуляй, съ подозрительными людьми не водись, смотри, какъ я распоряжаюсь имѣніемъ, побрани, если что-нибудь не такъ...

— Все это, бабушка, скучно: будемъ жить, какъ кому вздумается...

— Обѣдать, гдѣ попало, лапшу, кашу? не придти домой... такъ, что ли? Хорошо же: вотъ я буду уѣзжать въ Новоселово, свою деревушку, или соберусь гостить къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, за Волгу: она давно зоветъ, и возьму всѣ ключи, не велю говорить, а ты вдругъ придешь къ обѣду: что ты скажешь?

— Ничего не скажу.

— Не удивитъ и не огорчитъ это тебя?

— Нисколько.

— Куда же ты дѣнешься?

— Въ трактиръ пойду.

— Въ трактиръ!—съ ужасомъ сказала бабушка. И Титъ Никонычъ сдѣлалъ движеніе.

— Кто же васъ пуститъ въ трактиръ?—возразилъ онъ:— мой домъ, кухня, люди, я самъ — къ вашимъ услугамъ,— я за честь поставлю...

— Развѣ ты ходишь по трактирамъ? — строго спросила бабушка.

— Я всегда въ трактирѣ обѣдаю.

— Не играешь ли на бильярдѣ, или не куришь ли?

— Охотникъ играть и курю. Надо достать сигары. Я васъ отличными попотчую, Титъ Никонычъ.

— Покорнѣйше благодарю: я не курю. Никотинъ очень вредно дѣйствуетъ на легкія и на желудокъ: осадокъ дѣлаетъ и насильственно ускоряетъ пищевареніе. Притомъ... непріятно дамамъ.

— Странный, необыкновенный человѣкъ! — сказала бабушка.

— Нѣтъ, бабушка: вы необыкновенная женщина.

— Чѣмъ же я необыкновенная?

— Какъ же: ѣшь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется—зачѣмъ стѣснять себя?

— Чтобъ угодить бабушкѣ.

— О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вамъ— не угодить себѣ; угодить себѣ — не угодить вамъ: нѣтъ ли выхода изъ этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?

— Слышите: бабушка угождай внуку! Да я тебя маленькаго на рукахъ носила!

— Если вы будете очень стары, я васъ на себѣ повезу!

— Развѣ я не угождаю тебѣ? Кого я ждала недѣлю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты, и новыя рамы вставила, занавѣски купила шелковыя...

— Это все вы угождали себѣ, а не мнѣ!

— Себѣ!—съ изумленіемъ повторила она.

— Да, вамъ эти хлопоты пріятны, онѣ занимаютъ васъ; признайтесь, вамъ бы безъ нихъ и дѣлать нечего было? Обѣдомъ вы хотѣли похвастаться, вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка къ вамъ, вы бы и ему наготовили всего...

— Правда, правда, братецъ: непремѣнно бы наготовила,— сказала Марѳинька: — бабушка предобрая, только притворяется...

— Молчи ты, тебя не спрашиваютъ! — опять остановила ее Татьяна Марковна:—все переговариваетъ бабушку! Это она при тебѣ такая стала; она смирная, а тутъ вдругъ! Чего не выдумаетъ: Маркушку угощать!

— Да, да, слѣдовательно вы дѣлали, что вамъ нравилось. А вотъ, какъ я вздумалъ захотѣть, что мнѣ нравится, это разстроило ваши распоряженія, оскорбило вашъ деспотизмъ. Такъ, бабушка, да? Ну, поцѣлуйте же меня и дадимъ другъ другу волю...

— Какой странный человѣкъ! Слышите, Титъ Никонычъ, что онъ говоритъ! — обратилась бабушка къ Ватутину, отталкивая Райскаго.

— Пріятно слушать: очень, очень умно—я ловлю каждое слово!—сказала Крицкая, которая все ловила взглядъ Райскаго, но напрасно.

Титъ Никонычъ потупился, потомъ дружески улыбнулся Райскому.

— И я не выжила изъ ума! — отозвалась сердито бабушка на замѣчаніе гостьи.

— Видно, что Борисъ Павловичъ читалъ много новыхъ, хорошихъ книгъ...—уклончиво произнесъ Ватутинъ.—Слогъ прекрасный! Однако, матушка, сюда самоваръ несутъ, я боюсь... угара...

— Пойдемте на крыльцо, въ садикъ, чай пить!—сказала Татьяна Марковна.

— Не сыро ли будетъ тамъ?—замѣтилъ Ватутинъ.

Въ тотъ же вечеръ бабушка и Райскій заключили, если не миръ, то перемиріе.

Бабушка убѣдилась, что внукъ любитъ и уважаетъ ее: и какъ мало надо было, чтобы убѣдиться въ этомъ!

Райскій разобралъ чемоданъ и вынулъ подарки: бабушкѣ онъ привезъ нѣсколько фунтовъ отличнаго чаю, до котораго она была большая охотница, потомъ новаго изобрѣтенія кофейникъ съ машинкой и шелковое платье темнокоричневаго цвѣта. Сестрамъ по браслету, съ вырѣзанными шифрами. Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, какъ просила бабушка, и кусокъ морского каната класть въ уши, какъ просилъ онъ.

Бабушка была тронута до слезъ.

— Меня, старуху, вспомнилъ!—говорила она, сѣвши подлѣ него и трепля его по плечу.

— Кого же мнѣ вспомнить: вы у меня одни, бабушка!

— Да какъ же это, — говорила она: — счеты рвалъ, на письма не отвѣчалъ, имѣніе бросилъ, а тутъ вспомнилъ, что я люблю иногда рано утромъ одна напиться кофе: кофейникъ привезъ, не забылъ, что чай люблю, и чаю привезъ,

да еще платье! Баловникъ, мотъ! Ахъ, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человѣкъ!

Мароинька такъ покраснѣла отъ удовольствія, что щеки у ней во все время, пока разсматривали подарки и говорили о нихъ, оставались красны.

Она, какъ случается съ дѣтьми, отъ сильной радости, забыла поблагодарить Райскаго.

— А ты и не благодаришь — хороша! Какъ обрадовалась!—сказала Татьяна Марковна.

Мароинька сконфузилась и присѣла. Райскій засмѣялся.

— Какая я дура—присѣдаю!—сказала она.

Она подошла и обняла его.

Титъ Никонычъ смутился, растерялся въ шарканьѣ и благодарственныхъ привѣтствіяхъ.

Райскій тоже, увидя свою комнату, слѣди за бабушкой, какъ она чуть не сама дѣлала ему постель, какъ опускала занавѣски, чтобъ утромъ не безпокоило его солнце, какъ заботливо разспрашивала, въ которомъ часу его будить, что приготовить—чаю или кофе по утру, масла или яицъ, сливокъ или варенья,—убѣдился, что бабушка не все угождаетъ себѣ этимъ, особенно когда она попробовала рукой, мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велѣла поставить графинъ съ водой на столикъ, а потомъ раза три заглянула, спитъ ли онъ, не безпокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь.

Титъ Никонычъ и Крицкая ушли. Послѣдняя затруднялась, какъ ей одной идти домой. Она говорила, что не велѣла пріѣхать за собой, надѣясь, что ее проводитъ кто-нибудь. Она взглянула на Райскаго. Титъ Никонычъ сейчасъ же вызвался, къ крайнему неудовольствію бабушки.

— Егорка бы проводилъ! — шептала она: — сидѣла бы дома—кто просилъ!

— Благодарю васъ, благодарю... — сказала Полина Карповна мимоходомъ Райскому.

— За что?—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— За пріятный, умный разговоръ — хотя не со мной... но я много унесла изъ него...

— Разговоръ, больше, практическій, — сказалъ онъ: — о кашѣ, о гусѣ, потомъ ссорились съ бабушкой...

— Не говорите, я знаю...—говорила она нѣжно: — я замѣтила два взгляда, два только... они принадлежали мнѣ, да, признайтесь? О, я чего-то жду и надѣюсь...

Съ этимъ она ушла. Райскій обратился къ Марфинькѣ, взглядомъ спрашивая, что это такое.

— Какіе это два взгляда?—сказалъ онъ.

Марфинька засмѣялась.

— Она всегда такая у насъ!—замѣтила она.

— Что она тамъ тебѣ шептала? Не слушай ее!—сказала бабушка:—она все еще о побѣдахъ мечтаетъ.

Райскій сбросилъ-было долой гору наложенныхъ одна на другую мягкихъ подушекъ и взялъ съ дивана одну жесткую, потомъ прогналъ Егорку, посланнаго бабушкой раздѣвать его. Но бабушка передѣлала опять по-своему: велѣла положить на свое мѣсто подушки и воротила Егора въ спальню Райскаго.

— Какая настойчивая деспотка!—говорилъ Райскій, терпѣливо снося, какъ Егорка снималъ сапоги, разстегнулъ ему платье, даже хотѣлъ-было снять чулки.

Райскій утонулъ въ мягкихъ подушкахъ.

Черезъ полчаса бабушка заглянула къ нему въ комнату.

— Что вы?—спросилъ онъ.

— Я пришла посмотрѣть, горитъ ли у тебя свѣчка: что ты не погасишь?—замѣтила она.

Онъ засмѣялся.

— Покурить хочется, да сигары забылъ у васъ на столѣ,—сказалъ онъ.

Она принесла сигары.

— На, вотъ, кури скорѣй, а то я не лягу, боюсь, — говорила она.

— Ну, такъ я не стану курить.

— Кури, говорятъ тебѣ!—приказывала она.

Но онъ потушилъ свѣчку.

«Какой своеобычный: даже бабушки не слушаетъ! Странный человѣкъ!» думала Татьяна Марковна, ложась.

Райскій прожилъ этотъ день, какъ давно не жилъ, и заснулъ такимъ вольнымъ, здоровымъ сномъ, какимъ, казалось ему, не спалъ съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ этотъ кровъ.

X.

Райскій провелъ уже нѣсколько такихъ дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести ихъ подъ этой кровлей, между огородомъ, цвѣтникомъ, старымъ, запущеннымъ садомъ и рощей, между новымъ, полнымъ жизни, уютнымъ домикомъ и старымъ, полинявшимъ, частію съ обвалившейся штукатуркой домомъ, въ поляхъ, на берегахъ, надъ Волгой, между бабушкой и двумя дѣвочками, между Леонтьемъ и Титомъ Никонычемъ.

Онъ невольно пропитывался окружавшимъ его воздухомъ, не могъ отмахаться отъ впечатлѣній, которыя клала на него окружающая природа, люди, ихъ рѣчи, весь складъ и оборотъ этой жизни.

Онъ на каждомъ шагу становился въ разладъ съ ними, но пока не страдалъ еще отъ этого разлада, а снисходительно улыбался, поддавался кротости, простотѣ этой жизни, какъ, ложась спать, поддавался деспотизму бабушки и тонулъ въ мягкихъ подушкахъ.

Если онъ зѣвалъ, то пока не отъ скуки, а отъ пищеваренія, или отъ здоровой усталости.

Жилось ему сносно: здѣсь не было ни въ комъ претензіи казаться чѣмъ-нибудь другимъ, лучше, выше, умнѣе, нравственнѣе; а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ оно было выше, нравственнѣе, нежели казалось, и едва ли не умнѣе.

Тамъ, въ кучѣ людей съ развитыми понятіями, бьются изъ того, чтобы быть проще, и не умѣютъ; здѣсь, не думая о томъ, всѣ просты, никто не лѣзъ изъ кожи поддѣлаться подъ простоту.

Бабушка была, попрежнему, хлопотлива, любила повелѣвать, распоряжаться, дѣйствовать, ей нужна была роль. Она вѣкъ свой дѣлала дѣло, и если не было, такъ выдумывала его.

Попрежнему, у ней не было позыва идти вникать въ жизнь дальше стѣнъ, садовъ, огородовъ «имѣнія» и, наконецъ, города. Этимъ замыкался весь міръ.

Она говоритъ языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости, ссорится за нихъ съ Райскимъ, и весь наружный обрядъ жизни отправляется у ней по затверженнымъ правиламъ.

Но когда Райскій приглядѣлся попристальнѣе, то увидѣлъ, что въ тѣхъ случаяхъ, которые не могли почему-нибудь подойти подъ готовыя правила, у бабушки вдругъ выступали собственныя силы, и она дѣйствовала своеобразно.

Сквозь обветшавшую и никогда никуда непригодную мудрость, у нея пробивалась живая струя здраваго практическаго смысла, собственныхъ идей, взглядовъ и понятій. Только когда она пускала въ ходъ собственныя силы, то сама будто пугалась немного и безпокойно искала подкрѣпить ихъ какимъ-нибудь бывшимъ примѣромъ.

Райскому нравилась эта простота формъ жизни, эта опредѣленная, тѣсная рама, въ которой пріютился человѣкъ, и пятьдесятъ-шестьдесятъ лѣтъ живетъ повтореніями, не замѣчая ихъ, и все ожидая, что завтра, послѣзавтра, на слѣдующій годъ, случится что-нибудь другое, чего еще не было, любопытное, радостное.

«Какъ это они живутъ?» думалъ онъ, глядя, что ни бабушкѣ, ни Марфинькѣ, ни Леонтью, никуда не хочется, и не смотрятъ они на дно жизни, что лежитъ на немъ, и не

уносятся теченіемъ этой рѣки впередъ, къ устью, чтобъ остановиться и подумать, что̀ это за океанъ, куда выносятъ струи? Нѣтъ! «Что Богъ дастъ!» говоритъ бабушка.

Разсуждаетъ она о людяхъ, ей знакомыхъ, очень мѣтко, разсуждаетъ правильно о томъ, что̀ дѣлалось вчера, что̀ будетъ дѣлаться завтра, никогда не ошибается; горизонтъ ея кончается — съ одной стороны полями, съ другой Волгой и ея горами, съ третьей городомъ, а съ четвертой дорогой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ.

Желаетъ она въ концѣ зимы, чтобъ весна скорѣй наступила, чтобъ рѣка прошла къ такому-то дню, чтобъ лѣто было теплое и урожайное, чтобъ хлѣбъ былъ въ цѣнѣ, а сахаръ дешевъ, чтобъ, если можно, купцы давали его даромъ, такъ же какъ и вино, кофе и прочее.

Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изрѣдка заѣхалъ съ визитомъ, чтобы пріѣзжее изъ Петербурга важное или замѣчательное лицо непремѣнно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послѣ обѣдни въ церкви поздороваться, чтобъ, когда ѣдетъ по городу, ни одинъ встрѣчный не проѣхалъ и не прошелъ, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочихъ покупателей, когда она явится въ лавку, чтобъ никогда никто не сказалъ о ней дурного слова, чтобы дома всѣ ее слушались, до того, чтобъ кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сѣновалѣ, и чтобъ Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли бы дѣлать это такъ, чтобъ она не узнала.

Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ именины ея всѣ, начиная съ архіерея, губернатора и до послѣдняго повытчика въ палатѣ, чтобы три дня городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нѣтъ, что ни губернаторъ, ни повытчики не пользовались ея искреннимъ расположеніемъ. Но если бы не пришелъ въ этотъ день m-r Шарль, котораго она терпѣть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно обидѣлась.

Въ этотъ день она, по всей вѣроятности, втайнѣ желала, чтобы зашелъ на пирогъ даже Маркушка.

До пріѣзда Райскаго, жизнь ея покоилась на этихъ простыхъ и прочныхъ основахъ, и ей въ голову не приходило, чтобы тутъ было что-нибудь не такъ, чтобы она весь вѣкъ жила въ какой-то «борьбѣ съ противорѣчіями», какъ говорилъ Райскій.

Если когда-нибудь и случалось противорѣчіе, какой-нибудь разладъ, то она приписывала его никакъ не себѣ, а другому лицу, съ кѣмъ имѣла дѣло, а если никого не было, такъ судьбѣ. А когда явился Райскій и соединилъ въ себѣ и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это къ непослушанію внука и къ его странностямъ.

Она горячо защищалась, сначала преданіями, сентенціями и пословицами, но когда эта мертвая сила, отъ перваго прикосновенія живой силы анализа, разлеталась въ прахъ, она сейчасъ хваталась за свою, природную логику.

Этого только и ждалъ Райскій, зная, что она сейчасъ очутится между двухъ огней: между стариной и новизной, между преданіями и здравымъ смысломъ—и тогда ей надо было, или согласиться съ нимъ, или отступить отъ старины.

Но бабушка тріумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала споръ, ошираясь деспотически на авторитетъ, уже не мудрости, а родства и своихъ лѣтъ.

Райскій, не уступая ей на почвѣ логики, спускалъ флагъ передъ ея симпатіей и, смѣясь, становился передъ ней на колѣни и цѣловалъ у ней руку.

Онъ удивлялся, какъ могло все это уживаться въ ней, и какъ бабушка, не замѣчая вѣчнаго разлада старыхъ и новыхъ понятій, ладила съ жизнью и переваривала все это вмѣстѣ, и была такъ бодра, свѣжа, не знала скуки, любила жизнь, вѣровала, не охлаждаясь ни къ чему, и всякій день былъ для нея какъ будто новымъ, свѣжимъ цвѣткомъ, отъ котораго на завтра она ожидала плодовъ.

уносятся теченіемъ этой рѣки впередъ, къ устью, чтобъ остановиться и подумать, что̀ это за океанъ, куда вынесутъ струи? Нѣтъ! «Что Богъ дастъ!» говоритъ бабушка.

Разсуждаетъ она о людяхъ, ей знакомыхъ, очень мѣтко, разсуждаетъ правильно о томъ, что̀ дѣлалось вчера, что̀ будетъ дѣлаться завтра, никогда не ошибается; горизонтъ ея кончается — съ одной стороны полями, съ другой Волгой и ея горами, съ третьей городомъ, а съ четвертой доро̀гой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ.

Желаетъ она въ концѣ зимы, чтобъ весна скорѣй наступила, чтобъ рѣка прошла къ такому-то дню, чтобъ лѣто было теплое и урожайное, чтобъ хлѣбъ былъ въ цѣнѣ, а сахаръ дешевъ, чтобъ, если можно, купцы давали его даромъ, такъ же какъ и вино, кофе и прочее.

Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изрѣдка заѣхалъ съ визитомъ, чтобы пріѣзжее изъ Петербурга важное или замѣчательное лицо непремѣнно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послѣ обѣдни въ церкви поздороваться, чтобъ, когда ѣдетъ по городу, ни одинъ встрѣчный не проѣхалъ и не прошелъ, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочихъ покупателей, когда она явится въ лавку, чтобъ никогда никто не сказалъ о ней дурного слова, чтобы до̀ма всѣ ее слушались, до того, чтобъ кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сѣновалѣ, и чтобъ Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли бы дѣлать это такъ, чтобъ она не узнала.

Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ именины ея всѣ, начиная съ архіерея, губернатора и до послѣдняго повытчика въ палатѣ, чтобы три дня городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нѣтъ, что ни губернаторъ, ни повытчики не пользовались ея искреннимъ расположеніемъ. Но если бы не пришелъ въ этотъ день m-r Шарль, котораго она терпѣть не могла, или Полина Карповна, она бы искренно обидѣлась.

Въ этотъ день она, по всей вѣроятности, втайнѣ желала, чтобы зашелъ на пирогъ даже Маркушка.

До пріѣзда Райскаго, жизнь ея покоилась на этихъ простыхъ и прочныхъ основахъ, и ей въ голову не приходило, чтобы тутъ было что-нибудь не такъ, чтобы она весь вѣкъ жила въ какой-то «борьбѣ съ противорѣчіями», какъ говорилъ Райскій.

Если когда-нибудь и случалось противорѣчіе, какой-нибудь разладъ, то она приписывала его никакъ не себѣ, а другому лицу, съ кѣмъ имѣла дѣло, а если никого не было, такъ судьбѣ. А когда явился Райскій и соединилъ въ себѣ и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это къ непослушанію внука и къ его странностямъ.

Она горячо защищалась, сначала преданіями, сентенціями и пословицами, но когда эта мертвая сила, отъ перваго прикосновенія живой силы анализа, разлеталась въ прахъ, она сейчасъ хваталась за свою, природную логику.

Этого только и ждалъ Райскій, зная, что она сейчасъ очутится между двухъ огней: между стариной и новизной, между преданіями и здравымъ смысломъ—и тогда ей надо было, или согласиться съ нимъ, или отступить отъ старины.

Но бабушка тріумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала споръ, опираясь деспотически на авторитетъ, уже не мудрости, а родства и своихъ лѣтъ.

Райскій, не уступая ей на почвѣ логики, спускалъ флагъ передъ ея симпатіей и, смѣясь, становился передъ ней на колѣни и цѣловалъ у ней руку.

Онъ удивлялся, какъ могло все это уживаться въ ней, и какъ бабушка, не замѣчая вѣчнаго разлада старыхъ и новыхъ понятій, ладила съ жизнью и переваривала все это вмѣстѣ, и была такъ бодра, свѣжа, не знала скуки, любила жизнь, вѣровала, не охлаждаясь ни къ чему, и всякій день былъ для нея какъ будто новымъ, свѣжимъ цвѣткомъ, отъ котораго на завтра она ожидала плодовъ.

Бабушка, Мароинька, даже Леонтій, — а онъ мыслящій, ученый, читающій—всѣ нашли свою точку опоры въ жизни, стали на нее, и счастливы.

Бабушка добыла себѣ, какъ будто купила на вѣсъ, жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочетъ того, чего съ ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли тамъ еще что-нибудь, или нѣтъ.

Отъ этого она открыла большіе глаза на его «мудреныя», казавшіяся ей иногда шальными, слова, «цыганскіе» поступки, споры.

— Странный, своеобычный человѣкъ, — говорила она, и надивиться не могла, какъ это онъ не слушается ея и не дѣлаетъ, что она указываетъ. Развѣ можно жить иначе? Титъ Никонычъ въ восхищеніи отъ нея, самъ Нилъ Андреичъ отзывается одобрительно, весь городъ тоже уважаетъ ее, только Маркушка зубы скалитъ, когда увидитъ ее,—но онъ пропащій человѣкъ.

А тутъ внукъ, свой человѣкъ, котораго она мальчишкой воспитывала, «отъ рукъ отбился», смѣетъ оправдываться, защищаться, да еще спорить съ ней, обвиняетъ ее, что она не такъ живетъ, не то дѣлаетъ, что нужно!

А она, кажется, всю жизнь, какъ по пальцамъ, знаетъ: ни купцы, ни дворня ее не обманутъ, въ городѣ всякаго насквозь видитъ, и въ жизни своей, и ввѣренныхъ ея попеченію дѣвочекъ, и крестьянъ, и въ кругу знакомыхъ—никакихъ ошибокъ не дѣлаетъ, знаетъ, какъ гдѣ ступить, что сказать, какъ и своимъ, и чужимъ добромъ распорядиться! Словомъ, какъ по нотамъ играетъ!

А онъ не слушается, и еще осуждаетъ ее!

Она сдѣлала изъ наблюденій и опыта мудрый выводъ, что всякому дается извѣстная линія въ жизни, по которой можно и должно достигать извѣстнаго значенія, выгодъ, и что всякому дана возможность сдѣлаться (относительно) важнымъ или богатымъ, а кто прозѣваетъ время и удобный

случай, пренебрежетъ данными судьбой средствами, тотъ и пеняй на себя!

— Всякому,—говорила она:—судьба даетъ какой-нибудь даръ: одному, напримѣръ, дано много ума или какой-нибудь «остроты» и умѣнья (подъ этимъ она разумѣла талантъ, способности),—зато богатства не дала—и сейчасъ примѣръ приводила: или архитектора, или лѣкаря, или Степку-мужика. Дуракъ-дуракомъ, трехъ перечесть не можетъ, лба не умѣетъ перекрестить, едва знаетъ гдѣ право, гдѣ лѣво, ни за сохой, ни въ саду: а посуду, чашки, ложки, или крестики точитъ, дѣтскіе кораблики, игрушки—точно изъ мѣди льетъ! И сколько на ярмаркѣ продастъ! Другой красивъ, картинка—зато пѣтый дуракъ! Вонъ Балакинъ: ни одна умная дѣвушка нейдетъ за него, а заглядѣнье! Не зѣвай, и онъ будетъ счастливъ. «Богъ дурака, поваля, кормитъ!»—приводила она и пословицу въ подкрѣпленіе:—найдетъ дуру съ богатствомъ! А есть и такіе, что ни «остроты» судьба не дала, ни богатства, зато дала трудолюбіе: этимъ берутъ! Ну, а кто лежебокой былъ, или прозѣвалъ, загубилъ даръ судьбы—самъ виноватъ! Оттого много на свѣтѣ погибшихъ: праздныхъ, пьяницъ, съ разодранными локтями, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ, носъ красный, губы растрескались, винищемъ разитъ!

Райскій расхохотался, слушая однажды такое разсужденіе, и особенно характеристическій очеркъ пьяницы, самаго противнаго и погибшаго существа въ глазахъ бабушки, до того, что хотя она не замѣтила ни малѣйшей наклонности къ вину въ Райскомъ, но всегда съ безпокойствомъ смотрѣла, когда онъ вздумаетъ выпить стаканъ, а не рюмку вина, или рюмку водки.

— Хорошо ли тебѣ, не много ли? — говорила она, морщась и качая головой.

Къ пьяницѣ и пьянству у ней было физіологическое отвращеніе.

— Да, да, смѣйся!—говорила она:—а это правда!

— Можно, вѣдь, бабушка, погибнуть и по чужой винѣ,— возражалъ Райскій, желая прослѣдить за развитіемъ ея житейскихъ понятій: — есть между людей вражда, страсти. Чѣмъ виноватъ человѣкъ, когда ему подставляютъ ногу, опутываютъ его интригой, крадутъ, убиваютъ?.. Мало ли что!

— Виноватъ, виноватъ! — рѣшала она, не слушая апелляціи. — Ужъ если кто несчастенъ, погибаетъ, свихнулся, впалъ въ нищету, въ крайность, какъ-нибудь обиженъ, опороченъ, и поправиться не можетъ, значитъ—самъ виноватъ. Какой-нибудь грѣхъ да былъ за нимъ, или есть: если не порокъ, такъ тяжкая ошибка! Вражда, страсти!.. все одинъ и тотъ же врагъ стережетъ насъ всѣхъ!.. Богъ накажетъ иногда, да и проститъ, коли человѣкъ смирится и опять пойдетъ по хорошему пути. А кто все спотыкается, падаетъ и лежитъ въ грязи, значитъ, не прощенъ, а не прощенъ потому, что не одолѣтъ себя, не сладитъ съ виномъ, съ картами, или укралъ, да не отдаетъ краденаго, или гордъ, обидчикъ, золъ не въ мѣру, грязенъ, обманщикъ, предатель... Мало ли зла: что-нибудь да есть! А хочетъ, такъ выползетъ опять на дорогу. А если просто слабъ, силенки нѣтъ, значитъ, вѣры нѣтъ: когда есть вѣра, есть и сила. Да, да, ужъ это такъ, не говори, не говори, смѣйся, а молчи! — прибавила она, замѣтивъ, что онъ хочетъ возразить.—Можетъ ли быть, чтобъ человѣкъ такъ пропалъ, изъ-за другихъ, потому что захотѣли погубить? Не зѣвай, смотри за собой: упалъ, такъ вставай на ноги, да смотри, нѣтъ ли лукавства за самимъ? А нѣтъ, такъ помолись — и поправишься. Вонъ Алексѣя Петровича три губернатора гнали, имѣнье было въ опекѣ, дошло до того, что никто взаймы не далъ, хоть по-міру ступай: а теперь выждалъ, вытерпѣлъ, раскаялся—какіе были грѣхи—и вышелъ въ люди...

— Ну, хорошо, бабушка: а помните, былъ какой-то буянъ

полицмейстеръ, или исправникъ: у васъ крышу велѣлъ разломать, постой вамъ поставилъ противъ правилъ, заборъ сломалъ, и чего-чего не дѣлалъ!

— Да, правда: онъ злой, негодный человѣкъ, врагъ мой былъ, не любила я его! Чѣмъ же кончилось? Пріѣхалъ новый губернаторъ, узналъ всѣ его плутни и прогналъ! Онъ смотался, спился, своя же крѣпостная дѣвка завладѣла имъ — и пикнуть не смѣлъ. Умеръ — никто и не пожалѣлъ!

— Ну, вотъ видите! Что же вы сдѣлали: вы ли виноваты?

— Я!—сказала бабушка:—я наказана не даромъ. Даромъ судьба не наказываетъ...

— Въ самомъ дѣлѣ! что же такое?

— Что? — повторила она: — молодъ ты, чтобъ знать бабушкины проступки. Ужъ такъ и быть, изволь, скажу: тогда откупа пошли, а я вздумала велѣть пиво варить для людей, водку гнали дома, не много, для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостовъ не чинила... Отъ меня взятки-то гладки, онъ и озлобился, видишь! Ужъ коли кто несчастливъ, такъ значитъ, по-дѣломъ. Проси скорѣе прощенія, а то пропадешь, пойдетъ все хуже... и...

— И потомъ «красный носъ, растрескавшіяся губы, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ!» — договорилъ Райскій, смѣясь. — Ахъ, бабушка, чего я не захочу, что принудитъ меня? или если скажу себѣ, что непремѣнно поступлю такъ, вооружусь волей...

— Никогда не говори: «непремѣнно», — живо перебила Татьяна Марковна:—Боже сохрани!

— Отъ чего? Вотъ еще новости! — сказалъ Райскій. — Марфинька! я непремѣнно сдѣлаю твой портретъ, непремѣнно напишу романъ, непремѣнно познакомлюсь съ Маркушкой, непремѣнно проживу лѣто съ вами и непремѣнно воспитаю васъ всѣхъ трехъ, бабушку, тебя и... Вѣрочку.

Марѳинька засмѣялась, а Татьяна Марковна посмотрѣла на него черезъ очки.

— Ты никакъ съ ума сошелъ: поучись-ка у бабушки жить. Самонадѣянъ очень. Дастъ тебѣ когда-нибудь судьба за это «непремѣнно»! Не говори этого! А прибавляй всегда: «хотѣлось бы», «Богъ дастъ, будемъ живы да здоровы»... А то судьба накажетъ за самонадѣянность: никогда не выйдетъ по-твоему...

— У васъ, бабушка, о судьбѣ такое же понятіе, какъ у древняго грека о фатумѣ: какъ о личности какой-нибудь, какъ-будто воплощенная судьба тутъ стоитъ да слушаетъ...

— Да, да, — говорила бабушка, какъ-будто озираясь: — кто-то стоитъ да слушаетъ! Ты только не остерегись, забудь что можно упасть — и упадешь. Понадѣйся безъ оглядки, судьба и обманетъ, вырветъ изъ рукъ, къ чему протягивалъ ихъ! Гдѣ меньше всего ждешь, тутъ и оплеуха...

— Ну, когда же счастье? Ужели все оплеухи?

— Нѣтъ, не все: когда ждешь скромно, сомнѣваешься, не забываешься, оно и упадетъ. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дастся. Судьба любитъ осторожность, оттого и говорятъ: «береженаго Богъ бережетъ». И тутъ не пересаливай: кто слишкомъ трусливо пятится, она тоже не любитъ, и подстережетъ. Кто воды боится, весь вѣкъ бѣгаетъ рѣки, въ лодку не сядетъ, судьба подкараулитъ: когда-нибудь да сядетъ, тутъ и бултыхнется въ воду.

Райскій засмѣялся.

— О, судьба — проказница! — продолжала она. — Когда ищешь въ кошелькѣ гривенника, попадаютъ все двугривенные, а гривенникъ послѣ всѣхъ придетъ; ждешь кого-нибудь: приходятъ, да не тѣ, кого ждешь, а дверь, какъ на смѣхъ, хлопаетъ да хлопаетъ, а кровь у тебя кипитъ да кипитъ. Пропадетъ вещь: весь домъ перероешь, а она у тебя подъ носомъ—вотъ что!

— Какое рабство!—сказалъ Райскій.—И такъ всю жизнь прожить, растеряться въ мелочахъ! Зачѣмъ же, для какой цѣли эти штуки, бабушка, дѣлаетъ кто-то, по вашему мнѣнію, съ умысломъ? Нѣтъ, я отчаиваюсь воспитать васъ... Вы испорчены!

— Для какой цѣли?—повторила она:—а для такой, чтобъ человѣкъ не засыпалъ и не забывался, а помнилъ, что надъ нимъ кто-нибудь да есть; чтобы онъ шевелился, оглядывался, думалъ, да заботился. Судьба учитъ его терпѣнію, дѣлаетъ ему характеръ, чтобъ поворачивался живо, оглядывался на все зоркимъ глазомъ, не лежалъ на боку и дѣлалъ, что каждому опредѣлилъ Господь...

— То-есть, вы думаете, что къ человѣку приставленъ какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтобъ будить его?

— Шути, а шутя правду сказалъ,—замѣтила бабушка.

— Какъ жизнь-то эластична! — задумчиво произнесъ Райскій.

— Что?

— Я думаю, — говорилъ онъ, не то Марѳинькѣ, не то про себя: — во что хочешь вѣруй: въ божество, въ математику, или въ философію, жизнь поддается всему. Ты, Марѳинька, гдѣ училась?

— Въ пансіонѣ у m-me Meyer.

— По тысячѣ двѣсти рублей ассигнаціями платила за каждую,—сказала бабушка:—обѣ пять лѣтъ были тамъ.

— Ты помнишь Птоломееву систему міра?

— Птоломей... вѣдь это царь былъ...—сказала Марѳинька, немного покраснѣвъ отъ того, что не помнила никакой системы.

— Да, царь и ученый: ты знаешь, что прежде въ центрѣ міра полагали землю, и все обращалось вокругъ нея, потомъ Галилей, Коперникъ — нашли, что все обращается вокругъ солнца, а теперь открыли, что и солнце обра-

щается вокругъ другого солнца. Проходили вѣка — и явленія физическаго міра поддавались всякой изъ этихъ теорій. Такъ и жизнь: подводили ее подъ фатумъ, потомъ подъ разумъ, подъ случай—подходитъ ко всему. У бабушки есть какой-то домовой...

— Не домовой, а Богъ и судьба,—сказала она.

— Слѣдовательно двое, и вотъ шестьдесятъ лѣтъ, со всѣми маленькими явленіями, уделгись въ эту теорію. И какъ ловко пришлось! А тутъ мучаешься, бьешься... изъ чего?

Онъ мысленно проводилъ параллель между собою и бабушкой.

«Я бьюсь», размышлялъ онъ: «чтобы быть гуманнымъ и добрымъ: бабушка не подумала объ этомъ никогда, а гуманна и добра. Я недовѣрчивъ, холоденъ къ людямъ и горячъ только къ созданіямъ своей фантазіи, бабушка горяча къ ближнему и вѣритъ во все. Я вижу, гдѣ обманъ, знаю, что все—иллюзія, и не могу ни къ чему привязаться, не нахожу ни въ чемъ примиренія: бабушка не подозрѣваетъ обмана ни въ чемъ и ни въ комъ, кромѣ купцовъ, и любовь ея, снисхожденіе, доброта покоятся на тепломъ довѣріи къ добру и людямъ, а если я... бываю снисходителенъ, такъ это изъ холоднаго сознанія принципа, у бабушки принципъ весь въ чувствѣ, въ симпатіи, въ ея натурѣ! Я ничего не дѣлаю, она весь вѣкъ трудится...»

XI.

Онъ задумался, и отъ бабушки перенесъ глаза на Марѳиньку и съ нѣжностью остановилъ ихъ на ней.

«А что», думалось ему: «не увѣровать ли и мнѣ въ бабушкину судьбу: здѣсь всему вѣрится,—и не смириться ли, не склонить ли голову подъ иго этого кроткаго быта, не стать ли героемъ тихаго романа? Судьба пошлетъ и мнѣ долю, удачу, счастье. Право, не жениться ли?..»

Онъ потянулся и зѣвнулъ, глядя на Мароньку, любуясь нѣжной бѣлизной ея лба, мягкостью и здоровымъ цвѣтомъ щекъ и рукъ.

Какъ онъ ни разглядывалъ ее, какъ ни пыталъ, съ какой стороны ни заходилъ, а все видѣлъ пока только, что Мароника была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная къ полнотѣ дѣвушка, живая и веселая.

Она прилежна, любитъ шить, рисуетъ. Если сядетъ за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть, сядетъ за фортепіано, непремѣнно проиграетъ все до конца, что̀ предположитъ; книгу прочтетъ всю и долго разсказываетъ о томъ, что̀ читала, если ей понравится. Поетъ, ходитъ за цвѣтами, за птичками, любитъ домашнія заботы, охотница до лакомствъ.

У ней есть шкапикъ, гдѣ всегда спрятанъ изюмъ, черносливъ, конфеты. Она разливаетъ чай, и вообще присматриваетъ за хозяйствомъ.

Она любитъ воздухъ; ей нужды нѣтъ загорѣть: она любитъ, какъ ящерица, зной.

Желанія у ней вращаются въ кругу ея быта: она любитъ, чтобы Святая недѣля была сухая, любитъ святки, сильный морозъ, чтобы сани скрипѣли и за носъ щипало. Любитъ катанье и танцы, толпу, праздники, пріѣздъ гостей и выѣзды съ визитами — до страсти. Охотница до нарядовъ, украшеній, мелкихъ безділокъ на столѣ, на этажеркахъ.

Но несмотря на страсть къ танцамъ, ждетъ съ нетерпѣніемъ лѣта, поры плодовъ, любитъ, чтобы много вишенъ уродилось и арбузы вышли большіе, и яблоковъ народилось бы столько, какъ ни у кого въ садахъ.

Мароньку всегда слышно и видно въ домѣ. Она то смѣется, то говоритъ громко. Голосъ у ней пріятный, грудной, звонкій, въ саду слышно, какъ она пѣсенку поетъ на-

верху, а черезъ минуту слышишь ужъ ея говоръ на другомъ концѣ двора, или раздается смѣхъ по всему саду.

Еще въ дѣтствѣ, бывало, узнаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влѣзетъ на колѣни къ бабушкѣ и выпроситъ лошадь и корову. Изба ветха, или строеніе на дворѣ, она попроситъ лѣску.

Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидѣла въ углу, какъ убитая, Мароинька каждый день ходила къ ней и сидѣла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слезъ глазами.

Коли мужикъ заболѣвалъ трудно, она приласкается къ Ивану Богдановичу, лѣкарю, и сама вскочитъ къ нему на дрожки и повезетъ въ деревню.

То и дѣло проситъ у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Дѣвкамъ даетъ старыя платья, велитъ держать себя чисто. Къ слѣпому старику носитъ чего-нибудь лакомаго поѣсть, или дастъ немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки и креститъ почти всѣхъ новорожденныхъ.

Если случится свадьба, Мароинька не знаетъ предѣла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ бѣлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затѣйливый сарафанъ, истратитъ всѣ свои карманныя деньги и долго послѣ того экономничаетъ.

Только пьяницъ, какъ бабушка же, не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену.

Когда идетъ по деревнѣ, дѣти отъ нея безъ ума: они, завидя ее, бѣгутъ къ ней толпой, она раздаетъ имъ пряники, орѣхи, иного приведетъ къ себѣ, умоетъ, возится съ ними.

Всѣ собаки въ деревнѣ знаютъ и любятъ ее; у ней есть любимыя коровы и овцы

Она никогда не задумывалась, а смотрѣла на все бодро, зорко.

Когда не было никого въ комнатѣ, ей становилось скучно, и она шла туда, гдѣ кто-нибудь есть. Если разговоръ на минуту смолкнетъ, ей ужъ неловко станетъ, она зѣвнетъ и уйдетъ, или сама заговоритъ.

Въ будни она ходила въ простомъ шерстяномъ или холстиковомъ платьѣ, въ простыхъ воротничкахъ, а въ воскресенье непремѣнно нарядится, зимой въ шерстяное или шелковое, лѣтомъ въ кисейное платье, и держитъ себя немного важнѣе, особенно до обѣдни не сядетъ гдѣ попало, не примется ни за домашнее дѣло, ни за рисованіе, развѣ послѣ обѣдни поиграетъ на фортепіано.

«Счастливое дитя!» думалъ Райскій, любуясь ею: «проснешься ли ты, или проиграешь и пропоешь жизнь подъ защитой бабушкиной «судьбы»? Попробовать разбудить этотъ сонъ... что будетъ?..»

— Пойдемъ, Марѳинька, гулять, — сказалъ онъ однажды вскорѣ послѣ пріѣзда. — Покажи мнѣ свою комнату и комнату Вѣрочки, потомъ хозяйство, познакомь съ дворней. Я еще не оглядѣлся.

Онъ ничѣмъ не могъ сдѣлать ей больше удовольствія. Она весело побѣжала впередъ, отворяя ему двери, обращая его вниманіе на каждую мелочь, болтая, прыгая, напѣвая.

Въ ея комнатѣ было все уютно, миніатюрно и весело. Цвѣты на окнахъ, птицы, маленькій кіотъ надъ постелью, множество разныхъ коробочекъ, ларчиковъ, гдѣ напрятано было всякаго добра, лоскутковъ, нитокъ, шелковъ, вышиванья: она славно шила шелкомъ и шерстью по канвѣ.

Въ ящикахъ лежали ладонки, двойные сросшіеся орѣшки, восковые огарочки, въ пашкахъ насушено было множество цвѣтовъ, на окнахъ лежали найденные на Волгѣ въ пескѣ цвѣтные камешки, раковинки.

Стѣну занималъ большой шкапъ, съ платьями — и все въ порядкѣ, все чисто прибрано, уложено, завѣшено. Постель была маленькая, но заваленная подушками, съ узорчатымъ шелковымъ на ватѣ одѣяломъ, обшитымъ кисейной бахромой.

По стѣнамъ висѣли англійскія и французскія гравюры, взятыя изъ стараго дома и изображающія семейныя сцены: то старика, уснувшаго у камина, и старушку, читающую библію, то мать и кучу дѣтей около стола, то снимки съ Теньеровскихъ картинъ, наконецъ голову собаки и множество вырѣзанныхъ изъ книжекъ картинъ, съ животными, даже нѣсколько картинокъ модъ.

Она отворила шкапъ, откуда пахнуло запахомъ сластей.

— Не хотите ли миндалю?—спросила она.

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, изюму? Это кишмишъ, мелкій, сладкій такой.

Она разгрызла орѣхъ и взяла въ ротъ двѣ изюминки

— Пойдемъ въ комнату Вѣры: я хочу видѣть!—сказалъ Райскій.

— Надо сходить за ключомъ отъ стараго дома.

Райскій подождалъ на дворѣ. Яковъ принесъ ключъ, и Марѳинька съ братомъ поднялись на лѣстницу, прошли большую переднюю, коридоръ, взошли во второй этажъ и остановились у двери комнаты Вѣры.

Райскій уже нарисовалъ себѣ мысленно эту комнату: представилъ себѣ мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не такъ, какъ у Марѳиньки, а иначе.

Онъ съ любопытствомъ переступилъ порогъ, оглядѣлъ комнату и—обманулся въ ожиданіи; тамъ ничего не было!

«Вотъ бабушка сказала бы», подумалъ онъ: «что судьба подшутила: ожидаешь одного, не оглянешься, не усомнишься, забудешься—и обманетъ».

Простая кровать съ большимъ занавѣсомъ, тонкое бумажное одѣяло и одна подушка. Потомъ диванъ, коверъ на

полу, круглый столъ передъ диваномъ, другой маленькій письменный у окна, покрытый клеенкой, на которомъ однакоже не было признаковъ письма, небольшое старинное зеркало и простой шкапъ съ платьями.

И все тутъ. Ни гравюры, ни книги, ни какой мелочи, почему бы можно было узнать вкусъ и склонности хозяйки.

— Гдѣ же у ней все?—спросилъ Райскій.

— У ней ничего нѣтъ.

— Какъ ничего? Гдѣ чернильница, бумаги?..

— Это все въ столѣ—и ключъ у ней.

Райскій подошелъ сначала къ одному, потомъ къ другому окну. Изъ оконъ открывались виды на поля, деревню съ одной стороны, въ садъ, обрывъ и новый домъ съ другой.

— Пойдемте, братецъ, отсюда: здѣсь пустотой пахнетъ,— сказала Марѳинька: — какъ ей не страшно одной: я бы умерла! А она еще не любитъ, когда къ ней сюда придешь. Безстрашная такая! Пожалуй, на кладбище одна ночью пойдетъ, вонъ туда: видите?

Она указала ему изъ окна на кучу крестовъ, сжавшихся тѣсно на холмѣ, поодаль отъ крестьянскихъ дворовъ.

— А ты не ходишь?—спросилъ онъ.

— Я днемъ хожу туда, и то съ Агаѳьей, или мальчишку изъ деревни возьму. А то такъ на похороны, если мужичокъ умретъ. У насъ, слава Богу, рѣдко мрутъ.

Райскій опять поглядѣлъ на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Вѣры и припоминалъ только тоненькую, черненькую дѣвочку, съ темно-карими глазками, съ бѣленькими зубками, и часто съ замаранными ручонками.

«Какая же она теперь? Хорошенькая, говоритъ Марѳинька и бабушка тоже: увидимъ!» думалъ онъ, а теперь пока шелъ слѣдомъ за Марѳинькой.

XII.

Они вышли на другой дворъ, гдѣ были разныя службы, кладовыя, людскія, погреба и конюшни.

На дворѣ все суетилось, въ кухнѣ трещалъ огонь, въ людской обѣдали люди, въ сараѣ Тарасъ возился около экипажей, Прохоръ велъ поить лошадей.

За столомъ въ людской слышался разговоръ. До Райскаго и Марфиньки долеталъ грубый говоръ, грубый смѣхъ, смѣшанные голоса, внезапно пріутихшіе, какъ скоро люди изъ оконъ замѣтили барина и барышню.

Однако до нихъ успѣлъ долетѣть маленькій отрывокъ изъ дружелюбной бесѣды.

— А что, Мотька: вѣдь ты скоро умрешь!—говорилъ, не то Егорка, не то Васька.

— Полно тебѣ, не грѣши! — унималъ его задумчивый и набожный Яковъ.

— Право, ребята, помяните мое слово, — продолжалъ первый голосъ: — у кого грудь ввалилась, волосы изъ дымчатыхъ сдѣлались красными, глаза ушли въ лобъ, — тотъ безпремѣнно умретъ... Прощай, Мотинька: мы тебѣ гробокъ сколотимъ, да полѣнцо въ голову положимъ...

— Нѣтъ, погоди: я тебя еще вздую...—отозвался голосъ, должно-быть Мотьки.

— На ладанъ дышишь, а задоришься! Поцѣлуйте его, Матрена Ѳаддеевна: вонъ онъ какой красавецъ: лучше покойника не найдешь!.. И пятна желтыя на щекахъ: прощай, Мотя...

— Полно Бога гнѣвить!—строго унималъ Яковъ.

Дѣвки тоже вступились за больного и напали на озорника.

Вдругъ этотъ разговоръ нарушенъ былъ чьимъ-то воплемъ съ другой стороны. Изъ дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась черезъ дворъ. За ней вслѣдъ вылетѣло полѣно, очевидно,

направленное въ нее, но, благодаря ея увертливости, пролетѣвшее мимо. У ней однакожъ были растрепаны волосы, въ рукѣ она держала гребенку и выла.

— Что̀ такое? — не успѣлъ спросить Райскій, какъ она очутилась возлѣ нихъ.

— Что это, баринъ! — вопила она съ плачущимъ, искаженнымъ лицомъ, остановясь передъ нимъ и указывая на дверь, изъ которой выбѣжала.—Что это такое, барышня!— обратилась она, увидѣвши Марѳиньку:—житья нѣтъ!

Тутъ же, увидѣвъ выглядывавшія на нее изъ кухни лица дворни, она вдругъ сквозь слезы засмѣялась и показала рядъ бѣлыхъ, блестящихъ зубовъ, потомъ опять быстро смѣхъ смѣнился плачущей миной.

— Я къ барынѣ пойду: онъ убьетъ меня!—говорила она и пронеслась въ домъ.

— Что такое?—спрашивалъ Райскій у людей.

Егорка скалилъ зубы, у иныхъ женщинъ былъ тоже смѣхъ на лицѣ, прочія опустили головы и молчали.

— Что такое? — повторилъ Райскій, обращаясь къ Марѳинькѣ!

Изъ дома слышались жалобы Марины, прерываемыя выговорами Татьяны Марковны.

Райскій вошелъ въ комнату.

— Вотъ посмотри, каково ее мужъ отдѣлалъ! — обратилась бабушка къ Райскому. — А за дѣло, негодяйка, за дѣло!

— Понапрасну, барыня, все понапрасну. Пёсъ его знаетъ, что померещилось ему, чтобъ сгинуть ему, проклятому! Я ходила въ кусты, сучьевъ наломать, тутъ встрѣтился графскій садовникъ: дай, говоритъ—я тебѣ помогу, и дотащилъ сучья до калитки, а Савелій выдумалъ...

— Врешь, врешь, негодяйка!—строго говорила барыня:— не даромъ, не даромъ!

— Вотъ сквозь землю провалиться! Дай Богъ до утр не дожить...

— Перестань клясться! На той недѣлѣ ты выпросилас ко всенощной, а тебя видѣли въ слободкѣ съ фельдшеромъ..

— Не я, барыня, дай Богъ околѣть мнѣ на этомъ мѣстѣ..

— Какъ же Яковъ тебя видѣлъ? Онъ лгать не станетъ

— Не я, барыня, должно-быть, чортъ былъ во образ моемъ...

— Прочь съ глазъ моихъ! Позвать ко мнѣ Савелья!— заключила бабушка.

— Борисъ Павлычъ, ты баринъ, разбери ихъ.

— Я ничего не понимаю!—сказалъ онъ.

Савелій встрѣтился съ Мариной на дворѣ. До ушей Рай скаго долетѣлъ звукъ глухого удара, какъ будто кулакомъ по спинѣ, или по шеѣ, потомъ опять визгъ, плачъ.

Марина рванулась, быстро пробѣжала черезъ дворъ скрылась въ людскую, гдѣ ее встрѣтилъ хохотъ, на который и она, отирая передникомъ слезы и втыкая гребень в растрепанные волосы, отвѣчала хохотомъ же. Потомъ опять боль напомнила о себѣ:

— Дьяволъ, лѣшій, чтобъ ему издохнуть! — говорила она то плача, то отвѣчая на злой хохотъ дворни хохотомъ.

Савелій, съ опущенными глазами, неловко и тяжело пе реступилъ порогъ комнаты и сталъ въ углу.

— Что это ты не уймешься, Савелій?—начала бабушка выговаривать ему. — Долго ли до грѣха? Вѣдь ты так когда-нибудь ударишь, что и духъ вонъ, а проку все не будетъ.

— Собакѣ собачья и смерть! — мрачно проговорилъ Са велій, глядя въ землю.

На лбу у него собрались крупныя складки; онъ былъ блѣденъ.

— Ну, какъ хочешь, а я держать тебя не стану, я не хочу уголовнаго дѣла въ домѣ. Шутка ли, что̀ попадется

подъ руку, тѣмъ съ плеча и бьетъ! Вѣдь я говорила тебѣ: не женись, а ты все свое, не послушалъ—и вотъ!

— Это точно что... — проговорилъ онъ тихо, опуская голову.

— Это въ послѣдній разъ! — замѣтила бабушка. — Если еще разъ случится, я ее отправлю въ Новоселово.

— Что жъ съ ней дѣлать?—тихо спросилъ Савелій.

— А что ты сдѣлаешь дракой? Уймется, что ли, она?

— Все-таки... острастка... — сказалъ Савелій, глядя въ землю.

— Ступай, да чтобъ этого не было, слышишь?

Онъ медленно взглянулъ исподлобья, сначала на барыню, потомъ на Райскаго, и, медленно обернувшись, задумчиво прошелъ дворъ, отворилъ дверь и бокомъ перешагнулъ порогъ своей комнаты. А Егорка, пока Савелій шелъ по двору, скаля зубы, показывалъ на него сзади пальцемъ дворнѣ и толкалъ Марину къ окну, чтобы она взглянула на своего супруга.

— Отстань ты, чортъ этакой!

И она съ досадой замахнулась на него, потомъ широко улыбнулась, показывая зубы.

— Что это такое, бабушка?—спросилъ Райскій.

Бабушка объяснила ему это явленіе. Въ дворню изъ деревни была взята Марина дѣвчонкой шестнадцати лѣтъ. Проворствомъ и способностями она превзошла всѣхъ и каждаго, и превзошла ожиданія бабушки.

Не было дѣла, котораго бы она не разумѣла; гдѣ другому надо часъ, ей не нужно и пяти минутъ.

Другой только еще выслушаетъ приказаніе, почешетъ голову, спину, а она ужъ на другомъ концѣ двора, ужъ сдѣлала дѣло, и всегда отлично, и воротилась.

Позовутъ ли ее одѣть барышень, гладить, сбѣгать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухнѣ ли помочь: въ нее всю какъ будто вложена какая-то молнія,

рукамъ дана цѣпкость, глазу вѣрность. Она все замѣтитъ, угадаетъ, сообразитъ и сдѣлаетъ въ одну и ту же минуту.

Она вѣчно двигалась, дѣлала что-нибудь, и когда остановится безъ дѣла, то руки хранятъ пріемъ, по которому видно, что она только-что дѣлала что-нибудь или собирается дѣлать.

И чиста она была на руку: ничего не стащитъ, не спрячетъ, не присвоитъ, не корыстна и не жадна: не съѣстъ тихонько. Даже немного ѣла, все на ходу; моетъ посуду и съѣстъ что-нибудь съ собранныхъ съ господскаго стола тарелокъ, какой-нибудь огурецъ, или хлебнетъ стоя щей ложки двѣ, отщипнетъ кусочекъ хлѣба и ужъ опять бѣжитъ.

Татьяна Марковна не знала ей цѣны, и сначала взяла ее въ комнаты, потомъ, по просьбѣ Вѣрочки, отдала ей въ горничныя. Въ этомъ званіи Маринѣ мало было дѣла, и она продолжала дѣлать все и за всѣхъ въ домѣ. Вѣрочка какъ-то полюбила ее, и она полюбила Вѣрочку и умѣла угадывать по глазамъ, что ей нужно, что нравилось, что нѣтъ.

Но... несмотря на все это, бабушка разжаловала ее изъ камерфрейлинъ въ дворовыя дѣвки, потомъ обрекла на черную работу, мыть посуду, бѣлье, полы и т. п.

Только ради ея проворства и способностей, она оставлена была при старомъ домѣ и продолжала пользоваться довѣренностью Вѣры, и та употребляла ее по своимъ особымъ порученіямъ.

Марина потеряла милости барыни за то, что познала «любовь и ея тревоги», въ лицѣ Никиты, потомъ Петра, потомъ Терентья, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Не было лакея въ дворнѣ, виднаго парня въ деревнѣ, на которомъ бы она не остановила благосклоннаго взгляда. Границъ и предѣловъ ея любвямъ не было.

Будь она въ Москвѣ, въ Петербургѣ, или другомъ городѣ и положеніи,—тамъ опасеніе, страхъ лишиться хлѣба, мѣста,

положили бы какую-нибудь узду на ея склонности. Но въ ея обезпеченномъ состояніи крѣпостной дворовой дѣвки, узды не существовало.

Ее не прогонятъ, куска хлѣба не лишатъ, а къ стыду можно притерпѣться, какъ скоро однажды навсегда узнаетъ все тѣсный кружокъ лицъ, съ которыми она болѣе или менѣе состояла въ родствѣ, кумовствѣ, или нѣжныхъ отношеніяхъ.

Марина была не то что хороша собой, а было въ ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что̀ именно, что̀ привлекало къ ней многочисленныхъ поклонниковъ: не то скользящій быстро по предметамъ, ни на чемъ не останавливающійся взглядъ этихъ, изжелта-сѣрыхъ, лукавыхъ и безстыжихъ глазъ, не то какая-то нервная дрожь плечъ и бедръ, и подвижность, игра во всей фигурѣ, въ щекахъ, и въ губахъ, въ рукахъ; легкій, будто летучій шагъ, широкая ли, внезапно все лицо и рядъ бѣлыхъ зубовъ освѣщавшая улыбка, какъ будто къ нему вдругъ поднесутъ въ темнотѣ фонарь, также внезапно пропадающая и уступающая мѣсто слезамъ, даже, когда нужно, воплямъ—Богъ знаетъ что̀!

Только кто съ ней поговоритъ, поглядитъ на нее, а она на него, даже кто просто встрѣтитъ ее, тотъ поворотитъ съ своей дороги и пойдетъ за ней.

Она даже не радѣла слишкомъ о своемъ туалетѣ, особенно когда разжаловали ее въ чернорабочія: платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы отъ загара и отъ работы; но сейчасъ же, за чертой загара, начиналась бѣлая, мягкая кожа.

Сложена она была хорошо: талія ея, безъ корсета и кринолина, тонко и стройно покачивалась надъ грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летѣла.

Съ Савельемъ случилось то же, что съ другими: т. е. онъ повидѣлъ на нее раза два исподлобья, и хотя былъ не кра-

сивъ, но удостоился ея благосклоннаго вниманія, ни болѣе ни менѣе, какъ прочіе. Потомъ пошелъ къ барынѣ просить позволенія жениться на Маринѣ.

— Ты съ ума сошелъ! — въ изумленіи сказала Татьяна Марковна.

— Я выкупъ дамъ, — произнесъ въ отвѣтъ на это Савелій.

— Не надо мнѣ выкупа, а ты знаешь ее: какъ же ты будешь жить?...

— Это мое дѣло,—промолвилъ Савелій.

Бережкова дала ему сроку двѣ недѣли, и черезъ двѣ недѣли ровно онъ пришелъ въ комнаты и сталъ въ углу.

— Что ты?

— Позвольте повѣнчаться,—былъ отвѣтъ.

— Да вѣдь она не уймется!

— Уймется, не будетъ!

— Ну, смотри, пеняй на себя! Я напишу къ Борису Павловичу, Марина не моя, а его,—какъ онъ хочетъ.

Бабушка написала, Райскій ничего не отвѣчалъ, и Савелій женился.

Марина не думала мѣняться, и о супружествѣ имѣла темное понятіе. Не прошло двухъ недѣль, какъ Савелій засталъ у себя въ гостяхъ гарнизоннаго унтеръ-офицера, который быстро ускользнулъ изъ дверей и перелѣзъ черезъ заборъ.

Савелій поблѣднѣлъ и вопросительно взглянулъ на жену; та истощила весь запасъ клятвъ: ничего не помогло.

Онъ подумалъ немного, потушившись, крупныя складки показались у него на лбу, потомъ заперъ дверь, медленно засучилъ рукава и, взявъ старую вожжу, изъ висѣвшихъ на гвоздѣ, началъ отвѣшивать медленные, но тяжелые удары по чему ни попало.

Марина выказала всю данную ей отъ природы ловкость, извиваясь какъ змѣя, бросаясь изъ угла въ уголъ, прыгая

на лавки, на столы, металась къ окнамъ, къ печь, даже пробовала въ печь: вожжа слѣдовала за ней и доставала повсюду, пока, наконецъ, Марина не попала случайно на дверь.

Она откинула крючокъ съ петли и, избитая, растрепанная, съ плачемъ и воплемъ, вырвалась на дворъ.

Дворня съ ужасомъ внимала этому истязанію, вопли дошли до слуха барыни. Она съ тревогой вышла на балконъ: тутъ жертва супружескаго гнѣва предстала передъ ней съ тѣми же воплями, жалобами и клятвами, какихъ былъ свидѣтелемъ Райскій.

Но этотъ урокъ не повелъ ни къ чему. Марина была все та же, опять претерпѣвала истязаніе и бѣжала къ барынѣ, или ускользала отъ мужа и пряталась дня три на чердакахъ, по сараямъ, пока не проходилъ первый пылъ.

Она была живуча, какъ кошка, и быстро оправлялась отъ побоевъ, сама дружно и безстыдно раздѣляла смѣхъ дворни надъ ревностью мужа, надъ его стараніями исправить ее, и даже надъ побоями.

Но Савелій мѣнялся, сталъ худѣть, рѣже показывался въ людской, среди дворни, и сильно задумывался.

На жену онъ и прежде смотрѣлъ исподлобья, а потомъ почти вовсе не глядѣлъ, но всегда зналъ, въ какую минуту гдѣ она, что дѣлаетъ.

Этому она сама надивиться не могла: ужъ она ли не проворна, она ли не мастерица скользнуть какъ тѣнь изъ одной двери въ другую, изъ переулка въ слободку, изъ сада въ лѣсъ—нѣтъ, увидитъ, узнаетъ, точно чутьемъ, и явится, какъ тутъ, и почти всегда съ вожжей! Это составляло зрѣлище, потѣху дворни.

Савелій падалъ духомъ, молился Богу, сидѣлъ молча, какъ бирюкъ, у себя въ клѣтушкѣ, тяжело покрякивая.

Между тѣмъ онъ же впадалъ въ странное противорѣчіе: на ярмаркѣ онъ всѣ деньги истратитъ на жену, купитъ ей

платье, платковъ, башмаковъ, серьги какія-нибудь. На Святую недѣлю, молча, поведетъ ее подъ качели и столько накупитъ, и молча же, насуетъ ей въ руки орѣховъ, пряниковъ, черныхъ стручьевъ, моченыхъ грушъ, что она употчуетъ всю дворню.

— Что ты скажешь? — спросила Татьяна Марковна, сообщивъ всѣ эти подробности внуку.

— Это прелесть!—сказалъ онъ.—Это цѣлая драма!

И сейчасъ въ головѣ у него быстро возникъ очеркъ народной драмы. Какъ этотъ угрюмый, сосредоточенный характеръ мужика могъ сложиться въ цѣльную, оригинальную и сильную фигуру? Какъ устояла страсть среди этого омута разврата?

Онъ надивиться не могъ и далъ себѣ слово глубже вникнуть въ источникъ этого характера. И Марина улыбалась ему въ художественномъ очеркѣ. Онъ видѣлъ въ ней не просто распущенную дворовую женщину, въ родѣ горькихъ, безнадежныхъ пьяницъ между мужчинами, а безкорыстную жрицу культа, «матерь наслажденій»...

— Что же съ ними дѣлать?—спросила бабушка:— надумался ли ты? Не сослать ли ихъ?..

— Ахъ, нѣтъ; не трогайте, не мѣшайте! — съ испугомъ вступился онъ. — Вы мнѣ испортите эту живую натуральную драму...

— Ну, скажите на милость: не трогать! Онъ убьетъ ее

— Такъ что же! У насъ нѣтъ жизни, нѣтъ драмъ вовсе: убиваютъ въ дракѣ, пьяные, какъ дикари. А тутъ, въ которомъ вѣки завязался настоящій человѣческій интересъ, сложился въ драму, а вы—мѣшать!.. Оставьте, ради Бога! Посмотримъ, чѣмъ разрѣшится... кровью, или...

— Вотъ что́ я сдѣлаю, — сказала Татьяна Марковна: — попрошу священника, чтобъ онъ поговорилъ съ Савельемъ: да кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что бѣда надъ головой!

— Скажите, бабушка: Марина одна такая у насъ, или... Бабушка сердито махнула рукой на дворню.

— Всѣ въ родствѣ!—съ омерзѣніемъ сказала она: — Матрешка неразлучна съ Егоркой, Машка, — помнишь, за дѣтьми ходила дѣвчонка?—у Прохора въ сараѣ живмя живетъ. Акулина съ Никиткой, Танька съ Васькой... Только Василиса да Яковъ и есть порядочные! Но тѣ всѣ прячутся, стыдъ еще есть: а Марина!..

Она плюнула, а Райскій засмѣялся.

— Сейчасъ же пойду, непремѣнно набросаю очеркъ... — сказалъ онъ:—слава Богу, страсть! Прошу покорно — Савелій!

— Опять «непремѣнно!»—замѣтила бабушка.

Онъ живо вскочилъ, и только хотѣлъ бѣжать къ себѣ, какъ и бабушка, и онъ, оба увидали Полину Карповну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности: поздно.

— Вотъ тебѣ и «непремѣнно!»—шепнула Татьяна Марковна:—видишь! Теперь пойдетъ таскаться, не отучишь ее! Принесла нелегкая! Стоитъ Марины! Что это, по-твоему: тоже драма?

— Нѣтъ, это, кажется... комедія! — сказалъ Райскій и поневолѣ сталъ всматриваться въ это явленіе.

— Bon-jur, bon-jur!—нѣжно пришепетывала Полина Карповна:—какъ я рада, что вы дома; вы не хотите посѣтить меня, я сама опять пришла. Здравствуйте, Татьяна Марковна!

— Здравствуйте, Полина Карповна! — живо заговорила бабушка, переходя внезапно въ радушный тонъ: — милости просимъ, садитесь сюда, на диванъ! Василиса, кофе, завтракъ чтобъ былъ готовъ!

— Нѣтъ, mercі, я пила.

— Помилуйте, какъ можно, теперь рано: до обѣда долго.

— Нѣтъ, я ничего не хочу, благодарю васъ.

— Нельзя же: отъ васъ далеко...

И бабушка настояла, чтобъ подали кофе. Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на барыню, набѣленную пудрой, въ локонахъ, съ розовыми лентами на шляпкѣ и на груди, значительно открытой, и въ ботинкѣ пятилѣтняго ребенка, такъ что кровь отъ этого прилила ей въ голову. Перчатки были новыя, желтыя, лайковыя, но онѣ лопнули по швамъ, потому что были меньше руки.

За ней шелъ только-что выпущенный кадетъ, съ чуть-чуть пробивающимся пушкомъ на бородѣ. Онъ держалъ на рукѣ шаль Полины Карповны, зонтикъ и вѣеръ. Онъ, вытянувъ шею, стоялъ, почти не дыша, за нею.

— Вотъ, позвольте познакомить васъ: Michel Раминъ, въ отпуску здѣсь... Татьяна Марковна уже знакома съ нимъ.

Юноша, вмѣсто поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснѣлъ, и опять окоченѣлъ на мѣстѣ.

— Dites quelque chose, Michel! — сказала вполголоса Крицкая.

Но Мишель покраснѣлъ еще гуще и остался на мѣстѣ.

— Asseyez-vous donc,— сказала она и сама сѣла.

— Нынче *жарко:* très chaux! — продолжала она: — гдѣ мой вѣеръ? Дайте его сюда, Michel!

Она начала обмахиваться, глядя на Райскаго.

— Не хотѣли посѣтить меня!—повторила она.

— Я нигдѣ не былъ,—сказалъ Райскій.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись...

— Чего?

— Ah, le monde est si méchant!

«Чортъ знаетъ, что такое!» думалъ Райскій, глядя на нее во всѣ глаза.

— Такъ? Угадала?— говорила она. — Я еще въ первый разъ замѣтила, que nous nous entendons! Эти два взгляда—

помните? Voilà, voilà, tenez... этотъ самый! о, я угадываю его...

Онъ засмѣялся.

— Да, да: правда? Oh, nous nous convenons! Что касается до меня, я умѣю презирать свѣтъ и его мнѣнія. Не правда ли, это заслуживаетъ презрѣнія? Тамъ, гдѣ есть искренность, симпатія, гдѣ люди понимаютъ другъ друга, иногда безъ словъ, по одному такому взгляду...

— Кофейку, Полина Карповна! — прервала ее Татьяна Марковна, подвигая къ ней чашку.— Не слушай ее!—шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой: — все вретъ, безстыжая!—Возьмите вашу чашку,—прибавила она, обратясь къ юношѣ:—вотъ и булки!

— Débarassez-vous de tout cela,—сказала ему Крицкая, и взяла у него зонтикъ изъ рукъ.

— Я, признаться, ужъ пилъ... — подъ носъ себѣ произнесъ кадетъ, однако, взялъ чашку, выбралъ побольше булку и откусилъ половину ея, точно отрѣзалъ, опять густо покраснѣвъ.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхаетъ, вспоминая «несчастное супружество», хотя всѣ говорятъ, что мужъ у ней былъ добрый, смирный человѣкъ и въ ея дѣла никогда не вмѣшивался. А она называетъ его «тираномъ», говоритъ, что молодость ея прошла безплодно, что она не жила любовью и счастьемъ, и вѣритъ, что «часъ ея пробьетъ, что она полюбитъ и будетъ любить идеально».

Татьяна Марковна не совсѣмъ была права, сравнивъ ее съ Мариной. Полина Карповна была покойнаго темперамента: она не искала такъ-называемаго «паденія», и измѣны своимъ обязанностямъ на совѣсти не имѣла.

Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза къ небу, разливалась въ нѣжныхъ рѣчахъ, то дѣлала это притворно, прибѣгая къ этому, какъ къ условнымъ пріемамъ кокетства.

— Нельзя же: отъ васъ далеко...

И бабушка настояла, чтобъ подали кофе. Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на барыню, набѣленную пудрой, въ локонахъ, съ розовыми лентами на шляпкѣ и на груди, значительно открытой, и въ ботинкѣ пятилѣтняго ребенка, такъ что кровь отъ этого прилила ей въ голову. Перчатки были новыя, желтыя, лайковыя, но онѣ лопнули по швамъ, потому что были меньше руки.

За ней шелъ только-что выпущенный кадетъ, съ чуть-чуть пробивающимся пушкомъ на бородѣ. Онъ держалъ на рукѣ шаль Полины Карповны, зонтикъ и вѣеръ. Онъ, вытянувъ шею, стоялъ, почти не дыша, за нею.

— Вотъ, позвольте познакомить васъ: Michel Раминъ, въ отпуску здѣсь... Татьяна Марковна уже знакома съ нимъ.

Юноша, вмѣсто поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснѣлъ, и опять окоченѣлъ на мѣстѣ.

— Dites quelque chose, Michel! — сказала вполголоса Крицкая.

Но Мишель покраснѣлъ еще гуще и остался на мѣстѣ.

— Asseyez-vous donc,—сказала она и сама сѣла.

— Нынче *жярко:* très chеux! — продолжала она: — гдѣ мой вѣеръ? Дайте его сюда, Michel!

Она начала обмахиваться, глядя на Райскаго.

— Не хотѣли посѣтить меня!—повторила она.

— Я нигдѣ не былъ,—сказалъ Райскій.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись...

— Чего?

— Ah, le monde est si méchant!

«Чортъ знаетъ, что такое!» думалъ Райскій, глядя на нее во всѣ глаза.

— Такъ? Угадала?— говорила она. — Я еще въ первый разъ замѣтила, que nous nous entendons! Эти два взгляда—

помните? Voilà, voilà, tenez... этотъ самый! о, я угадываю его...

Онъ засмѣялся.

— Да, да: правда? Oh, nous nous convenons! Что касается до меня, я умѣю презирать свѣтъ и его мнѣнія. Не правда ли, это заслуживаетъ презрѣнія? Тамъ, гдѣ есть искренность, симпатія, гдѣ люди понимаютъ другъ друга, иногда безъ словъ, по одному такому взгляду...

— Кофейку, Полина Карповна! — прервала ее Татьяна Марковна, подвигая къ ней чашку.— Не слушай ее!—шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой: — все вретъ, безстыжая!—Возьмите вашу чашку,—прибавила она, обратясь къ юношѣ:—вотъ и булки!

— Débarassez-vous de tout cela,—сказала ему Крицкая, и взяла у него зонтикъ изъ рукъ.

— Я, признаться, ужъ пилъ... — подъ носъ себѣ произнесъ кадетъ, однако, взялъ чашку, выбралъ побольше булку и откусилъ половину ея, точно отрѣзалъ, опять густо покраснѣвъ.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхаетъ, вспоминая «несчастное супружество», хотя всѣ говорятъ, что мужъ у ней былъ добрый, смирный человѣкъ и въ ея дѣла никогда не вмѣшивался. А она называетъ его «тираномъ», говоритъ, что молодость ея прошла безплодно, что она не жила любовью и счастьемъ, и вѣритъ, что «часъ ея пробьетъ, что она полюбитъ и будетъ любить идеально».

Татьяна Марковна не совсѣмъ была права, сравнивъ ее съ Мариной. Полина Карповна была покойнаго темперамента: она не искала такъ-называемаго «паденія», и измѣны своимъ обязанностямъ на совѣсти не имѣла.

Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза къ небу, разливалась въ нѣжныхъ рѣчахъ, то дѣлала это притворно, прибѣгая къ этому, какъ къ условнымъ пріемамъ кокетства.

Но ей до смерти хотѣлось, чтобъ кто-нибудь былъ всегда въ нее влюбленъ, чтобъ объ этомъ знали и говорили всѣ въ городѣ, въ домахъ, на улицѣ, въ церкви, т.-е. что кто-нибудь по ней «страдаетъ», плачетъ, не спитъ, не ѣстъ, пусть бы даже это была неправда.

Въ городѣ ее уже знаютъ, и она теперь старается заманивать новичковъ, заѣзжихъ студентовъ, прапорщиковъ, молодыхъ чиновниковъ.

Она ласкаетъ ихъ, кормитъ, лакомитъ, раздражаетъ ихъ самолюбіе. Они адски ѣдятъ, пьютъ, накурятъ и уйдутъ. А она подъ рукой распускаетъ слухъ, что тотъ или другой «страдаетъ» по ней.

— Pauvre garçon!—говоритъ она съ жалостью.

Теперь при ней состоялъ заѣзжій юноша, Michel Раминъ, пріѣхавшій прямо съ школьной скамьи въ отпускъ. Онъ держалъ себя прямо, мундиръ у него съ иголочки: онъ всегда застегнутъ на всѣ пуговицы, густо краснѣетъ, на вопросы сиплымъ, робкимъ басомъ, говоритъ *да-съ* или *нѣтъ-съ*.

У него были такія большія руки, съ такими длинными и красными пальцами, что ни въ какія перчатки, кромѣ замшевыхъ, не входили. Онъ былъ одержимъ кадетскимъ аппетитомъ и институтскою робостью.

Полина Карповна стала-было и его угощать конфетами, но онъ съѣдалъ фунта по три въ одинъ присѣстъ. Теперь онъ сопровождаетъ барыню вездѣ, таская шаль, мантилью и вѣеръ за ней.

— Je veux former le jeune homme, ce pauvre enfant!—такъ объясняетъ официально она свои отношенія къ нему.

— Что вы намѣрены сегодня дѣлать? Я обѣдаю у васъ: ce projet vous sourit-il?—обратилась она къ Райскому.

У бабушки внутри прошла судорога, но она и вида не подала, даже выказала радость.

— Милости просимъ. Марѳинька, Марѳинька!

Вошла Марѳинька. Крицкая весело поздоровалась съ ней, а юноша густо покраснѣлъ. Марѳинька, поглядѣвъ на туалетъ Полины Карповны, хотѣла засмѣяться, но удержалась. При взглядѣ на ея спутника, лицо у ней наполнилось еще больше смѣхомъ.

— Мареа Васильевна!—неожиданно, басомъ, сказалъ юноша:—у васъ коза въ огородъ зашла—я видѣлъ! Какъ бы въ садъ не забралась!

— Покорно благодарю, я сейчасъ велю выгнать. Это Машка,—замѣтила Марѳинька:—она меня ищетъ. Я хлѣба ей дамъ.

Бабушка пошептала ей на ухо, что̀ приготовить для неожиданныхъ гостей къ обѣду, и Марѳинька вышла.

— Въ городѣ всѣ говорятъ о васъ и всѣ въ претензіи, что вы до сихъ поръ ни у кого не были, ни у губернатора, ни у архіерея, ни у предводителя,—обратилась Крицкая къ Райскому.

— И я ему то же говорила! — замѣтила Татьяна Марковна:—да нынче бабушекъ не слушаютъ. Не хорошо, Борисъ Павловичъ; ты бы съѣздилъ хоть къ Нилу Андреичу: уважилъ бы старика. А то онъ не проститъ. Я велю вычистить и вымыть коляску...

— Я не поѣду ни къ кому, бабушка, — зѣвая, сказалъ Райскій.

— А ко мнѣ?—спросила Крицкая.

Онъ, глядя на нее, учтиво молчалъ.

— Не принуждайте себя: de grâce, faites ce qu'il vous plaira. Теперь я знаю вашъ образъ мыслей, я увѣрена (она сдѣлала удареніе на этихъ словахъ), что вы хотите... и только свѣтъ... и злые языки...

Онъ засмѣялся.

— Ну, да—да. Я вижу, я угадала? О, мы будемъ счастливы! Enfin!.. — будто про себя шепнула она, но такъ, что онъ слышалъ.

«Ужели она часто будетъ душить меня?» думалъ Райскій, съ ужасомъ глядя на нее. «Куда спастись отъ нея? А она не годится и въ романъ: слишкомъ карикатурна! Никто не повѣритъ...»

XIII.

Тихо тянулись дни, тихо вставало горячее солнце и обтекало синее небо, распростершееся надъ Волгой и ея прибрежьемъ. Медленно ползли снѣгообразныя облака въ полдень, и иногда, сжавшись въ кучу, потемняли лазурь и разсыпа̀лись веселымъ дождемъ на поля и сады, охлаждали воздухъ и уходили дальше, давъ просторъ тихому и теплому вечеру.

Если же вдругъ останавливалась надъ городомъ и Малиновкой (такъ звали деревушку Райскаго) черная туча и разрѣшалась продолжительной, почти тропической грозой — все робѣло, смущалось, весь домъ принималъ, какъ будто передъ нашествіемъ непріятеля, оборонительное положеніе. Татьяна Марковна походила на капитана корабля во время шторма.

— Гасить огни, закрывать трубы, окна, запирать двери! — слышалась ея команда. — Поди, Василиса, посмотри не курятъ ли трубокъ? Нѣтъ ли гдѣ сквозного вѣтра? Отойди, Марѳинька, отъ окна!

Пока вѣтеръ качалъ и гнулъ къ землѣ деревья, столбами несъ пыль, метя поля, пока молніи жгли воздухъ и громъ тяжело, какъ хохотъ, катался въ небѣ, бабушка не смыкала глазъ, не раздѣвалась, ходила изъ комнаты въ комнату, заглядывала, что̀ дѣлаютъ Марѳинька и Вѣрочка, крестила ихъ и крестилась сама, и тогда только успокаивались, когда туча, истративъ весь пламень и трескъ, блѣднѣла и уходила въ даль.

Утромъ восходило опять радостное солнце и играло въ каждой повисшей на листьяхъ капелькѣ, въ каждой лужѣ,

заглядывало въ каждое окно и било въ стекла и щели счастливаго пріюта.

Такимъ же монотоннымъ узоромъ тянулась и жизнь въ Малиновкѣ. Райскій почти не чувствовалъ, что живетъ.

Онъ кончилъ портретъ Марфиньки и исправилъ литературный эскизъ Наташи, предполагая вставить его въ романъ впослѣдствіи, когда раскинется и округлится у него въ головѣ весь романъ, когда явится «цѣль и необходимость» созданія, когда всѣ лица выльются каждое въ свою форму, какъ живыя, дохнутъ, окрасятся колоритомъ жизни и всѣ свяжутся между собою этою «необходимостью и цѣлью»— такъ что, читая романъ, всякій скажетъ, что онъ былъ нуженъ, что его недоставало въ литературѣ.

Онъ рѣшилъ писать его эпизодами, набрасывая фигуру, какая его займетъ, сцену, которая его влечетъ или поразитъ, вставляя себя вездѣ, куда его повлечетъ ощущеніе, впечатлѣніе, наконецъ чувство и страсть, особенно страсть!

— Ахъ, дай Богъ, страсть! — молилъ онъ иногда, томимый скукой.

Онъ бы уже соскучился въ своей Малиновкѣ, уѣхалъ бы искать въ другомъ мѣстѣ «жизни», радостно захлебываться ею подъ дыханіемъ страсти, или не находить по обыкновенію ни въ чемъ примиренія съ своими идеалами, страдать отъ уродливостей и томиться мертвымъ равнодушіемъ ко всему на свѣтѣ.

Все это часто повторялось съ нимъ, повторилось бы и теперь: онъ ждалъ и боялся этого. Но еще въ немъ не изжили пока свой срокъ впечатлѣнія наивной среды, куда онъ попалъ. Ему еще пока пріятенъ былъ ласковый лучъ солнца; добрый взглядъ бабушки, радушная услужливость дворни, рождающаяся нѣжная симпатія Марфиньки — особенно послѣднее.

Онъ по утрамъ съ удовольствіемъ ждалъ, когда она, въ

холстинковой блузѣ, безъ воротничковъ и нарукавниковъ, еще съ томными, не совсѣмъ прозрѣвшими глазами, не остывшая отъ сна, привставши на цыпочки, положитъ ему руку на плечо, чтобъ размѣняться поцѣлуемъ, и угощаетъ его чаемъ, глядя ему въ глаза, угадывая желанія и бросаясь исполнять ихъ. А потомъ надѣнетъ соломенную шляпу съ широкими полями, ходитъ около него, или подъ руку съ нимъ, по полю, по садамъ — и у него кровь бѣжитъ быстрѣе, ему пока не скучно.

Ему любо было пока возиться и съ бабушкой: отдавать свою волю въ ея опеку и съ улыбкой смотрѣть и слушать, какъ она учила его уму-разуму, порядку, остерегала отъ пороковъ и соблазновъ, старалась свести его съ его «цыганскихъ» понятій о жизни на свою крѣпкую, житейскую мудрость.

Нравился ему и Титъ Никонычъ, остатокъ прошлаго вѣка, живущій подъ знаменемъ вѣчной учтивости, приличнаго тона, уклончивости, изящнаго смиренія и таковыхъ же манеръ, все всѣмъ прощающій, ничѣмъ не оскорбляющійся и берегущій свое драгоцѣнное здоровье, всѣми любимый и всѣхъ любящій.

Иногда, въ добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня, Полина Карповна. Она умѣла заманить его къ себѣ обѣдать, и увѣряла, что «онъ, или не равнодушенъ къ ней, но скрываетъ, или sur le point de l'être, но противится и немного остерегается, mais que tôt ou tard cela finira par là et comme elle sera contente, heureuse! etc.

Онъ убаюкивался этою тихою жизнью, по временамъ записывая кое-что въ романъ: черту, сцену, лицо, записалъ бабушку, Марѳиньку, Леонтья съ женой, Савелья и Марину, потомъ смотрѣлъ на Волгу, на ея теченіе, слушалъ тишину и глядѣлъ на сонъ этихъ разсыпанныхъ по прибрежью селъ и деревень, ловилъ въ этомъ океанѣ молчанія какіе-

то одному ему слышимые звуки, и шелъ играть и пѣть ихъ, и унивался, прислушиваясь къ созданнымъ имъ мотивамъ, бросалъ ихъ на бумагу и пряталъ въ портфель, чтобъ «со временемъ» обработать — вѣдь времени много впереди, а дѣлъ у него нѣтъ.

Глядѣлъ на ту картину, которую до того вѣрно нарисовалъ Бѣловодовой, что она, по ея словамъ, «дурно спала ночь»: на тупую задумчивость мужика, на грубую, медленную и тяжелую его работу — какъ онъ тянетъ ременную лямку, таща барку или, затерявшись въ бороздахъ нивы, шагаетъ медленно, весь въ поту, будто несетъ на рукахъ и соху и лошадь вмѣстѣ—или какъ беременная баба, спаленная зноемъ, возится съ серпомъ во ржи.

Онъ рисуетъ эти загорѣлыя лица, ихъ избы, утварь, ловитъ воздухъ, т.-е. набросаетъ слегка эскизъ и спрячетъ въ портфель, опять «до времени».

«Ну, что жъ я выражу этимъ, если изображу эту природу, этихъ людей: гдѣ же смыслъ, ключъ къ этому созданію?»

«Въ самомъ созданіи!» говорилъ художническій инстинктъ: и онъ оставлялъ перо и шелъ на Волгу обдумывать, что такое созданіе, почему оно само по себѣ имѣетъ смыслъ, если оно—созданіе и когда именно оно созданіе?

Потомъ передъ нимъ вырастали трудности: постепенность развитія, полнота и законченность характеровъ, связь между ними, а тамъ, сквозь художественную форму, пробивался анализъ и охлаждалъ...

— Une mer à boire, — говорилъ онъ со вздохомъ, складывалъ листки въ портфель и звалъ Марфиньку въ садъ.

Онъ далъ себѣ слово объяснить, при первомъ удобномъ случаѣ, окончательно вопросъ, не о томъ, что такое Марфинька: это было слишкомъ очевидно, а что изъ нея будетъ,—и потомъ уже поступить въ отношеніи къ ней, смотря по тому, что окажется послѣ объясненія. Способна ли

она къ дальнѣйшему развитію, или уже дошла до своихъ геркулесовыхъ столповъ?

И если, «паче чаянія», въ ней откроется ему внезапный золотоносный пріискъ, съ богатыми залогами, — въ женщинахъ не рѣдки такія неожиданности, — тогда, конечно, онъ поставитъ здѣсь свой домашній жертвенникъ и посвятитъ себя развитію милаго существа: она и искусство будутъ его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены — все пойдетъ въ дѣло. Ему не надъ чѣмъ будетъ разбрасываться, жизнь его сосредоточится и опредѣлится.

Но опыты надъ Марѳинькой пока еще не подвигались впередъ, и не будь она такая хорошенькая, онъ бы усталъ давно отъ безплодной работы надъ ея развитіемъ.

Какъ онъ ни затрогиваетъ ея умъ, самолюбіе, ту или другую сторону сердца—никакъ не можетъ вывести ее изъ круга раннихъ, дѣвическихъ понятій, теплыхъ, домашнихъ чувствъ, логики преданій и преподанныхъ бабушкой уроковъ.

Она все дѣвочка, и ни разу не высказалась въ ней даже дѣвица. Быть «дѣвой», по своей здоровой натурѣ и по простому, почти животному, воспитанію, она рѣшительно не обѣщала.

Но вѣдь все-таки она грядущая женщина: какая же она будетъ, какою быть должна?

Онъ смотрѣлъ мысленно и на себя, какъ это у него дѣлалось невольно, само собой, безъ его вѣдома («и какъ дѣлалось у всѣхъ, думалъ онъ, непремѣнно, только эти всѣ не наблюдаютъ за собой, или не сознаются въ этой, врожденной человѣку, чертѣ: одни—только казаться, а другіе и быть и казаться какъ можно лучше — одни, натуры мелкія — только наружно, т.-е. рисоваться, натуры глубокія, серьезныя, искреннія — и внутренно, что въ сущности и значитъ работать надъ собой, улучшаться») и вдумывался, какая роль достается ему въ этой встрѣчѣ: таковъ ли онъ, каковъ

Долженъ быть, и каковъ именно долженъ онъ быть? Братъ, нѣжный покровитель и руководитель ея юности—или въ самомъ дѣлѣ будущій ея мужъ?

Едва онъ остановился на этой послѣдней роли, какъ вздохнулъ глубоко, заранѣе предвидя, что, или онъ, или она, не продержатся до свадьбы на высотѣ идеала, поэзія улетучится, или разсыплется въ мелкій дождь мѣщанской комедіи! И онъ холодѣетъ, зѣваетъ, чувствуетъ уже симптомы скуки.

Волноваться такъ, безъ цѣли, и волновать ее — безнравственно. Что же дѣлать: какъ держать себя съ ней?

Просто быть братомъ невозможно, надо бѣжать: она слишкомъ мила, тепла, нѣжна, прикосновеніе ея грѣетъ, жжетъ, шевелитъ нервы. Онъ же приходится ей братъ въ третьемъ колѣнѣ, т.-е. не братъ, и близость такой сестры опасна...

А между тѣмъ онъ поддавался нѣгѣ ея ласкъ, и отвѣтныя его ласки были не ласки брата, а нѣжнѣе; въ поцѣлуй прокрадывался какой-то страстный змѣй...

«Еще опытъ», думалъ онъ: «одинъ разговоръ, и я буду ея мужемъ, или... Діогенъ искалъ съ фонаремъ «человѣка»— я ищу женщины: вотъ ключъ къ моимъ поискамъ! А если не найду въ ней, и боюсь, что не найду, я, разумѣется, не затушу фонаря, пойду дальше... Но Боже мой! гдѣ кончится это мое странствіе?»

Онъ зѣвнулъ.

«Уѣду отсюда и напишу романъ: картину вялаго сна, вялой жизни»...

Онъ еще пуще зѣвнулъ.

— Скажи, Марѳинька, — началъ онъ однажды, сидя съ нею въ сумерки на дерновомъ диванѣ, подъ акаціями: — не скучно тебѣ здѣсь? Не надоѣли тебѣ: бабушка, Титъ Никонычъ, садъ, цвѣты, пѣсенки, книжки съ веселымъ окончаніемъ?..

— Нѣтъ, — сказала она, удивляясь этимъ вопросамъ: — чего же мнѣ еще нужно?

— Не кажется тебѣ иногда это... однообразно, пошло, скучно?

— Пошло, скучно! — повторяла она задумчиво: — нѣтъ! Развѣ здѣсь скучно?

— Все это ребячество, Марѳинька: цвѣты, пѣсенки, а ты ужъ взрослая дѣвушка, — онъ бросилъ бѣглый взглядъ на ея плечи и бюстъ: — ужели тебѣ не приходитъ въ голову что-нибудь другое, серьезное? Развѣ тебя ничто больше не занимаетъ?

Она задумалась, потупивъ глаза. Ей было немного стыдно и не ловко, что ее считаютъ еще ребенкомъ.

«А вѣдь я давно не ребенокъ: мнѣ идетъ четырнадцать аршинъ матеріи на платье: столько же, сколько бабушкѣ— нѣтъ, больше: бабушка не носитъ широкихъ юбокъ», успѣла она въ это время подумать. «Но Боже мой! что это за вздоръ у меня въ головѣ? Что я ему скажу? Пусть бы Вѣрочка поскорѣй пріѣхала на подмогу»...

Она не знала, что ей надо дѣлать, чтобъ быть не ребенкомъ, чтобъ на нее смотрѣли, какъ на взрослую, уважали, боялись ея. Она безпокойно оглядывалась вокругъ, тиранила пальцами кончикъ передника, смотрѣла себѣ подъ ноги.

У ней многое проносилось въ головѣ, росли мысли, являлись вопросы, но такъ туманно, блѣдно, что она не успѣвала вслушиваться въ нихъ, какъ они исчезали, и не умѣла высказать.

— Послушайте, братецъ,—отвѣчала она:—вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птицъ, цвѣты: я и дѣло дѣлаю. Бабушка часто велитъ мнѣ записывать приходъ и расходъ. Я знаю, сколько засѣвается ржи, овса, когда что поспѣваетъ, куда и когда сплавляютъ хлѣбъ, знаю, сколько лѣсу надо мужику, чтобъ избу построить...—Она смѣлѣе по-

глядѣла на него. — Я бы могла и за полевыми работами смотрѣть, да бабушка не пускаетъ. Что же еще? — прибавила она, глядя на него во всѣ глаза и думая, выросла ли она хоть немного въ его глазахъ?

— Да, это все, конечно, хорошо, и современемъ изъ тебя можетъ выйти такая же бабушка. Развѣ ты хотѣла бы быть такою?

— Ахъ, дай Богъ: да гдѣ мнѣ!

— А другою тебѣ не хочется быть?

— Зачѣмъ? Вѣдь если бъ я была другою, я бы здѣсь была не на мѣстѣ...

— Такъ, умно сказано, Мароинька: да зачѣмъ же здѣсь? Ты слыхала про Москву, про Петербургъ, про Парижъ, Лондонъ: развѣ тебѣ не хотѣлось бы побывать вездѣ?

— Зачѣмъ мнѣ?

— Какъ зачѣмъ! Ты читаешь книги, тамъ говорится, какъ живутъ другія женщины: вонъ хоть бы эта Елена, у миссъ Эджеворгъ. Развѣ тебя не тянетъ, не хочется тебѣ испытать этой другой жизни?..

Она медленно и задумчиво качала головой.

— Нѣтъ,—сказала она:—чего не знаешь: такъ и не хочется. Вонъ Вѣрочка, той все скучно, она часто груститъ, сидитъ, какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь! Ей бы надо куда-нибудь уѣхать, она не здѣшняя. А я—ахъ, какъ мнѣ здѣсь хорошо: въ полѣ, съ цвѣтами, съ птицами, какъ дышится легко! Какъ весело, когда съѣдутся знакомые!.. Нѣтъ, нѣтъ, я здѣшняя, я вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травки! не хочу никуда. Что бы я одна дѣлала тамъ въ Петербургѣ, за границей? Я бы умерла съ тоски...

— Ты бы не одна была.

— Съ кѣмъ же? Бабушка никогда не выѣдетъ изъ деревни.

— Зачѣмъ тебѣ бабушка? Со мной... съ мужемъ. Поѣхала бы со мной?

Она покачала отрицательно головой

— Отчего?

— Я боялась бы, что вамъ скучно со мной...

— Ты привыкла бы ко мнѣ.

— Нѣтъ, не привыкла бы... Вотъ другая недѣля, какъ вы здѣсь... а я боюсь васъ.

— Чего же? кажется, я такой простой: сижу, гуляю, рисую съ тобой...

— Нѣтъ, вы не простой. Иногда у васъ что-то такое въ глазахъ... Нѣтъ, я не привыкну къ вамъ...

— Но вѣдь это скучно: вѣкъ свой съ бабушкой и ни шагу безъ нея...

— Да я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала дѣлать безъ нея?

Она безпокойно глядѣла по сторонамъ, и опять встревожилась тѣмъ, что нечего ей больше сказать въ отвѣтъ.

«Ахъ, Боже мой! Онъ сочтетъ меня дурочкой... Что бы сказать мнѣ ему такое... самое умное?... Господи помоги!» молилась она про себя.

Но ничего «умнаго» не приходило ей въ голову, и она въ тоскѣ тиранила свои пальцы.

— Не мучаешься ты ничѣмъ внутренно? Нѣтъ ничего у тебя на душѣ?..—приставалъ онъ.

Она глубоко вздохнула.

«Бабушка велѣла, чтобъ ужинъ былъ хорошій—вотъ что у меня на душѣ: какъ я ему скажу это!..» подумала она.

— Какъ не быть? Я взрослая, не дѣвочка!— съ печальной важностью сказала она, помолчавъ.

— А! грѣшки есть: ну, слава Богу! А я уже-было отчаивался въ тебѣ! Говори же, говори, что?

Онъ подвинулся къ ней, взялъ ее за руки.

— Что!—повторила она задумчиво, не отнимая руки:—а совѣсть?

— Совѣсть! О-го! это большими грѣхами пахнетъ!

Онъ засмѣялся-было, а потомъ вдругъ подумалъ, не кроется ли подъ этой наивностью какой-нибудь крупный грѣшокъ, не притворная ли она смиренница?

— Что же можетъ быть у тебя на совѣсти? Довѣрься мнѣ и разберемъ вмѣстѣ. Не пригожусь ли я тебѣ на какую-нибудь услугу?

— То, что я думаю, у всякаго есть...

— Напримѣръ?

— Послушайте-ка проповѣди отца Василья о томъ, какъ надо жить, что надо дѣлать! А какъ мы живемъ: дѣлаемъ ли хоть половину того, что онъ велитъ?—внушительно говорила она. — Хоть бы одинъ день прожить такъ... и то не удается! Отречься отъ себя, быть всѣмъ слугой, отдавать все бѣднымъ, любить всѣхъ больше себя, даже тѣхъ, кто насъ обижаетъ, не сердиться, трудиться, не думать слишкомъ о нарядахъ и о пустякахъ, не болтать... ужасъ, ужасъ! Всего не вспомнишь! Я какъ стану думать, такъ и растеряюсь: страшно станетъ. Не достанетъ всей жизни, чтобъ сдѣлать это! Вонъ бабушка: есть ли умнѣе и добрѣе ея на свѣтѣ! а и она... грѣшитъ... — шопотомъ произнесла Мароинька: — сердится напрасно, терпѣть не можетъ Анну Петровну Токееву: даже не похристосовалась съ ней! Полину Карповну не любитъ. На людей часто сердится; не все прощаетъ имъ; бабъ притворщицами считаетъ, когда онѣ жалуются на нужду... Деньги очень бережетъ...—еще тише шепнула Мароинька. — А когда ошибется въ чемъ-нибудь, никогда не сознается: гордая бабушка! Она лучше всѣхъ здѣсь: какія же мы съ Вѣрочкой! и какой надо быть, чтобъ...

— Такой, какъ ты есть,—сказалъ Райскій.

— Нѣтъ... — Она задумчиво покачала головой. — Я многаго не понимаю, и оттого не знаю, какъ мнѣ иногда надо поступить. Вонъ Вѣрочка знаетъ, и если не дѣлаетъ, такъ не хочетъ, а я не умѣю...

— И ты часто мучаешься этимъ?

— Нѣтъ; иногда, какъ заговорятъ объ этомъ, бабушка побранитъ... Заплачу, и пройдетъ, и опять дѣлаюсь весела, и все, что говоритъ отецъ Василій — будто не мое дѣло! Вотъ что худо!

— И больше нѣтъ у тебя заботы, счастливое дитя?

— Какъ будто этого мало! Развѣ вы никогда не думаете объ этомъ?—съ удивленіемъ спросила она.

— Нѣтъ, душенька, вѣдь я не слыхалъ отца Василія.

— Какъ же вы живете: вѣдь есть и у васъ что-нибудь на душѣ?

— Вотъ теперь ты!

— Я! Обо мнѣ бабушка заботится, пока жива...

— А какъ она умретъ?

— Бабушка? Боже сохрани! — торопливо прибавила она, крестясь.

— Должно же это случиться...

— Богъ съ вами: что за мысли, что за разговоръ у васъ такой!..

Она старалась не слушать его.

— Неужели ты думаешь, что она вѣчно будетъ жить?..

— Перестаньте, ради Бога: я и слушать не хочу!

— Ну, а если?

— Тогда и мы съ Вѣрочкой умремъ, потому что безъ бабушки...

Она тяжело вздохнула.

— Отъ этого и надо думать, что птичекъ, цвѣтовъ и всей этой мелочи не станетъ, чтобъ прожить ею цѣлую жизнь. Нужны другіе интересы, другія связи, симпатіи...

— Что же мнѣ дѣлать?—почти въ отчаяніи сказала она.

— Надо любить кого-нибудь, мужчину... — помолчавъ говорилъ онъ, наклоняя ея лобъ къ своимъ губамъ.

— Выйти замужъ? Да, вы мнѣ говорили, и бабушка часто намекаетъ на то же, но...

— Но... что же?

— Гдѣ его взять?—стыдливо сказала она.

— Развѣ тебѣ не нравится никто? Не замѣтила ты между молодыми людьми...

— Ужъ хороши здѣсь молодые люди! Вонъ у Бочкова три сына: все собираютъ мужчинъ къ себѣ по вечерамъ, такихъ же, какъ сами, пьютъ, да въ карты играютъ. А на утро глаза у всѣхъ красные. У Чеченина сынъ пріѣхалъ въ отпускъ и съ самаго начала объявилъ, что ему надо приданое во сто тысячъ, а самъ хуже Мотьки: маленькій, кривоногій и все куритъ! Нѣтъ, нѣтъ... Вотъ Николай Андреичъ—хорошенькій, веселый и добрый, да...

— Да что?

— Молодъ: ему всего двадцать три года!

— Кто это такой?

— Викентьевъ: ихъ усадьба за Волгой, недалеко отсюда. Колчино—ихъ деревня, тутъ только сто душъ. У нихъ въ Казани еще триста душъ. Маменька его звала насъ съ Вѣрочкой гостить, да бабушка однѣхъ не пускаетъ. Мы однажды только на одинъ день ѣздили... А Николай Андреичъ одинъ сынъ у нея—больше дѣтей нѣтъ. Онъ учился въ Казани, въ университетѣ, служитъ здѣсь у губернатора, по особымъ порученіямъ.

Она проговорила это живо, съ веселымъ лицомъ и скороговоркой.

— А! такъ вотъ кто тебѣ нравится: Викентьевъ!—говорилъ онъ и, прижавъ ея руку къ лѣвому своему боку, сидѣлъ, не шевелясь, любовался, какъ безпечно Марѳинька принимала и возвращала ласки, почти не замѣчала ихъ, и ничего, кажется, не чувствовала.

«Можетъ-быть, одна искра», думалъ онъ: «одно жаркое пожатіе руки вдругъ пробудитъ ее отъ дѣтскаго сна, откроютъ ей глаза, и она внезапно вступитъ въ другую пору жизни»...

А она щебетала безпечно, какъ птичка.

— Что вы: Викентьевъ! — сказала она задумчиво, какъ будто справляясь сама съ собою, нравится ли онъ ей.

— Теперь темно, а то вѣрно ты покраснѣла! — поддразнивалъ ее Райскій, глядя ей въ лицо и пожимая руку.

— Вовсе нѣтъ! Отъ чего мнѣ краснѣть? Вотъ его двѣ недѣли не видать совсѣмъ, мнѣ и нужды нѣтъ...

— Скажи, онъ нравится тебѣ?

Она молчала.

— Что: угадалъ?

— Что вы! Я только говорю, что онъ лучше всѣхъ здѣсь: это всѣ скажутъ... Губернаторъ его очень любитъ и никогда не посылаетъ на слѣдствія: «что, говоритъ, ему грязниться тамъ, разбирать убійства да воровства—нравственность испортится! Пусть, говоритъ, побудетъ при мнѣ!» Онъ теперь при немъ, и когда не у насъ, тамъ обѣдаетъ, танцуетъ, играетъ...

— Однимъ словомъ, служитъ!—сказалъ Райскій.

— У него ужъ крестикъ есть! Маленькій такой! — съ удовольствіемъ прибавила Марфинька.

— Бываетъ онъ здѣсь?

— Очень часто: вотъ что-то теперь пропалъ. Не уѣхалъ ли въ Колчино, къ maman? Надо его побранить, что не сказавшись уѣхалъ. Бабушка выговоръ ему сдѣлаетъ: онъ боится ея... А когда онъ здѣсь — не посидитъ смирно: бѣгаетъ, поетъ. Ахъ, какой онъ шалунъ! И какъ много кушаетъ! Недавно большую-пребольшую сковороду грибовъ съѣлъ! Сколько булочекъ скушаетъ за часъ! Что ни дай, все скушаетъ. Бабушка очень любитъ его за это. Я тоже его...

— Любишь?—живо спросилъ Райскій, наклоняясь и глядя ей въ глаза.

— Нѣтъ, нѣтъ!—Она закачала головой:—Нѣтъ, не люблю, а только онъ... славный! Лучше всѣхъ здѣсь: держитъ себя

хорошо, не ходитъ по трактирамъ, не играетъ на бильярдѣ, вина никакого не пьетъ...

— Славный!—повторилъ Райскій, приглаживая ей волосы на вискахъ:—и ты славная! Какъ жаль, что я старъ, Марфинька: какъ бы я любилъ тебя!—тихо прибавилъ онъ, притянувъ ее немного къ себѣ.

— Что вы за стары: нѣтъ еще! — снисходительно замѣтила она, поддаваясь его ласкѣ. — Вотъ только у васъ въ бородѣ есть немного бѣлыхъ волосъ, а то вѣдь вы иногда бываете прехорошенькій... когда смѣетесь, или что-нибудь живо разсказываете. А вотъ, когда нахмуритесь, или смотрите какъ-то особенно... тогда вамъ точно восемьдесятъ лѣтъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, я тебѣ не кажусь страшенъ и старъ?

— Вовсе нѣтъ.

— И тебѣ пріятно... поцѣловать меня?

— Очень.

— Ну, поцѣлуй.

Она привстала немного, оперлась колѣнкой на его ногу и звучно поцѣловала его, и хотѣла сѣсть, но онъ удержалъ ее.

Она попробовала освободиться, ей было неловко такъ стоять, наконецъ сѣла, раскраснѣвшись отъ усилія, и стала поправлять сдвинувшуюся съ мѣста косу.

Онъ, напротивъ, былъ блѣденъ, сидѣлъ, закинувъ голову назадъ, опираясь затылкомъ о дерево, съ закрытыми глазами, и почти безсознательно держалъ ее крѣпко за руку.

Она хотѣла привстать, чтобъ половчѣе сѣсть, но онъ держалъ крѣпко, такъ что она должна была опираться рукой ему на плечо.

— Пустите, вамъ тяжело, — сказала она: — я вѣдь толстая—вонъ какая рука—троньте!

А она щебетала безпечно, какъ птичка.

— Что вы: Викентьевъ! — сказала она задумчиво, какъ будто справляясь сама съ собою, нравится ли онъ ей.

— Теперь темно, а то вѣрно ты покраснѣла! — поддразнивалъ ее Райскій, глядя ей въ лицо и пожимая руку.

— Вовсе нѣтъ! Отъ чего мнѣ краснѣть? Вотъ его двѣ недѣли не видать совсѣмъ, мнѣ и нужды нѣтъ...

— Скажи, онъ нравится тебѣ?

Она молчала.

— Что: угадалъ?

— Что вы! Я только говорю, что онъ лучше всѣхъ здѣсь: это всѣ скажутъ... Губернаторъ его очень любитъ и никогда не посылаетъ на слѣдствія: «что, говоритъ, ему грязниться тамъ, разбирать убійства да воровства—нравственность испортится! Пусть, говоритъ, побудетъ при мнѣ!» Онъ теперь при немъ, и когда не у насъ, тамъ обѣдаетъ, танцуетъ, играетъ...

— Однимъ словомъ, служитъ!—сказалъ Райскій.

— У него ужъ крестикъ есть! Маленькій такой! — съ удовольствіемъ прибавила Марѳинька.

— Бываетъ онъ здѣсь?

— Очень часто: вотъ что-то теперь пропалъ. Не уѣхалъ ли въ Колчино, къ maman? Надо его побранить, что не сказавшись уѣхалъ. Бабушка выговоръ ему сдѣлаетъ: онъ боится ея... А когда онъ здѣсь — не посидитъ смирно: бѣгаетъ, поетъ. Ахъ, какой онъ шалунъ! И какъ много кушаетъ! Недавно большую-пребольшую сковороду грибовъ съѣлъ! Сколько булочекъ скушаетъ за чаемъ! Что ни дай, все скушаетъ. Бабушка очень любитъ его за это. Я тоже его...

— Любишь?—живо спросилъ Райскій, наклоняясь и глядя ей въ глаза.

— Нѣтъ, нѣтъ!—Она закачала головой:—Нѣтъ, не люблю, а только онъ... славный! Лучше всѣхъ здѣсь: держитъ себя

хорошо, не ходитъ по трактирамъ, не играетъ на бильярдѣ, вина никакого не пьетъ...

— Славный!—повторилъ Райскій, приглаживая ей волосы на вискахъ:—и ты славная! Какъ жаль, что я старъ, Марѳинька: какъ бы я любилъ тебя!—тихо прибавилъ онъ, притянувъ ее немного къ себѣ.

— Что вы за стары: нѣтъ еще! — снисходительно замѣтила она, поддаваясь его ласкѣ. — Вотъ только у васъ въ бородѣ есть немного бѣлыхъ волосъ, а то вѣдь вы иногда бываете прехорошенькій... когда смѣетесь, или что-нибудь живо разсказываете. А вотъ, когда нахмуритесь, или смотрите какъ-то особенно... тогда вамъ точно восемьдесятъ лѣтъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, я тебѣ не кажусь страшенъ и старъ?

— Вовсе нѣтъ.

— И тебѣ пріятно... поцѣловать меня?

— Очень.

— Ну, поцѣлуй.

Она привстала немного, оперлась колѣнкой на его ногу и звучно поцѣловала его, и хотѣла сѣсть, но онъ удержалъ ее.

Она попробовала освободиться, ей было неловко такъ стоять, наконецъ сѣла, раскраснѣвшись отъ усилія, и стала поправлять сдвинувшуюся съ мѣста косу.

Онъ, напротивъ, былъ блѣденъ, сидѣлъ, закинувъ голову назадъ, опираясь затылкомъ о дерево, съ закрытыми глазами, и почти безсознательно держалъ ее крѣпко за руку.

Она хотѣла привстать, чтобъ половчѣе сѣсть, но онъ держалъ крѣпко, такъ что она должна была опираться рукой ему на плечо.

— Пустите, вамъ тяжело, — сказала она: — я вѣдь толстая—вонъ какая рука—троньте!

— Нѣтъ, не тяжело... — тихо отвѣчалъ онъ, наклоняя опять ея голову къ своему лицу и оставаясь такъ неподвижно.

— Тебѣ хорошо такъ?

— Хорошо, только жарко, у меня щеки и уши горятъ, посмотрите: я думаю, красныя! У меня много крови: дотроньтесь пальцемъ до руки, сейчасъ бѣлое пятно выступитъ и пропадетъ.

Онъ молчалъ и все сидѣлъ съ закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всемъ, что приходило въ голову, глядѣла по сторонамъ, чертила носкомъ ботинки по песку

— Обрейте бороду!—сказала она:—вы будете еще лучше. Кто это выдумалъ такую нелѣпую моду—бороды носить? У мужиковъ переняли! Ужели въ Петербургѣ всѣ съ бородами ходятъ?

Онъ машинально кивнулъ головой.

— Вы обреетесь, да? А то Нилъ Андреичъ увидитъ—разсердится. Онъ терпѣть не можетъ бороды: говоритъ, что только революціонеры носятъ ее.

— Все сдѣлаю, что хочешь,—нѣжно сказалъ онъ.—Зачѣмъ только ты любишь Викентьева?

— Опять! Вотъ вы какіе: сами затѣяли разговоръ, а теперь выдумали, что люблю. Ужъ и люблю! Онъ и мечтать не смѣетъ! Любить—какъ это можно! Что еще бабушка скажетъ?— прибавила она, разсѣянно играя бородой Райскаго и не подозрѣвая, что пальцы ея, какъ змѣи, ползали по его нервамъ, поднимали въ немъ тревогу, зажигали огонь въ крови, туманили разсудокъ. Онъ пьянѣлъ съ каждымъ движеніемъ пальцевъ.

— Люби меня, Марѳинька: другъ мой, сестра!..—бредилъ онъ, сжимая крѣпко ей талію.

— Охъ, больно, братецъ, пустите, ей-Богу, задохнусь!—говорила она, невольно падая ему на грудь.

Онъ опять прижалъ ея щеку къ своей и опять шепталъ:

— Хорошо тебѣ?

— Неловко ногамъ.

Онъ отпустилъ ее, она поправила ноги и сѣла подлѣ него.

— Зачѣмъ ты любишь цвѣты, котятъ, птицъ?

— Кого же мнѣ любить?

— Меня, меня!

— Вѣдь я люблю.

— Не такъ, иначе! — говорилъ онъ, положивъ ей руки на плеча.

— Вонъ одна звѣздочка, вонъ другая, вонъ третья: какъ много! — говорила Марѳинька, глядя на небо. — Ужели это правда, что тамъ, на звѣздахъ, тоже живутъ люди? Можетъ-быть, не такіе, какъ мы... Ахъ, молнія! Нѣтъ, это зарница играетъ за Волгой: я боюсь грозы... Вѣрочка отворитъ окно и сядетъ смотрѣть грозу, а я всегда спрячусь въ постель, задерну занавѣски, и если молнія очень блеститъ, то положу большую подушку на голову, а уши заткну, и ничего не вижу, не слышу... Вонъ звѣздочка покатилась! Скоро ужинать! — прибавила потомъ, помолчавъ. — Если бъ васъ не было, мы бы рано ужинали, а въ одиннадцать часовъ спать; когда гостей нѣтъ, мы рано ложимся.

Онъ молчалъ, положилъ щеку ей на плечо.

— Вы спите?—спросила она.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Ну, дремлете: вонъ у васъ и глаза закрыты. Я тоже, какъ лягу, сейчасъ засну, даже иногда не успѣю чулокъ снять, такъ и повалюсь. Вѣрочка долго не спитъ: бабушка бранитъ ее, называетъ полунощницей. А въ Петербургѣ рано ложатся?

Онъ молчалъ.

— Братецъ!

Онъ все молчалъ.

— Что вы молчите?

Онъ пошевелился - было и опять онѣмѣлъ, мечтая о возможности постояннаго счастья, держа это счастье въ рукахъ, и не желая выпустить.

Она зѣвнула до слезъ.

— Какъ тепло!—сказала она.—Я прошусь иногда у бабушки спать въ бесѣдку—не пускаетъ. Даже и въ комнатѣ велитъ окошко запирать.

Онъ ни слова.

«Все молчитъ: какъ привыкнешь къ нему?» подумала она, и безпечно опять склонилась головой къ его головѣ, разсѣянно пробѣгая усталымъ взглядомъ по небу, по сверкавшимъ сквозь вѣтви звѣздамъ, глядѣла на темную массу лѣса, слушала шумъ листьевъ, и задумалась, наблюдая, отъ нечего дѣлать, какъ подъ рукой у ней бьется въ лѣвомъ боку у Райскаго.

«Какъ странно!» думала она: «отчего это у него такъ бьется? А у меня?» и приложила руку къ своему боку: — «нѣтъ, не бьется!»

Потомъ хотѣла привстать, но почувствовала, что онъ держитъ ее крѣпко. Ей стало неловко.

— Пустите, братецъ! — шопотомъ, будто стыдливо, сказала она.—Пора домой!

Ему все жаль было выпустить ее, какъ будто онъ разставался съ ней навсегда.

— Больно, пустите... — говорила Марѳинька, съ возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь: — ахъ, какъ неловко!

Наконецъ она наклонилась и вынырнула изъ-подъ рукъ.

Онъ тяжело вздохнулъ.

— Что съ вами?—раздался ея дѣтскій, покойный голосъ надъ нимъ.

Онъ поглядѣлъ на нее, вокругъ себя и опять вздохнулъ, какъ будто просыпаясь.

— Что съ вами?—повторила она:—какіе вы странные!

Онъ вдругъ отрезвился, взглянулъ съ удивленіемъ на Марѳиньку, что она тутъ, осмотрѣлся кругомъ и быстро всталъ со скамейки. У него вырвался отчаянный:

— Ахъ!

Она положила-было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклочившіеся волосы и хотѣла опять сѣсть рядомъ.

— Нѣтъ, пойдемъ отсюда, Марѳинька!—въ волненіи сказалъ онъ, устраняя ее.

— Какіе вы странные: на себя не похожи! Не болитъ ли голова?

Она дотронулась рукой до его лба.

— Не подходи близко, не ласкай меня! Милая сестра!—сказалъ онъ, цѣлуя у нея руку.

— Какъ же не ласкать, когда вы сами такъ ласковы! Вы такой добрый, такъ любите насъ. Домъ, садикъ подарили, а я что за статуя такая!..

— И будь статуей! Не отвѣчай никогда на мои ласки, какъ сегодня...

— Отчего?

— Такъ; у меня иногда бываютъ припадки... тогда уйди отъ меня.

— Не дать ли вамъ чего-нибудь выпить? У бабушки гофманскія капли есть. Я бы сбѣгала: хотите?

— Нѣтъ, не надо. Но ради Бога, если я когда-нибудь буду слишкомъ ласковъ, или другой также, этотъ Викентьевъ, напримѣръ...

— Смѣлъ бы онъ!—съ удивленіемъ сказала Марѳинька.—Когда мы въ горѣлки играемъ, такъ онъ не смѣетъ взять меня за руку, а ловитъ всегда за рукавъ! Что выдумали: Викентьевъ! Позволила бы я ему!

— Ни ему, ни мнѣ, никому на свѣтѣ.. Помни, Марѳинька, это: люби, кто нравится, но прячь это глубоко въ душѣ своей, не давай воли, ни себѣ, ни ему, пока... позволитъ бабушка и отецъ Василій. Помни проповѣдь его...

Она, молча, слушала и задумчиво шла подлѣ него, удивляясь его припадку, вспоминая, что онъ передъ тѣмъ за часъ говорилъ другое, и не знала, что̀ подумать.

— Вотъ видите, а вы говорили... что...—начала она.

— Я ошибся: не про тебя то, что̀ говорилъ я. Да, Марѳинька, ты права: грѣхъ хотѣть того, чего не дано, желать жить, какъ живутъ эти барыни, о которыхъ въ книгахъ пишутъ. Боже тебя сохрани мѣняться, быть другою! Люби цвѣты, птицъ, занимайся хозяйствомъ, ищи веселаго окончанія и въ книжкахъ, и въ своей жизни...

— Это не глупо... любить птицъ: вы не смѣетесь, вы это правду говорите?—робко спрашивала она.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты перлъ, ангелъ чистоты... ты свѣтла, чиста, прозрачна...

— Прозрачна?—смѣялась она:—насквозь видно!

— Ты..., ты...

Онъ въ припадкѣ восторга не зналъ, какъ назвать ее.

— Ты вся — солнечный лучъ! — сказалъ онъ: — и пусть будетъ проклятъ, кто захочетъ бросить нечистое зерно въ твою душу! Прощай! Никогда не подходи близко ко мнѣ, а если я подойду—уйди!

Онъ подошелъ къ обрыву.

— Куда же вы? Пойдемте ужинать! Скоро и спать...

— Я не хочу ни ужинать, ни спать.

— Опять вы отъ ужина уходите: смотрите, бабушка...

Она не кончила фразы, какъ Райскій бросился съ обрыва и исчезъ въ кустахъ.

«Боже мой!» думалъ онъ, внутренно содрогаясь: «полчаса назадъ, я былъ честенъ, чистъ, гордъ; полчаса позже, этотъ святой ребенокъ превратился бы въ жалкое созданіе, а «честный и гордый» человѣкъ въ величайшаго негодяя! Гордый духъ уступилъ бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмѣялись бы надъ философіей, нравственностью, разви-

тіемъ! Однако духъ устоялъ, кровь и нервы не одолѣли: честь, честность спасены»...

«Чѣмъ?» спросилъ онъ себя, останавливаясь надъ рытвиной. «Прежде всего... силой моей воли, сознаніемъ безобразія»... началъ-было онъ говорить, выпрямляясь, «нѣтъ, нѣтъ», долженъ былъ сейчасъ же сознаться: «это пришло послѣ всего, а прежде чѣмъ? Ангелъ-хранитель невидимо ограждалъ? бабушкина судьба берегла ее? или... что?» Что́ бы ни было, а онъ этому загадочному «или» обязанъ тѣмъ, что остался честнымъ человѣкомъ. Таилось ли это «или» въ ея святомъ, стыдливомъ невѣдѣніи, въ послушаніи проповѣди отца Василья, или, наконецъ, въ лимфатическомъ темпераментѣ—все же оно было въ ней, а не въ немъ...

— О, какъ скверно! какъ скверно!—твердилъ онъ, перескочивъ рытвину и продираясь между кустовъ на приволжскій песокъ.

Марѳинька долго смотрѣла вслѣдъ ему, потомъ тихо, задумчиво пошла домой, срывая машинально листья съ кустовъ и трогая по временамъ себя за щеки и уши.

— Какъ разгорѣлись, я думаю, красныя!—шептала она.— Отчего онъ не велѣлъ подходить близко, вѣдь онъ не чужой? А самъ такъ ласковъ... Вонъ какъ горятъ щеки!

Она прикладывала руку, то къ одной, то къ другой щекѣ.

Бабушка начала ворчать, что Райскій ушелъ отъ ужина. Молча, втроемъ, съ Титомъ Никонычемъ, отужинали и разошлись.

Марѳинька, обыкновенно все разсказывавшая бабушкѣ, колебалась, разсказать ли ей, или нѣтъ, о томъ, что братъ навсегда отказался отъ ея ласкъ, и кончила тѣмъ, что ушла спать, не разсказавши. Собиралась не разъ, да не знала, съ чего начать. Не сказала также ничего и о припадкѣ «братца», легла пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки и уши все горѣли.

Наконецъ, пролежавъ напрасно, безъ сна, съ часъ въ

постели, она встала, вытерла лицо огуречным разсолом, что дѣлала обыкновенно отъ загара, потомъ перекрестилась и заснула.

XIV.

Райскій нижнимъ берегомъ выбрался на гору и дошелъ до домика Козлова. Завидя свѣтъ въ окнѣ, онъ пошелъ-было къ калиткѣ, какъ вдругъ замѣтилъ, что кто-то перелѣзаетъ черезъ заборъ, съ переулка въ садикъ.

Райскій подождалъ въ тѣни забора, пока тотъ перескочилъ совсѣмъ. Онъ колебался, на что ему рѣшиться, потому что не зналъ, воръ ли это, или обожатель Ульяны Андреевны, какой-нибудь m-r Шарль, — и потому боялся поднять тревогу.

Подумавъ, онъ однако счелъ нужнымъ слѣдить за незнакомцемъ: для этого послѣдовалъ его примѣру и также тихо перелѣзъ черезъ заборъ.

Тотъ прокрадывался къ окнамъ, Райскій шелъ за нимъ и остановился въ нѣсколькихъ шагахъ. Незнакомецъ приподнялся до окна Леонтья и вдругъ забарабанилъ, что есть мочи, въ стекло.

«Это не воръ... это должно быть — Маркъ!» подумалъ Райскій и не ошибся.

— Философъ! отворяй! Слышишь ли ты, Платонъ? — говорилъ голосъ.—Отворяй же скорѣй!

— Обойди съ крыльца! — глухо изъ-за стекла, отозвался голосъ Козлова.

— Куда еще пойду я на крыльцо, собакъ будить? Отворяй!

— Ну, постой; экой какой! — говорилъ Леонтій, отворяя окно.

Маркъ влѣзъ въ комнату.

— Это еще кто за тобой лѣзетъ? Кого ты привелъ?—съ испугомъ спросилъ Козловъ, пятясь отъ окна.

— Никого я не привелъ — что тебѣ чудится... Ахъ, въ самомъ дѣлѣ, лѣзетъ кто-то...

Райскій въ это время вскочилъ въ комнату.

— Борисъ, и ты? — сказалъ съ изумленіемъ Леонтій.— Какъ вы это вмѣстѣ сошлись?

Маркъ мелькомъ взглянулъ на Райскаго и обратился къ Леонтью.

— Дай мнѣ скорѣе другіе панталоны, да нѣтъ ли вина?— сказалъ онъ.

— Что это, откуда ты?—съ изумленіемъ говорилъ Леонтій, теперь только замѣтившій, что Маркъ почти по-поясъ былъ выпачканъ въ грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь.

— Ну, давай скорѣй, нечего разговаривать!—нетерпѣливо отозвался Маркъ.

— Вина нѣтъ; у насъ Шарль обѣдалъ, мы все выпили: водка, я думаю, есть...

— Ну, гдѣ твое платье лежитъ?

— Жена спитъ, а я не знаю гдѣ: надо у Авдотьи спросить...

— Уродъ! Пусти, я самъ найду.

Онъ взялъ свѣчу и скрылся въ другую комнату.

— Вотъ—видишь какой!—сказалъ Леонтій Райскому.

Черезъ десять минутъ Маркъ пришелъ съ панталонами въ рукахъ.

— Гдѣ это ты вымочился такъ?—спросилъ Леонтій.

— Черезъ Волгу переѣзжалъ въ рыбачьей лодкѣ, да у острова дурачина рыбакъ со-слѣпа въ тину попалъ: надо было выскочить и стащить лодку.

Онъ, не обращая на Райскаго вниманія, перемѣнилъ панталоны и сѣлъ въ большомъ креслѣ, съ ногами, такъ что колѣнки пришлись вровень съ лицомъ. Онъ положилъ на нихъ бороду.

Райскій молча разсматривалъ его. Маркъ былъ лѣтъ

двадцати семи, сложенный крѣпко, точно изъ металла, и пропорціонально. Онъ былъ не блондинъ, а блѣдный лицомъ, и волосы, блѣдно-русые, закинутые густой гривой за уши и на затылокъ, открывали большой выпуклый лобъ. Усы и борода жидкіе, свѣтлѣе волосъ на головѣ.

Открытое, какъ будто дерзкое лицо, далеко выходило впередъ. Черты лица не совсѣмъ правильныя, довольно крупныя, лицо скорѣе худощавое, нежели полное. Улыбка, мелькавшая по временамъ на лицѣ, выражала не то досаду, не то насмѣшку, но не удовольствіе.

Руки у него длинныя, кисти рукъ большія, правильныя и цѣпкія. Взглядъ сѣрыхъ глазъ былъ или смѣлый, вызывающій, или по большей части холодный, и ко всему небрежный.

Сжавшись въ комокъ, онъ сидѣлъ неподвиженъ: ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрѣли на все покойно или холодно.

Но подъ этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая замѣтна иногда въ лежащей, повидимому, покойно и беззаботно, собакѣ. Лапы сложены вмѣстѣ, на лапахъ покоится спящая морда, хребетъ согнулся въ тяжелое, лѣнивое кольцо: спитъ совсѣмъ, только одно вѣко все дрожитъ, и изъ-за него чуть-чуть сквозитъ черный глазъ. А пошевелись кто-нибудь около, дунь вѣтерокъ, хлопни дверь, покажись чужое лицо — эти безпечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лаетъ, скачетъ...

Посидѣвъ немного съ зажмуренными глазами, онъ вдругъ открылъ ихъ и обратился къ Райскому.

— Вы вѣрно привезли хорошихъ сигаръ изъ Петербурга: дайте мнѣ одну,—сказалъ онъ безъ церемоніи.

Райскій подалъ ему сигарочницу.

— Леонтій! Ты насъ и не представилъ другъ другу!— упрекнулъ его Райскій.

— Да чего представлять: вы оба пришли одной дорогой и оба знаете, кто вы!—отвѣчалъ тотъ.

— Какъ это ты обмолвился умнымъ словомъ, а еще ученый!—сказалъ Маркъ.

— Это тотъ самый... Маркъ... что... Я писалъ тебѣ: помнишь...—началъ-было Козловъ.

— Постой! Я самъ представлюсь!—сказалъ Маркъ, вскочилъ съ кресель и ставъ въ церемонную позу, расшаркался передъ Райскимъ.

— Честь имѣю рекомендоваться: Маркъ Волоховъ, пятнадцатаго класса, состоящій подъ надзоромъ полиціи чиновникъ, невольный здѣшняго города гражданинъ!

Потомъ откусилъ кончикъ сигары, закурилъ ее и опять свернулся въ комокъ на креслахъ.

— Что же вы здѣсь дѣлаете?—спросилъ Райскій.

— Да то же, я думаю, что и вы...

— Развѣ вы... любите искусство: артистъ, можетъ-быть?

— А вы... артистъ?

— Какъ же! — вмѣшался Леонтій: — я тебѣ говорилъ: живописецъ, музыкантъ... Теперь романъ пишетъ: смотри, братъ, какъ разъ тебя туда упечетъ.—Что ты: ужъ далеко?—обратился онъ къ Райскому.

Райскій сдѣлалъ ему знакъ рукой молчать.

— Да, я артистъ, — отвѣчалъ Маркъ на вопросъ Райскаго. — Только въ другомъ родѣ. Я такой артистъ, что купцы называютъ «художникъ». Бабушка ваша, я думаю, вамъ говорила о моихъ произведеніяхъ!

— Она слышать о васъ не можетъ.

— Ну, вотъ видите! А я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблокъ сорвалъ черезъ заборъ!

— Яблоки мои: я вамъ позволяю, сколько хотите...

— Благодарю: не надо; привыкъ ужъ все въ жизни безъ позволенія дѣлать, такъ и яблоки буду брать безъ спросу: слаще такъ!

— Я очень хотѣлъ видѣть васъ: мнѣ такъ много со всѣхъ сторонъ наговорили...—сказалъ Райскій.

— Что же вамъ наговорили?

— Мало хорошаго...

— Вѣроятно, вамъ сказали, что я разбойникъ, извергъ, ужасъ здѣшнихъ мѣстъ!

— Почти...

— Что же васъ такъ позывало видѣть меня послѣ этихъ отзывовъ? Вамъ надо тоже пристать къ общему хору: я у васъ книги рвалъ. Вотъ онъ, я думаю, сказывалъ...

— Да, да! вотъ онъ на лицо: я радъ, что онъ самъ заговорилъ!—вмѣшался Леонтій.—Такъ бы и надо было сначала отрекомендовать тебя...

— Дѣлайте съ книгами что хотите, я позволяю! — сказалъ Райскій.

— Опять! Кто проситъ вашего позволенія? Теперь не стану брать и рвать: можешь Леонтій спать покойно.

— А вѣдь въ сущности предобрый! — замѣтилъ Леонтій про Марка: — когда прихворнешь, ходитъ какъ нянька, за лѣкарствомъ бѣгаетъ въ аптеку... И чего не знаетъ? Все! Только ничего не дѣлаетъ, да вотъ покою никому не даетъ: шалунище непроходимый...

— Полно врать, Козловъ!—перебилъ Маркъ.

— Впрочемъ, не всѣ бранятъ васъ,—вмѣшался Райскій:— Ватутинъ отзывается, или, по крайней мѣрѣ, старается отзываться хорошо.

— Неужели! Этотъ сахарный маркизъ! Кажется, я ему оставилъ кое-какіе сувениры: ночью будилъ не разъ, окна отворялъ у него въ спальнѣ. Онъ все, видите, нездоровъ, а какъ пріѣхалъ сюда, лѣтъ сорокъ назадъ, никто не помнитъ, чтобъ онъ былъ боленъ. Деньги, что занялъ у него, не отдамъ никогда. Что же ему еще? А хвалитъ!

— Такъ вотъ вы какой артистъ! — весело замѣтилъ Райскій.

— А вы какой? Разскажите теперь!—просилъ Маркъ.

— Я... такъ себѣ, художникъ — плохой, конечно: люблю красоту и поклоняюсь ей; люблю искусство, рисую, играю... Вотъ хочу писать—большую вещь, романъ...

— Да, да, вижу: такой же художникъ, какъ всѣ у насъ...

— Всѣ?

— Вѣдь у насъ все артисты: одни лѣпятъ, рисуютъ, брянчатъ, сочиняютъ — какъ вы и подобные вамъ. Другіе ѣздятъ въ палаты, въ правленія—по утрамъ, третьи сидятъ у своихъ лавокъ и играютъ въ шашки, четвертые живутъ по помѣстьямъ и продѣлываютъ другія штуки — вездѣ искусство!

— У васъ нѣтъ охоты пристать къ которому-нибудь разряду?—улыбаясь, спросилъ Райскій.

— Пробовалъ, да не умѣю. А вы зачѣмъ сюда пріѣхали?—спросилъ онъ въ свою очередь.

— Самъ не знаю, — сказалъ Райскій: — мнѣ все равно, куда ни ѣхать... Подвернулось письмо бабушки, она звала сюда, я и пріѣхалъ.

Маркъ погрузился въ себя и не занимался больше Райскимъ, а Райскій, напротивъ, вглядывался въ него, изучалъ выраженіе лица, слѣдилъ за движеніями, стараясь помочь фантазіи, которая, по обыкновенію, рисовала портретъ за портретомъ съ этой новой личности.

«Слава Богу!» думалъ онъ: «кажется, не я одинъ такой праздный, не опредѣлившійся, ни на чемъ не остановившійся человѣкъ. Вотъ что-то похожее: бродитъ, не примиряется съ судьбой, ничего не дѣлаетъ (я хоть рисую и хочу писать романъ), по лицу видно, что ничѣмъ и никѣмъ не доволенъ... Что же онъ такое? Такая же жертва разлада, какъ я? Вѣчно въ борьбѣ, между двухъ огней? Съ одной стороны фантазія обольщаетъ, возводитъ все въ идеалъ: людей, природу, всю жизнь, всѣ явленія, а съ другой—холодный анализъ разрушаетъ все — и не даетъ забываться.

жить: оттуда вѣчное недовольство, холодъ... То ли онъ, или другое что-нибудь?..»

Онъ вглядывался въ дремлющаго Марка, у Леонтія тоже слипались глаза.

— Пора домой,—сказалъ Райскій.—Прощай, Леонтій!

— Куда же я его дѣну?— спросилъ Козловъ, указывая на Марка.

— Оставь его тутъ.

— Да, оставь козла въ огородѣ! А книги-то? Если бъ можно было передвинуть его съ кресломъ сюда, въ темненькую комнату, да запереть!— мечталъ Козловъ, но тотчасъ же отказался отъ этой мечты.

— Съ нимъ послѣ и не раздѣлаешься!— сказалъ онъ:— да еще, пожалуй, проснется ночью, кровью съ дома снесетъ!

Маркъ вдругъ засмѣялся, услыхавъ послѣднія слова, и быстро вскочилъ на ноги.

— И я съ вами пойду,— сказалъ онъ Райскому, и надѣвши фуражку, въ одно мгновеніе выскочилъ изъ окна, но прежде задулъ свѣчку у Леонтья, сказавъ:—Тебѣ спать пора: не сиди по ночамъ. Смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились!

Райскій послѣдовалъ, хотя не такъ проворно, его примѣру, и оба тѣмъ же путемъ, черезъ садикъ, и перелѣзши опять черезъ заборъ, вышли на улицу.

— Послушайте,—сказалъ Маркъ:—мнѣ ѣсть хочется: у Леонтья ничего нѣтъ. Не поможете ли вы мнѣ осадить какой-нибудь трактиръ?

— Пожалуй, но это можно сдѣлать и безъ осады...

— Нѣтъ, теперь поздно, такъ не дадутъ—особенно когда узнаютъ, что я тутъ: надо взять съ бою. Закричимъ: «пожаръ!» тогда отворятъ, а мы и войдемъ.

— Потомъ выгонятъ.

— Нѣтъ, ужъ это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, такъ ужъ не выгонишь!

— Осадить! Ночной шумъ — какъ это можно? — сказалъ Райскій.

— А! испугались полиціи: что̀ сдѣлаетъ губернаторъ, что̀ скажетъ Нилъ Андреичъ, какъ приметъ это общество, дамы? — смѣялся Маркъ. — Ну, прощайте, я ѣсть хочу и одинъ сдѣлаю приступъ...

— Постойте, у меня другая мысль, забавнѣе этой. Моя бабушка — я говорилъ вамъ — не можетъ слышать вашего имени, и еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормитъ васъ...

— Ну, такъ что же?

— Пойдемте ужинать къ ней: да кстати ужъ и ночуйте у меня! Я не знаю, что̀ она сдѣлаетъ и скажетъ, знаю только, что будетъ смѣшно.

— Идея недурна: пойдемте. Да только увѣрены ли вы, что мы достанемъ у ней ужинъ? Я очень голоденъ.

— Достанемъ ли ужинъ у Татьяны Марковны? Навѣрное можно накормить роту солдатъ.

Они молча шли дорогой. Маркъ курилъ сигару и шелъ, уткнувши носъ въ бороду, глядя подъ ноги и поплевывая.

Они пришли въ Малиновку и продолжали молча идти мимо забора, почти ощупью въ темнотѣ прошли ворота и подошли къ плетню, чтобъ перелѣзть черезъ него въ огородъ.

— Вонъ тамъ подальше лучше бы: отъ фруктоваго сада, или съ обрыва,—сказалъ Маркъ.—Тамъ деревья, не видать, а здѣсь, пожалуй, собакъ встревожишь, да далеко обходить. Я все тамъ хожу...

— Вы ходите... сюда, въ садъ? Зачѣмъ?

— А за яблоками! Я вонъ ихъ тамъ въ прошломъ году рвалъ, съ поля, близъ стараго дома. И въ нынѣшнемъ августѣ надѣюсь, если... вы позволите...

— Съ удовольствіемъ: лишь бы не поймала Татьяна Марковна!

— Нѣтъ, не поймаетъ. А вотъ не поймаемъ ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочилъ черезъ плетень: по-нашему! Э-э, постой, не спрячешься. Кто тутъ? Стой! Райскій, спѣшите сюда, на помощь!

Онъ бросился впередъ шаговъ на десять и схватилъ кого-то.

— Что за кошачьи глаза у васъ: я ничего не вижу!— говорилъ Райскій и поспѣшилъ на голосъ.

Маркъ уже держалъ кого-то: этотъ кто-то барахтался у него въ рукахъ, наконецъ, упалъ на-земь, прижавшись къ плетню.

— Ловите, держите тамъ: кто-то еще черезъ плетень пробирается въ огородъ!—кричалъ опять Маркъ.

Райскій увидѣлъ еще фигуру, которая уже влѣзла на плетень и вытянула ноги, чтобъ соскочить въ огородъ. Онъ крѣпко схватилъ ее за руку.

— Кто тутъ? Кто ты? Зачѣмъ? Говори!—спрашивалъ онъ.

— Баринъ! пустите, не губите меня!—жалобно шепталъ женскій голосъ.

— Это ты, Марина!—сказалъ Райскій, узнавъ ее по голосу:—зачѣмъ ты здѣсь?

— Тише, баринъ, не зовите меня по имени: Савелій узнаетъ, больно прибьетъ!

— Ну, ступай, иди же скорѣй... Нѣтъ, постой! кстати попалась: не можешь ли ты принести ко мнѣ въ комнату поужинать что-нибудь?

— Все могу, баринъ: только не губите, Христа ради!

— Не бойся, не погублю! Есть ли что-нибудь на кухнѣ?

— Все есть: какъ не быть! цѣлый ужинъ! Безъ васъ не хотѣли кушать, мало кушали. Заливныя стерляди есть, индѣйка, я все убрала на ледникъ...

— Ну, неси. А вино есть ли?

— Осталась бутылка въ буфетѣ, и наливка у Маріы Васильевны въ комнатѣ...

— Какъ же достать: разбудишь ее?

— Нѣтъ, Марѳа Васильевна не проснется: люта спать! Пустите, баринъ—мужъ услышитъ...

— Ну, бѣги же, «Земфира», да не попадись ему, смотри!

— Нѣтъ, теперь ничего не возьметъ, если и встрѣтитъ: скажу на васъ, что вы велѣли...

Она засмѣялась своей широкой улыбкой во весь ротъ, глаза блеснули какъ у кошки, и она, далеко вскинувъ ноги, перескочила черезъ плетень, юбка задѣла за сучокъ. Она рванула ее, засмѣялась опять и, нагнувшись, по-кошачьи, промчалась между двумя рядами капусты.

А Маркъ въ это время все допытывался, кто прячется подъ плетнемъ. Онъ вытащилъ оттуда незнакомца, поставилъ на ноги и всматривался въ него, тотъ прятался и не давался узнавать себя.

— Савелій Ильичъ!—заискивающимъ голосомъ говорилъ онъ:—ничего такого... вы не деритесь: я самъ сдачи сдамъ...

— Что-то лицо твое мнѣ знакомо! — сказалъ Маркъ:—какая темнота!

— Ахъ, это не Савелій Ильичъ, ну, слава-те Господи!—радостно сказалъ, отряхиваясь, незнакомый. — Я, сударь, садовникъ! Вонъ оттуда...

Онъ показалъ на садъ вдали.

— Что ты тутъ дѣлаешь?

— Да... пришелъ послушать, какъ соборный колоколъ ударитъ... да не то чтобъ пустымъ дѣломъ заниматься... У насъ часы остановились...

— Ну, тебя къ чорту!—сказалъ Маркъ, оттолкнувъ его.

Тотъ перескочилъ черезъ канаву и пропалъ въ темнотѣ.

Райскій между тѣмъ воротился къ главнымъ воротамъ: онъ старался отворить калитку, но не хотѣлъ стучаться, чтобъ не разбудить бабушку.

Онъ услышалъ чьи-то шаги по двору.

— Марина, Марина!—звалъ онъ вполголоса, думая, что она несетъ ему ужинъ:—отвори!

Съ той стороны отодвинули задвижку; Райскій толкнулъ калитку ногой, и она отворилась. Передъ нимъ стоялъ Савелій: онъ бросился на Райскаго и схватилъ его за грудь...

— А, постой, голубчикъ, я поквитаюсь съ тобой—вмѣсто Марины!—злобно говорилъ онъ:—смотри, пожалуй, въ калитку лѣзетъ: а я тамъ, какъ пень, караулю у плетня!..

Онъ приперъ спиной калитку, чтобъ посѣтитель не ушелъ.

— Это я, Савелій!—сказалъ Райскій.—Пусти.

— Кто это?—никакъ баринъ!—въ недоумѣніи произнесъ Савелій и остановился, какъ вкопанный.—Какъ же вы изволили звать Марину! — медленно произнесъ онъ, помолчавъ:—нешто вы ее видѣли?

— Да, я еще съ вечера просилъ ее оставить мнѣ ужинать,—солгалъ онъ въ пользу преступной жены: — и отпереть калитку. Она ужъ слышала, что я пришелъ... Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать.

— Слушаю-съ! — медленно сказалъ онъ. Потомъ долго стоялъ на мѣстѣ, глядя вслѣдъ Райскому и Марку. — Вотъ что?—разстановисто произнесъ онъ и тихо пошелъ домой.

На дорогѣ онъ встрѣтилъ Марину.

— Что тебѣ, лѣшій, не спится?—сказала она и, согнувъ одно бедро, скользнула проворно мимо его:—бродитъ по ночамъ! Ты бы хоть лошадямъ гривы заплеталъ, благо нѣтъ домового! Срамить меня только передъ господами!—ворчала она, несясь, какъ сильфъ, мимо его, съ тарелками, блюдами, салфетками и хлѣбами въ обѣихъ рукахъ, выше головы, но такъ, что ни одна тарелка не звенѣла, ни ложка, ни стаканъ не шевелились у ней.

Савелій, не глядя на нее, въ отвѣтъ на ея воззваніе, молча погрозилъ ей вожжей.

XV.

Маркъ въ самомъ дѣлѣ былъ голоденъ: въ пять, шесть пріемовъ ножомъ и вилкой, стерлядей какъ не бывало; но и Райскій не отставалъ отъ него. Марина пришла убрать и унесла остовъ индѣйки.

— Хорошо бы чего-нибудь сладкаго! — сказалъ Борисъ Павловичъ.

— Пирожнаго не осталось,—отвѣчала Марина:—есть варенье, да ключи отъ подвала у Василисы.

— Что за пирожное!—отозвался Маркъ:—нельзя ли сдѣлать жжёнку? Есть ли ромъ?

Райскій вопросительно взглянулъ на Марину.

— Должно-быть, есть: барышня на «пудень» выдавали повару на завтра: я посмотрю въ буфетѣ...

— А сахаръ есть?

— У барышни въ комнатѣ: я достану,—сказала Марина и исчезла.

— И лимонъ!—крикнулъ ей вслѣдъ Маркъ.

Марина принесла бутылку рому, лимонъ, сахаръ, и жжёнка запылала. Свѣчи потушили, и синее пламя зловѣщимъ блескомъ озарило комнату. Маркъ изрѣдка мѣшалъ ложкой ромъ; растопленный на двухъ вилкахъ сахаръ, шипя, капалъ въ чашку. Маркъ время отъ времени пробовалъ, готова ли жжёнка, и опять мѣшалъ ложкой.

— Итакъ... — сказалъ, помолчавъ, Райскій и остановился.

— Итакъ?.. — повторилъ Маркъ вопросительно.

— Давно ли вы здѣсь въ городѣ?

— Года два...

— Вѣрно скучаете.

— Я стараюсь развлекаться...

— Извините... я...

— Пожалуйста, безъ извиненій! спрашивайте напрямикъ. Въ чемъ вы извиняетесь?

— Въ томъ, что не вѣрю вамъ...

— Въ чемъ?

— Въ этихъ развлеченіяхъ... въ этой роли, которую вы... или, виноватъ...

— Опять «виноватъ»?

— Которую вамъ приписываютъ.

— У меня нѣтъ никакой роли: вотъ мнѣ и приписываютъ какую-то.

Онъ налилъ рюмку жжёнки и выпилъ.

— Выпейте: готова! — сказалъ онъ, наливая рюмку и подвигая къ Райскому. Тотъ выпилъ ее медленно, безъ удовольствія, чтобъ только сдѣлать компанію собесѣднику.

— Приписываютъ,—началъ Райскій:—стало-быть это не настоящая ваша роль?

— Экіе вы? я вамъ говорю, что у меня нѣтъ роли: ужели нельзя безъ роли прожить?..

— Но вѣдь въ насъ есть потребность что-нибудь дѣлать: а вы, кажется, ничего...

— А вы что дѣлаете?

— Я... говорилъ вамъ, что я художникъ...

— Покажите же мнѣ образчики вашего искусства...

— Теперь ничего нѣтъ: вотъ впрочемъ — бездѣлка: еще не совсѣмъ кончено...

Онъ всталъ съ дивана, снялъ холстину съ портрета Марѳиньки и зажегъ свѣчу.

— Да, похожъ!—сказалъ Маркъ:—хорошо!.. «У него талантъ!» сверкнуло у Марка въ головѣ.—Очень хорошо бы... да... голова велика, плечи немного широки...

«У него вѣренъ глазъ!» подумалъ Райскій.

— Лучше всего этотъ свѣтлый фонъ въ воздухѣ и въ аксессуарахъ. Вся фигура отъ этого легка, воздушна, про-

зрачна: вы поймали тайну фигуры Марѳиньки. Къ цвѣту ея лица и волосъ идетъ этотъ легкій колоритъ...

«У него есть и вкусъ, и пониманіе!» думалъ опять Райскій: «ужъ не артистъ ли онъ, да притаился?»

— А вы знаете Марѳиньку?—спросилъ онъ.

— Знаю.

— А Вѣру?

— И Вѣру знаю.

— Гдѣ же вы ихъ видали? Вы въ домѣ не бываете.

— Въ церкви.

— Въ церкви? Какъ же говорятъ, что вы не заглядываете въ церковь?

— Не помню, впрочемъ, гдѣ видѣлъ: въ деревнѣ, въ полѣ встрѣчалъ...

Онъ выпилъ еще рюмку жжёнки.

— Не хотите ли?—прибавилъ онъ, наливая Райскому.

— Нѣтъ—я не пью почти: это такъ только, для компаніи. У меня и такъ въ голову бросилось.

— И у меня тоже, да ничего: выпейте. Если бъ въ голову не бросалось, такъ и пить не нужно.

— Зачѣмъ же, если не хочется?

— И то правда, ну, такъ я за васъ!

Онъ выпилъ и его рюмку.

«Не пьяница ли онъ?» подумалъ Райскій, боязливо глядя, съ какимъ удовольствіемъ онъ выпилъ еще рюмку.

— Вамъ странно смотрѣть, что я пью:—сказалъ Маркъ, угадавшій его мысли:—это отъ скуки и праздности... дѣлать нечего!

Онъ опять налилъ, но поставилъ рюмку подлѣ себя и попросилъ сигару. Райскій подвинулъ ему ящикъ.

«У него глаза покраснѣли», думалъ онъ: «напрасно я зазвалъ его—видно бабушка правду говоритъ: какъ бы онъ чего-нибудь»...

— Праздность! вѣдь это...

— Мать всѣхъ пороковъ, хотите вы сказать, — перебилъ Маркъ: — запишите это въ свой романъ и продайте... И ново, и умно...

— Я хочу сказать,—продолжалъ Райскій:—что отъ насъ зависитъ быть празднымъ и не быть...

— Когда вы давеча перелѣзли черезъ заборъ къ Леонтью, — перебилъ опять Маркъ:— я думалъ, что вы порядочный человѣкъ, а вы, кажется, въ полку Нила Андреича служите, читаете мораль...

— Вотъ видите, я и правъ, что извинился передъ вами: надо быть осторожнымъ на словахъ...—замѣтилъ Райскій.

— Зачѣмъ? Не надо. Говорите, что вздумается, и мнѣ не мѣшайте отвѣчать, какъ вздумаю. Вѣдь я не спросилъ у васъ позволенія обругать васъ Ниломъ Андреичемъ—а ужъ чего хуже?

— Правда ли, что вы стрѣляли по немъ?—спросилъ Райскій съ любопытствомъ.

— Вздоръ: я стрѣлялъ вонъ тамъ на выѣздѣ по голубямъ, чтобъ ружье разрядить: я возвращался съ охоты. А онъ тамъ гулялъ: увидалъ, что я стрѣляю, и началъ кричать, чтобъ я пересталъ, что это грѣхъ, и тому подобныя глупости. Если бъ только одно это, я бы назвалъ его дуракомъ и дѣло съ концомъ, а онъ затопалъ ногами, грозилъ пальцемъ, стучалъ палкой: «я тебя, говоритъ, мальчишку, въ острогъ: я тебя туда, куда воронъ костей не заносилъ; въ 24 часа въ мелкій порошокъ изотру, въ бараній рогъ согну, на поселеніе сошлю!» Я далъ ему истощить весь словарь этихъ нѣжностей, выслушалъ хладнокровно, а потомъ прицѣлился въ него.

— Что же онъ?

— Ну, началъ присѣдать, растерялъ палку, калоши, потомъ сѣлъ на-земь и попросилъ извиненія. А я выстрѣлилъ на воздухъ и опустилъ ружье—вотъ и все.

— Это... развлеченіе?—спросилъ съ мягкой ироніей Райскій.

— Нѣтъ, — серьезно отвѣчалъ Маркъ: — важное дѣло, урокъ старому ребенку.

— Что же послѣ?

— Ничего: онъ ѣздилъ къ губернатору жаловаться и солгалъ, что я стрѣлялъ въ него, да не попалъ. Если бъ я былъ мирный гражданинъ города, меня бы сейчасъ на съѣзжую посадили, а такъ какъ я внѣ закона, на особенномъ счету, то губернаторъ разузналъ, какъ было дѣло, и посовѣтовалъ Нилу Андреичу умолчать, «чтобъ до Петербурга никакихъ исторій не доходило»: этого онъ, какъ огня, боится.

«Кажется, онъ хвастается удалью!» подумалъ Райскій, вглядываясь въ него. «Не провинціальный ли это фанфаронъ низшаго разряда?»

— Я не хотѣлъ читать вамъ морали, — сказалъ онъ вслухъ: — говоря о праздности, я только удивился, что съ вашимъ умомъ, образованіемъ и способностями...

— Почемъ вы знаете мой умъ, образованіе и способности?

— Я вижу...

— Что же вы видите? Что я умѣю лазить черезъ заборы стрѣляю въ дураковъ, ѣмъ много, пью... видите!..

Онъ еще выпилъ. Райскій съ безпокойствомъ смотрѣлъ на эти возліянія и подумывалъ, чѣмъ это все кончится. Онъ внутренно раскаивался въ своей затѣѣ подразнить бабушку.

— Вы морщитесь: не бойтесь, — сказалъ Маркъ: — я не сожгу дома и не зарѣжу никого. Сегодня я особенно пью, потому что усталъ и озябъ. Я не пьяница.

Онъ вылилъ остатки рома изъ бутылки въ чашку и зажегъ опять ромъ. Потомъ, положивъ оба локтя на столъ, небрежно глядѣлъ на Райскаго.

Въ манерахъ его, и безъ того развязныхъ, стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, отъ которой всегда неловко становится трезвому собесѣднику.

Разговоръ тоже принималъ оборотъ фамильярности. Райскаго, несмотря на увѣреніе собесѣдника, не покидало безпокойство, что это перейдетъ границы.

— Вы тоже, можетъ-быть, умны...— говорилъ Маркъ, не то серьезно, не то иронически, и безцеремонно глядя на Райскаго:— я еще не знаю, а, можетъ-быть, и нѣтъ, а что способны, даже талантливы — это я вижу, — слѣдовательно больше васъ имѣю права спросить, отчего же вы ничего не дѣлаете?

— Я... все-таки...

— Портретъ написали?— перебилъ онъ.— Да вы портретистъ, что ли?

— Да, я писалъ иногда...

— Ну, *иногда*—это не дѣло. Иногда и я дѣлалъ кое-что.

Онъ помѣшалъ новую жжёнку и хлебнулъ. Райскій и желалъ, и боялся наводить его на дальнѣйшій разговоръ, чтобъ вино не оказало полнаго дѣйствія.

— Вы говорите,—началъ, однако, онъ:—что у меня есть талантъ: и другіе то же говорятъ, даже находятъ во мнѣ таланты. Я, можетъ-быть, и художникъ въ душѣ, искренній художникъ,—но я не готовился къ этому поприщу...

— Почему же?

— Да какъ вамъ сказать: у насъ нѣтъ этой арены, отъ того нѣтъ и приготовленія къ ней.

— Вотъ видите,—замѣтилъ Маркъ:—однако, васъ учили, нельзя прямо сѣсть за фортепіано, да заиграть. Плечо у васъ на портретѣ и криво, голова велика, а все же надо выучиться держать кисть въ рукѣ.

— Да, если хотите, учили, «чтобъ имѣть въ обществѣ пріятные таланты», какъ говаривалъ мой опекунъ: рисовать въ альбомы, пѣть романсы въ салонѣ. Я и достигъ этого

умѣнья очень быстро. А когда подросъ, узналъ, что̀ значитъ призваніе—хотѣлъ одного искусства и больше ничего—мнѣ показали, въ какихъ черныхъ рукахъ оно держится. Заѣзжіе пѣвцы и пѣвицы давали концерты, на нихъ смотрѣли свысока. Учитель рисованія сидѣлъ безъ хлѣба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себѣ. У меня вонъ предки есть: съ историческими именами, въ мундирахъ, лентахъ и звѣздахъ: ну, и меня толкали въ камеръ-юнкеры, соблазняли гусарскимъ мундиромъ. Я былъ мальчикъ, соблазнился и пошелъ въ гусары.

— Ну, а потомъ? Тамъ въ Петербургѣ есть академія...

— Потомъ...

— Что потомъ?—перебилъ Маркъ и засмѣялся.

— Извѣстно что... поздно было: какая академія послѣ чада петербургской жизни! — съ досадой говорилъ Райскій, ходя изъ угла въ уголъ:—у меня, видите, есть имѣніе, есть родство, свѣтъ... Надо бы было все это отдать нищимъ, взять крестъ и идти... какъ говоритъ одинъ художникъ, мой пріятель. Меня отняли отъ искусства, какъ дитя отъ груди...—Онъ вздохнулъ. — Но я ворочусь и дойду! — сказалъ онъ рѣшительно.—Время не ушло, я еще не старъ...

Маркъ опять засмѣялся.

— Нѣтъ,—говорилъ онъ:—не сдѣлаете: куда вамъ!

— Отчего нѣтъ? почему вы знаете?— горячо приступилъ къ нему Райскій: — вы видите, у меня есть воля и терпѣніе...

— Вижу, вижу: и лицо у васъ пылаетъ, и глаза горятъ—и всего отъ одной рюмки: то ли будетъ какъ выпьете еще! Тогда тутъ же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите ли?

— Да почему вы знаете? Вы не вѣрите въ намѣренія?..

— Какъ не вѣрить: ими, говорятъ, вымощенъ адъ. Нѣтъ, вы ничего не сдѣлаете, и не выйдетъ изъ васъ ничего, кромѣ того, что вышло, т.-е. очень мало. Много этакихъ у

насъ было и есть: всѣ пропали, или спились съ кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончаютъ этимъ. Это все неудачники!

Онъ, съ усмѣшкой, подвинулъ ему рюмку и выпилъ самъ.

«Онъ холодный, злой, безъ сердца!» заключилъ Райскій. Между прочимъ его поразило послѣднее замѣчаніе. «Много у насъ этакихъ!» шепталъ онъ и задумался. «Ужели я изъ тѣхъ: съ печатью таланта, но грубыхъ, грязныхъ, утопившихъ даръ въ винѣ... «одна нога въ калошѣ, другая въ туфлѣ», мелькнуло у него бабушкино живописное сравненіе. «Ужели я... неудачникъ? А это упорство, эта одна вѣчная цѣль, что это значитъ? Вретъ онъ!»

— Вы увидите, что не всѣ такіе... — возразилъ онъ горячо:—увидите, я непремѣнно...

И остановился, вспомнивъ бабушкину мудрость о заносчивомъ «непремѣнно».

— Сами же видите, что я не топлю даръ въ винѣ... — прибавилъ онъ.

— Да, не пьете; это правда: это улучшеніе, прогрессъ! Свѣтъ, перчатки, танцы и духи спасли васъ отъ этого. Впрочемъ, чадъ бываетъ различный: у кого пары бросаются въ голову, у другого... Не влюбчивы ли вы?

Райскій слегка покраснѣлъ.

— Что, кажется, попалъ?

— Почему вы знаете?

— Да потому, что это тоже входитъ въ натуру художника: она не чуждается ничего человѣческаго: nihil humanum... и такъ далѣе! Кто вино, кто женщинъ, кто карты, а художники взяли себѣ все.

— Вино, женщины, карты!—повторилъ Райскій озлобленно:—когда перестанутъ считать женщину какимъ-то наркотическимъ снадобьемъ и ставить рядомъ съ виномъ и картами!—Почему вы думаете, что я влюбчивъ?—спросилъ онъ, помолчавъ.

— Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей...

— Ну, такъ что же: поклоняюсь—видите...

— Вѣрно влюблены въ Марѳиньку: не даромъ портретъ пишете! Художники, какъ лѣкаря и попы, даромъ не любятъ ничего дѣлать. Пожалуй, не прочь и того... увлечь дѣвочку, сыграть какой-нибудь романчикъ, даже драму...

Онъ глядѣлъ безцеремонно на Райскаго и засмѣялся злымъ смѣхомъ.

— Милостивый государь!—сказалъ Райскій запальчиво:—кто вамъ далъ право думать и говорить такъ...

И вдругъ остановился, вспомнивъ сцену съ Марѳинькой въ саду, и сильно почесалъ свои густые волосы.

— Тише, бабушка услышитъ!—небрежно сказалъ Маркъ.

— Послушайте!..—сдвинувъ брови, началъ опять Райскій.

— ... если я васъ до сихъ поръ не выбросилъ за окошко,—договорилъ за него Маркъ:—то вы обязаны этимъ тому, что вы у меня подъ кровомъ! Такъ, что ли, слѣдуетъ дальше? Ха-ха-ха!

Райскій прошелся по комнатѣ.

— Нѣтъ, вы обязаны тому, что вы пьяны!—сказалъ онъ покойно, сѣлъ въ кресло и задумался.

Ему вдругъ скучно стало съ своимъ гостемъ, какъ трезвому бываетъ съ пьянымъ.

— О чемъ вы думаете?—спросилъ Маркъ.

— Угадайте, вы мастеръ угадывать.

— Вы раскаиваетесь, что зазвали меня къ себѣ.

— Почти...—отвѣчалъ Райскій нерѣшительно. Остатокъ вѣжливости мѣшалъ ему быть вполнѣ откровеннымъ.

— Говорите смѣлѣе—какъ я: скажите все, что̀ думаете обо мнѣ. Вы давеча интересовались мною, а теперь...

— Теперь, признаюсь, мало.

— Я вамъ надоѣлъ?

— Не то что надоѣли, а перестали занимать меня, быть новостью. Я васъ вижу и знаю.

— Скажите же, что я такое.

— Что вы такое?—повторилъ Райскій, остановясь передъ нимъ и глядя на него такъ же безцеремонно, почти дерзко, какъ и Маркъ на него. — Вы не загадка: «свихнулись въ ранней молодости»—говоритъ Титъ Никонычъ: а я думаю, вы просто не получили никакого воспитанія, иначе бы не свихнулись: оттого ничего и не дѣлаете... Я не извиняюсь въ своей откровенности: вы этого не любите; притомъ слѣдую вашему примѣру...

— Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, безъ оговорокъ!—оживляясь, сказалъ Маркъ:—вы растете въ моемъ мнѣніи: я думалъ, что вы такъ себѣ, дряблый, приторный, вѣжливый господинъ, какъ всѣ тамъ... А въ васъ есть спиртъ... хорошо! продолжайте!

Райскій небрежно молчалъ.

— Что такое воспитаніе?—заговорилъ Маркъ.—Возьмите всю вашу родню и знакомыхъ: воспитанныхъ, умытыхъ, причесанныхъ, не пьющихъ, опрятныхъ, съ belles manières... Согласитесь, что они не больше моего дѣлаютъ? А вы сами тоже съ воспитаніемъ—вотъ не пьете: а за исключеніемъ портрета Марфиньки, да романа въ программѣ...

Райскій сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія, а Маркъ кончилъ свою фразу смѣхомъ. Смѣхъ этотъ раздражалъ нервы Райскаго. Ему хотѣлось вполнѣ заплатить Марку за откровенность откровенностью.

— Да, вы правы: ни ихъ, ни меня къ дѣлу не готовили: мы были обезпечены...—сказалъ онъ.

— Какъ не готовили? Учили верхомъ ѣздить для военной службы, дали хорошій почеркъ для гражданской. А въ университетѣ: и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственныя науки, чего не было? А все прахомъ пошло. Ну-съ, продолжайте, что же я такое?

— Вы замѣтили,—сказалъ Райскій:—что наши художники перестали пить, и справедливо видите въ этомъ прогрессъ, т. е. воспитаніе. Артисты вашего сорта — еще не улучшились... все тѣ же, какъ я вижу...

— Какіе же это артисты—скажите, только, пожалуйста, напрямикъ?

— Артисты—sans façons, которые напиваются при первомъ знакомствѣ, бьютъ стекла по ночамъ, осаждаютъ трактиры, травятъ собаками дамъ, стрѣляютъ въ людей, занимаютъ вездѣ деньги...

— И не отдаютъ!—прибавилъ Маркъ. — Браво! Славный очеркъ: вы его помѣстите въ романъ...

— Можетъ-быть, помѣщу.

— A propos о деньгахъ, для полноты и вѣрности вашего очерка, дайте мнѣ рублей сто взаймы: я вамъ... никогда не отдамъ, развѣ что будете въ моемъ положеніи, а я въ вашемъ...

— Что это, шутка?

— Какая шутка! Огородникъ, у котораго нанимаю квартиру, пристаетъ: онъ же и кормитъ меня. У него ничего нѣтъ. Мы оба въ затрудненіи...

Райскій пожалъ плечами, потомъ порылся въ платьяхъ, наконецъ отыскалъ бумажникъ и, вынувъ оттуда нѣсколько ассигнацій, положилъ ихъ на столъ.

— Тутъ только восемьдесятъ: вы меня обсчитываете,—сказалъ Маркъ, сосчитавъ.

— Больше нѣтъ: деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю.

— Не забудьте. Пока довольно съ меня. Ну-съ, что же дальше: «занимаютъ деньги и не отдаютъ?» говорилъ Маркъ, пряча ассигнаціи въ карманъ.

— Праздные повѣсы, которымъ противенъ трудъ и всякій порядокъ,—продолжалъ Райскій:—бродячая жизнь, житье на-распашку, на чужой счетъ—вотъ все, что имъ остается,

какъ скоро они однажды выскочатъ изъ колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, которые еще гордятся своимъ цинизмомъ и лохмотьями...

Маркъ засмѣялся.

— Не въ бровь, а прямо въ глазъ: хорошо, хорошо!—говорилъ онъ.

— Да, если много такихъ художниковъ, какъ я,—сказалъ Райскій:—то такихъ артистовъ, какъ вы, еще больше: имя имъ легіонъ!

— Еще немножко, и вы заплатите мнѣ вполнѣ, замѣтилъ Маркъ:—но прибавьте: легіонъ, пущенный въ стадо...

Онъ опять засмѣялся. За нимъ усмѣхнулся и Райскій.

— Что жъ, это не правда?—добавилъ Райскій:—скажите по совѣсти! Я согласенъ съ вами, что я принадлежу къ числу тѣхъ художниковъ, которыхъ вы назвали... какъ?

— Неудачниками.

— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, мѣткое.

— Здѣшняго издѣлія: чѣмъ богаты, тѣмъ и рады!—сказалъ, кланяясь, Маркъ.—Вамъ угодно, чтобъ я согласился съ вѣрностью вашего очерка: если-бъ я даже былъ стыдливъ, обидчивъ, какъ вы, если-бъ и не хотѣлъ согласиться, то принужденъ бы былъ сдѣлать это. Поэтому поздравляю васъ: наружно очеркъ вѣренъ—почти совершенно...

— Вы соглашаетесь и...

— И остаюсь все тѣмъ же?—досказалъ Маркъ:—васъ это удивляетъ? Вы вѣдь тоже видите себя хорошо въ зеркалѣ: согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника,—а все-таки ничего не дѣлаете?

— Но я хочу... дѣлать — и буду!—съ азартомъ сказалъ Райскій.

— И я смертельно хочу дѣлать, но—я думаю—не буду.

Райскій пожалъ плечами.

— Отчего же?

— Поприща, «арены» для меня нѣтъ... какъ вы говорите.

— Есть же у васъ какія-нибудь цѣли?

— Вы скажите мнѣ прежде, отчего я такой?—спросилъ Маркъ:—вы такъ хорошо сдѣлали очеркъ! замокъ передъ вами, приберите и ключъ. Что вы видите еще подъ этимъ очеркомъ? Тогда, можетъ-быть, и я скажу вамъ, отчего я не буду ничего дѣлать.

Райскій началъ ходить по комнатѣ, вдумываясь въ этотъ новый вопросъ.

— Отчего вы такой?—повторилъ онъ въ раздумьи, останавливаясь передъ Маркомъ:—я думаю вотъ отчего: отъ природы вы были пылкій, живой мальчикъ. Дома мать, няньки избаловали васъ.

Маркъ усмѣхнулся.

— Все это баловство повело къ деспотизму: а когда дядьки и няньки кончились, чужіе люди стали ограничивать дикую волю, вамъ не понравилось; вы сдѣлали эксцентрическій подвигъ, васъ прогнали изъ одного мѣста. Тогда ужъ стали мстить обществу: благоразуміе, тишина, чужое благосостояніе показались грѣхомъ и порокомъ, порядокъ противенъ, люди нелѣпы... И давай тревожить покой смирныхъ людей!..

Маркъ покачалъ головой.

— Одни изъ этихъ артистовъ просто утопаютъ въ картахъ, въ винѣ,—продолжалъ Райскій:—другіе ищутъ роли. Есть и донъ-кихоты между ними: они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преслѣдуютъ ее иногда искренно, вообразятъ себя пророками и апостольствуютъ въ кружкахъ слабыхъ головъ, по трактирамъ. Это легче, чѣмъ работать. Проврутся что-нибудь дерзко про власть, ихъ переводятъ, пересылаютъ съ мѣста на мѣсто. Они всѣмъ въ тягость, вездѣ надоѣли. Кончаютъ они, различно, смотря по характеру: кто угодитъ, вотъ какъ вы, на смиреніе...

— Да я еще не кончилъ: я начинаю только, что вы!—перебилъ Маркъ.

— Другихъ запираютъ въ сумасшедшій домъ за ихъ идеи...

— Это еще не доказательство сумасшествія. Помните, что и того, у кого у перваго родилась идея о силѣ пара, тоже посадили за нее въ сумасшедшій домъ,—замѣтилъ Маркъ.

— А! такъ вотъ вы что! У васъ претензія есть выражать собой и преслѣдовать великую идею!

— Да-съ, вотъ что!—съ комической важностью подтвердилъ Маркъ.

— Какую же?

— Какіе вы нескромные! Угадайте! — сказалъ, зѣвая, Маркъ и, положивъ голову на подушку, закрылъ глаза.

— Спать хочется!—прибавилъ онъ.

— Ложитесь здѣсь, на мою постель, а я лягу на диванъ,—приглашалъ Райскій:—вы гость...

— Хуже татарина...—сквозь сонъ бормоталъ Маркъ:—вы ложитесь на постель, а я... мнѣ все равно...

«Что онъ такое?» думалъ Райскій, тоже зѣвая: «витаетъ, какъ птица, или бездомная, безпріютная собака, безъ хозяина, т.-е. безъ цѣли! Праздный ли это, затерявшійся повѣса, заблудшая овца, или...»

— Прощайте, неудачникъ!—сказалъ Маркъ.

— Прощайте, русскій... Карлъ Моръ!—насмѣшливо отвѣчалъ Райскій и задумался.

А когда очнулся отъ задумчивости, Маркъ спалъ уже всею сладостью сна, какой дается крѣпко озябшему, уставшему, наѣвшемуся и выпившему человѣку.

Райскій подошелъ къ окну, откинулъ занавѣску, смотрѣлъ на темную, звѣздную ночь.

Кое-гдѣ стучали въ доску, лѣниво раздавалось откуда-то протяжное:—«слушай!» Только отъ собачьяго лая стоялъ глухой гулъ надъ городомъ. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой.

Въ комнатѣ, въ недопитой Маркомъ чашкѣ съ ромомъ,

ползалъ чуть мерцающій синій огонекъ, и изрѣдка вспыхивая, озарялъ на секунду комнату и опять горѣлъ тускло, готовый ежеминутно потухнуть.

Кто-то легонько постучалъ въ дверь.

— Кто тамъ?—тихо спросилъ Райскій.

— Это я, Борюшка, отвори скорѣе! Что у тебя дѣлается?— послышался испуганный голосъ Татьяны Марковны.

Райскій отперъ. Дверь отворилась, и бабушка, какъ привидѣніе, вся въ бѣломъ, явилась на порогѣ.

— Батюшки мои! что это за свѣтъ?—съ тревогой произнесла она, глядя на мерцающій огонь.

Райскій отвѣчалъ смѣхомъ.

— Что такое у тебя? Я въ окно увидала свѣтъ, испугалась, думала, ты спишь... Что это горитъ въ чашкѣ?

— Ромъ.

— Ты по ночамъ пьешь пуншъ! — шопотомъ, въ ужасѣ, сказала она, и съ изумленіемъ глядѣла то на него, то на чашку.

— Грѣшенъ, бабушка, иногда люблю выпить...

— А это кто спитъ? — съ новымъ изумленіемъ спросила она, вдругъ увидѣвъ спящаго Марка.

— Тише, бабушка, не разбудите: это Маркъ.

— Маркъ! Не послать ли за полиціей? Гдѣ ты взялъ его? Какъ ты съ нимъ связался?—шептала она въ изумленіи:—по ночамъ съ Маркомъ пьетъ пуншъ! Да что съ тобой сдѣлалось, Борисъ Павловичъ?

— Я у Леонтія встрѣтился съ нимъ,—говорилъ онъ, наслаждаясь ея ужасомъ.—Намъ обоимъ захотѣлось ѣсть: онъ звалъ-было въ трактиръ...

— Въ трактиръ! Этого еще недоставало!

— А я привелъ его къ себѣ—и мы поужинали...

— Отчего же ты не разбудилъ меня! Кто вамъ подавалъ? Что подавали?

— Стерляди, индѣйку: Марина все нашла!

— Все холодное! Какъ же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята... Ахъ, Борюшка, срамишь ты меня!

— Мы сыты и такъ.

— А пирожное?—спохватилась она: — вѣдь его не осталось! Что же вы ѣли?

— Ничего: вонъ Маркъ пуншъ сдѣлалъ. Мы сыты.

— Сыты! ужинали безъ горячаго, безъ пирожнаго. Я сейчасъ пришлю варенья...

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо! Если хотите, я разбужу Марка, спрошу...

— Что ты, Богъ съ тобой: я въ кофтѣ! — съ испугомъ отговаривалась Татьяна Марковна, прячась въ коридорѣ.— Богъ съ нимъ: пусть его спитъ! Да какъ онъ спитъ-то: свернулся точно собачонка! — косясь на Марка, говорила она.—Стыдъ, Борисъ Павловичъ, стыдъ: развѣ перинъ нѣтъ въ домѣ? Ахъ, ты Боже мой! Да потуши ты этотъ проклятый огонь! Безъ пирожнаго!

Райскій задулъ синій огонь и обнялъ бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочкахъ пошла къ себѣ.

Онъ уже ложился спать, какъ опять постучали въ дверь.

— Кто еще тамъ?—спросилъ Райскій, и отперъ дверь.

Марина поставила прежде на столъ банку варенья, потомъ втащила пуховикъ и двѣ подушки.

— Барыня прислала: не покушаете ли варенья?—сказала она. — А вотъ и перина: если Маркъ Иванычъ проснутся, такъ вотъ легли бы на перинѣ.

Райскій еще разъ разсмѣялся искренно отъ души, и въ то же время почти до слезъ былъ тронутъ добротой бабушки, нѣжностью этого женскаго сердца, вѣрностью своимъ правиламъ гостепріимства и простымъ, указываемымъ сердцемъ, добродѣтелямъ.

XVI.

Рано утромъ легкій стукъ въ окно разбудилъ Райскаго. Это Маркъ выпрыгнулъ въ окошко.

«Не любитъ прямой дороги!...» думалъ Райскій, глядя, какъ Маркъ прокрадывался черезъ цвѣтникъ, черезъ садъ и скрылся въ чащѣ деревьевъ, у самаго обрыва.

Борису не спалось, и онъ, въ легкомъ утреннемъ пальто, вышелъ въ садъ, хотѣлъ-было догнать Марка, но увидѣлъ его уже далеко, идущаго низомъ по волжскому прибрежью.

Райскій постоялъ надъ обрывомъ: было еще рано; солнце не вышло изъ-за горъ, но лучи его уже золотили верхушки деревьевъ, вдали сіяли поля, облитыя росой, утренній вѣтерокъ вѣялъ мягкой прохладой. Воздухъ быстро нагрѣвался и обѣщалъ теплый день.

Райскій походилъ по саду. Тамъ уже началась жизнь; птицы пѣли дружно, суетились во всѣ стороны, отыскивая завтракъ; пчелы, шмели жужжали около цвѣтовъ.

Издали, съ поля, доносилось мычанье коровъ, по полю валило облако пыли, поднимаемое стадомъ овецъ; въ деревнѣ скрипѣли ворота, слышался стукъ телѣгъ; во ржи щелкали перепела.

На дворѣ тоже начиналась забота дня. Прохоръ поилъ и чистилъ лошадей въ сараѣ, Кузьма, или Степанъ рубилъ дрова, Матрена прошла съ корытцомъ муки въ кухню, Марина раза четыре пронеслась по двору, бережно неся и держа далеко отъ себя выглаженныя юбки барышни.

Егорка дѣлалъ туалетъ, умываясь у колодца, въ углу двора; онъ полоскался, сморкался, плевалъ и уже скалилъ зубы надъ Мариной. Яковъ съ крыльца молился на крестъ собора, поднимавшійся изъ-за домовъ слободки.

По двору, подъ ногами людей и около людскихъ, у корыта съ какой-то кашей, толпились куры и утки, да нахально вездѣ бѣгали собаки, лаявшія натощакъ безъ толку

на всякаго прохожаго, даже иногда на своихъ, наконецъ, другъ на друга.

— Все то же, что̀ вчера, что̀ будетъ завтра:—прошепталъ Райскій.

Онъ постоялъ посрединѣ двора, лѣниво оглянулся во всѣ стороны, почесался, зѣвнулъ и вдругъ почувствовалъ симптомы болѣзни, мучившей его въ Петербургѣ.

Ему стало скучно. Передъ нимъ, въ перспективѣ, стоялъ длинный день, съ вчерашними, третьягодняшними впечатлѣніями, ощущеніями. Кругомъ все та же наивно улыбающаяся природа, тотъ же лѣсъ, та же задумчивая Волга, обвѣвалъ его тотъ же воздухъ.

Тѣ же все представленія, лишь онъ проснется, какъ неподвижная кулиса, вставали передъ нимъ; двигались тѣ же лица, разныя твари.

Его и влекла, и отталкивала отъ нихъ центробѣжная сила: его тянуло къ Леонтію, котораго онъ цѣнилъ и любилъ, но лишь только онъ приходилъ къ нему, его уже толкало вонъ.

Леонтій, какъ изваяніе, вылился весь окончательно въ назначенный ему образъ, угадалъ свою задачу и окаменѣлъ навсегда. Райскій искалъ чего-нибудь другого, гдѣ бы онъ могъ не каменѣть, не слыша и не чувствуя себя.

Онъ шелъ къ бабушкѣ, и у ней въ комнатѣ, на кожаномъ канапе, за рѣшетчатымъ окномъ, находилъ еще какое-то колыханіе жизни, тамъ еще была ему какая-нибудь работа, ломать старый вѣкъ.

Жизнь между ею и имъ становилась не иначе, какъ спорнымъ пунктомъ, и разрѣшалась иногда, послѣ нелегкой работы ума, кипѣнія крови, діалектикой, въ которой Райскій добывалъ какое-нибудь оригинальное наблюденіе надъ нравами этого быта, или практическую, вѣрную замѣтку жизни, или слѣдилъ, какъ отравлялась жизнь подъ наитіемъ наивной вѣры и подъ ферулой грубаго суевѣрія.

Его все-таки что-нибудь да волновало: досада, смѣхъ, иногда пробивалось умиленіе. Но какъ скоро споръ кончился, интересъ падалъ, Райскому являлись только простыя формы одной и той же, невѣдомо куда и зачѣмъ, текущей жизни.

Марфинька со вчерашняго вечера окончательно стала для него сестрой: другимъ ничѣмъ она быть не могла, и притомъ сестрой, къ которой онъ не чувствовалъ братской нѣжности.

Онъ уже не счелъ нужнымъ передѣлывать ее: другое воспитаніе, другое воззрѣніе, даже дальнѣйшее развитіе нарушило бы строгую опредѣленность этой натуры, хотя, можетъ-быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы дѣтство, всѣ эти ребяческія понятія, бабочкино порханье, но что дало бы взамѣнъ!

Страстей, широкихъ движеній, какой-нибудь дальней и трудной цѣли—не могло дать: не по натурѣ ей! А дало бы хаосъ, повело бы къ недоумѣніямъ—и много-много, если бъ разрѣшилось претензіей съѣздить въ Москву, побывать на балѣ въ дворянскомъ собраніи, привезти платье съ Кузнецкаго Моста, и потомъ хвастаться этимъ до глубокой старости передъ мелкими губернскими чиновницами.

Титъ Никонычъ и прочія немногія лица примелькались ему, какъ примелькались старинные кожаные канапе, шкапы, саксонскія чашки и богемскіе хрустали.

Оставался Маркъ, да еще Вѣра, какъ туманныя пятна.

Марка онъ видѣлъ, и какъ ни прятался тотъ въ діогеновскую бочку, а Райскій успѣлъ уловить главныя черты физіономіи.

Идти дальше, стараться объяснить его окончательно, значитъ, напиваться съ нимъ пьянымъ, давать ему денегъ взаймы, и потомъ выслушивать незанимательныя повѣсти о томъ, какъ онъ въ полку нагрубилъ командиру, или побилъ жида, не заплатилъ въ трактирѣ денегъ, поднялъ знамя

бунта противъ уѣздной или земской полиціи, и какъ за то выключенъ изъ полка, или посланъ въ такой-то городъ подъ надзоръ.

Райскій повѣсилъ голову и шелъ по двору, не замѣчая поклоновъ дворни, не отвѣчая на привѣтливое вилянье собакъ; набрелъ на утятъ и чуть не раздавилъ ихъ.

«Что̀ за существованіе», размышлялъ онъ: «остановить взглядъ на явленіи, принять образъ на себя, вспыхнуть на минуту и потомъ холодѣть; скучать и насильственно или искусственно подновлять въ себѣ періодическую охоту къ жизни, какъ ежедневный аппетитъ! Тайна умѣнья жить — только тайна длить эти періоды, или, лучше сказать, не тайна, а даръ, невольный, безсознательный. Надо жить какъ-то закрывши глаза и уши—и живется долго и прочно. И тѣ и правы, у кого нѣтъ жала въ мозгу, кто близорукъ, у кого туго обоняніе, кто идетъ, какъ въ туманѣ, не теряя иллюзій! А какъ удержать краски на предметахъ, никогда не взглянуть на нихъ простыми глазами и не увидѣть, что зелень не зелена, небо не сине, что Маркъ не заманчивый герой, а мелкій либералъ, Марѳинька сахарная куколка, а Вѣра...

«Что̀ такое Вѣра?» сдѣлалъ онъ себѣ вопросъ и зѣвнулъ.

Онъ пожималъ плечами, какъ будто ознобъ пробѣгалъ у него по спинѣ, морщился и, заложивъ руки въ карманы, ходилъ по огороду, по саду, не замѣчая красокъ утра, горячаго воздуха, такъ нѣжно ласкавшаго его нервы, не смотрѣлъ на Волгу, и только тупая скука грызла его. Онъ съ ужасомъ видѣлъ впереди рядъ длинныхъ, безцѣльныхъ дней.

Ему пришла въ голову прежняя мысль «писать скуку»: «вѣдь жизнь многостороння и многообразна, и если», думалъ онъ, «и эта широкая и голая, какъ степь, скука лежитъ въ самой жизни, какъ лежатъ въ природѣ безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука можетъ и должна

быть предметомъ мысли, анализа, пера или кисти, какъ одна изъ сторонъ жизни: что жъ, пойду, и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этотъ холодъ, отвращеніе и злоба, которые вторглись въ меня, будутъ красками и колоритомъ... картина будетъ вѣрна»...

Райскій хотѣлъ-было пойти сѣсть за свои тетради «записывать скуку», какъ увидѣлъ, что дверь въ старый домъ не заперта. Онъ заглянулъ въ него только мелькомъ, по пріѣздѣ, съ Марфинькой, осматривая комнату Вѣры. Теперь вздумалось ему осмотрѣть его поподробнѣе, онъ вступилъ въ сѣни и поднялся на лѣстницу.

Онъ уже не попрежнему, съ стѣсненнымъ сердцемъ, а вяло прошелъ сумрачную залу съ колоннадой, гостиныя съ статуями, бронзовыми часами, шкапиками рококо, и ни на что не глядя, добрался до верхнихъ комнатъ; припомнилъ, гдѣ была дѣтская и его спальня, гдѣ стояла его кровать, гдѣ сиживала его мать.

У него лѣниво стали тѣсниться блѣдныя воспоминанія о ея ласкахъ, шопотѣ, о томъ, какъ она клала дѣтскіе его пальцы на клавиши и старалась наигрывать пѣсенку, какъ потомъ подолгу играла сама, забывъ о немъ, а онъ слушалъ, присмирѣвъ у ней на колѣняхъ, потомъ вела его въ угловую комнату, смотрѣть на Волгу и Заволжье.

Заглянувъ въ свою бывшую спальню, въ двѣ-три другія комнаты, онъ вошелъ въ угловую комнату, чтобъ взглянуть на Волгу. Погрузясь въ себя, тихо и задумчиво отворилъ онъ ногой дверь, взглянулъ и... остолбенѣлъ.

Въ комнатѣ было живое существо.

Глядя съ напряженнымъ любопытствомъ въ даль, на берегъ Волги, бокомъ къ нему, стояла дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, можетъ-быть, трехъ, опершись рукой на окно. Бѣлое, даже блѣдное лицо, темные волосы, бархатный черный взглядъ

и длинныя рѣсницы—вотъ все, что бросилось ему въ глаза и ослѣпило его.

Дѣвушка неподвижно и напряженно смотрѣла въ даль, какъ будто провожая кого-то глазами. Потомъ лицо ея приняло равнодушное выраженіе; она бѣгло окинула взглядомъ окрестность, потомъ дворъ, обернулась—и сильно вздрогнула, увидѣвъ его.

На лицѣ мелькнуло изумленіе и уступило мѣсто недоумѣнію, потомъ, какъ тѣнь, прошло даже, кажется, неудовольствіе, и все разрѣшилось въ строгое ожиданіе.

— Сестра Вѣра!—произнесъ Райскій.

У ней лицо прояснилось и взглядъ остановился на немъ съ выраженіемъ сдержаннаго любопытства и скромности.

Онъ подошелъ, взялъ ее за руку и поцѣловалъ. Она немного подалась назадъ и чуть-чуть повернула лицо въ сторону, такъ что губы его встрѣтили щеку, а не ротъ.

Они оба сѣли у окна другъ противъ друга.

— Какъ я ждалъ васъ: вы загостились за Волгой!—сказалъ онъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта, чтобы слышать ея голосъ.

«Голоса, голоса!» прежде всего просило воображеніе, вслѣдствіе къ этому ослѣпительному образу.

— Я вчера только отъ Марины узнала, что вы здѣсь—отвѣчала она.

Голосъ у ней не былъ звонокъ, какъ у Марфиньки: онъ былъ свѣжъ, молодъ, но тихъ, съ примѣсью грудного шопота, хотя она говорила вслухъ.

— Бабушка хотѣла посылать за вами, но я просилъ не давать знать о моемъ пріѣздѣ. Когда же вы возвратились? Мнѣ никто ничего не сказалъ.

— Я вчера послѣ ужина пріѣхала: бабушка и сестра еще не знаютъ. Только одна Марина видѣла меня.

Она сидѣла, откинувшись на стулъ спиной, положивъ одинъ локоть на окно, и смотрѣла на Райскаго не прямо, а

какъ-будто случайно, когда доходила очередь взглянуть между прочимъ и на него.

А онъ глядѣлъ всею силою любопытства, долго сдерживаемаго. Отъ его жаднаго взгляда не ускользало ни одно ея движеніе.

На него, по обыкновенію, уже дѣлала впечатлѣніе эта новая красота, или, лучше сказать, новый родъ красоты, не похожій на красоту ни Бѣловодовой, ни Марѳиньки.

Нѣтъ въ ней строгости линій, бѣлизны лба, блеска красокъ и печати чистосердечія въ чертахъ, и вмѣстѣ холоднаго сіянія, какъ у Софьи. Нѣтъ и дѣтскаго, херувимскаго дыханія свѣжести, какъ у Марѳиньки: но есть какая-то тайна, мелькаетъ не высказывающаяся сразу прелесть, въ лучѣ взгляда, въ внезапномъ поворотѣ головы, въ сдержанной граціи движеній, что-то неудержимо прокрадывающееся въ душу во всей фигурѣ.

Глаза темные, точно бархатные, взглядъ бездонный. Бѣлизна лица матовая, съ мягкими около глазъ и на шеѣ тѣнями. Волосы темные, съ каштановымъ отливомъ, густой массой лежали на лбу и на вискахъ ослѣпительной бѣлизны, съ тонкими, синими венами.

Она не стыдливо, а больше съ досадой, взяла и выбросила въ другую комнату кучу бѣлыхъ юбокъ, принесенныхъ Маріной, потомъ проворно прибрала со стульевъ узелокъ, брошенный, вѣроятно, наканунѣ вечеромъ, и подвинула къ окну маленькій столикъ. Все это въ двѣ-три минуты, и опять сѣла передъ нимъ на стулъ свободно и небрежно, какъ будто его не было.

— Я велѣла кофе сварить, хотите пить со мной?—спросила она. — Дома еще долго не дадутъ: Марѳинька поздно встаетъ.

— Да, да, съ удовольствіемъ, — говорилъ Райскій, продолжая изучать ея физіономію, движенія, каждый взглядъ, улыбку.

Взглядъ ея то манилъ, втягивалъ въ себя, какъ въ глубину, то смотрѣлъ зорко и проницательно. Онъ замѣтилъ еще появляющуюся по временамъ въ одну и ту же минуту двойную мину на лицѣ, дрожащій отъ улыбки подбородокъ, потомъ не слишкомъ тонкій, но стройный, при походкѣ волнующійся станъ, наконецъ мягкій, неслышимый, будто кошачій шагъ.

«Что это за нѣжное, неуловимое созданіе!» думалъ Райскій: «какая противоположность съ сестрой: та лучъ, тепло и свѣтъ; эта вся — мерцаніе и тайна, какъ ночь — полная мглы и искръ, прелести и чудесъ!..»

Онъ съ любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлѣнію. И Софья, и Марѳинька, будто по волшебству, удалились на далекій планъ, и скуки какъ не бывало: опять повѣяло на него тепломъ, опять природа стала нарядна, все ожило.

Онъ торопливо уже зажигалъ діогеновскій фонарь и освѣщалъ имъ эту новую, неожиданно возникшую передъ нимъ фигуру.

— Вы, я думаю, забыли меня, Вѣра?—спросилъ онъ.

Онъ самъ слышалъ, что голосъ его, безъ намѣренія, былъ нѣженъ, взглядъ не отрывался отъ нея.

— Нѣтъ,—говорила она, наливая кофе:—я все помню.

— Все, но не меня?

— И васъ.

— Что же вы помните обо мнѣ?

— Да все.

— Я, признаюсь вамъ, слабо помню васъ обѣихъ: помню только, что Марѳинька все плакала, а вы нѣтъ; вы были лукавы, исподтишка шалили, тихонько ѣли смородину, убѣгали однѣ въ садъ и сюда, въ домъ.

Она улыбнулась въ отвѣтъ.

— Вы сладко любите? — спросила она, готовясь класть сахаръ въ чашку.

«Какъ она холодна и... свободна, не дичится совсѣмъ!» подумалъ онъ.

— Да. Скажите, Вѣра, вспоминали вы иногда обо мнѣ?— спросилъ онъ.

— Очень часто: бабушка намъ уши прожужжала про васъ.

— Бабушка! А вы сами?

— А вы о насъ?—спросила она, слѣдя пристально, какъ кофе льется въ чашку и мелькомъ взглянувъ на него.

Онъ молчалъ, она подала ему чашку и подвинула хлѣбъ. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькіе кусочки мякиша.

Ему хотѣлось бы закидать ее вопросами, которые кишѣли въ головѣ, но такъ безпорядочно, что онъ не зналъ, съ котораго начать.

— Я ужъ былъ у васъ въ комнатѣ... Извините за нескромность...—сказалъ онъ.

— Здѣсь ничего нѣтъ,—замѣтила она, оглядываясь внимательно, какъ-будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь.

— Да, ничего... Что это за книга?—спросилъ онъ и хотѣлъ взять книгу у ней изъ-подъ руки.

Она отодвинула ее и переложила сзади себя, на этажерку. Онъ засмѣялся.

— Спрятали, какъ, бывало, смородину въ ротъ! Покажите!

Она сдѣлала отрицательный знакъ головой.

— Вотъ какъ: читаете такія книги, что и показать нельзя!—шутилъ онъ.

Она спрятала книгу въ шкапъ и сѣла противъ него, сложивъ руки на груди и разсѣянно глядя по сторонамъ, иногда взглядывая въ окно и, казалось, забывала, что онъ тутъ. Только когда онъ будилъ ея вниманіе вопросомъ, она обращала на него простой взглядъ.

— Хотите еще кофе?—спросила она.

— Да, пожалуйста. Послушайте, Вѣра, мнѣ хотѣлось бы такъ много сказать вамъ...

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ, затрудняясь завязать съ нею непрерывный и продолжительный разговоръ.

Онъ вспомнилъ, что и съ Марѣинькой сначала не вязался разговоръ. Но тамъ это было отъ ея ребяческой застѣнчивости, а здѣсь не то. Вѣра не застѣнчива: это видно сразу, а какъ будто холодна, какъ будто вовсе не интересовалась имъ.

«Что это значитъ: не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться, по природному невѣдѣнію, или хитритъ, притворяется?» думалъ онъ, стараясь угадать ее: «вѣдь я все-таки новость для нея. Ужъ не бродитъ ли у ней въ головѣ: «Не хорошо, глупо не совладѣть съ впечатлѣніемъ, отдаться ему, разинуть ротъ и уставить глаза!» Нѣтъ, быть не можетъ, это было бы слишкомъ тонко, изысканно для нея: не по-деревенски! Но во всякомъ случаѣ, что бы она ни была, она — не Марѣинька. А какъ хороша, Боже мой! Вотъ куда запряталась такая красота!»

Ему хотѣлось скорѣй вывести ее на свѣжую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объясненіе. Но чѣмъ онъ больше торопился, чѣмъ больше раздражался, тѣмъ она становилась холоднѣе. А онъ бросался отъ вопроса къ вопросу.

— У васъ была моя библіотека въ рукахъ? — спросилъ онъ.

— Да, потомъ ее взялъ Леонтій Ивановичъ. Я была рада, что избавилась отъ заботы.

— Надѣюсь, онъ не всѣ книги взялъ? Вѣрно вы оставили какія-нибудь для себя?

— Нѣтъ, всѣ... кажется: Марѣинька какія-то взяла.

— А вы?.. развѣ вамъ не нужно было?

— Нѣтъ. Я прочла, что мнѣ нравилось, и отдала.

— А что вамъ нравилось?

Она молчала.

— Вѣра?

— Очень многое; теперь я забыла что именно,—сказала она, поглядывая въ окно.

— Тамъ есть нѣсколько историческихъ увражей. Поэзія... читали вы ихъ?

— Иныя, да.

— Какія же?

— Право, не помню!—нехотя прибавила она, какъ будто утомляясь этими разспросами.

— Вы любите музыку?—спросилъ онъ.

Она вопросительно поглядѣла на него при этомъ новомъ вопросѣ.

— Какъ «люблю ли»? то-есть, играю ли сама, или слушать люблю?

— И то, и другое.

— Нѣтъ, я не играю, а слушать... Гдѣ же здѣсь музыка?

— Что вы любите вообще?

Она опять вопросительно поглядѣла на него.

— Любите хозяйство, или рукодѣлья, вышиваете?

— Нѣтъ, не умѣю. Вонъ Марѳинька любитъ и умѣетъ.

Райскій поглядѣлъ на нее, прошелся по комнатѣ и остановился передъ ней.

— Послушайте, Вѣра, вы... боитесь меня?—спросилъ онъ.

Она не поняла его вопроса и глядѣла на него во всѣ глаза, почти до простодушія, несвойственнаго ея умному и проницательному взгляду.

— Отчего вы не высказываетесь, скрываетесь?—началъ онъ:—вы думаете, можетъ-быть, что я способенъ... пошутить, или небрежно обойтись... Словомъ, вамъ, можетъ-быть, дико: вы конфузитесь, робѣете...

Она смотрѣла на него съ язвительнымъ удивленіемъ, такъ,

что онъ въ одно мгновеніе понялъ, что она не конфузится, не дичится и не робѣетъ.

Вопросъ былъ глупъ. Ему стало еще досаднѣе.

— Вотъ Марѳинька боится,—сказалъ онъ, желая поправиться:—и сама не знаетъ почему...

— А я не знаю, чего надо бояться, и потому, можетъ-быть, не боюсь,—отвѣчала она съ улыбкой.

— Но что же вы любите?—вдругъ кинулся онъ опять къ вопросу.—Книга васъ не занимаетъ; вы говорите, что вы не работаете... Есть же что-нибудь: цвѣты, можетъ-быть, любите...

— Цвѣты? да, люблю ихъ вонъ тамъ, въ саду, а не въ комнатѣ, гдѣ надо за ними ходить.

— И природу вообще?

— Да, этотъ уголокъ, Волгу, обрывъ—вонъ этотъ лѣсъ и садъ—я очень люблю!—произнесла она, и взгляды ея покоились съ очевиднымъ удовольствіемъ на всей лежавшей передъ окнами мѣстности.

— Что же васъ такъ привязываетъ къ этому уголку?

Она молчала, продолжая съ наслажденіемъ останавливать ласковый взглядъ на каждомъ деревѣ, на бугрѣ, и, наконецъ, на Волгѣ.

— Все,—сказала она равнодушно.

— Да, это прекрасно, но однако этого мало: одинъ видъ, одинъ берегъ, горы, лѣсъ—все это прискучило бы, если бъ это не было населено чѣмъ-нибудь живымъ, что вызывало и дѣлило бы эту симпатію.

— Да, это правда: прискучило бы!—подтвердила и она.

— Стало-быть, у васъ есть кто-нибудь здѣсь, съ кѣмъ вы дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она молчала и будто не слушала его.

— Вѣра?

— А? Я не одна живу, вы знаете!—сказала она, вслушавшись въ его вопросъ.—Бабушка, Марѳинька...

— Будто вы съ ними дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она взглянула на него, и въ глазахъ ея стоялъ вопросъ: почему же нѣтъ?

— Нѣтъ,—началъ онъ:—есть ли кто-нибудь, съ кѣмъ бы вы могли стать вонъ тамъ, на краю утеса, или сѣсть въ чащѣ этихъ кустовъ — тамъ и скамья есть — и просидѣть утро, или вечеръ, или всю ночь, и не замѣтить времени, проговорить безъ умолку, или промолчать полдня, только чувствуя счастье — понимать другъ друга, и понимать не только слова, но знать о чемъ молчитъ другой, и чтобъ онъ умѣлъ читать въ этомъ вашемъ бездонномъ взглядѣ вашу душу, шопотъ сердца... вотъ что!

Она съ опущенными рѣсницами будто заснула въ задумчивости.

— Есть ли такой вашъ двойникъ, — продолжалъ онъ, глядя на нее пытливо:—который бы невидимо ходилъ тутъ около васъ, хотя бы самъ былъ далеко, чтобы вы чувствовали, что онъ близко, что въ немъ носится частица вашего существованія, и что вы сами носите въ себѣ будто часть чужого сердца, чужихъ мыслей, чужую долю на плечахъ, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лѣсъ, не одними своими ушами слушаете этотъ шумъ и пьете жадно воздухъ теплой и темной ночи, а вмѣстѣ...

Она взглянула на него, сдѣлала какое-то движеніе, и въ одно время съ этимъ быстрымъ взглядомъ блеснулъ какой-то, будто внезапный свѣтъ отъ ея лица, отъ этой улыбки, отъ этого живого движенія. Райскій остановился на минуту, но блескъ пропалъ, и она неподвижно слушала.

— Тогда только, — продолжалъ онъ, стараясь объяснить себѣ смыслъ ея лица:—въ этомъ во всемъ и есть значеніе, тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть ли у васъ здѣсь такой двойникъ,—это другое сердце, другой умъ, другая душа, и подѣлились ли вы съ нимъ,

взамѣнъ взятаго у него, своей душой и своими мыслями?.. Есть ли?

— Есть!—съ примѣсью грудного шопота произнесла она.

— Есть! Кто же это счастливое существо?—съ завистью, почти съ испугомъ, даже ревностью, спросилъ онъ.

Она помолчала немного.

— А... попадья, у которой я гостила: вамъ вѣрно сказали о ней!—отвѣчала Вѣра и, вставъ со стула, стряхнула съ передника крошки отъ сухарей.

— Попадья!—недовѣрчиво повторилъ Райскій.

— Да, она — мой двойникъ: когда она гоститъ у меня, мы часто и долго любуемся съ ней Волгой и не наговоримся, сидимъ вонъ тамъ на скамьѣ, какъ вы угадали... Вы не будете больше пить кофе? Я велю убрать...

— Попадья!—повторилъ онъ задумчиво, не слушая ея и не замѣтивъ, что она улыбнулась, что у ней отъ улыбки задрожалъ подбородокъ.

А у него на лицѣ повисло облако недоумѣнія, недовѣрчивости, какой-то безпричинной и безцѣльной грусти. Онъ разбиралъ себя и наконецъ разобралъ, что онъ допрашивался у Вѣры о томъ, населялъ ли кто-нибудь для нея этотъ уголъ живымъ присутствіемъ, не изъ участія, а частію затѣмъ, чтобъ испытать ее, частію чтобы какъ будто отрекомендоваться ей, заявить свой взглядъ, чувства...

Онъ долженъ былъ сознаться, что втайнѣ надѣялся найти въ ней ту же свѣжую, молодую, непочатую жизнь, какъ въ Марфинькѣ, и что, пока безсознательно, онъ самъ просился начать ее, населить эти мѣста для нея собою, быть ея двойникомъ.

Словомъ, тѣ же желанія и стремленія, какъ при встрѣчѣ съ Бѣловодовой, съ Марфинькой, заговорили и теперь, но только сильнѣе, непобѣдимѣе, потому что Вѣра была заманчиво, таинственно-прекрасна, потому что въ ней вся прелесть не являлась сразу, какъ въ тѣхъ двухъ, и въ

многихъ другихъ, а пряталась и раздражала воображеніе, и это еще при первомъ шагѣ!

Что же было еще дальше, впереди: кто она, что она? Лукавая кокетка, тонкая актриса, или глубокая и тонкая женская натура, одна изъ тѣхъ, которыя, по волѣ своей, играютъ жизнью человѣка, топчутъ ее, заставляя влачить жалкое существованіе, или даютъ уже такое счастье, лучше, жарче, живѣе какого не дается человѣку.

— Хотите еще кофе?—повторила она.

— Нѣтъ, не хочу. — А бабушка, Марѳинька: вы любите ихъ?—задумчиво перешелъ онъ къ новому вопросу.

— Кого же мнѣ любить, какъ не ихъ?

— А меня? — вдругъ сказалъ онъ, переходя въ шутливый тонъ.

— Пожалуй, я и васъ буду любить,—сказала она, глядя на него веселымъ взглядомъ:—если... заслужите.

— Вотъ какъ! вѣдь я вамъ братъ: вы и такъ должны меня любить.

— Я никому ничего не должна.

— Хвастунья! «Я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь: я горда!..» такъ, что ли?

— Нѣтъ, не такъ!

«Еще не выросла, не выбилась изъ этихъ общихъ мѣстъ жизни. Провинція!» думалъ Райскій сердито, ходя по комнатѣ.

— Какъ же заслужить это счастье? — спросилъ онъ съ ироніей:—позвольте спросить.

— Какое счастье?

— Счастье пріобрѣсти вашу любовь.

— Любовь, говорятъ, дается безъ всякой заслуги, такъ. Вѣдь она слѣпая!.. Я не знаю, впрочемъ...

— А иногда приходитъ и сознательно, — замѣтилъ Райскій: — путемъ довѣренности, уваженія, дружбы. Я бы хотѣлъ начать съ этого и окончить первымъ. Такъ что же

надо сдѣлать, чтобъ заслужить ваше вниманіе, милая сестра?

— Не обращать на меня вниманія, — сказала она, помолчавъ.

— Какъ, не замѣчать васъ, не...

— Не дѣлать такихъ большихъ глазъ, вотъ какъ теперь!—подсказала она:—не ходить безъ меня въ мою комнату, не допытываться, что я люблю, что нѣтъ...

— Гордость! А скажите, сестра, вы... извините, я откровененъ: вы не рисуетесь этой гордостью?

Она молчала.

— Не хочется вамъ похвастаться независимостью характера? Вы, можетъ-быть, стремитесь къ selfgovernment и хотите щегольнуть эмансипаціей отъ здѣшнихъ авторитетовъ, бабушки, Нила Андреевича, да?

— Вы, кажется, начинаете «заслуживать мое довѣріе и дружбу»!—смѣясь замѣтила она, потомъ сдѣлалась серьезна и казалась утомленной или скучной. — Я не совсѣмъ понимаю, что вы сказали,—прибавила она.

— Я потому это говорю, — оправдывался онъ: — что бабушка сказывала мнѣ, что вы горды.

— Бабушка? какая, право! Вездѣ ее спрашиваютъ! Я совсѣмъ не горда. И по какому случаю она говорила вамъ это?

— Потому что я вамъ съ Марѳинькой подарилъ вотъ это все, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда ли?

— Мнѣ все равно, ваше ли это, мое ли, лишь бы я была здѣсь.

— Да она не хотѣла оставаться здѣсь: она хотѣла уѣхать въ Новоселово...

— Ну?— отрывисто, грудью спросила она, будто съ тревогой.

— Ну, я все уладилъ: куда переѣзжать? Марѳинька приняла подарокъ, но только съ тѣмъ, чтобы и вы приняли. И бабушка поколебалась, но окончательно не рѣшилась, ждетъ,

кажется, что̀ скажете вы? А вы что̀ скажете? Примете, да? какъ сестра отъ брата?

— Да, я приму,—поспѣшно сказала она.—Нѣтъ, зачѣмъ принимать: я куплю. Продайте мнѣ: у меня деньги есть. Я вамъ пятьдесятъ тысячъ дамъ.

— Нѣтъ, такъ я не хочу.

Она остановилась, подумала, бросила взглядъ на Волгу, на обрывъ, на садъ.

— Хорошо, какъ хотите — я на все согласна, только чтобъ намъ остаться здѣсь.

— Такъ я велю бумагу написать?

— Да... благодарю, — говорила она, подойдя къ нему и протянувъ ему обѣ руки.

Онъ взялъ ихъ, пожалъ и поцѣловалъ ее въ щеку. Она отвѣчала ему крѣпкимъ пожатіемъ и поцѣлуемъ на воздухъ.

— Видно, вы въ самомъ дѣлѣ любите этотъ уголокъ и старый домъ?

— Да, очень...

— Послушайте, Вѣра: дайте мнѣ комнату здѣсь въ домѣ—мы будемъ вмѣстѣ читать, учиться... хотите учиться?

— Чему учиться?—съ удивленіемъ спросила она.

— Вотъ видите: мнѣ хочется пройти съ Марѳинькой практически исторію литературы и искусства. Не пугайтесь, — поспѣшилъ онъ прибавить, замѣтивъ, что у ней на лицѣ показался какой-то туманъ: — курсъ весь будетъ состоять въ чтеніи и разговорахъ... Мы будемъ читать все, старое и новое, свое и чужое,—передавать другъ другу впечатлѣнія, спорить... Это займетъ меня, можетъ-быть, и васъ. Вы любите искусство?

Она тихонько зѣвнула въ руку: онъ замѣтилъ.

«Кажется, ее нельзя учить, да и нечему: она, или уже все знаетъ, или не хочетъ знать!» рѣшилъ онъ про себя.

— А вы... долго останетесь здѣсь? — спросила она, не отвѣчая на его вопросъ.

— Не знаю: это зависитъ отъ обстоятельствъ и... отъ васъ.

— Отъ меня? — повторила она и задумалась, глядя въ сторону.

— Пойдемте туда, въ тотъ домъ. Я покажу вамъ свои альбомы, рисунки, мы поговоримъ...—предлагалъ онъ.

— Хорошо, подите впередъ, а я приду: мнѣ надо тутъ вынуть свои вещи, я еще не разобралась...

Онъ медлилъ. Она, держась за дверь, ждала, чтобъ онъ ушелъ.

«Какъ она хороша, Боже мой! И какая язвительная красота!» думалъ онъ, идучи къ себѣ и оглядываясь на ея окна.

— Вѣра Васильевна пріѣхала!—съ живостью сказалъ онъ Якову въ передней.

— Бабушка, Вѣра пріѣхала! — крикнулъ онъ, проходя мимо бабушкинаго кабинета и постучавъ въ дверь.

— Марѳинька!—закричалъ онъ у лѣстницы, ведущей въ Марѳинькину комнату:—Вѣрочка пріѣхала!

Крикъ, шумъ, восклицанія, звонъ ключей, шипѣнье самовара, бѣготня—были отвѣтомъ на принесенную имъ вѣсть.

Онъ проворно раскопалъ свои папки, бумаги, вынесъ въ залу, разложилъ на столѣ и съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда Вѣра отдѣлается отъ объятій, ласкъ и разспросовъ бабушки и Марѳиньки и прибѣжитъ къ нему продолжать начатый разговоръ, которому онъ не хотѣлъ предвидѣть конца. И самъ удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, какъ будто въ самомъ дѣлѣ «хотѣлъ заслужить вниманіе, довѣріе и дружбу»...

«Постой же», думалъ онъ, «я докажу, что ты больше ничего, какъ дѣвочка передо мной!..»

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ. Но Вѣра не приходила. Онъ располагалъ увлечь ее въ бездонный разговоръ объ искусствѣ, откуда шагнулъ бы къ красотѣ, къ чувствамъ и т. д.

«Не все ее открыла ей попадья!» думалъ онъ: «не всѣ стороны ума и чувства извѣдала она: не успѣла, некогда! Посмотримъ, будешь ли ты владѣть собою, когда»...

Но она все не идетъ. Его взяло зло, онъ собралъ рисунки и только хотѣлъ унести опять къ себѣ наверхъ, какъ распахнулась дверь и предъ нимъ предстала... Полина Карповна, закутанная, какъ въ облака, въ кисейную блузу, съ голубыми бантами на шеѣ, на груди, на желудкѣ, на плечахъ, въ прозрачной шляпкѣ съ колосьями и незабудками. Сзади шелъ тотъ же кадетъ, съ вѣеромъ и складнымъ стуломъ.

— Боже мой!—болѣзненно произнесъ Райскій.

— Bonjour! — сказала она: — не ждали? вижу, вижу! Du courage! Я все понимаю. А мы съ Мишелемъ были въ рощѣ и зашли къ вамъ.—Michel! Saluez donc monsieur et mettez tout cela de côté!—Что это у васъ? ахъ, альбомы, рисунки, произведенія вашей музы! Я заранѣе безъ ума отъ нихъ: покажите, покажите, ради Бога! Садитесь сюда, ближе, ближе...

Она осѣнила диванъ и нѣсколько креселъ своей юбкой.

Райскому страхъ какъ хотѣлось пустить въ нее папками и тетрадями. Онъ стоялъ, не зная, уйти ли ему внезапно, оставивъ ее тутъ, или покориться своей участи и показать рисунки.

— Не конфузьтесь, будьте смѣлѣе,— говорила она.— Michel! alles vous promener un peu dans le jardin! Садитесь, сюда, ближе!—продолжала она, когда юноша ушелъ.

Райскій внезапно разразился нервнымъ хохотомъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Вотъ такъ! Я вижу, что вы угадали меня...— прибавила она шопотомъ.

Райскій окончательно развеселился:

«Эта, по крайней мѣрѣ, играетъ наивно комедію, не скрывается и не окружаетъ себя туманомъ, какъ та»... думалъ онъ.

— Ахъ, какъ это мило! charmant, ce paysage!—говорила между тѣмъ Крицкая, разсматривая рисунки. — Qu'est-ce que c'est que cette belle figure?—спрашивала она, останавливаясь надъ портретомъ Бѣловодовой, сдѣланнымъ акварелью. — Ah, que c'est beau! Это ваша пассія — да? признайтесь.

— Да.

— Я знала — oh, vous êtes terrible, allez! — прибавила она, ударивъ его легонько вѣеромъ по плечу.

Онъ засмѣялся.

— N'est-ce pas? Много вздыхаютъ по васъ? признайтесь. А здѣсь еще что будетъ!

Она остановила на немъ плутовскій взглядъ.

— Monstre!—произнесла она лукаво.

«Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» со скрежетомъ думалъ онъ, опять впадая въ ярость.

— У меня есть просьба къ вамъ, M-r Boris... надѣюсь, я уже могу называть васъ такъ... Faites mon portrait.

Онъ молчалъ.

— Ma figure y prête, j'espère?

Онъ молчалъ.

— Вы молчите, слѣдовательно это рѣшено: когда я могу придти? Какъ мнѣ одѣться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю—я вся ваша покорная раба...—говорила она шепелявымъ шопотомъ, нѣжно глядя на него и готовясь какъ будто склонить голову къ его плечу.

— Пустите меня, ради Бога; я на свѣжій воздухъ хочу!.. — сказалъ онъ въ тоскѣ, вставая и выпутывая ноги изъ ея юбокъ.

— Ахъ, вы въ ажитаціи: это натурально—да, да, я этого хотѣла и добилась! — говорила она, торжествуя и обмахиваясь вѣеромъ.—А когда портретъ?

Онъ молча выпутывалъ ноги изъ юбокъ.

— Вы въ плѣну, не выпутаетесь! — шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

Въ это время отворилась тихонько дверь и на порогѣ показалась Вѣра. Она постояла нѣсколько минутъ, прежде нежели они ее замѣтили. Наконецъ Крицкая первая увидѣла ее.

— Вѣра Васильевна: вы воротились, ахъ, какое счастье! Vous nous manquiez! Посмотрите, вашъ cousin въ плѣну, неправда ли, какъ левъ въ сѣтяхъ! Здоровы ли вы, моя милая, какъ поправились, пополнѣли...

И Крицкая шла цѣловаться съ Вѣрой. Вѣра глядѣла на эту сцену молча, только подбородокъ дрожалъ у ней отъ улыбки.

— Я васъ давно ждалъ!—замѣтилъ ей Райскій сухо.

— Я хорошо сдѣлала, что замѣшкалась, — съ нѣжливой ироніей сказала Вѣра, поздоровавшись съ Крицкой. — Полина Карповна подоспѣла кстати...

— N'est-ce pas?—подтвердила Крицкая.

— Она вѣрно лучше меня пойметъ: я безтолкова очень, у меня вкуса нѣтъ,—продолжала Вѣра, и взявъ два-три рисунка, небрежно поглядѣла съ минуту на каждый, потомъ, положивъ ихъ, подошла къ зеркалу и внимательно смотрѣлась въ него.

— Какая я блѣдная сегодня! У меня немного голова болитъ: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свиданія, cousin! Извините, Полина Карповна!—прибавила она и скользнула въ дверь.

Шаговъ ея не слышно было за дверью, только скрипъ ступеней давалъ знать, что она поднималась по лѣстницѣ въ комнату Марфиньки.

— Теперь мы опять одни! — сказала Полина Карповна, осѣняя диванъ и половину круглаго стола юбкой:—давайте смотрѣть! Садитесь сюда, поближе!..

— Ахъ, какъ это мило! charmant, ce paysage!—говорила между тѣмъ Крицкая, разсматривая рисунки. — Qu'est-ce que c'est que cette belle figure?—спрашивала она, останавливаясь надъ портретомъ Бѣловодовой, сдѣланнымъ акварелью. — Ah, que c'est beau! Это ваша пассія — да? признайтесь.

— Да.

— Я знала — oh, vous êtes terrible, allez! — прибавила она, ударивъ его легонько вѣеромъ по плечу.

Онъ засмѣялся.

— N'est-ce pas? Много вздыхаютъ по васъ? признайтесь. А здѣсь еще что будетъ!

Она остановила на немъ плутовскій взглядъ.

— Monstre!—произнесла она лукаво.

«Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» со сюжетомъ думалъ онъ, опять впадая въ ярость.

— У меня есть просьба къ вамъ, M-r Boris... надѣюсь, я уже могу называть васъ такъ... Faites mon portrait.

Онъ молчалъ.

— Ma figure y prête, j'espère?

Онъ молчалъ.

— Вы молчите, слѣдовательно это рѣшено: когда я могу придти? Какъ мнѣ одѣться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю—я вся ваша покорная раба...—говорила она шепелявымъ шопотомъ, нѣжно глядя на него и готовясь какъ будто склонить голову къ его плечу. .

— Пустите меня, ради Бога: я на свѣжій воздухъ хочу!.. — сказалъ онъ въ тоскѣ, вставая и выпутывая ноги изъ ея юбокъ.

— Ахъ, вы въ ажитаціи: это натурально—да, да, я этого хотѣла и добилась! — говорила она, торжествуя и обмахиваясь вѣеромъ.—А когда портретъ?

Онъ молча выпутывалъ ноги изъ юбокъ.

— Вы въ плѣну, не выпутаетесь! — шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

Въ это время отворилась тихонько дверь и на порогѣ показалась Вѣра. Она постояла нѣсколько минутъ, прежде нежели они ее замѣтили. Наконецъ Крицкая первая увидѣла ее.

— Вѣра Васильевна: вы воротились, ахъ, какое счастье! Vous nous manquiez! Посмотрите, вашъ cousin въ плѣну, неправда ли, какъ левъ въ сѣтяхъ! Здоровы ли вы, моя милая, какъ поправились, пополнѣли...

И Крицкая шла цѣловаться съ Вѣрой. Вѣра глядѣла на эту сцену молча, только подбородокъ дрожалъ у ней отъ улыбки.

— Я васъ давно ждалъ!—замѣтилъ ей Райскій сухо.

— Я хорошо сдѣлала, что замѣшкалась, — съ вѣжливой ироніей сказала Вѣра, поздоровавшись съ Крицкой. — Полина Карповна подоспѣла кстати...

— N'est-ce pas?—подтвердила Крицкая.

— Она вѣрно лучше меня пойметъ: я безтолкова очень, у меня вкуса нѣтъ,—продолжала Вѣра, и взявъ два-три рисунка, небрежно поглядѣла съ минуту на каждый, потомъ, положивъ ихъ, подошла къ зеркалу и внимательно смотрѣлась въ него.

— Какая я блѣдная сегодня! У меня немного голова болитъ: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свиданія, cousin! Извините, Полина Карповна!—прибавила она и скользнула въ дверь.

Шаговъ ея не слышно было за дверью, только скрипъ ступеней давалъ знать, что она поднималась по лѣстницѣ въ комнату Марфиньки.

— Теперь мы опять одни! — сказала Полина Карповна, осѣняя диванъ и половину круглаго стола юбкой:—давайте смотрѣть! Садитесь сюда, поближе!..

Райскій молча, однимъ движеніемъ руки сгребъ всѣ рисунки и тетради въ кучу, тиснулъ все въ самую большую папку, сильно захлопнулъ ее и, не оглядываясь, сердитыми шагами вышелъ вонъ.

XVII.

Райскій рѣшилъ платить Вѣрѣ равнодушіемъ, не обращать на нее никакого вниманія, но вмѣсто того дулся дня три. При встрѣчѣ съ ней, скажетъ ей вскользь слова два, и въ этихъ двухъ словахъ проглядываетъ досада.

Онъ запирался у себя, писалъ программу романа и внесъ уже на страницы ея замѣтку «о ядовитости скуки». Страдая этимъ, уже не новѣйшимъ недугомъ, онъ подвергалъ его психологическому анализу, вынимая данныя изъ себя.

Ему хотѣлось уѣхать куда-нибудь еще подальше и поглуше, хоть въ бабушкино Новоселово, чтобъ наединѣ и въ тишинѣ вдуматься въ ткань своего романа, уловить эту сѣть жизненныхъ сплетеній, дать одну точку всей картинѣ, осмыслить ее и возвести въ художественное созданіе.

Здѣсь все мѣшаетъ ему. Вонъ издали доносится до него пѣсенка Марфиньки: «Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя!» поетъ она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно въ этомъ голосѣ, который вольно раздается среди тишины въ огородѣ и саду; потомъ слышно, какъ она безпечно прервала пѣніе, и тѣмъ же тономъ, какимъ пѣла, приказываетъ изъ окна Матренѣ собрать съ грядъ салату, потомъ черезъ минуту ужъ звонко смѣется въ толпѣ сосѣднихъ дѣтей.

Вотъ нѣсколько крестьянскихъ подводъ въѣхали на дворъ, съ овсомъ, съ мукой; скрипъ телѣгъ, говоръ дворни, хлопанье дверей—все мѣшаетъ.

Дальше изъ окна видно, какъ золотится рожь, бѣлѣетъ гречиха, маковый цвѣтъ да кашка, красными и розовыми

пятнами, пестрятъ поля и отвлекаютъ глаза и мысль отъ тетрадей.

Райскій долго боролся, чтобъ не глядѣть, наконецъ украдкой отъ самого себя взглянулъ на окно Вѣры: тамъ тихо, не видать ея самой, только лиловая занавѣска чуть-чуть колышется отъ вѣтра.

Вчера она досидѣла до конца вечера въ кабинетѣ Татьяны Марковны: всѣ были тамъ—и Марѳинька, и Титъ Никоновичъ. Марѳинька работала, разливала чай, потомъ играла на фортепіано. Вѣра молчала, и если ее спросятъ о чемъ-нибудь, то отвѣчала, но сама не заговаривала.

Она чаю не пила, за ужиномъ раскопала два-три блюда вилкой, взяла что-то въ ротъ, потомъ съѣла ложку варенья и тотчасъ послѣ стола ушла спать.

Чѣмъ менѣе Райскій замѣчалъ ее, тѣмъ она была съ нимъ ласковѣе, хотя, несмотря на требованіе бабушки, не поцѣловала его, звала не братомъ, а кузеномъ, и все еще не переходила на «ты», а онъ уже перешелъ, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь онъ открывалъ на нее большіе глаза, пускался въ разспросы, она становилась чутка, осторожна и уходила въ себя.

Райскому досадно было на себя, что онъ дуется на нее. Если ужъ Вѣра едва замѣтила его появленіе, то ему и подавно хотѣлось бы закутаться въ мантію совершенной недоступности, небрежности и равнодушія, забывать, что она тутъ, подлѣ него,—не съ цѣлію порисоваться тѣмъ передъ нею, а искренно стать въ такое отношеніе къ ней.

Чѣмъ онъ больше старался объ этомъ, тѣмъ сильнѣе, къ досадѣ его, проглядывало мелочное и настойчивое наблюденіе за каждымъ ея шагомъ, движеніемъ и словомъ. Иногда онъ и выдержитъ себя минуты на двѣ, но любопытство мало-по-малу раздражитъ его и онъ броситъ быстрый полувзглядъ исподлобья — все и пропало. Онъ ужъ и не отводитъ потомъ глазъ отъ нея.

Она столько вносила перемѣны съ собой, что съ ея приходомъ, какъ будто падалъ другой свѣтъ на предметы; простая комната превращалась въ какой-то храмъ, и Вѣра, какъ бы ни запрятывалась въ уголъ, всегда была на первомъ планѣ, точно поставленная на пьедесталъ и освѣщенная огнями или луннымъ свѣтомъ.

Идетъ ли она по дорожкѣ сада, а онъ сидитъ у себя за занавѣской и пишетъ, ему бы сидѣть, не поднимать головы и писать; а онъ, при своемъ желаніи до боли не показать, что замѣчаетъ ее, тихонько, какъ шалунъ, украдкой, подниметъ уголокъ занавѣски и слѣдитъ, какъ она идетъ, какая мина у ней, на что она смотритъ, угадываетъ ея мысль. А она ужъ конечно замѣтитъ, что уголокъ занавѣски приподнялся, и угадаетъ, зачѣмъ приподнялся.

Если самъ онъ идетъ по двору или по саду, то пройти бы ему до конца, не взглянувъ вверхъ; а онъ начнетъ маневрировать, посмотритъ въ противоположную отъ ея оконъ сторону, оборотится къ нимъ будто невзначай, и встрѣтитъ ея взглядъ, иногда съ затаенной насмѣшкой надъ его маневромъ. Или спроситъ о ней Марину, гдѣ она, что дѣлаетъ, а если потеряетъ ее изъ вида, то бѣгаетъ, отыскивая точно потерянную булавку, и, увидѣвши ее, начинаетъ разыгрывать небрежнаго.

Иногда онъ дня по два не говорилъ, почти не встрѣчался съ Вѣрой, но во всякую минуту зналъ, гдѣ она, что дѣлаетъ. Вообще способности его, устремленныя на одинъ, занимающій его предметъ, изощрялись до невѣроятной тонкости, а теперь, въ этомъ безмолвномъ наблюденіи за Вѣрой, онѣ достигли степени ясновидѣнія.

Онъ за стѣнами какъ будто слышалъ ея голосъ, и безсознательно соображалъ и предвидѣлъ ея слова и поступки. Онъ въ нѣсколько дней изучилъ ея привычки, вкусы, нѣкоторыя склонности, но все это относилось пока къ ея внѣшней и домашней жизни.

Онъ успѣлъ опредѣлить ея отношенія къ бабушкѣ, къ Марѳинькѣ, положеніе ея въ этомъ уголкѣ и все что̀ относится къ образу жизни и быта.

Но нравственная фигура самой Вѣры оставалась для него еще въ тѣни.

Въ разговорѣ она не увлекалась вслѣдъ за его пылкой фантазіей, на шутку отвѣчала легкой усмѣшкой, и если удавалось ему окончательно разсмѣшить ее, у ней отъ смѣха дрожалъ подбородокъ.

Отъ смѣха она переходила къ небрежному молчанію, или просто задумывалась, забывая, что онъ тутъ, и потомъ просыпалась, почти содрогаясь, отъ этой задумчивости, когда онъ будилъ ее движеніемъ, или вопросомъ.

Она не любила, чтобы къ ней приходили въ старый домъ. Даже бабушка не тревожила ее тамъ, а Марѳиньку она безъ церемоніи удаляла, да та и сама боялась ходить туда.

А когда Райскій заставалъ ее тамъ, она очевидно пережидала, не уйдетъ ли онъ, и если онъ располагался подлѣ нея, она, посидѣвши изъ учтивости минутъ десять, уходила.

Привязанностей у ней, повидимому, не было никакихъ, хотя это было и неестественно въ дѣвушкѣ: но такъ казалось наружно, а проникать въ душу къ себѣ она не допускала. Она о бабушкѣ и о Марѳинькѣ говорила покойно, почти равнодушно.

Занятій у нея постоянныхъ не было. Читала, какъ и шила, она мимоходомъ, и о прочитанномъ мало говорила, на фортепіано не играла, а иногда брала неопредѣленные, безсвязные аккорды и къ нѣкоторымъ долго прислушивалась, или когда принесутъ Марѳинькѣ кучу нотъ, она брала то тѣ, то другія—«Сыграй вотъ это,—говорила она:—Теперь вотъ это, потомъ это», слушала, глядѣла пристально въ окно и болѣе къ проигранной музыкѣ не возвращалась.

Райскій замѣтилъ, что бабушка, надѣляя щедро Марѳиньку замѣчаніями и предостереженіями на каждомъ шагу,

обходила Вѣру съ какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надѣялась, что эти сѣмена не пропадутъ даромъ.

Но бывали случаи, и Райскій, по мелочности ихъ, не могъ еще наблюсти, какіе именно, какъ вдругъ Вѣра охватывалась какой-то лихорадочною дѣятельностью, и тогда она кипѣла изумительной быстротой и обнаруживала тьму мелкихъ способностей, какихъ въ ней нельзя было подозрѣвать—въ хозяйствѣ, въ туалетѣ, въ разныхъ мелочахъ.

Такъ она однажды изъ куска кисеи часа въ полтора сдѣлала два чепца, одинъ бабушкѣ, другой—Крицкой, съ тончайшимъ вкусомъ, работая надъ ними со страстью, съ адскимъ проворствомъ и одушевленіемъ, потомъ черезъ пять минутъ забыла объ этомъ и сидѣла опять праздно.

Иногда она какъ-будто прочтетъ упрекъ въ глазахъ бабушки, и тогда особенно одолѣетъ ею дикая, порывистая дѣятельность. Она примется помогать Марѳинькѣ по хозяйству, и въ пять-десять минутъ, все порывами, передѣлаетъ бездну, возьметъ что-нибудь въ руки, быстро сдѣлаетъ, оставитъ, забудетъ, примется за другое, опять сдѣлаетъ и выйдетъ изъ этого такъ же внезапно, какъ войдетъ.

Бабушка иногда жалуется, что не управится съ гостями, ропщетъ на Вѣру за дикость, за то, что не хочетъ помочь.

Вѣра хмурится и очевидно страдаетъ, что не можетъ перемочь себя, и наконецъ неожиданно явится среди гостей—и съ такимъ веселымъ лицомъ, глаза теплятся такимъ радушіемъ, она принесетъ столько тонкаго ума, граціи, что бабушка теряется до испуга.

Ее ставало на цѣлый вечеръ, иногда на цѣлый день, а завтра, точно оборвется: опять уйдетъ въ себя—и никто не знаетъ, что у ней на умѣ или на сердцѣ.

Вотъ все, что пока могъ наблюсти Райскій, т.-е. все, что видѣли и знали другіе. Но чѣмъ меньше было у него положительныхъ данныхъ, тѣмъ дружнѣе работала его фан-

тазія, въ союзѣ съ анализомъ, подбирая ключъ къ этой замкнутой двери.

Съ тѣхъ поръ, какъ у Райскаго явилась новая задача— Вѣра, онъ рѣже и холоднѣе спорилъ съ бабушкой и почти не занимался Марфинькой, особенно послѣ вечера въ саду, когда она не подала никакихъ надеждъ на превращеніе изъ наивнаго, подчасъ ограниченнаго, ребенка въ женщину.

Между тѣмъ они трое почти были неразлучны — т. е. Райскій, бабушка и Марфинька. Послѣ чаю онъ съ часъ сидѣлъ у Татьяны Марковны въ кабинетѣ, послѣ обѣда такъ же, а въ дурную погоду—и по вечерамъ.

Вѣра являлась не надолго, здоровалась съ бабушкой, сестрой, потомъ уходила въ старый домъ, и не слыхать было, что она тамъ дѣлаетъ. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести ей кофе туда.

Бабушка немного хмурилась, шептала про себя: — Привередница, дикарка! но на своемъ не настаивала.

Равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты, Райскій покорялся ей до рабства, былъ холоденъ ко всему, гдѣ не находилъ ея, и грубъ, даже жестокъ, ко всякому безобразію.

Не только отъ міра внѣшняго, отъ формы, онъ настоятельно требовалъ красоты, но и на міръ нравственный смотрѣлъ онъ, не какъ онъ есть, въ его наружно-дикой, суровой разладицѣ, не какъ на початую отъ рожденія міра и неконченную работу, а какъ на гармоническое цѣлое, какъ на готовый уже парадный строй созданныхъ имъ самимъ идеаловъ, съ доконченными въ его умѣ чувствами и стремленіями, огнемъ, жизнью и красками.

У него не ставало терпѣнія купаться въ этой вознѣ, суетѣ, въ черновой работѣ, терпѣливо и мучительно укладывать силы въ приготовленіе къ тому праздничному моменту, когда человѣчество почувствуетъ, что оно готово, что достигло своего апогея, когда насталъ бы и понесся въ вѣч-

ность, какъ рѣка, одинъ безошибочный на вѣчныя времена установившійся потокъ жизни.

Онъ только оскорблялся ежеминутнымъ и повсюднымъ разладомъ дѣйствительности съ красотой своихъ идеаловъ, и страдалъ за себя и за весь міръ.

Онъ вѣрилъ въ идеальный прогрессъ — въ совершенствованіе, какъ формы, такъ и духа, сильнѣе, нежели матеріалисты вѣрятъ въ утилитарный прогрессъ; но страдалъ за его черепашій шагъ и впадалъ въ глубокую хандру, не вынося даже мелкихъ царапинъ близкаго ему безобразія.

Тогда всѣ люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, т. е. красота ея характера, склада ума, старыхъ цѣльныхъ нравовъ, доброты и проч., начала блѣднѣть. Кое-гдѣ мелькнетъ въ глаза неразумное упорство, кое-гдѣ эгоизмъ; феодальныя замашки ея казались ему животнымъ тиранствомъ, и въ минуты унынія онъ не хотѣлъ даже извинить ее ни вѣкомъ, ни воспитаніемъ.

Титъ Никонычъ былъ старый, отжившій баринъ, ни на что не нужный, Леонтій — школьный педантъ, жена его — развратная дура, вся дворня въ Малиновкѣ—жадная стая дикихъ, не осмысленная никакой человѣческой чертой.

Весь этотъ уголокъ, хозяйство съ избами, мужиками, скотиной и живностью, терялъ колоритъ веселаго и счастливаго гнѣзда, а казался просто хлѣвомъ, и онъ бы давно уѣхалъ оттуда, если бъ... не Вѣра!

Въ одинъ такой часъ хандры, онъ лежалъ съ сигарой на кушеткѣ въ комнатѣ Татьяны Марковны. Бабушка, не сидѣвшая никогда безъ дѣла, съ карандашомъ повѣрила какіе-то, принесенные ей Савельемъ, счеты.

Передъ ней лежали на бумажкахъ кучки овса, ржи. Марѳинька царапала иглой клочокъ кружева, нашитаго на бумажкѣ, такъ пристально, что сжала губы, и около носа

и лба у ней набѣжали морщинки. Вѣры, по обыкновенію, не было.

Райскій случайно посмотрѣлъ на Марѳиньку и засмѣялся. Она покраснѣла и поглядѣла на него вопросительно.

— Какую ты смѣшную рожицу сдѣлала,—сказалъ онъ.

— Ну, слава Богу, улыбнулось красное солнышко! — замѣтила Татьяна Марковна.—А то смотрѣть тошно.

Онъ вздохнулъ.

— Что вздыхаешь-то: на свѣтѣ, что-ли, тяжело жить?

— И такъ тяжело, бабушка. Ужели вамъ легко?

— Полно Бога гнѣвить! Видно въ самомъ дѣлѣ рожна захотѣлъ.

— Хоть бы и рожна, да чтобъ шевелилось что-нибудь въ жизни, а то—настоящій гробъ!

— Прости ему Господи: самъ не знаетъ, что говоритъ! Эй, Борюшка, не накликай бѣду! Не сладко покажется, какъ бревно ударитъ по головѣ. Да, да,—помолчавши, съ тихимъ вздохомъ, прибавила она:—это такъ ужъ въ судьбѣ человѣческой написано—зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно, наука нужна. Образумитъ тебя судьба, помянешь меня!

— Чѣмъ же, бабушка: рожномъ? Я не боюсь. У меня—никого и ничего: какого же мнѣ рожна ждать.

— А вотъ узнаешь: всякому свой! Иному даетъ на всю жизнь — и несетъ его, тянетъ точно лямку. Вонъ Кирила Кирилычъ...—бабушка сейчасъ бросилась къ любимому своему способу, къ примѣру: — богатъ, здоровехонекъ, весь вѣкъ хи-хи-хи, да ха-ха-ха, да жена вдругъ ушла: съ тѣхъ поръ и повѣсилъ голову,—шестой годъ ходитъ, какъ тѣнь... А у Егора Ильича...

— У меня нѣтъ жены, стало-быть и опасности нѣтъ...

— А ты женись!..

— Зачѣмъ: чтобъ жена ушла?

— Не всѣ жены уходятъ: хочешь, я тебѣ посватаю?

— Нѣтъ, благодарю; придумайте для меня другой рожонъ.

— Судьба придумаетъ! Да сохрани тебя Господи, полно накликать на себя! А лучше вотъ что: поѣдемъ со мной въ городъ съ визитами. Мнѣ проходу не даютъ, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нилъ Андреевичъ, княгиня: вотъ бы къ ней! Да ужъ и къ безстыжей надо заѣхать, къ Полинѣ Карповнѣ, чтобъ не шипѣла! А потомъ къ откупщику...

— Это зачѣмъ?

— Послѣ скажу.

— Зачѣмъ, Марѳинька, бабушка везетъ меня къ откупщику—не знаешь ли?

— У него дочь-невѣста — помните, бабушка говорила однажды? такъ вѣрно хочетъ сватать вамъ ее...

— Вотъ она сейчасъ и догадалась! Спрашиваютъ тебя: вездѣ поспѣешь!—сказала бабушка.—Языкъ-то сталъ у тебя востеръ: сама я не умѣю, что ли, сказать?

— Э, вотъ что! Хорошо... — зѣвая сказалъ Райскій: — я поѣду съ визитами, только съ тѣмъ, чтобъ и вы со мной заѣхали къ Марку: надо же ему визитъ отдать.

Татьяна Марковна молчала.

— Что же вы, бабушка, молчите: заѣдемъ?

— Полно пустяки говорить: напрасно ты связался съ нимъ,—добра не будетъ, съ толку тебя собьетъ! О чемъ онъ съ тобой разговаривалъ?

— Онъ почти не разговаривалъ: мы поужинали и легли.

— А денегъ еще не просилъ взаймы?

— Просилъ.

— Ну, такъ и есть: ты смотри не давай.

— Да ужъ я далъ.

— Далъ!—жалостно воскликнула она.

— Вы кстати напомнили о деньгахъ: онъ просилъ сто рублей, а у меня было восемьдесятъ. Гдѣ мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему...

— Борисъ Павловичъ! Не я ли говорила тебѣ, что онъ только и дѣлаетъ, что деньги занимаетъ! Боже мой! Когда же отдастъ?

— Онъ сказалъ, что не отдастъ.

Она заволновалась, зашевелилась, такъ что кресло заходило подъ ней.

— Что жъ это такое, говори не говори, онъ все свое дѣлаетъ!—сказала она:—изъ рукъ вонъ!

— Дайте же денегъ.

— Ты оброкъ, что ли, ему платишь?

— Ему ѣсть нечего!

— А ты кормить его взялся? Ѣсть нечего! Цыгане и бродяги всегда чужое ѣдятъ: всѣхъ не накормишь! Восемьдесятъ рублей!

Татьяна Марковна нахмурилась.

— Нѣту денегъ!—коротко сказала она.—Не дамъ: если не добромъ, такъ неволей послушаешься бабушки!

— Вотъ деспотизмъ-то!—замѣтилъ Райскій.

— Что жъ, велѣть, что ли, закладывать коляску?—спросила, помолчавши, бабушка.

— Зачѣмъ?

— А съ визитами ѣхать?

— Вы не дѣлаете по-моему, и я не стану дѣлать по-вашему.

— Сравнилъ себя со мной! Когда же курицу яйца учатъ? Грѣхъ, грѣхъ, сударь! Странный человѣкъ, необыкновенный: все свое!

— Не я, а вотъ вы такъ необыкновенная женщина!

— Чѣмъ это, батюшка, скажи на милость?

— Какъ чѣмъ? Не велите знакомиться, съ кѣмъ я хочу, деньгами мѣшаете распоряжаться, какъ вздумаю, везете куда мнѣ не хочется, а куда хочется—сами не ѣдете. Ну, къ Марку не хотите, я и не приневоливаю васъ, и вы меня не приневоливайте.

— Я тебя въ хорошіе люди везу.

— По мнѣ, они не хорошіе.

— Что жъ, Маркушка хорошъ?

— Да, онъ мнѣ нравится. Живой, свободный умъ, самостоятельная воля, юморъ...

— Да ну его!—съ досадой прибавила она:—ѣдешь, что ли, со мной къ Мамыкину?

— Это еще что за Мамыкинъ?

— А откупщикъ, у котораго дочь невѣста, — вмѣшалась Маронька. — Поѣзжайте, братецъ: на той недѣлѣ у нихъ большой вечеръ, будутъ звать насъ,—тише прибавила она:—бабушка не поѣдетъ, намъ безъ нея нельзя, а съ вами пустятъ...

— Сдѣлай бабушкѣ удовольствіе, поѣзжай! — прибавила Татьяна Марковна.

— А вы сдѣлайте мнѣ удовольствіе, не зовите меня.

— Чудной, необыкновенный человѣкъ! Я ему сдѣлай удовольствіе, а онъ мнѣ нѣтъ.

— Вѣдь подъ этимъ удовольствіемъ кроется замыселъ женить меня—такъ ли?

— Ну, хоть бы и такъ: что же за бѣда:—я вѣдь счастья тебѣ хочу!

— Почему вы знаете, что для меня счастье — жениться на дочери какого-то Мамыкина?

— Она красавица, воспитана въ самомъ дорогомъ пансіонѣ въ Москвѣ. Однихъ брильянтовъ тысячъ на восемьдесятъ... Тебѣ полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажилъ бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ бывалъ, всѣ бы раболѣпствовали передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ, связи... И въ Петербургѣ не ударилъ бы себя въ грязь...—мечтала почти про себя бабушка.

— А вотъ я и не хочу раболѣпства: это гадость! Бабушка! я думалъ, вы любите меня — пожелаете чего-нибудь получше, поразумнѣе...

— Чего тебѣ: рожна, что ли, въ самомъ дѣлѣ? Я тебѣ добра желаю, а ты...

— Хорошо добро, ни съ того, ни съ сего, взять чужія деньги, брильянты, да еще какую-нибудь Голендуху Парамоновну въ придачу!

— Нѣтъ, не Голендуху, а богатую и хорошенькую невѣсту! Вотъ что, необыкновенный человѣкъ!

— Толкать человѣка жениться, на комъ не знаешь, на комъ не хочешь: необыкновенная женщина!

— Ну, Борюшка: не думала я, что изъ тебя такое чудище выйдетъ!

— Да не я, бабушка, а вы чудище...

— Ахъ!—почти въ ужасѣ закричала Марѳинька: — какъ это вы смѣете такъ называть бабушку!

— А она меня такъ назвала.

— Она постарше васъ, она вамъ бабушка!

— А что, бабушка, — вдругъ обратился онъ къ ней: — если бъ я сталъ уговаривать васъ выйти замужъ?

— Марѳинька! перекрести его: ты тамъ поближе сидишь,—замѣтила бабушка сердито.

Марѳинька засмѣялась.

— Право...—шутилъ Райскій.

— Ты буфонишь, а я дѣло тебѣ говорила, добра хотѣла.

— И я добра вамъ хочу. Вотъ находятъ на васъ такія минуты, что вы скучаете, ропщете; иногда я подкарауливалъ и слезы. «Вѣкъ свой одна, не съ кѣмъ слова перемолвить», жалуетесь вы: «внучки разбѣгутся, маюсь-маюсь вѣсь свой вѣкъ — хоть бы Богъ прибралъ меня! Выйдутъ дѣвочки замужъ, останусь какъ перстъ» и т. д. А тутъ бы подлѣ васъ сидѣлъ почтенный человѣкъ, цѣловалъ бы у васъ руки, вмѣсто васъ ходилъ бы по полямъ, подъ руку водилъ бы въ садъ, въ пикетъ съ вами игралъ бы... Право, бабушка, чтобы вамъ...

— Полно, Борисъ Павловичъ, вздоръ молоть,—печально,

со вздохомъ, сказала бабушка.—Ты моложе былъ поумнѣе, вздору не мололъ.

Она черезъ очки посмотрѣла на него.

— А Титъ Никонычъ такъ и увивается около васъ, чуть на васъ не молится — всегда у вашихъ ногъ! Только подайте знакъ—и онъ будетъ счастливѣйшій смертный!

Марѳинька не унималась отъ смѣху. Бабушка немного покраснѣла.

— Вотъ какъ: и жениха нашелъ!—сказала она небрежно.

— Что жъ, — продолжалъ шутить Райскій: — вы живете домкомъ, у васъ водятся деньжонки, а онъ бездомный.., вотъ бы и кстати...

— Такъ это за то, что у меня деньжонки водятся, да домъ есть, и надо замужъ выходить: богадѣльня, что ли, ему достался мой домъ? И домъ не мой, а твой. И онъ самъ не бѣденъ...

— А это на что похоже, что вы хотите женить меня изъ-за денегъ?

— Ты можешь понравиться дѣвушкѣ, и она тебѣ тоже: она миленькая...

— Вы съ Титомъ Никонычемъ тоже другъ другу нравитесь, вы тоже миленькая...

— Отвяжись ты со своимъ Титомъ Никонычемъ!—вспыльчиво перебила Татьяна Марковна:—я тебѣ добра хотѣла.

— И я вамъ тоже!

— Пустомеля, право, пустомеля: слушать тошно! Не хочешь угодить бабушкѣ,—такъ какъ хочешь!

— А вы мнѣ отчего не хотите угодить? Я еще не видалъ дочери Мамыкина и не знаю, какая она, а Титъ Никонычъ вамъ нравится, и вы сами на него смотрите какъ-то любовно...

— А вотъ еще, — перебила Марѳинька:—я вамъ скажу, братецъ: когда Титъ Никонычъ захвораетъ, бабушка сама...

— Ты, сударыня, что,—крикнула бабушка сердито:—мо-

лода шутить надъ бабушкой! Я тебя и за ухо, да въ лапти: нужды нѣтъ что большая! Онъ отъ рукъ отбился, вышелъ изъ повиновенія: съ Маркушкой связался—послѣднее дѣло! Я на него рукой махнула, а ты еще погоди, я тебя уйму! А ты, Борисъ Павлычъ, женись, не женись—мнѣ все равно, только стстань и вздору не мели. Я вотъ Тита Никоныча принимать не велю...

— Бѣдный Титъ Никонычъ! — комически, со вздохомъ, произнесъ Райскій, и лукаво взглянулъ на Марѳиньку.

— Ну, вотъ, бабушка, наконецъ вы договорились до дѣла, до правды: «женись, не женись—какъ хочешь!» Давно бы такъ! Стало-быть, и ваша, и моя свадьба откладываются на неопредѣленное время.

— «Дѣло, правда!»—ворчала бабушка:—вотъ посмотримъ, какъ ты проживешь!

— По-своему, бабушка.

— Хорошо ли это?

— А какъ же: ужели по-чужому?

— Какъ люди живутъ.

— Какіе люди? Развѣ здѣсь есть люди?

Въ это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли:—Колчинскій барчонокъ...

— Это Николай Андреевичъ Викентьевъ: проси! «Какіе люди!» хоть бы вотъ человѣкъ: Господи, не клиномъ міръ сошелся!—сказала Бережкова.

Марѳинька немного покраснѣла и поправила платье, косынку и мелькомъ бросила взглядъ въ зеркало. Райскій тихонько погрозилъ ей пальцемъ, она покраснѣла еще сильнѣе.

— Что вы, братецъ... вы... опять... — начала она и не кончила.

Василиса пошла-было и воротилась поспѣшно.

— Еще пришелъ этотъ... что ночевалъ здѣсь,— сказала она Райскому:—спрашиваетъ васъ!

— Ужъ не Маркушка ли опять?— съ ужасомъ спросила бабушка.

— Онъ и есть!—подтвердила Василиса.

— Вотъ это люди, такъ люди! — сказалъ Райскій и поспѣшилъ къ себѣ.

— Какъ обрадовался, какъ бросился! нашелъ человѣка! Деньги-то не забудь взять съ него назадъ! Да не хочетъ ли онъ трескать? я бы прислала... — крикнула ему вслѣдъ бабушка.

XVIII.

Въ комнату вошелъ или, вѣрнѣе, вскочилъ—средняго роста, свѣжій, цвѣтущій, красиво и крѣпко сложенный молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати трехъ, съ темнорусыми, почти каштановыми волосами, съ румяными щеками и съ сѣро-голубыми вострыми глазами, съ улыбкой, показывавшей рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ зубовъ. Въ рукахъ у него былъ пучокъ васильковъ и еще что-то бережно завернутое въ носовой платокъ. Онъ все это вмѣстѣ со шляпой положилъ на стулъ.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, здравствуйте Марѳа Васильевна!—заговорилъ онъ, цѣлуя руку у старушки, потомъ у Марѳиньки, хотя Марѳинька отдернула свою, но вышло такъ, что онъ успѣлъ дать летучій поцѣлуй.—Опять нельзя—какія вы!..—сказалъ онъ.—Вотъ я принесъ вамъ...

— Что это вы пропали: васъ совсѣмъ не видать? — съ удивленіемъ, даже строго, спросила Бережкова.—Шутка ли, почти три недѣли!

— Мнѣ никакъ нельзя было, губернаторъ не выпускалъ никуда; велѣли дѣла канцеляріи приводить въ порядокъ...— говорилъ Викентьевъ такъ торопливо, что нѣкоторыя слова даже не договаривалъ.

— Пустяки, пустяки! не слушайте, бабушка: у него никакихъ дѣлъ нѣтъ... самъ сказывалъ! — вмѣшалась Марѳинька.

— Ей-Богу, ахъ, какія вы: дѣла по горло было! У насъ новый правитель канцеляріи поступаетъ—мы дѣла скрѣпляли, описи дѣлали... Я пятьсотъ дѣлъ по листамъ скрѣпилъ. Даже по ночамъ сидѣли... ей-Богу...

— Да не божитесь! что это у васъ за привычка божиться по пустякамъ: грѣхъ какой!—строго остановила его Бережкова.

— Какъ по пустякамъ: вонъ Марѳа Васильевна не вѣрятъ! а я ей-Богу...

— Опять!

— Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марѳа Васильевна, что у васъ гость: Борисъ Павловичъ пріѣхалъ? Не онъ ли это, я встрѣтилъ сейчасъ, прошелъ по коридору? Я нарочно пришелъ...

— Вотъ видите, бабушка? — перебила Марѳинька: — онъ пришелъ братца посмотрѣть, а безъ этого долго бы пропадалъ! Что?

— Ахъ, Марѳа Васильевна, какія вы: Я лишь только вырвался, такъ и прибѣжалъ! Я просился-просился у губернатора—не пускаетъ: говоритъ, не пущу до тѣхъ поръ, пока не кончите дѣла! У маменьки не былъ: хотѣлъ къ ней пообѣдать въ Колчино съѣздить—и то пустилъ только вчера, ей-Богу...

— Здорова ли маменька? Что, у ней лишаи прошли?

— Проходятъ, покорно благодарю. Маменька кланяется вамъ, проситъ васъ не забыть день ея именинъ...

— Покорно благодарю! Ужъ не знаю, соберусь ли я сама, стара, да и черезъ Волгу боюсь ѣхать. А дѣвочки мои...

— Мы безъ васъ, бабушка, не поѣдемъ,— сказала Марѳинька:—я тоже боюсь переѣзжать Волгу.

— Не стыдно ли трусить?—говорилъ Викентьевъ.—Чего вы боитесь! Я за вами самъ пріѣду на нашемъ катерѣ... Гребцы у меня всѣ пѣсенники...

— Съ вами ни за что и не поѣду, вы не посидите ни

минуты покойно въ лодкѣ... Что это шевелится у васъ въ бумагѣ? — вдругъ спросила она. — Посмотрите, бабушка... ахъ, не змѣя ли?

— Это я вамъ принесъ живого сазана, Татьяна Марковна: сейчасъ выудилъ самъ. Ѣхалъ къ вамъ, а тамъ на рѣчкѣ, въ осокѣ, вижу сидитъ въ лодкѣ Иванъ Матвѣичъ. Я попросился къ нему, онъ подъѣхалъ, взялъ меня, я и четверти часа не сидѣлъ—вотъ какого выудилъ! А это вамъ, Марѳа Васильевна, дорогой, вонъ тутъ во ржи нарвалъ васильковъ...

— Не надо, вы обѣщали безъ меня не рвать — а вотъ теперь слишкомъ двѣ недѣли не были, васильки всѣ посохли: вонъ какая дрянь!

— Пойдемте сейчасъ нарвемъ свѣжихъ!..

— Дайте срокъ!—остановила Бережкова.— Что это вамъ не сидится? Не успѣли носа показать, вонъ еще и лобъ не простылъ, а ужъ въ ногахъ у васъ такъ и зудитъ? Чего вы хотите позавтракать: кофе, что ли, или битаго мяса? А ты, Марѳинька, поди узнай, не хочетъ ли тотъ... Маркушка... чего-нибудь? Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать...

— Нѣтъ, пѣтъ, ничего не хочу, — заторопился Викентьевъ:—я съѣлъ цѣлый пирогъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать сюда...

— Видите, какой онъ, бабушка!—сказала Марѳинька:— пирогъ съѣлъ!

И сама пошла исполнить порученіе бабушки, потомъ воротилась, сказавъ, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти.

— А здѣсь не накормили бы васъ!—упрекнула Татьяна Марковна:—что вы назавтракались да ушли?

Викентьевъ сунулся-было къ Марѳинькѣ.

— Заступитесь за меня!—сказалъ онъ.

— Не подходите, не подходите, не трогайте! — сердито говорила Марѳинька.

Онъ не сидѣлъ, не стоялъ на мѣстѣ, то совался къ бабушкѣ, то бѣжалъ къ Мареинькѣ и силился переговорить обѣихъ. Почти въ одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выраженіе и вдругъ разливался по немъ смѣхъ и показывались крупные бѣлые зубы, на которыхъ отъ торопливости его говора, или отъ смѣха, иногда вскакивалъ и пропадалъ пузырь.

— Я нѣдь съѣлъ пирогъ оттого, что подъ руку подвернулся. Кузьма отворилъ шкапъ, а я шелъ мимо — вижу пирогъ, одинъ только и былъ...

— Вамъ стало жаль сироту, вы и съѣли? — договорила бабушка. Всѣ трое засмѣялись.

— Нѣтъ ли варенья, Мареа Васильевна: я бы поѣлъ...

— Вели принести — какъ не быть? А битаго мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята...

— Вотъ бы цыпленка хорошо...

— Не давайте ему, бабушка: что его баловать? не стоитъ... Но сама пошла-было изъ комнаты.

— Нѣтъ, нѣтъ, Мареа Васильевна, и точно не надо, вы только не уходите: я лучше обѣдать буду. Можно мнѣ пообѣдать у васъ, Татьяна Марковна?

— Нѣтъ, нельзя,—сказала Мареинька.

— А ты не шути этимъ,—остановила ее бабушка:—онъ, пожалуй, и убѣжитъ. И видно, что вы давно не были,—обратилась она къ Викентьеву: — стали спрашивать позволенія отобѣдать!

— Покорно благодарю-съ!.. Мареа Васильевна! куда вы? Постойте, постойте, и я съ вами!..

— Не надо, не надо, не хочу!—говорила она.—Я велю вамъ зажарить вашего сазана и больше ничего не дамъ къ обѣду.

Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостомъ взадъ и впередъ, она, съ крикомъ: «Ай, ай!» выронила ее на полъ и побѣжала по коридору.

Онъ бросился за ней, и черезъ минуту оба уже гдѣ-то хохотали, а еще черезъ минуту послышались вверху звуки рѣзваго вальса на фортепіано, съ топотомъ ногъ надъ головой Татьяны Марковны, а потомъ кто-то точно скатился съ лѣстницы, а дальше промчались по двору и бросились въ садъ, сначала Марѳинька, за ней Викентьевъ, и звонко изъ саду доносились ихъ говоръ, пѣніе и смѣхъ.

Бабушка поглядѣла въ окно и покачала головой. На дворѣ куры, пѣтухи, утки, съ крикомъ бросились въ стороны, собаки съ лаемъ поскакали за бѣгущими, изъ людскихъ выглянули головы лакеевъ, женщинъ и кучеровъ, въ саду цвѣты и кусты зашевелились точно живые, и не на одной грядѣ или клумбѣ остался слѣдъ вдавленнаго каблука, или маленькой женской ноги, два-три горшка съ цвѣтами опрокинулись, вершины тоненькихъ деревъ, за которыя хваталась рука, закачались, и птицы всѣ до одной отъ испуга улетѣли въ рощу.

А черезъ четверть часа ужъ оба смирно сидѣли, какъ ни въ чемъ не бывало, около бабушки, и весело смотрѣли кругомъ и другъ на друга: онъ, отирая потъ съ лица, она, обмахивая себѣ платкомъ лобъ и щеки.

— Хороши оба: на что похожи!—упрекала бабушка.

— Это все онъ,—жаловалась Марѳинька: — погнался за мной! Прикажите ему сидѣть на мѣстѣ.

— Нѣтъ, не я, Татьяна Марковна: онѣ велѣли мнѣ уйти въ садъ, а сами прежде меня побѣжали: я хотѣлъ догнать, а онѣ...

— Онъ мужчина, а тебѣ стыдно, ты не маленькая!— журила бабушка.

— Вамъ видите, что я изъ-за васъ терплю! — сказала Марѳинька.

— Ничего, Марѳа Васильевна, бабушки всегда немного ворчатъ—это ихъ священная обязанность...

Бабушка услыхала.

— Что, что, сударь?—полусерьезно остановила его Татьяна Марковна:—подойдите-ка сюда, я, вмѣсто маменьки, уши надеру, благо ея здѣсь нѣтъ, за этакія слова!

— Извольте, извольте, Татьяна Марковна, ахъ, надерите пожалуйста! Вы только грозите, а никогда не выдерете...

Онъ подскочилъ къ старушкѣ и наклонилъ голову.

— Надерите, бабушка, побольнѣе, чтобъ недѣлю красныя были!—учила Марѳинька.

— Ну, вы надерите!—сказалъ онъ ей, подставляя голову.

— Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру.

— Постойте еще, я Нилу Андреевичу пожалуюсь, перескажу, что вы сказали теперь... А еще любимецъ его!—говорила Татьяна Марковна.

Викентьевъ сдѣлалъ важную мину, сталъ посреди комнаты, опустилъ бороду въ галстукъ, сморщился, поднялъ палецъ вверхъ и дряблымъ голосомъ произнесъ:

— Молодой человѣкъ! твои слова потрясаютъ авторитетъ старшихъ!..

Должно-быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марѳинька закатилась смѣхомъ, а бабушка нахмурила-было брови, но вдругъ добродушно засмѣялась и стала трепать его по плечу.

— Въ кого это ты, батюшка, уродился такой живчикъ, да на все гораздый? — ласково говорила она. — Батюшка твой, царство ему небесное, былъ такой серьезный, слова на вѣтеръ не скажетъ, и маменьку отучилъ смѣяться.

— Ахъ, Марѳа Васильевна, — заговорилъ Викентьевъ:— я досталъ вамъ новый романъ и еще журналъ, повѣсть отличная... забылъ совсѣмъ...

— Гдѣ же они?

— Въ лодкѣ у Ивана Матвѣича оставилъ, все изъ-за того сазана! Онъ у меня трепетался въ рукахъ — я книгу и ноты забылъ... Я побѣгу сейчасъ—можетъ-быть, онъ еще на рѣчкѣ сидитъ—и принесу...

Онъ побѣжалъ-было и опять воротился.

— Я дамское сѣдло досталъ, Марѳа Васильевна: вамъ верхомъ ѣздить; графскій берейторъ берется въ мѣсяцъ васъ выучить—хотите, я сейчасъ привезу...

— Ахъ, какой вы милый, какой вы добрый! — не вспомнясь отъ удовольствія, сказала Марѳинька. — Какъ весело будетъ... ахъ, бабушка!

— Кто тебѣ позволитъ такъ проказничать?—строго замѣтила бабушка.—А вы что это, въ своемъ ли умѣ: дѣвушкѣ на лошади ѣздить!

— А Марья Васильевна, а Анна Николаевна—какъ же ѣздятъ онѣ?..

— Ну, имъ и отдайте ваше сѣдло! Сюда не заносите этихъ затѣй: пока жива, не позволю. Этакъ, пожалуй, и грѣха недолго: курить станетъ.

Марѳинька надулась, а Викентьевъ постоялъ минуты двѣ въ недоумѣніи, почесывая то затылокъ, то брови, потомъ, вмѣсто того, чтобы погладить волосы, какъ дѣлаютъ другіе, поерошилъ ихъ, разстегнулъ и застегнулъ пуговицу у жилета, вскинулъ легонько фуражку вверхъ и, поймавъ ее, выпрыгнулъ изъ комнаты, сказавши:

— Я за нотами и за книгой—сейчасъ прибѣгу...—и исчезъ.

Марѳинька хотѣла тоже идти, но бабушка удержала ее.

— Послушай, душечка, поди сюда, что я тебѣ скажу,— заговорила она ласково, и немного медлила, какъ будто не рѣшалась говорить.

Марѳинька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшіеся немного отъ бѣготни по саду, и глядѣла на нее, какъ мать, любуясь ею.

— Что вы, бабушка? — вдругъ спросила Марѳинька, съ удивленіемъ вскинувши на старушку глаза и ожидая, къ чему ведетъ это предисловіе.

— Ты у меня добрая дѣвочка, уважаешь каждое слово бабушки... не то что Вѣрочка...

— Вѣрочка тоже уважаетъ васъ: напрасно вы на нее...

— Ну, ты ея заступница! Уважаетъ, это правда, а думаетъ свое, значитъ, не вѣритъ мнѣ: бабушка-де стара, глупа, а мы, молоды, — лучше понимаемъ, много учились, все знаемъ, все читаемъ. Какъ бы она не ошиблась... Не все въ книгахъ написано?

Бережкова задумчиво вздохнула.

— Что же вы хотѣли сказать мнѣ? — съ любопытствомъ спросила Марфинька.

— А вотъ что: ты взрослая дѣвушка, давно невѣста: такъ ты будь немножко поосмотрительнѣе...

— Какъ это поосмотрительнѣе, бабушка?

— Погоди, не перебивай меня. Ты вотъ рѣзвишься, бѣгаешь, точно дитя, съ ребятишками возишься...

— Развѣ я все бѣгаю? Вѣдь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйствомъ занимаюсь...

— Опять перебила! Знаю, что ты умница, — ты кладъ, дай Богъ тебѣ здоровья,—и бабушки слушаешься!—повторила свой любимый припѣвъ старушка.

— Такъ за что же вы браните меня?

— Погоди, дай сказать слово! Гдѣ же я браню? Я говорю только, чтобъ ты была посерьезнѣе...

— Какъ, ужъ и бѣгать нельзя: это развѣ грѣхъ? А вонъ братецъ говоритъ...

— Что онъ говоритъ?

— Что я слишкомъ ужъ... послушная, безъ бабушки ни на шагъ...

— А ты не слушай его: онъ тамъ насмотрѣлся на какихъ-нибудь англичанокъ да полячекъ! тѣ еще въ дѣвкахъ одни ходятъ по улицамъ, переписку ведутъ съ мужчинами, и верхомъ скачутъ на лошадяхъ. Этого, что ли, братецъ хочетъ? Вотъ постой, я поговорю съ нимъ...

— Нѣтъ, бабушка, не говорите, — онъ разсердится, что я пересказала вамъ...

— И хорошо сдѣлала, и всегда такъ дѣлай! Мало ли что онъ наговоритъ, братецъ твой! Видишь что: смущать вздумалъ дѣвочку!

— Развѣ я дѣвочка? — обидчиво замѣтила Марѳинька.— Мнѣ четырнадцать аршинъ на платье идетъ... Сами говорите, что я невѣста!

— Правда, ты выросла, да сердце у тебя дѣтское, и дай Богъ, чтобъ долго такимъ осталось! А поумнѣть немного не мѣшаетъ.

— А зачѣмъ, бабушка: развѣ я дура? Братецъ говоритъ, что я проста, мила... что я хороша и умна какъ есть, что я...

Она остановилась.

— Ну, что еще?

— Что я «естественная»!..

Татьяна Марковна помолчала, повидимому, толкуя себѣ значеніе этого слова. Но оно почему-то ей не понравилось.

— Братецъ твой пустяки говоритъ,—сказала она.

— Вѣдь онъ умный-преумный, бабушка.

— Ну, да: умнѣе всѣхъ въ городѣ. И бабушка у него глупа: воспитывать меня хочетъ! Нѣтъ, ты старайся поумнѣть мимо его, живи своимъ умомъ.

— Господи! ужели я дура такая?

— Нѣтъ, нѣтъ, ты, можетъ-быть, поумнѣе многихъ умницъ...—бабушка взглянула по направленію къ старому дому, гдѣ была Вѣра: — да умъ-то у тебя въ скорлупѣ, а пора смекать...

— Зачѣмъ же, бабушка?

— А хоть бы за тѣмъ, внучка, чтобъ сумѣть понять рѣчи братца и отвѣтить на нихъ порядкомъ. Онъ, конечно, худого тебѣ не пожелаетъ; смолоду былъ честенъ и любилъ васъ обѣихъ: вонъ имѣніе отдаетъ, да много болтаетъ пустого...

— Не все же онъ пустое болтаетъ: иногда такъ умно и хорошо говоритъ...

— И Полина Карповна не дура: тоже хорошо говоритъ. Я не сравниваю Борюшку съ этой козой, а хочу только сказать,—острота остротой, а умъ умомъ! Вотъ ты и поумнѣй настолько, чтобъ знать, когда твой братецъ говоритъ съ остротой, когда съ умомъ. На остроту смѣйся, отвѣчай остротой, а умную рѣчь принимай къ сердцу. Острота фальшива, принарядится краснымъ словцомъ, смѣхомъ, ползетъ, какъ змѣй, въ уши, норовитъ подкрасться къ уму и помрачить его, а когда умъ помраченъ, такъ и сердце не въ порядкѣ. Глаза смотрятъ, да не видятъ, или видятъ не то...

— За что же вы, бабушка, браните меня?—съ нетерпѣніемъ спросила Марѳинька.

У ней даже навернулись слезы.

— Вы говорите: не хорошо бѣгать, возиться съ дѣтьми, пѣть—ну, не стану...

— Боже тебя сохрани! Бѣгать, пользоваться воздухомъ—здорово. Ты весела, какъ птичка, и дай Богъ тебѣ остаться такой всегда, люби дѣтей, пой, играй...

— Такъ за что же браните?

— Не браню, а говорю только: знай всему мѣру и пору. Вотъ ты давеча побѣжала съ Николаемъ Андреевичемъ...

Марѳинька вдругъ покраснѣла, отошла и сѣла въ уголъ. Бабушка пристально поглядѣла на нее и начала опять, тономъ ниже и медленнѣе.

— Это не бѣда: Николай Андреичъ прекрасный, добрый—и шалунъ, такой же рѣзвый, какъ ты, а ты у меня скромница, лишняго, ни себѣ, ни ему, не позволишь. Куда бы вы ни забѣжали вдвоемъ, что бы ни затѣяли, я знаю, что онъ тебѣ не скажетъ непутнаго, а ты и слушать не станешь...

— Не прикажите ему приходить!—сердито замѣтила Марѳинька.—Я съ нимъ теперь слова не скажу...

— Это хуже: и онъ, и люди, Богъ знаетъ, что подумаютъ.

А ты только будь поосмотрительнѣе:—не бѣгай по двору да по саду, чтобъ люди не стали осуждать: «вонъ, скажутъ, дѣвушка ужъ невѣста, а повѣсничаетъ, какъ мальчикъ, да еще съ постороннимъ»...

Марѳинька вспыхнула.

— Ты не краснѣй: не отъ чего! Я тебѣ говорю, что ты дурного не сдѣлаешь, а только для людей надо быть поосмотрительнѣе! Ну, что надулась: поди сюда, я тебя поцѣлую!

Бережкова поцѣловала Марѳиньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо.

— Николай Андреичъ сейчасъ придетъ,—сказала Марѳинька:—а я не знаю, какъ теперь мнѣ быть съ нимъ. Станетъ звать въ садъ, я не пойду, въ поле—тоже не пойду и бѣгать не стану. Это я все могу. А если станетъ смѣшить меня—я ужъ не утерплю, бабушка,—засмѣюсь, воля ваша! Или запоетъ, попроситъ сыграть: что я ему скажу?

Бабушка хотѣла отвѣчать, но въ эту минуту ворвался въ комнату Викентьевъ, весь въ поту, въ пыли, съ книгой и нотами въ рукахъ. Онъ положилъ и то и другое на столъ передъ Марѳинькой.

— Вотъ теперь ужъ...—торопился онъ сказать, отирая лобъ и смахивая платкомъ пыль съ платья: — пожалуйте ручку! Какъ бѣжалъ—собаки по переулку за мной, чуть не съѣли...

Онъ хотѣлъ взять Марѳиньку за руку, но она спрятала ее назадъ, потомъ встала со стула, сдѣлала реверансъ и серьезно, съ большимъ достоинствомъ произнесла:

— Je vous remercie, M-r Викентьевъ: vous êtes bien aimable.

Онъ выпаращилъ глаза на нее, потомъ на бабушку, потомъ опять на нее, поерошилъ волосы, взглянулъ мелькомъ въ окно, вдругъ сѣлъ, и въ ту же минуту вскочилъ.

— Марѳа Васильевна,—заговорилъ онъ: — пойдемте въ залу, къ террасѣ—смотрѣть: сейчасъ молодые проѣдутъ...

— Нѣтъ,—важно сказала она: — mercі, я не пойду: дѣвицѣ неприлично высовываться на балконъ и глазѣть...

— Ну, пойдемте же разбирать новый романсъ...

— Нѣтъ, благодарю: я ужо попробую одна, или при бабушкѣ...

— Пойдемте къ рощѣ — сядемъ тамъ: я почитаю вамъ новую повѣсть.

Онъ взялъ книгу.

— Какъ это можно!—строго сказала Марѳинька и взглянула на бабушку:—дитя, что ли, я?..

— Что это такое, Татьяна Марковна?—говорилъ растерянный Викентьевъ:—житья нѣтъ отъ Марѳы Васильевны!

Викентьевъ посмотрѣлъ на нихъ обѣихъ пристально, потомъ вдругъ вышелъ на середину комнаты, сдѣлалъ сладкую мину, корпусъ наклонилъ немного впередъ, руки округлилъ, шляпу взялъ подъ мышку.

— Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée,— говорилъ онъ, силясь надѣть перчатки, но большія, влажныя отъ жару руки не шли въ нихъ.

— Sacrebleu! ça n'entre pas—oh, mille pardons, mademoiselle...

— Полно вамъ, проказникъ, принеси ему варенья, Марѳинька!

— Oh! Madame, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie, restez de grâce,—бросился онъ, почтительно устремляя руки впередъ, чтобъ загородить дорогу Марѳинькѣ, которая пошла-было къ дверямъ.

— Vraiment, je ne puis pas: j'ai des visites à faire... Ah, diable, ça n'entre pas...

Марѳинька крѣпилась, кусала губы, но смѣхъ прорвался.

— Вотъ онъ какой, бабушка,—жаловалась она: — теперь М-г Шарля представляетъ: какъ тутъ утерпѣть!

— А что, похоже?—спросилъ Викентьевъ.

— Полно вамъ, Божьи младенцы!—сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились въ лучи, и улыбка озарила лицо.—Подите, Богъ съ вами, дѣлайте что̀ хотите!

XIX.

На Марѳиньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а онъ шляпу, и только-было бросились къ дверямъ, какъ вдругъ снаружи, со стороны проѣзжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащій голосъ.

— Татьяна Марковна! высокая и сановитая владычица сихъ мѣстъ! Прости дерзновенному, ищущему предстать предъ твои очи и облобызать прахъ твоихъ ногъ! Пріими подъ гостепріимный кровъ твой странника, притекша издалеча вкусить отъ твоея трапезы и укрыться отъ зноя полдневнаго! Дома ли, Богомъ хранимая хозяйка сей обители?.. Да тутъ никого нѣтъ!

Голова показалась съ улицы въ окно столовой. Всѣ трое, Татьяна Марковна, Марѳинька и Викентьевъ, замерли, какъ были, каждый въ своемъ положеніи.

— Боже мой, Опенкинъ!—воскликнула бабушка почти въ ужасѣ:—«Дома нѣтъ! дома нѣтъ! на цѣлый день за Волгу уѣхала!»—шопотомъ диктовала она Викентьеву.

— Дома нѣтъ, на цѣлый день за Волгу уѣхала!—громко повторилъ Викентьевъ, подходя къ окну столовой.

— А! нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многихъ иныхъ обладателю!—говорилъ голосъ.—Да прильпнетъ языкъ твой къ гортани, зане ложь изрыгаетъ! И возница, и колесница дома, а стало-быть и хозяйка въ семъ мѣстѣ или окрестъ обрѣтается. Посмотримъ и поищемъ, либо пождемъ, дондеже изъ весей и пастбищъ, и изъ вертограда въ храмину паки вступитъ.

— Что дѣлать, Татьяна Марковна?—торопливо и шопо-

томъ спрашивалъ Викентьевъ.—Опенкинъ пошелъ на крыльцо, сюда идетъ.

— Нечего дѣлать,—съ тоской сказала бабушка: — надо пустить. Чай голоднехонекъ, бѣдный! Куда онъ теперь въ этакую жару потащится? Зато ужъ на цѣлый мѣсяцъ отдѣлаюсь! Теперь его до вечера не выживешь!

— Ничего, Татьяна Марковна, онъ напьется живо и потомъ уйдетъ на сѣновалъ спать. А послѣ прикажите Кузьмѣ отвезти его въ телѣгѣ домой...

— Матушка, матушка!—нѣжнымъ, но сиплымъ голосомъ говорилъ, уже входя въ кабинетъ, Опенкинъ.—Зачѣмъ сей быстроногій повергъ меня въ печаль и страхъ! Дай ручку, другую! Марѳа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку...

— Полно, Акимъ Акимычъ, не тронь ее! Садись, садись— ну, будетъ тебѣ! Что, усталъ—не хочешь ли кофе?

— Давно не видалъ тебя, наше красное солнышко: въ тоску впалъ?—говорилъ Опенкинъ, вытирая клѣтчатымъ бумажнымъ платкомъ лобъ. — Шелъ-шелъ—и зной палитъ, и отъ жажды и голода изнемогъ, а тутъ вдругъ: «за Волгу уѣхала!» Испужался, матушка, ей-Богу, испужался: экой какой!—набросился онъ на Викентьева: — невѣсту тебѣ за это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цвѣтная!—обратился онъ опять къ Мароинькѣ:—изгоните вы его съ ясныхъ глазъ долой, злодѣя безжалостнаго — охъ, охъ, Господи, Господи! Что матушка, за кофе: не къ рожѣ мнѣ! А вотъ если-бъ ангелъ сей небесный изъ сахарной ручки удостоилъ поднести...

— Водки?—живо перебилъ Викентьевъ.

— Водки!—передразнилъ Опенкинъ:—съ мѣсяцъ ее не видалъ, забылъ, чѣмъ пахнетъ. Ей-Богу, матушка!—обратился онъ къ бабушкѣ:—вчера у Горошкина насильно заставляли: бросилъ все, безъ шапки ушелъ!

— Чего же хочешь, Акимъ Акимычъ?

— Вотъ если-бъ изъ ангельскихъ ручекъ мадерцы рюмочку-другую...

— Вели, Маронинька, подать: тамъ вчера только-что почали бутылку отъ итальянца...

— Нѣтъ, нѣтъ, постой, ангелъ, не улетай!—остановилъ онъ Маронньку, когда та направилась-было къ двери:—ихъ надо отъ итальянца, не въ коня кормъ! не проймешь, не почувствую: что мадера отъ итальянца, что вода—все одно! Она десять рублей стоитъ: не къ рожѣ! Удостой, матушка, отъ Ватрухина, отъ Ватрухина — въ два съ полтиной мѣдью!

— Какая же это мадера: онъ самъ ее дѣлаетъ,—замѣтилъ Викентьевъ.

— То и ладно, то и ладно: значитъ приспособился къ потребностямъ государства, вкусъ угадалъ, городъ успокоиваетъ. Теперь война, напримѣръ, съ врагами: всѣ двери въ отечествѣ на запоръ. Ни человѣкъ не пройдетъ, ни птица не пролетитъ, ни амбре никакого не получишь, ни кургузаго одѣянія, ни марго, ни бургонь—заговѣйся! А въ семъ богоспасаемомъ градѣ, источникъ мадеры не изсякнетъ у Ватрухина! Да здравствуетъ Ватрухинъ! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна, ручку!

Онъ схватилъ старушку за руку, изъ которой выскочилъ и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтобъ послать къ Ватрухину за мадерой.

— Да ну, Богъ съ тобой, какой ты безпокойный: сидѣлъ бы смирно!—съ досадой сказала бабушка.—Маронька, вели сходить къ Ватрухину, да постой, на вотъ еще денегъ, вели взять двѣ бутылки: одной, я думаю, мало будетъ...

— Мудрость, мудрость глаголетъ твоими устами: ручку...— говорилъ Опенкинъ.

— Гдѣ побывалъ это время, Акимъ Акимычъ, что подѣлывалъ, горемычный?

— Гдѣ!—со вздохомъ повторилъ Опенкинъ:—вездѣ и ни

гдѣ, витаю, какъ птица небесная! Три дня у Горошкиныхъ, передъ тѣмъ у Пестовыхъ, а передъ тѣмъ и не помню!

Онъ вздохнулъ опять и махнулъ рукой.

— Что дома не сидишь?

— Эхъ, матушка, радъ бы душой, да вѣдь ты знаешь сама: ангельскаго терпѣнія не станетъ.

— Знаю, знаю, да не самъ ли ты виноватъ тоже: не все же жена?

— Ну, иной разъ и самъ: правда, святая правда! Гдѣ бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тутъ зло возьметъ, не вытерпишь, и пошло! Сама посуди: сидешь въ уголъ, молчишь: «зачѣмъ сидишь какъ чурбанъ, безъ дѣла?» Возьмешь дѣло въ руки: «не трогай, не суйся, гдѣ не спрашиваютъ!» Ляжешь: «что все валяешься?» Возьмешь кусокъ въ ротъ: «только жрешь!» Заговоришь: «молчи лучше!» Книжку возьмешь: вырвутъ изъ рукъ, да швырнутъ на полъ. Вотъ мое житье — какъ передъ Господомъ Богомъ! Только и свѣта, что въ Палатѣ, да по добрымъ людямъ.

Принесли вино. Мароинька налила рюмку и подала Опенкину.

Онъ, съ жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижалъ ее къ нижней губѣ, а другую руку держалъ въ видѣ подноса подъ рюмкой, чтобъ не пролить ни капли, и залпомъ опрокинулъ рюмку въ ротъ, потомъ отеръ губы и потянулся къ ручкѣ Мароиньки, но она ушла и сѣла въ свой уголъ.

Опенкинъ въ нѣсколькихъ словахъ самъ разсказалъ исторію своей жизни. Никто никогда не давалъ себѣ труда, да и не нужно никому было разбирать, кто правъ, кто виноватъ былъ въ домашнемъ разладѣ, онъ или жена.

Онъ ли пьянствомъ сначала вывелъ ее изъ терпѣнія, она ли характеромъ довела его до пьянства? Но дѣло въ томъ, что онъ дома былъ, какъ чужой человѣкъ, приходившій туда только ночевать, а иногда пропадавшій по нѣскольку дней.

Онъ предоставилъ женѣ получать за него жалованье въ Палатѣ и содержать себя и двоихъ дѣтей, какъ она знаетъ, а самъ изъ Палаты прямо шелъ куда-нибудь обѣдать и оставался тамъ до ночи, или на ночь, и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, шедъ въ Палату и скрипѣлъ перомъ, трезвый, до трехъ часовъ. И такъ проживалъ свою жизнь по людямъ.

Къ нему всѣ привыкли въ городѣ, и почти вездѣ, кромѣ чопорныхъ домовъ, принимали его, ради его безобиднаго нрава, домашнихъ его несогласій и ради провинціальнаго гостепріимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала «хорошихъ гостей», т.-е. людей поважнѣе въ городѣ.

Она никогда бы не пустила его къ себѣ ради пьянства, котораго терпѣть не могла, но онъ былъ несчастливъ и притомъ, когда онъ становился неудобенъ въ комнатѣ, его безъ церемоніи уводили на сѣновалъ или отводили домой.

Запереть ему совсѣмъ двери было не въ нравахъ провинціи вообще, и не въ характерѣ Татьяны Марковны въ особенности, какъ ни тяготило ее присутствіе пьянаго въ комнатѣ, его жалобы и вздохи.

Райскій помнилъ, когда Опенкинъ хаживалъ-бывало въ домъ его отца съ бумагами изъ Палаты.

Тогда у него не было ни лысины, ни лиловаго носа. Это былъ скромный и тихій человѣкъ изъ семинаристовъ, отвлеченный отъ духовнаго званія женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей.

Но Райскій не счелъ нужнымъ припоминать стараго знакомства, потому что не любилъ, какъ и бабушка, пьяныхъ, однако, онъ со стороны наблюдалъ за нимъ и тутъ же карандашомъ начертилъ его карикатуру.

Опенкинъ, за обѣдомъ, пока еще не опьянѣлъ, продолжалъ чествовать бабушку похвалами, называлъ Вѣрочку съ

Марѳинькой небесными горлицами, потомъ, опьянѣвши, вздыхалъ, сопѣлъ, а послѣ обѣда ушелъ на сѣновалъ спать.

Чай онъ пилъ съ ромомъ, за ужиномъ опять пилъ мадеру, и когда всѣ гости ушли домой, а Вѣра съ Марѳинькой по своимъ комнатамъ, Опенкинъ все еще томилъ Бережкову разсказами о прежнемъ житьѣ-бытьѣ въ городѣ, о многихъ старикахъ, которыхъ всѣ забыли, кромѣ его, о разныхъ событіяхъ добраго стараго времени, наконецъ о своихъ домашнихъ несчастіяхъ, и все прихлебывалъ холодный чай съ ромомъ, или просилъ рюмочку мадеры.

Снисходительная старушка не рѣшалась напомнить ему о позднемъ часѣ, ожидая, что онъ догадается. Но онъ не догадывался.

Она нѣсколько разъ уходила и наконецъ совсѣмъ ушла и подсылала, то Марину, то Якова, потушить свѣчи, кромѣ одной, закрыть ставни: все не дѣйствовало.

Онъ заговаривалъ и съ Яковомъ, и съ Мариной.

— А, ну что Маринушка: скоро ли позовешь въ кумовья? Я все жду, вотъ бы выпилъ на радостяхъ...

— Будетъ съ васъ: и такъ глаза-то налили! Барыня почивать хочетъ, говоритъ, пора вамъ домой...— ворчала Марина, убирая посуду.

— Хулу глаголешь, нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняетъ гостей: гость—священная особа... Татьяна Марковна!—заоралъ онъ во все горло:—ручку пожалуйте недостойному...

— Что это за срамъ, какъ орете: разбудите барышень!— сказала ему Василиса, посланная барыней унять его.

— Голубочки небесныя! — сладенькимъ голосомъ началъ Опенкинъ:—почиваютъ, спрятавъ головки подъ крылышко! Маринушка! поди, дай, обниму тебя...

— Ну, васъ, подите, говорятъ вамъ: вотъ дастъ вамъ знать жена, какъ придете домой...

— Избіетъ, избіетъ, яко младенца, Маринушка!

Онъ началъ хныкать и всхлипывать.

— Дай мадерцы: выпилъ бы изъ твоихъ золотыхъ ручекъ!—плача говорилъ онъ.

— Нѣту: видите, бутылка пустая! выкатили всю на лобъ себѣ!

— Ну, ромцу, сударушка: ты мнѣ ни разу не поднесла...

— Вотъ еще! пойду въ буфетъ рому доставать! Ключи у барышни...

— Давай, шельма!—закричалъ опять во все горло Опенкинъ.

Вскорѣ изъ спальни вышла Татьяна Марковна, въ ночномъ чепцѣ и салопѣ.

— Что это, въ умѣ ли ты, Акимъ Акимычъ? — строго сказала она.

— Матушка, матушка! — завопилъ Опенкинъ, опускаясь на колѣни и хватая ее за ноги: — дай ножку, благодѣтельница, прости...

— Пора домой: здѣсь не кабакъ — что это за срамъ! Впередъ не велю принимать...

— Матушка! кабакъ! кабакъ! Кто говоритъ кабакъ? Это храмъ мудрости и добродѣтели. Я честный человѣкъ, матушка: да, или нѣтъ? Ты только изреки — честный я, или нѣтъ? Обманулъ я, уязвилъ, налгалъ, наклеветалъ, насплетничалъ на ближняго? изрыгалъ хулу, злобу? Николи! — гордо произнесъ онъ, стараясь выпрямиться.—Нарушилъ ли присягу въ вѣрности царю и отечеству? производилъ поборы, извращалъ смыслъ закона, посягалъ на интересъ казны? Николи! Мухи не обидѣлъ, матушка: безвреденъ, яко червь пресмыкающійся...

— Ну, вставай, вставай, и ступай домой! Я устала, спать хочу...

— Да почіетъ благословеніе Божіе надъ тобою, праведница!

— Яковъ, вели Кузьмѣ проводить домой Акима Акимы-

ча! — приказывала бабушка. — И проводи его самъ, чтобъ онъ не ушибся! Ну, прощай, Богъ съ тобой: не кричи, ступай, дѣвочекъ разбудишь!

— Матушка, ручку, ручку! горлицы, горлицы небесныя...

Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этимъ явленіемъ, которое повторялось ежемѣсячно и сопровождалось все однѣми и тѣми же сценами. Яковъ сталъ звать Опенкина, стараясь, съ помощью Марины, приподнять его съ пола.

— А! богобоязненный Іаковъ!—продолжалъ Опенкинъ:— пріими на лоно свое недостойнаго Іоакима и поднеси изъ благочестивыхъ рукъ своихъ рюмочку ямайскаго...

— Пойдемте, не шумите: барыню опять разбудите, пора домой!

— Ну, ну... ну...—твердилъ Опенкинъ, кое-какъ барахтаясь и поднимаясь съ пола: — пойдемъ, пойдемъ. Зачѣмъ домой, дабы змѣя лютая язвила меня до утрія? Нѣтъ, пойдемъ къ тебѣ, человѣче: я повѣдаю ти, како Іаковъ боролся съ Богомъ...

Яковъ любилъ поговорить о «божественномъ», и выпить тоже любилъ, и потому поколебался.

— Ну, ладно, пойдемте ко мнѣ, а здѣсь не пригоже оставаться,—сказалъ онъ.

Опенкинъ часа два сидѣлъ у Якова въ прихожей. Яковъ тупо и углубленно слушалъ эпизоды изъ священной исторіи; даже досталъ въ людской и принесъ бутылку пива, чтобы заохотить собесѣдника къ разсказу. Наконецъ, Опенкинъ, кончивъ пиво, сталъ поминутно терять нить исторіи и перепуталъ до того, что Самсонъ у него проглотилъ кита и носилъ его три дня во чревѣ.

— Какъ... позвольте,—задумчиво остановилъ его Яковъ:— кто кого проглотилъ?

— Человѣкъ, тебѣ говорятъ: Самсонъ, то бишь—Іона!

— Да вѣдь китъ большущая рыба: сказываютъ, въ Волгѣ не уляжется...

— А чудо-то на что?

— Не другую ли какую рыбу проглотилъ человѣкъ?—изъявилъ Яковъ сомнѣніе.

Но Опенкинъ успѣлъ захрапѣть.

— Проглотилъ, ей-Богу, право, проглотилъ!—бормоталъ онъ несвязно въ просоньѣ.

— Да кто кого: фу, ты, Боже мой,—скажете ли вы?—допытывался Яковъ.

— Поднеси изъ благочестивыхъ рукъ...—чуть внятно говорилъ Опенкинъ, засыпая.

— Ну, теперь ничего не добьешься; пойдемте.

Онъ старался растолкать гостя, но тотъ храпѣлъ. Яковъ сходилъ за Кузьмой и вдвоемъ часа четыре употребили на то, чтобъ довести Опенкина домой, на противоположный конецъ города. Тамъ, сдавъ его на руки кухаркѣ, они сами на другой день къ обѣду только вернулись домой.

Яковъ съ Кузьмой провели утро въ слободѣ, подъ гостепріимнымъ кровомъ кабака. Когда они выходили изъ кабака, то Кузьма принималъ чрезвычайно дѣловое выраженіе лица, и чѣмъ ближе подходилъ къ дому, тѣмъ строже и внимательнѣе смотрѣлъ вокругъ, нѣтъ ли безпорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогалъ замокъ у воротъ, цѣлъ ли онъ. А Яковъ все искалъ по сторонамъ глазами, не покажется ли церковный крестъ вдалекѣ, чтобъ помолиться на него.

XX.

Терпѣніе Райскаго разбилось о равнодушіе Вѣры, и онъ впалъ въ уныніе, сталъ опять терзаться тупой и безплодной скукой. Отъ скуки онъ пробовалъ чертить разныя деревенскія сцены карандашомъ, набросалъ въ альбомъ почти

всѣ пейзажи Волги, какіе видѣлъ изъ дома и съ обрыва, писалъ замѣтки въ свои тетради, записалъ даже Опенкина, и положивъ перо, спросилъ себя: «Зачѣмъ онъ записалъ его? Вѣдь въ романъ онъ не годится: нѣтъ ему роли тамъ. Опенкинъ — старый, выродившійся провинціальный типъ, гость, котораго не знаютъ какъ выжить: что жъ тутъ интереснаго? И какой это романъ! И какъ пишутъ эти романисты? Какъ у нихъ выходитъ все слито, связано между собой, такъ что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я какъ будто въ зеркалѣ вижу только себя! Какъ это глупо! Не умѣю! Неудачникъ я!»

Онъ сталъ припоминать свои уроки въ академіи, студіи, гдѣ рисуютъ съ бюстовъ. Наконецъ упрямо привязался къ воспоминанію о Бѣловодовой, вынулъ ея акварельный портретъ, стараясь привести на память послѣдній разговоръ съ нею, и кончилъ тѣмъ, что написалъ къ Аянову цѣлый рядъ писемъ—литературныхъ произведеній въ своемъ родѣ, требуя отъ него подробнѣйшихъ свѣдѣній обо всемъ, что касалось Софьи: гдѣ, что она, на дачѣ, или въ деревнѣ? Посѣщаетъ ли онъ ея домъ? Вспоминаетъ ли она о немъ? Бываетъ ли тамъ графъ Милари — и прочее, и прочее, — все, все.

Всѣмъ этимъ онъ надѣялся отдѣлаться отъ навязчивой мысли о Вѣрѣ.

Отославъ пять-шесть писемъ, онъ опять погрузился въ свой недугъ—скуку. Это не была скука, какую испытываетъ человѣкъ за нелюбимымъ дѣломъ, которое навязала на него обязанность и которой онъ предвидитъ конецъ.

Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь въ случайномъ положеніи: въ болѣзни, въ утомительной дорогѣ, въ карантинѣ; тамъ впереди опять виденъ конецъ.

Могъ бы онъ заняться дѣломъ: за дѣломъ скуки не бываетъ.

«Но дѣла у насъ, русскихъ, нѣтъ», рѣшилъ Райскій, —

«а есть миражъ дѣла. А если и бываетъ, то въ сферѣ рабочаго человѣка, въ приспособленіи къ дѣлу грубой силы или грубаго умѣнья, слѣдовательно, дѣло рукъ, плечей спины: и то дѣло вяжется плохо, плетется кое-какъ; поэтому, рабочій людъ, какъ рабочій скотъ, дѣлаетъ все изъподъ палки и норовитъ только отбыть свою работу, чтобы скорѣе дорваться до животнаго покоя. Никто не чувствуетъ себя человѣкомъ за этимъ дѣломъ и никто не вкладываетъ въ свой трудъ человѣческаго, сознательнаго умѣнья, а все везетъ свой возъ, какъ лошадь, отмахиваясь хвостомъ отъ какого-нибудь кнута. И если кнутъ переставъ свистать — перестала и сила двигаться и ложится тамъ, гдѣ остановился кнутъ. Весь домъ около него, да и весь городъ, и всѣ города въ пространномъ царствѣ, движутся этимъ отрицательнымъ движеніемъ. А не въ рабочей сферѣ—повыше, гдѣ у насъ дѣло, которое бы каждый дѣлалъ, такъ-сказать, облизываясь отъ удовольствія, какъ будто бы ѣлъ любимое блюдо? А вѣдь только за такимъ дѣломъ и не бываетъ скуки! Отъ этого всѣ у насъ ищутъ однихъ удовольствій, и все внѣ дѣла».

— А дѣла нѣтъ, одинъ миражъ!—злобно твердилъ онъ, одолѣваемый хандрой, доводившей его иногда до свирѣпости, несвойственной его мягкой натурѣ.

Его самого готовили — къ чему — никто не зналъ. Вся женская родня прочила его въ военную службу, мужская— въ гражданскую, а рожденіе само по себѣ представляло еще третье призваніе — сельское хозяйство. У насъ легко погнаться за всѣми тремя зайцами и поспѣть къ тремъ — миражамъ.

И только одинъ онъ выдался уродъ въ семьѣ и не поспѣлъ ни къ одному, а выдумалъ свой миражъ—искусство!

Сколько насмѣшекъ, пожиманія плечъ, холодныхъ и строгихъ взглядовъ перенесъ онъ на пути къ своему идеалу! И если-бъ онъ вышелъ побѣдителемъ, вынесъ на плечахъ

свою задачу и доказалъ «серьезнымъ людямъ», что они стремятся къ миражу, а онъ къ дѣлу — онъ бы и былъ правъ.

А онъ тоже не дѣлаетъ дѣла, и его дѣло передъ ихъ дѣломъ—есть самый пустой изъ всѣхъ миражей. Правъ Маркъ, этотъ циническій мудрецъ, такъ храбро презрѣвшій всѣ миражи и отыскивающій... миража поновѣе!

— Нѣтъ и у меня дѣла, не умѣю я его дѣлать, какъ дѣлаютъ художники, погружаясь въ задачу, умирая для нея!— въ отчаяніи рѣшилъ онъ.—А какія сокровища передъ глазами: то картинки жанра, Теньеръ, Остадъ—для кисти, то бытъ и нравы — для пера: всѣ эти Опенкины и... вонъ, вонъ...

Онъ смотрѣлъ на дворъ, гдѣ все копошилось ежедневною заботой, видѣлъ какъ Улита убирала погреба и подвалы. Онъ сталъ наблюдать Улиту.

Улита была какимъ-то гномомъ: она гнѣздилась вѣчно въ подземельномъ царствѣ, въ погребахъ и подвалахъ, такъ что сама вся пропиталась подвальной сыростью.

Платье ея было влажно, носъ и щеки постоянно озябшія, волосы всклочены и покрыты безпорядочно смятымъ бумажнымъ платкомъ. Около пояса грязный фартукъ, рукава засучены.

Ее всегда увидишь, что она, или возникаетъ, какъ изъ могилы, изъ погреба, съ крынкой, горшкомъ, корытцемъ, или съ полдюжиной бутылокъ между пальцами въ обѣихъ рукахъ, или опускается внизъ, въ подвалы и погреба, прятать провизію, вино, фрукты и зелень.

На солнышкѣ ее почти не видать, и все она таится во тьмѣ своихъ холодниковъ: видно въ глубинѣ подвала только ея лицо съ синевато-краснымъ румянцемъ, все прочее сливается съ мракомъ домашнихъ пещеръ.

Она и не подозрѣвала, что Райскій болѣе, нежели кто-нибудь въ домѣ, занимался ею, больше даже родныхъ ея,

живущихъ въ селѣ, которые по мѣсяцамъ не видались съ ней.

Онъ срисовалъ ее, показалъ Марѳинькѣ и Вѣрѣ: первая руками всплеснула отъ удовольствія, а Вѣра одобрительно кивнула головой.

Героемъ дворни все-таки оставался Егорка: это былъ живой пульсъ ея. Онъ своего дѣла, котораго собственно и не было, не дѣлалъ, — «какъ всѣ у насъ», упрямо мысленно добавлялъ Райскій, — но зато совался поминутно въ чужія дѣла. Смотришь, дугу натягиваетъ, и сила есть: онъ коренастый, мускулистый, длиннорукій, какъ орангъ-утангъ, но хорошо сложенный малый. То сѣно примется помогать складывать на сѣновалъ: броситъ охапки три и кинетъ вилы, начнетъ болтать и мѣшать другимъ.

Но главное его призваніе и страсть—дразнить дворовыхъ дѣвокъ, трепать ихъ, дѣлать имъ всякія шутки. Онъ смѣется надъ ними, свищетъ имъ вслѣдъ, схватитъ изъ-за угла длинной рукой за плечо, или за шею такъ, что бѣдная дѣвка не вспомнится, гребенка выскочитъ у ней, и коса упадетъ на спину.

— Чортъ, озорникъ!—кричитъ дѣвка, и съ ея крикомъ послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы.

Но ему неймется: онъ подмигиваетъ на проходящую дѣвку глазами кучеру, или Якову, или кто тутъ случится близко, и опять засвищетъ, захихикаетъ, или начнетъ выдѣлывать такую мимику, что дѣвка бросится бѣжать, а онъ вслѣдъ оскалитъ зубы или свистнетъ.

Какую бы, кажется, ненависть долженъ былъ возбудить къ себѣ во всей женской половинѣ дворни такой озорникъ, какъ этотъ Егорка? А именно этого и не было.

Онъ вызывалъ только временныя вспышки въ этихъ дѣвицахъ, а потомъ онѣ же лѣзли къ нему, лишь только онъ назоветъ которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергѣевной и дружелюбно заговоритъ съ ней.

Онѣ гурьбой толпились около него, когда онъ въ воскресенье съ гитарой сидѣлъ у воротъ и ласково, но всегда съ насмѣшкой, балагурилъ съ ними. И только тогда бросались отъ него врозь, когда онъ запѣвалъ черезчуръ нецензурную пѣсню, или вдругъ принимался за неудобную для ихъ стыдливости мимику.

Но наединѣ и порознь, смотришь, то та, то другая стоятъ, дружески обнявшись съ нимъ, гдѣ-нибудь въ уголкѣ, и вечеркомъ, особенно по зимамъ, кому была охота, могъ видѣть, какъ бѣгали женскія тѣни черезъ дворъ и какъ затворялась и отворялась дверь его маленькаго чуланчика, рядомъ съ комнатами кучеровъ.

Не подозрѣвалъ и Егорка, и красныя дѣвицы, что Райскому, лучше нежели кому-нибудь въ дворнѣ, видны были всѣ шашни ихъ и вся эта игра домашнихъ страстей.

Обращаясь отъ двора къ дому, Райскій въ сотый разъ усмотрѣлъ тамъ, въ маленькой горенкѣ, рядомъ съ бабушкинымъ кабинетомъ, неизмѣнную картину: молчаливая, вѣчношепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами, сидѣла у окна, нѣкъ свой на одномъ мѣстѣ, на одномъ стулѣ, съ высокой спинкой и кожанымъ, глубоко продавленнымъ сидѣньемъ, глядя на дрова, да на копавшихся въ кучѣ сора куръ.

Она не уставала отъ этого вѣчнаго сидѣнья, отъ этой одной и той же картины изъ окна. Она даже не охотно разставалась со своимъ стуломъ, и подавъ барынѣ кофе, убравши ея платья въ шкапъ, спѣшила на стулъ, за свой чулокъ, глядѣть задумчиво въ окно на дрова, на куръ, и шептать.

Изъ дома выходить для нея было наказаніемъ; только въ церковь ходила она, и то стараясь робко, какъ-то стыдливо, пройти черезъ улицу, какъ будто боялась людскихъ глазъ. Когда ее спрашивали, отчего она не выходитъ, она говорила, что любитъ «домовничать».

Она казалась полною, потому что разбухла отъ сидѣнья и затворничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яковъ были большіе постники, и оба набожные.

Когда кто приходилъ посторонній въ домъ и когда въ прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что̀ почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потомъ сказать, кто приходилъ. Ни имени, ни фамиліи приходившаго она передать никогда не могла, хотя состарѣлась въ городѣ и знала въ лицо послѣдняго мальчишку.

Если лѣкарь приходилъ, священникъ, она скажетъ, что былъ лѣкарь, или священникъ, но имени не помнитъ.

— Былъ вотъ этотъ...—начнетъ она.

— Кто такой?—спроситъ Татьяна Марковна.

— Да вонъ тотъ, что̀ чуть Марѳу Васильевну не убилъ, а этому ужъ пятнадцать лѣтъ прошло, какъ гость уронилъ маленькую ее съ рукъ.

— Да кто?

— Вотъ что послѣ обѣда не кофе, а чаю проситъ, или:— тотъ, что диванъ въ гостиной трубкой прожегъ, или: — что на Страстной скоромное жретъ, и т. п.

Она, какъ тѣнь, неслышно «домовничаетъ» въ своемъ уголку, перебирая спицы чулка. Передъ ней, черезъ сосновый крашеный столъ, на высокомъ деревянномъ табуретѣ сидѣла дѣвочка отъ 8 до 10 лѣтъ, и тоже вязала чулокъ, держа его высоко, такъ что спицы поминутно высовывались выше головы.

Такія дѣвочки не переводились у Бережковой. Если дѣвочка вырастала, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ея мѣсто брали изъ деревни другую, на побѣгушки, для мелкихъ приказаній.

Обязанность ея, когда Татьяна Марковна сидѣла въ своей комнатѣ, стоять, плотно прижавшись въ уголкѣ у двери и вязать чулокъ, держа клубокъ подъ мышкой, но стоять

смирно, не шевелясь, чуть дыша, и по возможности не спуская съ барыни глазъ, чтобъ тотчасъ броситься, если барыня укажетъ ей пальцемъ подать платокъ, затворить или отворить дверь, или велитъ позвать кого-нибудь.

— Утри носъ! — слышалось иногда, и дѣвочка утирала носъ передникомъ, или пальцемъ, и продолжала вязать.

А когда Бережкова уходила или уѣзжала изъ дома, дѣвочка шла къ Василисѣ, влѣзала на высокій табуретъ, и молча, не спуская глазъ съ Василисы, продолжала вязать чулокъ, насилу одолѣвая пальцами длинныя стальныя спицы. Часто клубокъ вываливался изъ-подъ мышки и катился по комнатѣ.

— Что зѣваешь, подними!—слышался шопотъ.

Иногда на окно приходилъ къ нимъ погрѣться на солнцѣ, между двумя бутылями наливки, котъ Сѣрко; и если Василиса отлучалась изъ комнаты, дѣвчонка не могла отказать себѣ въ удовольствіи поиграть съ нимъ, поднималась возня, смѣхъ дѣвчонки, игра кота съ клубкомъ: тутъ часто клубокъ, и самъ котъ, летѣли на полъ, иногда опрокидывался и табуретъ съ дѣвчонкой.

Дѣвочку, которую засталъ Райскій, звали Пашуткой.

Ей стригутъ волосы коротко и одѣваютъ въ платье, сдѣланное изъ старой юбки, но такъ, что не разберешь, задомъ или напередъ сидѣло оно на ней; ноги обуты въ большіе не по лѣтамъ башмаки.

У ней изъ маленькаго, плутовского, нѣсколько приподнятаго къ верху носа часто свѣтится капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она изъ нихъ все свивала подобіе куколъ, и даже углемъ помѣчала, гдѣ быть глазамъ, гдѣ носу. Ихъ отобрали у нея, и она оставалась съ каплей, которая издали свѣтилась какъ искра.

Райскій заглянулъ къ нимъ. Пашутка, быстро взглянувъ на него изъ-за чулка, усмѣхнулась-было, потому что онъ то ласково погладитъ ее, то дастъ ложку варенья или яблоко,

и еще быстрѣе потупила глаза подъ суровымъ взглядомъ Василисы. А Василиса, увидѣвъ его, перестала шептать и углубилась въ чулокъ.

Онъ заглянулъ къ бабушкѣ: ея не было, и онъ, взявъ фуражку, вышелъ изъ дома, пошелъ по слободѣ и добрелъ незамѣтно до города, продолжая съ любопытствомъ вглядываться въ каждаго прохожаго, изучалъ дома, улицы.

Тамъ кое-гдѣ двигался народъ. Купецъ, т. е. шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрѣли, какъ рабочіе, кряхтя, складывали мѣшки хлѣба въ амбаръ; тамъ толпились какія-то неопредѣленныя личности у кабака, а тамъ проѣхала длинная и глубокая телѣга, съ насаженнымъ туда невѣроятнымъ числомъ рослаго, здороваго мужичья, въ порыжѣвшихъ шапкахъ безъ полей, въ рубашкахъ съ синими заплатами, и въ бурыхъ армякахъ, и въ лаптяхъ, и въ громадныхъ сапожищахъ, съ рыжими, сѣдыми и разношерстными бородами, то клиномъ, то лопатой, то раздвоенными, то клинообразными.

Телѣга ѣхала съ грохотомъ, прискакивая; прискакивали и мужики; иной сидѣлъ прямо, держась обѣими руками за края, другой лежалъ, положивъ голову на третьяго, а третій, опершись рукой на локоть, лежалъ въ глубинѣ, а ноги висѣли черезъ край телѣги.

Правилъ большой мужикъ, стоя, въ буромъ, длинномъ до полу армякѣ, въ нахлобученной на уши шляпѣ безъ полей, и медленно крутилъ вожжей около головы.

Лицо у него отъ загара и пыли было совсѣмъ черное, глаза ушли подъ шапку, только усы и борода, точно изъ овечьей, бѣло-золотистой, жесткой шерсти, рѣзко отдѣлялись отъ темнаго кафтана.

Лошадь рослая, здоровая, вся въ кисточкахъ изъ ремней по бокамъ, выбивалась изъ силъ и неслась скачками.

Все это прискакало къ кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось въ двери, а лошадь уже одна доѣхала до изго-

роди, въ которую всаженъ былъ клокъ сѣна, и, отфыркавшись, принялась ѣсть.

Встрѣчались Райскому дальше въ городѣ лица, очевидно бродившія безъ дѣла, или «съ миражемъ дѣла». Купцы, томящіеся бездѣльемъ у своихъ лавокъ, проѣдетъ совѣтникъ на дрожкахъ; пройдетъ, важно выступая, духовное лицо, съ длинной тростью.

А тамъ, въ пустой улицѣ, по срединѣ, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шелъ разгульный малый, въ красной рубашкѣ, въ шапкѣ на-бокъ, и размахивая руками, въ одиночку оралъ пѣсню, и время отъ времени показывалъ рѣдкому прохожему грозный кулакъ.

Райскій пробрался до Козлова, и узнавъ, что онъ въ школѣ, спросилъ про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрѣла на него, потомъ высморкалась въ фартукъ, отерла пальцемъ носъ и ушла въ домъ. Она не возвращалась.

Райскій постучалъ опять, собаки залаяли, вышла дѣвочка, поглядѣла на него, разиня ротъ, и тоже ушла. Райскій обошелъ съ переулка и услыхалъ за заборомъ голоса въ садикѣ Козлова: одинъ говорилъ по-французски, съ парижскимъ акцентомъ, другой голосъ былъ женскій. Слышенъ былъ смѣхъ, и даже будто раздался поцѣлуй...

— Бѣдный Леонтій!—прошепталъ Райскій:—или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтій!

Онъ стоялъ въ нерѣшимости—войти или нѣтъ.

«А вѣдь я другъ Леонтія, старый товарищъ, и терплю, глядя, какъ эта честная, любящая душа награждена за свою симпатію! Ужели я останусь равнодушнымъ?.. Но что дѣлать: открыть ему глаза, будить его отъ этого, когда онъ такъ вѣритъ, поклоняется чистотѣ этого... «римскаго профиля», такъ сладко спитъ въ лонѣ домашняго счастья—плохая услуга! Что же дѣлать? Вотъ дилемма!» раздумывалъ онъ, ходя взадъ и впередъ по переулку. «Вотъ что

развѣ: броситься, забить тревогу и смутить это преступное tête-à-tête?..»

Онъ пошелъ-было въ двери, но тотчасъ же одумался и воротился.

«Это исторія, скандалъ», думалъ онъ: «огласить позоръ товарища, нѣтъ, нѣтъ!—не такъ! Ахъ! счастливая мысль», рѣшилъ онъ вдругъ: «дать Ульянѣ Андреевнѣ урокъ наединѣ: бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистыхъ, невѣдомыхъ ей понятій и нравовъ! Она обманываетъ добраго, любящаго мужа и прячется отъ страха: сдѣлаю, что она будетъ прятаться отъ стыда. Да, пробудить стыдъ въ огрубѣломъ сердцѣ—это долгъ и заслуга—и въ отношеніи къ ней, а болѣе къ Леонтію!»

Это замѣтно оживило его.

«Это уже не миражъ, а истинно честное, даже святое дѣло!» думалось ему.

Затѣмъ его поглотилъ процессъ его исполненія. Онъ глубоко и серьезно вникалъ въ предстоящій ему долгъ: какъ, безъ огласки, безъ всякаго шума и сценъ, кротко и разумно уговорить эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое...

Онъ съ полчаса ходилъ по переулку, выжидая, когда уйдетъ m-r Шарль, чтобы упасть на горячій слѣдъ и «бросить громы», или вліяніемъ стараго знакомства... — Это рѣшитъ минута,—заключилъ онъ.

Подумавши, онъ отложилъ исполненіе до удобнаго случая и, отдавшись этой новой, сильно охватившей его задачѣ, прибавилъ шагу и пошелъ отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визитъ, хотя это было не только не нужно, въ отношеніи послѣдняго, но даже не совсѣмъ осторожно со стороны Райскаго.

Райскій и не намѣревался выдать свое посѣщеніе за визитъ: онъ просто искалъ какого-нибудь развлеченія, чтобъ

не чувствовать тупой скуки, и вмѣстѣ также, чтобъ не сосредоточиваться на мысли о Вѣрѣ.

Онъ правильно заключилъ, что тѣсная сфера, куда его занесла судьба, поневолѣ держала его подолгу на какомъ-нибудь одномъ впечатлѣніи, а такъ какъ Вѣра, «по дикой неразвитости», по непривычкѣ къ людямъ, или, наконецъ, онъ не знаетъ еще почему, не только не спѣшила съ нимъ сблизиться, но все отдалялась, то онъ и рѣшилъ не давать въ себѣ развиться ни любопытству, ни воображенію, и показать ей, что она блѣдная, ничтожная деревенская дѣвочка, и больше ничего. Отъ этого онъ хватался за всякій случай дать своей впечатлительности другую пищу.

Онъ прошелъ мимо многихъ, покрившихся на бокъ, домишекъ, вышелъ изъ города и пошелъ между двумя плетнями, за которыми съ обѣихъ сторонъ разстилались огороды, посматривая на шалаши огородниковъ, на распяленный кое-гдѣ старый, дырявый кафтанъ, или на вздѣтую на палку шапку—пугать воробьевъ.

— Гдѣ тутъ огородникъ Ефремъ живетъ? — спросилъ онъ одну бабу черезъ плетень, копавшуюся между двухъ грядъ.

Она, не отрываясь отъ работы, молча указала локтемъ вдаль, на одиноко-стоявшую избушку въ полѣ. Потомъ, когда Райскій ушелъ отъ нея шаговъ на сорокъ, она, прикрывъ рукой глаза отъ солнца, звонко спросила его вслѣдъ:

— Не огурцы ли покупаешь? Вотъ у насъ какіе ядреные, да зеленые!

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Райскій:—я ничего не покупаю.

— Почто жъ тебѣ Ефрема?

— Да у него живетъ мой знакомый, Маркъ, не знаешь ли?

— Нешто: у Ефрема стоитъ какой-то поповичъ, либо приказный изъ города, кто его знаетъ!

Райскій пошелъ къ избушкѣ, и только перелѣзъ черезъ

плетень, какъ навстрѣчу ему помчались двѣ шавки съ яростнымъ лаемъ. Въ дверяхъ избушки показалась, съ ребенкомъ на рукахъ, здоровая, молодая, съ загорѣлыми голыми руками и босикомъ, баба.

— Цыцъ, цыцъ, цы, проклятыя, чтобъ васъ! — унимала она собакъ.—Кого вамъ?—спросила она Райскаго, который оглядывался во всѣ стороны, недоумѣвая, гдѣ тутъ могъ гнѣздиться кто-нибудь другой, кромѣ мужика съ семьей.

Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили къ огородамъ, а два въ поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудами корзинъ, въ углу навалены были дранницы, ведра и всякій хламъ.

Подъ навѣсомъ стояли двѣ лошади, тутъ же хрюкала свинья съ поросенкомъ и бродила насѣдка съ цыплятами. Поодаль стояло нѣсколько тачекъ и большая телѣга.

— Гдѣ тутъ живетъ Маркъ Волоховъ?—спросилъ Райскій.

Баба молча указала на телѣгу. Райскій поглядѣлъ туда: тамъ, кромѣ большой рогожи, ничего не видать.

— Развѣ онъ въ телѣгѣ живетъ?—спросилъ онъ.

— Вотъ его горница,—сказала баба, показывая на одно изъ оконъ, выходившихъ въ поле.—А тутъ онъ спитъ.

— Объ эту пору спитъ?

— Да онъ на зарѣ пришелъ, должно-быть, хмельной, вотъ и спитъ.

Райскій подошелъ къ телѣгѣ:

— Почто вамъ его?—спросила баба.

— Такъ: повидаться хотѣлъ!

— А вы не замайте его!

— А что?

— Да онъ благой такой: пущай лучше спитъ! Мужа-то вотъ дома нѣтъ, такъ мнѣ и жутко съ нимъ одной. Пущай спитъ!

— Развѣ онъ обижаетъ тебя?

— Нѣтъ, грѣхъ сказать: почто̀ обижать? Только чудно̀й такой: я нешто его боюсь!

Баба стала качать ребенка, а Райскій съ любопытствомъ заглянулъ подъ рогожу.

— Экая дура! Не умѣетъ гостей принять! — вдругъ послышалось изъ-подъ рогожи, которая потомъ приподнялась, и изъ-подъ нея показалась всклоченная голова Марка.

Баба тотчасъ скрылась.

— Здравствуйте, — сказалъ Маркъ: — какъ это васъ занесло сюда?

Онъ вылѣзъ изъ телѣги и сталъ потягиваться.

— Съ визитомъ, должно-быть?

— Нѣтъ, я такъ: пошелъ отъ скуки погулять...

— Отъ скуки? Что̀ такъ: двѣ красавицы въ домѣ, а вы бѣжите отъ скуки, а еще художникъ! Или амуры нейдутъ на ладъ?

Онъ насмѣшливо мигнулъ Райскому.

— А вѣдь красавицы: Вѣра-то, Вѣра какова!

— Вы почемъ ее знаете и что̀ вамъ до нихъ за дѣло?— сухо замѣтилъ Райскій.

— Это правда, — отвѣчалъ Маркъ. — Ну, не сердитесь: пойдемте въ мой салонъ.

— Вы лучше скажите, отчего въ телѣгѣ спите: или Діогена разыгрываете?

— Да, поневолѣ,—сказалъ Маркъ.

Они прошли черезъ сѣни, черезъ жилую избу хозяевъ, и вошли въ заднюю комнатку, въ которой стояла кровать Марка. На ней лежалъ тоненькій, старый тюфякъ, тощее ваточное одѣяло, маленькая подушка. На полкѣ и на столѣ лежало десятка два книгъ, на стѣнѣ висѣли два ружья, а на единственномъ стулѣ въ безпорядкѣ валялось нѣсколько бѣлья и платья.

— Вотъ мой салонъ: садитесь на постель, а я на стулъ,— приглашалъ Маркъ. — Скинемте сюртуки: здѣсь адская ду-

хота. Не церемоньтесь, тутъ нѣтъ дамъ: скидайте, вотъ такъ. Да не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочемъ, ничего нѣтъ. А если не хотите вы, такъ дайте мнѣ сигару. Одно молоко есть, яйца...

— Нѣтъ, благодарю, я завтракалъ, а теперь скоро и обѣдать.

— И то правда, вѣдь вы у бабушки живете. Ну, что она: не выгнала васъ за то, что вы дали мнѣ ночлегъ?

— Нѣтъ, упрекала, зачѣмъ безъ пирожнаго спать уложилъ и пуховика не потребовалъ.

— И въ то же время бранила меня?

— По обыкновенію, но...

— Знаю, не говорите — не отъ сердца, а по привычкѣ. Она старуха хоть куда: лучше ихъ всѣхъ тутъ, бойкая, съ характеромъ, и былъ когда-то здравый смыслъ въ головѣ. Теперь ужъ, я думаю, мозги-то размягчились?

— Вотъ какъ: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете!—сказалъ Райскій.

— Да, особенно въ одномъ: она терпѣть не можетъ губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша—не знаю за что, а я за то, что онъ— губерцаторъ. И полицію тоже мы съ ней не любимъ, притѣсняетъ насъ. Ее заставляетъ чинить мосты, а обо мнѣ ужъ очень печется: освѣдомляется, гдѣ я живу, далеко ли отъ города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вотъ и говорить намъ больше не о чемъ! — сказалъ Маркъ.—Зачѣмъ вы пришли?

— Да скучно!

— А вы влюбитесь.

Райскій молчалъ.

— Въ Вѣру,—продолжалъ Маркъ:—славная дѣвочка. Вы

же братъ ей на восьмой водѣ, вамъ вполовину легче начать съ ней романъ...

Райскій сдѣлалъ движеніе досады, Маркъ холодно засмѣялся.

— Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да какъ она смѣетъ, ничтожная провинціалка! Ну, что жъ, старинную науку въ ходъ: наружный холодъ и внутренній огонь, небрежность пріемовъ, гордое пожиманіе плечъ и презрительныя улыбки—это дѣйствуетъ! Порисуйтесь передъ ней, это ваше дѣло...

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распущенностью?

— А можетъ-быть, — равнодушно замѣтилъ Маркъ: — что жъ, если бъ это подѣйствовало, я бы постарался...

— Да, и думаю, вы не задумались бы!—сказалъ Райскій.

— Это правда,—замѣтилъ Маркъ.—Я пошелъ бы прямо къ дѣлу, да тѣмъ и кончилъ бы! А вотъ вы сдѣлаете то же, да будете увѣрять себя и ее, что взѣзли на высоту и ее туда же затащили—идеалистъ вы этакій! Порисуйтесь, порисуйтесь! Можетъ-быть, и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда бѣленькая ручка откинетъ лиловую занавѣску... ждать по недѣлямъ отъ нея ласковаго взгляда...

Райскій вдругъ зорко на него взглянулъ.

— Что, видно, правда!

Маркъ попадалъ не въ бровь, а въ глазъ. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы—признаться, что это правда.

— Радъ бы былъ влюбиться, да не могу, не по лѣтамъ,— сказалъ Райскій, притворно зѣвая: — да и не выѣчусь отъ скуки.

— Попробуйте,—дразнилъ Маркъ.—Хотите пари, что че-

хота. Не церемоньтесь, тутъ нѣтъ дамъ: скидайте, вотъ такъ. Да не хотите ли чего-нибудь? У меня, впрочемъ, ничего нѣтъ. А если не хотите вы, такъ дайте мнѣ сигару. Одно молоко есть, яйца...

— Нѣтъ, благодарю, я завтракалъ, а теперь скоро и обѣдать.

— И то правда, вѣдь вы у бабушки живете. Ну, что она: не выгнала васъ за то, что вы дали мнѣ ночлегъ?

— Нѣтъ, упрекала, зачѣмъ безъ пирожнаго спать уложилъ и пуховика не потребовалъ.

— И въ то же время бранила меня?

— По обыкновенію, но...

— Знаю, не говорите — не отъ сердца, а по привычкѣ. Она старуха хоть куда: лучше ихъ всѣхъ тутъ, бойкая, съ характеромъ, и былъ когда-то здравый смыслъ въ головѣ. Теперь ужъ, я думаю, мозги-то размягчились?

— Вотъ какъ: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете!—сказалъ Райскій.

— Да, особенно въ одномъ: она терпѣть не можетъ губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша—не знаю за что, а я за то, что онъ—губернаторъ. И полицію тоже мы съ ней не любимъ, притѣсняетъ насъ. Ее заставляетъ чинить мосты, а обо мнѣ ужъ очень печется: освѣдомляется, гдѣ я живу, далеко ли отъ города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вотъ и говорить намъ больше не о чемъ! — сказалъ Маркъ.—Зачѣмъ вы пришли?

— Да скучно!

— А вы влюбитесь.

Райскій молчалъ.

— Въ Вѣру,—продолжалъ Маркъ:—славная дѣвочка. Вы

же братъ ей на восьмой водѣ, вамъ вполовину легче начать съ ней романъ...

Райскій сдѣлалъ движеніе досады, Маркъ холодно засмѣялся.

— Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да какъ она смѣетъ, ничтожная провинціалка! Ну, что жъ, старинную науку въ ходъ: наружный холодъ и внутренній огонь, небрежность пріемовъ, гордое пожиманіе плечъ и презрительныя улыбки—это дѣйствуетъ! Порисуйтесь передъ ней, это ваше дѣло...

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распущенностью?

— А можетъ-быть, — равнодушно замѣтилъ Маркъ: — что жъ, если бъ это подѣйствовало, я бы постарался...

— Да, я думаю, вы не задумались бы!—сказалъ Райскій.

— Это правда,—замѣтилъ Маркъ.—Я пошелъ бы прямо къ дѣлу, да тѣмъ и кончилъ бы! А вотъ вы сдѣлаете то же, да будете увѣрять себя и ее, что влѣзли на высоту и ее туда же затащили—идеалистъ вы этакій! Порисуйтесь, порисуйтесь! Можетъ-быть, и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда бѣленькая ручка откинетъ лиловую занавѣску... ждать по недѣлямъ отъ нея ласковаго взгляда...

Райскій вдругъ зорко на него взглянулъ.

— Что, видно, правда!

Маркъ попадалъ не въ бровь, а въ глазъ. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы—признаться, что это правда.

— Радъ бы былъ влюбиться, да не могу, не по лѣтамъ,— сказалъ Райскій, притворно зѣвая: —да и не выѣчусь отъ скуки.

— Попробуйте,—дразнилъ Маркъ.—Хотите пари, что че-

резъ недѣлю вы влюбитесь, какъ котенокъ, а черезъ двѣ, много черезъ мѣсяцъ, надѣлаете глупостей, и не будете знать, какъ убраться отсюда?

— А если я приму пари и выиграю, чѣмъ вы заплатите?—почти съ презрѣніемъ отвѣчалъ Райскій.

— Вонъ, панталоны, или ружье отдамъ. У меня только двое панталонъ: были третьи, да портной назадъ взялъ за долгъ... Постойте, я примѣрю вашъ сюртукъ. Ба! какъ разъ въ пору!—сказалъ онъ, надѣвши легкое пальто Райскаго и садясь въ немъ на кровать.—А попробуйте мое!

— Зачѣмъ!

— Такъ, хочется посмотрѣть, въ пору ли вамъ. Пожалуйста, надѣньте: ну, чего вамъ стóить?

Райскій снисходительно надѣлъ поношенное и небезупречное отъ пятенъ пальто Марка.

— Ну, что, въ пору?

— Да, ничего, сидитъ!

— Ну, такъ останьтесь такъ. Вы вѣдь не долго проносите свое пальто, а мнѣ оно года на два станетъ. Впрочемъ, рады вы, нѣтъ ли, а я его теперь съ плечъ не сниму,—развѣ украдете у меня.

Райскій пожалъ плечами.

— Ну, что жъ, идетъ пари?—спросилъ Маркъ.

— Что вы такъ привязались къ этой... извините... глупой идеѣ?

— Ничего, ничего, не извиняйтесь—идетъ?

— Пари не равно: у васъ ничего нѣтъ.

— Объ этомъ не безпокойтесь: мнѣ не придется платить.

— Какая увѣренность!

— Ей-Богу не придется. Ну, такъ если мое пророчество сбудется, вы мнѣ заплатите триста рублей... А мнѣ какъ бы кстати ихъ выиграть!

— Какія глупости! — почти про-себя сказалъ Райскій, взявъ фуражку и тросточку.

— Да, отъ нынѣшняго дня, черезъ двѣ недѣли, вы будете влюблены, черезъ мѣсяцъ будете стонать, бродить какъ тѣнь, играть драму, пожалуй, если не побоитесь губернатора и Нила Андреича, то и трагедію, и кончите пошлостью...

— Почемъ вы знаете?

— Кончите пошлостью, какъ всѣ подобные вамъ. Я знаю вижу васъ.

— Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала?

— Вѣра! въ васъ?

— Да, Вѣра, въ меня!

— Тогда... я достану закладъ вдвое и принесу вамъ.

— Вы сумасшедшій!—сказалъ Райскій, уходя вонъ и не удостоивъ Марка взглядомъ.

— Черезъ мѣсяцъ у меня триста рублей въ карманѣ!— кричалъ ему вслѣдъ Маркъ.

XXI.

Райскій сердито шелъ домой.

«Гдѣ она, эта красавица, теперь?» думалъ онъ злобно: «вѣроятно, на любимой скамьѣ зѣваетъ по сторонамъ— пойти посмотрѣть!»

Изучивъ ея привычки, онъ почти навѣрное зналъ, гдѣ она могла быть въ тотъ или другой часъ.

Поднявшись съ обрыва въ садъ, онъ увидѣлъ ее, дѣйствительно, сидящую на своей скамьѣ съ книгой.

Она не читала, а глядѣла то на Волгу, то на кусты. Увидя Райскаго, она перемѣнила позу, взяла книгу, потомъ тихо встала и пошла по дорожкѣ къ старому дому.

Онъ сдѣлалъ ей знакъ подождать его, но она или не замѣтила, или притворилась, что не видитъ, и даже будто ускорила шагъ, проходя по двору, и скрылась въ дверь стараго дома. Его взяло зло.

«А тотъ болванъ думаетъ, что я влюблюсь въ нее: она

даже не знаетъ простыхъ приличій, выросла въ дѣвичьей, среди этого народа, неразвитая, подгородная красота! Ея романъ ждетъ тутъ гдѣ-нибудь въ Палатѣ...»

Онъ злобно ѣлъ за обѣдомъ, посматривая исподлобья на всѣхъ, и не взглянулъ ни разу на Вѣру, даже не отвѣчалъ на ея замѣчаніе, что «сегодня жарко».

Ему казалось, что онъ ужъ ее ненавидѣлъ, или пренебрегалъ ею: онъ этого еще самъ не рѣшилъ, но только сознавалъ, что въ немъ бродитъ какое-то враждебное чувство къ ней.

Это особенно усилилось дня за два передъ тѣмъ, когда онъ пришелъ къ ней въ старый домъ съ Гёте, Байрономъ, Гейне, да съ какимъ-то англійскимъ романомъ подъ мышкой, и расположился у ея окна рядомъ съ ней.

Она съ удивленіемъ глядѣла, какъ онъ раскладывалъ книги на столѣ, какъ привольно располагался самъ.

— Что это вы хотите дѣлать? — спросила она съ любопытствомъ.

— А вотъ, — отвѣчалъ онъ, указывая на книги: — «улетимъ куда-нибудь на крыльяхъ поэзіи», будемъ читать, мечтать, унесемся вслѣдъ за поэтами...

Она весело засмѣялась.

— Сейчасъ дѣвушка придетъ: будемъ кофты кроить,— сказала она. — Тутъ на столѣ и по стульямъ разложимъ полотно и «унесемся» съ ней въ расчеты аршинъ и вершковъ...

— Фи, Вѣра: оставь это, въ дѣвичьей безъ тебя сдѣлаютъ...

— Нѣтъ, нѣтъ: бабушка и такъ недовольна моею лѣнью. Когда она ворчитъ, такъ я кое-какъ еще переношу, а когда она молчитъ, косо поглядываетъ на меня и жалко вздыхаетъ — это выше силъ... Да вотъ и Наташа. До свиданія, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на столъ: все ли тутъ?

Она проворно переложила книги на стулъ, подвинула столъ на средину комнаты, достала аршинъ изъ комода и вся углубилась въ отмѣриванье полотна, разсчитывала полотнища, съ свойственнымъ ей нервнымъ проворствомъ, когда одолѣвала ее охота или необходимость работы, и на Райскаго ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, какъ будто его тутъ не было.

Онъ почти со скрежетомъ зубовъ ушелъ отъ нея, оставивъ у ней книги. Но, обойдя домъ и воротясь къ себѣ въ комнату, онъ нашелъ уже книги на своемъ столѣ.

— Проворно! Значитъ, и впередъ прошу не жаловать!— прошепталъ онъ злобно.—Что жъ это, однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играетъ, шутитъ со мной?

Маркъ, предложеніемъ пари, еще больше растревожилъ въ немъ желчь, и онъ почти не глядѣлъ на Вѣру, сидя противъ нея за обѣдомъ, только когда случайно поднялъ глаза, его какъ будто молніей ослѣпило «язвительной» красотой.

Она взглянула-было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но замѣтя его свирѣпые взгляды, она увидѣла, что онъ раздраженъ и что предметомъ этого раздраженія была она.

Она наклонилась надъ пустой тарелкой и задумчиво углубила въ нее взглядъ. Потомъ подняла голову и взглянула на него: взглядъ этотъ былъ сухъ и печаленъ.

— Я съ Марѳинькой хочу поѣхать на сѣнокосъ сегодня,— сказала бабушка Райскому:—твоя милость, хозяинъ, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Онъ, глядя въ окно, отрицательно покачалъ головой.

— Купцы снимаютъ: даютъ семьсотъ рублей ассигнаціями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказалъ.

— Что же ты, сударь, молчишь? Яковъ,—обратилась она

даже не знаетъ простыхъ приличій, выросла въ дѣвичьей, среди этого народа, неразвитая, подгородная красота! Ея романъ ждетъ тутъ гдѣ-нибудь въ Палатѣ...»

Онъ злобно ѣлъ за обѣдомъ, посматривая исподлобья на всѣхъ, и не взглянулъ ни разу на Вѣру, даже не отвѣчалъ на ея замѣчаніе, что «сегодня жарко».

Ему казалось, что онъ ужъ ее ненавидѣлъ, или пренебрегалъ ею: онъ этого еще самъ не рѣшилъ, но только сознавалъ, что въ немъ бродитъ какое-то враждебное чувство къ ней.

Это особенно усилилось дня за два передъ тѣмъ, когда онъ пришелъ къ ней въ старый домъ съ Гёте, Байрономъ, Гейне, да съ какимъ-то англійскимъ романомъ подъ мышкой, и расположился у ея окна рядомъ съ ней.

Она съ удивленіемъ глядѣла, какъ онъ раскладывалъ книги на столѣ, какъ привольно располагался самъ.

— Что это вы хотите дѣлать? — спросила она съ любопытствомъ.

— А вотъ, — отвѣчалъ онъ, указывая на книги: — «улетимъ куда-нибудь на крыльяхъ поэзіи», будемъ читать, мечтать, унесемся вслѣдъ за поэтами...

Она весело засмѣялась.

— Сейчасъ дѣвушка придетъ: будемъ кофты кроить,— сказала она. — Тутъ на столѣ и по стульямъ разложимъ полотно и «унесемся» съ ней въ расчеты аршинъ и вершковъ...

— Фи, Вѣра: оставь это, въ дѣвичьей безъ тебя сдѣлаютъ...

— Нѣтъ, нѣтъ: бабушка и такъ недовольна моею лѣнью. Когда она ворчитъ, такъ я кое-какъ еще переношу, а когда она молчитъ, косо поглядываетъ на меня и жалко вздыхаетъ — это выше силъ... Да вотъ и Наташа. До свиданія, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на столъ: все ли тутъ?

Она проворно переложила книги на стулъ, подвинула столъ на средину комнаты, достала аршинъ изъ комода и вся углубилась въ отмѣриванье полотна, разсчитывала полотнища, съ свойственнымъ ей нервнымъ проворствомъ, когда одолѣвала ее охота или необходимость работы, и на Райскаго ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, какъ будто его тутъ не было.

Онъ почти со скрежетомъ зубовъ ушелъ отъ нея, оставивъ у ней книги. Но, обойдя домъ и воротясь къ себѣ въ комнату, онъ нашелъ уже книги на своемъ столѣ.

— Проворно! Значитъ, и впередъ прошу не жаловать!— прошепталъ онъ злобно.—Что жъ это, однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играетъ, шутитъ со мной?

Маркъ, предложеніемъ пари, еще больше растревожилъ въ немъ желчь, и онъ почти не глядѣлъ на Вѣру, сидя противъ нея за обѣдомъ, только когда случайно поднялъ глаза, его какъ будто молніей ослѣпило «язвительной» красотой.

Она взглянула-было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но замѣтя его свирѣпые взгляды, она увидѣла, что онъ раздраженъ и что предметомъ этого раздраженія была она.

Она наклонилась надъ пустой тарелкой и задумчиво углубила въ нее взглядъ. Потомъ подняла голову и взглянула на него: взглядъ этотъ былъ сухъ и печаленъ.

— Я съ Марѳинькой хочу поѣхать на сѣнокосъ сегодня,— сказала бабушка Райскому:—твоя милость, хозяинъ, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Онъ, глядя въ окно, отрицательно покачалъ головой.

— Купцы снимаютъ: даютъ семьсотъ рублей ассигнаціями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказалъ.

— Что же ты, сударь, молчишь? Яковъ,—обратилась она

къ стоявшему за ея стуломъ Якову:—купцы завтра хотѣли побывать: какъ пріѣдутъ, проводи ихъ вотъ къ Борису Павловичу...

— Слушаю-съ.

— Выгони ихъ вонъ!—равнодушно отозвался Райскій.

— Слушаю-съ!—повторилъ Яковъ.

— Вотъ какъ: кто жъ ему позволитъ выгнать! Что, если бы всѣ помѣщики походили на тебя!

Онъ молчалъ, глядя въ окно.

— Да что ты молчишь, Борисъ Павловичъ: ты хоть пальцемъ тычь! Хоть бы ѣлъ, по крайней мѣрѣ! Подай ему жаркое, Яковъ, и грибы: смотри, какіе грибы!

— Не хочу!—съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, махнувъ Якову рукой.

Снова всѣ замолчали.

— Савелій опять прибилъ Марину,—сказала бабушка.

Райскій едва замѣтно пожалъ плечами.

— Ты бы унялъ его, Борисъ Павловичъ!

— Что я за полицмейстеръ?—сказалъ онъ нехотя.—Пусть хоть зарѣжутъ другъ друга!

— Господи избави и сохрани! Это все драму, что ли, хочется тебѣ сочинить?

— До того мнѣ!—проворчалъ онъ небрежно:—своихъ драмъ не оберешься...

— Что: или тяжело жить на свѣтѣ?—насмѣшливо продолжала бабушка:—шутка ли, сколько разъ въ сутки съ боку-на-бокъ придется перевалиться!

Онъ взглянулъ на Вѣру: она налила себѣ краснаго вина въ воду и, выпивъ, встала, поцѣловала у бабушки руку и ушла. Онъ всталъ изъ-за стола и ушелъ къ себѣ въ комнату.

Вскорѣ бабушка, съ Марѳинькой и подоспѣвшимъ Викентьевымъ, уѣхали смотрѣть лугъ, и весь домъ утонулъ въ послѣобѣденномъ снѣ. Кто ушелъ на сѣновалъ, кто растя-

нулся въ сѣняхъ, въ сараѣ: другіе, пользуясь отсутствіемъ хозяйки, ушли въ слободу, и въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежь, въ саду не шелохнется листъ.

У Райскаго съ ума не шла Вѣра.

«Гдѣ она теперь, что дѣлаетъ одна? Отчего она не поѣхала съ бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?» задавалъ онъ себѣ вопросы.

Несмотря на данное себѣ слово не заниматься ею, не обращать на нее вниманія, а поступать съ ней, какъ съ «ничтожной дѣвочкой», онъ не могъ отвязаться отъ мысли о ней.

Онъ нарочно станетъ думать о своихъ петербургскихъ связяхъ, о пріятеляхъ, о художницахъ, объ академіи, о Бѣловодовой — переберетъ два-три случая въ памяти, два-три лица, а четвертое лицо выйдетъ — Вѣра. Возьметъ бумагу, карандашъ, сдѣлаетъ два-три штриха — выходитъ ея лобъ, носъ, губы. Хочетъ выглянуть изъ окна въ садъ, въ поле, а глядитъ на ея окно: «поднимаетъ ли бѣлая ручка лиловую занавѣску», какъ говоритъ справедливо Маркъ. И почемъ онъ знаетъ? Какъ будто кто-нибудь подглядѣлъ, да сказалъ ему!

Закипитъ ярость въ сердцѣ Райскаго, хочетъ онъ мысленно обратить проклятіе къ этому неотступному образу Вѣры, а губы не повинуются, языкъ шепчетъ страстно ея имя, колѣна гнутся, и онъ закрываетъ глаза и шепчетъ:

— Вѣра, Вѣра—никакая красота никогда не жгла меня язвительнѣе, я жалкій рабъ твой...

— Вздоръ, нелѣпость, сентиментальность!—скажетъ, очнувшись потомъ.

— Пойду къ ней, надо объясниться. Гдѣ она? Вѣдь это любопытство — больше ничего: не любовь же въ самомъ дѣлѣ!..—рѣшилъ онъ.

Онъ взялъ фуражку и побѣжалъ по всему дому, хлопая

къ стоявшему за ея стуломъ Якову:—купцы завтра хотѣли побывать: какъ пріѣдутъ, проводи ихъ вотъ къ Борису Павловичу...

— Слушаю-съ.

— Выгони ихъ вонъ!—равнодушно отозвался Райскій.

— Слушаю-съ!—повторилъ Яковъ.

— Вотъ какъ: кто жъ ему позволитъ выгнать! Что, если бы всѣ помѣщики походили на тебя!

Онъ молчалъ, глядя въ окно.

— Да что ты молчишь, Борисъ Павловичъ: ты хоть пальцемъ тычь! Хоть бы ѣлъ, по крайней мѣрѣ! Подай ему жаркое, Яковъ, и грибы: смотри, какіе грибы!

— Не хочу!—съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, махнувъ Якову рукой.

Снова всѣ замолчали.

— Савелій опять прибилъ Марину,—сказала бабушка.

Райскій едва замѣтно пожалъ плечами.

— Ты бы унялъ его, Борисъ Павловичъ!

— Что я за полицмейстеръ?—сказалъ онъ нехотя.—Пусть хоть зарѣжутъ другъ друга!

— Господи избави и сохрани! Это все драму, что ли, хочется тебѣ сочинить?

— До того мнѣ!—проворчалъ онъ небрежно:—своихъ драмъ не оберешься...

— Что: или тяжело жить на свѣтѣ?—насмѣшливо продолжала бабушка:—шутка ли, сколько разъ въ сутки съ боку-на-бокъ придется перевалиться!

Онъ взглянулъ на Вѣру: она налила себѣ краснаго вина въ воду и, выпивъ, встала, поцѣловала у бабушки руку и ушла. Онъ всталъ изъ-за стола и ушелъ къ себѣ въ комнату.

Вскорѣ бабушка, съ Марѳинькой и подоспѣвшимъ Викентьевымъ, уѣхали смотрѣть лугъ, и весь домъ утонулъ въ послѣобѣденномъ снѣ. Кто ушелъ на сѣновалъ, кто растя-

нулся въ сѣняхъ, въ сараѣ: другіе, пользуясь отсутствіемъ хозяйки, ушли въ слободу, и въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежь, въ саду не шелохнется листъ.

У Райскаго съ ума не шла Вѣра.

«Гдѣ она теперь, что дѣлаетъ одна? Отчего она не поѣхала съ бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?» задавалъ онъ себѣ вопросы.

Несмотря на данное себѣ слово не заниматься ею, не обращать на нее вниманія, а поступать съ ней, какъ съ «ничтожной дѣвочкой», онъ не могъ отвязаться отъ мысли о ней.

Онъ нарочно станетъ думать о своихъ петербургскихъ связяхъ, о пріятеляхъ, о художницахъ, объ академіи, о Бѣловодовой — переберетъ два-три случая въ памяти, два-три лица, а четвертое лицо выйдетъ — Вѣра. Возьметъ бумагу, карандашъ, сдѣлаетъ два-три штриха — выходитъ ея лобъ, носъ, губы. Хочетъ выглянуть изъ окна въ садъ, въ поле, а глядитъ на ея окно: «поднимаетъ ли бѣлая ручка лиловую занавѣску», какъ говоритъ справедливо Маркъ. И почемъ онъ знаетъ? Какъ будто кто-нибудь подглядѣлъ, да сказалъ ему!

Закипитъ ярость въ сердцѣ Райскаго, хочетъ онъ мысленно обратить проклятіе къ этому неотступному образу Вѣры, а губы не повинуются, языкъ шепчетъ страстно ея имя, колѣна гнутся, и онъ закрываетъ глаза и шепчетъ:

— Вѣра, Вѣра—никакая красота никогда не жгла меня язвительнѣе, я жалкій рабъ твой...

— Вздоръ, нелѣпость, сентиментальность!—скажетъ, очнувшись потомъ.

— Пойду къ ней, надо объясниться. Гдѣ она? Вѣдь это любопытство — больше ничего: не любовь же въ самомъ дѣлѣ!..—рѣшилъ онъ.

Онъ взялъ фуражку и побѣжалъ по всему дому, хлопая

дверями, заглядывая во всѣ углы. Вѣры не было ни въ ея комнатѣ, ни въ старомъ домѣ, ни въ полѣ не видать ея, ни въ огородахъ. Онъ даже поглядѣлъ на задній дворъ, но тамъ только Улита мыла какую-то кадку, да въ сараѣ Прохоръ лежалъ на спинѣ плашмя и спалъ подъ тулупомъ, съ наивнымъ лицомъ и открытымъ ртомъ.

Онъ прошелъ окраины сада, полагая, что Вѣру нечего искать тамъ, гдѣ обыкновенно бываютъ другіе, а надо забираться въ глушь, къ обрыву, по скату берега, гдѣ она любила гулять. Но нигдѣ ея не было, и онъ пошелъ уже домой, чтобъ спросить кого-нибудь о ней, какъ вдругъ увидѣлъ ее сидящую въ саду, въ десяти саженяхъ отъ дома.

— Ахъ!—сказалъ онъ:—ты тутъ, а я ищу тебя по всѣмъ угламъ...

— А я васъ жду здѣсь...—отвѣчала она.

На него вдругъ будто среди зимы пахнуло южнымъ вѣтромъ.

— Ты ждешь меня!—произнесъ онъ не своимъ голосомъ, глядя на нее съ изумленіемъ и страстными до воспаленія глазами.—Можетъ ли это быть?

— Отчего же нѣтъ? вѣдь вы искали меня...

— Да, я хотѣлъ объясниться съ тобой.

— И я съ вами.

— Что же ты хотѣла сказать мнѣ?

— А вы мнѣ что?

— Сначала скажи ты, а потомъ я..

— Нѣтъ, вы скажите, а потомъ я...

— Хорошо, — сказалъ онъ, подумавши, и сѣлъ около нея:—я хотѣлъ спросить тебя, зачѣмъ ты бѣгаешь отъ меня?

— А я хотѣла спросить, зачѣмъ вы меня преслѣдуете?

Райскій упалъ съ облаковъ.

— И только?—сказалъ онъ.

— Пока только: посмотрю, что вы скажете?

— Но я не преслѣдую тебя: скорѣе удаляюсь, даже мало говорю...

— Есть разные способы преслѣдовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня...

— Помилуй, я почти не говорю съ тобой...

— Правда, вы рѣдко говорите со мной, не глядите прямо, а бросаете на меня исподлобья злые взгляды — это тоже своего рода преслѣдованіе. Но если бъ только это и было...

— А что же еще?

— А еще—вы слѣдите за мной исподтишка: вы раньше всѣхъ встаете и ждете моего пробужденія, когда я отдерну у себя занавѣску, открою окно. Потомъ, только лишь я перехожу къ бабушкѣ, вы избираете другой пунктъ наблюденія и слѣдите, куда я пойду, какую дорожку выберу въ саду, гдѣ сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу... Потомъ встрѣчаетесь со мною...

— Очень рѣдко,—сказалъ онъ.

— Правда, въ недѣлю раза два-три: это не часто и не могло бы надоѣсть: напротивъ, если бъ дѣлалось безъ намѣренія, а такъ само собой. Но это все дѣлается съ умысломъ: въ каждомъ вашемъ взглядѣ и шагѣ я вижу одно — неотступное желаніе не давать мнѣ покоя, посягать на каждый мой взглядъ, слово, даже на мои мысли... По какому праву, позвольте васъ спросить?

Онъ изумился смѣлости, независимости мысли, желанія, и этой свободѣ рѣчи. Передъ нимъ была не дѣвочка, прячущаяся отъ него отъ робости, какъ казалось ему, отъ страха за свое самолюбіе при неравной встрѣчѣ умовъ, понятій, образованій. Это новое лицо, новая Вѣра!

— А если тебѣ такъ кажется...—нерѣшительно замѣтилъ онъ, еще не придя въ себя отъ удивленія.

— Не лгите!—перебила она.—Если вамъ удается замѣчать каждый мой шагъ и движеніе, то и мнѣ позвольте чув-

ствовать неловкость такого наблюденія: скажу вамъ откровенно — это тяготитъ меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава Богу, не въ плѣну у турецкаго паши...

— Чего же ты хочешь: что̀ надо мнѣ сдѣлать?..

— Вотъ объ этомъ я и хотѣла поговорить съ вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите отъ меня?

— Нѣтъ, ты скажи, — настаивалъ онъ, все еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блескъ на всю ея и безъ того сіяющую красоту.

Онъ чувствовалъ уже, что наслажденіе этой красотой переходитъ у него въ страданіе.

— Чего я хочу?—повторила она:—свободы!

Съ новымъ изумленіемъ взглянулъ онъ на нее.

— Свободы! — повторилъ онъ: — я первый партизанъ и рыцарь ея—и потому...

— И потому не даете свободно дышать бѣдной дѣвушкѣ...

— Ахъ, Вѣра, зачѣмъ такъ дурно заключать обо мнѣ? Между нами недоразумѣніе: мы не поняли другъ друга—объяснимся—и, можетъ-быть, мы будемъ друзьями.

Она вдругъ взглянула на него испытующимъ взглядомъ.

— Можетъ ли это быть?—сказала она:—я бы рада была ошибиться.

— Вотъ моя рука, что это такъ: буду другомъ, братомъ—чѣмъ хочешь, требуй жертвъ.

— Жертвъ не надо,—сказала она:—вы не отвѣчали на мой вопросъ: чего вы хотите отъ меня?

— Какъ «чего хочу»: я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Зачѣмъ преслѣдуете меня, смотрите такими страшными глазами? Что̀ вамъ нужно?

— Мнѣ ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, какъ не жадными, влюбленными, можетъ мужчина смотрѣть на твою поразительную красоту...

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала съ мѣста.

— Какъ вы смѣете говорить это? — сказала она, глядя на него съ ногъ до головы.

И онъ глядѣлъ на нее съ изумленіемъ, большими глазами.

— Что ты, Богъ съ тобой, Вѣра: что я сказалъ?

— Вы, гордый, развитой умъ, «рыцарь свободы», не стыдитесь признаться...

— Что красота вызываетъ поклоненіе и что я поклоняюсь тебѣ: какое преступленіе!

— Вы даже не понимаете, я вижу, какъ это оскорбительно! Осмѣлились бы вы глядѣть на меня этими «жадными» глазами, если бъ около меня былъ зоркій мужъ, заботливый отецъ, строгій братъ? Нѣтъ, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по цѣлымъ днямъ безъ причины, не подсматривали бы, какъ шпіонъ, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чѣмъ я подала вамъ поводъ смотрѣть на меня иначе, нежели какъ бы смотрѣли вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?

— Красота возбуждаетъ удивленіе: это ея право...

— Красота, — перебила она: — имѣетъ также право на уваженіе и свободу...

— Опять свобода!

— Да, и опять, и опять! «Красота, красота!» Далась вамъ моя красота! Ну, хорошо, красота: такъ что же? Развѣ это яблоки, которыя висятъ черезъ заборъ и которыя можетъ рвать каждый прохожій?

— Каково!—съ изумленіемъ, совсѣмъ растерянный говорилъ Райскій.—Чего же ты хочешь отъ меня?

— Ничего: я жила здѣсь безъ васъ, уѣдете — и я буду опять также жить...

— Ты велишь мнѣ уѣхать: изволь—я готовъ..

— Вы у себя дома: я умѣю уважать «ваши права» и не могу требовать этого...

— Ну, чего ты хочешь — я все сдѣлаю, скажи, не сердись! — просилъ онъ, взявъ ее за обѣ руки. — Я виноватъ передъ тобой: я артистъ, у меня впечатлительная натура, и я, можетъ-быть, слишкомъ живо поддался впечатлѣнію, выразилъ свое участіе — конечно, потому, что я не совсѣмъ тебѣ чужой. Будь я посторонній тебѣ, разумѣется, я бы воздержался. Я бросился немного слѣпо, обжегся—ну, и не бѣда! Ты мнѣ дала хорошій урокъ. Помиримся же: скажи мнѣ свои желанія, я исполню ихъ свято... и будемъ друзьями! Право, я не заслуживаю этихъ упрековъ, всей этой грозы... Можетъ-быть, ты и не совсѣмъ поняла меня...

Она подала ему руку.

— И я вышла изъ себя попустому. Я вижу, что вы очень умны, во-первыхъ, — сказала она: — во-вторыхъ, кажется, добры и справедливы: это доказываетъ теперешнее ваше сознаніе... Посмотримъ — будете ли вы великодушны со мной...

— Буду, буду, твори свою волю надо мной и увидишь...— опять съ увлеченіемъ заговорилъ онъ.

Она тихо отняла руку, которую-было положила на его руку.

— Нѣтъ,—сказала она полусерьезно:—по этому восторженному языку я вижу, что мы отъ дружбы далеко.

— Ахъ, эти женщины съ своей дружбой! — съ досадой отозвался Райскій: — точно куличъ въ именины подносятъ!

— Вотъ и эта досада не обѣщаетъ хорошаго!

Она-было встала.

— Нѣтъ, нѣтъ, не уходи: мнѣ такъ хорошо съ тобой!— говорилъ онъ, удерживая ее: — мы еще не объяснились. Скажи, что тебѣ не нравится, что нравится—я все сдѣлаю, чтобъ заслужить твою дружбу...

— Я вамъ въ самомъ началѣ сказала, какъ заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить въ покоѣ, даже не замѣчать меня — и я тогда сама приду въ вашу комнату, назначимъ часы проводить вмѣстѣ, читать, гулять... Однако вы ничего не сдѣлали...

— Ты требуешь, Вѣра, чтобъ я былъ къ тебѣ совершенно равнодушенъ?

— Да.

— Не замѣчалъ твоей красоты, смотрѣлъ бы на тебя, какъ на бабушку...

— Да.

— А ты по какому праву требуешь этого?

— По праву свободы!

— Но если бъ я поклонялся молча, издали, ты бы не замѣчала и не знала этого... ты запретить этого не можешь. Что тебѣ за дѣло?

— Стыдитесь, cousin! Времена Вертеровъ и Шарлоттъ прошли. Развѣ это возможно? Притомъ я замѣчу страстные взгляды, любовное шпіонство — мнѣ опять надоѣстъ, будетъ противно...

— Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть можетъ растопить ледъ, и со временемъ взаимность прокрадется въ сердце...

Онъ произносилъ эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней какой-нибудь знакъ отдаленной надежды, хоть неизвѣстности, чего-нибудь...

— Это правда,—сказала она:—я ненавижу кокетство и не понимаю, какъ не скучно привлекать эти поклоненія, когда не намѣрена и не можешь отвѣчать на вызванное чувство?..

— А ты... не можешь?

— Не могу.

— Почему ты знаешь: можетъ-быть, придетъ время...

— Не ждите, cousin, не придетъ.

«Что это онѣ — какъ будто сговорились съ Бѣловодовой: паладили одно и то же!» подумалъ онъ.

— Ты не свободна, любишь?—съ испугомъ спросилъ онъ.

Она нахмурилась и стала упорно смотрѣть на Волгу.

— Ну, если бъ и любила: что же, грѣхъ, нельзя, стыдно... вы не позволите, братецъ?—съ насмѣшкой сказала она.

— Я!

— «Рыцарь свободы!» — еще насмѣшливѣе повторила она.

— Не смѣйся, Вѣра: да, я ея достойный рыцарь! Не позволить любить: я тебѣ именно и несу проповѣдь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячься: не бойся ни бабушки, никого! Старый міръ разлагается, зазеленѣли новые всходы жизни — жизнь зоветъ къ себѣ, открываетъ всѣмъ свои объятія. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвѣялъ духъ свободы, у тебя ужъ явилось сознаніе своихъ правъ, здравыя идеи. Если заря свободы восходитъ для всѣхъ: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смѣло... Страсть— это счастье. Дай хоть позавидовать тебѣ!

— Зачѣмъ я буду разсказывать, люблю я, или нѣтъ? До этого никому нѣтъ дѣла. Я знаю, что я свободна, и никто не въ правѣ требовать отчета отъ меня...

— А бабушка? Ты ея не боишься? Вонъ, Марѳинька...

— Я никого не боюсь,—сказала она тихо:—и бабушка знаетъ это и уважаетъ мою свободу. Послѣдуйте и вы ея примѣру... Вотъ мое желаніе! Только это я и хотѣла сказать.

Она встала со скамьи.

— Да, Вѣра, теперь я нѣсколько вижу и понимаю тебя и обѣщаю: вотъ моя рука,—сказалъ онъ:—что отнынѣ ты не услышишь и не замѣтишь меня въ домѣ: буду «умникъ»,— прибавилъ онъ: — буду «справедливъ», буду «уважать твою свободу», и какъ рыцарь буду «великодушенъ», буду просто— великъ! Я—grand cœur!

Оба засмѣялись.

— Ну, слава Богу, — сказала она, подавая ему руку, которую онъ жадно прижалъ къ губамъ.

Она взяла руку назадъ.

— Посмотримъ, — прибавила она. — А впрочемъ, если нѣтъ... Ну, да ничего, посмотримъ...

— Нѣтъ, доскажи ужъ что̀ начала, не то я стану ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной здѣсь, то какъ я ни люблю этотъ уголокъ (она съ любовью бросила взглядъ вокругъ себя), но тогда... уѣду отсюда!—рѣшительно заключила она.

— Куда?—спросилъ онъ, испугавшись.

— Божій міръ великъ. До свиданія, cousin.

Она пошла. Онъ глядѣлъ ей вслѣдъ; она неслышными шагами неслась по травѣ, почти не касаясь ея, только линія плечъ и стана, съ каждымъ шагомъ ея, дѣлала волнующееся движеніе; локти плотно прижаты къ таліи, голова мелькала между цвѣтовъ, кустовъ, наконецъ явленіе мелькнуло еще за рѣшеткою сада и исчезло въ дверяхъ стараго дома.

«Прошу покорно!» съ изумленіемъ говорилъ про себя Райскій, провожая ее глазами: «а я собирался развивать ее, тревожить ея умъ и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой невѣдомой ей жизни... А она ужъ эмансипирована! Да кто же это?...»

— Каково отдѣлала! А вотъ я бабушкѣ скажу! — закричалъ онъ, грозя ей вслѣдъ, потомъ самъ засмѣялся и пошелъ къ себѣ.

XXII.

На другой день Райскій чувствовалъ себя веселымъ и свободнымъ отъ всякой злобы, отъ всякихъ претензій на взаимность Вѣры, даже не нашелъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ зародыша любви.

«Что это онѣ — какъ будто сговорились съ Бѣловодовой: наладили одно и то же!» подумалъ онъ.

— Ты не свободна, любишь?—съ испугомъ спросилъ онъ.

Она нахмурилась и стала упорно смотрѣть на Волгу.

— Ну, если бъ и любила: что же, грѣхъ, нельзя, стыдно... вы не позволите, братецъ?—съ насмѣшкой сказала она.

— Я!

— «Рыцарь свободы!» — еще насмѣшливѣе повторила она.

— Не смѣйся, Вѣра: да, я ея достойный рыцарь! Не позволить любить: я тебѣ именно и несу проповѣдь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячься: не бойся ни бабушки, никого! Старый міръ разлагается, зазеленѣли новые всходы жизни — жизнь зоветъ къ себѣ, открываетъ всѣмъ свои объятія. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвѣялъ духъ свободы, у тебя ужъ явилось сознаніе своихъ правъ, здравыя идеи. Если заря свободы восходитъ для всѣхъ: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смѣло... Страсть— это счастье. Дай хоть позавидовать тебѣ!

— Зачѣмъ я буду разсказывать, люблю я, или нѣтъ? До этого никому нѣтъ дѣла. Я знаю, что я свободна, и никто не въ правѣ требовать отчета отъ меня...

— А бабушка? Ты ея не боишься? Вонъ, Марѳинька...

— Я никого не боюсь,—сказала она тихо:—и бабушка знаетъ это и уважаетъ мою свободу. Послѣдуйте и вы ея примѣру... Вотъ мое желаніе! Только это я и хотѣла сказать.

Она встала со скамьи.

— Да, Вѣра, теперь я нѣсколько вижу и понимаю тебя и обѣщаю: вотъ моя рука,—сказалъ онъ:—что отнынѣ ты не услышишь и не замѣтишь меня въ домѣ: буду «умникъ»,— прибавилъ онъ: — буду «справедливъ», буду «уважать твою свободу», и какъ рыцарь буду «великодушенъ», буду просто— великъ! Я—grand cœur!

Оба засмѣялись.

— Ну, слава Богу, — сказала она, подавая ему руку, которую онъ жадно прижалъ къ губамъ.

Она взяла руку назадъ.

— Посмотримъ, — прибавила она. — А впрочемъ, если нѣтъ... Ну, да ничего, посмотримъ...

— Нѣтъ, доскажи ужъ что̀ начала, не то я стану ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной здѣсь, то какъ я ни люблю этотъ уголокъ (она съ любовью бросила взглядъ вокругъ себя), но тогда... уѣду отсюда!—рѣшительно заключила она.

— Куда?—спросилъ онъ, испугавшись.

— Божій міръ великъ. До свиданія, cousin.

Она пошла. Онъ глядѣлъ ей вслѣдъ; она неслышными шагами неслась по травѣ, почти не касаясь ея, только линія плечъ и стана, съ каждымъ шагомъ ея, дѣлала волнующееся движеніе; локти плотно прижаты къ таліи, голова мелькала между цвѣтовъ, кустовъ, наконецъ явленіе мелькнуло еще за рѣшеткою сада и исчезло въ дверяхъ стараго дома.

«Прошу покорно!» съ изумленіемъ говорилъ про себя Райскій, провожая ее глазами: «а я собирался развивать ее, тревожить ея умъ и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой невѣдомой ей жизни... А она ужъ эмансипирована! Да кто же это?...»

— Каково отдѣлала! А вотъ я бабушкѣ скажу! — закричалъ онъ, грозя ей вслѣдъ, потомъ самъ засмѣялся и пошелъ къ себѣ.

XXII

На другой день Райскій чувствовалъ себя веселымъ и свободнымъ отъ всякой злобы, отъ всякихъ претензій на взаимность Вѣры, даже не нашелъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ зародыша любви.

«Такъ, впечатлѣніе: какъ всегда у меня! Вотъ теперь и прошло!» думалъ онъ.

Онъ смѣялся надъ своимъ увлеченіемъ, грозившимъ ему, повидимому, серьёзной страстью, упрекалъ себя въ настойчивомъ преслѣдованіи Вѣры и стыдился, что даже посторонній свидѣтель, Маркъ, замѣтилъ облака на его лицѣ, нервную раздражительность въ словахъ и движеніяхъ, до того очевидную, что могъ предсказать ему страсть.

«Ошибется же онъ, когда увидитъ меня теперь», думалъ онъ: «вотъ будетъ хорошо, если онъ заранѣе разсчитаетъ на триста рублей этого глупѣйшаго пари и сдѣлаетъ издержку!»

Ему страхъ какъ захотѣлось увидѣть Вѣру опять наединѣ, единственно за тѣмъ, чтобъ только «великодушно» сознаться, какъ онъ былъ глупъ, невѣренъ своимъ принципамъ, чтобъ изгладить первое, невыгодное впечатлѣніе и занять по праву мѣсто друга—покорить ея гордый умишко, выиграть довѣріе.

Но при этомъ все ему хотѣлось вдругъ принести ей множество какихъ-нибудь неудобоисполнимыхъ жертвъ, сдѣлаться ей необходимымъ, стать исповѣдникомъ ея мыслей, желаній, совѣсти, показать ей всю свою силу, душу, умъ.

Онъ забылъ только, что вся ея просьба къ нему была—ничего этого не дѣлать, не показывать, и что ей ничего отъ него не нужно. А ему все казалось, что если бъ она узнала его, то сама избрала бы его въ руководители, не только ума и совѣсти, но даже сердца.

На другой, на третій день, его — хотя и не раздражительно, какъ недавно еще, но все-таки занимала новая, неожиданная, поразительная Вѣра, его дальняя сестра и будущій другъ.

На него пахнуло и новое, свѣжее, почти никогда неиспытанное имъ, какъ казалось ему, чувство — дружбы къ

женщинѣ: онъ вкусилъ этого, по его выраженію, «именинаго кулича», помимо ея красоты, помимо всякихъ чувственныхъ движеній грубой натуры и всякаго любовнаго сентиментализма.

Это бодрое, трезвое и умное чувство: въ такомъ взаимномъ сближеніи — ни онъ, ни она, ничего не теряютъ и оба выигрываютъ, изучая, дополняя другъ друга, любя тонкою, умною, полною взаимнаго уваженія и довѣрія привязанностію.

«Вотъ и прекрасно», думалъ онъ: «умница она, что пересадила мое впечатлѣніе на прочную почву. Только за этимъ, чтобъ сказать это ей все, успокоить ее — и хотѣлъ бы я ее видѣть теперь!»

Но онъ не смѣлъ сдѣлать ни шагу, даже добросовѣстно отворачивался отъ ея окна, прятался въ простѣнокъ, когда она проходила мимо его оконъ; молча, съ дружеской улыбкой пожалъ ей, одинаково, какъ и Марѳинькѣ, руку, когда онѣ обѣ пришли къ чаю, не пошевельнулся и не повернулъ головы, когда Вѣра взяла зонтикъ и скрылась тотчасъ послѣ чаю въ садъ, и цѣлый день не зналъ, гдѣ она и что дѣлаетъ.

Но все еще онъ не завоевалъ себѣ того спокойствія, какое налагала на него Вѣра: ему бы надо уйти на цѣлый день, поѣхать съ визитами, уѣхать гостить на недѣлю за Волгу, на охоту, и забыть о ней. А ему не хочется никуда: онъ цѣлый день сидитъ у себя, чтобъ не встрѣтить ее, но ему пріятно знать, что она тутъ же въ домѣ. А надо добиться, чтобъ ему это было все равно.

Но и то хорошо, и то уже побѣда, что онъ чувствовалъ себя покойнѣе. Онъ уже на пути къ новому чувству, хотя новая Вѣра не выходила у него изъ головы, но это новое чувство тихо и нѣжно волновало и покоило его, не терзая, какъ страсть, дурными мыслями и чувствами.

Когда она обращала къ нему простой вопросъ, онъ, едва

взглянувъ на нее, дружески отвѣчалъ ей и затѣмъ продолжалъ свой разговоръ съ Марѳинькой, съ бабушкой, или молчалъ, рисовалъ, писалъ замѣтки въ романъ.

«Да вѣдь это лучше всякой страсти!» приходило ему въ голову: «это довѣріе, эти тихія отношенія, это заглядыванье; не въ глаза красавицы, а въ глубину умной, нравственной дѣвической души!»

Онъ ждалъ только одного отъ нея: когда она сбросить свою сдержанность, откроется передъ нимъ довѣрчиво вся, какъ она есть, и также забудетъ, что онъ тутъ, что онъ мѣшалъ ей еще недавно жить, былъ бѣльмомъ на глазу.

Райскій дня три нянчился съ этимъ «новымъ чувствомъ», и бабушка не нарадовалась, глядя на него.

— Ну, просвѣтлѣло ясное солнышко! — сказала она: — можно и съ визитами съѣздить въ городъ.

— Богъ съ вами, бабушка: мнѣ не до того! — ласково говорилъ онъ.

— Ну, поѣдемъ посмотрѣть, какъ яровое выходитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — твердилъ онъ и даже поцѣловалъ у ней руку.

— Ты что-то ластишься ко мнѣ: не къ деньгамъ ли подбираешься, чтобъ Маркушкѣ дать? Не дамъ!

Онъ засмѣялся и ушелъ отъ нея — думать о Вѣрѣ, съ которой онъ все еще не нашелъ случая объясниться «о новомъ чувствѣ» и о томъ, сколько оно счастья и радости приноситъ ему.

Случай представлялся ему много разъ, когда она была одна: но онъ боялся шевельнуться, почти не дышалъ, когда завидитъ ее, чтобъ не испугать ея рождающагося довѣрія къ искренности его перемѣны и не испортить себѣ этотъ новый рай.

Наконецъ, на четвертый или пятый день послѣ разговора съ ней, онъ всталъ часовъ въ пять утра. Солнце еще было на дальнемъ горизонтѣ, изъ сада несло здоровою свѣ-

жестью, цвѣты разливали сильный запахъ, роза блистала на травѣ.

Онъ наскоро одѣлся и пошелъ въ садъ, прошелъ двѣ-три аллеи и — вдругъ наткнулся на Вѣру. Онъ задрожалъ отъ нечаянности и испуга.

— Не нарочно, ей-Богу, не нарочно!—закричалъ онъ въ страхѣ, и оба засмѣялись.

Она сорвала цвѣтокъ и бросила въ него, потомъ ласково подала ему руку и поцѣловала его въ голову, въ отвѣтъ на его поцѣлуй руки.

— Не нарочно, Вѣра,—твердилъ онъ:—ты видишь, да?

— Вижу,—отвѣчала она и опять засмѣялась, вспомнивъ его испугъ.—Вы милый, добрый...

— Великодушный...—подсказалъ онъ.

— До великодушія еще не дошло, посмотримъ,—сказала она, взявъ его подъ руку. — Пойдемте гулять: какое утро! Сегодня будетъ очень жарко.

Онъ былъ на седьмомъ небѣ.

— Да, да, славное утро! — подтвердилъ онъ, думая, что сказать еще, но такъ, чтобъ какъ-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ея красотѣ — и не находилъ ничего, а его такъ и подмывало опять заиграть на любимой струнѣ.

— Я вчера письмо получилъ изъ Петербурга...—сказалъ онъ, не зная что сказать.

— Отъ кого?—спросила она машинально.

— Отъ художниковъ; а вотъ отъ Аянова все нѣтъ: не отвѣчаетъ. Не знаю, что кузина Бѣловодова: гдѣ проводитъ лѣто, какъ...

— Она... очень хороша?—спросила Вѣра.

— Да... правильныя черты лица, свѣжесть, много блеску...— говорилъ онъ монотонно, и, взглянувъ сбоку на Вѣру, страстно вздрогнулъ.

Красота Бѣловодовой погасла въ его памяти.

— Еще не получили ли чего-нибудь: кажется, Савелій посылку съ почты привезъ?—спросила она.

— Да, новыя книги получилъ изъ Петербурга... Маколея, томъ Mémoires Гизо...

Она молча слушала.

— Не хочешь ли почитать?

— Послѣ пришлите Маколея.

«Пришлите», подумалъ онъ: «отчего—не «принесите»?

Они шли молча.

— А Гизо?—спросилъ онъ.

— Гизо не надо, скучно.

— Ты почемъ знаешь?

— Я читала его «Исторію цивилизаціи»...

— И тебѣ показалось скучно! Гдѣ ты брала?

Они шли дальше.

— Чье это на васъ пальто: это не ваше?—вдругъ спросила она съ удивленіемъ, вглядываясь въ пальто.

— Ахъ, это Марка...

— Зачѣмъ оно у васъ, развѣ онъ здѣсь? — спрашивала она въ тревогѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — смѣясь отвѣчалъ онъ: — чего ты испугалась? Весь домъ боится его, какъ огня.

Онъ разсказалъ ей, какъ досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потомъ они молча обошли главныя дорожки сада: она—глядя въ землю, онъ—по сторонамъ. Но у него, противъ воли, обнаруживалось нетерпѣніе. Ему все хотѣлось высказаться.

— Мнѣ кажется, у васъ есть что-то на умѣ, — сказала она:—да вы не хотите сказать...

— Хотѣть-то я хочу, да боюсь опять грозы.

— А развѣ опять о «красотѣ» что-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ, напротивъ, я хотѣлъ сказать, какъ меня мучаетъ эта глупая претензія на поклоненіе — стыдъ: у меня сѣдые волосы!

— Какъ я рада, если бъ это была правда!

— А ты еще сомнѣваешься! Это вспышка, мгновенное впечатлѣніе: ты меня образумила. Какая, однако, ты... Но объ этомъ послѣ. Я хочу сказать, что̀ именно я чувствую къ тебѣ, и кажется на этотъ разъ не ошибаюсь. Ты мнѣ отворила какую-то особую дверь въ свое сердце—и я вижу бездную счастья въ твоей дружбѣ. Она можетъ окрасить всю мою безцвѣтную жизнь въ такіе кроткіе и нѣжные тоны... Я даже, кажется, увѣрую въ то, чего не бываетъ и во что̀ всѣ перестали вѣрить — въ дружбу между мужчиной и женщиной. Ты вѣришь, что такая дружба возможна, Вѣра?

— Почему — нѣтъ, если бъ такіе два друга рѣшились быть взаимно справедливы?...

— То-есть, какъ?

— То-есть, уважать свободу другъ друга, не стѣснять взаимно одинъ другого: только это рѣдко, я думаю, можно исполнить. Съ чьей-нибудь стороны замѣшается корысть... кто-нибудь да покажетъ когти... А вы сами способны ли на такую дружбу?

— А вотъ увидишь: ты повелѣвай и посмотри, какого раба пріобрѣтешь въ своемъ другѣ...

— Вотъ и нѣтъ справедливости: ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любитъ равенство.

— Браво, Вѣра! Откуда у тебя эта мудрость?

— Какое смѣшное слово!

— Ну, такъ?

— Духъ Божій вѣетъ не на однихъ финскихъ болотахъ: повѣялъ и на нашъ уголокъ.

— Ну, такъ мнѣ теперь предстоитъ задача — не замѣчать твоей красоты, а напирать больше на дружбу?—смѣясь, сказалъ онъ:—такъ и быть, постараюсь...

— Да, какое бы это было счастье, — заговорила она вкрадчиво: — жить, не стѣсняя воли другого, не слѣдя за

другимъ, не допытываясь, что у него на сердцѣ, отчего онъ веселъ, отчего печаленъ, задумчивъ? быть съ нимъ всегда одинаково, дорожить его покоемъ, даже уважать его тайны...

«Она диктуетъ мнѣ программу, какъ вести себя съ ней!» подумалъ онъ.

— То-есть, не видать другъ друга, не знать, не слыхать о существованіи...—сказалъ онъ:—это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нѣтъ, Вѣра—это ты выдумала!

Онъ взглянулъ на нее, она отвѣчала ему страннымъ взглядомъ, «русалочнымъ», по его выраженію: глаза будто стеклянные, ничего не выражающіе. Въ нихъ блеснулъ какой-то торопливый свѣтъ и исчезъ.

«Странно, какъ мнѣ знакомъ этотъ прозрачный взглядъ!» думалъ онъ: «таковъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, когда онѣ обманываютъ! Она меня усыпляетъ... Что бы это значило? Ужъ въ самомъ дѣлѣ не любитъ ли она? У ней только и рѣчи, чтобъ «не стѣснять воли». Да нѣтъ... кого здѣсь?..»

— О чемъ вы задумались?—спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вѣра, буду работать надъ собой, и если мнѣ не удастся достигнуть того, чтобъ не замѣчать тебя, забыть, что ты живешь въ домѣ, такъ я буду притворяться...

— Зачѣмъ притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словахъ со мной, а въ душѣ передъ самимъ собой, отъ меня.

— Безжалостная!

— Убѣдите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя... «красота» и любовь... если она есть или будетъ... — это все мое, и что посягнуть на то, или на другое—значитъ...

Она остановилась.

— Что?

— Посягнуть на чужую собственность или личность...

— О-о-о! вотъ какъ: т. е. украсть или прибить. Ай да, Вѣра! Да откуда у тебя такія ультра-юридическія понятія? Ну, а на дружбу такого строгаго клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мнѣ недѣли двѣ срока, это будетъ опытъ: если я одолѣю его, я приду къ тебѣ, какъ братъ, другъ, и будемъ жить по твоей программѣ. Если же... ну, если это любовь— я тогда уѣду!

Что-то опять блеснуло въ ея глазахъ. Онъ взглянулъ, но поздно: она опустила взглядъ, и когда подняла, въ немъ ничего не было.

— Экая сверкающая ночь!—шепнулъ онъ.

— Аминь! — сказала она, подавая ему руку. — Пойдемте къ бабушкѣ, пить чай. Вотъ она открыла окно, сейчасъ позоветъ...

— Одно слово, Вѣра: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудреная, сосредоточенная, рѣшительная...

— Еще, еще прибавьте! — сказала она съ дрожащимъ отъ улыбки подбородкомъ.—Что значитъ мудрость?

— Мудрость... это совокупность истинъ, добытыхъ умомъ, наблюденіемъ и опытомъ, и приложимыхъ къ жизни...— опредѣлилъ Райскій:—это гармонія, идея съ жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого,—сказала она задумчиво: — и добыть этихъ идей и истинъ мнѣ неоткуда...

— Ну, такъ у тебя зоркій отъ природы глазъ и мыслящій умъ...

— Что жъ, это позволительно имѣть, или, можетъ-быть, стыдно дѣвицѣ, неприлично?..

— Откуда эти здравыя идеи, этотъ выработанный языкъ?— говорилъ, слушая ее, Райскій.

другимъ, не допытываясь, что у него на сердцѣ, отчего онъ веселъ, отчего печаленъ, задумчивъ? быть съ нимъ всегда одинаково, дорожить его покоемъ, даже уважать его тайны...

«Она диктуетъ мнѣ программу, какъ вести себя съ ней!» подумалъ онъ.

— То-есть, не видать другъ друга, не знать, не слыхать о существованіи...—сказалъ онъ:—это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нѣтъ, Вѣра—это ты выдумала!

Онъ взглянулъ на нее, она отвѣчала ему страннымъ взглядомъ, «русалочнымъ», по его выраженію: глаза будто стеклянные, ничего не выражающіе. Въ нихъ блеснулъ какой-то торопливый свѣтъ и исчезъ.

«Странно, какъ мнѣ знакомъ этотъ прозрачный взглядъ!» думалъ онъ: «таковъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, когда онѣ обманываютъ! Она меня усыпляетъ... Что бы это значило? Ужъ въ самомъ дѣлѣ не любитъ ли она? У ней только и рѣчи, чтобъ «не стѣснять воли». Да нѣтъ... кого здѣсь?..»

— О чемъ вы задумались?—спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вѣра, буду работать надъ собой, и если мнѣ не удастся достигнуть того, чтобъ не замѣчать тебя, забыть, что ты живешь въ домѣ, такъ я буду притворяться...

— Зачѣмъ притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словахъ со мной, а въ душѣ передъ самимъ собой, отъ меня.

— Безжалостная!

— Убѣдите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя... «красота» и любовь... если она есть или будетъ... — это все мое, и что посягнуть на то, или на другое—значитъ...

Она остановилась.

— Что?

— Посягнуть на чужую собственность или личность...

— О-о-о! вотъ какъ: т. е. украсть или прибить. Ай да, Вѣра! Да откуда у тебя такія ультра-юридическія понятія? Ну, а на дружбу такого строгаго клейма ты не положишь? Я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мнѣ недѣли двѣ срока, это будетъ опытъ: если я одолѣю его, я приду къ тебѣ, какъ братъ, другъ, и будемъ жить по твоей программѣ. Если же... ну, если это любовь— я тогда уѣду!

Что-то опять блеснуло въ ея глазахъ. Онъ взглянулъ, но поздно: она опустила взглядъ, и когда подняла, въ немъ ничего не было.

— Экая сверкающая ночь!—шепнулъ онъ.

— Аминь! — сказала она, подавая ему руку. — Пойдемте къ бабушкѣ, пить чай. Вотъ она открыла окно, сейчасъ позоветъ...

— Одно слово, Вѣра: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудреная, сосредоточенная, рѣшительная...

— Еще, еще прибавьте! — сказала она съ дрожащимъ отъ улыбки подбородкомъ.—Что значитъ мудрость?

— Мудрость... это совокупность истинъ, добытыхъ умомъ, наблюденіемъ и опытомъ, и приложимыхъ къ жизни...— опредѣлилъ Райскій:—это гармонія, идея съ жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого,—сказала она задумчиво: — и добыть этихъ идей и истинъ мнѣ неоткуда...

— Ну, такъ у тебя зоркій отъ природы глазъ и мыслящій умъ...

— Что жъ, это позволительно имѣть, или, можетъ-быть, стыдно дѣвицѣ, неприлично?..

— Откуда эти здравыя идеи, этотъ выработанный языкъ?— говорилъ, слушая ее, Райскій.

— Вы дивитесь, что на вашу бѣдную сестру брызнула капля деревенской мудрости! Вамъ бы хотѣлось видѣть дурочку на моемъ мѣстѣ—да? Вамъ досадно?..

— Ахъ, нѣтъ — я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заикаться о красотѣ, но хочешь знать, какъ я разумѣю и отчего такъ высоко ставлю ее? Красота — и цѣль, и двигатель искусства, а я художникъ: дай же высказать разъ навсегда...

— Говорите,—сказала она.

— Въ женской высокой, чистой красотѣ, — началъ онъ съ жаромъ, обрадовавшись, что она развязала ему языкъ:— есть непремѣнно умъ, въ твоей напримѣръ. Глупая красота—не красота. Вглядись въ тупую красавицу, всмотрись глубоко въ каждую черту лица, въ улыбку ея, взглядъ— красота ея мало-по-малу превратится въ поразительное безобразіе. Воображеніе можетъ на минуту увлечься, но умъ и чувство не удовлетворятся такой красотой: ея мѣсто въ гаремѣ. Красота, исполненная ума — необычайная сила, она движетъ міромъ, она дѣлаетъ исторію, строитъ судьбы; она, явно или тайно, присутствуетъ въ каждомъ событіи. Красота и грація—это своего рода воплощеніе ума. Отъ этого дура никогда не можетъ быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блеститъ красотой. Красота, про которую я говорю, не матерія: она не палитъ только зноемъ страстныхъ желаній: она прежде всего будитъ въ человѣкѣ человѣка, шевелитъ мысль, поднимаетъ духъ, оплодотворяетъ творческую силу генія, если сама стоитъ на высотѣ своего достоинства, не тратитъ лучи свои на мелочь, не грязнитъ чистоту...

Онъ остановился задумчиво.

— Все это не ново: но истина должна повторяться. Да, красота—это всеобщее счастье! — тихо, какъ въ бреду, говорилъ онъ: — это тоже мудрость, но созданная не людьми. Люди только ловятъ ея признаки, силятся творить въ

искусствѣ ея образы, и всѣ стремятся, одни сознательно, другіе слѣпо и грубо, къ красотѣ, къ красотѣ... къ красотѣ! Она и здѣсь — и тамъ! — прибавилъ онъ, глядя на небо: — и какъ мужчина можетъ унизить, исказить умъ, упасть до грубости, до лжи, до растлѣнія, такъ и женщина можетъ извратить красоту и обратить ее, какъ модную тряпку, на нарядъ, и затаскать ее... Или, употребивъ мудро — быть солнцемъ той сферы, гдѣ поставлена, влить массу добра... Это женская мудрость! Ты поймешь, Вѣра, что я хочу сказать, ты женщина!.. И... ежели твоя женская рука поднимется казнить за это поклоненіе и человѣка, и артиста!..

— Вашъ гимнъ красотѣ очень краснорѣчивъ, cousin, — сказала Вѣра, выслушавъ съ улыбкой: — запишите его и отошлите Бѣловодовой. Вы говорите, что она «выше міра». Можетъ-быть, въ ея красотѣ есть мудрость. Въ моей нѣтъ. Если мудрость состоитъ, по вашимъ словамъ, въ томъ, чтобъ съ этими правилами и истинами проходить жизнь, то я...

— Что?

— Не мудрая дѣва! Нѣтъ у меня, нѣтъ этого елея! — произнесла она.

Что-то похожее на грусть блеснуло въ глазахъ, которые въ одно мгновеніе поднялись къ небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой.

— Если не мудрая, такъ мудреная! На нее откуда-то повѣяло другимъ, не здѣшнимъ духомъ!.. Да откуда же: узнаю ли я? Непроницаема, какъ ночь! Ужели ея молодая жизнь успѣла уже омрачиться?..—въ страхѣ говорилъ Райскій, провожая ее глазами.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВОСЬМОГО ТОМА:

Обрывъ. Романъ въ пяти частяхъ.

Часть первая:

		стр.
Глава	I	5
»	II	16
»	III	22
»	IV	27
»	V	44
»	VI	49
»	VII	70
»	VIII	79
»	IX	83
»	X	87
»	XI	97
»	XII	104
»	XIII	109
»	XIV	117
»	XV	132
»	XVI	149
»	XVII	155
»	XVIII	166

Часть вторая:

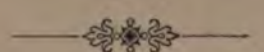
Глава	I	188
»	II	198
»	III	216
»	IV	225

стр.
Глава V 231
» VI 237
» VII 246
» VIII 256
» IX 262
» X 274
» XI 284
» XII 290
» XIII 304
» XIV 324
» XV 335
» XVI 351
» XVII 372
» XVIII 386
» XIX 398
» XX 406
» XXI 423
» XXII 435

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.



Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографіи А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ОБРЫВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть третья.

I.

Райскій считалъ себя не новѣйшимъ, т.-е. не молодымъ, но отнюдь не отсталымъ человѣкомъ. Онъ открыто заявлялъ, что, вѣря въ прогрессъ, даже досадуя на его «черепашій» шагъ, самъ онъ не спѣшилъ укладывать себя всего въ какое-нибудь, едва обозначившееся десятилѣтіе, дешево отрекаясь и отъ завѣщанныхъ исторіею, добытыхъ наукой, и еще болѣе отъ выработанныхъ собственной жизнію убѣжденій, наблюденій и опытовъ, въ виду едва занявшейся зари quasi-новыхъ идей, болѣе или менѣе блестящихъ или остроумныхъ гипотезъ, на которыя бросается жадная юность.

Онъ ссылался на свои лѣта, говоря, что для него наступила пора выжиданій и осторожности: тамъ, гдѣ не увлекала его фантазія, онъ терпѣливо шелъ за вѣкомъ.

Его занималъ общій ходъ и развитіе идей, побѣды науки, но онъ выжидалъ результатовъ, не дѣлая pas de géants, не спѣша креститься въ новую вѣру, предлагающую всевозможныя умозрѣнія и часто невозможные опыты.

Онъ привѣтствовалъ смѣлые шаги искусства, рукоплескалъ новымъ откровеніямъ и открытіямъ, видоизмѣняющимъ, но не ломающимъ жизнь, праздновалъ естественное, но не насильственное рожденіе новыхъ ея требованій, какъ

праздновалъ весну съ новой зеленью, не провожая безплодной и неблагодарной враждой отходящаго порядка и отживающихъ началъ, вѣря въ ихъ историческую неизбѣжность и неопровержимую, преемственную связь съ «новой весенней зеленью», какъ бы она нова и ярко-зелена ни была.

Отъ этого, бросая въ горячемъ спорѣ бомбу въ лагерь неуступчивой старины, въ деспотизмъ своеволія, жадность плантаторовъ, отыскивая въ людяхъ людей, исповѣдуя и проповѣдуя человѣчность, онъ добродушно и снисходительно воевалъ съ бабушкой, видя, что, подъ старыми, заученными правилами, таился здравый смыслъ и житейская мудрость и лежали сѣмена тѣхъ началъ, что безусловно присвоивала себѣ новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами въ старой.

Открытіе въ Вѣрѣ смѣлости ума, свободы духа, жажды чего-то новаго—сначала изумило, потомъ ослѣпило двойной силой красоты—внѣшней и внутренней, а наконецъ отчасти напугало его, послѣ отреченія ея отъ «мудрости».—Не мудрая дѣва!—сказала она и вздрогнула.

— Мудреная!—рѣшилъ онъ и задумался надъ этимъ.

Да, это не простодушный ребенокъ, какъ Марфинька, и не «барышня». Ей тѣсно и неловко въ этой устарѣвшей, искусственной формѣ, въ которую такъ долго отливался складъ ума, нравы, образованіе и все воспитаніе дѣвушки до замужества.

Она чувствовала условную ложь этой формы и отдѣлалась отъ нея, добиваясь правды. Въ ней много именно того, чего онъ напрасно искалъ въ Наташѣ, въ Бѣловодовой: спирта, задатковъ самобытности, своеобразія ума, характера—всѣхъ тѣхъ силъ, изъ которыхъ должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направленіе своей и чужой жизни, многимъ жизнямъ, освѣтить и согрѣть цѣлый кругъ, куда поставитъ ее судьба.

Она пока младенецъ, но съ титанической силой: надо

только, чтобъ сила эта правильно развилась и разумно направилась.

Онъ положилъ бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросилъ бы сѣмена своихъ знаній, опытовъ и наблюденій на такую благодарную и богатую почву: это не миражъ, опять это подвигъ очеловѣчиванія, долгъ, къ которому мы всѣ призваны и безъ котораго немыслимъ никакой прогрессъ.

Но какія капитальныя препятствія встрѣтились ему? Одно, — она отталкиваетъ его, прячется, уходитъ въ свои права, за свою дѣвическую стѣну, стало-быть... не хочетъ. А между тѣмъ она недовольна своимъ положеніемъ, рвется изъ него, стало-быть, нуждается въ другомъ воздухѣ, другой пищѣ, другихъ людяхъ. Кто же ей дастъ новую пищу и воздухъ? Гдѣ люди?

Онъ по родству — близкое ей лицо: онъ одинъ и случайно, и по праву, можетъ и долженъ быть для нея этимъ авторитетомъ. И бабушка писала, что назначаетъ ему эту роль.

Вѣра умна, но онъ опытнѣе ея и знаетъ жизнь. Онъ можетъ остеречь ее отъ грубыхъ ошибокъ, научить распознавать ложь и истину, онъ будетъ работать, какъ мыслитель и какъ художникъ; этой жаждѣ свободы дастъ пищу: идеи добра, правды, и какъ художникъ, вызоветъ въ ней внутреннюю красоту на свѣтъ! Онъ угадалъ бы ея судьбу, ея урокъ жизни и... и... вмѣстѣ бы исполнилъ его!

Вотъ чего ему все хочется: «вмѣстѣ»! Отъ этого желанія онъ не можетъ отдѣлаться, стало-быть, не можетъ дѣйствовать безкорыстно: и это есть второе препятствіе.

Третье препятствіе еще, правда, въ туманѣ, гадательное, но есть уже въ виду, и оно самое капитальное: это — пока подозрѣніе, что кто-нибудь уже предупредилъ его, кому-нибудь она вѣрила угадывать свою судьбу, исполнять урокъ жизни «вмѣстѣ».

— Вотъ что скверно: это хуже всего! — говорилъ онъ и рѣшалъ, что ему даже, не дожидаясь объясненія и подтвержденія догадки объ этомъ третьемъ препятствіи, о «двойникѣ», слѣдуетъ бѣжать безъ оглядки, а не набиваться ей на дружбу.

Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обманъ, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что всѣ любовныя мечты, слезы, всѣ нѣжныя чувства — суть только цвѣты, подъ которыми прячутся нимфа и сатиръ!...

Послѣдствія всего этого извѣстны, все это исчезаетъ, не оставляя по себѣ слѣда, если нимфа и сатиръ не превращаются въ людей, т.-е. въ мужа и жену, или въ друзей на всю жизнь.

— Нимфа моя не хочетъ избрать меня сатиромъ, — заключилъ онъ со вздохомъ: — слѣдовательно, нѣтъ надежды и на метаморфозу въ мужа и жену, на счастье, на долгій путь! А съ красотой ея я справлюсь: мнѣ она все равно, что ничего...

Утромъ онъ чувствовалъ себя всегда бодрѣе и мужественнѣе для всякой борьбы: утро приноситъ съ собою силу, цѣлый запасъ надеждъ, мыслей и намѣреній на весь день: человѣкъ упорнѣе налегаетъ на трудъ, мужественнѣе несетъ тяжесть жизни.

И Райскій развлекался отъ мысли о Вѣрѣ, съ утра его манили въ разныя стороны летучія мысли, свѣжесть утра, встрѣчи въ домашнемъ гнѣздѣ, новыя лица, поле, газета, новая книга, или глава изъ собственнаго романа. Вечеромъ только начинаетъ все прожитое днемъ сжиматься въ одинъ узелъ, и у кого сознательно, и у кого безсознательно, подводится итогъ «злобѣ дня».

Вотъ тутъ Райскій повѣрялъ себя, что̀ улетало изъ накопившагося въ день запаса мыслей, желаній, ощущеній, встрѣчъ и лицъ. Оказывалось, что улетало все—и съ нимъ

оставалась только Вѣра. Онъ съ досадой вертѣлся въ постели и засыпалъ—все съ одной мыслью и просыпался съ нею же.

— Нужна дѣятельность,— рѣшилъ онъ, и за неимѣніемъ «дѣла» бросался въ «миражи»: ѣздилъ съ бабушкой на сѣнокосъ, въ овсы, ходилъ по полямъ, посѣщалъ съ Марѳинькой деревню, вникалъ въ нужды мужиковъ, и развлекался также: былъ за Волгой, въ Колчинѣ, у матери Викентьева, ѣздилъ съ Маркомъ удить рыбу, оба поругались опять и надоѣли одинъ другому, ходилъ на охоту—и въ самомъ дѣлѣ развлекался.

«Вотъ и хорошо! поработаю еще надъ собой и исполню данное Вѣрѣ обѣщаніе», думалъ онъ и не видалъ ее дня по три.

Ей носили кофе въ ея комнату; онъ иногда не обѣдалъ дома, и все шло какъ нельзя лучше.

Онъ даже замѣтилъ гдѣ-то въ слободѣ хорошенькую женскую головку и мимоѣздомъ однажды поклонился ей, она засмѣялась и спряталась. Онъ узналъ, что она дочь какого-то смотрителя, онъ и не добирался—смотрителя чего, такъ какъ у насъ смотрителей множество.

Онъ замѣтилъ только, что этотъ смотритель не смотрѣлъ за своей дочерью, потому что головка, какъ онъ увидѣлъ потомъ, улыбалась и другимъ прохожимъ.

Онъ послалъ ей рукой поцѣлуй и получилъ въ отвѣтъ милый поклонъ. Раза два онъ уже подъѣзжалъ верхомъ къ ея окну и заговорилъ съ ней, доложивъ ей, какъ она хороша, какъ онъ по уши влюбленъ въ нее.

— Да вы все вре-те!— протяжно говорила она:—такъ я вамъ и повѣрила! Мужчины извѣстно—подлецы!

— Будто всѣ?

— Извѣстное дѣло — мужчины! Сколько у меня перебывало—знаю я ихъ! Не налгете! Проваливайте!

Долго развлекала его эта, опытомъ добытая, «мудрость» мѣщанки.

Чтобы уже довершить надъ собой побѣду, о которой онъ, надо правду сказать, хлопоталъ изъ всѣхъ силъ, не спрашивая себя только, что̀ кроется подъ этимъ рвеніемъ: искреннее ли намѣреніе оставить Вѣру въ покоѣ и уѣхать, или угодить ей, принести «жертву», быть «великодушнымъ»,— онъ обѣщалъ бабушкѣ поѣхать съ ней съ визитами, и даже согласился появиться среди ея городскихъ гостей, которые пріѣдутъ въ воскресенье «на пирогъ».

II.

Въ воскресенье онъ засталъ много народу въ парадной гостиной Татьяны Марковны. Все сіяло тамъ. Чехлы съ мебели, обитой малиновымъ штофомъ, были сняты: фамильнымъ портретамъ Яковъ протеръ мокрой тряпкой глаза—и они смотрѣли острѣе, нежели въ будни. Полы натерли воскомъ.

Яковъ былъ въ черномъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ, а Егорка, Петрушка и новый, только-что изъ деревни взятый въ лакеи Степка, не умѣвшій стоять прямо на ногахъ, одѣты были въ старые, не по росту каждому, ливрейные фраки, отъ которыхъ несло затхлостью кладовой. Ровно въ полдень въ залѣ и гостиной накурили шипучимъ куревомъ, съ запахомъ какого-то сладкаго соуса.

Сама Бережкова, въ шелковомъ платьѣ, въ чепцѣ на затылкѣ и въ шали, сидѣла на диванѣ. Около нея, полукружіемъ, въ креслахъ, по порядку сидѣли гости.

На первомъ мѣстѣ Нилъ Андреевичъ Тычковъ, во фракѣ, со звѣздой, важный старикъ, съ сросшимися бровями, съ большимъ расплывшимся лицомъ, съ подбородкомъ, глубоко уходившимъ въ галстукъ, съ величавой благосклонностью въ рѣчи, съ чувствомъ достоинства въ каждомъ движеніи.

Потомъ неизмѣнно скромный и вѣжливый Титъ Нико-

нычъ, тоже во фракѣ, со взглядомъ обожанія къ бабушкѣ, съ улыбкой ко всѣмъ; священникъ, въ шелковой рясѣ и съ вышитымъ широкимъ поясомъ; совѣтники палаты, гарнизонный полковникъ, толстый, коротенькій, съ налившимся кровью лицомъ и глазами, такъ что, глядя на него, дѣлалось «за человѣка страшно»; двѣ-три барыни изъ города, нѣсколько шепчущихся въ углу молодыхъ чиновниковъ и нѣсколько неподросшихъ дѣвицъ, знакомыхъ Марѳиньки, робко смотрящихъ, крѣпко жмущихъ другъ у друга красныя, вспотѣвшія отъ робости руки, и безпрестанно краснѣющихъ.

Наконецъ какой-то ближайшій къ городу помѣщикъ, съ тремя сыновьями-подростками, пріѣхавшій съ визитами въ городъ. Эти сыновья—гордость и счастье отца, напоминали собой негодовалыхъ собакъ крупной породы, у которыхъ ужъ лапы и голова выросли, а тѣло еще не сложилось, уши болтаются на лбу и хвостишко не доросъ до полу. Скачутъ они вездѣ безъ толку и сами не сладятъ съ длинными, не по росту, безобразными лапами; не узнаютъ своихъ отъ чужихъ, лаютъ на родного отца и готовы сжевать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется въ зубы.

Отецъ всѣмъ вмѣстѣ и каждому порознь изъ гостей рекомендовалъ этихъ четырнадцатилѣтнихъ чадъ, -млѣя отъ будущихъ своихъ надеждъ, разсказывалъ подробности о ихъ рожденіи и воспитаніи, какія у кого способности, про остроту, проказы, и просилъ проэкзаменовать ихъ, поговорить съ ними по-французски.

Ихъ, какъ малолѣтнихъ, усадили-было въ укромный уголокъ, и они, съ юными и глупыми физіономіями, смотрѣли полуразиня ротъ на всѣхъ, какъ молодые желтоносые воронята, которые, сидя въ гнѣздѣ, безпрестанно раскрываютъ рты, въ ожиданіи корма.

Ноги не умѣщались подъ стуломъ, а хватали на сере-

Дину комнаты, путались между собой и мѣшали ходить. Имъ велѣно быть скромными, говорить тихо, а изъ-утробы четырнадцатилѣтняго птенца, вмѣсто шопота, раздавался громовый басъ; велѣлъ отецъ сидѣть чинно, держать ручки на брюшкѣ, а на этихъ, еще тоненькихъ «ручкахъ» ужъ отросли громадные, угловатые кулаки.

Не знали, бѣдные, куда дѣться, какъ сжаться, краснѣли, пыхтѣли и потѣли, пока Татьяна Марковна, частію изъ жалости, частію оттого, что отъ нихъ въ комнатѣ было и тѣсно, и душно, и «пахло севрюгой», какъ тихонько выразилась она Марѳинькѣ, не выпустила ихъ въ садъ, гдѣ они, почувствовавъ себя на свободѣ, начали бѣгать и скакать, только прутья отъ кустовъ полетѣли въ стороны, въ ожиданіи, пока позовутъ завтракать.

Райскій вошелъ въ гостиную послѣ всѣхъ, когда ужъ скушали пирогъ и приступили къ какому-то соусу. Онъ почувствовалъ себя въ томъ положеніи, въ какомъ чувствуетъ себя пріѣзжій актеръ, первый разъ являясь на провинціальную сцену, предшествуемый толками и слухами. Все вдругъ смолкло и перестало жевать и все устремило вниманіе на него.

— Внукъ мой, отъ племянницы моей, покойной Сиички! — сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя всѣ очень хорошо знали, кто онъ такой.

Кое-кто привсталъ и поклонился, Нилъ Андреичъ благосклонно смотрѣлъ, ожидая, что онъ подойдетъ къ нему, барыни жеманно начали передергиваться и мелькомъ взглядывать въ зеркало.

Молодые чиновники въ углу, завтракавшіе стоя, съ тарелками въ рукахъ, переступили съ ноги на ногу; дѣвицы неистово покраснѣли и стиснули другъ другу, какъ въ большой опасности, руки, четырнадцатилѣтніе птенцы, присмирѣвшіе въ ожиданіи корма, вдругъ вытянули отъ стѣны до оконъ и быстро съ шумомъ повезли назадъ свои скороспѣлыя ноги и выронили изъ рукъ картузы.

Райскій сдѣлалъ всѣмъ полупоклонъ и сѣлъ подлѣ бабушки, прямо на диванъ. Общее движеніе.

— Экъ, плюхнулъ куда! — шепнулъ одинъ молодой чиновникъ другому: — а его превосходительство глядитъ на него...

— Вотъ Нилъ Андреичъ,—сказала бабушка:—давно желалъ тебя видѣть... онъ — *его превосходительство* — не забудь,—шепнула она.

— Кто эта барынька: какіе славные зубы и пышная грудь?—тихо спросилъ Райскій бабушку.

— Стыдъ, стыдъ, Борисъ Павлычъ: горю! — шептала она. — Вотъ, Нилъ Андреичъ, — сказала она: — Борюшка давно желалъ представиться вамъ...

Райскій открылъ-было ротъ, чтобъ возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу.

— Что же не удостоили посѣтить старика: и добрымъ людямъ радъ!—произнесъ добродушно Нилъ Андреичъ.—Да вѣдь съ нами скучно, не любятъ насъ нынѣшніе: такъ ли? Вы вѣдь изъ новыхъ? Скажите-ка правду.

— Я не раздѣляю людей ни на новыхъ, ни на старыхъ,—сказалъ Райскій, принимаясь за пирогъ.

— А ты погоди ѣсть, поговори съ нимъ, — шептала бабушка:—успѣешь!

— Я буду и ѣсть, и говорить, — отвѣчалъ вслухъ Райскій.

Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо.

— Не мѣшайте ему, матушка,—сказалъ Нилъ Андреичъ:— на здоровье, народъ молодой! Такъ какъ же вы понимаете людей, батюшка?—обратился онъ къ Райскому:— это любопытно!

— А смотря по тому, какое они впечатлѣніе на меня дѣлаютъ, такъ и принимаю!

— Похвально! Люблю за правду! Ну, какъ вы, напримѣръ, меня понимаете?

— Я васъ боюсь.

Нилъ Андреичъ съ удовольствіемъ засмѣялся.

— Чего же, скажите? Я позволяю говорить откровенно!— сказалъ онъ.

— Чего боюсь? вотъ видите...

— «Ваше превосходительство»,—подсказала бабушка, но Райскій не слушалъ.

— Вы, говорятъ, журите всѣхъ: кому-то голову намылили, что у обѣдни не былъ, бабушка сказывала...

Татьяна Марковна такъ и не вспомнилась. Она даже сняла чепецъ и положила подлѣ себя: ей вдругъ стало жарко.

— Что ты, что ты, Борисъ Павлычъ—на меня!..—останавливала она.

— Не мѣшайте, не мѣшайте, матушка! Слава Богу, что вы сказали про меня: я люблю, когда обо мнѣ правду говорятъ!—вмѣшался Нилъ Андреичъ.

Но бабушка была ужъ сама не своя: она не рада была, что затѣяла позвать гостей.

— Точно, журю: помнишь? — сказалъ онъ, обратясь къ дверямъ, гдѣ толпились чиновники.

— Точно такъ, ваше превосходительство!—проворно отвѣчалъ одинъ, выставивъ ногу впередъ и заложивъ руки назадъ:—меня однажды...

— А за что?

— Былъ одѣтъ пестро...

— Да, въ воскресенье пожаловалъ ко мнѣ отъ обѣдни: за это спасибо — да ужъ одолжилъ! Вмѣсто фрака, какой-то сюртучокъ на отлетѣ...

— Не этакій ли, что на мнѣ?—спросилъ Райскій.

— Да, почти: панталоны клѣтчатые, жилетъ полосатый— шутъ шутомъ!

— А тебя журилъ?—обратился онъ къ другому.

— Былъ грѣхъ, ваше превосходительство, — говорилъ тотъ, скромно склоняя и гладя рукой голову.

— А за что?

— За папеньку тогда...

— Да, вздумалъ отца корить: у старика слабость — пьетъ. А онъ его усовѣщивать, отца-то! Деньги у него отобралъ! Вотъ и пожурилъ: и что жъ, спросите ихъ: благодарны мнѣ же!

Чиновники, при этой похвалѣ, отъ удовольствія переступили съ ноги на ногу и облизали языкомъ губы.

— Я спрашиваю васъ: къ добру или къ худу! А послушаешь: «Все старое не хорошо, и сами старики глупы, пора ихъ долой!»—продолжалъ Тычковъ:—дай волю, они бы и того... готовы насъ всѣхъ заживо похоронить, а сами сѣли бы на наше мѣсто,—вотъ вѣдь къ чему все клонится! Какъ это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна?—обратился онъ къ одной барынѣ.

— Ote-toi de là pour que je m'y mette...—сказала она.

— Ну, да, вотъ чего имъ хочется, этимъ умникамъ въ кургузыхъ одѣяніяхъ! А какъ эти одѣянія называются по-французски, Наталья Ивановна? — спросилъ онъ, обратясь опять къ барынѣ и поглядывая на жакетку Райскаго.

— Я не знаю!—сказала она съ притворной скромностью.

— Ой, знаешь, матушка! — лукаво замѣтилъ Нилъ Андреичъ, погрозя пальцемъ: — только при всѣхъ стыдишься сказать. За это хвалю!

— Такъ изволите видѣть: лишь замѣчу въ молодомъ человѣкѣ этакую прыть,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Райскому:—дескать «я самъ уменъ, никого и знать не хочу»— и пожурю, и пожурю, не прогнѣвайтесь!

— Точно что не къ добру это все новое ведетъ, — сказалъ помѣщикъ: — вотъ хоть бы венгерцы и поляки бунтуютъ: отчего это? Все вотъ отъ этихъ новыхъ правилъ!

— Вы думаете?—спросилъ Райскій.

— Да-съ, я такъ полагаю: желалъ бы знать ваше мнѣніе... — сказалъ помѣщикъ, подсаживаясь поближе къ Рай-

скому:—мы вѣкъ свой въ деревнѣ, ничего не знаемъ, поэтому и лестно послушать просвѣщеннаго человѣка...

Райскій съ иронiей поклонился слегка.

— А то прочитаешь въ газетахъ, напримѣръ, вотъ хоть бы вчера читалъ я, что шведскій король посѣтилъ городъ Христіанію: и не знаешь, что этому за причина?

— А вамъ это интересно знать?

— Зачѣмъ же пишутъ объ этомъ, если королю не было особой причины посѣтить Христіанію?..

— Не было ли тамъ большого пожара: этого не пишутъ?—спросилъ Райскій.

Помѣщикъ, Иванъ Петровичъ, сдѣлалъ большіе глаза.

— Нѣтъ, о пожарѣ не пишутъ, а сказано только, что «его величество посѣтилъ народное собраніе».

Титъ Никонычъ и совѣтникъ палаты переглянулись и усмѣхнулись. Послѣ этого замолчали.

— Еще я хотѣлъ спросить вотъ что-съ,—началъ тотъ же гость:—теперь во Франціи воцарился Наполеонъ...

— Такъ что же?

— Вѣдь онъ насильно воцарился...

— Какъ насильно: его выбрали...

— Да что это за выборы! Говорятъ, подсылали солдатъ принуждать, подкупали... Помилуйте, какіе это выборы: курамъ на смѣхъ!

— Если отчасти и насильно, такъ что же съ нимъ дѣлать?—съ любопытствомъ спросилъ Райскій, заинтересовавшись этимъ деревенскимъ политикомъ.

— Какъ же это терпятъ всѣ, не вооружатся противъ него?

— Попробуй!—перебилъ Нилъ Андреичъ:—ну-ка: какъ?

— Собрать бы со всѣхъ государствъ арміи, да и пойти, какъ на покойнаго Бонапарта... Тогда былъ священный союзъ...

— Вы бы представили планъ кампаніи,—замѣтилъ Райскій:—можетъ-быть, и приняли бы...

— Куда мнѣ!—скромно возразилъ гость:—я только такъ, изъ любопытства... Вотъ теперь я хотѣлъ спросить еще васъ...—продолжалъ онъ, обращаясь къ Райскому.

— Почему же меня?

— Вы столичный житель, тамъ живете у источника, такъ сказать... не то, что мы, деревенскіе... Я хотѣлъ спросить: теперь турки издревле притѣсняютъ христіанъ, жгутъ, рѣжутъ, а женщинъ того...

— Ну, смотри, Иванъ Петровичъ, ты договоришься до чего-нибудь... вонъ ужъ, Настасья Петровна покраснѣла...—вмѣшался Нилъ Андреичъ.

— Что вы, ваше превосходительство... отъ чего мнѣ краснѣть? Я и не слыхала, что говорятъ...—сказала бойко одна барыня, жеманно поправляя шаль.

— Плутовка!—говорилъ Нилъ Андреичъ, грозя ей пальцемъ. — Что, батюшка, — обратился онъ къ священнику:— не жаловалась ли она вамъ на исповѣди на мужа, что онъ...

— Ахъ, что вы, ваше превосходительство! — торопливо перебила дама.

— То-то, то-то! Ну, что жъ, Иванъ Петровичъ: какъ тамъ турки женщинъ притѣсняютъ? Что ты прочиталъ объ этомъ: вонъ Настасья Петровна хочетъ знать? Только смотри, не махни въ Турцію, Настасья Петровна!

Иванъ Петровичъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда кончитъ Нилъ Андреичъ, и опять обратился къ Райскому, къ которому, какъ съ ножомъ, приступалъ съ вопросами.

— Такъ я вотъ хотѣлъ спросить васъ: отчего это не уймутъ турокъ?..

— Женщины-то за нихъ очень заступаются! — шутилъ благосклонно Нилъ Андреичъ:—вонъ она—первая...

Онъ указалъ на ту же барыню.

— Ахъ, Татьяна Марковна... что это его превосходительство для праздника нынче?..

Она притворно конфузилась.

— Я вотъ хотѣлъ спросить васъ, отчего это всѣ не возстанутъ на турокъ, — приставалъ Иванъ Петровичъ къ Райскому:—и не освободятъ Гроба Господня?

— Я, признаюсь вамъ, мало думалъ объ этомъ,—сказалъ Райскій: — но теперь обращу особенное вниманіе, и если вы мнѣ сообщите ваши соображенія, то я всячески готовъ содѣйствовать къ разрѣшенію восточнаго вопроса...

— Вотъ позвольте къ слову спросить, — живо возразилъ гость: — вы изволили сказать *«восточный вопросъ»*, и въ газетахъ поминутно пишутъ *восточный вопросъ:* какой это *восточный вопросъ?*

— Да вотъ тотъ самый, что вы мнѣ сдѣлали сейчасъ о туркахъ.

— Такъ...— задумчиво сказалъ онъ. — Да вопроса никакого нѣтъ!

— Теперь все «вопросы» пошли! — сиплымъ голосомъ вмѣшался полнокровный полковникъ: — изъ Петербурга я получилъ письмо отъ нашего полкового адъютанта: и тотъ пишетъ, что теперь всѣхъ занимаетъ «вопросъ» о перемѣнѣ формы въ арміи...

Замолчали.

— Или, напримѣръ, Ирландія! — началъ Иванъ Петровичъ съ новымъ одушевленіемъ, помолчавъ:—пишутъ, страна бѣдная, ѣсть нечего, картофель одинъ, и тотъ часто не годится для пищи...

— Ну-съ, такъ что же?

— Ирландія въ подданствѣ у Англіи, а Англія страна богатая: такихъ помѣщиковъ, какъ тамъ, нигдѣ нѣтъ. Отъ чего теперича у нихъ не взять хоть половину хлѣба, скота, да и не отдать туда, въ Ирландію?

— Что это, братъ, ты проповѣдуешь: бунтъ? — вдругъ сказалъ Нилъ Андреичъ.

— Какой бунтъ, ваше превосходительство... Я только изъ любопытства.

— Ну, если въ Вяткѣ или Перми голодъ, а у тебя возьмутъ половину хлѣба даромъ, да туда?..

— Какъ это можно! Мы—совсѣмъ другое дѣло...

— Ну, какъ услышатъ тебя мужики? — напиралъ Нилъ Андреичъ:—а? тогда что?

— Ну, не дай Боже!—сказалъ помѣщикъ.

— Сохрани Боже!—сказала и Татьяна Марковна.

— Они и теперь, еще ничего не видя, навострили уши!—продолжалъ Нилъ Андреичъ.

— А что?—съ испугомъ продолжала Бережкова.

— Да вонъ, о волѣ иногда заговариваютъ. Губернаторъ получилъ донесеніе, что въ селѣ у Мамыщева не покойно...

— Сохрани Богъ!—сказали опять и помѣщикъ, и Татьяна Марковна.

— Правду, правду говоритъ его превосходительство!—замѣтилъ помѣщикъ. — Дай только волю, дай только имъ свободу, ну и пошли въ кабакъ, да за балалайку: нарѣжется и претъ мимо тебя и шапки не ломаетъ!

— Начинается-то не съ мужиковъ, — говорилъ Нилъ Андреичъ, косясь на Райскаго: — а потомъ зло, какъ эпидемія, разольется повсюду. Сначала молодецъ ко всенощной перестанетъ ходить: «скучно дескать», а потомъ найдетъ, что по начальству въ праздникъ ѣздить лишнее; это, говоритъ, «холопство», а послѣ въ неприличной одеждѣ на службу явится, да еще бороду отраститъ (онъ опять покосился на Райскаго) — и дальше, и дальше, — и дай волю, онъ тебѣ втихомолку доложитъ потомъ, что и Бога-то въ небѣ нѣтъ, что и молиться-то нѣкому!..

Въ залѣ сдѣлалось общее движеніе.

— Да, да, это правда: былъ у сосѣда такой учитель, да еще подивитесь, батюшка, изъ семинаріи! — сказалъ помѣщикъ, обратясь къ священнику. — Смирно такъ шло все сначала: шепталъ, шепталъ, кто его знаетъ что, старшимъ дѣтямъ — только однажды дѣвочка, сестра ихъ, матери и

проговорись: «Бога, говоритъ, нѣтъ, Никита Сергѣичъ отъ кого-то слышалъ». Его къ допросу: «какъ Бога нѣтъ: какъ такъ?» Отецъ къ архіерею ѣздилъ: перебрали тогда всю семинарію...

— Да, помню, — сказалъ священникъ: — нашли запрещенныя книги.

— Ну, вотъ видите!

— Скажите на милость,—обратился опять Иванъ Петровичъ къ Райскому: — отчего это все волнуются народы?

— Какіе народы?

— Да вотъ хоть бы индѣйцы: вѣдь это каналыи все, не христіане, сволочь, ходятъ голые, и пьяницы горькіе, а страна, говорятъ, богатѣйшая, ананасы, какъ огурцы, растутъ... Чего имъ еще надо?

Райскій молчалъ. На него находила уже хандра.

«Какой гнусный порокъ, эта славянская добродѣтель, гостепріимство!» подумалъ онъ: «какихъ уродовъ не встрѣтишь у бабушки!»

И прочіе молчали, отъ лѣни говорить послѣ сытнаго завтрака. Говорилъ за всѣхъ Иванъ Петровичъ.

— А вотъ теперь Амуръ тамъ взяли у китайцевъ; тоже страна богатая — чай у насъ будетъ свой, некупленный: выгодно и пріятно...—началъ онъ опять свое.

— Ну, братъ, Иванъ Петровичъ: всю воду въ рѣшетѣ не переносишь...—замѣтилъ Тычковъ.

— Я только изъ любопытства хотѣлъ съ ними наговориться, они въ столицѣ живутъ... Теперь опять пишутъ, что римскій папа...

Въ это время изъ залы съ шумомъ появилась Полина Карповна, въ кисейномъ платьѣ, съ широкими рукавами, такъ что ея полныя, бѣлыя руки видны были почти до плечъ. За ней шелъ кадетъ.

— Какая жара! Bonjur, bonjur, — говорила она, кивая на всѣ стороны, и сѣла на диванъ подлѣ Райскаго.

— Тутъ намъ тѣсно! — сказалъ Райскій и пересѣлъ на стулъ рядомъ.

— Non, non, ne vous dérangez pas, — удерживала она, но не удержала. — Какая скука! — успѣла она шепнуть ему: — у васъ такъ много гостей, а я хотѣла бы видѣть васъ одного...

— Зачѣмъ?—спросилъ онъ вслухъ:—дѣло есть?

— Да, дѣло! — съ улыбкой и шопотомъ старалась она говорить.

— Какое же?

— А портретъ?

— Портретъ, какой портретъ?

— А мой! Вы обѣщали рисовать: забыли?—ingrat!

— А! Далила Карповна! — протяжно воскликнулъ Нилъ Андреичъ:—здравствуйте, какъ поживаете?

— Здравствуйте!—сухо сказала она, стараясь отвернуться отъ него.

— Что жъ не подарите меня нѣжнымъ взглядомъ? Дайте полюбоваться лебединой шейкой...

Въ толпѣ у дверей послышался смѣхъ, дамы тоже улыбались.

— Грубіянъ: сейчасъ глупость скажетъ!.. — шептала она Райскому.

— Что брезгаешь старымъ, а какъ посватаюсь? Чѣмъ не женихъ—или старъ? «Генеральша будете...»

— Не «льщусь» этой почестью...—сказала она, не глядя на него.—«Bonjur, Наталья Ивановна: гдѣ вы купили такую миленькую шляпку: у M-me Pichet?

— Это мужъ изъ Москвы выписалъ, — сказала Наталья Ивановна, робко взглянувъ на Райскаго:—сюрпризъ...

— Очень, очень мило!

— Да взгляните же на меня: право посватаюсь, — приставалъ Нилъ Андреичъ: — мнѣ нужна хозяйка въ домѣ, скромная, не кокетка, не баловница, не охотница до наря-

довъ... чтобы на другого мужчину, кромѣ меня, и глазомъ не повела... Ну, а вы у насъ вѣдь примѣръ...

Полина Карповна будто не слыхала, она обмахивалась вѣеромъ и старалась заговорить съ Райскимъ.

— Вы у насъ,—продолжалъ неумолимый Нилъ Андреичъ:—образецъ матерямъ и дочерямъ: въ церкви стоите, съ образа глазъ не отводите, по сторонамъ не взглянете, молодыхъ мужчинъ не замѣчаете...

Смѣхъ у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтобъ скрыть улыбку.

Татьяна Марковна постаралась-было замять атаку Нила Андреича на ея гостью.

— Пирога скушайте, Полина Карповна—я вамъ положу!—сказала она.

— Mercі, mercі, нѣтъ, я только-что завтракала!

Но это не помогло. Нилъ Андреичъ возобновилъ нападеніе.

— А одѣваетесь монахиней: на показъ плечъ и рукъ не выставляете... ведете себя сообразно вашимъ почтеннымъ лѣтамъ...—говорилъ онъ.

— Что это вы ко мнѣ привязались! — сказала Полина Карповна:—est-il bête, grossier?—обратилась она къ Райскому.

— Да, да, «парлеву франсе...» — перебилъ Тычковъ: — жениться, сударыня, хочу, вотъ и привязался: а мы съ вами пара!

— Едва ли вамъ найдется кто подъ пару! — отозвалась Крицкая, не глядя на него.

— А какъ же не пара, позвольте-ка: я былъ еще коллежскимъ асессоромъ, когда вы выходили замужъ за покойнаго Иванъ Егорыча. А этому-будетъ...

— Какая жара—on étouffe ici: allons au jardin! Мишель, дайте мантилью!..—обратилась она къ кадету.

Въ эту минуту показалась Вѣра.

Всѣ встали, окружили ее, и разговоръ принялъ другое направленіе. Райскому надоѣла вся эта сцена и эти люди, онъ собирался уже уйти, но съ приходомъ Вѣры у него заговорила такая сильная «дружба», что онъ остался, какъ пригвожденный къ стулу.

Вѣра мелкомъ оглядѣла общество, кое-гдѣ сказала двѣ-три фразы, пожала руки нѣкоторымъ дѣвицамъ, которыя уперли глаза въ ея платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамамъ и сѣла на стулъ у печки.

Чиновники охорашивались, Нилъ Андреичъ съ удовольствіемъ чмокнулъ ее въ руку, дѣвицы не спускали съ нея глазъ.

Марѳинька не сидѣла на мѣстѣ: она то нальетъ вина кому-нибудь, то попотчуетъ закуской, или старается занять разговоромъ своихъ пріятельницъ.

— Вѣра Васильевна!—сказалъ Нилъ Андреичъ:—заступитесь вы, красавица моя, за меня!

— Развѣ васъ обижаютъ?

— Какъ же не обижаютъ! Далила... нѣтъ—Пелагея Карповна.

— Impertinent! — громкимъ шопотомъ сказала Крицкая, поднимаясь съ мѣста и направляясь къ двери.

— Куда, Полина Карповна: а пирога? Марѳинька, удержи! Полина Карповна!—останавливала Татьяна Марковна.

— Нѣтъ, нѣтъ, Татьяна Марковна: я всегда рада и благодарна вамъ, — уже въ залѣ говорила Крицкая: — но съ такимъ грубіяномъ никогда не буду, ни у васъ, нигдѣ... Если бъ покойный мужъ былъ живъ, онъ бы не смѣлъ...

— Ну, не сердитесь на старика: онъ не отъ злого сердца; онъ почтенный такой...

— Нѣтъ, нѣтъ; *прошю*, пустите — я пріѣду въ другой разъ, безъ него...

Она уѣхала въ слезахъ, глубоко обиженная.

Въ гостиной всѣ были въ веселомъ расположеніи духа,

и Нилъ Андреичъ, съ величавою улыбкой, принималъ общій смѣхъ одобренія. Не смѣялся только Райскій, да Вѣра. Какъ ни комична была Полина Карповна, грубость нравовъ этой толпы и выходка старика возмутили его. Онъ угрюмо молчалъ, покачивая ногой.

— Что, прогнѣвалась, уѣхала? — говорилъ Нилъ Андреичъ, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча сѣла на свое мѣсто.

— Ничего, скушаетъ на здоровье!—продолжалъ старикъ:— не ходи раздѣтая при людяхъ: здѣсь не баня!

Дамы потупили глаза, дѣвицы сильно покраснѣли и свирѣпо стиснули другъ другу руки.

— Да не вертись по сторонамъ въ церкви, не таскай за собой молодыхъ ребятъ... Что, Иванъ Иванычъ: ты, бывало, у ней безвыходно жилъ! Какъ теперь: все еще ходишь!—строго спросилъ онъ у какого-то юноши.

— Отсталъ давно, ваше превосходительство: надоѣло комплименты говорить.

— То-то отсталъ! Какой примѣръ для молодыхъ женщинъ и дѣвицъ? А вѣдь ей давно за сорокъ! Ходитъ въ розовомъ, бантики да ленточки... Какъ не пожурить! Видите ли, — обратился онъ къ Райскому: — что я страшенъ только для порока, а вы боитесь меня! Кто это вамъ наговорилъ на меня страхи!

— Кто? Да Маркъ,—сказалъ Райскій.

Общее движеніе. Нѣкоторые вздрогнули.

— Какой такой Маркъ? — нахмуривъ брови, спросилъ Тычковъ.

— Маркъ Волоховъ, вотъ что присланъ сюда на житье.

— Это тотъ разбойникъ? Да развѣ вы знаетесь съ нимъ?

— Мы пріятели.

— Пріятели?— съ изумленіемъ произнесъ старикъ и посвисталъ:—Татьяна Марковна, что я слышу?

— Не вѣрьте ему, Нилъ Андреичъ: онъ самъ не знаетъ,

что говоритъ... — начала бабушка. — Какой онъ тебѣ пріятель...

— Что вы, бабушка! Да не онъ ли у меня ужиналъ и ночевалъ? Не вы ли велѣли ему постлать мягкую постель...

— Борисъ Павлычъ! помилосердуй, помолчи! — неистово шептала бабушка.

Но было уже поздно. Тычковъ вскинулъ изумленныя очи на Татьяну Марковну, дамы глядѣли на нее съ состраданіемъ, мужчины разинули рты, дѣвицы прижались другъ къ другу.

У Вѣры отъ улыбки задрожалъ подбородокъ. Она съ наслажденіемъ глядѣла на всѣхъ, и дружескимъ взглядомъ благодарила Райскаго за это нечаянное наслажденіе, а Марѳинька спряталась за бабушку.

— Что я слышу! — съ изумленіемъ произнесъ Нилъ Андреичъ:—и вы впустили этого Варраву подъ свой кровъ!

— Не я, Нилъ Андреичъ, а Борюшка привелъ его ночью. Я и не знала, кто тамъ у него спитъ!

— Такъ вы съ нимъ по ночамъ шатаетесь! — обратился онъ къ Райскому. — А знаете ли вы, что онъ подозрительный человѣкъ, врагъ правительства, отверженецъ церкви и общества?

— Какой ужасъ!—сказали дамы.

— Онъ-то и отрекомендовалъ вамъ меня?—допрашивалъ Нилъ Андреичъ.

— Да, онъ.

— Что же, онъ меня звѣремъ изобразилъ: что я глотаю людей?..

— Нѣтъ, не глотаете, а позволяете себѣ по какому-то праву оскорблять ихъ.

— И вы повѣрили?

— До нынѣшняго дня—нѣтъ.

— А нынче?

— А нынче вѣрю.

Общій ужасъ и изумленіе. Нѣкоторые чиновники тихонько вышли въ залу и оттуда слушали, что̀ будетъ дальше.

— Что̀ такъ, — съ изумленіемъ и высокомѣрно спросилъ Тычковъ, нахмуривъ брови.—Почему?

— А потому, что вы сейчасъ оскорбили женщину.

— Слышите, Татьяна Марковна!

— Борюшка! Борисъ Павлычъ!—унимала она.

— Эту... эту старую модницу, прельстительницу, вѣтреницу...—говорилъ Нилъ Андреичъ.

— Что вамъ за дѣло до нея? и кто вамъ далъ право быть судьей чужихъ пороковъ?

— А вы, молодой человѣкъ, по какому праву смѣете мнѣ дѣлать выгоры? Вы знаете ли, что я пятьдесятъ лѣтъ на службѣ и ни одинъ министръ не сдѣлалъ мнѣ ни малѣйшаго замѣчанія?..

— По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину въ моемъ домѣ, и если бъ я допустилъ это, то былъ бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тѣмъ хуже для васъ!..

— Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь городъ знаетъ, что она легкомысленна, вѣтрена, не по лѣтамъ молодится, не исполняетъ обязанностей въ отношеніи къ семейству..

— Ну, такъ что же?

— А то, что и вы, вотъ и Татьяна Марковна, стоите того, чтобъ пожурить васъ обоихъ. Да, да, давно я хотѣлъ сказать имъ, матушка... вы ее принимаете у себя...

— Ну, вѣтреность, легкомысліе, кокетство еще не важныя преступленія,—сказалъ Райскій:—а вотъ про васъ тоже весь городъ знаетъ, что вы взятками награбили кучу денегъ, да обобрали и заперли въ сумасшедшій домъ родную племянницу, — однакоже, и бабушка, и я пустили васъ, а вѣдь это важнѣе кокетства! Вотъ за это пожурите насъ!

Сцена невообразимаго ужаса между присутствующими! Дамы встали и кучей направились въ залу, не простясь съ хозяйкой; за ними толпой, какъ овцы, бросились дѣвицы, и всѣ уѣхали. Бабушка указала Мароинькѣ и Вѣрѣ дверь.

Мароинька ушла, а Вѣра осталась.

Нилъ Андреичъ поблѣднѣлъ.

— Кто, кто передалъ *тебѣ* эти слухи, говори! Этотъ разбойникъ Маркъ? Сейчасъ ѣду къ губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы съ вами, или чтобъ нога этого молодца (онъ указалъ на Райскаго) у васъ въ домѣ никогда не была! Не то я упеку и его, и весь домъ, и васъ, въ двадцать четыре часа, куда воронъ костей не занашивалъ...

Тычковъ задыхался отъ злости и не зналъ самъ, что̀ говорилъ.

— Кто, кто ему это сказалъ, я хочу знать? Кто... говори!..—хрипѣлъ онъ.

Татьяна Марковна вдругъ встала съ мѣста.

— Полно тебѣ вздоръ молоть, Нилъ Андреичъ! Смотри, ты багровый совсѣмъ сталъ: того и гляди лопнешь отъ злости. Выпей лучше воды! Какой секретъ, кто сказалъ? Да я сказала, и сказала правду! — прибавила она. — Весь городъ это знаетъ.

— Татьяна Марковна! какъ!.. — заревѣлъ-было Нилъ Андреичъ.

— Меня шестьдесятъ пять лѣтъ Татьяной Марковной зовутъ. Ну, что̀ — «какъ?» И по дѣломъ тебѣ! Что ты лаешься на всѣхъ: напалъ, въ самомъ дѣлѣ, въ чужомъ домѣ на женщину — хозяинъ остановилъ тебя — не по-дворянски поступаешь!..

— Да какъ вы мнѣ смѣете это говорить!—заревѣлъ опять Тычковъ.

Райскій бросился-было къ нему, но бабушка остановила

его такимъ повелительнымъ жестомъ, что онъ окаменѣлъ и ждалъ, что̀ будетъ.

Она вдругъ выпрямилась, надѣла чепецъ и, завернувшись въ шаль, подступила къ Нилу Андреичу.

Райскій съ удивленіемъ глядѣлъ на бабушку. Она, а не Нилъ Андреичъ, приковала его вниманіе къ себѣ. Она вдругъ выросла въ фигуру, полную величія, такъ что даже и на него напала робость.

— Ты кто?—сказала она:—ничтожный приказный, parvenu—и ты смѣешь кричать на женщину, и еще на столбовую дворянку! Зазнался: урока хочешь! Я дамъ тебѣ одинъ разъ навсегда: будешь помнить! Ты забылъ, что, бывало, въ молодости, когда ты приносилъ бумаги изъ Палаты къ моему отцу, ты при мнѣ сѣсть не смѣлъ и по праздникамъ получалъ не разъ изъ моихъ рукъ подарки. Да если бъ ты еще былъ честенъ, такъ никто бы тебя и не корилъ этимъ, а ты наворовалъ денегъ — внукъ мой правду сказалъ—и тутъ, по слабости, терпѣли тебя, и молчать бы тебѣ, да каяться подъ конецъ за темную жизнь. А ты не унимаешься, раздулся отъ гордости, а гордость—пьяный порокъ, наводитъ забвеніе. Отрезвись же, встань и поклонись: передъ тобою стоитъ Татьяна Марковна Бережкова! Вотъ, видишь, здѣсь мой внукъ, Борисъ Павлычъ Райскій: не удержи я его, онъ сбросилъ бы тебя съ крыльца, но я не хочу, чтобъ онъ маралъ о тебя руки—съ тебя довольно и лакеевъ! У меня есть защитникъ, а найди ты себѣ!—Люди! — крикнула она, хлопнувъ въ ладони, выпрямившись во весь ростъ и сверкая глазами.

Она походила на портретъ одной изъ величавыхъ женщинъ въ ея родѣ, висѣвшій тутъ же на стѣнѣ.

Тычковъ ворочалъ одурѣлыми глазами.

— Я въ Петербургъ напишу... городъ въ опасности...— торопливо говорилъ онъ, поспѣшно уходя и сгорбившись подъ ея сверкающимъ взглядомъ, не смѣя оглянуться назадъ.

Онъ ушелъ, а Татьяна Марковна все еще стояла въ своей позѣ, съ глазами, сверкающими гнѣвомъ, передергивая на себѣ, отъ волненія, шаль. Райскій очнулся отъ изумленія и робко подошелъ къ ней, какъ будто не узнавая ее, видя въ ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тѣхъ поръ женщину.

— Напрасно вы требовали должной вамъ дани, поклона отъ этого пня,—сказалъ онъ:—онъ не понялъ вашего величія. Примите отъ меня этотъ поклонъ, не какъ бабушка отъ внука, а какъ женщина отъ мужчины. Я удивляюсь Татьянѣ Марковнѣ, лучшей изъ женщинъ, и кланяюсь ея женскому достоинству!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Принимаю, Борисъ Павлычъ, твой поклонъ, какъ большую честь — и не даромъ принимаю — я его заслуживаю. А вотъ и тебѣ, за твой честный поступокъ, мой поцѣлуй—не отъ бабушки, а отъ женщины...

Она поцѣловала въ щеку.

Въ эту же минуту кто-то поцѣловалъ его въ другую щеку.

— А это отъ другой женщины!—тихо сказала Вѣра, цѣлуя его, и быстро ускользнула въ дверь.

— Ахъ! — страстно сдѣлалъ Райскій, протягивая вслѣдъ ей руку.

— Мы съ ней не сговаривались, а обѣ поняли тебя. Мы съ нею мало говоримъ, а похожи другъ на друга!—сказала Татьяна Марковна.

— Бабушка! вы необыкновенная женщина! — сказалъ Райскій, глядя на нее съ восторгомъ, какъ будто въ первый только разъ увидѣлъ ее.

— А ты уродъ, только хорошій уродъ! — заключила она, сильно трепля его по плечу. — Поди же, съѣзди къ губернатору и разскажи по правдѣ, какъ было дѣло, чтобъ тотъ не наплелъ вздору, а я пойду къ Полинѣ Карповнѣ и попрошу у ней извиненія.

III.

Нила Андреича почти сняли съ дрожекъ, когда онъ воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусомъ, на животъ поставила горчичники и «ругательски ругала» Татьяну Марковну.

Но домашнія средства не успокоили старика. Онъ ждалъ, что завтра завернетъ къ нему губернаторъ, узнать, какъ было дѣло, и выразить участіе, а онъ предложитъ ему выслать Райскаго изъ города, какъ безпокойнаго человѣка, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова.

Но прошло три дня: ни губернаторъ, ни вице-губернаторъ, ни совѣтники не завернули къ нему. Начать жалобу самому, раскапывать старыя воспоминанія—онъ почему-то не счелъ удобнымъ.

Прежній губернаторъ, старикъ Пафнутьевъ, при которомъ даже дамы не садились въ гостяхъ, прежде нежели онъ не сядетъ самъ, взыскалъ бы съ виновныхъ за одно неуваженіе къ рангу; но нынѣшній губернаторъ къ этому равнодушенъ. Онъ даже не замѣчаетъ, какъ одѣваются у него чиновники, самъ ходитъ въ старомъ сюртукѣ и заботится только, чтобъ «въ Петербургъ никакихъ исторій не доходило».

Ждалъ Нилъ Андреичъ Тычковъ, что зайдетъ кто-нибудь изъ его бывшихъ подчиненныхъ, молодыхъ чиновниковъ, чтобъ разспросить, что дѣлается въ непріятельскомъ лагерѣ. Но никто не являлся.

Онъ снизошелъ до того, что самъ, будто гуляя, зашелъ дома въ два и получилъ отказъ. Лакеи смотрѣли на него какъ-то любопытно.

«Плохо дѣло», думалъ онъ и засѣлъ дома.

Въ воскресенье онъ послалъ за докторомъ, который лѣчилъ и въ губернаторскомъ домѣ, и въ Малиновкѣ.

Докторъ старался не смотрѣть на Нила Андреича, а если смотрѣлъ, то такъ же, какъ и лакеи, «любопытно». Онъ торопился, и когда Тычковъ предложилъ ему позавтракать, онъ сказалъ, что званъ на «фриштикъ» къ Бережковой, у которой будетъ и его превосходительство, и всѣ, и что онъ видѣлъ, какъ архіерей прямо изъ собора уже поѣхалъ къ ней, и потому спѣшитъ... И уѣхалъ, прописавъ Нилу Андреевичу діэту и покой.

— Суета сует!— произнесъ, вздохнувъ всѣмъ животомъ своимъ, Тычковъ и поникнулъ головой.

Онъ понялъ, что авторитетъ его провалился навсегда, что онъ былъ послѣдній могиканъ, послѣдній изъ генераловъ Тычковыхъ!

И другіе, прежніе его подчиненные, еще недавно облизывавшіеся отъ его похвалы, вдругъ будто прозрѣли и поняли «правду» въ поступкѣ Райскаго, краснѣя за напрасность своего долговременнаго поклоненія фальшивому пугалѣ-авторитету. Они всѣ перебывали съ визитомъ у Райскаго.

Въ краткомъ очеркѣ изобразилъ и его Райскій въ программѣ своего романа, и самъ не зналъ,—зачѣмъ.

— Подъ руку попался, какъ Опенкинъ! — говорилъ онъ, дописывая послѣднюю строку и не предвидя ему болѣе роли между своими героями.

Райскій дня три былъ подъ вліяніемъ воскреснаго завтрака. Внезапное превращеніе Татьяны Марковны изъ бабушки и гостепріимной хозяйки въ львицу поразило его.

Ея сверкающіе глаза, гордая поза, честность, прямота, здравый смыслъ, вдругъ прорвавшіеся сквозь предразсудки и лѣнивыя привычки—не выходили у него изъ головы.

Онъ натянулъ холстъ и сдѣлалъ удачный очеркъ ея фигуры, съ намѣреніемъ уловить на полотно ея позу, гнѣвъ, величавость, и поставить въ галлерею фамильныхъ портретовъ.

Онъ, если можно, полюбилъ ее еще больше. Она тоже ласковѣе прежняго поглядывала на него, хотя видно было, что внутренно она не мало озабочена была сама своей «прытью», какъ говорила она, и старалась молча переработать въ себѣ это «противорѣчіе съ собой», какъ называлъ Райскій.

Уважать человѣка сорокъ лѣтъ, называть его «серьёзнымъ», «почтеннымъ», побаиваться его суда, пугать имъ другихъ—и вдругъ въ одну минуту выгнать его вонъ! Она не раскаивалась въ своемъ поступкѣ, находя его справедливымъ, но задумывалась прежде всего о томъ, что сорокъ лѣтъ она добровольно терпѣла ложь, и что внукъ ея... былъ... правъ.

Этого она ни за что не скажетъ ему: молодъ онъ, пожалуй зазнается, а она покажетъ ему вниманіе иначе, по-своему, не ставя себя въ затруднительное положеніе передъ внукомъ и не давая ему торжества.

Вотъ отчего она ласковѣе смотрѣла на Райскаго и про себя уважала его больше прежняго.

Но все же ей было неловко—не отъ одного только внутренняго «противорѣчія съ собой», а просто отъ того, что вышла исторія у ней въ домѣ, что выгнала человѣка стараго, «почтен... нѣтъ серьёзнаго», «со звѣздой»...

Она вздыхала, но воротить прежняго не желала, а хотѣла бы только, чтобъ это событіе отодвинулось лѣтъ за десять назадъ, превратилось бы какимъ-нибудь чудомъ въ давно прошедшее и забылось совсѣмъ.

Внезапный поцѣлуй Вѣры взволновалъ Райскаго больше всего. Онъ чуть не заплакалъ отъ умиленія и основалъ было на немъ дальнія надежды, полагая, что простой случай, неприготовленная сцена, гдѣ онъ нечаянно высказался просто, со стороны честности и приличія, поведутъ къ тому, чего онъ добивался медленнымъ и труднымъ путемъ — къ сближенію.

Но онъ ошибся. Поцѣлуй не повелъ ни къ какому сближенію. Это была такая же неожиданная искра сочувствія Вѣры къ его поступку, какъ неожиданъ былъ самъ поступокъ. Блеснула какая-то молнія въ ней и погасла.

Конечно, молнію эту вызвала хорошая черта, но она и не сомнѣвалась въ достоинствѣ его характера, она только не хотѣла сближенія тѣснѣе, какъ онъ желалъ, и не давала ему никакихъ другихъ, кромѣ самыхъ ограниченныхъ правъ, на свое вниманіе.

Онъ держалъ крѣпко слово: не ходилъ къ ней, видѣлся съ ней только за обѣдомъ, мало говорилъ и вовсе не преслѣдовалъ.

— Поговорю съ ней раза два, окончательно разрѣшу себѣ задачу, какъ было и съ Бѣловодовой, и съ Мароинькой, и по обыкновенію разочаруюсь — потомъ уѣду! — рѣшилъ онъ.

— Егоръ!—сказалъ онъ:—принеси и осмотри чемоданъ, цѣлъ ли замокъ и ремни: я недолго здѣсь останусь.

Въ домѣ было тихо, вотъ ужъ и двѣ недѣли прошли со времени пари съ Маркомъ, а Борисъ Павлычъ не влюбленъ, не бѣснуется, не дѣлаетъ глупостей, и въ теченіе дня рѣшительно забываетъ о Вѣрѣ, только вечеромъ и утромъ она является въ головѣ, какъ по зову.

Онъ старался, и успѣвалъ, не показывать ей, что еще занятъ ею. Ему даже хотѣлось бы стереть и память объ увлеченіи, которое онъ неосторожно и смѣшно высказалъ.

— Вотъ ужъ до чего я дошелъ: стыжусь своего идола—значитъ побѣда близка!—радовался онъ про себя, хотя ловилъ и уличалъ себя въ томъ, что припоминаетъ малѣйшую подробность о ней, видитъ, не глядя, какъ она войдетъ, что скажетъ, почему молчитъ, какъ взглянетъ.

— Все это пустое, миражъ, миражъ! — говорилъ онъ: — анализъ коснулся впечатлѣнія—и его нѣтъ!

Онъ занялся портретомъ Татьяны Марковны и програм-

мой романа, которая приняла значительный объемъ. Онъ набросалъ первую встрѣчу съ Вѣрой, свое впечатлѣніе, вставилъ туда, въ видѣ аксессуаровъ, всѣ лица, пейзажи Волги, фотографію съ своего имѣнія—и мало-по-малу оживился. Его «миражъ» сталъ облекаться въ плоть. Передъ нимъ носилась тайна созданія.

Онъ сталъ веселъ, развязенъ, и раза два гулялъ съ Вѣрой, какъ съ посторонней, милой, умной собесѣдницей, и сыпалъ передъ ней, безъ умысла и желанія добиваться чего-нибудь, весь свой запасъ мыслей, знаній, анекдотовъ, бурно игралъ фантазіей, разливался въ шуткахъ, или въ задумчивыхъ догадкахъ развивалъ свое міросозерцаніе, — словомъ, жилъ тихою, но пріятною жизнью, ничего не требуя, ничего ей не навязывая.

Онъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что она перестала бояться его, довѣрялась ему, не запиралась отъ него на ключъ, не уходила изъ сада, видя, что онъ, пробывъ съ ней нѣсколько минутъ, уходилъ самъ; просила смѣло у него книгъ, и даже приходила за ними сама къ нему въ комнату, а онъ, давая требуемую книгу, не удерживалъ ее, не напрашивался въ «руководители мысли», не спрашивалъ о прочитанномъ, а она сама иногда говорила ему о своемъ впечатлѣніи.

Они послѣобѣденные часы нерѣдко просиживали вдвоемъ у бабушки—и Вѣра не скучала, слушая его, даже иногда улыбалась его шуткамъ. А иногда случалось, что она, вдругъ не дослушавъ конца страницы, не кончивъ разговора, слегка извинялась и уходила — неизвѣстно куда, и возвращалась черезъ часъ, черезъ два, или вовсе не возвращалась къ нему—онъ не спрашивалъ.

Его отвлекали, кромѣ его труда, нѣкоторыя знакомства въ городѣ, которыя онъ успѣлъ сдѣлать. Иногда онъ обѣдывалъ у губернатора, даже былъ съ Марѳинькой и съ Вѣрой на загородномъ лѣтнемъ праздникѣ у откупщика,

но, къ сожалѣнію Татьяны Марковны, не плѣнился его дочерью, сухо отвѣтивъ на ея вопросы о ней, что она «барышня».

Вѣра была невозмутимо равнодушна къ нему: вотъ въ чемъ онъ убѣдился и чему покорялся, по необходимости. Хотя онъ сдѣлалъ успѣхи въ ея довѣріи и дружбѣ, но эта дружба была еще отрицательная, и довѣріе ея состояло только въ томъ, что она не боялась больше неприличнаго шпіонства его за собой.

У ней сильно задрожалъ отъ улыбки подбородокъ, когда онъ самъ остроумно сравнилъ себя съ выздоровѣвшимъ сумасшедшимъ, котораго уже не боятся оставлять одного, не запираютъ оконъ въ его комнатѣ, даютъ ему ножъ и вилку за обѣдомъ, даже позволяютъ самому бриться, — но все еще у всѣхъ въ домѣ памятны недавнія сцены неистовства, и потому внутренно никто не поручится, что въ одно прекрасное утро онъ не выскочитъ изъ окна, или не перерѣжетъ себѣ горла.

Дружба ея не дошла еще до того, чтобъ она повѣрила ему, если не тайны свои, такъ хоть обратилась бы къ его мнѣнію, къ авторитету его опытности въ чемъ-нибудь, къ его дружбѣ, наконецъ сказала бы ему, что ее занимаетъ, кто ей нравится, кто нѣтъ.

Никакой искренней своей мысли не высказала она, не обнаружила желанія, кромѣ одного, которое высказала категорически—это быть свободной, т. е. чтобы ее оставляли самой себѣ, не замѣчали за ней, забыли бы о ея существованіи.

— Ну, вотъ — это исполнено теперь: что жъ дальше? ужели такъ все и будетъ?—говорилъ онъ.—Надо поосторожнѣе справиться!..

Онъ добился, что она стала звать его братомъ, а не кузеномъ, но на *ты* не переходила, говоря, что *ты*, само по себѣ, безъ всякихъ правъ, уполномочиваетъ на многое, че-

го той или другой сторонѣ иногда не хочется, порождаетъ короткость, даже иногда стѣсняетъ ненужной, и часто нераздѣленной, другой стороной, дружбой.

— Ну, довольна ты мной?—сказалъ онъ однажды послѣ чаю, когда они остались одни.

— Что такое, чѣмъ?—спросила она, взглянувъ на него съ любопытствомъ.

— Какъ чѣмъ?—съ изумленіемъ повторилъ онъ:—а перемѣной во мнѣ?

— Перемѣной?

— Да! Прошу покорно! Я работалъ, смирялъ свои взгляды, желанія, молчалъ, не замѣчалъ тебя: чего мнѣ стоило! А она и не замѣтила! Вѣдь я испытываю себя, а она... Вотъ и награда!

— Я думала, вы и забыли объ этомъ!—сказала она равнодушно.

— А ты забыла?

— Да, и это награда и есть.

Онъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на нее.

— Хороша награда: забыла!

— Да, я забыла, что вы мнѣ надоѣдали, и вижу въ васъ теперь то, чѣмъ вамъ слѣдовало быть сначала, какъ вы пріѣхали.

— И только?

— Чего-же вы хотите?

— А дружба?

— Это дружба и есть. Я очень дружна съ вами...

«Э! такъ нельзя, нѣтъ!..» горячился онъ про себя — и тутъ же самъ себя внутренно уличилъ, что онъ проситъ у Вѣры «на водку», за то, что поступалъ «справедливо».

— Хороша дружба: я ничего не знаю о тебѣ, — ты ничего мнѣ не повѣришь, никакой сообщительности — какъ чужая...—замѣтилъ онъ.

— Я ничего никому не говорю: ни бабушкѣ, ни Марѳинькѣ...

— Это правда: бабушка, Марѳинька—милыя, добрыя существа, но между ними и тобой цѣлая бездна... а между мною и тобой много общаго...

— Да, я забыла, что я «мудрая»,—сказала она насмѣшливо.

— Ты развитая: у тебя не молчитъ умъ, и если сердце еще не заговорило, то ужъ трепещетъ ожиданіемъ... Я это вижу...

— Что же вы видите?

— Что ты будто прячешься и прячешь что-то... Богъ тебя знаетъ!

— Пусть же Онъ одинъ и знаетъ, что у меня!

— Ты—характеръ, Вѣра!

— Что жъ, это порокъ!

— Рѣдкое достоинство—если характеръ, а не претензія на него.

Она слегка пожала плечами, какъ бы не удостоивая отвѣчать.

— И у тебя нѣтъ потребности высказаться передъ кѣмъ-нибудь, раздѣлить свою мысль, провѣрить чужимъ умомъ или опытомъ какое-нибудь темное пятно въ жизни, туманное явленіе, загадку? А вѣдь для тебя много новаго...

— Нѣтъ, братъ, пока нѣтъ желанія, а если будетъ, можетъ-быть, я тогда и приду къ вамъ...

— Помни же, Вѣра, что у тебя есть братъ, другъ, который готовъ все для тебя сдѣлать, даже принести жертвы...

— За что вы будете приносить ихъ?

— За то, что—ты такъ...—«прекрасна», хотѣлось сказать, но она смотрѣла на него строго. — За то, что ты такъ... умна, своеобразна... и притомъ мнѣ такъ хочется!—договорилъ онъ.

— А если мнѣ не хочется?

— Ну, значитъ, нѣтъ дружбы.

— Да неужели дружба такое корыстное чувство, и другъ только цѣнится потому, что сдѣлалъ то или другое? Развѣ нельзя такъ любить другъ друга, за характеръ, за умъ? Если бъ я любила кого-нибудь, я бы даже избѣгала одолжать его или одолжаться...

— Отчего?

— Я ужъ сказала однажды, отчего: чтобъ не испортить дружбы. Равенства не будетъ, друзья связаны будутъ не чувствомъ, а одолженіемъ, оно вмѣшается—и одинъ станетъ выше, другой ниже: гдѣ же свобода?

— Какая ты красная, Вѣра: вездѣ свобода! Кто это нажужжалъ тебѣ про эту свободу?.. Это видно какой-то дилетантъ свободы! Этакъ нельзя попросить другъ у друга сигары, или поднять тебѣ вотъ этотъ платокъ, что ты уронила подъ ноги, не сдѣлавшись крѣпостнымъ рабомъ! Берегись: отъ свободы до рабства, какъ отъ разумнаго до нелѣпаго—одинъ шагъ! Кто это внушилъ тебѣ?

— Никто,—сказала она, зѣвая и вставая съ мѣста.

— Я не надоѣлъ тебѣ, Вѣра?—спросилъ онъ торопливо:—пожалуйста, не прими этого за допытыванье, за допросъ; не ставь всякаго лыка въ строку. Это простой разговоръ...

— Я настолько «мудра», братъ, чтобъ отличить бѣлое отъ чернаго, и я съ удовольствіемъ говорю съ вами. Если вамъ не скучно, приходите сегодня вечеромъ опять ко мнѣ, или въ садъ: мы будемъ продолжать...

Онъ чуть не вспрыгнулъ отъ радости.

— Милая Вѣра!—сказалъ онъ.

— Только, я боюсь, что не умѣю занять васъ: я все молчу, вамъ приходится говорить одному...

— Нѣтъ, нѣтъ—будь такою, какая ты есть и какою хочешь быть...

— Вы позволяете, братецъ?

— Не смѣйся, ей-Богу, я не шучу...

— Ну, и побожились еще, какъ Викентьевъ... Теперь ужъ надо помнить слово. До вечера!

IV.

И вечеромъ ничего больше не добился Райскій. Онъ говорилъ, мечталъ, вспыхивалъ въ одно мгновеніе отъ ея бархатныхъ, темнокарихъ глазъ, и тотчасъ же угасалъ отъ равнодушнаго ихъ взгляда.

Передъ нимъ было прекрасное явленіе, съ задатками такого сильнаго, мучительнаго, безумнаго счастья, но оно было недоступно ему: онъ лишенъ былъ права, не только выражать желанія, даже глядѣть на нее иначе, какъ на сестру, или какъ глядятъ на чужую, незнакомую женщину.

Оно такъ и должно быть: онъ уже согласился съ этимъ. Если бъ это отчужденіе налагалось на него только чистотой дѣвической скромности, безсознательно, невѣдающею зла невинностью, какъ было съ Марѳинькой, онъ бы скорѣе успокоился, уваживъ безусловно святость невѣдѣнія.

Но у Вѣры нѣтъ этой безсознательности: въ ней проглядываетъ и проговаривается, если не опытъ (и конечно не опытъ: онъ былъ убѣжденъ въ этомъ), если не знаніе, то явное предчувствіе опыта и знанія, и она—не невѣдѣніемъ, а гордостью отразила его нескромный взглядъ и желаніе нравиться ей. Стало-быть, она уже знаетъ, что значитъ страстный взглядъ, влеченіе къ красотѣ, къ чему это ведетъ, и когда и почему поклоненіе можетъ быть оскорбительно.

Она какъ-нибудь угадала или услѣдила перспективу впечатлѣній, борьбу чувствъ, и предузнаетъ ходъ и, можетъ-быть, драму страсти, и понимаетъ, какъ глубоко входитъ эта драма въ жизнь женщины.

Эта преждевременная чуткость не есть непремѣнно плодъ опытности. Предвидѣнія и предчувствія будущихъ шаговъ жизни даются острымъ и наблюдательнымъ умамъ вообще,

— Ну, значитъ, нѣтъ дружбы.

— Да неужели дружба такое корыстное чувство, и другъ только цѣнится потому, что сдѣлалъ то или другое? Развѣ нельзя такъ любить другъ друга, за характеръ, за умъ? Если бъ я любила кого-нибудь, я бы даже избѣгала одолжать его или одолжаться...

— Отчего?

— Я ужъ сказала однажды, отчего: чтобъ не испортить дружбы. Равенства не будетъ, друзья связаны будутъ не чувствомъ, а одолженіемъ, оно вмѣшается—и одинъ станетъ выше, другой ниже: гдѣ же свобода?

— Какая ты красная, Вѣра: вездѣ свобода! Кто это нажужжалъ тебѣ про эту свободу?.. Это видно какой-то дилетантъ свободы! Этакъ нельзя попросить другъ у друга сигары, или поднять тебѣ вотъ этотъ платокъ, что ты уронила подъ ноги, не сдѣлавшись крѣпостнымъ рабомъ! Берегись: отъ свободы до рабства, какъ отъ разумнаго до нелѣпаго—одинъ шагъ! Кто это внушилъ тебѣ?

— Никто,—сказала она, зѣвая и вставая съ мѣста.

— Я не надоѣлъ тебѣ, Вѣра?—спросилъ онъ торопливо:—пожалуйста, не прими этого за допытыванье, за допросъ; не ставь всякаго лыка въ строку. Это простой разговоръ...

— Я настолько «мудра», братъ, чтобъ отличить бѣлое отъ чернаго, и я съ удовольствіемъ говорю съ вами. Если вамъ не скучно, приходите сегодня вечеромъ опять ко мнѣ, или въ садъ: мы будемъ продолжать...

Онъ чуть не вспрыгнулъ отъ радости.

— Милая Вѣра!—сказалъ онъ.

— Только, я боюсь, что не умѣю занять васъ: я все молчу, вамъ приходится говорить одному...

— Нѣтъ, нѣтъ—будь такою, какая ты есть и какою хочешь быть...

— Вы позволяете, братецъ?

— Не смѣйся, ей-Богу, я не шучу...

— Ну, и побожились еще, какъ Викентьевъ... Теперь ужъ надо помнить слово. До вечера!

IV.

И вечеромъ ничего больше не добился Райскій. Онъ говорилъ, мечталъ, вспыхивалъ въ одно мгновеніе отъ ея бархатныхъ, темнокарихъ глазъ, и тотчасъ же угасалъ отъ равнодушнаго ихъ взгляда.

Передъ нимъ было прекрасное явленіе, съ задатками такого сильнаго, мучительнаго, безумнаго счастья, но оно было недоступно ему: онъ лишенъ былъ права, не только выражать желанія, даже глядѣть на нее иначе, какъ на сестру, или какъ глядятъ на чужую, незнакомую женщину.

Оно такъ и должно быть: онъ уже согласился съ этимъ. Если бъ это отчужденіе налагалось на него только чистотой дѣвической скромности, безсознательно, невѣдающею зла невинностью, какъ было съ Марѳинькой, онъ бы скорѣе успокоился, уваживъ безусловно святость невѣдѣнія.

Но у Вѣры нѣтъ этой безсознательности: въ ней проглядываетъ и проговаривается, если не опытъ (и конечно не опытъ: онъ былъ убѣжденъ въ этомъ), если не знаніе, то явное предчувствіе опыта и знанія, и она—не невѣдѣніемъ, а гордостью отразила его нескромный взглядъ и желаніе нравиться ей. Стало-быть, она уже знаетъ, что̀ значитъ страстный взглядъ, влеченіе къ красотѣ, къ чему это ведетъ, и когда и почему поклоненіе можетъ быть оскорбительно.

Она какъ-нибудь угадала или услѣдила перспективу впечатлѣній, борьбу чувствъ, и предузнаетъ ходъ и, можетъ-быть, драму страсти, и понимаетъ, какъ глубоко входитъ эта драма въ жизнь женщины.

Эта преждевременная чуткость не есть непремѣнно плодъ опытности. Предвидѣнія и предчувствія будущихъ шаговъ жизни даются острымъ и наблюдательнымъ умамъ вообще,

женскимъ въ особенности, часто безъ опыта, предтечей которому у тонкихъ натуръ служитъ инстинктъ.

Онъ готовитъ ихъ къ опыту по какимъ-то намекамъ, непонятнымъ для наивныхъ натуръ, но явнымъ для открытыхъ, острыхъ глазъ, которые способны, при блескѣ молніи, разрѣзавшей тучи, схватить весь рисунокъ освѣщенной мѣстности и удержать въ памяти.

А у Вѣры именно такіе глаза: она броситъ всего одинъ взглядъ на толпу, въ церкви, на улицѣ, и сейчасъ увидитъ кого ей нужно, также однимъ взглядомъ и на Волгѣ она замѣтитъ и судно, и лодку въ другомъ мѣстѣ, и пасущихся лошадей на островѣ, и бурлаковъ на баркѣ, и чайку, и дымокъ изъ трубы въ дальней деревушкѣ. И умъ, кажется, у ней былъ такой же быстрый, ничего не пропускающій, какъ глаза.

Не все, конечно, знаетъ Вѣра въ игрѣ или борьбѣ сердечныхъ движеній, но однакоже она, какъ по всему видно, понимаетъ, что тамъ таится цѣлая область радостей, горя, что умъ, самолюбіе, стыдливость, нѣга, участвуютъ въ этомъ вихрѣ и волнуютъ человѣка. Инстинктъ у ней шелъ далеко впереди опыта.

Вотъ объ этомъ и хотѣлось бы поговорить Райскому съ ней, допытаться, почему ей этотъ міръ волненій какъ будто знакомъ, отчего она такъ сознательно, гордо и упрямо отвергаетъ его поклоненіе.

Но она и вида не показываетъ, что замѣчаетъ его желаніе проникнуть ея тайны, и если у него вырвется намекъ— она молчитъ, если въ книгѣ идетъ рѣчь объ этомъ, она слушаетъ равнодушно, какъ Райскій голосомъ ни напираетъ на томъ мѣстѣ.

У него, отъ напряженныхъ усилій разгадать и обратить Вѣру къ жизни («а не отъ любви», думалъ онъ), накипало на сердцѣ, нервы раздражались опять, онъ становился ѣдокъ

и золъ. Тогда пропадала веселость, надоѣдалъ трудъ, не помогали развлеченія.

— Это не опытъ, а пытка!—говорилъ онъ въ такіе мрачные дни, и боязливо спрашивалъ себя, къ чему ведетъ вся эта тактика и откуда она у него проистекаетъ?

И совѣстно ему было по временамъ, когда онъ трезво оглядывался вокругъ, какъ это онъ довелъ себя до такой подчиненной роли передъ дѣвочкой, которая мудритъ надъ нимъ, какъ надъ школьникомъ, подсмѣивается и платитъ за всю его дружбу безнадежнымъ равнодушіемъ?

Онъ опять подкарауливалъ въ себѣ подозрительные взгляды, которые бросалъ на Вѣру, разъ или два онъ спрашивалъ у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее въ домѣ, полдня просидѣлъ у обрыва и, не дождавшись, пошелъ къ ней и спросилъ, гдѣ она была, стараясь сдѣлать вопросъ небрежно.

— Была тамъ, на берегу, на Волгѣ, — еще небрежнѣе отвѣчала она.

Онъ только хотѣлъ уличить ее, что онъ тамъ караулилъ и что ея не было, но удержался, зато у него вырвался взглядъ изумленія и былъ ею замѣченъ. Но она даже не дала себѣ труда объясниться, отчего вышло противорѣчіе и какимъ путемъ она воротилась съ берега.

Но она была тамъ, или гдѣ-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надѣла, воротясь, вмѣсто ботинокъ, туфли, вмѣсто платья, блузу, и руки у ней были нѣсколько горячи.

Онъ, однако, продолжалъ работать надъ собой, чтобы окончательно завоевать спокойствіе, опять ѣздилъ по городу, опять заговаривалъ съ смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью отъ ея отвѣтовъ. Даже иногда вновь пытался возбудить въ Мариникѣ какую-нибудь искру поэтическаго, нѣсколько мечтательнаго, нѣсколько бурнаго чувства, не къ себѣ, нѣтъ, а только по-

женскимъ въ особенности, часто безъ опыта, предтечей которому у тонкихъ натуръ служитъ инстинктъ.

Онъ готовитъ ихъ къ опыту по какимъ-то намекамъ, непонятнымъ для наивныхъ натуръ, но явнымъ для открытыхъ, острыхъ глазъ, которые способны, при блескѣ молніи, разрѣзавшей тучи, схватить весь рисунокъ освѣщенной мѣстности и удержать въ памяти.

А у Вѣры именно такіе глаза: она броситъ всего одинъ взглядъ на толпу, въ церкви, на улицѣ, и сейчасъ увидитъ кого ей нужно, также однимъ взглядомъ и на Волгѣ она замѣтитъ и судно, и лодку въ другомъ мѣстѣ, и пасущихся лошадей на островѣ, и бурлаковъ на баркѣ, и чайку, и дымокъ изъ трубы въ дальней деревушкѣ. И умъ, кажется, у ней былъ такой же быстрый, ничего не пропускающій, какъ глаза.

Не все, конечно, знаетъ Вѣра въ игрѣ или борьбѣ сердечныхъ движеній, но однакоже она, какъ по всему видно, понимаетъ, что тамъ таится цѣлая область радостей, горя, что умъ, самолюбіе, стыдливость, нѣга, участвуютъ въ этомъ вихрѣ и волнуютъ человѣка. Инстинктъ у ней шелъ далеко впереди опыта.

Вотъ объ этомъ и хотѣлось бы поговорить Райскому съ ней, допытаться, почему ей этотъ міръ волненій какъ будто знакомъ, отчего она такъ сознательно, гордо и упрямо отвергаетъ его поклоненіе.

Но она и вида не показываетъ, что замѣчаетъ его желаніе проникнуть ея тайны, и если у него вырвется намекъ— она молчитъ, если въ книгѣ идетъ рѣчь объ этомъ, она слушаетъ равнодушно, какъ Райскій голосомъ ни напираетъ на томъ мѣстѣ.

У него, отъ напряженныхъ усилій разгадать и обратить Вѣру къ жизни («а не отъ любви», думалъ онъ), накипало на сердцѣ, нервы раздражались опять, онъ становился ѣдокъ

и золъ. Тогда пропадала веселость, надоѣдалъ трудъ, не помогали развлеченія.

— Это не опытъ, а пытка!—говорилъ онъ въ такіе мрачные дни, и боязливо спрашивалъ себя, къ чему ведетъ вся эта тактика и откуда она у него проистекаетъ?

И совѣстно ему было по временамъ, когда онъ трезво оглядывался вокругъ, какъ это онъ довелъ себя до такой подчиненной роли передъ дѣвочкой, которая мудритъ надъ нимъ, какъ надъ школьникомъ, подсмѣивается и платитъ за всю его дружбу безнадежнымъ равнодушіемъ?

Онъ опять подкарауливалъ въ себѣ подозрительные взгляды, которые бросалъ на Вѣру, разъ или два онъ спрашивалъ у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее въ домѣ, полдня просидѣлъ у обрыва и, не дождавшись, пошелъ къ ней и спросилъ, гдѣ она была, стараясь сдѣлать вопросъ небрежно.

— Была тамъ, на берегу, на Волгѣ, — еще небрежнѣе отвѣчала она.

Онъ только хотѣлъ уличить ее, что онъ тамъ караулилъ и что ея не было, но удержался, зато у него вырвался взглядъ изумленія и былъ ею замѣченъ. Но она даже не дала себѣ труда объясниться, отчего вышло противорѣчіе и какимъ путемъ она воротилась съ берега.

Но она была тамъ, или гдѣ-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надѣла, воротясь, вмѣсто ботинокъ, туфли, вмѣсто платья, блузу, и руки у ней были нѣсколько горячи.

Онъ, однако, продолжалъ работать надъ собой, чтобы окончательно завоевать спокойствіе, опять ѣздилъ по городу, опять заговаривалъ съ смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью отъ ея отвѣтовъ. Даже иногда вновь пытался возбудить въ Марѳинькѣ какую-нибудь искру поэтическаго, нѣсколько мечтательнаго, нѣсколько бурнаго чувства, не къ себѣ, нѣтъ, а только по-

вѣять на нее какимъ-нибудь свѣжимъ и новымъ воздухомъ жизни; но все отскакивало отъ этой ясной, чистой и тихой натуры.

Иногда онъ какъ будто и расшевелитъ ее, она согласится съ нимъ, выслушаетъ задумчиво, если онъ скажетъ ей что-нибудь «умное» или «мудреное», а черезъ пять минутъ, онъ слышитъ, ея голосъ гдѣ-нибудь вверху уже поетъ: «Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя», или рисуетъ она букетъ цвѣтовъ, семейство голубей, портретъ съ своего кота, а не то примолкнетъ, сидя гдѣ-нибудь, и читаетъ книжку «съ веселымъ окончаніемъ», или же болтаетъ неумолкаемо и споритъ съ Викентьевымъ.

Протянулась еще недѣля, и скоро долженъ исполниться мѣсяцъ глупому предсказанію Марка, а Райскій чувствовалъ себя свободнымъ «отъ любви». Въ любовь свою онъ не вѣрилъ и относилъ все къ раздраженію воображенія и любопытства.

Случалось даже, что по нѣскольку дней не бывало и раздраженія, и Вѣра являлась ему безразлично съ Марѳинькой: обѣ казались парой прелестныхъ институтокъ на выпускѣ, съ институтскими тайнами, обожаніемъ, со всею мечтательною теоріею и взглядами на жизнь, какіе только устанавливаются въ головѣ институтки—впредь до опыта, который и перевернетъ все вверхъ дномъ.

Вѣра приходила и уходила, онъ замѣчалъ это, но не вздрагивалъ, не волновался, не добивался ея взгляда, слова, и вставши однажды утромъ, почувствовалъ себя совершенно твердымъ, т.-е. равнодушнымъ и свободнымъ, не только отъ желанія добиваться чего-нибудь отъ Вѣры, но даже отъ желанія пріобрѣтать ея дружбу.

«Я совсѣмъ теперь холоденъ и покоенъ и могу, по уговору, объявить, наконецъ, ей, что я готовъ, опытъ конченъ—я ей другъ, такой, какихъ множество у всѣхъ. А на-дняхъ

и уѣду. Да, надо еще повидаться съ «Варравой» и стащить съ него послѣдніе панталоны: не держи пари!

Онъ мимоходомъ подтвердилъ Егоркѣ, чтобы тотъ принесъ чемоданъ съ чердака и приготовился къ отъѣзду.

Онъ пошелъ къ Леонтью справиться, гдѣ въ настоящую минуту витаетъ Маркъ, и засталъ ихъ обоихъ за завтракомъ.

— Знаете что̀, — сказалъ Маркъ, глядя на него: — вы могли бы сдѣлаться порядочнымъ человѣкомъ, если бъ были посмѣлѣе.

— То-есть, если бъ у меня хватило смѣлости подстрѣлить кого-нибудь, или разбить ночью трактиръ! — отвѣчалъ Райскій.

— Ну, гдѣ вамъ разбить ночью трактиръ! Да и не нужно — у бабушки вѣчный трактиръ. Нѣтъ, спасибо и на томъ, что выгнали изъ дома старую свинью. Говорятъ, вдвоемъ съ бабушкой: молодцы!

— Почемъ вы знаете?

— Весь городъ говоритъ! Хорошо! Я уже хотѣлъ къ вамъ съ почтеніемъ идти, да вдругъ, слышу, вы съ губернаторомъ связались, зазвали къ себѣ и ходили передъ нимъ съ той же бабушкой на заднихъ лапахъ! Вотъ это скверно! А я было думалъ, что вы и его за тѣмъ позвали, чтобъ спихнуть съ крыльца.

— Это называется, кажется, «гражданскимъ мужествомъ»?—сказалъ Райскій.

— Да ужъ не знаю, какое, а только я вамъ какъ-нибудь покажу образчикъ этого мужества. Вотъ тутъ что-то часто сталъ ѣздить мимо нашихъ огородовъ полицеймейстеръ: это, должно-быть, его превосходительство изволитъ безпокоиться и посылаетъ узнавать о моемъ здоровьи, о моихъ удовольствіяхъ. Ну, хорошо же!.. Теперь я воспитываю пару бульдоговъ: еще недѣли не прошло, какъ они у меня, а ужъ на огородахъ у насъ ни одной кошки не осталось... Я ихъ по-

сажу теперь на чердакъ, въ темноту, а когда полковникъ, или его свита, изволятъ пожаловать, такъ мои птенцы и вырвутся... нечаянно, конечно.

— Ну, я пришелъ съ вами проститься — скоро ѣду!— сказалъ Райскій.

— Вы ѣдете?—съ изумленіемъ спросилъ Маркъ.

— А что?

— Мнѣ нужно бы сказать вамъ нѣсколько словъ...—тихо и серьезно добавилъ онъ.

Райскій, въ свою очередь, съ удивленіемъ поглядѣлъ на него.

— Что вамъ? говорите! — сказалъ онъ: — не денегъ ли опять?

— Пожалуй, и денегъ опять — да теперь не о деньгахъ рѣчь. Послѣ, я къ вамъ зайду, теперь нельзя...

Онъ кивнулъ на жену Козлова, сидѣвшую тутъ, давая знать, что при ней не хочетъ говорить.

Леонтій всплеснулъ руками, услыхавъ объ отъѣздѣ Райскаго; жена его надулась.

— Какъ же, кто васъ пуститъ?—шептала она:—хороши; такъ-то помните свою Улиньку? Ни разу безъ мужа не пришли ко мнѣ?..

Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него съ печальной усмѣшкой.

— А деньги принесли?—вдругъ спросилъ Маркъ:—триста рублей пари?

Райскій иронически поглядывалъ на него.

— Ну, что же, панталоны гдѣ?—сказалъ онъ.

— Я не шучу, давайте триста рублей.

— За что? Я не влюбленъ, какъ видите.

— Нѣтъ, я вижу, что вы по уши влюблены.

— Какъ же это видите?

— Да такъ, по рожѣ.

— Смотрите же: мѣсяцъ прошелъ—и пари кончено. Мнѣ

вашихъ панталонъ не нужно—я ихъ вамъ дарю, въ придачу къ пальто.

— Какъ же это ты... ѣдешь!... — съ горестью говорилъ Козловъ:—а книги?

— Какія книги?

— А эти, твои,—вотъ онѣ, всѣ цѣлы, вотъ по каталогу, въ порядкѣ...

— Вѣдь я тебѣ подарилъ ихъ.

— Да полно шутить, скажи, куда ихъ?

— Прощайте, мнѣ некогда. Съ книгами не приставай, сожгу,—сказалъ Райскій.—Ну, мудрецъ, по рожамъ узнающій влюбленныхъ — прощайте! Не знаю, встрѣтимся ли опять...

— Деньги подайте — это безчестно не отдавать, — говорилъ Маркъ:—я вижу любовь: она, какъ корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпетъ... Вонъ, лицо ужъ красное! Какая досада, что я срокъ назначилъ! Отъ собственной глупости потерялъ триста рублей!

— Прощайте!

— Вы не уѣдете,—сказалъ Маркъ.

— Я еще зайду къ тебѣ, Козловъ... я на той недѣлѣ уѣду,—обратился Райскій къ Леонтью.

— Ну, такъ не уѣдете!—повторилъ Маркъ.

— А что жъ твой романъ?—спросилъ Леонтій:—вѣдь ты хотѣлъ кончить здѣсь.

— Я ужъ у конца — только привести въ порядокъ, въ Петербургѣ займусь.

— И романа не кончите, ни живого, ни бумажнаго!—замѣтилъ Маркъ.

Райскій живо обернулся къ нему, хотѣлъ что-то сказать, но отвернулся съ досадой и ушелъ.

— Отчего же ты думаешь, что онъ романа не кончитъ?—спросилъ Леонтій Марка.

— Гдѣ ему! — съ язвительнымъ смѣхомъ отвѣчалъ Маркъ: — онъ неудачникъ!

V.

Райскій пошелъ домой, чтобъ поскорѣе объясниться съ Вѣрой, но не въ томъ уже смыслѣ, какъ было положено между ними. Побѣда надъ собой была до того вѣрна, что онъ стыдился прошедшей слабости и ему хотѣлось немного отмстить Вѣрѣ за то, что она поставила его въ это положеніе.

Онъ дорогой придумалъ до десяти редакцій послѣдняго разговора съ ней. И тутъ опять воображеніе стало рисовать ему, какъ онъ явится ей въ новомъ, неожиданномъ образѣ, смѣлый, насмѣшливый, свободный отъ всякихъ надеждъ, нечувствительный къ ея красотѣ, какъ она удивится, можетъ-быть... опечалится!

Наконецъ, онъ остановился на одной редакціи разговора дружеской, но учтиво-покровительственной и, въ результатѣ, совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно въ приличной и доступной ей степени и формѣ, всю длинную исповѣдь своихъ увлеченій, поставить на невѣдомую ей высоту Бѣловодову, облить ее блескомъ красоты, женской прелести, такъ, чтобы бѣдная Вѣра почувствовала себя просто Сандрильоной передъ ней, и потомъ повѣдать о томъ, какъ и эта красота жила только недѣлю въ его воображеніи.

Онъ хотѣлъ осыпать жаркими похвалами Мароиньку и въ заключеніе упомянуть вскользь и о Вѣрѣ, благосклонно отозваться о ея красотѣ, о своемъ легкомъ увлеченіи, и всѣхъ ихъ поставить на одну доску, выдвинувъ напередъ другихъ, а Вѣру оставить въ тѣни, на заднемъ планѣ.

Онъ трепеталъ отъ радости, создавъ въ воображеніи цѣлую картину — сцену ея и своего положенія, ея смущенія, сожалѣній, которыя, можетъ-быть, онъ забросилъ ей въ

сердце и которыхъ она теперь еще не сознаетъ, но сознаетъ, когда его не будетъ около.

Онъ такъ цѣликомъ и хотѣлъ внести эту картину-сцену въ свой проектъ и ею закончить романъ, набросавъ на свои отношенія съ Вѣрой таинственный полу-покровъ: онъ уѣзжаетъ непонятый, неоцѣненный ею, съ презрѣніемъ къ любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дѣло люди, а она останется съ жаломъ—не любви, а предчувствія ея въ будущемъ, и съ сожалѣніемъ объ утратѣ, съ туманными тревогами сердца, со слезами, и потомъ вѣчной, тихой тоской до замужества—съ совѣтникомъ палаты! Оно не совсѣмъ такъ, но вѣдь романъ—не дѣйствительность, и эти отступленія отъ истины онъ называлъ «литературными пріемами».

У него даже духъ занимался отъ предчувствія, какъ это будетъ эффектно и въ дѣйствительности, и въ романѣ.

Онъ сдѣлалъ гримасу, встрѣтивши бабушку, уже слышавшую отъ Егорки, что баринъ велѣлъ осмотрѣть чемоданъ и приготовить къ слѣдующей недѣлѣ бѣлье и платье.

Новость облетѣла весь домъ. Всѣ видѣли, какъ Егорка потащилъ чемоданъ въ сарай смести съ него пыль и паутину, но дорогой предварительно успѣлъ надѣть его на голову мимо-шедшей Анюткѣ, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а онъ захихикалъ и скрылся.

Бабушка была поражена неожиданною вѣстью.

— Это ты что затѣялъ, Борюшка?—приступила-было она къ нему и осыпала его упреками, закидала вопросами—но онъ отдѣлался отъ нея и пошелъ къ Вѣрѣ.

Тихо, съ замирающимъ отъ нетерпѣнія сердцемъ предстать въ новомъ видѣ, пробрался онъ до ея комнаты, неслышно дошелъ по ковру къ ней.

Она сидѣла за столомъ, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо, на простой синей бумагѣ, на-

писанное, какъ онъ мелькомъ замѣтилъ, безпорядочными строками и запечатанное бурымъ сургучомъ.

— Вѣра!—сказалъ онъ тихо.

Она вздрогнула отъ испуга такъ, что и онъ задрожалъ. Въ это же мгновеніе рука ея съ письмомъ быстро опустилась въ карманъ.

Оба они неподвижно глядѣли другъ на друга.

— Извини, ты занята?—сказалъ онъ, пятясь отъ нея, но не уходя.

Она молчала и мало-по-малу приходила отъ испуга въ себя, не спуская съ него глазъ и все стоя, какъ встала съ мѣста, не вынимая руки изъ кармана.

— Письмо?—говорилъ онъ, глядя на карманъ.

Она глубже опустила туда руку. У него въ одну минуту возникли подозрѣнія насчетъ Вѣры, мелькнуло въ головѣ и то, какъ она недавно обманула его, сказавъ, что была на Волгѣ, а сама, очевидно, тамъ не была.

«Что это такое?» со страхомъ подумалъ онъ.

— Должно-быть, интересное письмо и большой секретъ!—съ принужденной улыбкой сказалъ онъ. — Ты такъ быстро спрятала.

Она сѣла на диванъ и продолжала глядѣть на него уже равнодушно.

«Нѣтъ, ужъ теперь не надуешь этимъ равнодушіемъ!» подумалъ онъ.

— Покажи письмо...—сказалъ онъ шутливо, не твердымъ отъ волненія голосомъ.

Она съ удивленіемъ взглянула на него и плотнѣе прижала руку къ карману.

— Не покажешь?

Она покачала головой.

— Зачѣмъ?—спросила потомъ.

— Разумѣется, мнѣ не нужно: что интереснаго въ чужомъ письмѣ? Но докажи, что ты довѣряешь мнѣ и что въ самомъ

дѣлѣ дружна со мной. Ты видишь, я равнодушенъ къ тебѣ. Я шелъ успокоить тебя, посмѣяться надъ твоей осторожностью и надъ своимъ увлеченіемъ. Погляди на меня: таковъ ли я, какъ былъ?.. — «ахъ, чортъ возьми, это письмо изъ головы нейдетъ!» думалъ между тѣмъ самъ.

Она поглядѣла на него, точно ли онъ равнодушенъ. Лицо, пожалуй, и равнодушно, но голосомъ онъ какъ будто проситъ милостыню.

— Не покажешь? Ну, Богъ съ тобой!—полупечально сказалъ онъ.—Я пойду.

Онъ обернулся къ дверямъ.

— Постойте,—сказала она.

Потомъ пошарила немного рукой въ карманѣ, вынула письмо и подала ему.

Онъ поглядѣлъ на обѣ стороны и взглянулъ на подпись: Pauline Kritzki.

— Это не то письмо,—сказалъ онъ, подавая его назадъ.

— А развѣ вы видѣли другое?—спросила она сухо.

Онъ боялся признаться, что видѣлъ, чтобъ опять не уличила она его въ шпіонствѣ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ.

— Ну, такъ читайте.

«Ma belle, charmante, divine Вѣра Васильевна?» начиналось письмо: «я въ восторгѣ, становлюсь на колѣни передъ вашимъ милымъ, благороднымъ, прекраснымъ братомъ! Онъ отомстилъ за меня, я торжествую и плачу отъ радости. Онъ былъ великъ! Скажите ему, что онъ мой рыцарь и навсегда, что я его вѣчная, послушная раба! Ахъ, какъ я его уважаю... сказала бы... слово вертится на языкѣ,—но не смѣю... Почему не смѣть? Да, я его люблю, нѣтъ, боготворю! Всѣ мужчины должны пасть на колѣни передъ нимъ!!..»

Райскій отдалъ было письмо назадъ.

— Нѣтъ, продолжайте,—сказала Вѣра:—тамъ есть просьба до васъ.

Райскій пропустилъ нѣсколько строкъ и читалъ дальше.

«Упросите, умолите вашего брата — онъ васъ обожаетъ, о, не защищайтесь — я замѣтила его страстные взгляды... Боже, зачѣмъ я не на вашемъ мѣстѣ!.. Упросите его, душечка Вѣра Васильевна, сдѣлать мой портретъ — онъ обѣщалъ. Богъ съ нимъ — съ портретомъ, но чтобъ мнѣ быть только съ артистомъ, видѣть его, любоваться имъ, говорить, дышать съ нимъ однимъ воздухомъ! Я чувствую, ахъ, я чувствую... Ma pauvre tête, je deviens folle! Je compte sur vous, ma belle et bonne amie, et j'attends la réponse...»

— Что жъ отвѣчать ей?—спросила Вѣра, когда Райскій положилъ письмо на столъ.

Онъ молчалъ, не слыхавъ вопроса, все думая, отъ кого другое письмо и отчего она его прячетъ?

— Написать, что вы согласны?

— Боже сохрани—ни за что!—опомнившись, съ досадой сказалъ Райскій.

— Какъ же быть: она хочетъ «дышать съ вами однимъ воздухомъ...»

У ней задрожалъ подбородокъ.

— Чортъ съ ней, я задохнусь въ этомъ воздухѣ.

— А если бъ я васъ попросила?—сказала она грудным шопотомъ, кокетливо поглядѣвъ на него.

Сердце у него перевернулось.

— Ты? зачѣмъ тебѣ это нужно?

— Такъ, мнѣ хочется сдѣлать ей что-нибудь пріятное... — сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтобъ хоть немного отучить Райскаго отъ себя.

Она знала, что Полина Карповна вцѣпится въ него и не скоро выпуститъ его изъ рукъ.

— Ты примешь за знакъ дружбы, если я исполню это?

Она кивнула головой.

— Но вѣдь это жертва?

— Вы напрашивались на нихъ: вотъ одна...

— Ты требуешь!—сказалъ онъ, наступая на нее.

— Не надо, не надо, я ничего не требую! — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая.

— Вотъ ужъ и испугалась моей жертвы! Хорошо, изволь: принеси и ты двѣ маленькія жертвы, чтобъ не обязываться мной. Вѣдь ты не допускаешь въ дружбѣ одолженій: видишь, я вхожу въ твою теорію, мы будемъ квиты.

Она вопросительно глядѣла на него.

— Первое, будь при сеансахъ и ты; а то я съ перваго же раза убѣгу отъ нея: согласна?

Она, нехотя, задумчиво кивнула головой. Ей ужъ не хотѣлось отъ него этого одолженія, когда хитрость ея не удалась и ей самой приходилось сидѣть вмѣстѣ съ ними.

— Во-вторыхъ... — сказалъ онъ и остановился, а она ждала съ любопытствомъ.—Покажи другое письмо!

— Какое?

— Что быстро спрятала въ карманъ.

— Тамъ нѣтъ.

— Есть: вонъ, я вижу, оно оттопыривается!

Она опять опустила руку въ карманъ.

— Вы сказали, что не видали другого письма: я вамъ показала одно.—Чего вамъ еще?

— Этого письма ты не спрятала бы съ такимъ испугомъ. Покажешь?

— Вы опять за свое, — сказала она съ упрекомъ, перебирая рукой въ карманѣ, гдѣ въ самомъ дѣлѣ шумѣла бумага.

— Ну, не надо—я пошутилъ: только, ради Бога, не принимай этого за деспотизмъ, за шпіонство, а просто за любопытство. А впрочемъ, Богъ съ тобой и съ твоими секретами!—сказалъ онъ, вставая, чтобъ уйти.

— Никакихъ секретовъ нѣтъ,—сухо отвѣчала она.

— Знаешь ли, что я ѣду скоро?—вдругъ сказалъ онъ.

— Знаю, слышала—только правда ли?

— Почему жъ ты сомнѣваешься?

Она молчала, опустивъ глаза.

— Ты довольна?

— Да...—отвѣчала она тихо.

— Отчего же? — съ унынiемъ спросилъ онъ и подошелъ къ ней.

— Отчего?..

Она подумала, подумала, потомъ опустила руку въ карманъ, достала и другое письмо, пробѣжала его глазами, взяла перо, тщательно вымарала нѣкоторыя слова и строки въ разныхъ мѣстахъ и подала ему:

— Я ужъ вамъ говорила отчего: вотъ еще—прочтите!—сказала она и опустила руку опять въ карманъ.

Онъ погрузился въ чтенiе. А она стала смотрѣть въ окно.

Письмо было написано мелкимъ женскимъ почеркомъ. Райскiй читалъ: «Я кругомъ виновата, милая Наташа»...

— Кто это Наташа?

— Жена священника, моя подруга по пансiону.

— А, попадья? Такъ это ты пишешь: ахъ, это любопытно! — сказалъ Райскiй, и даже потеръ колѣнки одна о другую отъ предстоящаго удовольствiя, и погрузился въ чтенiе.

«Я кругомъ виновата, милая Наташа, что не писала къ тебѣ по возвращенiи домой: по обыкновенiю, лѣнилась, а кромѣ того были другiя причины, о которыхъ ты сейчасъ узнаешь. Главную изъ нихъ ты знаешь — это... (тутъ три слова были зачеркнуты)... и что иногда не на шутку тревожитъ меня. Но объ этомъ наговоримся при свиданiи.

«Другая причина — пріѣздъ нашего родственника Бориса Павловича Райскаго. Онъ живетъ теперь съ нами и, на бѣду мою, почти не выходитъ изъ дома, такъ что я недѣли двѣ только и дѣлала, что пряталась отъ него. Какую

бездну ума, разныхъ знаній, блеска, талантовъ, и вмѣстѣ шума, или «жизни», какъ говоритъ онъ, привезъ онъ съ собой, и всѣмъ этимъ взбудоражилъ весь домъ, начиная съ насъ, т.-е. бабушки, Марѳиньки, меня—и до Марѳинькиныхъ птицъ! Можетъ-быть, это заняло бы и меня прежде, а теперь, ты знаешь, какъ это для меня неловко, несносно...

«А онъ, пріѣхавши въ свое помѣстье, вообразилъ, что не только оно, но и все, что̀ въ немъ живетъ — его собственность. На правахъ какого-то родства, котораго и назвать даже нельзя, и еще потому, что онъ видѣлъ насъ маленькихъ, онъ поступаетъ съ нами какъ съ дѣтьми, или какъ съ пансіонерками. Я прячусь-прячусь, и едва достигла того, что онъ не видитъ, какъ я сплю, о чемъ мечтаю, чего надѣюсь и жду.

«Я отъ этого преслѣдованія чуть не захворала, не видалась *ни съ кѣмъ*, не писала *ни къ кому*, и даже къ тебѣ, и чувствовала себя точно въ тюрьмѣ. Онъ какъ будто играетъ, можетъ-быть, даже нѣхотя, со мной. Сегодня холоденъ, равнодушенъ, а завтра опять глаза у него блестятъ, и я его боюсь, какъ боятся сумасшедшихъ. Хуже всего то, что онъ самъ не знаетъ себя, и потому нельзя положиться на его намѣренія и обѣщанія: сегодня рѣшится на одно, а завтра сдѣлаетъ другое.

«Онъ «нервозенъ, впечатлителенъ и страстенъ»: такъ онъ говоритъ про себя—и это, кажется, вѣрно. Онъ не актеръ, не притворяется: для этого онъ слишкомъ уменъ и образованъ, и притомъ честенъ. «Такая натура!» оправдывается онъ.

«Онъ какой-то артистъ: все рисуетъ, пишетъ, фантазируетъ на фортепіано (и очень мило), бредитъ искусствомъ, но, кажется, какъ и мы грѣшные, ничего не дѣлаетъ и чуть ли не всю жизнь проводитъ въ томъ, что «поклоняется красотѣ», какъ онъ говоритъ: просто влюбчивъ по-нашему, какъ, помнишь, Дашенька Сѣмечкина, которая была однажды заочно влюблена въ испанскаго принца, увидѣвши портретъ

его въ нѣмецкомъ календарѣ, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей: только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, какъ съ нимъ держать себя.

«Теперь онъ ищетъ моей дружбы, но я и дружбы его боюсь, боюсь всего отъ него, боюсь... (тутъ было зачеркнуто цѣлыхъ три строки). Ахъ, если бъ онъ уѣхалъ отсюда! Страшно и подумать, если онъ когда-нибудь... (опять зачеркнуто нѣсколько словъ).

«А мнѣ одно нужно: покой! И докторъ говоритъ, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать, и слава Богу, что онъ натвердилъ это бабушкѣ: меня оставляютъ въ покоѣ. Мнѣ не хотѣлось бы выходить изъ моего круга, который я очертила около себя: никто не переходитъ за эту черту, я такъ поставила себя, и въ этомъ весь мой покой, все мое счастіе.

«Если Райскій какъ-нибудь перешагнетъ эту черту, тогда мнѣ останется одно: бѣжать отсюда! Легко сказать — бѣжать, а куда? Мнѣ вмѣстѣ и совѣстно: онъ такъ милъ, добръ ко мнѣ, къ сестрѣ—осыпаетъ насъ дружбой, ласками, еще хочетъ подарить этотъ уголокъ... этотъ рай, гдѣ я узнала, что живу, не прозябаю!.. Совѣстно, зачѣмъ онъ расточаетъ эти незаслуженныя ласки, зачѣмъ такъ старается блистать передо мною и хлопочетъ возбудить во мнѣ нѣжное чувство, хотя я лишила его всякой надежды на это. Ахъ, если бъ онъ зналъ, какъ напрасно все!

«Ну, теперь скажу тебѣ кое-что о томъ»...

Письмо оканчивалось этой строкой. Райскій дочиталъ—и все глядѣлъ на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. Въ письмѣ о самой Вѣрѣ не было почти ничего: она оставалась въ тѣни, а освѣщенъ одинъ онъ—и какъ ярко!

Онъ все думалъ надъ письмомъ, оглядывая его со всѣхъ сторонъ. Потомъ вдругъ очнулся.

— Это опять не то письмо: то на синей бумагѣ написано!— рѣзко сказалъ онъ, обращаясь къ Вѣрѣ: — а это на бѣлой...

Но Вѣры ужъ не было въ комнатѣ.

VI.

Райскій пришелъ къ себѣ и началъ съ того, что списалъ письмо Вѣры слово въ слово въ свою программу, какъ матеріалъ для характеристики. Потомъ онъ погрузился въ глубокое раздумье, не о томъ, что она писала о немъ самомъ: онъ не обидѣлся ея строгими отзывами и сравненіемъ его съ какой-то влюбчивой Дашенькой.

«Что она смыслитъ въ художественной натурѣ!» подумалъ онъ.

Его поглотили соображенія о томъ, что письмо это было отвѣтомъ на его вопросъ: рада ли она его отъѣзду! Ему теперь дѣла не было, будетъ ли отъ этого хорошо Вѣрѣ, или нѣтъ, что онъ уѣдетъ, и ему не хотѣлось уже приносить этой «жертвы».

Лишь только червь сомнѣнія вползъ къ нему въ душу, имъ овладѣлъ грубый эгоизмъ: *я* выступило впередъ и требовало жертвъ себѣ.

И все раздумывалъ онъ: отъ кого другое письмо? Онъ задумчиво ходилъ цѣлый день, машинально обѣдалъ, не говорилъ съ бабушкой и Марфинькой, ушелъ отъ ея гостей, не сказавши ни слова, велѣлъ Егоркѣ вынести чемоданъ опять на чердакъ и ничего не дѣлалъ.

Съ мыслью о письмѣ и сама Вѣра засіяла опять и приняла въ его воображеніи образъ какого-то таинственнаго, могучаго, облеченнаго въ красоту зла, и тѣмъ еще сильнѣе и язвительнѣе казалась эта красота. Онъ сталъ чувствовать въ себѣ припадки ревности, перебиралъ всѣхъ, кто былъ

вхожъ въ домъ, освѣдомлялся осторожно у Мароиньки и бабушки, къ кому онѣ всѣ пишутъ и кто пишетъ къ нимъ.

— Да кто пишетъ? Ко мнѣ никто,—сказала бабушка:— а къ Мароинькѣ недавно изъ лавки купецъ письмо прислалъ...

— Это, бабушка, не письмо, а счетъ за шерсть, за узоры: я забирала у него.

— А къ Вѣрочкѣ купецъ не присылалъ? — спросилъ Райскій.

— И къ ней присылалъ: она для попадьи забирала...

— Не на синей ли бумагѣ?

— Да, на синей: вы почемъ знаете? Онъ все на синей бумагѣ пишетъ.

Онъ не отвѣчалъ. Ему стало-было легче.

«А зачѣмъ же прятать его?» вдругъ шевельнулось опять, и опять пошла на цѣлый день грызть забота.

«Да что мнѣ за дѣло, чортъ возьми, вѣдь не влюбленъ же я въ эту статую!» думалъ онъ, вдругъ останавливаясь на дорожкѣ и ворочая одурѣлыми глазами вокругъ.

«Вонъ гдѣ гнѣздится змѣя!» думалъ опять, глядя злобно на ея окно съ отдувающейся занавѣской.

— Пойду прочь, а то еще подумаетъ, что занимаюсь ею... дрянь! — ворчалъ онъ вслухъ, а ноги сами направлялись уже къ ея крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и онъ торопливо вернулся къ себѣ, облокотился на столъ локтями и просидѣлъ такъ до вечера.

«Что я теперь буду дѣлать съ романомъ?» размышлялъ онъ: «хотѣлъ закончить, а вотъ теперь въ сторону бросило и опять не видать конца!»

Онъ швырнулъ тетради въ уголъ.

Все прочее вылетѣло опять изъ головы: бабушкины гости, Маркъ, Леонтій, окружающая идиллія — пропали изъ глазъ. Одна Вѣра стояла на пьедесталѣ, освѣщаемая блескомъ солнца и сіяющая въ мраморномъ равнодушіи, пове-

лительнымъ жестомъ запрещающая ему приближаться, и онъ закрывалъ глаза передъ ней, клонилъ голову и мысленно говорилъ:

— Вѣра, Вѣра, пощади меня, смотри, я убитъ твоей ядовитой красотой. Никто никогда не язвилъ меня... и т. д.

То являлась она въ полумракѣ, какъ настоящая ночь, съ звѣзднымъ блескомъ, съ злой улыбкой, съ таинственнымъ, нѣжнымъ шопотомъ къ кому-то и съ насмѣшливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смѣлая и злая!

Ночью онъ не спалъ, днемъ ни съ кѣмъ не говорилъ, мало ѣлъ, и даже похудѣлъ немного—и все отъ такихъ пустяковъ, отъ ничтожнаго вопроса: отъ кого письмо?

Скажи она, вотъ отъ такого-то, или отъ такой-то, и кончено дѣло, онъ и спокоенъ. Стало-быть, въ немъ теперь неугомонное, раздраженное любопытство — и больше ничего. Удовлетвори она этому любопытству, тревога и пройдетъ. Въ этомъ и вся тайна.

— Надо узнать, отъ кого письмо, во что бы то ни стало,— рѣшилъ онъ: — а то меня лихорадка бьетъ. Только лишь узнаю, такъ успокоюсь и уѣду!—сказалъ онъ и пошелъ къ ней тотчасъ послѣ чаю.

Ея не было дома; Марина сказала, что барышня надѣла шляпку, мантилью, взяла зонтикъ и ушла.

— Куда?

— Богъ ихъ знаетъ,—отвѣчала та:—гуляютъ гдѣ-нибудь, вѣдь онѣ не говорятъ, куда идутъ.

— Никогда?

— Никогда, и спрашивать не велятъ: гнѣваются!

И за обѣдомъ ея не было. Новый ужасъ.

— Гдѣ Вѣра?—спросилъ Райскій у бабушки.

Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Онъ къ Мареинькѣ:

— Не знаю, братецъ. Я видѣла давеча изъ окна, что она въ деревню пошла.

— Гдѣ же она обѣдаетъ?

— Молока у мужиковъ спроситъ, или послѣ придетъ, у Марины чего-нибудь спроситъ поѣсть.

— Все не по-людски!—ворчала про-себя бабушка:—своенравная: въ мать! Дались имъ какіе-то нервы! И докторъ тоже все о нервахъ твердитъ. «Не трогайте, не перечьте, берегите!» А онѣ отъ нервъ и куролесятъ!

— Что же вы не спросите, куда она ходитъ одна?—спросилъ Райскій.

— Какъ можно спросить: прогнѣваются! — иронически замѣтила Татьяна Марковна:—на три дня запрутся у себя. Бабушка не смѣй рта разинуть!

— Куда жъ это она одна?..—тихо говорилъ Райскій.

— Она у насъ все одна ходитъ,—отвѣчала Марѳинька.

— А ты?

— Какъ можно: я боюсь.

— Чего?

— Мало ли чего! змѣй, лягушекъ, собакъ, большихъ свиней, воровъ, мертвецовъ... Арины боюсь.

— Какой Арины?

— Дурочка у насъ есть.

— А Вѣра?

— Ничего не боится: даже въ церковь на ночь заприте ее, и то не боится.

— А ты бы спросила ее завтра, Марѳинька, гдѣ она была.

— Разсердится!

— Всѣ боятся, прошу покорно!

На другой день опять она ушла съ утра и вернулась вечеромъ. Райскій просто не зналъ, что̀ дѣлать отъ тоски и неизвѣстности. Онъ караулилъ ее въ саду, въ полѣ, ходилъ по деревнѣ, спрашивалъ даже у мужиковъ, не видали ли

се, заглядывалъ къ нимъ въ избы, забывъ объ уговорѣ не слѣдить за ней.

Ужъ становилось темно, когда онъ, блуждая между деревьями, вдругъ увидѣлъ ее пробирающеюся сквозь чащу кустовъ и деревьевъ, росшихъ по обрыву. Онъ весь задрожалъ и бросился къ ней, такъ что и она вздрогнула и остановилась.

— Кто тутъ?—спросила она.

— Это... ты... Вѣра?..

— Да, я: а что?

— А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты дѣлась?

— Кто?—нахмурившись, спросила она.

— Бабушка и Марѳинька очень безпокоились...

— Что это имъ вздумалось? Никогда не безпокоились, а сегодня?.. Вы бы имъ сказали, что напрасно, что я никого не прошу безпокоиться обо мнѣ.

— И... я тоже самъ...

— Вы? покорно благодарю: зачѣмъ?

— Но вѣдь легко можетъ случиться что-нибудь...

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... бѣда какая-нибудь: мало ли случаевъ? Пьяный народъ шатается... змѣи, воры, собаки, свиньи, мертвецы... — шутливо прибавилъ Райскій, припомнивъ всѣ страхи Марѳиньки:—могутъ испугать...

— Вотъ я только васъ испугалась теперь, а тамъ ни воровъ, ни мертвецовъ нѣтъ.

Она указала на обрывъ.

— До бѣды недалеко: иногда такъ легко погибнуть человѣку...—замѣтилъ онъ.

— Ну, когда я стану погибать, такъ передъ тѣмъ попрошу у васъ или у бабушки позволенія! — сказала она и пошла.

— Гордое твореніе!—прошепталъ онъ.

— На одну минуту, Вѣра,—вслухъ прибавилъ потомъ:— я виноватъ, не возвратилъ тебѣ письма къ попадьѣ. Вотъ оно. Все хотѣлъ самъ отдать, да тебя не было.

Она взяла письмо и положила въ карманъ.

— А то, другое, которое тамъ?..—ласково, но съ дрожью въ голосѣ, спросилъ онъ, наклонясь къ ней.

— Какое то и гдѣ тамъ?

— Другое, синее письмо: въ карманѣ?

У него сердце замирало, онъ ждалъ отвѣта.

Она вывернула на изнанку карманъ.

— Ахъ, ужъ нѣтъ!—сказалъ Райскій:—отъ кого бы оно могло быть?

— То? А отъ попадьи ко мнѣ, — сказала она, помолчавъ:—я на него и отвѣчала.

— Отъ попадьи!—почти закричалъ онъ на весь садъ.

— Да, конечно!—подтвердила она равнодушно и ушла.

— Отъ попадьи!—повторилъ онъ, и у него гора съ плечъ свалилась.—А я бился, бился, а ларчикъ открывался просто! Отъ попадьи! Въ самомъ дѣлѣ: въ одномъ карманѣ и письмо, и отвѣтъ на него! Это ясно! Не показывала она мнѣ—тоже понятно: кто покажетъ чужое письмо, съ чужими секретами?.. Разумѣется, разумѣется! И давно бы сказала: охота мучить! Какой мгновенный переходъ, однако, отъ этой глупой тоски, отъ раздраженія къ спокойствію! Вотъ и опять тишина во всемъ организмѣ, гармонія! Боже, какой чудный вечеръ! Какое блестящее небо, какъ воздухъ тепелъ, какъ хорошо! Какъ я здоровъ и глубоко покоенъ! Теперь все узналъ, нечего мнѣ больше дѣлать: черезъ два дня уѣду!

— Егоръ!—закричалъ онъ по двору.

— Чего изволите?—изъ окна людской спросилъ голосъ.

— Завтра пораньше принеси чемоданъ съ чердака!

— Слушаю-съ.

Онъ мгновенно сталъ здоровъ, веселъ, побѣжалъ въ домъ,

попросилъ ѣсть, наговорилъ бабушкѣ съ три короба, разсмѣшилъ пять разъ Марѳиньку и обрадовалъ бабушку, наѣвшись за три дня.

— Ну, вотъ, слава Богу! три дня ходилъ, какъ убитый, а теперь опять дымъ коромысломъ пошелъ!.. А что Вѣра: видѣлъ ты ее?—спросила Татьяна Марковна.

— Письмо отъ попадьи!—вдругъ брякнулъ Райскій.

— Какое письмо?—сказали обѣ, Марѳинька и бабушка.

— А то, что на синей бумагѣ, о которомъ я недавно спрашивалъ.

Онъ выспался за всѣ три ночи, удивляясь, какъ просто было подобрать этотъ ключъ, а онъ бился трое сутокъ!

— Да вѣдь всѣ простыя догадки даются съ трудомъ! Вонъ и Колумбъ просто открылъ Америку...

И остановился, самъ дивясь своему сравненію.

Утромъ онъ всталъ бодрый, веселый, трепещущій силой, нѣгой, надеждами — и отчего все это? Оттого, что письмо было отъ попадьи!

Онъ проворно сѣлъ за свои тетради, набросалъ свои мученія, сомнѣнія, и какъ они разрѣшились. У него лились замѣтки, эскизы, сцены, рѣчи. Онъ вспомнилъ о письмѣ Вѣры, хотѣлъ прочесть опять, что она писала о немъ къ попадьѣ, и схватилъ снятую имъ копію съ ея письма.

Онъ жадно пробѣгалъ его, съ улыбкой задумался надъ нельстивымъ, крупнымъ очеркомъ подъ перомъ Вѣры самого себя, съ легкимъ вздохомъ перечелъ ту строку, гдѣ говорилось, что нѣтъ ему надежды на ея нѣжное чувство, съ печалью читалъ о своей докучливости, но на сердцѣ у него было покойно, тогда какъ вчера — Боже мой! Какая тревога!

— Что жъ, уѣду, — сказалъ онъ: — дамъ ей покой, свободу. Это гордое, непобѣдимое сердце — и мнѣ дѣлать тутъ нечего: мы оба другъ къ другу равнодушны!

Онъ опять пробѣгалъ разсѣянно строки — и вдругъ

глаза у него раскрылись широко, онъ поблѣднѣлъ, перечитавъ.

«Не видалась *ни съ кѣмъ* и не писала *ни къ кому*, даже къ тебѣ...»

— *Ни съ кѣмъ* и *ни къ кому* — подчеркнуто,—шепталъ онъ, ворочая глазами вокругъ, губы у него дрожали:—тутъ есть *кто-то*, съ *кѣмъ* она видится, къ *кому* пишетъ! Боже мой! Письмо на синей бумагѣ было—не отъ попадьи!—сказалъ онъ въ ужасѣ.

Судорога опять прошла внутри его, онъ легъ на диванъ, хватаясь за голову.

VII.

На другой день, часовъ въ десять утра, кто-то постучалъ къ нему въ комнату. Онъ, блѣдный, угрюмый, отворилъ дверь и остолбенѣлъ.

Передъ нимъ стояли Вѣра и Полина Карповна, послѣдняя въ палевомъ, газовомъ платьѣ, точно въ туманѣ, съ полуоткрытою грудью, съ короткими рукавами, вся въ цвѣтахъ, въ лентахъ, въ кудряхъ. Она походила на тѣхъ бѣленькихъ, мелкихъ пудельковъ, которыхъ стригутъ, завиваютъ и убираютъ въ ленточки, ошейники и бантики ихъ нѣжныя хозяйки, или собачьи фокусники.

Райскій съ ужасомъ поглядѣлъ на нее, потомъ мрачно взглянулъ на Вѣру, потомъ опять на нее. А Крицкая, съ нѣжными до влажности губами, глядѣла на него молча, впустивъ въ него глубокій взглядъ, и отъ переполнявшаго ее экстаза, а также отчасти отъ жара, оттаяла немного, какъ конфетка, называемая «помадой».

Всѣ молчали.

— Я у ногъ вашихъ!—сказала, наконецъ, сдержаннымъ шопотомъ Крицкая.

— Что вамъ угодно?—спросилъ онъ свирѣпо.

— У ногъ вашихъ! — повторяла она: — вашъ рыцарскій поступокъ... Я не могу вспомнить, не могу выразить...

Она поднесла платокъ къ глазамъ.

— Вѣра, что это значитъ?—съ нетерпѣніемъ спросилъ онъ.

Вѣра—ни слова, только подбородокъ у ней дрожалъ.

— Ничего, ничего — простите... — торопливо заговорила Полина Карповна:—vos moments sont précieux: я готова.

— Я писала къ Полинѣ Карповнѣ, что вы согласны сдѣлать ея портретъ,—сказала, наконецъ, Вѣра.

— Ахъ?—вырвалось у Райскаго.

Онъ сильно потеръ лобъ.

«До того ли мнѣ!» проскрежеталъ онъ про себя.

— Пойдемте, сейчасъ начну! — рѣшительно сказалъ потомъ:—тамъ въ залѣ подождите меня!

— Хорошо, хорошо, прикажите — и мы... Allons, chère Вѣра Васильевна!—торопливо говорила Крицкая, уводя Вѣру.

Онъ бы безъ церемоніи отдѣлался отъ Полины Карповны, если бъ при сеансахъ не присутствовала Вѣра. Въ этомъ тотчасъ же сознался себѣ Райскій, какъ только онѣ ушли.

Онъ хотя и былъ возмущенъ недовѣріемъ Вѣры, почти ея враждой къ себѣ, взволнованъ загадочнымъ письмомъ, опять будто ненавидѣлъ ее, между тѣмъ дорожилъ всякими пятью минутами, чтобы быть съ ней. Теперь еще его жгло желаніе добиться, отъ кого письмо.

Онъ досталъ изъ угла натянутый на рамку холстъ, который готовилъ давно для портрета Вѣры, взялъ краски, палитру. Молча пришелъ онъ въ залу, угрюмо, односложными словами, велѣлъ Василисѣ дать какихъ-нибудь занавѣсокъ, чтобъ закрыть окна, и оставилъ только одно; мелькомъ исподлобья взглянулъ раза два на Крицкую, поставилъ ей кресло и сѣлъ самъ.

— Скажите, какъ мнѣ сѣсть, посадите меня!..—говорила она съ покорной нѣжностью.

— Какъ хотите, только сидите смирно, не говорите ничего, мѣшать будете!—отрывисто отвѣчалъ онъ.

— Не дышу!.. — шопотомъ сказала она и склонила голову нѣжно на бокъ, полузакрыла глаза и сдѣлала сладкую улыбку.

«У, какая противная рожа!» шевельнулось у Райскаго въ душѣ: «вотъ постой, я тебя изображу!»

Онъ безъ церемоніи почти вывелъ бабушку и Мароиньку, которыя пришли-было поглядѣть. Егорка, видя, что баринъ началъ писать «патретъ», пришелъ-было спросить, не отнести ли чемоданъ опять на чердакъ, Райскій, молча, показалъ ему кулакъ.

Борисъ началъ чертить мѣломъ контуръ головы, все злобнѣе и злобнѣе глядя на «противную рожу», и такъ крѣпко нажималъ мѣлъ, что куски его летѣли въ стороны.

Вѣра сидѣла у двери, тыкала иглой лоскутокъ какого-то кружева и частенько зѣвала, только когда взглядывала на лицо Полины Карповны, у ней дрожалъ подбородокъ и шевелились губы, чтобы сдержать улыбку.

— Suis-je bien comme-ça?—шопотомъ спросила Крицкая у Вѣры.

— Oh, oui tout-à-fait bien!—сказала Вѣра.

Райскій сдѣлалъ движеніе досады.

— Не дышу! — пролепетала съ испугомъ Полина Карповна и замерла въ своей позѣ.

Райскій сдѣлалъ контуръ, взялъ палитру и, косясь непріязненно на Крицкую, началъ подмалевывать глаза, носъ...

«Всѣ забыли твою красоту, черномазая старуха», думалъ онъ: «кромѣ тебя: и въ этомъ твоя мука!»

Она, замѣтивъ, что онъ смотритъ на нее, старалась слаще улыбнуться.

Минутъ черезъ двадцать, отъ напряженія сидѣть смирно и не дышать, что она почти буквально исполняла, у ней на лбу выступили крупныя капли, какъ бѣлая смородина, и на вискахъ кудри немного подмокли.

— Жарко!—шепнула она.

Но Райскій неумолимо мазалъ кистью, строго взглядывая на нее. Прошло еще четверть часа.

— Un verre d'eau!—шептала Крицкая едва слышно.

— Погодите, нельзя! — строго замѣтилъ Райскій: — вотъ губы кончу.

Полина Карповна перемогла себя, услыхавъ, что рисуютъ ея улыбку. Она періодически, отрывисто и тяжело дышала, такъ что и грудь увлажилась у ней, а пошевельнуться она боялась. А Райскій мазалъ, да мазалъ, какъ будто не замѣчалъ.

— Полина Карповна устала!—замѣтила Вѣра.

Райскій молчалъ. У Крицкой одна губа подалась немного внизъ, какъ она ни старалась удержать ее на мѣстѣ. Изъ груди сталъ исходить легкій свистъ.

Райскій только знаетъ, что мажетъ. Она ужъ раза два пошамкала губами и двѣ-три капли со лба у ней упали на руки.

— Погодите еще немного,—сказалъ Райскій.

— Не дышу!—почти свистнула Полина Карповна.

Райскій самъ усталъ, но его терзала злоба и онъ не чувствовалъ ни усталости, ни состраданія къ своей жертвѣ. Прошло пять минутъ.

— Охъ, охъ — je n'en puis plus — охъ, охъ! — начала Крицкая, падая со стула.

Райскій и Вѣра бросились къ ней и посадили ее на диванъ. Принесли воды, вѣеръ, одеколону—и Вѣра помогала ей оправиться. Крицкая вышла въ садъ, а Райскій остался съ Вѣрой. Онъ быстро и злобно взглянулъ на нее.

— Письмо не отъ попадьи!—прошипѣлъ онъ.

Вѣра отвѣчала ему тоже взглядомъ, быстрымъ, какъ молнія, потомъ остановила на немъ глаза, и взглядъ измѣнился, сталъ прозрачный, точно стеклянный, «русалочный»...

— Вѣра, Вѣра! — сказалъ онъ тихо, съ сухими губами, взявъ ее за руки:—у тебя нѣтъ довѣрія ко мнѣ!

— Ахъ, пустите меня! — съ нетерпѣніемъ говорила она, отнимая руки. — Какое довѣріе, въ чемъ и зачѣмъ оно вамъ!

Она пошла къ Полинѣ Карповнѣ.

«Да — она права: зачѣмъ ей довѣрять мнѣ? А мнѣ-то какъ оно нужно, Боже мой! чтобъ унять раздраженіе, узнать тайну (а тайна есть!) и уѣхать! Не узнавши кто она, что она—не могу уѣхать!».

— Егоръ!—сказалъ онъ, выйдши въ переднюю:—отнеси пока чемоданъ опять на чердакъ!

Онъ порисовалъ еще съ полчаса Крицкую, потомъ назначилъ слѣдующій сеансъ черезъ день и предался съ прежнимъ жаромъ неотвязному вопросу все объ одномъ: отъ кого письмо? Узнать и уѣхать — вотъ все, чего онъ добивался. Тутъ хуже всего тайна: отъ нея вся боль!

Онъ подозрительно смотрѣлъ на бабушку, на Марѳиньку, на Тита Никоныча, на Марину, пуще всего на Марину, какъ на повѣренную и ближайшую фрейлину Вѣры.

Но та пресмыкалась по двору взадъ и впередъ, какъ ящерица, скользя бедромъ, то съ юбками и утюгомъ, то спасаясь отъ побоевъ Савелья — съ веемъ, или съ внезапной, широкой улыбкой во все лицо,—и какъ избѣгала брошеннаго мужемъ вслѣдъ ей кирпича или полѣна, такъ избѣгала и вопросовъ Райскаго. Она воротила лицо въ сторону, завидя его, потупляла свои желтые, безстыжіе глаза и смотрѣла, какъ бы шмыгнуть мимо его подальше.

«Должно-быть, эта бестія все знаетъ!» думалъ онъ, но разспросамъ боялся давать ходъ: гадко это ему самому было, и остерегался упрека въ «шпіонствѣ».

Онъ такъ торжественно далъ слово работать надъ собой, быть другомъ въ простомъ смыслѣ слова. Взялъ двѣ недѣли сроку! Боже! что дѣлать! какую глупую муку нажилъ, безъ любви, безъ страсти: только одни какія-то добровольныя страданія, безъ наслажденій! И вдругъ окажется, что онъ,

небрежный, свободный и гордый (онъ думалъ, что онъ гордый!), любитъ ее, что даже у него это и «по рожѣ видно», какъ по-своему, цинически замѣтилъ это проницательная шельма, Маркъ!

И въ то же время, среди этой борьбы, сердце у него замирало отъ предчувствія страсти: онъ вздрагивалъ отъ роскоши грядущихъ ощущеній, съ любовью прислушивался къ отдаленному рокотанью грома и все думалъ, какъ бы хорошо разыгралась страсть въ душѣ, какимъ бы огнемъ очистила застой жизни и какимъ благотворнымъ дождемъ напоила бы это засохшее поле, все это быліе, которымъ поросло его существованіе.

Что искусство, что самая слава передъ этими сладкими бурями! Что всѣ эти дымно-горькіе, удушливые газы политическихъ и соціальныхъ бурь, гдѣ бродятъ однѣ идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, безъ огня, безъ трепета нервъ? Эти головныя страсти— игра холодныхъ самолюбій, идеи безъ красоты, безъ палящихъ наслажденій, безъ мукъ... часто не свои, а вычитанныя, скопированныя!

— Нѣтъ, я хочу обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ея классической грозой. Да, страсти, страсти!..—оралъ онъ, несясь по саду и впивая свѣжій воздухъ.

Но Вѣра не даетъ ее ему: это не льститъ даже ея самолюбію!

Надежда быть близкимъ къ Вѣрѣ питалась въ немъ не однимъ только самолюбіемъ: у него не было нахальной претензіи насильно втереться въ сердце, какъ бываетъ у многихъ писанныхъ красавцевъ, у крѣпкихъ, тупоголовыхъ мужчинъ — и чѣмъ бы ни было — добиться успѣха. Была робкая, слѣпая надежда, что онъ можетъ сдѣлать на нее впечатлѣніе, и пропала.

Но когда онъ прочиталъ письмо Вѣры къ пріятельницѣ, у него, невидимо и незамѣтно даже для него самого, подо-

грѣлась эта надежда. Она тамъ сознавалась, что въ немъ, въ Райскомъ, было что-то: «и умъ, и много талантовъ, блеска, шума или жизни», «что, *можетъ-быть*, въ другое время заняло бы ее, а не теперь...»

Вотъ это *можетъ-быть*, никогда, ни въ какомъ отчаянномъ положеніи насъ не оставляющее, и ввергнуло Райскаго, если еще не въ самую тучу страсти, то ужъ въ ея жаркую атмосферу, изъ которой счастливо спасаются только сильные, и въ самомъ дѣлѣ «гордые» характеры.

Да, надежда въ немъ была, надежда на взаимность, на сближеніе, на что-нибудь, чего еще онъ самъ не зналъ хорошенько, но ужъ чувствовалъ, какъ съ каждымъ днемъ ему все труднѣе становится вырваться изъ этой жаркой и обаятельной атмосферы.

Не недѣлю, а мѣсяцъ назадъ, или передъ пріѣздомъ Вѣры, или тотчасъ послѣ перваго свиданія съ ней, надо было спасаться ему, уѣхать, а теперь ужъ едва ли придется Егоркѣ стаскивать опять чемоданъ съ чердака!

— Или страсть подай мнѣ,—вопилъ онъ безсонный, ворочаясь въ мягкихъ пуховикахъ бабушки въ жаркія лѣтнія ночи:—страсть полную, въ которой я могъ бы погибнуть,—я готовъ — но съ тѣмъ, чтобы упиться и захлебнуться ею, или скажи рѣшительно, отъ кого письмо и кого ты любишь, давно ли любишь, невозвратно ли любишь—тогда я и успокоюсь, и вылѣчусь. Вылѣчиваетъ безнадежность!

А пока глупая надежда слѣпо шепчетъ: «не отчаивайся, не бойся ея суровости: она молода; если бы кто-нибудь и успѣлъ предупредить тебя, то развѣ недавно, чувство не могло упрочиться здѣсь, въ домѣ, подъ десятками наблюдающихъ за ней глазъ, при этихъ наростахъ предразсудковъ, страховъ, старой бабушкиной морали. Погоди, ты вытѣснишь впечатлѣніе, и тогда...» и т. д.—до тѣхъ поръ недугъ не пройдетъ!

— Пойду къ ней, не могу больше!—рѣшилъ онъ однажды

въ сумерки. — Скажу ей все, все... и что скажетъ она — такъ пусть и будетъ! Или вылѣчусь, или... погибну!

VIII.

На этотъ разъ онъ постучался къ ней въ дверь.

— Кто тамъ?—спросила она.

— Это я, — говорилъ онъ, робко просовывая голову въ дверь:—можно войти?

Она сидѣла у окна съ книгой, но книга, повидимому, мало занимала ее: она была разсѣянна, или задумчива. Вмѣсто отвѣта, она подвинула Райскому стулъ.

— Сегодня не такъ жарко, хорошо!—сказалъ онъ.

— Да, я ходила на Волгу: тамъ даже свѣжо,—замѣтила она.—Видно погода хочетъ измѣниться.

И замолчали.

— Что это такъ трезвонили сегодня у Спаса?—спросилъ онъ:—праздникъ, что-ли, завтра?

— Не знаю, а что?

— Такъ, звонъ не далъ мнѣ спать, и мухи тоже. Какая ихъ пропасть у бабушки въ домѣ: отчего это!

— Я думаю отъ того, что варенье варятъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ! То-то я все замѣчаю, что Пашутка поминутно бѣгаетъ куда-то и облизывается... Да и у всѣхъ въ дѣвичьей, и у Марѳиньки тоже, рты черные... Ты не любишь варенья, Вѣра?

Она покачала головой.

— Вчера Егоръ отнесъ вашъ чемоданъ на чердакъ, я видѣла...—сказала она, помолчавъ

— Да, а что?

— Такъ...

— Ты хочешь спросить, ѣду ли я и скоро ли?..

— Нѣтъ, я такъ только...

— Не запирайся, Вѣра! что жъ, это естественно. На этотъ вопросъ я скажу тебѣ, что это отъ тебя зависитъ.

— Опять отъ меня?

— Да, отъ тебя: и ты это знаешь.

Она глядѣла равнодушно въ окно.

— Вы мнѣ приписываете много значенія,—сказала она.

— Ну, а если это такъ, что бы ты сдѣлала?

— Для меня собственно — я бы ничего не сдѣлала, а если бъ это нужно было для васъ, я бы сдѣлала такъ, какъ вамъ счастливѣе, удобнѣе, покойнѣе, веселѣе...

— Постой, ты смѣшиваешь понятія; надо раздѣлить по родамъ и категоріямъ: «удобнѣе и покойнѣе» съ одной стороны и «веселѣе и счастливѣе» съ другой. Теперь и рѣшай!

— Вамъ надо рѣшать, что вамъ больше нравится.

— Я замѣтилъ, что ты уклончива, никогда сразу не выскажешь мысли или желанія, а сначала обойдешь кругомъ. Я не воленъ въ выборѣ, Вѣра: ты рѣши за меня, и что ты дашь, то и возьму. Обо мнѣ забудь, говори только за себя и для себя.

— Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить!

— Почему ты такъ думаешь?

— Въ который разъ Егорка таскаетъ чемоданъ съ чердака внизъ и обратно?—спросила она вмѣсто отвѣта.

— Ну, такъ ты рѣшительно хочешь, чтобъ я уѣхалъ?

Она молчала.

— Скажи—да, и я завтра уѣду.

Она посмотрѣла на него, потомъ отвернулась къ окну.

— Я не вѣрю вамъ,—сказала она.

— Попробуй, скажи—и, можетъ-быть, увѣруешь.

— Ну, если такъ, уѣзжайте!—вдругъ выговорила она.

— Изволь, — подавляя вздохъ, проговорилъ онъ. — Мнѣ тяжело, почти невозможно уѣхать, но такъ какъ тебѣ тяжело, что я здѣсь... «можетъ-быть она скажетъ: *нѣтъ, не тяжело*», думалъ онъ и медлилъ:—то...

— То и уѣзжайте! — повторила она, вставъ съ мѣста и подойдя къ окну.

— Уѣду, не гони, — съ принужденной улыбкой сказалъ онъ:—но ты можешь облегчить мнѣ тяжесть, и даже ускорить этотъ отъѣздъ...

— Какъ!

— Это отъ тебя зависитъ, повторяю опять.

— Говорите, что надо дѣлать: «жертвы» приносить? Я даже готова сама принести вашъ чемоданъ съ чердака.

Онъ не отвѣчалъ на ея насмѣшку.

— Скажи, во-первыхъ, любишь ли ты кого-нибудь?

Она живо обернулась къ нему и съ изумленіемъ взглянула на него.

— И отъ кого, во-вторыхъ, было письмо на синей бумагѣ: оно не отъ попадьи!—поспѣшилъ онъ договорить.

— Зачѣмъ это вамъ нужно знать для вашего отъѣзда?— спросила она, дѣлая большіе глаза.

— Я объясню тебѣ, Вѣра: но чтобъ понять мое объясненіе, не надо такъ удивляться, а терпѣливо выслушать и потомъ призвать весь свой умъ...

— Это что-нибудь очень умное, мудреное?

— Нужна доброта, участіе, дружба, которою-было ты такъ польстила мнѣ и которую опять за что-то отняла...

— Я плачу дружбой за дружбу, братъ, — сказала она мягче.

— А развѣ у меня нѣтъ дружбы къ тебѣ?

Она отрицательно покачала головой.

— Что же такое во мнѣ: ты видишь, что я тебѣ не чужой, не по одному родству...

— Это не дружба...

— Ну, такъ любовь?

— Мнѣ ея не надо: я не раздѣляю ее...

— Знаю—и вотъ я и хочу объяснить, какъ ты одна можешь сдѣлать, чтобъ ея не было и во мнѣ!

— Кажется, я все для этого сдѣлала...

— Наоборотъ: ты не могла сдѣлать лучше, если бъ хо-

тѣла любви отъ меня. Ты гордо оттолкнула меня и этимъ раздражила самолюбіе, потомъ окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, умъ, характеръ сдѣлали остальное — и вотъ передъ тобой влюбленный въ тебя до безумія! Я бы съ наслажденіемъ бросился въ пучину страсти и отдался бы потоку: я искалъ этого, мечталъ о страсти и заплатилъ бы за нее остальною жизнью, но ты не хотѣла, не хочешь... да?

Онъ сбоку заглядывалъ ей въ лицо.

— Не хочу,—сказала она покойно и рѣшительно.

— Ну, я боролся, что было силъ во мнѣ,—ты сама видѣла—хватался за всякое средство, чтобъ переработать эту любовь въ дружбу, но лишь пуще увѣровалъ въ невозможность дружбы къ молодой, прекрасной женщинѣ — и теперь только вижу два выхода изъ этого положенія...

Онъ остановился на минуту.

— Одинъ ты заперла мнѣ: это взаимность,—продолжалъ онъ. — Страсть разрѣшается путемъ уступокъ, счастья, и обращается тамъ, смотря по обстоятельствамъ, во что хочешь: въ дружбу, пожалуй, въ глубокую, святую, неизмѣнную любовь—я ей не вѣрю—но во что бы ни было, во всякомъ случаѣ, въ удовлетвореніе, въ покой... Ты отнимаешь у меня всякую надежду... на это счастье... да?

Онъ опять подвинулся къ ея лицу, глядя ей пытливо въ глаза. Она утвердительно кивнула головой.

— Да, всякую,—повторила она.

— Ну...—сказалъ онъ:—чтобъ вынуть боль безнадежности, или убить совсѣмъ надежду, надо...

— Что?

— Сдѣлать то, что я сказалъ сейчасъ, т. е. признаться, что ты любишь, и сказать, отъ кого письмо на синей бумагѣ! это—второй выходъ...

— А если я не сдѣлаю ни того, ни другого? — спросила она гордо, обернувшись къ нему отъ окна.

— Пуще всего—безъ гордости, безъ пренебреженія!—съ живостью прибавилъ онъ: — это все противорѣчія, которыя только раздражаютъ страсть, а я пришелъ къ тебѣ съ надеждой, что если ты не можешь раздѣлить моей сумасшедшей мечты, такъ по крайней мѣрѣ не откажешь мнѣ въ простомъ дружескомъ участіи, даже поможешь мнѣ. Но я съ ужасомъ замѣчаю, что ты зла, Вѣра...

— А вы эгоистъ, Борисъ Павловичъ! У васъ вдругъ родилась какая-то фантазія — и я должна дѣлить ее, лѣчить, облегчать: да что мнѣ за дѣло до васъ, какъ вамъ до меня? Я требую у васъ одного—покоя: я имѣю на него право, я свободна, какъ вѣтеръ, никому не принадлежу, никого не боюсь...

— И я былъ свободенъ и гордъ еще недѣли двѣ назадъ, — а вотъ теперь и не гордъ, и не свободенъ, и боюсь—тебя!

Она съ пренебреженіемъ взглянула на него и слегка пожала плечами.

— Погоди казнить меня этими взглядами: не случилось бы съ тобой того же!—говорилъ онъ почти про себя.

— Я не боюсь, не случится!

— И дѣти тоже не боятся, и на угрозы няньки «волкомъ», храбро лепечутъ: «а я его убью!» И ты, какъ дитя храбра, и какъ дитя же будешь безпомощна, когда придетъ твой часъ...

— Никого не боюсь, — повторила она: — и этого вашего волка — страсти, тоже! Не стращайте напрасно: вы напустили на себя, и мнѣ даже васъ не жаль!

— Ты злая! А если бъ я сдѣлался боленъ горячкой? Бабушка и Марѳинька пришли бы ко мнѣ, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Ужели бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мнѣ, не спросила бы...

— Это другое дѣло: больной...

— А я развѣ здоровъ? развѣ я не боленъ, и боленъ еще тобой!..

— Виновата ли я въ этомъ?

— Ты тоже бы не виновата была, если бъ меня прохватилъ холодный вѣтеръ на Волгѣ и я бы слегъ въ горячкѣ!

— Тамъ есть средства, лѣкарства...

— И тутъ есть, я тебѣ указываю одно, вѣрное. Я не шучу: только безнадежность можетъ задушить зародышъ страсти.

— Развѣ я не отнимаю у васъ всякую надежду? Я васъ никогда не буду любить, я вамъ сказала!

— Можетъ-быть, но дѣло въ томъ, что я не вѣрю тебѣ: или если и повѣрю, такъ на одинъ день, а тамъ опять родятся надежды. Страсть умретъ, когда самый предметъ ея умретъ, т. е. перестанетъ раздражать...

— Не могу же я принести вамъ этой «жертвы», братъ: умереть!

— И не надо! Ты скажи, любишь ли ты и отъ кого письмо: это будетъ все равно, что ты умерла для меня.

Онъ говорилъ горячо и серьезно. Она задумалась и боролась повидимому съ собой, оборачиваясь къ окну и обратно отъ окна къ нему.

— Хорошо...—сказала она, понижая голосъ, и медлила.— Я... люблю... другого...

— Кого?—вдругъ вскрикнулъ онъ, вскочивъ со стула.

— Что же вы испугались? Вы сами этого хотѣли: успокойтесь и уѣзжайте: теперь вы знаете.

— Кого?—повторилъ онъ, не слушая ея.

— Что за дѣло до имени!

— Имя, имя? Кто писалъ письмо? — говорилъ онъ съ дрожью въ голосѣ.

— Никто! Я выдумала, я никого не люблю, письмо отъ попадьи!—равнодушно сказала она, глядя на него, какъ онъ

въ волненіи глядѣлъ на нее воспаленными глазами, и—ея глаза мало-по-малу теряли свой темный бархатный отливъ, свѣтлѣли, и наконецъ стали прозрачны. Изъ нихъ пропала мысль, все что въ ней происходило, и прочесть въ нихъ было нечего.

— Говори, ради Бога, не оставляй меня на этомъ обрывѣ: правду, одну правду—и я выкарабкаюсь, малѣйшая ложь—и я упаду!

— Послушайте, братъ: не играете ли вы со мной въ какую-то тонкую игру?..

— Ей-Богу, не знаю: если это игра, такъ она похожа на ту, когда человѣкъ ставитъ послѣдній грошъ на карту, а другой рукой щупаетъ пистолетъ въ карманѣ. Дай руку, тронь сердце, пульсъ, и скажи, какъ называется эта игра? Хочешь прекратить пытку: скажи всю правду — и страсти нѣтъ, я покоенъ, буду самъ смѣяться съ тобой и уѣзжаю завтра же. Я шелъ, чтобъ сказать тебѣ это...

— Вы не только эгоистъ, но вы и деспотъ, братъ: я лишь открыла ротъ, сказала, что люблю, чтобъ испытать васъ, а вы — посмотрите, что съ вами сдѣлалось: грозно сдвинули брови и приступили къ допросу. Вы, развитой умъ, homme blasé, grand cœur, рыцарь свободы — стыдитесь! Нѣтъ, я вижу, вы не годитесь и въ друзья! Ну, если я люблю,—рѣшительно прибавила она, понижая голосъ и закрывая окно:—тогда что?

— Ничего!—сказалъ онъ покойнымъ голосомъ.

Она глядѣла на него съ удивленіемъ: въ самомъ дѣлѣ—ничего.

— Ты видишь дѣйствіе довѣрія,—продолжалъ онъ: — я покоенъ, во мнѣ все молчитъ, надежды всѣ какъ мухи, умираютъ...

— Ну, положимъ, я... люблю,—понизивъ еще голосъ, начала она.

— Возьми свое *положимъ* назадъ: подъ нимъ кроется сомнѣніе, а подъ сомнѣніемъ опять надежда.

— Ну, хорошо, я люблю...

— Кого?—сильнымъ шопотомъ спросилъ онъ.

— Опять имя!

— Да, нужно имя—и тогда только я успокоюсь и уѣду. Иначе я не повѣрю, до тѣхъ поръ не повѣрю, пока будетъ тайна...

— Мароинька все пересказала мнѣ, какъ вы проповѣдывали ей свободу любви, совѣтовали не слушаться бабушки, а теперь сами хуже бабушки! Требуете чужихъ тайнъ...

— Я ничего не требую, Вѣра, я прошу только дать мнѣ уѣхать спокойно: вотъ все! Будь проклятъ, кто стѣснитъ твою свободу...

— Сами себя проклинаете: зачѣмъ вамъ имя? Если бъ бабушка стала безпокоиться объ этомъ, это понятно: она боялась бы, чтобъ я не полюбила какого-нибудь, «недостойнаго», по ея мнѣнію, человѣка. А вы—проповѣдникъ!..

— Развѣ я запретилъ бы тебѣ любить кого-нибудь? еслибъ ты выбрала хоть... Нила Андреевича—мнѣ все равно! Мнѣ нужно имя, чтобъ только убѣдиться въ истинѣ и охладѣть. Я знаю, мнѣ сейчасъ сдѣлается скучно, и я уѣду...

Она глубоко задумалась.

— Развѣ страсть оправдываетъ всякій выборъ?..—тихо сказала она.

— Всякій, Вѣра. И тебѣ повторяю то же, что сказалъ Мароинькѣ: «люби, не спрашиваясь никого, достоинъ ли онъ, нѣтъ ли—смѣло иди»...

— А недавно еще въ саду вы остерегали меня отъ гибели!..

— Отъ воровъ и отъ собакъ,—а не отъ страсти!

— И я могу любить, кого хочу?—будто шутя говорила она:—не спрашиваясь...

— Ни бабушки, ни общественнаго мнѣнія...

— Ни васъ?..

— Меня меньше всего: я готовъ способствовать, раздувать твою страсть... Видишь, ты ждала моего великодушія: вотъ оно! Выбери меня своимъ повѣреннымъ—и я толкну тебя самъ въ этотъ огонь...

Она украдкой взглянула на него.

— Имя, Вѣра—того счастливца?..

— Хорошо, хорошо—послѣ когда-нибудь, когда...

— Когда уѣду? Ахъ, если бъ мнѣ страсть!—сказалъ онъ, глядя жаркими глазами на Вѣру и взявъ ее за руки. У него опять зашумѣло въ головѣ, какъ у пьянаго. — Послушай Вѣра, есть еще выходъ изъ моего положенія,—заговорилъ онъ горячо:—я боялся намекнуть на него—ты такъ строга: дай мнѣ страсть! ты можешь это сдѣлать. Забудь свою любовь... если она еще новая, недавняя любовь—и... Нѣтъ, нѣтъ, не качай головой—это вздоръ, знаю. Ну, просто, не гони меня, дай мнѣ иногда быть съ тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить: я точно деревянный теперь! Вездѣ сонъ, тупая тоска, цѣли нѣтъ, искусство не дается мнѣ, я ничего для него не дѣлаю. Всякое такъ-называемое, «серьёзное дѣло» мнѣ кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотѣлъ разыграть остальную жизнь во что-нибудь, въ какой-нибудь необыкновенный громадный трудъ, но я на это не способенъ,—не приготовленъ: нѣтъ у насъ дѣла! Или, чтобъ она разлетѣлась фейерверкомъ, страстью! Въ тебѣ все есть, чтобъ зажечь бурю, ты ужъ зажгла ее: еще одна искра, признакъ кокетства, обманъ и... я начну жить...

— А я что же буду дѣлать,—сказала она:—любоваться на эту горячку, не раздѣляя ея? Вы бредите, Борисъ Павлычъ!

— Что тебѣ за дѣло, Вѣра? Не отвѣчай мнѣ, но и не отталкивай, оставь меня. Я чувствую, что не только при

взглядѣ твоемъ, но лишь — кто-нибудь случайно назоветъ тебя—меня бросаетъ въ жаръ и холодъ...

— Чѣмъ же это кончится?—не безъ любопытства спросила она.

— Не знаю. Можетъ-быть, съ ума сойду, брошусь въ Волгу, или умру... Нѣтъ, я живучъ—ничего не будетъ, но пройдетъ полгода. можетъ-быть, годъ — и я буду жить... Дай, Вѣра, дай мнѣ страсть... дай это счастье!..

У него даже губы и языкъ пересохли.

— Странная просьба, братъ, дать горячку! Я не вѣрю страсти—что такое страсть? Счастье, говорятъ, въ глубокой, сильной любви...

— Ложь, ложь!—перебилъ онъ.

— Любовь—ложь?

— Да, эта «святая, глубокая, возвышенная любовь» — ложь! Это сочиненный, придуманный призракъ, который возникаетъ на могилѣ страсти. Это люди придумали, какъ придумали казенную палату, питейныя конторы, моды, карточную игру, балы! Возвышенная любовь—это мундиръ, въ который хотятъ нарядить страсть, но она безпрестанно лѣзетъ вонъ и рветъ его. Природа вложила только страсть въ живые организмы, другого она ничего не даетъ. Любовь—одна, нѣтъ другихъ любвей! Возьми самое вялое созданіе, студень какую-нибудь, вонъ купчиху изъ слободы, вонъ самаго благонамѣреннаго и приличнаго чиновника, предсѣдателя,—кого хочешь: всѣ непремѣнно чувствовали, кто разъ, кто больше—смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно—смотря по воспитанію, но всѣ испытали раздраженіе страсти въ жизни, судорогу, ея муки и боли, это самозабвеніе, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру силъ... это блаженство!..

Онъ остановился.

— Ну?—съ нетерпѣніемъ сдѣлала она.

— Ну,—продолжалъ онъ бурно, едва успѣвая говорить:—

на остывшій слѣдъ этой огненной полосы, этой молніи жизни, ложится потомъ покой, улыбка отдыха отъ сладкой бури, благородное воспоминаніе къ прошлому, тишина! И эту-то тишину, этотъ слѣдъ люди и назвали—святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорѣла и потухла... Видишь ли, Вѣра, какъ прекрасна страсть, что даже одинъ слѣдъ ея кладетъ яркую печать на всю жизнь, и люди не рѣшаются сознаться въ правдѣ—т. е. что любви уже нѣтъ, что они были въ чаду, не замѣтили, прозѣвали ее, упиваясь, и что потомъ вся жизнь ихъ окрашена въ тѣ великолѣпные цвѣта, которыми горѣла страсть!.. Эта окраска—и есть и любовь, и дружба, и та крѣпкая связь, которая держитъ людей вмѣстѣ иногда всю жизнь... Нѣтъ, ничто въ жизни не даетъ такого блаженства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбія, никакія богатства Шехерезады, ни даже творческая сила, ничто... одна страсть! Хотѣла ли бы ты испытать такую страсть, Вѣра?

Она задумчиво слушала.

— Да, если она такова, какъ вы ее описываете, если столько счастья въ ней...

Она вздрогнула и быстро отворила окно.

— Страсть—это постоянный хмель, безъ грубой тяжести опьяненія,—продолжалъ онъ:—это вѣчные цвѣты подъ ногами. Передъ тобой — идолъ, которому хочется молиться, умирать за него. Тебѣ на голову валятся каменья, а ты въ страсти думаешь, что летятъ розы на тебя, скрежетъ зубовъ будешь принимать за музыку, удары отъ дорогой руки покажутся нѣжнѣе ласкъ матери. Заботы, дрязги жизни, все исчезнетъ—одно безконечное торжество наполняетъ тебя—одно счастье видѣть вотъ такъ... на тебя... (онъ подошелъ къ ней)—взять за руку (онъ взялъ за руку) и чувствовать огонь и силу, трепетъ въ организмѣ...

Она опять вздрогнула, и онъ тоже.

— Вѣра, мнѣ не далеко до этого состоянія: еще одинъ

Василиса:—мы съ Пашуткой заперлись отъ него на ключъ.

— Это зачѣмъ?

— Боимся.

— Чего?

— Такъ, боимся. Я ужъ изъ окна вылѣзала на дворикъ и перелѣзла сюда. Какъ бы онъ тамъ не стянулъ чего-нибудь?

Райскій засмѣялся и пошелъ съ ней. Онъ отпустилъ жандарма, сказавши, что пріѣдетъ черезъ часъ, потомъ пошелъ къ Марку и привелъ его въ свою комнату.

— Что, ночевать пришли?—спросилъ онъ Волохова.

Онъ ужъ съ нимъ говорилъ не иначе, какъ иронически. Но на этотъ разъ у Марка было озабоченное лицо. Однако, когда принесли свѣчи, и онъ взглянулъ на взволнованное лицо Райскаго, то засмѣялся, по-своему, съ холодной злостью.

— Ну, вотъ, а я думалъ, что вы ужъ уѣхали!—сказалъ онъ насмѣшливо.

— Еще успѣю,—небрежно замѣтилъ Райскій.

— Нѣтъ, ужъ теперь поздно: вотъ какіе у васъ глаза?

— А что глаза, ничего! — говорилъ Райскій, глядясь въ зеркало.

— И похудѣли: корь ужъ выступаетъ.

— Полноте вздоръ говорить, — отвѣчалъ Райскій, стараясь не глядѣть на него: — скажите лучше, зачѣмъ вы пришли опять къ ночи?

— Вѣдь я ночная птица: днемъ за мной ужъ очень ухаживаютъ. Меньше позора на домъ бабушки. Славная старуха—выгнала Тычкова!

Онъ опять вдругъ сдѣлался серьёзенъ.

— Я къ вамъ за дѣломъ,—сказалъ онъ.

— У васъ дѣло?—замѣтилъ Райскій:—это любопытно.

— Да, больше, нежели у васъ. Вотъ видите: я былъ нынче въ полиціи, т. е. не самъ, конечно, съ визитомъ.

частный приставъ пригласилъ, и даже подвезъ на парѣ сѣрыхъ лошадей.

— Это зачѣмъ: случилось что-нибудь?

— Пустяки: я тутъ кое-кому книги раздавалъ...

— Какія книги? Мои, что у Леонтья брали?

— И ихъ, и другія еще—вотъ тутъ написано, какія.

Онъ подалъ ему бумажку.

— Кому же вы раздавали?

— Всѣмъ, больше всего молодежи: изъ семинаріи брали, изъ гимназіи—учитель одинъ...

— Развѣ у нихъ нечего читать?

— Какъ нечего! Вотъ Козловъ читаетъ пятый годъ Саллюстія, Ксенофонта, да Гомера съ Горапіемъ: одинъ годъ съ начала до конца, а другой отъ конца до начала — всѣ прокисли-было здѣсь... Въ гимназіи плѣсень завелась.

— Развѣ новыхъ книгъ нѣтъ у нихъ?

— Есть: вонъ другой оселъ, словесникъ, угощаетъ то Карамзинымъ, то Пушкинымъ. Мозги-то у нихъ у всѣхъ прѣсные...

— Такъ вы посолить захотѣли—чѣмъ же, посмотримъ!

— Охъ, какъ важно произнесли: «посмотримъ!» живой Нилъ Андреичъ!

Райскій пробѣжалъ бумажку и уставилъ на Марка глаза.

— Ну, что вы выпучили на меня глаза?

— Вы имъ давали эти книгу?

— Да, а что?

Райскій продолжалъ съ изумленіемъ глядѣть на Марка.

— Эти книги молодымъ людямъ!—прошепталъ онъ.

— Да вы, кажется, въ Бога вѣруете?—спросилъ Маркъ.

Райскій все глядѣлъ на него.

— Не были ли вы сегодня у всенощной? — спросилъ опять холодно Маркъ.

— А если былъ?

— Ну, такъ не мудрено, что вы можете влюбиться и

плакать... Зачѣмъ же вы выгнали Тычкова: онъ тоже— вѣрующій!

— Я не спрашиваю васъ, вѣруете ли вы: если вы ужъ не увѣровали въ полкового командира въ полку, въ ректора въ университетѣ, а теперь отрицаете губернатора и полицію—такія очевидности, то гдѣ вамъ увѣровать въ Бога!— сказалъ Райскій.—Обратимся къ предмету вашего посѣщенія: какое вы дѣло имѣете до меня?

— Вотъ видите, одинъ мальчишка, стряпчаго сынъ, не понялъ чего-то по-французски въ одной книгѣ и показалъ матери, та отцу, а отецъ къ прокурору. Тотъ слыхалъ имя автора и поднялъ бунтъ — донесъ губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли: онъ подъ розгой и сказалъ, что книгу взялъ у меня. Ну, меня сегодня къ допросу...

— Что же вы?

— Что я? — сказалъ онъ, съ улыбкой глядя на Райскаго.—Меня спросили, чьи книги, откуда я взялъ...

— Ну?

— Ну, я сказалъ, что... у васъ: что однѣ вы привезли съ собой, а другія я нашелъ въ вашей библіотекѣ — вонъ Вольтера...

— Покорно благодарю: зачѣмъ же вы мнѣ сдѣлали эту честь?

— Потому что съ тѣхъ поръ, какъ вы вытолкали Тычкова, я считаю васъ не совсѣмъ пропащимъ человѣкомъ.

— Вы бы прежде спросили, позволю ли я—и честно ли это?

— Я—безъ позволенія. А честно ли это, или нѣтъ—объ этомъ послѣ. Что такое честность, по-вашему? — спросилъ онъ, нахмурившись.

— Объ этомъ тоже—послѣ, а только я не позволю этого.

— Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня...

— И вредно мнѣ: славная логика!

— Вотъ я до логики-то и добираюсь,—сказалъ Маркъ:— только боюсь, не двѣ ли логики у насъ?..

— И не двѣ ли честности?—прибавилъ Райскій.

— Вамъ ничего не сдѣлаютъ: вы въ милости у его превосходительства, — продолжалъ Маркъ: — да и притомъ не высланы сюда на житье. А меня за это упекутъ куда-нибудь въ третье мѣсто: въ двухъ ужъ я былъ. Мнѣ бы все-равно въ другое время, а теперь... — задумчиво прибавилъ онъ:—мнѣ бы хотѣлось остаться здѣсь... на неопредѣленное время...

— Ну-съ?—холодно сдѣлалъ Райскій.—Еще что?

— Еще ничего. Я хотѣлъ только разсказать вамъ, что я сдѣлалъ, и спросить, хотите взять на себя, или нѣтъ?

— А если не хочу? И не хочу!

— Ну, нечего дѣлать: скажу на Козлова. Онъ совсѣмъ заплѣснѣлъ: пусть посидитъ на гауптвахтѣ, а потомъ опять примется за грековъ...

— Нѣтъ, ужъ не примется, когда лишатъ мѣста и куска хлѣба.

— Пожалуй, что и такъ... не логично! Такъ ужъ лучше скажите вы на себя.

— Во имя чего вы требуете отъ меня этой услуги? Что вы мнѣ?

— Во имя того же, во имя чего занялъ у васъ деньги, т. е. мнѣ нужны онѣ, а у васъ есть. И тутъ тоже: вы возьмете на себя, вамъ ничего не сдѣлаютъ, а меня упекутъ— надѣюсь, это логика!

— А если на меня упадетъ непріятность?

— Какая? Нилъ Андреичъ разбойникомъ назоветъ, губернаторъ донесетъ и васъ возьмутъ на замѣчаніе?.. Перестанемте холопствовать: пока будемъ бояться, до тѣхъ поръ не вразумимъ губернаторовъ...

— Однако, сами боитесь сказать на себя!

— Не боюсь, а теперь не хочу уѣхать отсюда.

— Отчего?

— Ну, такъ, не хочу. Послѣ я пойду самъ и скажу, что

книги мои. Если потомъ вы какое-нибудь преступленіе сдѣлаете, скажите на меня: я возьму на себя...

— Какъ же это брать на себя: странной услуги требуете вы!—говорилъ Райскій въ раздумьѣ.

— А вы вотъ что: попробуйте. Если дѣло приметъ очень серьёзный оборотъ, чего, сознайтесь сами, быть не можетъ, тогда ужъ нечего дѣлать — скажите на меня. Экая досада!— ворчалъ Маркъ. — Этотъ мальчикъ все испортилъ. А ужъ тутъ-было принялись шевелиться...

— Я сейчасъ къ губернатору ѣду,— сказалъ Райскій: — онъ присылалъ. Прощайте!

— А! присылалъ!

— Что же мнѣ дѣлать, что говорить?

— Губернаторъ замнетъ исторію, если вы назоветесь героемъ: онъ не любитъ ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя, я подъ надзоромъ, и онъ обязанъ каждый мѣсяцъ доносить туда, здоровъ ли я и каково поживаю? Ему все хочется сбыть меня отсюда, чтобы мнѣ дали разрѣшеніе уѣхать; я у него, какъ бѣльмо на глазу! Онъ ужъ недавно донесъ, что я «обнаруживаю раскаяніе»: если исторія съ книгами пройдетъ мимо меня, онъ донесетъ, что я сталъ такимъ благонадежнымъ и доблестнымъ гражданиномъ, какого ни Римъ, ни Спарта не производили: меня и выпустятъ изъ-подъ надзора! Слѣдовательно, взявши на себя исторію, вы угодите и ему... А впрочемъ, дѣлайте какъ хотите!—равнодушно заключилъ Маркъ.—Пойдемте, и мнѣ пора!

— Куда же вы—вотъ двери...

— Нѣтъ, дойдемте до вашего сада, я тамъ по горѣ сойду, мнѣ надо туда... Я подожду на островѣ у рыбака, чѣмъ это кончится.

У обрыва Маркъ исчезъ въ кустахъ, а Райскій поѣхалъ къ губернатору и воротился отъ него часу во второмъ ночи. Хотя онъ поздно легъ, но всталъ рано, чтобы передать

Вѣрѣ о случившемся. Окна ея были плотно закрыты занавѣсками.

«Спитъ», подумалъ онъ и пошелъ въ садъ.

Онъ цѣлый часъ ходилъ взадъ и впередъ по дорожкѣ, ожидая, когда отдернется лиловая занавѣска. Но прошло полчаса, часъ, а занавѣска не отдергивалась. Онъ ждалъ, не пройдетъ ли Марина по двору, но и Марины не видать.

Вскорѣ у бабушки въ спальнѣ поднялась штора, зашипѣлъ въ сѣняхъ самоваръ, голуби и воробьи начали слетаться къ тому мѣсту, гдѣ привыкли получать отъ Мароньки кормъ. Захлопали двери, пошли по двору кучера, лакеи, а занавѣска все не шевелилась.

Наконецъ Улита показалась въ подвалахъ, бабы и дѣвки поползли по двору, только Марины нѣтъ. Блѣдный и мрачный Савелій показался на порогѣ своей каморки и тупо смотрѣлъ на дворъ.

— Савелій!—крикнулъ Райскій.

Савелій разстановистыми шагами подошелъ къ нему.

— Скажи Маринѣ, чтобъ она сейчасъ дала мнѣ знать, когда встанетъ и одѣнется Вѣра Васильевна.

— Марины нѣтъ! — нѣсколько поживѣе обыкновеннаго сказалъ Савелій.

— Какъ нѣтъ, гдѣ она?

— Уѣхала еще на зарѣ проводить барышню за Волгу, къ попадьѣ.

— Какую барышню: Вѣру Васильевну?

— Точно такъ.

Онъ остолбенѣлъ и почти съ ужасомъ глядѣлъ на Савелья.

— На чемъ же онѣ поѣхали, съ кѣмъ? — спросилъ онъ, помолчавъ.

— Прохоръ ихъ завсегда возитъ въ бричкѣ, на буланой лошади.

Райскій молчалъ.

— Къ вечеру вернутся,—прибавилъ Савелій.

— Вернутся, ты думаешь, сегодня? — живо спросилъ Райскій.

— Точно такъ-съ, Прохоръ съ лошадью, и Марина тоже. Они проводятъ барышню, а сами въ тотъ же день назадъ.

Райскій смотрѣлъ во всѣ глаза на Савелья и не видалъ его. Долго еще стояли они другъ противъ друга.

— Еще ничего не прикажете? — медленно спросилъ Савелій.

— А? что? да:—очнулся Райскій:—ты... тоже ждешь Марину?

— Сгинуть бы ей, проклятой!—мрачно сказалъ Савелій.

— Зачѣмъ ты бьешь ее? Я давно хотѣлъ посовѣтовать, чтобъ ты пересталъ, Савелій.

— Я не бью теперь больше.

— Давно ли?

— Вотъ теперь, какъ смирно эту недѣлю живетъ, такъ и...

Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли.

— Ступай, мнѣ больше ничего не надо — только не бей, пожалуйста, Марину—дай ей полную свободу: и тебѣ, и ей лучше будетъ...—сказалъ Райскій.

Онъ пошелъ съ поникшей головой домой, съ тоской глядя на окна Вѣры, а Савелій потупился, не надѣвая шапку, дивясь послѣднимъ словамъ Райскаго.

«Тоже страсть!» думалъ Райскій. «Бѣдный Савелій! бѣдный—и я!»

X.

Съ отъѣздомъ Вѣры, Райскаго охватилъ ужасъ одиночества. Онъ чувствовалъ себя сиротой, какъ будто цѣлый міръ опустѣлъ, и онъ очутился въ какой-то безплодной пустынѣ, не замѣчая, что эта пустыня вся въ зелени, въ цвѣтахъ,

не чувствуя, что его лелѣетъ и грѣетъ природа, блистающая лучшей, жаркой порой лѣта.

Домовитость Татьяны Марковны и порханье Мароиньки, ея пѣніе, живая болтовня съ веселымъ, бодрымъ, скачущимъ Викентьевымъ, иногда пріѣздъ гостей, появленіе карикатурной Полины Карповны, бурливаго Опенкина, визиты хорошо одѣтыхъ и причесанныхъ барынь, молодыхъ щеголей — онъ не замѣчалъ ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было отъ всѣхъ этихъ лицъ и явленій.

Онъ видѣлъ только одно, что лиловая занавѣска не колышется, что шторы спущены въ окнахъ, что любимая скамья стоитъ пустая, что нѣтъ Вѣры—и какъ будто ничего и никого нѣтъ: точно весь домъ, вся окрестность вымерли.

Онъ не хотѣлъ любить Вѣру, да и нельзя, если бъ хотѣлъ: у него отняты всѣ права, всѣ надежды. Ея нѣжнѣйшая мольба, обращенная къ нему — была — «уѣхать поскорѣй», а онъ былъ занятъ, полонъ ею, одною ею, и ничѣмъ больше!

Даже красота ея, кажется, потеряла свою силу надъ нимъ; его влекла къ ней какая-то другая сила. Онъ чувствовалъ, что связанъ съ ней, не теплыми и много-обѣщающими надеждами, не трепетомъ первъ, а какою-то враждебною, разжигающею мозгъ болью, какими-то посторонними, даже противорѣчащими любви связями.

Его мучила теперь тайна: какъ она, пропадая куда-то на глазахъ у всѣхъ, въ виду, изъ дома, изъ сада, потомъ появляется вновь, будто со дна Волги, вынырнувшей русалкой, съ свѣтлыми, прозрачными глазами, съ печатью непроницаемости и обмана на лицѣ, съ ложью на языкѣ, чуть не въ вѣнкѣ изъ водяныхъ порослей на головѣ, какъ настоящая русалка!

И какой опасной, безотрадной красотой блеститъ тогда ему въ глаза эта сіяющая, таинственная ночь!

Но если бъ еще только одно это: а она вполовину открыла ему, что любитъ, что есть кто-то тутъ около, кѣмъ полна ея жизнь, и этотъ уголокъ, кѣмъ прекрасны эти деревья, это небо, эта Волга.

Но открывъ на минуту завѣтную дверь, она вдругъ своеправно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя съ собой ключи отъ всѣхъ тайнъ: и отъ своего характера, и отъ своей любви, и отъ всей сферы своихъ понятій, чувствъ, отъ всей жизни, которою живетъ—все увезла! Передъ нимъ опять одна замкнутая дверь!

— Всѣ ключи увезла!—съ досадой сказалъ онъ въ разговорѣ о Вѣрѣ съ бабушкой про себя.

Но Татьяна Марковна услыхала, и вся встрепенулась.

— Какіе ключи увезла?—въ тревогѣ спросила она.

Онъ молчалъ.

— Говори,—приставала она и начала шарить въ карманахъ у себя, потомъ въ шкатулкѣ.—Какіе-такіе ключи: кажется, у меня всѣ! Марѳинька, поди сюда: какіе ключи изволила увезти съ собой Вѣра Васильевна?

— Я не знаю, бабушка: она никакихъ никогда не увозитъ, развѣ отъ своего письменнаго стола.

— Вотъ Борюшка говоритъ, что увезла. Посмотри-ка у себя и у Василисы спроси: всѣ ли ключи дома, не захватили ли какъ-нибудь съ той вертушкой, Мариной, отъ которой-нибудь кладовой — поди скорѣй! Да что ты таишься, Борисъ Павловичъ, говори, какіе ключи увезла она: видѣлъ, что ли, ты ихъ?

— Да,—со злостью сказалъ онъ: — видѣлъ! показала, да и спрятала опять...

— Да какіе они: съ бородкой, или вотъ этакіе?.

Она показала ему ключъ.

— Ключи отъ своего ума, сердца, характера, отъ мыслей и тайнъ—вотъ какіе!

У бабушки отлегло отъ сердца.

— Вонъ онъ что! — сказала она и задумалась, потомъ вздохнула. — Да, въ этой твоей аллегоріи есть и правда. Этихъ ключей она не оставляетъ никому. А лучше, если бъ и они висѣли на поясѣ у бабушки!

— А что?

— Да такъ.

— Скажите мнѣ, бабушка, что такое Вѣра? — вдругъ спросилъ Райскій, подсѣвши къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Ты самъ видишь: что тебѣ еще говорить? Что видишь, то и есть.

— Да я ничего не вижу.

— И никто не видитъ: свой умъ, видишь ли, и своя воля выше всего! И бабушка не смѣй спросить ни о чемъ: «нѣтъ, да нѣтъ ничего, не знаю, да не вѣдаю». На рукахъ у меня родилась, вѣкъ со мной, а я не знаю, что у ней на умѣ, что она любитъ, что нѣтъ. Если и больна, такъ не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лѣкарства не спроситъ, а только пуще молчитъ. Не лѣнива, а ничего не дѣлаетъ: ни сшить, ни по канвѣ, ни музыки не любитъ, ни въ гости не ѣздитъ—такъ, уродилась такая! Я не видала, чтобы она засмѣялась отъ души, или заплакала бы. Если и разсмѣется, такъ прячетъ улыбку, точно грѣхъ какой. А чуть что не по ней, разстроена чѣмъ-нибудь, сейчасъ въ свою башню спрячется и переживетъ тамъ и горе, и радость — одна. Вотъ что!

— Что жъ, это хорошо: свой характеръ, своя воля—это самостоятельность. Дай Богъ!

— Вотъ, «дай Богъ!» дѣвушкѣ — своя воля! Ты не натолкуй ей еще этого, Борисъ Павлычъ, серьезно прошу тебя! Уменъ ты, и добрый, и честный, ты дѣвочкамъ, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдругъ — Богъ тебя вѣдаетъ что!

— Что же такое и кому я брякалъ, бабушка?

— Какъ кому? Марфинькѣ совѣтовалъ любить, не спро-

сясь бабушки: самъ посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала отъ тебя! Если ты самъ вышелъ изъ повиновенія у меня, зачѣмъ же смущать бѣдную дѣвушку?

— Ахъ, бабушка, какая вы самовластная женщина: все свое! Мало ли я спорилъ съ вами о томъ, что любить по приказу нельзя!..

— Вотъ, Борюшка, мы выгнали Нила Андреича, а онъ бы тебѣ на это отвѣчалъ, какъ слѣдуетъ. Я не сумѣю. Я знаю только, что ты дичь городишь, да: не прогнѣвайся! Это новыя правила, что ли?

— Да, бабушка, новыя; старый вѣкъ проходитъ. Нельзя ему длиться два вѣка. Нужно же и новому придти!

— Да все ли хорошо въ твоемъ новомъ вѣкѣ?

— Вы разсудите, бабушка: разъ въ жизни дѣвушки расцвѣтаетъ весна — и эта весна — любовь. И вдругъ не дать свободы ей расцвѣсть, заглушить, отнять свѣжій воздухъ, оборвать цвѣты... За что же и по какому праву вы хотите заставить, напримѣръ, Марѳиньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ея склонности и влеченіямъ?

— А ты спроси Марѳиньку, будетъ ли она счастлива и захочетъ ли счастья, если бабушка не благословитъ ее на него?

— Я ужъ спрашивалъ.

— Ну, что же?

— Безъ васъ, говоритъ, ни шагу.

— Вотъ видишь!

— Да развѣ это разумно: гдѣ же свобода, гдѣ права? Вѣдь она мыслящее существо, человѣкъ, зачѣмъ же навязывать ей свою волю и свое счастье?..

— Кто навязывалъ: спроси ее? Если бъ онѣ у меня были запуганныя или забитыя, какія-нибудь несчастныя, а ты видишь, что онѣ живутъ у меня, какъ птички, дѣлаютъ что хотятъ...

— Да, это правда, бабушка, — чистосердечно сказалъ

Райскій: — въ этомъ вы правы. Васъ связываетъ съ ними не страхъ, не цѣпи, не молотъ авторитета, а нѣжность голубинаго гнѣзда... Онѣ обожаютъ васъ — такъ... Но вѣдь все дѣло въ воспитаніи: зачѣмъ наматывать имъ старыя понятія, воспитывать по-птичьи? Дайте имъ самимъ извлечь немного соку изъ жизни... Птицу запрутъ въ клѣтку, и когда она отвыкнетъ отъ воли, послѣ отворяй двери настежь—не летитъ вонъ! Я это и нашей кузинѣ Бѣловодовой говорилъ: тамъ одна неволя, здѣсь другая...

— Ничего я ни Марѳинькѣ, ни Вѣрочкѣ не наматывала; о любви и не заикалась никогда—боюсь и пикнуть, а вижу и знаю, что Марѳинька безъ моего совѣта и благословенія не полюбила бы никого.

— Пожалуй, что и такъ,—задумчиво сказалъ Райскій.

— И что, если бъ ты, или другой, успѣли натолковать ей про эту твою свободу, и она бы послушала, такъ...

— Была бы несчастнѣйшее созданіе—вѣрю, бабушка—и потому, если Марѳинька пересказала вамъ мой разговоръ, то она должна была также сказать, что я понялъ ее и что послѣдній мой совѣтъ былъ — не выходить изъ вашей воли и слушаться отца Василья...

— Знаю и это: все вывѣдала, и вижу, что ты ей хочешь добра. Оставь же, не трогай ее, а то выйдетъ, что не я, а ты навязываешь ей счастье, котораго она сама не хочетъ, значитъ, ты самъ и будешь виноватъ въ томъ, въ чемъ упрекалъ меня: въ деспотизмѣ. Ты какъ понимаешь бабушку,— помолчавъ, начала она:—если бъ богачъ посватался за Марѳиньку, съ породой, съ именемъ, съ заслугами, да не понравился ей—я бы стала уговаривать ее?

— Хорошо, бабушка, я уступаю вамъ Марѳиньку, но не трогайте Вѣру. Марѳинька одно, а Вѣра другое. Если съ Вѣрой примите ту же систему, то сдѣлаете ее несчастной!

— Кто, я?—спросила бабушка.—Пусть бы она оставила

свою гордость и довѣрилась бабушкѣ: можетъ-быть, хватило бы ума и на другую систему.

— Не стѣсняйте только ее, дайте волю. Однѣ птицы родились для клѣтки, а другія для свободы... Она сумѣетъ управить своей судьбой одна...

— А развѣ я мѣшаю ей? стѣсняю ее? Она не довѣряется мнѣ, прячется, молчитъ, живетъ своимъ умомъ. Я даже не прошу у ней «ключей», а вотъ ты, кажется, безпокоишься!

Она пристально взглянула на него.

Райскій покраснѣлъ, когда бабушка вдругъ такъ ясно и просто доказала ему, что весь ея «деспотизмъ» построенъ на почвѣ нѣжнѣйшей материнской симпатіи и неутомимаго попеченія о счастьѣ любимыхъ ею сиротъ.

— Я только, какъ полицеймейстеръ, смотрю, чтобъ снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не вхожу, пока не позовутъ,—прибавила Татьяна Марковна.

— Каково: это идеалъ, вѣнецъ свободы! Бабушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вершинахъ развитія, умственнаго, нравственнаго и соціальнаго! Вы совсѣмъ готовый, выработанный человѣкъ! И какъ это вамъ далось даромъ, когда мы хлопочемъ-хлопочемъ! Я кланялся вамъ разъ, какъ женщинѣ, кланяюсь опять и горжусь вами: вы велики!..

Оба замолчали.

— Скажите, бабушка, что это за попадья и что за связь у нихъ съ Вѣрой?—спросилъ Райскій.

— Наталья Ивановна, жена священника. Она училась вмѣстѣ съ Вѣрой въ пансіонѣ, тамъ и подружились. Она часто гоститъ у насъ. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая...

— За что же любитъ ее Вѣра? Она умная, замѣчательная женщина, съ характеромъ должна быть?

— И! нѣтъ, какой характеръ! Не глупа, училась хо-

рошо, читаетъ много книгъ и пріодѣться любитъ. Попъ-то не бѣдный: своя земля есть. Михайло Иванычъ, помѣщикъ, любитъ его—у него тамъ полная чаша! Хлѣба, всякаго добра—въ волю; лошадей ему подарилъ, экипажъ, даже деревьями изъ оранжерей комнаты у него убираетъ. Попъ умный, изъ молодыхъ—только ужъ очень по-свѣтски ведетъ себя: привыкъ тамъ, въ помѣщичьемъ кругу. Даже французскія книжки читаетъ и покуриваетъ—это ужъ и не пристало бы къ рясѣ...

— Ну, а попадья что? Скажите мнѣ про нее: за что любитъ ее Вѣра, если у ней, какъ вы говорите, даже характера нѣтъ?

— А за то и любитъ, что характера нѣтъ.

— Какъ за то любить? Да развѣ это можно?

— И очень. Еще учить собирался меня, а не замѣтилъ, что иначе-то и не бываетъ...

— Какъ такъ?

— Да такъ: сильный сильнаго никогда не полюбитъ; такіе, какъ козлы, лишь сойдутся, сейчасъ и бодаться начнутъ! А сильный и слабый—только и ладятъ. Одинъ любитъ другого за силу, а тотъ...

— За слабость, что ли?

— Да, за гибкость, за податливость, за то, что тотъ не выходитъ изъ его воли.

— Вѣдь это вѣрно, бабушка: вы мудрецъ. Да здѣсь, я вижу, — непочатый уголъ мудрости! Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать васъ и отнынѣ вашъ послушный ученикъ, только прошу объ одномъ — не жените меня. Во всемъ остальномъ буду слушаться васъ. Ну, такъ что же попадья?

— Ну, попадья—добрая, смирная курица, лепечетъ безъ умолку, поетъ, охотница шептаться, особенно съ Вѣрой: такъ и щебечетъ, и все на ухо. А та только слушаетъ да молчитъ, рѣдко кивнетъ головой, или скажетъ слово. Вѣроч-

кинъ взглядъ, даже капризъ—для нея святы. Что та сказала, то только и умно, и хорошо. Ну, Вѣрѣ этого и надо: ей не другъ нуженъ, а послушная раба. Вонъ она и есть: отъ этого она такъ и любитъ ее. Зато какъ и струситъ Наталья Ивановна, чуть что-нибудь не угодитъ: «прости меня, душечка, милая», начнетъ цѣловать глаза, шею — и та ничего!

«Такъ вотъ что!» сказалъ Райскій про-себя: «гордый и независимый характеръ—рабовъ любитъ! А все твердитъ о свободѣ, о равенствѣ, и моего поклоненія не удостоила принять. Погоди же ты!»

— А вѣдь она любитъ васъ, бабушка, Вѣра-то? — спросилъ Райскій, желая узнать, любитъ ли она кого-нибудь еще, кромѣ Натальи Ивановны.

— Любитъ!—съ увѣренностью отвѣчала бабушка:—только по-своему. Никогда не показываетъ и не покажетъ! А любитъ,—пожалуй, хоть умереть готова.

«А что, можетъ-быть, она и меня любитъ, да только не показываетъ!» утѣшилъ-было себя Райскій, но самъ же и разрушилъ эту надежду, какъ несбыточную.

— Почему же вы знаете, если она не показываетъ?

— Не знаю и сама почему, а только любитъ.

— А вы ее?

— Люблю, — вполголоса сказала бабушка: — охъ, какъ люблю!—прибавила она со вздохомъ и даже слезы-было показались у нея: — она и не знаетъ: авось, узнаетъ когда-нибудь...

— А замѣтили ли вы, что Вѣра съ нѣкоторыхъ поръ какъ будто... задумчива? — нерѣшительно спросилъ Райскій, въ надеждѣ, не допытается ли какъ-нибудь отъ бабушки разрѣшенія своего мучительнаго «вопроса» о синемъ письмѣ.

— А ты замѣтилъ?

— Нѣтъ... такъ... она что-то... Вѣдь я не знаю, какая она вообще, только какъ будто того...

— Что жъ это за любовь, если бъ я не замѣтила! Ужъ не одну ночь не спала я и думаю, отчего она съ весны такая странная стала? То повеселѣетъ, то задумается; часто капризничаетъ, иногда вспылитъ. Замужъ пора ей — вотъ что! — почти про-себя прибавила Татьяна Марковна. — Я спрашивала доктора, тотъ все на нервы: дались имъ эти нервы—и что это за нервы такіе? Бывало и доктора никакихъ нервъ не знали. Поясница—такъ и говорили, что поясница болитъ, или подъ ложечкой: отъ этого и лѣчили. А теперь все пошли нервы! Вонъ, бывало, кто съ ума сойдетъ: спятилъ, говорятъ, сердечный — съ горя, что ли, или изъ ума выжилъ, или спился, а нынче говорятъ: мозги какъ-то размягчились...

— Не влюблена ли?—вполголоса сказалъ Райскій—и раскаялся; хотѣлось бы назадъ взять слово, да поздно.

Въ бабушку точно камнемъ попало.

— Господи спаси и помилуй!—произнесла она, перекрестившись, точно молнія блеснула передъ ней: — этого горя только недоставало!

— Вотъ нашли горе: ей счастье, а вамъ горе!

— Не шути этимъ, Борюшка; самъ сказалъ сейчасъ, что она не Марѳинька! Пока Вѣра капризничаетъ безъ причины, молчитъ, мечтаетъ одна — Богъ съ ней! А какъ эта змѣя, любовь, заберется въ нее, тогда съ ней не сладишь! Этого «рожна» я и тебѣ, не только дѣвочкамъ моимъ, не пожелаю. Да ты это съ чего взялъ: говорилъ, что ли, съ ней, замѣтилъ что-нибудь? Ты скажи мнѣ, родной, всю правду! — умоляющимъ голосомъ прибавила она, положивъ ему на плечо руку.

— Ничего, бабушка, Богъ съ вами, успокойтесь, я такъ, просто «брякнулъ», какъ вы говорите, а вы ужъ и встревожились, какъ давеча о ключахъ...

— Да, «ключи», — вдругъ ухватилась за слово бабушка и даже измѣнилась въ лицѣ:—эта аллегорія—что она зна-

читъ? Ты проговорился про какой-то ключъ отъ сердца: что это такое, Борисъ Павлычъ,—ты не мути моего покоя, скажи, какъ на духу, если знаешь что-нибудь?

Райскому досадно стало на себя, и онъ всѣми силами старался успокоить бабушку, и отчасти успѣлъ.

— Я замѣтилъ то же, что и вы, — говорилъ онъ: — не больше. Ну, скажетъ ли она мнѣ, если отъ всѣхъ васъ таится? Я даже, видите, не зналъ, куда она ѣздитъ, что это за попадья такая — спрашивалъ-спрашивалъ—ни слова! Вы же мнѣ разсказали.

— Да, да, не скажетъ, это правда — отъ нея не добьешься! — прибавила успокоенная бабушка: — не скажетъ! Вотъ та шептунья, попадья, все знаетъ, что у ней на умѣ: да и та скорѣй умретъ, а не скажетъ ея секретовъ. Свои сейчасъ разроняетъ, только подбирай, а ея — Боже сохрани!

Оба замолчали.

— Да и въ кого бы тутъ влюбиться? — разсуждала бабушка:—не въ кого.

— Не въ кого?—живо спросилъ Райскій.— Никого нѣтъ такого?..

Татьяна Марковна покачала головой.

— Развѣ лѣсничій...— сказала она задумчиво: — хорошій человѣкъ! Онъ, кажется, не прочь, я замѣчаю... Славная бы партія Вѣрѣ... да...

— Да что?

— Да она-то мудреная такая—Богъ знаетъ—какъ приступиться къ ней, какъ посвататься! А славный, солидный, и богатый: одного лѣсу будетъ тысячъ...

— Лѣсничій!—повторилъ Райскій:—какой лѣсничій? Что онъ за человѣкъ? молодой, образованный, замѣчательный?..

Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна пріѣхала и спрашиваетъ, расположенъ ли Борисъ Павловичъ рисовать ея портретъ.

— И поговорить не дастъ—принесла нелегкая!—ворчала бабушка.—Проси, да завтракъ чтобъ былъ готовъ.

— Откажите бабушка, зачѣмъ? Потрудись, Василиса, сказать, что я до пріѣзда Вѣры Васильевны портрета писать не стану.

Василиса пошла и воротилась.

— Требуетъ васъ туда: пейдетъ изъ коляски, — сказала она.

XI.

Неизвѣстно, что говорила Райскому Полина Карповна, но, черезъ пять минутъ, онъ взялъ шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонамъ, помчала его, сначала по главнымъ улицамъ, гордясь своей побѣдой, и потомъ, какъ военную добычу, привезла домой.

Райскій съ любопытствомъ шелъ за Полиной Карповной въ комнаты, любезно отвѣчалъ на ея нѣжный шопотъ страстные взгляды. Она молила его признаться, что онъ неравнодушенъ къ ней, на что онъ въ ту же минуту согласился, и съ любопытствомъ ждалъ, что изъ этого будетъ.

— О, я знала, я знала — видите! Не я ли предсказывала?—ликуя, говорила она.

Она начала съ того, что сейчасъ опустила шторы, сдѣлала полумракъ въ комнатѣ и полусѣла или полулегла на кушеткѣ, къ свѣту спиной.

— Да, я знала это: с, съ первой минуты я видѣла, que nous nous convenons—да, cher m-r Boris,—не правда ли?

Она пришла въ экстазъ, не знала, гдѣ его посадить, велѣла подать прекрасный завтракъ, холоднаго шампанскаго, чокалась съ нимъ и сама цѣдила по каплѣ въ ротъ вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась вѣеромъ. Потомъ позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимаетъ; вошелъ человѣкъ въ комнату, она повторила то же и велѣла опустить шторы даже въ залѣ.

Она сидѣла въ своей красивой позѣ, напротивъ большого зеркала, и молча улыбалась своему гостю, млѣя отъ удовольствія. Она не старалась ни приблизиться, ни взять Райскаго за руку, не приглашала сѣсть ближе, а только играла и блистала передъ нимъ своей интересной особой, нечаянно показывала «ножки» и съ улыбкой смотрѣла, какъ дѣйствуютъ на него эти маневры. Если онъ подходилъ къ ней, она прилично отодвигалась и давала ему подлѣ себя мѣсто.

Онъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на нее и хотѣлъ окончательно рѣшить, что она такое. Онъ-было испугался приготовленій, какими она обстановила его посѣщеніе, но съ каждымъ ея движеніемъ опасенія его разсѣивались. Повидимому, добродѣтели его не угрожала никакая опасность.

«Чего же она хочетъ отъ меня?» догадывался онъ, глядя на нее съ любопытствомъ.

— Скажите мнѣ что-нибудь про Петербургъ, про ваши побѣды: о, ихъ много у васъ? да? Скажите, что тамошнія женщины — лучше здѣшнихъ? (она взглянула на себя въ зеркало) одѣваются съ бо́льшимъ вкусомъ? (и обернула на себѣ платье и сбросила съ плеча кружевную мантилью).

А плечи у ней были бѣлы и круглы, такъ что Райскій находилъ ихъ не совсѣмъ недостойными кисти.

— Что жъ вы молчите: скажите что́-нибудь?—продолжала она, дрыгнувъ не безъ пріятности «ножкой» и спрятавъ ее подъ платье.

Потомъ плутовски взглянула на него, наблюдая, дѣйствуетъ ли?

«Что жъ она такое: постой, сейчасъ скажется!..» подумалъ онъ.

— Я все сказалъ!—съ комическимъ экстазомъ произнесъ онъ:—мнѣ остается только... поцѣловать васъ!

Онъ всталъ со своего мѣста и подошелъ къ ней рѣшительно.

— M-r Boris! de grâce — oh! oh! — съ натянутымъ смущеніемъ сказала она: — que voulez-vous — нѣтъ, ради Бога, нѣтъ, пощадите, пощадите!

Онъ наклонился къ ней и, повидимому, хотѣлъ привести свое намѣреніе въ исполненіе. Она замахала руками въ непритворномъ страхѣ, встала съ кушетки, подняла штору, оправилась и сѣла прямо, но лицо у ней горѣло лучами торжества. Она была озарена какимъ-то блескомъ — и опустивъ томно голову на плечо, шептала сладостно:

— Pitié, pitié!

— Grâ-ce, grâ-ce! — запѣлъ Райскій, едва сдерживая смѣхъ.

— Я пошутилъ: не бойтесь, Полина Карповна — вы безопасны, клянусь вамъ...

— О, не клянитесь! — вдругъ вставъ съ мѣста, сказала она съ паѳосомъ и зажмуриваясь:—есть минуты, страшныя въ жизни женщины... Но вы великодушны!.. — прибавила опять томно млѣя и клоня голову на сторону: — вы не погубите меня...

— Нѣтъ, нѣтъ, — говорилъ онъ, наслаждаясь этой сценой: — какъ можно губить мать семейства!.. Вѣдь у васъ есть дѣти — а гдѣ ваши дѣти?—спросилъ онъ, оглядываясь вокругъ.—Что вы мнѣ не покажете ихъ?

Она сейчасъ же отрезвилась.

— Ихъ нѣтъ... они...—заговорила она.

— Познакомьте меня съ ними: я такъ люблю малютокъ.

— Нѣтъ, pardon, m-r Boris,—ихъ въ городѣ нѣтъ...

— Гдѣ же они?

— Они... гостятъ въ деревнѣ у знакомыхъ.

Дѣло въ томъ, что одному «малюткѣ» было шестнадцать, а другому четырнадцать лѣтъ, и Крицкая отправила ихъ къ дядѣ на воспитаніе, подальше отъ себя, чтобъ они возрастомъ своимъ не обличали ея лѣтъ.

Райскому стало скучно, и онъ собрался домой. Полина

Карповна не только не удерживала его, но повидимому была довольна, что онъ уходитъ. Она велѣла подавать коляску и непремѣнно хотѣла ѣхать съ нимъ.

— И прекрасно, — сказалъ Райскій: — завезите меня въ одно мѣсто!

Полина Карповна обрадовалась, и они покатили опять по улицамъ.

Къ вечеру весь городъ зналъ, что Райскій провелъ утро наединѣ съ Полиной Карповной, что не только шторы были опущены, даже ставни закрыты, что онъ объяснился въ любви, умолялъ о поцѣлуѣ, плакалъ—и теперь страдаетъ муками любви.

Долго кружили по городу Райскій и Полина Карповна. Она старалась провезти его мимо всѣхъ знакомыхъ, наконецъ онъ указалъ одинъ переулокъ и велѣлъ остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидѣла у окна жену Леонтья, которая дѣлала знаки Райскому. Полина Карповна пришла въ ужасъ.

— Вы ѣздите къ этой женщинѣ — возможно ли? Я компрометирована!—сказала она.—Что скажутъ, когда узнаютъ, что я завезла васъ сюда? Allons, de grâce, montez vite et partons! Cette femme: quelle horreur!

Но Райскій махнулъ рукой и вошелъ въ домъ.

«Вотъ сучокъ замѣтила въ чужомъ глазу!» думалъ онъ.

XII.

Свиданіе наединѣ съ Крицкой напомнило ему о его «обязанности къ другу», на которую онъ такъ торжественно готовился недавно и отъ которой отвлекла его Вѣра. У него даже забилось сердце, когда онъ оживилъ въ памяти свои намѣренія оградить домашнее счастье этого друга.

Леонтья не было дома, и Ульяна Андреевна встрѣтила Райскаго съ распростертыми объятіями, отъ которыхъ онъ сухо уклонился. Она называла его старымъ другомъ, «ша-

луномъ», слегка взяла его за ухо, посадила на диванъ, сѣла къ нему близко, держа его за руку.

Райскій едва терпѣлъ эту прямую атаку и растерялся въ первую минуту отъ быстраго и неожиданнаго натиска, который вдругъ перенесъ его въ эпоху стараго знакомства съ Ульяной Андреевной и студенческихъ шалостей: но это было такъ давно!

— Что вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь — я не студентъ, а вы не дѣвочка!..—упрекнулъ онъ ее.

— Для меня вы все тотъ же милый студентъ, шалунъ, а я для васъ та же послушная дѣвочка...

Она вскочила съ мѣста, схватила его за руки и три раза повернулась съ нимъ по комнатѣ, какъ въ вальсѣ.

— А кто мнѣ платье разорвалъ, помните?...

Онъ смотрѣлъ на нее, стараясь вспомнить.

— Забыли, какъ ловили за талію, когда я хотѣла уйти!.. Кто на колѣняхъ стоялъ? Кто ручки цѣловалъ! На-те, поцѣлуйте, неблагодарный! А я для васъ та же Улинька!

— Жаль!—сказалъ онъ со вздохомъ:—ужели вы не забыли старыя шалости?

— Нѣтъ, нѣтъ—все помню, все помню!—И она вертѣла его за руки по комнатѣ.

Ему легче казалось сносить тупое, безплодное и карикатурное кокетничанье сѣдѣющей Калипсо, все ищущей своего Телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встрѣчи съ сатиромъ...

А она, съ блескомъ на рыжеватой маковкѣ и бровяхъ, съ огнистымъ румянцемъ, ярко проступавшимъ сквозь веснушки, смотрѣла ему прямо въ лицо лучистыми, горячими глазами, съ безпечной радостью, отважной рѣшимостью и затаеннымъ смѣхомъ.

Онъ отворачивался отъ нея, старался заговорить о Леонтьѣ, о его занятіяхъ, ходилъ изъ угла въ уголъ и десять разъ

подходилъ къ двери, чтобъ уйти, но чувствовалъ, что это не легко сдѣлать.

Онъ попалъ будто въ клѣтку тигрицы, которая, сидя въ углу, слѣдитъ за своей жертвой: и только онъ брался за ручку двери, она ужъ стояла передъ нимъ, прижавшись спиной къ замку, и глядя на него своимъ смѣющимся взглядомъ, безъ улыбки.

Куда онъ ни оборачивался, онъ чувствовалъ, что не могъ уйти изъ-подъ этого взгляда, который, какъ взглядъ портретовъ, всюду слѣдилъ за нимъ.

Онъ сѣлъ и погрузился въ свою задачу о «долгѣ», думалъ, съ чего начать. Онъ видѣлъ, что мягкость тутъ не поможетъ: надо бросить «громъ» на эту, играющую позоромъ женщину, назвать по имени стыдъ, который она такъ щедро льетъ на голову его друга.

Онъ молча, холодно осматривалъ ее съ ногъ до головы, даже позволилъ себѣ легкую улыбку презрѣнія.

А она, отворотясь отъ этого сухого взгляда, обойдетъ сзади стула и вдругъ нагнется къ нему и близко взглянетъ ему въ лицо, положитъ на плечо руки, или нѣжно щипнетъ его за ухо — и вдругъ остановится на мѣстѣ, оцѣпенѣетъ, смотритъ въ сторону глубоко-задумчиво, или въ землю, точно перемогаетъ себя, или—можетъ-быть—вспоминаетъ лучшіе дни, Райскаго-юношу, потомъ вздохнетъ, очнется—и опять къ нему...

Онъ зорко наблюдалъ ее.

— Что вы такъ смотрите на меня, не попрежнему, старый другъ?—говорила она тихо, точно пѣла:—развѣ ничего не осталось на мою долю въ этомъ сердцѣ? А помните, когда липы цвѣли?

— Я ничего не помню,—сухо говорилъ онъ:—все забылъ!

— Неблагодарный! — шептала она и прикладывала руку къ его сердцу, потомъ щипала опять за ухо, или за щеку, и быстро переходила на другую сторону.

— Развѣ все отдали Вѣрѣ: да?—шептала она.

— Вѣрѣ?—вдругъ спросилъ онъ, отталкивая ее.

— Тс-тс—все знаю—молчите. Забудьте на минуту свою милую...

«Нѣтъ», думалъ онъ: въ другой разъ, когда Леонтій будетъ дома, я гдѣ-нибудь въ углу, въ саду, дамъ ей урокъ, назову ей по имени и ея поведеніе, а теперь...»

Онъ всталъ.

— Пустите, Ульяна Андреевна: я въ другой разъ приду, когда Леонтій будетъ дома, — сухо сказалъ онъ, стараясь отстранить ее отъ двери.

— А вотъ этого я и не хочу, — отвѣчала она: — очень мнѣ весело, что вы придете при немъ — я хочу видѣть васъ одного: хоть на часъ будьте мой — весь мой... чтобъ никому ничего не досталось! И я хочу быть — вся ваша... вся!—страстно шепнула она, кладя голову ему на грудь.— Я ждала этого, видѣла васъ во снѣ, бредила вами, не знала, какъ заманить. Случай помогъ мнѣ — вы мой, мой, мой!— говорила она, охватывая его руками за шею и цѣлуя воздухъ.

«Ну, это — не Полина Карповна, съ ней надо принять рѣшительныя мѣры!» подумалъ Райскій и энергически обнявъ за талію, отвелъ ее въ сторону и отворилъ дверь.

— Прощайте,—сказалъ онъ, махнувъ шляпой:—до свиданія! Я завтра...

Шляпа очутилась у ней въ рукѣ — и она, нагнувъ голову, подняла шляпу вверхъ и насмѣшливо махала ею надъ головой.

Онъ хотѣлъ схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже въ другой комнатѣ и протягивала шляпу къ нему, маня за собой.

— Возьмите!—дразнила она.

Онъ молча наблюдалъ ее.

— Дайте шляпу!—сказалъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Возьмите.

— Отдайте.

— Вотъ она.

— Поставьте на полъ.

Она поставила и отошла къ окну. Онъ вошелъ къ ней въ комнату и бросился къ шляпѣ, а она бросилась къ двери, заперла и положила ключъ въ карманъ.

Они смотрѣли другъ на друга: Райскій — съ холоднымъ любопытствомъ, она — съ дерзкимъ торжествомъ, сверкая смѣющимися глазами. Онъ молча дивился красотѣ ея римскаго профиля.

«Да, Леонтій правъ: это—камея; какой профиль, какая строгая, чистая линія затылка, шеи! И эти волосы такъ же густы, какъ бывало...»

Онъ вдругъ вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ, и сдѣлалъ строгое лицо.

— Понимаете ли вы сами, какую сцену играете? — съ холодной важностью произнесъ онъ.

— Милый Борисъ! — нѣжно говорила она, протягивая руки и маня къ себѣ: — помните садъ и бесѣдку? Развѣ эта сцена — новость для васъ? Подите сюда! — прибавила скороговоркой, шопотомъ, садясь на диванъ и указывая ему мѣсто возлѣ себя.

— А мужъ?—вдругъ сказалъ онъ.

— Что мужъ? Все такой же дуракъ, какъ и былъ!

— Дуракъ! — съ упрекомъ, возвысивъ голосъ, повторилъ онъ.—И вы такъ платите ему за его доброту, за довѣріе!

— Да развѣ его можно любить?

— Отчего же не любить?

— Такихъ не любятъ... Подите сюда!..—шептала опять.

— Но вы любили же когда-нибудь?

Она отрицательно покачала головой.

— Зачѣмъ же вы шли замужъ?

— Это совсѣмъ другое дѣло: онъ взялъ, я и вышла. Куда жъ мнѣ было дѣться!

— И обманываете цѣлую жизнь, каждый день, увѣряете его въ любви...

— Никогда не увѣряю, да онъ и не спрашиваетъ. Видите, и не обманываю!

— Но помилуйте, что вы дѣлаете!! — говорилъ онъ, стараясь придать ужасъ голосу.

Она съ затаеннымъ смѣхомъ, отважно смотрѣла на него; глаза у ней искрились.

— Что я дѣлаю!!!—съ комическимъ ужасомъ передразнила она:—все люблю васъ, неблагодарный, все вѣрна милому студенту Райскому... Подите сюда!

— Если бъ онъ зналъ!—говорилъ Райскій, боязливо ворочая глазами вокругъ и останавливая ихъ на ея профилѣ.

— Не узнаетъ, а если бъ и узналъ — такъ ничего. Онъ дуракъ.

— Нѣтъ, не дуракъ, а слабый, любящій до слѣпоты. И вотъ—его семейное счастье!

— А чѣмъ онъ несчастливъ?—вспыхнувъ, сказала Ульяна Андреевна:—поищите ему другую такую жену. Если не посмотрѣть за нимъ, онъ мимо рта ложку пронесетъ. Онъ одѣтъ, обутъ, ѣстъ вкусно, спитъ покойно, знаетъ свою латынь: чего ему еще больше? И будетъ съ него! А любовь не про такихъ!

— Про какихъ же?

— Про такихъ, какъ вы... Подите сюда!

— Но онъ вамъ вѣритъ, онъ поклоняется вамъ...

— Я ему не мѣшаю: онъ мужъ—чего жъ ему еще?

— Ваша ласка, попеченія — все это должно принадлежать ему!

— Все и принадлежитъ — развѣ его не ласкаютъ, противнаго урода этакаго! Попробовали бы вы...

— Зачѣмъ же эта распущенность, этотъ Шарль!..

Она опять вспыхнула.

— Какой вздоръ — Шарль! кто это вамъ напѣлъ? противная бабушка ваша—вздоръ, вздоръ!

— Я самъ слышалъ...

— Что вы слышали?

— Въ саду, какъ вы шептались, какъ...

— Это все пустое, вамъ померещилось! М-г Шарль придетъ, спроситъ сухарь, стаканъ краснаго вина — выпьетъ и уйдетъ.

Она отошла къ окну и въ досадѣ начала ощипывать листья и цвѣты въ горшкахъ. И у ней лицо стало, какъ маска, и глаза перестали искриться, а сдѣлались прозрачны, безцвѣтны — «какъ у Вѣры тогда...» думалъ онъ. «Да, да, да — вотъ онъ, этотъ взглядъ, одинъ и тотъ же у всѣхъ женщинъ, когда онѣ лгутъ, обманываютъ, таятся... Русалки!»

— Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство...—говорилъ онъ.

— Еще что!

— Словомъ — совѣсть не угрызаетъ васъ, не шепчетъ, вамъ, какъ глубоко оскорбляете вы бѣднаго моего друга...

— Какой вздоръ вы говорите—тошно слушать!—сказала она, вдругъ обернувшись къ нему и взявъ его за руки.— Ну, кто его оскорбляетъ? Что вы мнѣ мораль читаете! Леонтій не жалуется, ничего не говоритъ... Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой: ему покойно, больше ничего не надо, а мнѣ-то каково безъ любви! Какая бы другая связалась съ нимъ!..

— Онъ такъ васъ любитъ!

— Куда ему? Умѣетъ онъ любить! Онъ даже и слова о любви не умѣетъ сказать: выпучитъ глаза на меня—вотъ и вся любовь! точно пень! Дались ему книги, уткнетъ носъ въ нихъ и возится съ ними. Пусть же онѣ и любятъ его! Я буду для него исправной женой, а любовницей (она сильно потрясла головой)—никогда!

— Да вы новѣйшій философъ, — весело замѣтилъ Райскій:—не смѣшиваете любви съ бракомъ: мужу...

— Мужу—щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой...

— А любовь?

— А любовь... вотъ кому!—сказала она, и вдругъ обвилась руками около шеи Райскаго, затворила ему ротъ крѣпкимъ и продолжительнымъ поцѣлуемъ.

Онъ остолбенѣлъ, и даже зашатался на мѣстѣ. А она не выпускала его шеи изъ объятій, обдавала искрами глазъ, любуясь дѣйствіемъ поцѣлуя.

— Постойте... постойте, — говорилъ онъ, озадаченный:— вспомните... я другъ Леонтья, моя обязанность...

Она затворила ему ротъ маленькой рукой — и онъ... поцѣловалъ руку.

— Нѣтъ!—говорилъ онъ, стараясь не глядѣть на ея профиль и жмурясь отъ ея искристыхъ, широко открытыхъ глазъ: — моментъ насталъ, брошу камень въ эту холодную, безсердечную статую...

Онъ освободился изъ ея объятій, поправилъ смятые волосы, отступилъ на шагъ и выпрямился.

— А стыдъ — куда вы дѣли его, Ульяна Андреевна? — сказалъ онъ рѣзко.

— Стыдъ... стыдъ... — шептала она, обливаясь румянцемъ и пряча голову на его груди: — стыдъ я топлю въ поцѣлуяхъ...

Она опять прильнула къ его щекѣ губами.

— Опомнитесь и оставьте меня!—строго сказалъ онъ: — если въ домѣ моего друга поселился демонъ, я хочу быть ангеломъ-хранителемъ его покоя...

— Не говорите, ахъ не говорите мнѣ страшныхъ словъ...—почти простонала она.—Вамъ ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого... А вы! Помните?.. Мнѣ страшно, больно, я захвораю, умру... Мнѣ тошно жить; здѣсь такая скука...

— Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина...— говорилъ онъ.

Она судорожно, ещѐ сильнѣе прижалась къ нему, пряча голову у него на груди.

— Ахъ,—сказала она:—зачѣмъ, зачѣмъ вы... это говорите?.. Борисъ... милый Борисъ.. вы ли это...

— Пустите меня! Я задыхаюсь въ вашихъ объятіяхъ!— сказалъ онъ:—я измѣняю самому святому чувству—довѣрію друга... Стыдъ да падетъ на вашу голову!..

Она вздрогнула, потомъ вдругъ вынула изъ кармана ключъ, которымъ заперла дверь, и бросила ему въ ноги. Послѣ этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райскаго мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокругъ себя, схватила себя обѣими руками за голову и испустила крикъ, такъ что Райскій испугался и не радъ былъ, что вздумалъ будить женское заснувшее чувство.

— Ульяна Андреевна! опомнитесь, придите въ себя!—говорилъ онъ, стараясь удержать ее за руки. — Я нарочно, пошутилъ, виноватъ!..

Но она не слушала, качала въ отчаяніи головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти въ ладони, и рыдала безъ слезъ.

— Что я, гдѣ я? — говорила она, ворочая вокругъ себя изумленными глазами.—Стыдъ... стыдъ...—отрывисто вскрикивала она:—Боже мой, стыдъ... да, жжетъ—вотъ здѣсь!

Она рвала манишку на себѣ.

Онъ разстегнулъ, или скорѣе разорвалъ ей платье и положилъ ее на диванъ. Она металась, какъ въ горячкѣ, испуская вопли, такъ что слышно было на улицѣ.

— Ульяна Андреевна, опомнитесь!—говорилъ онъ, ставши на колѣни, цѣлуя ей руки, лобъ, глаза.

Она взглядывала мелькомъ на него, дѣлая большіе глаза, какъ-будто удивляясь, что онъ тутъ, потомъ вдругъ судо-

рожно прижимала его къ груди и опять отталкивала, твердя: «стыдъ! стыдъ! жжетъ... вотъ здѣсь... душно...»

Онъ понялъ въ ту минуту, что будить давно уснувшій стыдъ слѣдовало исподволь, съ пощадой, если онъ не умеръ совсѣмъ, а только заглохъ: «все равно», подумалъ онъ, «какъ пьяницу нельзя вдругъ оторвать отъ чарки—горячка будетъ!»

Онъ не зналъ, что̀ дѣлать, отперъ дверь, бросился въ столовую, забѣжалъ съ отчаянія въ какой-то темный уголъ, выбѣжалъ въ садъ, чтобъ позвать кухарку, зашелъ въ кухню, хлопая дверьми—нигдѣ ни души.

Онъ захватилъ ковшъ воды, прибѣжалъ назадъ: одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну въ этомъ положеніи казалось ему жестокостью.

Она все металась и стонала, волосы у ней густой косой разсыпались по плечамъ и груди. Онъ сталъ на колѣни, поцѣлуями зажималъ ей ротъ, унималъ стоны, цѣловалъ руки, глаза.

Мало-по-малу она ослабѣла, потомъ оставалась минутъ пять въ забытьи, наконецъ пришла въ себя, остановила на немъ томный взглядъ и—вдругъ дико, бѣшено стиснула его руками за шею, прижала къ груди и прошептала:

— Вы мой... мой!.. не говорите мнѣ страшныхъ словъ... «*Оставь угрозы, свою Тамару не брани*», — повторила она Лермонтовскій стихъ съ томной улыбкой.

«Господи!» застонало внутри его: «что̀ мнѣ дѣлать!»

— Не станете?—шопотомъ прибавила она, крѣпко держа его за голову:—вы мой?

Райскій не могъ въ ея рукахъ повернуть головы, онъ поддерживалъ ея затылокъ и шею: римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этихъ молящихъ глазъ, полуоткрытыхъ, горячихъ губъ...

Онъ не отводилъ глазъ отъ ея профиля, у него закружилась голова... Румяныя и жаркія щеки ея запылали

ярче и жгли ему лицо. Она поцѣловала его, онъ отдалъ поцѣлуй. Она прижала его крѣпче, прошептала чуть слышно:

— Вы мой теперь: никому не отдамъ васъ!..

Онъ не бранилъ, не сказалъ больше ни одного «страшнаго» слова... «Громы» умолкли..

XIII.

Исполнивъ «дружескую обязанность», Райскій медленно, почти безсознательно шелъ по переулку, поднимаясь въ гору и тупо глядя на крапиву въ канавѣ, на пасущуюся корову на пригоркѣ, на роющуюся около плетня свинью, на пустой, длинный заборъ. Оборотившись назадъ, къ домику Козлова, онъ увидѣлъ, что Ульяна Андреевна стоитъ еще у окна и машетъ ему платкомъ.

— Я сдѣлалъ все, что могъ, все!—говорилъ онъ, отворачиваясь отъ окна съ содроганіемъ, и прибавилъ шагу.

Взойдя на гору, онъ остановился и въ непритворномъ ужасѣ произнесъ:

— Боже, Боже мой!

Гамлетъ и Офелія! вдругъ пришло ему въ голову, и онъ закатился смѣхомъ отъ этого сравненія, такъ что даже ухватился за рѣшетку церковной ограды. Ульяна Андреевна—Офелія! Надъ сравненіемъ себя съ Гамлетомъ онъ не смѣялся: «всякій, казалось ему, бываетъ Гамлетомъ иногда!» Такъ называемая «воля» подшучиваетъ надъ всѣми!—Нѣтъ воли у человѣка, — говорилъ онъ: — а есть параличъ воли: это къ его услугамъ! А то, что называютъ волей—эту мнимую силу, такъ она вовсе не въ распоряженіи господина, «царя природы», а подлежитъ какимъ-то постороннимъ законамъ и дѣйствуетъ по нимъ, не спрашивая его согласія. Она, какъ совѣсть, только и напоминаетъ о себѣ, когда человѣкъ ужъ сдѣлалъ не то, что надо, или если онъ и бываетъ твердъ волей, такъ развѣ случайно, или тамъ, гдѣ онъ равнодушенъ.

— Леонтій!—вдругъ произнесъ онъ, хватаясь за голову:— въ какихъ рукахъ его счастье! Какими глазами взгляну я на него! А какъ тверда была моя воля!

Какъ онъ искренно готовился къ своей благородной роли, какъ улыбалась ему идея долга, какую награду нашелъ бы онъ въ своемъ сознаніи, если бъ...

— А что было мнѣ дѣлать?—заключилъ онъ вопросомъ и мало-по-малу поднималъ голову, выпрямлялся, морщины разглаживались, лицо становилось покойнѣе.

— Я сдѣлалъ все, что могъ, все что могъ! — твердилъ онъ: — но вышло не то, что нужно... — шепнулъ онъ со вздохомъ.

И съ этимъ *но*, и съ этимъ вздохомъ, пришелъ къ себѣ домой, мало-по-малу оправданный въ собственныхъ глазахъ, и, къ большому удовольствію бабушки, весело и съ аппетитомъ пообѣдалъ съ нею и съ Марѳинькой.

«Эту главу въ романѣ надо выпустить...», подумалъ онъ, принимаясь вечеромъ за тетради, чтобы дополнить очеркъ Ульяны Андреевны... «А зачѣмъ: лгать, притворяться, становиться на ходули? Не хочу, оставлю, какъ есть, смягчу только это свиданіе... прикрою нимфу и сатира гирляндой...»

Райскій прилежно углубился въ свой романъ. Передъ нимъ какъ будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какіе-то клочки.

— Но вѣдь иной недогадливый читатель подумаетъ, что я самъ такой, и только такой! — сказалъ онъ, перебирая свои тетради:—онъ не сообразитъ, что это не я, не Карпъ, не Сидоръ, а типъ; что въ организмѣ художника совмѣщаются многія эпохи, многія разнородныя лица... Что я стану дѣлать съ ними? Куда дѣну еще десять, двадцать типовъ?..

— Надо также выдѣлить изъ себя и слѣпить и тѣ десять, двадцать типовъ въ статуи,—шепнулъ кто-то внутри

его: — это и есть задача художника, его «дѣло», а не «миражъ»!

Онъ вздохнулъ.

«Гдѣ мнѣ, неудачнику!» подумалъ онъ уныло.

Прошло нѣсколько дней послѣ свиданія съ Ульяной Андреевной. Однажды къ вечеру собралась гроза, за Волгой небо обложилось черными тучами, на дворѣ парило, какъ въ банѣ; по полю и по дорогѣ кое-гдѣ вихрь крутилъ пыль.

Все примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь домъ. Вездѣ закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тѣхъ, кто ея не боялся, считая это за вольнодумство. Всѣ набожно крестились въ домѣ при блескѣ молніи, а кто не перекрестится, того называли «пнемъ». Егорку выгоняла изъ передней въ людскую, потому что онъ не переставалъ хихикать съ горничными и въ грозу.

Гроза приближалась величественно; издали доносился глухой рокотъ грома, пыль неслась столбомъ. Вдругъ блеснула молнія и надъ деревней раздался рѣзкій ударъ грома.

Райскій схватилъ фуражку, зонтикъ и пошелъ проворно въ садъ, съ тѣмъ, чтобы поближе наблюдать картину, помѣститься самому въ нее, списать детали и наблюдать свои ощущенія.

Татьяна Марковна увидѣла его изъ окна и постучала ему въ стекло.

— Куда это ты, Борисъ Павловичъ?— спросила она, подозвавъ его къ окну.

— На Волгу, бабушка, грозу посмотрѣть.

— Въ умѣ ли ты? Воротись!

— Нѣтъ, я пойду...

— Говорятъ, не ходи!— повелительно прибавила она.

Опять блеснула молнія и раздался продолжительный раскатъ грома. Бабушка въ испугѣ спряталась, а Райскій со-

шелъ съ обрыва и пошелъ между кустовъ едва замѣтной извилистой тропинкой.

Дождь лилъ, какъ изъ ведра, молнія сверкала за молніей, громъ ревѣлъ. И сумерки, и тучи погрузили все въ глубокій мракъ.

Райскій сталъ раскаиваться въ своемъ артистическомъ намѣреніи посмотрѣть грозу, потому что отъ ливня намокшій зонтикъ пропускалъ воду ему на лицо и на платье, ноги вязли въ мокрой глинѣ, и онъ, забывши подробности мѣстности, безпрестанно натыкался въ рощѣ на бугры, на пни, или скакалъ въ ямы.

Онъ поминутно останавливался, и только при блескѣ молніи дѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Онъ зналъ, что тутъ была гдѣ-то, на днѣ обрыва, бесѣдка, когда еще кусты и деревья, росшіе по обрыву, составляли часть сада.

Недавно еще, пробираясь къ берегу Волги, мимоходомъ онъ видѣлъ ее въ чащѣ, но теперь не зналъ, какъ пройти къ ней, чтобъ укрыться тамъ и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу.

Назадъ идти опять между сплошныхъ кустовъ, по кочкамъ и ямамъ подниматься вверхъ, онъ тоже не хотѣлъ, и потому рѣшилъ протащиться еще нѣсколько десятковъ саженъ до проѣзжей горы, перелѣзть тамъ черезъ плетень и добраться по дорогѣ до деревни.

Сапоги у него размокли совсѣмъ: онъ едва вытаскивалъ ноги изъ грязи и разросшагося лопуха и крапивы и, кромѣ того, несовсѣмъ равнодушенъ былъ къ этому нестерпимому блеску молніи и треску грома надъ головой.

«Можно бы любоваться грозой изъ комнаты!» сознавался онъ про себя.

Наконецъ онъ уткнулся въ плетень, ощупалъ его рукой, хотѣлъ поставить ногу въ траву — поскользнулся и провалился въ канаву. Съ большимъ трудомъ выкарабкался онъ изъ нея, перелѣзъ черезъ плетень и вышелъ на дорогу. По

этой крутой и опасной горѣ ѣздили мало, больше мужики, порожнякомъ, чтобы не дѣлать большого объѣзда, въ телѣгахъ, на своихъ смирныхъ, запаленныхъ, маленькихъ лошадяхъ въ одиночку.

Райскій, мокрый, свернувъ зонтикъ подъ мышкой, какъ безполезное орудіе, жмурясь отъ ослѣпительной молніи, медленно и тяжело шелъ въ гору по скользкой грязи, безпрестанно останавливаясь, какъ вдругъ послышался ему стукъ колесъ.

Онъ прислушался: шумъ опять раздался невдалекѣ. Онъ остановился, стукъ все ближе и ближе, слышалось торопливое и напряженное шаганье конскихъ копытъ въ гору, фырканье лошадей и понукающій окрикъ человѣка. Молнія блистала уже порѣже, и потому, при блескѣ ея, Райскій не могъ еще различить экипажа.

Онъ только посторонился съ дороги и уцѣпился за плетень, чтобъ дать экипажу проѣхать, когда тотъ поровняется, такъ какъ дорога была узка.

Наконецъ молнія блеснула ярко и освѣтила экипажъ, въ родѣ крытой линейки или шарабана, запряженнаго парой сытыхъ и, какъ кажется, отличныхъ коней, и группу людей въ шарабанѣ.

Опять молнія — и Райскій остолбенѣлъ, узнавши въ группѣ—Вѣру.

— Вѣра!—закричалъ онъ во весь голосъ.

Экипажъ остановился.

— Кто тутъ?—спросилъ ея голосъ.

— Я.

— Братъ! Что вы тутъ дѣлаете?—съ изумленіемъ спросила она.

— А ты что?

— Я возвращаюсь домой.

— И я тоже.

— Вы откуда?

— Да вотъ тутъ бродилъ въ обрывѣ и потерялъ дорогу въ кустахъ. Иду по горѣ. А ты какъ это рѣшилась по такой крутизнѣ? Съ кѣмъ ты? Чьи это лошади? Нельзя ли меня довезти?

— Прошу покорно, мѣста много. Дайте руку, я помогу вамъ влѣзть!—сказалъ мужской голосъ.

Райскій протянулъ руку, и кто-то сильно втащилъ его подъ навѣсъ шарабана. Тамъ, кромѣ Вѣры, онъ нашелъ еще Марину. Обѣ онѣ, какъ мокрыя курицы, жались другъ къ другу, стараясь защититься кожанымъ фартукомъ отъ хлеставшаго съ боку ливня.

— Кто это съ тобой? Чьи лошади, кто правитъ ими?— спрашивалъ тихо Райскій у Вѣры.

— Иванъ Иванычъ.

— Какой Иванъ Иванычъ?

— Лѣсничій! тихо шепнула она въ отвѣтъ.

— Лѣсничій?.. заговорилъ Райскій, но Вѣра слегка толкнула его въ бокъ, чтобы онъ молчалъ, потому что голова и уши лѣсничаго были у нихъ подъ носомъ.

— Послѣ!—шепнула она.

«Лѣсничій!» думалъ Райскій и припомнилъ разговоръ съ бабушкой, ея похвалы, намеки на «славную партію».

«Такъ вотъ кто герой романа: лѣсничій—лѣсничій!» не помня себя, твердилъ Райскій.

Онъ старался взглянуть на лѣсничаго. Но передъ носомъ у него тряслась только низенькая шляпа съ большими круглыми полями, да широкія плечи рослаго человѣка, покрытыя мекинтошемъ. Сбоку онъ видѣлъ лишь силуэтъ носа, и— какъ казалось ему, бороду.

Лѣсничій ловко правилъ лошадьми, карабкавшимися на крутую гору, подстегивалъ то ту, то другую, посвистывалъ, забиралъ круто вожжи, когда кони вдругъ вздрагивали отъ блеска молніи, и потомъ оборачивался къ сидящимъ подъ навѣсомъ.

— Что, Вѣра Васильевна, каково вамъ, не озябли ли, не промокли ли вы?—освѣдомлялся онъ заботливо.

— Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ хорошо, Иванъ Ивановичъ, дождь не достаетъ меня.

— Взяли бы вы мекинтошъ мой...—предлагалъ Иванъ Ивановичъ.—Боже сохрани, простудитесь: вѣкъ себѣ не прощу, что взялся везти васъ...

— Ахъ, какіе вы—надоѣли!—съ дружеской досадой сказала Вѣра:—знайте свое дѣло, правьте лошадьми!

— Какъ угодно!—съ торопливой покорностью говорилъ Иванъ Ивановичъ и обращался къ лошадямъ.

Но посвиставъ и покричавъ на нихъ, онъ, по временамъ, будто украдкой, оборачивался къ Вѣрѣ посмотрѣть, что она.

Объѣхавши Малиновку, они подъѣхали къ воротамъ дома Татьяны Марковны.

Лѣсничій соскочилъ и началъ стучать рукояткой бича въ ворота. У крыльца онъ предоставилъ лошадей на попеченіе подоспѣвшимъ Прохору, Тараскѣ, Егоркѣ, а самъ бросился къ Вѣрѣ, всталъ на подножку экипажа, взялъ ее на руки и, какъ драгоцѣнную ношу, бережно и почтительно внесъ на крыльцо, прошелъ мимо лакеевъ и дѣвокъ, со свѣчами вышедшихъ навстрѣчу и выпучившихъ на нихъ глаза, донесъ до дивана въ залѣ и тихо посадилъ ее.

Райскій, мокрый, какъ былъ въ грязи, бросился за ними и не пропустилъ ни одного его движенія, ни ея взгляда.

Потомъ лѣсничій воротился въ переднюю, снялъ съ себя всю мокрую амуницію, длинные охотничьи сапоги, оправился, отряхнулся, всѣми пятью пальцами руки, какъ граблями, провелъ по густымъ волосамъ и спросилъ у людей вѣничка или щетку.

Бабушка, между тѣмъ, здоровалась съ Вѣрой и вмѣстѣ осыпала ее упреками, что она пускается на «такія страсти», въ такую ночь, по такой горѣ, не бережетъ себя, не

жалѣетъ ее, бабушки, не дорожитъ ничьимъ покоемъ, и что когда-нибудь она этакъ «уложитъ ее въ гробъ».

За этимъ, разумѣется, послѣдовало приказаніе поскорѣй перемѣнить платье и бѣлье, обсушиться, обогрѣться, подавать самоваръ, собирать ужинъ.

— Ахъ, бабушка, какъ мнѣ всего хочется!—говорила Вѣра, ласкаясь, какъ кошка, около бабушки: — и чаю, и супу, и жаркого, и вина. И Ивану Иванычу тоже. Скорѣе, милая бабушка!

Она знала, чѣмъ бабушку успокоить.

— Сейчасъ, сейчасъ—вотъ и прекрасно: все, все—будетъ!—А гдѣ жъ Иванъ Иванычъ?—Иванъ Иванычъ!—обратилась бабушка къ лѣсничему:—подите сюда, что вы тамъ дѣлаете?—Мароинька, гдѣ Мароинька? Что она забилась тамъ къ себѣ?

— Вотъ сейчасъ оправлюсь, да почищусь, Татьяна Марковна,—говорилъ голосъ изъ передней. Егоръ, Яковъ, Степанъ чистили, терли, чуть не скребли лѣсничаго въ передней, какъ добраго коня.

Онъ вошелъ въ комнату, почтительно поцѣловалъ руку у бабушки и у Мароиньки, которая теперь только рѣшилась освободить свою голову изъ-подъ подушки и вылѣзть изъ постели, куда запряталась отъ грозы.

— Мароинька, иди скорѣй,—сказала бабушка:—не прататься надо, а Богу молиться, громъ и не убьетъ!

— Я этого не боюсь,—сказала Мароинька:—громъ бьетъ все больше мужиковъ,—а такъ, просто страшно!

Райскій, между тѣмъ, мокрый, стоя у окна, устремилъ на гостя жадный взглядъ.

Иванъ Ивановичъ Тушинъ былъ молодецъ собой. Высокій, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лѣтъ тридцати восьми, съ темными густыми волосами, съ крупными чертами лица, съ большими сѣрыми глазами, простымъ и скромнымъ, даже немного застѣнчивымъ взглядомъ, и съ густой темной

бородой. У него были большія загорѣлыя руки, пропорціональныя росту, съ широкими ногтями.

Одѣтъ онъ былъ въ сѣрое пальто, съ глухимъ жилетомъ, изъ-за котораго на галстукъ падалъ широкій отложной воротникъ рубашки домашняго полотна. Перчатки бѣлыя замшевыя, въ рукахъ длинный бичъ, съ серебряной рукояткой.

«Молодецъ, красивый мужчина: но какая простота... чтобъ не сказать больше... во взглядѣ, въ манерахъ! Ужели онъ—герой Вѣры?..» думалъ Райскій, глядя на него и съ любопытствомъ ожидая, что̀ покажетъ дальнѣйшее наблюденіе.

«А почему жъ нѣтъ?—ревниво думалъ опять:—женщины любятъ эти рослыя фигуры, эти открытыя лица, большія здоровыя руки—всю эту рабочую силу мышцъ... Но ужели Вѣра?..»

— Ты, мой батюшка, что̀!—вдругъ всплеснувъ руками, сказала бабушка, теперь только замѣтившая Райскаго.—Въ какомъ видѣ! Люди, Егорка!—да какъ это вы угораздились сойтись? Изъ какой тьмы кромѣшной! Посмотри, съ тебя течетъ, лужа на полу! Борюшка! вѣдь ты уходишь себя! Они домой ѣхали, а тебя кто толкалъ изъ дома? Вотъ—охота пуще неволи! Поди, поди переодѣнься,—да рому къ чаю! Иванъ Иванычъ! вотъ и вы пошли бы съ нимъ... Да знакомы ли вы? Внукъ мой, Борисъ Павлычъ Райскій—Иванъ Иванычъ Тушинъ!..

— Мы ужъ познакомились, — сказалъ, кланяясь, Тушинъ:—на дорогѣ подобрали вашего внука и вмѣстѣ пріѣхали. Благодарю покорно, мнѣ ничего не нужно. А вотъ вы, Борисъ Павлычъ, переодѣлись бы: у васъ ноги мокрыя!

— Вы ужъ меня извините, старуху, а вы всѣ, кажется, полоумные,—заговорила бабушка: — въ такую грозу и звѣрь не выползетъ изъ своей берлоги!.. Вонъ, Господи, какъ сверкаетъ еще до сихъ поръ! Яковъ, притвори поди ставню поплотнѣе. А вы—въ такой вечеръ черезъ Волгу!

— Вѣдь у меня свой крѣпкій паро́мъ, — сказалъ Ту-

шинъ:—съ крытой бесѣдкой. Вѣра Васильевна были тамъ, какъ въ своей комнатѣ: ни капли дождя не упало на нихъ.

— Да страсть-то какая, гроза!

— Что жъ, гроза, помилуйте, это только старымъ бабамъ...

— Покорно благодарю: а я-то кто же? — вдругъ сказала бабушка.

Тушинъ переконфузился.

— Извините, я не нарочно, съ языка сорвалось! Я про простыхъ бабъ...

— Ну, Богъ васъ проститъ!—смѣясь, сказала бабушка.—Вамъ—ничего, я знаю. Вонъ васъ какимъ Господь создалъ—да Вѣра-то: какъ на нее нѣтъ страха! Ты что у меня за богатырь такой!

— Съ Иваномъ Ивановичемъ какъ-то не страшно, бабушка.

— Иванъ Иванычъ медвѣдей бьетъ, и ты бы пошла?

— Пошла бы, бабушка, посмотрѣть. Возьмите меня когда-нибудь, Иванъ Иванычъ... Это очень интересно...

— Я съ удовольствіемъ... Вѣра Васильевна: вотъ зимой, какъ соберусь—прикажите только... Это заманчиво.

— Видите, какая! — сказала Татьяна Марковна. — А до бабушки тебѣ дѣла нѣтъ?..

— Я пошутила, бабушка.

— Ты готова, я знаю! И какъ это тебѣ не совѣстно было безпокоить Ивана Ивановича? Такую даль—провожать тебя!

— Это ужъ не онѣ, а я виноватъ,—сказалъ Тушинъ: — я только лишь узналъ отъ Натальи Ивановны, что Вѣра Васильевна собираются домой, такъ и сталъ просить сдѣлать мнѣ это счастье...

Онъ скромно, съ примѣсью почти благоговѣнія, взглянулъ на Вѣру.

— Хорошо счастье—въ этакую грозу...

— Ничего, свѣтлѣе ѣхать... И Вѣра Васильевна не боялись.

— А что Анна Ивановна, здорова ли?

— Слава Богу, кланяется вамъ—прислала вамъ отъ своихъ плодовъ: персиковъ изъ оранжереи, ягодъ, грибовъ — тамъ въ шарабанѣ...

— На что это? своихъ много! Вотъ за персики большое спасибо—у насъ нѣтъ,—сказала бабушка.—А я ей какого чаю приготовила! Борюшка привезъ—я удѣлила и ей.

— Покорно благодарю!

— И какъ это въ этакую темнять по Заиконоспасской горѣ на вашихъ лошадяхъ взбираться! Какъ васъ Богъ помиловалъ!—опять заговорила Татьяна Марковна. — Испугались бы грозы, понесли—Боже сохрани!

— Мои лошади — какъ собаки — слушаются меня... Повезъ ли бы я Вѣру Васильевну, если бъ предвидѣлъ опасность?

— Вы надежный другъ, — сказала она: — зато какъ я и полагаюсь на васъ, и даже на вашихъ лошадей!..

Въ это время вошелъ Райскій, въ изящномъ неглиже, совсѣмъ оправившійся отъ прогулки. Онъ видѣлъ взглядъ Вѣры, обращенный къ Тушину, и слышалъ ея послѣднія слова.

«Полагаюсь на васъ и на лошадей!» повторилъ онъ про себя: «вотъ какъ: рядомъ!»

— Покорно васъ благодарю, Вѣра Васильевна, — отвѣчалъ Тушинъ.—Не забудьте же, что̀ сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда...

— Когда опять загремитъ вотъ этакій громъ...— сказала бабушка.

— Всякій!—прибавилъ онъ.

— Да, бываютъ и не этакія грозы, въ жизни!..—съ старческимъ вздохомъ замѣтила Татьяна Марковна.

— Какія бы ни были,—сказалъ Тушинъ:—когда у васъ загремитъ гроза, Вѣра Васильевна, — спасайтесь за Волгу, въ лѣсъ: тамъ живетъ медвѣдь, который вамъ послужитъ... какъ въ сказкахъ сказываютъ.

— Хорошо, буду помнить! — смѣясь, отвѣчала Вѣра: — и когда меня, какъ въ сказкѣ, будетъ уносить какой-нибудь колдунъ—я сейчасъ за вами!

XIV.

Райскій видѣлъ этотъ постоянный взглядъ глубокаго умиленія и почтительной сдержанности, слушалъ эти тихія, съ примѣсью невольно прорывавшейся нѣжности, рѣчи Тушина, обращаемыя къ Вѣрѣ.

И не одному только ревниво-наблюдательному взгляду Райскаго, или заботливому вниманію бабушки, но и равнодушному свидѣтелю нельзя было не замѣтить, что и лицо, и фигура, и движенія «лѣсничаго» были исполнены глубокой симпатіи къ Вѣрѣ, сдерживаемой какимъ-то трогательнымъ уваженіемъ.

Этотъ атлетъ по росту и силѣ, повидимому, невѣдающій никакихъ страховъ и опасностей здоровякъ, робѣлъ передъ красивой, слабой дѣвочкой, жался отъ ея взглядовъ въ уголъ, взвѣшивалъ свои слова при ней, очевидно сдерживалъ движенія, караулилъ ея взглядъ, не прочтетъ ли въ немъ какого-нибудь желанія, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжимъ.

«И это, должно-быть, тоже рабъ!» подумалъ Райскій и слѣдилъ за ней, что̀ она.

Онъ думалъ, что она тоже выкажетъ смущеніе, не сумѣетъ укрыть отъ многихъ глазъ своего сочувствія къ этому герою; онъ ужъ рѣшилъ навѣрное, что лѣсничій — герой ея романа и той тайны, которую Вѣра укрывала.

«И кому, какъ не ему, писать на синей бумагѣ!» думалъ онъ.

Ему любопытно было наблюдать, какъ она скажется: трепетомъ, мерцаніемъ взгляда, или окаменѣлымъ безмолвіемъ.

А ничего этого не было. Вѣра явилась тутъ еще въ новомъ свѣтѣ. Въ каждомъ ея взглядѣ и словѣ, обращенномъ къ Тушину, Райскій замѣтилъ прежде всего простоту, довѣріе, ласку, теплоту, какой онъ не замѣтилъ у ней въ обращеніи ни съ кѣмъ, даже съ бабушкой и Марѳинькой.

Бабушки она какъ будто остерегалась, Марѳинькой немного пренебрегала, а когда глядѣла на Тушина, говорила съ нимъ, подавала руку—видно было, что они друзья.

Въ ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, Райскому, и которой онъ добивался и не успѣлъ добиться.

Чѣмъ же добился ея этотъ лѣсничій? Что ихъ связываетъ другъ съ другомъ? Какъ они сошлись? Сознательно ли, т.-е. отыскавъ и полюбивъ одинъ въ другомъ извѣстную сумму пріятныхъ каждому свойствъ, или просто угадали взаимно характеры, и безсознательно, безъ всякаго анализа, привязались одинъ къ другому?

Три дня прожилъ лѣсничій по дѣламъ въ городѣ и въ домѣ Татьяны Марковны, и три дня Райскій прилежно искалъ ключа къ этому новому характеру, къ его положенію въ жизни и къ его роли въ сердцѣ Вѣры.

Ивана Ивановича «лѣсничимъ» прозвали потому, что онъ жилъ въ самой чащѣ лѣса, въ собственной усадьбѣ, самъ занимался съ любовью этимъ лѣсомъ, растилъ, холилъ, берегъ его съ одной стороны, а съ другой рубилъ, продавалъ и сплавлялъ по Волгѣ. Лѣсу было нѣсколько тысячъ десятинъ, и лѣсное хозяйство устроено и ведено было съ рѣдкою аккуратностью; у него одного въ той сторонѣ устроенъ былъ паровой пильный заводъ, и всѣмъ завѣдывалъ, надъ всѣмъ наблюдалъ самъ Тушинъ.

Въ промежуткахъ онъ ходилъ на охоту, удилъ рыбу, съ удовольствіемъ посѣщалъ холостыхъ сосѣдей, принималъ иногда у себя и любилъ изрѣдка покутить, т.-е. заложить нѣсколько троекъ, большею частію горячихъ лошадей, по-

нестись съ ватагой пріятелей верстъ за сорокъ, къ дальнему сосѣду, и тамъ пошировать сутокъ трое, а потомъ съ ними вернуться къ себѣ, или поѣхать въ городъ, возмутить тишину соннаго города такой громадной пирушкой, что дрогнетъ все въ городѣ, потомъ пропасть мѣсяца на три у себя, такъ что о немъ ни слуху, ни духу.

Тамъ онъ опять рубитъ и сплавляетъ лѣсъ, или съ двумя егерями разрѣзываетъ его вдоль и поперекъ, не то объѣзжаетъ тройки купленныхъ на ярмаркѣ новыхъ лошадей, или залѣзетъ зимой въ трущобу лѣса и выжидаетъ медвѣдя, колотитъ волковъ.

Не разъ отъ этихъ потѣхъ Тушинъ недѣли по три лежалъ съ завязанной рукой, съ попорченнымъ ухарской тройкой плечомъ, а иногда съ исцарапаннымъ медвѣжьей лапой лбомъ.

Но ему нравилась эта жизнь, и онъ не покидалъ ее. Дома онъ читалъ увражи по агрономической, и вообще по хозяйственной части, держалъ свѣдущаго нѣмца, спеціалиста по лѣсному хозяйству, но не отдавался ему въ опеку, требовалъ его совѣтовъ, а распоряжался самъ, съ помощію двухъ приказчиковъ и артелью своихъ и нанятыхъ рабочихъ. Въ свободное время онъ любилъ читать французскіе романы: это былъ единственный оттѣнокъ изнѣженности въ этой, впрочемъ обыкновенной жизни многихъ обитателей нашихъ отдаленныхъ угловъ.

Райскій узналъ, что Тушинъ встрѣчалъ Вѣру у священника, и даже пріѣзжалъ всякій разъ нарочно туда, когда узнавалъ, что Вѣра гоститъ у попадьи. Это сама Вѣра сказывала ему. И Вѣра съ попадьей бывали у него въ усадьбѣ, прозванной *Дымокъ*, потому что издали, съ горы, въ чащѣ лѣса, она только и подавала знакъ своего существованія выходившимъ изъ трубъ дымомъ.

Тушинъ жилъ съ сестрой, старой дѣвушкой, Анной Ивановной—и къ ней ѣздили Вѣра съ попадьей. Эту же Анну

Ивановну любила и бабушка; и когда она являлась въ городъ, то Татьяна Марковна была счастлива.

Ни съ кѣмъ она такъ охотно не пила кофе, ни съ кѣмъ не говорила такъ охотно секретовъ, находя, можетъ-быть, въ Аннѣ Ивановнѣ сходство съ собой въ склонности къ хозяйству, а больше всего глубокое уваженіе къ своей особѣ, къ своему роду, къ фамильнымъ преданіямъ.

О Тушинѣ съ перваго раза нечего больше сказать. Эта простая фигура какъ будто вдругъ вылилась въ свою форму и такъ и осталась цѣльною, съ крупными чертами лица, какъ и характера, съ неразбавленнымъ на тонкіе оттѣнки складомъ ума, чувствъ.

Въ немъ все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишкомъ просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать «умный человѣкъ» въ томъ смыслѣ, какъ обыкновенно говорятъ о людяхъ, замѣчательно надѣленныхъ этою силою; ни остроуміемъ, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя.

У него былъ тотъ умъ, который дается одинаково, какъ тонко развитому, такъ и мужику, умъ, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается въ житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смыслъ, который иногда не мѣшаетъ хозяину его, мысля здраво, уклоняться отъ здравыхъ путей жизни.

Это умъ — не одной головы, но и сердца, и воли. Такіе люди не видны въ толпѣ, они рѣдко бываютъ на первомъ планѣ. Острые и тонкіе умы, съ бойкимъ словомъ, часто затмеваютъ блескомъ такія личности, но эти личности, большею частью, бываютъ невидимыми вождями, или регуляторами дѣятельности, и вообще жизни цѣлаго круга, въ который поставитъ ихъ судьба.

Въ обхожденіи его съ Вѣрой, Райскій замѣтилъ уже постоянное монотонное обожаніе, высказывавшееся во взгля-

дахъ, словахъ, даже до робости, а съ ея стороны — монотонное довѣріе, открытое, теплое обращеніе.

И только. Какъ ни ловилъ онъ какой-нибудь знакъ, какой-нибудь намекъ, знаменательное слово, обмѣненный особый взглядъ—ничего! Та же простота, свобода и довѣренность съ ея стороны, то же, проникнутое нѣжностью, уваженіе и готовность послужить ей, «какъ медвѣдь» — со стороны Тушина, и больше ничего!

Опять не онъ! Отъ кого же письмо на синей бумагѣ?

— Что это за лѣсничій? — спросилъ на другой же день Райскій, забравшись пораньше къ Вѣрѣ:—и что онъ тебѣ?

— Другъ,—отвѣчала Вѣра.

— Это слишкомъ общее, родовое понятіе. Въ какомъ смыслѣ—другъ?

— Въ лучшемъ и тѣсномъ смыслѣ.

— Вотъ какъ! Не тотъ ли это счастливецъ, на котораго ты намекала и котораго имя обѣщала сказать?

— Когда?

— А до твоего отъѣзда!

— Что-то не помню. Какой счастливецъ, какое имя? Что я обѣщала?

— Какая же у тебя дурная память! Ты забыла и письмо на синей бумагѣ?

— Да, да, помню. Нѣтъ, братъ, память у меня не дурна, я помню всякую мелочь, если она касается или занимаетъ меня. Но, признаюсь вамъ, что на этотъ разъ я ни о чемъ этомъ не думала, мнѣ въ голову не приходилъ ни разговоръ нашъ, ни письмо на синей бумагѣ...

— Ни я самъ, можетъ-быть?

Она улыбнулась и кивнула въ знакъ согласія головой.

— Весело же, должно-быть, тебѣ тамъ...

— Да, мнѣ тамъ было хорошо, — сказала она, глядя въ сторону разсѣянно:—никто меня не допрашивалъ, не подозрѣвалъ... такъ тихо, покойно...

— И притомъ другъ былъ подлѣ?

Она опять кивнула утвердительно головой.

— Да, онъ, этотъ лѣсничій? — скороговоркой спросилъ Райскій и поглядѣлъ на Вѣру.

Она не слушала его.

За ея обыкновенной, вседневной миной, крылась другая. Она усиливалась, и притомъ съ трудомъ, скрадывать какое-то ликованіе, будто прятала блиставшую въ глазахъ, въ улыбкѣ, зарю внутренняго удовлетворенія, которымъ, повидимому, не хотѣла дѣлиться ни съ кѣмъ.

Трепетъ и мерцаніе проявлялись рѣже, недовѣрчивыхъ и недовольныхъ взглядовъ не замѣтно, а въ лицѣ, во всей ея фигурѣ была тишина, невозмутимый покой, въ глазахъ появлялся иногда лучъ экстаза, будто она черпнула счастья. Райскій замѣтилъ это.

«Что это за счастье, какое и откуда? Ужели отъ этого лѣсного «друга»? терялся онъ въ догадкахъ. «Но она не прячется, сама трубитъ объ этой дружбѣ: гдѣ же тайна?»

— Ты счастлива, Вѣра?—сказалъ онъ.

— Чѣмъ?—спросила она.

— Не знаю: но какъ ты ни прячешь свое счастье, оно выглядываетъ изъ твоихъ глазъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — съ улыбкой спросила она и съ улыбкой глядѣла на Райскаго, и все задумчиво молчала.

Ей не хотѣлось говорить. Онъ взялъ ее за руку и пожалъ; она отвѣчала на пожатіе; онъ поцѣловалъ ее въ щеку, она обернулась къ нему, губы ихъ встрѣтились, и она поцѣловала его—и все не выходя изъ задумчивости. И этотъ, такъ долго ожидаемый поцѣлуй, не обрадовалъ его. Она дала его машинально.

— Вѣра! ты подъ напоромъ какого-то счастливаго чувства, ты въ экстазѣ!..—сказалъ онъ.

— А что? — вдругъ спросила она, очнувшись отъ разсѣянности.

— Ничего, но ты будто... одолѣла какое-то препятствіе:—не то побѣдила, не то отдалась побѣдѣ сама, и этимъ счастлива... Не знаю что̀, но ты торжествуешь! Ты, должно-быть, вступила въ самый счастливый моментъ...

— Ахъ, какъ еще далеко до него!—прошептала она про себя.

— Нѣтъ, ничего особеннаго не случилось, — прибавила она вслухъ, разсѣянно, стараясь казаться беззаботной, и смотрѣла на него ласково дружески.

— Такъ ты очень любишь этого...

— Лѣсничаго? Да, очень!—сказала она: — такихъ людей не много; онъ изъ лучшихъ, даже лучшій здѣсь.

Опять ревность укусила Райскаго.

— То-есть, лучшій мужчина: рослый, здоровый, буря ему ни почемъ, медвѣдей бьетъ, лошадьми правитъ, какъ самъ Фебъ—и красота, красота!

— Гадко, Борисъ Павловичъ!

— Тебѣ досадно, что низводятъ съ пьедестала любимаго человѣка?

— Какого любимаго человѣка?

— Вѣдь онъ—герой тайны и [illegible] письма! Скажи—ты обѣщала...

— Обѣщала? Ахъ, да — да, вы все о томъ... Да, онъ; такъ что̀ же?

— Ничего! — сильно покраснѣвши сказалъ Райскій, не ожидавшій такого скораго сюрприза. — Сила-то, мышцы-то, ростъ!..—говорилъ онъ.

— А вы сказали, что страсть все оправдываетъ!..

— Я и ничего!—съ судорогой въ плечахъ произнесъ Райскій:—видишь, покоенъ! Ты выйдешь за него замужъ?

— Можетъ-быть.

— У него, говорятъ, лѣсу на сколько-то тысячъ...

— Гадко, Борисъ Павловичъ!

— Ну, теперь я могу и уѣхать!

Онъ высунулся изъ окна, кликнулъ какую-то бабу и велѣлъ вызвать Егорку.

— Принеси чемоданъ съ чердака ко мнѣ въ комнату: я завтра ѣду!—сказалъ онъ, не замѣчая улыбки Вѣры.

— Что жъ, я очень радъ!—злымъ голосомъ говорилъ онъ, стараясь не глядѣть на нее. — Теперь у тебя есть защитникъ, настоящій герой, съ ногъ до головы!..

— Человѣкъ съ ногъ до головы,—повторила Вѣра:—а не герой романа!

— Да вяжутся ли у него человѣческія идеи въ головѣ? Нимвродъ, этотъ прототипъ всѣхъ спортсменовъ, и Гумбольдъ—оба люди... но между ними...

— Я не знаю, какіе они были люди. А Иванъ Ивановичъ — человѣкъ, какими должны быть всѣ и всегда. Онъ что̀ скажетъ, что̀ задумаетъ, то и исполнитъ. У него мысли вѣрныя, сердце твердое — и есть характеръ. Я довѣряюсь ему во всемъ, съ нимъ не страшно ничто, даже сама жизнь!..

— Вотъ какъ! особенно въ грозу, и съ его лошадьми!— насмѣшливо добавилъ Райскій.—И весело съ нимъ?

— Да, и весело: у него много природнаго ума, и юморъ есть—только онъ не блеститъ, не соритъ этимъ вездѣ...

— Словомъ, молодецъ-мужчина! Ну, что же, поздравляю, Вѣра—и затѣмъ прощай!

— Куда вы?

— Я завтра рано уѣду, и не зайду проститься съ тобой.

— Почему же?

— Ты знаешь почему: не могу же я быть равнодушенъ— я не дерево...

Она положила свою руку ему на руку и, какъ кошечка, лукаво, съ дрожащимъ отъ смѣха подбородкомъ взглянула ему въ глаза.

— А если я не хочу, чтобъ вы уѣзжали?

— Ты?

— Да, я.

— Зачѣмъ!

Онъ жаднымъ взглядомъ ждалъ объясненія.

— Угадайте!

— Что же, ты хочешь, чтобъ я на свадьбѣ твоей былъ?

Она все глядѣла на него съ улыбкой и не снимая съ его руки своей.

— Хочу,—сказала она.

— А когда это будетъ?—сухо спросилъ онъ.

Она молчала.

— Вѣра!

Вдругъ она громко засмѣялась. Онъ взглянулъ на нее: она, противъ обыкновенія, почти хохочетъ.

«Не онъ, не онъ, не лѣсничій—ея герой! Тайна осталась въ синемъ письмѣ!» заключилъ онъ.

У него отлегло отъ сердца. Онъ сталъ веселъ, запѣлъ, заговорилъ, посыпалась соль, послышался смѣхъ...

— Велите же Егору убрать чемоданъ,—сказала она.

— Зачѣмъ ты остановила меня, Вѣра?—спросилъ онъ.—Скажи правду. Помни, что я покоряюсь всему...

— Всему?

— Да, безусловно. Что бы ты ни сдѣлала со мной, какую бы роль ни дала мнѣ—только не гони съ глазъ—я все принимаю...

— Все?

— Все!—подтвердилъ онъ въ слѣпомъ увлеченіи.

— Смотрите, братъ, теперь и вы въ экстазѣ! Не раскайтесь послѣ, если я приму...

— Клянусь тебѣ, Вѣра,—началъ онъ, вскочивъ:—нѣтъ желанія, нѣтъ каприза, нѣтъ униженія, котораго бы я не принялъ и не выпилъ до капли, если оно можетъ хоть одну минуту...

— Довольно. Я принимаю—и вы теперь...

— Твой рабъ? Да, скажи, скажи...

— Хорошо,—сказала она, поглядѣвъ на него «русалочнымъ» взглядомъ.

— Такъ мнѣ остаться?..

— Оставайтесь...

— Что за перемѣна! — говорилъ онъ, ликуя: — зачѣмъ вдругъ ты захотѣла этого?

— Зачѣмъ?..

Она глядѣла на него, а онъ упивался этимъ бархатнымъ, неторопливо смотрѣвшимъ въ его глаза взглядомъ, полнымъ какого-то непонятнаго ему значенія.

— Затѣмъ... чтобы... вамъ завтра не совѣстно было самимъ велѣть убрать чемоданъ на чердакъ, — скороговоркой добавила она.—Вѣдь вы бы не уѣхали!

— Нѣтъ, уѣхалъ бы.

Она отрицательно покачала головой.

— Даю тебѣ слово...

— Не уѣхали бы.

— Отчего такъ?

— Оттого, что я не хочу.

— Ты, ты, ты — Вѣра! хорошо ли я слышу, не ошибаюсь ли я?

— Нѣтъ.

— Повтори еще.

— Я не хочу, чтобъ вы уѣхали—и вы останетесь...

— Зачѣмъ?—страстнымъ шопотомъ спросилъ онъ.

— Хочу!—повелительнымъ шопотомъ подтвердила она.

— Вѣра—молчи, ни слова больше! Если ты мнѣ скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идолъ, твой богъ, что ты умираешь, сходишь съ ума по мнѣ—я всему повѣрю, всему—и тогда...

— Что тогда?

— Тогда не будетъ въ мірѣ дурака глупѣе меня... Я надоѣмъ тебѣ жестоко.

— Нужды нѣтъ, я не боюсь.

— Ты... ты сама позволяешь мнѣ любить тебя—блаженствовать, безумствовать, жить... Вѣра, Вѣра!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Вы этого хотѣли, просили сами, я и сжалилась! — съ улыбкой сказала она.

— Съ тобой случилось что-нибудь, ты счастлива и захотѣла брызнуть счастьемъ на другого: — что бы ни было за этимъ, я все принимаю, все вынесу — но только позволь мнѣ быть съ тобой, не гони, дай остаться...

— Останьтесь, повелѣваю!—подтвердила она съ ласковой ироніей.

Счастье, какъ думалъ онъ, вдругъ упало на него!

«Правду бабушка говоритъ», радовался онъ про себя: «когда меньше всего ждешь, оно и дается! «За смиреніе», утверждаетъ она: и я отказался совсѣмъ отъ него, смирился—и вотъ! О, благодѣтельная судьба!»

Онъ вышелъ отъ Вѣры опьянѣвшій, въ сѣняхъ встрѣтилъ Егорку съ чемоданомъ.

— Назадъ, назадъ, неси, — сказалъ онъ, прибѣжалъ въ свою комнату, легъ на постель и въ первыхъ слезахъ растопилъ внезапный порывъ волненія.

— Это она—страсть, страсть!—шепталъ онъ, рыдая.

Лѣсничій уѣхалъ, все пришло въ порядокъ. Райскій сталъ глубоко счастливъ; его страсть обратилась почти въ такое же безмолвное и почтительное обожаніе, какъ у лѣсничаго.

Онъ такъ же боязливо караулилъ взглядъ Вѣры, сталъ бояться ея голоса, заслышавъ ея шаги, начиналъ оправляться, перемѣнялъ двѣ-три позы, и въ разговорѣ взвѣшивалъ слова, соображая, понравится ли ей то, другое, или нѣтъ.

Она была тоже въ какомъ-то ненарушимо-тихомъ торжественномъ покоѣ счастья или удовлетворенія, молча чѣмъ-то наслаждалась, была добра, ласкова съ бабушкой и Мар-

ѳинькой, и только въ нѣкоторые дни приходила въ безпокойство, уходила къ себѣ, или въ садъ, или съ обрыва въ рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райскій, или Марѳинька, тревожили ея уединеніе въ старомъ домѣ, или напрашивались ей въ товарищи въ прогулкѣ. А потомъ опять была ровна, покойна, за обѣдомъ и по вечерамъ была сообщительна, входила даже въ мелочи хозяйства, разбирала съ Марѳинькой узоры, подбирала цвѣта шерсти, повѣряла нѣкоторые счеты бабушки, наконецъ поѣхала съ визитами къ городскимъ дамамъ. Съ Райскимъ говорила о литературѣ; онъ замѣтилъ изъ ея разговоровъ, что она должна была много читать, сталъ завлекать ее дальше въ разговоръ, они читали нѣкоторыя книги вмѣстѣ, но непостоянно.

Она часто отвлекалась, то въ ту, то въ другую сторону. Въ ней даже вспыхивалъ минутами не только экстазъ, но какой-то хмель порывистаго веселья. Когда она, въ одинъ вечеръ, въ такомъ настроеніи исчезла изъ комнаты, Татьяна Марковна и Райскій устремили другъ на друга вопросительный и продолжительный взглядъ.

— Что это съ Вѣрой? — спросила бабушка: — кажется, выздоровѣла!

— Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала...

— Что ты, Борюшка, видишь, какъ она весела, совсѣмъ другая стала: живая, говорливая, ласковая...

— Да прежняя ли, такая ли она, какъ всегда была?.. Я боюсь, что это не веселье, а раздраженіе, хмель...

— Правда, она никогда такой не была—а что?

— Она въ экстазѣ, развѣ не видите?

— Въ экстазѣ! — со страхомъ повторила Татьяна Марковна.—Зачѣмъ ты мнѣ на ночь говоришь: я не усну. Это бѣда—экстазъ въ дѣвушкѣ! Да не ты ли чего-нибудь нагородилъ ей? Отчего ей приходить въ экстазъ? — Что же дѣлать?

— Поглядимъ, что дальше будетъ!

Бабушка поглядѣла на Райскаго тревожными глазами; онъ засмѣялся.

— Тебѣ все смѣшно!—сказала она:—послушай,—строго прибавила потомъ:—ты тамъ съ Савельемъ и съ Мариной, съ Полиной Карповной, или съ Ульяной Андреевной, сочиняй какіе хочешь стихи, или комедіи, а съ ней не смѣй! Тебѣ—комедія, а мнѣ трагедія!

XV.

Не только Райскій, но и сама бабушка вышла изъ своей пассивной роли и стала исподтишка пристально слѣдить за Вѣрой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякіе ключи на столахъ, не толковала съ Савельемъ, не сводила счетовъ и не выѣзжала въ поле. Пашутка не спускала съ нея, по обыкновенію, глазъ, а на вопросъ Василисы, что дѣлаетъ барыня, отвѣчала: «шепчетъ».

Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чѣмъ и какъ вызвать Вѣру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, какъ бы, хоть стороной, узнать и отвратить бѣду.

«Влюблена! въ экстазѣ!» Это казалось ей страшнѣе всякой оспы, кори, лихорадки, и даже горячки. И въ кого бы это было? Дай Богъ, чтобъ въ Ивана Ивановича! Она умерла бы покойно, если бъ Вѣра вышла за него замужъ.

Но бабушка, по-женски, проникла въ секретъ ихъ взаимныхъ отношеній и со вздохомъ заключила, что если тутъ и есть что-нибудь, то съ одной только стороны, т.-е. со стороны лѣсничаго, а Вѣра платила ему просто дружбой, или благодарностью, какъ еще вѣрнѣе догадалась Татьяна Марковна, за «баловство».

— Обожаетъ ее,—говорила она:—а это всегда нравится. Кто же, кто? Изъ окрестныхъ помѣщиковъ, кромѣ Ту-

ѳинькой, и только въ нѣкоторые дни приходила въ безпокойство, уходила къ себѣ, или въ садъ, или съ обрыва въ рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райскій, или Марѳинька, тревожили ея уединеніе въ старомъ домѣ, или напрашивались ей въ товарищи въ прогулкѣ. А потомъ опять была ровна, покойна, за обѣдомъ и по вечерамъ была сообщительна, входила даже въ мелочи хозяйства, разбирала съ Марѳинькой узоры, подбирала цвѣта шерсти, повѣряла нѣкоторые счеты бабушки, наконецъ поѣхала съ визитами къ городскимъ дамамъ. Съ Райскимъ говорила о литературѣ; онъ замѣтилъ изъ ея разговоровъ, что она должна была много читать, сталъ завлекать ее дальше въ разговоръ, они читали нѣкоторыя книги вмѣстѣ, но непостоянно.

Она часто отвлекалась, то въ ту, то въ другую сторону. Въ ней даже вспыхивалъ минутами не только экстазъ, но какой-то хмель порывистаго веселья. Когда она, въ одинъ вечеръ, въ такомъ настроеніи исчезла изъ комнаты, Татьяна Марковна и Райскій устремили другъ на друга вопросительный и продолжительный взглядъ.

— Что это съ Вѣрой? — спросила бабушка: — кажется, выздоровѣла!

— Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала...

— Что ты, Борюшка, видишь, какъ она весела, совсѣмъ другая стала: живая, говорливая, ласковая...

— Да прежняя ли, такая ли она, какъ всегда была?.. Я боюсь, что это не веселье, а раздраженіе, хмель...

— Правда, она никогда такой не была—а что?

— Она въ экстазѣ, развѣ не видите?

— Въ экстазѣ! — со страхомъ повторила Татьяна Марковна.—Зачѣмъ ты мнѣ на ночь говоришь: я не усну. Это бѣда—экстазъ въ дѣвушкѣ! Да не ты ли чего-нибудь нагородилъ ей? Отчего ей приходить въ экстазъ? — Что же дѣлать?

— Поглядимъ, что дальше будетъ!

Бабушка поглядѣла на Райскаго тревожными глазами; онъ засмѣялся.

— Тебѣ все смѣшно!—сказала она:—послушай,—строго прибавила потомъ:—ты тамъ съ Савельемъ и съ Мариной, съ Полиной Карповной, или съ Ульяной Андреевной, сочиняй какіе хочешь стихи, или комедіи, а съ ней не смѣй! Тебѣ—комедія, а мнѣ трагедія!

XV.

Не только Райскій, но и сама бабушка вышла изъ своей пассивной роли и стала исподтишка пристально слѣдить за Вѣрой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякіе ключи на столахъ, не толковала съ Савельемъ, не сводила счетовъ и не выѣзжала въ поле. Пашутка не спускала съ нея, по обыкновенію, глазъ, а на вопросъ Василисы, что дѣлаетъ барыня, отвѣчала: «шепчетъ».

Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чѣмъ и какъ вызвать Вѣру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, какъ бы, хоть стороной, узнать и отвратить бѣду.

«Влюблена! въ экстазѣ!» Это казалось ей страшнѣе всякой оспы, кори, лихорадки, и даже горячки. И въ кого бы это было? Дай Богъ, чтобъ въ Ивана Ивановича! Она умерла бы покойно, если бъ Вѣра вышла за него замужъ.

Но бабушка, по-женски, проникла въ секретъ ихъ взаимныхъ отношеній и со вздохомъ заключила, что если тутъ и есть что-нибудь, то съ одной только стороны, т.-е. со стороны лѣсничаго, а Вѣра платила ему просто дружбой, или благодарностью, какъ еще вѣрнѣе догадалась Татьяна Марковна, за «баловство».

— Обожаетъ ее,—говорила она:—а это всегда нравится. Кто же, кто? Изъ окрестныхъ помѣщиковъ, кромѣ Ту-

шина, никого нѣтъ — съ кѣмъ бы она видалась, говорила. Съ городскими молодыми людьми она видится только на балѣ у откупщика, у вице-губернатора, раза два въ зиму, и они мало посѣщаютъ домъ. Офицеры, совѣтники — давно потеряли надежду понравиться ей, и она съ ними почти никогда не говоритъ.

— Не въ попа же влюбилась! Ахъ! ты Боже мой, какое горе!—заключила она.

Такъ она волновалась, смотрѣла пристально и подозрительно на Вѣру, когда та приходила къ обѣду и къ чаю, пробовала-было послѣдить за ней по саду, но та, замѣтивъ бабушку издали, прибавляла шагу и была такова!

— Вотъ такъ въ глазахъ исчезла, какъ духъ!—пересказывала она Райскому: — хотѣла-было за ней, да куда со старыми ногами! Она, какъ птица, въ рощу, и точно упала съ обрыва въ кусты.

Райскій пошелъ послѣ этого разсказа въ рощу, прошелъ ее насквозь, выбрался до деревни и, встрѣтивъ Якова, спросилъ, не видалъ ли онъ барышню?

— Вонъ онѣ тамъ у часовни, сію минуту видѣлъ,—сказалъ Яковъ.

— Что она тамъ дѣлаетъ?

— Молится Богу.

Райскій пошелъ къ часовнѣ.

— Молиться начала!—въ раздумьѣ шепталъ онъ.

Между рощей и проѣзжей дорогой стояла въ сторонѣ, на лугу, уединенная деревянная часовня, почернѣвшая и полуразвалившаяся, съ образомъ Спасителя, византійской живописи, въ бронзовой оправѣ. Икона почернѣла отъ времени, краски мѣстами облупились; едва можно было разсмотрѣть черты Христа: только вѣки были полуоткрыты и изъ-подъ нихъ задумчиво глядѣли глаза на молящагося, да видны были сложенные въ благословеніе персты.

Райскій подошелъ по травѣ къ часовнѣ. Вѣра не слы-

хала. Она стояла къ нему спиной, устремивъ сосредоточенный и глубокій взглядъ на образъ. На травѣ у часовни лежала соломенная шляпа и зонтикъ. Ни креста не слагали пальцы ея, ни молитвы не шептали губы, но вся фигура ея, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыханіе и немигающій, устремленный на образъ взглядъ—все было молитва.

Райскій боялся дохнуть.

«О чемъ молится?» думалъ онъ въ страхѣ. «Просить радости, или слагаетъ горе у креста, или внезапно застигъ ее тутъ порывъ безкорыстнаго изліянія души передъ всеутѣшительнымъ духомъ? Но какія изліянія: души, испытующей силы въ борьбѣ, или благодарной, плачущей за лучъ счастья?..»

Вѣра вдругъ будто проснулась отъ молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, замѣтивъ Райскаго.

— Что вы здѣсь дѣлаете?—спросила она строго.

— Ничего. Я встрѣтилъ Якова: онъ сказалъ, что ты здѣсь, я и пришелъ... Бабушка...

— Кстати о бабушкѣ,—перебила она:—я замѣчаю, что она съ нѣкоторыхъ поръ начала слѣдить за мною; не знаете ли, что̀ этому за причина?

Она зорко глядѣла на него. Онъ покраснѣлъ. Они шли въ это время къ рощѣ, черезъ лугъ.

— Я думаю, она всегда...—началъ онъ.

— Нѣтъ, не всегда... Ей и въ голову не пришло бы слѣдить. Послушайте, «рабъ мой», — полунасмѣшливо продолжала она: — безъ всякихъ увертокъ скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мнѣ, т.-е. о любви, о синемъ письмѣ?..

— Нѣтъ, о синемъ письмѣ, кажется, ничего не говорилъ...

— Стало-быть только о любви. Что же сказали вы ей?

Онъ молчалъ, и даже началъ поглядывать къ лѣсу.

— Мнѣ нужно это знать—и потому говорите!—настаивала она. — Вы вѣдь обѣщали исполнять даже капризы, а

это не капризъ. Вы сказали ей? Да? Конечно, вы не скажете «нѣтъ»...

— Зачѣмъ столько словъ? Прикажи — и я выдамъ тебѣ всѣ тайны. Былъ разговоръ о тебѣ. Бабушка стала догадываться, отчего ты была задумчива, а потомъ стала вдругъ весела...

— Ну?

— Ну, я и сказалъ только... «не влюблена ли, молъ, она?..» Это ужъ давно.

— Что же бабушка?

— Испугалась.

— Чего?

— Экстаза больше всего.

— А вы и объ экстазѣ сказали?

— Она сама замѣтила, что ты стала очень весела, и даже обрадовалась-было этому...

— А вы испугали ее?

— Нѣтъ, я только назвалъ по имени твое состояніе, она испугалась слова «экстазъ».

— Послушайте,—сказала она серьёзно:—покой бабушки мнѣ дорогъ, дороже, нежели, можетъ-быть, она думаетъ...

— Нѣтъ,—живо перебилъ Райскій:—бабушка вѣритъ въ твою безграничную къ ней любовь, только сама не знаетъ почему. Она мнѣ это говорила.

— Слава Богу! благодарю васъ, что вы мнѣ это передали! Теперь послушайте, что̀ я вамъ скажу, и исполните слѣпо. Подите къ ней и разрушьте въ ней всякія догадки о любви, объ экстазѣ, все, все. Вамъ это не трудно сдѣлать—и вы сдѣлаете, если любите меня.

— Чего бы я не сдѣлалъ, чтобы доказать это! Я ужо̀ вечеромъ...

— Нѣтъ, сію минуту. Когда я ворочусь къ обѣду, чтобъ глаза ея смотрѣли на меня, какъ прежде... Слышите?

— Хорошо, я пойду... — говорилъ Райскій, не двигаясь съ мѣста.

— Бѣгите, сію минуту!

— А ты... домой?

Она указала ему почти повелительно рукой къ дому, чтобъ онъ шелъ.

— Еще одно слово, — остановила она: — никогда съ бабушкой не говорите обо мнѣ, слышите?

— Слушаю, сестрица,—сказалъ онъ, и засмѣялся.

— Честное слово?

Онъ замялся.

— А если она станетъ...—возразилъ-было онъ.

— Вы только молчите—честное слово?

— Хорошо.

— Мегсі, и бѣгите теперь къ ней.

— Хорошо, бѣгу... — сказалъ онъ и еле-еле шелъ, оглядываясь.

Она махала ему, чтобы шелъ скорѣе, и ждала на мѣстѣ, слѣдя, идетъ ли онъ. А когда онъ повернулъ за уголъ аллеи и потомъ проворно вернулся назадъ, чтобы еще сказать ей что-то, ея ужъ не было.

— Да, правду бабушка говоритъ: какъ «духъ» пропала!— шепнулъ онъ.

Въ эту минуту вдали, внизу обрыва, раздался выстрѣлъ.

— Это кто забавляется? — спрашивалъ себя Райскій, идучи къ дому.

Вѣра явилась своевременно къ обѣду, и какъ ни вонзались въ нее пытливые взгляды Райскаго, — никакой перемѣны въ ней не было. Ни экстаза, ни задумчивости. Она была такою, какою была всегда.

Бабушка раза два покосилась на нее, но, не замѣтивъ ничего особеннаго, повидимому, успокоилась. Райскій исполнилъ порученіе Вѣры и разсѣялъ ея живыя опасенія, но

искоренить подозрѣнія не могъ. И всѣ трое, поговоривъ о неважныхъ предметахъ, погрузились въ задумчивость.

Вѣра даже взяла какую-то работу, на которую и устремила вниманіе, но бабушка замѣчала, что она продѣваетъ только взадъ и впередъ шелковинку, а отъ Райскаго не укрылось, что она въ иныя минуты вздрагиваетъ, или боязливо поводитъ глазами вокругъ себя, поглядывая, въ свою очередь, подозрительно на каждаго.

Но черезъ день, черезъ два, прошло и это, и когда Вѣра являлась къ бабушкѣ, она была равнодушна, даже умѣренно весела, только чаще прежняго запиралась у себя и долѣе обыкновеннаго горѣлъ у ней огонь въ комнатѣ по ночамъ.

«Что она дѣлаетъ?» вертѣлось у бабушки въ головѣ: «читать не читаетъ—у ней тамъ нѣтъ книгъ (бабушка это ужъ знала), развѣ пишетъ: бумага и чернильница есть».

Всего обиднѣе и грустнѣе для Татьяны Марковны была таинственность; «тайкомъ отъ нея дѣвушка переписывается, можетъ-быть, переглядывается съ какимъ-нибудь вертопрахомъ изъ окна—и кто же? внучка, дочь ея, ея милое дитя, ввѣренное ей матерью: ужасъ, ужасъ! Даже руки и ноги холодѣютъ...» шептала она, не подозрѣвая, что это отъ нервъ, въ которые она не вѣрила.

Она ждала, не откроетъ ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина? Не проболтается ли Райскій? Нѣтъ. Какъ ни ходила она по ночамъ, какъ ни подозрительно оглядывала и спрашивала Марину, какъ ни подсылала Мареиньку спросить, что дѣлаетъ Вѣра: ничего изъ этого не выходило.

Вдругъ у бабушки мелькнула счастливая мысль — довѣдаться о томъ, что такъ ее безпокоило, попытать вывести на свѣжую воду внучку—стороной, или «аллегоріей», какъ она выразилась Райскому, т. е. примѣромъ.

Она вспомнила, что у ней гдѣ-то есть нравоучительный

романъ, который еще она сама въ молодости читывала, и даже плакала надъ нимъ.

Тема его состояла въ изображеніи гибельныхъ послѣдствій страсти отъ неповиновенія родителямъ. Молодой человѣкъ и дѣвушка любили другъ друга, но, разлученные родителями, видѣлись съ балкона издали, перешептывались, переписывались.

Сношенія эти были замѣчены посторонними, дѣвушка потеряла репутацію и должна была идти въ монастырь, а молодой человѣкъ посланъ отцомъ въ изгнаніе, куда-то въ Америку.

Татьяна Марковна раздѣляла со многими другими вѣру въ печатное слово вообще, когда это слово было назидательно, а на этотъ разъ, въ столь близкомъ ея сердцу дѣлѣ, она поддалась и нѣкоторой суевѣрной надеждѣ на книгу, какъ на какую-нибудь ладонку или нашептываньe.

Она вытащила изъ сундука, изъ-подъ хлама, книгу и положила у себя на столѣ, подлѣ рабочаго ящика. За обѣдомъ она изъявила обѣимъ сестрамъ желаніе, чтобъ онѣ читали ей вслухъ попеременно, по вечерамъ, особенно въ дурную погоду, такъ какъ глаза у ней плохи и сама она читать не можетъ.

Это случалось иногда, что Марѳинька прочтетъ ей что-нибудь, но бабушка къ литературѣ была довольно холодна, и только охотно слушала, когда Титъ Никонычъ приносилъ что-нибудь любопытное по части хозяйства, какихъ-нибудь событій въ родѣ убійствъ, большихъ пожаровъ, или гигіеническихъ наставленій.

Вѣра ничего не сказала въ отвѣтъ на предложеніе Татьяны Марковны, а Марѳинька спросила:

— А конецъ счастливый, бабушка?

— Дойдешь до конца, такъ узнаешь,—отвѣчала та.

— Что это за книга?—спросилъ Райскій вечеромъ. Потомъ взялъ, посмотрѣлъ и засмѣялся.

— Вы лучше *Сонникъ* купите, да читайте! Какую старину выкопали! Это вы, бабушка, должно-быть, читали, когда были влюблены въ Тита Никоныча...

Бабушка покраснѣла и разсердилась.

— Оставь глупыя шутки, Борисъ Павловичъ! — сказала она:—я тебя не приглашаю читать, а имъ не мѣшай!

— Да это допотопное сочиненіе...

— Ну, ты послѣ потопа родился и сочиняй свои драмы и романы, а намъ не мѣшай! Начни ты, Марѳинька, а ты, Вѣра, послушай! Потомъ, когда Марѳинька устанетъ, ты почитай. Книга хорошая, занимательная!

Вѣра равнодушно покорилась, а Марѳинька старалась заглянуть на послѣднюю страницу, не говорится ли тамъ о свадьбѣ. Но бабушка не дала ей.

— Читай сначала—дойдешь: какая нетерпѣливая!—сказала она.

Райскій ушелъ, и бабушкина комната обратилась въ кабинетъ чтенія. Вѣрѣ было невыносимо скучно, но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю.

Началось длинное описаніе, сначала родителей молодого человѣка, потомъ родителей дѣвицы, потомъ исторія раздора двухъ фамилій, въ родѣ Монтекки и Капулетти, потомъ наружности и свойствъ молодыхъ людей, давно росшихъ и воспитанныхъ вмѣстѣ, а потомъ разлученныхъ.

Вечера черезъ три-четыре терпѣливаго чтенія, дошли, наконецъ, до взаимныхъ чувствъ молодыхъ людей, до объясненій ихъ, до перваго свиданія наединѣ. Вся эта исторія была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна.

Вѣра задумывалась. А бабушка, при каждомъ словѣ о любви, исподтишка глядѣла на нее — что она: волнуется, краснѣетъ, блѣднѣетъ? Нѣтъ: вонъ зѣвнула. А потомъ при-

лежно отмахивается отъ назойливой мухи и слѣдитъ, куда та полетѣла. Опять зѣвнула до слезъ.

На третій день Вѣра совсѣмъ не пришла къ чаю, а потребовала его къ себѣ. Когда же бабушка прислала за ней «послушать книжку», Вѣры не было дома: она ушла гулять.

Вѣра думала, что отдѣлалась отъ книжки, но неумолимая бабушка безъ нея не велѣла читать дальше и сказала, что на другой день вечеромъ чтеніе должно быть возобновлено. Вѣра съ тоской взглянула на Райскаго. Онъ понялъ ея взглядъ и предложилъ лучше погулять.

— А послѣ прогулки почитаемъ,—сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядѣвъ на Вѣру, потому что замѣтила ея тоскливый взглядъ.

Нечего дѣлать, Вѣра покорилась вполнѣ. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый разсказъ. Райскій послушалъ-послушалъ и ушелъ.

— Точно мочалку во снѣ жуетъ, — сказалъ онъ, уходя, про автора, и разсмѣшилъ надолго Марѳиньку.

Вѣра не зѣвала, не слѣдила за полетомъ мухъ, сидѣла, не разжимая губъ, и сама читала внятно, когда приходила ея очередь читать. Бабушка радовалась ея вниманію.

«Слава Богу, вслушивается, замѣчаетъ, мотаетъ на усъ: авось...» думала она.

Длинный разсказъ все тянулся о томъ, какъ разгорались чувства молодыхъ людей и какъ родители усугубляли надъ ними надзоръ, придумывали нравственныя истязанія, чтобъ разлучить ихъ. У Марѳиньки навертывались слезы, а Вѣра улыбалась изрѣдка, а иногда и задумывалась, или хмурилась.

«Забираетъ за живое», думала Татьяна Марковна. «Слава Тебѣ Господи!»

Наконецъ — всему бываетъ конецъ. Въ книгѣ оставалось нѣсколько главъ; насталъ послѣдній вечеръ. И Райскій не

ушелъ къ себѣ, когда убрали чай и усѣлись около стола оканчивать чтеніе.

Тутъ былъ и Викентьевъ. Ему не сидѣлось на мѣстѣ, онъ вскакивалъ, подбѣгалъ къ Марѳинькѣ, просилъ дать и ему почитать вслухъ, а когда ему давали, то онъ вставлялъ въ романъ отъ себя цѣлыя тирады, или читалъ разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, онъ читалъ тоненькимъ, жалобнымъ голосомъ, а за героя читалъ своимъ голосомъ, обращаясь къ Марѳинькѣ, отчего та поминутно краснѣла и дѣлала ему сердитое лицо.

Въ лицѣ грознаго родителя, Викентьевъ представлялъ Нила Андреича. У него отняли книгу и велѣли сидѣть смирно. Тогда онъ, за спиной бабушки, сопровождалъ чтеніе, одной Марѳинькѣ видимой, мимикой.

Марѳинька предательски указала на него тихонько бабушкѣ. Татьяна Марковна выпроводила его въ садъ погулять до ужина—и чтеніе продолжалось. Марѳинька огорчалась тѣмъ, что книги осталось немного, а все еще разсказывается «жалкое» и свободы не предвидится.

— Что тебѣ за дѣло, — спросилъ Райскій: — какъ бы ни кончилось, счастливо, или несчастливо...

— Ахъ, какъ это можно, я плакать буду, не усну! — сказала она.

Драма гоненій была въ полномъ разгарѣ, родительскія увѣщанія, въ длиннѣйшихъ и нестерпимо скучныхъ сентенціяхъ, гремѣли надъ головой любящихся.

— Замѣчай за Вѣрой, — шепнула бабушка Райскому: — какъ она слушаетъ! Исторія попадаетъ — не въ бровь, а прямо въ глазъ. Смотри, морщится, поджимаетъ губы!..

Дошли до катастрофы: любящихся застали въ саду. Герой свилъ изъ полотенецъ и носовыхъ платковъ лѣстницу, героиня сошла по ней къ нему. Они плакали въ объятіяхъ другъ друга, какъ вдругъ ихъ освѣтили факелы гонителей, крики ужаса, негодованія, проклятія отца! Героиня въ об-

морокѣ, герой на колѣняхъ передъ безжалостнымъ отцомъ Потомъ заточеніе. Любящимся не дали проститься, взглянуть другъ на друга. Черезъ мѣсяцъ печальный колоколъ возвѣщалъ обрядъ постриженія въ монастырѣ, а героя мчалъ корабль изъ Гамбурга въ Америку. Родители остались одни, и потомъ, скукой и одиночествомъ, всю жизнь платили за свое жестокосердіе. Послѣднее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчаніе.

— Экая дичь!—сказалъ Райскій, немного погодя.

Марѳинька утирала слезы.

— А ты что̀ скажешь, Вѣрочка?—спросила бабушка.

Та молчала.

— Гадкая книга, бабушка, — сказала Марѳинька:— что̀ они вытерпѣли, бѣдные!..

— А что жъ дѣлать? Вотъ, чтобъ этого не терпѣть, — говорила бабушка, стороной глядя на Вѣру: — и надо бы было этой Кунигундѣ спроситься у тѣхъ, кто уже пожилъ и знаетъ, что̀ значатъ страсти.

Райскій насмѣшливо кивнулъ ей съ одобреніемъ головой.

— А то вотъ и довели себя до добра, — продолжала бабушка: — если бъ она спросила отца или матери, такъ до этого бы не дошло. Ты что̀ скажешь, Вѣрочка?

Вѣра пошла вонъ, но на порогѣ остановилась.

— Бабушка! за что вы мучили меня цѣлую недѣлю, заставивши слушать такую глупую книгу?—спросила она, держась за дверь, и не дождавшись отвѣта, перешагнула, какъ кошка, вонъ.

Бабушка воротила ее.

— Какъ—за что? — сказала она. — Я хотѣла тебѣ удовольствіе сдѣлать...

— Нѣтъ, вы хотѣли за что-то наказать меня. Если я провинюсь въ чемъ-нибудь, вы впередъ лучше посадите меня на недѣлю на хлѣбъ и на воду.

Она оперлась колѣномъ на скамеечку, у ногъ бабушки.

— Прощайте, бабушка, покойной ночи!—сказала она.

Татьяна Марковна нагнулась поцѣловать ее и шепнула на ухо:

— Не наказать, а остеречь хотѣла я тебя, чтобъ ты... не провинилась когда-нибудь...

— А если бъ я провинилась,—шептала въ отвѣтъ Вѣра:—вы заперли бы меня въ монастырь, какъ Кунигунду?

— Развѣ я звѣрь,—обидчиво отвѣчала Татьяна Марковна:—такая же, какъ эти злые родители, изверги?.. Грѣхъ, Вѣра, думать это о бабушкѣ...

— Знаю, бабушка, что грѣхъ, и не думаю... Такъ зачѣмъ же глупой книгой остерегать?

— Чѣмъ же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое?.. Скажи, успокой!..

Вѣра хотѣла что-то отвѣтить, но остановилась и поглядѣла съ минуту въ сторону.

— Перекрестите меня, — сказала потомъ, и когда бабушка перекрестила ее, она поцѣловала у ней руку и ушла.

Райскій взялъ книгу со стола.

— Мудрая книга! Что жъ, какъ подѣйствовала прекрасная Кунигунда?—спросилъ онъ съ улыбкой.

Бабушка болѣзненно вздохнула въ отвѣтъ. Ей было не до шутокъ. Она взяла у него книгу и велѣла Пашуткѣ отдать въ людскую.

— Ну, бабушка,—замѣтилъ Райскій:—Вѣру вы уже наставили на путь. Теперь если Егорка съ Мариной прочитаютъ эту «аллегорію» — тогда отъ добродѣтели некуда будетъ дѣваться въ домѣ.

XVI.

Викентьевъ вызвалъ Марѳиньку въ садъ, Райскій ушелъ къ себѣ, а бабушка долго молчала, сидѣла на своемъ канапе, погруженная въ задумчивость. Уже книга не зани-

мала ее; она отрезвилась отъ печатной морали и сама внутренно стыдила себя за пошлое средство. Взглядъ ея смотрѣлъ уже умнѣе и сознательнѣе. Она что-то обдумывала, можетъ-быть, перебирала старыя, уснувшія воспоминанія. На лицѣ ея появлялись, для тѣхъ, кто умѣетъ читать лица, и проницательная догадка, и умиленіе, и страхъ, и жалость.

Между тѣмъ Марина, Яковъ и Василиса, по очереди приходили напоминать ей, что ужинъ поданъ.

— Не хочу!—отвѣчала она задумчиво.

Марина пошла звать къ ужину барышень.

— Не хочу!—сказала и Вѣра.

— Не хочу! — сказала, къ изумленію ея, и Мареинька, никогда безъ ужина не ложившаяся.

— Я въ постель подамъ,—предложила она.

— Не хочу!—былъ отвѣтъ.

— Что за чудо! Этого никогда не бывало! Надо барынѣ доложить,—сказала Марина.

Но, къ изумленію ея, Татьяна Марковна не удивилась и въ отвѣтъ сказала только:

— Убирайте!

Марина ушла, а Василиса молча стала дѣлать барынѣ постель.

Пока Марина ходила спрашивать, что̀ дѣлать съ ужиномъ, Егорка, узнавъ, что никто ужинать не будетъ, открылъ крышку соусника, понюхалъ и пальцами вытащилъ какую-то «штучку» — «попробовать», какъ объяснилъ онъ заставшему его Якову, котораго также пригласилъ отвѣдать.

Яковъ покачалъ головой, однако, перекрестился, по обыкновенію, и тоже пальцами вытащилъ «штучку» и сталъ медленно жевать, пробуя.

— Тутъ, должно-быть, есть лавровый листъ, — замѣтилъ онъ.

— А вотъ отвѣдайте этого, Яковъ Петровичъ,—говорилъ Егорка, запуская пальцы въ заливныхъ стерлядей.

— Смотри, какъ бы барыня не спросила! — говорилъ Яковъ, вытаскивая другую стерлядь — и когда Марина вошла, они уже доѣдали цыпленка.

— Слопали! — съ изумленіемъ произнесла она, ударивъ себя по бедрамъ и глядя, какъ проворно уходили Яковъ и Егорка, оглядываясь на нее, какъ волки. — Что я утромъ къ завтраку подамъ?

И постель сдѣлана, все затихло въ домѣ, Татьяна Марковна наконецъ очнулась отъ задумчивости, взглянула на образъ и не стала, какъ всегда, на колѣни передъ нимъ и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она сѣла на постель и опять задумалась.

— Какъ остеречь тебя? «Перекрестите!» говоритъ, — вспоминала она со страхомъ свой шопотъ съ Вѣрой.— «Какъ узнать, что у ней въ душѣ? Утро вечера мудренѣе, а теперь лягу»... подумала потомъ.

Но ей не суждено было уснуть въ ту ночь. Только-что она хотѣла лечь, какъ кто-то поцарапался къ ней въ дверь.

— Кто тамъ?—спросила она съ испугомъ.

— Я, бабушка—отворите!—говорилъ голосъ Марѳиньки.

Татьяна Марковна отворила.

— Что ты, дитя мое? Проститься пришла — Богъ благословитъ тебя! Отчего ты не ужинала? Гдѣ Николай Андреичъ?—сказала она.

Но, взглянувъ на Марѳиньку, испугалась.

— Что ты, Марѳинька? Что случилось? На тебѣ лица нѣтъ: вся дрожишь? Здорова ли? Испугалась чего-нибудь?— посыпались вопросы.

— Нѣтъ, нѣтъ, бабушка, ничего, ничего... я пришла... Мнѣ нужно сказать вамъ...—говорила она, прижимаясь къ бабушкѣ въ страхѣ.

— Сядь, сядь... на кресло.

— Нѣтъ, бабушка—я сяду къ вамъ, а вы лягте. Я все разскажу—и свѣчку потушите...

— Да что случилось—ты меня пугаешь...

— Ничего, бабушка — ляжемъ поскорѣй, я все вамъ на ушко разскажу...

Бабушка поспѣшила исполнить ея требованіе, и Мареинька разсказала ей, что случилось съ ней, послѣ чтенія, въ саду. А случилось вотъ что.

Когда Викентьевъ, послѣ чтенія, вызвалъ Мареиньку въ садъ, между ними нечаянно произошла слѣдующая сцена. Онъ звалъ ее въ рощу слушать соловья.

— Пока вы тамъ читали — я все слушалъ: ахъ, какъ поетъ, какъ поетъ—пойдемте!—говорилъ онъ.

— Теперь темно, Николай Андреевичъ,—сказала она.

— Развѣ вы боитесь?

— Одна боюсь, а съ вами нѣтъ.

— Такъ пойдемте! А какъ хорошо поетъ — слышите, слышите? отсюда слышно! Тутъ филинъ-было въ дуплѣ началъ кричать—и тотъ замолчалъ. Пойдемте.

Она стояла на крыльцѣ и сошла въ аллею нерѣшительно. Онъ подалъ ей руку. Она шла медленно, будто нехотя.

— Какая темнота; дальше не пойду, не трогайте меня за руку!—почти сердито говорила она, а сама все подвигалась невольно, какъ будто ее вели насильно, хотя Викентьевъ выпустилъ ея руку.

— Поближе, сюда!—шепталъ онъ.

Она дѣлала два шага, точно ощупью, и останавливалась.

— Еще, еще, не бойтесь!

Она подвигалась еще шагъ; сердце у ней билось и отъ темноты, и отъ страха.

— Темно, я боюсь...—говорила она.

— Да полноте, чего бояться — здѣсь никого нѣтъ. Вотъ сюда, еще; смотрите, здѣсь канава, обопритесь на меня—вотъ такъ!

— Что вы, оставьте, я сама!..—говорила она въ испугѣ, но не успѣла договорить, какъ онъ, обнявъ ее за талію, перенесъ черезъ канаву.

Они вошли въ рощу.

— Я дальше не пойду ни шагу.

А сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьевъ подъ ногой.

— Вотъ станемте здѣсь — тише... — шепталъ онъ:—слышите?

Соловей лилъ свои трели. Марѳиньку обняло обаяніе теплой ночи. Мгла, легкій шелестъ листьевъ и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцѣпенѣла въ молчаніи и по временамъ отъ страха ловила руку Викентьева. А когда онъ самъ бралъ ее за руку, она ее отдергивала.

— Какъ хорошо, Марѳа Васильевна, какая ночь!—говорилъ онъ.

Она махнула ему рукой, чтобъ онъ не мѣшалъ слушать. Въ ней только-что начинала разыгрываться сладость нервнаго раздраженія.

— Марѳа Васильевна, — шепталъ онъ чуть слышно:—со мной дѣлается что-то такое хорошее, такое пріятное, чего я никогда не испытывалъ... точно все шевелится во мнѣ...

Она молчала.

— Я теперь вскочилъ бы на лошадь и поскакалъ бы во всю мочь, чтобы духъ захватывало... Или бросился бы въ Волгу и переплылъ на ту сторону... А съ вами, ничего?

Она вздрогнула.

— Что вы, испугались?

— Уйдемте отсюда! Послушали и довольно, а то бабушка разсердится...

— Ахъ, нѣтъ—еще минуту, ради Бога... — умолялъ онъ.

Она остановилась, какъ вкопанная. Соловей все заливался.

— О чемъ онъ поетъ?—спросилъ онъ.

— Не знаю!

— А вѣдь что-нибудь да высказываетъ: не на вѣтеръ же онъ свищетъ! Кто-нибудь его слушаетъ...

— Мы—слушаемъ...—шепнула Марѳинька, и слушала.

— Боже мой, какая прелесть!.. Марѳа Васильевна...—шепнулъ Викентьевъ и задумался.

— Гдѣ вы, Николай Андреичъ?—спросила она.—Что вы молчите? Точно васъ нѣтъ: тутъ ли вы?

— Я думаю, соловей поетъ то самое, что мнѣ хотѣлось бы сказать теперь, да не умѣю...

— Ну, говорите по-соловьиному...—сказала она, смѣясь.—Почемъ вы знаете, что онъ поетъ?

— Знаю.

— Ну, говорите.

— Онъ поетъ о любви.

— О какой любви? Кого ему любить?

— Онъ поетъ о моей любви... къ вамъ.

Онъ и самъ-было испугался своихъ словъ, но вдругъ прижалъ ея руку къ губамъ и осыпалъ ее поцѣлуями.

Въ одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назадъ, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробѣжала аллею сада, вбѣжала на ступени крыльца и остановилась на минуту перевести духъ.

Онъ бросился за ней.

— Ни шагу дальше—не смѣйте!—сказала она, едва переводя духъ и держась за ручку двери.—Идите домой!

— Марѳа Васильевна! ангелъ, другъ...

— Какъ вы смѣете меня такъ называть: что—я сестра вамъ, или кузина!

— Ангелъ! прелесть... вы все для меня! Ей-Богу...

— Я закричу, Николай Андреичъ. Подите домой!—повелительно прибавила она, не переставая дрожать.

— Послушайте, скажите, отчего вы стали не такія... съ нѣкоторыхъ поръ дичитесь меня, не ходите однѣ со мной?..

— Мы не дѣти, пора перестать шалить,—говорила она:— и то бабушка...

— Что бабушка?

— Ничего. Вы слышали, что сейчасъ читали въ книгѣ о Ричардѣ и Кунигундѣ: что имъ за это было? Какъ же вы позволили себѣ...

— Этого ничего не было, Марѳа Васильевна. Эту книгу сочинилъ, должно-быть, Нилъ Андреичъ...

— Идите домой! Богъ знаетъ, что люди говорятъ о насъ...

— Вы разлюбили меня, Марѳа Васильевна? — уныло сказалъ онъ и даже не поерошилъ, противъ обыкновенія, волосъ.

— А развѣ я васъ любила?—съ безсознательнымъ кокетствомъ спросила она. — Кто вамъ сказалъ, какія глупости! Съ чего вы взяли, я вотъ бабушкѣ скажу!

— Я и самъ скажу!

— Что вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня!—задорно и отчасти съ безпокойствомъ говорила она.— Что вы это сегодня выдумали! Нашло на васъ?..

— Да, нашло. Выслушайте меня, ангелъ, Марѳа Васильевна... На колѣняхъ прошу...

Онъ всталъ на колѣни.

— Уйду, если станете говорить. Дайте мнѣ только оправиться, а то я перепугаю всѣхъ; я вся дрожу... Сейчасъ же къ бабушкѣ!

Онъ всталъ, рѣшительно подошелъ къ ней, взялъ ее за руку и почти насильно увелъ въ аллею.

— Я не хочу, не пойду... вы дерзкій! забываетесь!—говорила она, стараясь нейти за нимъ и вырывая у него руку, и противъ воли шла.—Что вы дѣлаете, какъ смѣете! Пустите, я закричу!.. Не хочу слушать вашего соловья!

— Не соловья, а меня слушайте, — сказалъ онъ нѣжно, но рѣшительно.—Я не мальчикъ теперь—я тоже взрослый, выслушайте меня, Марѳа Васильевна!

Она вдругъ перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую онъ продолжалъ держать, и съ бьющимся сердцемъ и напряженнымъ любопытствомъ послушно окаменѣла на мѣстѣ.

— Вы, или бабушка, правду сказали: мы больше не дѣти, и я виноватъ только тѣмъ, что не хотѣлъ замѣчать этого, хотя сердце мое давно замѣтило, что вы не дитя...

Она было рванула опять свою руку, но онъ съ тихой силой удержалъ ее.

— Вы взрослая, и потому не бойтесь выслушать меня: я говорю не ребенку. Вы были такъ рѣзвы, молоды, такъ милы, что я забывалъ съ вами мои лѣта и думалъ, что еще мнѣ рано—да мнѣ, по лѣтамъ, можетъ-быть, рано говорить, что я...

— Я уйду: вы что-то опять страшное хотите сказать, какъ въ рощѣ... Пустите! — говорила шопотомъ Марѳинька и дрожала, и рука ея дрожала. — Уйду, не стану слушать, я скажу бабушкѣ все...

— Непремѣнно, Марѳа Васильевна, и сегодня же вечеромъ. Поэтому не бойтесь выслушать меня. Я такъ сроднился, сблизился съ вами, что если насъ вдругъ разлучить теперь... Вы хотите этого, скажите?

Она молчала.

— Марѳа Васильевна, хотите разстаться?

Она молчала, только сдѣлала какое-то движеніе въ темнотѣ.

— Если хотите, разстанемтесь, вотъ теперь же...—уныло говорилъ онъ.—Я знаю, что будетъ со мной: я попрошусь куда-нибудь въ другое мѣсто, уѣду въ Петербургъ, на край свѣта, если мнѣ скажутъ это — не Татьяна Марковна, не маменька моя—онѣ, пожалуй, наскажутъ, но я ихъ не послушаю,—а если скажете вы. Я сейчасъ же съ этого мѣста уйду, и никогда не ворочусь сюда! Я знаю, что ужъ любить

больше въ жизни никогда не буду... Ей-Богу, не буду... Марѳа Васильевна!

Она молчала.

— Вы скажите только слово, можно мнѣ любить васъ? Если нѣтъ—я уѣду—вотъ прямо изъ сада и никогда...

Вдругъ Марѳинька заплакала навзрыдъ и крѣпко схватила его за руку, когда онъ сдѣлалъ шагъ отъ нея.

— Видите, видите! развѣ вы не ангелъ! Не правду я говорилъ, что вы любите меня? Да, любите, любите, любите!— кричалъ онъ, ликуя:—только не такъ, какъ я васъ... нѣтъ!

— Какъ вы смѣете... говорить мнѣ это? — сказала она, обливаясь слезами:—это ничего, что я плачу. Я и о котенкѣ плачу, и о птичкѣ плачу. Теперь плачу отъ соловья: онъ растревожилъ меня, да темнота. При свѣчкѣ, или днемъ— я умерла бы, а не заплакала бы... Я васъ любила, можетъ-быть, да не знала этого...

— И я почти не зналъ, что люблю васъ... Все соловей надѣлалъ: онъ открылъ нашъ секретъ. Мы такъ и скажемъ на него, Марѳа Васильевна... И я бы днемъ ни за какія сокровища не сказалъ вамъ... ей-Богу—не сказалъ бы...

— А теперь я васъ ненавижу, презираю,—сказала она.— Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу; вамъ весело...

— Весело? и вамъ весело, ей-Богу весело — вы такъ только... Дай Богъ здоровья соловью!

— Вы гадкій, нечестный!

— Нѣтъ, нѣтъ, — перебилъ онъ и торопливо поерошилъ голову:—не говорите этого. Лучше назовите меня дуракомъ, но я честный, честный, честный! Я никому не позволю усомниться... Никто не смѣетъ!

— А я смѣю! — задорно сказала Марѳинька. — Вы нечестный: вы заставили бѣдную дѣвушку высказать поневолѣ, чего она никому, даже Богу, отцу Василью, не высказала бы... А, теперь, Боже мой, какой срамъ!

И этотъ «Божій младенецъ», по выраженію Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаянія.

— Нечестно! нечестно!—твердила она въ тоскѣ:—я васъ уже теперь не люблю. Что скажутъ, что подумаютъ обо мнѣ? я пропала...

— Другъ мой, ангелъ!..

— Опять вы за свое?

— Вспомните, что вы не дитя! — уговаривалъ ее Викентьевъ.

— Какъ вы странно говорите! — вдругъ остановила она его, переставъ плакать: — вы никогда не были такимъ, я васъ никогда такимъ не видала! Развѣ вы такой, какъ давеча были, когда съ головой ушли въ рожь, перепела передразнивали, а вчера за моимъ котенкомъ на крышу лазили? Давно ли на мельницѣ нарочно выпачкались въ мукѣ, чтобъ разсмѣшить меня?.. Отчего вы вдругъ не такой стали?

— Какой же я сталъ, Марѳа Васильевна?

— Дерзкій: смѣете говорить мнѣ такія глупости въ глаза...

— А вы сами развѣ такая, какія были недавно, еще сегодня вечеромъ? Развѣ вамъ приходило въ голову стыдиться, или бояться меня? приходили вамъ на языкъ такія слова, какъ теперь? И вы тоже измѣнились!

— Отчего же это вдругъ случилось?

— Соловей все объяснилъ намъ: мы оба выросли и созрѣли сію минуту, вотъ тамъ, въ рощѣ... Мы ужъ не дѣти...

— Оттого и нечестно было говорить мнѣ, что вы сказали. Вы поступили, какъ вѣтреникъ — нечестно дразнить дѣвушку, вырвать у ней секретъ...

— Не вѣкъ же ему оставаться секретомъ: когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его...

Она подумала.

— Да, сказала бы, бабушкѣ на ушко, и потомъ спря-

тала бы голову подъ подушку на цѣлый день. А здѣсь... одни—Боже мой!—досказала она, кидая взглядъ ужаса на небо.—Я боюсь теперь показаться въ комнату; какое у меня лицо—бабушка сейчасъ замѣтитъ.

— Ангелъ! прелесть! — говорилъ онъ, нагибаясь къ ея рукѣ:—да будетъ благословенна темнота, роща и соловей!

— Прочь, прочь! — повторила она, убѣгая снова на крыльцо:—вы опять за дерзости! А я думала, что честнѣе и скромнѣе васъ нѣтъ въ свѣтѣ, и бабушка думала то же. А вы...

— Какъ же было честно поступить мнѣ? Кому мнѣ сказать свой секретъ?

— На другое ушко бабушкѣ, и у ней спросить, люблю ли я васъ?

— Вы ей нынче все скажите.

— Это все не то будетъ. Я ужъ виновата передъ ней, что слушала васъ, расплакалась. Она огорчится, не проститъ мнѣ никогда,—а все вы...

— Проститъ, Марѳа Васильевна! обоихъ проститъ. Она любитъ меня...

— Вамъ кажется, что всѣ васъ любятъ: какое сокровище!

— Она даже говоритъ, что любитъ меня какъ сына...

— Это она такъ, оттого что вы кушаете много, а она всѣхъ такихъ любитъ, даже и Опенкина!

— Нѣтъ, я знаю, что она меня любитъ—и если только проститъ мнѣ мою молодость, такъ позволитъ намъ жениться!..

— Какой ужасъ! До чего вы договорились!

Она хотѣла уйти.

— Марѳа Васильевна! сойдите сюда, не бойтесь меня, я буду, какъ статуя...

Она медлила, потомъ вдругъ сама сошла къ нему со ступеней крыльца, взяла его за руку и поглядѣла ему въ лицо съ строгой важностью.

— Ваша маменька знаетъ о томъ, что вы мнѣ говорите теперь здѣсь? — спросила она: — а? знаетъ? говорите, да, или нѣтъ?

— Нѣтъ еще...—тихо сказалъ онъ.

— Нѣтъ!—со страхомъ повторила она.

Нѣсколько минутъ они молчали.

— Какъ же вы смѣли говорить мнѣ это?—спросила она потомъ.—Даже до свадьбы договорились, а maman ваша не знаетъ! Честно ли это, сами скажите!

— Узнаетъ завтра.

— А если не благословитъ?

— Я не послушаюсь!

— А я послушаюсь—и безъ ея согласія не сдѣлаю ни шагу, какъ безъ согласія бабушки. И если не будетъ этого согласія, ваша нога не будетъ въ домѣ здѣсь, помните это, М-г Викентьевъ,—вотъ что!

Она быстро отвернулась отъ него плечомъ и пошла прочь.

— Я увѣренъ въ ней, какъ въ себѣ... въ ея согласіи.

— И надо было послѣ ея согласія заставить меня плакать!..

— Ужели вы такъ уйдете, не простите меня за это увлеченіе?..

— Мы не дѣти, чтобъ увлекаться и прощать. Грѣхъ сдѣланъ...

— Всѣ грѣшны: простите—сегодня въ ночь я буду въ Колчинѣ, а къ обѣду завтра здѣсь—и съ согласіемъ. Простите... дайте руку!

— Тогда... можетъ-быть...—сказала она, подумавши, потомъ поглядѣла на него и подала-было руку.

И только онъ потянулся къ ней, она въ ужасѣ отдернула.

— Боже мой! Что еще скажетъ бабушка! Ступайте прочь, прочь—и помните, что если maman ваша будетъ васъ бранить, а меня бабушка не проститъ, вы и глазъ не кажите—я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны!

Она ушла, и онъ проворно бросился вонъ изъ сада.

«Господи! Господи! что скажетъ бабушка!—думала Марѳинька, запершись въ своей комнатѣ и трясясь, какъ въ лихорадкѣ.—Что мы надѣлали!—мучилась она мысленно.—И какъ я перескажу... что мнѣ будетъ за это... Не сказать ли прежде Вѣрочкѣ... Нѣтъ, нѣтъ—бабушкѣ! Кто тамъ теперь у ней?..»

Она волновалась, крестилась, глядя на образъ, пока Яковъ пришелъ звать ее къ ужину.

— Не хочу!—сказала она изъ-за двери.

Марина пришла:

— Не хочу!—съ тоской повторила она. — Что бабушка дѣлаетъ?

— Барыня не ужинали, спать ложатся,—сказала Марина.

Марѳинька едва дождалась, пока затихло все въ домѣ и, какъ мышь, прокралась къ бабушкѣ.

Долго шептали онѣ, много разъ бабушка крестила и цѣловала Марѳиньку, пока наконецъ та заснула на ея плечѣ. Бабушка тихо сложила ея голову на подушку, потомъ уже встала и молилась въ слезахъ, призывая благословеніе на новое счастье и новую жизнь своей внучки. Но еще жарче молилась она о Вѣрѣ. Съ мыслью о ней, она подолгу склоняла сѣдую голову къ подножію креста и шептала горячую молитву.

Ложась осторожно подлѣ спящей Марѳиньки, бабушка перекрестила ее опять, а сама подумала:

«Добро бы Вѣра, а то Марѳинька, какъ Кунигунда... тоже въ саду!.. Точно на смѣхъ вышло: это «судьба» забавляется!..»

XVII.

Викентьевъ сдержалъ слово. На другой день онъ привезъ къ Татьянѣ Марковнѣ свою мать и, впустивъ ее въ двери, самъ далъ «стречка», какъ онъ говорилъ, не зная, что будетъ, и сидѣлъ, какъ на иголкахъ, въ канцеляріи.

Мать его, еще почти молодая женщина, лѣтъ сорока съ небольшимъ, была такая же живая и веселая, какъ онъ, но съ большимъ запасомъ практическаго смысла. Между ею и сыномъ была вѣчная комическая война на словахъ.

Они спорили на каждомъ шагу, за всякіе пустяки,—и только за пустяки. А когда доходило до серьезнаго дѣла, она другимъ голосомъ и другими глазами, нежели какъ обыкновенно, предъявляла свой авторитетъ, — и онъ, хотя сначала протестовалъ, но потомъ сдавался, если требованіе ея было благоразумно.

Между ними происходилъ видимый разладъ и существовала невидимая гармонія. Таковъ былъ наружный образъ ихъ отношеній.

— Надѣнь это,—скажетъ Марья Егоровна.

— Какъ это можно—лучше это,—переговоритъ онъ.

— Съѣзди къ Михайлу Андреичу.

— Помилуйте, maman, у него непроходимая скука,—отвѣчалъ онъ.

— Вздоръ, ты поѣдешь.

— Нѣтъ, maman, ни за что, хоть убейте!

— Николка, будешь ты слушаться?

— Всегда, maman, только не теперь.

Но однако, если ей въ самомъ дѣлѣ захочется, онъ поѣдетъ съ упреками, жалобами и протестами до тѣхъ поръ, пока потеряется изъ вида.

Этотъ вѣчный споръ шелъ съ утра до вечера между ними, съ промежутками громкаго смѣха. А когда они были ужъ очень дружны, то молчали какъ убитые, пока тотъ или другой не прерветъ молчанія какимъ-нибудь замѣчаніемъ, вызывающимъ непремѣнно противорѣчіе съ другой стороны. И пошло опять.

Любовь его къ матери наружно выражалась также бурно и неистово, до экстаза. Въ припадкѣ нѣжности, онъ вдругъ бросится къ ней, обѣими руками обовьетъ шею и облѣпитъ

горячими поцѣлуями: тутъ уже между ними произойдетъ буквально драка.

Она ловитъ его за уши, деретъ, щиплетъ за щеки, отталкиваетъ, наконецъ кликнетъ толсторукую и толстобедрую ключницу Мавру и велитъ оттащить прочь «волченка».

Послѣ разговора съ Марѳинькой, Викентьевъ въ ту же ночь укатилъ за Волгу и, ворвавшись къ матери, бросился обнимать и цѣловать ее по-своему, потомъ, когда она, собравъ всѣ силы, оттолкнула его прочь, онъ сталъ передъ ней на колѣни и торжественно произнесъ.

— Мать! бей, но выслушай: рѣшительная минута жизни настала—я...

— Съ ума сошелъ!—досказала она.—Откуда взялся, точно съ цѣпи сорвался! Какъ смѣлъ безъ спросу пріѣхать? Испугалъ меня, взбудоражилъ весь домъ: что съ тобой?—спрашивала она, оглядывая его съ изумленіемъ съ ногъ до головы и оправляя растрепанные имъ волосы.

— Не угадываешь, мать? — спрашивалъ онъ, не безъ внутренняго страха отъ какихъ-нибудь, еще невѣдомыхъ ему препятствій и опроверженій.

— Напроказничалъ что-нибудь, вѣрно опять подъ арестъ хотятъ посадить?—говорила она, зорко глядя ему въ глаза.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— За сто верстъ—не отгадала.

— Ну, говори!

— Скажу, только противорѣчить не моги!

Она съ недоумѣніемъ, и тоже не безъ страха, глядѣла на него, стараясь угадать.

— Задолжалъ?

Онъ качалъ головой.

— Опять не въ гусары ли затѣялъ пойти?

— Нѣтъ, нѣтъ!

— Почемъ я знаю, какая блажь забралась въ тебя? Отъ тебя все станется! Говори—что?

— Не станешь спорить?

— Стану, потому что вѣрно вздоръ затѣялъ. Сейчасъ говори.

— Жениться хочу!—чуть слышно сказалъ онъ.

— Что?—спросила она, не вслушавшись.

— Жениться хочу!

Она взглянула на него быстро.

— Мавра, Антонъ, Иванъ, Кузьма!—закричала она:—всѣ идите скорѣй сюда—скорѣй!

Мавра одна пришла.

— Зови всѣхъ людей: Николай Андреичъ помѣшался!

— Христосъ съ нимъ — что вы, матушка, испужали до смерти!—говорила Мавра, тыча рукой въ воздухъ.

Викентьевъ махнулъ Маврѣ, чтобъ шла вонъ.

— Я не шучу, мать! — сказалъ онъ, удерживая ее за руку, когда она встала.

— Поди прочь, не трогай!—сердито перебила она и начала въ волненіи ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Я не шучу!—подтвердилъ онъ рѣзко:—завтра я долженъ отвѣтъ дать. Что ты скажешь?

— Велю запереть тебя... знаешь куда! — шепнула она, видимо озабоченная.

Онъ вскочилъ, и между ними начался одинъ изъ самыхъ бурныхъ разговоровъ. Долго ночью слышали люди горячій споръ, до крика, почти до визга, по временамъ смѣхъ, скаканье его, потомъ поцѣлуи, гнѣвный крикъ барыни, веселый отвѣтъ его—и потомъ гробовое молчаніе, признакъ совершенной гармоніи.

Викентьевъ одержалъ, повидимому, побѣду — впрочемъ, уже подготовленную. Если обманывались насчетъ своихъ чувствъ Марѳинька и Викентьевъ, то бабушка и Марья Егоровна давно поняли, къ чему это ведетъ, но вида другъ другу и имъ не показывали, а сами молча, каждая про себя, давно все обдумали, взвѣсили, разсчитали — и рѣшили, что эта свадьба—дѣло подходящее.

Но Марья Егоровна, по свойству своихъ отношеній къ сыну, не могла, какъ и онъ, съ своей стороны, тоже уступить, а онъ взять ея согласіе иначе, какъ съ бою, и притомъ самаго упорнаго и горячаго.

— Еще что Татьяна Марковна скажетъ!—говорила раздражительно, какъ-будто съ досадой уступая, Марья Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобы ѣхать въ городъ.—Если она не согласится, я тебѣ никогда не прощу этого срама! Слышишь?

— Не безпокойся, она любитъ меня больше родной матери!

— Я вовсе тебя не люблю, отстань, волченокъ! — крикнула она, сбоку посмотрѣвъ на него.

Онъ хотѣлъ-было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтикомъ.

— Только смѣй! Если изомнешь шляпку, я не поѣду!— прибавила она.

Онъ присмирѣлъ отъ этой угрозы.

— Туда же, съ этихъ поръ жениться!—ворчала она.

Онъ, не слушая ея, перелѣзъ изъ коляски на козлы и, отнявъ у кучера вожжи, погналъ, что есть мочи, лошадей.

XVIII.

Марья Егоровна разрядилась въ шелковое платье, въ кружевную мантилью, надѣла желтыя перчатки, взяла вѣеръ — и такъ кокетливо и хорошо одѣлась, что сама смотрѣла невѣстой.

Лишь только Татьянѣ Марковнѣ доложили о пріѣздѣ Викентьевой, старуха, принимавшая ее всегда запросто, радушно-дружески, тутъ вдругъ, догадываясь, конечно, послѣ признанія Марѳиньки, зачѣмъ она пріѣхала, приняла другой тонъ и манеры.

Она велѣла просить ее подождать въ гостиной, а сама бросилась одѣваться, приказавъ Василисѣ посмотрѣть въ

щелочку и сказать ей, какъ одѣта гостья. И Татьяна Марковна надѣла шумящее шелковое съ серебристымъ отливомъ платье, турецкую шаль, пробовала-было надѣть массивныя брильянтовыя серьги, но съ досадой бросила ихъ.

— Нейдутъ, уши заросли!—сказала она.

Велѣла одѣваться Марѳинькѣ, Вѣрочкѣ, и приказала мимоходомъ Василисѣ достать парадное столовое бѣлье, старинное серебро и хрусталь къ завтраку и обѣду. Повару, кромѣ множества блюдъ, велѣла еще варить шоколадъ, послала за конфетами, за шампанскимъ.

Одѣвшись, сложивъ руки на руки, украшенныя на этотъ разъ старыми, дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она въ гостиную и, обрадовавшись, что увидѣла любимое лицо доброй гостьи, чуть не испортила своей важности, но тотчасъ оправилась и стала серьезна. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстрѣчу.

— А мой-то сумасшедшій что̀ затѣялъ!.. — начала она и остановилась, поглядѣвъ на Бережкову, оробѣла и стояла въ недоумѣніи.

Обѣ онѣ церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диванъ и сѣла подлѣ нея.

— Какова нынче погода?—спросила Татьяна Марковна, поджимая губы:—на Волгѣ нѣтъ вѣтру?

— Нѣтъ, тихо.

— Вы на паромѣ?

— Нѣтъ, въ лодкѣ съ гребцами, а коляска на паромѣ.

— Да, кстати! Яковъ, Егорка, Петрушка, кто тамъ? Что это васъ не дозовешься?—сказала Бережкова, когда всѣ трое вошли.—Велите отложить лошадей изъ коляски Маріи Егоровны, дать имъ овса и накормить кучера.

Всѣ бросились исполнять приказаніе, хотя и безъ того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна на-

ряжалась, подвезена подъ сарай, а кучеръ балагурилъ въ людской за бутылкой пива.

— Нѣтъ, нѣтъ, Татьяна Марковна,—говорила гостья: — я на полчаса. Ради Бога, не удерживайте меня: я за дѣломъ...

— Кто же васъ пуститъ? — сказала Татьяна Марковна голосомъ, не требующимъ возраженія. — Если бъ вы были здѣшняя, другое дѣло, а то изъ-за Волги! Что мы, первый годъ знакомы съ вами?.. Или обидѣть меня хотите?..

— Ахъ, Татьяна Марковна, я вамъ такъ благодарна, такъ благодарна! Вы лучше родной—и Николая моего избаловали до того, что этотъ поросенокъ сегодня мнѣ вдругъ дорогой слилъ пулю: «Татьяна Марковна, говоритъ, любитъ меня больше родной матери!» Хотѣла я ему уши надрать, да на козлы ушелъ отъ меня и такъ гналъ лошадей, что я всю дорогу дрожала отъ страху.

У Татьяны Марковны вся важность опять сбѣжала съ лица.

— А вѣдь онъ чуть-чуть не правду сказалъ, — начала она: — вѣдь онъ у меня какъ свой! Наградилъ Богъ васъ сынкомъ...

— Помилуйте, онъ мнѣ житья не дастъ: ни шагу безъ спора и безъ ссоры не ступитъ...

— Милыя бранятся только тѣшатся!

— Вотъ вы его избаловали, Татьяна Марковна, онъ и забралъ себѣ въ голову...

Марья Егоровна замялась и начала топать ботинкой объ полъ, оглядывать и обдергивать на себѣ мантилью. Татьяна Марковна вдругъ выпрямилась и опять напустила на себя важность.

— Что такое?—освѣдомилась она съ притворнымъ равнодушіемъ.

— Жениться вадумалъ, чуть не убилъ меня до смерти вчера! Валяется по ковру, хватаетъ за ноги... Я браниться, а онъ поцѣлуями зажимаетъ ротъ, и смѣется, и плачетъ...

— Въ чемъ же дѣло? — спросила Бережкова церемонно, едва выслушавъ эти подробности.

— Просить, молить поѣхать къ вамъ, просить руки Марѳы Васильевны... — конфузливо досказала Марья Егоровна.

Татьяна Марковна, съ несвойственнымъ ей жеманствомъ, слегка поклонилась.

— Что я ему скажу теперь?—добавила Викентьева.

— Это такое важное дѣло, Марья Егоровна,—подумавши, съ достоинствомъ сказала Татьяна Марковна, потупивъ глаза въ полъ:—что вдругъ рѣшить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже съ Марѳинькой. Хотя дѣвочки мои изъ повиновенія моего не выходятъ, но все я принуждать ихъ не могу...

— Марѳа Васильевна согласна: она любитъ Николеньку...

Марья Егоровна чуть не погубила дѣло своего сына.

— А почемъ онъ это знаетъ? — вдругъ, вспыхнувъ, сказала Татьяна Марковна.—Кто ему сказалъ?

— Кажется, онъ объяснился съ Марѳой Васильевной...— пробормотала сконфуженная барыня.

— За то, что Марѳинька отвѣчала на его объясненіе, она сидитъ теперь взаперти въ своей комнатѣ въ одной юбкѣ, безъ башмаковъ!—солгала бабушка для пущей важности.—А чтобъ вашъ сынъ не смущалъ бѣдную дѣвушку, я не велѣла принимать его въ домъ!—опять солгала она для окончательной важности, и съ достоинствомъ поглядѣла на гостью, откинувшись къ спинкѣ дивана.

Та тоже вспыхнула.

— Если бъ я предвидѣла,—сказала она глубоко обиженнымъ голосомъ: — что онъ впутаетъ меня въ непріятное дѣло, я бы отвѣчала вчера ему иначе Но онъ такъ увѣрилъ меня, да и я сама до этой минуты была увѣрена — въ вашемъ добромъ расположеніи къ нему и ко мнѣ! Извините, Татьяна Марковна, и поспѣшите освободить изъ за-

ключенія Марѳу Васильевну... Виноватъ во всемъ *мой*: онъ и долженъ быть наказанъ... А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня... Прикажите человѣку подавать коляску!..

Она даже потянулась къ звонку. Но Татьяна Марковна остановила ее за руку.

— Коляска ваша отложена, кучера, я думаю, мои люди напоили пьянымъ, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и цѣлую недѣлю...

— Помилуйте, послѣ того, что вы сказали, послѣ гнѣва вашего на Марѳу Васильевну и на моего Колю? Онъ дѣйствительно заслуживаетъ наказанія... Я понимаю...

У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины разгладились и радость засіяла въ глазахъ. Она сбросила на диванъ шаль и чепчикъ.

— Мочи нѣтъ—жарко! Извините, душечка, скиньте мантилью — вотъ такъ, и шляпку тоже. Видите, какая жара! Ну... мы ихъ накажемъ вмѣстѣ, Марья Егоровна: женимъ— у меня будетъ еще внукъ, а у васъ дочь. Обнимите меня, душенька! Вѣдь я только старый обычай хотѣла поддержать. Да видно не вездѣ пригожи они, эти старые обычаи! Вонъ я хотѣла остеречь ихъ моралью—и даже нравоучительную книгу въ подмогу взяла: цѣлую недѣлю читали-читали, и только кончили, а они въ ту же минуту почти все это и продѣлали въ саду, что въ книгѣ написано!.. Вотъ вамъ и мораль! Какое сватовство и церемонія между нами! Обѣ мы знали, къ чему дѣло идетъ, и если бъ не хотѣли этого— такъ не допустили бы ихъ слушать соловья.

— Ахъ, какъ вы напугали меня, Татьяна Марковна, не грѣхъ ли вамъ?—сказала гостья, обнимая старушку.

— Не васъ бы слѣдовало, а его напугать! — замѣтила Татьяна Марковна:—вы ужъ не погнѣвайтесь, а я пожурю Николая Андреича. Послушайте, помолчите—я его пострашаю. Каковъ затѣйникъ!

— Какъ я вамъ буду благодарна! Вѣдь я бы не поѣхала ни за что къ вамъ такъ скоро, если бъ онъ не напугалъ меня вчера тѣмъ, что ужъ говорилъ съ Маріей Васильевной. Я знаю, какъ она васъ любитъ и слушается, и притомъ она дитя. Сердце мое чуяло бѣду. «Что онъ ей тамъ наговорилъ?» думала я всю ночь — и со страху не спала, не знала, какъ показаться къ вамъ на глаза. Отъ него не добьешься ничего. Скачетъ, прыгаетъ, какъ ртуть, по комнатѣ. Я признаюсь, и согласилась больше для того, чтобъ онъ отсталъ, не мучилъ меня; думаю, послѣ дамъ ему нагоняй и назадъ возьму слово. Даже хотѣла подучить васъ отказать, что будто не я, а вы... Не повѣрите, всю истрепалъ, измялъ! крику что у насъ было, шуму—ахъ, ты Господи, какое наказаніе съ нимъ!

— И я не спала. Моя-то смиренница ночью приползла ко мнѣ, вся дрожитъ, лепечетъ: «что я надѣлала, бабушка, простите, простите, бѣда вышла!» Я испугалась, не знала, что и подумать... Насилу она могла пересказать: разъ пять принималась, пока кончила.

— Что же у нихъ было? что ей *мой* наговорилъ?

Татьяна Марковна съ усмѣшкой махнула рукой.

— Ужъ и не знаю, кто изъ нихъ лучше—онъ или она? Какъ голуби!

Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марфинькой съ стенографической вѣрностью. И обѣ засмѣялись сквозь слезы.

— Давно я думаю, что они пара, Марья Егоровна,—говорила Бережкова:—боялась только, что молоды ужъ очень оба. А какъ погляжу на нихъ, да подумаю, такъ вижу, что они никогда старше и не будутъ.

— Съ лѣтами придетъ и умъ, будутъ заботы — и созрѣютъ, — договорила Марья Егоровна. — Оба они росли у насъ на глазахъ: гдѣ имъ было занимать мудрости, вѣдь не жили совсѣмъ!

Викентьевъ пришелъ, но не въ комнату, а въ садъ, и выжидалъ, не выглянетъ ли изъ окна его мать. Самъ онъ выглядывалъ изъ-за кустовъ. Но въ домѣ—тишина.

Мать его и бабушка ужъ ускакали въ это время за сто верстъ впередъ. Онѣ слегка и прежде всего порѣшили вопросъ о приданомъ, потомъ перешли къ участи дѣтей, гдѣ и какъ имъ жить; служить ли молодому человѣку, и зимой жить въ городѣ, а лѣтомъ въ деревнѣ — такъ настаивала Татьяна Марковна и ни за что не соглашалась на предложеніе Марьи Егоровны — отпустить дѣтей въ Москву, въ Петербургъ и даже за границу.

— Испортить хотите ихъ,—говорила она:—чтобъ они наглядѣлись тамъ «всякаго новаго распутства», нѣтъ, дайте мнѣ прежде умереть. Я не пущу Марѳиньку, пока она не пріучится быть хозяйкой и матерью!

И разсуждая такъ, онѣ дошли чуть не до третьяго ребенка, какъ вдругъ Марья Егоровна увидѣла изъ-за куста, то высунется, то спрячется, чья-то голова. Она узнала сына и указала Татьянѣ Марковнѣ.

Обѣ позвали его, и онъ рѣшился войти, но прежде долго возился въ передней, будто чистился, оправлялся.

— Милости просимъ, Николай Андреичъ! — ядовито поздоровалась съ нимъ Татьяна Марковна, а мать смотрѣла на него иронически.

Онъ быстро взглядывалъ то на ту, то на другую, и ерошилъ голову.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, — сунулся онъ поцѣловать у ней руку: — я вамъ привезъ *концерты* въ *билетъ*...—началъ онъ скороговоркой.

— Что ты мелешь, опомнись...—остановила его мать.

— Охъ, билеты въ концертъ благотворительный. Я взялъ и вамъ, маменька, и Вѣрѣ Васильевнѣ, и Марѳѣ Васильевнѣ, и Борису Павлычу... Отличный концертъ: первая пѣвица изъ Москвы...

— Зачѣмъ намъ въ концертъ? — сказала бабушка, глядя на него искоса: — у насъ соловьи въ рощѣ хорошо поютъ. Вотъ ужо пойдемъ ихъ слушать даромъ.

Марья Егоровна закусила отъ смѣха губу. Викентьевъ сконфузился, потомъ засмѣялся, потомъ вскочилъ.

— Я въ канцелярію теперь пойду, — сказалъ онъ, но Татьяна Марковна удержала его.

— Сядьте, Николай Андреичъ, да послушайте, что я вамъ скажу,—серьезно заговорила она.

Онъ видѣлъ, что собирается гроза, и началъ метаться въ безпокойствѣ, не зная, чѣмъ отвратить ее! Онъ поджималъ подъ себя ноги и клалъ церемонно шляпу на колѣни, или вдругъ вскакивалъ, подходилъ къ окну и высовывался изъ него почти до колѣнъ.

— Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна съ тобою говорить хочетъ,—сказала мать.

— Что ваша совѣсть говоритъ вамъ?—начала пилить Бережкова:—какъ вы оправдали мое довѣріе! А еще говорите, что любите меня и что я люблю васъ—какъ сына! А развѣ добрыя дѣти такъ поступаютъ? Я считала васъ скромнымъ, послушнымъ, думала, что вы сбивать съ толку бѣдную дѣвочку не станете, пустяковъ ей не будете болтать...

Она остановилась. Онъ мрачно посмотрѣлъ на мать.

— Что!—сказала она:—по дѣломъ тебѣ!

— Татьяна Марковна, я не успѣлъ нынче позавтракать, нѣтъ ли чего?—вдругъ попросилъ онъ:—я голоденъ...

— Видите, какой хитрый! — сказала Бережкова, обращаясь къ его матери.—Онъ знаетъ мою слабость, а мы думали, что онъ дитя! Не поддѣли, не удалось, хоть и проситесь въ женихи!

Викентьевъ обернулъ шляпу вверхъ дномъ и забарабанилъ по ней пальцами.

— Не треплите шляпу; она не виновата, а лучше скажите, съ чего это вы вздумали, что за васъ отдадутъ Марѳиньку?

Вдругъ у него краска сбѣжала съ лица—онъ съ горестнымъ изумленіемъ взглянулъ на Татьяну Марковну, потомъ на мать.

— Послушайте, не шутите со мной, — сказалъ онъ въ тревогѣ: — если это шутка, такъ она жестока. Шутите вы, Татьяна Марковна, или нѣтъ?

— А вы какъ думаете?

— Думаю, что шутите: вы добрая, не то что...

Онъ поглядѣлъ на мать.

— Каковъ волченокъ, Татьяна Марковна!

— Нѣтъ, не шутя скажу, что не хорошо сдѣлалъ, батюшка, что заговорилъ съ Марѳинькой, а не со мной. Она дитя, какъ бываютъ дѣти, и безъ моего согласія ничего бы не сказала. Ну, а если бъ я не согласилась?

— Такъ вы согласились! — вдругъ вспрыгнувъ, сказалъ онъ.

— Погоди, погоди—сядь, сядь!—обѣ закричали на него.

— Съ другой бы, можетъ-быть, такъ и надо сдѣлать, а не съ ней,—продолжала Татьяна Марковна.—Тебѣ, сударь, надо было тихонько сказать мнѣ, а я бы сумѣла, лучше тебя, допытаться у нея, любитъ она или нѣтъ? А ты самъ вздумалъ...

— Ей-Богу, нечаянно... Татьяна Марковна...

— Да не божитесь, даже слушать тошно...

— Все проклятый соловей надѣлалъ...

— Вотъ теперь «проклятый», а вчера такъ не зналъ цѣны ему!

— Я и не думалъ, и въ голову не приходило—ей-Богу... Однако, позвольте доложить, въ свое оправданіе, вотъ что,— торопился высказать Викентьевъ, ерошилъ голову, и смѣло смотрѣлъ въ глаза имъ обѣимъ. — Вы хотите, чтобъ я поступилъ, какъ послушный, благонравный мальчикъ, т.-е. съѣздилъ бы къ тебѣ, маменька, и спросилъ твоего благословенія, потомъ обратился бы къ вамъ, Татьяна Марковна,

я просилъ бы быть истолковательницей моихъ чувствъ, потомъ черезъ васъ получилъ бы *да* и при свидѣтеляхъ выслушалъ бы признаніе невѣсты, съ глупой рожей поцѣловалъ бы у ней руку, и оба, не смѣя взглянуть другъ на друга, играли бы комедію, любя съ позволенія старшихъ... Развѣ это счастье?

— А по-твоему лучше, ночью въ саду нашёптывать дѣвушкѣ...—перебила мать.

— Лучше, maman, вспомни себя...

— Каковъ, ахъ ты! — обѣ закричали на него: — откуда это у него берется? Соловей, что ли, сказалъ тебѣ?

— Да, соловей, онъ пѣлъ, а мы росли: онъ намъ все разсказалъ, и пока мы съ Марѳой Васильевной будемъ живы—мы забудемъ многое, все, но этого соловья, этого вечера, шопота въ саду и ея слезъ никогда не забудемъ. Это-то счастье и есть, первый и лучшій шагъ его — и я благодарю Бога за него и благодарю васъ обѣихъ, тебя, мать, и васъ, бабушка, что вы обѣ благословили насъ... Вы это сами думаете, да только такъ, изъ упрямства, не хотите сознаться: это не честно...

У него даже навернулись слезы.

— Если бъ надо было опять начать, я опять вызвалъ бы Марѳиньку въ садъ...—добавилъ онъ.

Татьяна Марковна въ умиленіи обняла его.

— Богъ тебя проститъ добрый, милый внучекъ! Такъ, такъ: ты правъ, съ тобой, а не съ другимъ, Марѳинька только и могла слушать соловья...

Викентьевъ бросился на колѣни.

— Бабушка, бабушка!—говорилъ онъ.

— Вотъ ужъ и бабушка: не рано ли сталъ величать? Да и къ лицу ли тебѣ жениться? погоди года два-три, — созрѣй.

— Поумнѣй!—подсказала мать:— перестань повѣсничать.

— Если бъ вы обѣ не согласились,—сказалъ онъ:—я бы...

— Что?

— Уѣхалъ бы сегодня же отсюда, и въ гусары пошелъ бы, и долговъ надѣлалъ бы, совсѣмъ пропалъ бы!

— Еще грозитъ!—сказала Татьяна Марковна: — я вольничать вамъ не дамъ, сударь!

— Отдайте мнѣ только Марѳу Васильевну, и я буду тише воды, ниже травы, буду слушаться, даже ничего... не съѣмъ безъ вашего спроса...

— Полно, такъ ли?

— Такъ, такъ—ей-Богу...

— Еще отстаньте отъ божбы, а то...

Онъ бросился цѣловать руки Бережковой.

— А кушать все хочется?—спросила Татьяна Марковна.

— Нѣтъ, ужъ мнѣ теперь не до ѣды!

— Что жъ, ужъ не отдать ли за него Марѳиньку, Марья Егоровна?

— Не стоитъ, Татьяна Марковна, да и рано. Пусть бы года два...

Онъ налетѣлъ на мать и поцѣлуемъ залѣпилъ ей ротъ.

— Видите, какого сорванца вы пускаете въ домъ! — говорила мать, оттолкнувъ его прочь.

— Со мной не смѣетъ, я его уйму—подойди-ка сюда..."

Онъ подошелъ къ Татьянѣ Марковнѣ: она его перекрестила и поцѣловала въ лобъ.

— Ухъ! — сказалъ онъ, садясь: — мучительницы вы обѣ: зачѣмъ такъ терзали—силъ нѣтъ!

— Впередъ будь умнѣе!

— Гдѣ же Марѳа Васильевна?.. я побѣгу...

— Погоди, имѣй терпѣніе!.. онѣ у меня не такія верченыя!—сказала бабушка.

— Опять терпѣніе!

— Теперь оно и начинается: полно скакать и бѣгать, ты не мальчикъ, да и она не дитя. Вѣдь самъ говоришь, что

соловей вамъ растолковалъ обоимъ, что вы «созрѣли»—ну, такъ и остепенись!

Онъ немного смутился отъ этого справедливаго замѣчанія и скромно остался въ гостиной, пока пошли за Марѳинькой.

— Ни за что не пойду! И сохрани Господи!—отвѣчала она и Маринѣ, и Василисѣ.

Наконецъ, сама бабушка съ Марьей Егоровной отыскали ее за занавѣсками постели въ углу, подъ образами, и вывели ее оттуда, раскраснѣвшуюся, не одѣтую, старающуюся закрыть лицо руками.

Обѣ принялись цѣловать ее и успокаивать. Но она наотрѣзъ отказалась идти къ обѣду и къ завтраку, пока всѣ не перебывали у ней въ комнатѣ и не поздравили по очереди.

Точно такъ же она убѣгала и отъ каждаго гостя, который пріѣзжалъ поздравлять, когда вѣсть пронеслась по городу.

Вѣра съ покойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей объ этомъ.

— Я давно ждала этого,—сказала она.

— Теперь, если бъ Богъ далъ пристроить тебя...—начала-было Татьяна Марковна со вздохомъ, но Вѣра остановила ее.

— Бабушка!—сказала она съ торопливымъ трепетомъ:—ради Бога, если любите меня, какъ я васъ люблю... то обратите всѣ попеченія на Марѳиньку. Обо мнѣ не заботьтесь...

— Развѣ я тебя меньше люблю? Можетъ-быть, у меня сердце больше болитъ по тебѣ...

— Знаю, и это мучаетъ меня... Бабушка!—почти съ отчаяніемъ молила Вѣра:—вы убьете меня, если у васъ сердце будетъ болѣть обо мнѣ...

— Что ты говоришь, Вѣрочка? Опомнись!

— Это убьетъ меня, я говорю, не шутя, бабушка.

— Да чѣмъ, чѣмъ, что у тебя на умѣ, что на сердцѣ?— говорила тоже почти съ отчаяніемъ бабушка: — развѣ не станетъ разумѣнія моего, или сердца у меня нѣтъ, что твое счастье или несчастье... чужое мнѣ?..

— Бабушка! у меня другое счастье и другое несчастье, нежели у Марѳиньки. Вы добры, вы умны, дайте мнѣ свободу...

— Ты успокой меня: скажи только, что съ тобой?

— Ничего, бабушка, нѣтъ, только не старайтесь пристроивать меня...

— Ты горда, Вѣра!—съ горечью сказала старушка

— Да, бабушка—можетъ-быть: что же мнѣ дѣлать?

— Не Богъ вложилъ въ тебя эту гордость!

Вѣра не отвѣчала, но страдала невыразимо отъ того, что она не могла растолковать себя ей. Она металась въ тоскѣ.

— Открой мнѣ душу, я пойму, можетъ-быть, сумѣю облегчить горе, если есть...

— Когда оно настанетъ—и я не справлюсь одна... тогда я приду къ вамъ—и ни къ кому больше, да къ Богу! Не мучьте меня теперь и не мучьтесь сами... Не ходите, не смотрите за мной...

— Не поздно ли будетъ тогда, когда горе придетъ?..— прошептала бабушка.—Хорошо,—прибавила она вслухъ:— успокойся, дитя мое! я знаю, что ты не Марѳинька, и тревожить тебя не стану.

Она поцѣловала ее со вздохомъ и ушла скорыми шагами, понуривъ голову. Это было единственное темное облачко, помрачавшее ея радость, и она усердно молилась, чтобы оно пронеслось, не сгустившись въ тучу.

Вѣра долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась. Въ бесѣдкѣ она увидѣла Марѳиньку и Викентьева и быстро пошла къ нимъ. Она еще не сказала ни слова Марѳинькѣ послѣ новости, которую узнала утромъ.

Она подошла къ ней, пристально и ласково поглядѣла ей въ глаза, потомъ долго цѣловала ей глаза, губы, щеки. Положивъ ея голову, какъ ребенка, на руку себѣ, она любовалась ея чистой, младенческой красотой, и крѣпко сжала въ объятіяхъ.

— Ты должна быть счастлива!—сказала она, съ блеснувшими вдругъ и спрятавшимися слезами.

— И будетъ!—подсказалъ Викентьевъ.

— Ты, Вѣрочка, будешь еще счастливѣе меня! — отвѣчала Марѳинька, краснѣя.—Посмотри, какая ты красавица, какая умная—мы съ тобой — какъ будто не сестры! здѣсь нѣтъ тебѣ жениха. Правда, Николай Андреевичъ?

Вѣра молча пожала ей руку.

— Николай Андреевичъ, знаете ли, кто она? — спросила Вѣра, указывая на Марѳиньку,

— Ангелъ! — отвѣчалъ онъ безъ запинки, какъ солдатъ на перекличкѣ.

— Ангелъ!—съ улыбкой передразнила она его.

— Вотъ она кто! — сказала Вѣра, указывая на кружившуюся около цвѣтка бабочку:—троньте неосторожно, цвѣтъ крыльевъ пропадетъ, пожалуй, и совсѣмъ крыло оборвете. Смотрите же! балуйте, любите, ласкайте ее, но, Боже сохрани — огорчить! Когда придетъ охота обрывать крылья, такъ идите ко мнѣ: я васъ тогда!..—заключила она, ласково погрозивъ ему.

XIX.

Черезъ недѣлю послѣ радостнаго событія, все въ домѣ пришло въ прежній порядокъ. Мать Викентьева уѣхала къ себѣ, Викентьевъ сдѣлался ежедневнымъ гостемъ и почти членомъ семьи. И онъ, и Марѳинька, не скакали уже. Оба были сдержаннѣе, и только иногда живо спорили, или пѣли, или читали вдвоемъ.

Но между ними не было мечтательнаго, поэтическаго раз-

мѣна чувствъ, ни оборота тонкихъ изысканныхъ мыслей, съ безконечными оттѣнками ихъ, съ роскошнымъ узоромъ фантазіи—всей этой игрой, этихъ изящныхъ и неистощимыхъ наслажденій развитыхъ умовъ.

Духъ анализа тоже не касался ихъ, и пищею обмѣна ихъ мыслей была прочитанная повѣсть, доходившія изъ столицы новости, да поверхностныя впечатлѣнія окружающей природы и быта.

Поэзія, чистая, свѣжая, природная, всѣмъ ясная и открытая, билась живымъ родникомъ—въ ихъ здоровьѣ, молодости, открытыхъ, неиспорченныхъ сердцахъ.

Ихъ не манила даль къ себѣ; у нихъ не было никакого тумана, никакихъ гаданій. Перспектива была ясна, проста, и обоимъ имъ одинаково открыта. Горизонтъ наблюденій и чувствъ ихъ былъ тѣсенъ.

Марѳинька зажимала уши, или уходила вонъ, лишь только Викентьевъ, въ объясненіяхъ своихъ, выйдетъ изъ предѣловъ обыкновенныхъ выраженій и заговоритъ о любви къ ней языкомъ романа или повѣсти.

Ихъ сближеніе было просто и естественно, какъ указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марѳинька до свадьбы не дала ему ни одного поцѣлуя, никакой почти лишней противъ прежняго ласки—и на украденный имъ поцѣлуй продолжала смотрѣть, какъ на дерзость, и грозила уйти, или пожаловаться бабушкѣ.

Но неумышленно, когда онъ не дѣлалъ никакихъ любовныхъ прелюдій, а просто бралъ ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему довѣрчиво на плечо, позволяла переносить себя черезъ лужи, и даже, шаля, ерошила ему волосы, или, напротивъ, возьметъ гребенку, щетку, близко подойдетъ къ нему, такъ что головы ихъ касались, причешетъ его, сдѣлаетъ проборъ и, пожалуй, напомадитъ голову.

Но если онъ возьметъ ее въ это время за талію, или по-

цѣлуетъ, она покраснѣетъ, броситъ въ него гребенку и уйдетъ прочь.

Свадьба была отложена до осени по какимъ-то хозяйственнымъ соображеніямъ Татьяны Марковны — и въ домѣ постепенно готовили приданое. Изъ кладовыхъ вынуты были старинныя кружева, отобрано было родовое серебро, золото, раздѣлены на двѣ равныя половины посуда, бѣлье, мѣха, разныя вещи, жемчугъ, брильянты.

Татьяна Марковна, съ аккуратностью жида, пускалась опредѣлять золотники, караты, взвѣшивала жемчугъ, призывала ювелировъ, золотыхъ и другихъ дѣлъ мастеровъ.

— Вотъ смотри, Вѣрочка, это твое, а то Марфинькино— ни одной нитки жемчугу, ни одного лишняго лота, ни та, ни другая не получитъ. Смотрите объ!

Но Вѣра не смотрѣла. Она отодвигала кучу жемчуга и брильянты, смѣшивала ихъ съ Марфинькиными и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и дѣлить на двѣ половины.

Райскій выписалъ отъ опекуна еще свои фамильные брильянты и серебро, доставшееся ему послѣ матери, и подарилъ ихъ обѣимъ сестрамъ. Но бабушка погребла ихъ въ глубину своихъ сундуковъ, до поры до времени:

— Понадобится и самому! — говорила она: — вздумаешь жениться.

Онъ закрѣпилъ и домъ съ землей и деревней за обѣими сестрами, за что обѣ онѣ опять по-своему благодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потомъ не выдержала и обняла его.

— Совсѣмъ необыкновенный ты, Борюшка, — сказала она:—какой-то хорошій уродъ! Богъ тебя вѣдаетъ, кто ты есть!

Въ домѣ, въ дѣвичьей, въ кабинетѣ бабушки, даже въ гостиной и еще двухъ комнатахъ разставляли столы съ шитьемъ бѣлья. Готовили парадную постель, кружевныя подушки, одѣяло. По утрамъ ходили портнихи, швеи.

Викентьевъ выпросился въ Москву заказывать гардеробъ, экипажи—и тутъ только проговорилось чувство Марѳиньки: она залилась обильными слезами, отъ которыхъ у ней распухли носъ и глаза.

Глядя на нее, заплакалъ и Викентьевъ, не отъ горя, а потому, объяснялъ онъ, что не можетъ не заплакать, когда плачутъ другіе, и не смѣяться тоже не можетъ, когда смѣются около него. Марѳинька поглядѣла на него сквозь слезы, и вдругъ перестала плакать.

— Я не пойду за него, бабушка: посмотрите, онъ и плакать-то не умѣетъ путемъ! У людей слезы по щекамъ текутъ, а у него по носу: вонъ какая слеза, въ горошину, повисла, на самомъ концѣ!..

Онъ поспѣшно утеръ слезу.

— У меня, видите, такой желобокъ есть, прямо къ носу...—сказалъ онъ и сунулся-было поцѣловать у невѣсты руку, но она не дала.

Черезъ часъ послѣ его отъѣзда, она, попрежнему, уже пѣла: *Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя!*

На дворъ приводили лошадей, за которыми Викентьевъ ѣздилъ куда-то на заводъ. Словомъ, домъ кипѣлъ веселою дѣятельностію, которой не замѣчали только Райскій и Вѣра.

Райскій ничего впрочемъ не замѣчалъ, кромѣ ея. Онъ старался развлекаться, ѣздилъ верхомъ по полямъ, дѣлалъ даже визиты.

У губернатора встрѣчалъ нѣсколько совѣтниковъ, какого-нибудь крупнаго помѣщика, посланнаго изъ Петербурга адъютанта; разговоры шли о томъ, что дѣлается въ петербургскомъ мірѣ, или о деревенскомъ хозяйствѣ, объ откупахъ. Но все это мало развлекало его.

Онъ, между прочимъ, нехотя, но исполнилъ просьбу Марка и сказалъ губернатору, что книги привезъ онъ и далъ кое-кому изъ знакомыхъ, а тѣ ужъ передали въ гимназію.

Книги отобрали и сожгли. Губернаторъ посовѣтовалъ Райскому быть осторожнѣе, но въ Петербургъ не донесъ, чтобъ «не возбуждать тамъ вопроса»!

Маркъ, по-своему, опять ночью, пробрался къ нему черезъ садъ, чтобъ узнать, чѣмъ кончилось дѣло. Онъ и не думалъ благодарить за эту услугу Райскаго, а только сказалъ, что такъ и слѣдовало сдѣлать, и что онъ ему, Райскому, уже тѣмъ однимъ много сдѣлалъ чести, что ожидалъ отъ него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть «доносчикомъ и шпіономъ».

Леонтья Райскій видалъ рѣдко и въ домъ къ нему избѣгалъ ходить. Тамъ, страстными взглядами и съ затаеннымъ смѣхомъ въ неподвижныхъ чертахъ, встрѣчала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна. А его угрызало воспоминаніе о томъ, какъ онъ великодушно исполнилъ свой «долгъ». Онъ хмурился и спѣшилъ вонъ.

Она употребила другой маневръ: сказала мужу, что другъ его знать ее не хочетъ, не замѣчаетъ, какъ будто она была мебель въ домѣ, пренебрегаетъ ею, что это ей очень обидно и что виноватъ во всемъ мужъ, который не умѣетъ привлечь въ домъ порядочныхъ людей и заставить уважать жену.

— Поговори хоть ты, — жаловалась она: — отложи свои книги, займись мною!

Козловъ въ тотъ же вечеръ буквально исполнилъ порученіе жены, когда Райскій остановился у окна.

— Зайди, Борисъ Павловичъ, ты совсѣмъ меня забылъ,— сказалъ онъ:—вонъ и жена жалуется...

— А она на что жалуется? — спросилъ Райскій, входя въ комнату.

— Да думаетъ, что ты пренебрегаешь ею. Я говорю ей, вздоръ, онъ не гордъ совсѣмъ—вѣдь ты не гордъ? да? Но онъ, говорю, поэтъ, у него свои идеалы—до тебя ли, рыжей,

ему? Ты бы ее побаловалъ, Борисъ Павловичъ, зашелъ бы къ ней когда-нибудь безъ меня, когда я въ гимназіи.

Райскій, отворотясь отъ него, смотрѣлъ въ окно.

— Или еще лучше, приходи по четвергамъ, да по субботамъ вечеромъ: въ эти дни я въ трехъ домахъ уроки даю. Почти въ полночь прихожу домой. Вотъ ты и пожертвуй вечеръ, поволочись немного, пококетничай! Вѣдь ты любишь болтать съ бабами! А она только тобой и бредитъ...

Райскій сталъ глядѣть въ другое окно.

— Самъ я не умѣю, — продолжалъ Леонтій: — извѣстно, мужъ — она любитъ, я люблю, мы любимъ... Это спряженіе мнѣ и въ гимназіи надоѣло. Вся ея любовь—всѣ ея заботы, жизнь—все мое...

Райскій кашлянулъ. «Хоть бы намекнуть какъ-нибудь ему!» подумалъ онъ.

— Полно—такъ ли, Леонтій?—сказалъ онъ.

— А какъ же?

— «Вся любовь», говоришь ты?

— Да, конечно. Она даже ревнуетъ меня къ моимъ грекамъ и римлянамъ. Она ихъ терпѣть не можетъ, а живыхъ людей любитъ!—добродушно смѣясь, заключилъ Козловъ.— Эти женщины, право, одинѣ и тѣ же во всѣ времена,—продолжалъ онъ. — Вонъ у римскихъ матронъ, даже у женъ кесарей, консуловъ, патриціевъ — всегда хвостъ цѣлый... Мнѣ—Богъ съ ней: мнѣ не до нея, это домашнее дѣло! У меня есть занятіе. Заботлива, вѣрна — и я иногда, признаюсь,—шопотомъ прибавилъ онъ:—измѣняю ей, забываю, есть ли она въ домѣ, нѣтъ ли...

— Напрасно!—сказалъ Райскій.

— Нѣкогда; вотъ въ прошломъ мѣсяцѣ попались мнѣ два нѣмецкихъ тома — Оукидидъ и Тацитъ. Нѣмцы и того, и другого чуть наизнанку не вывороти.ли. Знаешь, и у меня терпѣнія не хватило услѣдить за мелочью. Я зарылся, — а ей, говоритъ она, «тошно смотрѣть на меня!» Вотъ хоть бы

ты зашелъ. Спасибо еще французъ Шарль не забываетъ... Болтунъ веселый—ей и не скучно!

— Прощай, Леонтій, — сказалъ Райскій. — Напрасно ты пускаешь этого Шарля!

— А что? не будь его, вѣдь она бы мнѣ покоя не дала. Отчего не пускать?

— А чтобъ не было «хвоста», какъ у римскихъ матронъ!..

— Къ моей Улинькѣ, какъ къ женѣ кесаря, не смѣетъ коснуться и подозрѣніе!..—съ юморомъ замѣтилъ Козловъ.— Приходи же—я ей скажу...

— Нѣтъ, не говори, да не пускай и Шарля! — сказалъ Райскій, уходя проворно вонъ.

Къ Полинѣ Карповнѣ Райскій не показывался, но она показывалась къ нему въ домъ, надоѣдая, то ему — своими прѣсными нѣжностями, то бабушкѣ — непрошенными совѣтами насчетъ свадебныхъ приготовленій, и особенно — размышленіями о томъ, что «бракъ есть могила любви», что избранныя сердца, несмотря на всѣ препятствія, встрѣчаются и внѣ брака, при чемъ нѣжно поглядывала на Райскаго.

Онъ раза два еще писалъ ея портретъ и все не кончалъ, говоря, что не придумалъ, во что ее одѣть и какой цвѣтокъ нарисовать на груди.

— Желтая далія мнѣ будетъ къ лицу — я брюнетка!— совѣтовала она.

— Хорошо, послѣ, послѣ!—отдѣлывался онъ.

Титъ Никонычъ являлся всегда одинакій, вѣжливый, любезный, подходящій къ ручкѣ бабушки и подносящій ей цвѣтокъ, или рѣдкій фруктъ. Опенкинъ, всегда рѣчистый, неугомонный, подъ конецъ пьяный, — барыни и барышни, являвшіяся теперь потанцовать къ невѣстѣ, и молодые люди,—все это надоѣдало Райскому и Вѣрѣ—и оба искали, онъ—ее, а она—уединенія, и были только счастливы, онъ—съ нею, а она—одна, когда ее никто не видитъ, не замѣ-

часть, когда она пропадетъ «какъ духъ» въ деревню, съ обрыва въ рощу, или за Волгу, къ своей попадьѣ.

XX.

«Вотъ страсти хотѣлъ, — размышлялъ Райскій: — напрашивался на нее, а не знаю, страсть ли это! Я ощупываю себя: есть ли страсть, какъ будто хочу узнать, цѣлы ли у меня ребра, или нѣтъ ли какого-нибудь вывиха? Вонъ и сердце не стучитъ! Видно я самъ неспособенъ испытывать страсть!»

Между тѣмъ Вѣра не шла у него съ ума.

— Если она не любитъ меня, какъ говоритъ и какъ видно по всему, то зачѣмъ удержала меня? зачѣмъ позволила любить? Кокетство, капризъ, или... Надо бы допытаться...— шепталъ онъ.

Онъ искалъ глазами ее въ саду и замѣтилъ у окна ея комнаты.

Онъ подошелъ къ окну.

— Вѣра, можно придти къ тебѣ?—спросилъ онъ.

— Можно, только не надолго.

— Вотъ ужъ и не надолго! Лучше бы не предупреждала, а когда нужно — и прогнала бы, — сказалъ онъ, войдя и садясь напротивъ.—Отчего же не надолго?

— Оттого, что я скоро уѣду на островъ. Туда пріѣдетъ Натали и Иванъ Ивановичъ, и Николай Ивановичъ...

— Это священникъ?

— Да, онъ рыбу ловить собирается, а Иванъ Ивановичъ зайцевъ стрѣлять.

— Вотъ и я бы пришелъ.

Она молчала.

— Или не надо?

— Лучше не надо, а то вы разстроите нашъ кружокъ. Священникъ начнетъ умныя вещи говорить, Натали будетъ дичиться, а Иванъ Ивановичъ промолчитъ все время.

— Ну, не приду!—сказалъ онъ, и, положивъ подборо
на руки, сталъ смотрѣть на нее. Она оставалась нѣско
времени безъ дѣла, потомъ вынула изъ стола портф
сняла съ шеи маленькій ключикъ и отперла, приготовл
писать.

— Что это, не письма ли?

— Да, двѣ записки, одну въ отвѣтъ на приглаш
Натальи Ивановны. Кучеръ ждетъ.

Она написала нѣсколько словъ и запечатала.

— Послушайте, братъ—закричите кого-нибудь въ ок

Онъ исполнилъ ея желаніе. Марина пришла и полу
приказаніе отдать записку кучеру Василью. Потомъ
сложила руки.

— А другую записку?—спросилъ Райскій.

— Еще успѣю.

— А! Значитъ секретъ!

— Можетъ-быть!

— Долго ли, Вѣра, у тебя будутъ секреты отъ меня

— Если будутъ, такъ будутъ всегда.

— Если бъ ты знала меня короче — ты бы ихъ
ввѣрила мнѣ, сколько ихъ ни есть...

— Зачѣмъ?

— Такъ нужно—я люблю тебя.

— А мнѣ не нужно...

— Но вѣдь это единственный способъ отдѣлаться
меня, если я тебѣ несносенъ.

— Нѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ вы нѣсколько измѣнил
я не хочу отдѣлываться отъ васъ.

— И даже позволила любить себя...

— Я пробовала запретить—что же вышло?

— И ты рѣшилась махнуть рукой?

— Да, оставить вамъ на волю, думала, лучше пройд
нежели когда мѣшаешь. Кажется, такъ и вышло... Вы же
учили, что «противорѣчія только раздражаютъ страсть»

— Какая однако ты хитрая! — сказалъ онъ, глядя на нее лукаво. — А зачѣмъ остановила меня, когда я хотѣлъ уѣхать?

— Не уѣхали бы: исторія съ чемоданомъ мнѣ все разсказала.

— Такъ ты думаешь, страсть прошла?

— Никакой страсти не было: самолюбіе, воображеніе. Вы артистъ, влюбляетесь во всякую красоту...

— Пожалуй, въ красоту болѣе или менѣе, но — ты красота красотъ, всяческая красота! Ты — бездна, въ которую меня влечетъ невольно, голова кружится, сердце замираетъ— хочется счастья—пожалуй, вмѣстѣ съ гибелью. И въ гибели есть какое-то обаяніе...

— Это вы уже все говорили—и это не хорошо.

— Отчего не хорошо?

— Не хорошо!

— Да почему?

— Потому что... преувеличенно... слѣдовательно—ложь.

— А если правда, если я искренень?

— Еще хуже.

— Почему?

— Потому что безнравственно.

— Вотъ тебѣ разъ! Вѣра!.. Помилуй! ты точно бабушка!

— Да, на этотъ разъ я на ея сторонѣ.

— Безнравственно!

— Безнравственно: вы идете по слѣдамъ Донъ-Жуана: но вѣдь и тотъ гадокъ...

— Говори мнѣ, что я гадокъ, если я гадокъ, Вѣра, а не бросай камень въ то, чего не понимаешь. Искренній Донъ-Жуанъ чистъ и прекрасенъ; онъ гуманный, тонкій артистъ, типъ, chef-d'oeuvre между человѣками. Такихъ, конечно, немного. Я увѣренъ, что въ байроновскомъ Донъ-Жуанѣ пропадалъ художникъ. Это влеченіе къ всякой видимой красотѣ, всего болѣе къ красотѣ женщины, какъ лучшаго созда-

нія природы, обличаетъ высшіе человѣческіе инстинкты, влеченіе и къ другой красотѣ, невидимой, къ идеаламъ добра, изящества души, къ красотѣ жизни! Наконецъ, подъ этими нѣжными инстинктами, у тонкихъ натуръ кроется потребность всеобъемлющей любви! Въ толпѣ, въ грязи, въ тѣснотѣ, грубѣютъ эти тонкіе инстинкты природы... Во мнѣ есть немного этого чистаго огня, и если онъ не остался до конца чистымъ, то виноваты... многіе... и даже сами женщины...

— Можетъ-быть, братъ, я не понимаю Донъ-Жуана; я готова вѣрить вамъ... Но зачѣмъ вы выражаете страсть ко мнѣ, когда знаете, что я не раздѣляю ея?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ахъ, вы все еще надѣетесь!—сказала она съ удивленіемъ.

— Я тебѣ сказалъ, что во мнѣ не можетъ умереть надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь...

— Хорошо, братъ, положимъ, что я могла бы раздѣлить вашу страсть—тогда что?

— Какъ что? Обоюдное счастье!

— Вы увѣрены, что могли бы дать его мнѣ?

— Я—о Боже, Боже!—съ пылающими глазами началъ онъ:—да я всю жизнь отдалъ бы—мы поѣхали бы въ Италію—ты была бы моей женой...

Она поглядѣла на него нѣсколько времени.

— Сколько разъ вы предлагали женщинамъ такое счастье?—спросила она.

— Бывали, конечно, встрѣчи, но такого сильнаго впечатлѣнія никогда...

— Скажите еще, сколько разъ говорили вы вотъ эти самыя слова: не каждой ли женщинѣ при каждой встрѣчѣ?

— Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вѣра? Можетъ-быть, я говорилъ и многимъ, но никогда такъ искренно...

Она глядѣла на него, а онъ на нее.

— Кто тебя развилъ такъ, Вѣра?—спросилъ онъ.

— Довольно!—перебила она.—Вы высказались въ коротких словахъ. Видите ли, вы дали бы мнѣ счастье на полгода, на годъ, можетъ-быть больше, словомъ до новой встрѣчи, когда красота, новѣе и сильнѣе, поразила бы васъ и вы увлеклись бы за нею, а я потомъ—какъ себѣ хочу! Сознайтесь, что такъ?

— Почему ты знаешь это? Зачѣмъ такъ судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли, какъ ты узнала ходъ страстей?

— Я хода страстей не знаю, но узнала немного васъ—вотъ и все.

— Что жъ ты узнала и отъ кого?

— Отъ васъ самихъ.

— Отъ меня? Когда?

— Какая же у васъ слабая память! Не вы ли разсказывали, какъ васъ тронула красота Бѣловодовой и какъ напрасно вы бились пробудить въ ней... лучъ... или ключъ... или... ужъ не помню, какъ вы говорили, только очень поэтически.

— Бѣловодова! Это — статуя, прекрасная, но холодная, и безъ души. Ее могъ бы полюбить развѣ Пигмаліонъ.

— А Наташа?

— Наташа! Развѣ я тебѣ говорилъ о Наташѣ?

— Забыли!

— Наташа была хорошенькая, но безцвѣтная, робкая натура. Она жила, пока грѣли лучи солнца, пока любовь обдавала ее теплом, а при первой невзгодѣ она надломилась и зачахла. Она родилась, чтобъ какъ можно скорѣе умереть.

— А о Марѳинькѣ что говорили? Чуть не влюбились!

— Это все такъ, легкія впечатлѣнія, на одинъ, на два дня... Все равно, какъ бы я любовался картиной... Развѣ

это преступленіе — почувствовать прелесть красоты, какъ теплоты солнечныхъ лучей, подчиниться на недѣлю-другую впечатлѣнію, не давая ему серьезнаго хода?

— А самое сильное впечатлѣніе на полгода? Такъ?

— Нѣтъ, не такъ. Если бъ, напримѣръ, ты раздѣлила мою страсть, мое впечатлѣніе упрочилось бы навсегда, мы бы женились... Стало-быть — на всю жизнь. Идеалъ полнаго счастья у меня не разлученъ съ идеаломъ семьи...

— Послушайте, братъ. Вспомните самое сильное изъ вашихъ прежнихъ впечатлѣній и представьте, что та женщина, которая его на васъ сдѣлала, была бы теперь вашей женой...

— Кто тебя развиваетъ, ты вотъ что скажи? А ты все уклоняешься отъ отвѣта!

— Да вы сами. Я все изъ вашихъ разговоровъ почерпаю.

— Ты прелесть, Вѣра, ты наслажденіе! у тебя столько же красоты въ умѣ, сколько въ глазахъ! Ты вся — поэзія, грація, тончайшее произведеніе природы! Ты—и идея красоты, и воплощеніе идеи—и не умирать отъ любви къ тебѣ? Да развѣ я дерево! Вонъ Тушинъ, и тотъ таетъ...

Она сдѣлала движеніе.

— Оставимъ это. Ты меня не любишь, еще немного времени, впечатлѣніе мое поблѣднѣетъ, я уѣду и ты никогда не услышишь обо мнѣ. Дай мнѣ руку, скажи дружески, кто училъ тебя, Вѣра, — кто этотъ цивилизаторъ? Не тотъ ли, что письма пишетъ на синей бумагѣ?..

— Можетъ-быть—и онъ. Прощайте, братъ, вы кстати напомнили. Мнѣ надо писать...

— И вотъ счастье гдѣ: и «возможно» и «близко», а не дается!—говорилъ онъ.

— Вы можете быть по-своему счастливы и безъ меня, съ другой...

— Съ кѣмъ, скажи! Гдѣ онѣ, эти женщины!..

— А тѣ, кто отдаетъ внаймы сердце на мѣсяцъ, на полгода, на годъ,—а не со мной!—прибавила она.

— И ты не вѣришь мнѣ, и ты не понимаешь! Кто же повѣритъ и пойметъ?

Онъ задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашомъ нѣсколько словъ и свернула записку.

— Не позвать ли Марину?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не надо.

Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтикъ, кивнула ему и ушла.

Райскій, не сказавши никому ни слова въ домѣ, ушелъ послѣ обѣда на Волгу, подумывая незамѣтно пробраться на островъ, и высматривалъ мѣсто поудобнѣе, чтобы переправиться черезъ рукавъ Волги. Переправы тутъ не было, и онъ глядѣлъ вокругъ, не увидитъ ли какого-нибудь рыбака.

Онъ прошелъ берегомъ съ полверсты, и наконецъ набрелъ на мальчишекъ, которые въ полусгнившей, наполненной до половины водой лодкѣ, удили рыбу. Они за гривенникъ съ радостью взялись перевезти его и сбѣгали въ хижину отца за веслами.

— Куда везти?—спросили они.

— Все равно, причаливайте, гдѣ хотите.

— Вонъ тамъ можно выйти,—указывалъ одинъ.

— Вонъ-вось гдѣ: тутъ баринъ съ барыней недавно вылэзили...

— Какой баринъ?

— Кто ихъ знаетъ! Съ горы какіе-то!

Райскій вышелъ изъ лодки и сталъ смотрѣть.

«Не Вѣра ли?» думалъ онъ.

Если она—онъ сейчасъ узнаетъ ея тайну... У него забилось сердце. Онъ шелъ въ осокѣ тихо, осторожно, боясь кашлянуть.

Вдругъ онъ услышалъ плескъ воды, тихо раздвинулъ осоку и увидѣлъ... Ульяну Андреевну.

Она, закрытая совсѣмъ кустами, сидѣла на берегу, съ обнаженными ногами, опустивъ ихъ въ воду, распустивъ волосы, и какъ русалка, мочила ихъ, нагнувшись съ берега. Райскій прошелъ дальше, обогнулъ утесъ: тамъ, стоя по горло въ водѣ, купался m-r Шарль.

Райскій, не замѣченный имъ, ушелъ и сталъ пробираться, черезъ шиповникъ, къ небольшимъ озерамъ, полагая, что общество вѣрно расположилось тамъ. Вскорѣ онъ услышалъ шаги неподалеку отъ себя и притаился. Мимо его прошелъ Маркъ.

Райскій окликнулъ его.

— А, здравствуйте,—сказалъ Волоховъ: — отъ кого вы тутъ прячетесь?

— Я не прячусь... иначе бы не остановилъ васъ.

— Да вы не отъ меня прячетесь, а отъ кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу-сестру? Не хорошо, не честно: проиграли пари и не платите...

— Вы почемъ знаете, что она здѣсь?

— Я пошелъ-было утокъ стрѣлять на озеро, а они всѣ тамъ сидятъ. И попъ тамъ, и Тушинъ, и попадья, и... ваша Вѣра,—съ насмѣшкой досказалъ онъ.—Подите, подите туда.

— Я не хочу, я не туда шелъ.

— Не стыдитесь меня, я все вижу. Вы хотѣли робко посмотрѣть на нее издали — да? Вамъ скучно, постыло въ домѣ, когда ея нѣтъ тамъ...

— Какой вздоръ! я просто гулялъ...

— Давайте триста рублей!

Райскій пошелъ опять туда, гдѣ оставилъ мальчишекъ. За нимъ шелъ и Маркъ. Они прошли мимо того мѣста, гдѣ купался Шарль. Райскій хотѣлъ-было пройти мимо, но изъ кустовъ, навстрѣчу имъ, вышелъ французъ, а съ другой стороны, по тропинкѣ, приближалась Ульяна Андреевна, съ распущенными, мокрыми волосами.

Оба хотѣли спрятаться, но Маркъ закричалъ имъ.

— Charmé de vous voir tous les deux! честь имѣю рекомендоваться!

М-r Шарль вышелъ изъ-за кустовъ.

— М-r Райскій! М-r Шарль!—представлялъ насмѣшливо ихъ Маркъ другъ другу.

— Ульяна Андреевна! пожалуйте сюда, не прячьтесь! вѣдь видѣли: все свои лица, не бойтесь!

— Никто не боится!—сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядѣть на Райскаго.

— И оба мокрые!—прибавилъ Волоховъ.

— Самый непріятный мужчина въ цѣломъ свѣтѣ! — съ крѣпкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка.

— Ну, прощайте, я пойду, — сказалъ Маркъ. — А что Козловъ дѣлаетъ? Отчего не взяли его съ собой провѣтрить? Вѣдь и при немъ можно... купаться—онъ не увидитъ. Вонъ бы тутъ подъ деревомъ изъ Гомера декламировалъ!—заключилъ онъ и, поглядѣвши дерзко на Ульяну Андреевну и на m-r Шарля, ушелъ.

— Il faut que je donne une bonne leçon à ce mauvais drôle!—хвастливо сказалъ m-r Шарль, когда Маркъ скрылся изъ вида.

Потомъ всѣ воротились домой.

— Ну, вотъ, я тебѣ очень благодаренъ,—говорилъ Козловъ Райскому:—что ты прогулялся съ женой...

— На этотъ разъ благодари вотъ m-r Шарля!—сказалъ Райскій.

— Merci, merci, m-r Charles!

— Bien, très bien, cher collègue! — отвѣчалъ Шарль, трепля его по плечу.

XXI.

Райскій пришелъ домой злой, не ужиналъ, не пошутилъ съ Марѳинькой, не подразнилъ бабушку и ушелъ къ себѣ.

И на другой день онъ сошелъ такой же мрачный и недовольный.

Погода была еще мрачнѣе. Шелъ мелкій, непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а какимъ-то паромъ. На окрестности лежалъ туманъ.

Вѣра была тоже не весела. Она закутана была въ большой платокъ, и на вопросъ бабушки, что съ ней, отвѣчала, что у ней былъ ночью ознобъ.

Посыпались разспросы, упреки, что не разбудила, предложенія—напиться липоваго цвѣта и поставить горчичники. Вѣра рѣшительно отказалась, сказавъ, что чувствуетъ себя теперь совсѣмъ здоровою.

Всѣ трое сидѣли молча, зѣвали или перекидывались изрѣдка вопросомъ и отвѣтомъ.

— Вы были тоже на островѣ?—спросила Вѣра Райскаго.

— Да, ты почемъ знаешь?

— Я слышала, какъ Егоръ жаловался кому-то на дворѣ, что платье все въ глинѣ, да въ тинѣ у васъ—насилу отчистилъ: «должно-быть, на островѣ былъ», говорилъ онъ.

— Ты все слышишь!—замѣтилъ онъ.—Я былъ не одинъ; Маркъ былъ, еще жена Козлова...

— Вотъ нашелъ съ кѣмъ гулять! У ней есть провожатый,—сказала бабушка:—m-r Шарль.

— И онъ былъ.

Опять замолчали, и уже собирались разойтись, какъ вдругъ явилась Мароинька.

— Ахъ, бабушка, какъ я испугалась! страшный сонъ видѣла!—сказала она, еще не поздоровавшись, — Какъ бы не забыть!

— Какой-такой, разскажи. Что это ты блѣдна сегодня?

— Разсказывай скорѣй! — говорилъ Райскій. — Давайте сны разсказывать, кто какой видѣлъ. И я вспомнилъ свой сонъ: странный такой! Начинай, Мароинька! Сегодня скука, слякоть—хоть сказки давайте сказывать!

— Сейчасъ, сейчасъ, погодите, черезъ пять минутъ пріѣдетъ Николай Андреичъ, я при немъ разскажу.

— Ужъ и черезъ пять минутъ!—сказала бабушка:—почемъ ты знаешь? Дожидайся! онъ еще спитъ!

— Нѣтъ, пріѣдетъ—я ему велѣла!—кокетливо возразила Марѳинька.—Нынче крестятъ дѣвочку въ деревнѣ, у Ѳомы: я обѣщала придти, а онъ меня проводитъ...

— Такъ ты для деревенскихъ крестинъ новое барежевое платье надѣла, да еще въ этакій дождь! Кто тебя пуститъ? скинь, сударыня!

— Скину, бабушка, я надѣла только примѣрить!

— Вѣдь ужъ примѣривали!

— Оставьте ее, бабушка, она жениху хочетъ показаться въ новомъ платьѣ.

Марѳинька покраснѣла.

— Вотъ вы какіе! я совсѣмъ не для того! — съ досадой сказала она, что угадали:—пойду, сейчасъ скину...

Райскій удержалъ ее за руку; она вырвалась, и только отворила дверь, какъ навстрѣчу ей явился Викентьевъ и распростеръ руки, чтобъ не пустить ее.

— Идите скорѣе—зачѣмъ опоздали?—говорила она, краснѣя отъ радости и отбиваясь, когда онъ хотѣлъ непремѣнно поцѣловать у ней руку.

— Что это у васъ за гадкая привычка цѣловать въ ладонь?—замѣтила она, отнимая у него руки:—всю руку изломаете...

— Ладонь такая тепленькая у васъ, душистая, позвольте...

— Подите прочь! Вы еще съ бабушкой не поздоровались!

Онъ поцѣловалъ у бабушки руку, потомъ комически раскланялся съ Райскимъ и съ Вѣрой.

— Разсказывайте, что́ видѣли во снѣ,—сказалъ ему Райскій:—скорѣе, скорѣе!

— Нѣтъ, я прежде разскажу!—перебила Марѳинька.

— Ахъ, нѣтъ, позвольте, я видѣлъ отличный сонъ, — торопился сказать Викентьевъ:—будто я...

— Нѣтъ, дайте мнѣ разсказать,—говорила Марѳинька.

— Позвольте, Марѳа Васильевна, а то забуду,—силился онъ переговорить ее: — ей-Богу, я было и забылъ совсѣмъ: будто я иду...

Она зажала ему ротъ рукой.

— По порядку, по порядку! — командовалъ Райскій: — слово за Марѳинькой. Марѳа Васильевна, извольте!

— Я, будто, бабушка... Послушай, Вѣрочка, какой сонъ! Слушайте, говорятъ вамъ, Николай Андреичъ, что вы не посидите!.. На дворѣ будто ночь лунная, свѣтлая, такъ пахнетъ цвѣтами, птицы поютъ...

— Ночью?—сказалъ Викентьевъ.

— Соловьи все ночью поютъ!—замѣтила бабушка, взглянувъ на нихъ обоихъ.

Марѳинька покраснѣла.

— Вотъ теперь сбили съ толку — я и не стану разсказывать!

— Нѣтъ, нѣтъ, говори, говорите! — сказали всѣ, кромѣ Вѣры.

— Ну, вотъ, птицы...

— Птицы не поютъ ночью...

— Опять вы, Николай Андреичъ! не стану, вамъ говорятъ! А вотъ онъ ночью, бабушка, — живо заговорила она, указывая на Викентьева:—храпитъ...

— Ты почемъ знаешь?

— Марина сказывала—она отъ Семена слышала...

— Это отъ золотухи: надо пить аверину траву,—замѣтила Татьяна Марковна.

— Я боюсь кто храпитъ. Если бъ я знала прежде, такъ бы...

Она вдругъ замолчала.

— Что жъ ты остановилась?—спросилъ Райскій:—можно

свадьбу разстроить. Въ самомъ дѣлѣ, если онъ тебѣ будетъ мѣшать спать по ночамъ...

Мароинька покраснѣла, какъ вишня, и бросилась вонъ.

— Полно тебѣ, Борюшка! видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада!

Викентьевъ догналъ Мароиньку и привелъ назадъ.

— Я буду на ночь носъ ватой затыкать, Мароа Васильевна,—сказалъ онъ.

Мароиньку усадили и заставили разсказывать сонъ.

— Вотъ, будто, я тихонько вошла въ графскій домъ,— начала она:—прямо въ галлерею, гдѣ тамъ статуи стоятъ. Вошла я и притаилась, и смотрю, какъ мѣсяцъ освѣщалъ ихъ всѣ, а я стою въ темномъ углу: меня не видать, а я ихъ всѣхъ вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на нихъ. Всѣ переглядѣла—и Геркулеса съ палицей, и Діану, и потомъ Венеру, и еще эту съ совой, Минерву... И старика, котораго змѣи сжимаютъ... какъ бишь его зовутъ... Только вдругъ!.. (Мароинька сдѣлала испуганное лицо и оглядывалась по сторонамъ)—и теперь даже страшно—такъ живо представилось...

— Ну, что вдругъ?—спросила бабушка.

— Страшно, бабушка. Вдругъ, будто, статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрѣла на другую, а та тоже тихо разогнула и, не спѣша, протянула къ ней руку: это Діана съ Минервой. Потомъ медленно приподнялась Венера—и не шагая... какой ужасъ!.. подвинулась, какъ мертвецъ, плавно къ Марсу, въ каскѣ... Потомъ змѣи, какъ живыя, поползли около старика! онъ перегнулъ голову назадъ, у него лицо стали дергать судороги, какъ у живого, я думала, сейчасъ закричитъ. И другія всѣ плавно стали двигаться другъ къ другу, нѣкоторыя подошли къ окну и смотрѣли на мѣсяцъ... Глаза у всѣхъ каменныя, зрачковъ нѣтъ... Ухъ!

Она вздрогнула.

— Да, это поэтическій сонъ — я его запишу! — сказалъ Райскій.

— Побѣжали дѣти въ разныя стороны,—продолжала Марѳинька:—и все тихо, не перебирая ногами... Статуи какъ-будто совѣтовались другъ съ другомъ, наклоняя головы, шептались... Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на мѣсяцъ... Я вся тряслась отъ страха. Сова встрепенулась крыльями и носомъ почесала себѣ грудь... Марсъ обнялъ Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, всѣ другіе ходили или сидѣли группами. Только Геркулесъ не двигался. Вдругъ и онъ поднялъ голову, потомъ началъ тихо выпрямляться, плавно подниматься съ своего мѣста. Большой такой, до потолка! Онъ обвелъ всѣхъ глазами, потомъ взглянулъ въ мой уголъ... и вдругъ задрожалъ, весь выпрямился, поднялъ руку; всѣ въ одинъ разъ взглянули туда же, на меня—на минуту остолбенѣли, потомъ всѣ кучей бросились прямо ко мнѣ...

— Ну, что же вы, Марѳа Васильевна? — спросилъ Викентьевъ.

— Какъ я закричу!

— Ну?

— Ну, и проснулась—и съ полчаса все тряслась, хотѣла кликнуть Ѳедосью, да боялась пошевелиться—такъ до утра и не спала. Ужъ пробило семь, какъ я заснула.

— Прелесть—сонъ, Марѳинька!—сказалъ Райскій.—Какой граціозный, поэтическій! Ты ничего не прибавила?

— Ахъ, братецъ, да гдѣ же мнѣ все это выдумать! Я такъ все вижу и теперь, что нарисовала бы, если бъ умѣла...

— Надо морковнаго соку выпить,—замѣтила бабушка:—это кровь очищаетъ.

— Ну, теперь позвольте мнѣ... — началъ Викентьевъ торопливо: — я будто иду по горѣ, къ собору, а навстрѣчу мнѣ будто Нилъ Андреичъ, на четверенькахъ, голый...

свадьбу разстроить. Въ самомъ дѣлѣ, если онъ тебѣ будетъ мѣшать спать по ночамъ...

Марѳинька покраснѣла, какъ вишня, и бросилась вонъ.

— Полно тебѣ, Борюшка! видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада!

Викентьевъ догналъ Марѳиньку и привелъ назадъ.

— Я буду на ночь носъ ватой затыкать, Марѳа Васильевна,—сказалъ онъ.

Марѳиньку усадили и заставили разсказывать сонъ.

— Вотъ, будто, я тихонько вошла въ графскій домъ,—начала она:—прямо въ галлерею, гдѣ тамъ статуи стоятъ. Вошла я и притаилась, и смотрю, какъ мѣсяцъ освѣщалъ ихъ всѣ, а я стою въ темномъ углу: меня не видать, а я ихъ всѣхъ вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на нихъ. Всѣ переглядѣла—и Геркулеса съ палицей, и Діану, и потомъ Венеру, и еще эту съ совой, Минерву... И старика, котораго змѣи сжимаютъ... какъ бишь его зовутъ... Только вдругъ!.. (Марѳинька сдѣлала испуганное лицо и оглядывалась по сторонамъ)—и теперь даже страшно—такъ живо представилось...

— Ну, что вдругъ?—спросила бабушка.

— Страшно, бабушка. Вдругъ, будто, статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрѣла на другую, а та тоже тихо разогнула и, не спѣша, протянула къ ней руку: это Діана съ Минервой. Потомъ медленно приподнялась Венера—и не шагая... какой ужасъ!.. подвинулась, какъ мертвецъ, плавно къ Марсу, въ каскѣ... Потомъ змѣи, какъ живыя, поползли около старика! онъ перегнулъ голову назадъ, у него лицо стали дергать судороги, какъ у живого, я думала, сейчасъ закричитъ. И другія всѣ плавно стали двигаться другъ къ другу, нѣкоторыя подошли къ окну и смотрѣли на мѣсяцъ... Глаза у всѣхъ каменныя, зрачковъ нѣтъ... Ухъ!

Она вздрогнула.

— Да, это поэтическій сонъ — я его запишу! — сказалъ Райскій.

— Побѣжали дѣти въ разныя стороны,—продолжала Марѳинька:—и все тихо, не перебирая ногами... Статуи какъ-будто совѣтовались другъ съ другомъ, наклоняя головы, шептались... Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на мѣсяцъ... Я вся тряслась отъ страха. Сова встрепенулась крыльями и носомъ почесала себѣ грудь... Марсъ обнялъ Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, всѣ другіе ходили или сидѣли группами. Только Геркулесъ не двигался. Вдругъ и онъ поднялъ голову, потомъ началъ тихо выпрямляться, плавно подниматься съ своего мѣста. Большой такой, до потолка! Онъ обвелъ всѣхъ глазами, потомъ взглянулъ въ мой уголъ... и вдругъ задрожалъ, весь выпрямился, поднялъ руку; всѣ въ одинъ разъ взглянули туда же, на меня—на минуту остолбенѣли, потомъ всѣ кучей бросились прямо ко мнѣ...

— Ну, что же вы, Марѳа Васильевна? — спросилъ Викентьевъ.

— Какъ я закричу!

— Ну?

— Ну, и проснулась—и съ полчаса все тряслась, хотѣла кликнуть Ѳедосью, да боялась пошевелиться—такъ до утра и не спала. Ужъ пробило семь, какъ я заснула.

— Прелесть—сонъ, Марѳинька!—сказалъ Райскій.—Какой граціозный, поэтическій! Ты ничего не прибавила?

— Ахъ, братецъ, да гдѣ же мнѣ все это выдумать! Я такъ все вижу и теперь, что нарисовала бы, если бъ умѣла...

— Надо морковнаго соку выпить,—замѣтила бабушка:—это кровь очищаетъ.

— Ну, теперь позвольте мнѣ... — началъ Викентьевъ торопливо: — я будто иду по горѣ, къ собору, а навстрѣчу мнѣ будто Нилъ Андреичъ, на четверенькахъ, голый...

— Полно тебѣ, что это, сударь, при невѣстѣ!.. — остановила его Татьяна Марковна.

— Ей-Богу, правда...

— Это не хорошо, не къ добру...

— Говорите, говорите!—одобрялъ Райскій.

— А верхомъ на немъ будто Полина Карповна, тоже...

— Перестанешь ли молоть?—сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь отъ смѣху.

— Сейчасъ кончу. Сзади будто Маркъ Ивановичъ погоняетъ Тычкова полѣномъ, а впереди Опенкинъ, со свѣчой, и музыка...

Всѣ захохотали.

— Все сочинилъ, бабушка, сейчасъ сочинилъ, не вѣрьте ему!—сказала Марѳинька.

— Ей-Богу, нѣтъ! и всѣ будто, завидя меня, бросились, какъ ваши статуи, ко мнѣ, я отъ нихъ: кричалъ-кричалъ, даже Семенъ пришелъ будить меня—ей-Богу правда, спросите Семена!..

— Ну, тебѣ, батюшка, ужо на ночь дамъ ревеню, или постнаго масла съ сѣрой. У тебя глисты должны быть. И ужинать не надо.

— Я напомню ужо бабушкѣ: вотъ вамъ!— сказала Марѳинька Викентьеву.

— Ну, Вѣра, скажи свой сонъ — твоя очередь! — обратился Райскій къ Вѣрѣ.

— Что такое я видѣла?—старалась она припомнить:—да, молнію, громъ гремѣлъ — и кажется, всякій ударъ падалъ въ одно мѣсто...

— Какая страсть! — сказала Марѳинька: — я бы закричала.

— Я была гдѣ-то на берегу, — продолжала Вѣра: — у моря, передо мной какой-то мостъ, въ море. Я побѣжала по мосту,—добѣжала до половины; смотрю, другой половины нѣтъ, ее унесла буря...

— Все?—спросилъ Райскій.

— Все.

— И этотъ сонъ хорошъ, и тутъ поэзія!

— Я не вижу обыкновенно сновъ, или забываю ихъ,— сказала она:—а сегодня у меня былъ озноб: вотъ вамъ и поэзія!

— Да вѣдь все дѣло въ ознобѣ и жарѣ; худо когда ни того, ни другого нѣтъ.

— А вы, братецъ? теперь вамъ говорить! — напомнила ему Марфинька.

— Вообразите, я всю ночь леталъ.

— Какъ летали?

— Такъ: будто крылья явились.

— Это бываетъ къ росту,—сказала бабушка: — кажется, тебѣ ужъ не кстати бы...

— Я сначала попробовалъ полетѣть по комнатѣ, — продолжалъ онъ:—отлично! Вы всѣ сидите въ залѣ, на стульяхъ, а я, какъ муха, подъ потолокъ залетѣлъ. Вы на меня кричать, пуще всѣхъ бабушка. Она даже велѣла Якову ткнуть меня половой щеткой, но я пробилъ головой окно, вылетѣлъ и взвился надъ рощей... Какая прелесть, какое новое, чудесное ощущеніе! Сердце бьется, кровь замираетъ, глаза видятъ далеко. Я то поднимусь, то опущусь—и когда однажды поднялся очень высоко, вдругъ вижу, изъ-за куста, въ меня цѣлится изъ ружья Маркъ...

— Этотъ всѣмъ снится; вотъ сокровище далось: какъ пугало,—сказала Татьяна Марковна.

— Я его вчера видѣлъ съ ружьемъ — на островѣ, онъ и приснился. Я ему сталъ кричать изо всей мочи, во снѣ, — продолжалъ Райскій:—а онъ будто не слышитъ, все цѣлится... наконецъ...

— Ну, братецъ,—ахъ, это интересно...

— Ну, я и проснулся!

— Только? ахъ, какъ жаль!—сказала Марфинька.

— А тебѣ хотѣлось, чтобъ онъ меня застрѣлилъ?

— Чего добраго, отъ него станется и наяву, — ворчала бабушка.—А что онъ, отдалъ тебѣ восемьдесятъ рублей?

— Нѣтъ, бабушка, я не спрашивалъ.

— Всѣ вы мало Богу молитесь, ложась спать, — сказала она:—вотъ что! А какъ погляжу, такъ всѣмъ надо горькой соли дать, чтобъ чепуха не лѣзла въ голову.

— А вы, бабушка, видѣли какой-нибудь сонъ? разскажите. Теперь ваша очередь!—обратился къ ней Райскій.

— Стану я пустяки болтать!

— Разскажите, бабушка!—пристала и Марѳинька.

— Бабушка, позвольте, я разскажу за васъ, что̀ вы видѣли?—вызвался Викентьевъ.

— А ты почемъ знаешь бабушкины сны?

— Я угадаю.

— Ну, угадывай.

— Вамъ снилось, — началъ онъ: — что мужики отвезли хлѣбъ на базаръ, продали и пропили деньги. Это, во-первыхъ...

Всѣ засмѣялись.

— Какой отгадчикъ!—сказала бабушка.

— Во-вторыхъ, что Яковъ, Егоръ, Прохоръ и Мотька, пьяные, забрались на сѣновалъ, закурили трубки и надѣлали пожаръ...

— Типунъ тебѣ, право — болтунъ этакій! Поди, я уши надеру!

— Въ-третьихъ, что всѣ дѣвки и бабы, въ одинъ вечеръ, съѣли все варенье, яблоки, растаскали сахаръ, кофе...

Опять смѣхъ.

— Что Савелій до смерти убилъ Марину...

— Полно, тебѣ говорятъ!.. — унимала сердцто Татьяна Марковна.

— И, наконецъ, — торопливо досказывалъ онъ, такъ что на зубахъ вскочилъ пузырь: — что земская полиція въ де-

ревнѣ велѣла дѣлать мостовую и тротуары, а въ домѣ поставили роту солдатъ...

— Вотъ, я же тебя, я же тебя—на, на, на! — говорила бабушка, вставъ съ мѣста и поймавъ Викентьева за ухо.— А еще женихъ—болтаетъ вздоръ какой:

— А ловко, мастерски подобралъ!—поощрялъ Райскій.

Маронька смѣялась до слезъ, и даже Вѣра улыбалась. Бабушка сѣла опять.

— Это вамъ только лѣзетъ въ голову такая безтолочь! — сказала она.

— Видите же и вы какіе-нибудь сны, бабушка? — замѣтилъ Райскій.

— Вижу, да не такіе безобразные и страшные, какъ вы всѣ.

— Ну, что, напримѣръ, видѣли сегодня?

Бабушка стала припоминать.

— Видѣла что-то, постойте... Да: поле видѣла, на немъ будто лежитъ... снѣгъ.

— А еще?—спросилъ Райскій.

— А на снѣгу щенка...

— И все?

— Чего жъ еще? И слава Богу, кричать и метаться не нужно!

XXII.

Весь день всѣ просидѣли, какъ мокрыя куры, рано разошлись и легли спать. Въ десять часовъ вечера все умолкло въ домѣ. Между тѣмъ дождь пересталъ, Райскій, надѣвъ пальто, пошелъ пройтись около дома. Ворота были заперты, на улицѣ стояла непроходимая грязь, и Райскій пошелъ въ садъ.

Было тихо, кусты и деревья едва шевелились, съ нихъ капалъ дождь. Райскій обошелъ раза три садъ и прошелъ черезъ огородъ, чтобъ посмотрѣть, что дѣлается въ полѣ и на Волгѣ.

Темнота. На горизонтѣ скопились удалявшіяся облака и только высоко надъ головой слабо мерцали кое-гдѣ звѣзды. Онъ вслушивался въ эту тишину и всматривался въ темноту, ничего не слыша и не видя.

Направо туманъ; лѣвѣе чернымъ пятномъ лежала деревня, дальше безразличной массой стлались поля. Онъ дохнулъ въ себя раза два сырого воздуха и чихнулъ.

Вдругъ онъ услышалъ, что въ старомъ домѣ отворяется окно. Онъ взглянулъ вверхъ, но окно, которое отворилось, выходило не къ саду, а въ поле, и онъ поспѣшилъ въ бесѣдку изъ акацій, перепрыгнулъ черезъ заборъ и попалъ въ лужу, но остался на мѣстѣ, не шевелясь.

— Это вы? — спросилъ шопотомъ кто-то изъ окна нижняго этажа, — конечно Вѣра, потому что въ старомъ домѣ никого, кромѣ ея, не было.

У Райскаго затряслись колѣни, однако, онъ невнятнымъ шопотомъ отвѣчалъ:

— Я.

— Сегодня я не могла выйти — дождикъ шелъ цѣлый день; завтра приходите туда же въ десять часовъ... Уйдите скорѣе, кто-то идетъ!

Окно тихо затворилось. Райскій все стоялъ.

— Куда «туда же!» — спрашивалъ онъ мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помѣшавшіе услышать продолженіе разговора. «Боже! такъ это правда:—тайна есть (а онъ все не вѣрилъ)—письмо на синей бумагѣ — не сонъ! Свиданія! Вотъ она, таинственная «Ночь!» А мнѣ проповѣдывала о нравственности!»

Онъ пошелъ навстрѣчу шагамъ.

— Кто тутъ!—громко закричалъ голосъ, и съ этимъ вопросомъ идущій навстрѣчу началъ колотить что есть мочи въ доску.

— Ну, тебя къ чорту!—съ досадой сказалъ Райскій, от-

талкивая Савелья, который торопливо подошелъ къ нему.— Давно ли ты сталъ домъ стеречь?

— Барыня приказали, — отвѣчалъ Савелій: — мошенники въ здѣшнихъ мѣстахъ есть... бѣглые... тоже изъ бурлаковъ ходятъ шалить...

— Врешь все! — съ досадой продолжалъ Райскій: — ты подглядываешь за Мариной: это... скверно, — хотѣлъ онъ сказать, но не договорилъ и пошелъ.

— Позвольте о Маринѣ слово молвить! — остановилъ его Савелій.

— Ну?

— Нельзя ли ее въ полицію отправить?

— Ты съ ума сошелъ,—сказалъ Райскій, уходя.

Савелій за нимъ.

— Сдѣлайте божескую милость,—говорилъ онъ:—хоть въ Сибирь сошлите ее!

Райскій погруженъ былъ въ свой новый «вопросъ» о разговорѣ Вѣры изъ окна, и продолжалъ идти.

— Или хошь въ рабочій домъ — на всю жисть... — говорилъ Савелій, не отставая отъ него.

— За что?—спросилъ вдругъ Райскій, остановившись.

— Да опять того... почтальонъ ходитъ все... Плетьми бы приказали ее высѣчь...

— Тебя!—сказалъ Райскій:—чтобъ ты не дрался...

— Воля ваша!

— Да не подсматривалъ! это... скверно... — сквозь зубы проговорилъ онъ, взглянувъ на окно Вѣры.

Онъ ушелъ, а Савелій неистово застучалъ въ доску.

Райскій почти не спалъ цѣлую ночь и на другой день явился въ кабинетъ бабушки съ сухими и горячими глазами. День былъ ясный. Всѣ собрались къ чаю. Вѣра весело поздоровалась съ нимъ. Онъ лихорадочно пожалъ ей руку и пристально поглядѣлъ ей въ глаза. Она — ничего, ясна и покойна.

— Какъ ты кокетливо одѣта сегодня!—сказалъ онъ.

— Вы находите простенькую палевую блузу кокетливой?

— А пунцовая лента, а прическа, съ длинной, небрежно брошенной прядью волосъ на плечо, а поясъ съ этимъ изящнымъ бантомъ, ботинки, прошитыя пунцовымъ шелкомъ! У тебя бездна вкуса, Вѣра, я восхищаюсь!

— Очень рада, что нравлюсь вамъ; только вы какъ-то странно восхищаетесь. Скажите, отчего?

— Хорошо, скажу, пойдемъ гулять.

— Когда?

— Въ десять часовъ.

Она быстро и подозрительно взглянула на него. Онъ замѣтилъ этотъ взглядъ.

«Напрасно я сказалъ такъ опредѣлительно — въ *десять часовъ*», подумалъ онъ: «надо бы было сказать *часовъ въ десять*... Она догадалась...»

— Хорошо, пойдемте! — согласилась она подумавши: — теперь еще рано, нѣтъ десяти часовъ.

Она сѣла въ уголъ и молчала, избѣгая его взглядовъ и не отвѣчая на вопросы. Въ исходѣ десятаго она взяла рабочую корзинку, зонтикъ и сдѣлала ему знакъ идти за собой.

Они шли молча по аллеѣ отъ дома, свернули въ другую, прошли садъ, наконецъ остановились у обрыва. Тутъ была лавка. Они сѣли.

— Вѣра! — началъ онъ, едва превозмогая смущеніе: — я нечаянно, кажется, узналъ часть твоего секрета...

— Да, кажется! — холодно сказала она: — вчера вы подслушали мои слова...

— Нечаянно, клянусь тебѣ честью...

— Вѣрю,—перебила она, взглянувъ на него мелькомъ:— ну что же?

— Ничего... Итакъ... ты любишь кого-то! Сомнѣнія исчезли и... Но кто же онъ?

— Не скажу, не спрашивайте!—сухо сказала она.

Онъ вздохнулъ.

— Самъ знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы... Ахъ, Вѣра, Вѣра! кто же дастъ тебѣ больше счастья, нежели я? Почему же ты *ему* вѣришь, а мнѣ нѣтъ? Ты меня судила такъ холодно, такъ строго, а кто тебѣ сказалъ, что тотъ, кого ты любишь, дастъ тебѣ счастья больше, нежели на полгода?—Почему ты вѣришь?

— Потому что люблю!

— Любишь!—съ жалостью сказалъ онъ.—Боже мой, какой счастливецъ! И чѣмъ онъ заплатитъ тебѣ за громадность счастья, которое ты даешь? Ты любишь, другъ мой, будь осторожна: кому ты вѣришь?..

— Пока еще самой себѣ...

— Кого ты любишь?

— Кого?.. — повторила она, глядя на него пристально безцвѣтнымъ, загадочнымъ «русалочнымъ» взглядомъ. — Да васъ...

У него захватило-было духъ.

Внизу въ рощѣ раздался въ это время выстрѣлъ.

Она быстро встала со скамьи.

— А это что: это... онъ? — спросилъ Райскій, мѣняясь въ лицѣ.

— Мнѣ пора — десять часовъ! — сказала она, видимо встревоженная, стараясь не глядѣть на Райскаго.

Она подошла къ обрыву, онъ ступилъ шагъ за ней. Она сдѣлала ему знакъ рукой, чтобъ онъ остался.

— Что значитъ этотъ выстрѣлъ? — спросилъ онъ съ испугомъ.

— Меня зоветъ...

— Кто?

— Авторъ синяго письма... Ни шагу за мной!—шепнула она ему сильно:—если не хотите, чтобъ я...

— Вѣра!

— Ни шагу — никогда! — повторила она, спускаясь съ обрыва:—или я оставлю домъ навсегда!

Она скользнула въ кусты.

— Вѣра, Вѣра! Берегись! — кричалъ онъ въ отчаяніи и сталъ слушать.

Онъ слышалъ только, какъ раза два подъ ея торопливыми шагами затрещали сухія вѣтки, потомъ настала тишина.

— Боже мой!—въ отчаянной зависти вскрикнулъ онъ.— Кто онъ, кто этотъ счастливецъ?..

«Люблю васъ!» говоритъ она. Меня! Что, если правда... А выстрѣлъ?» шепталъ онъ въ ужасѣ: «а авторъ синяго письма? Что за тайна! кто это?..»

XXIII.

А никто другой, какъ Маркъ Волоховъ, этотъ парія, циникъ, ведущій бродячую, цыганскую жизнь, занимающій деньги, стрѣляющій въ живыхъ людей, объявившій, какъ Карлъ Моръ, по словамъ Райскаго, войну обществу, живущій подъ присмотромъ полиціи, словомъ отверженецъ, «Варрава!»

И какъ Вѣра, это изящное созданіе, взлелѣянное подъ крыломъ бабушки, въ уютномъ, какъ ласточкино гнѣздо, уголкѣ, этотъ перлъ, по красотѣ, всего края, на которую робко обращались взгляды лучшихъ жениховъ, передъ которой робѣли смѣлые мужчины, не смѣя бросить на нее нескромнаго взгляда, рискнуть любезностью или комплиментомъ, — Вѣра, покорившая даже самовластную бабушку, Вѣра, на которую вѣтерокъ не дохнулъ — вдругъ идетъ тайкомъ на свиданіе съ опаснымъ, подозрительнымъ человѣкомъ! Гдѣ она сошлась и познакомилась съ нимъ, когда ему загражденъ доступъ во всѣ дома?

Очень просто и случайно. Въ концѣ прошлаго лѣта, передъ осенью, когда поспѣли яблоки и пришла пора соби-

рать ихъ, Вѣра сидѣла однажды вечеромъ въ маленькой бесѣдкѣ изъ акацій, устроенной надъ заборомъ, близъ стараго дома, и глядѣла равнодушно въ поле, потомъ вдаль на Волгу, на горы. Вдругъ она замѣтила, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, въ фруктовомъ саду, вѣтви одной яблони нагибаются черезъ заборъ.

Она наклонилась и увидѣла покойно сидящаго на заборѣ человѣка, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по лѣтамъ — не школьника. Онъ держалъ въ рукахъ нѣсколько яблокъ и готовился спрыгнуть.

— Что вы тутъ дѣлаете?—вдругъ спросила она.

Онъ поглядѣлъ на нее съ минуту.

— Вы видите, лакомлюсь.

Онъ закусилъ одно яблоко.

— Не хотите ли?—говорилъ онъ, подвигаясь къ ней по забору и предлагая ей другое.

Она отступила отъ забора на шагъ и глядѣла на него съ любопытствомъ, но безъ страха.

— Кто вы такой? — сказала она строго: — и зачѣмъ лазите по чужимъ заборамъ?

— Кто я такой — до того вамъ нужды нѣтъ. А зачѣмъ лазаю по заборамъ—я ужъ вамъ сказалъ: за яблоками.

— И вамъ не совѣстно? Вы, кажется, не мальчикъ.

— Чего совѣститься?

Онъ усмѣхнулся.

— Брать тихонько чужія яблоки!—упрекнула она.

— Они мои, а не чужія: *вы* воруете ихъ у меня!

Она молчала, продолжая смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— Вы вѣрно не читали Прудона,—сказалъ онъ и взглянулъ на нее пристально.—Да какая вы красавица!—вдругъ прибавилъ онъ потомъ, какъ въ скобкахъ. — Что Прудонъ говоритъ, не знаете?

— La propriété c'est le vol, —сказала она.

— Читали! — съ удивленіемъ произнесъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, слышали: эта божественная истина обходитъ весь міръ. Хотите, принесу Прудона? Онъ у меня есть.

— Вы не мальчикъ, — повторила она: — а воруете чужія яблоки и вѣрите, что это не воровство, потому что г. Прудонъ сказалъ...

Онъ быстро взглянулъ на нее.

— Вы вѣрите же тому, что̀ вамъ сказали въ пансіонѣ или институтѣ... или... Да скажите, вы кто? Это садъ Бережковой — вы не внучка ли ея? Мнѣ говорили, что у ней есть двѣ внучки, красавицы...

— Что̀ вамъ за дѣло, кто я,—и я скажу.

— Ну, такъ вы вѣрите же въ истины, что̀ преподала вамъ бабушка...

— Я вѣрю тому, что̀ меня убѣждаетъ.

Онъ снялъ фуражку и поклонился.

— И я тоже. Такъ вы считаете преступнымъ, что я беру эти яблоки...

— Неприличнымъ.

— И убѣждены въ этомъ?

— Да.

— Я хоть не убѣжденъ, но уступаю вамъ: возьмите остальные четыре яблока!—сказалъ онъ, подавая ихъ ей.

— Я ихъ дарю вамъ.

Онъ опять снялъ фуражку, иронически поклонился ей и закусилъ другое яблоко.

— Вы красавица,—повторилъ онъ:—вдвойнѣ красавица. И хороши собой, и умны. Жаль, если украсите собой существованіе какого-нибудь идіота. Васъ отдадутъ, бѣдную...

— Пожалуйста, безъ сожалѣній! Не отдадутъ, я — не яблоко...

— Кстати о яблокахъ: въ благодарность за подарокъ, я вамъ принесу книгъ. Вы любите читать?

— Прудона?

— Да, съ братіей. У меня все новое есть. Только вы не показывайте тамъ бабушкѣ, или тупоумнымъ вашимъ гостямъ. Я хотя и не знаю васъ, а вѣрю, что вы не связываетесь съ ними...

— Почему вы знаете? вы пять минутъ видите меня...

— Шила въ мѣшкѣ не утаишь. Сразу видно—свободный умъ — стало-быть вы живая, а не мертвая: это главное. А остальное все придетъ, нуженъ случай. Хотите, я...

— Ничего не хочу;—«свободный умъ» сами говорите, а ужъ хотите завладѣть имъ. Кто вы и съ чего взяли учить?

Онъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее.

— Ни книгъ не носите, ни сами больше не ходите сюда, — сказала она, отходя отъ забора. — Здѣсь сторожъ есть: онъ поймаетъ васъ—не хорошо!

— Вотъ опять понесло отъ васъ бабушкой, городомъ и постнымъ масломъ! А я думалъ, что вы любите поле и свободу. Вы не боитесь ли меня? Кто я такой, какъ вы думаете?

— Не знаю, семинаристъ, должно-быть, — сказала она небрежно.

Онъ засмѣялся.

— Почему вы думаете?

— Они неопрятны, бѣдно одѣты, всегда голодны... Подите на кухню, я велю васъ накормить.

— Покорно благодарю. Кромѣ этого, вы ничего другого въ семинаристахъ не замѣтили?

— Я ни съ однимъ не знакома и мало видѣла ихъ. Они такіе неотесанные, говорятъ смѣшно...

— Это наши настоящіе миссіонеры, нужды нѣтъ, что говорятъ смѣшно? «Немощные и худородные» — именно тѣ, кого нужно. Они пока со слѣпа лѣзутъ на огонь, да усердно...

— На какой огонь?

— На свѣтъ, къ новой наукѣ, къ новой жизни... Развѣ вы ничего не знаете, не слыхали? Какая же вы...

— Что же семинаристы?

— Ихъ держатъ въ потемкахъ, умы питаютъ мертвечиной и вдобавокъ порютъ нещадно; вотъ кто позадорнѣе изъ нихъ, да еще изъ кадетъ—этихъ вовсе не питаютъ, а только порютъ—и падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ—изъ потемокъ къ свѣту... Народъ молодой, здоровый, свѣжій, проситъ воздуха и пищи, а намъ такихъ и надо...

— Кому *намъ?*

— Кому? сказать? Новой, грядущей силѣ...

— Такъ вы — «новая, грядущая сила»? — спросила она, глядя на него съ любопытствомъ и ироніей. — Да кто вы такой? Или имя ваше—тайна?

— Имя? Вы не испугаетесь?

— Не знаю, можетъ-быть; говорите.

— Маркъ Волоховъ. Вѣдь это все равно здѣсь, въ этомъ промозгломъ углу, что Пугачевъ или Стенька Разинъ.

Она опять съ любопытствомъ поглядѣла на него.

— Вотъ вы кто! — сказала она. — Вы, кажется, хвастаетесь своимъ громкимъ именемъ! Я слышала ужъ о васъ. Вы стрѣляли въ Нила Андреича и травили одну даму собакой... Это «новая сила»? Уходите—да больше не являйтесь сюда...

— А то бабушкѣ пожалуетесь?

— Непремѣнно. Прощайте!

Она сошла съ бесѣдки и не слыхала его послѣднихъ словъ. А онъ жадно слѣдилъ за ней глазами.

— Вотъ если бъ это яблоко украсть!—проговорилъ онъ, прыгая на землю.

Однако она бабушкѣ не сказала ни слова, а разсказала только своей пріятельницѣ, Натальѣ Ивановнѣ, обязавъ ее тоже никому не говорить.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДЕВЯТАГО ТОМА:

Обрывъ. Романъ въ пяти частяхъ.

Часть третья:

		стр.
Глава	I	5
»	II	10
»	III	30
»	IV	39
»	V	46
»	VI	55
»	VII	62
»	VIII	69
»	IX	80
»	X	88
»	XI	99
»	XII	102
»	XIII	112
»	XIV	123
»	XV	135
»	XVI	146
»	XVII	158
»	XVIII	162
»	XIX	175
»	XX	182
»	XXI	190
»	XXII	199
»	XXIII	204

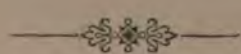
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.



Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ОБРЫВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть четвертая.

I.

Вѣра, разставшись съ Райскимъ, еще подождала, чутко вслушиваясь, не слѣдуетъ ли онъ за ней, и вдругъ бросилась въ кусты, раздвигая вѣтви зонтикомъ и скользя, какъ тѣнь, по знакомой ей тропинкѣ.

Она пробралась къ развалившейся и полусгнившей бесѣдкѣ въ лѣсу, который когда-то составлялъ часть сада. Крыльцо отдѣлилось отъ нея, ступени разсохлись, полъ въ ней осѣлъ, и нѣкоторыя доски провалились, а другія шевелились подъ ногами. Оставался только покривившійся на бокъ столъ, да двѣ скамьи, когда-то зеленыя, и уцѣлѣла еще крыша, заросшая мхомъ.

Въ бесѣдкѣ сидѣлъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и кожаная сумка.

Онъ подалъ Вѣрѣ руку и почти втащилъ ее въ бесѣдку по сломаннымъ ступенямъ.

— Что такъ поздно?

— Братъ задержалъ,—сказала она, поглядѣвъ на часы.— Впрочемъ, я только четверть часа опоздала. Ну, что вы? ничего не случилось новаго?

— А что должно случиться?—спросилъ онъ:—развѣ вы ждали?

— Не посадили ли на гауптвахту опять, или въ полицію? Я каждый день жду...

— Нѣтъ, я теперь сталъ осторожнѣе, послѣ того, какъ Райскій порисовался и свеликодушничалъ, взялъ на себя исторію о книгахъ...

— Вотъ этого я не люблю въ васъ, Маркъ...

— Чего «этого»?

— Какой-то сухости, даже злости ко всему, кромѣ себя. Братъ не рисовался совсѣмъ, онъ даже не сказалъ мнѣ. Вы не хотите оцѣнить доброй услуги.

— Я цѣню по-своему.

— Какъ волкъ оцѣнилъ услугу журавля. Ну, что бы сказать ему «спасибо» отъ души, просто, какъ онъ просто сдѣлалъ? Прямой вы волкъ! — заключила она, замахнувшись ласково зонтикомъ на него. — Все отрицать, порицать, коситься на всѣхъ... Гордость это, или...

— Или что?

— Тоже рисовка, позированье, новый образъ воспитанія «грядущей силы...»

— Ахъ, вы насмѣшница! — сказалъ онъ, садясь подлѣ нея: — вы еще молоды, не пожили, не успѣли отравиться всѣми прелестями добраго стараго времени. Когда я научу васъ человѣческой правдѣ?

— А когда я отучу васъ отъ волчьей лжи?

— За словомъ въ карманъ не ходите: умница! Съ вами не скучно. Если бъ еще къ этому...

Онъ почесалъ задумчиво голову.

— Въ полицію посадили! — договорила она. — Кажется, только этого недостаетъ для вашего счастья!

— Не будь васъ, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мѣшаете...

— Вамъ скучно жить мирно, бури хочется! А обѣщали мнѣ и другую жизнь, и чего-чего не обѣщали! Я была

такъ счастлива, что даже дома замѣтили экстазъ. А вы опять за свое!

Онъ взялъ ее за руку.

— Хорошенькая рука, — сказалъ онъ, цѣлуя нѣсколько разъ и потянулся поцѣловать ее въ щеку, но она отодвинулась.

— Опять нѣтъ! Скоро ли это воздержаніе кончится? Вы, должно-быть, боитесь Успенскаго поста? Или бережете ласки для...

— Не люблю я, когда вы шутите!—отдернувъ руку, сказала она.—Вы это знаете.

— Тонъ нехорошъ?

— Да, непріятный. Прежде отучитесь отъ него, и вообще отъ этихъ волчьихъ манеръ! Это и будетъ первый шагъ къ человѣческой правдѣ!

— Ахъ вы барышня! дѣвочка! На какой еще азбукѣ сидите вы: на манерахъ да на тонѣ! Какъ медленно развиваетесь вы въ женщину! Передъ вами свобода, жизнь, любовь, счастье—а вы разбираете тонъ, манеры! Гдѣ же человѣкъ, гдѣ женщина въ васъ?.. Какая тутъ «правда»!

— Вотъ теперь, какъ Райскій, заговорили...

— А что онъ, все страстенъ?

— Еще больше. Я не знаю, право, что̀ съ нимъ дѣлать.

— Что? Дурачить, тянуть...

— Гадко, неловко, совѣстно, — сказала она, качая головой.—И не умѣю я, это не мое дѣло!

— Совѣстно! вы думаете, онъ не дурачитъ васъ?

Она покачала съ сомнѣніемъ головой.

— Нѣтъ, онъ, кажется, увлекается...

— Тѣмъ хуже; онъ ухаживаетъ, какъ за своей крѣпостной. Эти стихи, что̀ вы мнѣ показывали, отрывки вашихъ разговоровъ — все это ясно, что онъ ищетъ развлеченія. Надо его проучить...

— Лучше все открыть ему—онъ уѣдетъ. Онъ говоритъ,

что тайна поддерживаетъ въ немъ раздраженіе и что если онъ узнаетъ все, то успокоится и уѣдетъ..

— Вретъ, не вѣрьте, хитритъ. А лишь узнаетъ, то возненавидитъ васъ, или будетъ читать мораль, еще скажетъ, пожалуй, бабушкѣ...

— Боже сохрани!—перебила Вѣра, вздрогнувъ:—если ей скажетъ кто-нибудь другой, а не мы сами... Ахъ, скорѣе бы! Уѣхать мнѣ развѣ на время?

— Куда вы уѣдете! Надолго—нельзя и некуда, а не надолго—только раздражите его. Вы уѣзжали, что жъ вышло? Нѣтъ, одно средство, не показывать ему истины, а водить. Пусть поретъ горячку, читаетъ стихи, смотритъ на луну... Вѣдь онъ неизлѣчимый романтикъ... Послѣ отрезвится и уѣдетъ...

Она вздохнула въ отвѣтъ

— Онъ не романтикъ, а поэтъ, артистъ,—сказала она.— Я начинаю вѣрить въ него. Въ немъ много чувства, правды... Я ничего не скрыла бы отъ него, если бъ у него у самого не было ко мнѣ того, что онъ называлъ страстью. Только чтобъ его немного охладить, я рѣшаюсь на эту глупую, двойную роль... Лишь отрезвится, я сейчасъ ему скажу первая все—и мы будемъ друзья...

— Да ну его!—сказалъ Маркъ, взявъ ее опять за руку.— Мы не затѣмъ сошлись, чтобъ заниматься имъ.

Онъ молча цѣловалъ у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.

— Ну, что же вы? — спросила она, отряхивая задумчивость.

— А что?

— Что дѣлали, съ кѣмъ видѣлись это время? Не проговорились ли опять чего-нибудь о «грядущей силѣ», да о «зарѣ будущаго», о «юныхъ надеждахъ»? Я такъ и жду каждый день; иногда отъ страха и тоски не знаю куда дѣться!

— Нѣтъ, нѣтъ,—смѣясь сказалъ Маркъ:—не бойтесь. Я бросилъ этихъ скотовъ: не стоитъ съ ними связываться.

— Ахъ, дай Богъ: умно бы сдѣлали! Вы хуже Райскаго въ своемъ родѣ, вамъ бы нужнѣе былъ урокъ. Онъ артистъ, рисуетъ, пишетъ повѣсти. Но я за него не боюсь, а за васъ у меня душа не покойна. Вонъ у Лозгиныхъ младшій сынъ, Володя,—ему четырнадцать лѣтъ,—и тотъ вдругъ объявилъ матери, что онъ не будетъ ходить къ обѣднѣ.

— Что же?

— Высѣкли, стали добираться—отчего? На старшаго показалъ. А тотъ забрался въ дѣвичью, да горничнымъ цѣлый вечеръ проповѣдывалъ, что глупо ѣсть постное, что Бога нѣтъ и что замужъ выходить нелѣпо...

— Ахъ! — съ ужасомъ произнесъ Маркъ. — Ужели это правда: въ дѣвичьей! А я съ нимъ цѣлый вечеръ, какъ съ путнымъ, говорилъ, далъ ему книгъ и...

— Ужъ онъ въ книжную лавку ходилъ съ ними: «вотъ бы, говоритъ купцамъ, какими книгами торговали!..» Ну, если онъ проговорится про васъ, Маркъ! — съ глубокимъ и нѣжнымъ упрекомъ сказала Вѣра.—То ли вы обѣщали мнѣ всякій разъ, когда разставались и просили видѣться опять?

— Все это было давно; теперь я не связываюсь съ ними, послѣ того, какъ обѣщалъ вамъ. Не браните меня, Вѣра!— нахмурясь, сказалъ Маркъ

Онъ тяжело задумался.

— Если бъ не вы, — сказалъ онъ, взявъ ее опять за руку:—завтра бѣжалъ бы отсюда.

— А куда? Вездѣ все то же; вездѣ есть мальчики, которымъ хочется, чтобъ поскорѣй усы выросли, и дѣвичьи тоже всюду есть... Вѣдь взрослые не станутъ слушать. И вамъ не стыдно своей роли?—сказала она, помолчавъ и перебирая рукой его волосы, когда онъ наклонился лицомъ къ ея рукѣ. — Вы вѣрите въ нее, считаете ее, не шутя, призваніемъ?

Онъ поднялъ голову.

— Роль,—какую роль? вспрыснуть живой водой мозги?

— А вы убѣждены, что это живая вода?

— Послушайте, Вѣра, я не Райскій, — продолжалъ онъ, вставъ со скамьи. — Вы женщина, и еще не женщина, а почка, васъ еще надо развернуть, обратить въ женщину. Тогда вы узнаете много тайнъ, которыхъ и не снится дѣвичьимъ головамъ, и которыхъ растолковать нельзя: онѣ доступны только опыту... Я зову васъ на опытъ, указываю, гдѣ жизнь и въ чемъ жизнь, а вы остановились на порогѣ и уперлись. Обѣщали такъ много, а идете впередъ такъ туго—и еще учить хотите. А главное—не вѣрите!

— Не сердитесь, — сказала она грудным голосомъ, отъ сердца, искренно:—я соглашаюсь съ вами въ томъ, что̀ кажется мнѣ вѣрно и честно, и если нейду рѣшительно на эту вашу жизнь и на опыты, такъ это потому, что хочу сама знать и видѣть, куда иду.

— То-есть хочу разсуждать!

— Чего же вы требуете? Чтобъ я не разсуждала?

— Чего, чего! — повторилъ онъ: — во-первыхъ, я люблю васъ и требую отвѣта полнаго... А потомъ вѣрьте мнѣ и слушайтесь! Развѣ во мнѣ меньше пыла и страсти, нежели въ вашемъ Райскомъ, съ его поэзіей? Только я не умѣю говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть не разговорчива... А вы не вѣрите, не слушаетесь!..

— Посмотрите, чего вы хотите, Маркъ: чтобъ я была глупѣе самой себя! Сами проповѣдывали свободу, а теперь хотите быть господиномъ, и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски...

— Если у васъ нѣтъ довѣрія ко мнѣ, васъ одолѣваютъ сомнѣнія, оставимъ другъ друга,—сказалъ онъ:—такъ наши свиданія продолжаться не могутъ...

— Да, лучше оставимъ,—сказала и она рѣшительно:— а я слѣпо никому и ничему не хочу вѣрить, не хочу! Вы

уклоняетесь отъ объясненій, тогда какъ я только вижу во снѣ и на яву, чтобъ между нами не было никакого тумана, недоразумѣній, чтобъ мы узнали другъ друга и вѣрили... А я не знаю васъ и... не могу вѣрить!

— Ахъ, Вѣра!—сказалъ онъ съ досадой:—вы все еще, какъ цыпленокъ, прячетесь подъ юбки вашей насѣдки бабушки: у васъ ея понятія о нравственности. Страсть одѣваете въ какой-то фантастическій нарядъ, какъ Райскій... Чѣмъ бы прямо отъ опыта допроситься истины... и тогда повѣрили бы...—говорилъ онъ, глядя въ сторону.—Оставимъ всѣ прочіе вопросы—я не трогаю ихъ. Дѣло у насъ прямое и простое, мы любимъ другъ друга... Такъ или нѣтъ?

— Что же, Маркъ, изъ этого?

— Ну, если мнѣ не вѣрите, такъ посмотрите кругомъ. Весь вѣкъ живете въ полѣ и лѣсу и не видите этихъ опытовъ... Смотрите сюда, смотрите тамъ...

Онъ показалъ ей на кучку кружившихся другъ около друга голубей, потомъ на мелькнувшихъ одна вдогонку другой ласточекъ.—Учитесь у нихъ, они не умничаютъ!

— Да,—сказала она:—смотрите и вы: вонъ они кружатся около гнѣздъ.

Онъ отвернулся.

— Вонъ одна опять полетѣла, вѣроятно, за кормомъ...

— И къ зимѣ всѣ разлетятся!—небрежно, глядя въ сторону, говорилъ онъ.

— А къ веснѣ воротятся опять въ то же гнѣздо,—замѣтила она.

— Я вотъ слушаюсь васъ и вѣрю, когда вижу, что вы дѣло говорите,—сказалъ онъ.—Васъ смущала рѣзкость во мнѣ—я сдерживаюсь. Отыскалъ я старыя манеры и скоро буду, какъ Титъ Никонычъ, шаркать ножкой, кланяясь, и улыбаться. Не бранюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всенощной пойду... Чего еще!

— Все это шутки; не того хотѣла я! — сказала она, вздохнувъ

— Чего же?

— Всего! Если не всего, такъ многаго! И до сихъ поръ не добилась, чтобъ вы поберегли себя... хоть для меня, перестали бы «вспрыскивать мозги» и остались здѣсь, были бы, какъ другіе...

— А если я дѣйствую по убѣжденію?

— Чего вы хотите, чего надѣетесь?

— Учу дураковъ!

— Чему? знаете ли сами? Тому ли, о чемъ мы съ вами годъ здѣсь споримъ? вѣдь жить такъ нельзя, какъ вы говорите. Это все очень ново, смѣло, занимательно..

— Э! мы опять за то же! опять съ горы потянуло мертвымъ воздухомъ!—перебилъ Маркъ.

— Вотъ и весь вашъ отвѣтъ, Маркъ! —сказала она кротко:— все прочь, все ложь,—а что правда — вы сами не знаете... Оттого я и недовѣрчива...

— У васъ рефлексія беретъ верхъ надъ природой и страстью,—сказалъ онъ:—вы, барышня, замужъ хотите! Это не любовь!.. Это скучно! Мнѣ надо любви, счастья...—твердилъ онъ, качая головой

Вѣра вспыхнула.

— Если бъ я была барышня и хотѣла только замужъ, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Маркъ,—сказала она, вставая съ мѣста.

— Простите, я грубъ! — извинялся онъ, цѣлуя у ней руку.—Но вы сдерживаете чувство, медлите чего-то, допытываетесь, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться...

— Допытываюсь, кто и что вы, потому что не шучу чувствомъ. А вы на него смотрите легко, какъ на развлеченіе...

— Нѣтъ, какъ на насущную потребность, слѣдовательно тоже не шучу... Какія шутки! Я [illegible] по ночамъ, какъ

Райскій. Это пытка! Я никогда не думалъ, чтобъ раздраженіе могло зайти такъ далеко!

Онъ говорилъ почти съ злостью.

— Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову васъ къ счастью, а вы его боитесь...

— Нѣтъ, я только не хочу его на мѣсяцъ, на полгода...

— А на цѣлую жизнь и за гробомъ тоже?—насмѣшливо спросилъ онъ.

— Да, на цѣлую жизнь! я не хочу предвидѣть ему конца, а вы предвидите, предсказываете: я и не вѣрю и не хочу такого счастья; оно не искренно и не прочно...

— Когда же я предсказывалъ?

— Много разъ, не нарочно, можетъ-быть, а я не пропустила. «Что это за заглядываніе въ даль?—твердили вы:—что за филистерство—непремѣнно отмѣривать себѣ счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету, и потомъ, послѣ двухъ-трехъ глотковъ, бѣги прочь, чтобъ не опротивѣло, и ищи другого! Не давай яблоку свалиться, рви его скорѣе и завтра рви другое. Не кисни на одномъ мѣстѣ, какъ улитка, и не вѣшайся на одномъ сучкѣ. Виснуть на шеѣ другъ друга, пока виснется, потомъ разойтись...» Это все вы раскидали по своимъ проповѣдямъ. Стало-быть, у васъ это сдѣлалось убѣжденіемъ...

— Ну, «стало-быть», такъ что же? Вы видите, что это не притворство! Отчего же не вѣрите?

— Оттого, что вѣрю чему-то другому, лучше, вѣрнѣе, и хочу...

— Обратить меня въ эту вѣру?

— Да! — сказала она: — хочу, и это одно условіе моего счастья; я другого не знаю и не желаю...

— Прощайте, Вѣра, вы не любите меня, вы слѣдите за мной, какъ шпіонъ, ловите слова, дѣлаете выводы... И вотъ, всякій разъ, какъ мы наединѣ, вы — или спорите, или пытаете меня,—а на пунктѣ счастья мы все тамъ же, гдѣ

были... Любите Райскаго: вотъ вамъ задача! Изъ него, какъ изъ куклы, будете дѣлать, что хотите, наряжать во всѣ бабушкины отрепья, или дѣлать изъ него каждый день новаго героя романа, и этому конца не будетъ. А мнѣ некогда, у меня есть дѣла...

— А, видите, дѣла? А любовь, счастье—забава?

— А вы хотѣли бы, по-старому, изъ одной любви сдѣлать жизнь, гнѣздо — вонъ такое, какъ у ласточекъ, сидѣть въ немъ и вылетать за кормомъ? Въ этомъ и вся жизнь!

— А вы хотѣли бы на минуту влетѣть въ чужое гнѣздо и потомъ забыть его...

— Да, если оно забудется. А если не забудется — воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется? Это свобода? Вы какъ хотѣли бы?

— Я этого не понимаю—этой птичьей жизни, — сказала она.—Вы, конечно, не серьезно указали вокругъ, на природу, на животныхъ...

— А вы — не животное? духъ, ангелъ — безсмертное созданіе? Прощайте, Вѣра, мы ошиблись: мнѣ надо не ученицу, а товарища...

— Да, Маркъ, товарища,—пылко возразила она:—такого же сильнаго, какъ вы—равнаго вамъ—да, не ученицу, согласна—но товарища на всю жизнь! Такъ?

Онъ не отвѣчалъ на ея вопросъ, какъ будто не слыхалъ его.

— Я думалъ,—продолжалъ онъ:—что мы скоро сойдемся и потомъ разойдемся — это зависитъ отъ организмовъ, отъ темпераментовъ, отъ обстоятельствъ. Свобода съ обѣихъ сторонъ—и затѣмъ—что выпадетъ кому изъ насъ на долю: радость ли обоимъ, наслажденіе, счастье, или одному радость, покой, другому—мука и тревоги — это уже не наше дѣло. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слѣпо ея назначеніе, подчинились бы ея законамъ. А вы вдались въ анализъ послѣдствій, миновали опыты—и оттого

судите вкривь и вкось, какъ старая дѣва. Вы не отдѣлались отъ бабушки, губернскихъ франтовъ, офицеровъ и тупоумныхъ помѣщиковъ. А гдѣ правда и свѣтъ — еще не прозрѣли! Я ошибся! Спи, дитя! Прощайте! Постараемся не видаться больше...

— Да, постараемся, Маркъ! — уныло произнесла она:— мы счастливы быть не можемъ... — Ужели не можемъ!— всплеснувъ руками, сказала потомъ.—Что намъ мѣшаетъ! Послушайте...—остановила она его, тихо взявъ за руку.— Объяснимся до конца... Посмотримъ, нельзя ли намъ согласиться?..

Она замолчала и утонула въ задумчивости, какъ убитая.

Онъ ничего не отвѣчалъ, встряхнулъ ружье на плечо, вышелъ изъ бесѣдки и пошелъ между кустовъ. Она оставалась неподвижная, будто въ глубокомъ снѣ, потомъ вдругъ очнулась, съ грустью и удивленіемъ глядѣла вслѣдъ ему, не вѣря, чтобъ онъ ушелъ.

«Говорятъ: «кто не вѣритъ — тотъ не любитъ»,—думала она:—я не вѣрю ему, стало-быть... и я... не люблю его? Отчего же мнѣ такъ больно, тяжело... что онъ уходитъ? Хочется упасть и умереть здѣсь!..»

— Маркъ!—сказала она тихо.

Онъ не оглядывался.

— Маркъ!—громче повторила она.

Онъ шелъ.

— Маркъ!—крикнула она и прислушалась, не дыша.

Маркъ быстро шелъ подъ гору. Она измѣнилась въ лицѣ и минутъ черезъ пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтикъ и медленно, задумчиво поднялась на верхъ обрыва.

«Правда и свѣтъ, сказалъ онъ», думала она, идучи: «гдѣ же вы? Тамъ ли, гдѣ онъ говоритъ, куда влечетъ меня... сердце? И сердце ли это? И ужели я резонерка? Или

правда здѣсь?» говорила она, выходя въ поле и подходя къ часовнѣ.

Молча, глубоко глядѣла она на смотрящій на нее, задумчивый взоръ образа.

— Ужели *онъ* не пойметъ этого никогда и не воротится—ни сюда... къ этой вѣчной правдѣ... ни ко мнѣ, къ правдѣ моей любви?—шептали ея губы. — Никогда! Какое ужасное слово!

II.

Она бродила дня четыре по рощѣ, ждала въ бесѣдкѣ, но ничего не дождалась. Маркъ туда не приходилъ.

«Постараемся не видаться больше», это были его послѣднія слова. — «Нельзя ли намъ согласиться?» отвѣчала она—и онъ не обернулся на эту надежду, на этотъ зовъ сердца.

Отъ Райскаго она не пряталась больше. Онъ слѣдилъ за ней напрасно, ничего не замѣчалъ и впадалъ въ уныніе. Она не получала и не писала никакихъ таинственныхъ писемъ, обходилась съ нимъ ласково, но больше была молчалива, даже грустна.

Онъ чаще прежняго заставалъ ее у часовни молящеюся. Она не таилась, и даже однажды приняла его предложеніе проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна, и во время службы и внѣ службы, долго молясь и стоя на колѣняхъ, неподвижно, задумчиво, съ поникшей головой.

Онъ тихо стоялъ сзади ея, боясь пошевелиться и вызвать ее изъ молитвеннаго сна, и наблюдалъ, онѣмѣвъ въ углу за колонной. Потомъ молча подавалъ ей зонтикъ или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, въ усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила къ себѣ.

А онъ шелъ, мучась сомнѣніями, и страдалъ за себя и за нее. Она не подозрѣвала его тайныхъ мукъ, не подозрѣвала, какою страстною любовью охваченъ былъ онъ къ ней — какъ къ женщинѣ человѣкъ и какъ къ идеалу художникъ.

Не знала она и того, что рядомъ съ этой страстью, на которую онъ самъ напросился, которую она, по его настоянію, позволила питать, частію затѣмъ, что надѣялась этой уступкой угомонить ее, частію повинуясь совѣту Марка, чтобы отводить его глаза отъ обрыва и вмѣстѣ «проучить» слегка, дружески, добродушно посмѣявшись надъ нимъ, — не знала она, что у него въ душѣ все еще гнѣздилась надежда на взаимность, на отвѣтъ, если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь.

И какъ легко вѣрилось ему, — несмотря на очевидность ея постороннихъ мукъ, на таинственныя прогулки на дно обрыва,—потому что хотѣлось вѣрить. Безсознательно онъ даже боялся разувѣриться окончательно въ надеждѣ на взаимность. Вѣрить въ эту надежду было его счастьемъ — и онъ всячески подогрѣвалъ ее въ себѣ. Онъ, иначе, въ свою пользу, старался объяснить загадочность прогулокъ.

«Эти выстрѣлы», думалъ онъ, «значатъ, можетъ-быть, что-нибудь другое: тутъ не любовь, а иная тайна играетъ роль. Можетъ-быть, Вѣра несетъ крестъ какой-нибудь роковой ошибки; кто-нибудь покорилъ ея молодость и неопытность и держитъ ее подъ другимъ злымъ игомъ, а не подъ игомъ любви, что этой послѣдней и нѣтъ у нея, что она просто хочетъ тамъ выпутаться изъ какого-нибудь узла, завязавшагося въ раннюю пору дѣвическаго невѣдѣнія, что всѣ эти прыжки съ обрыва, тайны, синія письма — больше ничего, какъ отступленія — не передъ страстью, а передъ другой темной тюрьмой, куда ее загналъ фальшивый шагъ и откуда она не знаетъ, какъ выбраться... что наконецъ въ ней проговаривается любовь... къ нему... къ Райскому,

что она готова броситься къ нему на грудь и на ней искать спасенія»...

Ему казалось иногда, что она обращала къ нему нѣмой, молящій взглядъ о помощи, или вопросительно глядѣла на него, какъ будто пытая, силенъ ли и воленъ ли онъ поднять, оправить ее, поставить на ноги, уничтожить невидимаго врага, и вывести на прямой путь?

Такъ онъ мечталъ, волновался, падалъ въ бездну безнадежности и опять выносила его волна наверхъ—и все отъ одного, небрежно брошеннаго ею слова: «люблю васъ»...

Онъ вздрагивалъ отъ счастья, нужды нѣтъ, что слово это сопровождалось русалочнымъ взглядомъ, что съ этимъ словомъ она исчезла съ обрыва.

«Если не правда, зачѣмъ она сказала это? для шутки — жестокая шутка! Женщина не станетъ шутить надъ любовью къ себѣ, хотя бы и не раздѣляла ея. Стало-быть— не вѣритъ мнѣ... и тому, что я чувствую къ ней, какъ я терзаюсь!»

Онъ мучился въ трескучемъ пламени этихъ сомнѣній, этой созданной себѣ пытки, и иногда рыдалъ, не спалъ ночей, глядя на слабый огонь въ ея окнѣ.

— Не подозрѣваетъ, какое злое дѣло дѣлаетъ она со мной! Палачъ въ юбкѣ!—сквозь зубы шипѣлъ онъ.

И вдругъ отрезвлялся, чуялъ ложь этого ея «васъ люблю», ложь своей пьяной увѣренности въ ея любви, ложь своего положенія.

Однажды въ сумерки опять онъ засталъ ее у часовни молящеюся. Она была покойна, смотрѣла свѣтло, съ тихой увѣренностью на лицѣ, съ какою-то покорностью судьбѣ, какъ будто примирилась съ тѣмъ, что выстрѣлилъ давно не слыхать, что съ обрыва ходить болѣе не нужно. Такъ и онъ толковалъ это спокойствіе, и тутъ же тотчасъ готовъ былъ опять вѣрить своей мечтѣ о ея любви къ себѣ.

Она ласково подала ему руку и сказала, что рада его

видѣть, именно въ эту минуту, когда у ней покойнѣе на сердцѣ. Она, въ эти дни, послѣ свиданія съ Маркомъ, вообще старалась казаться покойной и дома, за обѣдомъ, къ которому являлась каждый день, она брала надъ собой невѣроятную силу, говорила со всѣми, даже шутила иногда, старалась ѣсть.

Бабушка ничего не видала, такъ казалось по крайней мѣрѣ, не слѣдила за ней подозрительно, не кидала косыхъ взглядовъ.

— Вѣра, ты простишь меня, если я заговорю...—началъ робко Райскій у часовни.

— Все прощу, братъ, говорите!—кротко отвѣчала она.

— Ты не можешь вообразить себѣ, какъ я счастливъ, что ты стала покойнѣе. Посмотри, какимъ миромъ сіяетъ у тебя лицо: гдѣ ты почерпнула этотъ миръ? Тамъ?

Онъ указалъ на часовню.

— Гдѣ же больше?

— Ты... не ходишь, кажется, больше туда?—продолжалъ онъ, указывая къ обрыву.

Она покачала головой.

— И не пойду,—тихо сказала она.

— Слава Богу — какое счастье! Куда ты теперь, домой? Дай мнѣ руку. Я провожу тебя.

Онъ взялъ ее подъ руку, и они тихо пошли по тропинкѣ луга.

— Ты борешься... Вѣра, и отчаянно борешься: этого не скроешь...—шепталъ онъ.

Она шла съ поникшей головой. Это молчаніе дало ему надежду, что она выскажется до конца.

— Когда ты одолѣешь мучительную и опасную страсть...—продолжалъ онъ и остановился, ожидая, не подтвердитъ ли она эти его намеки явнымъ сознаніемъ.

— Что же, братъ, тогда?—спросила она уныло.

— Ты выйдешь съ громаднымъ опытомъ, закаленная противъ всякихъ другихъ бурь...

— Куда и для чего я выйду?

— Для лучшей доли...

— Какой лучшей доли?

Онъ молчалъ, вспоминая, какую яркую картину страсти чертилъ онъ ей въ первыхъ встрѣчахъ и какъ усердно толкалъ ее подъ ея тучу. А теперь самъ не зналъ, какъ вывести ее изъ-подъ нея.

— Доли трезваго, глубокаго, разумнаго и прочнаго счастья, которое бы протянулось на всю жизнь...

— Я иначе счастья и не разумѣю...—задумчиво сказала она и остановясь опустила лобъ на его плечо, какъ будто усталая.

Онъ поглядѣлъ ей въ глаза: въ нихъ стояли слезы. Онъ не подозрѣвалъ, что вложилъ палецъ въ рану, коснувшись главнаго пункта ея разлада съ Маркомъ, основной преграды къ «лучшей долѣ»!

— Ты плачешь... Вѣра, другъ мой! — сказалъ онъ съ участіемъ.

Въ эту минуту раздался внизу обрыва выстрѣлъ и шипящимъ эхомъ прокатился по горѣ. Вѣра и Райскій оба вздрогнули.

Она, какъ будто испугалась, подняла голову и на минуту оцѣпенѣла, все слушая. Глаза у ней смотрѣли широко и неподвижно. Въ нихъ еще стояли слезы. Потомъ отняла съ силой у него руку и рванулась къ обрыву.

Онъ за ней. Она остановилась на полудорогѣ, приложивъ руку къ сердцу, и опять слушала.

— Пять минутъ назадъ ты была тверда, Вѣра... — говорилъ онъ, блѣдный, и тоже не менѣе ея взволнованный выстрѣломъ.

Она поглядѣла машинально на него, не слушая, и сдѣ-

лала шагъ опять къ обрыву, но повернула назадъ и медленно пошла къ часовнѣ.

— Да, да,—шептала она: — я не пойду. Зачѣмъ онъ зоветъ! ужели въ эти дни совершился переворотъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть, чтобы онъ...

Она стала на порогѣ часовни на колѣни, закрыла руками лицо и замерла неподвижно. Райскій тихо подошелъ къ ней сзади.

— Не ходи, Вѣра...—шепталъ онъ.

Она вздрогнула, но глядѣла напряженно на образъ: глаза его смотрѣли задумчиво, безстрастно. Ни одного луча не свѣтилось въ нихъ, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она съ ужасомъ выпрямилась, медленно вставая съ колѣнъ; Бориса она будто не замѣчала.

Раздался другой выстрѣлъ. Она стремительно бросилась по лугу къ обрыву.

«Что, ежели онъ возвращается... если моя «правда» взяла верхъ? Иначе, зачѣмъ зоветъ?.. О, Боже!» думала она, стремясь на выстрѣлъ.

— Вѣра! Вѣра!—въ ужасѣ говорилъ Райскій, протягивая ей руки, чтобъ ей помѣшать.

Она, не глядя на него, своей рукой устранила его руки, и едва касаясь ногами травы, понеслась по лугу, не оглянулась назадъ и скрылась за деревьями сада, въ аллеѣ, ведущей къ обрыву.

Райскій онѣмѣлъ на мѣстѣ.

— Что это, тайна роковая, или страсть? — спрашивалъ онъ:—или и то, и другое?

III.

Вѣра вечеромъ пришла къ ужину, угрюмая, попросила молока, съ жадностью выпила стаканъ и ни съ кѣмъ не сказала ни слова.

— Что ты такая скучная, Вѣрочка, здорова ли?— спросила бабушка сухо.

— Да, я не смѣлъ васъ спросить объ этомъ, — вѣжливо вмѣшался Титъ Никонычъ: — но съ нѣкоторыхъ поръ (при этомъ Вѣра сдѣлала движеніе плечами) нельзя не замѣтить, что вы, Вѣра Васильевна, измѣнились... какъ будто похудѣли... и блѣдны немножко... Это къ вамъ очень, очень идетъ,—любезно прибавилъ онъ:—но при этомъ надо обращать вниманіе на то, не суть ли это признаки болѣзни?..

— Да у меня зубы немного болятъ, — нехотя отвѣчала Вѣра.—Это скоро пройдетъ...

Бабушка глядѣла въ сторону и грустно молчала. Райскій, держа двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударялъ ею по тарелкѣ. Онъ тоже ничего не ѣлъ и угрюмо молчалъ. Только Марѳинька съ Викентьевымъ ѣли все, что подавали, и безъ умолку болтали.

— Что вы этому шарику пожелаете?—спрашивала Марѳинька.

— Крысу за пазуху!—безъ запинки отвѣчалъ Викентьевъ.

— Что вы это! Я бабушкѣ загадала...

И оба старались задушить неистовый хохотъ, справившись съ которымъ, Марѳинька разсердилась на своего жениха «за дерзость» противъ бабушки.

— Позвольте посовѣтовать вамъ, Вѣра Васильевна,—началъ Титъ Никонычъ, отвѣчая на возраженіе Вѣры: — не пренебрегать здоровьемъ. Теперь августъ, вечера становятся сыры. Вы дѣлаете продолжительныя прогулки — это прекрасно, ничто такъ не поддерживаетъ здоровья, какъ свѣжій воздухъ и моціонъ. Но при этомъ отнюдь не должно позволять себѣ выходить по вечерамъ съ открытой головой, а равно и безъ ботиновъ на толстой подошвѣ. Особенно дамамъ при нѣжной комплексіи... Всего лучше при этомъ брать съ собой косыночку теплую... Я видѣлъ, только что привезли модныя, изъ легкаго козьяго пуха... Я уже пріі-

обрѣлъ три... вамъ, Татьянѣ Марковнѣ и Марѳѣ Васильевнѣ... но безъ вашего позволенія не смѣлъ представить...

Бабушка съ ласковой грустью кивнула ему головой, Вѣра старалась улыбнуться, а Марѳинька безъ церемоніи сказала:

— Ахъ, какой вы добрый, Титъ Никонычъ! послѣ ужина я поцѣлую васъ: вы позволите?

— Я не позволю, я ревнивъ!—сказалъ Викентьевъ.

— Васъ не спросятъ!—отвѣчала Марѳинька.

Титъ Никонычъ заливался застѣнчивымъ смѣхомъ.

— Къ вашимъ услугамъ, Марѳа Васильевна!.. сочту себя счастливымъ...—приговаривалъ онъ.—Какая отмѣнная дѣвица!—вполголоса добавилъ онъ, обращаясь къ Райскому:—это распускающаяся, такъ-сказать, роза на стебелькѣ, до коей даже дыханіе вѣтерка не смѣетъ коснуться!

И чмокнулъ умиленно губами.

«Да, правда, роза въ полномъ блескѣ!» подумалъ Райскій со вздохомъ: «а та—какъ лилія, «до коей» уже, кажется, касается не вѣтерокъ, а ураганъ».

Онъ глядѣлъ на Вѣру. Она встала, поцѣловала руку у бабушки, вмѣсто поклона взглядомъ простилась съ остальными и вышла.

И другіе встали изъ-за стола. Марѳинька подбѣжала къ Титу Никонычу и исполнила свое намѣреніе.

— Нельзя ли прислать косыночку завтра?—шептала она ему:—мы утромъ съ Николаемъ Андреичемъ на Волгу уйдемъ... она понадобится...

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ!..—говорилъ Титъ Никонычъ, шаркая:—самъ завезу...

Она еще поцѣловала его въ лобъ и бросилась къ бабушкѣ...

— Ничего, ничего, бабушка! — говорила она, заминая вопросъ Татьяны Марковны о томъ, «что она тамъ шепчетъ Титу Никонычу?» Но не замяла.

Титъ Никонычъ не могъ солгать Татьянѣ Марковнѣ и,

смягчая, извиняя всячески просьбу Мароиньки, передалъ бабушкѣ.

— Попрошайка! — упрекнула ее Татьяна Марковна:— иди спать—поздно! А вамъ, Николай Андреичъ, домой пора. Съ Богомъ, покойной ночи!

— Я васъ завезу — по обыкновенію: у меня дрожки,— сказалъ любезно Титъ Никонычъ.

Едва Вѣра вышла, Райскій ускользнулъ вслѣдъ за ней и тихо шелъ сзади. Она подошла къ рощѣ, постояла надъ обрывомъ, глядя въ темную бездну лѣса, лежащую у ея ногъ, потомъ завернулась въ мантилью и сѣла на свою скамью.

Райскій издали далъ знать о себѣ кашлемъ и подошелъ къ ней.

— Я посижу съ тобой, Вѣра,—сказалъ онъ:—можно?

Она молча отодвинулась, чтобъ дать ему мѣсто.

— Ты очень печальна, ты страдаешь!

— Зубы болятъ...—отвѣчала она.

— Нѣтъ, не зубы — ты вся болишь; скажи мнѣ... что у тебя? Подѣлись горемъ со мной...

— Зачѣмъ? я сумѣю снести одна. Вѣдь я не жалуюсь.

Онъ вздохнулъ.

— Ты любишь несчастливо—кого?—шепнулъ онъ.

— Опять «кого»? Да васъ, Боже мой!—сказала она, съ нетерпѣніемъ повернувшись на скамьѣ.

— Къ чему этотъ злой смѣхъ и за что? Чѣмъ я заслужилъ его? Тѣмъ, что страстно люблю, глупо вѣрю и радъ умереть за тебя...

— Какой смѣхъ! мнѣ не до смѣха!—почти съ отчаяніемъ сказала она, встала со скамьи и начала ходить взадъ и впередъ по аллеѣ.

Райскій оставался на скамьѣ.

«А я все надѣялась... и надѣюсь еще... безумная. Боже мой!» ломая руки, думала она. «Попробую бѣжать на не-

дѣло, на двѣ, избавиться этой горячки, хоть на время... вздохнуть! силъ нѣтъ!»

Она остановилась передъ Райскимъ.

— Братъ! — сказала она: — я завтра уѣду за Волгу,— пробуду тамъ, можетъ-быть, долѣе обыкновеннаго...

— Этого только недоставало! — горестно произнесъ Райскій, не давъ договорить.

— Я не простилась съ бабушкой, — продолжала она, не обращая вниманія на его слова: — она не знаетъ, скажите вы ей, а я уѣду на зарѣ.

Онъ молчалъ, уничтоженный.

— Теперь и я уѣду!—вслухъ подумалъ онъ.

— Напрасно, погодите... — сказала она, съ примѣсью будто искренности:—когда я немного успокоюсь...

Она на минуту остановилась.

— Я, можетъ-быть, объясню вамъ... И тогда мы простимся съ вами иначе, лучше, какъ братъ съ сестрой, а теперь... я не могу!.. Впрочемъ, нѣтъ! — поспѣшно заключила, махнувъ рукой:—уѣзжайте! Да окажите дружбу, зайдите въ людскую и скажите Прохору, чтобъ въ пять часовъ готова была бричка, а Марину пошлите ко мнѣ. На случай, если вы уѣдете безъ меня, — прибавила она задумчиво, почти съ грустью: — простимтесь теперь! Простите меня за мои странности... (она вздохнула) и примите поцѣлуй сестры...

Она обѣими руками взяла его голову, поцѣловала въ лобъ и быстро пошла прочь.

— Благодарю васъ за все, — сказала она, вдругъ обернувшись, издали:—теперь у меня нѣтъ силъ доказать, какъ я благодарна вамъ за дружбу... всего болѣе за этотъ уголокъ. Прощайте и простите меня!

Она уходила. Онъ былъ въ оцѣпенѣніи. Для него пустъ былъ цѣлый міръ, кромѣ этого угла, а она посылаетъ его

изъ него туда, въ безконечную пустыню! Невозможно заживо лечь въ могилу!

— Вѣра!—кликнулъ онъ, торопливо догнавъ ее.

Она остановилась.

— Позволь мнѣ остаться, пока ты тамъ... Мы не будемъ видѣться, я надоѣдать не стану! Но я буду знать, гдѣ ты, буду ждать, пока ты успокоишься и—по обѣщанію—объяснишь... Ты сейчасъ сама сказала... Здѣсь близко, можно перекинуться письмомъ...

Онъ поводилъ языкомъ по горячимъ губамъ и кидалъ эти фразы торопливо, отрывисто, какъ будто боялся, что она уйдетъ сію минуту и пропадетъ для него навсегда.

У него была молящая мина, онъ протянулъ руку къ ней. Она молчала нерѣшительно, тихо подходя къ нему.

— Дай этотъ грошъ нищему... Христа ради! — шепталъ онъ страстно, держа ладонь передъ ней: — дай еще этого рая и ада вмѣстѣ! дай жить, не зарывай меня живого въ землю!.. — едва слышно договаривалъ онъ, глядя на нее съ отчаяніемъ.

Она глядѣла ему во всѣ глаза и сдѣлала движеніе плечами, какъ будто чувствовала ознобъ.

— Чего вы просите сами не знаете...—тихо отвѣчала она.

— Христа ради! — повторялъ онъ, не слушая ее и все держа протянутую ладонь.

А она задумалась, глядя на него изрѣдка, то съ состраданіемъ, то недовѣрчиво.

— Хорошо, оставайтесь! — прибавила потомъ рѣшительно: — пишите ко мнѣ, только не проклинайте меня, если ваша «страсть», — съ небрежной ироніей сдѣлала она удареніе на этомъ словѣ: — и отъ этого не пройдетъ? «А можетъ быть и пройдетъ...» подумала сама, глядя на него: «вѣдь это такъ, фантазія!»

— Все вынесу—всѣ казни!.. Скорѣе бы не вынесъ счастья!

а мýки... дай ихъ мнѣ: онѣ — тоже жизнь! Только не гони, не удаляй: поздно!

— Какъ хотите! — отвѣчала она разсѣянно, о чемъ-то думая.

Онъ ожилъ, у него нервы заиграли.

А она думала съ тоской: «зачѣмъ не *онъ* говоритъ это!»

— Хорошо, — сказала она: — такъ я уѣду не завтра, а послѣзавтра.

И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то, не то надежда на что-то, не то замыселъ. Оба стали вдругъ довольны, каждый про себя и другъ другомъ.

— Позовите только Марину ко мнѣ теперь же — и покойной ночи!

Онъ съ жаромъ поцѣловалъ у ней руку, и они разошлись.

IV.

Вѣра, на другой день, утромъ рано, дала Маринѣ записку и велѣла отдать кому-то, и принести отвѣтъ. Послѣ отвѣта она стала веселѣе, ходила гулять на берегъ Волги, и вечеромъ, попросившись у бабушки на ту сторону, къ Натальѣ Ивановнѣ, простилась со всѣми, и уѣзжая, улыбнулась Райскому, прибавивъ, что не забудетъ его.

Черезъ день пришелъ съ Волги утромъ рыбакъ и принесъ записку отъ Вѣры, съ нѣсколькими ласковыми словами. Выраженія: «милый братъ», «надежды на лучшее будущее», «рождающаяся искра нѣжности, которой не хотятъ дать ходу» и т. д. обдали Райскаго искрами счастья.

Онъ охмелѣлъ отъ письма, вытвердилъ его наизусть—и къ нему воротилась увѣренность къ себѣ, вѣра въ Вѣру, которая являлась ему теперь въ какомъ-то свѣтѣ правды, чистоты, граціи, нѣжности.

Онъ забылъ свои сомнѣнія, тревоги, синія письма, обрывъ, бросился къ столу и написалъ коротенькій нѣжный отвѣтъ, отослалъ его къ Вѣрѣ, а самъ погрузился въ какія-то хао-

тическія ощущенія страсти. Вѣры не было передъ глазами; сосредоточенное, напряженное наблюденіе за ней раздробилось въ мечты, или обращалось къ прошлому, уже испытанному. Онъ отъ мечтаній бросился къ пытливому исканію «ключей» къ ея тайнамъ.

Онъ смотритъ, ищетъ, освѣщаетъ темныя мѣста своего идеала, пытаетъ собственный умъ, совѣсть, сердце, требуя опыта, наставленія — чего хотѣлъ и проситъ отъ нея, чего недостаетъ для полной гармоніи красоты? Прислушивался къ своей жизни, припоминалъ все, что оскорбляло его въ его прежнихъ, несостоявшихся идеалахъ.

Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотомъ, брильянтами и румянами, — густыми волнами опять протекла мимо его. Онъ припомнилъ свои страданія, горькія оскорбленія, вынесенныя имъ въ битвахъ жизни: какъ падали его модели, какъ падалъ онъ самъ вмѣстѣ съ ними, и какъ вставалъ опять, не отчаиваясь и требуя отъ женщинъ человѣчности, гармоніи, красоты наружной съ красотой внутренней.

Ему предчувствіе говорило, что это послѣдній опытъ, что въ Вѣрѣ онъ, или найдетъ, или потеряетъ уже навсегда свой идеалъ женщины, разобьетъ свою статую въ куски и потушитъ діогеновскій фонарь.

Онъ мучился тѣмъ, что видѣлъ въ ней, среди лучей, туманное пятно—ложь. Отчего эта загадочность, исчезаніе по цѣлымъ днямъ, таинственныя письма, прятанье, умалчиваніе, подъ которымъ ползла, можетъ-быть, грубая интрига, или крылась роковая страсть, или какая-то неуловимая тайна—что, наконецъ? «Своя воля, горда», говоритъ бабушка.— «Свободы хочу, независимости», подтверждаетъ она сама, а между тѣмъ, прячется и хитритъ! Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идутъ избраннымъ путемъ, презирая ложь и мышиную бѣготню и вынося мужественно всѣ послѣдствія смѣлыхъ и своевольныхъ шаговъ!

«Признайся въ нихъ, не прячься — и я поклонюсь твоей честности!» говорилъ онъ. У своевольныхъ женщинъ—свои понятія о любви, добродѣтели, о стыдѣ, и онѣ мужественно несутъ терніи своихъ пороковъ. Вѣра проповѣдуетъ своеобразіе понятій, а сама не слѣдуетъ имъ открыто, она скрывается, обманываетъ его, бабушку, весь домъ, весь городъ, цѣлый міръ!

Нѣтъ, это не его женщина! За женщину страшно, за человѣчество страшно,—что женщина можетъ быть честной только случайно, когда любитъ, передъ тѣмъ только, кого любитъ, и только въ ту минуту, когда любитъ или тогда, наконецъ, когда природа отказала ей въ красотѣ, слѣдовательно—когда нѣтъ никакихъ страстей, никакихъ соблазновъ и борьбы, и нѣтъ никому дѣла до ея правды и лжи!

— Ложь—это одно изъ проклятій сатаны, брошенное въ міръ...—говорилъ онъ.—Не можетъ быть въ ней лжи...—утѣшался потомъ, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ея лица, этого отраженія души. Какой правдой дышало оно! «Красота—сама сила: зачѣмъ ей другая, непрочная сила—ложь!» — «Однако!»—потомъ съ унынiемъ думалъ онъ, добираясь до правды:—отчего вдругъ тутъ же, подъ носомъ, выросло у него это «однако»? Выросло оно изъ опытовъ его жизни, выглянуло изъ многихъ женскихъ знакомыхъ ему портретовъ, почти изъ всѣхъ любвей его... Любвей!

Онъ залился заревомъ стыда и закрылъ лицо руками.

«Любви! встрѣчи безъ любви»!—терзался онъ внутренно:—«какое заклятіе лежитъ надъ людскими правами и понятіями! Мы, сильный полъ, отцы, мужья, братья и дѣти этихъ женщинъ, мы важно осуждаемъ ихъ за то, что сорятъ собой и валяются въ грязи, бѣгаютъ по кровлямъ... Клянемъ—и развращаемъ въ то же время! Мы не оглянемся на самихъ себя, снисходительно прощаемъ себѣ... собачьи встрѣчи!.. открыто, всенародно носимъ свой позоръ, свою

петрезвость, казня ихъ въ женщинѣ! Вотъ гдѣ оба пола должны довоспитаться другъ до друга, идти параллельно, не походя, одни—на собакъ, другія—на кошекъ, и оба вмѣстѣ—на обезьянъ! Тогда и кончится этотъ нравственный разладъ между двумя полами, эта путаница понятій, эти взаимные обманы, нареканія, измѣны! А то выдумали двѣ нравственности: одну для себя, другую для женщинъ!»

Онъ погрузился въ собственныя воспоминанія о раннихъ годахъ молодости — и легъ на диванъ. Долго лежалъ онъ, закрывъ лицо, и всталъ блѣдный, истерзанный внутренней мукой. «Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И цѣлые вѣка проходятъ, цѣлыя поколѣнія идутъ, утопая въ омутѣ нравственнаго и физическаго разврата—и никто, ничто не останавливаетъ этого мутнаго потока слѣпо распутной жизни! Развратъ выработалъ себѣ свои обычаи, почти принципы, и царствуетъ въ людскомъ обществѣ, среди хаоса понятій и страстей, среди анархіи нравовъ...»

Потомъ опять бросался къ Вѣрѣ, отыскивая тамъ луча чистоты, правды, незараженныхъ понятій, незлоупотребленнаго чувства, красоты души и тѣла, нераздѣльно-истинной красоты!

Онъ перебиралъ каждый ея шагъ, какъ судебный слѣдователь, и то дрожалъ отъ радости, то впадалъ въ уныніе, и выходилъ изъ омута этого анализа ни безнадежнѣе, ни увѣреннѣе, чѣмъ былъ прежде, а все съ той же мучительной неизвѣстностью, какъ купающійся человѣкъ, который, думая, что нырнулъ далеко, выплываетъ опять на прежнемъ мѣстѣ.

Онъ старался оправдать загадочность ея поведенія съ нимъ, припоминая свой быстрый натискъ: какъ онъ вдругъ предъявилъ свои права на ея красоту, свое удивленіе послѣдней, поклоненіе, восторги, вспоминалъ, какъ она сначала небрежно, а потомъ энергически отмахивалась отъ его настояній, какъ явно смѣялась надъ его страстью, не вѣ-

рила и не вѣритъ ей до сихъ поръ, какъ удаляла его отъ себя, отъ этихъ мѣстъ, убѣждала уѣхать, а онъ напросился остаться!

«Да она права, я виноватъ!» думалъ онъ, теряясь въ соображеніяхъ.

Потомъ онъ вспомнилъ, какъ онъ хотѣлъ усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, какъ гладятъ злую собаку, готовую броситься, чтобъ задобрить ее— и пятясь задомъ, уйти по-добру по-здорову. Зачѣмъ она тогда не открыла ему имени своего идола, когда увѣрена была, что это мигомъ отняло бы всѣ надежды у него и страсть остыла бы мгновенно?

Чего это ей стоило? Ничего! Она знала, что тайна ея останется тайной, а между тѣмъ молчала и какъ-будто умышленно разжигала страсть. Отчего не сказала? Отчего не дала ему уѣхать, а просила остаться, когда даже онъ велѣлъ... Егоркѣ принести съ чердака чемоданъ? Кокетничала—стало-быть, обманывала его! И бабушкѣ не велѣла сказывать, честное слово взяла съ него—стало-быть, обманываетъ и ее, и всѣхъ!

«Она, она виновата!»

Онъ сталъ писать дневникъ. Полились волны поэзіи, импровизаціи, полныя, то нѣжнаго умиленія и поклоненія, то живой, ревнивой страсти и всѣхъ ея бурныхъ и горячихъ воплей, пѣсенъ, мукъ, счастья.

Самую любовь онъ обставлялъ всей прелестью декорацій, какою обставила ее человѣческая фантазія, осмысливая ее нравственнымъ чувствомъ и полагая въ этомъ чувствѣ, какъ въ разумѣ, «и можетъ быть, тутъ и именно болѣе, нежели въ разумѣ» (писалъ онъ) бездну, отдѣлившую человѣка отъ всѣхъ не человѣческихъ организмовъ. «Великая любовь неразлучна съ глубокимъ умомъ: широта ума равняется глубинѣ сердца — оттого крайнихъ вершинъ гуманности достигаютъ только великія сердца — они же и великіе умы!»

проповѣдывалъ онъ. Измѣнялись краски этого волшебнаго узора, который онъ подбиралъ, какъ художникъ и какъ нѣжный влюбленный, измѣнялся безпрестанно онъ самъ, то падая въ прахъ къ ногамъ идола, то вставая и громя хохотомъ свои мѵки и счастье. Не измѣнялась только нигдѣ его любовь къ добру, его здравый взглядъ на нравственность. «Вѣруй въ Бога, знай, что дважды два четыре, и будь честный человѣкъ, говоритъ гдѣ-то Вольтеръ», писалъ онъ: «а я скажу—люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью!»

«Честная женщина!»—писалъ онъ: «требовать этого, значитъ требовать всего. Да, это все! Но не требовать этого, значитъ тоже ничего не требовать, оскорблять женщину, ея человѣческую натуру, творчество Бога, значитъ, прямо и грубо отказывать ей въ правахъ на равенство съ мужчиной, на что женщины справедливо жалуются. Женщина—вѣнецъ созданія,—да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже вѣнцомъ созданія, Венерой кошечьей породы! женщина—Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетаніе красоты формъ съ красотой духа, любящая и честная, т. е. идеалъ женскаго величія, гармонія красоты!»

Все это глубокомысліе сбывалъ Райскій въ дневникъ, съ надеждой прочесть его при свиданіи Вѣрѣ, а съ ней продолжалъ мѣняться коротенькими, дружескими записками.

Отъ пера онъ бросался къ музыкѣ и забывался въ звукахъ, прислушиваясь самъ съ любовью, какъ они пѣли ему его же страсть и гимны красотѣ. Ему хотѣлось бы поймать эти звуки, формулировать въ стройномъ созданіи гармоніи.

Изъ этихъ волнъ звуковъ очертывалась у него въ фантазіи какая-то музыкальная поэма: онъ силился уловить тайну созданія и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыгралъ на четвертое утро напи-

санное, вышла... полька-редова, но такая мрачная и грустная, что онъ самъ разливался въ слезахъ, играя ее.

Онъ удивился такому скудному результату своихъ роскошныхъ импровизацій, положенныхъ на бумагу, и со вздохомъ сознался, что одной фантазіей не одолѣешь музыкальной техники.

«Что если и съ романомъ выйдетъ у меня то же самое?...» задумывался онъ. «Но теперь еще—не до романа: это послѣ, послѣ, а теперь — Вѣра на умѣ, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая!»

Онъ ходилъ по дому, по саду, по деревнѣ и полямъ, точно сказочный богатырь, когда былъ въ припадкѣ счастья, и столько силы носилъ въ своей головѣ, сердцѣ, во всей нервной системѣ, что все цвѣло и радовалось въ немъ.

Мысль его плодотворна, фантазія производительна, душа открыта для добра, дѣятельности и любви — не къ одной Вѣрѣ, но общей любви ко всякому живому созданію. На все льются лучи его мягкости, ласки, заботы, вниманія.

Онъ чутко понимаетъ потребность, не только другого, ближняго, несчастнаго, и спѣшитъ подать руку помощи, утѣшенія, но входитъ даже въ положеніе — вонъ этой ползущей букашки, которую бережно сажаетъ съ дорожки на кустъ, чтобъ уберечь отъ ноги прохожаго.

Онъ бы написалъ Рафаэлеву Мадонну въ эти минуты счастья, если бъ она не была уже написана, изваялъ бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерскаго, создалъ бы снова храмъ Петра!

Въ моменты мукъ, напротивъ, онъ былъ худъ, блѣденъ, боленъ, не ѣлъ, и ходилъ по полямъ, ничего не видя, забывая дорогу, спрашивая у встрѣчныхъ мужиковъ, гдѣ Малиновка, направо или налѣво?

Тогда онъ былъ сухъ съ бабушкой и Марѳинькой, грубъ съ прислугой, не спалъ до разсвѣта, а если и засыпалъ,

то труднымъ, болѣзненнымъ сномъ, продолжая и во снѣ переживать пытку.

Иногда онъ оглядывался вокругъ себя, какъ-будто спрашивая глазами у всѣхъ: «гдѣ я и что вы за люди?»

Марѳинька немного стала бояться его. Онъ, большею частію, запирался у себя на верху, и тамъ—или за дневникомъ, или ходя по комнатѣ, говоря самъ съ собой, или опять за фортепіано, выбрасывалъ, какъ онъ живописно выражался, «пѣну страсти».

Егорка провертѣлъ щель въ деревянной, оклеенной бумагой перегородкѣ, отдѣлявшей кабинетъ Райскаго отъ коридора, и подглядывалъ за нимъ.

— Ну, дѣвки, покажу я вамъ диковинку!—сказалъ онъ, плюнувъ сквозь зубы въ сторону:—пойдемте, Пелагея Петровна, къ барину, къ Борису Павловичу, въ щелку посмотрѣть; въ тіатръ не надо ходить: какъ онъ тамъ «дѣйствуетъ»!..

— Некогда мнѣ, гладить надо,—сказала та, грѣя утюгъ.

— Ну, вы, Матрена Семеновна?

— А кто жъ комнату Марѳы Васильевны уберетъ? Ты, что ли?

— Что за чортъ, не дозовешься ни одной! — сказалъ съ досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы: — а я тамъ вертѣлъ-вертѣлъ буравомъ!

— Покажи мнѣ, что тамъ такое!—напрашивалась любопытная Наталья, одна изъ плетельщицъ кружевъ у Татьяны Марковны.

— Вы — распрекрасная дѣвица, Наталья Ѳаддеевна, — сказалъ Егорка нѣжно: — словно — барышня! Я бы — не то что въ щелку далъ вамъ посмотрѣть, руку и сердце предложилъ бы—только... рожу бы вамъ другую!..

Прочія дѣвки засмѣялись, а та обидѣлась.

— Ругатель!—сказала она, уходя изъ комнаты: — право, ругатель!

— А то вы, — договаривалъ Егорка ей вслѣдъ: — больно ужъ на тятеньку своего смахиваете съ рыла-то, на Ѳаддея Ильича!

И захихикалъ.

Однако онъ убѣдилъ первыхъ двухъ пойти и посмотрѣть. Всѣ смотрѣли по очереди въ щель.

— Глядите, глядите, какъ заливается, плачетъ никакъ! — говорилъ Егорка, толкая то одну, то другую къ щели.

— Взаправду плачетъ, сердечный! — сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочетъ ли? И такъ хохочетъ! Смотрите, смотрите!

Всѣ трое присѣли и всѣ захихикали.

— Экъ его разбираетъ!—говорилъ Егорка:—врѣзамшись, должно-быть, въ Вѣру Васильевну...

Пелагея ткнула его кулакомъ въ бокъ.

— Что ты врешь, поганецъ!—замѣтила она со страхомъ:— ври, да не смѣй трогать барышень! Вотъ узнаетъ барыня... Пойдемте прочь!

А Райскій и плакалъ, и смѣялся чуть ли не въ одно и то же время, и все искренно «дѣйствовалъ», т.-е. плакалъ и смѣялся больше художникъ, нежели человѣкъ, повинуясь первымъ.

Онъ въ чистыхъ формахъ все выливалъ образъ Вѣры, и чертя его безсознательно и непритворно, чертилъ и образъ своей страсти, отражая въ ней, иногда наивно и смѣшно, и все, что было свѣтлаго, честнаго въ его собственной душѣ, и чего требовала его душа отъ другого человѣка и отъ женщины.

— Что ты все пишешь тамъ? — спрашивала Татьяна Марковна:—драму или все романъ, что ли?

— Не знаю, бабушка, пишу жизнь — выходитъ романъ; пишу романъ, выходитъ жизнь. А что будетъ окончательно — не знаю.

— Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, только бы не плакало,— замѣтила она, и почти вѣрно опредѣлила этой пословицей значенія писанья Райскаго.

У него уходило время, сила фантазіи разрѣшалась естественнымъ путемъ, и онъ не замѣчалъ жизни, не зналъ скуки, никуда и ничего не хотѣлъ.

— Зачѣмъ только ты пишешь все по ночамъ? — сказала она.—Смерть—боюсь... Ну, какъ заснешь надъ своей драмой! И шутка ли, до свѣта? вѣдь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желтъ, какъ переспѣлый огурецъ...

Онъ смотрѣлся въ зеркало, и самъ поражался перемѣной въ себѣ. Желтыя пятна легли на вискахъ и около носа, а въ черныхъ густыхъ волосахъ появились замѣтныя сѣдины.

«Зачѣмъ я брюнетъ, а не блондинъ?» роптalъ онъ. «Десятью годами раньше состарѣюсь!

— Ничего, бабушка, не обращайте вниманія на меня,— отвѣчалъ онъ:—дайте свободу... Не спится! иногда и радъ бы, да не могу.

— И онъ «свободу», какъ Вѣра!

Она вздохнула.

— Далась имъ эта свобода; точно бабушка ихъ въ кандалахъ держитъ! Писалъ бы, да не по ночамъ,—прибавила она: — а то я не сплю покойно. Въ которомъ часу ни поглядишь, все огонь у тебя...

— Ручаюсь, бабушка, что пожара не сдѣлаю, хоть самъ сгорю весь...

— О, типунъ тебѣ на языкъ! — перебила она сердито, кропая что-то сама иглой надъ приданымъ Марѳиньки, хотя тутъ хлопотали около разложенныхъ столовъ десять швей.

Но она не могла видѣть другихъ за работой, чтобъ и самой не пристать тутъ же, какъ Викентьевъ не могъ не засмѣяться и не заплакать, когда смѣялись и плакали другіе.

— Не дразни судьбу, не накликай на себя! — прибавила она.—Помни: языкъ мой—врагъ мой!

Онъ вдругъ вскочилъ съ дивана и бросился къ окну, а потомъ въ дверь и скрылся.

— Мужикъ идетъ съ письмомъ отъ Вѣры!—сказалъ онъ, уходя.

— Вишь какъ, точно родному отцу обрадовался. А сколько свѣчей изводитъ онъ съ этими романами да драмами: по четыре свѣчки за ночь! — разсуждала экономная бабушка шопотомъ.

V.

Райскій получилъ нѣсколько строкъ отъ Вѣры. Она жаловалась, что скучаетъ тамъ, и дѣйствительно, по нѣкоторымъ фразамъ, видно было, что ее тяготитъ уединеніе.

Она писала, что желаетъ видѣть его, что онъ ей нуженъ, и впереди будетъ еще нужнѣе, что «безъ него она жить не можетъ»—и иногда записка разрѣшалась въ какой-то смѣхъ, который, какъ русалочное щекотанье, производилъ въ немъ зудъ и боль.

Но несмотря на этотъ смѣхъ, таинственная фигура Вѣры манила его все въ глубину фантастической дали. Вѣра шла будто отъ него въ туманѣ покрывала; онъ стремился за ней, касался покрывала, хотѣлъ открыть ея тайны и узнать, что за Изида передъ нимъ.

Онъ только-что коснется покрывала, какъ она ускользнетъ, уйдетъ дальше. Онъ блаженствовалъ и мучился двойными радостями и муками, и человѣка, и художника, не зная самъ, гдѣ является одинъ, когда исчезаетъ другой и когда оба смѣшиваются.

Получая изрѣдка ея краткія письма, гдѣ дружескій тонъ смѣшивался съ ядовитымъ смѣхомъ надъ его страстью, надъ стремленіями къ идеаламъ, надъ игрой его фантазіи, которою онъ нерѣдко сверкалъ въ разговорахъ съ ней, онъ самъ

заливался искреннимъ смѣхомъ и потомъ почти плакалъ отъ грусти и отъ безсилія разсказать себя, далъ ключъ къ своей натурѣ.

— Не понимаетъ, бѣдная, — рокталъ онъ: — что казнить за фантазію, это все равно, что казнить человѣка за то, что у него тѣнь велика: зачѣмъ покрываетъ цѣлое поле, растетъ выше зданія! И не вѣритъ страсти! Посмотрѣла бы она, какъ этотъ удавъ тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотомъ, когда его грѣетъ и освѣщаетъ солнце, и какъ блѣднѣетъ, ползя во мракѣ, шипя и грозя острыми зубами! Пусть бы пришли сюда и знатоки, и толкователи такъ-называемыхъ тайнъ сердца и страстей, и выложили бы тутъ свои понятія и философію, добытую съ досокъ Михайловскаго театра. «Нельзя любить, когда оскорблено самолюбіе».—«Любовь—это эгоизмъ à deux»—«любовь проходитъ, когда не раздѣлена» и т. п. сыплютъ они свои сентенціи.

— А вотъ она, эта страсть,—говорилъ онъ:—не угодно ли попробовать! Меня толкаютъ, смѣются—а я все люблю, и какъ люблю! Не какъ «сорокъ тысячъ братьевъ, — мало отпустилъ Шекспиръ—а какъ всѣ люди вмѣстѣ. Всѣ образы любви ушли въ эту мою любовь. Я люблю, какъ Леонтій любитъ свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью, люблю сосредоточенной страстью, какъ этотъ серьезный Савелій, люблю какъ Викентьевъ, со всею веселостью и рѣзвостью жизни, люблю какъ любитъ, можетъ-быть, Тушинъ, удивляясь и поклоняясь втайнѣ, и люблю, какъ любитъ бабушка свою Вѣру — и наконецъ еще какъ никто не любитъ, люблю такою любовью, которая дана Творцомъ и которая, какъ океанъ, омываетъ вселенную...

— А если сократить все это въ одно слово,—вдругъ отрезвившись на минуту заключилъ онъ: — то выйдетъ: «люблю, какъ художникъ», т.-е. всею силою необузданной... или разнузданной фантазіи!»

Его увлекалъ процессъ писанья, какъ процессъ неумышленнаго творчества, гдѣ передъ его глазами, пестрымъ узоромъ, неслись его собственныя мысли, ощущенія, образы. Листки эти однако мѣшали ему забыть Вѣру, чего онъ искренно хотѣлъ, и питали страсть, т.-е. воображеніе.

«А она не поймет этого», печально думалъ онъ: «и сочтетъ эти, ею внушенныя и ей посвященныя произведенія фантазіи — за любовную чепуху! Ужели и она не поймет: женщина! А у ней, кажется, уши такія маленькія, умныя»...

«Да умна ли она? Вѣдь у насъ часто за умъ, особенно у женщинъ, считаютъ одну только, до-нѣльзя изощренную низшую его степень — хитрость, и женщины даже кичатся, что владѣютъ этимъ тонкимъ орудіемъ, этимъ умомъ кошки лисы, даже нѣкоторыхъ насѣкомыхъ! Это пассивный умъ, способность таиться, избѣгать опасности, прятаться отъ силы, отъ угнетенія».

«Такой умокъ выработала себѣ между прочимъ, въ долгомъ угнетеніи, обезсилѣвшая и разсѣянная цѣлая еврейская нація, тайкомъ пробиравшаяся сквозь человѣческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существованіе».

«Этотъ умокъ помогаетъ съ успѣхомъ пробавляться въ обиходной жизни, дѣлать мелкія дѣлишки, прятать грѣшки и т. д. Но когда женщинамъ возвратятъ ихъ права — эта тонкость, полезная въ мелочахъ и почти всегда вредная въ крупныхъ, важныхъ дѣлахъ, уступитъ мѣсто прямой человѣческой силѣ—уму».

Когда онъ отрывался отъ дневника и трезво жилъ день, другой, Вѣра опять стояла безукоризненна въ его умѣ. Сомнѣнія, подозрѣнія, оскорбленія—сами по себѣ были чужды его натурѣ, какъ и доброй, честной натурѣ Отелло. Это были случайныя искаженія и опустошенія, продукты страсти и неизвѣстности, бросавшей на все ложныя и мрачныя краски.

Однажды, въ ея запискѣ, послѣ дружескихъ, нѣжно-насмѣшливыхъ изліяній, была слѣдующая приписка послѣ словъ: «ваша Вѣра»:

«Другъ и братъ мой! Вы научили меня любить и страдать. Вы подѣлились со мной силами души своей, вложили, кажется, въ меня и самую вашу нѣжную, любящую душу... И вотъ эта нѣжность ваша внушаетъ мнѣ смѣлость подѣлиться съ вами добрымъ дѣломъ. Здѣсь есть одинъ несчастный, изгнанный изъ родины... На немъ тяготѣетъ подозрѣніе правительства... Ему некуда приклонить голову, всѣ отъ него отступились, одни по равнодушію, другіе по боязни. Вы любите ближняго и не можете быть равнодушны, еще менѣе можете бояться добраго, чистаго, святого дѣла. У него нѣтъ ни гроша денегъ, ни платья, а на дворѣ осень...

«Я не прибавляю къ этому ничего; здѣсь все правда, каждое слово: ваша Вѣра не солжетъ вамъ. Если сердце ваше, въ чемъ я не сомнѣваюсь, скажетъ вамъ, что надо дѣлать, то пошлите ваше пособіе на имя дьячихи Секлетеи Бурдалаховой, дойдетъ вѣрно: я сама буду наблюдать. Но сдѣлайте такъ, чтобъ бабушка не замѣтила ничего, и никто въ домѣ.

«Можетъ-быть — и весьма естественно — вы затруднитесь, какъ велика должна быть сумма, то рублей трехсотъ, даже двухсотъ двадцати — будетъ довольно ему на цѣлый годъ. Да если бъ вы прислали пальто и жилетъ изъ осенняго трико, — (видите, какъ я вѣрю въ нѣжность вашей души вообще, и въ любовь ко мнѣ въ особенности, что даже и мѣру прилагаю, которую снялъ съ него деревенскій портной!), то этимъ вы защитите бѣдняка и отъ холода.

«Затѣмъ я уже не смѣю напоминать о тепломъ одѣялѣ — это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мнѣ: это до другого раза! Къ зимѣ бѣдный изгнанникъ уйдетъ вѣроятно отсюда, благословляя васъ, а съ вами и... меня немножко. Я бы не тревожила васъ, но

вы знаете, всѣ мои деньги у бабушки, а я ей открыться не могу».

— Что такое? Что это такое!—почти закричалъ Райскій отъ изумленія, дочитавъ post-scriptum, и ворочая глазами вокругъ, мысленно искалъ ключа.

— Не она, не она!—вслухъ произнесъ потомъ и вдругъ легъ на диванъ: съ нимъ сдѣлался припадокъ истерическаго смѣха.

Это было въ кабинетѣ Татьяны Марковны. Тутъ были Викентьевъ и Марѳинька. Послѣдніе оба сначала заразились смѣхомъ и дружно аккомпанировали ему, потомъ сдержались, начиная пугаться раскатовъ его хохота. Особенно Татьяна Марковна испугалась. Она даже достала какихъ-то капель и налила на ложечку. Райскій едва унялся.

— Выпей капель, Борюшка.

— Нѣтъ, бабушка—дайте мнѣ не капель, а денегъ рублей триста...

И опять закатился смѣхомъ. Бабушка отказала-было.

— Скажи, зачѣмъ, кому? Не Маркушкѣ ли? Взыщи прежде съ него восемьдесятъ рублей,—и пошла, и пошла.

Въ другое время онъ бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не преминулъ бы добродушно подразнить ее. Но тутъ его жгли внутреннія огни нетерпѣнія, поглощалъ возрастающій интересъ комедіи.

Онъ чуть не въ драку полѣзъ съ нею, и послѣ отчаянной схватки, поторговавшись съ часъ, выручилъ отъ нея двѣсти двадцать рублей, не доторговавшись до трехсотъ, лишь бы скорѣе кончить.

Онъ запечаталъ ихъ и отослалъ на другой же день. Между тѣмъ отыскалъ портного и торопилъ сшить теплое пальто, жилетъ и купилъ одѣяло. Все это отослано было на пятый день.

«Слезами и сердцемъ, а не перомъ, благодарю васъ, милый, милый братъ», получилъ онъ отвѣтъ съ той стороны:

«не мнѣ награждать за это: небо наградитъ за меня! Моя благодарность—пожатіе руки и долгій-долгій взглядъ признательности! Какъ обрадовался вашимъ подаркамъ бѣдный изгнанникъ! онъ все «смѣется» съ радости и одѣлся въ обновки. А изъ денегъ сейчасъ же заплатилъ за три мѣсяца долгу хозяйкѣ и отдалъ за мѣсяцъ впередъ. И только на три рубля осмѣлился купить сигаръ, которыми не лакомился давно, а это—его страсть...»

«Пошлю завтра ящикъ», думалъ Райскій и послалъ, между прочимъ потому, что «вѣдь проситъ тотъ, у кого нѣтъ...» говорилъ онъ: «богатый не попросилъ бы»

Ему вдругъ пришло въ голову — послать ловкаго Егорку послѣдить, кто беретъ письма у рыбака, узнать, кто такая Секлетея Бурдалахова. Онъ ужъ позвонилъ, но когда явился Егоръ — онъ помолчалъ, взглянулъ на Егора, покраснѣлъ за свое намѣреніе и махнулъ ему рукой, чтобы онъ шелъ вонъ.

— Не могу, не могу!—шепталъ онъ съ непреодолимымъ отвращеніемъ. — Спрошу у ней самой — посмотрю, какъ и что̀ скажетъ она—и если солжетъ, прощай Вѣра, а съ ней и всякая вѣра въ женщинъ!

Слѣдя за ходомъ своей собственной страсти, какъ медикъ за болѣзнью, и какъ будто снимая фотографію съ нея, потому что искренно переживалъ ее, онъ здраво заключалъ, что эта страсть — ложь, миражъ, что надо прогнать, разсѣять ее!

«Но какъ? что̀ надо теперь дѣлать?» спрашивалъ онъ, глядя на небо съ облаками, углубляя взглядъ въ землю: «что̀ велитъ долгъ?—отвѣчай же уснувшій разумъ, освѣти мнѣ дорогу, дай перепрыгнуть черезъ этотъ пылающій костеръ!»

«Бросить все и бѣжать прочь!» отозвался покойно разумъ.

— Да, да—брошу и бѣгу, не дождусь ея!—рѣшилъ онъ,

и тутъ только замѣтилъ приложенный къ ея письму клочокъ бумаги съ припиской Вѣры:

«Не пишите больше, я въ четвергъ буду сама домой: меня привезетъ лѣсничій!»

Онъ обрадовался.

— А! вотъ и пробный камень. Это сама бабушкина «судьба» вмѣшалась въ дѣло и требуетъ жертвы, подвига— и я его совершу. Черезъ три дня видѣть ее опять здѣсь... О, какая нѣга! Какое солнце взойдетъ надъ Малиновкой? Нѣтъ, убѣгу! Чего мнѣ это стоитъ, никто не знаетъ! И ужели не найду награды, потерянаго мира? Скорѣй, скорѣй прочь... — сказалъ онъ рѣшительно и кликнулъ Егора, приказавъ принести чемоданъ.

И надо было бы тотчасъ бѣжать, т.-е. забывать Вѣру. Онъ и исполнилъ часть своей программы. Поѣхалъ въ городъ кое-что купить въ дорогу. На улицѣ онъ встрѣтилъ губернатора. Тотъ упрекнулъ его, что давно не видать? Райскій отозвался нездоровьемъ и сказалъ, что уѣзжаетъ на-дняхъ.

— Куда?—спросилъ тотъ.

— Да мнѣ все равно, — мрачно отвѣтилъ Райскій: — здѣсь... я усталъ, хочу развлечься, теперь поѣду въ Петербургъ, а тамъ въ свое имѣніе, въ Р—ую губернію, а можетъ-быть и за границу...

— Не удивительно, что вы соскучились, — замѣтилъ губернаторъ:—сидя на одномъ мѣстѣ, удаляясь отъ общества... — Нужно развлеченіе... Вотъ не хотите ли со мной прокатиться? Я послѣзавтра отправляюсь осматривать губернію...

«Послѣзавтра будетъ среда», мелькнуло соображеніе въ головѣ у Райскаго: «а она возвращается въ четвергъ... Да, да, судьба вытаскиваетъ меня... Не лучше ли бы уѣхать дальше, совсѣмъ отсюда—для полнаго подвига?»

— Посмотрите мѣстность, — продолжалъ губернаторъ: —

есть красивыя мѣста: вы поэтъ, наберетесь свѣжихъ впечатлѣній... Мы и по Волгѣ верстъ полтораста спустимся... Возьмите альбомъ, будете рисовать пейзажи...

— А если я приму?—отвѣчалъ Райскій, у котораго, рядомъ съ намѣреніемъ бороться со страстью, пріютилась надежда не разставаться вполнѣ хоть съ тѣми мѣстами, гдѣ присутствуетъ *она*, его безподобная, но мучительная красота!

— Поѣдемте, я вашъ спутникъ, — рѣшилъ онъ окончательно.

Губернаторъ ласково хлопнулъ рукой по его ладони и повелъ къ себѣ, показалъ экипажъ, удобный и покойный—сказалъ, что и кухня поѣдетъ за нимъ и карты захватитъ.

— Въ пикетъ будемъ сражаться, — прибавилъ онъ: — и мнѣ веселѣе ѣхать, чѣмъ съ однимъ секретаремъ, которому много будетъ дѣла.

Райскому стало легче уже отъ одного намѣренія перемѣнить мѣсто и обстановку. Что-то постороннее Вѣрѣ, какъ облако стало между нимъ и ею. Давно бы такъ, и это глупѣйшее состояніе кончилось бы!

— Вотъ почти и нѣтъ никакихъ бѣсовъ!—говорилъ онъ, возвращаясь къ себѣ.

Онъ подтвердилъ Егоркѣ готовить платье, бѣлье, сказавши, что ѣдетъ съ губернаторомъ.

Намѣренія его преодолѣть страсть были искренни, и онъ подумывалъ уже не возвращаться вовсе, а къ концу губернаторской поѣздки вытребовать свои вещи изъ дому и уѣхать, не повидавшись съ Вѣрой.

На этомъ бы и остановиться ему, отвернуться отъ Малиновки навсегда, или хоть надолго, и не оглядываться—и все потонуло бы въ пространствѣ, даже не такой дали, какую предполагалъ Райскій между Вѣрой и собой, а двухъ-трехъ сотъ верстъ, и во времени—не годовъ, а пяти-шести недѣль, и осталось бы развѣ смутное воспоминаніе отъ этой трескотни, какъ отъ кошемара.

Райскій зналъ это по прежнимъ, хотя и не такимъ сильнымъ опытамъ, но послѣдній опытъ всегда кажется не похожимъ чѣмъ-нибудь на прежніе, и потомъ подъ свѣжей страстью дымится свѣжая рана, а времени ждать долго.

Райскій зналъ и это и не лукавилъ даже передъ собой, а хотѣлъ только утомить чѣмъ-нибудь невыносимую боль, т.-е. не вдругъ удаляться отъ этихъ мѣстъ и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собою, чтобы не вдругъ оборвался этотъ нервъ, которымъ онъ такъ связанъ былъ, и съ живой, полной прелести, стройной и нѣжной фигурой Вѣры, и съ воплотившимся въ ней его идеаломъ, живущимъ въ ея образѣ, вопреки таинственности ея поступковъ, вопреки его подозрѣніямъ въ ея страсти къ кому-то, вопреки наконецъ его грубымъ предположеніямъ въ ея женской распущенности, въ ея отношеніяхъ... къ Тушину, въ которомъ онъ болѣе всѣхъ подозрѣвалъ ея героя.

«А можетъ-быть, и другой, и другіе...» злобно думалъ онъ.

Онъ свои художническія требованія переносилъ въ жизнь, мѣшая ихъ съ общечеловѣческими, и писалъ послѣднюю съ натуры, и тутъ же, невольно и безсознательно, приводилъ въ исполненіе древнее мудрое правило, «познавалъ самого себя», съ ужасомъ вглядывался и вслушивался въ дикіе порывы животной, слѣпой натуры, самъ писалъ ей казнь и чертилъ новые законы, разрушалъ въ себѣ «ветхаго человѣка» и создавалъ новаго. И если ужасался, глядясь самъ въ подставляемое себѣ безпощадное зеркало зла и темноты, то и неимовѣрно былъ счастливъ, замѣчая, что эта внутренняя работа надъ собой, которой онъ требовалъ отъ Вѣры, отъ живой женщины, какъ человѣкъ, и отъ статуи, какъ художникъ, началась у него самого не съ Вѣры, а давно, прежде когда-то, въ минуты такого же раздвоенія натуры на реальное и фантастическое.

Онъ, съ біеніемъ сердца и трепетомъ чистыхъ слезъ, подслушивалъ, среди грязи и шума страстей, подземную

тихую работу, въ своемъ человѣческомъ существѣ, какого-то таинственнаго духа, затихавшаго иногда въ трескѣ и дымѣ нечистаго огня, но не умиравшаго и просыпавшагося опять, зовущаго его, сначала тихо, потомъ громче и громче, къ трудной и нескончаемой работѣ надъ собой, надъ своей собственной статуей, надъ идеаломъ человѣка.

Радостно трепеталъ онъ, вспоминая, что не жизненныя приманки, не малодушные страхи звали его къ этой работѣ, а безкорыстное влеченіе искать и создавать красоту въ себѣ самомъ. Духъ манилъ его за собой, въ свѣтлую, таинственную даль, какъ человѣка и какъ художника, къ идеалу чистой человѣческой красоты.

Съ тайнымъ, захватывающимъ дыханіе ужасомъ счастья видѣлъ онъ, что работа чистаго генія не рушится отъ пожара страстей, а только останавливается, и когда минуетъ пожаръ, она идетъ впередъ, медленно и туго, но все идетъ— и что въ душѣ человѣка, независимо отъ художественнаго, таится другое творчество, присутствуетъ другая живая жажда, кромѣ животной, другая сила, кромѣ силы мышцъ.

Пробѣгая мысленно всю нить своей жизни, онъ припоминалъ, какія нечеловѣческія боли терзали его, когда онъ падалъ, какъ медленно вставалъ опять, какъ тихо чистый духъ будилъ его, звалъ вновь на нескончаемый трудъ, помогая встать, ободряя, утѣшая, возвращая ему вѣру въ красоту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше...

Онъ благоговѣйно ужасался, чувствуя, какъ приходятъ въ равновѣсіе его силы, и какъ лучшія мысли движенія и воли уходятъ туда, въ это зданіе, какъ ему легче и свободнѣе, когда онъ слышитъ эту тайную работу и когда самъ сдѣлаетъ усиліе, движеніе, подастъ камень, огня и воды.

Отъ этого сознанія творческой работы внутри себя, и теперь пропадала у него изъ памяти страстная, язвитель-

ная Вѣра, а если приходила, то за тѣмъ только, чтобъ онъ съ мольбой звалъ ее туда же, на эту работу тайнаго духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его въ ней, и умолять беречь, лелѣять, питать его въ себѣ самой.

Тогда казалось ему, что онъ любилъ Вѣру такой любовью, какою никто другой не любилъ ея, и самъ смѣло требовалъ отъ нея такой же любви и къ себѣ, какой она не могла дать своему идолу, какъ бы страстно ни любила его, если этотъ идолъ не носилъ въ груди такихъ же силъ, такого же огня, и слѣдовательно такой же любви, какая была заключена въ немъ и рвалась къ ней.

Съ другой, жгучей и разрушительной страстью, онъ искренно и честно продолжалъ бороться, чувствуя, что она не раздѣлена Вѣрою, и слѣдовательно не можетъ разрѣшиться, какъ разрѣшается у двухъ, взаимно любящихъ честныхъ натуръ, въ тихое и покойное теченіе, словомъ, въ счастье, въ которомъ, очистившись отъ животнаго бѣшенства, она превращается въ человѣческую любовь.

Онъ теперь уже не звалъ болѣе страсть къ себѣ, какъ прежде, а проклиналъ свое внутреннее состояніе, мучительную борьбу, и написалъ Вѣрѣ, что рѣшился бѣжать ея присутствія. Теперь, когда онъ сталъ уходить отъ нея,—она будто пошла за нимъ, все подъ своимъ таинственнымъ покрываломъ, затрогивая, дразня его, будила его сонъ, отнимала книгу изъ рукъ, не давала ѣсть.

Дня черезъ три онъ получилъ коротенькую записку, съ вопросомъ: «гдѣ онъ? что не возвращается? отчего нѣтъ писемъ?» Какъ будто ей не было дѣла до его намѣренія уѣхать, или она не получила его письма.

Она звала его домой, говорила, что она воротилась, что «безъ него скучно», Малиновка опустѣла, всѣ повѣсили носъ, что Марѣнька собирается ѣхать гостить за Волгу, къ матери своего жениха, тотчасъ послѣ дня своего рожде-

нія, который будетъ на слѣдующей недѣлѣ, что бабушка останется одна и пропадетъ съ тоски, если онъ не принесетъ этой жертвы... и бабушкѣ, и ей...

«Да, знаю я эту жертву», думалъ онъ злобно и подозрительно: «въ домѣ, безъ меня и безъ Мароиньки, замѣтнѣе будутъ твои скачки съ обрыва, дикая коза! Надо сидѣть съ бабушкой долѣе, обѣдать не въ своей комнатѣ, а со всѣми — понимаю! Не будетъ же этого! Не дамъ тебѣ торжествовать—довольно! Сброшу съ плечъ эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества!»

Онъ написалъ ей отвѣтъ, гдѣ повторилъ о своемъ намѣреніи уѣхать, не повидавшись съ нею, находя, что это единственный способъ исполнить ея давнишнее требованіе— оставить ее въ покоѣ и прекратить свою собственную пытку. Потомъ разорвалъ свой дневникъ и бросилъ по вѣтру клочки, вполнѣ разочарованный въ произведеніяхъ своей фантазіи.

Куры бросились со всѣхъ сторонъ къ окну губернаторской квартиры въ уѣздномъ городѣ, принявъ за какую-то куриную манну эти, какъ снѣгъ, посыпавшіеся обрывки бумаги, и потомъ медленно разошлись, тоже разочарованныя, поглядывая вопросительно на окно.

На другой день къ вечеру онъ получилъ коротенькій отвѣтъ отъ Вѣры, гдѣ она успокоивала его, одобряя намѣреніе его уѣхать, не повидавшись съ ней, и изъявила полную готовность помочь ему побѣдить *страсть* (слово было подчеркнуто) — и для того она сама, вслѣдъ за отправленіемъ этой записки, уѣзжаетъ въ тотъ же день, т.-е. въ пятницу, опять за Волгу. Ему же совѣтовала пріѣхать проститься съ Татьяной Марковной и со всѣмъ домомъ, иначе внезапный отъѣздъ удивилъ бы весь городъ и огорчилъ бы бабушку.

Райскій почти обрадовался этому отвѣту. У него отлегло отъ сердца, и онъ на другой день, т.-е. въ пятницу послѣ

обѣда, легко и весело выпрыгнулъ изъ кареты губернатора, когда они въѣхали въ слободу близъ Малиновки, и поблагодарилъ его превосходительство за удовольствіе пріятной прогулки. Онъ, съ дорожнымъ своимъ мѣшкомъ, быстро пробѣжалъ ворота и явился въ домъ.

VI.

Марѳинька первая, Викентьевъ второй, и съ нимъ дворовыя собаки, выскочили встрѣтить его, и всѣ, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слезъ, такъ что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось отъ этой теплоты сердечнаго пріема.

«Ахъ, зачѣмъ мнѣ мало этого счастья—зачѣмъ я не бабушка, не Викентьевъ, не Марѳинька, зачѣмъ я—Вѣра въ своемъ родѣ?» думалъ онъ и боязливо искалъ Вѣру глазами.

— А Вѣра уѣхала вчера! — сказала Марѳинька съ особенной живостью, замѣтивъ, конечно, что онъ тоскливо оглядывался вокругъ себя.

— Да, Вѣра Васильевна уѣхала, — повторилъ и Викентьевъ.

— Барышни нѣтъ! — сказали и люди, хотя онъ ихъ и не спрашивалъ.

Ему бы радоваться, а у него сердце упало.

«И весело имъ, что уѣхала, улыбаются, имъ это ничего!» думалъ онъ, проходя къ Татьянѣ Марковнѣ въ кабинетъ.

— Какъ я ждала тебя, хотѣла эстафету посылать!—сказала она съ тревожнымъ лицомъ, выславъ Пашутку вонъ и затворяя кабинетъ.

Онъ испугался, ожидая какой-нибудь вѣсти о Вѣрѣ.

— Что такое случилось!

— Твой другъ, Леонтій Ивановичъ...

— Ну?

— Боленъ.

— Бѣдный! Что съ нимъ? Я сейчасъ поѣду... Опасно?

— Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу отчего; въ городѣ ужъ всѣ знаютъ. Я только для Марѳиньки секретничаю. А Вѣра ужъ узнала отъ кого-то...

— Что̀ съ нимъ случилось?

— Жена уѣхала...—шопотомъ сказала Татьяна Марковна, нахмурившись:—онъ и слегъ. Кухарка его третьяго дня и вчера два раза прибѣгала за тобой...

— Куда уѣхала?

— Съ французомъ, съ Шарлемъ укатила! Того вдругъ вызвали въ Петербургъ зачѣмъ-то. Ну, вотъ и она... «Меня, говоритъ, кстати проводитъ до Москвы M-r Charles». И какъ схитрила: «хочу, говоритъ, повидаться съ родными въ Москвѣ», и выманила у мужа видъ для свободнаго проживанія.

— Ну, такъ что жъ за бѣда?—сказалъ Райскій:—ея сношенія съ Шарлемъ не секретъ ни для кого, кромѣ мужа: посмѣются еще, а онъ ничего не узнаетъ. Она воротится...

— Ты не дослушалъ. Письмо съ дороги прислала мужу, гдѣ проситъ забыть ее, говоритъ, чтобъ не ждалъ, не воротится, что не можетъ жить съ нимъ, зачахнетъ здѣсь...

Райскій пожалъ плечами.

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, дура!—горевалъ онъ.— Бѣдный Леонтій! Мало ей самой было негласнаго скандала—нѣтъ, захотѣла публичнаго!.. Сейчасъ поѣду; ахъ, какъ мнѣ жаль его!

— И мнѣ жаль, Борюшка. Я хотѣла сама съѣздить къ нему — у него честная душа, онъ — какъ младенецъ! Богъ далъ ему ученость, да остроты не далъ... закопался въ свои книги! У кого онъ тамъ на рукахъ?.. Да вотъ что: если за нимъ нѣтъ присмотру, перевези его сюда—въ старомъ домѣ пусто, кромѣ Вѣриной комнаты... Мы его тамъ пока помѣстимъ... Я на случай велѣла приготовить двѣ комнаты.

— Что̀ вы за женщина, бабушка! я только-что подумалъ, а вы ужъ и велѣли!..

Онъ пошелъ на минуту къ себѣ. Тамъ нашелъ онъ письма изъ Петербурга, между ними одно отъ Аянова, своего пріятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиныхъ, въ отвѣтъ на нѣсколько своихъ писемъ къ нему, въ которыхъ просилъ извѣстій о Софьѣ Бѣловодовой, а потомъ забылъ.

Онъ вскрылъ письмо и увидалъ, что Аяновъ пишетъ, между прочимъ, о ней, отвѣчая на его письмо.

«Когда опомнился!» подумалъ онъ: «тогда у меня еще было свѣжо воспоминаніе о ней, а теперь я и лицо ея забылъ! Теперь даже Секлетея Бурдалахова интереснѣе для меня, потому только, что напоминаетъ Вѣру!»

Онъ не читалъ писемъ, не вскрылъ журналовъ и поѣхалъ къ Козлову. Ставни сѣраго домика были закрыты, и Райскій едва достучался, чтобъ отперли ему двери.

Онъ прошелъ прихожую, потомъ залу, и остановился у кабинета, не зная, постучать, или войти прямо.

Дверь вдругъ тихо отворилась, передъ нимъ явился Маркъ Волоховъ, въ женскомъ капотѣ и въ туфляхъ Козлова, нечесанный, съ невыспавшимся лицомъ, блѣдный, худой, съ злыми глазами, какъ будто его всего передернуло.

— Насилу васъ принесла нелегкая!—сказалъ онъ съ досадой вполголоса:—гдѣ вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсѣмъ... Днемъ тутъ ученики вертѣлись, а по ночамъ онъ одинъ...

— Что съ нимъ?

— Что? развѣ вамъ не сказали? Ушла коза-то! Я обрадовался, когда услыхалъ, шелъ поздравить его, гляжу — а на немъ лица нѣтъ! Глаза помутились, никого не узнаётъ. Чуть горячка не сдѣлалась, теперь, кажется, проходитъ. Чѣмъ бы плакать отъ радости, уродъ убивается горемъ. Я лѣкаря-было привелъ, онъ прогналъ, а самъ ходитъ, какъ шальной... Теперь онъ спитъ, не мѣшайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтобъ онъ чего не натворилъ надъ собой

въ припадкѣ тупоумной меланхоліи. Никого не слушаетъ—я ужъ хотѣлъ побить его...

Онъ плюнулъ съ досады.

— На кухарку положиться нельзя—она идіотка. Вчера дала ему принять зубного порошка, вмѣсто настоящаго. Завтра вечеромъ я смѣню васъ...—прибавилъ онъ.

Райскій съ изумленіемъ поглядѣлъ на Марка и подалъ ему руку.

— За что такая милость?—спросилъ Маркъ желчно, не давая руки.

— Благодарю, что не кинули моего бѣднаго товарища...

— Ахъ, очень пріятно!—сказалъ Маркъ, шаркая обѣими туфлями и крѣпко тряся за руку Райскаго:—я давно искалъ случая услужить вамъ...

— Что это, Волоховъ, вы, какъ клоунъ въ циркѣ, все выворачиваете себя на изнанку!..

— А вы все рисуетесь въ жизни и рисуете жизнь!—ядовито отвѣчалъ Волоховъ.—Ну, на кой чортъ мнѣ ваша благодарность? Развѣ я для нея, или для кого-нибудь пришелъ къ Козлову, а не для него самого?

— Ну, хорошо, Маркъ Ивановичъ, Богъ съ вами и съ вашими манерами! Сила не въ нихъ и не въ моей «рисовкѣ»! Вы сдѣлали доброе дѣло...

— Опять похвала!

— Опять. Это моя манера говорить—что мнѣ нравится, что нѣтъ. Вы думаете, что быть грубымъ — значитъ быть простымъ и натуральнымъ, а я думаю, чѣмъ мягче человѣкъ, тѣмъ онъ больше человѣкъ. Очень жалѣю, если вамъ не нравится этотъ мой «рисунокъ», но дайте мнѣ свободу рисовать жизнь по-своему!

— Хорошо, сахарничайте, какъ хотите!—сквозь зубы проворчалъ Маркъ.

— Леонтья я перевезу къ себѣ: тамъ онъ будетъ, какъ

въ своей семьѣ, — продолжалъ Райскій: — и если горе не пройдетъ, то онъ и останется навсегда въ тихомъ углу...

— Вотъ теперь дайте руку, — сказалъ Маркъ серьезно, схвативъ его за руку:—это дѣло, а не слова! Козловъ разсохнется и служить уже не можетъ. Онъ останется безъ угла и безъ куска... Славная мысль вамъ въ голову пришла.

— Не мнѣ, а женщинѣ пришла эта мысль, и не въ голову, а въ сердце,—заключилъ Райскій:—и потому теперь я не приму вашей руки... Бабушка выдумала это...

— Экая здоровая старуха, эта ваша бабушка!—замѣтилъ Маркъ: — я когда-нибудь къ ней на пирогъ приду! Жаль, что старой дури набито въ ней много!.. Ну, я пойду, а вы присматривайте за Козловымъ, если не сами, такъ посадите кого-нибудь. Вонъ третьяго дня ему мочили голову и велѣли на ночь сырой капустой обложить. Я заснулъ нечаянно, а онъ, въ забытьи, всю капусту съ головы по таскалъ да съѣлъ... Прощайте! я не спалъ и не ѣлъ самъ. Авдотья меня тутъ какой-то бурдой изъ кофе потчивала...

— А вотъ что, не хотите ли подождать? Я сейчасъ кучера пошлю домой за ужиномъ,—сказалъ Райскій.

— Нѣтъ, я поужинаю ужо дома.

— Можетъ-быть... у васъ денегъ нѣтъ?..—робко предложилъ Райскій и хотѣлъ достать бумажникъ.

Маркъ вдругъ засмѣялся своимъ холоднымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ—у меня теперь есть деньги... — сказалъ онъ, глядя загадочно на Райскаго.—Да я еще въ баню до ужина пойду. Я весь вышачкался, не одѣвался и не раздѣвался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартирѣ, а у одной духовной особы. Сегодня тамъ баню топятъ, я схожу въ баню, потомъ поужинаю и лягу ужъ на всю ночь.

— Вы похудѣли и какъ будто нездоровы!—замѣтилъ Райскій:—глаза у васъ...

Маркъ вдругъ нахмурился, и лицо у него сдѣлалось еще злѣе прежняго.

— А вы на мой взглядъ еще нездоровѣе!—сказалъ онъ.— Посмотритесь въ зеркало: желтыя пятна, глаза ввалились совсѣмъ...

— У меня разныя безпокойства...

— И у меня тоже, — сухо замѣтилъ Волоховъ. — Прощайте.

Онъ ушелъ, а Райскій тихо отворилъ дверь къ Леонтью и подошелъ на цыпочкахъ къ постели.

— Кто тутъ?—спросилъ слабо Козловъ.

— Здравствуй, Леонтій, это я!—сказалъ Райскій, взявъ за руку Козлова и садясь въ кресло подлѣ постели.

Козловъ долго всматривался, потомъ узналъ Райскаго, проворно спустилъ ноги съ постели и сѣлъ, глядя на него.

— А тотъ ушелъ? Я притворился спящимъ. Тебя давно не видать,—заговорилъ Леонтій слабымъ голосомъ, съ промежутками.—А я все ждалъ—не заглянетъ ли, думаю. Лицо стараго товарища,—продолжалъ онъ, глядя близко въ глаза Райскому и положивъ свою руку ему на плечо: — теперь только одно не противно мнѣ...

— Меня не было въ городѣ,—отвѣчалъ Райскій:—я сейчасъ только воротился и узналъ, что ты боленъ...

— Врутъ, я не боленъ. Я притворился... — сказалъ онъ, опуская голову на грудь, и замолчалъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ поднялъ голову и разсѣянно глядѣлъ на Райскаго.

— Что, бишь, такое я хотѣлъ сказать тебѣ?..

Онъ всталъ и пошелъ неровными шагами по кабинету.

— Ты бы легъ, Леонтій,—замѣтилъ Райскій:—ты боленъ...

— Я не боленъ,—почти съ досадой отвѣчалъ Козловъ.— Что это вы всѣ, точно сговорились, наладили: боленъ, да боленъ. А Маркъ и лѣкаря привелъ, и сидитъ тутъ, точно боится, что я кинусь въ окно или зарѣжусь...

— Ты, однако, слабъ, насилу ходишь—право лягъ...

— Да, слабъ, это правда, — наклонясь черезъ спинку стула къ Райскому и обнявъ его за шею, шепталъ Леонтій.

Онъ положилъ ему щеку на голову, и Райскій вдругъ почувствовалъ у себя на лбу и на щекахъ горячія слезы. Леонтій плакалъ.

— Это слабость, да...—всхлипывая говорилъ Леонтій:— но я не боленъ... я не въ горячкѣ... врутъ они... не понимаютъ... Я и самъ не понималъ ничего... Вотъ, какъ увидѣлъ тебя... такъ слезы льются, сами прорвались... Не ругай меня, какъ Маркъ, и не смѣйся надо мной, какъ всѣ они смѣются... эти учителя, товарищи... Я вижу у нихъ злой смѣхъ на лицахъ, у этихъ сердобольныхъ посѣтителей!..

Райскаго самого душили слезы, но онъ не далъ имъ воли, чтобъ не растравлять еще больше тоски Леонтья.

— Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтій!—сказалъ онъ, насилу одолѣвая себя.

— Ты добрый, старый товарищъ... ты и въ школѣ не смѣялся надо мной... Ты знаешь, отчего я плачу? Ты ничего не знаешь, что со мной случилось?

Райскій молчалъ.

— Вотъ я тебѣ покажу...

Онъ пошелъ къ бюро, вынулъ изъ ящика письмо и подалъ ему.

Райскій пробѣжалъ глазами письмо отъ Ульяны Андреевны, о которомъ ужъ слышалъ отъ бабушки.

— Уничтожь его,—совѣтовалъ онъ:—пока оно цѣло, ты не успокоишься...

— Какъ можно! — съ испугомъ сказалъ Леонтій, выхватывая письмо и пряча его опять въ ящикъ.—Вѣдь это единственныя ея строки ко мнѣ, другихъ у меня нѣтъ... Это одно только и осталось у меня на память отъ нея...—добавилъ онъ, глотая слезы.

— Да, такое чувство заслуживало лучшей доли... — тихо сказалъ Райскій.—Но, другъ Леонтій, прими это, какъ болѣзнь, какъ величайшее горе... Но все же не поддавайся ему—жизнь еще длинна, ты не старъ...

— Жизнь кончилась,—перебилъ Леонтій:—если...

— Если что?

— Если она... не воротится...—шепнулъ онъ.

— Какъ, ты хотѣлъ бы... ты принялъ бы ее теперь...

— Ахъ, Борисъ, и ты не понимаешь!—почти съ отчаяніемъ произнесъ Козловъ, хватаясь за голову и ходя по комнатѣ.—Боже мой! Твердятъ, что я боленъ, сострадаютъ мнѣ, водятъ лѣкарей, сидятъ по ночамъ у постели—и все-таки не угадываютъ моей болѣзни и лѣкарства, какое нужно, а лѣкарство одно...

Райскій молчалъ.

Козловъ подошелъ къ нему большими шагами, взялъ его за плечи и, сильно тряся, шепталъ въ отчаяніи:

— Ея нѣтъ,—вотъ моя болѣзнь! Я не боленъ, я умеръ, и настоящее мое, и будущее — все умерло, потому что ея нѣтъ! Поди, вороти ее, приведи сюда—и я воскресну!.. А онъ спрашиваетъ, принялъ ли бы я ее! Какъ же ты романъ пишешь, а не умѣешь понять такого простого дѣла!..

Райскій видѣлъ, что Козловъ взглянулъ наконецъ и на близкую ему жизнь тѣмъ же сознательнымъ и вѣрнымъ взглядомъ, какимъ глядѣлъ на жизнь древнихъ, и что утѣшить его нечѣмъ.

— Теперь я понимаю,—замѣтилъ онъ:—но я не зналъ, что ты такъ любилъ ее. Ты самъ шутилъ, бывало: говорилъ, что привыкъ къ ней, что измѣняешь ей для своихъ грековъ и римлянъ...

Козловъ горько улыбнулся.

— Вралъ, хвасталъ, не понималъ ничего, Борисъ,—сказалъ онъ: — и не случись этого... я никогда бы и не понялъ. Я думалъ, что я люблю древнихъ людей, древнюю

жизнь, а я просто любилъ... живую женщину; и любилъ и книги, и гимназію, и древнихъ, и новыхъ людей, и своихъ учениковъ... и тебя самого... и этотъ городъ, вотъ съ этимъ переулкомъ, заборомъ и съ этими рябинами—потому только, что ее любилъ! А теперь это все опротивѣло, я бы готовъ хоть къ полюсу уѣхать... Да, я это недавно узналъ: вотъ какъ тутъ корчился на полу и читалъ ея письмо.

Райскій вздохнулъ.

— А ты спрашиваешь, принялъ ли бы я ее! Боже мой! Какъ принялъ бы, и какъ любилъ бы, она бы узнала это теперь ..—добавилъ онъ.

У него опять закапали слезы.

— Знаешь что, Леонтій, я къ тебѣ съ просьбой отъ Татьяны Марковны!—сказалъ Райскій.

Леонтій ходилъ взадъ и впередъ, пошатываясь, шлепая туфлями, съ всклоченной головой, и не слушалъ его.

— Бабушка проситъ тебя переѣхать къ намъ, — продолжалъ Райскій:—ты здѣсь одинъ пропадешь съ тоски.

Козловъ услыхалъ и понялъ, но въ отвѣтъ только махнулъ рукой.

— Спасибо ей, она святая женщина! Что я буду такимъ уродомъ носить свое горе по чужимъ угламъ!..

— Это не чужой уголъ, Леонтій, мы съ тобой братья. Наше родство сильнѣе родства крови...

— Да, да, виноватъ, горе одолѣло меня! — ложась въ постель, говорилъ Козловъ, и взявъ за руку Райскаго: — прости за эгоизмъ. Послѣ... послѣ... я самъ притащусь, попрошусь посмотрѣть за твоей библіотекой... когда ужъ надежды не будетъ...

— А у тебя есть надежда?

— А что?—вдругъ шопотомъ спросилъ Козловъ, быстро садясь на постели и подвигая лицо къ Райскому:—ты думаешь, что нѣтъ надежды?..

Райскій молчалъ, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить его ею напрасно.

— Я, право, не знаю, Леонтій, что̀ сказать. Я такъ мало слѣдилъ за твоей женою, давно не видалъ... не знаю хорошо ея характера.

— Да, ты не хотѣлъ немного заняться ею... Я знаю, ты далъ бы ей хорошій урокъ... Можетъ-быть этого бы и не было...

Онъ вздохнулъ глубоко.

— Нѣтъ, ты знаешь ее,—прибавилъ онъ:—ты мнѣ намекалъ на француза, да я не понялъ тогда... мнѣ въ голову не приходило...—Онъ замолчалъ.—А если онъ броситъ ее?—почти съ радостью вдругъ сказалъ онъ немного погодя, и въ глазахъ у него на минуту мелькнулъ какой-то лучъ.—Можетъ-быть, она вспомнитъ... можетъ-быть...

— Можетъ-быть...—нерѣшительно сказалъ Райскій.

— Постой... что̀ это?.. Кто-то будто ѣдетъ сюда... заговорилъ Леонтій, привставая и глядя въ окно. Потомъ опустился и повѣсилъ голову.

Мимо оконъ проѣхала телѣга, гдѣ мужикъ, въ чувашской рубашкѣ, съ красными обшивками, стоя махалъ вожжей.

— Я все жду... все думаю, не опомнится ли!—мечталъ онъ: — и ночью пробовалъ вставать, да этотъ разбойникъ Маркъ, точно желѣзной ручищей, повалитъ меня и велитъ лежать. «Не воротится, говоритъ, лежи смирно!» Боюсь я этого Марка.

Онъ вопросительно поглядывалъ на Райскаго.

— А ты какъ думаешь!—шепталъ онъ:—ты лучше знаешь женщинъ—что̀ онъ смыслитъ! Есть надежда... или...

— Если и есть, то во всякомъ случаѣ не теперь,—сказалъ Райскій:—развѣ послѣ когда-нибудь...

Козловъ глубоко вздохнулъ, медленно улегся на постели и положилъ руки съ локтями себѣ на голову.

— Завтра я перевезу тебя къ намъ,—сказалъ ему Райскій:—а теперь прощай! Ужо къ ночи я, или приду самъ, или пришлю кого-нибудь побыть съ тобой.

Леонтій не смотрѣлъ и не слыхалъ, что Райскій говорилъ и какъ онъ вышелъ.

Райскій воротился домой, отдалъ отчетъ бабушкѣ о Леонтьѣ, сказавши, что опасности нѣтъ, но что никакое утѣшеніе теперь не поможетъ. Оба они рѣшили послать на ночь Якова смотрѣть за Козловымъ, при чемъ бабушка отправила цѣлый ужинъ, чаю, рому, вина — и Богъ знаетъ, чего еще.

— Зачѣмъ это? онъ ничего не ѣстъ, бабушка,—сказалъ Райскій.

— А какъ тотъ... опять придетъ?

— Кто тотъ?

— Ну, кто — Маркушка: я, чаю, ѣсть хочетъ. Вѣдь ты говоришь, что засталъ его тамъ...

— Ахъ, бабушка! я сейчасъ поѣду и скажу Марку...

— Сохрани тебя Господи!—удержала она его:—на смѣхъ подниметъ...

— Нѣтъ, поклонится. Это не Нилъ Андреичъ, онъ понимаетъ васъ...

— Не надо мнѣ его поклоновъ, а чтобъ былъ сытъ—и Богъ съ нимъ! Онъ пропащій! А что... о восьмидесяти рубляхъ не поминаетъ?

Райскій махнулъ рукой, ушелъ къ себѣ въ комнату и сталъ дочитывать письмо Аянова и другія, полученныя имъ письма изъ Петербурга, вмѣстѣ съ журналами и газетами.

VII.

«Что сдѣлалось съ тобой, любезный Борисъ Павловичъ?» писалъ Аяновъ: «въ какую всероссійскую щель заползъ ты отъ нашего мокраго, но вѣчно-юнаго Петербурга, что отъ тебя два мѣсяца нѣтъ ни строки? Ужъ не женился ли ты

тамъ на какой-нибудь стерляди? Забрасывалъ сначала своими повѣстями, т. е. письмами, а тутъ вдругъ и пропалъ, такъ-что я не знаю, не переѣхалъ ли ты изъ своей трущобы — Малиновки, въ какую-нибудь трущобу — Смородиновку, и получишь ли мое письмо?

«Новостей много, слушай только,.. Поздравь меня: геморрой наконецъ у меня открылся!! Мы съ докторомъ такъ обрадовались, что бросились другъ другу въ объятія и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? на воды не надо ѣхать! Поясницѣ легче, а къ животу я прикладываю холодные компрессы; у меня, вѣдь, ты знаешь—pletora abdominalis...»

«Вотъ какими новостями занимаетъ!» — подумалъ Райскій и читалъ дальше.

«Олинька моя хорошѣетъ, преуспѣваетъ въ благочестіи, благонравіи и наукахъ, институтскому начальству покорна, къ отцу почтительна, и всякій четвергъ спрашиваетъ, скоро ли пріѣдетъ другой баловникъ, Райскій, поправлять ея рисунки и совать ей въ другую руку другую сверхштатную коробку конфетъ...»

— Вотъ животное, только о себѣ!—шепталъ опять Райскій, читая чрезъ нѣсколько строкъ ниже.

... «Коко женился наконецъ на своей Eudoxie, за которой чуть не семь лѣтъ, какъ за Рахилью, ухаживалъ! — и уѣхалъ въ свою тьму-тараканскую деревню. Горбуна сбыли за границу вмѣстѣ съ его вѣдьмой, и теперь въ домѣ стало пожиже. Стали отворять окна и впускать свѣжій воздухъ и людей,—только кормятъ все еще скверно»...

— Что мнѣ до нихъ за дѣло!—съ нетерпѣніемъ ворчалъ Райскій, пробѣгая дальше письмо: — о кузинѣ ни слова, а мнѣ и о ней-то не хочется слышать!

«...на его мѣсто»,—шопотомъ читалъ онъ дальше:—«прочатъ въ министры князя И. В., а товарищемъ И. Б—а... Женщины подняли гвалтъ... П. П. проигралъ семьдесятъ

тысячъ... X—ie уѣхали за границу... Тебѣ скучно, вижу, что ты морщишься—спрашиваешь—что Софья Николаевна (началъ живѣе читать Райскій): сейчасъ, сейчасъ, я берегъ вѣсти о ней pour la bonne bouche...»

— На силу добрался!—сказалъ Райскій:—ну, что она?

«Я старался и безъ тебя, какъ при тебѣ, и служилъ твоему дѣлу вѣрой и правдой, т.-е. два раза игралъ съ милыми «барышнями» въ карты, такъ что братецъ ихъ, Николай Васильевичъ, прозвалъ меня женихомъ Анны Васильевны, и такъ разгулялся однажды насчетъ будущей нашей свадьбы, что былъ вытолканъ обѣими сестрицами въ спину и не получилъ ни гроша субсидіи, за которой было явился. Но за то занялъ триста рублей у меня, а я поставилъ эти деньги на твой счетъ, такъ какъ надежды отыграть ихъ у моей нареченной невѣсты уже болѣе нѣтъ. Внемли, блѣдній и трепещи!

«Играя съ тетками, я служилъ, говорю, твоему дѣлу, т. е. пробужденію страсти въ твоей мраморной кузинѣ, съ тою только разницею, что безъ тебя это дѣло пошло было въ прокъ. Итальянецъ, графъ Милари, должно-быть служитъ по этой же части, т. е. развиваетъ страсти въ женщинахъ, и едва ли не успѣшнѣе тебя. Онъ повадился ѣздить въ тѣ же дни и часы, когда мы играли въ карты, а Николай Васильевичъ не нарадовался, глядя на свое семейное счастье.

«Папашу оставляли въ покоѣ, занимались музыкой, играли, пѣли—даже не брали гулять, потому что (я говорю тебѣ это по секрету, и весь Петербургъ не иначе, какъ на ухо, повторяетъ этотъ секретъ), когда карета твоей кузины являлась на островахъ, являлся тогда и Милари верхомъ, или въ коляскѣ, и ѣхалъ подлѣ кареты. Софья Николаевна еще больше похорошѣла, потомъ стала задумываться, немного вышла изъ своего «олимпійскаго» спокойствія и похудѣла... Она (бери спиртъ и нюхай!) сдѣлала... un faux

pas! Я добивался, какой именно, и получалъ такіе отвѣты даже отъ ея кузины Catherine, изъ которыхъ ничего не сообразишь: все двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нѣтъ... все фосски!

«Я началъ уже самъ сочинять ихъ романъ: думалъ, не застали ли ихъ гдѣ-нибудь уединенно-гуляющихъ, или перехватили письмо, въ коемъ сказано: «люблю-молъ тебя»— или раздался преступный поцѣлуй среди дуэтовъ Россини и Беллини. Нѣтъ, играли, пѣли, мѣшая намъ играть въ карты (мимоходомъ замѣчу, что и безъ нихъ игра вязалась плохо. Вообще я терпѣть не могу лѣта, потому что лѣтомъ карты сквозятъ), такъ что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой... А въ городѣ и пошло, и пошло! Мезенскіе, Хатьковы и Мышинскіе, и всѣ, — больше всѣхъ кузина Catherine, тихо, съ сдержанной радостью, шептали: Sophie a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte des suites...» и т. д. Какая это «chose»,—спрашивалъ я, и на ухо, и вслухъ, того, другого — и, не получая опредѣлительнаго отвѣта, самъ сталъ шептать, когда рѣчь зайдетъ о ней. «Oui»,—говорилъ я—«elle a poussé la chose trop loin sans se rendre compte... Elle a fait un faux pas...»

И пожму значительно плечами, когда спросятъ какой «pas»?

«Такимъ образомъ всплыло на горизонтъ легкое облачко и стало надъ головой твоей кузины! А я все служилъ да служилъ дѣлу, не забывая дружеской обязанности, и все ѣздилъ играть къ тёткамъ. Даже сблизился съ Милари и сталъ условливаться съ нимъ, какъ, бывало, съ тобой, приходить въ одни часы, чтобъ обоимъ было удобнѣе»...

— Какой оселъ!—сказалъ съ досадой Райскій, бросивъ письмо:—онъ думалъ, что угождаетъ мнѣ...

«А ты, за службу и дружбу мою», читалъ дальше Райскій,—«пришли, или привези мнѣ къ зимѣ, съ Волги, отличной свѣжей икры боченокъ-другой, да стерлядей въ ар-

шинъ: я подѣлюсь съ его сіятельствомъ, моимъ партнеромъ, министромъ и милостивцемъ...»

Райскій читалъ ниже:

«Такъ мы и переѣхали цѣлой семьей на дачу, на Каменный Островъ, т. е. онѣ заняли весь домъ В., а я двѣ комнаты неподалеку. Николай Васильевичъ поселился въ особомъ павильонѣ...

«Дѣла шли своимъ чередомъ, какъ вдругъ однажды передъ началомъ нашей вечерней партіи, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались къ выходу, а Софья Николаевна поѣхала гулять, взявши съ собой Николая Васильевича, чтобъ завести его тамъ гдѣ-то на дачу,—доложили о пріѣздѣ княгини Олимпіады Измайловны. Обѣ тётки поворчали на это неожиданное разстройство партіи, но однако отпустили меня погулять, наказавши черезъ часъ вернуться, а княгиню приняли.

«Несчастные мы всѣ трое! ни тётушки твои, ни я—не предчувствовали, что намъ не играть больше! Княгиня встрѣтилась со мной на лѣстницѣ и несла такое торжественное, важное лицо вверхъ, что я даже не осмѣлился освѣдомиться о ея нервахъ.

«Черезъ часъ я прихожу, меня не принимаютъ. Захожу на другой день — не принимаютъ. Черезъ два-три дня — то же самое. Обѣ тётки больны, «барыня», т.-е. Софья Николаевна, нездорова, не выѣзжаетъ и никого не принимаетъ: такіе отвѣты получалъ я отъ слугъ.

«Я толкнулся во флигель къ Николаю Васильевичу—дома пѣтъ, а между тѣмъ его нигдѣ не видно, ни на pointe, ни у Излера, куда онъ хаживалъ *инкогнито*, какъ онъ говоритъ. Я—въ городъ, въ клубъ—къ Петру Ивановичу. Тотъ уже издали, изъ-за газетъ, лукаво выглянулъ на меня и улыбался: «знаю, знаю, зачѣмъ,—говоритъ:—что, дверь захлопнулась, оброкъ прекратился?..»

«Отъ него я добился только—сначала, что кузина твоя—

a poussé la chose trop loin... qu'elle a fait un faux pas... а потомъ—что послѣ визита княгини Олимпіады Измайловны, этой гонительницы женскихъ пороковъ и поборницы добродѣтелей, тётки разомъ слегли, въ окнахъ опустили шторы, Софья Николаевна сидитъ у себя, запершись, и всѣ обѣдаютъ по своимъ комнатамъ, и даже не обѣдаютъ, а только блюда приносятся и уносятся нетронутыя,—что трогаетъ ихъ одинъ Николай Васильевичъ, но ему запрещено выходить изъ дома, чтобъ какъ-нибудь не проболтался, что графъ Милари и носа не показываетъ въ домъ, а ѣздитъ старый докторъ Петровъ, бросившій давно практику и въ молодости лѣчившій обѣихъ барышень (и бывшій ихъ любовникомъ, по словамъ старой, забытой хроники—прибавлю въ скобкахъ). Наконецъ, Петръ Ивановичъ сказалъ, что весь домъ, кромѣ Николая Васильевича, втайнѣ готовится уѣхать на такія воды, какихъ старики не запомнятъ, и располагаютъ пробыть года три за границей.

«Я, однако, добился свиданія съ Николаемъ Васильевичемъ, написалъ ему записку и получилъ приглашеніе отобѣдать съ нимъ «вечеромъ» наединѣ. Онъ прежде всего попросилъ быть скромнымъ насчетъ обѣда. Въ домѣ постъ теперь: «on est en pénitence — бульонъ и цыпленка готовятъ на всѣхъ—et ma pauvre Sophie n'ose pas descendre me tenir compagnie», жалуется онъ горько и жуетъ въ недоумѣніи губами: «et nous commes enfermés tous les deux... Я велѣлъ для васъ сдѣлать обѣдъ, только не говорите!» прибавилъ онъ боязливо, уплетая перепелокъ, и чуть не плакалъ о своей бѣдной Софьѣ.

«Наконецъ, я добился, что къ прежнему облачку, къ этому искомому мною *x*, т.-е. que Sophie a poussé la chose trop loin, прибавился, наконецъ, и фактъ — она, о ужасъ! a fait un faux pas, именно—отвѣчала на записку Милари! Пахотинъ показалъ мнѣ эту записку, съ яростью ударяя кулакомъ по столу. «Mais dites donc, dites, qu'est ce qu'il

y a là? à propos de quoi—всѣ эти охи, и ахи, и флаконы со спиртомъ, и этотъ отъѣздъ, et tout ce remue-ménage? Voilà ce que c'est que d'être vieilles filles!»

«Онъ топалъ, бѣгалъ по кабинету и прохлаждалъ себя, макая бисквиты въ шампанское и глотая какія-то дижестивныя пилюли вслѣдъ затѣмъ. «И что всего грустнѣе», говорилъ онъ: «что бѣдняжка Sophie убивается сама: «Oui, la faute est à moi», твердитъ она: «je me suis compromise, une femme qui se respecte ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre».—«Mais qu'as tu donc fait, mon enfant?» спрашиваю я:—«j'ai fais un faux pas...» твердитъ она: «огорчила тётокъ, васъ, папа!..» Mais pas le moins du monde», говорю я—и все напрасно! Et elle pleure, elle pleure... cette pauvre enfant! Ce billet... Посмотрите эту записку!»

«А въ запискѣ изображено слѣдующее: «Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera et surtout n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.» Николай Васильевичъ пораженъ прежде всего въ родительской нѣжности. «Le nuage a grossi grâce à ce billet, потому что... кажется... (на ухо шепнулъ мнѣ Пахотинъ) entre nous soit dit... Sophie n'était pas tout-à-fait insensible aux hommages du comte, mais c'est un gentilhomme et elle est trop bien elevée pour pousser les choses... jusqu'à un faux pas...»

«И только, Борисъ Павлычъ! Какъ мнѣ грустно это, т.-е. что «только» и что я не могу тебѣ сообщить чего-нибудь повеселѣе, какъ, напримѣръ, въ родѣ того, что кузина твоя, одѣвшись въ темную мантилью, ушла изъ дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потомъ видѣли ее съ Милари возвращающуюся блѣдной, а его торжествующимъ, и разстающихся гдѣ-то на перекресткѣ и т. д. Ничего этого не было!

«Но здѣсь хватаются и за соломинку, всячески разду-

ваютъ искру — и изъ записки дѣлаютъ слона, вставляютъ туда другія фразы, даже нѣжное *ты*, но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакціи; т.-е. «que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas...» Я усердно помогаю дѣлу съ своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что тамъ написано. За мной ходятъ, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза звали обѣдать, а М. подпаиваетъ меня въ клубѣ, не проговорюсь ли. Мнѣ это весело, и я молчу.

«Черезъ двѣ недѣли онѣ ѣдутъ. И вотъ тебѣ развязка романа твоей кузины! Да, я забылъ главное—слона. Николай Васильевичъ былъ поставленъ сестрицами своими «dans une position très-délicate» объясниться съ графомъ Милари и выпросить назадъ у него эту роковую записку. Онъ говоритъ, что у него и подагра, и нервы, и тикъ, и ревматизмъ — все поднялось разомъ, когда онъ объяснялся съ графомъ. Тотъ тонко и лукаво улыбался, выслушавъ просьбу отца, и сказалъ, что на другой день удовлетворитъ ее, и сдержалъ слово, прислалъ записку самой Бѣловодовой, съ учтивымъ и почтительнымъ письмомъ. «Mais comme il riait sous cape, ce comte (il est très fin), quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères cœurs! Vieilles chiennes!..» отвернувшись добавилъ онъ и разбилъ со злости фарфоровую куклу на каминѣ.

«Вотъ тебѣ и драма, любезный Борисъ Павловичъ: годится ли въ твой романъ? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму въ двухъ слѣдующихъ словахъ. Вотъ тебѣ ключъ или «le mot de l'énigme», какъ говорятъ здѣсь русскіе люди, притворяющіеся не умѣющими говорить по-русски и воображающіе, что говорятъ по-французски.

«Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а графъ Милари добивался свести это на большую дорогу— и, говорятъ (это папа разболталъ), что между ними бывали

живые споры, что онъ бралъ ее за руку, а она не отнимала, у ней даже глаза туманились слезой, когда онъ, недовольный прогулками верхомъ у кареты и пріемомъ при тёткахъ, настаивалъ на бо́льшей свободѣ,—звалъ въ паркъ вдвоемъ, являлся въ другіе часы, когда тётки спали, или бывали въ церкви, и, не успѣвая, не показывалъ глазъ по недѣлѣ. А кузина волновалась, «prenant les choses au sérieux» (я не перевожу тебѣ здѣшняго языка, а передаю въ оригиналѣ, такъ какъ оригиналъ всегда ярче перевода). Между тѣмъ графъ серьезныхъ намѣреній не обнаруживалъ и наконецъ... наконецъ... вотъ гдѣ ужасъ! узнали, что онъ изъ «новыхъ» и своимъ прежнимъ правительствомъ былъ—«mal vu», и «эмигрировалъ» изъ отечества въ Парижъ, гдѣ и проживалъ, а главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами, во Флоренціи, или въ Миланѣ, есть какая-то нареченная невѣста, тоже кузина... что вся ея фортуна («fortune»—въ оригиналѣ) перейдетъ въ его родъ изъ того рода, такъ же, какъ и виды на карьеру. Это провѣдала княгиня черезъ князя Б. П... И твоя Софья страдаетъ теперь вдвойнѣ: и отъ того, что оскорблена внутренно — гордости ея красоты и гордости рода нанесенъ ударъ — и отъ того, что сдѣлала... un faux pas, и, можетъ-быть, также немного и отъ того чувства, которое ты старался пробудить — и успѣлъ, а я, по дружбѣ къ тебѣ, поддержалъ въ ней...

«Что будетъ съ ней теперь—не знаю: драма ли, романъ ли—это уже докончи ты на досугѣ, а мнѣ пора на вечеръ къ В. И. Тамъ ожидаетъ меня здоровая и серьезная партія съ серьезными игроками.

«Прощай — это первое и послѣднее мое письмо, или, пожалуй, глава изъ будущаго твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если онъ будетъ весь такой! Бабушкѣ и сестрамъ своимъ кланяйся, нужды нѣтъ, что я не знаю ихъ, а онѣ меня, и скажи имъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ

твой пріятель, готовый служить, какъ выше сказано».— *И. Аѳиновъ.*

VIII.

Райскій сунулъ письмо въ ящикъ, а самъ, взявъ фуражку, пошелъ въ садъ, внутренно сознаваясь, что онъ идетъ взглянуть на мѣста, гдѣ вчера ходила, сидѣла, скользила, можетъ-быть, какъ змѣя, съ обрыва внизъ, сверкая красотой, какъ ночь — Вѣра, все она, его мучительница и идолъ, которому онъ еще лихорадочно дочитывалъ про себя — и молитвы, какъ идеалу, и шепталъ проклятія, какъ живой красавицѣ, кидая мысленно въ нее каменья.

Онъ обошелъ весь садъ, взглянулъ на ея закрытыя окна, подошелъ къ обрыву и погрузилъ взглядъ въ лежащую у ногъ его пропасть тихо шумящихъ кустовъ и деревьевъ.

Аллеи представлялись темными коридорами, но открытыя мѣста, поблекшій цвѣтникъ, огородъ, все пространство сада, лежащее передъ домомъ, освѣщались косвенными лучами выплывшей на горизонтъ луны. Звѣзды сильно мерцали. Вечеръ былъ ясенъ и свѣжъ.

Райскій посмотрѣлъ съ обрыва на Волгу: она сверкала вдали, какъ сталь. Около него, тихо шелестя, летѣли съ деревьевъ увядшіе листья.

«Тамъ она теперь,—думалъ онъ, глядя за Волгу:—и ни одного слова не оставила мнѣ! Задушевное, сказанное ея грудным шопотомъ «прощай» примирило бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову! И уѣхала! ни слѣда, ни воспоминанія!»—горевалъ онъ, склонивъ голову, идучи по темной аллеѣ.

Вдругъ въ плечо ему слегка впились чьи-то тонкіе пальцы, какъ когти хищной птицы, и въ ухѣ раздался сдержанный смѣхъ.

— Вѣра!—въ радостномъ ужасѣ сказалъ онъ, задрожавъ и хватая ее за руку.

У него даже волосы поднялись на головѣ.

— Ты здѣсь, не за Волгой!..

— Здѣсь, не за Волгой! — повторила она, продолжая смѣяться, и пропустила свою руку ему подъ руку.—Вы думали, что я отпущу васъ, не простясь? Да, думали? Признавайтесь!..

— Ты колдунья, Вѣра. Да, сію минуту я упрекалъ тебя, что ты не оставила даже слова! — говорилъ онъ, растерянный и отъ страха, и отъ неожиданной радости, которая вдругъ охватила его.

— Да какъ же это ты?.. Въ домѣ всѣ говорили, что ты уѣхала вчера...

Она иронически засмѣялась, стараясь поглядѣть ему въ лицо.

— А вы и повѣрили! Я готовила вамъ сюрпризъ, велѣла сказать, что уѣхала... Признайтесь, вы не повѣрили, притворились?..

— Ей-Богу, нѣтъ.

— Побожитесь, еще! — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волненіемъ, и опять засмѣялась раздражительнымъ смѣхомъ.—Не оставила двухъ словъ, а осталась сама: что̀ лучше? Говорите же!—прибавила она, шаля и заигрывая съ нимъ.

Онъ былъ въ недоумѣніи. Эта живость рѣчи, быстрыя движенія, насмѣшливое кокетство — все казалось ему неестественно въ ней. Сквозь живой тонъ и рѣзвость онъ слышалъ будто усталость, видѣлъ напряженіе скрыть истощеніе силъ. Ему хотѣлось взглянуть ей въ лицо, и когда они подошли къ концу аллеи, онъ вывелъ-было ее на лунный свѣтъ.

— Дай мнѣ взглянуть на тебя, что̀ съ тобой, Вѣра? Какая ты рѣзвая, веселая!..—замѣтилъ онъ робко.

— Что̀ смотрѣть — нечего! — съ нетерпѣніемъ перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его въ темноту.

Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую съ плечъ мантилью.

— Веселая — оттого, что вы здѣсь, подлѣ меня...

Она прижалась плечомъ къ его плечу.

— Что съ тобой, Вѣра? въ тебѣ какая-то перемѣна!— прошепталъ Райскій подозрительно, не раздѣляя ея бурной веселости и стараясь подвести ее къ свѣту.

— Пойдемте, пойдемте, что за смотръ такой—не люблю!..— живо говорила она, едва стоя на мѣстѣ.

Онъ чувствовалъ, что руки у ней дрожатъ и что вся она трепещетъ и бьется въ какой-то непонятной для него тревогѣ.

— Да говорите же что-нибудь, разсказывайте, гдѣ были, что видѣли, помнили ли обо мнѣ? А что страсть? все мучаетъ—да? Что это у васъ, точно языкъ отнялся? куда дѣвались эти «волны поэзіи», этотъ «рай и геенна»? давайте мнѣ рая! Я счастья хочу, «жизни»!

Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на мѣстѣ отъ нетерпѣнія, ускоряла шагъ.

— Да что это вы идете, какъ черепаха! Пойдемте къ обрыву, спустимся къ Волгѣ, возьмемъ лодку, покатаемся!..— продолжала она, таща его съ собой, то смѣясь, то вдругъ задумываясь.

— Вѣра, мнѣ страшно съ тобой, ты... нездорова! — печально сказалъ онъ.

— А что?—спросила она вдругъ, останавливаясь.

— Откуда вдругъ у тебя эта развязность, болтливость? ты, такая сдержанная, сосредоточенная!

— Я очень обрадовалась вамъ, братъ, все смотрѣла въ окно, прислушиваясь къ стуку экипажей...—сказала она и, наклонивъ голову, въ раздумьѣ, тише пошла подлѣ него, все держа свою руку на его плечѣ и по временамъ сжимая сильно, какъ птица когти, свои тонкіе пальцы.

Ему отъ чего-то было тяжело. Онъ уже не слушалъ ея

раздражительныхъ и кокетливыхъ вызововъ, которымъ въ другое время готовъ былъ вѣрить. Въ немъ въ эту минуту умолкла собственная страсть. Онъ болѣлъ духомъ за нее, вслушиваясь въ ея лихорадочный лепетъ, стараясь вглядѣться въ нервную живость движеній и угадать, что̀ значило это волненіе.

— Чего вы такъ странно смотрите на меня: я не сумасшедшая!—говорила она, отворачиваясь отъ него.

На него напалъ ужасъ.

«Сумасшедшіе почти всегда такъ говорятъ!» подумалъ онъ: «спѣшатъ увѣрить всѣхъ, что они не сумасшедшіе!»

Онъ самъ испытывалъ нетрезвость страсти — и мучился за себя, но онъ давно зналъ, и страсти, и себя, и то не всегда могъ предвидѣть исходъ. Теперь, видя Вѣру, упившеюся этого недуга, онъ вздрагивалъ за нее.

Она какъ будто теряетъ силу, слабѣетъ. Спокойствія въ ней нѣтъ больше: она собираетъ послѣднія силенки, чтобъ замаскироваться, уйти въ себя—это явно: но и въ себѣ ей уже тѣсно — чаша переполняется, и волненіе выступаетъ наружу.

«Боже мой, что̀ съ ней будетъ!» въ страхѣ думалъ онъ: «а у ней нѣтъ довѣрія ко мнѣ. Она не высказывается, хочетъ бороться одна! кто охранитъ ее?..»

«Бабушка!» шепнулъ ему какой-то голосъ.

— Вѣра! ты нездорова, ты бы поговорила съ бабушкой...—серьезно сказалъ онъ.

— Тише, молчите, помните ваше слово! — сильнымъ шопотомъ сказала она. — Прощайте теперь! Завтра пойдемъ съ вами гулять, потомъ въ городъ, за покупками, потомъ туда, на Волгу... всюду! Я жить безъ васъ не могу!..— прибавила она почти грубо, и сильно сжавъ ему плечо пальцами.

«Что̀ съ ней!» думалъ онъ.

Но послѣднія ея слова, этотъ грубо-кокетливый вызовъ,

обращенный прямо къ нему и на него, заставили его подумать и о своей защитѣ, напомнили ему о его собственной борьбѣ и о намѣреніи бѣжать.

— Я уѣду, Вѣра,—сказалъ онъ вслухъ:—я измученъ, у меня нѣтъ силъ больше, я умру... Прощай! зачѣмъ ты обманула меня? зачѣмъ вызвала? зачѣмъ ты здѣсь? Чтобъ наслаждаться моими муками!.. Уѣду, пусти меня!

— Уѣзжайте!—сказала она, отойдя отъ него на шагъ.— Егорка еще не успѣлъ унести чемоданъ на чердакъ!..

Онъ быстро пошелъ, ожесточенный этой умышленной пыткой, этимъ издѣваніемъ надъ нимъ и надъ страстью. Потомъ оглянулся. Шагахъ въ десяти отъ него, выступивъ немного на лунный свѣтъ, она, какъ бѣлая статуя въ зелени, стоитъ неподвижно и слѣдитъ за нимъ съ любопытствомъ, уйдетъ онъ, или нѣтъ?

«Что это? что съ ней?» съ ужасомъ спрашивалъ онъ:— «зачѣмъ я ей? Воткнула ножъ, смотритъ какъ течетъ кровь, какъ бьется жертва! что она за женщина?»

Ему припомнились всѣ жестокія, историческія женскія личности, жрицы кровавыхъ культовъ, женщины революціи, купавшіяся въ крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, съ Юдиои до леди Макбетъ включительно. Онъ пошелъ, и опять обернулся. Она смотритъ неподвижно. Онъ остановился.

«Какая красота, какая гармонія — во всей этой фигурѣ! Она страшна, гибельна мнѣ!»—думалъ онъ, стоя какъ вкопанный, и не могъ оторвать глазъ отъ стройной, неподвижной фигуры Вѣры, облитой луннымъ свѣтомъ.

Онъ чувствовалъ эту красоту нервами, ему было больно отъ нея. Онъ нехотя впился въ нее глазами.

Она пошевелилась и сдѣлала ему призывный знакъ головой. Проклиная свою слабость, онъ медленно, шагъ за шагомъ, пошелъ къ ней. Она уползла въ темную аллею, лишь только онъ подошелъ, и онъ послѣдовалъ за ней.

— Что тебѣ нужно, Вѣра, зачѣмъ ты не даешь мнѣ покоя? Черезъ часъ я уѣду!..—рѣзко и сухо говорилъ онъ, и самъ все шелъ къ ней.

— Не смѣйте, я не хочу!—сильно схвативъ его за руку, говорила она:—вы «рабъ мой», должны мнѣ служить... Вы тоже не давали мнѣ покоя!

Дрожь страсти вдругъ охватила его. Онъ чувствовалъ, что колѣни его готовы склониться и голосъ пѣлъ внутри его: «да, рабъ, повелѣвай!..»

И онъ хотѣлъ упасть и зарыдать отъ страсти у ея ногъ.

— Вы мнѣ нужны, — шептала она: — вы просили мукъ, казни — я дамъ вамъ ихъ! «Это жизнь!» говорили вы:— вотъ она — мучайтесь и я буду мучаться, будемъ вмѣстѣ мучаться... «Страсть прекрасна: она кладетъ на всю жизнь долгій слѣдъ, и этотъ слѣдъ люди называютъ счастьемъ!..» Кто это проповѣдывалъ? А теперь бѣжать: нѣтъ! оставайтесь, вмѣстѣ кинемся въ ту бездну! «Это жизнь, и только это!» говорили вы:—вотъ и давайте жить! Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее...

— Ты гибнешь Вѣра,—въ ужасѣ сказалъ онъ, отступая.

— Можетъ-быть, — говорила она, какъ будто отряхивая хмель отъ головы. — Такъ что же? что вамъ? не все ли равно? вы этого хотѣли! «Природа влагаетъ страсть только въ живые организмы», твердили вы: «страсть прекрасна!..» Ну, вотъ она—любуйтесь!..

Она забирала сильными глотками свѣжій, вечерній воздухъ.

— Но я же и остерегалъ тебя, я называлъ страсть «волкомъ»... — защищался онъ, съ ужасомъ слушая это явное, беззащитное признаніе.

— Нѣтъ, она злѣе, она — тигръ. Я не вѣрила, теперь вѣрю. Знаете ту гравюру, въ кабинетѣ стараго дома: тигръ скалитъ зубы на сидящаго на немъ амура? Я не понимала,

что это значитъ, безсмыслица — думала, а теперь понимаю. Да — страсть какъ тигръ, сначала дастъ сѣсть на себя, а потомъ рычитъ и скалитъ зубы...

У Райскаго въ душѣ шевельнулась надежда добраться до таинственнаго имени: кто! Онъ живо ухватился за ея сравненіе страсти съ тигромъ.

— У насъ на сѣверѣ нѣтъ тигровъ, Вѣра, и сравненіе твое невѣрно, — сказалъ онъ. — Мое вѣрнѣе: твой идолъ — волкъ!

— Браво, да, да! — смѣясь нервически перебила она: — настоящій волкъ! какъ ни корми, все къ лѣсу глядитъ!

И вдругъ смолкла, какъ будто въ отчаяніи.

— Всѣ вы звѣри, — прибавила потомъ со вздохомъ: — онъ волкъ...

— Кто онъ?—тихо спросилъ Райскій.

— Тушинъ — медвѣдь, — продолжала она, не отвѣчая ему:—русскій честный, смышленый медвѣдь...

«А! такъ это не Тушинъ?» подумалъ Райскій.

— Положи руку на его мохнатую голову, — говорила она: — и спи: не измѣнитъ, не обманетъ... будетъ вѣкъ служить...

— А я кто? — вдругъ, немного развеселясь, спросилъ Райскій.

Она близко и лукаво поглядѣла ему въ глаза и медлила отвѣтомъ.

— Вижу, хочется сказать «оселъ»: скажи Вѣра, не церемонься!

— Вы? оселъ?—заговорила она язвительно, ходя медленно вокругъ него и оглядывая его со всѣхъ сторонъ.

— Право, оселъ!—наивно подтвердилъ Райскій: — вижу, какъ ты мудришь надо мной, терплю и хлопаю ушами.

— Какой вы оселъ!—Вы лиса, мягкая, хитрая; заманить въ западню... тихо, умно, изящно... Вотъ я васъ!..

Онъ молчалъ, не понимая ея.

— Да говорите же, что молчите!—дергая его за рукавъ, сказала она.

— Есть средство противъ этихъ волковъ...

— Какое?

— Мнѣ—уѣхать, а тебѣ—не ходить вонъ туда...—онъ показалъ на обрывъ.

— Дайте мнѣ силу не ходить туда! — почти крикнула она. — Вотъ вы то же самое теперь испытываете, что я: да? Ну, попробуйте завтра усидѣть въ комнатѣ, когда я буду гулять въ саду одна... Да нѣтъ, вы усидите! Вы сочинили себѣ страсть, вы только умѣете краснорѣчиво говорить о ней, завлекать, играть съ женщиной! Лиса, лиса! вотъ я васъ за это, постойте, еще не то будетъ!—съ принужденнымъ смѣхомъ, и будто шутя, но горячо говорила она, впуская опять ему въ плечо свои тонкіе пальцы.

Онъ въ страхѣ слушалъ ее.

— Ты за этимъ дождалась меня? — помолчавъ спросилъ онъ:—чтобъ сказать мнѣ это?

— Да, за этимъ! Чтобъ вы не шутили впередъ съ страстью, а научили бы, что мнѣ дѣлать теперь — вы, учитель!.. А вы подожгли домъ, да и бѣжать! «Страсть прекрасна, люби, Вѣра, не стыдись!» Чья эта проповѣдь: отца Василья?

— Я разумѣлъ раздѣленную страсть,—тихо оправдывался онъ. — Страсть прекрасна, когда обѣ стороны прекрасны, честны—тогда страсть не зло, а дѣйствительно величайшее счастье на всю жизнь: тамъ нѣтъ и не нужно лжи и обмановъ. Если одна сторона не отвѣчаетъ на страсть, она не будетъ напрасно увлекать другую, или когда наступитъ охлажденіе, она не поползетъ въ темнотѣ, отравляя измѣной жизнь другому, а смѣло откроется и нанесетъ честно, какъ сама судьба, одинъ явный и неизбѣжный ударъ—разлуку... Тогда бурь нѣтъ, а только живительный огонь...

— Страсти безъ бурь нѣтъ, или это не страсть! — ска-

зала она. — А кромѣ честности или нечестности, другого разлада, другихъ пропастей развѣ не бываетъ? — спросила она послѣ нѣкотораго молчанія. — Ну вотъ, я люблю, меня любятъ: никто не обманываетъ. А страсть рветъ меня... Научите же теперь, что мнѣ дѣлать?

— Бабушкѣ сказать...—говорилъ онъ, блѣдный отъ страха:—позволь мнѣ, Вѣра... отдай мое слово назадъ.

— Боже сохрани! молчите и слушайте меня! А! теперь «бабушкѣ сказать»! Стращать, стыдить меня!.. А кто велѣлъ не слушаться ея, не стыдиться? Кто смѣялся надъ ея моралью?

— Ты скажи мнѣ, что съ тобой, Вѣра? Ты, то проговариваешься, то опять уходишь въ тайну; я въ потемкахъ, я не знаю ничего... Тогда, можетъ-быть, я найду и средство...

— Вы не знаете, что со мной, вы въ потемкахъ, подите сюда! — говорила она, уводя его изъ аллеи, и выйдя изъ нея, остановилась. Луна свѣтила ей прямо въ лицо.—Смотрите, что со мной.

У него упало сердце. Онъ не узналъ прежней Вѣры. Лицо блѣдное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злымъ блескомъ, губы сжаты. Съ головы, изъ-подъ косынки, выпадали въ безпорядкѣ на лобъ и виски двѣ-три пряди волосъ, какъ у цыганки, закрывая ей, при быстрыхъ движеніяхъ, глаза и ротъ. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная бѣлымъ пухомъ мантилья, едва державшаяся слабымъ узломъ шелковаго шнурка.

— Что? — отряхивая волосы отъ лица, говорила она: — узнаете вашу Вѣру? Гдѣ эта «красота», которой вы пѣли гимны?

Она съ жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой.

— Что я могу сдѣлать, Вѣра?—говорилъ онъ тихо, вглядываясь въ ея исхудавшее лицо и больной блескъ глазъ.— Скажи мнѣ, я готовъ умереть...

— Умереть, умереть! зачѣмъ мнѣ это? Помогите мнѣ жить, дайте той прекрасной страсти, отъ которой «тянутся какіе-то лучи на всю жизнь...» Дайте этой жизни, гдѣ она? Я, кромѣ огрызающагося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите, или воротите меня назадъ, когда у меня еще была сила! А вы—«бабушкѣ сказать»! уложить ее въ гробъ и меня съ ней!.. Это, что ли, средство? Или учите не ходить туда, къ обрыву... Поздно!

— Скажи мнѣ, кого ты любишь, всѣ обстоятельства, имя!..

— Кого? — васъ! — сказала она съ злобой, отряхивая опять пряди отъ лица и небрежно натягивая мантилью на плеча.

Онъ боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоялъ, сложивъ руки назадъ, прислонясь къ дереву. Она ходила взадъ и впередъ торопливыми, неровными шагами. Потомъ остановилась и перевела духъ.

— Да, она сумасшедшая!—шепталъ онъ въ ужасѣ.

Она сѣла на скамью, утихла и задумалась.

— Что это со мной? — будто немного опомнившись, про себя сказала она.

— Ты, Вѣра, сама бредила о свободѣ, ты тянулась и отъ меня, и отъ бабушки, хотѣла независимости. Я только подтверждалъ твои мысли: онѣ и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову?—тихо оправдывался онъ. — Не только я, даже бабушка не смѣла приступиться къ тебѣ...

Она глубоко вздохнула, потомъ подошла къ нему и, прижавшись головой къ его плечу, слабо заговорила.

— Да... да, не слушайте меня! У меня, просто, нервы разстроены. Какая страсть? Никакой страсти нѣтъ! Я шутила, какъ вы... со мной...

— Ты все еще думаешь, что я шутилъ! — тихо сказалъ онъ.

Она старалась улыбнуться, взяла его за руку.

— Прижмите руку къ моей головѣ,—говорила она кротко:—видите, какой жаръ... Не сердитесь на меня, будьте снисходительны къ бѣдной сестрѣ! Это все пройдетъ... Докторъ говоритъ, что у женщинъ часто бываютъ припадки... Мнѣ самой гадко и стыдно, что я такъ слаба...

— Что же съ тобой, бѣдная Вѣра? скажи мнѣ...

— Ничего... Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лѣстницу — я боюсь чего-то... Я лягу... простите меня, я встревожила васъ напрасно... вызвала сюда. Вы бы уѣхали и забыли меня. У меня, просто, лихорадка... Вы не сердитесь?..—ласково сказала она.

Онъ поспѣшно подалъ ей руку, тихо вывелъ изъ сада, провелъ черезъ дворъ и довелъ до ея комнаты. Тамъ зажегъ ей свѣчу.

— Позовите Марину, или Машу, чтобъ легли спать тутъ въ моей комнатѣ... Только бабушкѣ ни слова объ этомъ!.. Это просто раздраженіе... Она перепугается... придетъ...

Онъ боязливо, задумчиво слушалъ ее.

— Что вы все молчите, такъ странно смотрите на меня!—говорила она, безпокойно слѣдя за нимъ глазами.—Я, Богъ знаетъ, что наболтала въ бреду... это чтобъ подразнить васъ... отмстить за всѣ ваши насмѣшки... — прибавила она, стараясь улыбнуться. — Смотрите же, бабушкѣ ни слова! Скажите, что я легла, чтобъ завтра пораньше встать, и попросите ее... благословить меня заочно... Слышите?

— Да, да слышу,— разсѣянно отвѣчалъ онъ, пожалъ ей руку и позвалъ къ ней Машу.

IX.

Райскій на другой день съ любопытствомъ ждалъ пробужденія Вѣры. Онъ забылъ о своей собственной страсти, воображеніе робко молчало и ушло все въ наблюденіе за этой ползущей въ его глазахъ, какъ «удавъ», по его выра-

женію, чужой страстью, выглянувшей изъ Вѣры, съ своими острыми зубами.

Онъ былъ задумчивъ, угрюмъ, избѣгалъ вопросительныхъ взглядовъ бабушки, проклиная слово, данное Вѣрѣ, не говорить никому, всего меньше Татьянѣ Марковнѣ, чѣмъ и поставленъ былъ въ фальшивое положеніе.

А Татьяна Марковна не разъ ужъ заговаривала съ нимъ о ней.

— Что-то съ Вѣрой неладно! — говорила она, качая головой.

— Что такое?—спрашивалъ небрежно Райскій, стараясь казаться равнодушнымъ.

— Не хорошо! хуже, нежели намедни: ходитъ хмурая, молчитъ, иногда кажется, будто слезы у нея на глазахъ. Я съ докторомъ говорила, тотъ опять о нервахъ поетъ. Дѣвичьи припадки, что ли?..

Бабушка не кончала рѣчи и грустно задумывалась.

Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ Вѣры. Наконецъ она пришла. Дѣвушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошвѣ. Она, поздоровавшись съ бабушкой, попросила кофе, съ аппетитомъ съѣла нѣсколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать съ ней въ городѣ, въ лавкахъ, и потомъ погулять вмѣстѣ въ полѣ и въ рощѣ.

Она какъ будто ничего. Изъ вчерашняго только замѣтна была несвойственная ей развязность въ движеніяхъ, и излишняя торопливость рѣчи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крѣпится и маскируетъ разстроенность духа или нервъ.

Она даже вдалась въ подробности о нарядахъ съ Полиной Карповной, которая неожиданно явилась въ кабинетъ бабушки, съ какими-то обѣщанными выкройками новаго фасона платья для приданаго Марфиньки, а въ самомъ дѣлѣ, чтобъ узнать о возвращеніи Бориса Павловича.

Она все хотѣла, во что бы то ни стало, видѣться съ нимъ наединѣ и все выбирала удобную минуту сѣсть подлѣ него, увѣряя всѣхъ, и его самого, что онъ хочетъ что-то сказать ей безъ свидѣтелей.

Она дѣлала томные глаза, ловила его взглядъ и раза два начинала тихо:

— Je comprends: dites tout! du courage

«Ну тебя къ чорту!» думалъ онъ, хмурясь и отодвигаясь отъ нея.

Наконецъ Вѣра надѣла пальто, взяла его подъ руку и сказала:

— Пойдемте!

Крицкая порывалась-было идти съ ними, но Вѣра уклонилась, сказавъ:

— Мы идемъ пѣшкомъ и надолго съ братомъ, а у васъ, милая Полина Карповна, длинный шлейфъ, и вообще нарядный туалетъ—на-дворѣ сыро...

И ушли.

Райскій молчалъ, наблюдая Вѣру, а она старалась казаться въ обыкновенномъ расположеніи духа, дѣлала бѣглыя замѣчанія о погодѣ, о встрѣчавшихся знакомыхъ, о томъ, что вонъ этотъ домъ, еще мѣсяцъ тому назадъ, былъ сѣрый, запущенный, съ обвалившимися карнизами, а теперь вонъ какъ свѣжо смотритъ, когда его оштукатурили и выкрасили въ желтый цвѣтъ. Упомянула, что къ зимѣ заново отдѣлаютъ залу собранія, что гостиный дворъ покроютъ желѣзомъ, остановилась посмотрѣть, какъ ровняютъ улицу для бульвара.

Она вообще казалась довольной, что идетъ по городу, замѣтивъ, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видитъ никто, и Богъ знаетъ, что думаютъ, точно будто она умерла.

Райскій—ни слова не отвѣчалъ на весь этотъ развязный лепетъ, подъ которымъ слышались ему совсѣмъ другія рѣчи.

— Можетъ-быть, я дурно дѣлаю, что лишаю васъ общества Полины Карповны?—замѣтила она, напрасно стараясь вывести его изъ молчанія.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе плечомъ.

— Я шучу!—сказала она, мѣняя тонъ на другой, болѣе искренній. — Я хочу, чтобъ вы провели со мной день, и нѣсколько дней до вашего отъѣзда,—продолжала она почти съ грустью.—Не оставляйте меня, дайте побыть съ вами... Вы скоро уѣдете—и никого около меня!

— Я боюсь, Вѣра, что я совершенно безполезенъ тебѣ, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступаетъ или наступила катастрофа...

Она вздрогнула.

— Что ты?—заботливо спросилъ онъ.

— Свѣжо на дворѣ, плечи зябнутъ!—сказала она, пожимая плечами. — Какая драма! нездорова, не весела, осень на дворѣ, а осенью человѣкъ, какъ всѣ звѣри, будто уходитъ въ себя. Вонъ и птицы уже улетаютъ—посмотрите, какъ журавли летятъ! — говорила она, указывая высоко надъ Волгой на кривую линію черныхъ точекъ въ воздухѣ. — Когда кругомъ все дѣлается мрачно, блѣдно, уныло,—и на душѣ становится уныло... Не правда ли?

Она сама знала, что его не легко было обойти такимъ объясненіемъ, и говорила такъ, чтобъ не говорить правды.

Онъ молчалъ, стараясь отыскать другой, настоящій ключъ.

— Вѣра, я хотѣлъ тебя спросить...—началъ онъ.

— Что такое? — съ безпокойствомъ перебила она и, не дождавшись отвѣта, прибавила: — хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя нѣсколько дней... Однако—что такое?

— О письмахъ, которыя ты писала ко мнѣ...

— Да, что же такое?

— Помнишь, ты писала, что раздѣляешь мой взглядъ на честность...

Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.

— Да... да... какъ же, какъ же... писала... такъ что же?

Онъ глядѣлъ на нее пристально.

— Ты ли писала это письмо?

— Кто же?—вдругъ сказала она съ живостью:—конечно, я... Послушайте, — прибавила она потомъ: — оставимъ это объясненіе, какъ я просила, до другого раза. Я больна, слаба... вы видѣли, какой припадокъ былъ у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что̀ я писала, и какъ-нибудь перепутаю...

— Хорошо, пусть до другого раза! — со вздохомъ сказалъ онъ.—Скажи, по крайней мѣрѣ, зачѣмъ я тебѣ? Зачѣмъ ты удерживаешь меня? Зачѣмъ хочешь, чтобъ я остался, чтобъ пробылъ съ тобой эти дни?

Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась къ его плечу, умоляя глазами не спрашивать.

— Вѣдь не любишь же ты меня въ самомъ дѣлѣ. Ты знаешь, что я не вѣрю твоей кокетливой игрѣ,—и настолько уважаешь меня, что не станешь увѣрять серьезно... Я, когда не въ горячкѣ, вижу, что ты издѣваешься надо мной: зачѣмъ и за что̀?

Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.

— По крайней мѣрѣ, о себѣ я въ правѣ спросить, зачѣмъ я тебѣ? Ты не можешь не видѣть, какъ я весь истерзанъ, и страстью, и этимъ градомъ ударовъ сердцу, самолюбію...

— Да, самолюбію...—повторила она разсѣянно.

— Положимъ, самолюбію, оставимъ споръ о томъ, что̀ такое самолюбіе, и что̀ — такъ-называемое — сердце. Но ты должна сказать, зачѣмъ я тебѣ? Это мое право—спросить, и твой долгъ — отвѣчать прямо и откровенно, если не хочешь, чтобъ я счелъ тебя фальшивой, злой...

Она шла съ поникшей головой, а онъ ждалъ отвѣта.

— Оставимъ теперь это...

— И это оставимъ? Нѣтъ, не оставлю!—съ вспыхнувшей злостью сказалъ онъ, вырвавъ у ней руку:—ты какъ кошка съ мышью играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобнаго времени, даже вовсе о нихъ не говорить:—ты въ правѣ, а о себѣ я требую немедленно отвѣта. Зачѣмъ я тебѣ? Какую ты роль дала мнѣ и зачѣмъ, за что!

— Вы сами выбрали эту роль, братъ... — кротко возразила она, склоняя лицо внизъ. — Вы просили не удалять васъ...

Онъ, въ безсильной досадѣ на ея справедливый упрекъ, отшатнулся отъ нея въ сторону и мѣсилъ широкими шагами грязь по улицѣ, а она шла по деревянному тротуару.

— Не сердитесь, братъ, подите сюда! Я не затѣмъ удержала васъ, чтобъ оскорблять—нѣтъ!—шептала она, призывая его къ себѣ.—Подите сюда, ко мнѣ.

Онъ опять подалъ ей руку.

— Я прошу васъ только, не говорите мнѣ объ этомъ теперь, не тревожьте меня — чтобъ со мной не случилось опять вчерашняго припадка!.. Вы видите, я едва держусь на ногахъ... Посмотрите на меня, возьмите мою руку...

Онъ взялъ руку—она была блѣдна, холодна, синія жилки на ней видны явственно. И шея, и талія стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвѣта и сквозилось грустью и слабостью. Онъ опять забылъ о себѣ, ему стало жаль только ее.

— Я не хочу, чтобъ дома замѣтили это... Я очень слаба... поберегите меня...—молила она, и даже слезы показались въ глазахъ.—Защитите меня... отъ себя самой!.. Ужо, въ сумерки, часовъ въ шесть послѣ обѣда, зайдите ко мнѣ—я... скажу вамъ, зачѣмъ я васъ удержала...

— Виноватъ, Вѣра, я тоже самъ не свой! — говорилъ онъ, глубоко тронутый ея горемъ, пожимая ей руку: — я вижу, что ты мучаешься—не знаю, чѣмъ... Но — я ничего

не спрошу, я долженъ бы щадить твое горе — и не умѣю, потому что самъ мучаюсь. Я приду ужо, располагай мною...

Она отвѣчала на его пожатіе сильнымъ пожатіемъ руки.

— Скажу, если въ силахъ буду сказать... — прошептала она.

У него замерло сердце отъ тоски и предчувствія.

Они прошли по лавкамъ. Вѣра дѣлала покупки для себя и для Марѳиньки, также развязно и словоохотливо разговаривая съ купцами и съ встрѣчными знакомыми. Съ нѣкоторыми даже останавливалась на улицѣ и входила въ мелочныя, будничныя подробности, зашла къ какой-то своей крестницѣ, дочери бѣдной мѣщанки, которой отдала купленнаго на платье ей и малюткѣ ситцу и одѣяло. Потомъ охотно приняла предложеніе Райскаго навѣстить Козлова.

Когда они входили въ ворота, изъ калитки вдругъ вышелъ Маркъ. Увидя ихъ, онъ едва кивнулъ Райскому, не отвѣчая на его вопросъ:—Что Леонтій? и почти не взглянувъ на Вѣру, бросился по переулку скорыми шагами.

Вѣра вдругъ будто приросла на минуту къ землѣ, но тотчасъ же оправилась и также скорыми шагами вбѣжала на крыльцо, опередивъ Райскаго.

— Что съ нимъ?—спросилъ Райскій, глядя вслѣдъ Марку:—не отвѣчалъ ни слова, и какъ бросился! Да и ты испугалась: не онъ ли ужъ это тамъ стрѣляетъ?.. Я видалъ его тамъ съ ружьемъ...—добавилъ онъ, шутя.

— Онъ самый!—сказала Вѣра развязно, не оборачиваясь и входя въ комнату Козлова.

«Нѣтъ, нѣтъ», думалъ Райскій: «оборванный, бродящій цыганъ—ея идолъ, нѣтъ, нѣтъ! Впрочемъ, почему «нѣтъ»? Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человѣческимъ соображеніямъ и уставамъ, а покоряетъ людей своимъ неизвѣданнымъ капризомъ! Но Вѣрѣ негдѣ было сблизиться съ Маркомъ. Она боится его, какъ всѣ здѣсь!»

Козловъ по-вчерашнему ходилъ, пошатываясь, какъ пья-

ный, изъ угла въ уголъ, угрюмо молчалъ съ неблизкими и обнаруживалъ тоску только при Райскомъ, слабѣлъ и падалъ духомъ, жалуясь тихимъ ропотомъ, и все вслушивался въ каждый проѣзжавшій экипажъ по улицѣ, подходилъ къ дверямъ въ волненіи и возвращался въ отчаяніи.

На приглашеніе Райскаго и Вѣры переѣхать къ нимъ, онъ молчалъ, едва вслушиваясь, или скажетъ:

— Да, да, только послѣ, погодя недѣли двѣ... три...

— Послѣ свадьбы Марѳиньки,—сказала Вѣра.

— Послѣ свадьбы, послѣ свадьбы! — подтвердилъ Леонтій. — Да, благодарю, а теперь я поживу здѣсь... Покорно благодарю...

Онъ вдругъ взглянулъ на Вѣру, и какъ будто удивился, видя ее.

— Вѣра Васильевна! — сказалъ онъ, глядя на нее въ смущеніи.

— Борисъ Павловичъ,— началъ онъ, продолжая глядѣть на нее: — ты знаешь, кто еще читалъ твои книги и помогалъ мнѣ разбирать ихъ?..

— Кто?—спросилъ Райскій.

Но Козловъ уже былъ въ другомъ углу комнаты и прислушивался. Потомъ вдругъ отворилъ форточку и высунулъ голову.

— Чей это голосъ?.. женщины!— говорилъ онъ съ испугомъ, навостривъ уши и открывъ глаза.

— Ни-токъ, нитокъ! холста! — доносился пронзительный женскій крикъ издали.

Козловъ съ досадой захлопнулъ форточку.

— Кто же читалъ книги?—повторилъ Райскій.

Но Козловъ не слыхалъ вопроса, сѣлъ на постель и повѣсилъ голову. Вѣра шепнула Райскому, что ей тяжело видѣть Леонтья Ивановича, и они простились съ нимъ.

— Я что-то хотѣлъ сказать тебѣ, Борисъ Павловичъ, — задумчиво говорилъ Козловъ:—да вотъ забылъ...

— Ты говорилъ, что книги мои читалъ еще кто-то...

— Да вотъ кто! — вдругъ сказалъ Леонтій, указывая на Вѣру.

Райскій взглянулъ на Вѣру, но она задумчиво смотрѣла въ окно и тянула его за рукавъ.

— Пойдемте, пойдемте! — говорила она, порываясь на улицу.

Они воротились домой. Вѣра передала нѣкоторыя покупки бабушкѣ, другія велѣла отнести къ себѣ въ комнату и позвала опять Райскаго гулять по рощѣ, по полю, и спуститься къ Волгѣ, на песокъ.

— Пойдемте туда!—говорила она, указывая какой-нибудь бугоръ, и едва доходили они туда, она тащила его въ другое мѣсто, или взглянуть съ какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, гдѣ вязли ноги, чтобъ подойти поближе къ водѣ.

Она всматривалась въ даль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя духъ, и отряхивая пряди волосъ отъ лица.

— Зачѣмъ ты утомляешь себя, ты слаба, Вѣра?— сказалъ онъ.

— Мнѣ все будто пить хочется, я воздуха хочу! — говорила она, оборачиваясь лицомъ въ ту сторону, откуда былъ вѣтеръ.

— Да, она перемогаетъ себя, собираетъ послѣднія силы!—шепталъ онъ, проводивъ ее наконецъ домой, гдѣ ихъ ждали къ обѣду.—Ужъ, ужъ!—твердилъ онъ и ждалъ шести часовъ вечера, когда стемнѣетъ.

Послѣ обѣда онъ уснулъ въ залѣ отъ усталости и проснулся, когда только-что пробило шесть часовъ и стало смеркаться.

Онъ пошелъ къ Вѣрѣ, но ея не было дома. Марина сказала, что барышня ко всенощной пошла, но только не знала,

въ какую церковь, въ слободѣ, или въ деревенскій приходъ на гору.

Въ слободской церкви Райскій пересмотрѣлъ всѣхъ и выучилъ наизусть физіономію каждой старухи, отыскивая Вѣру. Но ея не было, и онъ отравился на гору.

Тамъ въ церкви толпилось по угламъ и у дверей нѣсколько стариковъ и старухъ. За колонной, въ сумрачномъ углу, увидѣлъ онъ Вѣру, стоящую на колѣняхъ, съ наклоненной головой, съ накинутой на лицо вуалью.

Онъ сталъ сзади, за другой колонной.

Пока она молилась, онъ стоялъ, погруженный въ мысль о ея положеніи, въ чувство нѣжнаго состраданія къ ней, особенно со времени его возвращенія, когда въ ней такъ замѣтно выказалось обезсиленіе въ тяжелой борьбѣ.

Видя это страданіе только-что расцвѣтающей жизни, глядя, какъ мнетъ и жметъ судьба молодое, виноватое только тѣмъ созданіе, что оно пожелало счастья, онъ про себя роптalъ на суровые, никого не щадящіе законы бытія, налагающіе тяжесть креста и на плечи злодѣя, и на эту слабую, едва распустившуюся лилію.

«Хоть бы красоты ея пожалѣлъ... пожалѣла... пожалѣло... кто? зачѣмъ? за что?» думалъ онъ и невольно поддавался мистическому влеченію вѣрить какимъ-то таинственнымъ, подготовляемымъ въ человѣческой судьбѣ минутамъ, сближеніямъ, встрѣчамъ, наводящимъ человѣка на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желаніе, нужное зачѣмъ-то, для цѣли, невѣдомой до поры до времени самому человѣку, отъ котораго только непреклонно требуется борьба.

Въ другія, напротивъ, минуты—казалось ему—являются также, невидимо кѣмъ-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящіе отъ какого-нибудь рокового событія, шага, или увлеченія, перешагнувъ черезъ которыя, человѣкъ не-

решагнулъ глубокую пропасть, замѣчая ее уже тогда, когда она осталась позади.

Вглядываясь въ ткань своей собственной, и всякой другой жизни, глядя теперь въ только-что початую жизнь Вѣры, онъ яснѣе видѣлъ эту игру искусственныхъ случайностей, какіе-то блуждающіе огни злыхъ обмановъ, ослѣпленій, заранѣе разставленныхъ пропастей, съ промахами, ошибками, и рядомъ—тоже будто случайные исходы изъ запутанныхъ узловъ...

«Что дѣлать? Рваться изъ всѣхъ силъ въ этой борьбѣ съ разставленными капканами, и все стремиться къ чему-то прочному, безмятежно-покойному, къ чему стремятся вонъ и тѣ простыя души?» Онъ оглянулся на молящихся стариковъ и старухъ. «Или безсмысленно купаться въ мутныхъ волнахъ этой безцѣльно текущей жизни!»

«Гдѣ же ключъ къ уразумѣнію сознательнаго пути?»

Онъ взглянулъ на Вѣру: она не шевелилась въ своей молитвѣ и не сводила глазъ съ креста.

«Бѣдная!» съ грустью думалъ онъ, вышелъ и сѣлъ на паперть, въ ожиданіи Вѣры.

Она, молча, подала ему руку. Они пошли съ горы.

— Вы были въ церкви?—спросила она.

— Да, былъ,—отвѣчалъ онъ.

Они тихо сошли съ горы по деревнѣ и по большой луговинѣ къ саду, Вѣра склоня голову, онъ—думая объ обѣщанномъ объясненіи и ожидая его. Теперь желаніе выйти изъ омута неизвѣстности—для себя, и положить, однимъ прямымъ объясненіемъ, конецъ собственной пыткѣ,—отступило на второй планъ.

Онъ чувствовалъ, что на немъ одномъ лежалъ долгъ стать подлѣ нея, освѣтить ея путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узелъ, или перешагнуть пропасть, и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, умъ, сердце, всю силу.

Она и сама звала его за этимъ, въ чемъ вполовину утромъ созналась, и если не созналась вполнѣ, то конечно отъ свойственной ей осторожности—и, можетъ-быть, еще остатокъ гордости мѣшалъ ей признать себя побѣжденной.

Онъ радъ броситься ей на помощь, но не знаетъ ничего, и даже не имѣетъ права раздѣлить ни съ кѣмъ своихъ опасеній.

Но если бъ даже она и возвратила ему его слово и онъ повѣрилъ бабушкѣ всѣ свои догадки и подозрѣнія насчетъ Вѣры, повело ли бы это къ желаемому исходу?

Едва ли. Вся практическая, но устарѣвшая мудрость бабушки разбилась бы объ упрямство Вѣры, умъ которой былъ смѣлѣе, воля живѣе, чѣмъ у Татьяны Марковны, и притомъ Вѣра развита.

Ей по плечу современныя понятія, пробивающіяся въ общественное сознаніе; очевидно, она черпнула гдѣ-то другихъ идей, даже знаній, и стала неизмѣримо выше круга, гдѣ жила. Какъ ни старалась она таиться, но по временамъ проговаривалась какимъ-нибудь, нечаянно брошеннымъ словомъ, именемъ авторитета въ той или другой сферѣ знанія.

И языкъ измѣняетъ ей на каждомъ шагу; самый образъ проявленія самоволія мысли и чувства,—все, что такъ неожиданно поразило его при первой встрѣчѣ съ ней, весь складъ ума, наконецъ, характеръ, — все давало ей такой перевѣсъ надъ бабушкой, что изъ усилія Татьяны Марковны—выручить Вѣру изъ какой-нибудь бѣды, не вышло бы ровно ничего.

Бабушка могла предостеречь Вѣру отъ какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее отъ болѣзни, отъ грубой обиды, вырвать, съ опасностью собственной жизни, изъ огня: но что она сдѣлаетъ въ такой неосязаемой бѣдѣ, какъ страсть, если она есть у Вѣры?

Бабушка, безспорно, умная женщина, безошибочный зна-

токъ и судья крупныхъ и общихъ явленій жизни, бойкая хозяйка, отлично управляетъ своимъ маленькимъ царствомъ, знаетъ людскіе нравы, пороки и добродѣтели, какъ они обозначены на скрижаляхъ Моисея и въ Евангеліи.

Но едва ли она знаетъ ту жизнь, гдѣ игра страстей усложняетъ людскія отношенія въ такую мелкую ткань и окрашиваетъ въ такіе цвѣта, какіе и не снятся никому въ мирныхъ деревенскихъ затишьяхъ. Она—дѣвушка.

Если въ молодости любовь, страсть, или что-нибудь подобное, и было извѣстно ей, такъ это, конечно, страсть безъ опыта, какая-нибудь нераздѣленная, или заглохшая отъ неудачи подъ гнетомъ любовь, не драма—любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся въ ней одной и въ ней угасшее и погребенное, не оставившее слѣда и не положившее ни одного рубца на ея ясной жизни.

Гдѣ же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполнѣ и повѣрила бы страсти: ей надо факты.

Выстрѣлы на днѣ обрыва и прогулки туда Вѣры — конечно факты, но бабушка противъ этихъ фактовъ и могла бы принять мѣры, т. е. разставила бы домашнюю полицію съ дубинами, подкараулила бы любовника и нанесла бы этимъ еще новый ударъ Вѣрѣ.

Не пускать Вѣру изъ дому, — значитъ обречь на заключеніе, т. е. унизить, оскорбить ее, посягнувъ на ея свободу. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально, да и физически невозможно.

Вѣра не вынесла бы грубой неволи и бѣжала бы отъ бабушки, какъ убѣгала за Волгу отъ него, Райскаго, словомъ—нѣтъ средствъ! Вѣра выросла изъ круга бабушкиной опытности и морали, думалъ онъ, и та только раздражитъ ее своими наставленіями, или, пожалуй, опять заговоритъ

о какой-нибудь Кунигундѣ — и насмѣшитъ. А Вѣра потеряетъ и послѣднюю искру довѣрія къ ней.

Нѣтъ, отжилъ этотъ авторитетъ; онъ годился для Марфиньки, а не для независимой, умной и развитой Вѣры.

Средство или ключъ къ ея горю, если и есть — въ рукахъ самой Вѣры, но она никому не ввѣряетъ его, и едва теперь только, когда силы измѣняютъ, она обронитъ намекъ, слово, и опять въ испугѣ отниметъ и спрячется. Очевидно—она не въ силахъ одна разсѣчь своего Гордіева узла а гордость, или привычка жить своими силами,—хоть погибать, да жить ими,—мѣшаетъ ей высказаться!

Онъ думалъ все это, идучи молча подлѣ нея и не зная, какъ вызвать ее на полную откровенность—не для себя уже теперь, а для ея спасенія. Наконецъ, онъ рѣшилъ подойти стороной: нельзя ли ему самому угадать что-нибудь изъ ея отвѣтовъ на нѣкоторые прежніе свои вопросы, поймать имя, остановить ее на немъ и облегчить ей признаніе, которое самой ей сдѣлать, повидимому, было трудно, хотя и хотѣлось и даже обѣщала она сдѣлать, да не можетъ. Надо помочь ей хитростью. Она теперь разстроена и, можетъ-быть, оплошаетъ и обмолвится.

Онъ вспомнилъ, какъ напрасно добивался онъ отъ нея источника ея развитія, разспрашивая о ея воспитаніи, о томъ, кто могъ имѣть на нее вліяніе, откуда она почерпнула этотъ смѣлый и свободный образъ мысли, нѣкоторыя знанія, увѣренность въ себѣ, самообладаніе. Не у француженки же въ пансіонѣ! Кто былъ ея руководителемъ, собесѣдникомъ, когда кругомъ никого нѣтъ?

Такъ думалъ онъ подвести ее къ признанію.

— Послушай, Вѣра, я хотѣлъ у тебя кое-что спросить,— началъ онъ равнодушнымъ голосомъ:—сегодня Леонтій упомянулъ, что ты читала книги въ моей библіотекѣ, а ты никогда ни слова мнѣ о нихъ не говорила. Правда это?

— Да, нѣкоторыя читала. Что жъ?

— Съ кѣмъ же читала, съ Козловымъ?

— Иныя — да. Онъ объяснялъ мнѣ содержаніе нѣкоторыхъ писателей. Другихъ я читала одна, или со священникомъ, мужемъ Наташи...

— Какія же книги ты читала съ священникомъ?

— Теперь я не помню... Св. отцовъ, напримѣръ. Онъ намъ съ Наташей объяснялъ, и я многимъ ему обязана... Спинозу читали съ нимъ... Вольтера...

Райскій засмѣялся.

— Чему вы смѣетесь?—спросила она.

— Какой переходъ отъ св. отцовъ къ Спинозѣ и Вольтеру! Тамъ въ библіотекѣ всѣ энциклопедисты есть. Ужели ты ихъ читала?

— Нѣтъ, куда же всѣхъ! Николай Ивановичъ читалъ кое-что и передавалъ намъ съ Наташей...

— Какъ это вы до Фейербаха съ братіей не дошли... до соціалистовъ и матеріалистовъ!..

— Дошли!—съ слабой улыбкой сказала она:—опять-таки не мы съ Наташей, а мужъ ея. Онъ просилъ насъ выписывать мѣста, отмѣчалъ карандашомъ...

— Зачѣмъ?

— Хотѣлъ, кажется, возражать и напечатать въ журналѣ, не знаю...

— Въ библіотекѣ моего отца нѣтъ этихъ новыхъ книгъ, гдѣ же вы взяли ихъ?—съ живостью спросилъ Райскій и навострилъ ухо.

Она молчала.

— Ужъ не у того ли изгнанника, находящагося подъ присмотромъ полиціи, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о немъ?..

Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.

— Вѣра, ты не слушаешь?

— А? нѣтъ, я слышу... — очнувшись сказала она: — гдѣ я брала книги? Тутъ... въ городѣ, то у того, то у другого...

— Волоховъ раздавалъ эти же книги...—замѣтилъ онъ.

— Можетъ-быть, и онъ... Я у учителей брала...

«Не учитель ли какой-нибудь, въ родѣ m-r Шарля?» сверкнуло у него въ умѣ.

— Что же Николай Ивановичъ говоритъ о Спинозѣ и объ этихъ всѣхъ авторахъ?

— Много, всего не припомнишь...

— Напримѣръ,—добивался Райскій.

— Онъ говоритъ, что это «попытки гордыхъ умовъ уйти въ сторону отъ истины», вотъ какъ эти дорожки бѣгутъ въ сторону отъ большой дороги и опять сливаются съ ней же...

— Еще что?

— Еще? — что́ еще? Теперь забыла. Говоритъ, что всѣ эти «попытки служатъ истинѣ, очищаютъ ее какъ огнемъ, что это неизбѣжная борьба, безъ которой побѣда и царство истины не было бы прочно...» И мало ли что́ онъ еще говорилъ!..

— А гдѣ «истина»? онъ не отвѣчалъ на этотъ Пилатовъ вопросъ?

— Вонъ тамъ, — сказала она, указывая назадъ на церковь:—гдѣ мы сейчасъ были!.. Я это до него знала...

— Ты думаешь, что онъ правъ?.. — спросилъ онъ, стараясь хоть мелькомъ заглянуть ей въ душу.

— Я не думаю, а вѣрю, что онъ правъ. А вы?—повернувшись къ нему, спросила она съ живостью.

Онъ утвердительно наклонилъ голову.

— Зачѣмъ же меня спрашиваете?

— Есть невѣрующіе, и хотѣлъ знать твое мнѣніе...

— Я въ этомъ, кажется, не скрывалась отъ васъ, вы часто видите мою молитву...

— Да, но я желалъ бы слышать ее. Скажи, о чемъ ты молишься, Вѣра?

— О невѣрующихъ...—тихо сказала она.

— А я думалъ, о своей тревогѣ, объ этой бурѣ...

— Да... въ этомъ—и моя тревога, и моя буря!..—шептала она. Онъ не слыхалъ.

Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась передъ ней. Тамъ было темно. Она съ медленнымъ, затаеннымъ вздохомъ, пошла дальше, къ саду, и шла все тише и тише. Дойдя до стараго дома, она остановилась и знакомъ головы подозвала къ себѣ Райскаго.

— Послушайте, что̀ я вамъ скажу... — тихо и нерѣшительно начала она, какъ будто преодолѣвая себя.

— Говори, Вѣра...

— Вы сказали... — еще тише начала она: — что самое вѣрное средство противъ... «бури»... это не ходить туда...

Она показала къ обрыву.

— Да, вѣрнѣе этого нѣтъ...

— Я хотѣла просить васъ...

Она остановилась, держа его за бортъ пальто.

— Я жду, Вѣра, — шепталъ и онъ, съ легкой дрожью нетерпѣнія и, можетъ-быть, тяжелаго предчувствія.—Вчера я ждалъ только для себя, чтобъ унять боль; теперь я жду для тебя, чтобъ помочь тебѣ — или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узелъ, можетъ-быть, спасти тебя...

— Да, помогите... — сказала она, отирая платкомъ выступившія слезы:—я такъ слаба... нездорова... силъ у меня нѣтъ...

— Не поможетъ ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вѣра; она женщина, и твое горе, можетъ-быть, знакомо ей...

Вѣра, зажавъ глаза платкомъ, отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не такая... она ничего этого не знала...

— Что̀ же я могу сдѣлать?.. скажи все...

— Не спрашивайте меня, братъ. Я не могу сказать

всего. Сказала бы все, и бабушкѣ, и вамъ... и скажу когда-нибудь... когда пройдетъ... а теперь пока не могу...

— Какъ же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мнѣ, и тогда простой анализъ чужого ума разъяснитъ тебѣ твои сомнѣнія, удалитъ, можетъ-быть, затрудненія, выведетъ на дорогу... Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положеніе, и уже отъ одного сознанія становится легче. Ты сама не можешь: дай мнѣ взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного...

— Никакіе умы, никакой анализъ—не выведутъ на дорогу, слѣдовательно и говорить безполезно! — почти съ отчаяніемъ сказала она.

— Какъ же я могу помочь тебѣ?

Она близко глядѣла ему въ глаза глазами, полными слезъ.

— Не покидайте меня, не теряйте изъ вида, — шептала она. — Если услышите... выстрѣлъ оттуда... (она показала на обрывъ) — будьте подлѣ меня... не пускайте меня— заприте, если нужно, удержите силой... Вотъ до чего я дошла!—съ ужасомъ сама прошептала она, закинувъ голову назадъ въ отчаяніи, какъ будто удерживала стонъ, и вдругъ выпрямилась. — Потомъ... — тихо начала опять: — никогда объ этомъ ни кому не поминайте, даже мнѣ самой! Вотъ все, что вы можете сдѣлать для меня: за этимъ я удержала васъ! Я жалкая эгоистка, не дала вамъ уѣхать! Я чувствовала, что слабѣю... У меня никого нѣтъ, бабушка не поняла бы... Вы одинъ... Простите меня!

— Ты хорошо сдѣлала... — съ жаромъ сказалъ онъ.— Ради Бога, располагай мною — я теперь все понялъ и готовъ навсегда здѣсь остаться, лишь бы ты успокоилась...

— Нѣтъ, черезъ недѣлю выстрѣлы прекратятся навсегда...—прибавила она, отирая платкомъ слезы.

Она сжала обѣ его руки и, не оглядываясь, ушла къ

себѣ, взбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.

X.

Прошло два дня. По утрамъ Райскій не видалъ почти Вѣру наединѣ. Она приходила обѣдать, пила вечеромъ вмѣстѣ со всѣми чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ, иногда только казалась утомленною.

Райскій по утрамъ опять началъ вносить замѣтки въ программу своего романа, потомъ шелъ навѣщать Козлова, заходилъ на минуту къ губернатору, и еще къ двумъ, тремъ лицамъ въ городѣ, съ которыми успѣлъ покороче познакомиться. А вечеръ проводилъ въ саду, стараясь не терять изъ вида Вѣры, по ея просьбѣ, и прислушиваясь къ каждому звуку въ рощѣ.

Онъ сидѣлъ на скамьѣ у обрыва, ходилъ по аллеямъ, и только къ полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожиданіе выстрѣла. Онъ почти желалъ его, надѣясь, что своею помощью сразу, навсегда отведетъ Вѣру отъ какой-то бѣды.

Но вотъ два дня прошли тихо; до конца назначеннаго срока, до недѣли, было еще пять дней. Райскій разсчитывалъ, что въ день рожденія Мароиньки, послѣзавтра, Вѣрѣ неловко будетъ оставить семейный кругъ, а потомъ, когда Мароинька на другой день уѣдетъ съ женихомъ и съ его матерью за Волгу, въ Колчино, ей опять неловко будетъ оставлять бабушку одну—и такимъ образомъ недѣля пройдетъ, а съ ней минуетъ и туча. Вѣра за обѣдомъ просила его зайти къ ней вечеромъ, сказавши, что дастъ ему порученіе.

Она выходила гулять, когда онъ пришелъ. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы видимо упали, движенія были вялы, походка медленна. Онъ взялъ ее подъ руку, и такъ какъ она направлялась изъ сада къ полю, онъ думалъ,

что она идетъ къ часовнѣ, повелъ ее по лугу и по дорожкѣ туда.

Она молча шла за нимъ, въ глубокой задумчивости, отъ которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядѣла на задумчивый ликъ Спасителя.

— Мнѣ кажется, Вѣра, у тебя есть помощь сильнѣе моей, и ты напрасно надѣялась на меня. Ты и безъ меня не пойдешь туда... — тихо говорилъ онъ, стоя на порогѣ часовни.

Она сдѣлала утвердительный знакъ головой, и сама, кажется, во взглядѣ Христа искала силы, участія, опоры, опять призыва. Но взглядъ этотъ, какъ всегда, задумчиво-покойно, какъ будто безучастно смотрѣлъ на ея борьбу, не помогая ей, не удерживая ее... Она вздохнула.

— Не пойду! — подтвердила она тихо, отводя глаза отъ образа.

Райскій не прочелъ на ея лицѣ ни молитвы, ни желанія. Оно было подернуто задумчивымъ выраженіемъ усталости, равнодушія, а можетъ-быть, и тихой покорности.

— Пойдемъ домой, ты легко одѣта,—сказалъ онъ.

Она повиновалась.

— А что же порученіе—какое?—спросилъ онъ.

— Да, — припомнила она и достала изъ кармана портмонэ. — Возьмите у золотыхъ дѣлъ мастера Шмита porte-bouquet. Я еще на той недѣлѣ выбрала подарить Марѳинькѣ въ день рожденія, — только велѣла вставить нѣсколько жемчужинъ, изъ своихъ собственныхъ, и вырѣзать ея имя. Вотъ деньги.

Онъ спряталъ деньги.

— Это не все. Въ самый день ея рожденія, послѣзавтра, пораньше утромъ... Вы можете встать часовъ въ восемь?..

— Еще бы! я, пожалуй, и спать не лягу совсѣмъ...

— Зайдите вотъ сюда—знаете большой садъ—въ оранжерею, къ садовнику. Я ужъ говорила ему; выберите по-

наряднѣе букетъ цвѣтовъ и пришлите мнѣ, пока Марѳинька не проснулась... Я полагаюсь на вашъ вкусъ...

— Вотъ какъ! я дѣлаю успѣхи въ твоемъ довѣріи, Вѣра!—сказалъ, смѣясь, Райскій:—вкусу моему вѣришь и честности, даже деньги не боялась отдать...

— Я сдѣлала бы это все сама, да не могу... силъ нѣтъ... устаю!—прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Онъ на другой день утромъ взялъ у Шмита porte-bouquet и обдумывалъ, изъ какихъ цвѣтовъ долженъ быть составленъ букетъ для Марѳиньки. Однихъ цвѣтовъ нельзя было найти въ позднюю пору, другіе не годились.

Потомъ онъ выбралъ дамскіе часы съ эмалевой доской, съ цѣпочкой, подарить отъ себя Марѳинькѣ, и для этого зашелъ къ Титу Никонычу и занялъ у него двѣсти рублей до завтра, чтобы не воевать съ бабушкой, которая безъ боя не дала бы ему промотать столько на подарокъ, и кромѣ того, пожалуй, выдала бы заранѣе его секретъ.

У Тита Никоныча онъ увидѣлъ роскошный дамскій туалетъ, обшитый розовой кисеей и кружевами, съ зеркаломъ, увитымъ фарфоровой гирляндой изъ амуровъ и цвѣтовъ, артистической, тонкой работы, съ Севрской фабрики.

— Что это? Гдѣ вы взяли такую драгоцѣнность?—говорилъ онъ, разсматривая группы амуровъ, цвѣты, краски,—и не могъ отвести глазъ.—Какая прелесть!

— Марѳѣ Васильевнѣ!—любезно улыбаясь, говорилъ Титъ Никонычъ:—я очень счастливъ, что вамъ нравится—вы знатокъ. Вашъ вкусъ мнѣ порукой, что этотъ подарокъ будетъ благосклонно принятъ дорогой новорожденной къ ея свадьбѣ. Какая отмѣнная дѣвица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ея живое подобіе. Она будетъ видѣть въ зеркалѣ свое плѣнительное личико, а купидоны ей будутъ улыбаться...

— Гдѣ вы достали такую рѣдкость?

— До завтра прошу у васъ секрета отъ Татьяны Марковны и отъ Маоы Васильевны тоже!—сказалъ Титъ Никонычъ.

— Вѣдь это больше тысячи рублей надо заплатить! И гдѣ здѣсь достать?..

— Пять тысячъ рублей ассигнаціями мой дѣдъ заплатилъ въ приданое моей родительницѣ. Это хранилось до сихъ поръ въ моей вотчинѣ, въ спальнѣ покойницы. Я въ прошедшемъ мѣсяцѣ подъ секретомъ велѣлъ доставить сюда; на рукахъ несли полтораста верстъ, шесть человѣкъ попеременно, чтобъ не разбилось. Я только новую кисею велѣлъ сдѣлать, а кружева — тоже старинныя: изволите видѣть—пожелтѣли. Это очень цѣнится дамами, тогда какъ...— добавилъ онъ съ усмѣшкой:—въ нашихъ глазахъ не имѣетъ никакой цѣны.

— Что бабушка скажетъ?—замѣтилъ Райскій.

— Безъ грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но можетъ-быть, по своей добротѣ, проститъ меня. Позволяю себѣ вамъ открыть, что я люблю обѣихъ дѣвицъ, какъ родныхъ дочерей,—прибавилъ онъ нѣжно:—обѣихъ на колѣняхъ качалъ, грамотѣ вмѣстѣ съ Татьяной Марковной обучалъ: это—какъ моя семья. Не измѣните мнѣ,—шепнулъ онъ:—скажу конфиденціально, что и Вѣрѣ Васильевнѣ въ одинаковой мѣрѣ я взялъ смѣлость изготовить въ свое время, при ея замужествѣ, равный этому подарокъ, который, смѣю думать, она благосклонно приметъ...

Онъ показалъ Райскому массивный серебряный столовый сервизъ на двѣнадцать человѣкъ, старой и тоже артистической отдѣлки.

— Вамъ, какъ брату и другу ея, открою, — шепталъ онъ: — что я, вмѣстѣ съ Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партіи, коей она вполнѣ достойна: мы замѣчаемъ, — еще тише зашепталъ онъ: — что достойнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ кавалеръ, Иванъ Ива-

наряднѣе букетъ цвѣтовъ и пришлите мнѣ, пока Мароинька не проснулась... Я полагаюсь на вашъ вкусъ...

— Вотъ какъ! я дѣлаю успѣхи въ твоемъ довѣріи, Вѣра!—сказалъ, смѣясь, Райскій:—вкусу моему вѣришь и честности, даже деньги не боялась отдать...

— Я сдѣлала бы это все сама, да не могу... силъ нѣтъ... устаю!—прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Онъ на другой день утромъ взялъ у Шмита porte-bouquet и обдумывалъ, изъ какихъ цвѣтовъ долженъ быть составленъ букетъ для Мароиньки. Однихъ цвѣтовъ нельзя было найти въ позднюю пору, другіе не годились.

Потомъ онъ выбралъ дамскіе часы съ эмалевой доской, съ цѣпочкой, подарить отъ себя Мароинькѣ, и для этого зашелъ къ Титу Никонычу и занялъ у него двѣсти рублей до завтра, чтобы не воевать съ бабушкой, которая безъ боя не дала бы ему промотать столько на подарокъ, и кромѣ того, пожалуй, выдала бы заранѣе его секретъ.

У Тита Никоныча онъ увидѣлъ роскошный дамскій туалетъ, обшитый розовой кисеей и кружевами, съ зеркаломъ, увитымъ фарфоровой гирляндой изъ амуровъ и цвѣтовъ, артистической, тонкой работы, съ Севрской фабрики.

— Что это? Гдѣ вы взяли такую драгоцѣнность?—говорилъ онъ, разсматривая группы амуровъ, цвѣты, краски,—и не могъ отвести глазъ.—Какая прелесть!

— Маріѣ Васильевнѣ!—любезно улыбаясь, говорилъ Титъ Никонычъ:—я очень счастливъ, что вамъ нравится—вы знатокъ. Вашъ вкусъ мнѣ порукой, что этотъ подарокъ будетъ благосклонно принятъ дорогой новорожденной къ ея свадьбѣ. Какая отмѣнная дѣвица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ея живое подобіе. Она будетъ видѣть въ зеркалѣ свое плѣнительное личико, а купидоны ей будутъ улыбаться...

— Гдѣ вы достали такую рѣдкость?

— До завтра прошу у васъ секрета отъ Татьяны Марковны и отъ Маріы Васильевны тоже!—сказалъ Титъ Никонычъ.

— Вѣдь это больше тысячи рублей надо заплатить! И гдѣ здѣсь достать?..

— Пять тысячъ рублей ассигнаціями мой дѣдъ заплатилъ въ приданое моей родительницѣ. Это хранилось до сихъ поръ въ моей вотчинѣ, въ спальнѣ покойницы. Я въ прошедшемъ мѣсяцѣ подъ секретомъ велѣлъ доставить сюда; на рукахъ несли полтораста верстъ, шесть человѣкъ попеременно, чтобъ не разбилось. Я только новую кисею велѣлъ сдѣлать, а кружева — тоже старинныя: изволите видѣть—пожелтѣли. Это очень цѣнится дамами, тогда какъ...— добавилъ онъ съ усмѣшкой:—въ нашихъ глазахъ не имѣетъ никакой цѣны.

— Что бабушка скажетъ?—замѣтилъ Райскій.

— Безъ грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но можетъ-быть, по своей добротѣ, проститъ меня. Позволяю себѣ вамъ открыть, что я люблю обѣихъ дѣвицъ, какъ родныхъ дочерей,—прибавилъ онъ нѣжно:—обѣихъ на колѣняхъ качалъ, грамотѣ вмѣстѣ съ Татьяной Марковной обучалъ: это—какъ моя семья. Не измѣните мнѣ,—шепнулъ онъ:—скажу конфиденціально, что и Вѣрѣ Васильевнѣ въ одинаковой мѣрѣ я взялъ смѣлость изготовить въ свое время, при ея замужествѣ, равный этому подарокъ, который, смѣю думать, она благосклонно приметъ...

Онъ показалъ Райскому массивный серебряный столовый сервизъ на двѣнадцать человѣкъ, старой и тоже артистической отдѣлки.

— Вамъ, какъ брату и другу ея, открою, — шепталъ онъ: — что я, вмѣстѣ съ Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партіи, коей она вполнѣ достойна: мы замѣчаемъ, — еще тише зашепталъ онъ: — что достойнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ кавалеръ, Иванъ Ива-

новичъ Тушинъ — безъ ума отъ нея — какъ и слѣдуетъ быть...

Райскій вздохнулъ и вернулся домой. Онъ нашелъ тамъ Викентьева съ матерью, которая пріѣхала изъ-за Волги къ дню рожденія Марѳиньки, Полину Карповну, двухъ-трехъ гостей изъ города и—Опенкина.

Послѣдній разливалъ волны семинарскаго краснорѣчія, переходя нерѣдко въ плаксивый тонъ и обращая къ Марѳинькѣ пожеланія, по случаю предстоящаго брака.

Бабушка не рѣшилась оставить его къ обѣду при «хорошихъ гостяхъ» и поручила Викентьеву напоить за завтракомъ, что тотъ и исполнилъ отчетливо, такъ что къ тремъ часамъ Опенкинъ былъ «готовъ» совсѣмъ и спалъ крѣпкимъ сномъ въ пустой залѣ стараго дома.

Гости часовъ въ семь разъѣхались. Бабушка съ матерью жениха зарылись совсѣмъ въ приданое и вели нескончаемый разговоръ въ кабинетѣ Татьяны Марковны.

А женихъ съ невѣстой, обѣжавъ разъ пять садъ и рощу, ушли въ деревню. Викентьевъ несъ за Марѳинькой цѣлый узелъ, который, пока они шли по полю, онъ кидалъ вверхъ и ловилъ на-лету.

Марѳинька обошла каждую избу, прощалась съ бабами, ласкала ребятишекъ, двумъ изъ нихъ вымыла рожицы, нѣкоторымъ матерямъ дала ситцу на рубашонки дѣтямъ, да двумъ дѣвочкамъ постарше, на платья, и двѣ пары башмаковъ, сказавъ, чтобъ не смѣли ходить босоногія по лужамъ.

Полоумной Агашкѣ дала какую-то изношенную душегрѣйку, которую выпросила въ дворнѣ у Улиты, обѣщаясь, по возвращеніи, сдѣлать ей новую, на-строго приказавъ Агашкѣ не ходить въ одномъ платьѣ по осеннему холоду, и сказала, что пришлетъ «коты» носить въ слякоть.

Безногому старику Силычу оставила рубль мѣдными деньгами, которыя тотъ жадно подобралъ, когда Викентьевъ, съ

грохотомъ и хохотомъ, выворачивая карманы, выбросилъ ихъ на лавку.

Силычъ, дрожащими отъ жадности руками, началъ завертывать ихъ въ какіе-то хлопки и тряпки, пряталъ въ карманы, даже взялъ одинъ пятакъ въ ротъ.

Но Марѳинька погрозила, что отниметъ деньги и никогда не придетъ больше, если онъ станетъ прятать ихъ, а самъ выпрашивать луковицу на обѣдъ и просить на паперти милостыню.

— Красавица ты наша, Божій ангелъ, награди тебя Господь!—провожали ее бабы съ каждаго двора, когда она прощалась съ ними недѣли на двѣ.

А мужички ласково и лукаво улыбались молча:

«Балуетъ барышня», какъ будто думали они: «съ ребятишками, да съ бабами возится! ишь какой пустякъ носитъ имъ! Почтò это нашимъ бабамъ и ребятишкамъ?»

И небрежно разсматривали ситцевую рубашку, какой-нибудь поясокъ, или маленькіе башмаки.

XI.

Вечеромъ новый домъ сіялъ огнями. Бабушка не знала, какъ угостить свою гостью и будущую родню.

Она воздвигла ей парадную постель въ гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалкъ. Марѳинька, въ своихъ двухъ комнатахъ, цѣлый вечеръ играла, пѣла съ Викентьевымъ—наконецъ они затихли за чтеніемъ какой-то новой повѣсти, безпрестанно прерываемымъ замѣчаніями Викентьева, его шалостями и рѣзвостью.

Только окна Райскаго не были освѣщены. Онъ ушелъ тотчасъ послѣ обѣда и не возвращался къ чаю.

Луна освѣщала новый домъ, а старый прятался въ тѣни. На дворѣ, въ кухнѣ, въ людскихъ, долѣе обыкновеннаго не ложились спать люди, у которыхъ въ гостяхъ были

пріѣхавшіе съ барыней Викентьевой изъ-за Волги, кучеръ и лакей.

На кухнѣ долго не гасили огня, готовили ужинъ, и отчасти завтрашній обѣдъ.

Вѣра съ семи часовъ вечера сидѣла въ бездѣйствіи, сначала въ сумеркахъ, потомъ при слабомъ огнѣ одной свѣчи, облокотясь на столъ и положивъ на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала листы лежавшей передъ ней книги, въ которую не смотрѣла.

Глаза ея устремлены были куда-то далеко отъ книги. На плеча накинутъ бѣлый большой шерстяной платокъ, защищавшій ее отъ свѣжаго, осенняго воздуха, который въ открытое окно наполнялъ комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рамъ и подолгу оставляла окно открытымъ.

Спустя полчаса, она медленно встала, положивъ книгу въ столъ, подошла къ окну и опершись на локти, глядя на небо, на новый, свѣтившійся огнями черезъ всѣ окна домъ, прислушиваясь къ шагамъ ходившихъ по двору людей, потомъ выпрямилась и вздрогнула отъ холода.

Она стала закрывать окно, и только затворила одну половину, какъ среди тишины грянулъ подъ горой выстрѣлъ.

Она вздрогнула, быстро опустилась на стулъ и опустила голову. Потомъ встала, глядя вокругъ себя, мѣняясь въ лицѣ, шагнула къ столу, гдѣ стояла свѣча, и остановилась.

Въ глазахъ былъ испугъ и тревога. Она нѣсколько разъ трогала лобъ рукой и сѣла-было къ столу, но въ ту же минуту встала опять, быстро сдернула съ плечъ платокъ и бросила въ уголъ за занавѣсъ, на постель, еще быстрѣе отворила шкапъ, затворила опять, ища чего-то глазами по стульямъ, на диванѣ — и не найдя что ей нужно, сѣла на стулъ, повидимому, въ изнеможеніи.

Наконецъ глаза ея остановились на висѣвшей на спинкѣ стула пуховой косынкѣ, подаренной Титомъ Никонычемъ. Она бросилась къ ней, стала торопливо надѣвать одной

рукой на голову, другой въ ту же минуту отворяла шкапъ и доставала оттуда съ вѣшалокъ. съ лихорадочной дрожью, то то, то другое пальто.

Мелькомъ взглянувъ на пальто, попавшееся ей въ руку, она съ досадой бросала его на полъ и хватала другое, бросала опять попавшееся платье, другое, третье, и искала чего-то, перебирая одно за другимъ все, что висѣло въ шкапѣ, и въ то же время стараясь рукой завязать косынку на головѣ.

Наконецъ бросилась къ свѣчкѣ, схватила ее и освѣтила шкапъ. Тамъ, съ ожесточеннымъ нетерпѣніемъ, взяла она мантилью на бѣломъ пуху, еще другую, черную, шелковую, накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросивъ пуховую косынку прочь.

Не затворивъ шкапа, она перешагнула черезъ кучу брошеннаго на полъ платья, задула свѣчку и, скользнувъ изъ двери, не заперевъ ее, какъ мышь, неслышными шагами спустилась съ лѣстницы.

Она прокралась къ окраинѣ двора, закрытой тѣнью, и вошла въ темную аллею. Она не шагала, а неслась; едва мелькалъ темный ея силуэтъ, гдѣ нужно было перебѣжать свѣтлое пространство, такъ что луна будто не успѣвала освѣтить ее.

Она, миновавъ аллею, умѣрила шагъ, и остановилась на минуту перевести духъ у канавы, отдѣлявшей садъ отъ рощи. Потомъ перешла канаву, вошла въ кусты, мимо своей любимой скамьи, и подошла къ обрыву. Она подобрала обѣими руками платье, чтобъ спуститься...

Передъ ней, какъ изъ земли, выросъ Райскій и сталъ между ею и обрывомъ. Она окаменѣла на мѣстѣ.

— Куда, Вѣра?—спросилъ онъ.

Она молчала.

— Пойдемъ назадъ!

Онъ взялъ ее за руку. Она не дала руки и хотѣла миновать его.

— Вѣра, куда, зачѣмъ?

— Туда... въ послѣдній разъ, свиданіе необходимо—проститься... — шептала она со стыдомъ и мольбой. — Пустите меня, братъ... Я сейчасъ вернусь, а вы подождите меня... одну минуту... Посидите вотъ здѣсь, на скамьѣ...

Онъ, молча, крѣпко взялъ ее за руку и не выпускалъ.

— Пустите, мнѣ больно! — шептала она, ломая его и свою руку.

Онъ не пускалъ. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!..—говорила она, сжимая зубы и съ неестественной силой вырывая руку, наконецъ вырвала и метнулась-было въ сторону, мимо его.

Онъ удержалъ ее за талію, подвелъ къ скамьѣ, посадилъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Какъ это грубо, дико!—съ тоской и злостью сказала она, отворачиваясь отъ него почти съ отвращеніемъ.

— Не этой силой хотѣлъ бы я удержать тебя, Вѣра!

— Отъ чего удержать?—спросила она почти грубо.

— Можетъ-быть—отъ гибели...

— Развѣ можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь...

— А если я хочу гибнуть?

Онъ молчалъ.

— И никакой гибели нѣтъ, мнѣ нужно видѣться, чтобъ... разстаться...

— Чтобъ разстаться—не надо видѣться...

— Надо—и я увижусь! часомъ или днемъ позже — все равно. Всю дворню, весь городъ зовите, хоть роту солдатъ, ничѣмъ не удержите!..

Она откинула черную мантилью съ головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрѣлъ повторился. Она рванулась, но двѣ сильныя

руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрѣла на Райскаго съ ногъ до головы и тряхнула головой отъ ярости.

— Какой же награды потребуете вы отъ меня за этотъ добродѣтельный подвигъ?—шипѣла она.

Онъ молчалъ и исподлобья стерегъ ея движенія. Она съ злостью засмѣялась.

— Пустите!—сказала она мягко, немного погодя.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Братъ!—заговорила она черезъ минуту нѣжно, кладя ему руку на плечо:—если когда-нибудь вы горѣли, какъ на угольяхъ, умирали сто разъ въ одну минуту отъ страха, отъ нетерпѣнія... когда счастье просится въ руки и ускользаетъ... и ваша душа просится вслѣдъ за нимъ... Припомните такую минуту... когда у васъ оставалась одна послѣдняя надежда... искра... Вотъ это—моя минута! Она пройдетъ, и все пройдетъ съ ней...

— И слава Богу, Вѣра! Опомнись, приди въ себя немного, ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просятъ льду — имъ не даютъ. Вчера, въ трезвый часъ, ты сама предвидѣла это и указала мнѣ простое и самое дѣйствительное средство—не пускать тебя—и я не пущу...

Она стала на колѣни подлѣ него.

— Не заставьте меня проклинать васъ всю жизнь потомъ!—умоляла она.—Можетъ-быть тамъ меня ждетъ сама судьба...

— Твоя судьба — вонъ тамъ: я видѣлъ, гдѣ ты вчера искала ее, Вѣра. Ты вѣришь въ Провидѣніе, другой судьбы нѣтъ...

Она вдругъ смолкла и поникла головой.

— Да,—сказала она покорно:—да, вы правы, я вѣрю... Но я тамъ допрашивалась искры, чтобъ освѣтить мой путь—и не допросилась. Что мнѣ дѣлать?—я не знаю...

Она вздохнула и медленно встала съ колѣнъ.

Онъ взялъ ее за руку. Она не дала руки и хотѣла миновать его.

— Вѣра, куда, зачѣмъ?

— Туда... въ послѣдній разъ, свиданіе необходимо—проститься... — шептала она со стыдомъ и мольбой. — Пустите меня, братъ... Я сейчасъ вернусь, а вы подождите меня... одну минуту... Посидите вотъ здѣсь, на скамьѣ...

Онъ, молча, крѣпко взялъ ее за руку и не выпускалъ.

— Пустите, мнѣ больно! — шептала она, ломая его и свою руку.

Онъ не пускалъ. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!..—говорила она, сжимая зубы и съ неестественной силой вырывая руку, наконецъ вырвала и метнулась-было въ сторону, мимо его.

Онъ удержалъ ее за талію, подвелъ къ скамьѣ, посадилъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Какъ это грубо, дико!—съ тоской и злостью сказала она, отворачиваясь отъ него почти съ отвращеніемъ.

— Не этой силой хотѣлъ бы я удержать тебя, Вѣра!

— Отъ чего удержать?—спросила она почти грубо.

— Можетъ-быть—отъ гибели...

— Развѣ можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь...

— А если я хочу гибнуть?

Онъ молчалъ.

— И никакой гибели нѣтъ, мнѣ нужно видѣться, чтобъ... разстаться...

— Чтобъ разстаться—не надо видѣться...

— Надо—и я увижусь! часомъ или днемъ позже — все равно. Всю дворню, весь городъ зовите, хоть роту солдатъ, ничѣмъ не удержите!..

Она откинула черную мантилью съ головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрѣлъ повторился. Она рванулась, но двѣ сильныя

руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрѣла на Райскаго съ ногъ до головы и тряхнула головой отъ ярости.

— Какой же награды потребуете вы отъ меня за этотъ добродѣтельный подвигъ?—шипѣла она.

Онъ молчалъ и исподлобья стерегъ ея движенія. Она съ злостью засмѣялась.

— Пустите!—сказала она мягко, немного погодя.

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Братъ!—заговорила она черезъ минуту нѣжно, кладя ему руку на плечо:—если когда-нибудь вы горѣли, какъ на угольяхъ, умирали сто разъ въ одну минуту отъ страха, отъ нетерпѣнія... когда счастье просится въ руки и ускользаетъ... и ваша душа просится вслѣдъ за нимъ... Припомните такую минуту... когда у васъ оставалась одна послѣдняя надежда... искра... Вотъ это—моя минута! Она пройдетъ, и все пройдетъ съ ней...

— И слава Богу, Вѣра! Опомнись, приди въ себя немного, ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просятъ льду — имъ не даютъ. Вчера, въ трезвый часъ, ты сама предвидѣла это и указала мнѣ простое и самое дѣйствительное средство—не пускать тебя—и я не пущу...

Она стала на колѣни подлѣ него.

— Не заставьте меня проклинать васъ всю жизнь потомъ!—умоляла она.—Можетъ-быть тамъ меня ждетъ сама судьба...

— Твоя судьба — вонъ тамъ: я видѣлъ, гдѣ ты вчера искала ее, Вѣра. Ты вѣришь въ Провидѣніе, другой судьбы нѣтъ...

Она вдругъ смолкла и поникла головой.

— Да,—сказала она покорно:—да, вы правы, я вѣрю... Но я тамъ допрашивалась искры, чтобъ освѣтить мой путь—и не допросилась. Что мнѣ дѣлать?—я не знаю...

Она вздохнула и медленно встала съ колѣнъ.

— Не ходи!—говорилъ онъ.

— Именемъ той судьбы, въ которую вѣрю, я искала счастья! Можетъ-быть, она и посылаетъ меня теперь туда... можетъ-быть... я необходима тамъ!—продолжала она, выпрямившись и сдѣлавъ шагъ къ обрыву.—Что бы ни было, не держите меня долѣе, я рѣшилась. Я чувствую, моя слабость миновала. Я владѣю собой, я опять сильна! Тамъ рѣшится не моя одна судьба, но и другого человѣка. На васъ ляжетъ отвѣтственность за эту пропасть, которую вы роете между нимъ и мною. Я не утѣшусь никогда, буду васъ считать виновникомъ несчастья всей моей жизни... и его жизни! Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбіе безъ правъ, зависть—помѣшали моему счастью и что вы лгали, когда проповѣдывали свободу...

Онъ поколебался и отступилъ отъ нея на шагъ.

— Это голосъ страсти, со всѣми ея софизмами и изворотами!—сказалъ онъ вдругъ, опомнившись.—Вѣра, ты теперь въ положеніи іезуита. Вспомни, какъ ты просила вчера, послѣ своей молитвы, не пускать тебя!.. А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступилъ тебѣ, на кого тогда падетъ отвѣтственность?

Она опять упала духомъ и уныло склонила голову.

— Кто онъ, скажи?—шепнулъ онъ.

— Если скажу—вы не удержите меня?—вдругъ спросила она съ живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться—и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему въ глаза.

— Не знаю, можетъ-быть...

— Нѣтъ, дайте слово, что не удержите—и я назову...

Онъ колебался.

Въ эту минуту раздался третій выстрѣлъ. Она рванулась, но онъ успѣлъ удержать ее за руку.

— Пойдемъ, Вѣра, домой, къ бабушкѣ сейчасъ! — гово-

рилъ онъ настойчиво, почти повелительно. — Открой ей все...

Но она, вмѣсто отвѣта, начала биться у него въ рукахъ, вырываясь, падая, вставая опять.

— Если... вамъ было когда-нибудь хорошо въ жизни, то пустите!.. Вы говорили: «люби, страсть прекрасна!»—задыхаясь отъ волненія, говорила она и порывалась у него изъ рукъ:—вспомните... и дайте мнѣ еще одну такую минуту, одинъ вечеръ... «Христа ради!..» шептала она, протягивая руку: — вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять васъ... я не отказала... помните? Подайте и мнѣ эту милостыню!.. Я никогда не упрекну васъ... никогда... вы сдѣлали все—мать не могла бы сдѣлать больше — но теперь оставьте меня—я должна быть свободна!.. И вотъ, пусть Тотъ, Кому мы молились вчера, будетъ свидѣтелемъ, что это послѣдній вечеръ... послѣдній! Я никогда не пойду съ обрыва больше: вѣрьте мнѣ — я этой клятвы не нарушу! Подождите меня здѣсь, я сейчасъ вернусь, только скажу слово...

Онъ выпустилъ ея руку.

— Что ты говоришь, Вѣра!—шепталъ онъ въ ужасѣ:— ты не помнишь себя. Куда ты?

— Туда... взглянуть одинъ разъ... на «волка»... проститься... услышать его... можетъ-быть... онъ уступитъ...

Она бросилась къ обрыву, но упала, торопясь уйти, чтобъ онъ не удержалъ ее, хотѣла встать и не могла.

Она протягивала руку къ обрыву, глядя умоляющими глазами на Райскаго.

Онъ собралъ нечеловѣческія силы, задушилъ вопль собственной муки, поднялъ ее на руки.

— Ты упадешь съ обрыва, тамъ круто... шепнулъ онъ:— я тебѣ помогу...

Онъ почти снесъ ее съ крутизны и поставилъ на отло-

гомъ мѣстѣ, на дорожкѣ. У него дрожали руки, онъ былъ блѣденъ.

Она быстро обернулась къ нему, обдала его всего широкимъ взглядомъ изступленнаго удивленія, благодарности, вдругъ опустилась на колѣни, схватила его руку и крѣпко прижала къ губамъ...

— Братъ! вы великодушны, Вѣра не забудетъ этого!— сказала она, и взвизгнувъ отъ радости, какъ освобожденная изъ клѣтки птица, бросилась въ кусты.

Онъ сѣлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ, и съ ужасомъ слушалъ шумъ раздвигаемыхъ ею вѣтвей и трескъ сухихъ прутьевъ подъ ногами.

XII.

Въ полуразвалившейся бесѣдкѣ ждалъ Маркъ. На столѣ лежало ружье и фуражка. Самъ онъ ходилъ взадъ и впередъ по нѣсколькимъ уцѣлѣвшимъ доскамъ. Когда онъ ступалъ на одинъ конецъ доски, другой привскакивалъ и падалъ со стукомъ.

— О, чортова музыка!—съ досадой на этотъ стукъ сказалъ онъ и сѣлъ на одну изъ скамей близъ стола, положилъ локти на столъ и впустилъ обѣ руки въ густые волосы.

Онъ курилъ папироску за папироской. Зажигая спичку, онъ освѣщалъ себя. Онъ былъ блѣденъ и казался взволнованнымъ, или озлобленнымъ.

Послѣ каждаго выстрѣла онъ прислушивался нѣсколько минутъ, потомъ шелъ по тропинкѣ, приглядываясь къ кустамъ, повидимому, ожидая Вѣру. И когда ожиданія его не сбывались, онъ возвращался въ бесѣдку и начиналъ ходить подъ «чортову музыку», опять бросался на скамью, впуская пальцы въ волосы, или ложился на одну изъ скамей, кладя, по-американски, ноги на столъ.

Послѣ третьяго выстрѣла онъ прислушался минутъ семь, но не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту

какъ-будто постарѣлъ, медленно взялъ ружье и нѣхотя пошелъ по дорожкѣ, повидимому съ намѣреніемъ уйти, но замедлялъ однако шагъ, точно затрудняясь идти въ темнотѣ? Наконецъ пошелъ рѣшительнымъ шагомъ—и вдругъ столкнулся съ Вѣрой.

Она остановилась и приложила руку къ сердцу, съ трудомъ переводя духъ.

Онъ взялъ ее за руку — и въ ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться отъ скорой ходьбы и отъ борьбы съ Райскимъ, а онъ, казалось, не могъ одолѣть въ себѣ сильно охватившаго его чувства—радости исполнившагося ожиданія.

— Еще недавно, Вѣра, вы были такъ аккуратны, мнѣ не приходилось тратить пороху на три выстрѣла...—сказалъ онъ.

— Упрекъ—вмѣсто радости!—отвѣчала она, вырывая у него руку.

— Это я—такъ только, чтобъ начать разговоръ, а самъ одурѣлъ совсѣмъ отъ счастья, какъ Райскій...

— Не похоже! Если бъ было такъ, мы не видѣлись бы украдкой, въ обрывѣ... Боже мой!

Она перевела духъ.

— А сидѣли бы рядкомъ тамъ у бабушки, за чайнымъ столомъ, и ждали бы, когда насъ обвѣнчаютъ!

— Такъ что же?

— Что напрасно мечтать о томъ, что невозможно! Вѣдь бабушка не отдала бы за меня...

— Отдала бы: она сдѣлаетъ, что я хочу. У васъ только это препятствіе?

— Мы опять заводимъ эту нескончаемую полемику, Вѣра! Мы сошлись въ послѣдній разъ сегодня—вы сами говорите. Надо же кончить какъ-нибудь эту томительную пытку и сойти съ горячихъ угольевъ!

— Да, въ послѣдній разъ... Я клятву дала, что больше здѣсь никогда не буду!

— Стало-быть время дорого. Мы разойдемся навсегда, если... глупость, т. е. бабушкины убѣжденія разведутъ насъ. Я уѣду черезъ недѣлю, разрѣшеніе получено, вы знаете. Или ужъ сойдемся и не разойдемся больше...

— Никогда?—тихо спросила она.

Онъ сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія.

— Никогда! — повторилъ онъ съ досадой: — какая ложь въ этихъ словахъ: «никогда», «всегда»!.. Конечно, «никогда»: годъ, можетъ-быть, два... три... Развѣ это не—«никогда»? Вы хотите безсрочнаго чувства? Да развѣ оно есть? Вы пересчитайте всѣхъ вашихъ голубей и голубокъ: вѣдь никто безсрочно не любитъ. Загляните въ ихъ гнѣзда—что тамъ? Сдѣлаютъ свое дѣло, выведутъ дѣтей, а потомъ воротятъ носы въ разныя стороны. А только отъ тупоумія сидятъ вмѣстѣ...

— Довольно, Маркъ, я тоже утомлена этой теоріей о любви на срокъ!—съ нетерпѣніемъ перебила она.—Я очень несчастлива, у меня не одна эта туча на душѣ — разлука съ вами! Вотъ ужъ годъ я скрытничаю съ бабушкой — и это убиваетъ меня, и ее еще больше, я вижу это. Я думала, что на-дняхъ эта пытка кончится; сегодня, завтра, мы наконецъ выскажемся вполнѣ, искренно объявимъ другъ другу свои мысли, надежды, цѣли... и...

— Что потомъ?—спросилъ онъ, слушая внимательно.

— Потомъ я пойду къ бабушкѣ и скажу ей: вотъ кого я выбрала... на всю жизнь. Но... кажется... этого не будетъ... мы напрасно видимся сегодня, мы должны разойтись!—съ глубокимъ унынiемъ, шопотомъ досказала она и поникла головой.

— Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вѣра: тогда на всю жизнь. Вонъ и этотъ сѣдой

мечтатель, Райскій, думаетъ, что женщины созданы для какой-то высшей цѣли...

— Для семьи созданы онѣ прежде всего. Не ангелы, пусть такъ—но не звѣри! Я не волчица, а женщина!

— Ну, пусть для семьи, что же? Въ чемъ тутъ помѣха намъ? Надо кормить и воспитать дѣтей? Это уже не любовь, а особая забота, дѣло нянекъ, старыхъ бабъ? Вы хотите драпировки: всѣ эти чувства, симпатіи, и прочее — только драпировка, тѣ листья, которыми, говорятъ, прикрывались люди еще въ раю...

— Да, люди!—сказала она.

Онъ усмѣхнулся и пожалъ плечами.

— Пусть драпировка, — продолжала Вѣра: — но вѣдь и она, по вашему же ученію, дана природой, а вы хотите ее снять. Если такъ, зачѣмъ вы упорно привязались ко мнѣ, говорите, что любите — вонъ измѣнились, похудѣли?.. Не все ли вамъ равно, съ вашими понятіями о любви, найти себѣ подругу тамъ въ слободѣ, или за Волгой въ деревнѣ? Что заставляетъ васъ ходить цѣлый годъ сюда, подъ гору?

Онъ нахмурился.

— Видите свою ошибку, Вѣра: «съ понятіями о любви», говорите вы, а дѣло въ томъ, что любовь не понятіе, а влеченіе, потребность, оттого она, большею частію, и слѣпа. Но я привязанъ къ вамъ не слѣпо. Ваша красота, и довольно рѣдкая—въ этомъ Райскій правъ — да умъ, да свобода понятій—и держатъ меня въ плѣну долѣе, нежели со всякой другой!

— Очень лестно!—сказала она тихо.

— Эти «понятія» васъ губятъ, Вѣра. Не будь ихъ, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы...

— На время, а потомъ — явится новое увлеченіе, уступишь ему—и такъ далѣе?..

Онъ пожалъ плечами.

— Не мы виноваты въ этомъ, а природа! И хорошо

сдѣлала. Иначе, если останавливаться надъ всѣми явленіями жизни подолгу — значитъ надѣвать путы на ноги... значитъ, жить «понятіями»... Природу не передѣлаешь!

— Понятія эти—правила!—доказывала она.—У природы есть свои законы, вы же учили: а у людей правила!

— Вотъ гдѣ мертвечина и есть, что изъ природнаго влеченія дѣлаютъ правила и сковываютъ себя по рукамъ и ногамъ. Любовь—счастье, данное человѣку природой... Это мое мнѣніе...

— Счастье это ведетъ за собой долгъ, — сказала она, вставъ со скамьи:—это мое мнѣніе...

— Это выдумка, сочиненіе, Вѣра, поймите хаосъ вашихъ «правилъ» и «понятій»! Забудьте эти «долги» и согласитесь, что любовь прежде всего—влеченіе... иногда неодолимое...

Онъ тоже всталъ и обнялъ ее за талію.

— Такъ ли? Съ этимъ трудно не согласиться, упрямая... красавица, умница!..—нѣжно шепталъ онъ.

Она тихо освободила талію отъ его рукъ.

— А то выдумали—«долгъ»!

— Долгъ, — повторила она настойчиво: — за отданные другъ другу лучшіе годы счастья платить взаимно остальную жизнь...

— Чѣмъ это — позвольте спросить! Варить супъ, ходить другъ за другомъ, сидѣть съ-глазу-на-глазъ, притворяться, вянуть на «правилахъ», да на «долгѣ» около какой-нибудь тщедушной, слабонервной подруги, или разбитаго параличомъ старика, когда силы у одного еще крѣпки, жизнь зоветъ, тянетъ дальше!.. Такъ, что ли?

— Да,—удержаться, не смотрѣть туда, куда «тянетъ»! Тогда не надо будетъ и притворяться, а просто воздерживаться, «какъ отъ рюмки», говоритъ бабушка, и это правда... Такъ я понимаю счастье и такъ желаю его!

— Ну, дѣло плохо, когда дошло до цитатъ бабушкиной

мудрости. Вы похвастайтесь ей, скажите, какъ крѣпки ея правила въ васъ...

— Нечѣмъ хвастаться! — уныло говорила она: — да, сегодня, отсюда, я пойду къ ней и... «похвастаюсь»!

— Что же вы ей скажете?

— Все, что было здѣсь... чего она не знаетъ...

Она сѣла на скамью и, облокотившись на столъ, склонила лицо на руки и задумалась.

— Зачѣмъ?—спросилъ онъ.

— Вы не поймете зачѣмъ, потому что не допускаете долга... А я давно въ долгу передъ ней...

— Все это мораль, подергивающая жизнь плѣсенью, скукой?.. Вѣра, Вѣра—не любите вы, не умѣете любить...

Она вдругъ подошла къ нему и съ упрекомъ взглянула ему въ лицо.

— Не говорите этого, Маркъ, если не хотите привести меня въ отчаяніе! Я сочту это притворствомъ, желаніемъ увлечь меня безъ любви, обмануть...

И онъ всталъ со скамьи.

— Не говорите и вы этого, Вѣра. Не сталъ бы я тутъ слушать и читать лекціи о любви! И если бъ хотѣлъ обмануть, то обманулъ бы давно—стало-быть, не могу...

— Боже мой! Изъ чего вы бьетесь, Маркъ? Какъ уродуете свою жизнь!—сказала она, всплеснувъ руками.

— Послушайте, Вѣра, оставимъ споръ. Вашими устами говоритъ та же бабушка, только, конечно, иначе, другимъ языкомъ. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, гдѣ не авторитеты, не заученныя понятія, а правда пробивается наружу...

— Правда—гдѣ она? скажите наконецъ!.. Не позади ли насъ? Чего вы ищите?

— Счастья! я васъ люблю! Зачѣмъ вы томите меня, зачѣмъ боретесь со мной и съ собой, и дѣлаете двѣ жертвы?

Она пожала плечами.

— Странные упреки! Поглядите на меня хорошенько — мы нѣсколько дней не видѣлись: какова я?—сказала она.

— Я вижу, что вы страдаете, и тѣмъ это нелѣпѣе! Теперь и я спрошу: зачѣмъ вы ходили и ходите сюда?

Она почти враждебно посмотрѣла на него.

— Зачѣмъ я не раньше почувствовала... ужасъ своего положенія—хотите вы спросить? Да, этотъ вопросъ и упрекъ давно мы должны бы были сдѣлать себѣ оба, и тогда, отвѣтивъ на него искренно другъ другу и самимъ себѣ, не ходили бы больше! Поздно!..—шептала она задумчиво:—впрочемъ, лучше поздно, чѣмъ никогда! Мы сегодня должны одинъ другому отвѣтить на вопросъ: чего мы хотѣли и ждали другъ отъ друга?..

— Позвольте же мнѣ высказаться рѣшительно, — началъ онъ.—Я хочу вашей любви и отдаю вамъ свою, вотъ одно «правило» въ любви—правило свободнаго размѣна, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлѣнію и наслаждаться взаимнымъ счастьемъ — вотъ «долгъ и законъ», который я признаю — и вотъ мой отвѣтъ на вопросъ, «зачѣмъ я хожу?» Жертвъ надо? И жертвы есть, — по мнѣ это не жертвы, но я назову вашимъ именемъ, я останусь еще въ этомъ болотѣ, не знаю сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ—но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моей жизнью — и я буду жить, пока буду счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю— я скажу и уйду — куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязанностей». Я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ, я высказываюсь весь. Скажу и уйду! И вы имѣете право сдѣлать то же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ — и эту ложь называютъ «правилами». А сами потихоньку дѣлаютъ то же самое — и еще ухитрились себѣ присвоивать это право, а женщинамъ не давать его!

Между нами должно быть равенство. Рѣшите, честно это, или нѣтъ?

Она покачала отрицательно головой.

— Софизмы! Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило! Вы знаете, Маркъ — и другія мои правила...

— Ну, дошли! теперь пойдетъ! Правило — камнемъ повиснуть на шеѣ другъ друга...

— Нѣтъ, не камнемъ! — горячо возразила она.— Любовь налагаетъ долгъ, буду твердить я, какъ жизнь налагаетъ и другіе долги: безъ нихъ жизни нѣтъ. Вы стали бы сидѣть съ дряхлой, слѣпой матерью, водить ее, кормить — за что? Вѣдь это не весело — но честный человѣкъ считаетъ это долгомъ, и даже любитъ его!

— Вы разсуждаете, а не любите, Вѣра!

— А вы увертываетесь отъ моей правды! Разсуждаю, потому что люблю, я женщина, а не животное и не машина!

— У васъ какая-то сочиненная и придуманная любовь... какъ въ романахъ... съ надеждой на безконечность... словомъ — безсрочная! Но честно ли то, что̀ вы требуете отъ меня, Вѣра? Положимъ, я бы не назначалъ любви срока, скача и играя, какъ Викентьевъ, подалъ бы вамъ руку «навсегда»: чего же хотите вы еще? Чтобъ «Богъ благословилъ союзъ», говорите вы, т.-е. чтобъ пойти въ церковь— да противъ убѣжденія—дать публично исполнить надъ собой обрядъ... А я не вѣрю ему и терпѣть не могу поповъ: логично ли, честно ли я поступлю?..

Она встала и накинула черную мантилью на голову.

— Мы сошлись, чтобъ удалить всѣ препятствія къ счастью, а вмѣсто того, только увеличиваемъ ихъ! Вы грубо касаетесь того, что̀ для меня свято. Зачѣмъ вы вызвали меня сюда? Я думала, вы уступили старой, испытанной правдѣ и что мы подадимъ другъ другу руки навсегда...

Всякій разъ съ этой надеждой сходила я съ обрыва... и всякій разъ ошибалась! Я повторю, что говорила давно: у насъ, Маркъ... (слабымъ голосомъ оканчивала она) и убѣжденія, и чувства разныя! Я думала, что самый умъ вашъ скажетъ вамъ... гдѣ настоящая жизнь—и гдѣ ваша лучшая роль...

— Гдѣ?

— Въ сердцѣ честной женщины, которая любитъ, и что роль друга такой женщины...

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы въ глаза.

— Живите вашей жизнью, Маркъ — я не могу... у ней нѣтъ корня...

— Ваши корни подгнили давно, Вѣра!

— Пусть такъ! — болѣе и болѣе слабѣя, говорила она, и слезы появились уже въ глазахъ.—Не мнѣ спорить съ вами, опровергать ваши убѣжденія умомъ и своими убѣжденіями! У меня ни ума, ни силъ не станетъ. У меня оружіе слабо—и только имѣетъ ту цѣну, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ книгъ, не по наслышкѣ...

Онъ сдѣлалъ движеніе, но она заговорила опять.

— Я думала побѣдить васъ другой силой... Помните, какъ все случилось? — присѣвши на минуту на скамью, говорила она задумчиво.—Мнѣ сначала было жалко васъ. Вы здѣсь одни, васъ не понималъ никто, всѣ убѣгали. Участіе привлекло меня на вашу сторону. Я видѣла что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничѣмъ — даже приличіями, были небрежны въ мысляхъ, неосторожны въ разговорахъ, играли жизнью, сорили умомъ, никого и ничего не уважали, ни во что не вѣрили, и учили тому же другихъ, напрашивались на непріятности, хвастались удалью. Я изъ любопытства слѣдила за вами, позволила вамъ приходить къ себѣ, брала у васъ книги,—видѣла умъ, какую-то силу...

Но все это шло стороной отъ жизни... Потомъ... я забрала себѣ въ голову (какъ я каюсь въ этомъ!), что... Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать, сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить... мнѣ, а потомъ... Я хотѣла, чтобъ вы жили, чтобъ стали лучше, выше всѣхъ... ссорилась съ вами за безпорядочную жизнь...

Она вздохнула, какъ будто перебирая въ памяти весь этотъ годъ.

— Вы поддавались моему... вліянію... И я тоже поддавалась вашему: ума, смѣлости, захватила-было нѣсколько... софизмовъ...

— И на попятный дворъ, бабушки страшно стало! Что жъ не бросили тогда меня, какъ увидали софизмы? Софизмы?

— Поздно было. Я горячо приняла къ сердцу вашу судьбу... Я страдала не за одинъ этотъ темный образъ жизни, но и за васъ самихъ, упрямо шла за вами, думала, что, ради меня... вы поймете жизнь, не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... думала, что выйдетъ...

— Вице-губернаторъ, или совѣтникъ хорошій...

— Что за дѣло до названія—выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...

— Благонамѣренный, всему покорный—еще что?

— Еще—другъ мнѣ на всю жизнь: вотъ что? Я увлекалась своей надеждой... и вотъ куда увлеклась!.. — тихо добавила она и, оглядѣвшись, вздрогнула. — И что пріобрѣла этой страшной борьбой? то, что вы теперь бѣжите отъ любви, отъ счастья, отъ жизни... отъ своей Вѣры! — сказала она, придвигаясь къ нему и кладя руку на плечо. — Не бѣгите, поглядите мнѣ въ глаза, слышите мой голосъ: въ немъ правда! Не бѣгите, останьтесь, пойдемъ вмѣстѣ туда, на гору, въ садъ... Завтра здѣсь никого не будетъ счастливѣе

Всякій разъ съ этой надеждой сходила я съ обрыва... и всякій разъ ошибалась! Я повторю, что говорила давно: у насъ, Маркъ... (слабымъ голосомъ оканчивала она) и убѣжденія, и чувства разныя! Я думала, что самый умъ вашъ скажетъ вамъ... гдѣ настоящая жизнь—и гдѣ ваша лучшая роль...

— Гдѣ?

— Въ сердцѣ честной женщины, которая любитъ, и что роль друга такой женщины...

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы въ глаза.

— Живите вашей жизнью, Маркъ — я не могу... у ней нѣтъ корня...

— Ваши корни подгнили давно, Вѣра!

— Пусть такъ! — болѣе и болѣе слабѣя, говорила она, и слезы появились уже въ глазахъ.—Не мнѣ спорить съ вами, опровергать ваши убѣжденія умомъ и своими убѣжденіями! У меня ни ума, ни силъ не станетъ. У меня оружіе слабо—и только имѣетъ ту цѣну, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ книгъ, не по наслышкѣ...

Онъ сдѣлалъ движеніе, но она заговорила опять.

— Я думала побѣдить васъ другой силой... Помните, какъ все случилось? — присѣвши на минуту на скамью, говорила она задумчиво.—Мнѣ сначала было жалко васъ. Вы здѣсь одни, васъ не понималъ никто, всѣ убѣгали. Участіе привлекло меня на вашу сторону. Я видѣла что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничѣмъ — даже приличіями, были небрежны въ мысляхъ, неосторожны въ разговорахъ, играли жизнью, сорили умомъ, никого и ничего не уважали, ни во что не вѣрили, и учили тому же другихъ, напрашивались на непріятности, хвастались удалью. Я изъ любопытства слѣдила за вами, позволила вамъ приходить къ себѣ, брала у васъ книги,—видѣла умъ, какую-то силу...

Но все это шло стороной отъ жизни... Потомъ... я забрала себѣ въ голову (какъ я каюсь въ этомъ!), что... Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать, сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить... мнѣ, а потомъ... Я хотѣла, чтобъ вы жили, чтобъ стали лучше, выше всѣхъ... ссорилась съ вами за безпорядочную жизнь...

Она вздохнула, какъ будто перебирая въ памяти весь этотъ годъ.

— Вы поддавались моему... вліянію... И я тоже поддавалась вашему: ума, смѣлости, захватила-было нѣсколько... софизмовъ...

— И на попятный дворъ, бабушки страшно стало! Что жъ не бросили тогда меня, какъ увидали софизмы? Софизмы?

— Поздно было. Я горячо приняла къ сердцу вашу судьбу... Я страдала не за одинъ этотъ темный образъ жизни, но и за васъ самихъ, упрямо шла за вами, думала, что, ради меня... вы поймете жизнь, не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... думала, что выйдетъ...

— Вице-губернаторъ, или совѣтникъ хорошій...

— Что за дѣло до названія—выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...

— Благонамѣренный, всему покорный—еще что?

— Еще—другъ мнѣ на всю жизнь: вотъ что? Я увлекалась своей надеждой... и вотъ куда увлеклась!.. — тихо добавила она и, оглядѣвшись, вздрогнула. — И что пріобрѣла этой страшной борьбой? то, что вы теперь бѣжите отъ любви, отъ счастья, отъ жизни... отъ своей Вѣры! — сказала она, придвигаясь къ нему и кладя руку на плечо. — Не бѣгите, поглядите мнѣ въ глаза, слышите мой голосъ: въ немъ правда! Не бѣгите, останьтесь, пойдемъ вмѣстѣ туда, на гору, въ садъ... Завтра здѣсь никого не будетъ счастливѣе

насъ!.. Вы меня любите... Маркъ! Маркъ... слышите? посмотрите прямо на меня...

Она наклонилась къ его лицу, близко поглядѣла ему въ глаза.

Онъ быстро всталъ со скамьи.

— Дальше, Вѣра, отъ меня!.. — сказалъ онъ, вырывая руку и тряся головой, какъ косматый звѣрь.

Онъ сталъ шагахъ въ трехъ отъ нея.

— Мы не договорились до главнаго — и когда договоримся, тогда я не отскочу отъ вашей ласки и не убѣгу изъ этихъ мѣстъ... Я бы не бѣжалъ отъ этой Вѣры, отъ васъ. Но вы навязываете мнѣ другую... Если у меня ея нѣтъ: что мнѣ дѣлать—рѣшайте, говорите, Вѣра!

— А если эта вѣра у меня есть — что мнѣ дѣлать?— спросила и она.

— Легче разстаться съ какими-то заученными убѣжденіями, чѣмъ пріобрѣсть ихъ, у кого ихъ нѣтъ...

— Эти убѣжденія — сама жизнь. Я уже вамъ говорила, что живу ими и не могу иначе жить... слѣдовательно...

— Слѣдовательно... — повторилъ онъ, и оба встали, обоимъ тяжело было договаривать, да и не нужно было.

Она хотѣла опять накинуть шелковую мантилью на голову и не могла: руки съ мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сдѣлала движеніе, шагъ, и опустилась опять на скамью.

«Гдѣ взять силы — нѣтъ ея ни уйти, ни удержать его! все кончено!» думала она. «Если бъ удержала—что будетъ? не жизнь, а двѣ жизни, какъ двѣ тюрьмы, раздѣленныя вѣчной рѣшеткой»...

— Мы оба сильны, Вѣра, и оттого оба мучаемся, — сказалъ онъ угрюмо:—оттого и расходимся...

Она отрицательно покачала головой.

— Если бъ я была сильна, вы не уходили бы такъ отсюда—а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой,

а смѣло опираясь на мою руку. Пойдемте! хотите моего счастья и моей жизни?—заговорила она живо, вдругъ ослѣпившись опять надеждой и подходя къ нему.—Не можетъ быть, чтобъ вы не вѣрили мнѣ, не можетъ быть тоже, чтобъ вы и притворялись—это было бы преступленіе!—съ отчаяніемъ договорила она.—Что дѣлать, Боже мой! Онъ не вѣритъ, нейдетъ! Какъ вразумить васъ?

— Для этого нужно, чтобъ вы были сильнѣе меня, а мы равны,—отвѣчалъ онъ упрямо: — оттого мы и не сходимся, а боремся. Намъ надо разойтись, не рѣшая боя, или покориться одинъ другому навсегда... Я могъ бы овладѣть вами — и овладѣлъ бы всякой другой мелкой женщиной, не пощадилъ бы ея. То, что въ другой было бы жеманствомъ, мелкимъ страхомъ, или тупоуміемъ, то въ васъ—сила, женская крѣпость. Теперь тумана нѣтъ между нами, мы объяснились—и я воздамъ вамъ должное. Вы хорошо вооружены природой, Вѣра. Старыя понятія, мораль, долгъ, правила, вѣра — все, что для меня не существуетъ, въ васъ крѣпко. Вы не легки въ вашихъ увлеченіяхъ, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побѣжденной на условіяхъ, равныхъ для той и для другой стороны. Обмануть васъ—значитъ украсть. Вы отдаете все, и за побѣду надъ вами требуете всего же. А я всего отдать не могу — но я уважаю васъ...

Голова ея приподнялась, и по лицу на минуту сверкнулъ лучъ гордости, почти счастья, но въ ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской передъ неизбѣжной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдіей прощанія.

— Мы высказались... отдаю рѣшеніе въ ваши руки!— проговорилъ глухо Маркъ, отойдя на другую сторону бесѣдки и слѣдя оттуда пристально за нею. — Я васъ не обману даже теперь, въ эту рѣшительную минуту, когда у меня голова идетъ кругомъ... Нѣтъ, не могу — слышите,

Вѣра, безсрочной любви не обѣщаю, потому что не вѣрю ей, и не требую ее и отъ васъ, вѣнчаться съ вами не пойду. Но люблю васъ теперь больше всего на свѣтѣ!.. И если вы послѣ всего этого, что говорю вамъ — кинетесь ко мнѣ... значитъ, вы любите меня и хотите быть моей...

Она глядѣла на него большими глазами и чувствовала, что дрожитъ.

«Что онъ такое, іезуитъ?.. или въ самомъ дѣлѣ непреклонная честность говоритъ въ немъ теперь и ставитъ ее въ опасное положеніе?» мелькнулъ въ ней лучъ сомнѣнія.

— Навсегда вашей?—спросила она тихо — и сама испугалась повисшей надъ ней тучи.

Скажи онъ—«да», она забыла бы о непроходимой «разности убѣжденій», дѣлавшихъ изъ этого «навсегда»—только мостикъ на минуту, чтобъ перебѣжать пропасть, и затѣмъ онъ рухнулъ бы самъ въ ту же пропасть. Ей стало страшно съ нимъ.

Онъ молчалъ. Потомъ всталъ съ мѣста.

— Не знаю!—сказалъ онъ съ тоской и досадой:—я знаю только, что буду дѣлать теперь, а не заглядываю за полгода впередъ. Да и вы сами не знаете, что будетъ съ вами. Если вы раздѣлите мою любовь, я останусь здѣсь, буду жить тише воды, ниже травы... дѣлать, что вы хотите... Чего же еще? Или... уѣдемъ вмѣстѣ!..—вдругъ сказалъ онъ, подходя къ ней.

Передъ ней будто сверкнула молнія. И она бросилась къ нему и положила ему руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери въ какой-то рай. Цѣлый міръ улыбнулся ей и звалъ съ собой...

«Съ нимъ, далеко гдѣ-нибудь»... думала она.

Нѣга страсти стукнулась тихо къ ней въ душу.

«Онъ колеблется, не можетъ оторваться, и это теперь... Когда она будетъ одна съ нимъ... тогда, можетъ-быть, онъ и самъ убѣдится, что его жизнь только тамъ, гдѣ она»...

Все это пѣлъ ей какой-то тихій голосъ.

— Вы рѣшились бы на это?—спросилъ онъ ее серьезно.

Она молчала, опустивъ голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если бъ не рѣшилась, то потому только, что боялась бы ея...—шептала она.

— Такъ не подходите же ко мнѣ близко,— сказалъ онъ, отодвигаясь:—старуха бы не пустила...

— Ахъ, нѣтъ, пустила и благословила бы, а сама бы умерла съ горя! вотъ чего боялась бы я!.. Уѣхать съ вами!—повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него:—а потомъ?

— А потомъ... не знаю. Зачѣмъ это «потомъ»?

— И вдругъ васъ «потянетъ» въ другую сторону, и вы уйдете, оставивъ меня, какъ вещь...

— Отчего, какъ «вещь»? Можно разстаться друзьями...

— Разстаться! Разлука стоитъ у васъ рядомъ съ любовью! — Она безотрадно вздохнула. — А я думаю, что это крайности, которыя никогда не должны встрѣчаться... одна смерть должна разлучить... Прощайте, Маркъ!—вдругъ сказала она, блѣдная, почти съ гордостью.—Я рѣшила... Вы никогда не дадите мнѣ того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уѣзжать, оно здѣсь... Дѣло кончено!..

— Да... скорѣе же вонъ отсюда! Прощайте, Вѣра...—говорилъ и онъ не своимъ голосомъ.

И оба встали съ мѣста, оба блѣдные, стараясь не глядѣть другъ на друга. Она искала, при слабомъ, проницавшемъ сквозь вѣтви лунномъ свѣтѣ, свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что̀ нужно. Она хваталась даже за ружье.

Онъ, стоялъ, прислонясь спиной къ одному изъ столбовъ бесѣдки, не бралъ ничего и мрачно слѣдилъ за нею.

Она наконецъ отыскала бѣлую мантилью и никакъ не

могла накинуть ее на другое плечо. Онъ машинально помогъ ей.

Она въ темнотѣ искала ступенекъ ногой, онъ шагнулъ изъ бесѣдки прямо на землю, подалъ ей руку и помогъ сойти.

Оба пошли молча по дорожкѣ, все замедляя шагъ, какъ-будто чего-то другъ отъ друга ожидая. Обоихъ мучила одна и та же мыслепная работа, изобрѣсти предлогъ замедленія.

Оба понимали, что каждый съ своей точки зрѣнія правъ, но все-таки безумно втайнѣ надѣялись, онъ — что она перейдетъ на его сторону, а она — что онъ уступитъ, сознавая въ то же время, что надежда была нелѣпа, что никто изъ нихъ не могъ, хотя бы и хотѣлъ, внезапно переродиться, залучить къ себѣ, какъ шапку надѣть, другія убѣжденія, другое міросозерцаніе, раздѣлить вѣру, или отрѣшиться отъ нея.

Но ихъ убивало сознаніе, что это послѣднее свиданіе, послѣдній разъ, что черезъ пять минутъ они будутъ чужіе другъ другу навсегда. Имъ хотѣлось задержать эти пять минутъ, уложить въ нихъ все свое прошлое, и, если бъ можно было, заручиться какой-нибудь надеждой на будущее! Но они чувствовали, что будущаго нѣтъ, что впереди ждала неизбѣжная, какъ смерть, одна разлука!

Они долго шли до того мѣста, гдѣ ему надо было перескочить черезъ низенькій плетень на дорогу, а ей взбираться, между кустовъ, по тропинкѣ на гору въ садъ.

Она, наклонивъ голову, стояла у подъема на обрывъ, какъ убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты въ ней. У ней глаза были полны слезъ.

Теперь ея единственнымъ счастьемъ на мигъ — было бы обернуться, взглянуть на него хоть разъ и поскорѣе уйти навсегда, но, уходя, измѣрить хоть глазами — что она те-

ряла. Ей было жаль этого уносящагося вихря счастья, но она не смѣла обернуться: это было бы все равно, что сказать *да* на его роковой вопросъ, и она въ тоскѣ сдѣлала шага два на крутизну.

Онъ шелъ къ плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорнымъ звѣремъ, уходящимъ отъ добычи. Онъ не лгалъ, онъ уважалъ Вѣру, но уважалъ противъ воли, какъ въ сраженіи уважаютъ непріятеля, который отлично дерется. Онъ проклиналъ «городъ мертвецовъ», «старыя понятія», оковавшія эту живую, свободную душу.

Его горе было не трогательное, возбуждающее участіе, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирѣпое отчаяніе.

Онъ готовъ былъ изломать Вѣру, какъ ломаютъ чужую драгоцѣнность, съ проклятіемъ: «не доставайся никому!» Такъ, по собственному признанію, сдѣланному ей, онъ и поступилъ бы съ другой, но не съ ней. Да она и не далась бы въ ловушку — стало-быть надо бы было прибѣгнуть къ насилію и сдѣлаться въ одну минуту разбойникомъ.

Притомъ, одна матеріальная побѣда, обладаніе Вѣрой, не доставило бы ему полнаго удовлетворенія, какъ доставило бы надъ всякой другой. Онъ, уходя, злился не за то, что красавица Вѣра ускользаетъ отъ него, что онъ тратилъ на нее время, силы, забывалъ «дѣло». Онъ злился отъ гордости и страдалъ сознаніемъ своего безсилія. Онъ одолѣлъ воображеніе, пожалуй — такъ-называемое сердце Вѣры, но не одолѣлъ ея ума и воли.

Въ этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней былъ характеръ, и она упрямо вырабатывала себѣ изъ старой, «мертвой» жизни, крѣпкую, живую жизнь—и была для него такъ же, какъ для Райскаго, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытною жизнью, живущей своимъ, не заемнымъ умомъ, своей гордой волей.

Она была выше другихъ женщинъ. Онъ это видѣлъ, гордился своимъ успѣхомъ въ ея любви, и тутъ же падалъ, сознаваясь, что, какъ онъ ни бился развивать Вѣру, давать ей свой совѣтъ, но кто-то другой, ея вѣра, по ея словамъ, да какой-то попъ изъ молодыхъ, да Райскій съ своей поэзіей, да бабушка съ моралью, а еще болѣе—свои глаза, свой слухъ, тонкое чутье и женскіе инстинкты, потомъ воля — поддерживали ея силу и давали ей оружіе противъ его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду въ такіе здоровые цвѣта, передъ которыми казалась и блѣдна, и пуста, и фальшива, и холодна—та правда и жизнь, какую онъ добывалъ себѣ изъ новыхъ, казалось бы— свѣжихъ источниковъ.

Его новыя правда и жизнь не тянули къ себѣ ея здоровую и сильную натуру, а послужили только къ тому, что она разобрала ихъ по клочкамъ и осталась вѣрнѣе своей истинѣ.

И вотъ она уходитъ, не оставивъ ему никакого залога побѣды, кромѣ минувшихъ свиданій, которыя исчезнутъ, какъ слѣды на пескѣ. Онъ проигрывалъ сраженіе, терялъ ее, и, уходя, понималъ, что никогда не встрѣтитъ другой, подобной Вѣры.

Онъ сравнивалъ ее съ другими, особенно «новыми» женщинами, изъ которыхъ многія такъ любострастно поддавались жизни по новому ученію, какъ Марина своимъ любвямъ, и находилъ, что это—жалкія, пошлыя, и болѣе падшія созданія, нежели всѣ другія падшія женщины, уступавшія воображенію, темпераменту, и даже золоту, а тѣ будто бы принципу, котораго часто не понимали, въ которомъ не убѣдились, повѣривъ на-слово, слѣдовательно уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, напримѣръ, жена Козлова, только лицемѣрно или тупо прикрывали это принципомъ!

Онъ шелъ медленно, сознавая, что за спиной у себя оста-

влялъ навсегда то, чего уже никогда не встрѣтитъ впереди. Обмануть ее, увлечь, обѣщать «безсрочную любовь», сидѣть съ ней годы, пожалуй—жениться...

Онъ содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадный обманъ—да и не поддастся она ему теперь. Онъ топнулъ ногой и вскочилъ на плетень, перекинувъ ноги на другую сторону.

«Посмотрѣть, что она! Ушла, гордое созданіе! Что жалѣть, она не любила меня, иначе бы не ушла... Она резонерка!..» думалъ онъ, сидя на плетнѣ.

«Взглянуть одинъ разъ, что онъ — и отвернуться навсегда...» колебалась и она, стоя у подъема на крутизну.

Еще прыжокъ: плетень и канава скрыли бы ихъ другъ отъ друга навсегда. За оградой—разсудокъ и воля заговорятъ сильнѣе и одержатъ окончательную побѣду. Онъ обернулся...

Вѣра стоитъ у подъема на крутизну, какъ-будто не можетъ взойти на нее...

Наконецъ она сдѣлала, съ очевиднымъ утомленіемъ, два-три шага и остановилась. Потомъ... тихо обернулась назадъ и вздрогнула. Маркъ сидѣлъ еще на плетнѣ и глядѣлъ на нее...

— Маркъ, прощай! — вскрикнула она, и сама испугалась собственнаго голоса: такъ много было въ немъ тоски и отчаянія.

Маркъ быстро перекинулъ ноги назадъ, спрыгнулъ и въ нѣсколько прыжковъ очутился подлѣ нея.

«Побѣда! побѣда!» вошло въ немъ. «Она возвращается, уступаетъ!»

— Вѣра!—произнесъ и онъ такимъ голосомъ, какъ-будто простоналъ.

— Ты воротился... навсегда?.. Ты понялъ наконецъ... о, какое счастье!.. Боже, прости...

Она не договорила.

Она была у него въ объятіяхъ. Поцѣлуй его зажалъ ей вопль. Онъ поднялъ ее на грудь себѣ, и опять, какъ звѣрь, помчался въ бесѣдку, унося добычу...

Боже, прости ее, что она обернулась!..

XIII.

Райскій сидѣлъ цѣлый часъ, какъ убитый, надъ обрывомъ, на травѣ, положивъ подбородокъ на колѣни и закрывъ голову руками. Все стонало въ немъ. Онъ страшной мукой платилъ за свой великодушный порывъ, страдая сначала за Вѣру, потомъ за себя, кляня себя за великодушіе.

Неизвѣстность, ревность, пропавшія надежды на счастье, и впереди все тѣ же боли страсти, среди которой онъ не зналъ ни тихихъ дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! Засыпалъ онъ мучительно, трудно. Сонъ не сходилъ, какъ другъ, къ нему, а являлся, какъ часовой, смѣнить другой муку бдѣнія.

Когда онъ открывалъ глаза утромъ, передъ нимъ стоялъ уже призракъ страсти, въ видѣ непреклонной, злой и холодной къ нему Вѣры, отвѣчающей смѣхомъ на его требованіе открыть ему имя, имя — одно, что могло нанести рѣшительный ударъ его горячкѣ, сдѣлать спасительный переломъ въ болѣзни и дать ей легкій исходъ.

— Но что она нейдетъ! — вдругъ, оглянувшись, сказалъ онъ.

Онъ посмотрѣлъ на часы. Она ушла въ девятомъ часу, а теперь скоро одиннадцать! Она велѣла подождать, сказала, что вернется сейчасъ: дологъ этотъ часъ!..

— Что она? гдѣ она?—въ тревогѣ повторялъ онъ.

Онъ взобрался на верхъ обрыва, сѣлъ на скамью и сталъ прислушиваться, нейдетъ ли? Ни звука, ни шороха: только шумѣли падающіе мертвые листья.

— Велѣла ждать и забыла, а я жду!—говорилъ онъ, вста-

вая со скамьи и спускаясь опять шага три съ обрыва и все прислушиваясь.

— Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этихъ свиданіяхъ? Да кто, что она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вѣра? Она тамъ, можетъ-быть, хохочетъ надо мной, вмѣстѣ съ нимъ... Кто онъ? Я хочу знать—кто онъ?—въ ярости сказалъ онъ вслухъ.—Имя, имя! Я ей—орудіе, ширма, покрышка страсти... Какой страсти!

Имъ овладѣло отчаяніе, тождественное съ отчаяніемъ Марка. Пять мѣсяцевъ женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смѣется въ лицо...

«За что такая казнь за увлеченіе? Что она дѣлаетъ со мной? Не имѣю ли я право, послѣ всѣхъ этихъ продѣлокъ, отнять у нея ея секретъ и огласить таинственное имя?»

Онъ быстро сбѣжалъ съ крутизны и остановился у кустовъ, прислушиваясь. Ничего не слышно.

— Это, однако... гадко... — говорилъ онъ: — украсть секретъ...—и самъ вступилъ въ чащу кустовъ:—такъ гадко... что...

И воротился шага три назадъ.

— Воровство!—шепталъ онъ, стоя въ нерѣшимости и отирая потъ платкомъ съ лица. — А завтра опять игра въ загадки, опять русалочные глаза, опять, злобно, съ грубымъ смѣхомъ, брошенное мнѣ въ глаза: «васъ люблю!» Конецъ пыткѣ—узнаю!—рѣшилъ онъ и бросился въ кусты.

Онъ крался, какъ воръ, ощупью, проклиная каждый хрустнувшій сухой прутъ подъ ногой, не чувствуя ударовъ вѣтвей по лицу. Онъ ползъ на удачу, не зная мѣста свиданій. Отъ волненія онъ садился на землю и переводилъ духъ.

Угрызеніе совѣсти на минуту останавливало его, потомъ онъ опять ползъ, разрывая сухіе листья и землю ногтями...

Онъ миновалъ бугоръ, насыпанный надъ могилой самоубійцы, и направлялся къ бесѣдкѣ, глядя, слушая по сторонамъ, не увидитъ ли ее, не услышитъ ли голоса.

Между тѣмъ въ домѣ у Татьяны Марковны все шло своимъ порядкомъ. Отужинали и сидѣли въ залѣ, позѣвывая. Ватутинъ разсыпался въ вѣжливостяхъ со всѣми, даже съ Полиной Карповной, и съ матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя такъ на каждую женщину, какъ-будто готовъ былъ всѣмъ ей пожертвовать. Онъ говорилъ, что дамамъ надо стараться дѣлать «пріятности».

— Гдѣ М-г Борисъ?—спрашивала ужъ въ пятый разъ Полина Карповна, и до ужина, и послѣ ужина, у всѣхъ. Наконецъ обратилась съ этимъ вопросомъ и къ бабушкѣ.

— Богъ его знаетъ—бродитъ гдѣ-нибудь; въ гости, въ городъ ушелъ, должно-быть; и никогда не скажетъ куда—такая вольница! Не знаешь, куда лошадь послать за нимъ!

Яковъ сказалъ, что Борисъ Павловичъ «гуляли» въ саду до поздняго вечера.

Про Вѣру сказали тоже, когда послали ее звать къ чаю, что она не придетъ. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлетъ, если захочетъ ѣсть. Никто не видалъ, какъ она вышла, кромѣ Райскаго.

— Скажи Маринѣ, Яковъ, чтобы барышнѣ, какъ спроситъ, не забыли разогрѣть жаркое, а пирожное отнести на ледникъ, а то распустится!—приказывала бабушка.—А ты, Егорка, какъ Борисъ Павловичъ вернется, не забудь доложить, что ужинъ готовъ, чтобъ онъ не подумалъ, что ему не оставили, да не легъ спать голодный!

— Слушаю-съ,—сказали оба.

— Полунощники, право полунощники!—съ досадой и съ тоской про себя замѣтила бабушка:—шатаются объ эту пору, холодъ этакой...

— Я пойду въ садъ,—сказала Полина Карповна:—можетъ быть М-г Boris недалеко. Онъ будетъ очень радъ видѣться со мной... Я замѣтила, что онъ хотѣлъ мнѣ кое-что сказать...—таинственно прибавила она. — Онъ вѣрно не зналъ, что я здѣсь...

— Знать, оттого и ушелъ, — шепнула Марѳинька Викентьеву.

— Я—вотъ что сдѣлаю, Марѳа Васильевна: побѣгу впередъ, сяду за кустъ и объяснюсь съ ней въ любви голосомъ Бориса Павловича...—предложилъ-было ей, тоже шопотомъ, Викентьевъ, и хотѣлъ итти.

— Она, пожалуй, испугается и упадетъ въ обморокъ, тогда бабушка дастъ вамъ знать! Что выдумали!—отвѣчала она, удерживая его за рукавъ.

— Я пойду на минуту, позвольте, я приведу бѣглеца...—настаивала Полина Карповна.

— Идите, Богъ съ вами!—сказала Татьяна Марковна:—да глазъ не выколите, вотъ темнота какая! хоть Егорку возьмите, онъ проводитъ съ фонаремъ.

— Нѣтъ, я одна, не нужно, чтобъ намъ мѣшали...

— Напрасно!—вѣжливо замѣтилъ Титъ Никонычъ:—въ эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себѣ выходить послѣ восьми часовъ.

— Я не боюсь...—сказала Крицкая, надѣвая мантилью.

— Я бы не смѣлъ останавливать васъ,—замѣтилъ онъ:—но одинъ врачъ—онъ живетъ въ Дюссельдорфѣ, что близъ Рейна... я забылъ его фамилію—теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вамъ... Онъ предлагаетъ отмѣнныя гигіеническія правила... Онъ совѣтуетъ...

Онъ не кончилъ, потому что Полина Карповна ушла, сказавъ ему только, чтобъ онъ подождалъ и отвезъ ее домой.

— Съ полнымъ удовольствіемъ, съ полнымъ удовольствіемъ!—говорилъ онъ, кланяясь ей вслѣдъ и затворяя за ней двери ко двору и саду.

XIV.

Немного спустя послѣ этого разговора надъ обрывомъ, въ глубокой темнотѣ, послышался шумъ шаговъ между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задѣваемыя вѣтки,

зсыпались листы и слышались торопливые, широкіе скачки—взбиравшагося на крутизну, будто раненаго, или испуганнаго звѣря.

Шумъ все ближе, ближе, наконецъ изъ кустовъ выскочилъ на площадку передъ обрывомъ Райскій, но болѣе изступленный и дикій, чѣмъ раненый звѣрь. Онъ бросился на скамью, выпрямился и сидѣлъ минуты двѣ неподвижно, потомъ всплеснулъ руками и закрылъ ими глаза.

— Во снѣ это, или на яву!—шепталъ онъ, точно потерянный.—Нѣтъ, я ошибся, не можетъ быть! Мнѣ почудилось!..

Онъ всталъ, опять сѣлъ, какъ-будто во что-то вслушиваясь, потомъ положилъ руки на колѣни и разразился нервическимъ хохотомъ.

— Какія тутъ еще сомнѣнія, вопросы, тайны!—сказалъ онъ и опять захохоталъ, качаясь отъ смѣха, взадъ и впередъ.—Статуя! чистота! красота души! Вѣра—статуя! А онъ!.. И пальто, которое я послалъ «изгнаннику» валяется у бесѣдки! и пари свое онъ взыскалъ съ меня, двѣсти двадцать рублей, да прежнихъ восемьдесятъ... да, да! это триста рублей!.. Секлетея Бурдалахова!

Онъ захохоталъ снова, какъ-будто застоналъ. Потомъ вдругъ замолчалъ и схватился за бокъ.

— О, какъ больно здѣсь!—стоналъ онъ. — Вѣра-кошка! Вѣра-тряпка... слабонервная, слабосильная... изъ тѣхъ падшихъ, жалкихъ натуръ, которыхъ поражаетъ пошлая, чувственная страсть—обыкновенно къ какому-нибудь здоровому хаму!.. Пусть такъ—она свободна, но какъ она смѣла ругаться надъ человѣкомъ, который имѣлъ неосторожность пристраститься къ ней, надъ братомъ, другомъ!..—съ яростью шипѣлъ онъ:—о, мщеніе, мщеніе!

Онъ вскочилъ и въ мучительномъ раздумьѣ стоялъ.

Какое мщеніе? Бѣжать къ бабушкѣ, схватить ее и привести сюда, съ толпой людей, съ фонарями, освѣтить позоръ

и сказать:—Вотъ змѣя, которую вы двадцать три года грѣли на груди!..

Онъ махнулъ рукой и приложилъ ее къ горячему лбу.

— Подло, Борисъ!—шепталъ онъ себѣ:—и не сдѣлаешь ты этого! это было бы мщеніе не ей, а бабушкѣ, все равно что твоей матери!

Онъ уныло опустилъ голову, потомъ вдругъ поднялъ ее и съ бѣшенствомъ прыгнулъ къ обрыву.

— А тамъ совершается торжество этой тряпичной страсти—да, да, эта темная ночь скрыла поэму любви!—онъ презрительно засмѣялся.—Любви!—повторилъ онъ.—Маркъ! блудящій огонь, буянъ, трактирный либералъ! Ахъ! сестрица, сестрица! ужъ лучше бы вы придержались одного своего поклонника,—ядовито шепталъ онъ: — рослаго и красиваго Тушина! У того — и лѣса, и земли, и воды, и лошадьми править, какъ на олимпійскихъ играхъ! А этотъ!

Онъ съ трудомъ перевелъ духъ.

— Это наша «партія дѣйствія»! — шепталъ онъ: — да, изъ кармана показываетъ кулакъ полицеймейстеру, проповѣдуетъ горничнымъ да дьячихамъ о нелѣпости брака, съ Фейербахомъ и съ мнимой страстью къ изученію природы, вкрадывается въ довѣренность женщинъ и увлекаетъ вотъ этакихъ слабонервныхъ умницъ!.. Погибай же ты, жалкая самка, тутъ, на днѣ обрыва, какъ тотъ бѣдный самоубійца! Вотъ тебѣ мое прощаніе!..

Онъ хотѣлъ плюнуть съ обрыва—и вдругъ окаменѣлъ на мѣстѣ. Противъ его воли, вопреки ярости, презрѣнія, въ воображеніи—тихо поднимался со дна пропасти и вставалъ передъ нимъ образъ Вѣры, въ такой обольстительной красотѣ, въ какой онъ не видалъ ея никогда!

У ней глаза горѣли, какъ звѣзды, страстью. Ничего злого и холоднаго въ нихъ, никакой тревоги, тоски; одно счастье глядѣло лучами яркаго свѣта. Въ груди, въ рукахъ, въ пле-

чахъ, во всей фигурѣ струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила.

Она примирительно смотрѣла на весь міръ. Она стояла на своемъ пьедесталѣ, но не бѣлой, мраморной статуей, а живою, неотразимо-плѣнительной женщиной, какъ то поэтическое видѣніе, которое снилось ему однажды, когда онъ, подъ обаяніемъ красоты Софьи, шелъ къ себѣ домой и видѣлъ женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потомъ видѣлъ ея преображеніе изъ статуи въ живое существо, около котораго заиграла и заструилась жизнь, зазеленѣли деревья, заблистали цвѣты, разлилась теплота...

И вотъ она, эта живая женщина, передъ нимъ! Въ глазахъ его совершилось пробужденіе Вѣры, его статуи, отъ дѣвическаго сна. Ледъ и огонь холодили и жгли его грудь, онъ надрывался отъ мукъ и—все не могъ оторвать глазъ отъ этого неотступнаго образа красоты, сіяющаго гордостью, смотрящаго съ любовью на весь міръ, и съ дружеской улыбкой протягивающей руку и ему...

«Я счастлива!»—слышитъ онъ ея шопотъ.

У ногъ ея, какъ отдыхающій левъ, лежалъ, безмолвно торжествуя, Маркъ; на головѣ его покоилась ея нога... Райскій вздрогнулъ, стараясь отрезвиться.

Его гналъ отъ обрыва ужасъ «паденія» его сестры, его красавицы, подкошеннаго цвѣтка,—а ревность, бѣшенство, и болѣе всего новая, неотразимая красота пробужденной Вѣры, влекли опять къ обрыву, на торжество любви, на этотъ праздникъ, который, кажется, торжествовалъ весь міръ, вся природа.

Ему слышались голоса, порханье и пѣнье птицъ, лепетъ любви и громадный, страстный вздохъ, огласившій будто весь садъ и все прибрежье Волги....

Онъ въ ужасѣ стоялъ, окаменѣлый, надъ обрывомъ, то вглядываясь мысленно въ новый, пробужденный образъ

Вѣры, то терзаясь нечеловѣческими муками, и шепталъ блѣдный:—Мщеніе, мщеніе!

А кругомъ и внизу все было тихо и темно. Вдругъ, въ десяти шагахъ отъ себя, онъ замѣтилъ силуэтъ приближающейся къ нему отъ дома человѣческой фигуры. Онъ сталъ смотрѣть.

— Кто тутъ?—съ злостью спросилъ онъ.

— Это я... я...

— Кто?—повторилъ онъ еще злѣе.

— M-r Boris, это я... Pauline.

— Вы! Что вамъ надо здѣсь?

— Я пришла... я знаю... вижу... вы хотите давно сказать...—шептала Полина Карповна таинственно:—но не рѣшаетесь... Du courage! здѣсь никто не видитъ и не слышитъ... Espérez tout...

— Что «сказать»—говорите!..

— Que vous m'aimez, o, я давно угадала... n'est-ce pas? Vous m'avez fui... mais la passion vous a ramené ici...

Онъ схватилъ ее за руку и потащилъ къ обрыву.

— Ah! de grâce! Mais pas si brusquement... qu'est-ce que vous faites... mais laissez donc!.. — завопила она въ страхѣ и не на шутку испугалась...

Но онъ подтащилъ ее къ крутизнѣ и крѣпко держалъ за руку.

— Любви хочется! — говорилъ онъ въ изступленіи: — вы слышите, сегодня ночь любви... Слышите вздохи... поцѣлуи? Это страсть играетъ, да, страсть, страсть!

— Пустите, пустите!—пищала она не своимъ голосомъ:— я упаду, мнѣ дурно...

Онъ пустилъ ее, руки у него упали, онъ перевелъ духъ. Потомъ взглянулъ на нее пристально, какъ будто только сейчасъ замѣтилъ ее.

— Прочь! — крикнулъ онъ и, какъ дикій, бросился бѣ-

жать отъ нея, отъ обрыва, черезъ весь садъ, цвѣтникъ и выбѣжалъ на дворъ.

На дворѣ онъ остановился и перевелъ духъ, оглядываясь по сторонамъ. Онъ услыхалъ, что кто-то плещется у колодца. Егорка, должно-быть, дѣлалъ ночной туалетъ, полоскалъ себѣ руки и лицо.

— Принеси чемоданъ,—сказалъ онъ:—завтра уѣзжаю въ Петербургъ!

И самъ налилъ себѣ изъ жолоба воды на руки, смочилъ глаза, голову—и скорыми шагами пошелъ домой.

Онъ выбѣгалъ на крыльцо, ходилъ по двору въ одномъ сюртукѣ, глядѣлъ на окна Вѣры и опять уходилъ въ комнату, ожидая ея возвращенія. Но въ темнотѣ видѣть дальше десяти шаговъ ничего было нельзя, и онъ избралъ для наблюденія бесѣдку изъ акацій, бѣсясь, что нельзя укрыться и въ ней, потому что листья облетѣли.

До свѣта онъ сидѣлъ тамъ, какъ на угольяхъ — не отъ страсти, страсть какъ въ воду канула. И какая страсть устояла бы передъ такимъ «препятствіемъ»? Нѣтъ, онъ сгоралъ неодолимымъ желаніемъ взглянуть Вѣрѣ въ лицо, новой Вѣрѣ, и хоть взглядомъ презрѣнія заплатить этой «самкѣ» за ея позоръ, за оскорбленіе, нанесенное ему, бабушкѣ, всему дому, «цѣлому обществу, наконецъ, человѣку, женщинѣ»!

«Люби открыто, не крадь довѣрія, наслаждайся счастьемъ и плати жертвами, не играй уваженіемъ людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины!» думалъ онъ. «Да, взглянуть на нее, чтобъ она въ этомъ взглядѣ прочла себѣ приговоръ и казнь — и уѣхать навсегда!»

Онъ трясся отъ лихорадки нетерпѣнія, ожидая, когда она воротится. Онъ, какъ барсъ, выскочилъ бы изъ-за засады, загородилъ ей дорогу и бросилъ бы ей этотъ взглядъ, сказалъ бы одно слово... Какое?

Онъ чесалъ себѣ голову, трогалъ лицо, сжималъ и разжималъ ладони, и корчился въ судорогахъ, въ углу бесѣдки. Вдругъ онъ вскочилъ, отбросилъ отъ себя прочь пледъ, въ который прятался, и лицо его озарилось какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью, или намѣреніемъ.

— Это сама судьба подсказала! — шепталъ онъ и побѣжалъ къ воротамъ.

Онѣ были еще заперты; онъ поглядѣлъ кругомъ и замѣтилъ огонекъ лампады въ комнатѣ Савелья.

Онъ постучалъ въ окно его, и когда тотъ отворилъ, велѣлъ принести ключъ отъ калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забѣжалъ къ себѣ, взялъ купленный имъ porte-bouquet и бросился въ оранжерею, къ садовнику. Долго стучался онъ, пока тотъ проснулся, и оба вошли въ оранжерею.

Начинало разсвѣтать. Онъ окинулъ взглядомъ деревья, и злая улыбка освѣтила его лицо. Онъ указывалъ, какіе цвѣты выбрать для букета Марѳиньки: въ него вошли всѣ, какіе оставались. Садовникъ сдѣлалъ букетъ на славу.

— Мнѣ нуженъ другой букетъ... — сказалъ Райскій нетвердымъ голосомъ.

— Этакій же?

— Нѣтъ... изъ однихъ померанцевыхъ цвѣтовъ... — шепталъ онъ и самъ поблѣднѣлъ.

— Такъ-съ, вѣдь одна барышня-то у Татьяны Марковны невѣста!—догадался садовникъ.

— Есть у тебя стаканъ воды...—спросилъ Райскій.—Дай пить!

Онъ съ жадностью выпилъ стаканъ, торопя садовника сдѣлать букетъ. Наконецъ, тотъ кончилъ. Райскій щедро заплатилъ ему и, завернувъ въ бумагу оба букета, осторожно и торопливо понесъ домой.

Нужно было узнать, не вернулась ли Вѣра во время его отлучки. Онъ велѣлъ разбудить и позвать къ себѣ Марину

и послалъ ее посмотрѣть, дома ли барышня, или «ужъ вышла гулять».

На отвѣтъ, что «вышла», онъ велѣлъ Марѳинькинъ букетъ поставить къ Вѣрѣ на столъ и отворить въ ея комнатѣ окно, сказавши, что она поручила ему еще съ вечера это сдѣлать. Потомъ отослалъ ее, а самъ занялъ свою позицію въ бесѣдкѣ и ждалъ, замирая—отъ удалявшейся, какъ буря, страсти, отъ ревности, и будто еще отъ чего-то... жалости, кажется...

Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человѣческое въ немъ. Онъ злобно душилъ голосъ жалости. И «добрый духъ» печально молчалъ въ немъ. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бѣсы вторглись и рвали его внутренность.

Райскій положилъ щеку на руку, смотрѣлъ около и ничего не видѣлъ, кромѣ дорожки къ крыльцу Вѣры, чувствовалъ только ядъ лжи, обмана.

— Мнѣ надо застрѣлить эту собаку, Марка, или застрѣлиться самому; да, что-нибудь одно изъ двухъ, но прежде сдѣлаю вотъ это третье...—шепталъ онъ.

Онъ, какъ святыню, обѣими руками держалъ букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, глядя на него съ наслажденіемъ, а самъ все оглядывался черезъ цвѣтникъ — къ темной аллеѣ, а ея все нѣтъ!

Совсѣмъ разсвѣло. Пошелъ мелкій дождикъ, стало грязно.

«Не послать ли имъ два зонтика?» думалъ онъ съ безотрадной улыбкой, лаская букетъ и нюхая его.

Вдругъ издали увидѣлъ Вѣру—и до того потерялся, испугался, ослабѣлъ, что не могъ не только выскочить, «какъ барсъ», изъ засады и заградить ей путь, но долженъ былъ самъ крѣпко держаться за скамью, чтобъ не упасть. Сердце билось у него, колѣнки дрожали, онъ приковалъ взглядъ къ идущей Вѣрѣ и не могъ оторвать его, хотѣлъ встать — и тоже не могъ: ему было больно даже дышать.

Она шла, наклонивъ голову, совсѣмъ закрытую черной мантильей. Видны были только двѣ блѣдныя руки, державшія мантилью на груди. Она шагала не торопливо, не поворачивая головы по сторонамъ, осторожно обходя образовавшіяся небольшія лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась въ сѣняхъ.

Съ Райскаго какъ будто сняли кандалы. Онъ, блѣдный, выскочилъ изъ засады и спрятался подъ ея окномъ.

Она вошла въ комнату, погруженная точно въ сонъ, не замѣтила, что платье, которое, уходя, разбросала на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столѣ, ни отворенаго окна.

Она машинально сбросила съ себя обѣ мантильи на диванъ, сняла грязныя ботинки, ногой достала изъ-подъ постели атласныя туфли и надѣла ихъ. Потомъ, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диванъ и въ изнеможеніи, закрывъ глаза, оперлась спиной и головой къ подушкѣ дивана и погрузилась будто въ сонъ.

Черезъ минуту ее пробудилъ глухой звукъ чего-то упавшаго на полъ. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокругъ.

На полу лежалъ большой букетъ померанцевыхъ цвѣтовъ, брошенный снаружи въ окно.

Она, кинувъ бѣглый взглядъ на него, поблѣднѣла, какъ смерть и, не поднявъ цвѣтовъ, быстро подошла къ окну. Она видѣла уходившаго Райскаго и оцѣпенѣла на минуту отъ изумленія. Онъ обернулся, взгляды ихъ встрѣтились.

— Великодушный другъ... «рыцарь»... прошептала она и вздохнула съ трудомъ, какъ отъ боли, и тутъ только замѣтивъ другой букетъ на столѣ, назначенный Марѳинькѣ, взяла его, машинально поднесла къ лицу, но букетъ выпалъ у ней изъ рукъ, и она сама упала безъ чувствъ на коверъ.

Часть пятая.

I.

На другой день, въ деревенской церкви Малиновки, съ десяти часовъ, начали звонить въ большой колоколъ, къ обѣднѣ.

Въ домѣ была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера одѣлись въ синіе, новые кафтаны, намазали головы коровьимъ масломъ и съ утра напились пьяны. Дворовыя женщины и дѣвицы пестрѣли праздничными, разноцвѣтными, ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. Отъ горничныхъ за десять шаговъ несло гвоздичной помадой.

Егорка явился-было неслыханнымъ франтомъ, въ подаренномъ ему Райскимъ коротенькомъ пиджакѣ, клѣтчатыхъ, зеленыхъ, почти новыхъ, панталонахъ, и въ купленныхъ имъ самимъ — оранжевомъ галстукѣ и голубомъ жилетѣ. Онъ, въ этомъ нарядѣ, нечаянно попался на глаза Татьянѣ Марковнѣ.

— Это что!—строго крикнула она на него:—что за чучело, на кого ты похожъ? Долой! Василиса! Выдать имъ всѣмъ ливрейные фраки, и Сережкѣ, и Степкѣ, и Петрушкѣ, и этому шуту!—говорила она, указывая на Егора.—Яковъ пусть черный фракъ да бѣлый галстукъ надѣнетъ. Чтобы и за столомъ служили, и вечеромъ оставались въ ливреяхъ!

Весь домъ смотрѣлъ парадно, только Улита, въ это утро глубже, нежели въ другіе дни, опускалась въ свои холодники и подвалы и не успѣла надѣть ничего, что̀ дѣлало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрашнюю Улиту. Да повара почти съ зарей надѣли свои бѣлые колпаки и не покладывали рукъ, готовя завтракъ, обѣдъ, ужинъ — и господамъ, и дворнѣ, и пріѣзжимъ людямъ изъ-за Волги.

Бабушка, отдавъ приказанія съ ранняго утра, въ восемь часовъ сдѣлала свой туалетъ и вышла въ залу, къ гостьѣ и будущей роднѣ своей, въ полномъ блескѣ старческой красоты, съ сдержаннымъ достоинствомъ барыни и съ кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки.

Она надѣла на сѣдые волосы маленькій простой чепчикъ; на ней хорошо сидѣло привезенное ей Райскимъ изъ Петербурга шелковое, свѣтло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой, съ широкимъ воротничкомъ изъ стараго пожелтѣвшаго кружева. На креслахъ въ кабинетѣ лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда пріѣдутъ гости къ завтраку и обѣду.

Теперь она собиралась ѣхать всѣмъ домомъ къ обѣднѣ, и въ ожиданіи, когда всѣ домашніе сойдутся, прохаживалась медленно по залѣ, сложивъ руки крестомъ на груди и почти не замѣчая домашней суеты, какъ входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы съ мебели.

Она подходила то къ одному, то къ другому окну, задумчиво смотрѣла на дорогу, потомъ съ другой стороны въ садъ, съ третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яковъ, а Савелій управлялся съ дворней.

Мать Викентьева разодѣлась въ платье gris-de-perle, съ отдѣлкой изъ темныхъ кружевъ. Викентьевъ прибѣгалъ уже, наряженный, съ восьми часовъ, во фракъ и бѣлыя перчатки. Ждали только появленія Марѳиньки.

И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сіяла природной красотой, блескомъ здоровья, а въ это утро еще лучами веселья отъ всеобщаго участія, отъ множества — со всѣхъ сторонъ знаковъ вниманія, не только отъ бабушки, жениха, его матери, но въ каждомъ лицѣ изъ дворни свѣтилось неприторное дружество, ласка къ ней и лучъ радости, по случаю ея праздника.

Бабушка уже успѣла побывать у ней въ комнатѣ, когда она только-что встала съ постели. Проснувшись и поглядѣвъ вокругъ себя, Марѳинька ахнула отъ изумленія и внезапной радости.

Пока она спала, ей, всѣ стѣны ея двухъ комнатокъ, чьи-то руки обвѣшали гирляндами изъ зелени и цвѣтовъ. Она хотѣла надѣть свою простенькую блузу, а на мѣсто ея, на креслѣ, подлѣ кровати, нашла утреннее неглиже изъ кисеи и кружевъ, съ розовыми лентами.

Не успѣла ахнуть, какъ на двухъ другихъ креслахъ увидѣла два прелестныя платья — розовое и голубое, на выборъ, которое надѣть.

— Ахъ! — сдѣлала она и, вскочивъ съ постели, надѣла новую блузу, не надѣвъ чулокъ — некогда было — подошла къ зеркалу и остолбенѣла: весь туалетъ былъ установленъ подарками.

Она не знала на что̀ глядѣть, что взять въ руки. Бросится къ платью, а тамъ тянетъ къ себѣ великолѣпный ящикъ розоваго дерева. Она открыла его,—тамъ былъ полный дамскій несессеръ, почти весь туалетъ, хрустальные, оправленные въ серебро, флаконы гребенки, щетки и множество мелочей.

Она стала-было разсматривать всѣ вещи, но у ней дрожали руки. Она схватитъ одинъ флаконъ, увидитъ другой, положитъ тотъ, возьметъ третій, увидитъ гребенку, щетки

въ серебряной оправѣ: — и все съ ея вензелемъ М. «Отъ будущей maman», написано было.

— Ахъ! — сдѣлала она, растерявшись и захлопывая крышку.

Подлѣ ящика лежало еще нѣсколько футляровъ, футлярчиковъ. Она не знала, за который взяться, что̀ смотрѣть. Взглянувъ мелькомъ въ зеркало и откинувъ небрежно назадъ густую косу, падавшую ей на глаза и мѣшавшую разсматривать подарки, она кончила тѣмъ, что забрала всѣ футляры съ туалета и сѣла съ ними въ постель.

Она боялась открывать ихъ, медлила, наконецъ открыла самый маленькій.

Тамъ—перстень съ однимъ только изумрудомъ.

— Ахъ! — повторила она и, надѣвъ перстень, вытянула руку и любовалась имъ издали.

Открыла другой футляръ побольше — тамъ серьги. Она вдѣла ихъ въ уши и, сидя въ постели, тянулась взглянуть на себя въ зеркало. Потомъ открыла еще два футляра и нашла большіе массивные браслеты, въ видѣ змѣи кольцомъ, съ рубиновыми глазами, усѣянной по мѣстамъ сверкающими алмазами, и сейчасъ же надѣла ихъ.

Наконецъ открыла самый большой футляръ.

— Ахъ!—почти съ ужасомъ, замирая, сдѣлала она, увидя цѣлую рѣку—двадцать одинъ брильянтъ, по числу ея лѣтъ.

Тамъ бумажка съ словами: «Къ этому ко всему», читала она: «имѣю честь присовокупить самый драгоцѣнный подарокъ! лучшаго моего друга — самого себя. Берегите его. Вашъ ненаглядный Викентьевъ».

Она засмѣялась, потомъ поглядѣла кругомъ, поцѣловала записку, покраснѣла до ушей и, спрыгнувъ съ постели, спрятала ее въ свой шкапчикъ, гдѣ у нея хранились лакомства. И опять подбѣжала къ туалету посмотрѣть, нѣтъ ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчикъ.

Это былъ подарокъ Райскаго: часы, съ эмалевой доской,

съ ея шифромъ, съ цѣпочкой. Она взглянула на нихъ большими глазами, потомъ окинула взглядомъ прочіе подарки, поглядѣла по стѣнамъ, увѣшаннымъ гирляндами и цвѣтами— и вдругъ опустилась на стулъ, закрыла глаза руками и залилась цѣлымъ дождемъ горячихъ слезъ.

— Господи! — всхлипывая отъ счастья, говорила она:— за что они меня такъ любятъ всѣ? Я никому, ничего хорошаго не сдѣлала и не сдѣлаю никогда!..

Такъ застала ее бабушка, неодѣтую, необутую, съ перстнями на пальцахъ, въ браслетахъ, въ брильянтовыхъ серьгахъ и обильныхъ слезахъ. Она сначала испугалась, потомъ, узнавъ причину слезъ, обрадовалась и осыпала ее поцѣлуями.

— Это Богъ тебя любитъ, дитя мое, — говорила она, лаская ее:—за то, что ты сама всѣхъ любишь, и всѣмъ, кто поглядитъ на тебя, становится тепло и хорошо на свѣтѣ!..

— Ну, пусть бы Николай Андреичъ: онъ женихъ, пусть maman его,—отвѣчала Мароинька, утирая слезы:—а братъ Борисъ Павловичъ: что я ему!..

— То же, что всѣмъ! одна радость глядѣть на тебя: скромна, чиста, добра, бабушкѣ послушна... (Мотъ! изъ чего тратитъ на дорогіе подарки, вотъ я ужо ему дамъ!— въ скобкахъ вставила она).—Онъ уродъ, твой братецъ, только какой-то особенный уродъ.

— Точно угадалъ, бабушка: мнѣ давно хотѣлось синенькіе часики—вотъ этакіе, съ эмалью!..

— А что жъ ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?

Мароинька зажала ей ротъ поцѣлуемъ.

— Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтобъ я была счастлива...

— Любовь—любовью, а вотъ тебѣ мой всегдашній подарокъ!—говорила она, крестя ее.—А вотъ и еще, чтобъ ты этого моего креста и послѣ меня не забывала...

Она полѣзла въ карманъ.

— Бабушка! Да вѣдь вы мнѣ два платья подарили!.. А кто это зелени и цвѣтовъ повѣсилъ!..

— Все твой женихъ, съ Полиной Карповной, вчера прислали... отъ тебя таили... Сегодня Василиса съ Пашуткой убирали на зарѣ... А платья—твое приданое; будетъ и еще не два. Вотъ тебѣ...

Она вынула футлярчикъ, достала оттуда золотой крестъ, съ четырьмя крупными брильянтами, и надѣла ей на шею, потомъ простой гладкій браслетъ съ надписью: «отъ бабушки внучкѣ», годъ и число.

Мароинька припала къ рукѣ бабушки и чуть-было не расплакалась опять.

— Все, что у бабушки есть, — а у ней кое-что есть— все поровну раздѣлю вамъ съ Вѣрочкой! Одѣвайся же скорѣй!

— Какая вы нынче красавица, бабушка! Братецъ правду говоритъ, Титъ Никонычъ непремѣнно влюбится въ васъ...

— Полно тебѣ, болтунья! — полусердито сказала бабушка. — Поди къ Вѣрочкѣ и узнай, что она? Чтобы къ обѣдни не опоздала съ нами! Я бы сама зашла къ ней, да боюсь подниматься на лѣстницу...

— Я сейчасъ, сейчасъ... — сказала Мароинька, торопясь одѣваться.

II.

Вѣра черезъ полчаса послѣ своего обморока, очнулась и поглядѣла вокругъ. Ей освѣжилъ лицо холодный воздухъ изъ отвореннаго окна. Она привстала, озираясь кругомъ, потомъ поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь, до постели, и скорѣе упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошеннымъ туда ею наканунѣ большимъ платкомъ.

Обезсиленная, она впала въ тяжкій сонъ. Истомленный

организмъ онѣмѣлъ на время, помимо ея сознанія и воли. Коса у ней упала съ головы и разсыпалась по подушкѣ. Она была блѣдна и спала, какъ мертвая.

Часа черезъ три, шумъ на дворѣ, людскіе голоса, стукъ колесъ и благовѣстъ вывели ее изъ летаргіи. Она открыла глаза, посмотрѣла кругомъ, послушала шумъ, пришла на минуту въ сознаніе, потомъ вдругъ опять закрыла глаза и предалась снова, или сну, или мукѣ.

Въ это время кто-то легонько постучался къ ней въ комнату. Она не двигалась. Потомъ сильнѣе постучались. Она услыхала и встала вдругъ съ постели, взглянула въ зеркало и испугалась самой себя.

Она быстро обвила косу около руки, свернула ее въ кольцо, закрѣпила кое-какъ черной большой булавкой на головѣ, и накинула на плечи платокъ. Мимоходомъ подняла съ полу назначенный для Марѳиньки букетъ и положила на столъ.

Стукъ повторился, вмѣстѣ съ легкимъ царапаньемъ у двери.

— Сейчасъ!—сказала она и отворила дверь.

Влетѣла Марѳинька, сіяя, какъ радуга, и красотой, и нарядомъ, и весельемъ. Она взглянула и вдругъ остановилась.

— Что съ тобой, Вѣрочка?—спросила она:—ты нездорова!..

Веселье слетѣло съ лица у ней, уступивъ мѣсто испугу.

— Да, не совсѣмъ...—слабо отвѣчала Вѣра:—ну, поздравляю тебя...

Онѣ поцѣловались.

— Какая ты хорошенькая, нарядная!—говорила Вѣра, стараясь улыбнуться.

Но улыбка не являлась. Губами она сдѣлала движеніе, а глаза не улыбались. Привѣтствію противорѣчилъ почти неподвижный взглядъ, безъ лучей, какъ у мертвой, которой не успѣли закрыть глазъ.

Вѣра, чувствуя, что не одолѣетъ себя поспѣшила взять букетъ и подала ей.

— Какой роскошный букетъ!—сказала Мароинька, тая отъ восторга и нюхая цвѣты.

— А что же это такое?—вдругъ прибавила она, чувствуя подъ букетомъ въ рукѣ что-то твердое.

Это былъ изящный porte-bouquet, убранный жемчугомъ, съ ея шифромъ.

— Ахъ, Вѣрочка, и ты, и ты!.. Что это, какъ вы всѣ меня любите!..—говорила она, собираясь опять заплакать:— и я вѣдь васъ всѣхъ люблю... какъ люблю, Господи!.. Да какъ же и когда вы узнаете это; я не умѣю даже сказать!..

Вѣра почти умилилась внутренно, но не смогла ничего отвѣтить ей, а только тяжело перевела духъ и положила ей руку на плечо.

— Я сяду,—сказала она:—я дурно спала ночь...

— Бабушка зоветъ къ обѣднѣ...

— Не могу, душечка, скажи, что я не такъ здорова... и не выйду сегодня...

— Какъ, ты совсѣмъ не придешь туда?—въ страхѣ спросила Мароинька.

— Да, я полежу, я вчера простудилась, должно-быть. Только ты скажи бабушкѣ слегка...

— Мы къ тебѣ придемъ.

— Боже сохрани! Вы помѣшаете мнѣ отдохнуть...

— Ну, такъ пришлемъ тебѣ сюда всего... Сколько мнѣ подарковъ... цвѣтовъ... конфетъ прислали!.. Я покажу тебѣ...

Мароинька разсказала все, что и отъ кого получила.

— Да, да — хорошо... это очень мило! покажи... я послѣ приду...—разсѣянно говорила Вѣра, едва слушая ее.

— А это что? Еще букетъ!—сказала вдругъ Мароинька, увидя букетъ на полу:—что это онъ на полу валяется?

Она подняла и подала Вѣрѣ букетъ изъ померанцевыхъ цвѣтовъ. Вѣра побѣднѣла.

— Кому это? чей? Какая прелесть!

— Это... тоже тебѣ...—едва выговорила Вѣра.

Она взяла первую ленточку изъ комода, нѣсколько булавокъ, и кое-какъ, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цвѣты Мароинькѣ. Потомъ поцѣловала ее и сѣла въ изнеможеніи на диванъ.

— Ты въ самомъ дѣлѣ нездорова — посмотри, какая ты блѣдная! — замѣтила серьезно Мароинька: — не сказать ли бабушкѣ? Она за докторомъ пошлетъ... Пошлемъ, душечка, за Иваномъ Богдановичемъ... Какъ это грустно — въ день моего рожденія! Теперь мнѣ цѣлый день испорченъ!

— Ничего, ничего — пройдетъ! Ни слова бабушкѣ, не пугай ее!.. А теперь поди, оставь меня...—шептала Вѣра:— я отдохну...

Мароинька хотѣла поцѣловать ее и вдругъ увидѣла, что у ней глаза полны слезъ. Она заплакала сама.

— Что ты?—тихо спросила Вѣра, отирая украдкой, какъ будто воруя свои слезы изъ глазъ.

— Какъ же не плакать, когда ты плачешь, Вѣрочка! Что съ тобой? другъ мой, сестра! У тебя горе, скажи мнѣ...

— Ничего, не гляди на меня, это нервы... Только скажи бабушкѣ осторожно, а то она встревожится...

— Я скажу, что голова болитъ, а про слезы не упомяну, а то она въ самомъ дѣлѣ на цѣлый день разстроится.

Мароинька ушла. А Вѣра затворила за ней дверь и легла на диванъ.

III.

Всѣ ушли и уѣхали къ обѣднѣ. Райскій, воротясь на разсвѣтѣ домой, не узнавая самъ себя въ зеркалѣ, чувствуя ознобъ, попросилъ у Марины стаканъ вина, выпилъ и бросился въ постель.

Ему было не легче Вѣры. И онъ, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался

сну, какъ будто бросился въ горячѣ въ объятія здороваго друга, поручая себя его попеченію. И онъ исполнилъ эту обязанность, унеся его далеко отъ Вѣры, отъ Малиновки, отъ обрыва, и отъ вчерашней, разыгравшейся на его глазахъ, драмы.

Ему снилось все другое, противоположное. Никакихъ «волнъ поэзіи» не видалъ онъ, не била «страсть пѣной» черезъ край, а очутился онъ въ Петербургѣ, дома, одинъ, въ своей брошенной мастерской, и равнодушно глядѣлъ на начатыя и неоконченныя работы.

Потомъ приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріятелями у Сен-Жоржа и съ аппетитомъ ѣстъ и пьетъ, разсказываетъ и слушаетъ пошлый вздоръ, обыкновенно разсказываемый на холостыхъ обѣдахъ, — что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и во снѣ даже спать захотѣлось.

И онъ спалъ здоровымъ прозаическимъ сномъ, до того охватившимъ его, что, когда онъ проснулся отъ трезвона въ церквахъ, то первыя двѣ-три минуты былъ только подъ вліяніемъ животнаго покоя, стѣной ставшаго между имъ и вчерашнимъ днемъ.

Онъ забылъ, гдѣ онъ — и, можетъ-быть, даже — кто онъ такой. Природа взяла свое, и этимъ крѣпкимъ сномъ возстановила равновѣсіе въ силахъ. Никакой боли, пытки не чувствовалъ онъ. Все—какъ въ воду кануло.

Онъ потянулся, даже посвисталъ беззаботно, чувствуя только, что ему отчего-то покойно, хорошо, что онъ давно уже не спалъ и не просыпался такъ здорово. Сознаніе еще не воротилось къ нему.

Но слѣдующія двѣ-три минуты вдругъ привели его въ память — о вчерашнемъ. Онъ сѣлъ на постели, какъ будто не самъ, а поднята его посторонняя сила; посидѣлъ минуты двѣ неподвижно, открывъ широко глаза, будто не вѣря чему-то, но когда увѣрился, то всплеснулъ руками надъ головой, упалъ опять на подушку, и вдругъ вскочилъ

на ноги, уже съ другимъ лицомъ, какого не было у него даже вчера, въ самую страшную минуту.

Другая му́ка, не вчерашняя, какой-то новый бѣсъ бросился въ него, — и онъ такъ же торопливо, нервно и судорожно, какъ Вѣра наканунѣ, собираясь идти къ обрыву, хваталъ одно за другимъ платья, разбросанныя по стульямъ.

Онъ позвонилъ Егора, и едва съ его помощью кое-какъ одѣлся, надѣвая сюртукъ прежде жилета, забывая галстукъ. Онъ спросилъ, что̀ дѣлается дома, и узнавъ, что всѣ уѣхали къ обѣднѣ, кромѣ Вѣры, которая больна, оцѣпенѣлъ, измѣнился въ лицѣ и бросился вонъ изъ комнаты къ старому дому.

Онъ тихо постучался къ Вѣрѣ; никто не отвѣчалъ. Подождавъ минуты двѣ отвѣта, онъ тронулъ дверь: она была не заперта изнутри.

Онъ осторожно отворилъ и вошелъ съ ужасомъ на лицѣ, тихимъ шагомъ, какимъ можетъ входить человѣкъ, съ намѣреніемъ совершить убійство. Онъ едва ступалъ на цыпочкахъ, трясясь, блѣдный, боясь ежеминутно упасть отъ душившаго его волненія.

Вѣра лежала на диванѣ, лицомъ къ спинкѣ. Съ подушки падали почти до пола ея волосы, юбка ея сѣраго платья небрежно висѣла, не закрывая ея ногъ, обутыхъ въ туфли.

Она не оборачивалась, только сдѣлала движеніе, чтобъ оборотиться и посмотрѣть, кто вошелъ, но, повидимому, не могла.

Онъ подошелъ, сталъ на колѣни подлѣ нея и прижалъ губами къ ея туфлѣ. Она вдругъ обернулась, взглянула на него мелькомъ, лицо у ней подернулось горькимъ изумленіемъ.

— Что это, комедія или романъ, Борисъ Павловичъ? — глухо сказала она, отворачиваясь съ негодованіемъ и пряча ногу съ туфлей подъ платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой.

— Нѣтъ, Вѣра, — трагедія! — едва слышно выговорилъ онъ угасшимъ голосомъ и сѣлъ на стулъ, подлѣ дивана.

Она обернулась на этотъ тонъ его голоса, взглянула на него пристально; глаза у ней открылись широко, съ изумленіемъ. Она увидѣла блѣдное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смыслъ этого новаго лица, новаго Райскаго.

Она сбросила съ себя платокъ, встала на ноги и подошла къ нему, забывъ въ эту секунду всю свою бурю. Она видѣла на другомъ лицѣ такое же смертельное страданіе, какое жило въ ней самой.

— Братъ, что съ *тобой? ты* несчастливъ!—сказала она, положивъ ему руку на плечо — и въ этихъ трехъ словахъ, и въ голосѣ ея — отозвалось, кажется, все, что есть великаго въ сердцѣ женщины: состраданіе, самоотверженіе, любовь.

Онъ, въ умиленіи отъ этой ласки, отъ этого неожиданнаго, теплаго *ты*, взглянулъ на нее съ той же изступленной благодарностью, съ какою она взглянула вчера на него, когда онъ, забывая себя, помогалъ ей сойти съ обрыва.

Она нечаянно заплатила ему великодушіемъ за великодушіе, какъ и у него вчера вырвался такой же лучъ одного изъ самыхъ свѣтлыхъ свойствъ человѣческой души.

Его охватилъ трепетъ смѣшанныхъ чувствъ, и тѣмъ сильнѣе заговорила мука отчаянія за свой поступокъ. Все растопилось у него въ горячихъ слезахъ.

Онъ положилъ лицо въ ея руки и рыдалъ какъ человѣкъ, все утратившій, которому нечего больше терять.

— Что я сдѣлалъ! оскорбилъ тебя, женщину, сестру! — вырывались у него вопли среди рыданій.—Это былъ не я, не человѣкъ: звѣрь сдѣлалъ преступленіе. Что это такое было!—говорилъ онъ съ ужасомъ, оглядываясь, какъ будто теперь только пришелъ въ себя.

— Не мучайся и не мучай меня...—шептала она кротко,

ласково. — Пощади — я не вынесу. Ты видишь, въ какомъ я положеніи...

Онъ старался не глядѣть ей въ глаза. А она опять прилегла на диванъ.

— Какой ударъ нанесъ я тебѣ!—шепталъ онъ въ ужасѣ.— Я даже прощенія не прошу: оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вѣра...

— Ударъ твой... сдѣлалъ мнѣ боль на одну минуту. Потомъ я поняла, что онъ не могъ быть нанесенъ равнодушной рукой, и повѣрила, что ты любишь меня... Тутъ только представилось мнѣ, что ты вытерпѣлъ въ эти недѣли, вчера... Успокойся, ты не виноватъ, мы квиты...

— Не оправдывай преступленія, Вѣра: ножъ—все ножъ. Я ударилъ тебя ножомъ...

— Ты разбудилъ меня... Я будто спала; всѣхъ васъ, тебя, бабушку, сестру, весь домъ — видѣла какъ во снѣ, была зла, суха—забылась!..

— Что мнѣ теперь дѣлать, Вѣра? уѣхать — въ какомъ положеніи я уѣду! Дай мнѣ вытерпѣть казнь здѣсь — и хоть немного примириться съ собой, со всѣмъ, что случилось...

— Полно, воображеніе рисуетъ тебѣ какое-то преступленіе, вмѣсто ошибки. Вспомни, въ какомъ положеніи ты сдѣлалъ ее, въ какой горячкѣ!..

Она замолчала.

— У меня ничего нѣтъ, кромѣ дружбы къ тебѣ, — сказала потомъ, протягивая ему руку: — я не осуждаю тебя — и не могу; я знаю теперь, какъ ошибаются...

Она едва говорила, очевидно дѣлая надъ собой усиліе, чтобы немного успокоить его.

Онъ пожалъ протянутую руку и безотрадно вздохнулъ.

— Ты добра, какъ женщина — и судишь не умомъ, а сердцемъ эту «ошибку»...

— Нѣтъ, ты строгъ къ себѣ. Другой счелъ бы себя

въ правѣ, послѣ всѣхъ этихъ глупыхъ шутокъ надъ тобой... Ты ихъ знаешь, эти записки... Пусть съ доброй цѣлью — отрезвить тебя, пошутить—въ отвѣтъ на твои шутки.—Все же — злость, смѣхъ! А ты и не шутилъ... Стало-быть, мы, безъ нужды, были только злы и ничего не поняли... Глупо! глупо! Тебѣ было больнѣе, нежели мнѣ вчера...

— Ахъ, нѣтъ! я иногда самъ смѣялся, и надъ собой, и надъ вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно когда ты потребовала пальто, одѣяло, деньги для «изгнанника»...

Она сдѣлала большіе глаза и съ удивленіемъ глядѣла на него.

— Какія деньги, какое пальто? что̀ за изгнанникъ? Я ничего не понимаю...

У него лицо немного просвѣтлѣло.

— Я и прежде подозрѣвалъ, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!

Онъ коротко передалъ ей содержаніе двухъ писемъ, съ просьбой прислать денегъ и платье.

У ней побѣлѣли даже губы.

— Мы съ Наташей писали къ тебѣ попеременно, однимъ почеркомъ, шутливыя записки, стараясь подражать твоимъ... Вотъ и все. Остальное сдѣлала не я... я ничего не знала!..—кончила она тихо, оборачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

Водворилось молчаніе. Онъ задумчиво шагалъ взадъ и впередъ по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговоромъ.

— Я не прошу у тебя прощенія за всю эту исторію... И ты не волнуйся, — сказала она. — Мы помиримся съ тобой... У меня только одинъ упрекъ тебѣ — ты поторопился съ своимъ букетомъ. Я шла оттуда... хотѣла послать за тобой, чтобы тебѣ первому сказать всю исторію... искупить хоть немного все, что ты вытерпѣлъ... Но ты поторопился!

— Ахъ!—вырвалось у него:—это ударъ ножа мнѣ!

— Оставимъ все это... послѣ, послѣ... А теперь я потребую отъ тебя, какъ отъ друга и брата, помощи, важной услуги... Ты не откажешь?..

— Вѣра!

Онъ ничего не сказалъ больше, но, взглянувъ на него, она видѣла, что можетъ требовать всего.

— Я, пока силы есть, разскажу тебѣ всю исторію этого года...

— Зачѣмъ! Я не хочу, не могу, не долженъ знать...

— Не мѣшай мнѣ! я едва дышу, а время дорого. Я разскажу тебѣ все, а ты передай бабушкѣ...

У него глаза остановились на ней съ изумленіемъ и въ лицо хлынулъ испугъ.

— Я сама не могу, языкъ не послушается. Я умру, не договорю...

— Бабушкѣ? зачѣмъ!—едва выговорилъ онъ отъ страха.— Подумай, какія послѣдствія... Что будетъ съ ней?.. Не лучше ли скрыть все?..

— Я давно подумала: какія бы ни были послѣдствія, ихъ надо — не скрыть, а перенести! Можетъ-быть, обѣ умремъ, помѣшаемся—но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надѣялась сказать ей другое... и оттого молчала... Какая казнь!—прибавила она тихо, опуская голову на подушку.

— Сказать... все, и вчерашній вечеръ?..—спросилъ онъ тихо.

— Да...

— И имя?..

Она чуть замѣтно кивнула утвердительно головой и отвернулась.

Она посадила его подлѣ себя на диванъ и шопотомъ, съ остановками, разсказала исторію своихъ сношеній съ Маркомъ. Кончивъ, она закуталась въ шаль и, дрожа отъ озноба, легла опять на диванъ. А онъ всталъ блѣдный.

Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса, она—думая о бабушкѣ, онъ—о нихъ обѣихъ.

Ему предстояло — уже не въ горячкѣ страсти, не въ припадкѣ слѣпого мщенія, а по неизбѣжному сознанію долга — нанести еще ударъ ножа другой, нѣжно-любимой женщинѣ!

«Да, это страшное порученіе, въ самомъ дѣлѣ—«важная услуга», думалъ онъ.

— Когда сказать ей?—спросилъ онъ тихо.

— Скорѣй! я замучаюсь, пока она не узнаетъ, а у меня еще много мукъ... «И это не главная!» подумала про себя.— Дай мнѣ спирту, тамъ, гдѣ-то...—прибавила она, указывая, гдѣ стоялъ туалетъ. — А теперь поди... оставь меня... я устала...

— Сегодня говорить съ бабушкой нельзя: гости! Богъ знаетъ, что съ ней будетъ! Завтра!

— Ахъ! — сдѣлала она: — доживу ли я! Ты до завтра какъ-нибудь... успокой бабушку, скажи ей что-нибудь... чтобъ она ничего не подозрѣвала... не присылала сюда никого...

Онъ подалъ ей спирту, спросилъ, не надо ли ей чего-нибудь, не послать ли дѣвушку.

Она нетерпѣливо покачала головой, отсылая его взглядомъ, потомъ закрыла глаза, чтобъ ничего не видѣть. Ей хотѣлось бы — непроницаемой тьмы и непробудной тишины вокругъ себя, чтобы глазъ ея не касались лучи дня, чтобы не доходило до нея никакого звука. Она будто искала новаго, небывалаго состоянія духа, нѣмоты и дремоты ума, всѣхъ силъ, чтобы окаменѣть, стать растеніемъ, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать.

А онъ вышелъ отъ нея съ новой, болѣе страшной тяжестью, нежели съ какою пришелъ. Она отчасти облегчила ему одно бремя, и возложила другое, невыносимѣе.

IV.

Вѣра встала, заперла за нимъ дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба Райскаго, участіе, преданность, помощь — представляли ей на первую минуту легкую опору, на которую она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, какъ утопающій, вынырнувшій на минуту изъ воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва онъ вышелъ отъ нея, она точно оборвалась въ воду опять.

— Жизнь кончена! — шептала она съ отчаяніемъ и видѣла впереди одну голую степь, безъ привязанностей, безъ семьи, безъ всего того, изъ чего соткана жизнь женщины.

Передъ ней — только одна глубокая, какъ могила, пропасть. Ей предстояло стать лицомъ къ лицу съ бабушкой и сказать ей:

— Вотъ, чѣмъ я заплатила тебѣ за твою любовь, попеченія, какъ наругалась надъ твоимъ довѣріемъ... до чего дошла своей волей!..

Ей, въ дремотѣ отчаянія, снился взглядъ бабушки, когда она узнала все, брошенный на нее, ея голосъ — даже не было голоса, а вмѣсто его какіе-то глухіе звуки ужаса и смерти...

Потомъ, потомъ — она не знала, что будетъ, не хотѣла глядѣть дальше въ страшный сонъ, и только глубже погрузила лицо въ подушку. У ней подошли было къ глазамъ слезы и отхлынули назадъ, къ сердцу.

— Если бъ умереть!—внезапно просіявъ отъ этой мысли, съ улыбкой, съ наслажденіемъ, шепнула она...

И вдругъ за дверью услышала шаги и голосъ... бабушки! У ней будто отнялись руки и ноги. Она, блѣдная, не шевелясь, съ ужасомъ слушала легкій, но страшный стукъ въ дверь.

— Не встану—не могу...—шептала она.

Стукъ повторился. Она вдругъ, съ силой, которая невѣ-

домо откуда берется въ такія минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и съ улыбкой пошла навстрѣчу бабушкѣ.

Татьяна Марковна, узнавши отъ Мароиньки, что Вѣра нездорова и не выйдетъ цѣлый день, пришла навѣдаться сама. Она бѣгло взглянула на Вѣру и опустилась на диванъ.

— Ухъ, устала у обѣдни! Наслу поднялась на лѣстницу! Что у тебя, Вѣрочка, нездорова?—спросила она и остановила испытующій взглядъ на лицѣ Вѣры.

— Поздравляю съ новорожденной! — заговорила Вѣра развязно, голосомъ маленькой дѣвочки, которую научила нянька—что сказать мамашѣ утромъ въ день ея ангела, поцѣловала руку у бабушки,—и сама удивилась про себя, какъ память подсказала ей, что надо сказать, какъ языкъ выговорилъ эти слова!—Пустое! ноги промочила вчера, голова болитъ!—съ улыбкой старалась договорить она.

Но губы не улыбнулись, хотя и показались изъ-за нихъ два, три верхніе зуба.

— Надо было натереть вчера спиртомъ; у тебя нѣтъ?—сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядѣть, потому что слышала принужденный голосъ, видѣла на губахъ Вѣры какую-то чужую, а не ея улыбку, и чуяла неправду.

— Ты сойдешь къ намъ?—спросила она.

Вѣра внутренно ужаснулась этого невозможнаго испытанія, сверхъ силъ, и замялась.

— Не принуждай себя!—снисходительно замѣтила Татьяна Марковна:—чтобъ не разболѣться больше...

Но ужасъ охватилъ Вѣру отъ этой снисходительности. Ей казалось, какъ всегда, когда совѣсть тревожитъ, что бабушка уже угадала все, и ея исповѣдь опоздаетъ. Еще минута, одно слово—и она кинулась бы на грудь ей и сказала все! И только силы измѣнили ей и удержали, да еще

мысль—сдѣлать весь домъ свидѣтелемъ своей и бабушкиной драмы.

— Къ обѣду только позвольте, бабушка, не выходить,— сказала она, едва крѣпясь:—а послѣ обѣда я, можетъ-быть, приду...

— Какъ хочешь, я пришлю тебѣ обѣдать сюда.

— Да... да... я ужъ теперь голодна... — говорила Вѣра, не помня сама, что говоритъ.

Татьяна Марковна поцѣловала ее, пригладила ей рукой немного волосы, и вышла, замѣтивъ только, «чтобъ она велѣла «Маринкѣ», или «Машкѣ», или «Наташкѣ», прибрать комнату, а то-де, пожалуй, изъ гостей, изъ дамъ кто-нибудь, зайдетъ»,—и ушла.

Вѣра вдругъ опустилась на диванъ, потомъ, немного посидя, достала одеколонъ и намочила себѣ темя и виски.

— Ахъ, какъ бьется здѣсь, какъ больно!—шептала она, прикладывая руку къ головѣ.—Боже, когда эта казнь кончится? Скорѣй бы, скорѣй сказать ей все! А тамъ, послѣ нея—пусть весь міръ знаетъ, смотритъ!..

Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диванъ.

Бабушка пришла къ себѣ съ скорбнымъ лицомъ, какъ въ воду опущенная.

Она принимала гостей, ходила между ними, потчивала, но Райскій видѣлъ, что она, послѣ визита къ Вѣрѣ, была уже не въ себѣ. Она почти не владѣла собой, отказывалась отъ многихъ блюдъ, не обернулась, когда Петрушка уронилъ и разбилъ тарелки; останавливалась среди разговора на полусловѣ, пораженная задумчивостью.

А послѣ обѣда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьскаго солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балкономъ, пить кофе, ликеръ и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замѣчая ихъ, только передергивала и поправляла свою турец-

кую шаль. Потомъ спохватится и вдругъ заговоритъ принужденно.

Райскій былъ угрюмъ, смотрѣлъ только на бабушку, слѣдя за ней.

— Неладно что-то съ Вѣрой!—шепнула она отрывисто ему:—ты видѣлъ ее? У ней какое-то горе!

Онъ сказалъ, что нѣтъ. Бабушка подозрительно поглядѣла на него.

Полины Карповны не было. Она сказалась больною, прислала Марфинькѣ цвѣты и деревья съ зеленью. Райскій заходилъ къ ней утромъ самъ, чтобы какъ-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену съ ней и узнать, не замѣтила ла она чего-нибудь. Но она встрѣтила его съ худо-скрываемымъ, подъ видомъ обидчивости, восторгомъ, хотя онъ прямо сказалъ ей, что обѣдалъ наканунѣ не дома, въ гостяхъ—тамъ много пили—и онъ выпилъ лишнюю рюмку—и вотъ «до чего дошелъ!»

Онъ просилъ прощенія и получилъ его съ улыбкой.

— А кто угадалъ: не говорила ли я?—заключила она. И подъ рукой разсказала всѣмъ свою сцену обольщенія, замѣнивъ слово «упала» словомъ «пала».

Пришелъ къ обѣду и Тушинъ, еще наканунѣ пріѣхавшій въ городъ. Онъ подарилъ Марфинькѣ хорошенькаго пони, для прогулокъ верхомъ: «если бабушка позволитъ», скромно прибавилъ онъ.

— Теперь не моя воля,—вонъ кого спрашивайте!—задумчиво отвѣчала она, указывая на Викентьева и думая о другомъ.

Тушинъ навѣдался о Вѣрѣ и былъ какъ-будто пораженъ ея нездоровьемъ, и тѣмъ, что она не вышла къ обѣду. Онъ былъ замѣтно взволнованъ.

Татьяна Марковна стала подозрительно смотрѣть и на Тушина, отчего это онъ вдругъ такъ озадаченъ тѣмъ, что Вѣры нѣтъ. Ея отсутствіе между гостями—не рѣдкость; это

случалось при немъ прежде, но никогда не поражало его. «Что стало со вчерашняго вечера съ Вѣрой?» не выходило у ней изъ головы.

Съ Титомъ Никонычемъ сначала она побранилась, и чуть не подралась, за подарокъ туалета, а потомъ поговорила съ нимъ наединѣ четверть часа въ кабинетѣ, и онъ сталъ немного задумчивъ, меньше шаркалъ ножкой, и хотя говорилъ съ дамами, но самъ смотрѣлъ такъ серьезно и пытливо, то на Райскаго, то на Тушина, что они глазами въ недоумѣніи спрашивали его, чего онъ отъ нихъ хочетъ. Онъ тотчасъ оправлялся и живо принимался говорить дамамъ «пріятности».

Татьяна Марковна была такъ весела, безпечна, празднуя день рожденья Марфиньки и обдумывая, чѣмъ бы особенно отпраздновать черезъ двѣ недѣли именины Вѣры, чтобъ не обойти внимательностью одну передъ другой, хотя Вѣра и объявила наотрѣзъ, что въ именины свои уѣдетъ къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, или къ Натальѣ Ивановнѣ.

Но съ полудня Татьяна Марковна такъ измѣнилась, такъ во всѣхъ подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райскій сравнивалъ ее съ конемъ, который безпечно жевалъ свой овесъ, уходя въ него мордой по уши, и вдругъ услыхалъ шорохъ или почуялъ запахъ какого-то неизвѣстнаго и невидимаго врага. Онъ поднялъ уши и голову, красиво оборотилъ ее назадъ и неподвижно слушаетъ, широко открывъ глаза и сильно дохнувъ поздрями. Ничего. Потомъ медленно оборотился къ яслямъ, и все слушая, махнулъ раза три неторопливо головой, мѣрно стукнулъ раза три копытомъ, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причинѣ, или предупреждая врага о своей бдительности— и опять запустилъ морду въ овесъ, но хруститъ осторожно, поднимая по временамъ голову и оборачивая ее назадъ. Онъ ужъ предупрежденъ и сталъ чутокъ. Жуетъ, а у са-

мого вздрагиваетъ плечо, оборачивается ухо назадъ, впередъ и опять назадъ.

И бабушка, занимаясь гостями, вдругъ вспомнитъ, что съ Вѣрой «неладно», что она не въ себѣ, не какъ всегда, а иначе, хуже, нежели какая была; такою она ее еще не видала никогда—и опять потеряется. Когда Маронька пришла сказать, что Вѣра нездорова и въ церкви не будетъ, Татьяна Марковна разсердилась сначала.

— Для тебя и для семейнаго праздника могла бы отложить свои причуды,—сказала она:—и поѣхать къ обѣднѣ.

Но когда узнала, что она и къ обѣду не можетъ придти, она встревожилась за ея здоровье и поднялась къ ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потомъ, поправляя косу, незамѣтно дотронулась до лба и удостовѣрилась, что простуды нѣтъ.

Но Вѣра блѣдна, на ней лица нѣтъ, она безпорядочно лежитъ на диванѣ, и потомъ въ платьѣ, какъ будто не раздѣвалась совсѣмъ, а пуще всего мертвая улыбка Вѣры поразила ее.

Она вспомнила, что Вѣра и Райскій пропадали долго наканунѣ вечеромъ, и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться въ Райскаго, а тотъ старался избѣгать ея взглядовъ—и этимъ только усиливалъ подозрѣнія.

У Райскаго болѣла душа пуще всѣхъ прежнихъ его мукъ. Сердце замирало отъ ужаса и за бабушку, и за бѣдную, трепетную, одинокую и недоступную для утѣшенія Вѣру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милыя права дружбы надъ собой—и тутъ же при немъ падала въ отчаяніи подъ тяжестью удара, поразившаго ее такъ быстро и неожиданно, какъ молнія.

Онъ видѣлъ, что участіе его было болѣе полезно и пріятно ему самому, но мало облегчало положеніе Вѣры, какъ

случалось при немъ прежде, но никогда не поражало его. «Что стало со вчерашняго вечера съ Вѣрой?» не выходило у ней изъ головы.

Съ Титомъ Никонычемъ сначала она побранилась, и чуть не подралась, за подарокъ туалета, а потомъ поговорила съ нимъ наединѣ четверть часа въ кабинетѣ, и онъ сталъ немного задумчивъ, меньше шаркалъ ножкой, и хотя говорилъ съ дамами, но самъ смотрѣлъ такъ серьезно и пытливо, то на Райскаго, то на Тушина, что они глазами въ недоумѣніи спрашивали его, чего онъ отъ нихъ хочетъ. Онъ тотчасъ оправлялся и живо принимался говорить дамамъ «пріятности».

Татьяна Марковна была такъ весела, безпечна, празднуя день рожденья Марфиньки и обдумывая, чѣмъ бы особенно отпраздновать черезъ двѣ недѣли именины Вѣры, чтобъ не обойти внимательностью одну передъ другой, хотя Вѣра и объявила наотрѣзъ, что въ именины свои уѣдетъ къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, или къ Натальѣ Ивановнѣ.

Но съ полудня Татьяна Марковна такъ измѣнилась, такъ во всѣхъ подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райскій сравнивалъ ее съ конемъ, который безпечно жевалъ свой овесъ, уходя въ него мордой по уши, и вдругъ услыхалъ шорохъ или почуялъ запахъ какого-то неизвѣстнаго и невидимаго врага. Онъ поднялъ уши и голову, красиво оборотилъ ее назадъ и неподвижно слушаетъ, широко открывъ глаза и сильно дохнувъ ноздрями. Ничего. Потомъ медленно оборотился къ яслямъ, и все слушая, махнулъ раза три неторопливо головой, мѣрно стукнулъ раза три копытомъ, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причинѣ, или предупреждая врага о своей бдительности— и опять запустилъ морду въ овесъ, но хруститъ осторожно, поднимая по временамъ голову и оборачивая ее назадъ. Онъ ужъ предупрежденъ и сталъ чуткъ. Жуетъ, а у са-

мого вздрагиваетъ плечо, оборачивается ухо назадъ, впередъ и опять назадъ.

И бабушка, занимаясь гостями, вдругъ вспомнитъ, что съ Вѣрой «неладно», что она не въ себѣ, не какъ всегда, а иначе, хуже, нежели какая была; такою она ее еще не видала никогда—и опять потеряется. Когда Мароинька принла сказать, что Вѣра нездорова и въ церкви не будетъ, Татьяна Марковна разсердилась сначала.

— Для тебя и для семейнаго праздника могла бы отложить свои причуды,—сказала она:—и поѣхать къ обѣднѣ.

Но когда узнала, что она и къ обѣду не можетъ придти, она встревожилась за ея здоровье и поднялась къ ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потомъ, поправляя косу, незамѣтно дотронулась до лба и удостовѣрилась, что простуды нѣтъ.

Но Вѣра блѣдна, на ней лица нѣтъ, она безпорядочно лежитъ на диванѣ, и потомъ въ платьѣ, какъ будто не раздѣвалась совсѣмъ, а пуще всего мертвая улыбка Вѣры поразила ее.

Она вспомнила, что Вѣра и Райскій пропадали долго наканунѣ вечеромъ, и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться въ Райскаго, а тотъ старался избѣгать ея взглядовъ—и этимъ только усиливалъ подозрѣнія.

У Райскаго болѣла душа пуще всѣхъ прежнихъ его мукъ. Сердце замирало отъ ужаса и за бабушку, и за бѣдную, трепетную, одинокую и недоступную для утѣшенія Вѣру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милыя права дружбы надъ собой—и тутъ же при немъ падала въ отчаяніи подъ тяжестью удара, поразившаго ее такъ быстро и неожиданно, какъ молнія.

Онъ видѣлъ, что участіе его было болѣе полезно и пріятно ему самому, но мало облегчало положеніе Вѣры, какъ

участіе близкихъ лицъ къ трудному больному не утолитъ его боли.

Надо вырвать корень болѣзни, а онъ былъ не въ одной Вѣрѣ, но и въ бабушкѣ—и во всей сложной совокупности другихъ обстоятельствъ: ускользнувшее счастье, разлука, поблекшія надежды жизни—все! Да, Вѣру не легко утѣшить!

«И бабушку жаль! Какое ужасное, неожиданное горе нарушитъ миръ ея души! Что, если она вдругъ свалится!—приходило ему въ голову:—вонъ она—сама не своя, ничего еще не зная!» У него подступали слезы къ глазамъ отъ этой мысли.

А на немъ еще лежитъ обязанность вонзить глубже ножъ въ сердце этой—своей матери!

«Что, если онѣ занемогутъ обѣ! Не послать ли за Натальей Ивановной?—рѣшилъ онъ: — но надо прежде спросить Вѣру, а она...»

А она вдругъ явилась неожиданно среди гостей, послѣ обѣда, въ свѣтломъ праздничномъ платьѣ, но съ подвязаннымъ горломъ и въ теплой мантильѣ.

Райскій ахнулъ отъ изумленія. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла!

«Откуда женщины берутъ силы?»—думалъ онъ, слѣдя за ней, какъ она извинялась передъ гостями, съ обыкновенной улыбкой выслушала всѣ выраженія участія, сожалѣнія, смотрѣла подарки Марфиньки.

Она отказалась отъ конфетъ, но съ удовольствіемъ съѣла ломоть холоднаго арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредивъ, что, къ сожалѣнію, не можетъ долго остаться съ гостями.

Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но въ то же время замѣчала, что Райскій мѣняется въ лицѣ и старается не глядѣть на Вѣру. Въ первый разъ въ жизни, можетъ-быть, она проклинала гостей. А они усѣлись за

карты, будутъ пить чай, ужинать, а Викентьевъ уѣдетъ только завтра.

Райскій былъ точно между двухъ огней.

— Что такое съ ней? — шепчетъ ему съ одной стороны Татьяна Марковна:—ты, должно-быть, знаешь...

— Ахъ, скорѣй бы сказать ей все! — выговариваютъ съ другой стороны отчаянные взгляды Вѣры.

Райскому хоть сквозь землю провалиться!

Тушинъ тоже смотритъ на Вѣру какими-то особенными глазами. И бабушка, и Райскій, а всего болѣе сама Вѣра замѣтили это.

Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасомъ. «Не узналъ ли? не слыхалъ ли онъ чего?» шептала ей совѣсть. Онъ ставитъ ее такъ высоко, думаетъ, что она лучше всѣхъ въ цѣломъ свѣтѣ! Теперь она, молча, будетъ красть его уваженіе... «Нѣтъ, пусть знаетъ и онъ! Пришли бы хоть новыя муки на смѣну этой ужасной пытки—казаться обманщицей!» шептало въ ней отчаяніе.

Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась съ нимъ. А онъ смотрѣлъ на нее съ участіемъ, съ какой-то особенной застѣнчивостью потуплялъ глаза.

«Нѣтъ, не могу выносить! Узнаю, что у него на умѣ... Иначе я умру здѣсь, среди всѣхъ, если онъ еще... взглянетъ на меня не такъ, какъ всегда...»

А онъ тутъ, какъ нарочно, и взглянулъ!

V.

Она не выдержала, простилась съ гостями и сдѣлала Тушину, никому не замѣтный знакъ—слѣдовать за собой.

— У себя я васъ принять не могу, — сказала она: — а вотъ пойдемте сюда, въ аллею, и походимъ немного.

— Не сыро ли, вы нездоровы...

— Ничего, ничего, пойдемте...—торопила она.

Онъ взглянулъ на часы, сказалъ, что черезъ часъ уѣдетъ,

велѣлъ вывести лошадей изъ сарая на дворъ, взялъ свой бичъ съ серебряной рукояткой, накинулъ на руку макинтошъ и пошелъ за Вѣрой въ аллею.

— Я прямо начну, Иванъ Ивановичъ, — сказала Вѣра, дрожа внутренно:—что̀ съ вами сегодня? Вы, какъ будто... у васъ есть что-то на умѣ...

Она замолчала, кутая лицо въ мантилью и пожимая плечами отъ дрожи.

Онъ молча шелъ подлѣ нея, о чемъ-то думая, а она боялась поднять на него глаза.

— Вы нездоровы сегодня, Вѣра Васильевна, — сказалъ онъ задумчиво: — я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотѣлъ поговорить съ вами...

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, сегодня! — торопливо перебила она: — что̀ у васъ такое? я хочу знать... Мнѣ хотѣлось бы самой поговорить съ вами... можетъ-быть, я опоздала... Не могу стоять, я сяду,—прибавила она, садясь на скамью.

Онъ не замѣтилъ ни ея ужаса и тоски, ни ея словъ, что она тоже готовилась «поговорить съ нимъ». Онъ былъ поглощенъ своей мыслью. А ее жгла догадка, что онъ узналъ все и сейчасъ дастъ ей ударъ ножа, какъ Райскій.

— Ахъ, пусть! скорѣй бы только всѣ удары разомъ!..— шептала она.

— Говорите же! — сказала потомъ, мучась про себя вопросами, какъ и гдѣ могъ онъ узнать?

— Сегодня я шелъ сюда...

— Что̀ же, говорите!—почти крикнула она.

— Не могу, Вѣра Васильевна, воля ваша!

Онъ прошелъ шага два отъ нея дальше.

— Не казните меня!—едва шептала она.

— Я люблю васъ...—началъ онъ, вдругъ воротясь къ ней.

— Ну, я знаю... И я васъ тоже... что̀ за новость! Что же дальше?.. Вы... слышали что̀-нибудь...

— Гдѣ? что? — спрашивалъ онъ, оглядываясь кругомъ и думая, что она слышитъ какой-нибудь шумъ.—Я ничего не слышу.

Онъ замѣтилъ ея волненіе, и вдругъ у него захватило духъ отъ радости. «Она проницательна, угадала давно мою тайну и раздѣляетъ чувство... волнуется, требуетъ откровеннаго и короткаго слова...»

Все это быстро пронеслось у него въ головѣ.

— Вы такъ благородны, прекрасны, Вѣра Васильевна.. такъ чисты...

— Ахъ! — вскрикнула она отчаяннымъ голосомъ, хотѣла встать и не могла:—вы ругаетесь надо мной... ругайтесь— возьмите этотъ бичъ, я стою!.. Но вы ли это, Иванъ Ивановичъ!

Она съ горькимъ изумленіемъ и мольбой сложила передъ нимъ руки.

Онъ въ страхѣ глядѣлъ на нее.

«Она больна!» подумалъ онъ.

— Вы нездоровы, Вѣра Васильевна,—съ испугомъ и волненіемъ сказалъ онъ ей:—простите меня, что я не во-время затѣялъ...

— Развѣ не все равно, днемъ раньше, днемъ позже—но все скажете же... говорите же разомъ, сейчасъ!.. И я скажу, зачѣмъ я позвала васъ сюда, въ аллею...

Его опять бросило въ противную сторону.

— Ужели это правда? — едва сдерживаясь отъ радости, сказалъ онъ.

— Что — правда?—спросила она, вслушиваясь въ этотъ внезапный, радостный тонъ.—Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала...—покойнѣе прибавила она.

— Нѣтъ, то самое... я полагаю...

— Скажите же, перестаньте мучить меня!

— Я васъ люблю...

Она поглядѣла на него и ждала.

— Мы старые друзья,—сказала она:—и я васъ...

— Нѣтъ, Вѣра Васильевна, люблю еще — какъ женщину...

Она вдругъ выпрямилась и окаменѣла, почти не дыша.

— Какъ первую женщину въ цѣломъ мірѣ! Если бъ я смѣлъ мечтать, что вы хоть отчасти раздѣляете это чувство... нѣтъ, это много, я не стою... если одобряете его, какъ я надѣялся... если не любите другого, то... будьте моей лѣсной царицей, моей женой,—и на землѣ не будетъ никого счастливѣе меня!.. Вотъ что хотѣлъ я сказать—и долго не смѣлъ! Хотѣлъ это отложить до вашихъ именинъ, но не выдержалъ и пріѣхалъ, чтобы сегодня, въ семейный праздникъ, въ день рожденія вашей сестры...

Она всплеснула руками надъ головой.

— Иванъ Ивановичъ! — простонала она, падая къ нему на руки.

«Нѣтъ, это не радость!» сверкнуло въ немъ—и онъ чувствовалъ, что волосы у него встаютъ на головѣ: «такъ не радуются!»

Онъ посадилъ ее на скамью.

— Что съ вами, Вѣра Васильевна? вы или больны, или у васъ большое горе?.. — овладѣвъ собой, почти покойно спросилъ онъ.

— Большое, Иванъ Ивановичъ, я умру!

— Что съ вами, говорите, ради Бога, что такое случилось? Вы сказали, что хотѣли говорить со мной; стало-быть, я нуженъ... Нѣтъ такого дѣла, котораго бы я не сдѣлалъ! приказывайте, забудьте мою глупость... Что надо... что надо сдѣлать?

— Ничего не надо, — шептала она: — мнѣ надо сказать вамъ... Бѣдный, Иванъ Ивановичъ, и вы!.. За что вы будете пить мою чашу? Боже мой! — говорила она, глядя сухими глазами на небо:—ни молитвы, ни слезъ у меня нѣтъ! ни откуда облегченія, ни помощи никакой!

— Что вы, Вѣра Васильевна! что̀ это̀, другъ мой, за слова, что̀ за глубокое отчаяніе?

— Зачѣмъ еще этотъ ударъ! Довольно ихъ безъ него! Знаете ли вы, кого любите?—говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова.

Онъ молчалъ, дѣлая и отвергая догадки. Онъ бросилъ макинтошъ и отиралъ потъ съ лица. Онъ изъ этихъ словъ видѣлъ, что его надежды разлетѣлись вдребезги, понялъ, что Вѣра любитъ кого-то... Другого ничего онъ не видѣлъ, не предполагалъ. Онъ тяжело вздохнулъ и сидѣлъ неподвижно, ожидая объясненія.

— Бѣдный другъ мой!—сказала она, взявъ его за руку.

У него сердце сжалось отъ этихъ простыхъ словъ; онъ почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ «бѣдный». Ему было жаль себя, а еще больше жаль Вѣры.

— Благодарю васъ!—прошепталъ онъ, еще не зная, но предчувствуя одно: что она ему принадлежать не можетъ.— Простите,—продолжалъ потомъ: — я ничего не зналъ, Вѣра Васильевна. Вниманіе ваше дало мнѣ надежду. Я дуракъ— и больше ничего... Забудьте мое предложеніе и попрежнему давайте мнѣ только права друга... если стòю,—прибавилъ онъ, и голосъ на послѣднемъ словѣ у него упалъ.— Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали отъ меня услуги?..

— Стòите ли! А я стòю?

— Вы, Вѣра Васильевна, всегда будете стоять для меня такъ высоко...

— Я упала, бѣдный Иванъ Иванычъ, съ этой высоты, и никто ужъ не подниметъ меня... Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вамъ сейчасъ будетъ легче...

Она тихо, шатаясь и опираясь ему на руку, привела его къ обрыву.

— Знаете вы это мѣсто?

— Да, знаю; тамъ похороненъ самоубійца...

— Тамъ похоронена и ваша «чистая» Вѣра: ея ужъ нѣтъ больше... Она на днѣ этого обрыва...

Она была блѣдна и говорила съ какимъ-то рѣшительнымъ отчаяніемъ.

— Что такое вы говорите? Я ничего не понимаю... Объясните, Вѣра Васильевна, — прошепталъ онъ, обмахивая лицо платкомъ.

Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь съ силами, потомъ склонила голову, минуты въ три, шопотомъ, отрывисто сказала ему нѣсколько фразъ и опустилась на скамью. Онъ поблѣднѣлъ.

Его вдругъ пошатнуло. Онъ какъ будто потерялъ равновѣсіе и сѣлъ на скамью. Вѣра и въ сумерки увидѣла, какъ онъ былъ блѣденъ.

— А я думалъ... — сказалъ онъ съ странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи:—что меня только медвѣдь свалитъ съ ногъ!

Потомъ подошелъ къ ней.

— Кто онъ и гдѣ онъ?—шепнулъ онъ.

Она вздрогнула отъ этого вопроса. Такъ изумителенъ, грубъ и неестественъ былъ онъ въ устахъ Тушина. Ей казалось непостижимо, какъ онъ посягаетъ, безъ пощады женскаго, всякому понятнаго чувства, на такую откровенность, какой женщины не дѣлаютъ никому. «Зачѣмъ?» втайнѣ удивлялась она: «у него должны быть какія-нибудь особыя причины—какія?»

— Маркъ Волоховъ!—смѣло сказала она, осиливъ себя.

Онъ остолбенѣлъ на минуту. Потомъ вдругъ схватилъ свой бичъ за рукоятку обѣими руками и съ трескомъ изломалъ его въ одну минуту о колѣно въ мелкіе куски, съ яростью бросивъ на землю щепки дерева и куски серебра.

— То же будетъ и съ нимъ!—прорычалъ онъ, нагибаясь

къ ея лицу, трясясь и ощетинясь, какъ звѣрь, готовый скакнуть на врага.

— Онъ тамъ теперь?—спросилъ онъ, указывая на обрывъ.

Только слышалось его тяжелое дыханіе. Она съ изумленіемъ глядѣла на него и отступила за скамью.

— Мнѣ страшно, Иванъ Ивановичъ, пощадите меня! уйдите!—шептала она въ ужасѣ, протягивая обѣ руки, какъ бы защищаясь отъ него.

— Прежде убью его, потомъ... уйду!—говорилъ онъ, едва владѣя собой.

— Это вы для меня сдѣлаете, чтобъ облегчить меня, или... для себя?

Онъ молчалъ, глядя въ землю. Потомъ сталъ ходить большими шагами взадъ и впередъ.

— Что же мнѣ дѣлать, научите, Вѣра Васильевна?—спросилъ онъ, все еще трясясь отъ раздраженія.

— Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его, и хочу ли я этого?

— Онъ врагъ вашъ, и слѣдовательно—мой...—чуть слышно прибавилъ онъ.

— Враговъ развѣ убиваютъ?

Онъ потупилъ голову, увидалъ разбросанные обломки бича у ногъ, наклонился, будто стыдясь, собралъ ихъ и сунулъ въ карманъ макинтоша.

— Я не жалуюсь на него, помните это. Я одна... виновата... а онъ правъ... — едва договорила она съ такой горечью, съ такой внутренней мукой, что Тушинъ вдругъ взялъ ее за руку.

— Вѣра Васильевна—вы ужасно страдаете!

Она молчала. А онъ съ участіемъ и удивленіемъ глядѣлъ на нее.

— Я ничего не понимаю,—сказалъ онъ:—«не виноватъ», «не жалуюсь»; въ такомъ случаѣ — о чемъ хотѣли поговорить со мной? зачѣмъ вы звали меня сюда, въ аллею?..

— Я хотѣла, чтобъ вы знали все...

Она, отворотясь, молча глядѣла къ обрыву. И онъ поглядѣлъ туда, потомъ на нее, и все стоялъ передъ ней, съ вопросомъ въ глазахъ.

— Послушайте, Вѣра Васильевна, не оставляйте меня въ потемкахъ. Если вы нашли нужнымъ довѣрить мнѣ тайну...—Онъ на этомъ словѣ съ страшнымъ усиліемъ перемогъ себя:—которая касалась васъ одной, то объясните всю исторію...

— Ваше нынѣшнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мнѣ — я не поняла ихъ. Я думала, вы знаете все, хотѣла допроситься, что̀ у васъ на умѣ... Я поторопилась... Но все равно, рано или поздно—я сказала бы вамъ... Сядьте, выслушайте меня и потомъ оттолкните!

Онъ, положивъ локти на колѣни и спрятавъ лицо въ ладони, слушалъ ее.

Она передала ему въ короткихъ словахъ исторію. Онъ всталъ, минуты три ходилъ взадъ и впередъ, потомъ остановился передъ ней.

— Вы простили его?—спросилъ онъ.

— За что̀? Вы видите, что... я одна виновата...

— И... простились съ нимъ, или... надѣетесь, что онъ опомнится и воротится?

Она покачала головой.

— Между нами нѣтъ ничего общаго... Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все.—сказалъ, подумавши, Тушинъ и вздохнулъ, какъ волъ, котораго отпрягли.—Я думалъ, что вы нагло обмануты.

— Нѣтъ, нѣтъ...

И зовете меня на помощь; думалъ, что пришла пора медвѣдю «сослужить службу» и чуть-было не оказалъ вамъ въ самомъ дѣлѣ «медвѣжьей услуги», — добавилъ онъ, вынимая изъ кармана и показывая ей обломокъ бича. — Отъ

этого я позволилъ себѣ сдѣлать вамъ дерзкій вопросъ объ имени... Простите меня, ради Бога, и скажите и остальное: зачѣмъ вы открыли мнѣ это?

— Я не хотѣла, чтобъ вы думали обо мнѣ лучше, чѣмъ я есть... и уважали меня...

— Какъ же вы это сдѣлаете? Я не перестану думать о васъ, что̀ думалъ всегда, и не уважать не могу.

Какой-то лучъ блеснулъ у ней въ глазахъ и тотчасъ же потухъ.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны; вамъ жаль бѣдную, падшую... и вы хотите поднять ее... Я понимаю ваше великодушіе, Иванъ Ивановичъ, но не хочу его. Мнѣ нужно, чтобъ вы знали и... не отняли руки, когда я подамъ вамъ свою.

Она подала ему руку, онъ поцѣловалъ ее. Онъ съ нетерпѣніемъ и грустью слушалъ ее.

— Вѣра Васильевна!—сказалъ онъ сдержаннымъ, почти оскорбленнымъ тономъ: — я насильно уважать никого не могу. Тушинъ не лжетъ. Если я кому-нибудь кланяюсь съ уваженіемъ,—то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вамъ попрежнему, а люблю—извините, къ слову пришлось,—еще больше прежняго, потому что... вы несчастливы. У васъ большое горе, такое же, какъ у меня! Вы потеряли надежду на счастье... Напрасно только вы сказали мнѣ вашу тайну... — прибавилъ онъ съ унынiемъ, почти съ отчаяніемъ.—Если бъ я узналъ ее и не отъ васъ, я бы уважать васъ не пересталъ. Этой тайны вы не обязаны повѣрять никому. Она принадлежитъ вамъ одной, и никто не смѣетъ судить васъ.

Онъ едва договорилъ и съ трудомъ вздохнулъ, скрадывая тяжесть этого вздоха отъ Вѣры. Голосъ у него дрожалъ противъ воли. Видно было, что эта «тайна», тяжесть которой онъ хотѣлъ облегчить для Вѣры, давила теперь не

— Я хотѣла, чтобъ вы знали все...

Она, отворотясь, молча глядѣла къ обрыву. И онъ поглядѣлъ туда, потомъ на нее, и все стоялъ передъ ней, съ вопросомъ въ глазахъ.

— Послушайте, Вѣра Васильевна, не оставляйте меня въ потемкахъ. Если вы нашли нужнымъ довѣрить мнѣ тайну...—Онъ на этомъ словѣ съ страшнымъ усиліемъ перемогъ себя:—которая касалась васъ одной, то объясните всю исторію...

— Ваше нынѣшнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мнѣ — я не поняла ихъ. Я думала, вы знаете все, хотѣла допроситься, что̀ у васъ на умѣ... Я поторопилась... Но все равно, рано или поздно—я сказала бы вамъ... Сядьте, выслушайте меня и потомъ оттолкните!

Онъ, положивъ локти на колѣни и спрятавъ лицо въ ладони, слушалъ ее.

Она передала ему въ короткихъ словахъ исторію. Онъ всталъ, минуты три ходилъ взадъ и впередъ, потомъ остановился передъ ней.

— Вы простили его?—спросилъ онъ.

— За что̀? Вы видите, что... я одна виновата...

— И... простились съ нимъ, или... надѣетесь, что онъ опомнится и воротится?

Она покачала голо́вой.

— Между нами нѣтъ ничего общаго... Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все,—сказалъ, подумавши, Тушинъ и вздохнулъ, какъ волъ, котораго отпрягли.—Я думалъ, что вы нагло обмануты.

— Нѣтъ, нѣтъ...

— И зовете меня на помощь; думалъ, что пришла пора медвѣдю «сослужить службу» и чуть-было не оказалъ вамъ въ самомъ дѣлѣ «медвѣжьей услуги», — добавилъ онъ, вынимая изъ кармана и показывая ей обломокъ бича. — Отъ

этого я позволилъ себѣ сдѣлать вамъ дерзкій вопросъ объ имени... Простите меня, ради Бога, и скажите и остальное: зачѣмъ вы открыли мнѣ это?

— Я не хотѣла, чтобъ вы думали обо мнѣ лучше, чѣмъ я есть... и уважали меня...

— Какъ же вы это сдѣлаете? Я не перестану думать о васъ, что думалъ всегда, и не уважать не могу.

Какой-то лучъ блеснулъ у ней въ глазахъ и тотчасъ же потухъ.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны; вамъ жаль бѣдную, падшую... и вы хотите поднять ее... Я понимаю ваше великодушіе, Иванъ Ивановичъ, но не хочу его. Мнѣ нужно, чтобъ вы знали и... не отняли руки, когда я подамъ вамъ свою.

Она подала ему руку, онъ поцѣловалъ ее. Онъ съ нетерпѣніемъ и грустью слушалъ ее.

— Вѣра Васильевна!—сказалъ онъ сдержаннымъ, почти оскорбленнымъ тономъ: — я насильно уважать никого не могу. Тушинъ не лжетъ. Если я кому-нибудь кланяюсь съ уваженіемъ,—то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вамъ попрежнему, а люблю—извините, къ слову пришлось,—еще больше прежняго, потому что... вы несчастливы. У васъ большое горе, такое же, какъ у меня! Вы потеряли надежду на счастье... Напрасно только вы сказали мнѣ вашу тайну... — прибавилъ онъ съ унынiемъ, почти съ отчаяніемъ.—Если бъ я узналъ ее и не отъ васъ, я бы уважать васъ не пересталъ. Этой тайны вы не обязаны повѣрять никому. Она принадлежитъ вамъ одной, и никто не смѣетъ судить васъ.

Онъ едва договорилъ и съ трудомъ вздохнулъ, спрадывая тяжесть этого вздоха отъ Вѣры. Голосъ у него дрожалъ противъ воли. Видно было, что эта «тайна», тяжесть которой онъ хотѣлъ облегчить для Вѣры, давила теперь не

одну ее, но и его самого. Онъ страдалъ—и хотѣлъ, во что бы то ни стало, скрыть это отъ нея...

— Все равно, я должна была сказать вамъ ее сегодня же, когда вы сдѣлали предложеніе... Обмануть я васъ не могла.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— На мое предложеніе вы могли отвѣчать мнѣ коротким *нѣтъ*. Но какъ вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, съ добротой, чтобъ позолотить это *нѣтъ*, что вы любите другого—вотъ и все. Я не спросилъ бы даже—кого. А тайну... должны были сберечь про себя, тутъ не было бы никакого обмана. Вотъ, если бъ вы, любя другого, приняли мое предложеніе... изъ страха, или другихъ цѣлей... это былъ бы обманъ, «паденіе», пожалуй, «потеря чести». Но вы этого никогда бы не сдѣлали. А то... — Онъ головой кивнулъ на обрывъ и шопотомъ добавилъ, будто про себя:—несчастье... ошибка...

Онъ едва говорилъ, перемогая съ медвѣжьей силой внутреннюю муку, чтобъ она не замѣтила, что было въ немъ самомъ.

— Несчастье! — шепталъ онъ: — онъ уйдетъ правъ изъ обрыва, а вы виноваты! Гдѣ же правда?..

— Все равно, я сказала бы вамъ, Иванъ Ивановичъ. Это не для васъ нужно было, а для меня самой... Вы знаете... какъ я дорожила вашей дружбой: скрыть отъ васъ—это было бы мукой для меня. Теперь мнѣ легче — я могу смотрѣть прямо вамъ въ глаза, я не обманула васъ...

Она не могла говорить отъ прихлынувшихъ слезъ и зажала лицо платкомъ. Онъ чуть не заплакалъ самъ, но только вздрогнулъ, наклонился и опять поцѣловалъ у ней руку.

— Вотъ это другое дѣло; благодарю васъ, благодарю! — торопливо говорилъ онъ, скрадывая волненіе.— Вы дѣлаете мнѣ большое добро, Вѣра Васильевна. Я вижу, что дружба

ваша ко мнѣ не пострадала отъ другого чувства, значитъ, она сильна. Это большое утѣшеніе! Я буду счастливъ и этимъ... со временемъ, когда мы успокоимся оба...

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ, если бъ можно было вычеркнуть этотъ годъ жизни...

— Забыть его скорѣй: это и будетъ все равно, что вычеркнуть...

— А гдѣ взять забвенія и силы перенести?

— У друзей,—шепнулъ онъ:—и въ томъ числѣ... у меня...

Она вздохнула будто свободнѣе — будто опять глотнула свѣжаго воздуха, чувствуя, что подлѣ нея воздвигается какая-то сила, встаетъ, въ лицѣ этого человѣка, крѣпкая, твердая гора, которая способна укрыть ее въ своей тѣни и каменными своими боками оградить — не отъ бѣдъ страха, не отъ физическихъ опасностей, а отъ первыхъ, горячихъ натисковъ отчаянія, отъ дымящейся еще язвы страсти, отъ горькаго разочарованія.

— Я вѣрю вашей дружбѣ, Иванъ Ивановичъ. Благодарю васъ,—говорила она, утирая слезы. — Мнѣ немного легче... и было бы еще легче, если бъ... не бабушка.

— Она еще не знаетъ? — спросилъ онъ и вдругъ замолчалъ, почувствовавъ, что въ вопросѣ его былъ упрекъ.

Онъ потупилъ голову, представляя себѣ, какъ это поразитъ Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить передъ Вѣрой свою боязнь.

— Сегодня, вы видите, гости, нельзя. Завтра она все узнаетъ... Прощайте, Иванъ Иванычъ, я ужасно страдаю— пойду и лягу.

Онъ глядѣлъ на Вѣру долго.

«Боже мой! какой слѣпой дуракъ этотъ Волоховъ — или какая... бестія!» думалъ онъ съ дрожью ярости.

— Не прикажете ли чего-нибудь? не нужно ли вамъ...— спросилъ онъ.

— Да, попросите Наташу пріѣхать завтра, или послѣзавтра, ко мнѣ.

— А мнѣ можно побывать на той недѣлѣ?—спросилъ онъ робко:—узнать, успокоились ли вы...

— Успокойтесь сами, Иванъ Иванычъ—и прощайте теперь. Я едва держусь на ногахъ...

Онъ простился съ ней и такъ погналъ лошадей съ крутой горы, что чуть самъ не сорвался съ обрыва. По временамъ онъ, по привычкѣ, хватался за бичъ, но вмѣсто его подъ руку попадали ему обломки въ карманѣ; онъ разбросалъ ихъ по дорогѣ. Однако, онъ опоздалъ переправиться за Волгу, ночевалъ у пріятеля въ городѣ и уѣхалъ къ себѣ рано утромъ.

VI.

Настало и завтра. Шумно и весело поднялся домъ на ноги. Лакеи, повара, кучера—все хлопотало, суетилось; одни готовили завтракъ, другіе закладывали экипажи, и съ утра опять всѣ напились пьяны.

Бабушка отпускала Марѳиньку за Волгу, къ будущей роднѣ, противъ обыкновенія, молчаливо, съ нѣкоторой печалью. Она не обременяла ее наставленіями, не вдавалась въ мелочныя предостереженія, даже на вопросы Марѳиньки, что̀ взять съ собой, какія платья, вещи — разсѣянно отвѣчала:—Что̀ тебѣ вздумается. И велѣла Василисѣ и дѣвушкѣ Натальѣ, которую посылала съ ней, снарядить и уложить что̀ нужно.

Она поручила свое дитя Марьѣ Егоровнѣ, матери жениха, а послѣднему довольно серьезно замѣтила, чтобы онъ тамъ, въ деревнѣ, соблюдалъ тонкое уваженіе къ невѣстѣ, и особенно при чужихъ людяхъ, какихъ-нибудь сосѣдяхъ, воздерживался отъ той свободы, которою онъ пользовался при ней и своей матери, въ обращеніи съ Марѳинькой, что дру-

гіе, пожалуй, перетолкуютъ иначе — словомъ, чтобъ не бѣгалъ съ ней тамъ по рощамъ и садамъ, какъ здѣсь.

Замѣтивъ, что Викентьевъ нѣсколько покраснѣлъ отъ этого предостереженія, какъ будто обидѣлся тѣмъ, что въ немъ предполагаютъ недостатокъ такта, и что и мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить тактъ ботинкой, Татьяна Марковна перешла въ дружескій тонъ, потрепала «милаго Николеньку» по плечу и прибавила, что сама знаетъ, какъ напрасны эти слова, но что говоритъ ихъ по привычкѣ старой бабы—читать мораль. Послѣ того она тихо, про себя, вздохнула и уже ничего не говорила до отъѣзда гостей.

Къ завтраку пришла и Вѣра, блѣдная, будто съ невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болитъ голова.

Татьяна Марковна была съ ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее, среди разговора, два-три загадочныхъ взгляда, какъ-будто допрашиваясь: что съ ней? отчего эта боль безъ болѣзни? что это она не пришла вчера къ обѣду, а появилась на минуту и потомъ ушла, а за ней пошелъ Тушинъ, и они ходили цѣлый часъ въ сумерки?.. И такъ далѣе.

Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этимъ вопросамъ, и они выглянули у ней только изъ глазъ, и на минуту. Вѣра однако прочла ихъ, хотя та перемѣнила взглядъ сомнѣнія на взглядъ участія. Прочла и Татьяна Марковна.

Вѣра была равнодушна къ этимъ вопросамъ, а Татьяна Марковна нѣтъ. Она вдругъ поникла головой и стала смотрѣть въ полъ.

«И другіе допрашиваются, а я не знаю! А она родилась при мнѣ: она—мое дитя!» думала она съ печалью.

Вѣра была блѣдна, лицо у ней, какъ камень; ничего не прочтешь на немъ. Жизнь точно замерзла, хотя она и го-

ворить съ Марьей Егоровной обо всемъ, и съ Мароинькой, и съ Викентьевымъ. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью, совѣтовала надѣть плотное шерстяное платье, предложила свой плэдъ и просила, при переправѣ черезъ Волгу, сидѣть въ каретѣ, чтобъ не продуло.

Райскій, воротясь съ прогулки, пришелъ къ завтраку тоже съ какимъ-то страннымъ, рѣшительнымъ лицомъ, какъ-будто у человѣка впереди было сраженіе, или другое важное, роковое событіе, и онъ приготовлялся къ нему. Что-то обработалось, выяснилось, или опредѣлилось въ немъ. Вчерашней тучи не было. Онъ такъ же покойно глядѣлъ на Вѣру, какъ на прочихъ, не избѣгалъ взглядовъ и Татьяны Марковны, и этимъ поставилъ ее опять въ недоумѣніе.

«У этого что-то новое; смотритъ не по-вчерашнему, говоритъ другое, нежели что говорилъ вчера, наперекоръ себѣ. Господи, что за омутъ у нихъ!» думала она.

Райскій обѣщалъ Викентьевымъ пріѣхать къ нимъ дня на два и очень былъ внимателенъ къ предложеніямъ жениха поохотиться, половить рыбу.

Наконецъ гости собрались. Татьяна Марковна и Райскій поѣхали проводить ихъ до берега. Вѣра простилась съ Мароинькой и осталась дома.

Тѣсенъ былъ міръ, въ которомъ и прежде вращалась жизнь Вѣры, а теперь сдѣлался еще тѣснѣе. Исключительная, глубокая натура ея долго довольствовалась тѣмъ запасомъ наблюденій, небольшихъ опытовъ, которые она добывала около себя. Нѣсколько человѣкъ замѣняли ей толпу; то, что другой соберетъ со многихъ встрѣчъ, въ многіе годы и во многихъ мѣстахъ, — давалось ей въ двухъ-трехъ уголкахъ, по ту и другую сторону Волги, съ пяти-шести лицъ, представлявшихъ для нея весь людской міръ, и въ промежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ понятія у ней созрѣли и сложились въ болѣе или менѣе опре-

дѣленный взглядъ. Инстинктъ и собственная воля писали ей законы ея пока дѣвической жизни, а сердце чутко указывало на тѣхъ, кому она могла безошибочно дать нѣкоторыя симпатіи.

И она давала ихъ осторожно, не тратила, какъ Маронька, на всѣхъ. Изъ постороннихъ только жена священника была чѣмъ-то въ родѣ ея наперсницы, да Тушина она открыто признавала и называла своимъ другомъ, — больше никого.

Она не теряла изъ вида путеводной нити жизни, и изъ мелкихъ явленій, изъ немудреныхъ личностей, толпившихся около нея, дѣлала не мелкіе выводы, практиковала силу своей воли надъ окружавшею ее застарѣлостью, деспотизмомъ, грубостью нравовъ.

Она, по этой простой канвѣ, умѣла чертить широкій, смѣлый узоръ болѣе сложной жизни, другихъ требованій, идей, чувствъ, которыхъ не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другія строки, которыхъ жаждалъ ея умъ и требовала натура.

Она смотрѣла вокругъ себя и видѣла не то, что есть, а то, что должно быть, что ей хотѣлось чтобъ было, и такъ какъ этого не было, то она брала изъ простой жизни около себя только одно живое, вѣрное, созидая образъ противоположный тому, за немногими исключеніями, что было около.

Въ область мысли, знанія, она вступила также недовѣрчивымъ и осторожнымъ шагомъ, какъ была осторожна и скупа въ симпатіяхъ. Читала она книги въ библіотекѣ стараго дома, сначала отъ скуки, безъ выбора и системы, доставая съ полки, что попадется, потомъ изъ любопытства, наконецъ нѣкоторыя съ увлеченіемъ.

Скоро она почувствовала безцѣльность и безплодность этого странствія по чужимъ умамъ, безъ руководящей нити. Она хитро наводила на разговоръ Козлова, почти не спра-

шивая и не показывая вида, что слушаетъ, и особенно никогда ни передъ кѣмъ не хвастаясь, что знаетъ то или другое, чего не знаютъ окружающіе. Потомъ, съ повѣркой его взгляда, перечитывала книги опять, и находила въ нихъ больше смысла и интереса. По просьбѣ молодого священника, возила книги ему, и опять слушала, не дѣлясь семинаристомъ, разсѣянно, его мысли и впечатлѣнія, высказанныя подъ вліяніемъ того или другого автора.

Послѣ всѣхъ пришелъ Маркъ — и внесъ новый взглядъ во все то, что она читала, слышала, что знала, взглядъ полнаго и дерзкаго отрицанія всего, отъ начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой науки, старыхъ добродѣтелей и пороковъ. Онъ, съ преждевременнымъ тріумфомъ, явился къ ней, предвидя побѣду, и ошибся.

Она съ изумленіемъ увидѣла этотъ новый, вдругъ вырвавшійся откуда-то потокъ смѣлыхъ, иногда увлекательныхъ идей, но не бросилась въ него слѣпо и тщеславно, изъ мелкой боязни показаться отсталою, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться въ горячую проповѣдь новаго апостола.

Ей прежде всего бросилась въ глаза зыбкость, односторонность, пробѣлы, мѣстами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живыя силы, дарованія, бойкій умъ и ненасытная жажда самолюбія и самонадѣянности, въ ущербъ простымъ и очевиднымъ готовымъ уже правдамъ жизни, только потому, какъ казалось ей, что онѣ были готовыя.

Иногда, въ этомъ безусловномъ рвеніи къ какой-то новой правдѣ, видѣлось ей только неумѣнье справиться съ старой правдой, бросающейся къ новой, которая давалась не опытомъ и борьбой всѣхъ внутреннихъ силъ, а гораздо дешевле, безъ борьбы и сразу, на основаніи только слѣпого презрѣнія ко всему старому, не различавшаго стараго зла

отъ стараго добра, и принималась на вѣру отъ непровѣренныхъ ничѣмъ новыхъ авторитетовъ, нивѣсть откуда взявшихся новыхъ людей—безъ имени, безъ прошедшаго, безъ исторіи, безъ правъ.

Она добиралась въ проповѣди и увлеченіяхъ Марка чего-нибудь вѣрнаго и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было такъ прочно, необманчиво въ старой жизни, которой, во имя этого прочнаго, живого и вѣрнаго, она прощала ея смѣшныя, вредныя уродливости, ея весь отжившій соръ.

Она страдала за эти уродливости и отъ этихъ уродливостей, мѣшавшихъ жить, чувствовала нерѣдко цѣпи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконецъ... чѣмъ бы онъ ни былъ для нея,—и идти на борьбу противъ старыхъ враговъ, стирать ложь, мести соръ, освѣщать темные углы, смѣло, не слушая старыхъ, разбитыхъ голосовъ, не только Тычковыхъ, но и самой бабушки, тамъ, гдѣ послѣдняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму, — вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убѣдиться, что истина — впереди.

Она шла не самонадѣянно, а напротивъ, съ сомнѣніями, не ошибается ли она, не правъ ли проповѣдникъ, нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ тамъ, куда такъ пылко стремится онъ, чего-нибудь такого чистаго, свѣтлаго, разумнаго, что могло бы не только избавить людей отъ всякихъ старыхъ оковъ, но открыть Америку, новый, свѣжій воздухъ, поднять человѣка выше, нежели онъ былъ, дать ему больше, нежели онъ имѣлъ.

Она прислушивалась къ обѣщаннымъ имъ благамъ, читала приносимыя имъ книги, бросалась къ старымъ авторитетамъ, сводила ихъ про себя на очную ставку, — но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обѣщалъ, куда звалъ смѣлый проповѣдникъ.

А сама шла все за нимъ, увлекаемая жаждой знать, что кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дѣло пока ограничивалось безпощаднымъ отрицаніемъ всего, во что вѣритъ, что любитъ, на что надѣется живущее большинство. Маркъ клеймилъ это враждой и презрѣніемъ; но Вѣра сама многаго не признаетъ въ старомъ свѣтѣ. Она и безъ него знаетъ и видитъ болѣзни: ей нужно знать, гдѣ Америка? Но ея Колумбъ, вмѣсто живыхъ и страстныхъ идеаловъ правды, добра, любви, человѣческаго развитія и совершенствованія, показываетъ ей только рядъ могилъ, готовыхъ поглотить все, чѣмъ жило общество до сихъ поръ. Это были фараоновы тощія коровы, пожиравшія толстыхъ и не дѣлавшіяся сами отъ того толще.

Онъ, во имя истины, развѣнчалъ человѣка въ одинъ животный организмъ, отнявши у него другую, не животную сторону. Въ чувствахъ видѣлъ только рядъ кратковременныхъ встрѣчъ и грубыхъ наслажденій, обнажая ихъ даже отъ всякихъ иллюзій, составляющихъ роскошь человѣка, въ которой отказано животному.

Самый процессъ жизни онъ выдавалъ и за ея конечную цѣль. Разлагая матерію на составныя части, онъ думалъ, что разложилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и все, что выражаетъ матерія.

Угадывая законы явленія, онъ думалъ, что уничтожилъ и невѣдомую силу, давшую эти законы, только тѣмъ, что отвергалъ ее, за неимѣніемъ пріемовъ и свойствъ ума, чтобы уразумѣть ее. Закрывалъ доступъ въ вѣчность и къ безсмертію всѣмъ религіознымъ и философскимъ упованіямъ, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вѣчность, и безсмертіе, думая своей дѣтской тросточкой, какъ рычагомъ, шевелить дальніе міры, и заставляя всю вселенную отвѣчать отрицательно на религіозныя надежды и стремленія «отжившихъ» людей.

Между тѣмъ, отрицая въ человѣкѣ человѣка—съ душой,

съ правами на безсмертіе, онъ проповѣдывалъ какую-то правду, какую-то честность, какія-то стремленія къ лучшему порядку, къ благороднымъ цѣлямъ, не замѣчая, что все это дѣлалось ненужнымъ, при томъ указываемомъ имъ, случайномъ порядкѣ бытія, гдѣ люди, по его словамъ, толпятся, какъ мошки въ жаркую погоду въ огромномъ столбѣ, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, грѣются и исчезаютъ въ безтолковомъ процессѣ жизни, чтобъ завтра дать мѣсто другому такому же столбу.

«Да, если это такъ, — думала Вѣра, — тогда не стоитъ работать надъ собой, чтобы къ концу жизни стать лучше, чище, правдивѣе, добрѣе. Зачѣмъ? Для обихода на нѣсколько десятковъ лѣтъ? Для этого надо запастись, какъ муравью зернами на зиму, обиходнымъ умѣньемъ жить, такою честностью, которой—синонимъ ловкость, такими зернами, чтобъ хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтобъ было тепло, удобно... Какіе же идеалы для муравьевъ? Нужны муравьиныя добродѣтели... Но такъ ли это? Гдѣ доказательства?»

А онъ требовалъ не только честности, правды, добра, но и вѣры въ свое ученіе, какъ требуетъ ее другое ученіе, которое за нее обѣщаетъ — безсмертіе въ будущемъ, и въ залогъ этого обѣщанія, даетъ и въ настоящемъ просимое всякому, кто проситъ, кто стучится, кто ищетъ.

Новое ученіе не давало ничего, кромѣ того, что было до него: ту же жизнь, только съ уничиженіями, разочарованіями, и впереди обѣщало—смерть и тлѣнъ. Взявши девизы своихъ добродѣтелей изъ книги стараго ученія, оно обольстилось буквою ихъ, не вникнувъ въ духъ и глубину, и требовало исполненія этой буквы съ такой злобой и нетерпимостью, противъ которой остерегало старое ученіе. Оставивъ себѣ одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни.

Вглядѣвшись и вслушавшись во все, что проповѣдь юнаго апостола выдавала за новыя правды, новое благо, новыя откровенія, она съ удивленіемъ увидѣла, что все то, что было въ его проповѣди добраго и вѣрнаго — не ново, что оно взято изъ того же источника, откуда черпали и не новые люди, что сѣмена всѣхъ этихъ новыхъ идей, йовой «цивилизаціи», которую онъ проповѣдывалъ такъ хвастливо и таинственно, заключены въ старомъ ученіи.

Отъ этого она только сильнѣе увѣровала въ послѣднее и убѣдилась, что какъ — далеко человѣкъ ни иди впередъ, онъ не уйдетъ отъ него, если только не бросится съ прямой дороги въ сторону, или не пойдетъ назадъ, что самые противники его черпаютъ изъ него же, что, наконецъ, ученіе это — есть единственный, непогрѣшительный, совершеннѣйшій идеалъ жизни, внѣ котораго остаются только ошибки.

Вѣрѣ подозрительна стала личность самого проповѣдника—и она пятилась отъ него; даже послушавши, въ началѣ знакомства, раза два его дерзкихъ рѣчей, указала на него Татьянѣ Марковнѣ, и людямъ поручено было присматривать за садомъ. Волоховъ зашелъ со стороны обрыва, отъ котораго удалялъ людей суевѣрный страхъ могилы самоубійцы. Онъ замѣчалъ недовѣріе Вѣры къ себѣ и поставилъ себѣ задачей преодолѣть его—и успѣлъ.

Вѣра, наконецъ, почти незамѣтно для нея самой, повѣрила искренности его односторонняхъ и поверхностныхъ увлеченій, и отъ недовѣрія перешла къ изумленію, участію. У ней даже бывали минуты, впрочемъ, рѣдкія, когда она колебалась въ непогрѣшимости своихъ, собранныхъ молча, про себя наблюденій надъ жизнью, надъ людьми, правилъ, которыми руководствовалось большинство.

Задумывалась она надъ всѣмъ, чѣмъ сама жила — и почувствовала новыя тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднѣе и пристальнѣе вслушиваться въ Марка, встрѣчаясь

съ нимъ въ полѣ, за Волгой, куда онъ проникалъ вслѣдъ за нею, наконецъ, въ бесѣдкѣ, на днѣ обрыва.

Гдѣ замѣчала явную ложь, софизмы, она боролась, прояснила себѣ туманъ, вооруженная своими наблюденіями, логикой и волей. Маркъ топалъ въ ярости ногами, строилъ батареи изъ своихъ доктринъ и авторитетовъ—и встрѣчалъ недоступную стѣну. Онъ свирѣпѣлъ, скалилъ зубы, какъ «волкъ», но проводникомъ ея отповѣдей служили бархатные глаза, какихъ онъ не видалъ никогда, и лба его касалась твердая, но нѣжная рука, и онъ, рыча про себя, ложился смиренно у ногъ ея, чуя побѣду и добычу впереди, хотя и далеко.

Гдѣ Вѣра не была приготовлена, тамъ она слушала молча и слѣдила зорко — вѣруетъ ли самъ апостолъ въ свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опытъ, или онъ только увлеченъ остроумной или блестящей ипотезой. Онъ манилъ впередъ образомъ какого-то громаднаго будущаго, громадной свободы, снятіемъ всѣхъ покрывалъ съ Изиды — и это будущее видѣлъ чуть не завтра, звалъ ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить съ себя старое и повѣрить, если не ему, то опыту.

— И будемъ какъ боги!—прибавлялъ онъ насмѣшливо.

Вѣра не шла, боролась,—и незамѣтно, мало-по-малу, перешла сама въ активную роль: воротить и его на дорогу уже испытаннаго добра и правды, увлечь, сначала въ правду любви, человѣческаго, а не животнаго счастья, а тамъ и дальше, въ глубину ея вѣры, ея надежды!..

Маркъ понемногу, кое-въ-чемъ, уступалъ, покорялся нѣкоторымъ ея требованіямъ: пересталъ дѣлать эксцентрическія выходки, не дразнилъ мѣстныя власти, сталъ опрятнѣе въ образѣ жизни, не щеголялъ цинизмомъ.

Она была счастлива — и вотъ причина ея экстаза, замѣченнаго Татьяной Марковной и Райскимъ. Она чувствовала, что сила ея дѣйствуетъ пока еще только на внѣшнюю

его жизнь, и надѣялась, что, путемъ неусыпнаго труда, жертвъ, она мало-по-малу совершитъ чудо — и наградой ея будетъ счастье женщины—быть любимой человѣкомъ, котораго угадало ея сердце.

Она введетъ новаго и сильнаго человѣка въ общество. Онъ уменъ, настойчивъ, и если будетъ простъ и дѣятеленъ, какъ Тушинъ, тогда... и ея жизнь угадана. Она не даромъ жила. А тамъ она не знала, что будетъ.

Между тѣмъ, она, по страстной, нервной натурѣ своей, увлеклась его личностью, влюбилась въ него самого, въ его смѣлость, въ самое это стремленіе къ новому, лучшему— но не влюбилась въ его ученіе, въ его новыя правды и новую жизнь, и осталась вѣрна старымъ, прочнымъ понятіямъ о жизни, о счастіи. Онъ звалъ къ новому дѣлу, къ новому труду, но новаго дѣла и труда, кромѣ раздачи запрещенныхъ книгъ, она не видѣла.

Соглашаясь въ необходимости труда, она винила себя первая за бездѣйствіе и чертила себѣ, въ недальнемъ будущемъ, образъ простого, но дѣйствительнаго дѣла, завидуя пока Марѳинькѣ въ томъ, что та приспособила свой досугъ и свои руки къ домашнему хозяйству и отчасти къ деревнѣ.

Она готовилась пока раздѣлить съ сестрой ея труды— лишь только, такъ или иначе, выйдетъ изъ этой тяжкой борьбы съ Маркомъ, которая кончилась наконецъ недавно, не побѣдой того или другого, а взаимнымъ пораженіемъ и разлукой навсегда.

Все это пробѣжало въ умѣ Вѣры, пока Татьяна Марковна и Райскій провожали гостей за Волгу.

«Что теперь онъ дѣлаетъ, этотъ волкъ? — думала она иногда:—торжествуетъ ли свою побѣду...»

Она не додумывалась и вздрагивала.

Она открыла ящикъ, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумагѣ, которое прислалъ ей Маркъ рано утромъ

черезъ рыбака. Она посмотрѣла на него съ минуту, подумала — и рѣшительно бросила опять нераспечатаннымъ въ столъ.

Всѣ другія мýки глубоко хоронились у ней въ душѣ. На очереди стояла страшная битва на смерть съ новой бѣдой: что̀ бабушка? Райскій успѣлъ шепнуть ей, что будетъ говорить съ Татьяной Марковной вечеромъ, когда никого не будетъ, чтобъ и изъ людей никто не замѣтилъ впечатлѣнія, какое можетъ произвести на нее эта откровенность.

У Вѣры зловѣщей бѣдой заныла грудь, когда Райскій говорилъ ей о своей предосторожности. Она измѣряла этимъ степень бѣды и мысленно желала не дожить до вечера.

Она немного отдохнула, открывъ все Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнѣе. Она сбросила часть тяжести, какъ моряки въ бурю бросаютъ часть груза, чтобъ облегчить корабль. Но самый тяжелый грузъ былъ на днѣ души, и ладья ея сидѣла въ водѣ глубоко, черпала бортами и могла, при новомъ, ожидаемомъ шквалѣ, черпнуть и не встать больше.

Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на часъ, и потомъ опять клонила голову.

— Нельзя жить, нельзя! — шептала она и шла въ свою часовню, въ ужасѣ смотрѣла на образъ, стоя на колѣняхъ.

Только вздохи боли показывали, что это стоитъ не статуя, а живая женщина. Образъ глядѣлъ на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но какъ-будто не видѣлъ ея, персты были сложены въ благословеніе, но не благословляли ее.

Она жадно смотрѣла въ эти глаза, ждала какого-то знаменія — знаменія не было. Она уходила, какъ убитая, въ отчаяніи.

VII.

Бабушка, воротясь, занялась-было счетами, но вскорѣ отпустила всѣхъ торговокъ, швей, и спросила о Райскомъ.

Ей сказали, что онъ ушелъ на цѣлый день къ Козлову, куда онъ въ самомъ дѣлѣ отправился, чтобъ не оставаться наединѣ съ Татьяной Марковной до вечера.

Она послала узнать, что Вѣра, прошла ли голова, придетъ ли она къ обѣду? Вѣра велѣла отвѣчать, что головѣ легче, просила прислать обѣдъ въ свою комнату и сказала, что ляжетъ пораньше спать.

Тутъ случилось въ дворнѣ не новое событіе. Савелій чуть не перешибъ спину Маринѣ полѣномъ, потому что хватился ея на зарѣ, въ день отъѣзда гостей, пошелъ отыскивать и видѣлъ, какъ она шмыгнула изъ комнаты, гдѣ помѣстили лакея Викентьевой. Она пряталась цѣлое утро по чердакамъ, въ огородѣ, наконецъ пришла, думая, что онъ забылъ.

Онъ исхлесталъ ее вожжей. Она металась изъ угла въ уголъ, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это былъ «дьяволъ въ образѣ» и т. п. Но когда онъ бросилъ вожжу и взялъ полѣно, она застонала, и послѣ перваго удара повалилась ему въ ноги, крича «виновата» и просила помилованія.

Она клялась всѣмъ, и между прочимъ «своей утробой», что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда Богъ убьетъ ее и покараетъ навсегда. Савелій остановился, положилъ полѣно и отеръ рукавомъ лобъ.

— Ладно,—сказалъ онъ:—пущай будетъ по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь! не стану, отступлюсь отъ тебя!

Онъ махнулъ на нее рукой.

Все это донесли Татьянѣ Марковнѣ, но она только поморщилась съ отвращеніемъ и махнула Василисѣ рукой, чтобъ не докучала ей.

Пріѣзжали нѣкоторыя барыни съ визитомъ, пріѣхалъ заволжскій помѣщикъ, и еще двое гостей изъ города, и остались обѣдать.

Всѣ слышали, что Вѣра Васильевна больна и пришли навѣдаться. Татьяна Марковна объявила, что Вѣра наканунѣ прозябла, и на два дня осталась въ комнатѣ, а сама внутренно страдала отъ этой лжи, не зная, какая правда кроется подъ этой подложной болѣзнью, и даже не смѣла пригласить доктора, который тотчасъ узналъ бы, что болѣзни нѣтъ, а есть моральное разстройство, которому должна быть причина.

Она не ужинала, и Титъ Никонычъ изъ вѣжливости сказалъ, что «не имѣетъ аппетита». Наконецъ явился Райскій, нѣсколько блѣдный, и тоже отказался отъ ужина. Онъ молча сидѣлъ за столомъ, съ какимъ-то сдержаннымъ выраженіемъ въ лицѣ, и будто не замѣчалъ изрѣдка обращаемыхъ на него Татьяной Марковной вопросительныхъ взглядовъ.

Наконецъ Титъ Никонычъ распаркался, поцѣловалъ у ней руку и уѣхалъ. Бабушка велѣла готовить постель и не глядѣла на Райскаго. Она сухо пожелала ему «покойной ночи», чувствуя себя глубоко оскорбленной и въ сердцѣ, и въ самолюбіи.

Около нея происходитъ что-то таинственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставляютъ въ сторонѣ, какъ чужую, или какъ старую, отжившую, ни на что не способную женщину.

Она не подозрѣвала уваженія, боязни и пощады, мѣшавшихъ имъ открыться.

Райскій вполголоса сказалъ ей, что ему нужно поговорить съ ней, чтобъ она какъ-нибудь незамѣтно отослала людей. Она остановила на немъ неподвижный отъ ужаса взглядъ. У ней побѣлѣлъ даже носъ.

— Бѣда?—спросила она отрывисто.

Онъ мялся.

— Нѣтъ... — отвѣчалъ онъ рѣшительно: — съ моей точки зрѣнія—нѣтъ бѣды...

— А если съ моей—есть, то значитъ и бѣда!—замѣтила она тихо. — Да вонъ ты блѣденъ, стало-быть, знаешь и самъ, что бѣда.

Она мало-по-малу удалила людей, сказавши, что еще не ляжетъ спать, а посидитъ съ Борисомъ Павловичемъ, и повела его въ кабинетъ.

Она сѣла въ свое старое вольтеровское кресло, поставивъ лампу подальше на бюро и закрывъ ее колпакомъ.

Они сидѣли въ полумракѣ. Она, поникнувъ головой, не глядѣла на него и ожидала. Райскій началъ свой разсказъ, стараясь подойти «къ бѣдѣ» какъ можно мягче и осторожнѣе.

У него дрожали губы и языкъ нерѣдко отказывался говорить. Онъ останавливался, давая себѣ отдыхъ, потомъ собирался съ силами и продолжалъ.

Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Подъ конецъ онъ шепталъ едва слышно.

Онъ вышелъ отъ нея, когда сталъ брезжиться день. Когда онъ кончилъ, она встала, выпрямилась медленно, съ напряженіемъ, потомъ такъ же медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о столъ. Изъ груди ея вырвался не то вздохъ, не то стонъ.

— Бабушка! — говорилъ Райскій, пугаясь выраженія ея лица и становясь на колѣни передъ ней:—спасите Вѣру...

— Поздно послала она къ бабушкѣ, — шептала она: — Богъ спасетъ ее! Береги ее, утѣшай, какъ знаешь! Бабушки нѣтъ больше!

Она ступила шагъ, онъ загородилъ ей дорогу.

— Бабушка, что вы, что съ вами? — говорилъ онъ въ страхѣ.

— Бабушки нѣтъ у васъ больше... — твердила она разсѣянно, стоя тамъ, гдѣ встала съ кресла, и глядя внизъ.— Поди, поди! — почти гнѣвно крикнула она, видя, что онъ

медлитъ: — не ходи ко мнѣ... не пускай никого, распоряжайся всѣмъ... А меня оставьте всѣ... всѣ!

Она стояла все на своемъ мѣстѣ, какъ прикованная, съ безжизненнымъ, точно спящимъ взглядомъ. Онъ хотѣлъ ей что-то сказать. Она нетерпѣливо махнула ему рукой.

— Уйди къ ней, береги ее! бабушка не можетъ, бабушки нѣтъ!—шептала она.

И сдѣлала повелительный жестъ рукой, чтобъ онъ шелъ. Онъ вышелъ въ страхѣ, блѣдный, сдалъ все на руки Якову, Василисѣ и Савелью, и самъ изъ-за угла старался видѣть, что дѣлается съ бабушкой. Онъ не спускалъ глазъ съ ея оконъ и дверей.

А она машинально опустилась опять въ кресло, и какъ будто заснула въ безсознательной, мертвой дремотѣ и оставалась неподвижно до утра, когда совсѣмъ разсвѣло.

Утромъ рано, Райскій, не ложившійся спать, да Яковъ съ Василисой видѣли, какъ Татьяна Марковна, въ чемъ была наканунѣ и съ открытой головой, съ наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла изъ дому, ногой отворяя двери, прошла всѣ комнаты, коридоръ, спустилась въ садъ, и шла, какъ будто бронзовый монументъ всталъ съ пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что не глядя.

Она шла черезъ цвѣтникъ, по аллеямъ, къ обрыву, стала спускаться съ обрыва ровнымъ, медленнымъ и широкимъ шагомъ, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась въ лѣсъ.

Райскій бросился украдкой за ней, прячась за деревья.

Она шагала все ниже, ниже, прошла къ бесѣдкѣ, поникла головой и стала, какъ вкопанная. Райскій подкрадывался сзади ея, удерживая дыханіе.

— Мой грѣхъ!—сказала она, будто простонала, положивъ руки на голову, и вдругъ ускореннымъ шагами пошла дальше, вышла къ Волгѣ и стала неподвижно у воды.

Вѣтеръ хлесталъ и обвивалъ платье около ея ногъ, шевелилъ ея волосы, рвалъ съ нея шаль—она не замѣчала.

У Райскаго замеръ духъ отъ мелькнувшей догадки: хочетъ утопиться!

Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокій слѣдъ на влажномъ пескѣ.

Райскій вздохнулъ свободнѣе, но взглянувъ изъ-за кустовъ на ея лицо, когда она тихо шла тою же широкой походкой назадъ—онъ еще больше замеръ отъ ужаса.

Онъ не узналъ бабушку. На лицѣ у ней легла точно туча, и туча эта была — горе, та «бѣда», которую онъ въ эту ночь возложилъ ей на плечи. Онъ видѣлъ, что нѣтъ руки, которая бы сняла это горе.

Она правду сказала, бабушки нѣтъ больше. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нѣжная мать семейства, не помѣщица Малиновки, гдѣ все жило и благоденствовало ею и гдѣ жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленькимъ царствомъ. Это была другая женщина.

Она будто не сама ходитъ, а носитъ ее посторонняя сила. Какъ широко шагаетъ она, какъ прямо и высоко несетъ голову и плечи, и на нихъ — эту свою «бѣду»! Она, не чуя ногъ, идетъ по лѣсу въ крутую гору; шаль повисла съ плечъ и мететъ концомъ соръ и пыль. Она смотритъ куда-то вдаль немигающими глазами, изъ которыхъ широко глядитъ одинъ окаменѣлый, покорный ужасъ.

Сознаніе всего другого, кромѣ «бѣды», умерло въ лицѣ; она точно лунатикъ, или покойница.

Онъ едва поспѣвалъ слѣдить за ней среди кустовъ, чтобъ не случилось съ ней чего-нибудь. Она все шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обѣими руками о дерево, положила на руки голову.

— Мой грѣхъ!—повторила она прямо грудью, будто лохнула: — тяжело, облегчи, не снесу! — шепнула потомъ, и

опять выпрямилась и пошла въ гору, поднимаясь на обрывъ, одолѣвая крутизну нечеловѣческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустахъ.

Райскій, поражаясь изумленіемъ и ужасомъ, глядѣлъ на эту новую, необычайную женщину.

«Только великія души перемогаютъ съ такой силой тяжелыя скорби,—думалъ онъ.—Имъ, какъ орлицамъ, даны крылья летать подъ облаками и глаза—смотрѣть въ пропасти. И только вѣрующая душа несетъ горе такъ, какъ несла его эта женщина—и однѣ женщины такъ выносятъ его! Въ женской половинѣ человѣческаго рода,—думалось ему,—заключены великія силы, ворочающія міромъ. Только не поняты, не признаны, не воздѣланы онѣ, ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо затоптаны, или присвоены мужской половиной, не умѣющей ни владѣть этими великими силами, ни разумно повиноваться имъ, отъ гордости. А женщины, не узнавая своихъ природныхъ и законныхъ силъ, вторгаются въ область мужской силы — и отъ этого взаимнаго захвата — вся неурядица».

«Это не бабушка!» съ замираніемъ сердца, глядя на нее, думалъ онъ.

Она казалась ему одною изъ тѣхъ женскихъ личностей, которыя внезапно изъ круга семьи выходили героинями въ великія минуты, когда падали вокругъ тяжкіе удары судьбы и когда нужны были людямъ не грубыя силы мышцъ, не гордость крѣпкихъ умовъ, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпѣть и не падать!

У него въ головѣ мелькнулъ рядъ женскихъ историческихъ тѣней въ параллель бабушкѣ. Видѣлась ему въ ней—древняя еврейка, іерусалимская госпожа, родоначальница племени — съ улыбкой горделиваго презрѣнія услышавшая въ народѣ глухое пророчество и угрозу: «снимется вѣнецъ съ народа, не узнавшаго посѣщенія», «придутъ римляне и возьмутъ!» Не вѣрила она, считая незыблемымъ вѣнецъ,

возложенный рукою Іеговы на голову Израиля. Но когда насталъ часъ — «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда палъ неотразимый ударъ, встала, снявъ свой вѣнецъ, и молча, безъ ропота, безъ малодушныхъ слезъ, которыми омывали Іерусалимскія стѣны мужья, разбивая о камни головы, только съ окаменѣлымъ ужасомъ покорности въ глазахъ пошла среди павшаго царства, въ великомъ безобразіи одеждъ, туда, куда вела ее рука Іеговы, и такъ же—какъ эта бабушка теперь — несла святыню страданія на лицѣ, будто гордясь, и силою удара, постигшаго ее, и своею силою нести его.

Пришла въ голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марѳа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая въ тюрьмѣ свое величіе и могущество скорби по погибшей славѣ Новгорода, покорная тѣломъ, но не духомъ, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и какъ будто распорядительницей судебъ вольнаго города.

Толпились передъ нимъ, точно живыя, тѣни другихъ великихъ страдалицъ: русскихъ царицъ, мѣнявшихъ, по волѣ мужей, свой санъ на санъ иноки и хранившихъ и въ кельѣ духъ и силу; другихъ царицъ, въ роковыя минуты, стоявшихъ во главѣ царства и спасавшихъ его...

Съ такою же силой скорби шли въ заточеніе съ нашими титанами, колебавшими небо, ихъ жены, боярыни и княгини, сложившія свой санъ, титулъ, но унесшія съ собой силу женской души и великой красоты, которой до сихъ поръ не знали за собой онѣ сами, не знали за ними и другіе, и которую онѣ, какъ золото въ огнѣ, закаляли въ огнѣ и дымѣ грубой работы, служа своимъ мужьямъ — князьямъ и неся и ихъ, и свою «бѣду».

И мужья, преклоняя колѣна передъ этой новой для нихъ красотой, мужественнѣе несли кару. Обожженныя, изможденныя трудомъ и горемъ, онѣ хранили величіе духа и сіяли,

среди испытанія, нетлѣнной красотой, какъ великія статуи, пролежавшія тысячелѣтія въ землѣ, выходили съ язвами времени на тѣлѣ, но сіяющія вѣчной красотой великаго мастера.

Такую великую силу—стоять подъ ударомъ грома, когда все падаетъ вокругъ,— безсознательно, вдругъ, какъ кладь найдетъ, почуетъ въ себѣ русская женщина изъ народа, когда пламень пожара пожретъ ея хижину, добро и дѣтей.

Съ такимъ же нѣмымъ, окаменѣлымъ ужасомъ, какъ бабушка, какъ новгородская Марѳа, какъ тѣ царицы и княгини—уходитъ она прочь, глядя неподвижно на небо, и не оглянувшись на столпъ огня и дыма, идетъ сильными шагами, неся выхваченнаго изъ пламени ребенка, ведя дряхлую мать, и взглядомъ и ногой толкая впередъ малодушнаго мужа, когда онъ, упавъ, грызя землю, смотритъ назадъ и проклинаетъ пламя...

Она идетъ, твердо шагая загорѣлыми ногами, дальше, дальше, не зная, гдѣ остановится, или упадетъ, потерявъ силу. Она вѣритъ, что рядомъ идетъ съ ней другая сила и несетъ ея «бѣду», которую не снесла бы одна!

Въ открыто смотрящемъ и ничего не видящемъ взглядѣ лежитъ сила страдать и терпѣть. На лицѣ горитъ во всемъ блескѣ красота и величіе мученицы. Громъ бьетъ ее, огонь палитъ, но не убиваетъ женскую силу.

Райскій съ ужасомъ отмахивался отъ этихъ, незванныхъ въ горькія минуты, явленій своей безпощадной фантазіи и устремилъ зоркое вниманіе за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть въ ея душѣ: что за образъ муки поселился въ ней?

Падало царство Татьяны Марковны, пустѣлъ домъ, похищено ея завѣтное, дорогое сокровище, ея гордость, ея жемчужина! Она одна бродила будто по развалинамъ. Опустѣла и душа у ней! Духъ мира, гордости, благоденствія, покинулъ счастливый уголокъ.

Она видѣла теперь въ немъ мерзость запустѣнія — и цѣлый міръ опостылѣлъ ей. Когда она останавливалась, какъ будто набраться силы, глотнуть воздуха и освѣжить запекшіяся отъ сильнаго и горячаго дыханія губы, колѣни у ней дрожали; еще минута—и она готова рухнуть на землю, но чей-то голосъ, дающій силу, шепталъ ей: «иди, не падай — дойдешь!»

И старческое безсиліе пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидѣла ночь у себя въ креслѣ, томясь страшной дремотой, съ бредомъ и стономъ, потомъ просыпалась, жалѣя, что проснулась, встала съ зарей и шла опять съ обрыва, къ бесѣдкѣ, долго сидѣла тамъ на развалившемся порогѣ, положивъ голову на голыя доски пола, потомъ уходила въ поля, терялась среди кустовъ у Приволжья.

Случайно наткнулась она на часовню, въ полѣ, подняла голову, взглянула на образъ — и новый ужасъ, больше прежняго, широко выглянулъ изъ ея глазъ. Ее отшатнуло въ сторону.

Она, какъ раненый звѣрь, упала на одно колѣно, тяжело приподнялась, и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрывъ лицо шалью отъ образа Спасителя, и простонала:

— Мой грѣхъ!

Люди были въ ужасѣ. Василиса съ Яковомъ почти не выходили изъ церкви, стоя на колѣняхъ. Первая обѣщалась сходить пѣшкомъ къ кіевскимъ чудотворцамъ, если барыня оправится, а Яковъ поставитъ толстую съ позолотой свѣчу къ мѣстной иконѣ.

Прочіе люди всѣ прятались по угламъ и глядѣли изъ щелей, какъ барыня, точно помѣшанная, бродила по полю и по лѣсу. Даже Марина, и та ошалѣла и ходила, какъ одичалая.

Только Егорка пробовалъ хихикать и затрогивалъ гор-

ничныхъ, но онѣ гнали его прочь, а Василиса назвала его «супостатомъ».

Другой дѣнь бабушка не принимала никакой пищи. Райскій пробовалъ выйти къ ней навстрѣчу, остановить ее и заговорить съ ней, она махнула ему повелительно рукой, чтобъ шелъ прочь.

Наконецъ онъ взялъ кружку молока и рѣшительно подступилъ къ ней, взявъ ее за руку. Она поглядѣла на него, какъ будто не узнала, поглядѣла на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой изъ рукъ его и съ жадностью выпила молоко до послѣдней капли, глотая медленными, большими глотками.

— Бабушка, пойдемте домой,—не мучайте себя и насъ!—умолялъ онъ:—вы убьете себя.

Она махнула ему рукой.

— Богъ посѣтилъ, не сама хожу. Его сила носитъ,—надо выносить до конца. Упаду — подберите меня...—Мой грѣхъ!—шепнула потомъ и пошла дальше.

Сдѣлавъ шаговъ десять, она обернулась къ нему. Онъ подбѣжалъ къ ней.

— Если не вынесу... умру...—заговорила она и сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ наклонилъ голову.

Онъ сталъ на колѣни передъ ней.

Она прижала его голову къ своей груди, крѣпко поцѣловала ее и положила на нее руку.

— Прими мое благословеніе,—сказала она:—и передай имъ... Марфинькѣ и... ей,—бѣдной моей Вѣрѣ... слышишь, и ей!..

— Бабушка!—говорилъ онъ, заливаясь слезами и цѣлуя у ней руку.

Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать въ кустахъ, по берегу, по полю.

«У вѣрующей души есть свое царство!» думалъ Райскій, глядя ей вслѣдъ и утирая слезы: «только она умѣетъ такъ

страдать за все, что̀ любить, и такъ любить и такъ искупать свои и чужія заблужденія!»

Вѣра была не въ лучшемъ положеніи. Райскій поспѣшилъ передать ей разговоръ съ бабушкой,—и когда, на другой день, она, блѣдная, измученная, утромъ рано послала за нимъ и спросила: «Что бабушка?» онъ, вмѣсто отвѣта, указалъ ей на Татьяну Марковну, какъ она шла по саду и по аллеямъ въ поле.

Вѣра бросилась къ окнамъ и жадно вглядывалась въ это странствіе бабушки съ ношей «бѣды». Она успѣла мелькомъ уловить выраженіе на ея лицѣ и упала въ ужасѣ сама на полъ, потомъ стала, бѣгая отъ окна къ окну, складывая вмѣстѣ руки и простирая ихъ, какъ въ мольбѣ, вслѣдъ бабушкѣ.

Она сама ходила, какъ дикая, по большимъ, запущеннымъ заламъ стараго дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинныя канапѐ, наталкиваясь на мебель.

Она рвалась къ бабушкѣ и останавливалась въ ужасѣ: показаться ей на глаза, значило, можетъ-быть, убить ее.

Настала настоящая казнь Вѣры. Она теперь только почувствовала, какъ глубоко вонзился ножъ, и въ ея, и въ чужую, но близкую ей жизнь, видя, какъ страдаетъ за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступленіе чужою казнью.

— Она за что̀? Она—святая! А я!..—терзалась она.

Райскій принесъ ей благословеніе Татьяны Марковны. Вѣра бросилась ему на шею и долго рыдала.

Къ вечеру второго дня нашли Вѣру, сидящую на полу, въ углу большой залы, полуодѣтую. Борисъ и жена священника, пріѣхавшая въ тотъ день, почти силой увели ее оттуда и положили въ постель.

Райскій позвалъ доктора и кое-какъ старался объяснить

ея разстройство. Тотъ прописалъ успокоительное питье, Вѣра выпила, но не успокоилась, забывалась часто сномъ, просыпалась и спрашивала:

— Что бабушка?

Потомъ опять впадала въ забытье.

Она не слышала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать всѣ секреты Вѣры, беречь ихъ, покоряться ей, какъ сильнѣйшей себя властной натурѣ, раздѣлять безусловно ея образъ мыслей, поддакивать желаніямъ, но оказавшаяся безсильною, когда загремѣлъ сильный громъ надъ головой Вѣры, помочь снести его и успокоить ее.

— Дай мнѣ пить! — шептала Вѣра, не слушая ея лепета:—не говори, посиди такъ, не пускай никого... Узнай, что бабушка?

Такъ было и ночью. Просыпаясь въ забытьи, Вѣра постоянно шептала:

— Бабушка нейдетъ! бабушка не любитъ! бабушка не проститъ!

На третій день Татьяна Марковна ушла, не видали какъ, изъ дома. Райскій не выдержалъ двухъ безсонныхъ ночей и легъ отдохнуть, поручивъ разбудить себя, когда она выйдетъ изъ дому.

Но Яковъ и Василиса ушли къ ранней обѣднѣ, а Пашутка, завидя идущую барыню, съ испуга залѣзла въ вѣники и метлы, хранившіеся въ чуланѣ, да тамъ и заснула. Прочіе люди разбѣжались въ разныя стороны.

Однако, Савелій видѣлъ, что барыня сошла съ обрыва, что она шла нетвердо, хваталась за деревья, и потомъ прошла въ поле.

Райскій бросился вслѣдъ за ней и изъ-за угла видѣлъ, какъ она медленно возвращалась по полю къ дому. Она останавливалась и озиралась назадъ, какъ будто прощалась съ крестьянскими избами. Райскій подошелъ къ ней, но за-

говорить не смѣлъ. Его поразило новое выраженіе ея лица. Мѣсто покорнаго ужаса заступило, повидимому, безотрадное сознаніе. Она не замѣчала его и какъ будто смотрѣла въ глаза своей «бѣдѣ».

Ей на яву снилось, какъ царство ея рушилось, и какъ на мѣстѣ его легла мерзость запустѣнія въ близкомъ будущемъ. Послѣ, отъ нея самой, онъ узналъ страшный сонъ, ей снившійся.

Озираясь на деревню, она видѣла — не цвѣтущій, благоустроенный порядокъ домовъ, а лишенный надзора и попеченія рядъ полусгнившихъ избъ—притонъ пьяницъ, нищихъ, бродягъ и воровъ. Поля лежатъ пустыя, поросшія полынью, лопухомъ и крапивой.

Она съ ужасомъ отворотилась отъ деревни и вошла въ садъ, остановилась, озираясь вокругъ, не узнавая домовъ, двора.

Садъ, цвѣтникъ, огороды—смѣшались въ одну сплошную кучу, спутались и поросли быліемъ. Туда не заходитъ человѣкъ, только коршунъ, утащивъ живую добычу, терзаетъ ее тамъ на просторѣ.

Новый домъ покривился и вросъ въ землю; людскія развалились; на развалинахъ ползаетъ и жалобно мяучитъ одичалая кошка, да бѣглый колодникъ прячется подъ осѣвшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый домъ. Онъ перестоялъ все — когда все живое съ ужасомъ ушло отъ этихъ мѣстъ — онъ стоитъ мрачный, облупившійся, съ своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стеколъ нѣтъ въ окнахъ, сгнили рамы и въ обвалившихся покояхъ ходитъ вѣтеръ, срывая послѣдніе слѣды жизни.

Въ каминѣ свилъ гнѣздо филинъ, не слышно живыхъ шаговъ, только тѣнь ея... кого ужъ нѣтъ, кто умретъ тогда, ея Вѣры—скользитъ по тусклымъ, треснувшимъ паркетамъ, мѣ-

шая свой сонъ съ воемъ вѣтра, и вслѣдъ за нимъ мчится по саду, съ обрыва въ бесѣдку...

Райскій видѣлъ, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, какъ будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть...

Онъ бросился къ ней и съ помощью Василисы довелъ до дома, усадилъ въ кресло и бросился за докторомъ. Она смотрѣла, не узнавая ихъ. Василиса горько зарыдала и повалилась ей въ ноги.

— Матушка, Татьяна Марковна!—вопила она:—придите въ себя, сотворите крестное знаменіе!

Старуха перекрестилась, вздохнула и знакомъ показала, что не можетъ говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла въ постель, почти машинально, какъ будто не понимая, что дѣлаетъ. Василиса раздѣла ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртомъ, и, наконецъ, заставила проглотить рюмку теплаго вина. Докторъ велѣлъ ее не безпокоить, оставить спать и потомъ дать лѣкарство, которое прописалъ.

До Вѣры дошло неосторожное слово: — бабушка слегла! Она сбросила съ себя одѣяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотѣла идти къ ней. Но Райскій остановилъ ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась въ крѣпкій сонъ.

Къ вечеру Вѣра также разнемоглась. У ней появился жаръ и бредъ. Она металась всю ночь, звала бабушку во снѣ, плакала.

Райскій совсѣмъ потерялъ голову и, наконецъ, рѣшился пригласить стараго доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о разстройствѣ Вѣры, не говоря, конечно, о причинѣ. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ только утра и безпрестанно ходилъ отъ Вѣры къ Татьянѣ Марковны, отъ Татьяны Марковны къ Вѣрѣ.

Бабушка лежала съ закрытой головой. Онъ боялся взгля-

говорить не смѣлъ. Его поразило новое выраженіе ея лица. Мѣсто покорнаго ужаса заступило, повидимому, безотрадное сознаніе. Она не замѣчала его и какъ будто смотрѣла въ глаза своей «бѣдѣ».

Ей на яву снилось, какъ царство ея рушилось, и какъ на мѣстѣ его легла мерзость запустѣнія въ близкомъ будущемъ. Послѣ, отъ нея самой, онъ узналъ страшный сонъ, ей снившійся.

Озираясь на деревню, она видѣла — не цвѣтущій, благоустроенный порядокъ домовъ, а лишенный надзора и попеченія рядъ полусгнившихъ избъ—притонъ пьяницъ, нищихъ, бродягъ и воровъ. Поля лежатъ пустыя, поросшія полынью, лопухомъ и крапивой.

Она съ ужасомъ отворотилась отъ деревни и вошла въ садъ, остановилась, озираясь вокругъ, не узнавая домовъ, двора.

Садъ, цвѣтникъ, огороды—смѣшались въ одну сплошную кучу, спутались и поросли быліемъ. Туда не заходитъ человѣкъ, только коршунъ, утащивъ живую добычу, терзаетъ ее тамъ на просторѣ.

Новый домъ покривился и вросъ въ землю; людскія развалились; на развалинахъ ползаетъ и жалобно мяучитъ одичалая кошка, да бѣглый колодникъ прячется подъ осѣвшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый домъ. Онъ перестоялъ все — когда все живое съ ужасомъ ушло отъ этихъ мѣстъ — онъ стоитъ мрачный, облупившійся, съ своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стеколъ нѣтъ въ окнахъ, сгнили рамы и въ обвалившихся покояхъ ходитъ вѣтеръ, срывая послѣдніе слѣды жизни.

Въ каминѣ свилъ гнѣздо филинъ, не слышно живыхъ шаговъ, только тѣнь ея... кого ужъ нѣтъ, кто умретъ тогда, ея вѣры—скользитъ по тусклымъ, треснувшимъ паркетамъ, мѣ-

шая свой сонъ съ воемъ вѣтра, и вслѣдъ за нимъ мчится по саду, съ обрыва въ бесѣдку...

Райскій видѣлъ, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, какъ будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть...

Онъ бросился къ ней и съ помощью Василисы довелъ до дома, усадилъ въ кресло и бросился за докторомъ. Она смотрѣла, не узнавая ихъ. Василиса горько зарыдала и повалилась ей въ ноги.

— Матушка, Татьяна Марковна!—вошла она:—придите въ себя, сотворите крестное знаменіе!

Старуха перекрестилась, вздохнула и знакомъ показала, что не можетъ говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла въ постель, почти машинально, какъ будто не понимая, что дѣлаетъ. Василиса раздѣла ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртомъ, и, наконецъ, заставила проглотить рюмку теплаго вина. Докторъ велѣлъ ее не безпокоить, оставить спать и потомъ дать лѣкарство, которое прописалъ.

До Вѣры дошло неосторожное слово: — бабушка слегла! Она сбросила съ себя одѣяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотѣла идти къ ней. Но Райскій остановилъ ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась въ крѣпкій сонъ.

Къ вечеру Вѣра также разнемоглась. У ней появился жаръ и бредъ. Она металась всю ночь, звала бабушку во снѣ, плакала.

Райскій совсѣмъ потерялъ голову и, наконецъ, рѣшился пригласить стараго доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о разстройствѣ Вѣры, не говоря, конечно, о причинѣ. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ только утра и безпрестанно ходилъ отъ Вѣры къ Татьянѣ Марковны, отъ Татьяны Марковны къ Вѣрѣ.

Бабушка лежала съ закрытой головой. Онъ боялся взгля-

нуть, спитъ ли она, или все еще одолѣваетъ своей силой силу горя. Онъ на цыпочкахъ ходилъ къ Вѣрѣ и спрашивалъ Наталью Ивановну:

— Что она?

— Безпрестанно просыпается и плачетъ, бредитъ!—говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья.

— Боже мой! — говорилъ Райскій, возвращаясь къ себѣ и бросаясь усталый, и тѣломъ, и душой, въ постель. — Думалъ ли я, что въ этомъ углу вдругъ попаду на такія драмы, на такія личности? Какъ громадна и страшна простая жизнь въ наготѣ ея правды, и какъ люди остаются цѣлы послѣ такой трескотни! А мы тамъ, въ кучѣ, стряпаемъ свою жизнь и страсти, какъ повара—тонкія блюда!..

VIII.

Вѣрѣ къ утру не было лучше. Жаръ продолжался, хотя она и спала. Но сонъ ея безпрестанно прерывался, и она лежала въ забытьи.

Райскій пошелъ къ Татьянѣ Марковнѣ и вмѣстѣ съ Василисой вошелъ въ ея спальню.

Она лежала все въ томъ же положеніи, какъ цѣлый день вчера.

— Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтобъ не испугать,—шепталъ Райскій.

— Не разбудить ли барыню?

— Да надо бы, Вѣра больна... Я не знаю, послать ли за Петромъ Петровичемъ?..

Онъ не договорилъ, какъ Татьяна Марковна вдругъ приподнялась и сѣла на постели.

— Вѣра больна?—повторила она.

Райскій вздохнулъ свободнѣе.

На лицо бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдругъ хлынула жизнь, забота, страхъ. Она сдѣлала ему знакъ рукой, чтобъ вышелъ, и въ полчаса кончила свой туалетъ.

Широкими, но послѣшными шагами, съ тревогой на лицѣ, перешла она черезъ дворъ и поднялась къ Вѣрѣ. Усталости — какъ не бывало. Жизнь воротилась къ ней, и Райскій радовался, какъ доброму другу, страху на ея лицѣ.

Она осторожно вошла въ комнату Вѣры, устремила глубокій взглядъ на ея спящее, блѣдное лицо и шепнула Райскому послать за старымъ докторомъ. Она тутъ только замѣтила жену священника, увидала ея измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней цѣлый день.

— Теперь никто не нуженъ: я тутъ! — сказала она и устроила себѣ помѣщеніе подлѣ постели Вѣры.

Пріѣхалъ докторъ. Татьяна Марковна, утаивъ причину, искусно объяснила ему разстройство Вѣры. Онъ нашелъ признаки горячки, далъ лѣкарство и сказалъ, что если она успокоится, то и послѣдствій опасныхъ ожидать нельзя.

Вѣра въ полуснѣ приняла лѣкарство и вечеромъ заснула крѣпко.

Татьяна Марковна сѣла сзади изголовья и положила голову на тѣ же подушки съ другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движеніе, вслушиваясь въ дыханіе Вѣры.

Вѣра просыпалась, спрашивала:

— Ты спишь, Наташа? — и не получивъ отвѣта, закрывала глаза, по временамъ открывая ихъ съ мучительнымъ вздохомъ опять, лишь только память и сознаніе напомнятъ ей ея положеніе.

Она спѣшила погрузиться въ свою дремоту; ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой.

Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука изъ за подушки подала ей питье.

— Что бабушка?—спросила она, открывъ глаза и опять закрыла ихъ.

— Наташа, гдѣ ты? поди сюда, что ты все прячешься?

Отвѣта не было.

Она глубоко вздохнула и опять стала дремать.

— Бабушка нейдетъ! Бабушка не любитъ!—шептала она съ тоской, отрезвившись на минуту отъ сна.—Бабушка не проститъ!

— Бабушка пришла! Бабушка любитъ! Бабушка простила!—произнесъ голосъ надъ ея головой.

Вѣра вскочила съ постели и бросилась къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Бабушка!—закричала она и спрятала голову у ней на груди, почти въ обморокѣ.

Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей сѣдой головой рядомъ съ этими темными, густыми волосами, разбросанными по блѣдному, прекрасному, измученному лицу.

Вѣра, очнувшись на груди этой своей матери, въ потокахъ слезъ, безъ словъ, въ судорогахъ рыданій изливала свою исповѣдь, раскаяніе, горе, всю, вдругъ прорвавшуюся силу страданій.

Бабушка молча слушала рыданія и платкомъ отирала ея слезы, не мѣшая плакать, и только прижимая ея голову къ своей груди и осыпая поцѣлуями.

— Не ласкайте, бабушка... бросьте меня... не стою я... отдайте вашу любовь и ласки сестрѣ...

Бабушка въ отвѣтъ крѣпче прижала ее къ груди.

— Сестрѣ не нужны больше мои ласки, а мнѣ нужна твоя любовь — не покидай меня, Вѣра, не чуждайся меня больше: я сирота!—сказала она, и сама заплакала.

Вѣра сжала ее всей своей силой.

— Мать моя, простите меня...—шептала она.

Бабушка поцѣлуемъ зажала ей ротъ.

— Молчи, ни слова—никогда!

— Я не слушала васъ... Богъ покаралъ меня за васъ...

— Что ты говоришь, Вѣра? — вдругъ, въ ужасѣ, блѣднѣя, остановила ее Татьяна Марковна, и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лѣсу и по оврагамъ.

— Да, я думала, что одной своей воли и ума довольно на всю жизнь, что я умнѣе всѣхъ васъ...

Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, повидимому, встревожила какая-то другая мысль, или предположеніе.

— Ты и умнѣе меня, и больше училась,—сказала она:— тебѣ Богъ далъ много остроты — но ты не опытнѣе бабушки...

«Теперь... и опытнѣе!» подумала Вѣра и припала лицомъ къ ея плечу.—Возьмите меня отсюда, Вѣры нѣтъ. Я буду вашей Марѳинькой...—шептала она.—Я хочу вонъ изъ этого стараго дома, туда, къ вамъ.

Бабушка молча ласкала ее.

Обѣ головы поклонились рядомъ, и ни Вѣра, ни бабушка не сказали больше ни слова. Онѣ тѣсно прижались другъ къ другу и къ утру заснули въ объятіяхъ одна другой.

IX.

Вѣра встала утромъ безъ жара и озноба, только была блѣдна и утомлена. Она выплакала болѣзнь на груди бабушки. Докторъ сказалъ, что ничего больше и не будетъ, но не велѣлъ выходить нѣсколько дней изъ комнаты.

Все пришло въ прежній порядокъ. Именины Вѣры, по ея желанію, прошли незамѣтно. Ни Марѳинька, ни Викентьевы не пріѣхали съ той стороны. Къ нимъ посланъ былъ нарочный сказать, что Вѣра Васильевна не такъ здорова и не выходитъ изъ комнаты.

Тушинъ прислалъ почтительную записку съ поздравленіемъ и просилъ позволенія побывать.

Ему отвѣчали:—«погодите, я еще нездорова».

Пріѣзжавшимъ изъ города всѣмъ отказывали, подъ предлогомъ болѣзни именинницы. Только горничныя, несмотря ни на что, разрядились въ свои разноцвѣтныя платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакеи опять напились пьяны.

Вѣра и бабушка стали въ какое-то новое положеніе одна къ другой. Бабушка не казнила Вѣру никакимъ притворнымъ снисхожденіемъ, хотя очевидно не принимала такъ легко рѣшительный опытъ въ жизни женщины, какъ Райскій, и еще менѣе обнаруживала то безусловное презрѣніе, какимъ клеймитъ эту «ошибку», «несчастье», или пожалуй, «паденіе», старый, въѣвшійся въ людскія понятія ригоризмъ, не разбирающій даже строго причинъ «паденія».

Обѣ смотрѣли другъ на друга серьезно, говорили мало, больше о мелочахъ, ежедневныхъ предметахъ, но въ обмѣнивающихся взглядахъ высказывался цѣлый нѣмой разговоръ.

Обѣ какъ будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова, ни въ защиту, ни въ оправданіе «паденія», не напоминала ни о чемъ, и видимо старалась, чтобъ и Вѣра забыла.

Она только удвоила ласки, но неумышленно, не притворно—съ цѣлью только скрыть свой судъ или свои чувства. Она въ самомъ дѣлѣ была нѣжнѣе, будто Вѣра стала милѣе и ближе ей послѣ своей откровенности, даже и самаго проступка.

Вѣра видѣла эту безыскусственность, но ей было не легче отъ этого. Она ждала и хотѣла строгаго суда, казни. Напримѣръ, если бъ бабушка на полгода или на годъ отослала ее съ глазъ долой, въ свою дальнюю деревню, а сама справилась бы какъ-нибудь съ своими обманутыми и поруганными чувствами довѣрія, любви, и потомъ простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее въ свою

любовь, не дарила бы лаской и нѣжностью, пока Вѣра нѣсколькими годами, работой всѣхъ силъ ума и сердца, не воротила бы себѣ права на любовь этой матери — тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупленіе, или, по крайней мѣрѣ, забвеніе, если правда, что «время все стираетъ съ жизни», какъ утверждаетъ Райскій.

«Все ли?» думала она печально. Времени не стало бы стереть всѣ ея муки, которыя теперь, одна за другою, являлись по очереди, наносить каждая свои удары, взглянувъ сначала всѣ вмѣстѣ ей въ лицо.

Она уже пережила ихъ нѣсколько, теперь переживаетъ одну изъ самыхъ страшныхъ, а внутри ея еще прячется самая злая, которой никто не знаетъ и которую едва ли сотреть время.

Она старалась не думать о ней, и въ эту минуту думала только—какъ помирить бабушку съ горемъ, облегчить ей удары.

Она вникала въ это молчаніе бабушки, въ эту ея новую нѣжность къ себѣ, и между тѣмъ подстерегала какіе-то, бросаемые исподтишка взгляды на нее, — и не знала, чѣмъ ихъ объяснить?

Что бабушка страдаетъ невыразимо—это ясно. Она отъ скорби измѣнилась, по временамъ горбится, пожелтѣла, у ней прибавились морщины. Но тутъ же рядомъ, глядя на Вѣру, или слушая ее, она вдругъ выпрямится, взглядъ ея загорится такою нѣжностью, что какъ-будто она теперь только нашла въ Вѣрѣ, не прежнюю Вѣру, внучку, но собственную дочь, которая стала ей еще милѣе.

Отчего же милѣе? Можетъ-быть, бабушка теперь щадитъ ее, думалось Вѣрѣ, оттого, что ея женское, глубокое сердце открылось состраданію. Ей жаль карать бѣдную, больную, покаявшуюся,—и она рѣшилась покрыть ея грѣхъ христіанскимъ милосердіемъ.

«Да, больше нечего предположить», смиренно думала она.

«Но Боже мой, какое страданіе—нести это милосердіе, эту милостыню! Упасть, безъ надежды встать—не только въ глазахъ другихъ, но даже въ глазахъ этой бабушки, своей матери!»

Она будетъ лелѣять, ласкать ее, пожалуй, больше прежняго, но ласкать, какъ ласкаютъ бѣднаго идіота, помѣшаннаго, обиженнаго природой или судьбой, или еще хуже—какъ падшаго, несчастнаго брата, которому люди бросаютъ милостыню состраданія!

Гордость, человѣческое достоинство, права на уваженіе, цѣлость самолюбія — все разбито вдребезги! Оборвите эти цвѣты съ вѣнка, которымъ украшенъ человѣкъ, и онъ сдѣлается почти вещью.

Толпа сострадательно глядитъ на падшаго и казнитъ молчаніемъ, какъ бабушка—ее! Нельзя жить тому, въ чьей душѣ когда-нибудь жила законная человѣческая гордость, сознаніе своихъ правъ на уваженіе, кто носилъ прямо голову,—нельзя жить!

Она слыхала нѣсколько примѣровъ увлеченій, припомнила, какой судъ изрекали люди надъ падшими, и какъ эти несчастныя несли казнь почти публичныхъ ударовъ.

«Чѣмъ я лучше ихъ?» думала Вѣра. «А Маркъ увѣрялъ, и Райскій тоже, что за этимъ... «Рубикономъ» начинается другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая «лучшая»!

Бабушка сострадательна къ ней: отъ одного этого можно умереть! А бывало она уважала ее, гордилась ею, признавала за ней права на свободу мыслей и дѣйствій, давала ей волю, вѣрила ей! И все это пропало! Она обманула ея довѣріе и не устояла въ своей гордости!

Она—нищая въ родномъ кругу. Ближніе видѣли ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой изъ жалости, гордо думая про себя: «Ты не встанешь никогда,

бѣдная, и не станешь съ нами рядомъ, прими, Христа ради, наше прощеніе!»

«Что-жъ, и приму, ради Его—и смирюсь! Но я хочу не милости, а гнѣва, грома... Опять гордость! гдѣ же смиреніе? Смиреніе значитъ—выносить взглядъ укоризны чистой женщины, блѣднѣть подъ этимъ взглядомъ цѣлые годы, всю жизнь, и не смѣть роптать. И не буду! Перенесу все: сострадательное великодушіе Тушина и Райскаго, жалость, прикрывающую, можетъ-быть, невольное презрѣніе бабушки... «Бабушка презираетъ меня!»—вся трясясь отъ тоски, думала она и пряталась отъ ея взгляда, сидѣла молча, печальная, у себя въ комнатѣ, отворачивалась, или потупляла глаза, когда Татьяна Марковна смотрѣла на нее съ глубокой нѣжностью.. или сожалѣніемъ, какъ казалось ей.

Тутъ ей, какъ всегда бываетъ, представлялась чистота, прелесть, весь ароматъ ея жизни—до встрѣчи съ Маркомъ, ея спокойствіе до рокового вечера... Онъ вздрагивала.

Оказалось, что у ней пропало и пренебреженіе къ чужому мнѣнію. Ей стало больно упасть въ глазахъ даже и «глупцовъ», какъ выражался Маркъ. Она вздыхала по удивленію ихъ къ себѣ, ей стало жаль общаго поклоненія, теперь утраченнаго!

«Ахъ, хоть «Кунигунда» надоумила бы меня тогда!» думала она съ трагическимъ юморомъ.

Она хотѣла молиться, и не могла. О чемъ она станетъ молиться? Ей остается смиренно склонить голову передъ громомъ и нести его. Она клонила голову и несла тяжесть «презрѣнія», какъ она думала.

Снаружи она казалась всѣмъ покойною, но глаза у ней впали, краски не появлялись на блѣдномъ лицѣ, пропала грація походки, свобода движеній. Она худѣла и видимо томилась жизнью.

Ей ни до кого и ни до чего не было дѣла. Она отпустила Наталью Ивановну домой, сидѣла у себя запершись, объ-

дала съ бабушкой, поникала головой, когда та обращала на нее пристальный взглядъ, или заговаривала ласково и нѣжно. Она дѣлалась еще угрюмѣе, и спѣшила исполнять, покорнѣе Пашутки, каждое желаніе Татьяны Марковны, выраженное словомъ или взглядомъ.

Ее какъ будто стало не видно и не слышно въ домѣ. Ходила она тихо, какъ тѣнь, просила, что̀ нужно, шопотомъ, не глядя въ глаза никому прямо. Не смѣла ничего приказывать. Ей казалось, что Василиса и Яковъ смотрѣли на нее сострадательно, Егорка дерзко, а горничныя насмѣшливо.

«Вотъ она «новая жизнь!» думала она, потупляя глаза передъ взглядомъ Василисы и Якова и сворачивая быстро въ сторону отъ Егорки и отъ горничныхъ. А никто въ домѣ, кромѣ Райскаго, не зналъ ничего. Но ей казалось, какъ всѣмъ кажется въ ея положеніи, что она читала свою тайну у всѣхъ на лицѣ.

И Татьяна Марковна, наблюдая за Вѣрой, задумывалась и какъ-будто заражалась ея печалью. Она тоже ни съ кѣмъ почти не говорила, мало спала, мало входила въ дѣла, не принимала ни приказчика, ни купцовъ, приходившихъ справляться о хлѣбѣ, не отдавала приказаній въ домѣ. Она сидѣла, опершись рукой о столъ и положивъ голову въ ладони, оставаясь подолгу одна.

И она, и Вѣра, обѣ привязались къ Райскому. Простота его души, мягкость, искренность, глядѣвшая изъ каждаго слова, и откровенность, простертая до болтливости, наконецъ игра фантазіи—все это нѣсколько утѣшало и развлекало и ту, и другую.

Онъ иногда даже заставлялъ ихъ улыбаться. Но онъ напрасно старался изгнать совсѣмъ печаль, тучей сѣвшую на нихъ обѣихъ и на весь домъ. Онъ и самъ печалился, видя, что ни уваженіе его, ни нѣжность бабушки—не могли возвратить бѣдной Вѣрѣ прежней бодрости, гордости, увѣренности въ себѣ, силъ ума и воли.

— Бабушка презираетъ меня, любитъ изъ жалости! Нельзя жить, я умру!—шептала она Райскому.

Тотъ бросался къ Татьянѣ Марковнѣ, передавая ей новыя мýки Вѣры. Къ ужасу его, бабушка, какъ потерянная, слушала эти тихіе стоны Вѣры, не находя въ себѣ силъ утѣшить ее, блѣднѣла и шла молиться.

— Молись и ты!—шептала она ей иногда мимоходомъ.

— Молитесь вы за меня,—я не могу!—отвѣчала Вѣра.

— Плачь!—говорила бабушка.

— Слезъ нѣтъ!—отвѣчала Вѣра, и онѣ молча расходились по своимъ угламъ.

Райскій также привязался къ нимъ обѣимъ, сталъ ихъ другомъ. Вѣра и бабушка высоко поднялись въ его глазахъ, какъ святыя, и онъ жадно ловилъ каждое слово, взглядъ, не зная передъ кѣмъ умиляться, плакать.

Въ Вѣрѣ оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тутъ рядомъ возникла другая статуя—сильной, античной женщины—въ бабушкѣ. Та огнемъ страсти, испытанія, очистилась до самопознанія и самообладанія, а эта...

Откуда у ней этотъ источникъ мудрости и силы? Она—дѣвушка! Онъ никакъ не могъ добраться; бабушка была загадкой для него. Онъ напрасно искалъ ключа.

Обѣ упрашивали Райскаго остаться тутъ навсегда, жениться, завестись домомъ.

— Боюсь, не выдержу,—говорилъ онъ въ отвѣтъ: — воображеніе опять запроситъ идеаловъ, а нервы новыхъ ощущеній, и скука съѣстъ меня заживо! Какія цѣли у художника? Творчество—вотъ его жизнь!.. Прощайте! скоро уѣду,—заканчивалъ онъ обыкновенно свою рѣчь, и еще больше печалилъ обѣихъ и самъ чувствовалъ горе, а за горемъ грядущую пустоту и скуку.

Бабушка погружалась въ свою угрюмость, Вѣра тайно убивалась печалью, и дни проходили за днями. Тоска Вѣры

была постоянная, неутолимая, и печаль Татьяны Марковны возрастала по мѣрѣ того, какъ она слѣдила за Вѣрой.

Она, пока Вѣра хворала, проводила ночи въ старомъ домѣ, ложась на диванѣ, противъ постели Вѣры, и караулила ея сонъ. Но почти всегда случалось такъ, что обѣ женщины, думая подстеречь одна другую, видѣли, что ни та, ни другая не спитъ.

— Ты не спишь, Вѣрочка?—спроситъ бабушка.

— Сплю, — отвѣчаетъ Вѣра и закрываетъ глаза, чтобъ обмануть бабушку.

— Вы не спите, бабушка?—спроситъ и Вѣра, также поймавъ ея, смотрящій на нее взглядъ.

— Сейчасъ только проснулась,—говоритъ Татьяна Марковна, и поворачивается на другой бокъ.

«Нельзя жить! нѣтъ покоя и не будетъ никогда!» терзалась про себя Вѣра.

«Нѣтъ — не избудешь горя. Богъ велитъ казнить себя, чтобъ успокоить ее...» думала бабушка съ глубокимъ вздохомъ.

— Когда же вы возьмете меня къ себѣ отсюда, бабушка?

— Послѣ свадьбы, когда Марфинька уѣдетъ...

— Я теперь хочу, мнѣ не живется здѣсь, не спится...

— Погоди, оправься немного, тогда...

Вѣра умолкала, не смѣя настаивать.

«Не береть!» думала она: «презираетъ...»

X.

На другой день послѣ такой безсонной ночи, Татьяна Марковна послала съ утра за Титомъ Никонычемъ. Онъ пріѣхалъ-было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и «отмѣнной дѣвицѣ» Вѣрѣ Васильевнѣ болѣзнь и разстройство миновались благополучно, привезъ громадный арбузъ и ананасъ въ подарокъ, расшаркался, разлюбезничался, блистая

складками бѣлоснѣжной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синимъ фракомъ, съ золотыми пуговицами, и сладчайшей улыбкой.

— Обновилъ къ осени фуфайку, поздравьте, — сказалъ онъ:—подарокъ дражайшаго Бориса Павловича...

Взглянувъ на Татьяну Марковну, онъ вдругъ остолбенѣлъ и испугался.

Она, накинувъ на себя мѣховую кацавейку и накрывъ голову косынкой, молча сдѣлала ему знакъ идти за собой и повела его въ садъ. Тамъ, сидя на скамьѣ Вѣры, она два часа говорила съ нимъ, и потомъ воротилась, глядя себѣ подъ ноги, домой, а онъ, не зашедши къ ней, точно, убитый, отправился къ себѣ, велѣлъ камердинеру уложиться, послалъ за почтовыми лошадьми и уѣхалъ въ свою деревню, куда нѣсколько лѣтъ не заглядывалъ.

Райскій зашелъ къ нему и съ удивленіемъ услышалъ эту новость. Обратился къ бабушкѣ, та сказала, что у него въ деревнѣ что-то не покойно.

Вѣра была грустнѣе, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диванѣ и смотрѣла на полъ, или ходила взадъ и впередъ по комнатамъ стараго дома, блѣдная, съ желтыми пятнами около глазъ.

На лбу у ней въ эти минуты ложилась рѣзкая линія— намекъ на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя въ зеркало. Иногда подходила къ столу, гдѣ лежало нераспечатанное письмо на синей бумагѣ, бралась за ключъ и съ ужасомъ отходила прочь.

«Куда уйти? гдѣ спрятаться отъ цѣлаго міра?» думала она.

Нынѣшній день протянулся до вечера, какъ вчерашній, какъ, вѣроятно, протянется, завтрашній. Насталъ вечеръ, ночь. Вѣра легла и загасила свѣчу, глядя открытыми глазами въ темноту. Ей хотѣлось забыться, уснуть, но сонъ не приходилъ.

Въ темнотѣ рисовались ей какія-то пятна, черньѣе самой темноты. Пробѣгали, волнуясь, какія-то тѣни по слабому свѣту оконъ. Но она не пугалась; нервы были убиты, и она не замерла бы отъ ужаса, если бъ изъ угла встало передъ ней привидѣніе, или вкрался бы воръ или убійца въ комнату, не смутилась бы, если бъ ей сказали, что она не встанетъ болѣе.

И она продолжала глядѣть въ темноту, на проносившіяся волнистыя тѣни, на черныя пятна, сгущавшіяся въ темнотѣ, на какіе-то вертящіеся, какъ въ калейдоскопѣ, кружки...

Вдругъ ей показалось, что дверь ея начинаетъ понемногу отворяться, вотъ скрипнула...

Она уперлась на локоть и устремила глаза въ дверь.

Показался свѣтъ и рука, загородившая огонь. Вѣра перестала смотрѣть, положила голову на подушку и притворилась спящею. Она видѣла, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно, съ ручной лампой. Она спустила съ плечъ на стулъ салопъ и шла тихо къ постели, въ бѣломъ капотѣ, безъ чепца, какъ привидѣніе.

Поставивъ лампу на столикъ, за изголовьемъ Вѣры, она сама сѣла напротивъ, на кушетку, такъ тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столикъ, не заскрипѣла кушетка, когда она садилась.

Она пристально смотрѣла на Вѣру: та лежала съ закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала съ нея глазъ, и изрѣдка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.

Прошло больше часа. Вѣра вдругъ открыла глаза. Татьяна Марковна смотритъ на нее пристально.

— Тебѣ не спится, Вѣрочка?

— Не спится.

— Отчего?

Молчаніе. Вѣра глядѣла въ лицо Татьяны Марковны и замѣтила, что она блѣдна.

«Не можетъ перенести удара», думала Вѣра: «а притворства недостаетъ, правда рвется наружу...»

— Зачѣмъ вы казните меня и по ночамъ, бабушка?— сказала она тихо.

Бабушка молча смотрѣла на нее.

Вѣра отвѣчала ей такимъ же продолжительнымъ взглядомъ. Обѣ женщины говорили глазами и, казалось, понимали другъ друга.

— Не смотрите такъ, ваша жалость убьетъ меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по каплѣ презрѣніе... Бабушка! мнѣ невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую. Я бы утопилась...

— Зачѣмъ, Вѣра, не то говоритъ у тебя языкъ, что думаетъ голова?

— А зачѣмъ вы молчите? что у васъ на умѣ? Я не понимаю вашего молчанія и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите...

— Тяжело, Вѣра, говорить. Молись, и пойми бабушку безъ разговора... если можно...

— Пробовала молиться, да не могу. О чемъ? чтобъ умереть скорѣй?

— О чемъ ты тоскуешь, когда все забыто? — сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще разъ успокоить Вѣру, и пересѣла съ кушетки къ ней на постель.

— Нѣтъ, не забыто! Моя вина написана у васъ въ глазахъ... Они все говорятъ..

— Что они говорятъ?

— Что нельзя жить больше, что... все погибло.

— Не умѣешь ты читать бабушкиныхъ взглядовъ!

— Я умру, я знаю! только бы скорѣй, ахъ, скорѣй! — говорила Вѣра, ворочая лицо къ стѣнѣ.

Татьяна Марковна тихо покачала головой.

— Нельзя жить! — съ унылой увѣренностью повторила Вѣра.

— Можно! — съ глубокимъ вздохомъ сказала Татьяна Марковна.

— Послѣ... того?..—обернувшись къ ней, спросила Вѣра.

— Послѣ того...

Теперь Вѣра вздохнула безнадежно.

— Вы не знаете, бабушка... вы не такая!..

— Такая!.. — чуть слышно, наклоняясь къ ней, прошептала Татьяна Марковна.

Вѣра быстро взглянула на нее съ жадностью раза два, три, потомъ печально опустилась на подушки.

— Вы святая! Вы никогда не были въ моемъ положеніи... — говорила она, какъ будто про себя. — Вы праведница!

— Грѣшница! — чуть слышно прошептала Татьяна Марковна.

— Всѣ грѣшны... но не такая грѣшная, какъ я...

— Такая же...

— Что?!—вдругъ приподнявшись на локоть, съ ужасомъ въ глазахъ и въ голосѣ спросила Вѣра.

— Такая же грѣшница, какъ и ты...

Вѣра обѣими руками вцѣпилась ей въ кофту и прижалась лицомъ къ ея лицу.

— Зачѣмъ клевещешь на себя? — почти шипѣла она, дрожа: — чтобъ успокоить, спасти бѣдную Вѣру? Бабушка, бабушка, не лги!

— Я не лгу никогда, — шептала, едва осиливая себя, старуха: — ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грѣшница... грѣшница... — говорила она, сползая на колѣни передъ Вѣрой и клоня сѣдую голову ей на грудь.—Прости и ты меня!..

Вѣра замерла отъ ужаса.

— Бабушка...—шептала она, и въ изумленіи широко открыла глаза, точно воскресая:—можетъ ли это быть?

И вдругъ съ силой прижала голову старухи къ груди.

— Что ты дѣлаешь? зачѣмъ говоришь мнѣ это?.. Молчи! Возьми назадъ свои слова! Я не слыхала, я ихъ забуду, сочту своимъ бредомъ... не казни себя для меня!

— Нельзя, Богъ велитъ!—говорила старуха, стоя на колѣняхъ у постели и склонивъ голову.

— Встань, бабушка!.. Поди ко мнѣ сюда!..

Бабушка плакала у ней на груди.

И Вѣра зарыдала, какъ ребенокъ.

— Зачѣмъ сказала ты...

— Надо! *Онъ* велитъ смириться,—говорила старуха, указывая на небо:—просить у внучки прощенія. Прости меня, Вѣра, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя... Напрасно я хотѣла обойти тайну, умереть съ ней... Я погубила тебя своимъ грѣхомъ...

— Ты спасаешь меня, бабушка... отъ отчаянія...

— И себя тоже, Вѣра. Богъ проститъ насъ, но Онъ требуетъ очищенія! Я думала, грѣхъ мой забытъ, прощенъ. Я молчала и казалась праведной людямъ: не правда! Я была — какъ «окрашенный гробъ» среди васъ, а внутри таился неомытый грѣхъ! Вотъ онъ гдѣ вышелъ наружу—въ твоемъ грѣхѣ! Богъ покаралъ меня въ немъ... Прости же меня отъ сердца...

— Бабушка! развѣ можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нѣтъ другой такой матери... Если бъ я тебя знала... вышла ли бы я изъ твоей воли?..

— Это мой другой страшный грѣхъ!—перебила ее Татьяна Марковна:—я молчала и не отвела тебя... отъ обрыва! Мать твоя изъ гроба достаетъ меня за это; я чувствую—она все снится мнѣ... Она теперь тутъ, между насъ... Прости меня и ты, покойница! — говорила старуха, дико озираясь вокругъ и простирая руку къ небу. У Вѣры пробѣжала дрожь

по тѣлу.—Прости и ты, Вѣра—простите обѣ!.. Будемъ молиться!..

Вѣра силилась поднять ее.

Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и сѣла на кушетку. Вѣра подала ей одеколонъ и воды, смочила ей виски, дала успокоительныхъ капель, и сама сѣла на коврѣ, осыпая поцѣлуями ея руки.

— Ты знаешь, нѣтъ ничего тайнаго, что не вышло бы наружу! — заговорила Татьяна Марковна, оправившись! — Сорокъ пять лѣтъ два человѣка только знали: *онъ*, да Василиса, и я думала, что мы умремъ всѣ съ тайной. А вотъ—она вышла наружу! Боже мой! — говорила какъ будто въ помѣшательствѣ Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая ихъ къ образу Спасителя:—если бъ я знала, что этотъ громъ ударитъ когда-нибудь въ другую... въ мое дитя, — я бы тогда же на площади, передъ соборомъ, въ толпѣ народа, исповѣдала свой грѣхъ!

Вѣра слушала въ изумленіи, глядя большими глазами на бабушку, боялась вѣрить, пытливо изучала каждый ея взглядъ и движеніе, сомнѣваясь, не героическій ли это поступокъ, не великодушный ли замыселъ — спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, колѣнопреклоненіе, слезы старухи, обращеніе къ умершей матери... Нѣтъ, никакая актриса не покусилась бы играть въ такую игру, а бабушка—вся правда и честность!

Вѣрѣ становилось тепло въ груди, легче на сердцѣ. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась отъ сна, чувствуя, что въ нее льется волнами опять жизнь, что тихо, какъ другъ, стучится миръ въ душу, что душу эту, какъ темный, запущенный храмъ, освѣтили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась въ цвѣтникъ.

Кровь у ней начала свободно переливаться въ жилахъ; далъ мало-по-малу принимала свой утерянный ходъ, какъ

испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди къ ней дружелюбны, природа опять заблеститъ для нея красотой.

Завтра она встанетъ бодрая, живая, покойная, увидитъ любимыя лица, увѣрится, что Райскій не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.

Тушинъ попрежнему будетъ гордъ и счастливъ ея дружбой и станетъ «любить ее еще больше», онъ самъ сказалъ. Съ бабушкой онѣ теперь — не бабушка съ внучкой, а двѣ подруги, близкія, равныя, неразлучныя.

Она даже нечаянно начала ей говорить *ты*, какъ и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное *вы*, и она оставитъ за собой это право.

Она теперь только поняла эту усилившуюся къ ней, послѣ признанія, нѣжность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ея неудобоносимое горе на свои старыя плечи, стерла своей виной ея вину и не сочла послѣднюю за «потерю чести». Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нѣжнѣйшая женщина въ мірѣ, всѣхъ любящая, исполняющая такъ свято всѣ свои обязанности, никого никогда не обидѣвшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другимъ, — эта, всѣми чтимая женщина, «пала, потеряла честь!»

Стало-быть ей, Вѣрѣ, надо быть бабушкой въ свою очередь, отдать всю жизнь другимъ, и путемъ долга, нескончаемыхъ жертвъ и труда, начать «новую» жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро...

Все это вихремъ неслось у ней въ головѣ и будто уносило ее-самоё на какихъ-то облакахъ. Ей на душѣ становилось свободнѣе, какъ преступнику, которому расковали руки и ноги.

Она вдругъ встала...

— Бабушка,—сказала она:—ты меня простила, ты любишь меня больше всѣхъ, больше Марфиньки—я это вижу!

А видишь ли, знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? Я не страдала бы такъ сильно, если бъ такъ же сильно не любила тебя! Какъ долго мы не знали съ тобой другъ друга!..

— Сейчасъ узнаешь все, выслушай мою исповѣдь — и осуди строго, или прости—и Богъ проститъ насъ...

— Я не хочу, не должна, не смѣю! Зачѣмъ?..

— Затѣмъ, чтобъ и мнѣ вытерпѣть теперь то, что я должна была вытерпѣть сорокъ пять лѣтъ тому назадъ. Я украла свой грѣхъ! Ты знаешь его, узнаетъ и Борисъ. Пусть внукъ посмѣется надъ сѣдинами старой Кунигунды!..

Бабушка прошла раза два въ волненіи по комнатѣ, тряся съ фанатической рѣшимостью головой.

Она опять походила на старый женскій, фамильный портретъ въ галлереѣ, съ суровой важностью, съ величіемъ и увѣренностью въ себѣ, съ лицомъ, истерзаннымъ пыткой, и съ гордостью, осилившей пытку. Вѣра чувствовала себя жалкой дѣвочкой передъ ней и робко глядѣла ей въ глаза, мысленно мѣряя свою молодую, только-что вызванную на борьбу съ жизнью силу — съ этой старой, искушенной въ долгой жизненной борьбѣ, но еще крѣпкой, повидимому, несокрушимой силой.

«Я не понимала ея! Гдѣ была моя хваленая «мудрость» передъ этой бездной!..» думала она, и бросилась на помощь бабушкѣ—помѣшать исповѣди, отвести ненужныя и тяжелыя страданія отъ ея измученной души.

Она стала передъ ней на колѣни и взяла ее за обѣ руки.

— Ты сама чувствуешь, бабушка, — сказала она: — что ты сдѣлала теперь для меня: всей моей жизни недостанетъ, чтобъ заплатить тебѣ. Нейди далѣе; здѣсь конецъ твоей казни! Если ты непремѣнно хочешь, я шепну слово брату о твоемъ прошломъ—и пусть оно закроется навсегда! Я видѣла твою мýку, зачѣмъ ты хочешь еще истязать себя исповѣдью? Судъ совершился—я не приму ея. Не мнѣ слушать и судить тебя—дай мнѣ только обожать твои святыя

сѣдины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое послѣднее слово!

Татьяна Марковна вздохнула, потомъ обняла ее.

— Да будетъ такъ! — сказала она: — я принимаю твое рѣшеніе, какъ Божіе прощеніе — и благодарю тебя за пощаду моей сѣдины..

— Пойдемъ теперь туда, къ тебѣ, отдохнемъ обѣ, — говорила Вѣра.

Татьяна Марковна почти на рукахъ донесла ее до дому, уложила въ свою постель и легла съ ней рядомъ.

Когда Вѣра, согрѣтая въ ея объятіяхъ, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взявъ ручную лампу, загородила рукой свѣтъ отъ глазъ Вѣры и нѣсколько минутъ освѣщала ея лицо, глядя съ умиленіемъ на эту блѣдную, чистую красоту лба, закрытыхъ глазъ, и на всѣ, точно рукой великаго мастера изваянныя, чистыя и тонкія черты бѣлаго мрамора, съ глубокимъ, лежащимъ въ нихъ миромъ и покоемъ.

Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ея лба и опустилась на колѣни у постели.

— Милосердуй надъ ней!—молилась она почти въ изступленіи: — и если не исполнилась еще мѣра гнѣва Твоего, отведи его отъ нея—и ударь опять въ мою сѣдую голову!..

Долго послѣ молитвы сидѣла она надъ спящей, потомъ тихо легла подлѣ нея и окружила ея голову своими руками. Вѣра пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала ихъ, и въ полуснѣ приникала все плотнѣе и плотнѣе лицомъ къ ея груди, какъ будто хотѣла глубже зарыться въ ея объятія.

XI.

Проходили дни, и съ ними опять тишина повисла надъ Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, какъ

порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнѣе.

Но въ этой тишинѣ отсутствовала безпечность. Какъ на природу внѣшнюю, такъ и на людей, легла будто осень. Всѣ были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, отъ всѣхъ отдавало холодомъ, слетѣли и съ людей, какъ листья съ деревьевъ, улыбки, смѣхъ, радости. Мучительныя скорби миновали, но колоритъ и тоны прежней жизни измѣнились.

У Вѣры съ бабушкой установилась тѣсная, безмолвная связь. Онѣ, со времени извѣстнаго вечера, послѣ взаимной исповѣди, хотя и успокоили одна другую, но не вполнѣ успокоились другъ за друга, и обѣ вопросительно, отчасти недовѣрчиво, смотрѣли вдаль, опасаясь будущаго.

Переработаетъ ли въ себѣ бабушка всю эту внезапную тревогу, какъ землетрясеніе, всколыхавшую ея душевный миръ? спрашивала себя Вѣра и читала въ глазахъ Татьяны Марковны, привыкаетъ ли она къ другой, не прежней Вѣрѣ, и къ ожидающей ее новой, неизвѣстной, а не той судьбѣ, какую она ей гадала? Не сѣтуетъ ли безсознательно про себя на ея своевольное вмѣшательство въ ея счастливой, старческой дремоты? Воротится ли къ ней когда-нибудь ясность и покой въ душу?

А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Вѣры, боялась, вынесетъ ли она крестъ покорнаго смиренія, какой судьба, по ея мнѣнію, налагала, какъ искупленіе за «грѣхъ»? Не подточитъ ли сломленная гордость и униженное самолюбіе ея нѣжныхъ, молодыхъ силъ? Излѣчима ли ея тоска, не обратилась бы она въ хроническую болѣзнь?

Бабушка машинально приняла опять бразды правленія надъ своимъ царствомъ. Вѣра усердно ушла въ домашнія хлопоты, особенно заботилась о приданомъ Марфиньки, и принесла туда свой вкусъ и трудъ.

Въ ожиданіи какого-нибудь серьезнаго труда, какой могла дать ей жизнь со временемъ, по ея уму и силамъ,

она положила не избѣгать никакого дѣла, какое представится около нея, какъ бы оно просто и мелко ни было — находя, что, подъ презрѣніемъ къ мелкому, обыденному дѣлу и подъ мнимымъ ожиданіемъ или изобрѣтеніемъ какого-то новаго, еще небывалаго труда и дѣла, кроется у большей части просто лѣнь, или неспособность, или наконецъ больное и смѣшное самолюбіе — ставить самихъ себя выше своего ума и силъ.

Она рѣшила, что «дѣла» изобрѣтать нельзя, что оно само, силою обстоятельствъ, выдвигается на очередь въ данный моментъ, и что такимъ естественнымъ путемъ рождающееся дѣло—только и важно, и нужно.

Слѣдовательно, надо зорко смотрѣть около, не лежитъ ли праздно несдѣланное дѣло, за которымъ явится на очередь слѣдующее, по порядку, и не бросаться за какимъ-нибудь блуждающимъ огнемъ, или «миражемъ», какъ говоритъ Райскій.

Не надо пуще всего покладывать рукъ и коснѣть «въ блаженномъ успеніи», въ постоянномъ «отдыхѣ», безъ всякаго труда.

Она была блѣднѣе прежняго, въ глазахъ ея было меньше блеска, въ движеніяхъ меньше живости. Все это могло быть слѣдствіемъ болѣзни, скоро захваченной горячки; такъ всѣ и полагали вокругъ. При всѣхъ она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла порученія бабушки. И никто ничего не замѣчалъ.

— Поправляется барышня,—говорили люди.

Райскій замѣчалъ также благопріятную перемѣну въ ней, и по временамъ, видя ее задумчивою, уловляя иногда блеснувшія и пропадающія слезы, догадывался, что это были только слѣды удаляющейся грозы, страсти. Онъ былъ доволенъ, и его собственныя волненія умолкали все болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ выживались изъ памяти всѣ пре-

пятствія, раздражавшія страсть, всѣ сомнѣнія, соперничество, ревность.

Вѣра, по настоянію бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намекъ о ея любви, предметомъ которой былъ Ватутинъ, не сказавъ ни слова о «грѣхѣ». Но этимъ полудовѣріемъ вовсе не рѣшилась для Райскаго загадка—откуда бабушка, въ его глазахъ, старая дѣвушка, могла почерпнуть силу, чтобъ снести, съ не-дѣвическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть «бѣды», но успокоить и Вѣру, спасти ее окончательно отъ нравственной гибели, собственнаго отчаянія.

А она очевидно сдѣлала это. Какъ она пріобрѣла власть надъ умомъ и довѣріемъ Вѣры? Онъ недоумѣвалъ—и только больше удивлялся бабушкѣ, и это удивленіе выражалось у него невольно.

Все обращеніе его съ нею приняло характеръ глубокаго, нѣжнаго почтенія и сдержанной покорности. Возраженія на ея слова, прежняя комическая война съ ней—уступили мѣсто изысканному уваженію къ каждому ея слову, желанію и намѣренію. Даже въ движеніяхъ его появилась сдержанность, почти до робости.

Онъ не забирался при ней на диванъ прилечь, вставалъ, когда она подходила къ нему, шелъ за ней послушно въ деревню и поле, когда она шла гулять, терпѣливо слушалъ ея объясненія по хозяйству. Во всѣ, даже мелкія отношенія его къ бабушкѣ, проникло то удивленіе, какое вызываетъ невольно женщина, съ сильной нравственной властью.

А она, совершивъ подвигъ, устоявъ тамъ, гдѣ падаютъ ничкомъ мелкія натуры, вынесши и свое, и чужое бремя съ разумомъ и величіемъ, тутъ же, на его глазахъ, мало-по-малу, опять обращалась въ простую женщину, уходила въ мелочи жизни, какъ будто пряча свои силы и величіе опять—до случая, даже не подозрѣвая, какъ она вдругъ выросла, стала героиней и какой подвигъ совершила.

Въ дворнѣ, послѣ пронесшейся, какой-то необъяснимой для нея тучи, было недоумѣніе, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смѣха, присмирѣли дѣвки, отгоняя Егорку прочь.

Въ особенно затруднительномъ положеніи очутилась Василиса. Она и Яковъ, какъ сказано, дали обѣтъ, если барыня придетъ въ себя и выздоровѣетъ, онъ—поставитъ большую вызолоченную свѣчу къ мѣстной иконѣ въ приходской церкви, а она сходитъ пѣшкомъ въ Кіевъ.

Яковъ исчезъ однажды рано утромъ со двора, взявъ на свѣчу денегъ изъ лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Онъ водрузилъ обѣщанную свѣчу передъ иконой за ранней обѣдней

Но у него оказался излишекъ отъ взятой изъ дома суммы. Крестясь поминутно, онъ вышелъ изъ церкви и прошелъ въ слободу, гдѣ оставилъ и излишекъ, и пришелъ домой «веселыми ногами», съ легкимъ румянцемъ на щекахъ и на носу.

Его печаянно встрѣтила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запахъ вина.

— Что съ тобой, Яковъ?—спросила она съ удивленіемъ.—Ради чего ты...

— Сподобился, сударыня!—отвѣчалъ онъ, набожно склонивъ голову на сторону и сложивъ руки горстями на груди, одна на другую.

Онъ объявилъ и Василисѣ, что «сподобился» выполнить обѣтъ.

Василиса поглядѣла на него и вдругъ стала сама не своя. Она тоже «обѣщалась», и до этой минуты, среди хлопотъ около барыни, съ приготовленіями къ свадьбѣ, не вспомнила объ обѣтѣ.

И вдругъ Яковъ уже исполнилъ, и притомъ въ одно утро, и вонъ ходитъ, полный благочестиваго веселья. А она обѣщалась въ Кіевъ сходить!

пятствія, раздражавшія страсть, всѣ сомнѣнія, соперничество, ревность.

Вѣра, по настоянію бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намекъ о ея любви, предметомъ которой былъ Ватутинъ, не сказавъ ни слова о «грѣхѣ». Но этимъ полудовѣріемъ вовсе не рѣшилась для Райскаго загадка—откуда бабушка, въ его глазахъ, старая дѣвушка, могла почерпнуть силу, чтобъ снести, съ не-дѣвическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть «бѣды», но успокоить и Вѣру, спасти ее окончательно отъ нравственной гибели, собственнаго отчаянія.

А она очевидно сдѣлала это. Какъ она пріобрѣла власть надъ умомъ и довѣріемъ Вѣры? Онъ недоумѣвалъ—и только больше удивлялся бабушкѣ, и это удивленіе выражалось у него невольно.

Все обращеніе его съ нею приняло характеръ глубокаго, нѣжнаго почтенія и сдержанной покорности. Возраженія на ея слова, прежняя комическая война съ ней—уступили мѣсто изысканному уваженію къ каждому ея слову, желанію и намѣренію. Даже въ движеніяхъ его появилась сдержанность, почти до робости.

Онъ не забирался при ней на диванъ прилечь, вставалъ, когда она подходила къ нему, шелъ за ней послушно въ деревню и поле, когда она шла гулять, терпѣливо слушалъ ея объясненія по хозяйству. Во всѣ, даже мелкія отношенія его къ бабушкѣ, проникло то удивленіе, какое вызываетъ невольно женщина, съ сильной нравственной властью.

А она, совершивъ подвигъ, устоявъ тамъ, гдѣ падаютъ ничкомъ мелкія натуры, вынесши и свое, и чужое бремя съ разумомъ и величіемъ, тутъ же, на его глазахъ, мало-по-малу, опять обращалась въ простую женщину, уходила въ мелочи жизни, какъ будто пряча свои силы и величіе опять—до случая, даже не подозрѣвая, какъ она вдругъ выросла, стала героиней и какой подвигъ совершила.

Въ дворнѣ, послѣ пронесшейся, какой-то необъяснимой для нея тучи, было недоумѣніе, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смѣха, присмирѣли дѣвки, отгоняя Егорку прочь.

Въ особенно затруднительномъ положеніи очутилась Василиса. Она и Яковъ, какъ сказано, дали обѣтъ, если барыня придетъ въ себя и выздоровѣетъ, онъ—поставитъ большую вызолоченную свѣчу къ мѣстной иконѣ въ приходской церкви, а она сходитъ пѣшкомъ въ Кіевъ.

Яковъ исчезъ однажды рано утромъ со двора, взявъ на свѣчу денегъ изъ лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Онъ водрузилъ обѣщанную свѣчу передъ иконой за ранней обѣдней

Но у него оказался излишекъ отъ взятой изъ дома суммы. Крестясь поминутно, онъ вышелъ изъ церкви и прошелъ въ слободу, гдѣ оставилъ и излишекъ, и пришелъ домой «веселыми ногами», съ легкимъ румянцемъ на щекахъ и на носу.

Его нечаянно встрѣтила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запахъ вина.

— Что съ тобой, Яковъ?—спросила она съ удивленіемъ.—Ради чего ты...

— Сподобился, сударыня!—отвѣчалъ онъ, набожно склонивъ голову на сторону и сложивъ руки горстями на груди, одна на другую.

Онъ объявилъ и Василисѣ, что «сподобился» выполнить обѣтъ.

Василиса поглядѣла на него и вдругъ стала сама не своя. Она тоже «обѣщалась», и до этой минуты, среди хлопотъ около барыни, съ приготовленіями къ свадьбѣ, не вспомнила объ обѣтѣ.

И вдругъ Яковъ уже исполнилъ, и притомъ въ одно утро, и вонъ ходитъ, полный благочестиваго веселья. А она обѣщалась къ Кіевъ сходить!

— Какъ я пойду, силы нѣтъ,—говорила она, щупая себя.—У меня и костей почти нѣтъ, все одинѣ мякоти! Не дойду—Господи помилуй!

И точно у ней одинѣ мякоти. Она насидѣла ихъ у себя въ своей комнатѣ, сидя тридцать лѣтъ на стулѣ у окна, между бутылями съ наливкой, не выходя на воздухъ, двигаясь тихо только около барыни, да въ кладовыя. Питалась она однимъ кофе, да чаемъ, хлѣбомъ, картофелемъ и огурцами, иногда рыбою, даже въ мясоѣдъ.

Она пошла къ отцу Василью, прося рѣшить ея сомнѣнія. Она слыхала, что добрые «батюшки» даже разрѣшаютъ отъ обѣта совсѣмъ, по немощи, или замѣняютъ его другимъ.— Какимъ?—спрашивала она себя на случай, если отецъ Василій допуститъ замѣнъ.

Она сказала, по какому случаю обѣщалась, и спросила:— идти ли ей?

— Коли обѣщалась, какъ же нейти? — сказалъ отецъ Василій.—Надо идти!

— Да я съ испуга обѣщалась, думала, барыня помретъ. А она черезъ три дня встала. Такъ за что жъ я этакую даль пойду?

— Да, это не ближній путь, въ Кіевъ! Вотъ то-то, обѣщать, а потомъ и назадъ!—журилъ онъ:—не хорошо. Не надо было обѣщать, коли охоты нѣтъ...

— Есть, батюшка, да силъ нѣтъ, мякоти одолѣли, до церкви дойду — одышка мучаетъ. Мнѣ седьмой десятокъ! Другое дѣло, кабы барыня маялась въ постели мѣсяца три, да причастили ее и особоровали бы масломъ, а Богъ, по моей грѣшной молитвѣ, поднялъ бы ее на ноги, такъ я бы хоть ползкомъ поползла. А то она и недѣли не хворала!

Отецъ Василій улыбнулся.

— Какъ же быть?—сказалъ онъ.

— Я бы другое что обѣщала. Нельзя ли перемѣнить?

— На что же другое?

Василиса задумалась.

— Я постъ на себя наложила бы; мяса всю жизнь въ ротъ не стану брать, такъ и умру.

— А ты любишь его?

— Нѣтъ, и смотрѣть-то тошно! отвыкла отъ него...

Отецъ Василій опять улыбнулся.

— Какъ же такъ,—сказалъ онъ:— вѣдь надо замѣнить трудное одинаково труднымъ или труднѣйшимъ, а ты полегче выбрала!

Василиса вздохнула.

— Нѣтъ ли чего-нибудь такого, чего бы тебѣ не хотѣлось исполнить—подумай!

Василиса подумала и сказала, что нѣтъ.

— Ну, такъ надо въ Кіевъ идти! —рѣшилъ онъ.

— Если бъ не мякоти, съ радостью бы пошла, хоть передъ Богомъ!

Отецъ Василій задумался.

— Какъ бы облегчить тебя?—думалъ онъ вслухъ.—Ты что любишь, какую пищу употребляешь?

— Чай, кофій—да похлебку съ грибами и картофелемъ...

— Кофе любишь?

— Охотница.

— Ну такъ—воздержись отъ кофе, не пей!

Она вздохнула.

«Да», подумалось ей: «и правду тяжело: это почти все равно, что въ Кіевъ идти!»

— Чѣмъ же мнѣ питаться, батюшка?—спросила она.

— Мясомъ.

Она взглянула на него, не смѣется ли онъ.

Онъ точно смѣялся, глядя на нее.

— Вѣдь ты не любишь его, ну, и принеси жертву.

— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.

— Ты въ скоромные дни и питайся имъ! А польза та,

что мякотей меньше будетъ. Вотъ тебѣ полгода срокъ: выдержи—и обѣтъ исполнишь.

Она ушла, очень озабоченная, и съ другого дня послушно начала исполнять новое обѣщаніе, со вздохомъ отворачивая носъ отъ кипящаго кофейника, который носила по утрамъ барынѣ.

Еще съ Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болѣзни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась съ недѣлю на лежанкѣ, а потомъ слегла, объявивъ, что нездорова, встать не можетъ.

— Богъ караетъ!—говорилъ Савелій, кряхтя и кутая ее въ теплое одѣяло.

Василиса доложила барынѣ. Татьяна Марковна велѣла позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лѣкарку, къ которой отправляли дворовыхъ и другихъ простыхъ людей, на вылѣчку.

Меланхолиха, по тщательномъ освидѣтельствованіи больной, шопотомъ объявила Василисѣ, что болѣзнь Марины превышаетъ ея познанія. Ее отправили въ клинику, въ сосѣдній городъ, за двѣсти верстъ.

Самъ Савелій отвезъ ее, и по возвращеніи, на вопросы обступившей его дворни, хотѣлъ что-то сказать, но только поглядѣлъ на всѣхъ, поднялъ выше обыкновеннаго кожу на лбу, сдѣлавъ складку въ палецъ толщиной, потомъ плюнулъ, повернулся спиной и шагнулъ за порогъ своей клѣтушки.

Недѣли черезъ полторы, Маринька вернулась съ женихомъ и съ его матерью изъ-за Волги, еще веселѣе, счастливѣе, и здоровѣе, нежели поѣхала. Оба успѣли пополнѣть. Оба привезли-было свой смѣхъ, живость, шумъ, бѣготню, веселые разговоры.

Но едва пробыли часа два дома, какъ оробѣли и присмирѣли, не найдя ни въ комъ и ни въ чемъ отвѣта и сочувствія своимъ шумнымъ излія̀ніямъ. Отъ смѣха и весе-

лаго говора раздавалось около нихъ печальное эхо, какъ въ пустомъ домѣ.

На всемъ лежалъ какой-то туманъ. Даже птицы отвыкли летать къ крыльцу, на которомъ кормила ихъ Марѳинька. Ласточки, скворцы и всѣ лѣтніе обитатели рощи улетѣли, и журавлей не видно надъ Волгой. Котята всѣ куда-то разбѣжались.

Цвѣты завяли, садовникъ выбросилъ ихъ, и передъ домомъ, вмѣсто цвѣтника, лежали черные круги взрытой земли, съ каймой блѣднаго дерна, да полосы пустыхъ грядъ. Нѣсколько деревьевъ завернуты были въ рогожу. Роща обнажалась все больше и больше отъ листьевъ. Сама Волга почернѣла, готовясь замерзнуть.

Но это природа! это само по себѣ не дѣлаетъ, а только усиливаетъ скуку людямъ. А вотъ—что съ людьми сталось, со всѣмъ домомъ? спрашивала Марѳинька, глядя въ недоумѣніи вокругъ.

Гнѣздышко Марѳиньки, ея комнатки наверху, потеряли свою веселость. Въ немъ поселилось съ Вѣрой грустное молчаніе.

У Марѳиньки на глазахъ были слезы. Отчего все измѣнилось? Отчего Вѣрочка перешла изъ стараго дома? Гдѣ Титъ Никонычъ? Отчего бабушка не бранитъ ее, Марѳиньку: не сказала даже ни слова за то, что, вмѣсто недѣли, она пробыла въ гостяхъ двѣ? Не любитъ больше? Отчего Вѣрочка не ходитъ попрежнему одна по полямъ и рощѣ? Отчего всѣ такіе скучные, не говорятъ другъ съ другомъ, не дразнятъ ее женихомъ, какъ дразнили до отъѣзда? О чемъ молчатъ бабушка и Вѣра? Что сдѣлалось со всѣмъ домомъ?

Марѳиньку кое-какъ успокоили отвѣтами на нѣкоторые вопросы. Другіе обошли молчаніемъ.

— Вѣра перешла оттого, — сказали ей: — что печи въ старомъ домѣ, въ ея комнатѣ, стали плохи, не держатъ тепла.

— Титъ Никонычъ уѣхалъ унимать безпорядки въ деревнѣ.

— Вѣра не ходитъ гулять, потому что простудилась и пролежала три дня въ постели, почти въ горячкѣ.

Марѳинька, услыхавъ слово «горячка», испугалась заднимъ числомъ и заплакала.

На вопросъ, «о чемъ бабушка съ Вѣрой молчатъ и отчего первая ее ни разу не побранила, что̀ значило—не любитъ», Татьяна Марковна взяла ее за обѣ щеки и задумчиво, со вздохомъ, поцѣловала въ лобъ. Это только больше опечалило Марѳиньку.

— Мы верхомъ ѣздили, Николай Андреичъ дамское сѣдло выписалъ. Я одна каталась въ лодкѣ, сама гребла, въ рощу съ бабами ходила! — затрогивала Марѳинька бабушку, въ надеждѣ, не побранитъ ли она хоть за это.

Татьяна Марковна будто съ укоромъ покачала головой, но Марѳинька видѣла, что это притворно, что она думаетъ о другомъ, или уйдетъ и сядетъ подлѣ Вѣры.

Марѳинька печалилась и ревновала ее къ сестрѣ, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марѳиньки, такъ что и она безсознательно приняла общій серьезно-туманный тонъ, какой лежалъ надъ Малиновкой и ея жителями.

Она молча сидѣла съ Викентьевымъ; шептать имъ было не о чемъ. Они и прежде бесѣдовали о своихъ секретахъ во всеуслышаніе. И рѣдко-рѣдко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепетъ, или ужъ Викентьевъ такъ разсмѣшитъ, что терпѣнья никакого не станетъ, и она прорвется нечаянно смѣхомъ, а потомъ сама испугается, оглянется вокругъ, замолчитъ и погрозитъ ему.

Викентьеву это молчаніе, сдержанность, печальный тонъ были не по натурѣ. Онъ сталъ подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволенія увезти невѣсту и уѣхать опять въ Колчино до свадьбы, до конца октября. Къ

удовольствію его, согласіе послѣдовало легко и скоро, и молодая чета, какъ пара ласточекъ, съ веселымъ крикомъ улетѣла отъ осени къ теплу, свѣту, смѣху, въ свое будущее гнѣздо.

Бабушка однако замѣтила печаль Марѳиньки, и сколько могла, отвлекла ея вниманіе отъ всякихъ догадокъ и соображеній, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обѣщавши пріѣхать за ней сама, «если она будетъ вести себя тамъ умно».

Райскій съѣздилъ за Титомъ Никонычемъ и привезъ его чуть живого. Онъ похудѣлъ, пожелтѣлъ, еле двигался, и только увидѣвъ Татьяну Марковну, всю ея обстановку, и себя самого среди этой картины, за столомъ, съ заткнутой за галстукъ салфеткой, или у окна на табуретѣ, подлѣ ея кресель, съ налитой ею чашкой чаю — мало-по-малу пришелъ въ себя и сталъ радоваться, какъ ребенокъ, у котораго отняли, и вдругъ опять отдали игрушки.

Онъ, отъ радости, вдругъ засмѣется и закроется салфеткой, потретъ руки одна о другую съ жаромъ, или встанетъ, и ни съ того, ни съ сего, поклонится всѣмъ присутствующимъ и отчаянно шаркнетъ ножкой. А когда всѣ засмѣются надъ нимъ, онъ засмѣется пуще всѣхъ, сниметъ парикъ и погладитъ себѣ съ изступленіемъ лысину, или потреплетъ, вмѣсто Пашутки, Василису по щечкѣ.

Словомъ, онъ немного одурѣлъ и пришелъ въ себя на третій день—и тогда уже сталъ задумчивъ, какъ другіе.

Кругъ семьи въ Малиновкѣ увеличился однимъ членомъ. Райскій однажды вдругъ явился съ Козловымъ къ обѣду. Сердечнѣе, радушнѣе встрѣчи нельзя нигдѣ и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу.

Татьяна Марковна, съ женскимъ тактомъ, не дала ему замѣтить, что знаетъ его горе. Обыкновенно въ такихъ слу-

чаяхъ встрѣчаютъ гостя натянутымъ молчаніемъ, а она встрѣтила его шуткой, и этому тону ея послѣдовали всѣ.

— Что это ты (она давно говорила ему это драгоцѣнное *ты*), Леонтій Ивановичъ, забылъ насъ совсѣмъ? Борюшка говоритъ, что я не умѣю угостить тебя, что кухня моя тебѣ не нравится: ты говорилъ ему?

— Какъ не нравится? когда я говорилъ тебѣ?—обратился онъ строго къ Райскому.

Всѣ засмѣялись.

— Да вы нарочно!—улыбнувшись нехотя, сказалъ Леонтій.

Онъ ужъ успѣлъ настолько справиться съ своимъ горемъ, что сталъ сознавать необходимость сдерживаться при людяхъ и прикрывать свою невзгоду условнымъ приличіемъ.

— Да, не былъ я у васъ давно, у меня жена... уѣхала въ Москву... повидаться съ родными, — тихо сказалъ онъ, глядя внизъ:—такъ я и не могъ...

— Вотъ ты бы у насъ пожилъ,—замѣтила Татьяна Марковна:—одному скучно дома...

— Я жду ее... боюсь, чтобъ безъ меня не пріѣхала.

— Тебѣ дадутъ знать, вѣдь мимо насъ ей ѣхать. Мы сейчасъ остановимъ, какъ только въѣдетъ въ слободу. Изъ оконъ стараго дома видно, когда ѣдутъ по дорогѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ... Да, оттуда видна московская дорога,—съ оживленіемъ поднявъ на Татьяну Марковну глаза, сказалъ Козловъ и почти обрадовался.

— Право, переѣзжай къ намъ!..

— Да, я бы, пожалуй...

— Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтій, — сказалъ Райскій: — мнѣ скучно одному; я перейду въ старый домъ съ тобой вмѣстѣ, а потомъ, послѣ свадьбы Марѳиньки, уѣду. Ты при бабушкѣ и при Вѣрѣ будешь первымъ министромъ, другомъ и тѣлохранителемъ.

Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Да, покорно благодарю, лишь бы только не обезпокоить чѣмъ...

— Какъ тебѣ не стыдно...—начала бабушка.

— Извините, Татьяна Марковна!

— Кушай лучше, чѣмъ пустое говорить; вонъ у тебя стынетъ супъ...

— А вѣдь мнѣ ѣсть хочется!—вдругъ сказалъ онъ, принимаясь за ложку и засмѣялся:—я что-то давно не ѣлъ...

Онъ, задумчиво глядя куда-то, должно-быть на московскую дорогу, съѣлъ машинально супъ, потомъ положенный ему на другую тарелку пирогъ, потомъ мясо, и молча окончилъ весь обѣдъ.

— У васъ покойно, хорошо!—говорилъ онъ послѣ обѣда, глядя въ окно. — И зелень еще есть, и воздухъ чистый... Послушай, Борисъ Павловичъ, я бы библіотеку опять перевезъ сюда...

— Хорошо, хорошо, хоть завтра, вѣдь она твоя, дѣлай съ ней, что хочешь...

— Нѣтъ, нѣтъ, что мнѣ въ ней теперь! Я перевезу и буду смотрѣть за ней, а то этотъ Маркъ опять...

Райскій крякнулъ на всю комнату. Вѣра не подняла головы отъ шитья, Татьяна Марковна стала смотрѣть въ окно.

Райскій увелъ Козлова въ старый домъ, посмотрѣть его комнату, куда бабушка велѣла поставить ему кровать, и на ночь вытопить печь и тотчасъ же вставить рамы.

Козловъ совался къ окнамъ, отыскивая то самое, изъ котораго видна московская дорога.

XII.

Въ одинъ изъ туманныхъ, осеннихъ дней, когда Вѣра, послѣ завтрака, сидѣла въ своей комнатѣ, за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яковъ

подалъ ей еще письмо на синей бумагѣ, принесенное «парнишкой», и сказалъ, что приказано ждать отвѣта.

Вѣра, взглянувъ на письмо, оцѣпенѣла, какъ будто отъ изумленія, и съ минуту не брала его изъ рукъ Якова, потомъ взяла и положила на столъ, сказавъ коротко:

— Хорошо, поди!

Когда Яковъ вышелъ, она задумчиво подышала въ наперстокъ и хотѣла продолжать работу, но руки у ней вдругъ упали, вмѣстѣ съ работой, на колѣни.

Она оперлась локтями на столъ и закрыла руками лицо.

— Какая казнь! Кончится ли это истязаніе? — шептала она въ отчаяніи.

Потомъ встала, вынула изъ комода прежнее, нераспечатанное, такое же письмо и положила рядомъ съ этимъ, и сѣла опять въ своей позѣ, закрывая руками лицо.

— Что дѣлать? Какого отвѣта можетъ онъ ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызываетъ?.. Нѣтъ, не смѣетъ!.. А если вызываетъ?..

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себѣ въ душу и тамъ подслушивала, какой могла бы дать отвѣтъ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого отвѣта», думала она: «эти отвѣты не говорятся! Если онъ самъ не угадалъ его — отъ меня никогда не узнаетъ!»

Она глядѣла на этотъ синій пакетъ, съ знакомымъ почеркомъ, не торопясь сорвать печать—не отъ страха оглядки, не отъ ужаса зубовъ «тигра». Она какъ будто со стороны смотрѣла, какъ ползетъ теперь мимо ея этотъ «удавъ», по выраженію Райскаго, еще недавно душившій ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослѣпляетъ ее больше. Она отворачивается, вздрагивая отъ другого, не прежняго чувства.

Ей душно отъ этого письма, вдругъ перенесшаго ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда,

ослабѣвшая, измученная борьбой,—и сожгла за собой мостъ. Она не понимаетъ, какъ могъ онъ написать? Какъ онъ самъ не бѣжалъ давно?

Знай онъ, какой переворотъ совершился наверху обрыва, онъ бы, конечно, не написалъ. Надо его увѣдомить, посланный ждетъ... Ужели читать письма?.. Да, надо!..

Она сорвала печать съ обоихъ разомъ и стала читать первое, писанное давно:

«Ужели мы въ самомъ дѣлѣ не увидимся, Вѣра? Это невѣроятно. Нѣсколько дней тому назадъ, въ этомъ былъ бы смыслъ, а *теперь* это безполезная жертва, тяжелая для обоихъ. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья,— и когда оно настало, ты бѣжишь первая, а сама твердила о безсрочной любви. Логично ли это?»

— Логично ли!—повторила она шопотомъ и остановилась.

Потомъ будто перемогла себя и читала дальше.

«Мнѣ разрѣшено уѣхать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы не честно... Можно подумать, что я торжествую и что мнѣ уже легко уѣхать: я не хочу, чтобы ты такъ думала... Не могу оставить потому, что ты любишь меня»...

У ней рука съ письмомъ упала на колѣни, черезъ минуту она медленно читала дальше:

....«и потому еще, что я самъ въ горячешномъ положеніи. Будемъ счастливы, Вѣра! Убѣдись, что вся наша борьба, всѣ наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетѣла—и намъ спорить больше не о чемъ. Вопросъ рѣшенъ. Мы въ сущности согласны давно. Ты хочешь безконечной любви: многіе хотѣли бы того же, но этого не бываетъ»...

Она на минуту остановилась.

«Онъ разумѣетъ безконечную горячку!» подумала она и съ жалостью улыбнулась.

Потомъ читала дальше.

подалъ ей еще письмо на синей бумагѣ, принесенное «парнишкой», и сказалъ, что приказано ждать отвѣта.

Вѣра, взглянувъ на письмо, оцѣпенѣла, какъ будто отъ изумленія, и съ минуту не брала его изъ рукъ Якова, потомъ взяла и положила на столъ, сказавъ коротко:

— Хорошо, поди!

Когда Яковъ вышелъ, она задумчиво подышала въ наперстокъ и хотѣла продолжать работу, но руки у ней вдругъ упали, вмѣстѣ съ работой, на колѣни.

Она оперлась локтями на столъ и закрыла руками лицо.

— Какая казнь! Кончится ли это истязаніе? — шептала она въ отчаяніи.

Потомъ встала, вынула изъ комода прежнее, нераспечатанное, такое же письмо и положила рядомъ съ этимъ, и сѣла опять въ своей позѣ, закрывая руками лицо.

— Что дѣлать? Какого отвѣта можетъ онъ ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызываетъ?.. Нѣтъ, не смѣетъ!.. А если вызываетъ?..

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себѣ въ душу и тамъ подслушивала, какой могла бы дать отвѣтъ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого отвѣта», думала она: «эти отвѣты не говорятся! Если онъ самъ не угадалъ его — отъ меня никогда не узнаетъ!»

Она глядѣла на этотъ синій пакетъ, съ знакомымъ почеркомъ, не торопясь сорвать печать—не отъ страха оглядки, не отъ ужаса зубовъ «тигра». Она какъ будто со стороны смотрѣла, какъ ползетъ теперь мимо ея этотъ «удавъ», по выраженію Райскаго, еще недавно душившій ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослѣпляетъ ее больше. Она отворачивается, вздрагивая отъ другого, не прежняго чувства.

Ей душно отъ этого письма, вдругъ перенесшаго ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда,

ослабѣвшая, измученная борьбой,—и сожгла за собой мостъ. Она не понимаетъ, какъ могъ онъ написать? Какъ онъ самъ не бѣжалъ давно?

Знай онъ, какой переворотъ совершился наверху обрыва, онъ бы, конечно, не написалъ. Надо его увѣдомить, посланный ждетъ... Ужели читать письма?.. Да, надо!..

Она сорвала печать съ обоихъ разомъ и стала читать первое, писанное давно:

«Ужели мы въ самомъ дѣлѣ не увидимся, Вѣра? Это невѣроятно. Нѣсколько дней тому назадъ, въ этомъ былъ бы смыслъ, а *теперь* это безполезная жертва, тяжелая для обоихъ. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья,— и когда оно настало, ты бѣжишь первая, а сама твердила о безсрочной любви. Логично ли это?»

— Логично ли!—повторила она шопотомъ и остановилась. Потомъ будто перемогла себя и читала дальше.

«Мнѣ разрѣшено уѣхать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы не честно... Можно подумать, что я торжествую и что мнѣ уже легко уѣхать: я не хочу, чтобы ты такъ думала... Не могу оставить потому, что ты любишь меня»...

У ней рука съ письмомъ упала на колѣни, черезъ минуту она медленно читала дальше:

....«и потому еще, что я самъ въ горячешномъ положеніи. Будемъ счастливы, Вѣра! Убѣдись, что вся наша борьба, всѣ наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетѣла—и намъ спорить больше не о чемъ. Вопросъ рѣшенъ. Мы въ сущности согласны давно. Ты хочешь безконечной любви: многіе хотѣли бы того же, но этого не бываетъ»...

Она на минуту остановилась.

«Онъ разумѣетъ безконечную горячку!» подумала она и съ жалостью улыбнулась.

Потомъ читала дальше.

«Моя ошибка была та, что я предсказывалъ тебѣ эту истину: жизнь привела бы къ ней насъ сама. Я отнынѣ не трогаю твоихъ убѣжденій; не они нужны намъ, — на очереди страсть. У нея свои законы; она смѣется надъ твоими убѣжденіями,—посмѣется современемъ и надъ безконечной любовью. Она же теперь пересиливаетъ и меня, мои планы... Я покоряюсь ей, покорись и ты. Можетъ-быть, вдвоемъ, дѣйствуя заодно, мы отдѣлаемся отъ нея дешево и уйдемъ по добру и по здорову, а въ одиночку тяжело и скверно».

«Убѣжденій мы не въ силахъ измѣнить, какъ не въ силахъ измѣнить натуру, а притвориться не сможемъ оба. Это не логично и не честно. Надо высказаться и согласиться во всемъ; мы сдѣлали первое и не пришли къ соглашенію; слѣдовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убѣжденій; страсть не требуетъ ихъ. Будемъ молчать и будемъ счастливы. Надѣюсь, ты съ этой логикой согласишься».

Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губахъ.

«Уѣхать тебѣ со мной, вѣроятно, не дадутъ, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя къ этому, но я на это не разсчитываю; ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или, для того, чтобы рѣшиться уѣхать, нужно, чтобы у тебя были другія, одинакія со мной убѣжденія, и слѣдовательно другая будущность въ виду, нежели какую ты и близкіе твои желаютъ тебѣ, т.-е., такая же, какъ у меня: неопредѣленная, неизвѣстная, безъ угла, или безъ «гнѣзда», безъ очага, безъ имущества.—Соглашаюсь, что отъѣздъ невозможенъ. Слѣдовательно, мнѣ надо принести жертву, т.-е. мнѣ хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надѣешься на успѣхъ у бабушки—обвѣнчаемся, и я останусь здѣсь до тѣхъ поръ, пока... словомъ на безсрочное время. Я сдѣлалъ все, Вѣра, и исполню, что го-

ворю. Теперь дѣлай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будетъ походить на глупую комедію, гдѣ невыгодная роль достанется тебѣ,—и надъ нею первый посмѣется Райскій, если узнаетъ».

«Видишь, я предупреждаю тебя во всемъ, какъ предупредилъ и тогда»...

Она сдѣлала движеніе рукой, будто нетерпѣнія, почти отчаянія, и небрежно дочитала послѣднія строки.

«Жду отвѣта на имя моей хозяйки, Секлетеи Бурдалаховой».

Вѣра казалась утомленной чтеніемъ письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только-что принесъ ей Яковъ.

Оно было написано торопливою рукою, карандашомъ.

«Я каждый день бродилъ внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сію минуту случайно узналъ, что въ домѣ нездорово, тебя нигдѣ не видать. Вѣра, приди, или, если больна, напиши скорѣе два слова. Я способенъ придти въ старый домъ»...

Вѣра остановилась въ страхѣ, потомъ торопливо дочитала конецъ:

«Если сегодня не получу отвѣта—сказано было дальше—завтра въ пять часовъ буду въ бесѣдкѣ... Мнѣ надо скорѣе рѣшать: ѣхать, или оставаться? Приди сказать хоть слово, проститься, если... Нѣтъ, не вѣрю, чтобы мы разошлись теперь. Во всякомъ случаѣ жду тебя, или отвѣта. Если больна, я проберусь самъ»...

— Боже мой! Онъ еще тамъ, въ бесѣдкѣ!.. грозитъ придти... Посланный ждетъ... Еще «удавъ» все тянется!.. не ушло... не умерло все!..

Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула нѣсколько листовъ бумаги, взяла перо, обмакнула, хотѣла писать—и не могла. У ней дрожали руки.

Она положила перо, склонила опять голову въ ладони, за-

ской ласки—и она встала бы мало-по-малу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тѣмъ она медлитъ протянуть къ нимъ довѣрчиво руки — не изъ гордости уже, а изъ пощады, изъ любви къ нимъ.

Но и ждать долѣе тоже невозможно. Завтра принесутъ опять письмо, она опять не отвѣтитъ, онъ явится самъ...

«О, Боже сохрани! Если уже зло неизбѣжно», думала она: «то изъ двухъ золъ меньшее будетъ — отдать письма бабушкѣ, предоставить ей сдѣлать, что нужно сдѣлать. Бабушка тоже не ошибется, онѣ теперь понимаютъ другъ друга».

Потомъ, подумавши, она написала записку и Тушину. Тѣ же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшіеся служить ей — послушно служили теперь. Пальцы быстро написали двѣ строчки.

«Пріѣзжайте, если можно, завтра утромъ! Я давно не видала васъ—и хочу видѣть. Мнѣ скучно».

Она отослала записку съ Прохоромъ, чтобы онъ отвезъ ее на пристань и отдалъ на перевозѣ, для отправленія въ «Дымокъ», съ людьми Тушина, которые каждый день ѣздили въ городъ.

Прежде Вѣра прятала свои тайны, уходила въ себя, царствуя безраздѣльно въ своемъ внутреннемъ мірѣ, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнѣе всѣхъ окружающихъ. Теперь стало наоборотъ. Одиночность силъ, при первомъ тяжеломъ опытѣ, оказалась несостоятельною.

Она поплатилась своей гордостью и вдругъ почувствовала себя, въ минуту бури, безсильною, а когда буря ушла—жалкой, безпомощной сиротой, и протянула, какъ младенецъ, руки къ людямъ.

Прежде она дарила довѣріе, какъ будто изъ милости, только своей наперсницѣ и подругѣ, женѣ священника. Это былъ ея капризъ, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи, съ поникшей головой, съ обузданной гор-

достью, почуя рядомъ силу, сильнѣе своей, и мудрость, мудрѣе своей самолюбивой воли

Вѣра сообщала, бывало, своей подругѣ мелочной календарь вседневной своей жизни, событій, ощущеній, впечатлѣній, даже чувствъ, довѣрила и о своихъ отношеніяхъ къ Марку, но скрыла отъ нея катастрофу, сказавъ только, что все кончено, что они разошлись навсегда—и только. Жена священника не знала исторіи обрыва до конца и приписала болѣзнь Вѣры отчаянію разлуки.

Она любила Мареиньку такъ же, какъ Наталью Ивановну, но любила обѣихъ, какъ дѣтей, иногда, пожалуй, какъ собесѣдницъ. Въ тихую пору жизни, она опять позоветъ Наталью Ивановну и будетъ передавать ей вседневныя событія по мелочамъ, въ подробностяхъ, — опять та будетъ шопотомъ поддакивать ей, разбавлять ея одинокія ощущенія.

Но въ рѣшительныя и роковыя минуты, Вѣра пойдетъ къ бабушкѣ, пошлетъ за Тушинымъ, постучится въ комнату брата Бориса.

И теперь она постучалась ко всѣмъ троимъ.

XIII.

Она положила оба письма въ карманъ, тихо, задумчиво пошла къ Татьянѣ Марковнѣ и сѣла подлѣ нея.

Бабушка только-что осмотрѣла свадебную постель и смѣряла съ швеею, сколько пойдетъ кисеи, кружевъ на подушки, и усѣлась въ свои кресла.

Она бѣгло взглянула на Вѣру, потомъ опять вдругъ взглянула и остановила на ней безпокойный взглядъ.

— Что случилось, Вѣра, ты разстроена?

— Не разстроена, а устала. Я получила письма оттуда, отъ...

— Оттуда?—повторила бабушка, мѣняясь въ лицѣ.

— Одно давно; я не распечатывала до сихъ поръ, а другое сегодня. Вотъ они, прочти, бабушка.

Она положила оба письма на столъ.

— Зачѣмъ мнѣ читать, Вѣрочка? — говорила Татьяна Марковна, едва преодолѣвая себя и стараясь не глядѣть на письма.

Вѣра молчала. Бабушка замѣтила у ней выраженіе тоски.

— Развѣ тебѣ нужно, чтобъ я знала, что тамъ?..

— Нужно, бабушка, прочти.

Бабушка надѣла очки и стала-было читать.

— Не разберу, душенька, — сказала она, съ тоской отодвинувъ письмо. — Ты скажи лучше коротко, зачѣмъ мнѣ нужно знать...

— Не могу разсказать, силъ нѣтъ, духъ захватываетъ... Я лучше прочту.

Она шопотомъ, скрадывая нѣкоторыя слова и выраженія, прочла письма и, скомкавъ оба, спрятала въ карманъ. Татьяна Марковна выпрямилась въ креслѣ и опять сгорбилась, подавляя страданіе. Потомъ пристально посмотрѣла въ глаза Вѣрѣ.

— Что же ты, Вѣрочка, думаешь?—спросила она нетвердымъ голосомъ.

— Ты спрашиваешь, что я думаю! — сказала Вѣра съ упрекомъ;—то же, что ты, бабушка!

— Это я знаю. Но онъ предлагаетъ... вѣнчаться, хочетъ остаться здѣсь. Можетъ-быть... если будетъ человѣкомъ, какъ всѣ... если любитъ тебя...—говорила Татьяна Марковна боязливо:—если ты... надѣешься на счастье...

— Да, онъ называетъ вѣнчанье «комедіей» и предлагаетъ вѣнчаться! Онъ думаетъ, что мнѣ только этого недоставало для счастья... Бабушка! вѣдь ты понимаешь, что со мной—зачѣмъ же спрашиваешь?

— Ты пришла ко мнѣ спросить, на что тебѣ рѣшиться...

Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала,

для чего прочла ей письма Вѣра. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала въ безпокойствѣ за Вѣру, боясь опаснаго поворота страсти, но скрывала свое волненіе и безпокойство.

— Я не за тѣмъ пришла къ тебѣ, бабушка, — сказала Вѣра. — Развѣ ты не знаешь, что тутъ все рѣшено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу — и если дышу свободно и надѣюсь ожить, такъ это при одномъ условіи — чтобъ мнѣ ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда... А онъ напомнилъ! зоветъ туда, манитъ счастьемъ, хочетъ вѣнчаться!.. Боже мой!..

Она съ отчаяніемъ пожала плечами.

У Татьяны Марковны отходило безпокойство отъ сердца. Она пошевелилась свободно въ креслѣ, поправила складку у себя на платьѣ, смахнула рукой какія-то крошки со стола. Словомъ — отошла, ожила, задвигалась, какъ внезапно оцѣпенѣвшій отъ испуга и тотчасъ опять очнувшійся человѣкъ.

— Бабушка! — заключила Вѣра, собравшись опять съ силами. — Я ничего не хочу! Пойми одно: если бъ онъ какимъ-нибудь чудомъ переродился теперь, сталъ тѣмъ, чѣмъ я хотѣла прежде чтобъ онъ былъ,—если бъ сталъ вѣрить во все, во что я вѣрю, — полюбилъ меня, какъ я... хотѣла любить его — и тогда я не обернулась бы на его зовъ...

Она замолчала. Бабушка слушала, притаивъ дыханіе, какъ пѣніе райской птицы.

— Я бы не была съ нимъ счастлива: я не забыла бы прежняго человѣка никогда и никогда не повѣрила бы новому человѣку. Я слишкомъ тяжело страдала, — шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки: — но ты видѣла меня, поняла и спасла... ты—моя мать!.. Зачѣмъ же спрашиваешь и сомнѣваешься? Какая страсть устоитъ передъ этими страданіями? Развѣ можно повторять такую ошибку!..

Во мнѣ ничего больше нѣтъ... Пустота—холодъ, и если бъ не ты—отчаяніе...

У Вѣры закапали слезы. Она прижалась головой къ плечу бабушки.

— Не поминай этого и не тревожь себя напрасно!—говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой: — вѣдь мы положили никогда не говорить объ этомъ...

— Я и не говорила бы, если бъ не письма. Мнѣ нуженъ покой... Бабушка! увези, спрячь меня... или я умру! Я устала... силы нѣтъ... дай отдохнуть... А онъ зоветъ туда... хочетъ придти самъ...

Она заплакала сильнѣе.

Бабушка тихо встала, посадила ее на свое мѣсто, а сама выпрямилась во весь ростъ.

— А! если такъ, если онъ еще, — заговорила она съ дрожью въ голосѣ: — достаетъ тебя, мучаетъ, онъ разсчитается со мной за эти слезы!.. Бабушка укроетъ, защититъ тебя—успокойся, дитя мое: ты не услышишь о немъ больше ничего...

Бабушка дрожала, говоря это.

— Что ты хочешь дѣлать? — съ удивленіемъ спросила Вѣра, вдругъ вставая и подходя къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Онъ зоветъ тебя; я сойду къ нему съ обрыва, вмѣсто тебя, на любовное свиданіе — и потомъ посмотримъ, напишетъ ли онъ тебѣ еще, придетъ ли сюда, позоветъ ли?..

Бабушка ходила по кабинету, сама не своя отъ гнѣва.

— Въ которомъ часу онъ завтра придетъ въ бесѣдку, кажется, въ пять?—спросила она отрывисто.

Вѣра все глядѣла на нее съ изумленіемъ.

— Бабушка! ты не поняла меня, — сказала она кротко, взявъ ее за руки:—успокойся, я не жалуюсь тебѣ на него. Никогда не забывай, что я одна виновата—во всемъ... Онъ

не знаетъ, что произошло со мной, и оттого пишетъ. Ему надо только дать знать, объяснить, какъ я больна, упала духомъ, — а ты собираешься, кажется, воевать! Я не того хочу. Я хотѣла ему написать сама, и не могла,—видѣться недостаетъ силъ, если бъ я и хотѣла...

Татьяна Марковна присмирѣла и задумалась.

— Я хотѣла просить Ивана Иваныча, — продолжала Вѣра:—но ты знаешь сама, какъ онъ любитъ меня, какія надежды были у него... Сводить его съ человѣкомъ, который все это уничтожилъ—нельзя!

— Нельзя!—подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой. — Зачѣмъ его трогать? Богъ знаетъ, что между ними случится... Нельзя! У тебя есть близкій человѣкъ, онъ знаетъ все, онъ любитъ тебя, какъ сестру: Борюшка:

Вѣра молчала.

«Да, если бъ какъ сестру только!» думала она и не хотѣла открывать бабушкѣ о страсти Райскаго къ ней; это былъ не ея секретъ.

— Хочешь, я поговорю съ нимъ...

— Погоди, бабушка, я сама скажу ему,—отвѣчала Вѣра, опасаясь вмѣшивать брата.

Она надѣялась на его сердце, довѣряла его уму, чувствамъ, но не довѣряла его неуловимо-капризной фантазіи и способности увлекаться.

— Я какъ-нибудь, черезъ брата, или соберусь съ силами и сама отвѣчу на эти письма, дамъ понять, въ какомъ я положеніи, отниму всякія надежды на свиданіе. А теперь мнѣ нужно пока дать ему знать только, чтобъ онъ не ходилъ въ бесѣдку и не ждалъ напрасно...

— Это я сдѣлаю!—вдругъ сказала бабушка.

— Но ты не пойдешь сама, не увидишься съ нимъ?—говорила Вѣра, пытливо глядя въ глаза бабушки.—Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла...

— И я не хочу!—шептала бабушка, глядя въ сторону.—

Успокойся, я не пойду, я сдѣлаю только, что онъ не будетъ ждать въ бесѣдкѣ...

— Прости меня, бабушка, еще за это новое огорченіе!

Татьяна Марковна вздохнула и поцѣловала ее.

XIV.

Вѣра пошла полуспокоенная, стараясь угадать, какую мѣру могла бы принять бабушка, чтобъ помѣшать Марку ждать ее завтра въ бесѣдкѣ. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти Райскаго, не поручила ему пойти, не предваривъ ее о томъ, а онъ, не приготовленный, могъ поступить, какъ внушало ему его, еще не вполнѣ угасшее, корыстное чувство и фантазія.

Вѣра, узнавъ, что Райскій не выходилъ со двора, пошла къ нему въ старый домъ, куда онъ перешелъ съ тѣхъ поръ, какъ Козловъ поселился у нихъ, съ тѣмъ, чтобы сказать ему о новыхъ письмахъ, узнать, какъ онъ приметъ это, и смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложитъ на него видѣться съ Маркомъ.

Она шла, какъ тѣнь, по амфиладѣ стараго дома, минуя свои бывшія комнаты, по потускнѣвшему отъ времени паркету, мимо занавѣшенныхъ зеркалъ, закутанныхъ тумбъ съ старыми часами, старой, тяжелой мебели, и вступила въ маленькія, уютныя комнаты, выходившія окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь въ комнату, гдѣ поселился Райскій, и остановилась на порогѣ.

Райскій сидѣлъ за столомъ, зарывшись въ свой артистическій портфель, разбирая эскизы разныхъ мѣстностей, акварельные портреты, набросанные очерки неисполненныхъ картинъ, миніатюрныя копіи съ извѣстныхъ произведеній, и между прочимъ отбирая, кучей втиснутые въ портфель, черновые листы литературныхъ воспоминаній, за-

мѣтокъ, очерковъ, начатыхъ и брошенныхъ стиховъ и повѣстей.

Отобравъ тщательно всю кучу накопившагося матеріала для романа, онъ сильно призадумался. Взглядъ у него потускъ; разбирая листы за листами, онъ, то покачивалъ головой и вздыхалъ тяжело, то зѣвалъ до слезъ.

«Вотъ этакъ же, лѣтъ шесть назадъ», печально размышлялъ онъ: «затѣялъ я писать большую, сложную картину для выставки... А оказалось, что въ нее надо положить цѣлые годы... И теперь, такую же обузу беру на себя: романъ писать!! Однихъ матеріаловъ съ пудъ наберется... Сколько соображеній, замѣтокъ, справокъ!.. Дѣло ли я затѣялъ, романъ? Куча характеровъ, положеній, сценъ! А вся сила, весь интересъ, и твой собственный романъ—въ Вѣрѣ: одну ее и пиши! Да, вотъ что!.. Прочь все лишнее, постороннее, напишу одну ее... Облегчу себя, а этотъ весь балластъ въ сторону. Чего, чего тутъ нѣтъ!»

Онъ началъ живо отбирать все постороннее Вѣрѣ, оставивъ листковъ десятокъ, гдѣ набросаны были характеристическія замѣтки о ней, сцены, разговоры съ нею, и съ любовью перечитывалъ ихъ.

Вдругъ онъ оставилъ листки—и поразился новою мыслью.

«А отчего у меня до сихъ поръ нѣтъ ея портрета кистью?» вдругъ спросилъ онъ себя, тогда какъ онъ, съ первой же встрѣчи съ Маронькой, передалъ полотну ея черты, подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, и черты эти вышли говорящи: «въ портретѣ есть правда, жизнь, вѣрность во всемъ... кромѣ плеча и рукъ», думалъ онъ.

А портрета Вѣры нѣтъ; ужели онъ уѣдетъ безъ него?.. Теперь ничто не мѣшаетъ; страсти у него нѣтъ, она его не убѣгаетъ... Имѣя портретъ, легче писать и романъ: передъ глазами будетъ она, какъ живая...

Онъ поднялъ глаза отъ портфеля... Передъ нимъ стоитъ—живая Вѣра! Онъ испугался.

— Это бабушкина «судьба» посылаетъ тебя ко мнѣ!.. — сказалъ онъ.

У Вѣры, замѣтившей его испугъ, задрожалъ подбородокъ отъ улыбки. А онъ не спускалъ съ нея глазъ.

Его опять охватила красота сестры, — не прежняя, съ блескомъ, съ теплымъ колоритомъ жизни, съ бархатнымъ, гордымъ и горячимъ взглядомъ, съ мерцаніемъ «ночи», какъ онъ назвалъ ее за эти неуловимыя искры, тогда еще таинственной, неразгаданной прелести.

Безсознательное блистанье молодости и красоты, разливающей яркіе и горячіе лучи вокругъ себя—исчезло.

Томная печаль, глубокая усталость смотрѣла теперь изъ ея глазъ. Горячіе, живые тоны въ лицѣ замѣнились прозрачной блѣдностью. Въ улыбкѣ не было гордости, нетерпѣливыхъ, едва сдерживаемыхъ молодыхъ силъ. Кротость и грусть тихо покоились на ея лицѣ, и вся стройная фигура ея была полна задумчивой, нѣжной граціи и унылаго покоя.

«Это — лилія! Гдѣ прежняя Вѣра? Которая лучше: та, или эта?» думалъ онъ, протягивая ей въ умиленіи руки.

Она подошла къ нему, не прежнимъ ползучимъ шагомъ, не съ волнующимся при походкѣ станомъ, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкій, сухой стукъ.

— Я тебѣ помѣшала, — сказала она. — Что ты дѣлаешь? Мнѣ хотѣлось поговорить съ тобой...

Онъ не сводилъ съ нея глазъ.

— Что ты такъ смотришь?..

— Погоди, Вѣра!—шепталъ онъ, не слыхавъ ея вопроса и не спуская съ нея широкаго, изумленнаго взгляда.—Сядь вотъ здѣсь,—такъ!—говорилъ онъ, усаживая ее на маленькій диванъ.

А самъ торопливо сунулся въ уголъ комнаты, порылся тамъ и досталъ рамку съ натянутымъ холстомъ, выдвинулъ

мольбертъ и началъ шарить по угламъ, отыскивая ящикъ съ красками.

— Что ты хочешь дѣлать?—спросила она.

— Молчи, молчи, Вѣра, я давно не видалъ твоей красоты, какъ будто ослѣпъ на время! Сію минуту ты вошла, лучи ея ударили меня по первамъ, художникъ проснулся! Не бойся этихъ восторговъ. Скорѣй, скорѣй, дай мнѣ этой красоты, пока не прошла минута... У меня нѣтъ твоего портрета...

— Что̀ за мысль, Борисъ! какая теперь красота! на что̀ я стала похожа? Василиса говоритъ, что въ гробъ краше кладутъ... Оставь до другого раза...

— Ты ничего не понимаешь въ своей красотѣ: ты — chef-d'œuvre! Нельзя откладывать до другого раза. Смотри, у меня волосы поднимаются, мурашки бѣгаютъ... сейчасъ слезы брызнутъ... Садись,—пройдетъ и все пропало!

— Я устала, братъ... я не въ силахъ, едва хожу... И холодно мнѣ; у тебя здѣсь свѣжо...

— Я тебя прикрою, посажу въ покойную позу, ты не гляди на меня, будь свободна, какъ будто бы меня не было тутъ!

Онъ положилъ ей за спину и подъ руки подушки, на плéчи и грудь накинулъ ей свой шотландскій пледъ и усадилъ ее съ книгой на диванъ.

— А голову держи какъ хочешь, — сказалъ онъ: — какъ тебѣ удобнѣе, покойнѣе. Дѣлай какія хочешь движенія, гляди куда хочешь, или не гляди вовсе — и забудь, что я тутъ!

Она покорилась равнодушно, усѣвшись въ усталой позѣ, и задумалась.

— А я хотѣла поговорить съ тобой, показать тебѣ... письма...—сказала она.

Онъ молчалъ, вглядываясь въ нее и чертя мѣломъ на полотнѣ.

Прошло минутъ десять.

— Я получила письма... отъ Марка... — тихо повторила она.

Онъ молчитъ и чертитъ мѣломъ.

Прошло четверть часа. Онъ, схвативъ палитру, покрылъ ее красками и, взглядывая горячо на Вѣру, торопливо, какъ будто воруя, переносилъ черты ея лица на полотно.

Она повторила ему о письмахъ. Онъ молчитъ и глядитъ на нее, будто въ первый разъ ее видитъ.

— Братъ, ты не слушаешь?

— Да... да... слышу... «письма отъ Марка...» Ну, что онъ, здоровъ, какъ поживаетъ?.. — скороговоркой сказалъ онъ.

Она съ удивленіемъ глядѣла на него. Она едва рѣшалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этимъ именемъ, какъ каленымъ желѣзомъ,—а онъ о здоровьѣ его спрашиваетъ!

Поглядѣвъ еще на него, она перестала удивляться. Если бъ вмѣсто имени Марка, она назвала Карпа, Сидора—дѣйствіе было бы одно и то же. Райскій машинально слушалъ и не слыхалъ.

Онъ слышалъ только звукъ ея голоса,—погруженный въ работу, видѣлъ только ее, не вникалъ въ ея слова и машинально повторялъ имя.

— Что жъ ты ничего мнѣ не отвѣчаешь?—спросила она.

— Послѣ, послѣ, Вѣра, ради Бога! Теперь не говори со мной—думай что-нибудь про себя. Меня здѣсь нѣтъ...

Вѣра пробовала опять заговорить, но онъ уже не слыхалъ и только торопливо подмалевывалъ лицо.

Вскорѣ она погрузилась—не въ печаль, не въ безпокойство о письмахъ и о томъ, придетъ ли Маркъ, что сдѣлаетъ бабушка, — а въ какой-то хаосъ смутныхъ чувствъ,

воспоминаній, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одномъ чувствѣ, на одномъ моментѣ.

Она куталась въ пледъ, чтобъ согрѣться, и взглядывала по временамъ на Райскаго, почти не замѣчая, что онъ дѣлаетъ, и все задумывалась, задумывалась и, казалось, будто въ глазахъ ея отражалось теченіе всей ея, молодой, но уже глубоко-взволнованной, и еще не успокоенной жизни, жажда покоя, тайныя мýки и робкое ожиданіе будущаго, — все мелькало во взглядѣ.

А Райскій, молча, сосредоточенно, блѣдный отъ артистическаго раздраженія, работалъ надъ ея глазами, по временамъ взглядывая на Вѣру, или глядѣлъ мысленно въ воспоминаніе о первой встрѣчѣ своей съ нею и о тогдашнемъ страстномъ впечатлѣніи. Въ комнатѣ была могильная тишина.

Вдругъ онъ остановился, стараясь уловить и опредѣлить тайну ея задумчиваго, ни на что не смотрѣвшаго, но глубокаго какъ бездна, говорящаго взгляда.

Онъ касался кистью зрачка на полотнѣ, думалъ поймать правду — и ловилъ правду чувства, а тамъ, въ живомъ взглядѣ Вѣры, сквозитъ еще что-то, какая-то спящая сила. Онъ клалъ другую краску, дѣлалъ тѣнь — и какъ ни бился—но у него выходили ея глаза и не выходило ея взгляда.

Напрасно онъ звалъ на помощь двѣ волшебныя учительскія точки, тѣ двѣ искры, которыми вдругъ засвѣтились глаза Софьи подъ его кистью.

— Нѣтъ, здѣсь точекъ мало!—сказалъ онъ послѣ новыхъ усилій передать этотъ взглядъ.

Онъ задумался, мѣшалъ краски, отходилъ отъ портрета, смотрѣлъ опять.

— Надо подождать!—рѣшилъ онъ и началъ подмалевывать щеки, носъ, волосы.

Поработавъ съ полчаса, онъ принялся опять за глаза.

— Еще разъ... послѣдній! — сказалъ онъ: — и если не удастся—не стану: нельзя!

— Теперь, Вѣра, погляди минутъ пять сюда, вотъ на эту точку,—обратился къ ней Райскій, указывая, куда глядѣть, и самъ поглядѣлъ на нее...

Она спала. Онъ замеръ въ молчаніи и смотрѣлъ на нее, боясь дохнуть.

— О, какая красота!—шепталъ онъ въ умиленіи. — Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ея взглядъ, въ которомъ улеглась вся ея драма и романъ. Здѣсь самъ Грёзъ положилъ бы кисть.

Онъ нарисовалъ глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живымъ образомъ спящаго покоя мысли, чувства и красоты.

Потомъ, положивъ палитру и кисть, тихо наклонился къ ней, еще тише коснулся губами ея блѣдной руки и неслышными шагами вышелъ изъ комнаты.

XV.

На другой день въ полдень, Вѣра, услыхавъ шумъ лошадиныхъ копытъ въ воротахъ, взглянула въ окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствіемъ, увидѣвъ рослую и стройную фигуру Тушина, верхомъ на ворономъ конѣ, въѣхавшаго во дворъ.

Вѣра машинально оправилась передъ зеркаломъ, со вздохомъ глядѣла на себя и думала: «Что братъ Борисъ нашелъ списывать во мнѣ!»

Она сошла внизъ, прошла всѣ комнаты и взялась за ручку двери изъ залы въ переднюю. А съ той стороны Тушинъ взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись другъ другу.

— Я сверху увидала васъ и пошла навстрѣчу... Вы здоровы?—вдругъ спросила она, взглянувъ на него пристально.

— Что мнѣ дѣлается!—конфузливо сказалъ онъ, ворочая лицо въ сторону, чтобъ не дать замѣтить ей перемѣны въ себѣ.—А вы?

— Ничего, такъ. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло... Гдѣ бабушка?—обратилась она къ Василисѣ.

Та сказала, что барыня, послѣ чаю, ушла куда-то, взявъ съ собой Савелья.

Вѣра пригласила Тушина къ себѣ на верхъ.

Они, сидя на концахъ дивана, молчали, глядя украдкой другъ на друга.

«Блѣденъ», думала она: «похудѣлъ; оскорбленное чувство, обманутыя надежды гнетутъ его...»

Тушинъ былъ точно непокоенъ, но не столько отъ «оскорбленныхъ чувствъ», сколько отъ заботы о томъ, что было съ нею послѣ: кончена ли ея драма, или нѣтъ?

Вопросъ о собственномъ безпокойствѣ, объ «оскорбленномъ чувствѣ и обманутыхъ надеждахъ» въ первые дни ломалъ его, и чтобы вынести эту ломку, нужна была медвѣжья крѣпость его организма и вся, данная ему и сбереженная имъ сила души. И онъ вынесъ борьбу, благодаря этой силѣ, благодаря своей прямой, чистой натурѣ, чуждой зависти, злости, мелкаго самолюбія, — всѣхъ этихъ стихій, изъ которыхъ слагаются дурныя страсти.

Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость Вѣры, и эта вѣра, которою держалась его чистая, глубоко-нравственная страсть къ ней, да прелесть ея обаятельной красоты и довѣріе къ ея уму, сердечной честности, — заглушали животный эгоизмъ страсти и спасали его, не только отъ отчаянія въ горѣ, но и отъ охлажденія къ Вѣрѣ.

Съ первой минуты ея откровенности, несмотря на свою жестокую муку, онъ безпристрастно сознавалъ и вѣрилъ, и тогда же выразилъ ей, что она не виновна, а «несчастлива»: такъ думалъ и теперь. Виноватымъ во всемъ, и еще болѣе несчастнымъ слѣпотой—считалъ онъ Марка.

Отъ этого у Тушина, тихо, пока украдкой отъ него самого, теплился, сквозь горе, сквозь этотъ хаосъ чувствъ, тоски, оскорбленій,—слабый лучъ надежды, не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье не совсѣмъ терять Вѣру изъ виду, удержать за собой навсегда ея дружбу, и вдалекѣ когда-нибудь, со временемъ, усилить ея покойную, прочную симпатію къ себѣ и... и...

Тутъ кончались его мечты, не смѣя идти далѣе, потому что за этими *и* слѣдовалъ естественный вопросъ о томъ, что теперь будетъ съ нею? Дѣйствительно ли кончилась ея драма? Не опомнился ли Маркъ, что онъ теряетъ, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назадъ? Не подали ли они другъ другу руки навсегда, чтобъ быть счастливыми, какъ онъ, Тушинъ, и какъ сама Вѣра понимаютъ счастье?

Стало-быть онъ мучился тѣми же сомнѣніями и тѣмъ же вопросомъ, который точно укусилъ Татьяну Марковну прямо въ сердце, когда Вѣра показала ей письма. Вопросъ этотъ не переставалъ грызть Тушина. Ему казалось невѣроятно, чтобы Маркъ устоялъ въ своихъ понятіяхъ и остался только на днѣ обрыва. «Не дуракъ же онъ, не слѣпой!..» «За что-нибудь любила она его... Нѣтъ—любить его нельзя—а влюбилась, увлеклась фальшиво...» думалъ онъ: «онъ опомнится, воротится, и она будетъ счастлива... Дай Богъ! Дай Богъ!» молился онъ за счастье Вѣры, и въ эти минуты блѣднѣлъ и худѣлъ—отъ безнадежности за свое погибающее будущее, безъ симпатіи, безъ счастья, безъ Вѣры, безъ всѣхъ этихъ *и... и... и...*

«Какая же это жизнь?» думалъ онъ. «Той жизнью, какою я жилъ прежде, когда не зналъ, есть ли на свѣтѣ Вѣра Васильевна, жить дальше нельзя. Безъ нея—дѣло станетъ, жизнь станетъ!»

Онъ принимался чуть не самъ рубить мачтовыя деревья,

слѣдилъ прилежнѣе за работами на пильномъ заводѣ, самъ, вмѣсто приказчиковъ, велъ книги въ конторѣ, или садился на коня и упаривалъ его, скача верстъ по двадцати взадъ и впередъ по лѣсу, заглушая свое горе и всѣ эти вопросы, скача отъ нихъ дальше,—но съ нимъ неутомимо, какъ свистящій осенній вѣтеръ, скакалъ вопросъ: что дѣлается на той сторонѣ Волги?

Сколько разъ онъ подъѣзжалъ къ берегу, глядя на противоположную сторону! Какъ хотѣлось ему вскочить на этомъ конѣ на отваливающій паромъ и взобраться на гору, узнать, спросить...

Но она сказала: «погодите»—и это «погодите» было для него свято.

Теперь онъ ѣхалъ съ ея запиской въ карманѣ. Она его вызвала, но онъ не скакалъ на гору, а ѣхалъ тихо, неторопливо слѣзъ съ коня, терпѣливо ожидая, чтобъ изъ людской замѣтили кучера и взяли его у него, и робко брался за ручку двери. Даже, придя въ ея комнату, онъ боязливо и украдкой глядѣлъ на нее, не зная, что съ нею, зачѣмъ она его вызвала, чего ему ждать.

Сначала неловко было обоимъ. Ей — оттого, что «тайна» извѣстна была ему, хотя онъ и другъ, но все же посторонній ей человѣкъ. Открыла она ему тайну внезапно, въ горячкѣ, въ нервномъ раздраженіи, когда она, изъ нѣкоторыхъ его словъ, заподозрѣла, что онъ уже знаетъ все.

И нельзя было не открыть: она дорожила прелестью его дружбы и не хотѣла красть уваженія. Притомъ онъ сдѣлалъ ей предложеніе. Но все же онъ знаетъ ея «грѣхъ»,—а это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избѣгала глядѣть ему прямо въ глаза.

Ему было неловко оттого, что онъ такъ не въ пору и некстати открылъ ей свои надежды, на которыя она отвѣтила ему страшной откровенностью—неловко и за нее, и за себя.

Они угадывали другъ друга и молчали.

— Вы меня простили?—сказала она наконецъ грудным шопотомъ, стараясь не глядѣть на него.

— Я, васъ? за что?

— За все, что вы перенесли, Иванъ Ивановичъ. Вы измѣнились, похудѣли, вамъ тяжело,—я это вижу. Горе ваше и бабушки—тяжелое наказаніе!

— Мое горе не должно безпокоить васъ, Вѣра Васильевна. Оно—мое. Я самъ напросился на него, а вы только смягчили его. Вонъ вы вспомнили обо мнѣ и писали, что вамъ хочется видѣть меня: ужели это правда?

— Правда, Иванъ Ивановичъ. Если у меня отнимутъ васъ троихъ, бабушку, васъ и брата Бориса—я не переживу своего одиночества.

— Ну, вотъ, а вы говорите—горе! Посмотрите мнѣ въ глаза. Я думаю, я въ эту минуту и пополнѣлъ опять.

У него показался румянецъ, какой бросается въ лицо вдругъ обрадованному человѣку.

— Вижу,—сказала она:—и отъ этого мнѣ больнѣе становится за все то, что я сдѣлала со всѣми вами. Что было съ бабушкой!

— А что? я боялся спросить...

Она разсказала ему все, что было въ эти двѣ недѣли, кромѣ признанія Татьяны Марковны.

Онъ напряженно ждалъ, не упомянетъ ли она о Маркѣ. Но она не сказала ни слова.

— Если бъ вы сами скорѣй успокоились! — сказалъ онъ задумчиво:—все пройдетъ и забудется...

— Забудется, но не простится.

— Некому и нечего прощать...

— Если бъ и забылось, и простилось другими, мнѣ самой нельзя забыть и простить себѣ...—шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лицѣ.

— Я начала немного отдыхать, забывать...—продолжала

она.—Теперь скоро свадьба, было много дѣла, я отвлеклась-было...

— И что же, помѣшало развѣ что-нибудь?

— Да... я вчера была сильно встревожена; и теперь еще не совсѣмъ покойна. Боюсь, чтобы какъ-нибудь... Да, вы правы, мнѣ надо скорѣе успокоиться... Я думала, все кончилось... Уѣхала бы я отсюда!

Онъ молчалъ, потупивъ глаза. Румянецъ и минутная радость сбѣжали съ лица.

— Случилось что-нибудь?—спросилъ онъ.—Не нужно ли вамъ... какой-нибудь услуги, Вѣра Васильевна?

— Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову васъ, Иванъ Ивановичъ.

— Не сумѣю, можетъ-быть?

— Нѣтъ, не то! Вы знаете все, вотъ прочтите, что я получила...

Она вынула изъ ящика оба письма и подала ему. Тушинъ прочиталъ и совсѣмъ похудѣлъ, сталъ опять блѣденъ, какъ былъ, когда пріѣхалъ.

— Да, тутъ, конечно, я лишній: вы одна можете...

— Не могу, Иванъ Ивановичъ...

Онъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Не могу, ни написать ему двухъ словъ, ни видѣть его...

Онъ сталъ оправляться и поднялъ голову, глядя на нее.

— А мнѣ надо дать отвѣтъ; онъ ждетъ тамъ, въ бесѣдкѣ, или придетъ сюда, если не дамъ... а я не могу...

— Какой отвѣтъ?—спросилъ Тушинъ, наклоняясь и разсматривая свои сапоги.

— И вы, какъ бабушка, спрашиваете, какой! Развѣ вы не читали? Онъ манитъ счастьемъ, предлагаетъ вѣнчаться..

— Что же?

— Что же!—повторила она съ примѣсью легкаго раздраженія.—я пробовала вчера написать ему всего двѣ строки:

«я не была—и не буду счастлива съ вами и послѣ вѣчанья, я не увижу васъ никогда. Прощайте!»—и не могла. Хотѣла пойти, сказать это сама и уйти—ноги не шли: я падала. Онъ не знаетъ ничего, что со мной произошло, и думаетъ, что я все еще въ жару страсти, оттого и надѣется, пишетъ... Надо ему сказать все, а я не могу! Поручить некому: бабушка вспыхнула какъ порохъ, прочитавши эти письма. Я боюсь, что она не выдержитъ... и я...

Тушинъ вдругъ всталъ и подошелъ къ ней.

— И вы подумали обо мнѣ: «Тушинъ — выдержитъ и послужитъ мнѣ...» и позвали меня... такъ?

Онъ весь просіялъ.

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, не такъ. Я позвала васъ чтобъ... видѣть васъ въ этой тревогѣ. Когда вы тутъ—я будто покойнѣе...

— Вѣра Васильевна!—сказалъ онъ, и румянецъ опять хлынулъ ему въ щеки.

Онъ былъ почти счастливъ.

— А посылать васъ туда,—продолжала она:—нѣтъ, я не нанесу вамъ этого новаго оскорбленія, не поставлю лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, котораго вы... не можете видѣть равнодушно... Нѣтъ, нѣтъ!

Она качала головой.

— Оскорбленія! Вѣра Васильевна!..

Онъ хотѣлъ говорить, но сложилъ только руки, какъ будто съ мольбой, передъ ней. Глаза блистали, глядя на нее.

Она съ изумленіемъ благодарности смотрѣла на него, видя, какъ одно вниманіе, одно чувство приличія,—такая малость—дѣлали его счастливымъ. И это послѣ всего!..

«Какъ онъ любитъ меня! Зачѣмъ!..»—подумала она съ грустью.

— Оскорбленія!—повторилъ онъ.—Да, мнѣ тяжело бы было, если бъ вы послали меня съ масличной вѣтвью къ нему, помочь ему выбраться изъ обрыва сюда... Эта голу-

биная роль мнѣ была бы точно не къ лицу—но я пошелъ бы мирить васъ, если бъ зналъ, что вы будете счастливы...

«И бабушка пошла бы, и мать моя, если бъ была жива... И этотъ человѣкъ готовъ идти—искать мое счастье—и терять свое!» подумалось ей опять.

— Иванъ Ивановичъ!—сказала она почти въ слезахъ:— я вамъ вѣрю, вы сдѣлали бы и это! Но я не послала бы васъ...

— Знаю, что не послали бы, и дурно сдѣлали бы. А теперь, мнѣ не надо и выходить изъ роли медвѣдя. Видѣть его — чтобы передать ему эти двѣ строки, которыхъ вы не могли написать: вѣдь это—счастье, Вѣра Васильевна!

Она потупила глаза.

«Я только и могу дать ему это счастье въ отвѣтъ... на все!..» думала она.

Замѣтивъ ея печаль, онъ вдругъ упалъ, смирился; гордость осанки, блескъ взгляда, румянецъ — пропали. Онъ раскаялся въ своей неосторожной радости, въ неосторожномъ словѣ: «счастье».

«Опять глупость сдѣлалъ!» терзался онъ про себя, принявъ простое, дружеское порученіе, съ которымъ она обратилась къ нему, потому что некому было поручить, какъ она сказала,—за какое-то косвенное поощреніе его надеждъ!

Онъ — этой внезапной радостью и этимъ словомъ: «счастье» — будто повторилъ свое признаніе въ любви и предложеніе руки и, кромѣ того, показалъ ей, что эгоистически радуется разрыву ея съ Маркомъ.

Вѣра, глядя на него, угадала, что онъ во второй разъ скатился съ своего обрыва счастливыхъ надеждъ. Ея сердце, женскій инстинктъ, дружба—все бросилось на помощь бѣдному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всѣмъ его надеждамъ, удержавъ одну, какую только могла дать ему въ своемъ положеніи — это безграничное довѣріе и уваженіе.

— Да, Иванъ Ивановичъ, я теперь вижу, что я надѣялась на васъ и въ этомъ, только не признавалась сама себѣ, и никогда не рѣшилась бы требовать отъ васъ этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможетъ мнѣ такъ, какъ вы поможете, потому что никто такъ, какъ вы, не любитъ меня...

— Вы балуете меня, Вѣра Васильевна, говоря это: но это правда! Вы насквозь видите меня...

— И если, — продолжала она: — вамъ не тяжело видѣть его...

— Нѣтъ... я не упаду въ обморокъ.

— Такъ подите сегодня въ пять часовъ въ бесѣдку и скажите...

Она задумалась, что̀ сказать. Потомъ взяла карандашъ, и написала тѣ же двѣ строки, которыя сказала ему на словахъ, не прибавивъ ничего къ прежде сказаннымъ словамъ.

— Вотъ мой отвѣтъ! — заключила она, передавая ему незапечатанный листокъ: — отдайте ему и прибавьте, что̀ хотите, если нужно будетъ; вы знаете все...

Онъ спряталъ листокъ въ карманъ.

— Помните одно,—прибавила она поспѣшно:—что я не обвиняю его ни въ чемъ... ни на что̀ не жалуюсь... слѣдовательно...

Она остановилась. Онъ ждалъ.

— Вашего бича съ собой не берите!.. — договорила она тихо, почти въ сторону.

— По дѣломъ мнѣ,—сказалъ онъ, сильно вздохнувъ.

— Виновата,—перебила она, подавая ему руку:—это не упрекъ, Боже сохрани! Память подсказала мнѣ кстати. Мнѣ легче этимъ однимъ словомъ выразить, а вамъ понять, чего я желаю и чего не желала бы въ этомъ свиданіи...

— Тутъ обидно одно, вы думали, что я безъ этого слова не понялъ бы...

— Простите меня, больную...

Онъ пожалъ поданную ему руку.

XVI.

Немного погодя, воротилась Татьяна Марковна, пришелъ Райскій. Татьяна Марковна и Тушинъ не безъ смущенія встрѣтились другъ съ другомъ. И имъ было неловко: онъ зналъ, что ей извѣстно его объясненіе съ Вѣрой, — а ей мучительно было, что онъ знаетъ романъ и «грѣхъ» Вѣры.

Изъ глазъ его выглядывало уныніе, въ ея разговорахъ сквозило смущеніе за Вѣру и участіе къ нему самому. Они говорили, даже о простыхъ предметахъ, какъ-то натянуто, но къ обѣду взаимная симпатія превозмогла, они оправились и глядѣли прямо другъ другу въ глаза, довѣряя взаимнымъ чувствамъ и характерамъ. Они даже будто сблизились между собой и, въ минуты молчанія, высказывали одинъ другому глазами то, что могли бы сказать о происшедшемъ словами, если бъ это было нужно.

До обѣда Вѣра оставалась съ Татьяной Марковной, стараясь, или скорѣе опасаясь узнать о мѣрѣ, какую она могла принять, чтобъ Маркъ не ожидалъ ее въ бесѣдкѣ. Она рѣшилась не отходить отъ нея и послѣ обѣда, чтобъ она не поддалась желанію сама сойти съ обрыва на свиданіе.

Но Татьяна Марковна до обѣда не упомянула о вчерашнемъ разговорѣ, а послѣ обѣда, когда Райскій ушелъ къ себѣ, а Тушинъ, надѣвъ пальто, пошелъ куда-то «по дѣлу», она заняла всю дѣвичью чисткою серебряныхъ чайниковъ, кофейниковъ, подносовъ и т. д., назначаемыхъ въ приданое Марфинькѣ.

Вѣра успокоилась съ этой стороны и мысленно перенеслась съ Тушинымъ въ бесѣдку, думая съ тоской и съ замираніемъ сердца отъ страха о томъ: «не вышло бы чего-нибудь! Если бъ этимъ кончилось! Что тамъ теперь дѣлается!»

А тамъ, безъ четверти въ пять часовъ, пробирался къ бесѣдкѣ Тушинъ. Онъ зналъ мѣстность, но видно давно не былъ и забылъ, потому что глядѣлъ направо, налѣво, бралъ, то въ ту, то въ другую сторону, по едва замѣтной тропинкѣ, и никакъ не могъ найти бесѣдки. Онъ остановился тамъ, гдѣ кусты были чаще и гуще, припоминая, что бесѣдка была гдѣ-то около этого мѣста.

Онъ стоялъ, оглядываясь во всѣ стороны, съ безпокойствомъ смотрѣлъ на часы. Стрѣлка подвигалась къ пяти часамъ, а онъ не видалъ ни бесѣдки, ни Марка.

Вдругъ издали до него дошелъ шумъ торопливыхъ шаговъ и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура.

«Кажется, онъ!..» думалъ Тушинъ, и раза два дохнулъ всей грудью, какъ усталый конь, покачалъ взадъ и впередъ стоящую рядомъ молодую ель, потомъ опустилъ обѣ руки въ карманы пальто и сталъ, какъ вкопанный.

Маркъ точно выпрыгнулъ изъ засады на это самое мѣсто, гдѣ былъ Тушинъ и, оглядываясь съ изумленіемъ вокругъ, замѣтилъ его и окаменѣлъ.

Они поглядѣли другъ на друга съ минуту, потомъ дотронулись до фуражекъ. Волоховъ все озирался съ недоумѣніемъ вокругъ.

— Гдѣ же бесѣдка?—спросилъ онъ наконецъ вслухъ.

— Я тоже ее ищу и не знаю, въ которой она сторонѣ!

— Какъ «въ которой сторонѣ»! Мы стоимъ на ея мѣстѣ: она еще вчера утромъ тутъ была...

Оба молчали, не зная, что сталось съ бесѣдкой. А съ ней сталось вотъ что. Татьяна Марковна обѣщала Вѣрѣ, что Маркъ не будетъ «ждать ее въ бесѣдкѣ», и буквально исполнила обѣщаніе. Черезъ часъ послѣ разговора ея съ Вѣрой, Савелій, взявъ человѣкъ пять мужиковъ, съ топорами, спустился съ обрыва, и они разнесли бесѣдку часа

въ два, унеся съ собой бревна и доски на плечахъ. А бабы и ребятишки, по ея же приказанію, растаскали и щепы.

На другой день утромъ, сама барыня взяла садовника, да опять Савелья, и еще двоихъ людей, и велѣла мѣсто, гдѣ была бесѣдка, поскорѣе сравнять, утоптать, закрыть дерномъ и пересадить туда нѣсколько молодыхъ сосенъ и елей.

«Заднимъ умомъ крѣпка!» упрекала она мысленно себя. «Если бъ я сломала бесѣдку тотчасъ, когда Вѣрочка сказала мнѣ все... тогда, можетъ-быть, злодѣй догадался бы и не писалъ ей проклятыхъ писемъ!»

Злодѣй дѣйствительно догадался.

«Старуха узнала: это она!» подумалъ онъ: «Вѣра поступила благонравно: все открыла ей!»

Онъ обернулся къ Тушину, кивнулъ ему и хотѣлъ идти, но замѣтилъ его пристальный, точно желѣзный взглядъ.

— Вы что тутъ дѣлали, гуляли, что ли?—спросилъ онъ.— Что вы такъ смотрите на меня? Вы здѣсь въ гостяхъ на верху?

— Да, въ гостяхъ. Я не гулять пришелъ, а видѣться съ вами,—сказалъ Тушинъ сухо, но учтиво.

— Со мной! — оборотясь живо къ нему отозвался Волоховъ и вопросительно глядѣлъ на него.

«Что это, не узналъ ли и онъ? Онъ, кажется, претендентъ на Вѣру. Не драму ли затѣваетъ этотъ лѣсной Отелло: «крови», «крови», что ли, ему надо!» успѣлъ подумать Маркъ.

— Съ вами, — повторилъ Тушинъ: — у меня есть порученіе къ вамъ.

— Отъ кого? Отъ старухи?

— Отъ какой старухи?

— Отъ Бережковой! Отъ какой!

— Нѣтъ.

— Такъ отъ Вѣры?—почти съ испугомъ спросилъ онъ.

— Отъ Вѣры Васильевны, хотите вы сказать?

— Ну, пожалуй — Васильевны. Что она, здорова ли? Что велѣла передать мнѣ?..

Тушинъ молча подалъ ему записку. Маркъ пробѣжалъ ее глазами, сунулъ небрежно въ карманъ пальто, потомъ снялъ фуражку и началъ пальцами драть голову, одолѣвая не то неловкость своего положенія передъ Тушинымъ, не то ощущеніе боли, огорченія, или злой досады.

— Вы... все знаете?—спросилъ онъ.

— Позвольте не отвѣчать на этотъ вопросъ, а спросить васъ: скажете вы что-нибудь въ отвѣтъ?

«Стану я тебѣ давать отвѣтъ!» подумалъ Маркъ: «не дамъ!»

— Ничего не скажу,—холодно отвѣчалъ онъ вслухъ.

— Но исполните, конечно, ея просьбу: не тревожить ее больше, не напоминать о себѣ... не писать, не посѣщать этихъ мѣстъ...

— Вамъ что за дѣло? Вы объявлены ея женихомъ, что спрашиваете?..

— Для этого не нужно быть женихомъ, а просто другомъ, чтобъ исполнить порученіе.

— Если буду писать и посѣщать — тогда что? — запальчиво заговорилъ Волоховъ, какъ-будто напрашиваясь на дерзость.

— Не знаю, какъ приметъ это Вѣра Васильевна. Если опять дастъ мнѣ новое порученіе, я опять сдѣлаю, что ей будетъ нужно.

— Какой вы послушный и почтительный другъ!—сказалъ съ злой иронiей Маркъ.

Тушинъ поглядѣлъ на него съ минуту серьезно.

— Да, вы правы, я такой другъ ей... Не забывайте, господинъ Волоховъ, — прибавилъ онъ: — что вы говорите не съ Тушинымъ теперь, а съ женщиной. Я сталъ въ ея положеніе и не выйду изъ него, что бы вы ни сказали. Я

думалъ, что и для васъ довольно ея желанія, чтобы вы не безпокоили ее больше. Она только-что поправляется отъ серьезной болѣзни...

Маркъ молча ходилъ взадъ и впередъ по лужайкѣ, и при послѣднихъ словахъ подошелъ къ Тушину.

— Что съ ней было?—спросилъ онъ почти мягко.

Тушинъ молчалъ.

— Извините меня, я горячусь, знаю, что это глупо! Но вѣдь вы видите, что и я—какъ въ горячкѣ.

— Очень жалѣю; стало-быть вамъ самимъ нуженъ покой... Вы дадите какой-нибудь отвѣтъ на эту записку?

Марку не хотѣлось отвѣчать ему.

— Я самъ отвѣчу, напишу...

— Она положительно отказывается отъ этого—и я могу дать вамъ слово, что она не можетъ поступить иначе... Она больна, и ея здоровье требуетъ покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себѣ. Я передаю, что мнѣ сказано, и говорю то, что видѣлъ самъ...

— Послушайте, вы ей желаете добра? — началъ Волоховъ.

— Конечно.

— Вы видите, что она меня любитъ, она вамъ сказала...

— Нѣтъ, этого я не вижу и она мнѣ не говорила о любви, а дала вотъ эту записку и просила подтвердить, что она не можетъ и не желаетъ болѣе видѣться съ вами и получать писемъ.

— Какая нелѣпость—мучиться и мучить другого! — сказалъ Маркъ, вскапывая ногой свѣжую, нанесенную только утромъ землю около дерева.—Вы могли бы избавить ее отъ этой пытки, отъ нездоровья, отъ упадка силъ... отъ всего—если вы... другъ ей! Старуха сломала бесѣдку, но не страсть: страсть сломаетъ Вѣру... Вы же сами говорите, что она больна...

— Я не говорилъ, что она больна отъ страсти...

— Отчего же разстроена?

— Оттого, что вы пишете къ ней, ждете въ бесѣдкѣ, грозите придти сами. Она не переноситъ этого — и только это поручила передать.

— Она только говоритъ такъ, а сама...

— Она говоритъ всегда правду.

— Почему она дала это порученіе вамъ? — вдругъ спросилъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ.

— Она вамъ довѣряетъ, стало-быть вы можете объяснить ей, какъ дико противиться счастью. Вѣдь она не найдетъ его тамъ, у себя... Вы посовѣтовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль... Притомъ я предлагаю ей...

— Если бъ вы умѣли понять ее, — остановилъ его Тушинъ:—то давно бы знали, что она изъ тѣхъ, кому «объяснять» нечего и «совѣтовать» нельзя. А колебать «бабушкину мораль» я не нахожу нужнымъ, потому что раздѣляю эту мораль.

— Вотъ какъ! Вы удивительный дипломатъ, отлично исполняете порученія!—раздражительно сказалъ Маркъ.

Тушинъ молчалъ, наблюдая за нимъ и покойно ожидая, что онъ, волей или неволей, а дастъ отвѣтъ.

Это молчаливое спокойствіе бѣсило Марка. Сломанная бесѣдка и появленіе Тушина въ роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что Вѣра не колеблется больше, что она установилась на своемъ намѣреніи не видѣться съ нимъ никогда.

Въ него тихо проникло ядовитое сознаніе, что Вѣра страдаетъ, дѣйствительно, не отъ страсти къ нему,—иначе она не открылась бы бабушкѣ, и еще менѣе Тушину. Онъ зналъ и прежде ея упрямство, котораго не могла сломать даже страсть, и потому почти съ отчаяніемъ сдѣлалъ послѣднюю уступку, рѣшаясь жениться и остаться еще на

неопредѣленное время, но отнюдь не навсегда, тутъ въ этомъ городѣ, а пока длится его страсть. Онъ вѣрилъ въ непогрѣшимость своихъ понятій о любви и предвидѣлъ, что рано или поздно она кончится для обоихъ одинаково, что они будутъ «виснуть одинъ другому на шею, пока виснется», а потомъ...

Онъ отдалялся отъ этого «потомъ», надѣясь, что со временемъ Вѣра не устоитъ и сама на морали бабушки, когда настанетъ охлажденіе.

Теперь и эта его жертва—предложеніе жениться—оказалась напрасною. Ее не приняли. Онъ не опасенъ и даже не нуженъ больше. Его отсылаютъ. Онъ терпѣлъ въ эту минуту отъ тѣхъ самыхъ мученій, надъ которыми издѣвался еще недавно, не вѣря имъ. «Не логично!» думалъ онъ.

— Я не знаю, что я сдѣлаю, — сказалъ онъ все еще гордо: — и не могу дать отвѣта на ваше дипломатическое порученіе. Въ бесѣдку, конечно, не приду, потому что ея нѣтъ...

— И писемъ не будете писать,—давалъ за него отвѣтъ Тушинъ:—потому что ихъ не передадутъ. Въ домъ тоже не придете—васъ не примутъ...

— Кто: вы?—злобно отозвался Маркъ:—что же вы, стеречь станете?

— Стану, если Вѣра Васильевна захочетъ. Впрочемъ, здѣсь есть хозяйка дома и... люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличій и спокойствія женщины...

— Чортъ знаетъ, что за нелѣпость! — рычалъ Маркъ: — выдумали люди себѣ кандалы... лѣзутъ въ мученики...

Ему все еще хотѣлось удержаться въ позиціи и удалиться съ нѣкоторымъ достоинствомъ, сохраняя за собой право не давать отвѣта. Но Тушинъ уже зналъ, что другого отвѣта быть не можетъ. Маркъ чувствовалъ это и сталъ отступать постепенно.

— Я ѣду скоро. — сказалъ онъ: — черезъ недѣлю... Не

можетъ ли Вѣра... Васильевна видѣться со мной на одну минуту?..

— Не можетъ положительно: она больна.

— Лѣчатъ, что ли, ее?

— Ей одно лѣкарство: чтобъ вы не напоминали о себѣ...

— Я вѣдь не совсѣмъ довѣряю вамъ, — ѣдко перебилъ Маркъ:—вы, кажется... неравнодушны къ ней, и...

Тушинъ опять покачалъ ель, но молчалъ. Онъ входилъ въ положеніе Марка и понималъ, какое чувство горечи или бѣшенства должно волновать его, и потому не отвѣчалъ злымъ чувствомъ на злобныя выходки, сдерживая себя, а только тревожился тѣмъ, что Маркъ, изъ гордаго упрямства, чтобъ не быть принуждену уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сдѣлаетъ попытку написать, или видѣться, и встревожитъ Вѣру. Ему хотѣлось положить совсѣмъ конецъ этимъ покушеніямъ.

— Если мнѣ не вѣрите, то у васъ есть доказательство,— сказалъ онъ.

— Расписка—да. Это ничего не значитъ. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль... Можетъ-быть, ужъ она теперь жалѣетъ, что послала васъ...

— Не думаю; она бы предвидѣла это и не послала бы. Вы, какъ я вижу, вовсе не знаете ея. Впрочемъ, я передалъ вамъ все—и вы, конечно, уважите ея желанія... Я не настаиваю болѣе на отвѣтѣ...

— Отвѣта никакого! Я уѣду...

— Это именно тотъ отвѣтъ, который нуженъ ей...

— Не ей, а вамъ, да, можетъ-быть, романтику Райскому и старухѣ...

— Да, пожалуй, и намъ, и, можетъ-быть, цѣлому городу! Я позволю себѣ только поручиться Вѣрѣ Васильевнѣ, что отвѣтъ вашъ будетъ вами буквально исполненъ. Прощайте.

— Прощайте... рыцарь...

— Что?—спросилъ, немного нахмурившись, Тушинъ.

Маркъ, блѣдный, смотрѣлъ въ сторону. Тушинъ дотронулся до фуражки и ушелъ, а Маркъ все еще стоялъ на мѣстѣ.

XVII.

Онъ злился, что уходитъ неловко, неблаговидно; хуже, чѣмъ онъ пророчилъ когда-то Райскому, что весь романъ его кончается обрывомъ, изъ котораго ему надо уходить не оглядываясь, что вслѣдъ ему не послано не только сожалѣнія, прощальнаго слова, но его будто выпроваживаютъ, какъ врага, притомъ слабаго, отъ котораго избавитъ недѣля-другая разлуки, да сосѣдняя гора, за которую онъ перевалится.

Отчего все это? «Онъ ни въ чемъ не виноватъ!» А ему отказываютъ въ послѣднемъ свиданіи, — очевидно не изъ боязни страстнаго искушенія, а какъ-будто грубой обиды, выбираютъ посредникомъ другого!

И этотъ другой командуетъ властью Вѣры, не выходя изъ границъ приличій, выпроваживаетъ его осторожно, какъ выпроваживаютъ буйнаго гостя, или вора, запирая двери, окна, и спуская собаку. Онъ намекнулъ ему о хозяйкѣ дома, о людяхъ... чуть не о полиціи.

Въ этомъ, пожалуй, онъ былъ самъ виноватъ (снисходительно обвинялъ Маркъ себя),—усвоивъ условія и формы общежитія, которыя онъ называлъ свободными и разумными, презирая всякимъ принятымъ порядкомъ, и которыя городъ этотъ не признавалъ такими.

Не оттого ли Вѣра теперь будто стыдится своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отдѣлывается отъ него заочно, черезъ другихъ, какъ отдѣлываются отъ дурного знакомства, сдѣланнаго случайно, или нечаянно?

И этотъ посредникъ, несмотря на рѣзкіе вызовы, очевидно сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже

скандальной, для Вѣры и для него самого, сцены — съ неприличнымъ человѣкомъ. И ко всему этому нужно было еще дать отвѣтъ! А отвѣтъ одинъ: другого отвѣта и нѣтъ, и нельзя дать, кромѣ того, какой диктовалъ ему этотъ «рыцарь» и «дипломатъ», унизившій его холодной вѣжливостью на всѣ его задиранья. Маркъ, какъ ни ускользалъ, а далъ отвѣтъ!

Но какъ бы Вѣра ни рѣшила, все же, въ память прошлаго, она должна была... хоть написать къ нему свое рѣшительное письмо — если больна и вынести свиданія не можетъ. Пусть охладился пылъ страсти, но она дружески могла проститься съ нимъ, подтвердила бы ему, что не мирится съ бездной неизвѣстности впереди, съ его міросозерцаніемъ—и они разошлись бы, уважая другъ друга. А онъ отсылаетъ его — не съ уваженіемъ, а какъ будто не удостоиваетъ досказать послѣднія слова, какъ будто онъ сдѣлалъ что-нибудь такое... Въ чемъ онъ виноватъ? Онъ сталъ припоминать послѣднее свиданіе — и не нашелъ за собой ничего...

Онъ правъ, во всемъ правъ: за что же эта нѣмая и глухая разлука? Она не можетъ обвинить его въ своемъ «паденіи», какъ «отжившіе люди» называютъ это... Нѣтъ! А теперь онъ пошелъ на жертвы до самоотверженія, бросаетъ свои дѣла, соглашается... вѣнчаться! За что же этотъ ножъ, лаконическая записка, вмѣсто дружескаго письма, посредникъ—вмѣсто самой себя?

Да, — это ножъ, ему больно. Холодъ отъ мозга до пятъ охватилъ его. Но какая рука вонзила ножъ? Старуха научила? нѣтъ — Вѣра не такая, ее не научишь! Стало-быть сама. Но за что, что онъ сдѣлалъ?

Маркъ медленно шелъ къ плетню, вяло влѣзъ на него и сѣлъ, спустивъ ноги, и не прыгалъ на дорогу, стараясь отвѣтить себѣ на вопросъ: «что онъ сдѣлалъ?»

Онъ припомнилъ, какъ въ послѣднемъ свиданіи «честно»

предупредилъ ее. Смыслъ его словъ былъ тотъ: «помни, я все сказалъ тебѣ впередъ, и если ты, послѣ сказаннаго, протянешь руку ко мнѣ — ты моя: но ты и будешь виновата, а не я...»

«Это логично!» сказалъ онъ почти вслухъ, и вдругъ будто около него поднялся изъ земли смрадъ и чадъ.

Онъ соскочилъ съ плетня на дорогу, не оглядываясь, какъ тогда...

Далѣе, онъ припомнилъ, какъ онъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, покидалъ ее одну, повисшую надъ обрывомъ въ опасную минуту. «Я уйду», говорилъ онъ ей («честно») и уходилъ, но оборотился, принялъ ея отчаянный нервный крикъ *прощай* за призывъ—и поспѣшилъ на зовъ...

Этотъ первый отвѣтъ на вопросъ: «что онъ сдѣлалъ», какъ молотъ, ударилъ его въ голову.

Онъ пошелъ съ горы, а ножъ дѣлалъ свое дѣло и вонзался все глубже и глубже. Память безпощадно проводила передъ нимъ рядъ недавнихъ явленій.

«Нечестно вѣнчаться, когда не вѣришь!» гордо сказалъ онъ ей, отвергая обрядъ и «безсрочную любовь» и надѣясь достичь побѣды безъ этой жертвы, а теперь предлагаетъ тотъ же обрядъ! Не предвидѣлъ! Не оцѣнилъ во-время Вѣру, отвергнулъ, гордо ушелъ... и оцѣнилъ черезъ нѣсколько дней!

«Вотъ что ты сдѣлалъ!» опять стукнулъ молотъ ему въ голову.

«Изъ логики и честности» — говорило ему отрезвившееся отъ пьянаго самолюбія сознаніе—«ты сдѣлалъ двѣ ширмы, чтобъ укрываться за нихъ съ своей «новой силой», оставивъ безсильную женщину раздѣлываться за свое и за твое увлеченіе, обѣщавъ ей только одно: «уйти, не унося съ собой никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязанностей»... оставляя ее нести ихъ одну...

«Ты не пощадилъ ее «честно», когда она падала въ

безсиліи, не сладилъ потомъ «логично» съ страстью, а пошелъ искать удовлетворенія ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому твоимъ «разумомъ» обряду, и впереди заботливо сулилъ—одну разлуку! Манилъ за собой и... договаривался! «Вотъ что ты сдѣлалъ!» стукнулъ молотъ ему въ голову еще разъ.

«Волкомъ» звала она тебя въ глаза, «шутя», стучалъ молотъ дальше: «теперь, не шутя, заочно, къ хищничеству волка — въ памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого слѣда — о человѣкѣ! Она вынесла изъ обрыва — одну казнь, одно неизлѣчимое терзаніе на всю жизнь: какъ могла она ослѣпнуть, не угадать тебя давно, увлечься, забыться!..» Торжествуй, она никогда не забудетъ тебя!

Онъ понялъ все: ея лаконическую записку, ея болѣзнь— и появленіе Тушина на днѣ обрыва, вмѣсто ея самой.

Козловъ видѣлъ его и сказалъ Райскому, что теперь онъ ѣдетъ на время въ Новгородскую губернію, къ старой теткѣ, а потомъ намѣренъ проситься опять въ юнкера, съ переводомъ на Кавказъ.

XVIII.

Райскій проговорилъ цѣлый вечеръ съ Тушинымъ. Они только теперь начали вглядываться другъ въ друга пристальнѣе, и разошлись оба съ желаніемъ познакомиться короче, слѣдовательно сдѣлали другъ на друга благопріятное впечатлѣніе.

Вечеромъ Тушинъ звалъ Райскаго къ себѣ на недѣлю погостить, посмотрѣть его лѣсъ, какъ работаетъ у него машина на паровомъ пильномъ заводѣ, его рабочую артель, вообще все лѣсное хозяйство.

Райскому хотѣлось докончить портретъ Вѣры, и онъ отклонилъ было приглашеніе. Но на другой день, проснувшись рано, онъ услыхалъ конскій топотъ на дворѣ, вагля-

нулъ въ окно и увидѣлъ, что Тушинъ уѣзжалъ со двора на своемъ ворономъ конѣ. Райскаго вдругъ потянуло за нимъ.

— Иванъ Ивановичъ! — закричалъ онъ въ форточку: — и я съ вами! Можете подождать четверть часа, пока я одѣнусь?

— Очень радъ!—отозвался Тушинъ, слѣзая съ лошади:— не торопитесь, я подожду хоть часъ!

Онъ пошелъ къ Райскому. Татьяна Марковна и Вѣра услыхали ихъ разговоръ, поспѣшили одѣться и позвали обоихъ пить чай, причемъ, конечно, Татьяна Марковна успѣла задержать ихъ еще на часъ и предложила проектъ такого завтрака, что они погрозили уѣхать въ ту же минуту, если она не ограничится однимъ бифстексомъ. Бифстексу предшествовала обильная закуска, а вслѣдъ за бифстексомъ явилась рыба, за рыбою—жареная дичь. Дѣло доходило до пирожнаго, но они встали изъ-за стола и простились — не надолго.

Райскому осѣдлали лошадь, а сзади ихъ Татьяна Марковна отправила цѣлую телѣжку съ гостинцами Аннѣ Ивановнѣ. И оба, вмѣсто осьми часовъ, какъ хотѣли, едва выбрались изъ дома въ десять и въ половинѣ одиннадцатаго сѣли на пардмъ Тушина.

Иванъ Ивановичъ въ разговорахъ съ Татьяной Марковной, съ Райскимъ, и потомъ по пріѣздѣ домой—былъ тихъ, сосредоточенъ, часто молчаливъ.

О Вѣрѣ не произнесли ни слова, ни тотъ, ни другой. Каждый зналъ, что тайна Вѣры была извѣстна обоимъ, и отъ этого имъ было неловко даже произносить ея имя. Кромѣ того, Райскій зналъ о предложеніи Тушина и о томъ, какъ онъ велъ себя и какая страдательная роль выпала ему на долю во всей этой драмѣ.

Съ этой минуты, какъ онъ узналъ это, всѣ ревнивыя его предубѣжденія къ Тушину исчезли, уступили мѣсто

сначала любопытному наблюденію, а потомъ, когда Вѣра разсказала ему все, и участію, уваженію, даже удивленію къ нему.

Удивленіе это росло по мѣрѣ того, какъ Райскій пристальнѣе изучалъ личность этого друга Вѣры. И въ этомъ случаѣ фантазія сослужила ему обычную службу, освѣтивъ Тушина ярко, не дѣлая изъ него впрочемъ никакого романтическаго идеала: личность была слишкомъ проста для этого, открыта и не романтична.

Пробывъ недѣлю у Тушина въ «Дымкѣ», видя его, у него, дома, въ полѣ, въ лѣсу, въ артели, на заводѣ, бесѣдуя съ нимъ по ночамъ до свѣта у камина, въ его кабинетѣ— Райскій понялъ вполнѣ Тушина, многому дивился въ немъ, а еще болѣе дивился глазу и чувству Вѣры, угадавшей эту простую, цѣльную фигуру и давшей ему въ своихъ симпатіяхъ мѣсто рядомъ съ бабушкой и съ сестрой.

Симпатія эта устояла даже въ разгарѣ посторонней страсти, болѣзни-страсти, которая обыкновенно самовластно поглощаетъ всѣ другія пристрастія, и даже привязанности. А въ ней дружба къ Тушину и тогда сохранила свою свѣжесть и силу. Это одно много говорило въ его пользу.

Она инстинктивно чувствовала, что его сила, которую она отличила и полюбила въ немъ — есть общечеловѣческая сила, какъ и любовь ея къ нему была — не исключительное, не узкое пристрастіе, а тоже общечеловѣческое чувство.

Не полюбила она его страстью, — т.-е. физически: это зависитъ не отъ сознанія, не отъ воли, а отъ какого-то нерва (должно-быть самаго глупаго, думалъ Райскій, отправляющаго какую-то низкую функцію, между прочимъ, влюблять), и не какъ друга только любила она его, хотя и называла другомъ, но никакихъ послѣдствій отъ дружбы его для себя не ждала, отвергая, по своей теоріи, всякую корыстную дружбу, а полюбила только какъ «человѣка», и

такъ выразила Райскому свое влеченіе къ Тушину въ первомъ свиданіи съ нимъ, т.-е. какъ къ «человѣку» вообще.

Райскій повѣрялъ наблюденіемъ надъ нимъ все, что слышалъ отъ Вѣры — и все оправдывалось, подтверждалось — и анализъ Райскаго, такъ услужливо разоблачавшій ему всякія загадочныя, или прикрытыя лоскомъ и краской стороны, долженъ былъ уступить мѣсто естественному влеченію къ этой простой, открытой личности, гдѣ не было почти никакого «лоска» и никакой «краски».

Это былъ чистый самородокъ, какъ слитокъ благороднаго металла, и полюбить его дѣйствительно можно было, кромѣ корыстной или обязательной любви, т.-е. какою могли любить его жена, мать, сестра, братъ,—еще какъ человѣка.

Глядя на него, слушая его, видя его дѣятельность, распоряженія по хозяйству, отношенія къ окружающимъ его людямъ, къ приказчикамъ, крестьянамъ — ко всѣмъ, кто около него былъ, съ кѣмъ онъ соприкасался, съ кѣмъ работалъ, или просто говорилъ, жилъ вмѣстѣ, Райскій удивлялся до наивности какимъ-то, наружно будто противоположностямъ, гармонически уживавшимся въ немъ: мягкости рѣчи, обращенія — съ твердостью, почти методическою, намѣреній и поступковъ, ненарушимой правильности взгляда, строгой справедливости—съ добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхожденіемъ,— далѣе, смѣси какого-то трогательнаго недовѣрія къ своимъ личнымъ качествамъ, робкихъ и стыдливыхъ сомнѣній въ себѣ—съ смѣлостью и настойчивостью въ распоряженіяхъ, работахъ, поступкахъ, дѣлахъ.

Въ немъ крылась безсознательная, природная, почти непогрѣшительная система жизни и дѣятельности. Онъ какъ-будто не зналъ, что дѣлалъ, а выходило какъ слѣдуетъ, какъ сдѣлали бы десятки приготовленныхъ умовъ, путемъ размышленія, науки, труда.

Райскій вспомнилъ первыя впечатлѣнія, какія [illegible]

на него Тушинъ, какъ онъ счелъ его даже немного ог
ниченнымъ, какимъ сочли бы, можетъ-быть, его, при п
вомъ взглядѣ, и другіе, особенно такъ-называемые «уми
ки», требующіе прежде всего внѣшнихъ признаковъ ум
его «лоска», «красокъ», «острія», обладающіе этимъ сам
не обладая часто тѣмъ существеннымъ матеріаломъ, ко
рый долженъ крыться подъ лоскомъ и краской.

Теперь, наблюдая Тушина ближе и совершенно безп
рыстно, Райскій рѣшилъ, что эта мнимая «ограниченност
есть не что иное, какъ равновѣсіе силы ума съ сумм
тѣхъ качествъ, которыя составляютъ силу души и во
что и то, и другое, и третье слито у него тѣсно одно с
другимъ и ничто не выдается, не просится впередъ, не сво
каетъ, не ослѣпляетъ, а тянетъ къ себѣ медленно, но прочн

Съ умомъ у него дружно шло рядомъ и билось сердце—
и все это уходило въ жизнь, въ дѣло, слѣдовательно и во
у него была послушнымъ орудіемъ умственной и нравств
ной силы.

Жизнь его совершила свой гармоническій ходъ, как
будто разыгрывалось стройное музыкальное произведен
подъ управленіемъ данныхъ ему природою силъ.

Заслуги мучительнаго труда надъ обработкой данна
ему, почти готоваго матеріала — у него не было и нѣт
это правда. Онъ не былъ самъ творцомъ своего пут
своей судьбы, ему, какъ планетѣ, очерчена орбита, по к
торой она должна вращаться; природа снабдила ее н
требнымъ количествомъ тепла и свѣта, дала нужныя сво
ства для этого теченія—и она идетъ неуклонно по нача
танному пути.

Такъ. Но вѣдь не планета же онъ въ самомъ дѣлѣ —
могъ бы уклониться далеко въ сторону. Стройно дѣйствую
щій механизмъ природныхъ силъ могъ бы разстроиться—
и отъ внѣшнихъ притоковъ разныхъ противныхъ вѣтров
толчковъ, остановокъ, и отъ дурной, избалованной воли.

А у него этого разлада не было. Внутреннею силою онъ отражалъ внѣшніе враждебные притоки, а свой огонь горѣлъ у него неугасимо, и онъ не уклоняется, не измѣняетъ гармоніи ума съ сердцемъ и съ волей—и совершаетъ свой путь безупречно, все стоитъ на той высотѣ умственнаго и нравственнаго развитія, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, слѣдовательно стоитъ почти безсознательно.

Но вѣдь сознательное достиженіе этой высоты — путемъ мукъ, жертвъ, страшнаго труда всей жизни надъ собой — безусловно, безъ помощи постороннихъ, выгодныхъ обстоятельствъ, дается такъ немногимъ, что — можно сказать — почти никому не дается, а между тѣмъ какъ многіе, утомясь, отчаявшись, или наскучивъ битвами жизни, останавливаются на полдорогѣ, сворачиваютъ въ сторону, и наконецъ совсѣмъ теряютъ изъ вида задачу нравственнаго развитія и перестаютъ вѣрить въ нее.

А Тушинъ держится на своей высотѣ и не сходитъ съ нея. Данный ему талантъ — быть человѣкомъ — онъ не закапываетъ, а пускаетъ въ оборотъ, не теряя, а только выигрывая отъ того, что созданъ природою, а не самъ сдѣлалъ себя такимъ, какимъ онъ есть.

«Нѣтъ, это не ограниченность въ Тушинѣ», рѣшалъ Райскій: «это — красота души, ясная, великая! — Это само благодушіе природы, ея лучшія силы, положенныя прямо въ готовыя, прочныя формы. Заслуга человѣка тутъ—почувствовать и удержать въ себѣ эту красоту природной простоты и умѣть достойно носить ее, т. е. цѣнить ее, вѣрить въ нее, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею — слѣдовательно, ни больше, ни меньше, какъ имѣть сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравнѣ съ нею.

А пока люди стыдятся этой силы, дорожа «змѣиной мудростью» и краснѣя «голубиной простоты», отсылая послѣднюю къ наивнымъ натурамъ, пока умственную высоту бу-

дуть предпочитать нравственной, до тѣхъ поръ и достиженіе этой высоты немыслимо, слѣдовательно немыслимъ и истинный, прочный, человѣческій прогрессъ.

Послушать, такъ нужная степень нравственнаго развитія у всѣхъ уже есть, какъ-будто каждый уже достигъ его и носитъ у себя въ карманѣ, какъ табакерку, что это «само собой разумѣется», что объ этомъ и толковать нечего. Всѣ соглашаются, что общество существовать безъ этого не можетъ, что гуманность, честность, справедливость—суть основные законы и частной, и общественной жизни, что «честность, честности, честностью» и т. д.

— И все ложь! — говорилъ Райскій. — Въ большинствѣ нѣтъ даже и почина нравственнаго развитія, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть нѣсколько захваченныхъ, какъ будто на дорогу въ-обрѣзъ денегъ—правилъ (а не принциповъ) и внѣшнихъ приличій, для руководства,—такихъ правилъ, за несоблюденіе которыхъ выводятъ вонъ, или запираютъ куда-нибудь.

У большинства есть decorum принциповъ, а сами принципы шатки и рѣдки, и украшаютъ, какъ ордена, только привилегированныя, отдѣльныя личности. «У него есть правила!» отзываются такимъ голосомъ о комъ-нибудь, какъ-будто говорятъ: «у него есть шишка на лбу!»

И, пожалуй, засмѣялись бы надъ тѣмъ, кто вздумалъ бы серьезно настаивать на необходимости развитія и развитія правилъ въ общественной массѣ и обращеніи ихъ въ принципы—такъ же настоятельно и неотложно, какъ, напримѣръ, на необходимости неотложнаго построенія желѣзныхъ дорогъ. И тутъ же не простили бы ему малѣйшаго упущенія въ умственномъ развитіи: если бъ онъ осмѣлился не прочесть послѣдняго французскаго или англійскаго, надѣлавшаго шуму увража, не зналъ бы какой-нибудь новѣйшей политико-экономической аксіомы, послѣдняго фазиса въ политикѣ, или важнаго открытія въ физикѣ.

«Умѣнье жить» ставитъ въ великую заслугу другъ другу, т. е. умѣнье «казаться», съ правомъ въ дѣйствительности «не быть» тѣмъ, чѣмъ надо быть. А умѣньемъ жить называютъ умѣнье ладить со всѣми, чтобъ было хорошо и другимъ, и самому себѣ, умѣть занять дурное и выставлять что̀ годится—т. е. приводить въ данный моментъ нужныя для этого свойства въ движеніе, какъ трогать клавиши, бо̀льшею частію—не обладая самой музыкой.

Тушинъ жилъ, не подозрѣвая, что умѣетъ жить, какъ Мольеровскій bourgeois-gentilhomme не подозрѣвалъ, что «говоритъ прозой» и жилъ одинаково, бывало ли ему отъ того хорошо, или не хорошо. Онъ былъ «человѣкъ», какъ коротко и вѣрно опредѣлила его умная и проницательная Вѣра.

Все это думалъ Райскій, ѣдучи съ Тушинымъ въ коляскѣ обратно домой, послѣ шестидневнаго пребыванія въ его лѣсной усадьбѣ. «Тушины — наша истинная «партія дѣйствія», наше прочное «будущее», которое выступитъ въ данный моментъ, особенно, когда все это» — оглядываясь кругомъ на поля, на дальнія деревни, рѣшалъ Райскій — «когда все это будетъ *свободно*, когда всѣ миражи, лѣнь и баловство исчезнутъ, уступивъ мѣсто настоящему «дѣлу», множеству «дѣла» у всѣхъ,—когда съ миражами исчезнутъ и добровольные «мученики», тогда явятся, на смѣну имъ, «работники», «Тушины» на всей лѣстницѣ общества...»

По впечатлительной натурѣ своей, онъ пристрастился къ этой новой, простой, мягкой, и вмѣстѣ сильной личности. Онъ располагалъ пробыть въ *Дымкѣ* и долѣе. Ему хотѣлось вникнуть въ порядокъ хозяйственнаго механизма Тушина. Онъ едва успѣлъ замѣтить только наружный порядокъ, видѣть бросающіеся въ глаза результаты этого хозяйства, не успѣвъ вникнуть въ самый процессъ его отправленія.

Въ деревнѣ онъ не замѣтилъ пока обыкновенныхъ и повсюдныхъ явленій: безпорядка, слѣдовъ бѣднаго крестьянскаго хозяйства, избъ на курьихъ ножкахъ, кучъ навоза,

дутъ предпочитать нравственной, до тѣхъ поръ и достиженіе этой высоты немыслимо, слѣдовательно немыслимъ и истинный, прочный, человѣческій прогрессъ.

Послушать, такъ нужная степень нравственнаго развитія у всѣхъ уже есть, какъ-будто каждый уже достигъ его и носитъ у себя въ карманѣ, какъ табакерку, что это «само собой разумѣется», что объ этомъ и толковать нечего. Всѣ соглашаются, что общество существовать безъ этого не можетъ, что гуманность, честность, справедливость—суть основные законы и частной, и общественной жизни, что «честность, честности, честностью» и т. д.

— И все ложь! — говорилъ Райскій. — Въ большинствѣ нѣтъ даже и почина нравственнаго развитія, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть нѣсколько захваченныхъ, какъ будто на дорогу въ-обрѣзъ денегъ—правилъ (а не принциповъ) и внѣшнихъ приличій, для руководства,—такихъ правилъ, за несоблюденіе которыхъ выводятъ вонъ, или запираютъ куда-нибудь.

У большинства есть decorum принциповъ, а сами принципы шатки и рѣдки, и украшаютъ, какъ ордена, только привилегированныя, отдѣльныя личности. «У него есть правила!» отзываются такимъ голосомъ о комъ-нибудь, какъ-будто говорятъ: «у него есть шишка на лбу!»

И, пожалуй, засмѣялись бы надъ тѣмъ, кто вздумалъ бы серьезно настаивать на необходимости развитія и развитія правилъ въ общественной массѣ и обращеніи ихъ въ принципы—такъ же настоятельно и неотложно, какъ, напримѣръ, на необходимости неотложнаго построенія желѣзныхъ дорогъ. И тутъ же не простили бы ему малѣйшаго упущенія въ умственномъ развитіи: если бъ онъ осмѣлился не прочесть послѣдняго французскаго или англійскаго, надѣлавшаго шуму увража, не зналъ бы какой-нибудь новѣйшей политико-экономической аксіомы, послѣдняго фазиса въ политикѣ, или важнаго открытія въ физикѣ!

«Умѣнье жить» ставить въ великую заслугу другъ другу, т. е. умѣнье «казаться», съ правомъ въ дѣйствительности «не быть» тѣмъ, чѣмъ надо быть. А умѣньемъ жить называютъ умѣнье ладить со всѣми, чтобъ было хорошо и другимъ, и самому себѣ, умѣть занять дурное и выставлять что̀ годится—т. е. приводить въ данный моментъ нужныя для этого свойства въ движеніе, какъ трогать клавиши, бо̀льшею частію—не обладая самой музыкой.

Тушинъ жилъ, не подозрѣвая, что умѣетъ жить, какъ Мольеровскій bourgeois-gentilhomme не подозрѣвалъ, что «говорить прозой» и жилъ одинаково, бывало ли ему отъ того хорошо, или не хорошо. Онъ былъ «человѣкъ», какъ коротко и вѣрно опредѣлила его умная и проницательная Вѣра.

Все это думалъ Райскій, ѣдучи съ Тушинымъ въ коляскѣ обратно домой, послѣ шестидневнаго пребыванія въ его лѣсной усадьбѣ. «Тушины — наша истинная «партія дѣйствія», наше прочное «будущее», которое выступитъ въ данный моментъ, особенно, когда все это» — оглядываясь кругомъ на поля, на дальнія деревни, рѣшалъ Райскій — «когда все это будетъ *свободно*, когда всѣ миражи, лѣнь и баловство исчезнутъ, уступивъ мѣсто настоящему «дѣлу», множеству «дѣла» у всѣхъ,—когда съ миражами исчезнутъ и добровольные «мученики», тогда явятся, на смѣну имъ, «работники», «Тушины» на всей лѣстницѣ общества...»

По впечатлительной натурѣ своей, онъ пристрастился къ этой новой, простой, мягкой, и вмѣстѣ сильной личности. Онъ располагалъ пробыть въ *Дымкѣ* и долѣе. Ему хотѣлось вникнуть въ порядокъ хозяйственнаго механизма Тушина. Онъ едва успѣлъ замѣтить только наружный порядокъ, видѣть бросающіеся въ глаза результаты этого хозяйства, не успѣвъ вникнуть въ самый процессъ его отправленія.

Въ деревнѣ онъ не замѣтилъ пока обыкновенныхъ и повсюдныхъ явленій: безпорядка, слѣдовъ бѣднаго крестьянскаго хозяйства, избъ на курьихъ ножкахъ, кучъ навоза,

грязныхъ лужъ, сгнившихъ колодцевъ и мостиковъ, нищихъ, больныхъ, пьяныхъ, никакой распущенности.

Когда Райскій выразилъ Тушину удивленіе и удовольствіе, что всѣ строенія глядятъ какъ новыя, свѣжо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нѣтъ, Тушинъ, въ свою очередь, удивился этому удивленію.

— И видно, что вы не деревенскій житель, не хозяинъ,— замѣтилъ онъ:—лѣсная усадьба и село, а крыши соломенныя—это даже невыгодно! Лѣсъ свой, какъ же избамъ разваливаться!

Не хозяйскій глазъ Райскаго не могъ оцѣнить вполнѣ всей хозяйственности, водворенной въ имѣніи Тушина. Онъ замѣтилъ мимоходомъ, что тамъ было что-то въ родѣ исправительной полиціи для разбора мелкихъ дѣлъ у мужиковъ, да заведенія въ родѣ банка, больницы, школы.

Тушинъ многое скрадывалъ, совѣстясь «докучать» гостю своими дѣлами, и спѣшилъ показать ему, какъ артисту, лѣсъ, гордясь имъ, какъ любимымъ дѣломъ.

Видъ лѣса въ самомъ дѣлѣ поразилъ Райскаго. Онъ содержался, какъ паркъ, гдѣ на каждомъ шагу видны слѣды движенія, работъ, ухода и науки. Артель смотрѣла какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяевъ, какъ-будто занимались своимъ хозяйствомъ.

— Вѣдь они у меня, и свои, и чужіе, на жалованьѣ,— отвѣчалъ Тушинъ на вопросъ Райскаго: — Отчего это? Пильный заводъ показался Райскому чѣмъ-то небывалымъ, по обширности, почти по роскоши строеній, гдѣ удобство и изящество дѣлали его похожимъ на образцовое англійское заведеніе. Машины изъ блестящей стали и мѣди были въ своемъ родѣ образцовыми произведеніями.

Самъ Тушинъ тамъ показался первымъ работникомъ, когда вошелъ въ свою технику, во всѣ мелочи, подробности, лазилъ въ машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.

Райскій съ удивленіемъ глядѣлъ, особенно когда они при-

шли въ контору на заводѣ и когда съ полсотни рабочихъ ввалились въ комнату съ просьбами, объясненіями, обступили Тушина.

Онъ, пробившись съ ними около часа, вдругъ сконфузился, что бросилъ гостя, и вывелъ его изъ толпы, извиняясь за эти дрязги, и повезъ показывать красивыя мѣста.

Райскій такъ увлекся всей этой новостью дѣла, личностей, этимъ заводомъ, этими массами лѣсного матеріала, отправлявшагося по водамъ до Петербурга и за границу, что рѣшилъ остаться еще недѣлю, чтобы изучить и смыслъ, и механизмъ этого большого дѣла.

Однако ему не удалось остаться долѣе. Татьяна Марковна вызвала его письмомъ, въ которомъ звала немедленно пріѣхать, написавъ коротко, что «дѣло есть».

Тушинъ напросился ѣхать съ нимъ, «проводить его», какъ говорилъ онъ, а въ самомъ дѣлѣ узнать, зачѣмъ вызвала Татьяна Марковна Райскаго: не случилось ли чего-нибудь новаго съ Вѣрой и не нуженъ ли онъ ей опять? Онъ съ тревогой припоминалъ свиданіе свое съ Волоховымъ, и то, какъ тотъ невольно и неохотно далъ отвѣтъ, что уѣдетъ.

«Уѣхалъ ли? не написалъ ли опять къ ней? не встревожилъ ли?»—мучился Тушинъ, ѣдучи въ городъ.

Райскій, воротясь домой, прежде всего побѣжалъ къ Вѣрѣ, и, подъ вліяніемъ свѣжаго впечатлѣнія, яркими красками начертилъ ей портретъ Тушина во весь ростъ и значеніе его въ той сферѣ, гдѣ онъ живетъ и дѣйствуетъ, и вмѣстѣ свое удивленіе и рождающуюся симпатію.

Въ этой простой русской, практической натурѣ, исполняющей призваніе хозяина земли и лѣса, перваго, самаго дюжаго работника между своими работниками, и вмѣстѣ распорядителя и руководителя ихъ судебъ и благосостоянія, онъ видѣлъ какого-то заволжскаго Роберта Овена.

— А ты мнѣ такъ мало говорила о его дѣятельности!..— заключилъ онъ.

Вѣра съ радостью слушала Райскаго; у ней появился даже румянецъ. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатлѣніе, какое сдѣлалъ на него «медвѣдь» и его берлога, теплый колоритъ, въ который Райскій окрасилъ фигуру Тушина, осмысливъ его своимъ мѣткимъ анализомъ, яркая картина быта, хозяйства, нравовъ лѣсного угла, всей мѣстности—все это почти увлекло и Вѣру.

Она не безъ гордости видѣла въ этомъ очеркѣ Райскаго косвенную похвалу и себѣ, за то, что тонко оцѣнила и умѣла полюбить въ Тушинѣ—правду простой натуры.

— Братъ,—сказала она: — ты рисуешь мнѣ не Ивана Ивановича: я знаю его давно,—а самого себя. Лучше всего то, что самъ не подозрѣваешь, что выходитъ недурно и твой собственный портретъ. И меня тутъ же хвалишь, что угадала въ Тушинѣ человѣка! Но это не трудно! Бабушка его тоже понимаетъ и любитъ, и всѣ здѣсь...

Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любитъ его больше, иначе...

Онъ хотѣлъ сказать что-то въ отвѣтъ, но за нимъ прислала бабушка и немедленно потребовала его къ себѣ.

— Скажи пожалуйста, Вѣра,—спохватился вдругъ Райскій:—зачѣмъ она вызвала меня?..

— Не знаю, что-то есть. Она мнѣ не говоритъ, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли тамъ что-нибудь!..—прибавила Вѣра, внезапно охлаждаясь и переходя отъ дружескаго тона къ своей грустной задумчивости.

Въ то время, какъ Райскій уходилъ отъ нея, Тушинъ прислалъ спросить ее, можетъ ли онъ ее видѣть. Она велѣла просить.

XIX.

Бабушка выслала Нашутку и заперла дверь кабинета, когда пришелъ Райскій. Сама она была очевидно разстроена. Райскій испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь непріятнаго, бабушка?— спросилъ онъ, садясь противъ нея.

— Что должно было случиться, то и случилось,—печально сказала она, глядя въ сторону.

— Скажите скорѣй, я—какъ на иголкахъ!

— Старый воръ Тычковъ отмстилъ намъ съ тобой! Даже и обо мнѣ гдѣ-то у помѣшанной женщины откопалъ исторію... Да ничего не вышло изъ того... Люди къ прошлому равнодушны, а я сама одной ногой въ гробу и о себѣ не забочусь. Но Вѣра...

Она вздохнула.

— Что такое?

— Ея исторія перестаетъ быть тайной... «Въ городѣ ходятъ слухи...—шептала Татьяна Марковна съ горечью.—Я сначала не поняла, отчего въ воскресенье, въ церкви, вицегубернаторша два раза спросила у меня о Вѣрѣ—здорова ли она — и двѣ барыни сунулись слушать, что я скажу. Я взглянула кругомъ—у всѣхъ на лицахъ одно: «что Вѣра?» Была, говорю, больна, теперь здорова. Пошли разспросы, что съ ней? Каково мнѣ было отдѣлываться, заминать! Всѣ замѣтили...

— Ужели что-нибудь вышло наружу?

— Настоящая бѣда, слава Богу, скрыта. Я вчера черезъ Тита Никоныча узнала кое-что. Сплетня попадаетъ не въ того...

Бабушка отвернулась.

— Въ кого же?

— Въ Ивана Ивановича—это хуже всего. Онъ тутъ ни сномъ, ни духомъ не виноватъ... Помнишь, въ день рожденія Марѳиньки—онъ пріѣзжалъ, сидѣлъ тутъ молча, ни съ кѣмъ ни слова не сказалъ, какъ мертвый, и ожилъ, когда показалась Вѣра? Гости видѣли все это. И безъ того давно не тайна, что онъ любитъ Вѣру; онъ не мастеръ таиться. А тутъ замѣтили, что онъ ушелъ съ ней въ садъ, потомъ

она скрылась къ себѣ, а онъ уѣхалъ... Знаешь ли, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ?

Райскій сдѣлалъ утвердительный знакъ головой.

— Знаешь? Ну, вотъ теперь Вѣра, да Тушинъ у всѣхъ на языкѣ.

— Какъ же я тутъ попалъ? Вы говорите, что Тычковъ и меня припуталъ?

— А тебя приплела Полина Карповна! Въ тотъ вечеръ, какъ ты гулялъ поздно съ Вѣрой, она пошла искать тебя. Ты что-то ей наговорилъ—должно быть на-смѣхъ поднялъ—а она поняла по-своему и припутала и тебя! Говоритъ, что ты влюбленъ былъ въ Вѣру, а она будто отбила, «извлекла» тебя изъ какой-то «пропасти», изъ обрыва, что-ли! Только это и ладитъ. Что у васъ тамъ такое съ ней было и о чемъ ты секретничалъ съ Вѣрой? Ты, должно быть, зналъ ея тайны и прежде, давно, а отъ бабушки пряталъ «ключи»! Вотъ что и вышло отъ этой вашей «свободы»!

Она вздохнула на всю комнату.

Райскій сжалъ кулаки.

— Мало было этой старой чучелѣ! Завтра я ей дамъ такой сеансъ...—сказалъ онъ съ угрозой.

— Нашелъ на комъ спрашивать! На нее нечего пенять, она смѣшна и ей не повѣрили. А тотъ старый сплетникъ узналъ, что Вѣра уходила, въ рожденье Марфиньки, съ Тушинымъ въ аллею, долго говорила тамъ, а наканунѣ пропадала до ночи и послѣ слегла,—и передѣлалъ разсказъ Полины Карповны по-своему. «Не съ Райскимъ, говоритъ, она гуляла ночью и наканунѣ, а съ Тушинымъ!..» Отъ него и пошло по городу! Да еще тамъ пьяная баба про меня наплела... Тычковъ все развѣдалъ...

Татьяна Марковна потупила взглядъ въ землю; у ней въ лицѣ показалась на минуту краска.

— А, это другое дѣло!—серьезно сказалъ Райскій и на-

чалъ въ волненіи ходить по комнатѣ.—Вашъ урокъ не подѣйствовалъ на Тычкова, такъ я повторю его иначе...

— Что ты затѣваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это не правда и, пожалуй, докажешь. Оно и не мудрено, стоитъ только справиться, гдѣ былъ Иванъ Ивановичъ наканунѣ рожденья Марѳиньки. Если онъ былъ за Волгой, у себя, тогда люди спросятъ, гдѣ же правда?.. съ кѣмъ она въ рощѣ была? Тебя Крицкая видѣла на горѣ одного, а Вѣра была...

Татьяна Марковна опустила голову.

Райскій бросился на кресло.

— Что же дѣлать?—сказалъ онъ въ тоскѣ за Вѣру.

— Что Богъ дастъ!—въ глубокой печали шептала Татьяна Марковна.—Богъ судитъ людей черезъ людей—и пренебрегать ихъ судомъ нельзя! Надо смириться! Видно мѣра еще не исполнилась!..

Опять глубокій вздохъ.

Райскій ходилъ по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положеніе дѣла. Общество замѣтило только внѣшніе признаки какой-то драмы въ одномъ углу. Отчужденіе Вѣры, постоянное поклоненіе Тушина, независимость ея отъ авторитета бабушки—оно знало все это и привыкло.

Но къ этому прибавилось какое-то туманное пятно; суетливость Райскаго около Вѣры замѣчена уже была давно, и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему объ этомъ свиданіи. Крицкая тоже замѣтила и, конечно, не была скромна на этотъ счетъ. Почтительное поклоненіе Тушина замѣчали всѣ, и не одна Татьяна Марковна прочила его въ женихи Вѣрѣ.

Въ городѣ вообще ожидали двухъ событій: свадьбы Марѳиньки съ Викентьевымъ, что и сбылось — и въ перспективѣ свадьбы Вѣры съ Тушинымъ. А тутъ вдругъ, противъ ожиданія, произошло что-то непонятное. Вѣра явилась на

минуту въ день рожденія сестры, не сказала ни съ кѣмъ почти слова и скрылась съ Тушинымъ въ садъ, откуда ушла къ себѣ, а онъ уѣхалъ, не повидавшись съ хозяйкой дома.

Отъ Крицкой узнали о продолжительной прогулкѣ Райскаго съ Вѣрой наканунѣ семейнаго праздника. Послѣ этого Вѣра объявлена была больною, заболѣла и сама Татьяна Марковна, домъ былъ на заперти, никого не принимали. Райскій ходилъ, какъ угорѣлый, бѣгая отъ всѣхъ; доктора неопредѣленно говорили о болѣзни...

О свадьбѣ ни слуху, ни духу. Отчего Тушинъ не дѣлаетъ предложенія, или если сдѣлалъ, отчего оно не принято? Падало подозрѣніе на Райскаго, что онъ увлекъ Вѣру: тогда — отчего онъ не женится на ней? Общественное мнѣніе неумолимо требовало на судъ—кто правъ, кто виноватъ—чтобы произнести свой приговоръ.

И Татьяна Марковна, и Райскій — чувствовали тяжесть положенія и боялись этого суда—конечно за Вѣру. Вѣра не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ея язва — и она всѣ силы свои устремила на ея утоленіе, и пока напрасно.

— Бабушка!—вдругъ сказалъ Райскій послѣ долгаго молчанія:—прежде всего надо вамъ самимъ все сказать Ивану Ивановичу. Какъ онъ приметъ эту сплетню: онъ ея герой—онъ и судья, какъ рѣшитъ—такъ и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его—онъ рѣшитъ правильно. Вѣрѣ онъ зла не пожелаетъ; онъ ее любитъ—я видѣлъ это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Онъ мучается ея участью больше, нежели своей. Въ немъ разыгрывается двойная трагедія. Онъ и сюда пріѣхалъ со мной, потому что растревожился вашимъ письмомъ ко мнѣ... конечно за нее. А потомъ ужъ я побываю у Полины Карповны, а можетъ быть, повидаюсь и съ Тычковымъ...

— Я не хочу, чтобъ ты видѣлся съ Тычковымъ!

— Бабушка, нельзя оставить!..

— Я не хочу, Борисъ!—сказала она такъ рѣшительно и строго, что онъ наклонилъ голову и не возразилъ болѣе ни слова.—Ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Ты сейчасъ придумалъ, что нужно сдѣлать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу, а потомъ увидимъ, надо ли тебѣ идти къ Крицкой, чтобы узнать отъ нея объ этихъ слухахъ и дать имъ другой толкъ, или... сказать правду! — прибавила она со вздохомъ. — Посмотримъ, какъ приметъ это Иванъ Ивановичъ. Попроси его ко мнѣ, а Вѣрѣ не говори ни слова. Она ничего не знаетъ, и дай Богъ чтобъ не узнала!

Райскій ушелъ къ Вѣрѣ, а къ Татьянѣ Марковнѣ, на смѣну ему, явился Тушинъ.

XX.

Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушинъ переступилъ порогъ ея комнаты. Онъ, молча, съ опущенными глазами, поздоровался съ ней, тоже перемогая свою тревогу — и оба въ первую минуту не глядѣли другъ на друга.

Имъ приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сихъ поръ не было намека между ними, хотя они взаимно обмѣнивались знаменательными взглядами и понимали другъ друга изъ грустнаго молчанія. Теперь предстояло стать открыто лицомъ къ лицу и говорить.

Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замѣчала перемѣны, какія произошли въ немъ въ эти двѣ-три недѣли: какъ осанка у него стала не такъ горда и бодра, какъ тускло смотритъ онъ въ иныя минуты, какъ стали медленны его движенія. И похудѣлъ онъ, и побѣднѣлъ.

— Вы отъ Вѣры теперь? — спросила она наконецъ.— Какъ вы нашли ее?

— Ничего... она, кажется, здорова... покойна...

Татьяна Марковна вздохнула.

— Какой покой! Ну, пусть ужъ она, а вамъ сколько безпокойства, Иванъ Ивановичъ! — тихо проговорила она, стараясь не глядѣть на него.

— Что мои безпокойства! Надо успокоить Вѣру Васильевну.

— Богъ не даетъ, не судьба! Только стала оправляться она, и я было отдохнула отъ домашняго горя, пока оно крылось за стѣнами, а теперь перешло и за стѣны...

Тушинъ вдругъ навострилъ уши, какъ будто услышалъ выстрѣлъ.

— Иванъ Ивановичъ, — рѣшительно заговорила Татьяна Марковна: — по городу сплетня ходитъ. Мы съ Борюшкой погорячились и сорвали маску съ лицемѣра Тычкова, вы знаете. Мнѣ бы и не подъ лѣта, да онъ ужъ очень зазнался. Терпѣнья не было! Теперь онъ срываетъ маску съ насъ...

— Съ васъ? Съ кого—съ васъ?

— Обо мнѣ онъ что-то мололъ — его не слушали, я мертвая... а о Вѣрѣ...

— О Вѣрѣ Васильевнѣ?

Тушинъ привсталъ.

— Садитесь, Иванъ Ивановичъ,—сказала Татьяна Марковна: — да, о ней. Можетъ-быть, такъ и надо... можетъ-быть, это—возмездіе. Но тутъ припутали и васъ...

— Меня, рядомъ съ Вѣрой Васильевной?

— Да, Иванъ Ивановичъ, и вотъ гдѣ истинное наказаніе!

— Позвольте же узнать, что говорятъ?

Татьяна Марковна передала ему слухъ.

— Въ городѣ замѣтили, что у меня въ домѣ неладно; видѣли, что вы ходили съ Вѣрой въ саду, уходили къ обрыву, сидѣли тамъ на скамьѣ, горячо говорили и уѣхали, а мы съ ней были больны, никого не принимали... вотъ откуда вышла сплетня!

Онъ, молча, слушалъ и хотѣлъ что-то сказать, она остановила его.

— Позвольте, Иванъ Ивановичъ, кончить, это не все. Борисъ Павлычъ... вечеромъ, наканунѣ дня рожденія Марѳиньки... пошелъ искать Вѣру...

Она остановилась.

— Что же дальше?—спросилъ Тушинъ нетерпѣливо.

— За нимъ потащилась Крицкая; она замѣтила, что Борюшка взволнованъ... У него вырвались какія-то слова о Вѣрочкѣ... Полина Карповна приняла ихъ на свой счетъ. Ей, конечно, не повѣрили—знаютъ ее—и теперь добираются правды, съ кѣмъ была Вѣра, наканунѣ рожденія, въ рощѣ... Со дня этого проклятаго обрыва поднялась туча и покрыла всѣхъ насъ... и васъ тоже.

— Что же про меня говорятъ?

— Что и въ тотъ вечеръ, наканунѣ, Вѣра была тамъ! въ рощѣ, внизу, съ кѣмъ-то... говорятъ, съ вами.

Она замолчала.

— Что же вамъ угодно, чтобъ я сдѣлалъ? — спросилъ онъ покорно.

— Надо сказать, что было: правду. Вамъ теперь, — рѣшительно заключила Татьяна Марковна: — надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, такимъ должны и остаться... А мы съ Вѣрой, послѣ свадьбы Марѳиньки, тотчасъ уѣдемъ въ Новоселово, ко мнѣ, навсегда... Сѣшите же къ Тычкову и скажите, что васъ не было въ городѣ наканунѣ, и слѣдовательно вы и въ обрывѣ быть не могли...

Она замолчала и грустно задумалась. Тушинъ, сидя, согнулся корпусомъ впередъ и, наклонивъ голову, смотрѣлъ себѣ на ноги.

— А если бъ я не такъ сказалъ?..—вдругъ поднявъ голову, отозвался онъ.

— Какъ знаете, Иванъ Ивановичъ, такъ и рѣшайте. Что̀ другое могли бы вы сказать?

— Я сказалъ бы Тычкову, — да не ему, я съ нимъ и говорить не хочу, а другимъ—что я былъ въ городѣ, потому что это правда: я не за Волгой былъ, а два дня пробылъ у пріятеля здѣсь—и сказалъ бы, что я былъ наканунѣ... въ обрывѣ — хоть и это неправда, — съ Вѣрой Васильевной... Прибавилъ бы, что... дѣлалъ предложеніе и получилъ отказъ, что это огорчило меня и васъ, такъ какъ вы были — за меня, и что Вѣра Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша отъ этого не разстроилась... Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду... обѣщаніе подумать...

— То-есть, — сказала Татьяна Марковна задумчиво:— сказать, что было сватовство, не сладилось... Да! если вы такъ добры... можно и такъ. Но вѣдь не отстанутъ послѣ, будутъ ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обѣщаніе не вѣкъ будетъ обѣщаніемъ...

— Забудутъ, Татьяна Марковна, особенно если вы уѣдете, какъ говорите... А если не забудутъ... и вы съ Вѣрой Васильевной будете все тревожиться... то и принять предложеніе...—тихо досказалъ Тушинъ.

Татьяна Марковна измѣнилась въ лицѣ.

— Иванъ Ивановичъ! — сказала она съ упрекомъ: — за кого вы насъ считаете съ Вѣрой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду,— для этого воспользоваться вашей прежней слабостью къ ней и великодушіемъ? И потомъ, чтобъ всю жизнь — ни вамъ, ни ей, не было покоя! Я не ожидала этого отъ васъ!..

— Напрасно! никакого великодушія тутъ нѣтъ! А я думалъ, когда вы разсказывали эту сплетню, что вы за тѣмъ меня и позвали, чтобъ коротко и ясно сказать: «Иванъ Ивановичъ, и ты тутъ запутанъ: выгороди же и себя, и ее вмѣстѣ!» Вотъ тогда я прямо, какъ Викентьевъ, назвалъ бы

васъ бабушкой и сталъ бы на колѣни передъ вами. Да оно бы такъ и должно-быть! — сказалъ онъ уныло. — Простите, Татьяна Марковна, а у васъ дѣло обыкновенно начинается съ стараго обычая, съ старыхъ правилъ, да съ справки о томъ, какъ было, да что скажутъ, а собственный умъ и сердце придутъ послѣ. Вотъ, если бъ съ нихъ начать, тогда бы у васъ этой печали не было, а у меня было бы меньше сѣдыхъ волосъ, и Вѣра Васильевна...

Онъ остановился, какъ будто опомнившись.

— Виноватъ! — вдругъ понизивъ тонъ, перешедшій въ робость, сказалъ онъ.—Я взялся не за свое дѣло. Рѣшаю и за Вѣру Васильевну,—а вся сила въ ней!

— Вотъ видите, безъ моего «ума и сердца», сами договорились до правды, Иванъ Ивановичъ! Мой «умъ и сердце» говорили давно за васъ, да не судьба! Стало-быть, вы изъ жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за васъ— опять скажу — ради вашего... великодушія... Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы съ ней на такой поступокъ? Вы знаете насъ...

— И честно, и правильно, если она чувствуетъ ко мнѣ, что говоритъ. Она любитъ меня, какъ «человѣка», какъ друга: это ея слова, — цѣнитъ конечно больше, нежели я стою... Это большое счастье! Это вѣдь значитъ, что современемъ... полюбила бы—какъ добраго мужа...

— Иванъ Ивановичъ, вамъ-то что этотъ бракъ принесъ бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!

— Я не мѣшаюсь ни въ чьи дѣла, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горемъ — и не мѣшаю вамъ: зачѣмъ же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мнѣ самому знать, что мнѣ принесетъ этотъ бракъ!—вдругъ сказалъ Тушинъ рѣзко.—Счастье на всю жизнь—вотъ что онъ принесетъ! А я, можетъ-быть, проживу еще лѣтъ пятьдесятъ! Если не пятьдесятъ, хоть десять, двадцать лѣтъ счастья!

Онъ почесалъ голову почти съ отчаяніемъ, что эти двѣ женщины не понимаютъ его и не соглашаются отдать ему въ руки то счастье, которое ходитъ около него, ускользаетъ, не дается, и въ которое бы онъ вцѣпился своими медвѣжьими когтями и никогда бы не выпустилъ вонъ.

А онѣ не видятъ, не понимаютъ, все еще громоздятъ горы, которыя вдругъ выросли на его дорогѣ и пропали— ихъ нѣтъ больше, онъ одолѣлъ ихъ страшною силою любви и мýки!

Ужели даромъ бился онъ въ этой битвѣ и устоялъ на ногахъ, не добывъ погибшаго счастья. Была одна только неодолимая гора: Вѣра любила другого, надѣялась быть счастлива съ этимъ другимъ — вотъ гдѣ настоящій обрывъ! Теперь надежда ея умерла, умираетъ, по словамъ ея («а она никогда не лжетъ и знаетъ себя», подумалъ онъ)— слѣдовательно ничего нѣтъ больше, никакихъ горъ! А онѣ не понимаютъ, выдумываютъ препятствія!

«А ихъ нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!» съ бѣшенствомъ про себя шепталъ Тушинъ, и почти злобно смотрѣлъ на Татьяну Марковну.

— Татьяна Марковна! — заговорилъ онъ, вдругъ опять взявъ высокую ноту, горячо и сильно. — Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, море переплываютъ, а теперь вонъ прорываютъ и горы насквозь, и все идутъ смѣлые люди впередъ! А здѣсь, ни лѣса, ни моря, ни горъ— ничего нѣтъ: были стѣны и упали, былъ обрывъ и нѣтъ его! Я бросаю мостъ черезъ него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мнѣ Вѣру Васильевну, дайте мнѣ ее!— почти кричалъ онъ: — я перенесу ее черезъ этотъ обрывъ и мостъ—и никакой чортъ не помѣшаетъ моему счастью и ея покою—хоть живи она сто лѣтъ! Она будетъ моей царицей и укроется въ моихъ лѣсахъ, подъ моей защитой, отъ всякихъ грозъ и забудетъ всякіе обрывы, хоть бы ихъ были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!

Онъ всталъ, вдругъ зажалъ глаза платкомъ, и въ отчаяніи началъ ходить по комнатѣ.

— Я-то понимаю, Иванъ Ивановичъ, — тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчавъ:—но дѣло не во мнѣ...

Онъ вдругъ остановился, отеръ глаза, провелъ рукой по своей густой гривѣ и взялъ обѣ руки Татьяны Марковны.

— Простите меня, Татьяна Марковна, я все забываю главное: ни горы, ни лѣса, ни пропасти не мѣшаютъ — есть одно препятствіе неодолимое: Вѣра Васильевна не хочетъ, стало-быть — видитъ впереди жизнь счастливѣе, нежели со мной...

Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотѣла что-то возразить, онъ остановилъ ее.

— Виноватъ опять!—сказалъ онъ:—я не въ ту силу поворотилъ. Оставимъ рѣчь обо мнѣ, я удалился отъ предмета. Вы звали меня, чтобъ сообщить мнѣ о сплетнѣ, и думали, что это обезпокоитъ меня — такъ? Успокойтесь же и успокойте Вѣру Васильевну, увезите ее, — да чтобъ она не слыхала объ этихъ толкахъ! А меня это не обезпокоитъ!

Онъ усмѣхнулся.

— Эта нѣжность мнѣ не къ лицу. На сплетню я плюю, а въ городѣ мимоходомъ скажу, какъ мы говорили сейчасъ, что я сватался и получилъ отказъ, что это огорчило васъ, меня, и весь домъ... такъ какъ я давно надѣялся... *Тотъ* уѣзжаетъ завтра или послѣзавтра навсегда (я ужъ справился),—и все забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мнѣ нечѣмъ дорожить. Я все равно, что живу, что нѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ рѣшено, что Вѣра Васильевна не будетъ никогда моей женой...

— Будетъ вашей женой, Иванъ Ивановичъ, — сказала Татьяна Марковна, блѣдная отъ волненія:—если... то забу-

дется, отойдетъ... (Онъ сдѣлалъ нетерпѣливый, отчаянный жестъ...) если этотъ обрывъ вы не считаете бездной... Я поняла теперь только, какъ вы ее любите...

Она еще боялась вѣрить слезамъ, стоявшимъ въ глазахъ Тушина, его этимъ простымъ словамъ, которыя возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Вѣры.

— Будетъ?—повторилъ и онъ, подступивъ къ ней широкими шагами, и чувствовалъ, что волосы у него поднимаются на головѣ и дрожь бѣжитъ по тѣлу.—Татьяна Марковна! Не маните меня напрасной надеждой, я не мальчикъ! Что я говорю — то вѣрно, но хочу, чтобъ и то, что сказано мнѣ—было вѣрно, чтобы не отняли у меня потомъ! Кто мнѣ поручится, что это будетъ, что Вѣра Васильевна... когда-нибудь...

— Бабушка поручится: теперь — это все равно, что она сама...

Тушинъ блеснулъ на нее благодарнымъ взглядомъ и взялъ ея руку.

— Но погодите, Иванъ Ивановичъ! — торопливо, почти съ испугомъ, прибавила она и отняла руку, видя, какъ Тушинъ вдругъ точно выросъ, помолодѣлъ, сталъ чѣмъ былъ прежде. — Теперь я, ужъ не какъ бабушка, а какъ женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита. дайте ей самой оправиться! Не тревожьте, оставьте ее на долго! Она разстроена, не перенесетъ... Да и не пойметъ васъ, не повѣритъ теперь вамъ, подумаетъ, что вы въ горячкѣ, хотите не выпустить ее изъ рукъ, а потомъ одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой умъ і сердце; вотъ они мнѣ и говорятъ: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дѣла, а вы и подавно... Не мните-же, что я вамъ говорю...

— Я буду помнить одно слово: «*будетъ*», и имъ по буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сдѣлало со мной, это ваше слово?..

— Вижу, Иванъ Ивановичъ, и вѣрю, что вы говорите не на вѣтеръ. Оттого и вырвалось у меня это слово; не принимайте его слишкомъ горячо къ сердцу — я сама боюсь...

— Я буду надѣяться... — сказалъ онъ тише и смотрѣлъ на нее молящими глазами. — Ахъ, если бъ и я, какъ Викентьевъ, могъ когда-нибудь сказать: «бабушка!»

Она сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ оставилъ ее, и когда онъ вышелъ, она опустилась въ кресла, закрывъ лицо платкомъ.

XXI.

На другой день Райскій утромъ рано предупредилъ Крицкую запиской, что онъ проситъ позволенія придти къ ней въ половинѣ перваго часа и получилъ въ отвѣтъ: «Charmée, j'attends» и т. д.

Шторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она въ бѣлой кисейной блузѣ, перехваченной поясомъ, съ широкими кружевными рукавами, съ желтой далiей на груди, слегка подрумяненная, встрѣтила его въ своемъ будуарѣ. Тамъ, у дивана, накрытъ былъ столъ, и рядомъ стояли два прибора.

— Мой прощальный визитъ!—сказалъ онъ, кланяясь ей и останавливая на ней сладкій взглядъ.

— Какъ прощальный! — съ испугомъ перебила она: — я слушать не хочу! Вы ѣдете теперь, когда мы... Не можетъ быть! Вы пошутили: жестокая шутка! Нѣтъ, нѣтъ, скорѣй засмѣйтесь, возьмите назадъ ужасныя слова!..

— Что это у васъ? — радостно произнесъ онъ, вдругъ уставивъ глаза на столъ:—свѣжая икра!

Она сунула свою руку ему подъ руку и подвела къ столу, на которомъ стоялъ полный, обильный завтракъ. Онъ оглядывалъ одно блюдо за другимъ. Въ двухъ хрустальныхъ тарелкахъ была икра.

— Я знаю, что вы любите... да любите...

— Икру? Даже затрясся весь, какъ увидалъ! А это что?— съ новымъ удовольствіемъ заговорилъ онъ, приподнимая крышки серебряныхъ блюдъ, одну за другой. — Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки безъ папильотокъ не можете кушать! Ахъ, и трюфли — *роскошь юныхъ лѣтъ!*— petit-fours, bouchées de dames! Ахъ! что вы хотите со мной дѣлать?— обратился онъ къ ней, потирая отъ удовольствія руки.—Какіе замыслы у васъ?

— Вотъ, вотъ чего я жду: этой улыбки, шутки, смѣха— да! Не поминайте объ отъѣздѣ. Прочь печаль! Vive l'amour et la joie.

«Эге! какой «abandon!» — даже страшновато...» подумалъ онъ опасливо.

— Садитесь, сядемъ рядомъ, сюда! — пригласила она, и взявъ его за руку, усадила рядомъ съ собой, шаловливо завѣсивъ его салфеткой, какъ дѣлаютъ съ дѣтьми и стариками.

Онъ машинально повиновался, съ вожделѣніемъ поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и онъ принялся удовлетворять утренній, свѣжій аппетитъ. Она сама положила ему котлетку и налила шампанскаго въ граненый стаканъ, а себѣ въ бокалъ, и кокетливо брала въ ротъ маленькіе кусочки пирожнаго, любуясь имъ.

Послѣ жареной дичи и двухъ стакановъ шампанскаго, при чемъ они чокались, глядя близко другъ другу въ глаза,— она лукаво и нѣжно, онъ — вопросительно и отчасти боязливо,—они наконецъ прервали молчаніе.

— Что вы скажете?—спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особеннаго.

— Ахъ, какая икра! Я еще опомниться не могу!

— Вижу... вижу,—сказала она лукаво.—Снимите маску, полноте притворяться...

— Ахъ!—вздохнулъ онъ, отпивая изъ стакана.

— Enfin la glace est rompue? На чьей сторонѣ побѣда? Кто предвидѣлъ, кто предсказывалъ? A votre santé!

— A la votre!

Они чокнулись.

— Помните... тотъ вечеръ, когда «природа, говорили вы, празднуетъ любовь...»

— Помню!—шепнулъ онъ мрачно:—онъ рѣшилъ все!..

— Да не правда ли? я знала! Могла ли удержать въ своихъ слабыхъ сѣтяхъ бѣдная дѣвочка... une nullité, cette pauvre petite fille, qui n'a que sa figure?.. Ни опытности, ни блеска, дикая!..

— Нѣтъ, не могла! Я вырвался...

— И нашли то... что давно искали: признайтесь!

Онъ медлилъ.

— Buvez—et du courage!

Она придвинула ему стаканъ. Онъ допилъ его, она сейчасъ наполнила его опять.

— Признайтесь...

— Признаюсь.

— Что тогда случилось тамъ... въ рощѣ?.. Вы были такъ взволнованы. Скажите... ударъ?..

— Да, ударъ и... разочарованіе.

— Могло ли быть иначе: вы—и она, деревенская дѣвочка!

Она гордо оправилась, взглянула на себя въ зеркало и выправила кружево на рукавахъ.

— Что же тамъ было?—спросила она, стараясь придать небрежность тону.

— Это не моя тайна!—сказалъ онъ, будто опомнившись.

— Oh, je respecte les secrets de famille... Пейте же!

Она придвинула стаканъ. Онъ отпилъ глотка два.

— Ахъ! — вздохнулъ онъ на всю комнату. — Нельзя ли отворить форточку?.. Мнѣ тяжело, больно!

— Oh, je vous comprends!—она бросилась отворять форточку.—Voilà des sels, du vinaigre de toilette...

— Нѣтъ, благодарю! — говорилъ онъ, махая платко себѣ въ лицо.

— Какъ вы были тогда страшны? Я кстати подосп не правда ли! Можетъ-быть, безъ меня вы воротились въ пропасть, на дно обрыва! Что тамъ было, въ рощѣ?..

— Ахъ, не спрашивайте!

— Buvez donc!

Онъ лѣниво отпилъ глотокъ.

— Тамъ, гдѣ я думалъ...—говорилъ онъ, будто про себя: найти счастье... я услыхалъ...

— Что?—шопотомъ спросила она, притаивъ дыханіе.

— Ахъ!—шумно вздохнулъ онъ:—отворить бы двери!

— Тамъ былъ... Тушинъ—да?

Онъ, молча, кивнулъ головой и выпилъ глотокъ вина.

Злая радость наполнила черты ея лица.

— Dites tout.

— Она гуляла задумчиво одна... — тихо говорилъ он а Полина Карповна, играя цѣпочкой его часовъ подст вляла свое ухо къ его губамъ. — Я шелъ по ея слѣдам хотѣлъ наконецъ допроситься у ней отвѣта... она сош нѣсколько шаговъ съ обрыва, какъ вдругъ навстрѣчу вышелъ...

— Онъ?

— Онъ.

— Я это знала, оттого и пошла въ садъ... О, я зна qu'il y a du louche! что же онъ?

— Здравствуйте, говоритъ, Вѣра Васильевна? здоро ли вы?..

— Лицемѣръ:—сказала Крицкая.

— Она испугалась...

— Притворно!

— Нѣтъ, испугалась непритворно, а я спрятался, слушаю. «Откуда вы? спрашиваетъ она: какъ сюда п пали?» «Я, говоритъ, сегодня пріѣхалъ на два дня, что

завтра, въ день рожденья вашей сестры... Я выбралъ этотъ день...

— Eh bien?

— Eh bien! «рѣшите, говоритъ, Вѣра Васильевна: жить мнѣ, или нѣтъ!»

— Où le sentiment va-t-il se nicher!—въ этомъ дубѣ!—замѣтила Полина Карповна.

— «Иванъ Ивановичъ!» сказала Вѣра умоляющимъ голосомъ. «Вѣра Васильевна!» перебилъ онъ: «рѣшите, идти мнѣ завтра къ Татьянѣ Марковнѣ и просить вашей руки, или кинуться въ Волгу?..»

— Такъ и сказалъ?

— Какъ напечаталъ!

— Mais il est ridicule! что же она: «ахъ, охъ?!»

— «Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, дайте мнѣ—(это она говоритъ)—самой рѣшить, могу ли я отвѣчать вамъ такимъ же полнымъ, глубокимъ чувствомъ, какое питаете вы ко мнѣ. Дайте полгода, годъ срока, и тогда я скажу—или *нѣтъ*, или то *да*, какое»... Ахъ! какая духота у васъ здѣсь! нельзя ли сквозного вѣтра?—(«не будетъ ли сочинять? кажется, довольно?») подумалъ Райскій и взглянулъ на Полину Карповну.

На лицѣ у ней было полнѣйшее разочарованіе.

— C'est tout?—спросила она.

— Oui!—сказалъ онъ со свистомъ.—Тушинъ, однако, не потерялъ надежду, сказалъ, что на другой день, въ рожденье Марфиньки, пріѣдетъ узнать ея послѣднее слово и пошелъ опять съ обрыва черезъ рощу, а она проводила его... Кажется, на другой день надежды его подогрѣлись, а мои исчезли навсегда...

— И все! А тутъ, Богъ знаетъ, что наговорили... и про нее, и про васъ! Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую!.. Какіе есть на свѣтѣ ядовитые языки!.. Этотъ отвратительный Тычковъ...

— Что такое про бабушку?—спросилъ тихо Райскій, въ свою очередь, притаивъ дыханіе и навостривъ ухо.

Онъ слышалъ отъ Вѣры намекъ на любовь, слышалъ кое-что отъ Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить изъ праха за сорокъ лѣтъ? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать — и такъ или иначе—зажать ротъ Тычкову.

— Что такое про бабушку? — тихо и вкрадчиво повторилъ онъ.

— Ah c'est dégoutant. Никто не вѣритъ, всѣ смѣются надъ Тычковымъ, что онъ унизился разспрашивать помѣшавшуюся отъ пьянства нищую... Я не стану повторять...

— Я васъ прошу...—нѣжно шепталъ онъ.

— Вы хотите? — шептала и она, склонясь къ нему: — я все сдѣлаю—все...

— Ну, ну?..—торопилъ онъ.

— Эта баба—вонъ она тутъ на паперти у Успенья всегда стоитъ — разсказывала, что будто Титъ Никонычъ любилъ Татьяну Марковну, а она его...

— Я это знаю, слышалъ...—нетерпѣливо перебилъ онъ:— тутъ еще бѣды нѣтъ...

— А за нее сватался покойный графъ Сергѣй Иванычъ...

— Знаю и это, она не хотѣла—онъ женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вотъ и вся исторія. Ее Василиса знаетъ...

— Mais non! не все тутъ... Конечно, я не вѣрю... это быть не можетъ! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще разсказываетъ? — допытывался Райскій.

— Что... въ одну ночь графъ подстерегъ rendes-vous Татьяны Марковны съ Ватутинымъ въ оранжереѣ... Но такое рѣшительное rendez-vous... Нѣтъ, нѣтъ...—Она закатилась смѣхомъ.—Татьяна Марковна! Кто повѣритъ!

Райскій вдругъ сталъ серьезно слушать. У него просну-

лись какія-то соображенія въ головѣ и захватило духъ отъ этой сплетни.

— Дальше?—тихо спросилъ онъ.

— Графъ далъ пощечину Титу Никонычу...

— Это ложь! — вскочивъ съ мѣста, перебилъ Райскій: — Титъ Никонычъ джентльменъ!.. Онъ не вынесъ бы этого...

— И я говорю «ложь»! — проворно согласилась Крицкая. — Онъ и не вынесъ... — продолжала она: — онъ сбилъ съ ногъ графа, душилъ его за горло, схватилъ откуда-то между цвѣтами кривой, садовничій ножъ, и чуть не зарѣзалъ его...

Райскій измѣнился въ лицѣ.

— Ну?—спросилъ онъ, едва дыша отъ нетерпѣнія.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: «ты, говоритъ, дворянинъ, а не разбойникъ—у тебя есть шпага!» и развела ихъ. Драться было нельзя, чтобъ не огласить ее. Соперники дали другъ другу слово: графъ — молчать обо всемъ, а тотъ — не жениться... Вотъ отчего Татьяна Марковна осталась въ дѣвушкахъ... Не подло ли распускать такую... гнусную клевету!

Райскій отъ волненія вздохнулъ всей грудью.

— Видите, что это... ложь!—сказалъ онъ:—кто могъ видѣть и слышать ихъ?

— Садовникъ спалъ тамъ гдѣ-то въ углу, и будто все видѣлъ и слышалъ. Онъ молчалъ, боялся, былъ крѣпостной... А эта пьяная баба, его вдова, отъ него слышала — и болтаетъ... Разумѣется, вздоръ — кто повѣритъ! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!..—Крицкая закатилась опять смѣхомъ и вдругъ сдержалась.—Но что съ вами? Allons donc, oubliez tout! Vive la joie!—сказала она.—Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нѣтъ, нѣтъ, я боюсь...

— Чего, скажите!..—томно спросила она.

— Что такое про бабушку?—спросилъ тихо Райскій, въ свою очередь, притаивъ дыханіе и навостривъ ухо.

Онъ слышалъ отъ Вѣры намекъ на любовь, слышалъ кое-что отъ Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить изъ праха за сорокъ лѣтъ? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать — и такъ или иначе—зажать ротъ Тычкову.

— Что такое про бабушку? — тихо и вкрадчиво повторилъ онъ.

— Ah c'est dégoutant. Никто не вѣритъ, всѣ смѣются надъ Тычковымъ, что онъ унизился разспрашивать помѣшавшуюся отъ пьянства нищую... Я не стану повторять...

— Я васъ прошу...—нѣжно шепталъ онъ.

— Вы хотите? — шептала и она, склонясь къ нему: — я все сдѣлаю—все...

— Ну, ну?..—торопилъ онъ.

— Эта баба—вонъ она тутъ на паперти у Успенья всегда стоитъ — разсказывала, что будто Титъ Никонычъ любилъ Татьяну Марковну, а она его...

— Я это знаю, слышалъ...—нетерпѣливо перебилъ онъ:— тутъ еще бѣды нѣтъ...

— А за нее сватался покойный графъ Сергѣй Иванычъ...

— Знаю и это, она не хотѣла—онъ женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вотъ и вся исторія. Ее Василиса знаетъ...

— Mais non! не все тутъ... Конечно, я не вѣрю... это быть не можетъ! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще разсказываетъ? — допытывался Райскій.

— Что... въ одну ночь графъ подстерегъ rendes-vous Татьяны Марковны съ Ватутинымъ въ оранжереѣ... Но такое рѣшительное rendez-vous... Нѣтъ, нѣтъ...—Она закатилась смѣхомъ.—Татьяна Марковна! Кто повѣритъ!

Райскій вдругъ сталъ серьезно слушать. У него проснулъ-

лись какія-то соображенія въ головѣ и захватило духъ отъ этой сплетни.

— Дальше?—тихо спросилъ онъ.

— Графъ далъ пощечину Титу Никонычу...

— Это ложь! — вскочивъ съ мѣста, перебилъ Райскій: — Титъ Никонычъ джентльменъ!.. Онъ не вынесъ бы этого...

— И я говорю «ложь»! — проворно согласилась Крицкая. — Онъ и не вынесъ... — продолжала она: — онъ сбилъ съ ногъ графа, душилъ его за горло, схватилъ откуда-то между цвѣтами кривой, садовничій ножъ, и чуть не зарѣзалъ его...

Райскій измѣнился въ лицѣ.

— Ну?—спросилъ онъ, едва дыша отъ нетерпѣнія.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: «ты, говоритъ, дворянинъ, а не разбойникъ—у тебя есть шпага!» и развела ихъ. Драться было нельзя, чтобъ не огласить ее. Соперники дали другъ другу слово: графъ — молчать обо всемъ, а тотъ — не жениться... Вотъ отчего Татьяна Марковна осталась въ дѣвушкахъ... Не подло ли распускать такую... гнусную клевету!

Райскій отъ волненія вздохнулъ всей грудью.

— Видите, что это... ложь!—сказалъ онъ:—кто могъ видѣть и слышать ихъ?

— Садовникъ спалъ тамъ гдѣ-то въ углу, и будто все видѣлъ и слышалъ. Онъ молчалъ, боялся, былъ крѣпостной... А эта пьяная баба, его вдова, отъ него слышала — и болтаетъ... Разумѣется, вздоръ — кто повѣритъ! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!..—Крицкая закатилась опять смѣхомъ и вдругъ сдержалась.—Но что съ вами? Allons donc, oubliez tout! Vive la joie!—сказала она.—Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нѣтъ, нѣтъ, я боюсь...

— Чего, скажите!..—томно спросила она.

— Дурно сдѣлается... я не привыкъ пить!—сказалъ онъ и всталъ съ мѣста.

И она встала.

— Прощайте, навсегда...

— Куда! Нѣтъ, нѣтъ!

— Я бѣгу отъ этихъ опасныхъ мѣстъ, отъ обрывовъ, отъ пропастей!.. Прощайте, прощайте!..

Онъ схватилъ шляпу и быстро ушелъ. Она осталась, какъ окаменѣлая, потомъ проворно позвонила.

— Коляску мнѣ! — сказала она вошедшей дѣвушкѣ: — и одѣваться: я ѣду съ визитами!

Райскій вышелъ отъ нея, и все вылетѣло у него изъ головы: осталась—одна «сплетня»! Онъ чувствовалъ въ разсказѣ пьяной бабы—въ этой сплетнѣ—истину...

У него въ рукахъ былъ ключъ отъ прошлаго, отъ всей жизни бабушки.

Ему ясно все: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знаніе жизни, сердца? отчего она такъ скоро овладѣла довѣріемъ Вѣры и успокоила ее, а сама такъ взволновалась? И Вѣра, должно-быть, знаетъ все...

Образъ старухи сталъ передъ нимъ во всей полнотѣ.

Думая только дать другое направленіе слухамъ о Вѣрѣ, о себѣ и о Тушинѣ, онъ нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ея героевъ — ей минула сорокалѣтняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Онъ понялъ теперь бабушку. Онъ вошелъ къ ней съ замирающимъ отъ волненія сердцемъ, забылъ отдать отчетъ о томъ, какъ онъ передалъ Крицкой разсказъ о прогулкѣ Вѣры въ обрывѣ, и впился въ нее жадными глазами.

— Борюшка!—съ изумленіемъ сказала она, отступая отъ него:—что это, другъ мой — отъ тебя, какъ изъ бочки, виномъ разитъ...

Она посмотрѣла на него съ минуту пристально, увидѣла этотъ его, вонзившійся въ нее, глубоко выразительный взглядъ, сама взглянула-было вопросительно — и вдругъ отвернулась къ нему спиной.

Она поняла, что онъ узналъ «сплетню» о ней самой.

XXII.

Наконецъ совершилась и свадьба Марѳиньки съ Випѣнтьевымъ, противъ общаго ожиданія, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и нѣсколько окрестныхъ помѣщиковъ, что, однако, составило человѣкъ пятьдесятъ.

Вѣнчали ихъ въ сельской церкви, послѣ обѣдни въ воскресенье, и потомъ гостямъ предложенъ былъ парадный завтракъ, въ большой залѣ стараго дома, которую передъ тѣмъ за недѣлю мыли, чистили, скребли, чтобъ отпировать въ ней въ послѣдній разъ.

Ни разливаннаго моря, ни разгоряченныхъ лицъ и развязныхъ языковъ, ни радостныхъ кликовъ не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью хотя люди и успѣли напиться, но не до потери смысла, и по этой причинѣ признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тутъ свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Всѣ они были нужны: одни готовить завтракъ, другіе служить при столѣ, а третьи—отвезти парадными поѣздомъ молодыхъ и всю свиту до переправы черезъ рѣку. Передъ тѣмъ тоже было работы не мало. Цѣлую недѣлю возили приданое за Волгу: гардеробъ, вещи, множество цѣнныхъ предметовъ изъ стараго дома—словомъ, цѣлое имущество.

Марѳинька сіяла какъ херувимъ — красотой, всей прелестью расцвѣтшей розы, и въ этотъ день явилась въ ней новая черта, новый смыслъ въ лицѣ, новое чувство, выра-

— Дурно сдѣлается... я не привыкъ пить!—сказалъ онъ и всталъ съ мѣста.

И она встала.

— Прощайте, навсегда...

— Куда! Нѣтъ, нѣтъ!

— Я бѣгу отъ этихъ опасныхъ мѣстъ, отъ обрывовъ, отъ пропастей!.. Прощайте, прощайте!..

Онъ схватилъ шляпу и быстро ушелъ. Она осталась, какъ окаменѣлая, потомъ проворно позвонила.

— Коляску мнѣ! — сказала она вошедшей дѣвушкѣ: — и одѣваться: я ѣду съ визитами!

Райскій вышелъ отъ нея, и все вылетѣло у него изъ головы: осталась—одна «сплетня»! Онъ чувствовалъ въ разсказѣ пьяной бабы—въ этой сплетнѣ—истину...

У него въ рукахъ былъ ключъ отъ прошлаго, отъ всей жизни бабушки.

Ему ясно все: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знаніе жизни, сердца? отчего она такъ скоро овладѣла довѣріемъ Вѣры и успокоила ее, а сама такъ взволновалась? И Вѣра, должно-быть, знаетъ все...

Образъ старухи сталъ передъ нимъ во всей полнотѣ.

Думая только дать другое направленіе слухамъ о Вѣрѣ, о себѣ и о Тушинѣ, онъ нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ея героевъ — ей минула сорокалѣтняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Онъ понялъ теперь бабушку. Онъ вошелъ къ ней съ замирающимъ отъ волненія сердцемъ, забылъ отдать отчетъ о томъ, какъ онъ передалъ Крицкой разсказъ о прогулкѣ Вѣры въ обрывѣ, и впился въ нее жадными глазами.

— Борюшка!—съ изумленіемъ сказала она, отступая отъ него:—что это, другъ мой — отъ тебя, какъ изъ бочки, виномъ разитъ...

Она посмотрѣла на него съ минуту пристально, увидѣла этотъ его, вонзившійся въ нее, глубоко выразительный взглядъ, сама взглянула-было вопросительно — и вдругъ отвернулась къ нему спиной.

Она поняла, что онъ узналъ «сплетню» о ней самой.

XXII.

Наконецъ совершилась и свадьба Мароиньки съ Викентьевымъ, противъ общаго ожиданія, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и нѣсколько окрестныхъ помѣщиковъ, что, однако, составило человѣкъ пятьдесятъ.

Вѣнчали ихъ въ сельской церкви, послѣ обѣдни въ воскресенье, и потомъ гостямъ предложенъ былъ парадный завтракъ, въ большой залѣ стараго дома, которую передъ тѣмъ за недѣлю мыли, чистили, скребли, чтобъ отпировать въ ней въ послѣдній разъ.

Ни разливаннаго моря, ни разгоряченныхъ лицъ и развязныхъ языковъ, ни радостныхъ кликовъ не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью хотя люди и успѣли напиться, но не до потери смысла, и по этой причинѣ признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тутъ свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Всѣ они были нужны: одни готовить завтракъ, другіе служить при столѣ, а третьи—отвезти парадными поѣздомъ молодыхъ и всю свиту до переправы черезъ рѣку. Передъ тѣмъ тоже было работы не мало. Цѣлую недѣлю возили приданое за Волгу: гардеробъ, вещи, множество цѣнныхъ предметовъ изъ стараго дома—словомъ, цѣлое имущество.

Мароиька сіяла какъ херувимъ — красотой, всей прелестью расцвѣтшей розы, и въ этотъ день явилась въ ней новая черта, новый смыслъ въ лицѣ, новое чувство, выра-

жавшееся въ задумчивой улыбкѣ и въ висѣвшихъ иногда на рѣсницахъ слезахъ.

Сознаніе новой жизни, даль будущаго, строгость долга, моментъ торжества и счастья — все придавало лицу и красотѣ ея нѣжную, трогательную тѣнь. Женихъ былъ скроменъ, почти робокъ; пропала его рѣзвость, умолкли шутки, онъ былъ растроганъ. Бабушка задумчиво-счастлива, Вѣра непроницаема и блѣдна.

Райскій, съ умиленіемъ брата, смотрѣлъ на невѣсту, и когда она вышла изъ своей комнаты, совсѣмъ одѣтая, онъ сначала ахнулъ отъ восторга, потомъ испугался, замѣтивъ въ ея свадебномъ, померанцевомъ букетѣ нѣсколько сухихъ, увядшихъ цвѣтковъ.

— Что это? — спросилъ онъ торопливо, самъ уже догадываясь.

— Это изъ Вѣрочкина букета, который она мнѣ подарила въ день моего рожденія,—сказала она наивно.

Райскій уговорилъ ее вынуть ихъ, и самъ проворно помогалъ вытаскивать, сославшись на какую-то, тутъ же изобрѣтенную имъ, дурную примѣту.

Затѣмъ все прошло благополучно, включая и рыданія молодой, которую буквально оторвали отъ груди бабушки— но это были тоже благополучныя рыданія.

И сама бабушка едва выдержала себя. Она была блѣдна; видно было, что ей стоило необычайныхъ усилій устоять на ногахъ, глядя съ берега на уплывающую буквально— отъ нея дочь, такъ долго покоившуюся на ея груди, рукахъ и колѣняхъ.

Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятія ея не опустѣли, что въ нихъ страстно бросилась Вѣра, и что вся ея любовь почти безраздѣльно принадлежитъ этой другой, сознательной, созрѣлой дочери — ставшей такою путемъ горькаго опыта.

Тушинъ не уѣхалъ къ себѣ послѣ свадьбы. Онъ остался

у пріятеля въ городѣ. На другой же день онъ явился къ Татьянѣ Марковнѣ съ архитекторомъ. И всякій день они разсматривали планы, потомъ осматривали оба дома, садъ, всѣ службы, совѣщались, чертили, высчитывали, соображая радикальныя передѣлки на будущую весну.

Изъ стараго дома было вынесено все цѣнное, мебель, картины, даже болѣе уцѣлѣвшіе паркеты, и помѣщено, частью въ новомъ домѣ, частью въ обширныхъ кладовыхъ, и даже на чердакахъ.

Татьяна Марковна съ Вѣрой собирались уѣхать въ Новоселово, потомъ гостить къ Викентьевымъ. Весну и лѣто приглашалъ ихъ обѣихъ Тушинъ провести у Анны Ивановны, своей сестры, къ его «Дымкѣ».

На это Татьяна Марковна со вздохомъ отвѣчала:

— Не знаю, Иванъ Ивановичъ! Обѣщать навѣрное боюсь, но и не отказываю: что Богъ дастъ! Какъ Вѣра!

Тушинъ все-таки, на всякій случай, съ тѣмъ же архитекторомъ, немедленно занялся соображеніями объ отдѣлкѣ дома, для пріема и помѣщенія дорогихъ гостей.

Райскій перешелъ изъ стараго дома опять въ новый, въ свои комнаты. Козловъ переѣхалъ къ себѣ, съ тѣмъ, однако, чтобъ послѣ отъѣзда Татьяны Марковны съ Вѣрой поселиться опять у нея въ домѣ. Тушинъ звалъ его къ себѣ, просвѣщать свою колонію, начиная съ него самого. Козловъ почесалъ голову, подумалъ и вздохнулъ, глядя—на московскую дорогу.

— Послѣ, зимой...—говорилъ онъ:—а теперь я жду...

Онъ не договорилъ и задумался. А онъ ждалъ отвѣта на свое письмо къ женѣ. Ульяна Андреевна недавно написала къ хозяйкѣ квартиры, чтобы ей прислали... теплый салопъ, оставшійся дома, и дала свой адресъ, а о мужѣ не упомянула. Козловъ самъ отправилъ салопъ, и написалъ ей горячее письмо — съ призывомъ, говорилъ о своей дружбѣ, даже о любви.

Бѣдный! Отвѣта не было. Онъ началъ понемногу посѣщать гимназію, но на урокахъ впадалъ въ уныніе, былъ разсѣянъ, не замѣчалъ шутокъ, шалостей своихъ учениковъ, не знавшихъ жалости и пощады къ его горю и видѣвшихъ въ немъ только «смѣшного».

За отсутствіемъ Татьяны Марковны, Тушинъ вызвался быть хозяиномъ Малиновки. Онъ называлъ ее своей зимней квартирой, предполагая ѣздить каждую недѣлю, завѣдывать домомъ, деревней и прислугой, изъ которой только Василиса, Егоръ, поваръ и кучеръ уѣзжали съ барыней въ Новоселово. Прочіе всѣ оставались на мѣстѣ, на своемъ положеніи. Якову и Савелью поручено было состоять въ распоряженіи Тушина.

Райскій докончилъ портретъ бабушки и Вѣры, а Крицкой, на неоконченномъ портретѣ, придѣлалъ только желтую далію на груди. Черезъ недѣлю послѣ свадьбы онъ объявилъ, что ѣдетъ черезъ два дня.

— Егоръ, принеси чемоданъ съ чердака, готовь платье и бѣлье: я ѣду.

На этотъ разъ повѣрилъ и Егоръ. Собирая платье, бѣлье и обувь, онъ нашелъ, что три-четыре тонкихъ рубашки уже не очень новы, и потому конфисковалъ ихъ въ свою пользу, такъ же, какъ и лишнія, по его мнѣнію, панталоны, жилетъ и пару ботинокъ, съ стоптаннымъ каблукомъ.

Всѣхъ печальнѣе былъ Титъ Никонычъ. Прежде онъ послѣдовалъ бы за Татьяной Марковной на край свѣта, но послѣ «сплетни», по крайней мѣрѣ вскорѣ, было бы не совсѣмъ ловко ѣхать съ нею. Это могло подтвердить старую исторію, хотя ей, частью не повѣрили, частью забыли о ней, потому что живыхъ свидѣтелей, кромѣ полупомѣшанной бабы, никого не было.

Татьяна Марковна, однако, разрѣшила ему пріѣхать къ ней на праздникъ Рождества, и тамъ, смотря по обстоятельствамъ, пожалуй, и остаться. Онъ вздохнулъ немного

отраднѣе и обрадовался предложенію Тушина погостить до тѣхъ поръ у него.

Сплетня о Вѣрѣ вдругъ смолкла, или перешла опять въ ожиданіе о томъ, что она будетъ объявлена невѣстой Тушина, на котораго все и обрушилось, послѣ завтрака Райскаго у Крицкой, между прочимъ и догадка о ея прогулкѣ съ нимъ на днѣ обрыва.

Но ни Тушинъ, ни Вѣра, ни сама Татьяна Марковна, послѣ ея разговора съ первымъ, не обмѣнялись ни однимъ словомъ объ этомъ. Туманное пятно оставалось пятномъ, не только для общества, но для самихъ дѣйствующихъ лицъ, т.-е. для Тушина и бабушки.

Какъ ни велика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Вѣры къ нему и на свое вліяніе на нее, но втайнѣ у ней возникли нѣкоторыя опасенія. Она разсчитывала на послушаніе Вѣры—это правда, но не на слѣпое повиновеніе своей волѣ. Этого она и не хотѣла, и не взялась бы дѣйствовать на волю.

Она разсчитывала на покорность самаго сердца: ей казалось невозможнымъ, любя Ивана Ивановича, какъ человѣка, какъ друга, не полюбить его какъ мужа, но чтобъ полюбить такъ, надо прежде выйти замужъ, т.-е. начать прямо съ цѣли.

Она угадывала состояніе Вѣры и рѣшила, что теперь рано, нельзя. Но придетъ ли когда-нибудь пора, что Вѣра успокоится? Она слишкомъ своеобразна, судить ее по другимъ нельзя.

Отъ этого Татьяна Марковна втайнѣ немного боялась и хмурилась, когда до нея доходили слишкомъ опредѣленные городскіе слухи и предположенія о бракѣ Вѣры съ Тушинымъ, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ.

Одна Вѣра ничего этого не знала, не подозрѣвала и продолжала видѣть въ Тушинѣ прежняго друга, оцѣнивъ его еще больше съ тѣхъ поръ, какъ онъ явился во весь ростъ

надъ обрывомъ, и мужественно перенесъ свое горе, съ прежнимъ уваженіемъ и симпатіей протянулъ ей руку, показавшись въ одинъ и тотъ же моментъ, и добрымъ, и справедливымъ, и великодушнымъ—по своей природѣ, чего братъ Райскій, болѣе его развитой и образованный, достигалъ такимъ мучительнымъ путемъ.

XXIII.

Наканунѣ отъѣзда, въ комнатѣ у Райскаго, развѣшено и разложено было платье, бѣлье, обувь и другія вещи, а столъ загроможденъ былъ портфелями, рисунками, тетрадями, которые онъ готовился взять съ собой. Въ два-три послѣдніе дня передъ отъѣздомъ, онъ собралъ и пересмотрѣлъ опять всѣ свои литературные матеріалы, и между прочимъ отобранные имъ изъ программы романа тѣ листки, гдѣ набросаны были замѣтки о Вѣрѣ.

— Попробую, начну здѣсь, на мѣстѣ дѣйствія! — сказалъ онъ себѣ ночью, которую въ послѣдній разъ проводилъ подъ роднымъ кровомъ, — и сѣлъ за письменный столъ. — Хоть одну главу напишу! А потомъ, вдалекѣ, когда отодвинусь отъ этихъ лицъ, отъ своей страсти, отъ всѣхъ этихъ драмъ и комедій,—картина ихъ виднѣе будетъ издалека. Даль одѣнетъ ихъ въ лучи поэзіи; я буду видѣть одно чистое созданіе творчества, одну свою статую, безъ примѣси реальныхъ мелочей... Попробую!..

В Ѣ Р А.

Романъ...

Онъ остановился надъ вопросомъ: во скольких частяхъ? «Одинъ томъ—это не романъ, а повѣсть», думалъ онъ. «Въ двухъ или трехъ: въ трехъ—пожалуй, года три пропишешь! Нѣтъ, довольно двухъ!» И онъ написалъ: «*Романъ въ двухъ частяхъ*».

— Теперь эпиграфъ: онъ давно готовъ!—шепнулъ онъ и

написалъ прямо изъ памяти слѣдующее стихотвореніе Гейне, и подъ нимъ переводъ, сдѣланный недавно:

Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand
Mich aller Thorheit entled'ge,
Ich hab' so lang, als ein Komödiant
Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt
Im hoch romantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge:
Noch immer elend fühle ich mich,
Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach, Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet;
Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

Довольно! Пора мнѣ забыть этотъ вздоръ!
Пора воротиться къ разсудку!
Довольно съ тобой, какъ искусный актеръ,
Я драму разыгрывалъ изъ шутку.

Расписаны были кулисы пестро,
Я такъ декламировалъ страстно;
И мантія блескъ, и на шляпѣ перо,
И чувство—все было прекрасно!

Теперь же, хоть бросилъ я это тряпье,
Хоть нѣтъ театральнаго хламу,
Все такъ же болитъ еще сердце мое,
Какъ будто играю я драму.

И что за поддѣльную боль я считалъ,
То боль оказалась живая—
О, Боже, я раненый на смерть—игралъ,
Гладіатора смерть представляя!

Онъ перечиталъ, потомъ вздохнулъ и, положивъ локти на столъ, подперъ руками щеки и смотрѣлъ на себя въ зеркало. Онъ съ грустью видѣлъ, что сильно похудѣлъ, что прежнихъ живыхъ красокъ, подвижности въ чертахъ, не было. Слѣды молодости и свѣжести стерлись до конца. Не даромъ ему обошлись эти полгода. Вонъ и сѣдые волосы сильно серебрятся. Онъ приподнялъ рукой густыя пряди черныхъ волосъ, и тоже не безъ грусти видѣлъ, что они рѣдѣютъ, что ихъ темный колоритъ мѣшается съ бѣлымъ.

— Да: *раненый на смерть—игралъ гладіатора смерти!..*— шепнулъ онъ со вздохомъ и, взявъ перо, хотѣлъ писать.

Въ это время вошелъ Егоръ спросить, въ которомъ часу будить его. Райскій махнулъ ему рукой, чтобъ оставилъ его, сказавъ, что будить не надо, что онъ встанетъ самъ, а можетъ-быть и вовсе не ляжетъ, потому что у него много «дѣла».

Егоръ за ужиномъ пересказалъ это дѣвушкамъ, прибавивъ, что баринъ собирается, должно-быть, опять «чудить» ночью, какъ бывало въ началѣ осени.

— Это очень занятно,—заключилъ онъ:—жалко, а иной разъ и страшно станетъ!

Райскій написалъ подъ эпиграфомъ:

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Потомъ подумалъ, прошелся раза три по комнатѣ и вдругъ сѣлъ и началъ писать.

«Женщины! вами вдохновленъ этотъ трудъ», проворно писалъ онъ: «вамъ и посвящается! Примите благосклонно. Если его встрѣтитъ вражда, лукавые толки, недоразумѣнія— вы поймете и одѣните, что водило моими чувствами, моей фантазіей и перомъ! Отдаю, и свое созданіе, и себя самого, подъ вашу могущественную защиту и покровительство! Отъ васъ только и ожидаю... «наградъ»,—написалъ онъ, и, зачеркнувъ, поставилъ: «снисхожденія».

«Долго ходилъ я, какъ юродивый, между вами, съ Діогеновскимъ фонаремъ»,—писалъ онъ дальше,—«отыскивая въ васъ черты нетлѣнной красоты для своего идеала, для своей статуи! Я одолѣвалъ всѣ преграды, переносилъ всѣ мýки (вѣдь непремѣнно будутъ преграды и мýки — безъ этого нельзя: «*въ болѣзняхъ имаши родити чадо*, сказано», подумалъ онъ)—и все шелъ своимъ путемъ, къ своему созданію. Рядомъ съ красотой—видѣлъ ваши заблужденія, страсти, паденія, падалъ самъ, увлекаясь вами, и вставалъ опять, и все звалъ васъ, на высокую гору, искушая—не дьявольской заманкой, не царствомъ суеты, звалъ именемъ другой силы на путь совершенствованія самихъ себя, а съ собой и насъ: дѣтей, отцовъ, братьевъ, мужей и... друзей вашихъ!

«Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой—женской любовью—я слабой рукой писалъ женщину съ надеждой, что вы узнаете въ ней хоть блѣдное отраженіе — не однихъ вашихъ взглядовъ, улыбокъ, красоты формъ, граціи, но и вашей души, ума, сéрдца — всей прелести вашихъ лучшихъ силъ!

«Не манилъ я васъ въ глубокую бездну учености, ни на грубый, не женскій трудъ, не входилъ съ вами въ споры о правахъ, отдавая вамъ первенство безъ спора. Мы не равны: вы выше насъ, вы сила, мы ваше орудіе. Не отнимайте у насъ, говорилъ я вамъ, ни сохи, ни заступа, ни меча изъ рукъ. Мы взроемъ вамъ землю, украсимъ ее, спустимся въ ея бездны, переплывемъ моря, пересчитаемъ звѣзды, — а вы, рождая насъ, берегите, какъ Провидѣніе, наше дѣтство и юность, воспитывайте насъ честными, учите труду, человѣчности, добру и той любви, какую Творецъ вложилъ въ ваши сердца — и мы твердо вынесемъ битвы жизни и пойдемъ за вами вслѣдъ туда, гдѣ все совершенно, гдѣ—вѣчная красота!

«Время сняло съ васъ много оковъ, наложенныхъ лукавой и грубой тираніей: сниметъ и остальныя, дастъ просторъ

и свободу вашимъ великимъ, соединеннымъ силамъ ума и сердца—и вы открыто пойдете своимъ путемъ и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляемъ свою!

«Отбросьте же хитрость—это орудіе слабости—и всѣ ея темные, ползучіе ходы и цѣли...»

Онъ остановился, подумалъ, подумалъ—и зачеркнулъ послѣднія двѣ строки.

— Кажется, я грубости началъ говорить! — шепталъ онъ.—А Титъ Никонычъ учитъ дѣлать дамамъ только одни «пріятности».

Послѣ посвященія онъ крупными буквами написалъ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава I.

Онъ всталъ и, потирая руки, началъ скоро ходить по комнатѣ, вдумываясь въ первую главу, какъ, съ чего начать, что въ ней сказать.

Походивъ полчаса, онъ умѣрилъ шагъ, будто боролся мысленно съ трудностями. Шагъ становился все тише, медленнѣе. Наконецъ, онъ остановился посреди комнаты, какъ растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовалъ толчокъ.

— Да,—шепталъ онъ въ страхѣ:—чего добраго, пожалуй вмѣсто «высокой горы», да вдругъ... Что это мнѣ пришло въ голову! Онъ глубоко задумался.

«Ну, какъ я напишу драму Вѣры, да не сумѣю обставить пропастями ея паденіе», думалъ онъ, «а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да какъ козы, одна за другой, пойдутъ скакать съ обрывовъ!.. А обрывовъ много въ русской землѣ! Что скажутъ маменьки и папеньки!..»

Онъ минутъ пять постоялъ на мѣстѣ, потомъ вдругъ захохоталъ—и опять скорыми шагами заходилъ по комнатѣ.

«Какъ побѣдѣли бы русскія Вѣры и какъ покраснѣли бы

всѣ Марѳиньки, если бъ узнали, что я принялъ ихъ... за козъ!»

— Не это помѣшаетъ мнѣ писать романъ,—сказалъ онъ, вздохнувъ печально:—а другое... напримѣръ... цензура! Да, цензура помѣшаетъ!—почти съ радостью произнесъ онъ, какъ будто нашелъ счастливую находку.—А еще что?

И задумался.

— Кажется, больше ничего, слѣдовательно остается писать...

Онъ умѣрилъ шагъ, вдумываясь въ ткань романа, въ фабулу, въ постановку характера Вѣры, въ психологическую, еще пока закрытую задачу... въ обстановку, въ аксессуары;— задумчиво сѣлъ и положилъ руки съ локтями на столъ и на нихъ голову. Потомъ поцарапалъ сухимъ перомъ по бумагѣ, лѣниво обмакнулъ его въ чернила и еще лѣнивѣе написалъ въ новую строку, послѣ словъ, Глава I:

«*Однажды...*»

Подумалъ-подумалъ и легъ головой на руки, обдумывая продолженіе. Прошло съ четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонилъ сонъ.

Ему показалось неловко дремать, сидя, онъ перешелъ на диванъ, положилъ голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянулъ:—«Освѣжусь немного, потомъ примусь...» рѣшилъ онъ... и вскорѣ заснулъ. Въ комнатѣ раздавалось ровное, мѣрное храпѣнье.

Когда онъ проснулся, уже разсвѣтало. Онъ вскочилъ и посмотрѣлъ вокругъ удивленными, почти испуганными глазами, какъ будто увидѣлъ во снѣ что-то новое, неожиданное, точно Америку открылъ.

— И во снѣ статуя!—произнесъ онъ:—все статуя да статуя! Что это, намеки? указанія?

Онъ подошелъ къ столу, пристально поглядѣлъ въ листки, въ написанное имъ предисловіе, вздохнулъ, покачалъ головой и погрузился въ какое-то, должно-быть, тяжелое раздумье.

— Что я дѣлаю! На что трачу время и силы? Еще годъ пропалъ! Романъ!—шепталъ онъ съ озлобленіемъ.

Онъ отодвинулъ рукопись въ сторону, живо порылся въ ящикѣ между письмами, и досталъ оттуда полученное за мѣсяцъ письмо отъ художника Кирилова, пробѣжалъ его глазами, взялъ листъ почтовой бумаги и сѣлъ за столъ.

«Спѣшу — въ здравомъ умѣ и твердой памяти», писалъ онъ, «увѣдомить васъ перваго, любезный Кириловъ, о новой и неожиданной, только-что открывшейся для меня перспективѣ искусства и дѣятельности... Прежде всего тороплюсь кинуть вамъ эти двѣ строки, въ отвѣтъ на ваше письмо, гдѣ вы пишете, что собираетесь въ Италію, въ Римъ,—на случай, если я замедлю въ дорогѣ. Я самъ ѣду въ Петербургъ. Погодите—ради Бога—и я съ вами! Возьмите меня съ собой! Пожалѣйте слѣпца, безумца, только сегодня прозрѣвшаго, угадавшаго свое призваніе! Долго блуждалъ я въ темнотѣ, и чуть не сдѣлался самоубійцей, т. е. чуть не сгубилъ своего дарованія, ставши на ложный путь! Вы находили въ моихъ картинахъ признаки таланта: мнѣ держаться бы кисти, а я бросался къ музыкѣ, и наконецъ бросился къ литературѣ—и буквально разбросался! Затѣялъ писать романъ! И вы, и никто — не остановили меня, не сказали мнѣ, что я—пластикъ, язычникъ, древній грекъ въ искусствѣ! Выдумалъ какую-то «осмысленную и одухотворенную Венеру!» Мое ли дѣло чертить картины нравовъ, быта, осмысливать и освѣщать основы жизни! Психологія, анализъ!

«Мое дѣло — формы, внѣшняя, ударяющая на нервы красота!

«Для романа—нужно... другое, а главное—годы времени! Я не пожалѣлъ бы трудовъ; и на время не поскупился бы, если бъ былъ увѣренъ, что моя сила—въ перѣ!

«Я сохраню впрочемъ эти листки: можетъ-быть... Нѣтъ, не хочу обольщать себя невѣрной надеждой! Творчество

мое не ладитъ съ перомъ. Не по натурѣ мнѣ вдумываться въ сложный механизмъ жизни! Я пластикъ, повторяю: мое дѣло только видѣть красоту—и простодушно, «не мудрствуя лукаво», отражать ее въ созданіи...

«Сохраню эти листки затѣмъ развѣ, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я былъ свидѣтелемъ, какъ жили другіе, какъ жилъ я самъ, что̀ чувствовалъ (или вѣрнѣе ощущалъ), что̀ перенесъ—и...

«И послѣ моей смерти—другой найдетъ мои бумаги:

«Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду»—

«И—можетъ-быть—напишетъ...

«Теперь, хотите ли знать кто̀ я, что̀ я?.. Скульпторъ!

«Да, скульпторъ — не ахайте и не бранитесь! Я только сейчасъ убѣдился въ этомъ, долго не понимая намековъ, призывовъ: отчего мнѣ и Вѣра, и Софья, и многія, многія—прежде всего являлись статуями. Теперь мнѣ ясно!

«Я пластикъ — вы знаете это, вы находите во мнѣ талантъ. Стало-быть, нужно мнѣ только отыскать свое орудіе и пріемъ! У кого пальцы сложились, какъ орудіе фантазіи, въ пріемъ для кисти, у кого для струнъ или клавишей, у меня—какъ я теперь догадываюсь—для лѣпки, для рѣзца... Глазъ у меня есть, вкусъ тоже—и feu sacré—да? вы этого не отвергаете! Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите съ собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидіасовъ, Праксителей, Кановы — и еще очень немногихъ!

«Никто не можетъ сказать — что я не буду одинъ изъ этихъ немногихъ... Во мнѣ слишкомъ богата фантазія. Искры ея, какъ вы сами говорите, разбросаны въ портретахъ, сверкаютъ даже въ моихъ скудныхъ музыкальныхъ опытахъ!.. И если не сверкнули въ созданіи поэмы, романа, драмы или комедіи, такъ это потому...»

Онъ чихнулъ.

«Вотъ, значитъ — правда!» подумалъ онъ, «что я пластикъ—и только пластикъ. Я отрекаюсь отъ музыки—она далась мнѣ въ придачу къ прочему. Я кляну потраченное на нее и на романъ время и силы.—До свиданія, Кириловъ, не противорѣчьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеалъ искусства и дѣятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнѣніями — и тогда я утону безвозвратно въ волнахъ миражей и неисходной скуки! Если скульптура измѣнитъ мнѣ (Боже сохрани! я не хочу вѣрить: слишкомъ много говоритъ *за*), я самъ казню себя, самъ отыщу того, гдѣ бы онъ ни былъ — кто первый усомнился въ успѣхѣ моего романа (это—Маркъ Волоховъ) и торжественно скажу ему: да, ты правъ: я—*неудачникъ*! А до тѣхъ поръ дайте жить и уповать!

«Въ Римъ! въ Римъ!—туда, гдѣ искусство—не роскошь, не забава—а трудъ, наслажденіе, сама жизнь! Прощайте! до скораго свиданія!»

Онъ съ живостью собралъ всѣ бумаги, кучей, въ безпорядкѣ сунулъ ихъ въ большой старый портфѣль — сдѣлалъ «ухъ», какъ-будто горбатый вдругъ сбросилъ горбъ, и весело потеръ рука объ руку.

XXIV.

На другой день, съ ранняго утра, весь домъ поднялся на ноги—провожать гостя. Пріѣхалъ и Тушинъ, пріѣхали и молодые Викентьевы. Мареинька была — чудо красоты, нѣги, стыдливости. На каждый взглядъ, на каждый вопросъ, обращенный къ ней, лицо ея вспыхивало и отвѣчало неуловимой, нервной игрой ощущеній, нѣжныхъ тоновъ, оттѣнковъ чуткихъ мыслей — всего, объяснившагося ей въ эту недѣлю смысла новой, полной жизни. Викентьевъ ходилъ за ней, какъ пажъ, глядя ей въ глаза, не нужно ли, не желаетъ ли она чего-нибудь, не безпокоитъ ли ее что-*нибудь*?

Счастье ихъ слишкомъ молодо и эгоистически захватывало все вокругъ. Они никого и ничего почти не замѣчали, кромѣ себя. А вокругъ были грустныя, или задумчивыя лица. Съ полудня наконецъ и молодая чета оглянулась на другихъ и отрезвилась отъ эгоизма. Марѳинька хмурилась и все льнула къ брату. За завтракомъ никто ничего не ѣлъ, кромѣ Козлова, который задумчиво и грустно одинъ съѣлъ машинально блюдо маіонеза, вздыхая, глядя куда-то въ неопредѣленное пространство.

Татьяна Марковна пробовала заговаривать объ имѣніи, объ отчетѣ, до передачи Райскимъ усадьбы сестрамъ, но онъ взглянулъ на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившіеся у ней рублей шестьсотъ его денегъ. Онъ триста рублей при ней же отдалъ Василисѣ и Якову, чтобъ они роздали дворнѣ и поблагодарили ее за «дружбу, баловство и услужливость».

— Много—уродъ! пропьютъ...—шептала Татьяна Марковна.

— Пусть ихъ, бабушка, да отпустите ихъ на волю...

— Рада бы, хоть сейчасъ со двора! — Намъ съ Вѣрой теперь вдвоемъ нужно дѣвушку, да человѣка. Да не пойдутъ! Куда они дѣнутся? Избалованы, вѣкъ — на готовомъ хлѣбѣ!

Послѣ завтрака всѣ окружили Райскаго. Марѳинька заливалась слезами: она смочила три-четыре платка. Вѣра оперлась ему рукой на плечо и глядѣла на него съ томной улыбкой, Тушинъ серьёзно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а по носу изъ глазъ катилась слеза «съ вишню», какъ замѣтила Марѳинька и стыдливо сняла ее своимъ платкомъ.

Бабушка хмурилась, но крѣпилась, боясь расчувствоваться.

— Оставайся съ нами!—говорила она ему съ упрекомъ.— Куда ѣдешь? самъ не знаешь...

— Въ Римъ, бабушка....

— Зачѣмъ? Папы не видалъ?

— Лѣпить...

— Что?

Долго бы было объяснять ей новые планы—и онъ только махнулъ рукой.

— Останьтесь, останьтесь!—пристала и Мароинька, вцѣпившись ему въ плечо. Вѣра ничего не говорила, зная, что онъ не останется, и думала только, не безъ грусти, узнавъ его характеръ, о томъ, куда онъ теперь дѣнется и куда дѣнетъ свои досуги, «таланты», которые вѣчно будетъ только чувствовать въ себѣ и не сумѣетъ, ни угадать своего собственнаго таланта, ни остановиться на немъ и приспособить его къ дѣлу.

— Братъ!—шепнула она:—если скука опять будетъ одолѣвать тебя, заглянешь ли ты сюда, въ этотъ уголокъ, гдѣ тебя теперь понимаютъ и любятъ?..

— Непремѣнно, Вѣра! Сердце мое пріютилось здѣсь: я люблю всѣхъ васъ—вы моя единственная, неизмѣнная семья, другой не будетъ! Бабушка, ты и Мароинька—я унесу васъ вездѣ съ собой—а теперь не держите меня! Фантазія тянетъ меня туда, гдѣ... меня нѣтъ! У меня закипѣло въ головѣ...—шепнулъ онъ ей:—черезъ какой-нибудь годъ, я сдѣлаю... твою статую—изъ мрамора...

У ней задрожалъ подбородокъ отъ улыбки.

— А романъ?—спросила она.

Онъ махнулъ рукой.

— Какъ умру, пусть возится, кто хочетъ, съ моими бумагами: матеріала много... А мнѣ написано на роду создать твой бюстъ...

— Не пройдетъ и года, ты опять влюбишься, и не будешь знать, чью статую лѣпить...

— Можетъ-быть, и влюблюсь, но никогда никого не по-

люблю, кромѣ тебя, и изсѣку изъ мрамора твою статую... Вотъ она, какъ живая передо мной!..

Она все съ улыбкой глядѣла на него.

— Непремѣнно, непремѣнно!—горячо увѣрялъ онъ ее.

— Опять ты—«непремѣнно!»—вмѣшалась Татьяна Марковна:—не знаю, что ты тамъ затѣваешь, а если сказалъ «непремѣнно», то ничего и не выйдетъ!

Райскій подошелъ къ Тушину, задумчиво сидѣвшему въ углу и молча наблюдавшему сцену прощанія.

— Если когда-нибудь исполнится... то, чего мы всѣ желаемъ, Иванъ Ивановичъ...—шепнулъ онъ, наклонясь къ нему, и пристально взглянулъ ему въ глаза. Тушинъ понялъ его.

— Всѣ ли, Борисъ Павловичъ? И случится ли это?

— Я вѣрю, что случится, иначе быть не можетъ. Ужъ если бабушка и ея «судьба» захотятъ...

— Надо, чтобъ захотѣла и другая,—моя «судьба»...

— Захочетъ!—договорилъ Райскій съ увѣренностью:—и если это случится, дайте мнѣ слово, что вы увѣдомите меня по телеграфу, гдѣ бы я ни былъ: я хочу держать вѣнецъ надъ Вѣрой...

— Да, если случится... даю слово...

— А я даю слово пріѣхать.

Козловъ въ свою очередь отвелъ Райскаго въ сторону. Долго шепталъ онъ ему, прося отыскать жену, далъ письмо къ ней и адресъ ея, и успокоился, когда Райскій тщательно положилъ письмо въ бумажникъ.

— Поговори ей... и напиши мнѣ...—съ мольбой заключилъ онъ:—а если она соберется... сюда... ты по телеграфу дай мнѣ знать: я бы поѣхалъ до Москвы, навстрѣчу ей...

Райскій обѣщалъ все и съ тяжелымъ сердцемъ отвернулся отъ него, посовѣтовалъ ему пока отдохнуть, погостить зимнія каникулы у Тушина.

Тихо вышли всѣ на крыльцо, къ экипажу, въ грустномъ

молчаніи. Марѳинька продолжала плакать. Викентьевъ подалъ ей уже пятый носовой платокъ.

Въ послѣднее мгновеніе, когда Райскій готовился сѣсть, онъ оборотился, взглянулъ еще разъ на провожавшую его группу. Онъ, Татьяна Марковна, Вѣра и Тушинъ обмѣнялись взглядомъ—и въ этомъ взглядѣ, въ одномъ мгновеніи, вдругъ мелькнулъ, какъ-будто всѣмъ имъ приснившійся, тяжелый полугодовой сонъ, всѣ вытерпѣнныя ими муки... Никто не сказалъ ни слова. Ни Марѳинька, ни мужъ ея не поняли этого взгляда,—не замѣтила ничего и толпившаяся невдалекѣ дворня.

Съ этимъ взглядомъ и съ этимъ сномъ въ головѣ скрылся Райскій у нихъ изъ вида.

XXV.

Въ Петербургѣ онъ прежде всего бросился къ Кирилову. Онъ чуть не ощупывалъ его, онъ ли это, тутъ ли, не уѣхалъ ли безъ него, и повторилъ ему свои новыя артистическія упованія на скульптуру. Кириловъ сморщился, такъ что носъ ушелъ совсѣмъ въ бороду — и отвернулся съ неудовольствіемъ.

— Что это за новость! По вашему письму я подумалъ, не рехнулись ли вы? Вѣдь у васъ есть одинъ талантъ, отчего бросились опять въ сторону? Возьмите карандашъ, да опять въ академію—да вотъ купите это.—Онъ показалъ на толстую тетрадь литографированныхъ анатомическихъ рисунковъ.—Выдумали скульптуру! Поздно... Съ чего вы это взяли?..

— Да мнѣ кажется, у меня — вотъ въ пальцахъ (онъ сложилъ пять пальцевъ вмѣстѣ и потиралъ ими) есть именно этотъ пріемъ—для лѣпки...

— Когда вздумали! Если бъ и былъ пріемъ, такъ поздно!

— Что за поздно! у меня есть знакомый прапорщикъ—какъ лѣпитъ!..

— Прапорщикъ—такъ, а вы... съ сѣдыми волосами!

Онъ энергически потрясъ головой. Райскій не сталъ спорить съ нимъ, а пошелъ къ профессору скульптуры, познакомился съ его учениками и недѣли три ходилъ въ мастерскую. Дома у себя онъ натаскалъ глины, накупилъ моделей головъ, рукъ, ногъ, торсовъ, надѣлъ фартукъ и началъ лѣпить съ жаромъ, не спалъ, никуда не ходилъ, видясь только съ профессоромъ скульптуры, съ учениками, ходилъ съ ними въ Исаакіевскій соборъ, замирая отъ удивленія передъ работами Витали, вглядываясь въ пріемы, въ детали, въ эту новую сферу новаго искусства. Словомъ, имъ овладѣла горячка: онъ ничего не видалъ нигдѣ, кромѣ статуй, не выходилъ изъ Эрмитажа, и все торопилъ Кирилова ѣхать скорѣй въ Италію, въ Римъ.

Онъ не забылъ порученія Козлова и пошелъ отыскивать по адресу его жену, гдѣ-то въ Гороховой, въ chambres garnies. Войдя въ коридоръ номера, онъ услыхалъ звуки вальса и—говоръ. Ему послышался голосъ Ульяны Андреевны. Онъ далъ отворившей ему дверь дѣвушкѣ карточку и письмо отъ Козлова. Немного погодя, дѣвушка воротилась, нѣсколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нѣтъ, что она поѣхала въ Царское Село, къ знакомымъ, а оттуда отправится прямо въ Москву. Райскій вышелъ въ сѣни: навстрѣчу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Онъ назвалъ жену Козлова.

— Онѣ больны, лежатъ въ постели, никого не принимаютъ!—солгала и она.

Райскій ничего не написалъ къ Козлову.

Онъ едва повидался съ Аяновымъ, перетащилъ къ нему вещи съ своей квартиры, а послѣднюю сдалъ. Получивъ отъ опекуна — за заложенную землю — порядочный кушъ денегъ, онъ въ январѣ уѣхалъ съ Кириловымъ, сначала въ Дрезденъ, на поклонъ Сикстинской мадоннѣ, «Ночи» Корреджіо, Тиціану, Поль Веронезу и прочимъ, и прочимъ.

Въ Дрезденѣ онъ съ Кириловымъ всѣ утра проводилъ въ галлереѣ—да изрѣдка бывалъ въ театрѣ. Райскій торопилъ Кирилова ѣхать дальше, въ Голландію, потомъ въ Англію и въ Парижъ. Но Кириловъ уперся и въ Англію не поѣхалъ.

— Зачѣмъ мнѣ въ Англію? Я туда не хочу, — говорилъ онъ.—Тамъ всѣ чудеса въ частныхъ галлереяхъ: туда не пустятъ. А общественная галлерея—не богата. Изъ Голландіи вы поѣзжайте одни въ Англію, а я въ Парижъ, въ Лувръ. Тамъ я васъ подожду.

Такъ они и сдѣлали. Впрочемъ, и Райскій пробылъ въ Англіи всего двѣ недѣли — и не успѣлъ даже ахнуть отъ изумленія, — подавленный грандіознымъ оборотомъ общественнаго механизма жизни—и поспѣшилъ въ веселый Парижъ. Онъ видѣлъ по утрамъ Лувръ, а вечеромъ мышиную бѣготню, веселые визги, вѣчную оргію, хмель крутящейся вихремъ жизни, и унесъ оттуда только чадъ этой оргіи, не давшей уложиться поглубже наскоро захваченнымъ изъ этого омута мыслямъ, наблюденіямъ и впечатлѣніямъ.

Едва первые лучи полуденной весны сверкнули изъ-за Альпъ, оба артиста бросились черезъ Швейцарію въ Италію.

Райскій, живо принимая впечатлѣнія, мѣняя одно на другое, бросаясь отъ искусства къ природѣ, къ новымъ людямъ, новымъ встрѣчамъ—чувствовалъ, что три самыя глубокія его впечатлѣнія, самыя дорогія воспоминанія, бабушка, Вѣра, Марфинька—сопутствуютъ ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущеніе, наполняютъ собой его досуги, что съ ними тремя—онъ связанъ и той крѣпкой связью, отъ которой только человѣку и бываетъ хорошо—какъ ни отъ чего не бываетъ, и отъ нея же бываетъ иногда больно, какъ ни отъ чего, когда судьба не ласково дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и какъ артисту, всюду. Плеснетъ сѣдой валъ на морѣ, мелькнетъ снѣжная вершина горы въ Альпахъ — ему видится въ нихъ сѣдая голова бабушки. Она выглядывала изъ портретовъ старухъ Веласкеза,

Жераръ-Дова,—какъ Вѣра изъ фигуръ Мурильо, Мароинька изъ головокъ Грёза, иногда Рафаэля...

На днѣ швейцарскихъ обрывовъ мелькалъ образъ Вѣры, надъ скалами снилась ему его отчаянная борьба съ ней... Далѣе—брошенный букетъ, ея страданіе, искупленіе... все!

Онъ вздрагивалъ и отрезвлялся, потомъ видѣлъ ихъ опять, съ улыбкой и любовью протягивающими руки къ нему.

Три фигуры слѣдовали за нимъ и по ту сторону Альпъ, когда передъ нимъ встали другія три величавыя фигуры: природа, искусство, исторія...

Онъ страстно отдался имъ, испытывая новыя ощущенія, почти болѣзненно потрясавшія его организмъ.

Въ Римѣ, устроивъ съ Кириловымъ мастерскую, онъ дѣлилъ время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работалъ, потомъ терялся въ новой толпѣ, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей въ себѣ тысячелѣтія — во всемъ блескѣ величія и въ поразительной наготѣ всей мерзости—отжившаго и живущаго человѣчества.

И вездѣ, среди этой горячей артистической жизни, онъ не измѣнялъ своей семьѣ, своей группѣ, не врасталъ въ чужую почву, все чувствовалъ себя гостемъ и пришельцемъ тамъ. Часто, въ часы досуга отъ работъ и отрезвленія отъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній раздражительныхъ красокъ юга—его тянуло назадъ, домой. Ему хотѣлось бы набраться этой вѣчной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духомъ окаменѣлыхъ преданій и унести все съ собой туда, въ свою Малиновку...

За нимъ все стояли и горячо звали къ себѣ — его три фигуры: его Вѣра, его Мароинька, бабушка. А за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла его къ себѣ — еще другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка»—Россія.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДЕСЯТАГО ТОМА:

Обрывъ. Романъ въ пяти частяхъ.

Часть четвертая:

стр.

Глава I 5
» II 16
» III 21
» IV 27
» V 37
» VI 49
» VII 59
» VIII 68
» IX 78
» X 96
» XI 101
» XII 108
» XIII 126
» XIV 129

Часть пятая:

Глава I 138
» II 143
» III 146
» IV 154
» V 161
» VI 172
» VII 183
» VIII 198
» IX 201
» X 208
» XI 217
» XII 229
» XIII 237
» XIV 242
» XV 248
» XVI 257
» XVII 265
» XVIII 268
» XIX 278
» XX 283
» XXI 291
» XXII 299
» XXIII 304
» XXIV 312
» XXV 316

Stanford University Libraries
3 6105 005 708 727

PG
333
G6
1899
V.8

FEB 29 '72
APR 27 1972

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.